А. М. РЕМИЗОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ

А. М. РЕМИЗОВ
В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ



С. П. и А. М. Ремизовы. Фотография (Париж, 1920-е гг.).
ГЛМ. Публикуется впервые

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

А. М. РЕМИЗОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ



Санкт-Петербург
2019

УДК 821.161.1-32-34
ББК 84.3(2Рос+Рус)1
Р38

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России»*

Издание подготовлено при содействии
Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова

Подготовка «Оля»; «В розовом блеске» (часть «С огненной пастью»), текст, комментарии: *В. Н. Быстров*

Подготовка «В розовом блеске» (часть «Сквозь огонь скорбей» — раздел «Залом» (гл. «В беспастушное пространство» , «Святый вечор», «Елочные украшения», «Западня», «Отходная», «Пропад», «Сирена», «Конец», «Омут», «Туда», «Дупло», «Под огненной потравой»), текст, комментарии; «Наташа. 1904—1943. Новый человек», комментарии: *А. М. Грачева*

Подготовка «В розовом блеске» (часть «Сквозь огонь скорбей» — раздел «Задора»), текст, комментарии; «Наташа. 1904—1943. Новый человек», текст: *О. А. Линдеберг*

Подготовка «В розовом блеске» (часть «Голова львова»; часть «Сквозь огонь скорбей» — разделы «За зеленой оградой»; «Залом» (гл. «Вывертень», «В беспастушное пространство»)), текст, комментарии, статья: *Е. Р. Обатнина*

Аннотированный именной указатель к «Оля», «В розовом блеске»:
В. Н. Быстров, А. М. Грачева, О. А. Линдеберг, Е. Р. Обатнина

Научный редактор тома *А. М. Грачева*

Рецензенты: *А. В. Лавров, С. И. Николаев*

Ремизов А.

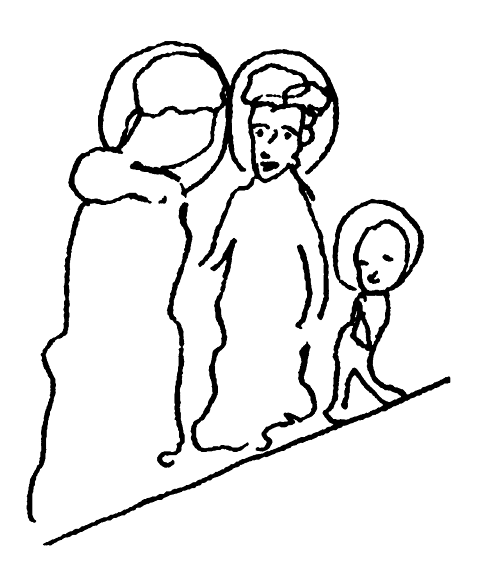
Р38 В розовом блеске. Собрание сочинений. Т. 15. — СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2019. — 864 с.

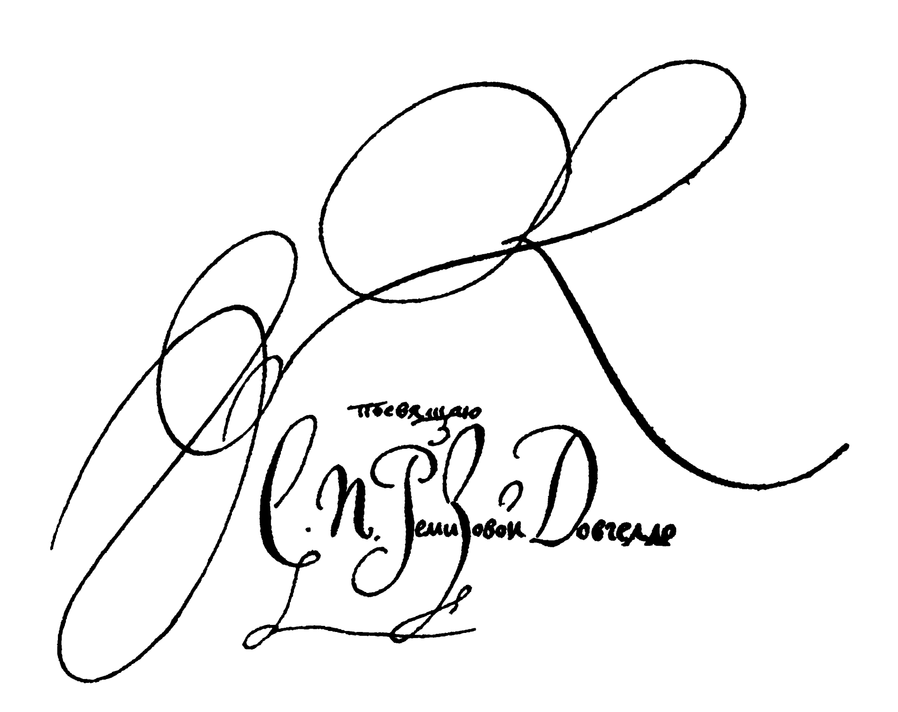
Книга «В розовом блеске» (Пятнадцатый том Собрания сочинений А. М. Ремизова) включает в себя первую полную научную публикацию романов «Оля» (1927) и «В розовом блеске» (1952). Биографическая основа книг — история жизни жены писателя — С. П. Ремизовой-Довгелло. Их содержание — широкая панорама жизни русской провинции и Петербурга конца XIX — начала XX в. и русского Парижа 1920-х — 1940-х гг. Том дополнен публикацией сохранившегося в архиве рассказа «Наташа. 1904—1943: Новый человек» — редкого прецедента отображения Ремизовым реалий Советской России.

ISBN 978-5-94668-159-9
ISBN 978-5-94668-243-5 (т. 15)



ОЛЯ

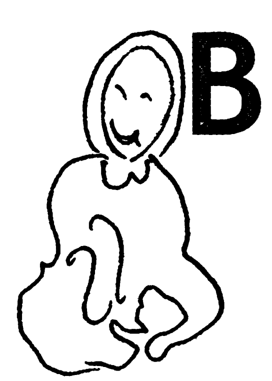



Посвящаю
С. П. Ремизовой Довгелло

В ПОЛЕ БЛАКИТНОМ



Дом с белыми башнями



В Ватагине и через Ватагино ходило много странников — две дороги через село: одна на Киев, другая на Чернигов.

Странники ночевали у Ильменевых.

Александр Павлович велел всех принимать: была такая комната в доме, где стояли лавки и разбитые шкапы, — тут кормили и поили странников, тут им и ночлег был.

По селу ходил юродивый Карл Карлович, страшный, весь будто в щетине, — Оля его боялась: Карл Карлович что-то говорил про Олю, но понять ничего нельзя было, а ее брата Мишу не иначе называл, как «служителем Дворянской опеки», и смеялся, длинно высовывая язык.

Шаталась еще Штунья — бродяжка; ее почему-то в дом не пускали.

Перед Пасхой Оля потихоньку давала ей кулича.

Штунья на дурном счету: говорили, что бродяжка п о р т и т.

Наталья Ивановна, кормившая грудью Таню — младшую сестру Оли, проходя как-то по саду, заметила на дорожке сверток, перевязанный ленточкой, подняла его, развернула, а там на бумажке — кровь. И на другой же день захворала: пять нарывов один за другим появилось на груди.

Бумажка с кровью, бросаемая «на примку», — сильная порча, и от нее много страдают.

Должно быть, в чем-нибудь таком и подозревали бродяжку Штунью.

Немало случалось на селе нечистых дел, и ватагинский батюшка о. Евдоким то и дело на всходах и в колошенье раскручивал крестом закрутки, отчего дохода получалось немало.

Не пускали в дом и глухонемого Микитку-змею, который, однако, всегда ухитрялся пробраться под окна: Микитка угрожающе мычал, показывая то на землю, то на грудь себе, то на небо.

Жутко было смотреть: так был он зловещ и ужасен.

Как-то в дождь прогнали его со двора. А он всё не уходит, стоит у забора, воет.

Страх охватил Олю, ей почудилось: непременно сделает он им недоброе и вот теперь же, когда так воет, показывая на землю, на грудь и на небо.

Несмотря на дождь, Оля вышла из дому и дала немому пятнадцать копеек, — немой отошел.

— Куда это ты ходила? — строго спросила Наталья Ивановна.

— Я так, погулять, — ответила Оля, и, хотя платьице было мокро и ноги промокли, Оля так это сказала и так смотрела, что Наталья Ивановна даже не побранила.

Кроме Штуньи и глухонемого Микитки всех пускали.

Всего только раз отказал Александр Павлович какому-то нищему, и случилось это в Рождество Богородицы — в храмовый ватагинский праздник.

Памятен этот день Оле.

После обеда Оля с Мишей сидели под скороспелкой и упало яблоко. Оля обрадовалась, подхватила яблоко — и бежать в дом с диковинкой: скороспелки снимают в июне, а в сентябре это большая редкость. Но на пути вырвал Миша из рук Оли яблоко и стал всем хвастать, что вот он нашел какую невидаль! И как Оля ни уверяла, что это она первая заметила и первая ухватила яблоко, Оле никто не поверил, — Мише все верили.

По-летнему подымалась гроза, сильно темнело, и было тихо, как только бывает тихо перед сильной грозой, и вот пришел нищий: просится пустить в дом! — и ему отказали.

Разразилась гроза.

Оля грозы не боялась и только, подчиняясь матери, должна была всякий раз хорониться на кровати, закутанная с головой в шелковые платья, но в эту грозу ей было одиноко и душно.

Александр Павлович долго не мог успокоиться, очень убивался, что не пустил нищего, — отказал человеку в грозу и дождь.

Оля и сама жалостливая — желанная, как называли ее ватагинские бабы: не зная, как помочь старухе Митрихе — про Митриху услышала она от няньки Фатевны — брала Оля из шкапа макароны и носила старухе, чтобы та себе суп макаронный делала.

Странники и богомольцы с каждым годом всё чаще посещали дом Ильменевых. Бывали хорошие — хорошо рассказывали, светло, пели заунывные стихи; свет и тишина входили с ними в дом. Но бывали странные, раскосые — страшно становилось, когда переступали они порог старого дома.

Как-то в ворота постучала монашка.

Провели монашку в дом: ночевать просится.

Взглянула Наталья Ивановна, и что-то сразу поднялось у нее — не понравилась ей, не хочет пускать монашку.

Александр Павлович вступился:

— Как, не пустить? Нельзя: на богомолье идет.

Так и пустили.

Когда отдали монашке самовар, чтобы ей на ночь чаю напиться, Оля забежала в странную комнату да скорее назад.

— Мама, это мужчина!

Наталья Ивановна заперлась с детьми в детской и не спала целую ночь.

— Засни, деточка!

— Нет, там монашка ходит! — не спала и Оля.

Не спала и монашка — всю ночь проходила по комнате — и чуть свет ушла.

— Недоброе замышляла эта монашка, — говорила после Наталья Ивановна, — посмотрите, как ребенок испугался.

Александр Павлович сам задумал пройти на богомолье.

Когда ему было девятнадцать лет, был он сильно болен, выздоровел и дал обещание — теперь решил исполнить обет.

С нянькой Фатевной, не раз ходившей по святым местам, да с ватагинскими и меженинскими стариками и старухами отправился он пешком в Киев.

2.

Александр Павлович — худой, высокий, борода длинная белая, а глаза синие пристальные, и когда улыбается, сразу Оле делается весело.

Всё время проводит он у себя — кабинет его рядом с комнатой бабушки Анны Михайловны, его матери, — или читает книги старые в кожаных переплетах, или пишет, или молится. Иногда же поздно вечером выходит он в зал и там сидит один в темноте. Нигде не бывает, ходил одно время в церковь, потом перестал и в церковь ходить.

А еще недавно в Ватагино к Ильменевым съезжалось много гостей и до утра сиживали за картами, — больше не раскрывались ломберные столики.

И только когда дети играют в короли или в рамс, в особенности в рамс, Александр Павлович, если случится ему проходить, всегда остановится и примется помогать, и тот уж непременно выиграет.

Оля любила, когда он помогал ей, — Оля страсть любит в карты играть, — но, если не поплутовать, всегда остается в дураках, а с верной рукой спокойно — король! — и плутовать не надо.

А какой был Александр Павлович когда-то веселый!

Соседка Ильменевых — старая Боровая рассказывала, как приезжал он из полка, какие привозил всем подарки: своей младшей сестре Надежде, бывало, привезет двенадцать пар разноцветных ботинок! А зимой как заложит, бывало, огромные сани, соберет всех соседей и — кататься, — с ним не соскучишься. А как шутил! И так хорошо пел и так рассказывал, петуха прослушаешь.

И еще рассказывала Боровая, как Наталья Ивановна была влюблена в Александра Павловича.

Были они в гостях в Меженинке: Боровая, сестра Александра Павловича Надежда Павловна и Александр Павлович женихом.

«И как возвращаться в Ватагино, Наталья Ивановна так долго прощалась с Александром Павловичем, что и метели не было — метель поднялась: едва доехали, сбились с дороги».

Марья Петровна Вольская — двоюродная сестра Натальи Ивановны, почасту гостившая в Ватагине, не раз вспоминала, как на балах весь вечер сидит Александр Павлович в карты играет, но лишь заиграют мазурку, карты на стол — в зал.

— За Александра Павловича, — говорила, захлебываясь, Марья Петровна, — барышни дрались!

Как заиграют мазурку, так сердце и замрет: хоть бы подошел Александр Павлович!

А в годы своего предводительства какие редкие устраивал он празднества и балы!

Старый с белыми башнями Ильменевский дом бывал иллюминован — на прудах подвижные острова и плавучие вензеля, в саду освещенные аллеи, фейерверки, ракеты, музыка.

«Гости, съезжавшиеся с трех губерний, — так вспоминалось, — то танцевали, то выходили на балкон любоваться великолепной картиной, и тут же на балконе музыканты и певцы восхищали гостей музыкой и пением».

На долгие годы оставались воспоминания об Ильменевских балах.

«Говорили, что сам хозяин приготовлялся к ним целый месяц, а дамы шили туалеты за два месяца, и можно вообразить себе, как нарядны, свежи и изящны были костюмы!»

Из всего, что занимало прежде, оставались одни лошади.

Александр Павлович любил лошадей: никогда кнутом не ударит, а лошади его слушают, — с ними он как-то особенно разговаривал и заступался.

Оля всегда просит покатать ее, — хорошо, никогда лошади не несут, а так мчатся, дух захватывает! — и Александр Павлович брал ее с собой и на поле, и в Меженинку к любимой бабушке Татьяне Алексеевне.

Александр Павлович редко бывал с детьми.

Играют дети, выйдет, сядет в кресло и начнет рукой ловить — те визжат, бегают, не даются — и всё-таки, и не вставая, он всех переловит.

И почему-то бывало так весело, лучше всякой игры.

Оля во всем заодно с Мишей: целыми днями вместе в саду, — в путешественников играют, строят под сливой будки из досок. И только в одном нет согласия: Оля ходит к отцу в кабинет, а Миша никогда.

А как он рад, когда прибегает Оля!

Погладит ее по головке:

— Котик мой!

И никто так не называет — никто так не ласкал Олю — таких не говорит слов:

«Котик мой!»

Оля присядет к нему на ручку кресла, а он, поддевая себе ногтем большого пальца ноготь другого пальца — такая у Александра Павловича была привычка — так хорошо говорит, никто так не говорил с Олей.

Рассказывал он Оле о Христе, как Христос приходил на землю, и учил Олю любить Христа и любить людей.

— И Христос тебя будет любить и ты будешь счастливой!

А когда Оля передала, как нянька Фатевна говорила ей, что Оля не простая, а генеральская дочка, Александр Павлович строго заметил, что этим Оля не должна гордиться.

— Если спросят, чья ты дочь, должна ответить просто: дочь честного человека.

И еще говорил он Оле, что неважно, кто в мире считается первым и кто последним.

— Важно, кто у Бога первый.

Иногда Оля заставала отца с бабушкой Анной Михайловной за молитвой: они оставляли ее, ставили с собой, и Оля тоже молилась.

Было одно, что никак не мог выносить Александр Павлович, — деньги. И всякий раз, когда речь заходила о деньгах, он менялся весь, вставал и уходил.

Однажды, получив очень крупную сумму, — рассказывали, что это какие-то деньги, которые давным-давно следовало ему получить за крестьянскую землю, — он вернулся из города, положил эти деньги на стол и упал.

3.

Богат Ильменевский дом, белыми башнями глядит он за просторные поля в широкую степь, пышно дедовское убранство — почерневшее серебро и тусклое золото, дорогой бархат и бесшумные рытые ковры, поблекшие амуры и цветы на потолке, тяжелые люстры, зеркала, старые портреты в гостиной, в диванных, в портретной — крепки стены, и земля под ними крепка — насиженное место, а узорные бронзовые часы на камине, не уставая, вот уж века, отбивают звонко минуты.

— В доме мира нет, погибнет дом! — нередко говорил Александр Павлович.

Как-то ночью, когда разговор между отцом и матерью сделался громче обыкновенного, Оля выскочила на балкон и хоте-

ла крикнуть: «Люди добрые, помогите!» — думая, что на голос ее придут и что-то сделают, отчего и уйдет это, наполняющее дом тоской и тревогой. Но не крикнула, не позвала — сама не знает, почему не позвала; или подсказало ей мудрое сердце, что никто, никакие люди тут не помогут, — тихонько вернулась в детскую.

— В доме мира нет, погибнет дом! — повторял Александр Павлович.

Вечером, когда Александр Павлович, проходя по столовой, где обыкновенно сидят дети, всех перекрестит и скажет «Христос с вами» — это означало, что уж он больше не выйдет в комнаты, а будет читать у себя, молиться и пойдет спать.

— Спокойной ночи! — сказала Оля, и хотя она привыкла, что только одна она говорит, прощаясь с отцом, но в этот раз ей стало и грустно, и одиноко.

В эту ночь Оля проснулась от шума.

Выбежала на крыльцо — на крыльце сидела нянька Фатевна — села возле Фатевны.

Нянька рассказала, что Александр Павлович внезапно заболел и хотели послать за доктором, но он не позволил.

«Если Бог поможет, хорошо, а доктора всё равно не могут помочь».

— Заметила я давно, Олюшка, как крот землю роет!

И старуха замолкла.

А Оля сидела и дрожала.

Когда в доме поугомонилось и Фатевна отвела Олю в детскую, Александру Павловичу стало легче.

— Видите, Наталья Ивановна, я так и знала, что это одно представление! — услышала Оля, лежа в кроватке: это тетка Марья Петровна, гостившая в Ватагине.

И Оле захотелось сейчас же встать и крикнуть на весь дом, сейчас же, и чтобы все слышали:

«Неправда! не может представляться, никогда он не представляется!»

И не крикнула — не решилась: и почему не решилась? — или подсказал ей кто — какое мудрое сердце? — что этим не поможешь.

Александр Павлович, прохворавший с неделю, совсем редко выходил в комнаты, сидел один у себя, — и вечерами в кабинете не зажигался свет.

«В доме мира нет, погибнет дом!» — вспоминалось Оле, и вдруг она начинала дрожать, как тогда ночью, сидя в одной рубашечке с Фатевной на крыльце.

4.

В Ватагино приехала бабушка Татьяна Алексеевна — мать Натальи Ивановны. И хотя часто она приезжала в Ватагино и дети подолгу гостили у ней в Меженинке, приезд ее — всегда целое событие.

Татьяна Алексеевна — бабушка любимая.

Наталья Ивановна постоянно говорит детям:

— Бабушку любите!

А Оле говорит особенно:

— Тебя бабушка больше всех любит.

И действительно, Оля у нее любимица, бабушка всё ей позволяет и только любуется, каких бы проказ ни напроказила и каких бы чудес ни натворила любимая краснощекая сероглазая внучка, и заступается, если Наталья Ивановна за что-нибудь сердится на нее.

Зато и Оля, как уезжать бабушке домой в Меженинку, подымает рев на весь дом.

И бабушка, чтобы Оля не плакала, дает ей для забавы двугривенный и много двугривенных — без конца! — передаст в крохотную ручку Оли, пока не уедет, и чаще просто обманом.

С приездом любимой бабушки всё словно менялось — и день становился краше, и ночь будто звезднее.

С утра до вечера не отходили дети от бабушки, а Оля особенно.

Александр Павлович, выйдя в столовую к чаю, сказал, что он только что в гостиной чёрта видел —

— Чёрта.

Татьяна Алексеевна поджала губы — она всегда так поджимала губы, когда сердилась.

— Вам всё черти представляются. Отчего я никогда чёрта не видела!

— Оттого, что он вас всегда за нос водит, нечего вам ему и представляться, — ответил Александр Павлович.

— Лошадей! — закричала, рассердившись, бабушка.

И уж как ни просила Наталья Ивановна, как ни ревела Оля, не послушала, собралась и тотчас уехала, погрозив, что больше ноги ее не будет в Ватагине.

И без того немирно, жутко стало в старом Ильменевском доме.

Всё затаилось, словно у всех голос пропал, и только узорные бронзовые часы на камине по-прежнему, не уставая, как уж века, звонко выбивали минуты.

Оля, забившись в угол, целыми вечерами плакала.

Горьки были и тяжки слезы: ей жалко было любимую бабушку, и мать, и отца. И жалея, как-то по-своему сердцем чувствовала, что никто не виновен: ни бабушка, ни мать, ни отец.

«Бабушка — она такая — любимая, мама — их, детей, больше всего любит и больше ей ничего не надо, папа — любит их, но что-то и еще любит — —»

А что, — и представить она себе не может.

Горьки и тяжки были слезы — ничем не поможешь, и помочь нельзя.

— Разрушится дом, в котором мира нет! — повторяла, каркая, нянька Фатевна, бродя в потемках.

И от слов старой седой няньки, вынянчившей всех детей и самого Александра Павловича, от карка ее и шепота нестерпимо становилось: слезы на глазах высыхали, словно сгорая, а оттого еще больнее было.

Александр Павлович ездил в Меженинку и привез бабушку — простила его бабушка.

Один, затворившись, проводил он ночи и дни у себя.

Только по-прежнему одна Оля прибегала к нему.

И как он рад, когда прибежит Оля.

— Котик мой! — скажет ей тихо и ласково, и ласкает, никто так не ласкает ее, и не называл так:

«Котик мой!»

Перед Пасхой опять начались сборы.

— Поедемте за папой, привезем домой папу, — сказала Наталья Ивановна Мише и Оле.

А когда возвращались домой — Оля помнит — шел первый весенний дождь и было так весело!

И еще Оля помнит, как отец показывал раны на руках и ногах от веревок, которыми связывали его, и говорил, что он рад этому —

— Потому, что у Христа были раны.

На первый день Пасхи Александр Павлович пошел на село к тем мужикам, которые его связывали, хотел похристосоваться, но мужики попрятались: боялись.

Первое время и Оля боялась; нянька Фатевна рассказывала, как Александр Павлович скамейку сломал, когда его связывали.

Так один за другим проносились перед Олей смутные дни, незабываемые, и, вспоминая их и думая над непонятным и странным словом «сумасшедший», Оля как-то по-своему сердцем почувствовала, что это очень страшно и — очень хорошо, что отец не такой, как все —

«Такого нет больше!»

Таинственный зайчик

Всякий день бабушке Анне Михайловне зайчик конфеты носит, а бабушка их Оле отдает.

Только такой строгий зайчик: хоть бы раз принес конфет до обеда! И сколько раз по утрам забегала Оля в бабушкину комнату справиться, не приходил ли зайчик, и всегда был один ответ:

— Нет еще.

А как кончит Оля обедать, побежит к бабушке, а бабушка прямо ей в ручку конфет: был, значит, зайчик.

Сама Оля этого зайчика никогда не видала, а только от бабушки слышала, и не сомневается, что зайчик ходит и носит конфеты — еще бы: всякий день конфеты есть, и не только после обеда, но и по вечерам.

Бабушка Анна Михайловна старая, из комнаты не выходит, — сидит у себя на постели: ноги у нее больные. Оля это знает и всегда осторожна: никогда бабушку за ноги не тронет.

В комнате у бабушки жарко, так жарко, как в бане.

Бабушка в белом чепчике, сама маленькая, а над кроватью висит портрет, когда бабушка была молодая — там она румяная и большая и шаль на ней вся в цветочках. И не верится, что и на портрете, и на кровати бабушка.

Но Оля верит, — бабушка ей объяснила: там, на портрете, она была «мама» и была большая и румяная, а теперь она «бабушка» и стала маленькая и старая.

Бабушка целыми днями молится, а вечерами рассказывает Оле сказки про серого волка, и про лисицу, и про лягушку-турлушку, как лягушка песни поет. И еще рассказывает бабушка, как в девять месяцев Оля ножками ходить начала и очень рано проситься стала; как раздевали Олю и пускали голышком по комнате бегать — всё тельце было словно перевязанное, всё в перевязочках; как Оля хорошо целовалась и как хорошо плевалась — дядя Алексей Иванович за каждый поцелуй и за каждый плевок по золотому дарил.

Рассказывала бабушка и об отце Оли — Александре Павловиче, как он был маленький, как учился, как поступил в полк принца Карла Прусского и на войну пошел, и как было тогда землетрясение и лампадка перед образами тряслась.

И о прадедушке Оли — Петре Михайловиче: большой силы и отваги был —

«Бешеного волка разорвал, вот какой!»

И о дедушке — своем муже Павле Петровиче: какой он строгий был —

«Как ему ехать, бывало, в город на службу, всякий раз требует, бывало, чтобы к его возвращению на столе тарелка с супом стояла, — и беда, если супа нет или не горяч суп!»

И как для безопаски от дома до города на пятнадцать верст верховых ставили, и как потом Павел Петрович вдруг расстроился мыслями.

— И горе, — вспоминает бабушка, — несчастная болезнь его была непостижима. Всегда печален, задумчив, не любит ни с кем ничего говорить, нигде бывать, никого к себе не принимал, и всегда и всем, бывало, говорит, что для него жизнь несносна. Его всякая малость беспокоила и тревожила, очень мало спал, но никакой боли не чувствовал, никакой слабости, и всегда и всем, бывало, говорит, что здоров. И доктора отказались пользовать, сказали, что его время выпользует: его болезнь и скорбь душевная, которой выпользовать им не можно.

И еще рассказывает бабушка, как страшно умер дедушка Павел Петрович — зарезался! — и тогда от ужаса она шесть недель проспала и проснулась оттого, что дочь ее, Лизочка, ее ручками тронула. Лизочка тоже умерла, и остался у нее один «папа», а потом появилась Оля:

«Олю лебедь принес, постучал в окно крылышком и положил под часы у камина».

— Это было в июле месяце на восходе солнца четвертого дня в день святого Андрея Критского и явления Пресвятыя Богородицы, яже в Пергии.

Бабушка четырнадцати лет замуж вышла, и было у бабушки четырнадцать детей, а в приданое бабушке дали четырнадцать кованых устюжских сундуков с добром.

— Звание всех вещей не перечислишь, — любила рассказывать бабушка, — пальцев для счета не хватит: ну, —

икон две — одна Спасителя, а другая Богородична с шатами,
денег три сундука,
дукат серебряный вызолоченный,
ложек серебряных столовых и чайных по три дюжины,
подносов серебряных дюжина,
на подносах по семи чарок: шесть вызолоченных, а одна нет,
кольцо золотое,
три блюда,
три чашки с крышкой,
шуба лисичья, крытая гарнитуром капуциновым,
сподница гарнитуровая,
кофта атласная,
халат гарнитуровый капуцинового цвету,
сподница с кофтой волнистой тафты,
сподница дрезетовая вишневая,
шуба заячья, крытая красною кафой,
кунтуш суконный вишневого цвету,
другой суконный голубого цвету,
шуба баранковая, крытая вишневым сукном,
шубенка баранковая, крытая голубым сукном,
халат камлотный зеленого цвету,
другой красный камлотный,
кофта и сподница репишовые зеленые,
сподница венецкой каламанки,
полуштаметовых две,

полотняных две,
запаска полутобейковая одна,
и тафтяная белая одна,
кофта байковая серая,
кофта байковая вишневая с мушками,
кофта красной кафы,
платок шелковый бытьевой, белый полосатый,
другой гарнитуровый,
третий штофный красный,
четвертый тафтяной алый,
пятый тафтяной зеленый,
бумажных приношенных два,
корсетов тафтяных два,
три сундука скатертей, тканых взором и заполочью,
ручники, шитые заполочью,
хустки тканые,
платки белые,
фартуки,
рубашек женских тридцать две,
мужских восемь,
три сундука полотна кужольного и конопляного,
запона,
наволочки большие,
маленькие наволочки,
простыни полотняные,
одна простыня, шитая заполочью,
намитки,
килимы,
ковер —

а в четырнадцатом, и последнем, сундуке:

ковдра набойчатая,
плахот закладанных с шелком двадцать две,
да еще плахот шесть,
запасок филяшевых десять,
перина,
подушек две больших,
меньших две,

еще меньших две,
намиста красного десять низок
и десять жемчужного,
запасок валеных три,
пояс крапковый,
основа пляная,
клубков девять,
рушников сыровых семь,
четырнадцать дойных коров с назимком.

Слушает Оля, мимо ушей слова не проронит, — и раскрывается перед ней сундук за сундуком верх добра, а последний и четырнадцатый — с коровами.

— Пошли доить, — вспоминает бабушка, — а вместо молока кровь. А как стали искать, ведьму на топчаке и поймали с длинными волосами в белой рубахе, совсем девчонка.

Иногда бабушка берет резную шкатулку и показывает Оле драгоценности.

Оле больше всего нравится золотая кольцами цепь с изумрудами, но еще больше — так сейчас на шею себе и надела бы! — золотой медальон с картинкой: два страшных льва разинули пасти, а из пасти пламя.

И каждый раз Оля просит отдать ей и цепь с изумрудами, и медальон со страшными львами.

Но бабушка драгоценности кладет обратно в шкатулку.

— Когда вырастешь большая, — говорит бабушка, — папа тебе всё отдаст, всё будет твое. Пуще глаза береги медальон, другого такого нет, фамильный Ильменевский с папиным гербом: голова львова, сера-космата, с огненной пастью в поле блакитном.

— Голова львова, сера-космата, с огненной пастью в поле блакитном, — повторяет каждый раз Оля.

Как-то у бабушки зуб выпал.

— Положи этот зуб в ящик, что под образами, — сказала бабушка Оле.

А Оле захотелось поиграть с зубом, стала она его на руках перебрасывать и вертеть, как кубарик.

— Зуб мне надо будет в гроб положить, — остановила бабушка, — когда воскресну, чтобы недолго по земле ползать — свои кости собирать. Всё вместе должно быть.

2.

Вечерами Наталья Ивановна часто играет на фортепиано, и так хорошо играет: Оля не пошевельнется, слушает. А когда кончит играть, подходит к фортепиану Оля, натащит себе целую гору нот на стул, усядется и давай сама наигрывать.

— Оля у нас будет музыкантшей! — говорит про Олю Наталья Ивановна.

После обеда по обыкновению Оля зашла к бабушке спросить о зайчике, но бабушка ничего не ответила и конфет не дала. Оля поняла, что бабушка нездорова, и не стала надоедать.

И вечером не пошла она к бабушке спросить о зайчике, а села за фортепиано подбирать пальчиками ноты и так занялась, что даже и о зайчике забыла.

И вдруг на пороге в залу появилась бабушка —

Бабушка подползла к двери и сказала таким тихим глухим голосом, что у Оли пальчики вздрогнули:

— Оля, позови папу!

Долго и после Оля боялась этой двери, из которой выползла бабушка.

А как тогда ей страшно было! как замирало и тукало сердце!

Накануне возили детей на вечер к соседям Лупичевым — у Лупичевых всякий год на Петра и Павла устраивали вечер, справляли и рожденье, и именины сыновей-близнецов Петра и Павла, — накануне Оля поздно легла, а в эту ночь не могла заснуть.

Ей всё мерещилось: будто дедушка Павел Петрович такой, как на портрете, в красном мундире, с ножом ходит, то будто ведьма с длинными волосами в белой рубахе, совсем девчонка, прибежала на двор и на топчаке руками что-то делает, то будто сундук, а из сундука четырнадцать дойных коров — рога высунули, то промелькнет зайчик с конфетами, а за зайчиком — голова львова, сера-космата, с огненной пастью в поле блакитном, и опять, как вечером, подползает к двери бабушка и говорит тихим глухим голосом:

«Оля, позови папу».

И сон ей нехороший приснился.

Ей приснилось, будто весной идет она по саду к пруду, а в высокой траве в очерете мужик стоит — коса на плече, лох-

матый, один глаз с бельмом. И показалось Оле, что вот сейчас бросится из травы на нее мужик с косой — —

Тут она и проснулась.

И после едва уж заснула: всё боялась — всё ей казался лохматый мужик, коса на плече, глаз с бельмом.

А чуть только утро забрезжило, отец разбудил Олю и повел в комнату к бабушке... Там была Ирина, и Лена, и Миша, и еще был ватагинский батюшка о. Евдоким с дьячком.

Бабушка сидела на постели белая, вся в белом, держала в руках свечку.

— Поцелуй, Оля, руку у бабушки! — сказал отец.

Бабушка дрожащей рукой перекрестила Олю.

Александр Павлович сел на кровать рядом с бабушкой и, поддерживая свечку в руке ее, сказал:

— В руки Твои, Господи, передаю дух мой!

3.

Среди дня, когда дети играли в любимую игру — лепили из песку пасочки, позвали их из сада и повели в залу —

— Поклониться бабушке, которая померла.

Вся в белом лежала бабушка на столе наискось от камина с бронзовыми узорными часами против чудотворной Ильменевской Божьей Матери: в руках — крест, а лицо кисеей закрыто.

Мухи садились на руки и на лицо бабушки.

Нянька Фатевна отгоняла мух.

Весной, когда умерла младшая сестра Таня, Оля никак не могла понять и всё спрашивала: как это так: бабушка старая и живет, а Таня маленькая и умерла?

«Но вот и за бабушкой, значит, пришел черед, — решает Оля, — только лежит бабушка в белом, а не в голубом платьице, как Таня, и нет на глазах пятачков, а у Тани пятачки клали!»

Золотой быстрый зайчик бегал по бабушке, играл на кресте и по венчику и только на закате вдруг ускакал на камин, юркнул в узорные бронзовые часы и больше не показывался.

Нянька Фатевна положила бабушке под голову все зубы ее и поставила стакан с водой в головах у бабушки.

— Чтобы бабушкина душа купалась! — объяснила старая нянька Оле.

Оля не сводила глаз со стакана — бульбульки подымались в стакане — и Оле представлялось: бабушкина душа купается —

«Ишь, ныряет в стакане!»

Много народа съехалось в Ватагино, полным-полно в Ильменевских флигелях, все комнаты заняли.

Приехала из Меженинки любимая бабушка Татьяна Алексеевна, а из города дядя Алексей Иванович — брат Натальи Ивановны — доктор, приехали тетки — сестры Александра Павловича — Людмила Павловна и Надежда Павловна, и соседи Боровые, Лупичевы, Сахновские, Грачи, и чудной лубенецкий старичок Ксаверий Матвеевич с Александрией Кенсориновной на своих на апостолах, как величал чудак волов, и такие родственники и такие знакомые, которых Оля сроду не видывала и о которых ничего не слышала.

А как несли, всю дорогу звонили: звон такой — плачет, а всё б его слушал, так за сердце хватает. Поставили бабушку посреди церкви и ушли.

А церковь заперли.

Оля всё беспокоилась и всё просила, чтобы скорее бабушку в могилу зарыли —

«А то бабушке страшно одной ночевать в пустой церкви».

На следующий день хоронили бабушку.

Оля плакала: ей жалко было бабушку.

— Не плачь, Олюшка, — утешала нянька Фатевна, — увидишь ты бабушку обязательно, как сама помрешь, придет твой черед, и бабушка тебе обрадуется. А пока что бабушка станет о тебе Богу молиться.

Оля успокаивалась и переставала плакать,

— Что же ты не плачешь? — замечала нянька Фатевна, — поплачь, Олюшка, обязательно! А то душа бабушкина увидит, что ты не плачешь, и подумает, что тебе не жалко ее, и ей станет обидно.

И Оля много плакала, — старалась не развлекаться.

Похоронили бабушку рядом с дедушкой возле церкви — на цвинтаре, там, где много крестов — крест ко кресту — Ильменевские.

4.

Не было бабушки — пусто было в ее комнате.

Не приходил зайчик, не приносил конфет.

Не было и стола, на котором бабушка лежала белая, вся в белом. И белым было закрыто зеркало над камином.

Горела лампадка перед чудотворной Ильменевской Божьей Матерью, да узорные бронзовые часы на камине ходили.

— В день смерти бабушки, — рассказывала нянька Фатевна, —приснился бабушке сон, будто входит к ней в комнату девочка — в руках белый платочек; и знает бабушка: пришла эта девочка, чтобы в белом платочке унести ее душу.

— Каждый человек всякую минуту умереть может, — сказал отец Оле.

И Оле страшно смерти —

«Придет черед, придет девочка — в руках белый платочек: и все комнаты, все флигеля — весь дом опустеет».

Старая была бабушка Анна Михайловна, из комнаты не выходила, всё сидела у себя на постели, а нянька Фатевна еще старше, хоть и ходит всякое лето пешком на богомолье.

Оля слушается няньку Фатевну: говорили, что Фатевна в с ё з н а е т.

По субботам нянька Фатевна моет детей в ванне.

Когда мылит голову Оле, что-нибудь непременно расскажет: рассказывала нянька, что сама она шестьдесят уж лет головы не моет —

«Потому что не полагается мыть головы, когда замуж выйдешь, — грех замужней женщине хоть на один час простоволосой остаться».

И еще рассказывала, что живет она так долго и еще проживет много, потому что почитала своих родителей.

— А ты, Оля, — говорит нянька Фатевна, — так долго не будешь жить: мамы ты не слушаешься, всё-то на мельницу бегаешь.

— Седьмой год живу на белом свете! — возражает Оля и, кулачками протирая замыленные глаза, говорит пресекающимся голосом: — а зайчик, который бабушке конфеты носил, тоже помер?

Бочоночек

Оля, если усядется на старую ильменевскую кушетку «утешительную», ноги ее далеко не достают до края, так что и еще одному свободно поместиться можно, такая она еще маленькая.

Кукол Оля не любит, а подарят ей куклу, отдаст другим детям, сама не играет.

Всю любовь ее забрали себе маленькие всякие вещицы, такие разные чашечки маленькие, коробочки, бочоночки, — и с ними Оля играет, как в куклы, прячет, перекладывает, хранит.

Эти драгоценности свои хранит Оля в большой черной шкатулке — любимая бабушка подарила! — в шкатулку же складывает она и подарки — коробки с конфетами, их у нее тихонько отбирают, и Оля не догадывается, не замечает! — и в эту же шкатулку на масленице Оля и блины положила, чтобы ее блины лежали —

— «Все вместе!»

А есть у Оли особенно любимые вещицы, с ними она редко когда расстается, и все с собой таскает, любимые.

2.

Была Оля в гостях у соседей, вернулась домой, хвать, а любимого бочоночка и нет — нету бочоночка, забыла! — и сейчас же назад собралась.

Бочоночек там, она знает его, она живо пробежит за ним, и опять он с нею будет, маленький ее бочоночек.

И уж сбежала Оля с крыльца через двор бежать — —

На двор забежала собака, да не какая, а бешеная — бешенка! — и по двору поднялся такой шум и гам, так все переполошились: детей уводили в дом, и Олю нянька Фатевна потащила за собой назад в комнаты.

Как перед грозой, затворяли окна.

И все двери были заперты.

Жутко на дворе выли собаки.

Жутко на дворе было, и посмотреть страшно.

На вой сбегались со дворов собаки, а бешеная с ними управлялась: бешенка к а т а л а собак — она набрасывалась и рвала их зубами — опрокинет собаку наземь и опрокинутую рвет, только шерсть летит!

Кубарем катались собаки — на голову визжали от бешеной боли, визжали клокочущим раздирающим визгом!

Бешеный визг и вой стоял по двору.

Куда и думать было и не только выйти во двор, а и нос показать за дверь — по самому важному делу едва ли кто бы решился выйти из дому!

Были отряжены люди на село за мужиками, и теперь дожидались: придут мужики с кольями, прикончат собаку.

Но как же тут быть, как Оле так долго оставаться без ее любимого бочоночка?

Ждать она не хочет — ей сейчас его надо!

И ну Оля плакать, да как — —

Оля такая: если чего захочет, так ей и подавай сейчас! — на пол ляжет, на полу об пол руками и ногами бьется — изволь подать!

У Ильменевых сидели гости.

И всякий тут, как мог, уговаривает Олю и утешает: о мужиках толковали ей, вот придут мужики с кольями и тогда хоть куда, а то всё равно никто не пойдет за бочоночком, никто не согласится, все люди попрятались.

— Нельзя!

— Невозможно!

А Оля слышать ничего не хочет: на полу бьется об пол, плачет, да как! — давай и давай ей бочоночек, достань его сейчас — —

— Бочоночек!

И вот Александр Павлович, — любил он Олю! — взял палку, поднял с полу на руки к себе Олю — Оля так и охватила его за шею, куда девались и слезы! — и пошел с ней из комнат, отпер дверь, вышел на крыльцо и во двор прямо —

И тотчас бешенка, бросив собак, кинулась на него.

3.

Дорога от крыльца до калитки показалась Оле такой долгой, как от крыльца до церкви, нет, еще длиннее, как от крыльца до мельницы —

Очень, очень страшно было Оле.

Палкой отбивался отец, отшвыривал собаку, так и шел — палкой совал собаке в горло, засовывал ей в самое горло.

Задыхалась собака — отставала и вдруг снова накидывалась, и еще бешенее и злее еще.

От страха всё крепче и крепче хваталась Оля за шею отца, стискивала ручонками, и так крепко, что он и кричать не мог на собаку — Оля душила его.

И не догадываясь — не замечала! — Оля думала:

«Папа ничего не боится, и только ей, Оле, очень, очень страшно!»

Долгая дорога от крыльца до калитки окончилась — Александр Павлович вынес Олю за ворота.

И скоро в руках у Оли был опять ее любимый бочоночек.

А тут и мужики подоспели: несли мужики колья на бешеную собаку.

Ошибки

Оля пишет правильно: не делает ошибок.

По русскому языку Оле всегда пять.

Учительница Наталья Васильевна и любит Олю именно за то, что пишет она правильно.

— А почему она пишет правильно?

Этот вопрос задает себе Оля, сама же придумывает и объяснения, — и одно из объяснений кажется ей самым верным.

Еще в раннем детстве часто бывали у Оли бессонницы, и вот, бывало, лежит она ночью в кроватке, не спит, и для развлечения разлагает слова —

ко-ро-ва
та-рел-ка
мед-ведь.

«Наверно, — решает Оля, — я тогда по ночам все слова разложила и оттого все слова и пишу правильно».

И у кого угодно Оля заметит ошибку.

А ведь она еще только в третьем классе.

А лет ей одиннадцать.

2.

Подходят праздники — Рождество. Оля мечтает домой: в городе живет она в пансионе, а все там — в Ватагине.

Оля ждет — вот приедут за ней.

А нет, приехал за Наташей Григорьевой ее брат — Григорьевы в трех верстах от них, — а Оле письмо от матери.

Пишет Оле Наталья Ивановна, что Юрий Васильевич Григорьев привезет ее в Ватагино: она об этом его просила.

Прочитала Оля письмо и заметила в письме две ошибки.

— Две ошибки!

Наутро пошла Оля в гимназию за отпускным билетом.

А начальница ей никакого билета не дала — отпускать домой не хочет.

— Я не могу вас отпускать с чужим молодым человеком! Если бы вы мне представили какое-либо удостоверение в виде ли письма вашей матери или от вашего отца, что они разрешают вам ехать с ним, тогда бы я вас отпустила.

У Оли сердце упало.

А в кармане лежит письмо: если она его покажет, начальница сейчас же даст ей отпуск, и завтра она будет дома, поспеет как раз.

«Но ведь в мамином письме две ошибки! Начальница заметит, что моя мама сделала две ошибки. Нет, ни за что!»

Так и не показала.

И осталась без отпуска.

Вернулась Оля в пансион — все разъезжаются по домам: за кем отец приехал, за кем мать, кого по письму.

Одна Оля остается.

И весь день и ночь и следующий день и ночь Оля проплакала.

В сочельник пришла в пансион тетка Марья Петровна и взяла Олю к себе: она только что узнала, что домой Олю не отпустили.

И у тетки Оля проплакала весь день; глаза от слез — красные, опухли, нос покраснел и опух.

А всё плачет.

— Да отчего ж ты письма-то не показала! — возмущалась Марья Петровна.

— Там — — две ошибки.

И опять, как вспомнит дом — зажжена елка, все сидят... любимая бабушка рассказывает о волхвах, как волхвы со звездой путешествовали, и всякий раз представляется Оле, что волхвов много и все они женщины, несут звезду на руках и звезда им путь освещает! — как вспомнит — и в слезы.

Только к вечеру успокоилась — зажгли теткину елку.

3.

Наутро в первый день Рождества приехал Александр Павлович: целую ночь ехал он на почтовых из Ватагина.

Как бросилась к нему Оля — как ей было всё близко, свое: и тяжелая николаевская шинель, и седая голова отца, до которой она едва допрыгивала, и эти глаза! — Оля завизжала от радости.

Ну — — и ехать.

Не дождавшись обеда, поехали домой.

Дорогой Оле было не по себе — не могла она на санях ездить — очень измучилась.

И под конец укачало — заснула.

А проснулась оттого, что лошади громко фыркнули.

Да они уж у крыльца.

В окне елка горит — —

А на крыльце Наталья Ивановна, любимая бабушка, нянька Фатевна — все стоят, вышли, поджидают Олю.

Оля выскочила — и опять ей радость! — чаю попросила, а уж чай готов с лимонным вареньем.

«Мама поняла, что со мной дорогой делалось!» — пила Оля чай из своей любимой чашки с лимонным вареньем.

Тут и соседские дети пришли.

Много бегали они вокруг елки.

Много им всяких сластей дали.

А самое любимое они сами себе сделали: на свечке жгли сахар, и получались конфеты — им это очень нравилось и только редко позволялось — но какие вкусные конфеты!

На ночь Олю перекрестил отец, мать и бабушка.

Отец сказал:

— Христос с тобой!

Мать сказала:

— Ангел-хранитель над тобой!

А бабушка пошептала:

— Свят, свят, Господь!

И когда Оля лежала в постели под любимым одеялом, нянька Фатевна что-то по углам смотрела:

— Надо все лампадки зажечь. Сегодня нечистая сила злая: ей досадно, что Христос родился.

И проходя, тоже перекрестила Олю.

И Оля заснула крепко, заводя носиком счастливую песню.

Пасха

Коса у Оли довольно большая и с голубой ленточкой.

Если спросить Олю, что она больше всего любит, Оля так и ответит:

— Пасху.

Так и считает свои дни от Пасхи до Пасхи.

За одиннадцать лет много она чего знает, и всё знает, что нужно на Пасху.

Когда посадят торт в печку, Оля ложится и плачет в подушку — так надо немного поплакать, и торт выйдет хороший.

Когда всходят куличи, Оля по комнатам не ходит, потому что не хорошо куличу, если ходят — можно босиком и то разве при крайней нужде.

С куличами большая забота: не удадутся — выйдет внутри пустышка, и уж в этом году, так и знай, в доме непременно умрет кто-нибудь, — с куличом держи ухо востро!

Во всем, что бы ни делалось — во всех пасхальных приготовлениях Оля принимает самое большое участие.

Оля смотрит, как старая нянька Фатевна бьет тесто перед тем, как сажать его в печку: как захватит его из квашни да бросит на доску, да раз бросит, да в другой бросит, да в третий — Фатевну и тесто слушает!

Оля помогает раскладывать свежие куличи на подушки — свежие куличи непременно надо класть на подушки!

Делает «красивые» бумажки под торты.

И еще многое множество всяких дел переделает, нужных для такого красного дня, от которого Оля все свои дни считает.

Одно не дается — никак не может Оля отделять желтки от белков.

Да еще не дают Оле растирать лопаточкой творог в макотре: прошлой Пасхой растирала, растирала, дно у макотры и отскочило.

— Я говорила, что из нашего полку не будет толку! — сказала тогда нянька Фатевна.

Ну да что, со временем и эти мудрости Оля постигнет, — смышленая она девочка, умница.

2.

Вербная неделя на исходе.

Пройдет еще день, два, и распустят на Пасху.

Из дому Оля получила письмо: и отец, и мать одно пишут, что не придется Оле приехать домой в Ватагино.

«Дорога испортилась — сильный разлив — приехать нельзя!»

Очень это Олю взволновало: никогда еще не проводила она Пасху в городе и представить себе не может, какая тут Пасха! — она знает и любит свою ватагинскую, ее и дожидается, о ней и думает.

*

Вот наступит Страстная неделя — день за днем вся неделя в какой-то горячке.

А в великую субботу уж такое подымется, такая суматоха, нет никакого порядка: успел перекусить — хорошо, не успел — пеняй на себя! — уж очень всем дела по горло.

И придет, наконец, вечер субботы.

Все дети ложатся спать до одиннадцати, а ровно в одиннадцать нянька Фатевна всех разбудит; пора собираться к заутрене.

Когда Оля, нарядная, в белом платьице с голубой ленточкой, проходит по залу, ей страшно —

В углу пред чудотворной Ильменевской Божьей Матерью лампадка горит — одна лампадка освещает огромный зал.

Посреди зала от фортепиано до камина с узорными бронзовыми часами белый стол, убранный цветами.

На столе куличи и паски:

паска белая,
паска коричневая,
паска большая,
паска маленькая,
еще поменьше.

И торты:

песочный торт,
масляный торт,
бакалейный торт,
шоколадный торт,

хлебный торт,
миндальный торт;
и щетинистый окорок,
и индюк, начиненный белой кашей с миндалем,
и телячья нога;
вина, наливки:

розовая,
кружовенная,
барбарисная,
сливянка желтая,
сливянка красная.

И, наконец, — поросенок.

Оле страшно поросенка.

Как войдет она в залу, поросенок ей так прежде всего в глаза и бросается: лежит поросенок важно на блюде прямо под люстрой, и во рту у него хрен.

Почему Оля поросенка боится, она и сама сказать не может, но всякую Пасху, как проходит по залу, его-то именно и страшно: лежит поросенок на блюде, а во рту хрен.

Всем домом пешком отправляются в церковь — в эту ночь ездить нельзя: впереди с фонарем кучер Григорий, за Григорием Миша и Лена, за Мишей и Леной Наталья Ивановна с Ириной, за Натальей Ивановной ключник Федот Кривой и камердинер Федот Прямой, за Федотами с узелком нянька Фатевна, а далеко впереди — впереди всех Оля и с ней Александр Павлович.

И во весь путь замирает сердце:

«А что если в этом году, — думает, Оля, — не так будет? Вдруг да не будут петь "Христос воскрес"»?

Возле церкви бабы сидят — на голове белые намитки длинные, как саван.

И куличи, и поросенки, и паски, принесенные в церковь святить, белым холстом покрыты, возле баб лежат.

Оле вспоминается, как сказал ей однажды отец и не раз говорила нянька Фатевна, будто в Пасхальную ночь мертвые встают из гробов.

Оля всматривается в баб — —

Да это вовсе не бабы, а мертвые — покойники с кладбища сидят у церкви!

И хочется Оле поближе взглянуть, и жмурится от страха.

В крестном ходу Оля идет рядом с ватагинским батюшкой о. Евдокимом, а за ним с народом — с мужиками и бабами идут и мертвые, покойники, и покойница бабушка Анна Михайловна, и сестра Таня.

Оля знает, слышит — шаги их сзади чувствует — их много в белых саванах: и старые в белом, как бабушка, и маленькие в голубых платьицах, как Таня —

И только сердце стучит.

И когда крестный ход проходит мимо могилы бабушки, свечка у Оли, как сердце — и в колеби свечи она видит: могила бабушки раскрыта стоит.

Такой был обычай в Ватагине: ильменевский кучер Григорий в пасхальную ночь представлял дьявола.

Он один оставался в церкви во время крестного хода и, став у дверей, изо всей силы припирая плечом, держал двери, чтобы не пустить обратно крестный ход в церковь. Но лишь только на паперти скажет батюшка: «Да воскреснет Бог», а за ним в первый раз запоют «Христос воскрес», тут не выдержит дьявол, обессилит, скорчится весь и, отпустив двери, опрометью бросится через церковь да куда-нибудь и проскочит —

Распахнутся двери, и со светом свечей хлынет:

— Христос воскрес!

Оля плачет — не замечает слез — видит она такой светлый радостный свет, чувствует, как охватил этот свет ее сердце, всю душу, всю ее, и не может не плакать —

— Христос воскрес!

— Олюшка, — шепчет ей на ухо нянька, — какое у тебя личико светлое, Олюшка, Христос воскрес!

А кончится заутреня, отстоят обедню — и домой.

Впереди с фонарем кучер Григорий, за Григорием Миша и Лена, за Мишей и Леной Наталья Ивановна с Ириной, за Натальей Ивановной ключник Федот Кривой и камердинер Федот Прямой, за Федотами сзади всех с узелком нянька Фатевна!

А Оля с отцом опять далеко впереди.

И много обгонят они мужиков и баб — с куличами, поросенками, пасками.

Чуть только брезжит — в хатах огоньки горят.

Дома ждут батюшку — весь дом освещен — ждут не дождутся.

И, наконец, приезжает о. Евдоким, святит паски, христосуется.

А Оля давно успела перехристосоваться, и не только с домашними и со всею прислугою, а и с цветами, и с любимыми коробочками, со всеми книгами, кроме... географии — она нелюбимая.

О. Евдоким отрежет себе кулича и паски, первый попробует, и тогда всем можно — тогда начнут разговляться.

«И как это батюшка не лопнет!» — думает Оля, глядя на о. Евдокима, который всего должен первый попробовать, и не только у них, но и у всех соседей: и у Боровых, и у Лупичевых, и у Сахновских, и у Григорьевых, и даже в Лубенцах у чудного старичка Ксаверия Матвеевича.

А как весело проходит первый день!

Хорошо на первый день качаться на качелях, прыгать на досках, катать яйца — —

Целый день звонят в колокола.

*

Оля знает, что только для пасхальной ночи — для первого дня она и на свете живет.

И разве может Оля в эту ночь не быть дома в Ватагине? Разве может она остаться здесь в городе, в пансионе, где за зиму всё надоело?

Нет, Оля знает и одно себе твердит — непременно поедет.

И уж так будет рада, так рада, что и с географией похристосуется!

Чувствует Оля свою вину перед географией.

Прошло Вербное, прошли три первые дня — понедельник, вторник и среда Страстной недели — говела Оля и причащалась — пришли и Страсти.

Никто за Олей не едет.

И вот когда, кажется, не оставалось никакой надежды, в Великую субботу утром приехал сосед Ильменевых Сахновский, зашел в пансион Линде — и Олю с ним отпустили домой.

3.

Всё было готово, и стол был убран, когда приехала Оля в Ватагино.

И ей оставалось только проверить, так ли всё сделано: так ли яйца покрашены, и какие куличи и паски, и какой поросенок.

— Не ожидала ты, что приедешь на Пасху?

— Нет, мама, я наверное знала, что приеду.

— Сердце лучше знает: и ни словами, ни письмами его не обманешь! — сказал Александр Павлович, любуясь на свою сероглазку.

И когда пришла ночь, всё случилось так, как и прежде.

Как и в прошлые годы, проходя по залу, Оля забоялась поросенка, а по дороге в церковь очень волновалась, что вдруг да не будут петь «Христос воскрес», виделись ей мертвые, покойники у церкви, а на крестном ходу в колеби свечи раскрытая могила бабушки, и опять, как запели в первый раз «Христос воскрес», от радости плакала, а нянька Фатевна шептала:

— Олюшка, какое у тебя личико светлое, Олюшка, Христос воскрес!

Оля решила во что бы то ни стало не пропустить восход солнца.

Нянька Фатевна ей рассказывала, что на первый день Пасхи солнце особенно восходит:

— Ясно видно на солнце, как Христос из гроба встает, а то, как Христос возносится, а то просто крест из солнца выходит.

И вот когда разговелись и уехал о. Евдоким и весь дом спать улегся, Оля поднялась в башню, где библиотека, и села у окна ждать солнца.

И показалось солнце —

красное —

золотое —

весь сад загорелся, все птицы зачирикали.

Поднялось солнце над садом, стало прямо против башни — —зарябило в глазах у Оли.

И Оля ничего не увидала.

Пошла Оля к няньке, разбудила няньку Фатевну.

— Что это значит, ничего я на солнце не увидала?

— А ты, верно, в ту самую минутку глаза зажмурила, — сказала старая нянька, — а я так вот видела: Христос из гроба вставал, Олюшка.

Поверила Оля Фатевне.

«Христос из гроба вставал!»

И не долго печалилась.

Уж на будущую Пасху Оля все глаза проглядит — она увидит! и пускай слезы градом текут, не сморгнет, не зажмурит глаз! — она всё увидит.

Черная бабушка

Оля — шалунья из первых, кажется, смирно минуты не посидит, так и распустит свои крылышки — начнет кричать да кружиться по залу, никакими силами не остановишь, всю гимназию на ноги подымет.

Ну и сердитая тоже.

— Когда осержусь, я стану как платье! — не раз сама говорила Оля еще до гимназии и при этом показывала на свое любимое красное с черными мушками фланелевое платьице, — вот я какая!

Самый любимый учитель — Яков Степанович Феофилактов, физик, преподававший в четвертом классе географию, — такой был обычай в Покидошенской гимназии: учителей физики заставляли преподавать географию.

И Яков Степанович преподавал географию.

В четвертом классе проходилась Россия.

Отдавая предпочтение городам лишь губернским, Яков Степанович справлялся со всей прочей географией без затей — попросту: он рассказывал случаи, происходившие с ним, когда пешком ходил он по России с своим приятелем —

— причем приятель был знающий, а он незнающий.

Всякий раз, что бы ни объяснялось, всегда появлялся этот приятель «знающий».

Путешествуя как-то по непроходимым болотам, Яков Степанович завяз по колено в трясину. Да так, что и выбраться не было никакой возможности, а приятель знающий как на грех запропастился куда-то; а другой раз от пустяковой полспички, разведя на опушке костер, сожгли старый дремучий лес, сам же

Яков Степанович спасся под каким-то заячьим кустиком, и то только благодаря случаю.

И всё в таком роде — живо, наглядно, занимательно.

Рассказы ли о приятеле, или кто донес на Якова Степановича, будто, ударившись в воспоминания, Яков Степанович чуть ли не в четвертом классе сказал на уроке —

— что человек от обезьяны произошел!
только с некоторых пор на географии стала появляться начальница и директор.

При таком нашествии Яков Степанович, нисколько не смущаясь, вызывал самых плохих учениц, да тем и кончался урок, и никаких рассказов не рассказывалось, а задавалось повторить на следующий раз старое. Так ни с чем и уходило начальство.

Самой любимой вещицей был для Оли ее маленький глобус, хранимый вместе с коробочками, к которым Оля чувствовала какую-то особенную трогательную нежность, но Оля не любила географии и, когда ее вызывали, болтала из головы, что Бог на душу положит, но бойко и смело.

— Вот-вот, имейте это в виду! — одобрял Яков Степанович.

И не только за такое любили Якова Степановича.

«Другой, например, учитель, скажи-ка попробуй, что урока не приготовила, сейчас тебе единицу или вон из класса, а Яков Степанович никогда, только признавайся по истинной по правде, откровенно».

И правда, вот хотя бы такое объяснение частое на уроках географии.

Гимназистка не выучила урок.

— Почему не выучили?

— Ездила кататься.

— Куда же ездили?

— За Киевский мост.

— Ну, как теперь дорога? я, знаете, давно не катался! — Яков Степанович сладко потягивается: до катанья он большой охотник. — С кем же вы ездили?

— С одним знакомым.

— Вот это я люблю: ездили кататься — что за беда! кататься так кататься, а то: голова болела, зубы болели — эти отговорки.

А ведь за катанье, да еще с каким-то знакомым, в Покидошенской гимназии, где классные дамы следили на улицах, узнай

только начальница, — три за поведение непременно, а то и выгонят.

А как Яков Степанович зевал сладко, и слаще зевал он в самое неподходящее время — на экзаменах и при начальстве, когда, кажется, и парты, и стены, и стол с потолком трепетали.

Высоченный, так что гнулся, кудри светло-русые по плечи, нос раздвоенный на кончике, будто срослось два носа, и одна губа — и уж куда ни смотри и как ни заглядывай, за этой верхней губой у Якова Степановича ничего не найдешь, словно нет и не было ничего.

Яков Степанович влюбился в учительницу приготовительного класса Фаину Александровну Громову.

Уж давно это приметили, всем это известно и переизвестно. Ждали с нетерпением развязки, сами назначали день свадьбы и готовились всем классом поздравить, и вдруг Яков Степанович объявляет:

— Сегодня я у вас в последний раз или предпоследний. Я уезжаю.

— Как? — подымается класс.

— Уезжаю.

— Останьтесь! — кричат. — Не уезжайте, Яков Степанович.

— Нет, не могу, — Яков Степанович взлохмачивается и так подпирает кулаками себе скулы, что не только что глаз, даже носа, раздвоенного на кончике, и носа не видно, лишь торчит единственная одна губа да рыжая борода колом, — не могу, в некоторых местах нельзя человеку оставаться, если тебя не понимают, если тебя отвергают.

— Останьтесь, мы вас понимаем! — кричат гимназистки.

Для всякого ясно: конечно, Яков Степанович объяснился с Фаиной Александровной и получил отказ.

— Нет, не могу, я уезжаю, — стоит на своем Яков Степанович.

— Не уезжайте, останьтесь, не уезжайте! — ревет класс и воет, и не то нарочно, не то взаправду, разобрать невозможно.

— Извините, даже и для вас не могу, извините!

Да так и ушел — целый месяц ни слуху, ни духу. Только через месяц является, и такой веселый, глаза синие так и блестят.

— Господа, я остаюсь.

И уж ни для кого не тайна, все догадались: конечно, Яков Степанович женится на Фаине Александровне. И много уроков проходит так в разговорах.

Такая была привычка у Якова Степановича: ходит он, ходит по классу, а найдется пустая парта, сядет.

Когда Яков Степанович садится перед Олей, Оля начинает его изводить: тихонько поймав на карандаш волос, намотает на карандаш да и дернет.

Бедный Яков Степанович то и знай почесывается, а на другой день смотришь: кудри разлопушены — голову мыл! — на блоху, значит, погрешил.

*

Самый страшный учитель — Филимон Петрович Курапов, историк.

Никакие уловки и увертки ни к чему не приводят.

Одна гимназистка попробовала обморок представить, так он только со стула встал.

— Да не представляйтесь вы, идите на место! — только и всего.

Ну та и пошла.

А какие единицы ставит он сочные да усатые — так во всю клетку! — ножом не выскоблишь, и за сущие пустяки.

Одна назвала папу Льва X —

— Папа Лёва X.

— Единица.

Другая сказала, что в Турецкую войну мир был заключен —

— В Стефане Батории.

— Единица.

Третья, рассказывая про Юлия Цезаря, не передохнула, где это следует:

— Среди заговорщиков, — рассказывала гимназистка, — Юлий Цезарь, увидев облагодетельствованного им Брута, воскликнул: «И ты, Брут, завернулся в свою тогу и упал мертвый к подножию Помпеевой статуи»!

— Единица.

Когда, объяснив урок, Филимон Петрович садится и, поправив свои седые вихры, весь уходит в журнал, все холодеют и такая тишина наступает — не только муху, самую что ни на есть

маленькую невидимую мушку слышно, и в эту-то страшную минуту Оля надувала щеки и хлопала по ним кулаками.

И хоть ты там весь стол карандашом простучи — а Филимон Петрович в таких случаях всегда по столу карандашом стучит — всё равно не узнаешь, откуда такой звук щёкный.

*

Учится Оля хорошо, понятливая.

Понятливости ей не занимать стать. Еще когда младшую сестру Лену — Лена на три года младше Оли — отнимали от груди, Оля, прослышав, как бабушка советовала матери намазать грудь горчицей с медом, принесла Лене тряпочку, чтобы та грудь вытерла.

— А то горько будет.

Толково сделает разбор, толково расскажет, — всё у Оли в памяти, никогда не зубрила, и дается легко, диктанты без ошибки пишет и любую задачу решит.

Гроза гимназии — учительница арифметики Катерина Федоровна довольна Олей.

А Катерина Федоровна, щедро раздававшая не только единицы и двойки, а и свои, ею изобретенные, нотабены, не дура была озадачить: заставить, например, задачу решить, да чтобы не как обыкновенно, а с конца — ну-ка решай.

Но Оля и с конца решит: бойко перечислит все вопросы, какие являются в решении, и не с первого вопроса, как обыкновенно, а с самого последнего до первого, в том вся и хитрость.

И все-таки при переходе из второго класса в третий Оле дали переэкзаменовку по арифметике.

Дело вот как было. Приехал ревизор и потребовал вызвать самую лучшую ученицу. Вызвали Олю. А Оля ни в зуб: накануне ее спрашивали, и само собой, в книгу она не заглядывала и объяснений не слушала. Поставила Катерина Федоровна единицу. А на экзамене такую задала Оле задачу, — общей задачи не было — решала Оля, решала, последней тетрадку подала и ничего не решила. Дали поверку. На поверке та же задача — и опять двойка. Так и назначили переэкзаменовку. И кому ни расскажет Оля свою задачу, никто решить не может. А задача-то просто-напросто была нерешаемая, такие есть задачи в задачниках.

— Это у нас особые счеты! — объясняла Катерина Федоровна учителю, который, присутствуя на переэкзаменовке и видя, как Оля всё хорошо знает, очень был удивлен, что Оля провалилась на экзамене.

*

Оля хочет учиться. Еще со второго класса она твердо решила учиться, и много.

Заболел у Оли живот, а лечила ее докторша Шрейбер, — Оля должна была ходить к ней раз в неделю, — и в первый же раз Оле очень понравилась медная именная дощечка:

Женщина-врач Фрида Лазаревна Шрейбер

Вот с этих пор она и стала мечтать сделаться доктором.

А для этого, — как она узнала, — надо много учиться.

И твердо решила учиться, и много.

Только Оля какая-то несуразная, никак не может наладиться: то опрокинет чернильницу, то воду прольет, или оступится и ударится, и всегда на таком месте, где другой целехонек пройдет, глядь — и готов синяк, а то руку обожжет или носом стукнется до крови. Ровно бы и земля ее не держит, — так всякий день и жди беды.

Когда Оля была совсем маленькой, чуть было калекой на всю жизнь не осталась.

Подали однажды самовар, поставили на табуретку, и, как нарочно, в столовой никого не случилось, только одна Оля. И вот подошла она к самовару да как-то не то толкнула, не то зацепилась, самовар-то сковырнулся да прямо на нее: все ей ноги ошпарило.

«И как стали чулочки снимать, так с кожей вместе и сняли!»

Долго ли до греха, как еще ноги-то уцелели?

Но это еще с полгоря, могло произойти и похуже.

Оля постоянно терялась.

Пойдет, бывало, гулять с кем из больших и непременно или отстанет, или вперед уйдет и, конечно, затеряется. И куда идет, сама не знает, так, на волю Божью, словно ветром несет ее. Схватятся, ищут-ищут да где-нибудь в конце концов, и совсем в непоказанном месте — либо в овраге, либо на чужом дворе, либо далеко на поле — и найдут ее.

Раз очутилась она на краю села возле еврейской хаты, дороги-то не знает, села на землю и плачет. Из хаты вышли, стали к себе звать в хату, — не идет, еще пуще плачет:

— Очень уж обиделась, зачем они называли ее Любой, — была убеждена, что имя ее все знают.

Насилу тогда отыскалась: привел домой старый еврей.

А иногда умудрялась Оля затеряться даже у себя дома: зайдет, бывало, в дальнюю комнату — Ильменевский дом старинный, огромный, девятнадцать комнат — а назад-то выйти и не может: двери тяжелые — ручонок ее не слушаются, затвориться — затворятся, а отвориться — нет, тяжелы очень, ну и заберется куда под диван или под кровать И лежит там, плачет, пока не найдут.

— Если затеряешься на улице, — сказал как-то Александр Павлович — только скажи какому-нибудь человеку, и тебя приведут ко мне, фамилия твоя Ильменева.

С тех пор Оля знает свою фамилию, и с тех пор ей не страшно, что заблудится.

«Затеряюсь, скажу фамилию, меня и приведут к папе — папу все знают»! — так рассуждала Оля, и когда терялась, уже больше не плакала, держа на языке встречному свою фамилию.

Правда, теперь в городе как будто пообвыкла, а то просто хоть за руку держи и ни на шаг не отпускай.

*

Оля большая чудачка.

— Мама, я хорошо помню, как была твоя свадьба! — не раз говорила Оля.

А когда Наталья Ивановна ей объясняла, что Оля этого никак не может помнить, ее тогда на свете не было, а родилась она через двенадцать лет после свадьбы, Оля начинала спорить: она приводила всякие мелочи из обстановки той комнаты, где она лежала спеленутая на кровати в день свадьбы.

И на самом деле, однажды Оля лежала на кровати точь-в-точь в такой комнате — тут она ничего не выдумывала — но это когда ей шесть недель было и возила ее Наталья Ивановна с собой на свадьбу в соседнее имение за пять верст от Ватагина.

Оля уверяла, что родилась на седле и что Наталья Ивановна не настоящая ей мать, а настоящая мать ищет ее, и когда Оле

будет шестнадцать лет, Оля найдет ее и еще найдет подругу себе — сестру, которую непременно будут звать тоже Олей.

— Я родилась на седле в поле и моя настоящая мама ищет меня, — повторяла Оля.

Как-то случилось, ехала Наталья Ивановна с Олей и Леной по железной дороге. Во время остановки Оля и Лена вызвались идти за водой. Наталья Ивановна позволила, но потом остановила Лену: Лена может упасть, и пускай сходит одна Оля.

Олю это страшно огорчило.

— Конечно, я же знала, не моя настоящая мама, настоящая мама и меня не отпустила бы, я тоже могу упасть.

Так без воды и остались: Оля одна не захотела идти.

Оля очень хотела, чтобы была ей Наталья Ивановна именно той настоящей матерью, которую найдет она, когда ей будет шестнадцать лет. Вот почему дома в Ватагине Оля любила немножко хворать. Наталья Ивановна становилась тогда такая добрая к ней и больше всех любила ее.

— Как настоящая мама!

Если же Оля здорова, Наталья Ивановна ее меньше любит, — так кажется Оле, — а больше всех любит Ирину — Ирина старше Оли на шесть лет — и за то, что она самая старшая, и за то, что она самая послушная, и всегда в пример Оле ставит.

Оля чудачка, да и потешная, что говорить.

Ну какую она штуку выкинула совсем еще крохотной!

Повадилась на пол садиться: усядется и сидит себе тихонько. Пробовали спрашивать, зачем так сиднем сидит? — в ответ ни слова, только лукаво посматривает, а на руки взять, — не идет, крик подымается.

А всё дело, как оказалось, вот в чем: заметила Оля, как на сон грядущий нянька Фатевна, раздевшись, засветит огарок да, засунув голову под ворот рубашки, с огарком блох ловит, и пришла Оле охота тоже перед сном блох половить, а блох-то и нет.

«Если сяду я на пол, — рассуждала Оля, — да буду сидеть тихо, придут ко мне блохи, и будет у меня блох много, чтобы ловить».

Первое время в гимназии Оля всякий день учила все уроки, все, какие задавались, и по всем предметам, хотя бы эти предметы и не числились в расписании, и носила в портфеле все учебники и все тетради. В портфеле все книги и все тетради за-

раз не помещались, Оля уминала их кулаками, и скоро сделались они мятые и порванные. На Олю стали нападать за неаккуратность, а учительница русского языка Наталья Васильевна, хотя Оля и была у ней любимая, вывела ей в четверть вместо пяти четверку.

— За мятые тетрадки.

Но что тут поделаешь, видно, так уж полагается, — такая гимназия.

И недаром, наслушавшись рассказов своей старшей сестры Ирины, приезжавшей в Ватагино из института на каникулы, Оля, еще мечтая о гимназии, представляла ее себе как раз такой строгой и взыскательной, под стать учительнице русского языка, и не без гордости толковала няньке Фатевне:

— Знаешь, няня, поступлю я в гимназию, а в гимназии-то как! зададут выучить наизусть вот такую толстенную книгу, на другой день заставят отвечать: «а» пропустишь, — двойка.

Как-то после исповеди, чтобы скоротать время — ни есть, ни пить не полагалось — гимназисток повели гулять. Оля попросилась зайти в фруктовую лавку. Был у ней всего-навсего один рубль, — этот рубль предназначался положить батюшке на теплоту. В лавке забрала она яблок, и оказалось, что они как раз рубль и стоят, и она заплатила и осталась с пустым карманом. Хорошо еще классная дама вовремя поправила дело: яблоки были возвращены в лавку, а рубль Оле.

В первый раз, когда Оля оставалась на Пасху в городе, первой стоя в паре в гимназической церкви, первая подошла после заутрени к батюшке — законоучителю Аристотелеву ко кресту и всё тянулась, чтобы похристосоваться, но батюшка Аристотелев, считая неприличным христосоваться с гимназистками, хотя бы и младшего класса, уклонился от поцелуя, подставляя для поцелуя вместо себя крест. Раз десять Оля поцеловала крест.

Во втором классе Оля состригла себе брови и за поведение ей выставили четверку.

Ну, разве не чудачка!

2.

В гимназию Оля поступила девяти лет в первый класс. Ее хотели отдать в институт, но она подняла такой крик, что волей-неволей, а пришлось уступить, как пришлось однажды

уступить, когда на пятом году задумала Оля исповедоваться. Весь сыр-бор загорелся только оттого, что брата ее Мишу — Миша старше Оли на два года — отвозили в гимназию, а Оля непременно хотела, чтобы вместе.

С братом Оля дружила: целыми днями, бывало, играя в путешественников, вместе строили под сливой будки из досок, вместе учились у одного учителя Ивана Ильича. Как же тут не поднять крику?

Когда Олю увозили в гимназию, она обежала весь дом, весь сад и весь двор, прощаясь с каждым уголком в доме, в саду и во дворе.

В гостиной, в диванных, в кабинете, в портретной прощалась с портретами: и с тем пурпурным орлооким, чье прозвище «могучий», и с тем смуглым — черемным, чье прозвище «грозные очи», и с гордой красной панной из рода Гедройцев, и с нежной, как кипень, белой панной из рода Гастольда, и со всеми дамами и кавалерами — со всем своим родом — старыми и молодыми, в парче, в соболях с бунчуками, в бархате, в пудре, в шелках, с такими веселыми и ненаглядными и такими хмурыми, и с дедушкой в красном мундире.

В саду прощалась Оля с недостроенными будками, и с сажелкой, и с прудом, и со старыми липами, яблонями, грушами, акациями, под которыми играл дедушка, когда был маленький, и со всеми беседками, с «философской беседкой» в особенности, где живет эхо, и если покличешь, ну совсем как ты, повторит твой клик, и с оранжереями, и со статуями, и с любимыми цветами: с «угольком в огоньке», с «растрепанными барышнями», с астрами, с махровой мальвой и розами.

В конюшне прощалась со всеми конями, в хлеву — со скотом, в птичнике — с птицею, в дровотне — с дровами, где любила сидеть вечером под серебряной осокорью, в возовне и в сарае — с машинами и экипажами: с бедой, с чертопхайкой, с шарабанами, с трепыхталкой и с трундулетом, на котором помещалось душ двадцать, — заглянула на крышу сарая, где на одной ноге стоял аист, стерег Олино счастье, простилась и с аистом, подвернулся Кадо, и с Кадо, охотничьей рыжей собакой, и со всеми дворнягами, черными и белыми.

— Прощайте, — запыхавшись говорила Оля, — ваша Оля уезжает в гимназию.

И чудилось ей, все отвечают:

— Прощай Оля, приезжай скорее.

— Приеду, приеду гимназисткой в коричневом платье с черным передником.

Побежала за ворота к церкви на цвинтар на могилу к бабушке, а с цвинтара обратно через клубнику в клуню, тянулись к клуне возы с хлебом, шумела молотилка, — взяла зерна полные горсти, стала среди двора против дома с белыми башнями, оглянула далеко вокруг, высоко подбросила зерна — и в закате золотыми, как пчелы золотые, понеслись они к небу и синим дождем осыпали Олю.

И казалось, сама печь, стены дома стали за Олю.

— Прощай, Оля, приезжай скорее.

*

Оля крепкая девочка, рослая, краснощекая, коса у ней светло-русая, а брови густые и черные, точно начерненные. В первый день в гимназии проходу ей не давали и трогали-то за щеки, и тискали, и тормошили, но ее занимали вешалки — их в прихожей было так много, и так чудно можно было по колышкам рукой проводить с конца на конец.

Прасковья Ивановна Пенкина, начальница пансиона, куда отдали жить Олю, напротив, с первого же дня возненавидела Олю.

Тощая, стриженая, зеленая, вся какая-то застарелая, начальница то и дело шпыняла Олю.

Оля уроки приготовляла скоро, и возни с ней никакой не было, но всякий раз, как Оля входила в классную комнату, где занимались другие девочки, начальница выгоняла ее:

— Иди вон, корова!

Или, призвав к себе, начинала допрашивать, чем Оля себе зубы чистит, отчего они у нее такие белые, и когда Оля отвечала, что ничем не чистит, снова выгоняла ее:

— Иди вон, корова!

Олю очень обижало, что ее так называют, и не любила она Прасковью Ивановну.

Обиду Оля чувствовала остро.

В Ватагине однажды Оля и старшая сестра Ирина пошли гулять с управляющим в лес. По пути пришлось перелезать через

изгородь. Ирина быстро перелезла, а Оля — тогда еще совсем маленькая — карабкалась-карабкалась и не может.

«Такой пузырь маленький, а туда же лезет!» — смеялся управляющий и, взяв на руки, перенес.

Олю это так обидело, целую неделю проплакала, но ни за что не хотела сказать, о чем плачет.

Впоследствии обида выражалась у Оли совсем по-другому, — не в молчаливых слезах.

Но теперь даже и молчаливых слез не было, Оля старалась избегать Прасковью Ивановну. Много чего было такого занимательного в этом пансионе, и обида как-то забывалась.

По субботам около десяти, когда гимназистки укладывались спать, у Прасковьи Ивановны Пенкиной собирались гости.

Гости были все свои люди, по преимуществу учителя, учительницы и классные дамы Покидошенской женской гимназии. Все они размещались в зале, одна из дверей которой выходила в комнату, где спали гимназистки младшего класса.

Кровать Оли стояла как раз у этой двери, и обыкновенно по субботам Оля не спала до тех пор, пока не расходились гости, и ей всегда казалось их так много — негде яблоку упасть.

В числе гостей был и любимый Яков Степанович Феофилактов, учитель физики и географии с одной губой и раздвоенным носом, рассказывавший так же весело, как и в классе, про свои путешествия по России с приятелем знающим, и самый страшный учитель — историк Филимон Петрович Курапов-Топтыга, говоривший при встрече с дамами неизменно: «с почтением, с уколением!» на манер щеголеватого лавочного «здравствуйте-пожалуйста», ходового у Покидошенских приказчиков, и гроза гимназии Катерина Федоровна, заставляющая решать задачу с конца и ставившая нотабены, и три классные дамы: Марья Петровна, Марья Димитриевна, Марья Терентьевна — сухие и зеленые, чем-то напоминавшие и начальницу гимназии Марью Ивановну, и начальницу пансиона Прасковью Ивановну, хотя ни разу в разговорах ни о каком родстве их между собой ничего не упоминалось, затем батюшка-законоучитель Аристотелев, про которого говорилось, что после открытия мощей в Покидоше, он на мощах себе дом построил, как говорилось про знаменитого в Покидоше дантиста, что тот на покидошенских зубах себе дом построил.

Иногда приходил и другой батюшка, Свободин — законоучитель в младших классах. Этого батюшку в гимназии любили, а в городе не иначе называли, как Иов Многострадальный.

В одну зиму умерла у батюшки жена и сын от скоротечной чахотки, а весной утонула младшая дочь. Да при этом такая путаница вышла — нехорошо: за суматохой не разобрать, кто утонул — купались-то две батюшкины дочери, и как полезли в реку искать, побежал кто-то к батюшке и сказал, что утонула старшая Катя — одноклассница с Олей. А немного погодя приходит Катя домой, правда, одета странно: в одной рубашке и в шляпке, но он на это уж не посмотрел, очень обрадовался, словно из мертвых воскрес, подумал, никто не утонул — спутали, а тут младшую выловили и несут в дом уже мертвую. Оля была на похоронах, видела, ой, как страшно: идти батюшка не мог, а полз на четвереньках за гробом, и всю дорогу от дома до церкви и потом от церкви до самого кладбища — так ползком.

Батюшка Свободин тихий, его и не слышно, это вот Топтыга Филимон Петрович, историк, — и не голос у него совсем, а какой-то чугун-литейный.

А самым важным и желанным, но и редким гостем был учитель словесности Павел Николаевич Соловьев. Если Якова Степановича любили, а Филимона Петровича боялись, то Павла Николаевича обожали, и не только старшие гимназистки, которым он преподавал словесность, но и младшие — понаслышке.

Целых трех Павлов Николаевичей можно было бы сделать из одного Якова Степановича, притом деликатен — на учителя даже не похож, обращался к гимназисткам не иначе, как называя каждую «госпожа такая-то», золотые очки, нос с задоринкой вверх, усы и колышком бородка, никогда не ловил, никогда не доносил, а высшее негодование свое выражал лишь замечанием:

— Вы, право, пишете сочинения, как кухарки.

А попадись Филимону Петровичу любое из сочинений, вызвавшее лишь замечание Павла Николаевича, да что бы Филимон Петрович на его месте сделал?

Вот сочинение семиклассницы Нади Воробьевой: в чем выражается дружба между товарищами?

«При разлуке друзья обыкновенно умирают или сходят с ума. Это случается между друзьями молодыми и притом разного пола. Это называется увлечение. Если оно долго не проходит, то называется любовью. Конец».

Да от Филимона Петровича, конечно, пришел бы конец — уж попало бы, да не в одну, а на все четыре четверти единица да с таким вот усищем.

Павел Николаевич никакого такого усища не знал и ставил тройку с тремя минусами и около минусов точку, но так нежно, что сам другой раз при выводе за пятерку примет.

Лишь только появлялся Павел Николаевич на вечере, и в пансионе подымался щебет: щебетали вокруг него и ластились, как к идолу, и классные дамы, те три сухие и зеленые, и сама Прасковья Ивановна. И откуда такие голоса брались — переливные, перепелиные, ни в классной, ни в гимназии ничего подобного не было слышно даже по праздникам — обыкновенный классный голос известно: из души хриплый с визгом, а тут, поди ж ты?!

*

Вечер открывался самоваром, пили чай, разговаривали, потом садились играть в карты, потом ходили по комнате парами или бегали из угла в угол, — так представлялось Оле за дверью.

А на самом деле, после второго или третьего самовара и закуски, танцевали и играли в фанты и в почту. Когда же приходил Павел Николаевич, весь порядок менялся: Павел Николаевич пел романсы.

За дверью в комнате, где спали гимназистки, пение слышно было отчетливо, но гимназисткам хотелось не только пение послушать, что пение! — посмотреть, как поет Павел Николаевич, вот чего добивались.

В одну из суббот разнесся слух, что на вечере непременно будет Павел Николаевич. И решено было не спать, хоть всю ночь, а дождавшись удобной минуты, во время пения приотворить дверь в зал.

Кровать Оли представляла самое подходящее место для наблюдений, и, когда послышалась музыка, Оля, стоя на кровати и упираясь руками в дверь, тихонько толкнула ее от себя —

дверь приоткрылась и щелка пришлась как раз против Павла Николаевича.

Павел Николаевич держал в одной руке ноты, другой поправлял воротничок — готовился начинать.

А в то время, как Павел Николаевич запел

под душистою веткой сирени
с ней сидел я над сонной рекой...

— сзади на Олю стали так напирать, так теснить и давить ее, что руки ее, упиравшиеся в дверь, не выдержали — дверь распахнулась, и Оля вылетела в зал.

Что только было! — и Прасковья Ивановна, и все три классные дамы — Марья Петровна, Марья Димитриевна, Марья Терентьевна сначала-то остолбенели и на время — к счастью — языка лишились: ведь Оля вылетела в зал в одной сорочке — срам-то какой!

Задали крепко Оле.

*

В пансионе Прасковьи Ивановны Пенкиной Оля прожила свой первый гимназический год.

Самыми радостными днями и за этот год и за другие гимназические годы был для Оли приезд отца: Александр Павлович приезжал в Покидош на выборы.

Обыкновенно утром до гимназии, только-только еще с постели подымутся, завидит Оля подъезжающий экипаж, голубой околыш и николаевскую шинель отца, всё бросит — все свои книги, побежит встречать. И целует, не дает раздеться, обнимает своими маленькими, еще горячими со сна, руками — так рада, чуть не плачет от радости.

А он ей корзиночку из дому, а в корзиночке курица, маковники на меду, варенье, пастила.

— Котик мой, — скажет, — какая ты у меня большая, не по годам растешь, а по часам, — и улыбнется.

И Оле становится еще веселее: не знает, что и рассказывать, и корзиночку посмотреть скорее хочется, что в ней заключается.

Незадолго до роспуска на летние каникулы приехала из Ватагина Наталья Ивановна и, узнав о пансионской жизни

Оли, осталась очень недовольна порядками — Олю пришлось остричь под гребенку — такая была всюду грязь и никакого присмотра.

*

На следующий год Олю отдали не в пансион, а к знакомым — Берсеневым.

Берсеневы — покидошенские старожилы, и сам Берсенев одно время занимал очень важную должность, но потом вышел в отставку. Соня Берсенева — одноклассница с Олей да к тому же вместе училась музыке у одной учительницы, и Оле хотелось жить со своей подругой.

Если в пансионе Пенкиной было и не совсем ладно — а будь Прасковья Ивановна хоть чуточку поласковее, Оля, пожалуй, и привыкла бы, — у Берсеневых, напротив, всё было хорошо, одно — жутко.

Странный человек был сам Берсенев — отец Сони, а дом Берсеневых непростой.

Про дом в городе ходили слухи, что дом нечистый и что как только его покупали, непременно кто-нибудь из семьи владельцев умирал. Обыкновенно такие дома пустуют и легко переходят из рук в руки первому же покупателю. Берсеневы купили дом очень дешево.

Семья Берсеневых состояла из отца и двух дочерей: старшая Наля, уже взрослая, занималась хозяйством, младшая Соня гимназистка, был и еще сын, и дочь, но те жили в Петербурге.

Странность самого Берсенева выражалась в том, что после смерти своей жены он ни слова не говорил с детьми, с другими же с посторонними, хотя бы с той же Олей, разговаривал и даже шутил.

Наля и Соня, кстати, очень с лица похожие на отца, к этому привыкли, и установился особый способ объяснения.

Так, когда Соня затевала устроить у себя вечер, она подходила к отцу и просила позволения пригласить гимназисток и, не дождавшись ответа, уходила в свою комнату. Если наутро на рояли лежали конфеты, фрукты, закуска — это значило, что отец разрешает.

За обедом и за чаем он сидел молча и так, будто их не только не было за столом, но вообще-то они не существовали на свете,

а между тем случайно промелькнувшее в разговоре сестер желание предупредительно исполнялось им. Как-то за чаем, болтая с Олей о нарядах, Соня размечталась о теплом коричневом джорсэ, которое она непременно положила себе купить, как только у ней заведутся деньги, — на другой же день утром на рояли лежало теплое коричневое джорсэ.

Когда старшая Наля решила выйти замуж и попросила отца благословить ее, он и тут не сказал ни слова, только захмыкал носом, — а наутро на рояли лежали две иконы, свечи и деньги.

Большими глазами смотрела Оля на странные объяснения отца с детьми, но потом освоилась, перестала замечать, но того, что творилось в доме, Оля никак не могла не замечать.

Половицы старого паркета не все, но некоторые, и какими-то кругами, особенно поскрипывали даже днем, и от этого скрипа тянуло за душу, а на рояли, если его забывали закрыть на ночь, кто-то тихо играл, да как тихо! — от этой тихой игры становилось тоскливо, места не найти от тоски, куда уж спать.

Оля и Соня, перед тем как ложиться, окрещивали и завешивали все зеркала: что-то неприятное было в зеркалах, какой-то свет наполненности, и уж, конечно, страшно.

Всего несколько месяцев пришлось прожить Оле в этом нечистом доме хорошей, но странной семьи. Внезапно умерли и сын и дочь Берсеневы, жившие в Петербурге, и дом за бесценок сейчас же продали.

Наталья Ивановна вместе с младшей Леной переехала в Покидош, наняла квартиру, и месяц Оля прожила с матерью. Однако очень скоро Наталья Ивановна вынуждена была вернуться в Ватагино, а Оля переселилась в пансион двух немок — Паулины Викентьевны и Розалии Викентьевны Линде.

3.

Пансион Линде образцовый, Паулина Викентьевна и Розалия Викентьевна дамы почтенные.

Паулина Викентьевна замужняя, Розалия Викентьевна — барышня. Обе на одно лицо, обе крошечные, сутуловатые, с необыкновенно длинными носами и необыкновенно маленькими детскими губами, обе в мелких, как паутинка, тонких завивающихся морщинках, а на голове у каждой по черной кружевной наколке. Разница между ними только в том, что Паулина Ви-

кентьевна, хоть и отдаленно, но имела некоторое право носить дамский наряд, Розалия же Викентьевна если и носила, и, говорят, за сорок лет носит, то по сущему недоразумению.

У Паулины Викентьевны три сына, и все необыкновенно рослые — прямо под потолок: старшие двое — доктор и студент жили в Петербурге и лишь наезжали к матери в Покидош, младший же служил в губернаторской канцелярии и находился при матери в пансионе.

Доктора и студента гимназистки любили: в случае недоразумений и доктор, и студент всегда заступались. А младшего — канцеляриста не любили и называли шпионом: канцелярист доносил матери и тетке, когда, например, гимназистку провожал из гостей в пансион какой-нибудь гимназист, и хотя гимназистки находили увертку, говоря, что провожал вовсе не гимназист, а лакей с серебряными пуговицами, все-таки бывали неприятности.

Паулина Викентьевна не раз и не два заявляла:

— Я была хорошенькая, а Розалия Викентьевна просто красавица.

— Нет, я была хорошенькая, а Паулина Викентьевна просто красавица! — непременно возражала Розалия Викентьевна.

Паулина Викентьевна ни за что не соглашалась, подымался спор, и весь пансион помирал от хохота.

Разговорчивость нападала на Паулину Викентьевну и Розалию Викентьевну по большей части за обедом, и они охотно делились своими воспоминаниями.

— Однажды мы были на балу с Розалией Викентьевной, — рассказывала Паулина Викентьевна, — и так как мы поздно приехали на бал, а нас ждали, то кавалеры захотели нам за это отомстить, и никто нас не пригласил танцевать, тогда мы взялись друг с дружкой и стали танцевать. Это было так мило, что все кавалеры бросили своих дам и пошли танцевать с нами.

— Ах, это было так мило, так мило, Боже мой, как мило! — уж хором повторяли немки.

Кто-то пустил слух, будто Паулина Викентьевна и Розалия Викентьевна ходят в резиновых юбках.

Много об этом было разговору, но еще больше гадали: какие такие могут быть резиновые юбки — такие ли, как калоши, или как мячик? — всем хотелось посмотреть эти резиновые юбки,

но как посмотришь, если немки не только что в этих резиновых юбках, даже без своих кружевных черных наколок никогда не показывались в комнатах перед гимназистками — немки к себе аккуратные, немки порядок любят.

Но вот однажды, укладываясь спать, гимназистки подняли возню, Паулина Викентьевна и Розалия Викентьевна, не зная, что и думать, забыв всякий порядок, неодетые бросились в комнату, и что же? — у каждой — это — сразу все, и не смотревши, заметили — было по самой настоящей резиновой юбке.

— Смотрите, да они и танцевали в этих юбках! — кричала от удовольствия Оля.

«Ах, это было так мило, так мило, Боже мой, как мило!» — вспоминались слова немок, и уж ночь в пансионе не спали, надрываясь от смеха.

Раза три в году приезжал в Покидош пастор, и тогда Паулина Викентьевна и Розалия Викентьевна исчезали из пансиона.

Кто-то сказал, что когда пастор служит, немки поют.

И это показалось куда смешнее резиновых юбок: чем-то таким уморительным и невозможным, как если бы батюшка Аристотелев переоделся в офицера.

Немки крохотны, тощи, горбаты, носаты и уж никакие певицы, а у батюшки Аристотелева брюшко —пузырем, губы осметки, нос башмак и при разговоре манера — подбирать свои губы, чтобы не было видно ни одного зуба — хорош офицер!

И хохотали в гимназии во время урока, хохотали в пансионе за уроком, и на прогулке, и в церкви так вдруг, ни с того ни с чего при одной мысли о поющих немках и батюшке — офицере.

У немок — свободно. Уйти из пансиона погулять по улице можно без всяких и в любое время.

Одна из гимназисток выбегала за дверь и звонила, а другая гимназистка заявляла Паулине Викентьевне или Розалии Викентьевне, будто пришла за ней горничная, ну и отпускали. Так выходили гимназистки гулять совсем не в урочное время, а такие прогулки были верх счастья.

Весело, свободно — всем хорошо у немок, только кормили не очень, и часто гимназистки таскали из буфета черный хлеб, а за чаем уписывали простую французскую булку с таким вкусом, все челюсти трещали. Но уж тут ничего не поделаешь: пансион не дом.

— Ты сожми булку и ешь, и думай, что там сыр, а когда наешься, думай, что там халва, — научила голодную Олю шестиклассница княжна Шах-Булатова.

И Оля слушалась: изо всех сил сжимала булку и ела, — старалась думать, что там сыр, а когда съедала булку, старалась думать, что там халва.

И наука шла впрок.

К Оле немки относились хорошо, только почему-то, вообразив, будто брови у Оли не настоящие, нет-нет да и делали ей замечание, чтобы она их не красила. И хотя Оля муслила себе палец и водила себя по бровям и палец оставался совершенно чистым, — немки не верили.

*

Олю тянуло к большим, и она постоянно терлась в комнате, где занимались старшие гимназистки.

Две гимназистки-шестиклассницы еще с первого класса очень нравились Оле: Вера Сахарова и княжна Шах-Булатова.

Вера Сахарова высокая, здоровая, но такая бледная — совсем белый мрамор, огромные черные глаза и черные гладко зачесанные волосы, — Оля называла ее «красивой».

Княжна Шах-Булатова розовая, чернобровая, с золотыми вьющимися волосами, большие голубые глаза и необыкновенно длинные ресницы, вся тонкая, — Оля называла ее «красавицей».

В первые гимназические дни, встречая княжну, Оля улыбалась ей, посылала поцелуи и раз спросила, как ее звать, но княжна ничего не ответила, за нее сказала Вера Сахарова, что зовут княжну Марья Александровна.

— Марья Александровна княжна Шах-Булатова, — после повторяла Оля и на запотелом стекле выводила пальчиком:

МАКШ

Однажды, возвращаясь от вечерни в пансион, Оля встретила странника. Странник остановил Олю и дал ей белый кругленький камушек — «Богородицыну слезу» и молитву «Сон Богородицы».

— Если припишешь к молитве задуманное, — сказал странник, — и молитву всегда при себе носить будешь, задуманное исполнится.

Вечером в пансионе — это было еще у Прасковьи Ивановны Пенкиной, — Оля переписала молитву через синюю переводную бумагу, и сделала она так потому, что синий цвет букв имел, по ее мнению, какое-то совсем особенное значение. К этой синей молитве — к «Сну Богородицы» синим же приписала и свое желание:

«Господи, сделай меня как княжна Шах-Булатова»!

А приписывая желание, представляла себе Веру Сахарову — «красивую» и княжну Шах-Булатову — «красавицу», и еще как-то само собой думала и о самой умной — о своей первой учительнице Софье Евдокимовне, дочери Ватагинского батюшки о. Евдокима. Потом зашила молитву в ладанку, надела на шею и стала ждать, что будет.

Долгая прошла неделя. В субботу Оля спросила у одной гимназистки, не замечает ли она в ней какой перемены?

— Нет, — ответила гимназистка, — никакой перемены не заметно.

— Ни в чем?

— Такая же.

«Вера Сахарова красивая, — подумала Оля, — княжна Шах-Булатова красавица, ну и пускай будет одна красивой, другая красавицей!» — и сняла с груди ладанку.

Вера Сахарова и княжна Шах-Булатова — самые отчаянные, самые оголтелые — «отпетые» во всем пансионе. По воскресеньям к ним то и дело приходили в гости гимназисты. И хотя хорошо было известно, что княжна из Москвы, где живет ее отец и мать, и что в Покидоше кроме старой бабушки у ней нет никого, все-таки какие-то братья появлялись и торчали в приемной комнате весь день, пока немки не выкуривали их, да и то с помощью «Марша русских добровольцев». В приемной стояло пианино, и туда-то посылалась одна из младших гимназисток, гимназистка должна была играть этот «Марш русских добровольцев», и тогда само собой гимназисты отправлялись по домам.

— Послушайте, — сказала как-то Паулина Викентьевна княжне Шах-Булатовой, когда уж, видно, подозрение взяло верх над добродушием, доверчивостью и деликатностью немки, — ваш брат то блондин, то брюнет, то шатен?

— Очень просто, — нашлась княжна, — утром он шатен, в полдень блондин, а вечером — брюнет.

Не всегда кончалось так просто. Бывали случаи, что без вмешательства старших сыновей Паулины Викентьевны — доктора или студента — дело не обходилось. Только и доктор, и студент — и очень хорошие, но медведи какие-то неповоротливые.

По доносу ли младшего сына-канцеляриста или по собственным наблюдениям, скорее всего по доносу, Паулина Викентьевна после «Марша русских добровольцев» вызвала Веру Сахарову и сделала ей строгий выговор, запрещая впредь принимать только что ушедшего брата-гимназиста, так как он совсем ей не брат.

Вера Сахарова на дыбы — заспорила, Паулина Викентьевна вышла из себя — загорячилась. Поднялся крик. И Вере Сахаровой пришлось уступить и сознаться.

На крик прибежал доктор, да до конца-то, должно быть, не дослышав, вступился:

— Поверьте, — сказал он матери, — ручаюсь, это действительно брат, я сам видел собственными глазами, как они на прощанье поцеловались.

И опять поднялся крик теперь уж из-за поцелуя.

На прогулках Вера Сахарова в паре с княжной Шах-Булатовой — в самом хвосте, а за ними еще целый хвост гимназистов. С гимназистами разговаривать во время прогулок не разрешается, но Вера Сахарова всегда разговаривает. Пробовали делать замечание, не слушает. И стали оставлять ее одну в пансионе, лишив всякой прогулки.

Тут-то вырывалось вон наружу всё неистовство этой взбалмошной, белой, как белый мрамор, гимназистки: сумасшедшая, бегала она по комнате, швыряла чем попало, так, ни в кого, хлопала дверьми и ругала немок на чем свет стоит.

Так как немки по-русски не всё понимали, то употреблялись выражения не то чтоб нецензурные, а все-таки и непечатные, а чем дальше, тем крепче, тем ругательнее.

Упади все ругательства на немок, и от бедных немок ничего бы не осталось — так, какая-нибудь кашица.

Взбалмошная, любила Вера Сахарова потешаться и изводить младших гимназисток: возьмет выхватит у какой-нибудь из-под носа книжку или потихоньку спрячет — и ходит та, зу-

брить ведь не по чем, просит отдать, нет, ни за что не отдаст, и только утром, когда в класс идти, подсунет.

И Вера Сахарова, и княжна Шах-Булатова любили Олю и никогда от себя не выгоняли из своей комнаты. Оля говорила им «вы», они Оле «ты», а иногда «ты-Сова» за ее большие серые глаза.

В пансионе всем было известно, что Оля очень способная и первая ученица. Зная сообразительность Оли, Вера Сахарова и княжна Шах-Булатова экзаменовали ее по русской грамматике, причем задавали ей такие вопросы, правильный ответ на которые волей-неволей, а попадал в число непечатных слов, употребляемых в сердцах самой Верой Сахаровой.

И Оля улыбалась, глядя на неистовую белую, как белый мрамор, гимназистку «красивую» и на задорную золотую княжну «красавицу», и ей было весело.

4.

Из сверстниц в пансионе Оля сблизилась с одноклассницей Мариной Заветновской.

С виду Марина — противоположность Оли: маленькая, бледненькая и худенькая, но в чем-то такая же насторожившаяся, как и Оля. Они вместе скакали по зале на переменах, вместе устраивали разные проделки в гимназии и в пансионе, а раз во время танцев, стоя визави, взяли да и поцеловались, и отбывали за этот поцелуй общее наказание, а учительница рукоделья, она же и классная дама, по прозванию Цапля, не любившая ни Олю, ни Марину, выражалась про них просто:

— Два экземпляра.

И как нарочно эта самая Цапля, следившая на улицах за гимназистками, редко не попадалась Оле и Марине, когда тайком выходили они погулять из пансиона.

— Куда идешь?! — останавливала Цапля.

— За тетрадкой.

— На лице должно быть написано, что идешь за тетрадкой, — читала нотацию Цапля, — идти надо быстрым, деловым шагом.

Марина Заветновская — особенно, но так Оля дружила со всем своим классом, хотя тетка Марья Петровна Вольская

и указывала гимназисток, с которыми Оля не должна дружить, потому что они ей не ровня.

— Теперь еще ничего, — слушала Оля, как говорила тетка Наталье Ивановне и в Ватагине, и в Покидоше, — а когда вырастут, в некоторых домах Оле бывать неприлично, вот хотя бы у Рогачевых — Рогачева живет с прокурором, или у Сабуровых — у них гостиница!

И Олю к некоторым гимназисткам не пускали. Но как раз к ним-то и ходила Оля: она просилась у немок отпустить ее к тем, к которым пускать разрешалось, а сама шла к отверженным.

В числе отвергнутых теткой оказалась и Марина Заветновская, так как отец ее был актер заезжей труппы, игравшей второй сезон в Покидошенском городском театре.

*

Город Покидош, воспетый местным поэтом, скромно пожелавшим остаться неизвестным, в некотором роде праматерь русских городов — колыбель России.

Покидош — город древний,
Построен на реке Смуреть,
Притом же с пристанью отменной...

В Покидоше, где городской голова, при открытии памятника Пушкину, заявил в своей речи покидошенским жителям, что памятник стоит таких-то и таких-то больших денег, и потому надо беречь его, как святыню, а в сквере будочник отгонял глазеющих на памятник, говоря: «Проходите, тут смотреть нечего!», где чудак-губернатор сам себе воздвиг на соборной площади мраморный обелиск с перечислением всех своих заслуг губернии, а около красовалась на столбике надпись: «Скорлуп подсолнечных и других фрукт бросать воспрещается», где полицмейстер накануне лунного затмения приказом объявлял населению, чтобы зря не смотрели на небо, если будет облачно, где исстари ловился какой-то таинственный разбойник, если не Соловью, то Савицкому и Лбову по отваге нисколько не уступавший, где строили дома на мощах, на зубах и на предметах еще более деликатных, где на пожарной каланче давно уже не ходил старик-часовой, а только всякому по привычке каза-

лось, что ходит, где в пожары били в набат и собирался весь город, как в церковь на Пасху, где барышни почти поголовно открывали в себе артистический талант и вдруг хотели сделаться актрисами, где на вечерах, когда чудак подымал вопрос важный и глубокий, пожалуй, и неуместный, в ответ ему раздавался этакий здоровый «расейский» хохот, и где, наконец, в казенном саду по весне, напившись росы с молодого березового листа, так пел соловей, что весь сад дрожал, — всё было — на все колена: и бульканье, и колыханье, и дробь, и раскаты, и пленканье, и лешева дудка, и кукушкин перелет, и гусачек, и юлиная стукотня, и почин, и оттолочка, все свисты, все трели, всякая стукота, — в тихом, мирном и пыльном Покидоше Марья Петровна Вольская играла не последнюю роль.

Муж Марьи Петровны Вольской — дядюшка Оли — отставной капитан, получавший огромную пенсию за увечье: один глаз у дядюшки был не свой, а вставной — фарфоровый. Глаза дядюшка лишился в турецкую кампанию: возвращаясь как-то домой с Покидошенского праздника, устроенного городом по случаю получения каких-то важных военных известий, он свалился с извозчика и так повредил себе глаз, ровно бы пуля в него засела.

Сама Марья Петровна, хлопотавшая в свое время о пенсии, уверяла, что вовсе не пуля, а семьдесят семь турецких разрывных гранат.

А за Марьей Петровной и весь Покидош, передавая и надо и не надо эту злополучную историю дядюшки с извозчиком, всякий раз добавлял:

— И семьдесят семь турецких разрывных гранат.

Дядюшка любил рассказывать о сражениях, как о морских, так и о сухопутных, часто вспоминал походы, битвы и штурмы крепостей. И Оля и двоюродная сестра Леночка — дочь дядюшки — с большим вниманием слушали его чудесные рассказы.

Марья Петровна — образцовая мать, примерная воспитательница.

В пять лет Леночка в любое время даже со сна без запинки отвечала на три основные семейные вопроса.

— Как твоя мама?

— Всезнайка.

— Кто твой папа?

— Всеумейка.

— А ты?

— Леночка.

И эти ответы приводили в восторг весь Покидош, и всё это было самая сущая правда.

Марья Петровна действительно всё знала: всюду и везде появлялась она на вечерах, на похоронах и свадьбах, — без нее не праздновали, не хоронили и не венчали, даже и заболевать както ухитрялись при ней, ей до всего было дело, она обо всем хотела знать и обо всем и говорила, и о всяком могла рассказать не только всю подноготную из прошлого, но другой раз и о будущем — что еще только предполагалось и далеко было от всякого осуществления. А дядюшка с фарфоровым глазом, действительно, умел удивительно ловко и тщательно склеивать разбитые Леночкины куклы, и даже в тех случаях, когда сами кукольные мастера ни за какие деньги не соглашались и наотрез отказывались.

Много сама говорившая, Марья Петровна ценила выше всего то, что́ говорят. Последним поводом, непререкаемым, стоящим вне всякого сомнения, являлось для нее это «говорят».

— Оля, что про тебя говорят! — объявляла тетка, покуривая папироску, и сейчас же передавала какой-нибудь такой покидошенский слух, который оставлял далеко за собой даже собственные теткины уверения о семидесяти семи турецких разрывных гранатах, засевших в дядюшке.

Когда приезжала из Ватагина Наталья Ивановна и останавливалась у Вольских, среди горохом пересыпаемых покидошенских новостей клином врезалось в разговор теткино «говорят».

— Представьте себе, Наталья Ивановна, Зина Раева ходит в казенный сад, и у нее скоро будет ребенок.

— Этого не может быть.

— Наталья Ивановна, говорят!

Передохнет, затянется — и снова:

— Представьте себе: Оле Богданович прислала Лиза Шалаурова солдата с письмом, а говорят, что сам Шалауров прислал.

— Что вы, Марья Петровна?

— Наталья Ивановна, говорят!

«Тетка всё говорит неправду», — думала Оля, до которой нередко долетали разговоры.

«Зачем вы говорите глупости и неправду?» — загоревшись, ударила по столу Оля, но уже много позже, когда была в седьмом классе, а теперь она только думала и замечала.

Чаю попить со сливками — любимое занятие Марьи Петровны, когда говорить нечего или не с кем.

Оле и Леночке дается чай с молоком, а себе она подливает сливок, и чем гуще и жирней сливки, тем добрее и мягче сердце, тем благодушнее расположение — а сама такая вся остренькая, как игла, и глаза маленькие, черненькие, как юлы подвижные, и непостижимо, куда идет это густое и жирное добро — сладкие сливки.

У Марьи Петровны обыкновенно останавливалась Анна Павловна, посол любимой бабушки.

Пользуясь благодушием старой меженинской экономки, Оля, а за ней и Леночка просят рассказать что-нибудь из прошлого.

За чаем Анна Павловна соглашается.

— Когда я была молодая, я была замечательная красавица, — рассказывала Анна Павловна, — у меня были огромные голубые глаза, у меня были длинные волосы, я их ботинками рвала, у меня были длинные ресницы, от всего лица отставали, и у меня был поклонник Петр Иванович. Он раз стал у меня за стулом — Анна Павловна томно поникает, — он говорит: «Анна Павловна!» Я ему говорю: «Что?» Он мне говорит: «Вы видели пожар?» Я ему говорю: «Видела». Он мне говорит: «Так вот на пожаре всякое пламя горит — горит и гаснет, но моя любовь к вам, Анна Павловна, никогда не погаснет». Он мне это говорит, а я сижу да с ресниц узелки вяжу.

В пансионе Оля рассказала историю с ресницами Марине Заветновской. У Марины ресницы были очень маленькие, и захотелось Марине точно такие иметь, как у Анны Павловны, чтобы узелки вязать.

— Какая-нибудь мазь продается, — сказала Оля, — помажешь этой мазью, и ресницы длинные-предлинные вырастут.

И где же достать эту мазь, и какая мазь: белила? — нет; политань? — политанью только котов мажут. Много думали и долго думали, и ничего не придумали. Обратились к Вере Сахаровой.

— Достать можно, — сказала Вера Сахарова и пообещала.

А дня через три маленькая баночка с какой-то липкой дрянью, как драгоценность, была в руках Оли и Марины.

На ночь в тот же день, не откладывая в долгий ящик, Оля тщательно вымазала Марину. Градом текли слезы, чихала худенькая, бледненькая девочка, и уж как ночь проспала, одному Богу известно. А наутро, как стала мазь смывать, да смыла всё — выпали и последние ресницы.

5.

Оля — шалунья из первых, о шалостях Оли все знают и в гимназии — весь четвертый класс, и в пансионе у немок — все пансионерки. Но пристальный глаз распознает, что живет Оля и еще какой-то жизнью, о которой другим ни словом не обмолвится.

Началась эта скрытая жизнь еще до гимназии в деревне в Ватагине.

Нередко, бывало, став на одном месте столбом, Оля выстаивала, не шелохнувшись, целыми часами. Ну-ка, отгадайте, чего это она стоит столбом и всё думает, насторожилась вся — и покличешь, не сразу отзовется? Да ей-Богу, никакая разгадка в ум не придет.

Представляется? — Не до того! — Оля Страшного суда ждет.

Дважды снился Оле Страшный суд.

В первый раз приснилось ей, будто в саду в малиннике многое множество народу и все стоят в малиннике голова к голове, а батюшка читает — это и есть Страшный суд.

В другой раз приснилось, будто кто-то во сне сказал ей:

«Завтра будет Страшный суд».

Этот второй сон крепко лег на душу Оли, и она, тогда семилетняя девочка, — теперь ей двенадцать — тревожилась не меньше любого взрослого.

Проснувшись, не завела уж глаз: один вопрос изводил ее, и не могла она решить, как же понимать это «завтра»? Она себя спрашивала:

«Когда же — с этого утра наступит Страшный суд или только на следующий день, завтра?»

И не могла решить.

Всё утро и весь день прошли в ожидании. А тут случилось одно событие, само по себе невинное, а в конце-то концов и без того охваченная тревогой Оля еще больше забеспокоилась.

В Ватагино приехали две соседские девочки — Лида и Аня Сахновские. Оля, занимая подруг, показывала им свои тетрадки: в тетрадях тонкими штрихами напечатаны были слова и буквы. Сама Оля писать еще плохо писала, и, если бы стала обводить пером по напечатанному, для чего собственно и предназначались тетрадки, вышло бы очень грязно. Ну размазней да кляксами никого не удивишь — и Оля выдавала девочкам напечатанные буквы и слова за свои, будто бы только-только что ею самой написанные. Лида и Аня визжали и хлопали в ладоши от восхищения, а Олю это так занимало, и она была так довольна, что на некоторое время забыла даже сон с его предсказанием.

Но стоило только уехать девочкам Сахновским, как тут-то и началось: к мысли о том, что завтра будет Страшный суд, присоединилось раскаяние, что вот она перед таким страшным днем сказала неправду.

Оля не знала, что ей и делать. Просить отпустить ее сейчас же с братом к Сахновским и там признаться во всем Ане и Лиде —

«Да нет, — рассуждала Оля, — это очень стыдно, — а если не признаться — страшно».

Что же ей делать?

Ночь, как и вчерашняя, прошла в тревоге, всю ночь не сомкнула глаз Оля, терзалась и страхом, и раскаянием. Без сна она дождалась утра — и ничего не произошло. Встала, оделась, день прошел — ничего не случилось.

«Страшный суд, стало быть, отменился!» — решила Оля, и отлегло от сердца.

И совсем было успокоилась и вчерашнюю свою плутню забывать стала, как вдруг в сумерки по дороге к их дому зазвонил колокольчик. Вскочила Оля посмотреть, кто едет — страсть любопытная — да так и замерла на месте. А ехал не кто иной, как мать тех двух девочек Лиды и Ани, сама Сахновская, и понятно зачем.

«Конечно, — решила Оля, — Лида и Аня рассказали своей маме, как вчера я их тетрадками надула, вот теперь она и едет, чтобы обо всем рассказать маме».

И, представив себе, как через какой-нибудь час, нет, меньше, через десять минут, нет, сию же минуту весь дом узнает, и все будут называть Олю лгуньей, обманщицей, просмеют все глаза,

засмеют ее на всю жизнь и ни одному слову ее не поверят да уж и не верят, Оля так и замерла на месте.

Конечно, ничего подобного не произошло, как не произошел и Страшный суд, но с этого дня мысль о Страшном суде не покидала Олю.

Как-то поутру весной вышла Оля тихонько, неодетая, в одной рубашечке на крыльцо — было тепло на воле, чуть только еще показались листочки и первая трава, маленькая, такая нежная выглядывала из земли на свет Божий — и бросилась в глаза Оле утка: переваливаясь, шла утка по двору и крякала.

«Божия Матерь, — подумала Оля, — так перед Страшным судом пойдет собирать грешников!»

Много дум продумала Оля — и как Страшный суд происходить будет, и когда он наступит, а мысль о том, что он может наступить всякую минуту, ставила ее столбом.

Вот почему, бывало, станет Оля на одном месте и стоит, не шелохнется — ждет Страшного суда.

*

К мысли о Страшном суде присоединялась мысль о смерти.

Оля рассказывала своей младшей сестре Лене, что на осокори у дровотни дед живет, у деда пять детей, одну из дочерей деда зовут Аней, и будто Оля к нему в гости ходит, а он ей с осокори яблоки бросает. Лена верила и всё просила взять ее к деду яблоков попробовать да и на самого деда посмотреть. Оля обещала спросить у деда, хочет ли дед, да всё откладывала.

Захворала Лена, было ей плохо, говорили — при смерти. И тяжелые, невыносимые дни прожила Оля, пока не выздоровела Лена.

Измоталась вся: и хотела сказать Лене, что на осокори деда никакого нет, и видела, что говорить бесполезно, так как Лене теперь не до деда, и мучилась, — вот умрет Лена, а она так и не откроет ей про деда, и никогда уж не откроет.

У Оли была еще сестра Таня, самая младшая. Таня умерла совсем маленькая. В день смерти мать сказала Оле, чтобы Оля покачала Таню. Оля не захотела, — пошла к Мише в сад под сливу будки строить. А когда вернулась из сада домой — Тани уж не было, умерла.

Тяжелые, невыносимые дни прожила Оля: зачем она тогда не покачала Таню? — а теперь никогда не покачает.

А когда умерла бабушка и отец сказал Оле, что каждый человек всякую минуту может помереть, Оля стала бояться смерти.

Она так же ждала ее, как и Страшного суда, часто не спала по ночам и плакала, но причины своих слез никому не рассказывала.

Целыми днями придумывала Оля, чем ей смерть отвратить и, наконец, нашла решение: она будет бегать, хоть и заболеет, всё равно будет бегать — смерть и не возьмет ее, умирают ведь всегда лежа. Как угорелая, бегала Оля день до вечера, трудно было к столу усадить, долго вечером приходилось уговаривать лечь в кроватку, уж, кажется, и угомонится, нет, опять вскочит, а гулять пойдет — за ней не поспеешь, так, словно на крыльях летит.

И вдруг Оля почувствовала, что этим не поможешь: бегай не бегай, а смерть придет — не посмотрит, ведь не посмотрела она, что Таня совсем маленькая, а взяла, а бабушка и ждала ее и все-таки умерла после Тани, смерть придет — не посмотрит, каждому свой черед, и Оля перестала бегать.

Нянька Фатевна не раз говорила Оле, что Оля бабушку увидит, когда придет черед, и сама умрет. Оля верила, что увидит, но это нисколько не меняло дела: сама смерть оставалась всё той же неотвратимой.

Нянька Фатевна не раз говорила Оле, что в Пасхальную ночь мертвые встают из гроба. Оля верила, и всякий раз в Пасхальную ночь ей казалось, что среди сидящих у церкви с пасками баб в белых и длинных, как саван, намитках, сидят мертвые.

Кто-то, никому неизвестный, и когда, неизвестно, приходит, отнимает у человека глаза — и глаза больше не видят, отнимает уши — и уши больше не слышат, отнимает язык — и язык не говорит, сковывает по рукам и ногам — — и ничего не поделаешь, не повернешь и не остановишь.

Сторожихой в пансионе Прасковьи Ивановны Пенкиной была, как жердь, длинная и сухая старуха Феодосья. Когда Феодосья говорила, видно было, как челюсть движется, и всегда вся в синем: юбка синяя, кофта синяя. Называли Феодосью просто «отхожей бабой». Сидела она в комнате, где стоял умывальник и висели детские платья, — комната находилась далеко от залы и спален на другом конце дома.

Как-то вечером отправились гимназистки к Феодосье и стали просить рассказать сказку, Феодосья согласилась и приня-

лась рассказывать, и всё, что ни на есть, сказки про смерть: и веселая-то она, и смешная, но больше такая, что ни за что уж никому и никогда от нее не уйти. Рассказывала Феодосья, а челюсть у нее так за каждым словом и двигалась.

Оля никогда больше не просила рассказывать и стала бояться Феодосьи, а Феодосья вся в синем, сухая, костлявая, сидела с чулком в комнате на другом конце пансиона, вязала чулок — сторожила детские платья.

*

Оля богомольная, не пропустит ни одной вечерни, ходит она в старый монастырь, куда отпускают ее одну — монастырь совсем близко. Вся грудь у Оли в крестиках и образках — их много у ней всяких: и медных, и кипарисных, на разноцветных ленточках и шнурках.

За службой Оля молится об уроках, молится о Тане, а когда мать переехала в город, молилась особенно об отце, чтобы ему не было страшно, в особенности осенью, когда деревья шумят и собаки воют.

Оля усердно молится, верует и знает, что молитва исполнится.

Еще при жизни бабушки раз захворала мать, и так тяжело, что и доктор был и приехал батюшка. Приезд батюшки с дарами в особенности подействовал на Олю. Всех детей бабушка повела из комнаты матери в залу и сказала, что матери плохо и что они должны за нее молиться. Поставила детей на колени перед образами — темно было в зале, только лампада горела. И дети молились, — кричали, просили своими словами, кричали, чтобы мать не умирала. И Оля не помнит, сколько времени она кричала — ничего не видела — ни икон, ни сестер, ни брата, и ничего не слышала — ни часов на камине, ни других, как сестры и брат молились, а когда встала с колен — мать не умерла, матери стало легче.

Оля верила и знала, что если усердно молиться, исполнится молитва и даже смерть не тронет, смерть остановишь.

*

Первая книга, которую прочитала Оля, называлась «Брось хлеб позади, очутится впереди». В этой книге описывалась история девочки Эммы и мальчика Доминика.

И вот приснилось Оле, будто лежит на столе светло-шоколадная материя, а Эмма будто говорит, что это и есть Бог. Оле так стало страшно, она и проснулась.

Нестерпимую муку испытала Оля, когда, проходя Новый Завет, услышала в первый раз о страстях. Ночами рыдала, не зная, как поправить непоправимое, и не могла примириться, что поздно, и не вернуть тех дней.

«Может быть, — думала Оля, — ехать мне в Иерусалим и там что-нибудь сделать?»

А не сделав чего-то, что поправило бы это непоправимое — как же она жить будет?

Еще до гимназии, в Ватагине, проснулась Оля ночью, — комната, где спала она, рядом со столовой, дверь в столовую была открыта, в столовой стоял огромный старинный диван, — и вот показалось, весь диван занят: лежит черт.

И когда она так подумала, что лежит черт, из столовой ясно донесся голос.

«Да, да, да!» — говорит будто черт.

А вот в пансионе у немок просыпается Оля среди ночи и слышит, как в печке заворочалось что-то и потом закурлыкало, вроде как бы индюк заворчал.

«Это черт», — подумала Оля.

Какие пошли странные ночи. Все уснут, она одна не спит. И вот однажды не было терпенья, дышать стало страшно.

— Марина! — покликала Оля — подойди ко мне.

— Что тебе? — отозвалась Марина.

— Иди.

Когда Марина подошла, страх еще больше охватил Олю.

«А что, — вдруг подумалось ей, — если это не Марина, а черт Мариной представился?»

— Перекрестись, — прошептала Оля.

— Ты перекрестись! — чуть не вскрикнула Марина: широко были раскрыты глаза ее.

Оля перекрестилась.

И Марина села рядом. Но вдруг у Оли еще раз вспыхнуло сомнение, и, читая «Да воскреснет Бог», принялась она крестить Марину.

— Я действительно Марина, я не исчезнула, — сказала Марина.

И теперь, не боясь друг друга, сидели они рядом на кровати в каком-то страшном ожидании. И вот обе ясно услышали, как на трех ногах кто-то прошел мимо, ясно слышали: на трех ногах шел.

И, прижавшись друг к дружке, продрожали ночь.

Вера Сахарова, приметив, как Оля по ночам боится, иногда ночью надевала на себя простыню и тихонько подходила к Олиной кровати и стояла неподвижно вся в белом, белая, как белый мрамор, с распущенными черными косами.

Оля знала, что это не привидение, что это Вера Сахарова — «красивая», но всякий раз, когда просыпалась, вдруг видела ее, сердце переставало биться.

Наутро Вера Сахарова уверяла, что и не думала появляться, что спала на своей кровати крепко, а что вот Оле просто всюду страхи мерещатся.

Нередко, измучившись, изморившись страхами, Оля забивалась под кровать и там под кроватью проводила ночь.

Всем было известно, что Вера Сахарова ведет дневник, и давно всех разбирало любопытство прочитать. Вера Сахарова прятала дневник, но место, куда она его прячет, было в конце концов открыто. Оставалось только ждать случая, когда можно было бы приняться за чтение. И случай такой представился. Вера Сахарова ушла из пансиона в гости и долго не возвращалась.

Оля была против чтения, уговаривала девочек не трогать тетрадки. Оля ценила, что Вера Сахарова прячет тетрадь, понимала, как можно беречь и хранить свою вещь.

У Оли тоже были заветные вещицы: кроме маленького глобуса да нескольких пестрых коробочек, был у ней самый обыкновенный карандаш, но который она хранила, как свое, только ей одной принадлежащее, и никому никогда этого карандаша не показывала. Оля представляла себе, как будет обидно и горько, если Вера узнает, что ее тетрадь трогали.

Но Олю гимназистки не послушали. Достали дневник, потушили лампу и, примостясь на Олиной кровати под лампадку, приступили к чтению.

Взяло любопытство и Олю, и как ни была она против, а подсела к лампадке. И вот на самом интересном месте, когда после описания подруг очередь дошла до Оли — «Оля Ильмене-

ва, — начала читать Гореславская, — девочка двенадцати лет очень хорошенькая» — в эту самую минуту упала лампадка.

Вся дрожала Оля, ждала себе наказания: она поступила дурно и знала, что поступает дурно, вот и упала лампадка! Да это еще что: ее скрючит, скорчит всю, как батюшку Свободина, и она не будет ходить, а поползет на четвереньках, как полз батюшка за гробом до церкви и от церкви до кладбища.

Оля долго не могла опомниться.

Страшный суд — который может каждую минуту наступить, смерть — которая может каждую минуту взять, чёрт — который страшнее всякой смерти и всяких страхов, непоправимость страстей Господних — но которую надо непременно устранить, наказание — которое непременно приходит за всякий дурной поступок, и, наконец, Бог — который может отменить Страшный суд, остановить смерть, уничтожить всякий страх чёрта, поправить непоправимое и не посылать наказание, и всё это может сделать по молитве, если молиться, как тогда, как мать умирала, чтобы ничего не слышать, ни часов в комнате, ни других, как молились сестры и брат, чтобы ничего не видеть, ни икон, ни сестер, ни брата, а только кричать, просить своими словами, — вот тайный и скрытый мир, каким живет Оля, и не обмолвится.

Мысли об этом таинственном мире отходили, прятались, но никогда не пропадали, и весь смех, шалость и потехи не затрагивали этих мыслей, готовых всякую минуту всплыть и закружить голову, а сердце заставить мучиться, а глаза плакать.

Целыми неделями задумчивая и неразговорчивая, Оля вдруг приходила в неистовую веселость, бегала, хохотала, кричала, доходя до последних шалостей и проделок, но веселость также внезапно сменялась раздумьем, и уж не слышно было Олиного звонкого голоса и веселого заразительного смеха: молчаливая, роясь в своих мыслях и мучаясь, бродила она необщительным одиноким зверьком или сидела на одном месте, как сова, уставясь серыми большими глазами, ничего не слыша и ничего не видя кругом себя.

6.

При пансионе Линде был огромный фруктовый сад, одна часть сада сдавалась, в другой занимались гимназистки.

Осенью так хорошо в садах, когда в ясный тихий день все деревья словно загораются, и так хорошо воровать яблоки — спелые, висят они самые вкусные, крепкие и румяные, и зорко следят караульщики.

Редкая гимназистка не воровала яблоки, хоть и попривезено было из дому, у каждой большой запас.

Княжну Шах-Булатову вызвали в приемную. Немного спустя она снова появилась в саду, но не одна, а с черной страшной старухой.

— Баба-яга, — сказала Оля.

— Настоящая Баба-яга, — согласилась Марина.

— Нос крючком,— рассматривала Оля старуху.

— Черная, — широко раскрыла глаза Марина.

— Ты не знаешь, Марина, зачем она тут?

— Бабушка.

— Чья бабушка?

— Шах-Булатовой.

А старуха посидела с княжной, поговорила о чем-то и ушла.

— Ты моей бабушке очень понравилась, она говорит, что у тебя лицо поэтическое, — проводив старуху, подошла княжна к Оле.

Оля только глядела на свою золотую красавицу и улыбалась ей.

Через неделю снова появилась в саду черная бабушка. Был такой же светлый хороший день, как тогда, всё словно горело и было золотым, как золотая княжна.

И опять сидела старуха с княжной, о чем-то шептались. Потом княжна поднялась, подошла к Оле.

— Бабушка с тобой хочет познакомиться, — сказала княжна.

Оля пошла за ней.

Беззубым ртом улыбалась старуха, два огромных черных клыка показывала Оле.

— Бабушка, Оля всего Евгения Онегина наизусть знает.

— Ну, прочитай мне Онегина, — старуха гладила Олю по головке, — прочитай, я люблю Онегина.

Оля читала. Старуха сидела и слушала. Оля долго читала.

— Ты ко мне придешь? — перебила старуха.

— Непременно приду, — вся закрасневшись и ясно глядя в беспокойные острые глаза, сказала Оля.

— Так не забудь же! — и старуха поцеловала Олю, а Оле показалось, будто не губы у ней, а какая то скользкая кость, и стало неприятно, отошла и сплюнула.

— Ей-Богу, ведьма, ей-Богу, ведьма! — говорила Марина, и широко раскрыты были глаза ее.

В первое же воскресение княжна с Олей отправилась после обедни к бабушке.

К обеду вернулись в пансион.

Сама не своя вернулась Оля. И вечер, следующий день и вечер, и следующий день и вечер, и все три ночи видно было, что неладное творится с ней, но только она ни слова никому не сказала и была тихая. А на третье утро, когда идти в гимназию, она не раскрыла своей шкатулки, не посмотрела на свой маленький глобус, коробочки и карандаш, только стянула крепче лифчик и рано, раньше, чем обыкновенно, вышла из пансиона.

В это время совсем неожиданно приехала из Ватагина Наталья Ивановна — Оля столкнулась с матерью у калитки.

За расспросами о том о сем Оля рассказала о бабушке. Она рассказывала, как познакомилась с этой бабушкой, как в воскресенье с княжной в гости к ней ходили, как они долго шли — бабушка жила за каланчой на краю города — какой дом у бабушки, в саду, за деревьями сразу не увидишь, как чисто и хорошо у бабушки в комнатах, какие иконы и какие лампадки, как бабушка обрадовалась Оле и угощала шоколадом и как потом княжна куда-то ушла, а Оля осталась одна со старухой.

«Оля, — сказала бабушка, когда остались одни, — ты должна посвятить себя Богу».

«Да», — твердо ответила Оля.

«Левую грудь надо отрезать и положить под образа», — сказала старуха.

Оле страшно вдруг стало, и она ничего не ответила.

«Согласна?»

Оля молчала.

«Левую грудь надо отрезать и положить под образа, согласна?» — повторила старуха.

«Согласна».

«Ну так подумай об этом и опять приходи», — старуха поцеловала Олю.

Всё это рассказывала Оля просто, как такое, что уже не тайна и что теперь рассказывать можно, и не заметила, что мать встала со стула и вся изменилась.

— Мама, я готова, я посвящу себя Богу.

*

А через год, весной, Оля утонула — едва откачали.

Катались вечером по Сугре на лодках — много было гимназисток, пристали к берегу и решили купаться. Купались хорошо, весело, а как выходить на берег, Женя Гореславская еще поплыла и попала в кручу, стала тонуть. Бросилась за ней Марина, вывела из кручи Женю, а сама осталась. Бросилась Оля, схватила Марину за руку, а Марина — под себя Олю, да на нее ногами стала и выплыла, — Оли и признака нет. Рыбаки спасли. Едва откачали.

И с тех пор у Оли глаза словно прояснились, и серые стали, как озеро воды, то зеленые, то голубые — и темные серые в черный год.

Жаркое лето

Начало лета, как только кончатся экзамены, гостила Оля в Меженинке у любимой бабушки Татьяны Алексеевны. Меженинка в семи верстах от Ильменевского Ватагина.

Хорош Егорьев день в Ватагине, а в Меженинке и того лучше: выйдет батюшка о. Василий в поле со святой водой поля кропить, а у каждой хаты уж с хлебом-солью накрыт стол, обойдут крестным ходом межи — освятится земля, благословит батюшка хлеб, и всю ночь до третьих петухов играют хороводы и за алу зарю лелейная песня льется.

Вся в венках и березках проходит русалья неделя — зеленый Семик, и жарка, что в поле алый мак, Троица. Хороша купальская ночь, знойно страдное «ладо», хороши и дожинки, а лягушки поют куда лучше ватагинских.

Когда за ярким закатом погаснет вечерняя заря и перекукует горькая кукушка, когда придет воркотун угомон, и сам черный дрозд присмиреет, и умолкнет ночной соловей, а ранний спит, не проснулся, одна шепчет ночь, и в ее звездном шепоте вот по старому пруду, заросшему ивой, круг за кругом, пойдут большие круги — начинает петь песню лягушка.

Оля боится лягушек, а песню их очень любит, а потому долго сидит на балконе, а глаза ее — к ночи, к звездам. Или это ночь и со всеми со звездами призадумалась над Олей, над своей любимой весенней звездочкой, и поет ей тоненько песню лягушиную.

И как не любить Оле Меженинку!

*

Тихо в Меженинке, благоприятно.

Бабушка Татьяна Алексеевна, ее сестра — тетушка Евгения Алексеевна да экономка Анна Павловна, вот и весь дом. Бабушка всех выше и дороднее, и очень щедрая, и чепчик на ней всегда белый, гофреный, с бантом; тетушка — одна кость, и очень скупая, и чепчик на ней без банта, а Анна Павловна самая маленькая и, как сама про себя говорит, несчастная во всех отношениях, и платок на ней темный.

Бабушка и Анна Павловна любят табачку понюхать, и только тетушка никогда не нюхала и вечно над ними подтрунивает, над табашницами.

— В старину было лучше, — говорит и бабушка, и тетушка, и Анна Павловна.

— Нынче и в Бога не веруют, — замечает тетушка.

— Кто в Бога не верует, червем ползучим поползет, так-то, сестрица.

— А я-то про что! — тетушка вскидывает темные, когда-то прекрасные, теперь грозные, большие глаза, — вот ведь что выдумала... — и себе на уме усмехается: Бог знает, уж не кажется ли ей, что это в ее огород бабушка.

— И предложения делали не так, как теперь, — говорит бабушка.

— Бабушка, как же у вас делали предложение? — спросит Оля.

— Да не так, как вам будут делать, а с уважением.

Ах, как жаль,
Что камаль
Вышел уж из моды.
Скоро шаль
И вуаль
Спрячутся в комоды...

— напевает Анна Павловна, несчастная во всех отношениях.

— Бабушка, а как вам дедушка делал предложение?

— Что ты, Оля, я уж и забыла, — и смотрит такими добрыми и ясными глазами, — а только вот помню, гадали мы на Крещенье, и вижу я себя в зеркало, а за стулом Иван Васильевич стоит. Я и говорю сестрице Евгении Алексеевне: «Смотрите, сестрица, как гаданья не верны: кого я увидела: Ивана Васильевича!» А вот всё так и вышло.

И начинаются долгие, неторопливые рассказы, и со всякими подробностями и мелочами посторонними, кто и как делал предложение. Рассказывает бабушка, за бабушкой тетушка.

— А мне генерал делал предложение, — вступает Анна Павловна, — а я ему отказала.

— Расскажите, Анна Павловна! — просит Оля.

Но Анна Павловна никак не может не жеманиться и долго не сдается на просьбы.

— Жила я экономкой у Солониновых, — наконец-то начинает она и с нескрываемым удовольствием, — приехал генерал Ольховский и говорит: «Анна Павловна, поедемте ко мне в экономки!» А я говорю: «Женитесь на мне, тогда и пойду». А он ни слова. Так ни с чем и уехал.

— Да ведь это же вы ему делали предложение, а он вам отказал.

— Да нет же, совсем нет! Как вы, Оля, не понимаете: он мне делал предложение, а я ему отказала, — и уж без всякого удовольствия, с ожесточением, слово в слово сызнова повторяет она и готова без конца повторять: — жила я экономкой у Солониновых, приехал генерал Ольховский и говорит: «Анна Павловна...» — слезы навертываются на ее жалкие глаза.

— Ну, на что пристало! — замечает бабушка Оле.— Ну, делал генерал предложение, Анна Павловна отказала...

Оля согласна, только не может никак сдержаться и улыбается.

— Бабушка!

А бабушка ровно б и осердились.

Ах, как жаль,
Что камаль
Вышел уж из моды.
Скоро шаль
И вуаль
Спрячутся в комоды...

— Бабушка, а какие у вас песни пели?

— И что тебе рассказать, Оля, не помню... — и смотрит такими добрыми и ясными глазами, — погоди, вспомнила! — и так ласково берет Олю за подбородок и начинает песню, не поет, а говорит ее, как поет, старинную, про Волгу, про молодца-разбойника, про атамана Стеньку Разина да про девицу-красавицу с золотой лентой.

— Только у нас на Волге и песни настоящие! — замечает тетушка.

— Тут какие песни, так, курам на смех! — поддакивает Анна Павловна.

— Да и песен нынче не поют, перепелись все, — покачивает головой бабушка,

— И пирогов не умеют печь, так, какие-то маленькие... — продолжает Анна Павловна, — и мнишки тут в рот не возьмешь.

(Мнишки это — творожники).

— В старину было лучше, — говорит и бабушка, и тетушка, и Анна Павловна.

Бабушка родом костромская, а попала она из Костромы в Меженинку неисповедимой случайностью. Досталась эта Меженинка по наследству дедушке Ивану Васильевичу, предок которого, важный петровский вельможа, попав в царскую немилость, сослан был в Сибирь, откуда уже потомки его перебрались на Волгу. Иван Васильевич с бабушкой и со всем домом — с дочерью-невестой и сыном — приехал вводиться во владение, захворал и помер, а тут Наташа вышла замуж за ватагинского помещика Александра Павловича Ильменева, а сын Алексей получил место в губернском городке. Так и не вернулась бабушка на Волгу в свою родную Кострому, а осталась век вековать в Меженинке.

*

Тихо в Меженинке, благоприятно.

Весной выставляют рамы, на Великом посту говеют, убираются к Пасхе, красят яйца, пекут куличи и делают паски, летом варят варенье, мочат, солят и сушат, осенью вставляют на зиму рамы, перед Рождеством убираются, как перед Пасхой, в сочельник ждут звезду, три кутьи справляют: постную под Рождество, богатую под Новый год, голодную под Крещенье; зимой жалуются на холод, летом на мух и жару, осенью на дождик.

Тихо и мирно проходят дни, день ото дня, не спеша. Вечерами на сон грядущий потихоньку друг на друга поварчивают: тетушка на бабушку, бабушка на тетушку, и тетушка и бабушка на Анну Павловну, Анна Павловна на судьбу несчастную.

Уж лет десять будет, как померла старшая тетушка Александра Алексеевна, жившая тоже в Меженинке у бабушки, лет десять будет, как бабушка и тетушка поделили сестрино добро, и хоть тетушка Евгения Алексеевна сколько раз считала потом и пересчитывала, нет-нет да и найдет на нее вроде сомнения: правильно ли поровну разделено добро покойной сестрицы Александры Алексеевны и не досталось ли больше бабушке? И эти сомнения свои выражает она вслух.

Бабушка долго помалкивает, будто и не слышит, но ее, наконец, прорывает, и она только ищет зацепку сердце сорвать.

Перед тем как укладываться, тетушка принимается за перину — перин в Меженинке горы! — и вот другой раз, как на грех, окажется, что перина-то не тетушкина, а Натальи Ивановны, ильменевская: по каким-то меткам и рубчикам заприметит это бабушка, и зацепка есть.

— А ведь перинка-то Наташина! — поддевает бабушка.

И теперь тетушка будто не слышит, помалкивает, перебивает перину.

— А ведь перинка-то Наташина! — повторяет бабушка и до тех пор повторяет, всё одно и то же, пока у той последнее не лопнет терпение.

— Ну, что в самом деле, Наташина и Наташина! Что я сделаю с периной?! — вскидывает тетушка темные, когда-то прекрасные, теперь грозные, большие глаза и горько усмехается.

Да так и улягутся, а сон всё помирит. И настанет день тихий и мирный, неторопливый, меженинский.

*

Тихо в Меженинке, благоприятно.

Чай пьют на балконе и следят за тенью и, где тень падет, там и днюют, и когда дождутся прохладной, отенит она, вечерняя, широкое бабушкино крыльцо, усядутся втроем на крылечке, посидят-посидят, расскажет которая в который раз о событии памятном и всегда с подробностями и мелочами посторонними, пообсудят это событие, также не раз пересуженное, помолчат да и ужинать.

Хороши цветы в Ватагине, а в Меженинке и того краше. Бабушка сама за цветами ходит, сама и поливает, сама и пересаживает.

Вокруг дома цветник, что Божий рай — тут и у г о л е к в о г о н ь к е — цвет красный, посередке черный, и синие и красные растрепанные барышни, и астры, георгины, петунья, портулак, резеда, пионы, анютины глазки, и мальва, и розы. И в саду у пруда много кустов роз белых и пунцовых. А есть чудесная орешня — нигде таких орехов нет вкусных, как с этой орешни. И поспевают еще беленькие яблочки, чуть-чуть с кислинкой, тоже очень вкусные, а растет яблонь только в саду у бабушки.

Как хорошо пить чай в тени под старыми липами!

Подадут самовар, вот встанет бабушка и не спеша пойдет по дорожке к дому — ключи всегда при ней — там откроет высокий душистый шкап, наберет сластей и лакомств и, также не спеша, с полным блюдом в руках, возвращается по той же дорожке к самовару, под старые липы, и чего-чего только нет на блюде: и яблок, и груш, и вишен, и слив, и конфет всяких, и орехи, и пастила, и всё такое, всего попробуй — и сыт, а так и тянет еще.

Как хорошо вечером пройтись погулять с бабушкой на цвинтар, к старым грустным крестам на могилки! А какой поднос подается у бабушки на Рождество и Пасху, на рожденье и в именины, — одному нипочем не поднять, а среди гостинцев всё самое любимое Олино, первой лакомки и самой любимой внучки. А какие книги, в каких чудесных переплетах нашла Оля в амбаре, — в амбар вынесены, стояли с незапамятных времен, — и все эти книги возьмет с собой Оля.

*

На Астия Диракийского день рожденья бабушки.

В этот торжественный меженинский день, с тех пор как Оля научилась вышивать крестиком петушков и елочки, а первый петушок удался ей в двенадцать лет, дарит она бабушке вышитую кофточку. А в это лето подарила Оля бабушке уже четвертую кофточку и подарком своим до слез растрогала бабушку.

— Спасибо, Олюшка, спасибо! — повторяла бабушка и смотрела такими добрыми глазами на свою ясную любимицу.

Справили бабушкино рожденье. Всем домом приезжали из Ватагина поздравлять бабушку и Наталья Ивановна, и Александр Павлович с Ириной, Леной и Мишей.

Справили черствое рожденье. И разъехались гости.

И Оля бы не прочь к своим, да бабушке без Оли скучно. И только спустя какую неделю, как поспеть первым беленьким яблочкам, бабушка отпустила Олю.

Поцеловавшись с бабушкой несчетно раз и очень крепко, а с тетушкой поменьше, а с Анной Павловной совсем немного — Анна Павловна какая-то холодная! — простилась Оля с любимой Меженинкой.

2.

Два старика славились в Ватагине у Ильменевых: Федот Прямой — камердинер да Федот Кривой — ключник.

Федот Прямой известен был тем, что с молодости лет изображал в Пасхальную ночь в ватагинской церкви никого другого, как самого нечистого Дьявола, что впоследствии взял на себя ильменевский кучер Григорий. Обычно во время крестного хода, когда весь народ выходит из церкви, один оставался в церкви Федот и держал крепко двери, как нечистая сила, упорно не желая пускать крестный ход назад в церковь. И только когда с паперти доносился до него возглас «Да воскреснет Бог», он, побежденный, распахивал двери и под пение «Христос воскрес» бежал через всю пустую церковь, чтобы где-нибудь, конечно, провалиться в преисподнюю, при этом так хитро и ловко вел свою игру, такие выделывал рожи, так корчился, так похож был на правдошного черта, что однажды другой Федот, Федот Кривой, нагнав его улепетывающего, не стерпел и усердия ради так хватил в загорбок, что бедняга лишь на третий день, да и то едва-едва, опомнился. Кроме этой своей ответственной роли в Пасхальном действе, и, как сами видите, довольно-таки рискованной, известен он был еще как муж няньки Фатевны, что уж совсем невероятно, и хоть помер он вот уж на Ильин день пять лет будет, а все почему-то который год повторяют, что это случилось совсем недавно, ну, третьего года.

Другой Федот, Федот Кривой, всё еще жив, живет, здравствует и помирать вовсе не собирается, а перевалило ему годов за девяносто. Известность его пошла с воли, когда не захотел

он принять волю и остался в ильменевском доме служить верой и правдой, как прежде, крепостным человеком. Все ключи от амбаров хранились у него спокон века, и никогда не бывало, чтобы какое несчастье.

Когда, случалось, приезжала в Ватагино старшая тетка Людмила Павловна, сестра Александра Павловича, она всегда, как родному, рада была старому ключнику и называла его не иначе, как своим первым другом.

«Бывало, не соглашается маменька, чтобы студентов мы приглашали: неприлично барышням приглашать! — вспоминала тетка молодость, — а мы, бывало, к Федоту, с вечера дадим ему записку, он на лошадь, доедет до первого табуна, пересядет, да так в ночь и доберется до города и к утру обратно. А на другой день, смотришь, и являются гости!»

Вот каков Федот-самолет! И не только в свое время угождал он барышням Ильменевым, исполняя поручения их и возможные, и невозможные, был он и первый слуга у молодых тогда офицеров — у Александра Павловича и у покойного Василия Павловича, видывал виды.

Если Оля ставила что на своем и, как ни уговаривают, ни за что не уступит, называли Олю Василием Ильменевым.

В роду Ильменевых все были крепкие и рослые и ни одного такого, чтобы там на грудь жаловался, а Василий Павлович — и Ильменев, а умудрился и от чахотки помер. Бывало, покойная бабушка Анна Михайловна много чудес всяких рассказывала о своем отчаянном бессчастном Василии, а попутно и о слуге его примерном Федоте: чего только не бывало, тоже поедут в город честь честью, а домой пешком, — и экипаж, и лошадей — всё спустит в карты!

Без Федота в Ватагине ни одно дело не делалось и, кажется, ни одно событие не совершалось: во всей жизни навечных господ своих принимал Федот самое близкое участие. Имел он не два, а один глаз, но и единственный зеленый был его глаз зорок, и другого не надобилось, и, слава Богу, слышал он всё отчетливо до зуда комариного, на глухоту не жаловался. А спящим его никогда не видали, и потому-то воры, как огня, боялись его и за три версты прочь бегали.

Вот каков был Федот Кривой, а за смертью Прямого Федот единственный.

*

Ввечеру по холодку закатному бабушкина тяжелая десятиместная наточанка, не уступавшая ильменевскому трундулету, въехала в Ватагино. И у мельницы встретил Олю, как полагается, Федот.

— Ну, что, Федот, как у нас? — спросила Оля, когда Федот уселся на облучок к бабушкину Конону.

— Слава Богу, всё благополучно, барышня, из городу гости приехали.

— Ко мне? — обрадовалась Оля.

— Две барышни: Рогачева да Протасова. К Боровым Костя из корпуса приехал, Константин Анатольевич. От тетушки Людмилы Павловны письмо получилось: на Успенье в Ватагино обещались. К братцу вашему учитель- студент ходит, — Федот помолчал и безнадежно добавил, — так в чем душа.

С Федотом пахнуло домом, за расспросами о домашних незаметно, что легкие дрожки, прокатила тяжелая наточанка мимо батюшки о. Евдокима, мимо Покровской церкви, сада Перовых, Веры Стрешневой, Лены Боровой, и вот двумя белыми башнями показался белый ильменевский дом.

Федот спрыгнул с облучка, легко растворил ворота на широкий зеленый, такой зеленый двор, навстречу любимой барышне Ольге Александровне, которой не меньше Федота обрадовались все дворняги, и черные, и белые, и охотничий ласковый рыжий Кадо.

Заслыша звон колокольчиков, с криком выскочили из гороха Катя Рогачева и Лида Протасова, а на крыльцо вышел сам Александр Павлович.

— Папочка! Папочка! Катя! Лида! — кричала Оля, сама запыхавшаяся от радости, и белому дому с башнями, и двору такому широкому да такому зеленому.

Лошади еще не стали, Оля соскочила. И упала. Поднялась и, как ни в чем, побежала по зелени — по родимой земле.

3.

Две подруги было у Оли неизменных ватагинских: Вера Стрешнева да Лена Боровая.

С Верой Стрешневой завелась дружба с прошлого лета, когда перешла Оля в седьмой класс. Оля первая наведалась к Вере

и пригласила ее, а до тех пор ни Оля, ни Вера, несмотря на соседство, друг у друга не бывали. Вера простая ватагинская барышня, ни в гимназии, ни в институте не училась, а было у нее то, что никакой гимназией ни институтом не дается, то, что называется «душевным благородством», — совестливость и внимательность, а это-то Олю и потянуло к ней.

С Леной Боровой Оля с детства дружила, — Боровые соседи, постоянные гости Ильменевых, свои. Лена ровесница Вере, старше Оли года на два. Всегда беспокойная, и тогда еще, как маленькую, привозили ее к Ильменевым, много бывало с нею хлопот и возни и ничем не угодишь: и то ей не по вкусу, и это не нравится, и молоко-то будто не такое, и хлеб не такой.

«Будешь, как Лена Боровая!» — говорила Оле нянька Фатевна, когда Оля начинала рипеть, как выражалась Фатевна.

Лена училась в гимназии и, приезжая на каникулы, посвящала Олю в свои ученические шалости: она рассказывала ей, как учителям чихала на ухо, как ловко и без передышки умела проикать целый урок, как у какой-то гимназистки во время сна обрезала ресницы, и всё в таком роде, очень завлекательно и удивительно для такой доверчивой, как Оля. Гимназию Лена не кончила. Как-то уж в последних классах приехала она на Рождество домой, и с ней словно стало что: и так беспокойная, еще беспокойнее стала или, как говорили про нее, юроды гонит, а отчего «юроды гонит», понять никто ничего не мог. Из дому она выходила только к Оле. С вечера четверга до вечера пятницы никуда не выходила: это был самый мучительный для нее день в неделе — она боялась, умрет. И только когда появлялась Оля, страх пропадал.

Александр Павлович, с которым она особенно охотно разговаривала, любил ее за все ее беспокойства и юроды.

«Она не такая, как все!» — говорил он про Лену.

И это правда: когда угодно и кому угодно Лена могла отмочить такое, и не с глазу на глаз, а и при всех, тут ей не было страху, а это-то Олю в ней и привлекало.

*

Вечер начался весело.

Белый стол, серебряный от старинного ильменевского серебра, был белее и серебристее. Или после Меженинки цветистой

так показалось Оле, или о доме она больно соскучилась, или сам дом ей был рад, и вот нарядился в серебро, как на праздник?

Кроме своих – Миши, Ирины и Лены и двух гостивших подруг Олиных, гимназисток – Кати Рогачевой и Лиды Протасовой – были гости: конечно, Лена Боровая, брат Лены, кадет Костя, близнецы Лупичевы Петр и Павел и совсем новый человек – учитель Миши, студент Караулов.

Миша рассказывал смешные анекдоты, и сам смеялся, но не меньше смеялись и слушатели, студент Караулов пел куплеты, и хоть голос у него был слабый, но зато с большим чувством, и тоже смешное, с разными такими смешными припевами. Потом танцевали.

Александр Павлович весь вечер не оставлял гостей. Он сидел в кресле около камина под часами и, когда начались танцы, пошел танцевать мазурку с Олей.

Как он ей рад был, своему котику, – так называл он Олю ласково, – и как смотрел на нее, как ласково, и улыбался ей! А как танцевал он, так теперь никто не танцует.

– Папочка, милый папочка, как легко с тобой танцевать и хо-ро-шо! – улыбалась Оля своей ясной улыбкой.

И было в ней столько здоровья, как крепких сил в черной плодоносной земле ее. А тяжелые косы волнились, что нива.

Много потешались над близнецами Петром и Павлом: оба необычайной страсти к танцам и, несмотря на науку, – а учил их сам Александр Павлович, – танцевали только в одну сторону, а в другую – ну никак не выходит. Медвежатами прыгали они по залу, то и дело вытираясь клетчатыми носовыми платками, и притом с таким рвением и так крепко, словно бы и в самом деле грела их шкура.

Караулов – в чем душа! вспоминалось Оле, – ловчее всех носился, пристукивая каблуком, и так живо делал круги, что и всякая бледность пропала.

Больше всего танцевал Караулов с Олей.

Натанцевались, затеяли игры.

Играли в ц е н з у р у. Игра заключается в том, что по выбору счетом двое выходят из круга: один садился на «цензуру», а другой собирал о нем мнения и затем вслух передавал ему, и чье мнение кажется самым замечательным, тот должен выйти из круга и сам сесть на «цензуру».

Оля сидела на «цензуре», а Лена собирала мнения.

И, обойдя круг, Лена принялась громко рассказывать Оле всякие о ней мнения, и смешные, и нежные, и совсем ни к чему не относящиеся, и никакое не тронуло Олю, и лишь одно, и притом совсем не похожее, стишок — «Ольга красавица по улицам таскается...» и еще что-то в таком роде.

— Чье это мнение? — спросила Оля.

В круге никто не пошевельнулся, словно и мнения такого не было, и не было кому выходить.

— Кто же это сочинил?

Оглядывая круг, посмотрела Оля и на отца, и показалось ей, что сидит он там у камина, нахмурился.

— Ну, кто же, кто?

И вот как-то робко, и такой бледный — в чем душа, вспомнилось Оле — выступил Караулов. Он должен был подойти к Оле, но не сделал ни шагу, как с кресла от часов поднялся Александр Павлович.

И почему-то стало так тихо, — там в саду кузнечики стрекотали, слышно.

Караулов повернулся и, сгорбившись, быстро пошел из залы.

И с того вечера он больше не появлялся у Ильменевых.

4.

Из Лубенцов приехал сын Ксаверия Матвеевича, студент Лампад, приглашать Олю и подруг ее, гимназисток, в Лубенецкий лес на кашу. Лубенцы ближе ближнего, на полпути между Ватагином и Меженинкой.

Лампад очень просил Наталью Ивановну, а гимназистки уверяли, что на каше будет и Ксаверий Матвеевич, и Александрия Кенсориновна непременно. И Олю с подругами отпустили, но чтобы вернуться не поздно и с лошадьми поосторожнее.

Много было веселого в дороге, а еще веселее в лесу на каше.

Само собой, ни Ксаверия Матвеевича, ни Александрии Кенсориновны не было, а был доктор Перепелка Андрей Федорович, сам Лампад да сестра его Асклипиодота. Читали стихи, Андрей Федорович рассказывал чудесные истории из своей жизни, в подлинности которых Оля ничуть не сомневалась и всему верила. Лампад показывал удивительные фокусы.

И совсем незаметно прошел вечер, кашу съели, и погас костер.

Ну, простились, ну и поехали — Оля, Катя и Лида, ну, и вернулись. И какой там поздно, о таком позднем часе и в голову не приходило, — уж солнце поднялось куда выше белых ильменевских башен, и Олин аист полетел себе за кормом.

А зато крепко как заснули!

Но пришла пора, и забота сменила сон.

Решили так: пускай первая идет к чаю Лида — Лида Протасова и тише Кати, и доверия ей больше — что-нибудь такое скажет: объяснит.

Конечно, Наталья Ивановна была очень недовольна: так поздно вернуться!

— Лошади не поспели, — вся покраснела Лида.

— Ксаверий Матвеевич и Александрия Кенсориновна очень извиняются...

Тут вошла в столовую Оля, а за Олей Катя.

И в разговорах Наталья Ивановна понемногу успокоилась.

А разговор только и был, что о лубенецкой каше, как весело было в лесу, как сам Ксаверий Матвеевич в лес с ними ездил и Александрия Кенсориновна, и костер разложили, и как Ксаверий Матвеевич пел у костра и рассказывал очень смешное.

— Из священной истории! — прибавила озорная Катя и сама же расхохоталась.

И за ней все стали смеяться, но совсем не тому, что рассмешило Катю: ни Ксаверий Матвеевич, поющий у костра, — если бы вы только видели, что такое этот Ксаверий Матвеевич, и не поющий! — ни священная история, заменившая Лампадовы фокусы и Перепелкины истории, нет, не это, — день хороший, и еще хорошо было, что всё так благополучно кончилось, и Наталья Ивановна совсем пересердилась, а сама улыбается Оле.

«Мамочка, ты пойми, мамочка, как нам было весело!» — отвечала ей Оля своей ясной улыбкой.

После дневной жары, от которой только и можно спасаться, что в комнатах за ставнями, чуть только повеял вечер, выбежала в сад Оля, а за ней Лида и Катя. Качались на качелях, накачались — и гулять. Ходили на мельницу, когда-то запретное место, и дальше в поле. Набрали цветов вот такие букеты, — если Оля за что принималась, выходило всегда с избытком.

Они шли со цветами, сами, как в поле цветы несеяные.

По небесным полям выходили летние звезды, и такие теплые.

«Благословение мое на вас!» — веяло в воле.

От церкви они поспешили: не опоздать бы к ужину!

Добежали до дому, смотрят, а на дворе апостолы — как Ксаверий Матвеевич называл волов, на которых разъезжал по соседям. Стало быть, Ксаверий Матвеевич! Сердце так и упало: как же теперь с кашей-то, на которой старик и пел у костра, и рассказывал смешное... из священной истории?

Роняя цветы, вошли они в дом.

В столовой за самоваром сидел Ксаверий Матвеевич и, благодушествуя, оканчивал свой всегдашний и непременный рассказ, как в молодости, выехав однажды на первый день Пасхи с визитами, он загруз на площади перед женской гимназией, и как его вытаскивали.

И, как всегда, Александрия Кенсориновна, слушая с неизменным вниманием, как новое, ужасное происшествие, сочувственно кивала.

— Да так и бросили! — рассказчик привычно махнул рукой, тем и заканчивался рассказ.

— Ну, а как было на каше, Ксаверий Матвеевич? — спросила Наталья Ивановна.

— Куда нам с молодежью! Нам, старикам, и без каши всего приятнее дома посидеть.

На следующий день Лида Протасова уехала к себе в Протасовку.

А вскоре после этой лубенецкой каши Наталья Ивановна собралась в Меженинку.

Оля ни за что не захотела. И как ни уговаривали, поставила на своем, — сущий Василий Ильменев! Иначе она и не могла сделать: ведь если бы она уехала, пришлось бы и Кате уехать из Ватагина, а Катя влюбилась в кадета Костю и готова была хоть всё лето гостить у Ильменевых.

Оля не знала, какие такие причины, и почему Катя считалась отверженной среди гимназисток ее круга. Оле говорили, что она ей не ровня, и одно время даже в дом к ней не пускали Олю. А эта-то отверженность и привязала ее к Кате, безалаберной, как сама себя называла Катя.

Остаться дома ради Кати, не ехать со всеми к любимой бабушке в Меженинку — Оле стоило многого.

И вот, когда ильменевский трундулет с Натальей Ивановной, Ириной, Леной и Мишей скрылся за осокорями и стало так пусто в доме, так пустынно, Оля и Катя пошли на сеновал, сели рядушком и проплакали день до вечера.

5.

На именины самого Борового, отца Лены, у Боровых единственный раз в году справлялось большое торжество — шел пир на всё Ватагино.

Александр Павлович, избегавший всякие вечера и именины, пошел к Боровым только для Оли.

— Знаешь, кто тебя хочет видеть? — шепнула Лена.

— Кто?

— Караулов.

— Караулов? — Оля за неделю ни разу и не вспомнила про студента.

— Хочет извиниться. Он и сам бы сюда пришел, да боится. Он у Перовых.

И Лена увела Олю от гостей с балкона. И через калитку из их сада прошли они в сад Перовых.

В саду ждал Караулов, очень волновался.

— Просто по какому-то мальчишеству произошло тогда... это мое стихотворение.

— Я-то ничего, — Оле и самой стало неловко, она ведь ни в чем его не винила, — вот только как папа: папа тогда очень на вас обиделся за меня.

Караулов был счастлив: Оля его не винит, а в этом и всё. Лена отвела его в сторонку и что-то говорила ему, а он только покорно слушал.

И они пошли из сада.

— Знаешь, Оля, Караулов живет у Стрешневых. Мне Вера рассказывала, всю он неделю проплакал.

На следующий день Караулов пришел к Ильменевым и долго сидел у Александра Павловича. А когда Наталья Ивановна вернулась из Меженинки, Мише снова пришлось взяться за книги, — Караулов опять стал бывать в доме.

В доме у Ильменевых заведен был такой порядок, чтобы чай разливали по очереди: один день Ирина, другой день Оля, третий день Лена.

Оля никогда не разливала. За Олю разливал чай Караулов и исполнял все обязанности хозяйки необыкновенно предупредительно, обращаясь с чашками с той же нежностью, как со своими беленькими мышками.

О жизни Караулова мало чего знали, да как-то и не приходило в голову разузнавать, одно было известно, что матери у него нет, а мачеха.

— Мачеха у вас молодая? — спросила как-то Наталья Ивановна.

— Была когда-то молодая, — ответил Караулов.

Так, в таком вот роде обыкновенно отвечал он, но у него был другой голос и слова другие, когда говорил он с Олей. А серые глаза его темнели. И Оле всегда казалось, когда он говорил с ней, будто у него где-то больно делается.

Олю тяготило разливание чая, Караулов за нее разливал чай. Оля любила получать письма, а письма обыкновенно подолгу заваливались на почте, и вот Караулов чуть свет пешком шел в город на почту и, как встать Оле, был уже дома, и письма Оля получала вовремя.

От Стрешневых, где снимал Караулов комнату, перебрался он к Ильменевым и поселился в саду, в будке. По утрам он занимался с Мишей, днем с книгой уходил в поле, вечером был со всеми, а после вечернего чая шел к себе, в будку.

Нередко устраивались вечера, появлялись близнецы Лупичевы, Петр и Павел, и, конечно, приходила Вера Стрешнева, и, конечно, Лена Боровая, и ее брат кадет Костя, — танцы, смешные анекдоты, песни и игры.

Очень весело проходило время.

И душой всяких затей и развлечений был Караулов.

И больше всего старался Караулов угождать Оле.

А какие делал он ей из коры занятные лодочки!

Не на людях, а оставаясь вдвоем, Караулов рассказывал Оле о себе, о своих занятиях, об университете, о лекциях, о профессорах и о своих товарищах-однокурсниках. Он перешел на второй курс и за первый свой учебный год, желая постигнуть всю премудрость, переменил немало всяких специальностей: начал

с ботаники и прилежно занимался систематикой растений у Горожанкина, потом бросил систематику и с головой погрузился в ракообразных и паукообразных у Зографа, одолел такую вот книжищу, пошел к Столетову, завяз в физических формулах и теперь решает — остановиться ли ему на птицах у Мензибара или перейти на юридический факультет и изучать историю философии права у Новгородцева.

— Я в Бога не верю, — сказал он как-то Оле.

И очень удивил ее: она никак не могла и представить себе, что можно и притом совсем легко говорить такое.

— Я в Бога не верю, — повторял Караулов всякий раз, когда начинался излюбленный пытливый разговор Олин.

И когда на молитве, молясь за отца и за мать, за брата, за сестер, за любимую бабушку, Оля вспоминала эти слова его, она и за него молилась, чтобы «студент Караулов верил в Бога».

6.

На Ильин день проводили Катю Рогачеву. С кадетом Костей она рассталась беззаботно, и слезинки не капнуло с ее шаловливых глаз: весной, во время экзаменов, она влюбилась в восьмиклассника Пономарькова, теперь с ним предстояло свидание, и это свидание тревожило ее чувства.

Караулов после какого-то мудреного биологического разговора, показывая Оле своих беленьких мышек, попросил у Оли подарить ему карточку. Оля пообещала, но с условием, что он свою даст. Да, само собой, он всё для нее исполнит и готов всё сделать и, как только приедет в Москву, снимется и сейчас же вышлет. И раз десять повторил он это. А когда Оля дала ему свою карточку, счастью его конца не было, и целый вечер он пел и ночь пел у себя в будке.

— Студент-учитель совсем ума решился, — говорил в людской Федот, — зайдешь ночью в их будку понаведаться, не спит, а как птица по саду ходит, и такие чудеса: «Хочешь, говорит, Федот Прохорович, я вам глаз вставлю утиный!» Чудеса.

И вправду, получив Олину карточку, Караулов три дня ходил, как птица, и ночами не спал.

Вечером за чаем, и не притронувшись к своему стакану, вдруг отчего-то заторопился и только просил Олю выдать ему на ночь книгу — ключ от библиотеки хранился у Оли. А когда

Оля вышла с ним из столовой, он подал ей письмо и, не дожидаясь книги, ушел.

Да ему и не надо никакой книги!

Письмо было очень длинное: меленькими буковками, старательно, о его чувствах — о любви его к Оле, и предположения, и обещания, и уверения, ну, объяснительное, любовное, и как он женится на Оле, и как они жить будут вместе. А в заключение просил Олю, чтобы не забывала его, пока он университет кончит.

«А когда кончу я, даст Бог, решится наша судьба».

Кому же не приятно любовное письмо!

Оля очень была довольна.

В пятом классе в первый раз Оля узнала, что в нее влюбляются гимназисты. И на балах, когда подходила третья кадриль — третья кадриль особенная, означает любовь — Оля просто не знала, кого и выбирать: так много бывало приглашений. Кроме того, ей рассказывал Миша, чья она симпатия, как выражались гимназисты и гимназистки, — Миша в карцере свой человек, а где же, как не в карцере, душа нараспашку! Были и такие гимназисты, куда бы она ни шла — в гимназию и из гимназии, и в церкви, а непременно встретятся и, конечно, не случайно.

В седьмом классе — первое признание. Семиклассник Дагестанский, по прозвищу Бычок, подарил Оле свою карточку и с такой надписью: «от л....... Леонида Дагестанского». А когда Оля взяла от него карточку, он поцеловал ей руку.

Таких карточек с семью точками собралось у Оли к восьмому классу целый уголок шкатулки, где хранила она свои драгоценности.

Кому же не приятно любовное признание! Оля очень была довольна.

Но сама она никому еще не написала на своей карточке.

На другой день Караулов опять за вечерним чаем, опять будто за книгой, когда Оля вышла с ним из столовой, подал ей письмо, а сам ушел.

Письмо оказалось всего несколько строчек, но так же маленькими буковками, старательно: он просил Олю прийти завтра, в четыре часа утра, на сенокос поговорить с ним.

Оля знала от Кати, что сенокос — место ватагинских свиданий, куда ходила и Катя, и кадет Костя, но сама она и не поду-

мала: еще бы, и такую рань, — Оля любила понежиться, поваляться в постели, а тут, изволь, в четыре часа!

Было и еще несколько писем таких же — одна просьба: поговорить на сенокосе.

— А что я узнала о Караулове! — сказала Лена.

— Что такое?

— Да ты и представить себе не можешь: он очень болен. Мне Костя рассказывал, какие у него бывают припадки, и особенно когда много волнуется.

Оля и Лена шли по саду из церкви. Осеннее первое утро сменял красный воскресный денек. Караулов позже, чем в будни, отправился на почту и еще не возвращался. Лена со слов Кости рассказывала Оле, какие это у Караулова припадки: как он весь корчится и пена изо рта, и так страшно бывает.

Оля слушала с большим вниманием. Вот чего она никак не подумала бы.

— А отчего это бывает?

Но Лена не успела ответить, как сзади, за спиною раздался крик, и обе шарахнулись друг от друга: Караулов бился на дорожке, и было так страшно смотреть.

Оля подумала, что он умирает, и скорее побежала в дом позвать кого-нибудь.

И с этого дня Оля стала к нему особенно внимательна: к больным Оля всегда относилась особенно.

А Караулов скоро оправился, только был очень грустен, и когда говорил с Олей, серые глаза его еще больше темнели, а ей больше, чем всегда, казалось, будто у него где-то больно делается. Он не мог не заметить перемены — Оля была так внимательна! — и опять повеселел.

К концу подходило лето, пора было кончать занятия с Мишей, Караулову ехать в Москву в университет, Оле — в гимназию.

В один из прощальных вечеров, играя в секретер, Оля получила записку— меленькими буковками, старательно: Караулов спрашивал, что Оле в нем больше всего нравится?

Оля хотела ответить по правде, что она чувствует — как ее трогало, что он болен, а к больным она всегда относилась особенно, но так не ответила, раздумала и написала:

«брови, глаза и ресницы».

А и действительно, что у него было прекрасно, это брови, глаза и ресницы.

Перед отъездом, после вечернего чая, Караулов простился и пошел к себе. За ним на крыльцо вышла Оля и Лена.

Осенняя ночь, — сколько звезд!

Звездочки-звезды-звездные пути — на все стороны.

Звездная ночь летела неспокойная.

Федот, гремя ключами, с фонарем прошел по двору к амбарам. По огоньку черная пробежала собака за Федотом. Из сада пахнуло холодом.

И звезда упала в ночь.

— Я вас так люблю! — совсем тихо сказал Караулов и поцеловал Оле руку.

7.

На Успенье, как обещалась, приехала в Ватагино тетка Людмила Павловна. Она поместилась в одной из башен старинного ильменевского дома, где прошли ее молодые незабвенные годы. И с живой памятью ее о прошлом в доме ожила ильменевская старина: ведь Александр Павлович в ее глазах всё по-прежнему младший братец Саша, а был еще братец Вася и Коля, самый любимый.

«Неоцененный братец и друг мой Николай Павлович!» — так когда-то всегда начинала она всегда длинное письмо к нему в Санкт-Петербург, а в конце после всех пожеланий душевной радости, здоровья и лучшего на свете счастья, — «желала б я и душу переслать, но не в силах, и я была бы довольна и тем, когда бы кто-нибудь передал мои мысли к Вам, а я уже не в силах».

Раскрывая фортепиано, Людмила Павловна вспоминала горесть своих девичьих дней.

— И если теснит мою душу, — говорила она, — сажусь сейчас играть и почувствую облегчение, когда сойдут слезы.

Оля очень любила расспрашивать тетку, как было у них прежде, какой был папа, когда был маленький, о дедушке и бабушке. И теперь, в этот теткин приезд, задержалась для нее еще на день.

И прошел этот день тихий в разговорах и воспоминаниях.

С утра следующего дня Оля стала собираться в дорогу, и к вечеру всё было готово.

Пришла Вера Стрешнева и Лена Боровая. По обычаю все сошлись в зал, присели, помолчали, потом все разом поднялись. Оля подошла за Натальей Ивановной и Александром Павловичем к чудотворному образу Ильменевской Божьей Матери. Помолились. И стали прощаться.

Нянька Фатевна, вернувшаяся совсем недавно из дальнего богомолья, спрыснула Олю «матушкой генисаретской водой».

Еще раз простились, — еще раз со всеми крепко поцеловалась Оля.

Наталья Ивановна заплакала.

— Мамочка, родная моя мамочка! — и долго целовала ее Оля.

А слез никак не унять.

— К бабушке заезжай непременно! — сквозь слезы сказала она и пошла за Олей.

И все пошли.

А Оля, раскрасневшаяся, улыбалась своей ясной улыбкой, еще и еще раз по дороге целуясь, и в людской и на крыльце еще раз прощаясь, и в последний раз, уж совсем как садиться.

Александр Павлович провожал Олю до мельницы, перекрестил своего котика, как называл он Олю ласково; на облучок к Григорию подсел Федот, и поехали.

И до самых Лубенцов, до самого Ксаверия Матвеевича ехал с Олей Федот.

Рассказывал Федот, как когда-то — давно это было — он так же вот с Александром Павловичем и с покойным Василием Павловичем в гимназию ездил, и какой был Александр Павлович и как тогда было вольготно.

— Эх, человек! — прибавлял одноглазый ключник, не говоря уж, а припевая.

От гимназии перешел Федот к более поздним временам — к молодым офицерам Ильменевым. Военные рассказы его были так занимательны, что даже кучер Григорий, с павлиньим пером, в своей плисовой безрукавке поверх красной маковой рубахи, сам бывалый, лихо посвистывал не столько лошадям, сколько от удовольствия.

— Эх, человек!

В Меженинку приехала Оля вовремя, еще спать не укладывались, не спеша собирали на стол ужинать. И, как всегда, приезд Олин поднял переполох.

А какое счастье, — конца ему не было! И бабушка, и тетушка, и Анна Павловна от радости с ног сбились. Конечно, нечего было и думать уезжать ни завтра, ни послезавтра.

И Оля несколько дней прожила у любимой бабушки.

*

Тихо в Меженинке, благоприятно.

Неторопливая, как много лет, круглый год шла жизнь день ото дня не спеша. Осень вызывала разговоры о зиме. И тетушка Евгения Алексеевна с замазкой возилась в том углу справа от киота, где любила сидеть вечерами за пасьянсом, тетушка загодя вставляла раму.

Запасов на зиму сделано было не мало.

Повела бабушка Олю в кладовую... Какое варенье! И сколько банок и баночек, на которых бабушкиной рукой пером выведена была надпись:

Олина малина.
Олюшкина любимая малина.
Олина земляника.
Олюшкина любимая земляника.
Олин персик.
Олюшкина белая вишня.
Барбарис без косточек Олин.

— Червь яблоко поел поедучий, — сетовала бабушка, — нет се́йгод яблока ни нашего, ни китайского. А у тетушки еще вон летошнего целый верх!

Но тетушка Евгения Алексеевна никому своего варенья не даст, и не проси, и Оле, к огорчению бабушки, не достанется нынче любимого ее варенья — «Олина яблочного».

Из кладовой повела бабушка Олю в маленькую кладовую, где стояли всякие соленья и очень хорошо пахло. И там подарила ей бутылку одеколону собственного приготовления и тут же растолковала, как одеколон делается, открыв секрет только для Оли.

Оля памятливая, ей и записывать не надо, она и так всё запомнит, и сама бабушке не бутылку, а ведро одеколону приготовит.

Неторопливо, как всё, что делалось и говорилось в Меженинке, перечисляла бабушка состав, сколько и чего надо взять, сколько спирту винного, совершенно очищенного от сивушного запаха, и сколько масла: бергамотного, лимонного, розмаринного, лавандового и померанцевых цветов.

— И всё это положить в спирт в бутыль, взболтнуть хорошенько, и одеколон готов. Он будет мутен, но в несколько дней отстоится, и когда будет совершенно светел, то слить осторожно, а подонки перепустить сквозь бумагу. Одеколон готовый, слитый в бутылки, завязать пузырем. Чем долее будет стоять, тем будет совершеннее.

За вечерним чаем вспомнили старое, как была бабушка молодая, тетушка молодая, Анна Павловна молодая. Первая бабушка, за бабушкой тетушка, за тетушкой Анна Павловна.

Анна Павловна не упустила случая и рассказала, как генерал Ольховский делал ей предложение, а она отказала. Оля не могла удержаться, заспорила. И, как всегда, рассердила бабушку.

Ну, а потом всё помирилось.

Ах, как жаль,
Что камаль
Вышел уж из моды.
Скоро шаль
И вуаль
Спрячутся в комоды...

— напевала Анна Павловна, несчастная во всех отношениях.

Оля расспрашивала бабушку, как было прежде, какая была мама, когда была маленькая, про Кострому.

Бабушка не сразу отвечала.

— Погоди! — так всегда начинает бабушка и смотрит такими добрыми и ясными глазами, — это было в доме у Рязановских, нет, не у Рязановских, Рязановский жил на Царевской, а наш дом на Русиной... — и медленно добирается до самого главного, до старины — своей молодости, когда совершались в мире события.

— В старину было лучше,— говорит бабушка, и тетушка, и Анна Павловна.

А неужели и в самом деле бабушка была молодая, тетушка молодая и Анна Павловна молодая!

Ах, как жаль,
Что камаль
Вышел уж из моды.
Скоро шаль
И вуаль
Спрячутся в комоды...

*

Тихо в Меженинке, благоприятно.

Пожила бы Оля и еще — посмотрите, какой золотой сад, какие астры, а какие ночи! — да нельзя: пора, пора Оле в гимназию.

— Как, бывало, уезжать мне из Ватагина, — поминала бабушка, провожая Олю, — такой ты крик на весь дом подымешь, и, бывало, не унять ничем, и я, бывало, в ручку тебе серебра для забавы, передам тебе, уж не знаю сколько, а ты всё плачешь, не отпускаешь. Только обманом и уезжала. А вот нынче я слезами плачу.

Бабушкина тяжелая наточанка, к развлечению меженинских кур и индюшек, долго стояла у крыльца и застоялась, куры и индюшки успели привыкнуть и по-прежнему ходили без внимания, а бабушкин Конон порядком всхрапнул, пока-то Олю снарядили в дорогу, с Олюшкой простились и еще раз, и еще раз, и еще раз, как там дома.

— На Рождество, бабушка! — всё обертывалась Оля, улыбаясь своей ясной улыбкой, пока тяжелая наточанка, завернув за церковь, не пропала из глаз.

А они три стояли на широком крыльце: одна всех выше и дороднее — бабушка, другая — одна кость, вскинув темные, когда-то прекрасные, теперь грозные большие глаза, — тетушка, и третья, самая маленькая и несчастная, — Анна Павловна.

«А как ты выехала, друг мой, Олюшка, — писала бабушка Оле в гимназию, — я, как сумасшедшая сделалась, плакала, томилась душой о тебе и беспокоилась. По гроб мой бабушка твоя, Татьяна Алексеевна».

8.

Из Москвы от Караулова часто получались письма, и все длинные, как то, первое, маленькими буковками, старательно.

Он описывал Оле все свои надежды и разочарования — всю жизнь свою: он переменил историю философии права на финансовое, а финансовое право на химию, Янжула на Сабанеева, он пройдет неорганическую и органическую химию и тогда будет слушать Ключевского. И каждое письмо его проникнуто было его неизменной любовью и мечтой о том будущем счастливом, которое решит Оля. Получилась и его карточка —

«в память жаркого лета».

Оля написала ему раза два и очень кратко.

Писать письма вообще она не любила, а кроме того, с каждым письмом Караулова, и чем оно было нежнее, тем резче подымалось в ее душе такое чувство — тягота от его какого-то права на нее так ей писать и на что-то надеяться и ждать от нее чего-то, и тягота эта переходила в раздражение — ненависть к нему.

Какими счастливыми считала она подруг своих, которым, как она думала, никто не пишет и не имеет этого права, которые одни и совсем свободные. И одно было желание: что угодно, всё что угодно она сделает, лишь бы избавиться от него и от его какого-то права.

И по мере того как тягота переходила в раздражение, в ненависть, ее охватывало и отвращение к нему.

Какая счастливая она была до всех этих писем! Какая счастливая будет она, когда освободится от него!

И вот решила она, во что бы то ни стало, увидаться с Карауловым и взять у него свои письма и карточку. И тем всё кончить.

Так всё и кончится.

Правда, не очень скоро, а представился случай.

На Рождественские каникулы студенты обыкновенно съезжаются до Рождества. В самом начале декабря приехал и Караулов.

Восьмой класс Оля жила у Зубаревых. Александра Тимофеевна Зубарева, жена доктора, приятельница Натальи Ивановны. В доме за Олей ухаживали, и жить ей было свободно: к ней относились как к взрослой, — восьмиклассница!

Узнав, что приехал Караулов, Оля написала ему, чтобы он пришел к ней в воскресенье. А как раз на воскресенье, неожиданно для нее, взяты были билеты в театр на оперу.

После обеда Оля с Александрой Тимофеевной вышли погулять и гуляли довольно долго, а когда вернулись, сидит Караулов.

Караулов ждал Олю.

Оля с морозу, как морозка, была морозная в красной кофточке. Как он ей обрадовался, он стал было расспрашивать, что она думает, как живет.

Александра Тимофеевна торопила Олю: Оле надо еще переодеваться.

И когда Оля была готова — она не успела сказать с ним и двух слов — втроем они вышли на улицу.

Улучив минуту, Оля сказала ему, что думала всё время и зачем вызвала его: он ей должен отдать ее письма и карточку.

— Неужели вам надо? — Караулов остановился.

— Скорее давайте! Скорее! — торопила Оля. Он расстегнул шинель, полез за ворот, вытащил оттуда конверт и подал Оле.

Александра Тимофеевна наняла извозчика и звала Олю: очень беспокоилась, не опоздать бы. Оля поспешила к ней. А когда оглянулась, его уж не было.

Но об этом Оля и не вспомнила. Оля любила музыку и была очень довольна оперой, она готова была хоть каждый день слушать.

И на понедельник Зубаревы достали билеты, и в понедельник Оля с Александрой Тимофеевной пошли в театр на оперу.

После театра за чаем доктор, муж Александры Тимофеевны, рассказывал всякие городские новости и, между прочим, заметил:

— Какой случай! Сегодня привезли к нам в больницу, повесился студент... Караулов. Покупал револьвер, не продали, в гостинице ночью повесился.

— Караулов? Что-то знакомое! — сказала Александра Тимофеевна.

Но Оля молчала, Оля не хотела показать, а там — — холодное что-то ползло...

И всю ночь она проходила по комнате и дрожала.

Припомнила всё — первый веселый вечер, «цензуру» и всё лето. «Неужели вам надо?» — повторялось и повторялось с таким сильным его ударением: «неужели?» Но ведь она не успела

его спросить, она ничего не знает, и, может быть, не в ней тут причина, а другое? Она не успела его ни о чем спросить!

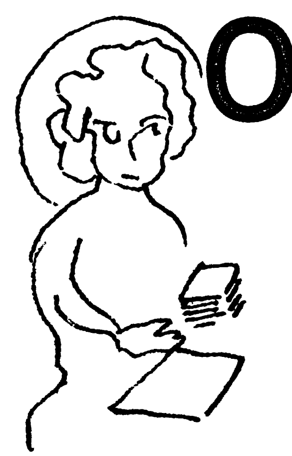
И та мысль, что, может быть, причина совсем не в ней, а другое, успокоила ее, и под утро она заснула.

И ей приснилось, — ей снится, будто могила и большой, такой большой крест, и она знает, что это могила Караулова, — села она на могилу и слышит голос оттуда, из могилы:

«Ох, как тяжко!»

ДОЛЯ

1.



Оля говорила на «о»: «бочоночок». У Оли были три разные куклы, хотя и не играла в них:

— каминские — каменные, которые бьются,

— журнальские — из «Моды», вырезанные из модных журналов,

— тряпинские — нянька Фатевна из тряпок делала; и одна восковая.

У Оли было розовое любимое платье и две любимые кофточки: кенареечная и голубая с фафлями; и была у Оли ночная кофточка заветная.

Жарко летом в Ватагине.

А Оля жары не любит.

Оля очень любила купаться: раз десять в день норовит выкупаться — кожа с шеи слезала.

А то заляжет на кровать, обложится яблоками, лежит и читает, и целый день так до вечера, пока теплынь не схлынет.

И совсем еще маленькая — в третьем классе — Оля за лето перечитала множество разных книг и, конечно, без толку — и когда в седьмом классе студент Черкасов станет давать Оле книги и среди них окажется немало читанных, Оля прочитает их как внове — Тургенев, Толстой, Достоевский.

В пятом классе у всех подруг Олиных, гимназисток-сверстниц, были наколоты булавкой инициалы их «симпатий» — имена гимназистов, в которых они влюблены.

Оле тоже очень хотелось носить на руке вензель, и, не отставая от других, она наколола себе —

Н. В.

Наталью Васильевну, любимую учительницу русского языка, которая однажды вывела Оле в четверть вместо пятерки четыре:

— за мятые тетрадки.

В шестом классе Марина Заветновская познакомила Олю с гимназистом Высоцким.

— Я потому хочу с вами познакомиться, что я поляк: стою за освобождение Польши. А вы украинка — стоите за освобождение Украины.

Тут в первый раз услышала Оля, что надо кого-то освобождать и стоять за кого-то — —

В седьмом классе Оля стала коготки показывать.

Как-то заболело горло и петь Оле запретил доктор. Четвертым уроком было пение, а пятым Закон Божий. Оля осталась в классе и села учить катехизис.

Классная дама Марья Терентьевна, заметив Олю одну в классе, пристала к Оле, отчего не идет в зал.

— Горло болит.

— Идите петь.

— Не пойду.

— Давайте книгу!

Марья Терентьевна схватила за катехизис — а Оля не дает.

И Марья Терентьевна не уступает.

Стали тянуть — одна за один конец, другая за другой, — тянули, тянули — катехизис и разорвали.

— Дрянь!

— На свой аршин меряете! — вспыхнула Оля.

На следующий день Олю вызвали к начальнице. Начальница гимназии Марья Ивановна — Индюшка, постная и сухопарая, с лица вылитая батюшка Аристотелев, только без всякого украшения — ни бороды, ни усов: нос башмаком, губы подшлепки, как плямки, глаза сыщичьи, спереди пробор, или, как сама выражалась, «r a i e», а сзади осмерка.

— Сколько вам лет?

— Пятнадцать.

— Что же с вами будет, когда вам будет двадцать лет?

Оля молчит: и что тут ответить?

Тут начальница вскоконула со стула:

— Гадкая, мерзкая, злая, бессовестная, бессердечная девчонка!

— Марья Ивановна...

— Как вы смели нагрубить Марье Терентьевне?

— Марья Ивановна...

— Вы еще разговаривать! гадкая, мерзкая, злая, бессовестная, бессердечная девчонка!

И во всю большую перемену отчитывалась Оля.

Оля должна извиниться перед классной дамой.

— Марья Терентьевна! — Оля встретила классную даму, выходя от начальницы, — Марья Ивановна сказала, чтобы я попросила у вас извинения.

И разошлись всякий по-своему.

Урок прошел спокойно. А после звонка Олю снова вызвали к начальнице.

— Извинились?

— Да.

— Что ж вам сказала Марья Терентьевна?

— Губы надула и пошла.

— Что? — вскоконула начальница. — Не сметь ходить в гимназию! Гадкая, мерзкая, злая, бессовестная, бессердечная девчонка!

И кончилось тем, что за поведение поставили Оле тройку.

И целую неделю Оля не ходила в гимназию.

Вызвали из Ватагина Наталию Ивановну: она должна была объясниться с начальницей за Олю, — а то бы Олю исключили.

В старших классах законоучителем был батюшка Аристотелев, которого звали «тако». А прозвали за то, что гимназистке, читавшей Отче наш и кончившей —

«яко на небеси, тако и на земли».

— тако и в ведомости! — сказал батюшка Аристотелев и поставил единицу.

А был другой батюшка — Свободин, у которого младшая дочь утонула. Иов многострадальный.

На похоронах, когда батюшка до самого кладбища полз за гробом, Оля говорила растерявшейся Кате, своей подруге:

«Надо быть сильной!»

— И смелой! — скажет Оля, но уж в восьмом классе, когда придется давать пробный урок и из всего класса вызовется первая Оля.

Последний гимназический год Оля жила в Покидоше под глазом тетки Марьи Петровны. Марья Петровна еще до Пасхи уехала в имение, и вся весна прошла безнадзорно. И вот как-то, появившись по делам в городе, Марья Петровна напустилась на Олю, что ходит она в Казенный сад гулять со студентами и особенно с Черкасовым.

— Откуда вы знаете?

— Так тебе и скажу! Точно не знаешь — весь Покидош как на ладони.

2.

Так от маленьких всяких вещиц, любимого платья, заветной ночной кофточки, через бесчисленные купанья и вензель Натальи Васильевны Оля, сильная и смелая, подошла к книгам — к Тургеневу, Толстому, Достоевскому и к какому-то неведомому миру, где надо за что-то стоять и что-то освобождать, и вот очутилась в круге, который весь как на ладони.

И этот теснейший покидошенский круг был, как крылом, опахнут сплетней.

А в сплетне последний непререкаемый довод и в самых невероятных утверждениях и отзывах:

— говорят!

И любая несообразица, сочиненная про человека, причем, как всегда в сплетне, опорочивающая человека, принималась за сущую правду, раз —

— говорят!

И ты хоть тресни, уверяй и божись, всё равно не убедишь и не разуверишь, раз —

— говорят!

И никуда не скроешься.

И если ты тише воды и ниже травы, все равно это г о в о р я т найдет и тебя и твою тишину и скрыть непременно прицепит к какому-нибудь паскуднейшему паскудству, и тебя все равно ошельмуют.

Живому человеку, если ты силен и смел, один есть выход — вырваться из этого круга с его последним «говорящим» судом или — сам «заговоришь».

Оля это живо почувствовала и твердо решила: кончит гимназию — и в Петербург на курсы.

И это решение было для нее настоящим заветом бесповоротно.

Но как это ей устроить? — выбраться из Ватагина совсем не так просто!

Сказаться дома — — нет, лучше не говорить: столько будет всякого разговору и всего.

Потом ведь всё сгладится и будет так, словно бы иначе и не могло быть: увидят, что ничего нет страшного и всякое «говорят» ерунда, а Наталья Ивановна будет даже гордиться, что вот Оля в Петербурге учится на курсах.

Оля это хорошо знает.

Но Оле вот чего не хочется: очень ей тяжело уехать, ни слова не сказав отцу.

И это постоянно мучило Олю.

С экзамена Оля домой шла одна — там гора есть, и на горе древняя церковь — первая на Руси — Ильинская — подымалась она в гору, а сама думала и думала.

Уж скоро последний экзамен, поедет она в Ватагино и там до осени, а в августе опять в Покидош за аттестатом, а с аттестатом — и уж для нее всё очень ясно — не домой, а прямо в Петербург.

Только что же она отцу-то скажет?

С горы навстречу Оле спускается старичок-странник.

И когда поравнялся он с Олей, поднял так руку, как от солнца.

— Как пройти в Ильинскую церковь?

— Да вы от нее идете! — точно обрадовалась Оля, глядя на старика своими удивленными глазами. — Вон она, церковь!

А странник точно не слышит, всё смотрит и руку так, как от солнца.

— Образ Николы-угодника возьми с собой в дорогу.

И пошел, не обернулся, пошел своей дорогой — под гору.

А Оля стояла на горе и смотрела вслед своими совьими удивленными глазами.

«Образ Николы-угодника возьми с собой в дорогу!» — повторялись слова.

А ее тяжелая дума, как тяжелые цепи — —

И вдруг ей стало совсем легко.

Она поняла — и всё обернулось к ней ясным ликом и уверенно.

И когда в Ватагине, в последнюю неделю лета, наступил день — вечер — Оля рассказала отцу о страннике, как встретила на Ильинской горе, его слова.

— Николай-чудотворец, — сказал Александр Павлович, — покровитель девиц! — и перекрестился, — хорошо, поезжай, вот твоя икона будет. Только куда ты ее возьмешь такую большую, пусть она повисит пока у меня, моего отца благословение. А я тебе другую дам, поеду в Меженинку, там куплю.

И на другой день к вечеру у Оли была маленькая иконка Николы-угодника.

И ничего Оля не взяла из дому, только этот образок.

И ни слова не сказав, поехала в Покидош за аттестатом.

И получив аттестат — всё как думала — не вернулась Оля в Ватагино, а прямо на вокзал — в Петербург.

3.

В вагоне единственный сосед Оли понемногу разговорился.

Узнав, что Оля только что кончила гимназию, он спросил, что она дальше думает делать?

— На курсы поступлю! — ответила Оля, и сказала про это громко в первый раз.

— Обрежете свои чудесные волосы, вам ведь лет шестнадцать?

— Шестнадцать, — весело ответила Оля.

Веселость ли Оли или уж просто такой сосед попался говорун, стал он рассказывать о Петербурге: какой это чудесный город Петербург, как он хорош в белые ночи, и какие такие белые ночи в Петербурге, но главное — почему хорош Петербург:

— Всё можно достать.

Очень было интересно Оле.

— А я умею гадать, дайте я вам погадаю!

Оля протянула руку.

И он долго смотрел на ладонь.

— Три человека будут для вас иметь значение.

Оле понравилось.

— А что еще, еще скажите!

Он опять взял ее руку и опять, повернув к себе ладонью, пристально рассматривал.

И вдруг побледнел весь и выпустил руку.

— Я очень нервный, — сказал он.

И поднялся.

И там в коридоре стал у окна.

А Оле чего-то страшно.

Она перешла в дамское отделение, открыла окно.

А на воле такие мелкие звезды —

И мелкие, не могли они так высоко держаться, дрожали, срывались, летали —

под стук колес,
стелили звездами путь.

4.

Благословенна ты, моя родина, что на твоей земле после долгой зимы идет весна и светит солнце такое сильное и яркое, — кажется, нет его сильней и ярче и в самой Африке, где родятся черные арапы.

И на этот раз, верная, ты не обманула, и чуть май пришел, — вон вся земля с полем, лесом и рекой и то море за полем, лесом и рекой — обетованное, откуда, играя, восходит солнце, загорелись радостным утром, озолоченным звездной росой, и поднялся неугомонный щебет ранних птиц, и разливной затрелил соловьиный щёлк, и шел, наполняя душу, волнующий вешний шум —

сама весенняя пела земля, ее каждая травка — каждый полевой цветок.

*

Дорога от станции до Бобровки, старой усадьбы Черкасовых, еще не запыленная и не задернявшаяся, не искатанная телегами, проходила лесом, счастливым своей первой зеленью, как счастлива показалась весело переговаривающаяся пара, прокатившая в легком тарантасе, запряженном сытыми вороными.

Три странницы, присевшие в кустах у зацветающей сирени — три седые ночные птицы, пробужденные топотом коней и утренними молодыми голосами, подняли головы и, пережe-

вывая сухарики, долго провожали и девушку в простой соломенной шляпе, и статного черномазого спутника ее в алой раздувающейся рубахе, которая, мелькая, горела —

алое крыло прорезающей лес подстреленной птицы.

— Царевич с царевной, подай им Бог счастья! — сказала одна.

— В чистом поле сложить ему голову! — сказала другая.

А третья, слепая, самая старшая, сказала:

— Не избудет судьбу, сам порешится.

И мудрые, все три, подобрав с колен крошки, чтобы птицам отдать, подвязали за плечи порыжелые в странствии кожаные сумки, помолились и тронулись в путь:

одна — на запад,
другая — на восток,
а третья — за солнцем, глаза застилает —
не видно.

Доля — Невеста — Весна.

Родион, заспанный конюх, плетущийся порожняком, вдруг сообразил, что не простые это странницы — ведьмы, стеганул лошадь и, запустив всю пятерню в волоса, неизвестно к кому обращаясь, промолвил:

— Роптаться не следует.

5.

Время было еще такое раннее, и весь дом Черкасовых со всеми его обитателями и добром, оставшимся от запасливых ключниц, этого ока недрема́нного над знатными расточительными дедами, погружен был в сладкий непробудный сон и ничуть не зарился распахнуть дверь с балкона в сад, и нисколько не заботился, что солнце высоко взошло над Бобровкой и что сад на заре еще белее стал.

Одна белоснежная собачонка Кушка, навостря чуткое ухо, разгуливала по широкому зеленому двору от крыльца до широко распахнутых ворот и, подобно всем старым, старалась отыскать хозяйским глазом непорядок:

— и почему Сенька Кривой заленился и скотины в поле не гонит, разве не знает?

— и почему свиньи дрыхнут, когда поросяткам самая пора гулять?

— и где это видано, чтобы индюшата молчали?

Так придираясь, спрашивала Кушка, но вот и сама она, по каким-то неведомым песьим соображениям, остановилась, покорно присела, задрав заднюю ногу и, закрыв глаза, всё забывая на свете, уткнула мордочку себе в колени.

И уж ничем не одобрила такую же раннюю, такую же старую древнюю ключницу Нелиду Максимовну.

Охота пуще неволи — и Нелида Максимовна, озабоченная и суетящаяся, успела добрых десяток раз перебежать из дома во флигель и, несмотря на свою одышку и на то, что в клубах имела чуть ли не сажень, казалось, не только не устала, а как бы лет двадцать с плеч своих сбросила.

Еще вчера ввечеру, когда молодой Черкасов — так величали в Бобровке и далеко по округу чуть не до Ватагина студента Владимира Михайловича — когда отдавал он приказание сонному конюху Родиону приготовить к петербургскому поезду его любимых лошадей, у Нелиды Максимовны сперло дыхание в предчувствии радостной неожиданности.

Кроме того, на вечерней заре петух пел — это к вестям.

А когда после ужина, простясь с матерью, Владимир Михайлович вместо того, чтобы идти к себе в кабинет, как это обыкновенно делал с своего возвращения в деревню, вышел на балкон и, окликнув проходившую Нелиду Максимовну, попросил ее приготовить комнаты для Ольги Александровны Ильменевой, причем, помимо воли своей, улыбнулся, Нелида Максимовна всё поняла и даже оробела. —

потому что очень уж всё поняла в точности.

6.

Ильменевы и Черкасовы считались соседями. Говорили когда-то, что от Бобровки до Ватагина — имения Ильменевых — рукой подать.

В действительности же рука, которая мерила версты, уж, конечно, не могла принадлежать простому смертному землемеру, а по крайней мере одному из богатырей-великанов, чьи могилы курганами подымались среди широкой, звенящей жаворонком, зеленой гусиной степи.

В самом деле: не считая шестичасового пути по железной дороге, еще на лошадях с полсотни верст набиралось, а в сугробы да в расторопицу и вся сотня — путь, как видно, не малый, и рука совсем ни при чем.

Но была во всем этом, пожалуй, и своя правда, и, когда говорили о соседстве Бобровки с Ватагином, — ничуть не лгали:

расстояние скрадывалось теми добрыми и приятельскими отношениями, какие завязались у стариков — Ильменева и Черкасова, — еще когда в молодости служили оба в одном полку и затем вместе участвовали в одной и той же кампании — воевали с турками.

А вот с некоторых пор, лет так двадцать, двадцать пять назад, дело пошло по-другому — расстояние заметно стало увеличиваться, со смертью же старика Черкасова оно выросло в какой-то сказочный сибирский путь, запустел путь, и всякая тропа пропала.

И уж все попытки восстановить старое, и восстановить его наперекор непонятно теряющейся возможности, ровно бы и сама судьба подталкивала, всё как есть кончились неудачей:

что-то вдруг поднялось между двумя семьями и упорно не подпускало их близко друг к другу.

*

А где таилась причина?

Почему всё так вышло?

Толковали разное, кто на что, ни полслова путного: кто на зайца косого, из-за которого будто бы старик Черкасов на охоте с Ильменевым поспорил, кто на старую Черкасову, будто бы повздорившую с Ильменевой еще в ранней молодости, когда, на каком-то балу, танцуя, одна у другой кавалера перебила, кто на времена, кто на обстоятельства. И вместе с тем ясно чувствовалось, что дело не в зайце, не в танцах, не во временах, не в обстоятельствах, и что в сущности никакой видимой причины нет и не было —

словом, рознь беспричинна.

Разве так уже всё с причиной?

А так как всё, что совершается беспричинно, прежде всего, страшно, то все философы и охотники посудачить вдруг упер-

лись лбом в стену и так постарались извернуться, что в конце концов оказалось:

никогда и никому не было дела ни до Ильменевых, ни до Черкасовых, и если бы в один прекрасный день обнаружилось, что обе семьи уничтожили друг друга или, наоборот, очутились вместе в одном доме под одним кровом, распивая чай, все равно никому не пришло бы в голову просто чихнуть от неожиданности.

Нелида Максимовна, на глазах которой и старики состарились и вырос Владимир Михайлович, всей душой сокрушалась и не могла забыть прошлое — хорошее, держа на уме-разуме печальное — теперешнее.

Не находя причины совершившемуся, валила весь грех на кошку:

кошка перебежала дорогу между Бобровкой и Ватагином!

Была в Бобровке такая черная кошка Ласка, и вот как-то вышла Ласка со двора погулять и пропала. А вернувшись, вид имела провинившийся и всё курлыкала, будто жаловалась своей покровительнице, что не в ней тут вина, а что послали ее, и, курлыкая, говорила по-своему на кошачьем своем языке, кто тот сильный, сильнее воли человека, зверя и птицы, кто послал ее перебежать дорогу между Бобровкой и Ватагином.

Не понимая разговор кошкин и видя, как всё вдруг вразброд пошло, Нелида Максимовна тут же пообещалась наказать Ласку, чтобы впредь ей бегать повадки не было, но как-то так всё случалось, что откладывала она ученье, и жаль было кошки: очень уж ласковая.

А когда в один прекрасный день, приняв твердое решение правильный свершить суд, приготовила она свежих прутьев, и таких свежих, что по голу и по шерсти хлещут больно, умирает вдруг старый Черкасов Михаил Дмитриевич, и в тот же самый день к вечеру кошки как не бывало:

пропала.

— Куда?

— Для чего?

— Опять бегать?

— Да, конечно — перебегать дорогу и кликать беду.

— Спас Многомилостивый, Пресвятая Мати Божия, Богородица, чтобы все сыты были, здоровы, счастливы, да чтобы было всякое благополучие в доме, мир и тишина, от огня упаси, от смерти напрасной и от худого глаза!

Плакала, молилась от желанья, с теплым сердцем, убивалась Нелида Максимовна, вспоминая свою любимицу, и пеняла, что за всю любовь — пост научила постить, в разговенья говядиной лакомила! — тварь ничего ей не выдумала, как только мешать согласию.

*

Два желания лелеяла старая ключница: поженить Владимира Михайловича с Ольгой Александровной и помирить его с сестрой Варей, — глубокие желания, так в самые корни сердца вросшие, что не поверить в их осуществление — умереть легче, да так ей и по картам выходило, так во сне виделось.

Владимир Михайлович старше Вари на два года. В детстве очень дружные, водой не разольешь. И вот однажды, играя в какую-то замысловатую разбойничью игру, Варя ударила его по лицу. И с того дня словно что-то откололо брата от сестры: стали друг для друга совсем как чужие, и всё врозь. Варя пробовала не раз заговаривать первая, но из этого ничего не выходило. Самое большее, был он вежлив и только.

Чему приписать такое отчуждение? Злопамятным назвать?

— нет, этого за ним не замечалось.

Правда, была у него одна мучительная черта — особенная живость воспоминаний:

вспоминая какое-либо событие, он испытывал то самое чувство, как если бы событие совершалось на самом деле.

Но ведь это было так давно, когда ударила его Варя!

Нелида Максимовна всё делала, чтобы помирить, и ничего не сделала.

В прошлом году вдруг осенила ее мысль, что и тут не без кошки, ее рук дело. И чтобы окончательно освободиться из-под власти неблагодарной и злой твари, задумала она извести кошку.

Но как извести?

Искать — не отыщешь, ловить — да где же ловить?

Одно средство испытанное и верное, к которому не прибегала она уже много-много лет, потому что зря — грех, оставалось в запасе.

Она сделала Ласкину фигурку из воска, шерстяной ниткой перевязала фигурку кругом крепко, перевязывая, на каждом узле произносила слова, какие в этих случаях произносить полагалось, потом, потомив в путах несчастную, терпеливо сожгла ее на медленном жарком огне.

Помолилась Богу и стала ждать, что будет.

Дня не прошло, приходит пастух Сенька Кривой с жалобой на коровницу Аграфену и сообщает новость:

видел он Ласку, но в виде самом невозможном — всю изрезанную и исколотую — дохлую.

— Слышишь, дохлую! Есть-таки правда на белом свете!

Нелида Максимовна только руками всплескивала от безмерного, заливавшего всю ее удовольствия.

А Сенька Кривой тут ей лапки да хвостик, да так что-то, какой-то комочек, вроде мордочки Ласкиной в доказательство передал, не облизнулся.

Пообещала она пастуху полтинник, а лапки и хвостик в печке сожгла, — слава Тебе, Господи!

И вот как запеть соловью да расцвесть всем цветам, едет Оля в Бобровку.

Оля — подруга Вари, она выйдет замуж за Владимира, Оля помирит сестру с братом.

И тогда уже больше ничего не надо, спокойно старая ляжет в могилу.

7.

Прибирая комнаты во флигеле и приготовляя всё, что надобилось к встрече Оли, Нелида Максимовна представляла себе, как всё устроится по-хорошему — честно, хвально, радушно, и дорога между Бобровкой и Ватагином ляжет скатертью, как попирует она на свадьбе, как Оля в Бобровке жить останется, а потом — и это, пожалуй, самое заветное — Бобровка огласится детским криком, и уж маленький Черкасов будет прибегать к ней сказку послушать да за медовыми пряниками.

А уж что говорить, эти пряники умела она так вкусно делать, что всякий, кто бы его ни отведал, и в погоду и в любой

час, натощак или плотно заправившись, все равно, забывал от удовольствия все слова и русские, и не русские и одно держал в памяти: рассыпчатый пряник удивительный, что наливчатый яблочек, жизнь разлюли-малина! — либо, удивлённый медовой приятностью, так на всю жизнь, вспоминая его, словно бы застывал от удивления.

Вот за каким пряником прибежит маленький кудрявенький Черкасов.

Экипаж въехал в ворота и, рысью прокатив мимо дома по двору, завернул к флигелю. Нелида Максимовна бросилась к окну —

Но ее ноги, не выдержав, подкосились, и, присев, она выпустила из рук полную ладышку с варенцом.

— Мати Еглицкая, Мати Казанская, Мати Астраханская, спаси и сохрани от бед и напасти и помилуй от напрасныя смерти, и вы, горы афонские, отвратите, станьте мне в помощь!

Шептала растерянно старуха, подбирая с пола черепки и уж не зная, кого укланивать поклонами, словами уговаривать, кого на защиту звать от грядущей нечаянности. От дурной? — а дурную предвещали мелко разбитые страшные черепки.

И тряслась вся, как тряслась девчонкой, когда, поставленная обмахивать мух со старого барина, зазевавшись, задевала его темный птичий крючком нос.

— Спас Многомилостивый, Пресвятая Мати божия, Богородица, только мира хочу я дому и всем живущим в нем, только мира!

С веселым радостным смехом распахнулись двери и заглушили воркотню древней ключницы.

8.

Несмотря на то, что Ильменевы и Черкасовы были когда-то дружны, дети их, учась в одном и том же губернском городе, в Покидоше, познакомились друг с другом сами:

> с Варей Оля была в одном классе, и жили в одном пансионе, а знакомство с Черкасовым произошло уже много позже.

Всякий раз в воскресенье, возвращаясь из церкви в пансион, Оля замечала высокого черного гимназиста, непременно попадавшегося ей на улице, — гимназист проделывал это так:

быстро обогнав Олю, возвращался медленно назад ей навстречу.

Такие встречи продолжались две зимы. Двоюродный брат Оли, Саша Краснопольский, участвовал на маевке, устроенной их классом по случаю окончания гимназии, и после рассказывал Оле, что один гимназист сказал ему:

«Я и тебя люблю, и твою сестру люблю, она такая славная»!

Этот гимназист и был тот самый черненький, встречавший Олю по воскресеньям, — Владимир Черкасов.

Как-то вскоре Оля зашла к своей гимназической подруге Кате Козловской: обе переходили в пятый класс и вместе готовились к экзаменам. Провожая Олю, Катя заговорилась у калитки — Катя уже влюблялась и охотница была посудачить, зная всех наперечет и гимназистов, и студентов, и офицеров.

Был светлый, тихий день, тихий теплый ветер нежно ласкал лицо и, ластясь, играл в волосах.

Оля пропускала мимо ушей болтовню Кати —

тот странный голос, какой, может быть, только ей и слышался по вёснам, вдруг зазвучал где-то очень близко: не то кто-то кликал, как кличут издалека на поле, не то кто-то пел, как поют без слов, протяжно с захватом, и нечеловеческий это был голос, становилось грустно, и всю подымало — идти куда-то хотелось, без дороги, без цели, только бы идти.

И вот мимо прошел тот черненький высокий гимназист.

— Это, знаешь, — сказала Катя, — Владимир Михайлович Черкасов, на редкость красивый!

А Оле стало приятно, что она — с и м п а т и я этого «на редкость красивого» гимназиста, и никто об этом не знает, только она одна.

Легко и весело шла Оля домой в своем коричневом платье с черным передником, шалун ветер расплетал ее тяжелую светло-русую косу, и тот голос звучал ей так близко — весенний.

Молчаливые таинственные встречи по воскресеньям прекратились.

Но Оле вспоминался черненький гимназист.

«Вот в Петербурге, — а Петербург казался ей чем-то особенным, каким-то сказочным Ирием, страной вечной весны, — там,

в этом Петербурге живет студент, который думает обо мне больше, чем даже мама».

Только на следующую весну Оля встретила Черкасова. Она шла к подруге в гости и на мосту увидела его:

> он посмотрел на нее и словно улыбнулся — так всегда он будто улыбался, когда глядел пристально и особенно.

Он показался ей почерневшим, и она подумала:

«Это там в Петербурге, должно быть, чернеют».

На Святки съехавшиеся студенты устроили вечеринку. На вечеринке двоюродный брат Саша Краснопольский представил Оле Черкасова.

Так состоялось знакомство.

И хотя в этот вечер не было произнесено между ними ни одного слова, — Оля нарядная, в голубой кофточке, всё время танцевала, Черкасов совсем не танцевал, — с этого вечера началось их сближение.

Весной, когда снова приехали в Покидош студенты, началось катанье на лодках.

Всякий раз, если участвовала Оля, появлялся Черкасов.

После катанья он провожал ее домой.

Он был старше ее на целых пять лет, а робел перед ней, как школьник, и сначала стеснялся заходить за ней, приглашая через кого-нибудь из своих товарищей, и только потом стал заходить сам.

Обыкновенно дорогой заводился разговор о Петербурге.

— Вот вы скоро кончите гимназию, что же вы будете делать?

— Поеду в Петербург на курсы.

Черкасов одобрил решение Оли ехать на курсы и стал давать ей книги, а потом расспрашивал, что ей понравилось.

От Тургенева и Толстого Оля была в восторге, а книги по аграрному вопросу едва дочитала, скучно.

Подруги Оли, — и Катя Козловская, и Лида Оленина, и Маруся Иванович, и Лиза Милорадович, все были влюблены в Черкасова и прожужжали ей уши:

— какой он красивый!

Однажды, причалив к берегу, Оля с Катей вышли, Черкасов ставил лодку: в белом кителе, высокий, высоко запрокидывал голову, держался он «живописно».

Оля, невольно заглядевшись на него, подумала:

«А и вправду, какой он красивый, а руки маленькие, совсем как у меня, только смуглые».

— А посмотри, Оля, какие у него глаза, — сказала Катя, — таких больших и темных ни у кого нет.

Кроме катанья на лодках, устраивали прогулки в общественный сад.

Всякий раз, если участвовала Оля, появлялся Черкасов.

Он бледнел при ее встрече, каждый ее взгляд, каждый шаг, каждое слово получали для него значение. Он не мог этого скрывать, все знали.

И для Марьи Петровны, под глазом которой жила Оля в Покидоше, нашлось немало разговоров: гостя в Ватагине, она рассказывала старой Ильменевой, как Оля соловьев ходила слушать, —

— и не с подругами, а с своим соловьем, но что это ничего — партия хорошая.

Когда кончились экзамены и Оля уехала в деревню, началась переписка.

В первом же письме Черкасов рассказывал Оле свою историю.

Он давно знает Олю: когда в первый раз он увидел ее в гимназической церкви, — она была совсем-совсем девочкой — в сердце его что-то вздрогнуло, и дело его жизни было сделано. Она ему страшно понравилась. И с тех пор он следил за ней, он постоянно отыскивал места, где мог увидеть ее. Во время экзаменов он, бывало, на бульваре поджидал ее и, когда она проходила, ему хотелось всякий раз встать со скамейки и сказать зазубренную приготовленную фразу: простите меня, я так хочу с вами познакомиться, а не знаю, как это сделать. И вечеринку он тогда на Рождестве для нее устроил, чтобы только познакомиться. Что ему в ней понравилось? Всё. Глаза в особенности: за чистоту, за невинность, еще за что-то, чего он передать не может.

Оля, получив первое письмо, между прочим, подумала:

«а вот все и дома и тетка говорили, что у меня глаза серые и некрасивые, и чтобы чаще я закрывала их!»

Переписка продолжалась весь год.

Оля писала редко. Она ждала его писем. Ведь весь интерес заключался для нее в петербургской жизни.

У Оли было одно желание — скорее кончить гимназию и начать самой эту заманчивую жизнь в Петербурге, —

где всё настоящее, и люди, всякие кружки, всё.

А то последнюю зиму Оля попала в один гимназический кружок, и ей там очень не понравилось.

На первом собрании в этом кружке предложен был вопрос:

«есть Бог или нет?»

Гимназисты отрицали, а Оля и другие гимназистки говорили, что Бог есть.

Тут Веригин-восьмиклассник вдруг заявил, что вопрос решен:

— Бога нет по большинству голосов

Оля возмутилась: большинства вовсе не было.

Но Веригин ничего не хотел знать, тем и кончилось: никакого Бога нет.

Предложили другой вопрос:

«можно ли носить корсет и танцевать?»

И опять по такому же большинству голосов решили:

«и носить корсет, и танцевать безнравственно».

Получив аттестат и золотую медаль, Оля поехала в Петербург и поступила на Бестужевские курсы.

В Петербурге вскоре встретилась с Черкасовым.

Он для нее всё исполнял, о чем бы она ни попросила.

А она относилась к нему просто и легко, не понимая того чувства, какое с каждой встречей врастало ему в сердце всё глубже и заполняло его душу всё сильнее.

Оля еще никого не любила и не представляла себе эту любовь, когда другой, забывая себя и всё кругом, и время, и место, видит в тебе и только в тебе весь мир, всё.

9.

Какое счастье для Черкасова, что Оля на его земле, в их доме, — вот сейчас сидит она и пьет чай, вот она смотрит на него —

да оттого и всё так хорошо и счастливо!

И неужели такие богатые комнаты в этом маленьком флигеле? — он ничего до сих пор не замечал!

Да он ничего не видит, ничего не слышит, он видит ее и слышит ее.

Черкасов вышел из флигеля, — и как стал, так и остался стоять, и даже не почувствовал, что, забыв пригнуться, ударился больно головой о дверную притолоку.

Он просто не верит себе, что она здесь.

А что бы было, если бы он опоздал к поезду? Ведь одна-то она без него не приехала бы! Это он отыскал ее в вагоне и уговорил, — она хотела прямо в Ватагино.

Но когда-то-нибудь — он верит — она и сама приедет, так сразу, неожиданно...

Какой он счастливый!

— Владимир Михайлович, вы не разучились свистать?

Оля переоделась, она была в розовой легкой кофточке и выглядела совсем как тогда, в Покидоше, весной у калитки.

— Он у нас соловей, — ввернула Нелида Максимовна, хлопотавшая пуще прежнего.

Оля пришлась ей по душе — рослая, румяная, чернобровая — такую именно прочила она в жены Черкасову: под лад и под стать ему.

Одно смущало старуху: волосы у Оли были коротки, ровно бы подстриженные.

— Хотите из Фауста? — Черкасов готов был просвистать всё что угодно, и даже такое, что никакому не поддавалось высвисту.

— Нет, нет, лучше из Демона! Помните, как мы в Мариинском театре? вы, я и Зина.

Когда отошли от дома и повернули в поле, Оля принялась рассказывать о последних Петербургских событиях —

об арестах.

Всё это было внове для Оли и так важно.

И она уже не смеялась, как смеялась дорогой, глядя на лес, о котором много и часто вспоминала за зиму в Петербурге со своей подругой, тоже курсисткой, Зиной Рашевской.

10.

Призывом к столу на завтрак и обед служил в Бобровке не колокол, как это водилось встарь, а истошный голос, испускаемый из сложенных сердечком сдобных губ Нелиды Максимов-

ны, приподнимавшейся всякий раз неестественно высоко на цыпочки.

И звук выходил такой пронзительный, что вся какая ни на есть домашняя птица, от гуся до курицы, шарахалась, кто куда, как от подтишковой собачонки Сокола, либо от легавого Буяна, который в жаркие дни злой гонялся за птицей, полагая, должно быть — что птицы и блохи — одно и то же.

На этот раз, когда пришло время, Нелида Максимовна, желая щегольнуть перед гостьей, пустила во всю голову такую свиную трель, что даже сам стервятник, затеявший было полакомиться индюшонком, повернул куда-то к железнодорожной станции и, с досады выругавшись, должно быть, крепко, по-стервятски, наметил пышную шляпку какой-то красавицы, томно прогуливающейся в ожидании поезда там — у желтых вокзальных отделений.

Но ни на окрик Нелиды Максимовны, ни на стервятскую ругань, протянувшуюся белой пуховой тучкой, впрочем, тут же и растаявшей, никто, кажется, не обратил никакого внимания, разве одни те серые птички, зобатые даровым зерном залежавшихся хлебных грузов, воробушки, ремезя и чирикая по шпалам, вдруг взлетели под крышу вокзала и, образовав что-то вроде не то герба, не то вензеля, притворились электрическими лампочками.

По-прежнему небо нежилось в своей сини такое синее, что глубже представить мудрено, а солнце, задержавшись под старым прудом, в котором водились когда-то благородные стерляди, а сомы усатые и до сих пор в иле живут и, как быть беде, снятся садовнику Григорию, майское солнце припекало жарко, творя силой своей черт знает что.

Федор Фалалеич — бывший земский начальник, проживавший в Бобровке в качестве родственника, человек степенный и всеми уважаемый, которому при прощании мужики поднесли икону да золотой жетон, всерьез вообразив себя великой подводной лягушкой, уселся на плотик и, важно поглаживая длинными тонкими пальцами свои седенькие бачки, —

заквакал самой обыкновенной лягушкой.

А на другом конце пруда, где вербы, Куземка, Артюшка и Купряшка да девчонка Евгенька и Васютка, скинув с себя ру-

башонки, превратились в арапчат и, сущие чертенята, с визгом и криком лезли друг на друга —

чтобы друг друга без остатку поесть.

Так всё переиначивалось и перемешивалось, да и мыслимо ли было ожидать другого в такой веселый полдень.

Битый час истек с призыва, а в столовой всё летали мухи и, наедаясь до отвалу, сонные садились на старые картины —

на лошадей и дам в голубом, прогуливающихся с кавалерами у закрытого зеленью замка,
на этих пестрых птиц и морских рыб, от которых веяло морем.

Только когда белоснежная Кушка, успевшая хорошо всхрапнуть на солнышке, поднялась с мягкой травы и, ступая бережно на свои деликатные лапки, довольная, что поспеет в самый раз, а закусить ей вообще не мешало, приветливо кланяясь всему живому полдню, направилась к крыльцу —

двери в столовую широко раскрылись.

*

Елена Степановна Черкасова, несмотря на то, что была женщина и старая, и маленькая, и хрупкая, и занимала так мало места, какой-то внутренней силой своей, не поведя пальцем, всё тронула, а под живыми глазами ее всё сразу ожило и зашумело, и с блюда, давно остывшего, ей-Богу, повалил густой, вкусный пар.

Следом за Еленой Степановной, прихрамывая, семенил Федор Фалалеич в своей парадной визитке, надушенный теми духами, какими он душился в царские дни, в именины, да всякий раз, когда собирался сниматься.

Оля вошла уж снова с тем молодым заразительным хохотом, от которого просто, не зная причины, самому хочется смеяться.

За Олей Владимир Михайлович.

Последней явилась Варя, такая же смуглая и тонкая, как брат, но в движениях своих напоминающая того измученного, у которого ноги подкашиваются, а стоять и двигаться все-таки почему-то надо.

«И к чему и зачем, чего им нужно?»

Не жужжали, а бормотали бормотные недовольные мухи, переполошившиеся от шарканья стульев и шмыганья шагов во-

шедших людей, которые после всяких приветствий, усевшись за стол —

мухам мешали.

Пахомыч и Терентий — старые слуги, видавшие на своем веку немало видов, от которых человеку по гроб жизни не отделаться, держались до крайности надменно, наводя выправкою своею подобающую всем хорошим домам чинность, невольно передающуюся и предметам, как одушевленным, так и неодушевленным.

Пробравшаяся было в переднюю белоснежная Кушка, почуяв грозу, повернула назад на крыльцо и, зайдя с черного хода, сунулась в кухню и благополучно обошла главного повара Лаврентия Мокеича, который готовил какое-то такое из ряда вон замысловатое блюдо, что, сам уже не веря, что такая штука возможна —

выбегал поминутно проветриться.

Тут с поджатым хвостом, получив хорошего пинка от полповара Кондратия, не выпускавшего изо рта папироску и сеявшего поварскую брань на поваренка Асташку, как пепел в кушанье, прошмыгнула Кушка как-то очень уж быстро через хозяйскую по коридору, да по лестнице прямо в комнату Вари —

чтобы терпеливо ждать благоприятного случая попасть к вкусному завтраку.

11.

Так повелось: когда за столом появлялся посторонний, время шло путано, шумно и говорливо.

Никого не слушая и никому рта не давая раскрыть, говорила Елена Степановна.

И оттого, что глаза ее бегали так беспокойно живо, вся она подпрыгивала на стуле, как на коне, вилка в ее цепких руках, тоже прыгая, сверкала иглой, а слова ее, вылетавшие удивительно быстро, трынкой тренькали.

Елена Степановна устремилась на Олю и закидывала ее вопросами о Петербурге, о тех общих знатных друзьях, имея к которым доступ, Оля, однако, никогда не заходила, о Владимире Соловьеве — друге ее покойного мужа, о котором Оля хоть и слышала, но ни строчки не читала, и о многом другом, что Олю вовсе не интересует.

Но Елене Степановне, в сущности, до всего этого не было никакого дела, и, продолжая расспрашивать, она вспоминала свою веселую и блестящую петербургскую жизнь, когда покойный муж ее на парадах и балах был так великолепен и так неотразим,

что все дамы при встрече с ним падали в обморок.

— Падали в обморок, — выговаривала Елена Степановна, сама как будто удивившаяся такому обстоятельству, но тотчас же уверовала и понеслась дальше.

Вспоминания о муже у Елены Степановны не только не остывали, а с каждым годом становились всё ярче, и с каждым годом в памяти всплывали на свет Божий всё новые и такие неожиданные подробности, от которых — встань из гроба покойный — и сам либо уши развесил бы, либо принялся б открещиваться.

Но такова уж любовь — большая сказочница.

Упомянув о балах и парадах, Елена Степановна вспомнила все петербургские интриги, из-за которых старик Черкасов вынужден был выйти в отставку, и они уж навсегда поселились в Бобровке, и наступили дни какого-то сплошного счастья, никогда не изменявшего им, счастливейшим в свете.

А упомянув о своем прошлом счастье, чем обычно заключались воспоминания, Елена Степановна впервые остановила глаза на Оле и, скользнув по ее подстриженным волнистым волосам, едва прикрывавшим шею, так подпрыгнула вместе со своей тарелкой, что бедный Федор Фалалеич, приноровившийся к цыплячьему крылышку, чтобы обглодать его повкуснее, от такой внезапности захотел проглотить крылышко —

и, не ахнув, подавился.

Впрочем, печальное происшествие скоро было улажено с помощью Лаврентия Мокеича, знавшего какую-то такую точку где-то на спине, под лопаткой, по которой если хватить покрепче кулаком, то непроходящий предмет — кость или косточка — немедленно выскакивали или, что бывало не так уж часто:

проскочит куда-то в самую глубь потрохов — и звания не останется.

А так как подобные недоразумения случались сплошь да рядом, то работа повара не вызывала ни малейшего замешательства.

Пахомыч и Терентий служили так же важно, да, пожалуй, поважнее, потому что в рассказах Елены Степановны мелькали все важные особы, а время проносилось богатое, не такие пустяки, и завидное.

«Не дождешься, знать, такого, — думали себе и Пахомыч, и Терентий, — разве что, если даст Бог, на том свете служить назначат».

Елена Степановна настойчива, не могла успокоиться, не узнав всю подноготную — что раз выговорено, на том и упрется, такой склад, — да и не могла она представить себе,

что бы сказал покойный Михаил Дмитриевич, увидя Олю без ее тяжелой, светло-русой косы?

Вступился Владимир Михайлович, взявшийся передать всю возмутительную, как он выразился, историю с косой.

*

Когда Оля приехала в Петербург, у нее осталось двенадцать рублей — всего-то было тридцать, да восемнадцать на дорогу пошли. Первое время она не обедала — один филипповский пирожок — вот и всё.

Писать домой останавливала мысль о возможном отказе, и притом всякое обращение к родным было бы с ее стороны некоторой сдачей; она твердо определила: раз поступив против, не побоявшись тех страхов, какими ее пугали дома, стоять до конца.

Курсистка Финикова, на которую Оля смотрела как на образец, — Финикова носила синюю ситцевую кофточку с горошком и никаких украшений, — она и надоумила Олю:

«Обрежь косу и деньги получишь!»

И пошли в парикмахерскую на 7-ю линию.

«Я хочу обрезать волосы», — сказала Оля.

«Ну что вы, такие прекрасные волосы. Это невозможно!»

«Все равно, у нее лезут».

«Я дам вам лекарство, и перестанут».

«Нет, я хочу обрезать», — по-своему сказала Оля.

«Ну, на меня тогда не пеняйте!»

«А за сколько вы купите мою косу?» — спросила Оля, когда уж обрезали косы.

«Двадцать пять рублей».

«Как много!» — подумала Оля.

Из парикмахерской Оля пошла разыскивать Черкасова; она узнала его адрес, но всё не могла собраться: ведь столько было хлопот — и с комнатой, и с Курсами.

Черкасов жил на Зверинской, — это совсем не далеко.

И все-таки досадно: его не было дома, пошел обедать. Оля решила дождаться.

На кровати лежала брошенная студенческая тужурка. Оля надела тужурку.

А тут и Черкасов вернулся.

Очень обрадовался:

«Какой у меня хороший студент сидит!»

Оля рассказала о косе, но тогда он едва ли что слышал, — так он обрадовался Оле.

*

— Коса была редкой величины, — горячился Черкасов, как будто дело шло о чем-то гораздо более важном, о каком-то оскорблении, нанесенном Оле, — да о такой косе в песнях поется. А эти несчастные, этот парикмахер, без всяких, не сняв даже ленты с косы, под корень ее обрезал. И это из-за каких-то двадцати пяти рублей!

— Да все ваши Курсы одного волоска не стоят! — подскочила Елена Степановна, воспламенявшаяся быстрее всякого трута.

— Я себе этого никогда не прощу, я должен был отыскать вас, и как вам не грех: знали мой адрес, обещали известить...

Посмотрев с упреком на Олю, Черкасов бросил салфетку и встал из-за стола.

Елена Степановна, дрожавшая над сыном, как над покойным своим мужем, — сходство и в лице, и в манерах было поразительное, — принялась его успокаивать.

— У Оли такие чудесные волосы, поверь, на будущее лето вырастет еще длиннее коса. Я слышала, в известном возрасте стричься прямо-таки необходимо, доктора говорят.

— Нет, я понимаю, не писать родным...

— Конечно, вырастут еще длиннее, — говорила Елена Степановна, — по пояс вырастут.

— Даже ленты не сняли! — не успокаивался Черкасов, расхаживая такими шагами, что вся посуда звенела.

— Да перестаньте же, Владимир Михайлович!

Оля, вспыхнув, ударила по столу.

Черкасов поднял упавшую салфетку и вдруг сел.

Глаза его налились, темные, теперь слегка рыжеватые от заблиставшей в них мысли:

> он уж ни на минутку не оставит Олю, будет следить за каждым ее движением, за каждым ее шагом, будет ей домом, братом, матерью.

— Я давно хочу вас спросить, Ольга Александровна, — воспользовавшись наступившим успокоением, церемонно привстав, обратился к Оле совершенно оправившийся Федор Фалалеич, — и прошу великодушно простить за мой нескромный вопрос. Вы, как петербургская жительница, находясь, так сказать, у самых истоков событий, осведомлены: правду это говорят, что Средиземного моря больше не существует?

Вопрос был так крут, что Оля, высоко подняв свои черные брови, на минуту смешалась, но, припомнив рассказы Вари о чудаке-дядюшке и о тех чудачествах его, над которыми еще когда-то в пансионе вместе потешались, она лукаво, перемигнувшись с Варей, весело сказала:

— Нет, неправда, пока еще существует.

— Скажите! — покачал головой Федор Фалалеич.

И, подняв палец, укоризненно погрозил промелькнувшему в дверях Лаврентию Мокеичу, пришедшему посмотреть на господ:

> как они эту самую штуку его есть будут, которую он все-таки, несмотря на все свои сомнения, состряпал, и так ловко — все пальчики оближешь.

Оля, больше не выдержав, так расхохоталась, что даже Варя, не проронившая ни слова, заразилась ее весельем, а белоснежная Кушка, воспользовавшись случаем, не теряя минуты, появилась в столовой.

Только один Черкасов нахмурился.

— Теперь пойдут глупости, — пробормотал он недовольно.

— А что ж тот хитрец, — Федор Фалалеич даже прищурился от удовольствия, — тот, который носился с проектом соединить Волгу с Днепром — за три рубля?

Но тут судьба повернула немилосердно: выступила совсем уж неожиданно Елена Степановна, вспомнившая об управля-

ющем, который должен был давно вернуться из города и привезти справку из суда о спорных покосах — запутанном деле, начатом еще при покойном Черкасове.

А управляющий, как оказалось — это была постоянная история — вовсе и не думал ездить, ссылаясь на погоду —

> которая должна была, по его соображениям, перемениться и непременно к худшему.

Елена Степановна вспылила и первая поднялась из-за стола. Да и всем ничего другого не оставалось, как тоже встать: последнее хитрое блюдо Лаврентия Мокеича было съедено, чашки допиты, да и солнце, перейдя от пруда ко двору, зажгло таким нестерпимым жаром всю столовую, что сидеть больше стало невмочь.

12.

Федор Фалалеич, странным образом происходивший от тех Обров, от которых давным-давно не осталось ни одного Обрина, о чем, впрочем, считал он своим долгом заявлять в первую же голову при знакомстве, пристал к Оле показать ей нечто такое, что ни в Петербурге, ни в Париже, ни даже на южном полюсе она не встретит.

— Лилипутов? — попробовала догадаться Оля.

— Не лилипутов, а гордость Бобровки — ученого журавля!

Но пока очередь дошла до журавля, Федор Фалалеич извел Олю не столько своими коллекциями старинного оружия и собраниями всевозможных грамот и медалей, сколько своими рассуждениями по поводу предметов, совсем не относящихся ни к оружию, ни к медалям.

И самый заядлый философ, ну хоть Бердяев, проводящий дни свои в рассуждениях, позавидовал бы искусству вить доказательства по преимуществу — от противного.

Наконец, выступил знаменитый журавль. Это был самый обыкновенный и притом заморенный журавль, не внушающий к себе никакого доверия, если бы не чудесное свойство, каким журавль славился:

> по неисповедимым законам, вопреки всякому здравому смыслу, проглотив пустой стакан, журавль оставлял вместе с отбросами целых два стакана, и притом удивительно схожих между собой и по толщине стекла, и по размеру.

Насколько это была правда, не проверяли, да и проверить было бы мудрено.

Но сам Федор Фалалеич, в головах которого спал журавль, клялся и божился, что это была самая настоящая правда, и в доказательство сомневающимся показывал два небольших хрустальных стаканчика, точь-в-точь какие подавались к столу —

но будто бы вышедших из самого журавля!

И хотя Нелида Максимовна не досчитывалась в буфете как раз двух, но эти два, как ей помнится, были ею же собственноручно разбиты еще в день рождения Владимира Михайловича, и, стало быть, винить во лжи Федора Фалалеича она, единственная свидетельница, не имела никакого права —

а стало быть, показываемые стаканчики были подлинно журавлиные.

В мужском обществе, где все до одного, подымая на смех Федора Фалалеича, советовали ему немедля открыть стеклянный завод, он выражался просто и коротко, в дамском же обществе, где без всяких уверений склонны были поверить в журавлиные стаканы, витиевато и бестолково.

Так и теперь, вертя перед Олей стаканчики, он пространно объяснял ей суть их происхождения и, теряя надежду, что она хоть мало-мальски сообразит, готов был сказать попросту.

Поспевшая вовремя Варя увела Олю к себе наверх.

*

Оля любила Варю за молчаливость и скрытность — такая она была и в гимназии, и в пансионе.

И Оле приятно было посидеть в тихой светлой комнате с балконом в белый сад, вспомнить из недавней гимназической жизни такое легкое, хоть пережитое и не всегда легко, но что вспоминается просто и весело.

— И всегда вы, Варя, такая печальная, — сказала Оля, обнимая Варю.

— Вот посмотрите, Оля, — Варя раскрыла альбом, — это когда Владимиру было девять месяцев — с кормилицей снят, а это гимназистом- приготовишкой, а это в пятом классе, а это, когда кончал...

— Черненький гимназистик!

— А это горняком... только последней его нет, университетской.

— Хотите, Варя, я вам достану! — и, глядя ей в глаза, Оля поцеловала их, влажные от слез.

— А там, — с усилием сказала Варя, — на столе наша гимназическая группа.

Оля поднялась, взяла карточку и стала рассматривать.

Припомнилась гимназия и все страхи и уловки, связанные с ней. И хотя прошел всего-навсего год, а казалось, всё это было в незапамятные допотопные времена.

В группе сняты были одни гимназистки и ни одного учителя, ни классных дам, ни начальницы.

— Оля настояла, чтобы никого не приглашали и уж, конечно, Индюшку, — под таким прозвищем ходила начальница.

— Помните, Оля, как перед обедней Индюшка говорила нам, чтобы мы клали по шести поклонов, а гимназисты по три: «потому что женщина должна быть вдвое религиозней!»

— Еще бы!

И Оля представила Индюшку говорящей на акте напутственное слово окончившим гимназисткам:

— «желаю, чтобы вы вели себя так, чтобы никто ничего дурного про вас не сказал, нет, чтобы ни дурного, ни хорошего, чтобы о вас ничего не говорили!»

— Я ее перед отъездом раз видела. Гляжу, идет навстречу. Я скорее на другую сторону.

— А вот и вы! — Оля нашла в группе Варю. — Ну, совсем арапчонок.

— Учитель географии, Яков Степанович, называл меня половчанкой, помните?

— Конечно, половчанка! — Вы стали еще смуглее, Варя.

— Когда мы еще маленькие были, папа нам рассказывал, будто мы происходим от какого-то хана, а наша Бобровка — стан, а речка — река Каял; папа любил сочинять родословные. Сядет, бывало, с Федором Фалалеичем в диванной, курят и выдумывают. А мы всему верили. Мы играли в набеги — у нас много было верблюдов и коней, мы грабили золото и серебро, мы пели дикие песни, мы плясали у черных шатров, один раз мы задумали перекочевать в степи...

— Ольга Александровна, я вас жду! — окликнул с лестницы Черкасов.

Оля обещала ему пройти посмотреть библиотеку в старом О х о т н и ч ь е м д о м и к е и совсем забыла.

— Ну и что же дальше? — шепотом спросила Оля, погрозив Варе, чтобы та не шелохнулась.

Черкасов снова окликнул, и в голосе его прозвучало раздражение.

А они, непохожие, черная и белая, одна с желанной улыбкой русская, другая с испуганными глазами половчанка, стояли, прижавшись друг к другу.

Черкасов поднялся еще на ступеньку — в комнату Вари он никогда не входил.

Но ответа не было.

— Идите, Оля, умоляю вас!

— Я сейчас, догоню! — резко крикнула Оля.

И в ответ ей послышались легкие шаги, скользившие вниз по лестнице.

Оле не хотелось оставлять Варю, но жалость, которую почувствовала она к этой несчастной, вдруг повернула ее мысли, и она решилась лучше идти смотреть О х о т н и ч и й д о м и к.

13.

Слава Богу, что Федор Фалалеич погружен был в чтение августовского номера прошлогодних Московских Ведомостей — газеты в Бобровке иначе и не читали, — и когда Оля спускалась с балкона, он ее не заметил.

А то пришлось бы ей плохо: зная, что она у Вари, Федор Фалалеич нарочно уселся в проходной комнате, держа наготове множество вопросов.

У балкона ждал Черкасов, и Оля пошла с ним по усыпанной лепестками дорожке к О х о т н и ч ь е м у д о м и к у.

Но за несколько шагов от домика, откуда-то из-за куста, словно бабочка, выпорхнула Нелида Максимовна и принялась Христом-Богом умолять Олю идти с ней на птичий двор:

— а то лучшего времени не выбрать!

По мнению Нелиды Максимовны, все тонкости куроводства необходимо знать будущей молодой хозяйке.

И так она упрашивала, так целовала Олю в плечико, что отказать не было сил.

Надо было иметь великое терпение, чтобы вынести все подробности.

К счастью, у Оли при отсутствии всякого терпения было редкое свойство: она могла слушать своего собеседника и не слышать ровно ни одного слова, вся отдаваясь своим мыслям.

Нелида Максимовна показывала разные примеры, прося непременно запомнить —

и никому не сказывать, а то пропадет!

Надев на руку рукавицу и держа в рукавице яйцо, подкладывала она яйца под наседку, чтобы цыплята были мохноногие,

и выделывала при этом всевозможные штуки, объясняя, что надо делать, чтобы вывелись куры разной или одной и той же масти,

потом перечислила дни и часы подкладывания.

— Да Боже упаси в воскресенье: одни болтуны будут.

И еще многое полезное для хозяйства толковала Нелида Максимовна, всего и не перечислишь.

Покончив с птичником, Нелида Максимовна потянула Олю в кладовую, где хранилось много запасов и всяких сластей.

И там повторилось всё то же, что и в птичнике: объяснения следовали за примерами, примеры за объяснениями.

— Я больше всего люблю пастилу, — сказала, очнувшись, Оля, когда всё уже было исчерпано.

И сказала это очень некстати.

Нелида Максимовна и ждала только случая, чтобы продлить свою речь, и, не мигнув, как по писаному, принялась пастилу объяснять.

— Из брусники пастилы делать таким образом, — не говорила, а пела Нелида Максимовна, — перекатав бруснику, накласть ее в котел, налить чистою водою так, чтобы вся в ней погрязла, и варить ее потуда, как только ягоды лопаться станут, процедить их потом сквозь решето, и как вытечет вода, решето снять и поставить над лотками, чтобы так они и ночевали, пока совершенно обсякнут. Потом протереть их сквозь решето, а после сквозь сито и положить три меры морсу и четвертую меду, а ежели пожелаешь слаще, то и пятую меру, и бить мутовкою часов шесть, после того наливать надобно сей густой морс тонко и сушить на солнце. Можно его в день налить три раза, когда

позволит погода, только бы высохло. Доску же мазать постным маслом и вытереть гораздо, и наливать столько раз, сколько изволишь иметь пастилу толсту. Пастилы яблочные простые делать таким образом...

Нелида Максимовна всхлипнула от удовольствия.

— Испечь яблоки, протереть сквозь решето и в кринке бить мутовкою, потом класть патоку и опять бить мутовкой, и наливать на доски и сушить. Яблоки варить таким образом...

Но тут Черкасов, пробродивший без толку по всем птичникам и скотным дворам, отыскал, наконец, Олю.

Нелида Максимовна и не досказала, как варить яблоки.

Следуя за ними по саду, не могла уж сдержать своего умиления и, представляя себя на свадьбе, не шла, а семенила, как это делается, когда ведут молодых —

— эх, гулянье мое!

Причем лицо ее сияло не хуже садового шара, а шар горел под солнцем во всю свою серебряную силу.

14.

Оля начинала раскаиваться, что согласилась заехать в Бобровку, а не проехала прямо домой в Ватагино.

Оля вообще была так устроена, что не могла долго находиться на людях, — они начинали тяготить ее.

Ей уж надоели хуже горькой редьки и рассказы Елены Степановны о своем покойном муже, и несуразности Федора Фалалеича, и Нелида Максимовна со своим умилением и наукой, и заботливость Черкасова, и Варя, готовая всякую минуту расплакаться, и даже белоснежная Кушка, шмыгающая всюду и везде, надменная, не хуже Пахомыча и Терентия.

День закончился странным объяснением с Федором Фалалеичем.

После обеда, когда Оля пошла к себе во флигель, чтобы переодеться и идти на прогулку, Федор Фалалеич под предлогом моциона отправился за ней следом, уселся на крылечке и терпеливо дожидался ее выхода.

*

Сразу лезть со своим делом Федор Фалалеич считал неделикатным, а потому наперед рассказал Оле случай с коровни-

цей Аграфеной, — Аграфена проходила в это время по двору, подоткнутая, в высоких сапогах, с подойником.

— В прошлом году Аграфена наелась шиповнику и в желудке у ней выросли бородавки, и так как извести бородавки не было никаких средств, то коровница собралась помирать.

— И если бы не чистотел, желтым соком которого она питалась целых семь недель, то непременно бы померла! А затем я хотел с вами посоветоваться.

Федор Фалалеич остановился, голос его дрогнул.

— Чудный закат! солнце закосилось, спускается на запад. Всю бы жизнь любовался! Вот оно, светлое, закроет свои красные очи, наступит ночь... пройдемте, Ольга Александровна, по инерции в сад!

— Да мы сейчас все пойдем гулять, — возразила Оля.

Но Федор Фалалеич пропустил мимо ушей.

— Вы единственный человек, — сказал он, — да, сегодня, когда я вас увидел, я всё понял. Я за каждую вашу бровь отдал бы пару волов! — и, протянув руку Оле, пхнул ногой калитку.

И волей-неволей они очутились в саду.

— В чем дело? — спросила Оля, нарушая наступившее молчание своего торжественного спутника.

— Люди так мало видят, — начал Федор Фалалеич, — и кто способен заглянуть в питомник души? Был у меня знакомый прокурор — известный всей России Миракс Мираксович Плушков. И все только и видели в Мираксе славного прокурора и восхищались его знаменитыми речами. А на самом деле Миракс, далекий от всех земных сует, всю жизнь возился со своей образцовой оранжереей и об одном мечтал, чтобы зацвели у него огурцы к Рождеству. Так и я. Я далек от всех низменностей Нелиды Максимовны, и насмешки Владимира меня не трогают. Высокие мысли пасомы в моем сердце. Верите ли вы, что можно спасти человечество?

— Верю, — сказала Оля, не понимая, к чему клонится вся эта загадочная речь.

— Я так и знал. Вот мы любовались закатом. Но кто знает путь к солнцу? Кто укажет дорогу к этому источнику вечного света? А ведь всё спасение человечества только и зависит от этого. Без пути нельзя.

Они удалялись в глубь сада по протоптанной дорожке к пруду.

— Федор Фалалеич, а как же туда пробраться, на солнце? — спросила Оля, едва сдерживаясь от душившего ее хохота.

— Я знаю, — Федор Фалалеич остановился и, оглянувшись, заговорил шепотом, — известно ли вам о существовании величайшего изобретения человеческого гения — о финикулярных железных дорогах?

— Как же, — сказала Оля, — я что-то читала.

Федор Фалалеич вдруг опустился на колени.

— Примите мою мечту. Вы единственная, с которой могу совершить этот путь к солнцу на финикулярной железной дороге и повести к источнику света всё человечество. И тогда человечество спасено будет. Мы освободим землю!

Голос его звучал вдохновенно, а глаза становились слепыми от слез.

— Встаньте, Федор Фалалеич, — смущенно сказала Оля.

— Так вы согласны? — вскочил Федор Фалалеич и, сжимая руку Оли, смотрел на нее с восторгом. — Мы осуществим нашу мечту, мы понесемся к солнцу, мы поплывем на залетучих крыльях по облакам журавлем!

Чем бы всё это кончилось, одному Богу известно, и скорее всего Оля просто-напросто расхохоталась бы, если бы не оголтелая стая черкасовых ребятишек, посланная на розыски беглецов:

> сорвачи так окружили Олю и Федора Фалалеича, с таким пронзительным визгом, что хоть ты раздай каждому в шею колотушку, а расклеится и самый дружный разговор.

15.

Вечер, так скоро потухший, сменился теплой ночью, голосистой и звонкой, и, кажется, гуляй в такую ночь.

Оля после вечернего чаю простилась и, очутившись совсем одна в крошечных комнатах старого флигеля, почувствовала себя как на седьмом небе.

И прежде всего она вспомнила свою любимую, оставшуюся в Петербурге, Зину.

С Зиной Рашевской Оля познакомилась в первый свой курсовой день в аудитории на лекции старшего курса.

Думая, что лучше всего сидеть на самом верху, Оля заняла верхнюю скамейку, потому же, должно быть, поместилась возле нее и другая курсистка.

Читался реферат об общине.

— Вы будете оппонировать? — обратилась к Оле ее соседка.

— Куда мне! — ответила Оля, ни слова не понимая в реферате. — А вы будете?

— Куда мне! — ответила в свою очередь соседка и еще ближе придвинулась к Оле: она тоже ничего не понимала.

Но обе продолжали слушать с тем любопытством, с каким слушают, попав впервые с гимназической скамьи на лекцию:

что-то мудреное, что-то завлекательное слышалось в самых обыкновенных и даже очень обыкновенных словах.

И обе они были необыкновенно счастливы, дух захватывало.

— Ты читала политическую экономию Чупрова? — не выдержав, заговорила соседка.

— Теперь читаю, — ответила Оля, нисколько не смутившись таким неожиданным ты, — а ты?

— Тоже теперь читаю.

И снова и та и другая с напряжением принялись следить за рефератом, стараясь понять что-нибудь в цифрах, которыми пересыпались слова.

Так и досидели, счастливые, до последней фразы.

И когда все поднялись, и они встали с своего места.

— Приходи ко мне, — сказала Оля, — у меня есть весь Герцен.

— Неужели Герцен? Непременно приду. Меня зовут Зина Рашевская.

— А меня Оля Ильменева. Так приходи ж! — и Оля сказала ей свой адрес.

С этого дня Оля и Зина сделались большими приятельницами.

— Я участвую в кружке, — сказала Зина, — этот кружок называется «декабристки». Хочешь участвовать? Сегодня собрание, я тебя буду баллотировать.

— Конечно, — согласилась Оля, — баллотируй.

И Оля поступила в кружок.

Всех курсисток было душ двадцать, читали книжки по программе Семевского, писали рефераты.

Оля сначала думала, что это и есть «революция»!

Да и Зина, не меньше Оли, убеждена была.

И обе конспирировали.

Первое время им жилось туго.

Оля домой не писала, денег ниоткуда. А был у нее урок — пятнадцать рублей в месяц. Конечно, не обедала, только чай на курсах да бутерброд за десять копеек.

И Зина тоже из дому не получала и тоже давала урок.

Случалось, что обе сидели без копейки.

А зато как дружно!

Получив как-то за урок деньги, Оля решила купить билетики на обед, чтобы обедать через день. И купила. И осталось у нее десять рублей.

Голодная возвращалась она с Песков на Остров.

Надо было на пароходик. Стала в очередь. И когда стояла и смотрела на Неву — любила Оля смотреть на Неву, как плещется голубая волна! — и тут какой-то и выхватил у Оли деньги. И скрылся. И пришлось из-за двух копеек пешком идти.

И хоть нашлось немало сочувствующих, кричали:

— Ай, ай, у барышни украли!

Никто не догадался взять за две копейки билет для Оли.

Оля вернулась домой.

Очень это ее огорчило.

И вдруг влетает Зина:

— Оля — рублевка!

Ну, сейчас же Оля оделась и обе вышли и тут же на Острове накупили всего — и халвы, и булок — весь рубль истратили.

Оля думала о воре:

«Гадкий человек! — и прибавляла, — но таких мало».

А что вот двух копеек никто не предложил на билет, об этом тогда и в голову не приходило.

И Зина ничего такого еще не думала, — не замечала.

Много общего нашлось между ними: по возрасту одних лет, обе под рост друг другу, обе выросли в схожей обстановке, а потому понимали друг друга во всех житейских мелочах, без чего часто не легко сойтись с человеком, и обе, наконец, таинственно повторяли заветные стихи:

от ликующих, праздно болтающих,
обагряющих руки в крови,
уведи меня в стан погибающих
за великое дело любви!

Они мечтали погибнуть за великое дело любви.

И хотя отчетливо не представляли себе свою гибель, но всегда думали, что со временем всё это они себе уяснят, начнут что-то важное делать, а потом и погибнут.

И это произойдет так лет через десять, когда им будет по двадцати шести лет.

Однажды после лекции русской истории, на которой профессор С. Ф. Платонов читал о Петре, Оля позвала в укромный уголок Зину и, волнуясь, стала просить ее дать друг другу клятву:

что обе они жизнь свою отдадут за то, чтобы пришла правда на землю!

Серые глаза Оли, когда она волновалась, смотрели так зорко — синие, что, раз взглянув в них, не было уж сил не повиноваться.

Зина поклялась.

— А знаешь, Оля, у меня есть брат, который уж делает, — сказала как-то Зина.

— Да неужели?

— Да.

— Вот бы мне повидать.

Брат Зины, Сергей, студент-горняк, однокурсник с Черкасовым.

Еще в Покидоше Оля не раз слышала его имя от Черкасова, который отзывался о своем товарище с большим уважением. Но в прошлом году, оставив Горный институт и поступив в университет, Черкасов разошелся с Сергеем, и они не бывали друг у друга.

Оле очень хотелось познакомиться с этим важным человеком, но всё не представлялось подходящего случая.

Наконец, подошел такой случай: Зина пригласила Олю к себе под Пасху, чтобы встретить вместе праздник, а также пригласила Сергея и его товарищей-студентов.

Отстояв заутреню, в необыкновенном напряжении всех чувств своих, шла Оля на Петербургскую сторону к Зине. И то, что была Пасхальная ночь, и то, что увидит людей, которые

уже делают то важное дело, за которое погибнут, приводило ее в крайнее возбуждение.

Шла она, ног под собой не чувствуя, летела.

У Зины все были в сборе. Головой был Сергей, окруженный своими товарищами. Они много и долго разговаривали друг с другом, но Оля мало поняла из их разговора: что-то было вроде того реферата об общине — те же слова и цифры, которыми пересыпались слова.

Сергей понравился Оле, но разговор разочаровал ее:

> она ведь надеялась услышать — что и как надо делать, чтобы погибнуть, а об этом не было сказано ни слова.

И еще занимал Олю вопрос:

> могут ли арестовать под Пасху?

Она всё хотела спросить, а разговор о цифрах и о каких-то безлошадных не прекращался, так она и не спросила, твердо решив про себя:

> конечно, не могут арестовать, потому что Христос воскрес и про это все знают.

На третий день Пасхи, утром, когда Оля еще была в постели, в дверь постучали. Оля быстро оделась и отворила. Оказывается, Зина, — и очень взволнованная:

> у нее был обыск, у брата ее Бориса тоже, и теперь она хочет узнать, не было ли обыска у Сергея, но так как она очень устала, то просит Олю сходить к нему на квартиру и узнать.

Оля с радостью согласилась.

И тотчас же отправилась.

Войдя во двор дома, где жил Сергей, Оля заметила жандармов.

Не обратив на это никакого внимания, она направилась прямо к указанному ей подъезду, хотя именно там и стояло их много.

Жандармы обступили Олю.

— Кого вам надо?

— Сергея Рашевского.

— А зачем вам Рашевского?

Но тут уж Оля выдумала: она сказала, что пришла к Рашевскому за книгой —

— За «Логикой».

Оля как раз в это время готовилась к экзамену, и потому ей подвернулась эта логика.

Олю продержали часов пять в комнате Сергея, потом повезли в Охранное отделение,

Жандармский генерал сказал Оле, что ее следует арестовать, но что он ее отпускает, так как она очень молода и, видно, не боится полиции:

так прямо и пошла на жандармов, хотя могла пройти к другому подъезду, как это обыкновенно делается!

— Вы обвиняетесь в близких сношениях с политическим арестантом Рашевским, и не в каких-нибудь сердечных, а по общему делу!

Генерал, сделав рукой так, словно бы потрогал Олю за подбородок, пустил ей вслед не без удовольствия:

— Какая хорошенькая!

Сломя голову пустилась Оля к Зине.

Прибежала к Зине, всё рассказала ей подробно, и с этого дня дружба между ними еще больше закрепилась.

Перед отъездом из Петербурга они заключили друг с другом всевозможные уговоры.

Оля предложила: как можно меньше спать, как можно меньше есть.

Зина отвечала, что постарается.

И в свою очередь предложила: не есть конфет и не ездить на извозчике.

Оля отвечала, что постарается, но обещать не может.

Так и расстались до осени.

Оле захотелось написать Зине.

Но как она ни искала, всё было в ее комнатах, только не было ни бумаги, ни чернил.

Оля распахнула окно —

Как хороша ночь!

Все корни, все ростки, все голоса пустила ночь на волю, распускалась звездами —

там птица бьет крылом о темный лес, конь копытом о сырую землю.

Как хороша ночь!

И мысли не шли чередом, а, расплываясь, тонули, как звезды в ночи, в ее сердце.

И было до тоски хорошо.

Всё перемешалось: и дом, о котором соскучилась Оля, и любимая Зина, которой она верила, и то дело, которое она возьмет на себя, и тот подвиг, который она совершит, и погибнет, и еще что-то, о чем переговаривало девичье сердце —

немудреное, да обнять не дается.

*

На другом конце двора около кухни сидела на лавочке дружная компания и, покуривая, мирно вела разговор.

В середке сидел Федор Фалалеич в халате и ночном колпаке, а вокруг него: повар Лаврентий Мокеич, полповар Кондратий, два старых лакея и садовник Григорий.

Они тоже не могли спать в эту весеннюю ночь.

И видно было по необыкновенному оживлению всей компании, что не одного Федора Фалалеича манило попасть на солнце и как можно скорее.

А самый мрачный изо всех, благообразный, как икона, садовник Григорий, не находя слов, только сплевывал.

Конечно, заманчивый путь к солнцу был гвоздем их мирной беседы!

Пропел петух, когда компания, простившись, разбрелась на ночлег —

а Оля закрыла окно.

И сами лягушки-полунощницы, квакча в пруду заплетающимся языком, засыпая, договаривали свой ночной разговор:

— Кума! — Кум!

— А где кум?

— Потонул.

— Нум плакать!

— Нум.

Черкасов повернул любимого вороного коня с полей на дорогу домой.

И, обрывая белый цветок вещей ромашки, не замечал, что черная прядь волос чубом спустилась ему на глаза.

И, казалось, ночь, уходя, осыпалась белыми лепестками, шепча вместе с ним:

— любит — не любит —

16.

День начался событиями.

Помер журавль, и Федор Фалалеич, пораженный на голову, просто слег от горя.

То чудо, в которое он верил, — спасение человечества при посредстве финикулярных железных дорог, связывалось у него с журавлем, — а теперь журавля не было.

Два несчастных журавлиных стаканчика сиротливо стояли на полке около пустой клетки.

А другое событие, если и не такое роковое, то уж такое несообразное, что, пожалуй, хуже и рокового, и нерокового.

Садовник Григорий, к садоводству, впрочем, имевший самое отдаленное отношение, и занятый больше поисками кладов, увлеченный солнечными и журавлиными проектами Федора Фалалеича, задумал осуществить на свой страх полет к солнцу.

Но как-то очень по-своему поняв суть финикулярных железных дорог, выкинул штуку, приличную разве только если не совсем, то уж окончательно рехнувшимся.

Из финикулярных железных дорог «железные дороги» куда-то улетучились, а таинственное слово финикулярный, после головоломных рассуждений, вывелось от финика. А дальше пошла играть самая вздорная фантазия.

И не часами — годами создался в конце концов целый план полета к солнцу —

при посредстве фиников.

Сама по себе такая обыкновенная вещь — финик вдруг получает чудодейственное свойство какого-то неслыханного двигателя:

стоит только начать глотать финик за фиником, — так рассуждал Григорий, — и вот на каком-то сто первом глотке произойдет неожиданный эффект — весь организм, охваченный непрерывным движе-

нием, подымется с земли на воздух и воспарит,
а там и лети, куда знаешь.

— Понимаешь ты с носа в рот!— огрызался садовник Григорий на все резоны Лаврентия Мокеича оставить затею и не продолжать опыт.

Григорий, несмотря на жару, которая со вчерашнего дня стала еще больше, так что и деваться от нее некуда было, одетый в теплый сибирский савик с собачьей мордой, стоя на четвереньках, загребал ртом прямо с земли сложенные в кучку финики и, проглатывая их целиком с косточкой, ждал той минуты, когда начнется внутри круговое непрерывное движение,
и он вознесется — полетит к солнцу.

— Этак и кишка не выдержит! ну, попробовал и будет!

Лаврентий Мокеич, стоя на коленях перед своим приятелем и, крепко сжимая кулак, держал наготове, чтобы всякую минуту начать кулаком свое радикальное лечение:
всякую минуту могло произойти несчастье.

И оно не замедлило.

Григорий, не проглотив и фунта, а всего было собрано изрядно из запасов Нелиды Максимовны, вдруг подавился.

Много пришлось потрудиться Лаврентию Мокеичу, вышибавшему косточки своим верным безошибочным кулачным способом.

И еле живого, избитого Григория снесли в будку.

Так начался день несуразно.

Да и вокруг совершалось что-то неладное: парило, и хоть на небе не было ни одной тучки, ни облачка, всё чувствовало, что гроза будет.

*

Черкасов, отличный стрелок — взялся учить Олю стрелять в цель.

Много часов до самого обеда за Охотничьим домиком бухали выстрелы, раздражая легавого Буяна, который метался по двору, не понимая ничего толком.

И тут тоже чуть было не стряслась беда: Черкасов, направлявший руку Оли, как-то неловко повернул к себе, рука дрогнула, и пуля упала у самых его ног.

*

Обед прошел нетерпеливо.

Много говорилось о журавле, о садовниковых финиках и о стрельбе.

Под конец обеда Оля объявила, что завтра уезжает в Ватагино.

И это было совсем неожиданно: ведь всеми почему-то предполагалось, что Оля прогостит чуть ли не всё лето.

Начались упрашивания: Олю соблазняли катаньем на лодке по знаменитой реке Каялу, прогулкой верхами на мельницу, охотой, хороводами.

Но на все соблазны Оля ответила отказом.

Одна Нелида Максимовна была уверена, что сегодня же вечером всё переменится, и хоть принялась готовить на дорогу для Оли разного рода вкусные печенья и свои удивительные пряники, но всё это делала так, с улыбкой, весело —

> все равно, не пропадет добро, если и не в дорогу пойдет?!

К вечеру, как садиться солнцу, вышли откуда-то тучи, будто ленивые плыли они и, будто нечаянно, подходили одна к другой — —

Оставаться в комнате с закрытыми окнами — а окна предусмотрительно все были загодя закрыты и заперты — не было никакой возможности.

Федор Фалалеич, таскавший на руках, как ребенка, своего мертвого журавля по комнатам, вышел на крыльцо, может быть, втайне надеясь:

> гром и громовая вода оживят его любимую чудодейственную птицу — журавля!

А тучи клубились, мятежные, седыми валами шли прямо друг к другу, —

> и одна огромная, как море широкая, пожирала их молча.

И как это небесный свод не раскалывался от такой непомерной тяжести!

— Господи, пронеси тучу мороком!

Нелида Максимовна шептала, окрещивая окна и двери и все углы.

Оля и Черкасов, выйдя в сад, дошли до пруда и повернули назад к дому.

И вдруг там что-то не вытерпело и глухим гулом прокатило с края на край —

а на затихнувшей земле всё до самых корней вздрогнуло —

и где-то в сердце вздрогнуло.

Черкасов, таивший столько слов, которые говорил он столько лет сам с собой, теперь заговорил свободно, смотря в живые серые глаза Оли:

чувствуя ее — и не в мечтах, а живую — рядом с собой.

Он рассказал ей, о чем уже писал однажды в своем первом письме, что еще тогда, в гимназической церкви — она была совсем маленькая — он изо всех выделил ее, и с тех пор только о ней и думал, только ее и ждал, только ею одной жил —

он мечтал «помогать народу» и вот ясно почувствовал, что цель его жизни вовсе не народ, не помощь народу, а она одна — она всё дело и вся цель его жизни — и для нее он перешел в университет, чтобы только быть ближе к ней — и всё для нее сделает: захочет она — и он пойдет куда угодно, как она скажет — он ее любит.

— А я вас не люблю!

И серые глаза Оли вдруг посинели.

И опять не вытерпело — задрожали синие молнии —
И с бешенством прогрохотало.

А он заплакал —
Присел под вербу и заплакал.

17.

Окрестив нижнюю половину дома, Нелида Максимовна поднялась наверх в комнаты Вари.

Варя, до страсти боявшаяся грозы, сидела, забившись в угол кровати, и прислушивалась к грому.

В комнате перед образами, кроме лампадки, горела с т р а с т н á я с в е ч а.

Нелида Максимовна еще плотнее завесила окна, помолилась и присела на кресло около кровати.

— Всё я думаю, Варенька, — сказала Нелида Максимовна, помочив себе пальцами губы, — вот они поженятся, и слава Богу. А ты-то, Варенька, как ровно б в монастыре черничкой живешь. И не годится так, чтобы, под одним кровом живучи, брат с сестрой слова не сказал.

— Да я уж вам говорила, Нелида Максимовна, ну что же мне делать, кинуться в петлю?

— Надо его приобщить, Варенька.

— Разве это поможет? И не захочет он. Наверно, с гимназии не говел.

— Что ты! не так, я совсем наоборот.

— А что же? что вы хотите делать?

— Что ты такая пугливая, Варенька! Если приобщить, так он к тебе, как к жене законной, привяжется и ни на шаг не уйдет.

— Что вы говорите, к какой законной жене?

Варя испуганно отстранилась от старухи.

— И Боже тебя сохрани, нешто я про то, я только хочу, чтобы мир воцарился, а то мира в доме нет, когда брат с сестрой друг на друга восстали — враги последние. А я это к примеру говорю: как к жене законной привяжется.

— Я ничего не понимаю.

— Да кровка-то у тебя горячая, сладкая, ты возьми ее на ватку.

— Что же, по-вашему, палец мне обрезать?

— Глупая, зачем палец! — да ты возьми кровку на ватку просто, ну, а потом тоже волосков твоих надо: ножничками легонько обрезать ничего, только осторожней, вот столечко и надо, всё это ты мне отдашь, воля твоя — дело мое, я уж знаю, как справиться, мы его и приобщим...

— Вы из ума совсем выжили, как вам не стыдно, не хочу я слушать вас, и не говорите больше, слышите!

Варя поднялась с кровати и отошла в угол к печке.

— Ну и хорошо, Варенька, и не буду говорить, — замотала покорно головой старуха и тоже встала, а тень от ее кички рогами так и вонзилась в Варю, — только сама подумай, нешто я что дурное? от любви к тебе; покойного папеньки нет, он бы тоже сказал, не ты первая... и всего пустяки и сделать-то, тебя не убу-

дет: ватку с кровкой да волосков, на огне бы сожгли с молитвой, а потом, как чай ему кушать, и приобщим.

И в третий раз — тут уж всё пригнулось — ударил гром, и с такой силой, словно бы две стальных горы скатилось —
взорвало небо —
и пошел дождь.

*

В доме было тревожно.

Все сошлись в столовой и долго не расходились.

Всякий свое держал на своих крепких мыслях.

Не оживил гром мертвого журавля.

Завтра с утра примется Федор Фалалеич чучелу делать — на год работы хватит, а потом — кто знает? — возможно, что и чучела обнаружит свойства не менее чудесные и если не стаканы, то еще что-нибудь из посуды же начнет глотать.

Федор Фалалеич даже оживился.

Только зачем же Оля так внезапно уезжает? — он еще не успел с ней сговориться, не сказал ей очень важную вещь:
при совершении того великого дела — спасения человечества — на которое, это ясно, она согласилась, можно и погибнуть!

Варя, вздрагивая, поминутно крестилась и не двигалась с места, да и хорошо делала:
вид у нее был такой, что, кажется, переступи она половицу — и грохнется наземь без памяти.

Елена Степановна волновалась и тараторила, рассказывая и бывшие, и не бывшие случаи гроз в Бобровке, и всё убеждала Олю не подходить близко к окну, и вскрикивала, когда гром ударял близко.

Черкасов ходил по комнате, ни на минуту не мог присесть.

Но не отчаяние, целый рой мыслей укреплял его сердце.

«Она не любит, — думал он, — но, может быть, полюбит. Она еще очень молода, она не знает, что значит любить. Она об этом в первый раз услыхала. Она сама не знает, что ответила. Она, может быть, уж любит!»

И шумела за окном гремучая ночь.

Это свадебный поезд, громыхая коваными возами, катил по небу из-за моря-приволья сюда на землю, где грозят беды —
кто там зажег огонь на краю того темного поля?
кузнец ли кует и падают уголья в реку, или рубят новый двор, ставят золотые стропила?

Доля — Невеста — Весна.

грозой ударяло в ворота, бурей ломало деревья, алым бархатом крыло леса и, катя по пути крупный жемчуг, перебрасывало с горы на гору золотой перстень —

Доля — Невеста — Весна.

18.

Ясное утро сменило грозную ночь,
голубою скатертью покрыло землю, и такой широкой, никому не сложить.

Дорогими свадебными дарами украсились деревья —
зеленые, зелеными поясами и ручниками отягчены были их крепкие ветви.

На дворе и в саду стояли целые лужи, и о гулянье нечего и думать.

До отъезда оставалось еще много часов.

А сидеть в комнатах, когда так хорошо на воле, просто терпенья не было.

— А я умею какие коржики печь! — сказала Оля Нелиде Максимовне, поминутно перебегавшей из дому во флигель, где стряпала какие-то сласти.

— Ну, сделайте, матушка! — приложилась к плечику старуха.

Этого только и надо было Оле: она теперь могла следовать за Нелидой Максимовной и также бегать по мокрой траве.

Черкасов, хватившийся Оли, поднял целую бурю:
он напустился на Нелиду Максимовну, угрожая ей всем чем только можно.

— Что это за новости! — кричал он. — Какие вам коржики делать? по дождю бегать без калош, возмутительно!

Потом уговорил Олю надеть калоши и предложил ей пройти в сад.

Там на скамейку постелил клеенку и тогда уж усадил Олю.

И хотя солнце подошло к полдню и отдыхало на своих золотых кровлях, было всё так же свежо, весело и зелено и дышалось легко полной грудью.

— Почему же это соловей не поет?!

— Да вот испугался дождя и спрятался.

— А вы посвистите, вам он откликнется.

Черкасов засвистал, представляя, как заправский соловейник —

и дневного,
и ночного,
и поздняка-соловья.

Но соловей не откликался.

— Нет, вы главного не делаете, — сказала Оля.

— Что же такое главное?

— А вот так: тюх-тюх-тюх...

Черкасов расхохотался.

— Тюх-тюх-тюх, — повторял он, подражая Оле.

И глядел на нее, не помня себя от счастья, с бесконечной любовью, словно бы в этом звуке открывалась для него вся душа ее, и вот он повторяет этот звук.

И когда запел настоящий соловей и, стрелив все переливы, на мгновение замер, Черкасов замер от радости:

— Слушайте, слушайте, сейчас будет тюх-тюх!

А сам глядел на Олю с бесконечной любовью, счастливый:

уж навеки вечные по гроб жизни он сохранит эту минуту, с закрытыми глазами увидит ее тонкие губы, сложенные в тюх-тюх.

19.

После завтрака Оля уехала.

Черкасов, проводив ее до станции, вернулся в Бобровку.

И Бобровка без Оли словно бы обезлюдела.

Так всё забилось куда-то.

А оттого что Варя играла на старом фортепиано любимые бабушкины нежные сонаты, становилось тоскливо —

всё казалось в прошлом, во вчерашнем, вот в только что ушедшем.

По обыкновению друг с другом не разговаривали.

Молча обедали, молча и чай пили, — так, перекинутся словом и замолчат.

После обеда Елена Степановна долго кричала с управляющим, который опять чего-то не сделал, ссылаясь на какие-то свои соображения, совсем не касающиеся хозяйства. И потом плакала одна, запершись в своей спальне, шепча и проклятия, и жалобы, и молитву за упокой своего незабвенного Михаила Дмитриевича.

Федор Фалалеич, ушедший в работу над журавлиной чучелой, возился в беседке, весь облепленный пухом и перьями.

А прислуживавший ему садовник Григорий, ставший еще благообразнее со вчерашнего происшествия, закусив бороду, тяжело вздыхал да сплевывал.

Вечером разошлись рано.

Варя ушла наверх в свои комнаты.

Черкасов собрался в поле.

— Барин! — остановил его у ворот Родион, подававший ему лошадь.

— Что тебе?

— Насчет землицы хотел поговорить, — мялся Родион, — землицы у нас маловато.

Черкасов подобрал поводья.

— Прохорский Федор сказывал, что под землей люди живут, так вот ходоком туда к подземным людям пройти бы насчет землицы.

Черкасов передернул поводья.

— Федор сказывал, — продолжал Родион, — лег на землю, земля теплая, разогретая, и слышит — под землей разговор идет. «Прохор, — говорит баба, — пойдем обедать!» А Прохор отвечает: «Пойдем».

Черкасов ударил коня и скрылся за околицей.

*

А какая горечь лежала на сердце у старой ключницы — во все стороны щемило сердце.

Всё вдруг рухнуло, — она ясно видела, ей больше нечего ждать, и не мила ей гроб-могила, куда, неспокойная, она скоро ляжет.

И зачем она несчастную Ласку мучила?

Что взяла?

Ничего.

— Ласка! — покликала в ночь Нелида Максимовна, — кис-кис!

И горько ей старой, сморщенной, беззубой:

— кис-кис!

Никто не отзывается.

Белоснежная Кушка, лаявшая только под большие праздники и имевшая привычку на старости лет просыпаться без всякой надобности, молча подошла к крылечку и, обнюхав поникшую старуху, смирно присела около: должно быть, поняла.

Сколько ведь годов вместе прожили!

И ей жалко Ласку:

мордочка такая усатая, — хорошая была кошка, не драная!

Опять покликала Нелида Максимовна.

Никто не отзывается.

И вспомнила старуха сестру свою прачку Агафью и повара Демьяныча — первый повар был, сердечный друг.

Все-то перемерли, ветром раздуло, прахом разнесло!

И не то чтобы запела и даже не зашамкала, а так, глотая слезы, зашевелила она губами, будто пела-причитала седую заунывную колядку — святочную песню:

мати неродна, мачеха злая
шлет меня, мати,
в темные лесы, в пустую ту избу,
в пустую избу
сырую рожь молоти.
а я сито смолола — куры не пели,
я другое смолола — куры не пели,
а я третье смолола — куры не пели.

как идет ко мне, мати,
черно-велико, косматые ноги,
косматые ноги, железные роги,
нос окованный, хвост оторванный.
Взяло меня, мати,
за правую руку,
повело меня, мати,
за темные лесы,
за темные лесы, за крутые горы,
за крутые горы, за быстрые реки,
а я лесы шла —
со свечами,
а я лесы шла —
со трубами,
а я реки плыла —
со слезами — —

Тут Кушка не выдержала, да как залает — сто лет так не лаяла.

20.

На вокзале встретила Олю сама Наталья Ивановна.

И это было для Наталии Ивановны совсем не просто — тащиться на вокзал за пятнадцать верст, шутка ли!

Да, Оля, думая тогда перед своим решением: не сказавшись уехать в Петербург, — не ошиблась.

Наталья Ивановна вот и на вокзал приехала, а как смотрела на Олю — на петербургскую Олю — на курсистку Олю —

Наталья Ивановна гордилась Олей и была счастлива, — потому что Оля была счастлива!

А что ж произошло за зиму в Ватагине без Оли?

Да все были живы-здоровы — и подруги Оли, и знакомые, и все родственники, и любимая бабушка, и тетушка, и Анна Павловна.

— С Лупичевыми вот из-за коня поссорились! — сказала, сокрушаясь, Наталья Ивановна.

— За коня? — переспросила Оля.

— За старика.

Был такой у Ильменевых конь, стариком звали — и по старости лет ничего конь не мог работать, а доживал свой коний век во дворе. Вот сосед Лупичев — Лупичевы не Ильменевы! —

и сообразил, что хоть и стар конь, а и старую силу можно-таки использовать — пустить и старого коня в дело! И пристал к Александру Павловичу: отдай ему да отдай коня — ведь по соседству, никуда конь не денется, все равно на глазах, как у Ильменевых во дворе, только не зря. Александр Павлович и поддался, согласился, и отдали коня — старика-то отдали! А Лупичев — Лупичевы не Ильменевы! — и пристроил коня сейчас же к какой-то, как сам выражался, не сложной и не очень обременительной работе. И видно с Ильменевского двора: конь что ни день, в работе. А ведь ему помирать пора, не до работы. Но главное-то, как же это так, старика, столько лет прослужившего, и вроде как прогнали! Старался, трудился, состарился в труде, и не нужен? А ведь век работал честно, и убирайся? Ну, назад и потребовали коня. Лупичев отдать отдал, но очень обиделся — лучше бы, говорит, совсем не давали, а то только подразнили, и к тому же несправедливо, как-никак, а он пристроил коня на работу, работу дал не сложную и не очень обременительную, конь не жаловался, и пускай бы себе работал, коню даже весело, а то ни себе, ни людям! — очень обиделся.

— Всё из-за коня, — говорила Наталья Ивановна, — теперь и бывать перестал у нас, одна Дарья Ивановна еще наведывается.

Оля слушала и думала:

«Поссориться из-за коня! Удивительное дело! Ну, можно поссориться с социал-демократом, поругаться с марксистом из-за их упрощений и массовых принципов, но из-за коня!»

— А еще что? — расспрашивала Оля.

Ведь родное ее Ватагино и без нее зиму зимовало, ведь она же соскучилась, вот всё ей и знать хочется.

— Батюшкина дочка, отца Евдокима, замуж выходит, — сказала Наталья Ивановна, — послезавтра свадьба. Ты, Оля, непременно пойди. Очень тебе обрадуются. Батюшка на тебя сердился. А я не понимаю. Я ему так и сказала: разве тут дурное что, в Петербург учиться поехала!

На крыльце встретил Александр Павлович.

Тихий он что-то стал, тихо говорил с Олей, и ясные глаза его грустные что-то.

Очень, видно, обрадовался, только молча.

— А помнишь, папочка, как ты приезжал ко мне, корзиночку всегда привезешь.

Всем привезла Оля подарки:

Мише — любимому брату — Шелгунова, и с надписью:

.................силу новую
благородных юных дней
в форму старую готовую
необдуманно не лей!

И в этих словах хотела ему много сказать и самого заветного, но Миша ничего не понял.

Ирине — кремового шелку на кофточку.

Лене — часики черные недорогие, да и откуда было дорогие-то! — Лена их на другой же день в траве потеряла к удовольствию Натальи Ивановны —

— часы нехорошо дарить!

А Наталье Ивановне Оля привезла конфет.

Александру Павловичу — книгу бы надо, да какую, не могла придумать.

Ну, все равно, конфеты — в дом.

Вечером пришла и Вера Стрешнева, и Лена Боровая.

Лена Боровая сначала супилась, думала, как после сама призналась, что Оля гордиться будет: — курсистка!

21.

Вечер прошел в рассказах о Петербурге. Оля рассказывала не про то заветное — не о революции, а житейское — на всякого и ничего.

Оля считала, что о самом важном вообще никому нельзя говорить, а из такого тоже осторожно и не всякому, чтобы меньше давать «матерьяла» для насмешек, от которых никак ведь не уйдешь там, где «говорят».

Оля рассказывала о всяких своих проделках на Курсах, о курсовых дамах — курсовых классных дамах.

Оля представляла, как Варвара Петровна — и на курсах оказалась своя «цапля» — говорила ей:

«Ильменева, разойдитесь!»

И когда такое Оля будет рассказывать не только подругам, слушавшим Олю с большими глазами и удивлявшимся ей, раз про нее одну говорили: «разойдитесь!» — старая учительница Оли заметит:

«Ты, Оля, нисколько не изменилась: в гимназии ты рассказывала про Индюшку, а теперь про Варварку».

А Оля подумает, но ничем не обнаружит этой своей думы:

«Не изменилась! Нет, у меня есть то, чего не было в прошлом году!»

А ведь это заветное — про революцию — и про это никому нельзя.

Еще рассказывала Оля, как она дважды экзамен держала и оба раза хорошо выдержала.

*

Оля никогда одна, с ней всегда народ — потому-то и вовсе неспроста «разойдитесь» предусмотрительно говорила ей при встрече курсовая дама. Оля всегда на экзаменах подсказывала.

А была одна курсистка Егорова, очень неспособная — экзамены держать для нее одна мука: на одном провалилась, другой на осень отложила.

«Выдержите за меня богословие!» — в шутку сказала она Оле.

Оля согласилась.

«Правда?»

«Конечно, отчего же».

Экзамен назначался на два дня.

В первый день Оля выдержала за себя. А на следующий день пошла за Егорову. И когда в аудитории остался один профессор — директор вышел — Оля взяла билет.

А профессор посмотрел на Олю:

«Вы уже держали экзамен?»

«Нет».

«Как ваша фамилия?»

«Егорова Александра».

Действительно, у Егоровой отметки нет.

И опять Оля выдержала.

Оля говорила за Егорову громко и смело, а настоящая-то Егорова медленно и тихо.

Олю любили курсистки, и за год у ней много карточек собралось, и Егорова подарила свою карточку с надписью:

«Не обращайте внимание на следы некоторого небезукоризненного прошлого».

А это означало вот что: на карточке Егорова снялась с брошкой, а по «заветным» правилам Оли, как брошки, так и всякие вообще украшения носить нехорошо, — надо как можно проще.

*

Еще Оля рассказывала о своем первом Петербургском дне, как она приехала – дождь, изморось петербургская, нос замерз — и как остановилась она на Екатерингофском проспекте в нумерах, и как ей было жутко одной.

Потом самое поступление на Курсы: ни денег, ни разрешения из дому, — что делать?

Финикова, курсистка, приютившая Олю, помогла ей.

«Идите к директору, попросите, у вас такое хорошее лицо. Если нужно, поплачьте!»

«Я не могу просить!» – упрямилась Оля.

Оля никогда не могла просить за себя.

И Финикова пихнула Олю в директорскую.

«Примите – я не могу – ».

Только и могла сказать Оля директору.

И заплакала.

Конечно, Олю приняли на Курсы, и в тот же день повела ее Финикова в курсовую столовую.

«Это настоящие курсистки, а это будущая!»

Так познакомила она Олю.

И Оля сделалась курсисткой.

А еще Оля рассказывала о косе.

И хотя в этой истории ее ничего не было революционного, в Покидоше долго потом говорили:

«Остригли Олю в Петропавловской крепости!»

И тем, кому приходила мысль усомниться, немедленно затыкали рот последним неопровержимым доводом:

«Говорят!»

22.

Оля не хотела было идти на свадьбу к батюшкиной дочери, но Наталья Ивановна ее уговорила.

У церкви собралось всё Ватагино: облепили окна и в двери не протолкнешься.

И когда проходила Оля в золотистой своей кофточке — все парни — так Фатевна после рассказывала — говорили:

«Все бы мы на такой женились, только что косы нет, стриженая!»

«А я говорю им, — говорила Фатевна, — тиф у барышни был, болезнь такая болющая: не сними косы, сама б коса вылезла!»

На свадьбу приехал доктор Перепелка.

Перепелка старый человек, а глядя на Олю, вдруг помолодел: ведь тоже студентом когда-то был, знать, вспомнилось.

Перепелка предложил Оле ехать с ним.

И когда хотел уступить ей место и сесть к кучеру, Оля остановила его.

— Женский вопрос! — весело сказала она.

И Перепелка еще больше оживился.

Перепелка говорил с Олей без умолку.

Он рассказывал ей о ее покидошенских подругах и особенно восхищался Гусевой.

— Да позвольте, Андрей Федорович, — перебила Оля, — что вы нашли в ней такого? Если бы она чем-нибудь интересовалась или занятие имела, а то так ведь!

Перепелка встрепенулся.

— Понимаю, по-вашему, стало быть, так просто человек не может быть прекрасным!

Оля только повела плечами:

> неужто это объяснять надо, что человек, ничем не интересующийся, просто не человек и уж никакой не прекрасный.

Разговор зашел о свадьбе — о батюшкиной дочке.

— Не понимаю, — сказала Оля, как это можно выйти замуж, лучше в могилу лечь.

— Ну, а, например, иметь близкого человека? — кротко спросил Перепелка.

— Зачем близкого человека! Я для всего мира, и весь мир для меня.

— Ну, а если семья, дети?

— Это я совсем отрицаю: люди должны относиться друг к другу как братья.

А батюшкина дочка «молодая» и вправду очень обрадовалась Оле.

— Мне очень приятно, что вы-то пришли! — благодарила она Олю.

Тут и батюшка, отец Евдоким, помирился.

— Петербургская курсистка — ученый человек!

Так выражался батюшка, обращаясь к Оле.

И было так, что самовольный отъезд Оли в Петербург, как и всякий смелый и независимый поступок, поднял Олю высоко в глазах житья-бытья ватагинского и самого покидошенского говорят.

И никак нельзя было подумать, что Оля совсем еще девочка — семнадцать лет: везде, где бы она ни появлялась, она везде была сама, и все и вся обращалось к ней.

*

К Оле стали подлаживаться.

Всякий считал своим долгом сказать при ней что-нибудь такое, чтобы не показать свою отсталость и получить одобрение.

Но это не всегда и не всякому удавалось.

Одна важная покидошенская персона — фурфыр ватагинский, богатый сосед Ильменевых, Кубриков, желая не ударить лицом в грязь, рассказал Оле, намекая на свое свободолюбие, как он в Дворянское собрание явился в русской рубахе.

— На меня все напали. А я говорю: напрасно вы на меня нападаете, это признак либерализма!

А Оля подумала:

«Дурак!»

На именины Натальи Ивановны Ксаверий Матвеевич письмо прислал с живописными приветствиями всему Ильменевскому дому —

«Передайте мои поздравления благообразной Ирине Александровне, благородно и бескорыстно увлекающейся Ольге Александровне, жизнерадостной в форме бутона ароматического цветка Елене Александровне и ватагинскому Парису!»

До Лубенцов, стало быть, до самого Ксаверия Матвеевича и Александры Кенсориновны дошла слава — и благодушный старик, ездивший по соседям на своих «апостолах» — так звал он своих волов, нашел для Оли свою завитушку, и очень метко.

23.

Дни проходили шумно.

Оля внесла этот шум в тихое ватагинское житье-бытье.

Вера Стрешнева, Лена Боровая и ее брат Костя, только что окончивший кадет, Лампад и его сестра Асклипиодота по вечерам и далеко за полночь ходили гулять и к татарским могилам, и к мельнице, пели песни, играли.

Оля привезла новые песни.

Но свои заветные она не сказала — «отречемся от старого мира», «вы жертвою пали» — этих нельзя: заветные! — другим научила она, какие пелись на студенческих вечеринках —

часы бегут,
гнетущий труд
ничем не нарушая,
а впереди,
того и жди,
нужда задавит злая...

И еще:

твой отец нажил честным трудом
сотни тысяч и каменный дом,
нарядясь в дорогой кашемир,
мать твоя презирает весь мир...

От сибирячки-курсистки услышала Оля в первый раз эту песню.

Напоются песен и, ей-Богу, совсем как дети, в лошадки играть примутся: Лампада в корень, Оля за кучера — и понесется тройка по дороге, берегись! никому нет дороги —

Оля правит!

И было очень весело, так весело, как никогда еще.

Оля была коноводом, и ее слушались.

И что бы она ни затеяла, всё одобрялось.

Но не все так смотрели на Олю.

Были и другие — это старшие, подруги старшей сестры Ирины, они во всем осуждали Олю.

Они изводили Олю, не пропуская случая, придирались к каждому ее слову.

— Курсистка!

— Очень скоро убеждения свои меняете!

— Какие убеждения! — не выдержала Оля, а обыкновенно она просто не отвечала. — У меня еще не было никаких убеждений, я только теперь начала думать и понимать.

— Знаешь, Оля, — сказала как-то старая учительница Оли, — тебя ведь могут не пустить в Петербург.

— Меня? Не пустят?

И Оля это так сказала, что уж сам закоренелый невера не мог не поверить, что не пустить Олю нельзя, а если и не пустят — все равно уйдет.

*

Что ж это, какая это сила развилась у Оли за один ее самовольный петербургский год?

А эта сила ее — от ее пламенной воли, от пламенности пробужденного ее духа.

Это ее крылья, которые не сковать никакими цепями, и уж ни в какую тюрьму не запрячешь.

Сила человека — чары человека — не от слов, какие говорит он, а от пламенности и воли его сердца, от того огня, каким горит его слово.

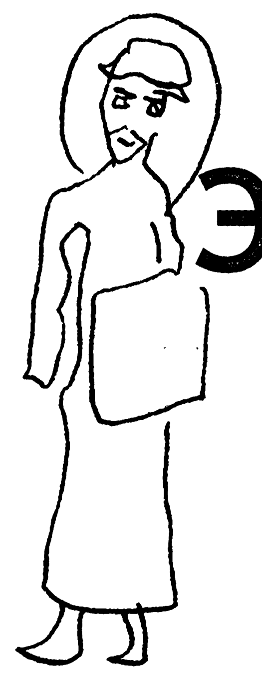
И всякий, кто прошел не бесследно в жизни, все несли в себе это пламя и своим огнем зажигали встречу, и пожары вставали по их следу.

И такой поднялась Оля, как от сна пробудилась, и вот вышла в мир —

Д о л я — Н е в е с т а — В е с н а.

С ОГНЕННОЙ ПАСТЬЮ

Петербург



Петербург — город прозрачный,
северная я́сня!

Это Москва, наговорившая про него и то и се, ревнивая — Москва, где в Таганке ругают Землянку, на Землянке — Замоскворечье, в Замоскворечье — Арбат, на Арбате — Покровку, это отчаяние разглядело в нем только тяжелые туманы с бесами, с привидениями, это ожесточение «рабов Христовых Последней Руси» из земляных тюрем и с пылающих срубов пустило про него проклятую славу — «быть пусту!»

Нет, одна Нева — Нева, как море, и не гоголевскою шириною, а самой адмиралтейской, широка, и какое море солнца горит на ее глубокой голуби, без устали плывущей «насаженку».

А червонный купол Исакия собрал такой хоровод лучей — на все проспекты и линии и тракты горит — горит не золотою литой кровлей, как московский Кремль — вся Москва, а пылающим червонным глобусом.

А если по осени наползают туманы или зимой вдруг от туманного дыму не пройти, не проехать по Невскому, а электрические фонари сквозь туманы зелеными вырезными шарами не светят, а дразнят, так ведь на всем земном шаре тоже — и в Лондоне, и Париже, где с разлившейся Сены такое полезет — как молоко! — и гриппом начнет душить налево и напрaво́, или в Берлине, где от зимней туманной еди дохают, как лошади, и бегут по улицам, скорчившись, не зная, где уж найти тепло.

Да, в Петербурге туманы, но и в Лондоне, Париже и Берлине туманы — не пройти, не проехать! — но зато завтра вдруг ударит московский мороз, и вечер закутается ало-синею северной пеленой, за которой уж ночь кует крепкие крещенские звезды.

И запылают костры на снежных площадях и у белых мостов —

огнями до звезд.

*

Утром в Гатчине Оля выглянула из вагона

— после дождей ясно, тут уж осень!

— Пе-тер-бург!

И версты побежали мигом — не уследишь:

за нетерпением, за быстротою, за вагонами, загромождающими пути во все концы.

Петербург —

Варшавский вокзал.

Багаж оставила Оля на вокзале, пошла налегке —

мимо извозчиков, мимо автомобилей прямо по мостовой под лесами, загородившими весь тротуар, через разбросанные торцовые кубики, под гик извозчиков, гуд и шлеп автомобилей, стукотню грузовиков и ломовой огрыз — к Технологическому институту на трамвай: трамвай на Васильевский остров.

Кажется, со всеми бы заговорила, всякому уступила бы место, поклонилась бы —

своему родному

— несравненному —

своему

Петербургу.

На 3-ьей линии сдавалась комната — первую попавшуюся Оля и взяла.

И сейчас же назад на вокзал. Перевезла вещи. Убралась. И на Курсы обедать.

*

Никогда так на Курсах не весело, как в день осеннего съезда.

Ведь столько не видались — столько рассказов, расспросов, новостей.

Каждая что-нибудь привезла:

Оля — маковники, пастилу, яблоки,
Женя Шубина — вот какие банищи с вареньем,
Варя Финикова — колобки.

И сами наедятся, и отделят для передачи:

много курсисток ходят «невестами» к арестованным студентам, они и возьмут.

— Когда пришла я в первый раз «невестой» к студенту-горняку Преображенскому, — вспоминает Женя Шубина, — я взглянула на него, никогда ведь не видела, и так мне стало смешно, не удержалась да как захохочу: не могу от смеха слова сказать, хохочу. А он смотрел-смотрел и тоже захохотал. Так все полчаса и прохохотали, ни слова.

Кто-то из «невест» вспомнил Катю Новикову — ее случай: «невеста неневестная!» —

надо было устроить свидание с Нерадовским — написали из Москвы его знакомые, в Петербурге у него никого не было: Нерадовского перевезли из Москвы, сидел он по приговору в Крестах. Предложили Новиковой. Новикова пошла в Жандармское, просит свидание с своим женихом Павлом Ивановичем Нерадовским. «С Павлом Ивановичем Нерадовским?» — переспросил жандармский ротмистр. «Да, с Павлом Ивановичем Нерадовским, моим женихом». Ротмистр подумал и чего-то улыбнулся: «Приходите завтра ровно в 12-ть». На другой день ровно в 12-ть Новикова была в Жандармском. За большим зеленым столом сидело много жандармов. И ее посадили — и на самом виду. «Так вы просите свидание с вашим женихом?» — обратился вчерашний ротмистр. «Да». «А когда же вы с ним познакомились: жил он в Москве и уж два года находится в заключении». «Это мое личное дело». «А если я вам покажу несколько карточек и вашего жениха, вы узнаете, который ваш жених?» «Конечно!» Новикова смутилась. «Конечно, узнаю, если он очень не изменился». Жандармы переглянулись. «Невеста неневестная!» — заметил кто-то. И это замечание еще больше смутило и раздосадовало.

> «Так дайте же мне свидание и отпустите!» «Позвольте, а как зовут вашего жениха?» «Павел Иванович Нерадовский!» — резко ответила Новикова и от досады, и от смущенья... Тут ротмистр взял папку «Дело Нерадовского» и, раскрыв, показал Новиковой. Новикова прочитала: *зовут меня Петром Ивановичем Нерадовским.* «Вот вы забыли имя вашего жениха: наверно ему неприятно будет вас видеть. Лучше уж не дадим вам свидания».

— Я тогда как ошпаренная вышла: до сих пор помню вдогонку хохот.

— Это всё Фролов напутал: не разобрал в письме имя, из Петра сделал Павла!

И вдруг вошла Зина —

> Оля к ней: ведь целое лето!

Зина то же — Зина, как и Оля: она только что приехала и прямо на Курсы.

Зине отделили для брата — «для передачи» —

> Сергей Рашевский сидел с самой Пасхи в Петропавловской крепости, с того памятного дня для Оли, когда, попав в засаду, она в первый раз столкнулась с жандармами и провела несколько часов на Гороховой в Охранном, — многих из его товарищей выпустили, уж несколько месяцев, ходил на свободе Федор Иванович Котельников, а его всё держали.

После обеда Зина с Олей — к Оле на новоселье.

— Как я чувствую разницу, какая я была в прошлом году, когда в первый раз в Петербург приехала, а какая теперь. Будто после гимназии не один год, а десять лет прошло. Мы в прошлом году ничего не знали, а теперь уже знаем кое-что.

— Ничего, Оля, мы не знаем еще: мы только знаем, чего надо знать.

(Зина всегда вместо «что» говорила «чего».)

— Пойдем, Зина, по городу. Я чувствую, как люблю Петербург. Сердце сжимается, я не могу себе представить жизни без Петербурга.

— Федор Иванович говорит: если кого-нибудь или что-нибудь любишь по-настоящему, это непременно до болезненности. Значит, ты действительно любишь Петербург. Да и я тоже.

Весною часто ходили к Горному институту — к Горному институту и пошли:

там хорошо смотреть на Неву!

А от Горного через Николаевский мост.

— Здесь Каракозов стрелял! — сказала Оля.

Постояли на мосту — посмотрели на каракозовскую часовню — на Неву к Петропавловской крепости. И Сенатской площадью — «Декабристы!» — мимо памятника Петру, мимо Исакия — на Невский.

Шли мимо Казанского собора.

— Сколько здесь демонстраций было. Тут и Вера Засулич. — — Может, и мы, Зина, будем в демонстрации здесь же участвовать.

Публичная библиотека.

А с нею память о занятиях —

сколько вечеров за чтением!
и как хорошо читается книга!

— Я буду заниматься философией.

— А я историей.

К сумеркам Невский наряжался в электричество.

Загорелись огнями магазины. Теснее пошел народ: кто домой, кто так.

Среди автомобилей и извозчиков прокатила коляска с форейтором на запятках в красном. А вслед карета со спущенными занавесками — политических арестантов на допрос возят...

У Аничкова дворца вдруг раздался непохожий автомобильный гудок — глубокий — и всё остановилось.

Пристав, напруженный, точно на нем не одна, а три шинели, вытянувшись, стоял у ворот с сторожами-татарами, а длинные, как фонари, городовые загораживали дорогу на тротуаре.

Из дворца выехал автомобиль и свернул на Невский.

— Государь! — кто-то сказал.

— Где? где? — повертывались посмотреть.

Но уже автомобиля не было — много было нетерпеливо и настойчиво стучащих, вдруг остановленных, а такого не было.

И сразу хлынуло — как попало! — наверстывая потерянное на остановке, зазвенели звонки трамваев, и лошадиные морды ткнулись в спины седоков.

Оля и Зина стояли, дожидаясь, пока не установится, чтобы перейти на другую сторону.

— Из-за одного человека и всё остановилось!

— Тише, Оля!

С Невского они пошли мимо Летнего сада — «где стрелял Соловьев!» — через Троицкий мост к Петропавловской крепости.

— Как это странно читать: «Иоанновские ворота!» — несчастный ребенок! А сколько здесь сидело, о ком мы всегда думаем: и Перовская, и Вера Фигнер, и Брешковская.

Постояли около ворот — дальше ходу нет.

Еще раз взглянули на Неву — и домой.

— Как я счастлива, что всё это вижу опять.

— И я тоже.

*

— — — маленькой собачкой бежит Оля: серая, коричневая, а под горлом белое пятнышко. Бежит она —

«несет для всего мира!»

пробежала по соломе, спешит, запыхалась. Пусто кругом — пустырь. И чувствует она: кто-то и еще есть с ней, только она не видит. И вдруг — это тот невидимый — провел пальцем по ее спине, и так глубоко вдавился палец — до тела — до ее человеческого тела — —

*

Окна открыты, занавесы спущены.

Мимо дома по улице проходят с песнями.

ой, у лузи та и при березе
червона калина.

Песня звучит зловеще.

«Умные люди по праздникам спать ложатся!» — говорит кто-то.

И от этих слов еще жутче.

В доме живет старуха, дальняя родственница: глаза черные навыкате, нос широченный, губы

тонкие змейкой. Старуха всё крадет: цветы, камушки...
«Миша, давай мы с ней управимся!»
Миша подошел к старухе, да за руку ее — и посадил на стул. Тут ее Оля за другую руку. А старуха на Олю посмотрела: глаза черные навыкате, нос широченный, губы тонкие змейкой —
«Хоть и одна ручка осталась, а со мной не справитесь!»
Да двумя пальцами Оле в руку — ногти огромные вкололись — — и прошли руку насквозь.
«Как! — крикнула Оля, — не справимся?
Вон!»
А за окном еще зловещей —

було б тоби, моя ридна мати,
тих брив не давати,
було б тоби, моя ридна мати,
счастье — долю дати.

*

Наталья Ивановна принесла вишневого варенья с косточками.
«Это последнее, — сказала она, — больше никогда такого не будет!»
И видит Оля, как от слов мамы у любимой бабушки Татьяны Алексеевны лицо стало маленькое, а глаза остеклелись и только в глубине их настоящие. Оля — в сад через балкон. Балкон в Меженинке давным-давно провалился, а вот будто целехонек.
Темно в саду. Деревья жмутся — качаются, но тихо, без шума.
И вдруг выскочила собака — не меженинская, не ватагинская, огромная, как волк — и прямо на Олю.
Оля чувствует: заворожена собака; а заворожил ее тот, кто любит Олю, — и бросилась, а не кусает, только теребит руку.

И вдруг собака поднялась на воздух — от злости
поднялась собака на воздух — и там закружилась.

Из-под опеки

Кровать, комод, два стола — один заниматься, другой для еды. Этажерка — книги. На комоде зубной порошок. Вместо шкафа завешено простыней в уголку. На стене Михайловский.

Чистая, светлая, теплая.

Хозяйка — Ксенья Ивановна, миллион детей — имен не хватило: и старшая дочь Леля и самая младшая Леля.

На одну сторону — глухая стена, на другую — дверь, заставленная комодом.

Через дверь — поет соседка:

высокий, стройный, весь в кудрях,
полукафтан на нем широкий
и шляпа черная в руках —

Придет Черкасов — и вместе пойдут в университет на заседание «Исторического общества».

— Ах, Зина, если бы мне от него избавиться: он будто какие-то права на меня имеет. И я его ненавидеть начинаю. Написал мне: будет меня ждать на своей станции, чтобы вместе в Петербург ехать, а то будто мне одной ехать неудобно. Ну, я на письмо не ответила: чтобы не мог знать дня моего выезда. Что ж ты думаешь, подъезжаю к Шумовке, его станция, вижу издали — стоит. Я в уборную спряталась. И вышла, когда поезд тронулся и полным ходом шел. Боялась, будет меня по вагонам искать.

Ну, наконец-то — — —

Зина надела теплую кофту. А у Оли шуба длинная беличья, но она — коротенькую осеннюю кофточку.

— Очень холодно, — говорит Черкасов, — надевайте шубу!

Оля продолжает застегиваться.

— Ужасно холодно, это невозможно. Скажите ж ей: ведь этак — легко простудиться!

— Да какое вам дело, в какой я кофте хожу? Ну, скажите, какое?

— Ужасный холод: я боюсь, вы простудитесь.

— Никакого вам дела нет. Захочу — без кофты пойду. Я никогда не позволю. Я наконец вырвалась из-под родительской

опеки. Вы меня будете опекать? Ненавижу опеки! — Несчастней меня нет человека! — Я не знаю, что это такое!

— Оля, что ты, голубчик? что ты раскричалась так?

— И ты тоже!

— Да нет, нет, иди в этой кофте.

высокий, стройный, весь в кудрях,
полукафтан на нем широкий
и шляпа черная в руках —

Черкасов несет шубу — «на случай».

Оля впереди:

ей холодно, но делает вид, что ей тепло.

Утром по дороге на Курсы —

медленно идет Анна Ивановна Синицына, медленная, одна.

«Какая она счастливая: одна! свободная!»

И вспоминаются Оле все вечера — ни одного без Черкасова, постоянно.

«А я как связанная!»

*

По дороге домой с реферата —

Зина Орловой:

— Надо что-нибудь такое сделать, чтобы Черкасов перестал ходить. Посмотрите, во что Оля обратилась: так раздражена!

— Тебе нет до меня никакого дела! — открикнула Оля. — Ты мне, как Черкасов, надоела.

Орлова Зине:

— Вы так терпите от Оли! У вас как будто и самолюбия нет.

Зина — засопела.

И больше ни слова до дому.

У фонаря перед воротами:

— Зина, милая, пойдем ко мне ночевать! — Оля погладила ее руку.

И Зина, как озарилась:

— Вот из-за таких минут я и терплю!

*

«я виновата перед тобой, Зина, я это сознаю. Ведь ты меня любила всегда ровно, ты меня

всегда так любила, как я теперь тебя люблю. Помню я один день: папа мой умер. Я шла обедать и встретила тебя. Никогда не забуду твоего лица в тот миг, когда ты меня увидала: любовь, сострадание, желание помочь — всё выражалось в нем. Мы долго ходили по Среднему проспекту. Я была счастлива в тот день, я редко бывала так счастлива, как тогда».

*

До петербургской встречи с Олей для Черкасова «революция» была так — никакого особенного значения.

Он не верил ни в какие «революции»: ни бомбы, ни войны, ни «покушения» — никакие социальные катастрофы не то чтобы пересоздать человека, но и изменить его ни в чем не изменят — и злой злым «злюкой» и останется, и расчетливый не сделается расточительным, а дурак умником, завистливый не станет понятливым, а хвастун скромным, царствует ли «на страх врагам» царь или станет у власти Сергей Рашевский, царская ли Россия или социалистическая — всё едино.

И когда он однажды спросил Сергея Рашевского:

«А меня куда же вы денете после революции?»

Рашевский добродушно ответил:

«В каталажку посадим».

Черкасов никак не «революционер» — какой-нибудь случайный взгляд прохожего, «вскользь замечание» или «семейная сцена за стеной» для него куда значительнее, т. е. он тоже, как и каждый, верит во что-то, и именно верит в «личное», «случайное», «не важное», «мелочи», «пустяки и подробности», те подробности, «к делу не идущие», но какие почему-то каждым приплетаются да и самой жизнью наматываются на так называемое «главное» и «важное».

«А когда целый народ всхлипнет “за стеной”, целый народ заерзает, это как по-вашему?» — заметил Котельников, приятель Рашевского.

«Т. е. революция! Понимаю. Это — теория. Надо, чтобы тебя ущипнуло. А целый народ — это теория».

Черкасов разошелся с своими товарищами, но когда увидел, что для Оли «революция» начинает получать самый главный

смысл жизни, он снова сблизился с оставшимися на свободе из кружка Рашевского: это давало ему материал для разговора с Олей и всегда предлог зайти к ней. Когда не было «нелегального» — никаких прокламаций, он приносил журналы, книги — и такие, которые трудно достать — а потом забегал спросить: прочитала ли она?

Так всякий день — ни одного вечера без Черкасова — постоянно.

— — —

— Я прошу вас — не стесняйте меня, пожалуйста! Не приставайте ко мне со своими заботами. И вообще не накладывайте руку на мою жизнь. Я не люблю этого. Я сама знаю, как мне жить. Не приходите так часто — я просто возненавидела вас!

Оля не говорила — а что-то в ней, как ножом — слова ее — нож.

Он видел: лицо ее окаменело, зубы стиснуты — вот ударит! —

или нет отвратительнее человека, который оцепляет своею любовью тебя, — без взаимной любви?

Он видел это непохожее жестокое лицо — и глядел прямо в неумолимые глаза ей, покорно, готовый —

или боль и ласка одно? Не-ет —

— И вдруг опять — он видит — «в поле блакитном»

Оля — та Оля!

— Вы не сердитесь! Мне неловко, что я так сказала. Вы не сердитесь!

— Нет — я не сержусь. Я — знаю.

*

Черкасов знал: рано или поздно так должно было случиться —

Оля не только не любит его — это-то он давно понял — а еще и — — и одно остается:

«Надо всё забыть!»

Целый месяц он не ходил к ней — избегал встречи, как пропал.

И за этот месяц мысль его пробралась через все лазейки, которые ведут к самому мирному — к забыть —

а забыть-то нельзя!

Когда он вышел тогда, как обрадовался: уж так ясно — надеяться нечего! И вдруг почувствовал острую обиду — а мстить некому — — нет, одно осталось:

«Отрезать себя от всякой памяти!»

И он написал Оле: просил прийти к нему.

И вот ждет — —

— — — —

Комната, как у Оли. Также этажерка — книги. Только над кроватью Достоевский —

на Достоевского Оля смотрит всегда с удивлением, она прочитала его еще гимназисткой: «такого замечательного писателя сослали! четыре года в каторге пробыл!»

— — — —

Шкатулка из карельской березы — Черкасов купил ее, когда решил бесповоротно устранить всякую память и уехать из Петербурга — шкатулка ему, как гроб.

Письма Оли и карточки ее хранились в особом ящике, куда он больше ничего не клал, их было не так много, но он медлил —

бережно брал конверт, еще бережнее вынимал письмо, перечитывал.

Он никак не мог расстаться и уложить в этот гроб, что было и есть и будет для него (забыть-то верно нельзя!) самым святым.

Карточки он уложил в один конверт: их было десять — и гимназические, и курсовые.

— Тюх-тюх! — представил он Олю:

так Оля соловья представляла: «тюх-тюх!»

И стал ходить от окна и до двери —

и от двери к окну —

В окно зеленый туман, сквозь туман электрические фонари.

«Варины именины!» — сестру вспомнил и с ней Бобровку, Нелиду Максимовну и Кушку, Федора Фалалеевича и чудесного журавля, полет к солнцу по «финикулярной» дороге, весь дом, лето — всё, всё, что б ы л о связано с Олей. Или никогда не забыть?

«Ах, забыл!» — и он бросился к книгам — вот-вот придет Оля! — вытащил «Лекции» Ключевского, положил к шкатулке.

Шкатулка — Ключевский:

«Слушательнице Высших Женских Курсов Ольге Александровне Ильменевой. Знание и народ — вот два слова, которыми я определяю смысл и цель своей жизни».

— Тюх-тюх — а вышло горько —

сквозь зеленый туман — «огненной пастью, в поле блакитном» —

Оля.

— — —

А уж он и не знает, как.

— Вот шкатулка.

— — —

— Там ваши письма и карточки — возьмите!

И сквозь зеленый туман:

— Может быть, мне будет легче, когда их не будет.

И вдруг испугался:

днем фонари — это страшно: только покойников возят!

— Не уничтожайте! Полежат у вас, а потом опять мне!

— — а это — это лекции Ключевского.

«Лекции» Ключевского — большая редкость!

Оля взяла шкатулку, взяла книгу —

— Посидите немножко! — загородил дорогу и так просит, — посидите у меня!

В дверь постучали.

— Я никого не пущу! — он выпрямился весь, кулаки —

если бы вздумалось кому — —

А никого не было.

Или фонарщик в цилиндре?

— Тут живет шпион! — показал он на дверь.

Эта дверь, как у Оли, за комодом.

Оля села и вдруг поднялась.

— Нет, нет, — он опять испугался, — я думаю, не за мной!

— Достаньте мне Календарь Народной воли! — сказала Оля.

«Календарь Народной воли» — еще бóльшая редкость, чем «Лекции».

— Не могу.

И он тяжело сел.

И дав зарок, нарушил: стал говорить о своей любви — что не может унять, не может забыть; и об одном просит, чтобы сказала ему —

что она его хоть немного любит!

Оля ничего не ответила — и чего ответить?

Так и ушла.

И было у нее такое чувство:

и радость — «наконец-то свободна!»
и тяжесть непомерная — «не сбросишь!»

А он — один — и ничего — никакой памяти — зеленый туман —

остается уехать и — — конец.

И тут почувствовал он в себе, как всегда, жесточайший азартный упор — он чувствовал это всегда, когда надо было что-нибудь делать *бесповоротно* —

когда надо было на поезд и по часам выходило пора, он начинал заниматься всякой ерундой или просто сидит, смотря на часы и наблюдая, как с каждой минутой остается всё меньше и меньше поспеть; тоже и с назначенными и условленными часами, когда надо идти, чтобы встретить или застать, вообще поспеть, к доктору ли на прием, в полицию, на экзамены; только другая какая-то «жизненная» сила в нем же самом сдвигала его с места, подымая из его упора.

И теперь, когда «надо было уехать» — —

*

Ничего Оля не умела делать, только Оля умела паску: сырную и кулич —

няньки Фатевны наука.

И затеяла Оля сделать паску.

Зина и весь «миллион» хозяйки Ксении Ивановны от старшей Лели до самой младшей Лели и Вениамин Валерьянович, сын хозяйкин, все поставлены на работу:

один — вымочив миндаль, чистил,
другой — тер миндаль на терке,
третий — засучив рукава, растирал на сите творог,
четвертый — трудится над макотрой: лопаточкой мешал тесто,

пятый — месил,
шестой подбрасывал —
у седьмого была работа: держать макотру, чтобы не скувыркнулась,
восьмой — работал над маслом: надо, чтобы масло растопилось, а не закипело (Боже сохрани, чтобы закипело!),
девятый — при яйцах находился: выпускал, отделяя желток от белка,
десятый — при молоке,
одиннадцатый — у печки, бережет духовку: чтобы было парно, но никак не жгло,
двенадцатый — бумагу режет для форм,
тринадцатый — маслом смазывает,
четырнадцатый — — всем работа, всему миллиону!

Вениамин Валерьянович не выдержал — тесто месил! — и под благовидным предлогом сбежал. Ну и без него — Зина, сама Оля и от старшей Лели по младшей Лели без одного миллион! Самая младшая Леля натащила булыжников с мостовой: чтобы под пресс паску поставить.

И поднялся кулич: на руку — пух, откусишь — мед, а дух, никакие английские духи так не пахнут и цветов таких ни на полях, ни в оранжереях еще не цвело! и не съесть еще куска никак невозможно, и нет такого азартного упора остановить чтоб; а паска — прямо на языке тает! —

нянньки Фатевны наука.

Вечером Оля угощала паской Зину.

И что-то с земли, с Ватагина было в комнате и по всей квартире, и соседка жилица за дверью даже петь перестала и, напившись чаю с Олиной паской, сидела смирно и нюхала.

Ксения Ивановна постучала к Оле за йодом:

Вениамин Валерьянович, сбежавший под благовидным предлогом, чувствуя свою вину перед Олей, стругал палочку для проверки теста «на будущее время» и обрезал себе палец.

Оля рассказала, как она лечила бабу йодом —

Заболела баба, соседка. Ее дочка на ватагинском огороде работала, Евлашка. Баба Авдотья. Оля тогда на каникулы из Петербурга приехала, и сразу

пошла слава. Евлашка рассказала Оле о матери: больна — «в грудях колет!» И просит чего-нибудь дать помазать. «Я сейчасу приду, сказала Оля, принесу йоду!»

— У мамы много пузырьков на комоде за зеркалом на всякий случай: и сода, и мятные капли, и борная. Смотрю — большая бутылка: Иод. Я взяла бутылку и к бабе. Натерли ей спину, грудь. Вся бутылка вышла. Не пожалела.

Оля никогда не жалеет, и за что примется — вовсю.

— Все руки выпачкала. Едва отмыла. На другой день спрашиваю Евлашку: что мать? «Лучше!» Пошла навещать. «Совсем хорошо». И поправилась Авдотья.

Прошло несколько недель, собралась Ирина ехать на вечер, а были у нее туфли бронзового цвету. «Где, ищет, мой лак для туфель?» По всем углам во всех комнатах ищет, всех спрашивает. И уж под последок к Оле: «Оля, не видала ли ты мой лак от туфель — такая бутылка: *Иод* написан?»

Не из говорящих

Анна Ивановна Синицына — не из говорящих.

Бывают же такие кроткие — не говорящие, оттого и имя у них такое —домашнее, тихое, ну вот, как Анна Ивановна.

Старше Оли курсом, а по летам вдвое: за тридцать.

Полная, медленная, неповоротливая, а глаза добрые, — и оттого что рябая, еще добрее смотрят —

обыкновенно, как раз наоборот: рябой, ой!

Олю с первой же встречи стала называть Олей — а Оля ее — Анна Ивановна.

На собраниях «Кружка декабристок» — такой кружок на Курсах: рефераты по «истории общественного движения в России» — бывала, но редко. Встречались на Курсах.

Ничего такого — Оля даже не знала, откуда Анна Ивановна и как она жила раньше, да и Анна Ивановна ничего не знала о Оле, а встретит Олю и так всегда обрадуется, — так ласково, добро добрыми глазами смотрит.

«Она за мной никогда не поспеет, — думала Оля, — но она очень хорошая!»

А Анну Ивановну Оля радовала —

— Как познакомишься ближе с курсисткой, так она и исчерпается! — сказала как-то Зина.

— Так нехорошо говорить, — возразила Анна Ивановна, — у вас и Оля исчерпается!

— Да вот — не исчерпывается никак!

Неисчерпаемость эта, в которую верила и восхищалась Зина, радовала Анну Ивановну.

*

Час был поздний.

Анна Ивановна положила под подушку чайник — самовара больше не дадут! — и подумала: почитает книжку, выпьет чаю и спать.

Там за окном декабрь, а в комнате тепло, и книга интересная: «Рассказы» Чирикова. Есть и еще: Сеньобос, «Политическая история современной Европы», — два тома. Надо постараться.

В книге для Анны Ивановны — всё.

Другой жизни у нее нет.

Анна Ивановна знает хорошо: там, где людно, там ей не место — там надо чем-нибудь брать, а ей нечем. Когда она научится, кончит Курсы, —

она будет — «культурной работницей» будет — «приносить посильную пользу народу», «незаметная труженица».

Сеньобоса «Политическую историю» она отложила: надо с выписками! — села за Чирикова.

Очень интересно —

— — стук —

Оля!

«Так поздно?»

— Анна Ивановна, дорогая, пойдемте на вечер лесников!

Оля не собиралась, ей вдруг захотелось на этот вечер. А Зину не застала. И вот она пришла уговорить Анну Ивановну идти вместе.

— Но так поздно, Оля!

Анна Ивановна и обрадовалась — она всегда радовалась Оле — и шевельнулось тайное: тянет ведь на люди! И не хочется: начала Чирикова —и всё-то расстроилось.

— Да что же такого, Анна Ивановна, ну не к началу поспеем.
— Что ж, я с вами пойду, да вы меня оставите.
— Да не оставлю, Анна Ивановна. Вместе пойдем.
— Да вы, Оля, лучше у меня посидите. Напьемся чаю.
— Пойдемте, Анна Ивановна: там всё в елках убрано. Ближе к природе.
— Ну, ладно, — согласилась Анна Ивановна, — да вы меня не оставите?
— Не оставлю, Анна Ивановна.
Оля была в беленькой кофточке, нарядная —
Анна Ивановна надела свое парадное синее платье.
Анна Ивановна жила на Васильевском острове, на Малом проспекте около Трубочного завода. В Дворянское собрание поехали на извозчике.
И дорогой Анна Ивановна вдруг спохватилась:
«Оля ее оставит!»
— Да не оставлю, Анна Ивановна! — повторяла Оля.

*

Михайловская не Тучкова набережная — на вечер опоздали. Но это ничего! Взяли «входные» билеты. Разделись под общий номерок — чтобы уж вместе! И в зал — в толчею.
У Оли столько знакомых: один подошел, другой, третий —
Анну Ивановну и оттерли.
За разговором Оля и не заметила.
Антракт —
две волны идут и — —
Оля идет бурно в своей волне, очень ей весело. Бутоньерка с цветами еще алей цветет на ее белом. Вокруг нее столько — и лесники, и горняки, и студенты — и невозможно со всеми разговаривать.
А навстречу в другой волне Анна Ивановна —
попала в волну и движется.
И вдруг увидела:
— Оля, номерок?
И смотрит — добро смотрит —
голова набок, руки опущены.
Но волна захлестнула — Оля ничего не успела! — пропала Анна Ивановна.

Так до самого до конца вечера.

И где была Анна Ивановна — Оля ни разу не вспомнила.

Когда кончился вечер, Оля нашла ее у лестницы: стоит ждет —

без Оли ей ведь никак не выйти!

Анна Ивановна весь вечер то в волне, то в толчее, одна. А как бы тихо провела она вечер дома, — за книжкой. И не уйти ведь: без номерка платья не выдадут, номерок у Оли. Анна Ивановна роптала — голова набок, руки опущены — Господи! Но как увидела Олю: Оля глядела такая — всё в ней — гори-гори ясно!

— Анна Ивановна, не сердитесь!

— Я не сержусь — Оля!

*

Разговор за спиной:

«Мне не нравится Оля: какая-то ханжа, зажигает лампадку и всем улыбается! И кто ее знает: кто ей нравится, кто не нравится?»

«Мне нравится: она вся — самопожертвование».

Оля слышала — это было еще в начале ее курсовой жизни — и с тех пор стала замечать за собой: улыбается она или нет.

А раньше и не догадывалась.

Когда она приехала в Петербург, она всем верила — во всех видела хороших людей и в каждом — человека, желающего ей добра. И вот, встречаясь, всем улыбалась.

Эта улыбка ее — от глубокой веры в доброту и желанность человека. А от глуби веры — свет.

Ведь вера — огонь!

Улыбка ее чаровала — привязывала.

А привязанность к ней, что покорность.

Медленная Анна Ивановна стала чаще приходить на собрания кружка.

Анна Ивановна прочитала Маркса и Николая-óна — это в основу. И много другого: от Гобсона, «Эволюция современного капитализма», до «Элементарной политики» Томаса Ралей, «Стихотворения» П. Я., «Современное положение учения о валюте» — Лексиса и статью Павловского, «Теория взаимного кредита».

Не говорящая Анна Ивановна вдруг заговорила.

Но то, о чем она заговорила и как заговорила, привело Олю в ужас:

Оля сразу почувствовала, что Анна Ивановна «склоняется» к с.-д.

Это «склонение» обыкновенно выражалось в тоне речи: из неуверенной становилась уверенной — «марксисткой», а для начала говорили, будто нет разницы между с.-д. и с.-р.

А ведь для Оли — «нет разницы!» — это кощунство.

Целую ночь не могла Оля успокоиться.

И только под утро додумала. Решила написать письмо.

И написала:

«— — я вижу прекрасно, что вы склоняетесь к с.-д., и прекращаю с вами всякое знакомство — »

Утром до Курсов — к Анне Ивановне:

Анна Ивановна что-то делала, зашивала что-то.

— Вот вам письмо.

— Садитесь, Оля.

Оля села.

— — — —

— Да что вы, Оля! Я нисколько не склоняюсь!

Оля молча поднялась.

— Вы пойдете, Оля, сегодня на Курсы?

— Да.

И ушла.

А на другой день на Курсах —

Оля быстро проходит по залу —

Анна Ивановна медленно ей навстречу, увидела Олю и так кланяется — —

А Оля голову вверх:

чтобы не подумала, что и она.

*

Студент Фролов — самый веселый из говорящих.

Фролов: «Идеальных мужчин можно найти, а женщин нет».

Оля: «Нет, есть».

Фролов: «Ну, кто же, Башкирцева?»

Оля: «Нет».

Фролов: «Ну, Софья Ковалевская?»

Оля: «Нет».

Фролов: «Ну, кто же?»

А Оля думает: «Софья Перовская».

И не говорит, не хочет: это имя — это такое святое для нее! — и она не может так просто произнести для разговору;

как никому никогда не скажет о самом святом своем — о Пасхе: потому что засмеют.

А «Пасха» — основа ее «революции». Еще в детстве, когда думала она о «Страстях», то много мучилась:

«Вот это было и из-за меня, потому что и за всех».

И ей казалась самая лучшая дорога в жизни — пострадать за других.

*

Оле было стыдно жить спокойно и хорошо, когда другим плохо.

«Не хочу быть рабою с рабами, а хочу быть с теми, кого гонят за то, что хотят устроить счастье на земле, с теми, кто за это гибнет — хочу и сама пострадать!»

С.-р. привлекали ее, потому что, как ей казалось, они не материалисты и именно хотят пострадать — погибнуть; с.-д. своим материализмом отталкивали ее и оскорбляли ее веру — ее «Пасху».

Курсистка Орлова, старшая — по летам, как Анна Ивановна, — ее Оля называла Александрой Александровной, — Орлова однажды заметила:

«Что вы, Оля, так нас не любите? И всего-то во всей России кучка людей, которые хотят социализма, и среди этой кучки ненависть».

А Оля, хоть и одолела всю премудрость от Маркса, Николая—она до безымянной статьи «О народном кадастре» и «Выкупных платежей» Ермолинского, никогда не представляла себе, что можно жизнь изменить так, чтобы все были счастливы.

*

Женя Шубина — самая ученая.

Женя: «Я считаю, Оля, что сомневающиеся выше фанатиков».

Оля: «Нет, фанатики лучше».

Женя: «Фанатики грубее, а сомневающиеся более чуткие».

Оля: «Но фанатики непременно что-нибудь да сделают, а эти чуткие — расплывутся».

*

Если Анна Ивановна кажется такой необыкновенно медленной, то это только потому, что на свете есть Соня Ефимова — живая, веселая, тоненькая — ровесница Оли.

Но по привязанности к Оле ни одна не уступит:

тут безразлично — что медленный, что быстрый.

Соня Ефимова, как и Анна Ивановна, не из говорящих.

Но она ни с.-д., ни с.-р. и ни к чему не «склоняется», просто барышня.

Соня часто провожает Олю с Курсов домой. И всю дорогу громко в глаза восхищается ею.

Оле она нравилась, но как была далека!

Оля никак не могла помириться с ее полным равнодушием к самому главному — к «революции», и что для нее совсем неважно: с.-р. или с.-д.

Женя Шубина тоже, но Женя, занимаясь наукой, все-таки «склонялась» к с.-р., а для Сони все равно.

— Не будьте такой нетерпимой, Оля. Вот я люблю вас, и вы мне милы просто как человек. А вы меня так отпугиваете всегда.

Оля хотела резко ответить, но ее обезоруживали слова Сони — всегда нежные. Но однажды ответила:

— Хорошие только и бывают революционеры.

Перед Курсовым вечером распределяли почетные билеты и большая была борьба между с.-р. и с.-д.: кому послать — оставался всего один билет —

Мякотину или Мартову?

Женя Шубина ходила по аудитории с листом и все подписывались: кто за кого.

Оля подписала на Мякотина.

И слышит — Соня:

— Я подпишусь на Мякотина, чтобы доставить Оле удовольствие.

— Как? чтобы мне удовольствие! — крикнула Оля. — Вы будете подписываться на Мякотина? Никогда! Женя, вычеркни. А с вами я не желаю больше быть знакомой.

И перестала кланяться с Соней —
как тогда с Анной Ивановной.
Встречаясь, Оля так могла смотреть —
смотрела, а будто не видела.

*

А это потом —
Не через год, через два —
Не в аудитории, не на шумном Курсовом вечере, не в комнате на Васильевском острове, а в тюрьме — в Предварилке на Шпалерной.
В тюрьме Оля всё припомнит.
Вспомнит и Анну Ивановну, и Соню —
добрую медленную Анну Ивановну, нежную живую Соню.
Соне она написала письмо — зашифровала
«— — не сердитесь, что я к вам была резка, не сердитесь на меня».
И получила ответ — по почте через жандармов:
«я вас считаю выше всех людей!»
И с письмом — а н г е л: на стекле нарисован. А когда из тюрьмы выпустили, едет Оля на извозчике, и близко уж от дома на Среднем проспекте —
навстречу ей медленно Анна Ивановна.
Оля схватила извозчика да что есть голоса:
— Анна Ивановна!
Та вскинулась — не верит! — а поверила:
— Оля! Вы так изменились: вы — меня позвали!

Нельзя

Люди делятся: на просто хороших и замечательных —
просто хорошие — это те, кто идет на жертву за других, замечательные — кто идет на жертву до конца и ничего личного не имеет.
Например, замечательный человек не может жениться.
— Жениться или выйти замуж — нельзя!
На Курсах был устроен «Бракоразводный комитет», влившийся потом в «Струю единения». Зачинщица: Варя Финико-

ва, Оля, Лида Алексеева и Нина Мавлютина. Цель комитета: предупреждать браки —

«а если не удастся, то разводить».

Когда узнавали, что какая-нибудь «стоющая», т. е. революционная, курсистка выходит замуж или «стоющий» студент женится, посылалось письмо — стихи:

есть дни, когда так пошл
венец любви и счастья!

Комитет действовал. Но к великому огорчению ни одного брака не предупредили и никого не развели: кому задумалось, так же женился, как и до стихов, и кому решено, выходил замуж и со стихом.

«Стоющая» курсистка Надя Ширяева вышла замуж за студента-лесника Кожевникова, тоже «стоющего». Пришла на Курсы. Здоровается.

— Оля, я в ваших глазах потеряла половину?

Оля сурово:

— Нет, три четверти.

Елена Ивановна Мавлютина, мать Нины, пошла на пари с Олей:

«Если до двадцати пяти лет Оля не выйдет замуж, она даст сто рублей Оле и сто рублей Нине; если же выйдет — »

— Мне от вас ничего не надо.

А Оля:

— Лучше в могилу, чем замуж.

И одно жалеет: ждать долго — целых восемь лет! — а получить бы сто сейчас.

— Нельзя жениться и выходит замуж.

— Нельзя танцевать.

— Нельзя наряжаться.

— Нельзя причесываться по моде.

— Нельзя — —чего еще?

Варя Финикова — законодательница «нельзя», она же и образец:

большая, белые, как лен, волосы в скобку, неизменно в черной блузе со стоячим воротником, и хоть ей семнадцать, как и Оле, а какая-то вся линючая,

походка — углом, а в слове — подчеркнуто: грубо и резко.

Финиковой старались подражать:

Женя Шубина, совсем другая, — всякий на нее заглядывал! — Женя старалась размахивать руками, когда с Варей шла по Среднему проспекту; Оля танцевала, любила танцы — перестала танцевать; Лида Алексеева — остригла волосы.

*

Самым хорошим в мире — святое имя: Софья Перовская и Вера Фигнер —

Вера Фигнер — потому что столько лет сидела в Шлиссельбургской крепости, Софья Перовская — повешена: принесла самую большую жертву, какую только может человек.

На Курсовом вечере в Дворянском собрании пел Фигнер.

Оля — ей очень понравилось — сидит молча. Зина аплодирует.

— Почему ты не хлопаешь?

— Его сестра — в Шлиссельбургской крепости, а он на императорской сцене: я не желаю ему хлопать.

После Фигнера Тартаков.

Оля хлопает — отбила все ладоши.

— А почему ты знаешь, — заметила Зина, — может, брат Тартакова в ссылке?

Оля очень рассердилась.

И главная ее всегдашняя досада:

что и Зина не «до конца».

Зина — самая любимая и самая близкая. И Оля часто с ней ссорится.

Первая крупная ссора из-за «нельзя выходить замуж».

Зина сказала:

«она не собирается, но, может, когда-нибудь и выйдет!»

Оля долго сердилась, а в день мира Зина ей подарила маленькую колоду карт — как раз любимое Олино — «маленькое».

И всякий раз, когда мирились, Зина говорила:

— Я хотела подойти к тебе и сказать: «Да ведь я — Зина! чего же ты сердишься?»

А Оля хотела, чтобы Зина так же, как и она сама, была всегда «до конца».

«До конца» в духе только у Оли — потому она и коноводит. И без всякого — в ней нет этого, ну чтобы непременно первой:

— Не всё ли равно, — говорила Оля, — кто сказал, лишь бы было сказано.

А внешне — у Финиковой, до опрощения которой, как ни старались, никто не мог достигнуть —

ну, конечно, сама природа помогла ей стать образцом.

Не «до конца» — разное: не «до конца» — это большинство — это сочувствующие — это те, что шли «за компанию»:

хотели не отстать по виду и как можно дольше поберечься.

Оля проходила науки — изучала историю, и философию, и литературу — всякие курсы: Введенского, Гревса, Котляревского, Платонова, Шляпкина. И всё это ей казалось так, между прочим, самым же главным — читать, изучать и разговаривать:

«как жить той жизнью, чтобы пожертвовать собой, и как жили те, кто пожертвовал собой?»

Оля думала об этом и додумывала до самых мелочей.

Как-то поехали в Лесное компанией. Очень проголодались. И все только об этом и говорили.

А Оля говорит:

— А как Перовская 1-го марта утром, пила что-нибудь или нет?

(1-ое марта — день, когда для Перовской определилась ее жертва).

Оля никогда не думала,

«что вот Перовская убила — »

Оля думала только о том,

«что Перовская пожертвовала собой».

*

Вечеринка —

Конечно, спор: спорят с.-р. и с.-д. —

взлохмаченный мужиковатый «народник» и городской, уверенный, всегда хорошо одетый «марксист», краснощекая, пышущая паром земля и стальной мерный молот — кто кого?

Конечно, студент Фролов — танцор, спорщик, запевала («Эй вы, синие мундиры...») — «душа веселья», по словам Сони Ефимовой, всегда танцующей на вечеринках.

Конечно, песни, — революционные, студенческие и непременно —

закувала та сыза зузуля
ранным рано на зари...

что-то от «Слова Игорева», песен половецких, запавшее на скованную льдом Неву.

И непременно:

«прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми».

И танцуют.

Но вечер не в вечер, и спор не в спор, и прогресс не в прогресс, и сам Фролов не веселье, если нет чего-нибудь такого: Чириков, например, приехал —

На вечеринке присутствовал вернувшийся из Сибири с каторги старый революционер-народоволец. Фамилию его скрывали из конспирации.

Оля была в восторге — в первый раз своими глазами она видела того, кто был на каторге.

Старик тоже заинтересовался и сказал Оле величайший комплимент, какой только она могла представить себе:

он сказал Оле, что она ему напоминает Софью Перовскую.

А на другой день пришел к Оле в гости. Расспрашивал о Курсах, о их кружке.

А Оля — о своих «кумирах»:

ведь он знал их лично!

А сама всё думает, хочет узнать:

просто ли он хороший человек или замечательный, т. е. женат или нет?

А спросить неловко.

И наконец придумала:

— А скажите, сколько людей живет в том доме, в котором вы живете?

Старик расхохотался:

— Вы, наверно, хотите знать, женат я или нет?

— — —

— Я женат, и у меня дети. Вы, наверное, думаете, что нельзя жениться?

Оля смутилась.

Но она уж знала:

перед ней просто хороший человек, но не замечательный.

*

За Олей студенты ухаживали —

Черкасов, Оводов, Рашевский, брат Зины, Фрид —
у всех на виду, про это знают все Курсы!

Оля видела, что она нравится —

и ей это было приятно.

Но она никогда не сознается, что это приятно.

Оля старалась думать, что это очень нехорошо и что Варя Финикова куда лучше ее:

«потому что за ней никто не ухаживает!»

Само слово «ухаживать» зачислено было в «нельзя», нельзя было даже произносить его.

Когда Оля приехала на каникулы в Ватагино, Наталья Ивановна сказала ей:

— У нас все говорят, что Владимир Михайлович Черкасов всё для тебя устраивал в Петербурге. Вообще ухаживает.

— Мама! — вспыхнула Оля. — Не оскорбляй меня: за мной никто не может ухаживать. Это — у вас.

— Ну, я не знала, как это у вас называют.

*

Оля хотела жить по той правде, которая открылась ей от «Страстей»:

чтобы ее гнали и в конце концов она погибла.

Оля хотела найти таких же — жаждущих погибнуть по тому же.

И сначала ей казалось, что и все так. Но понемногу она стала замечать, что не все, и по-другому:

Маня Сажина хочет отомстить кому-то за всё зло, за всю беду, какую она видела с детства — она жила с матерью и братом очень бедно; Лида Алексеева хочет своей гибели, пожалуй, как и Оля, но что-то и еще есть в ней, чего Оля никак не поймет, только чует: Лида кроткая, не властная, покорно готовая — — в петлю; Зина Рашевская, самая близкая и любимая. — —

Оля была уверена, что и она, и Зина «погибнут» — жить долго не будут.

А Зина — Зина хотела жить.

— Ну, пускай, Оля, нас хоть в каторгу сошлют, чтобы только мы жили!

*

На лекции Гревса по «Истории средних веков» Лида Алексеева сказала Оле:

— Хочешь увидать Ильину?

— Ну, конечно, хочу.

Оля хорошо знала «Историю революционного движения», и это имя было для нее «кумиром»:

Ильина двадцать лет пробыла в Сибири!

Целой ватагой курсисток отправились с Васильевского острова на Троицкую к сибирякам, приютившим Ильину.

Ильина встретила очень ласково.

Ильина рассказывала о Перовской и Желябове.

Оля не проронила ни слова. Но не всё было так, как ей хотелось: некоторые слова коробили и удивляли.

«Желябов был женат!»

Если тот старик-революционер был женат и имел детей — «просто хороший человек» — это возможно, но «замечательный» — а другим Желябов не мог быть —

— Как это может быть? — возмутилась Оля. — Неправда!

— Ну, вот еще, — рассмеялась Ильина, — такой красивый, горячий, да ему хоть всякий день влюбляться, а ты ему жениться не позволяешь!

Демонстрация

В воскресенье затеяли сниматься.

В Александровском саду около Жуковского — сборный пункт:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина.

Последняя пришла Варя Финикова — опоздала:

она только что встретила Брусилову, ходившую на свидание в Петропавловскую крепость с курсисткой Фирсовой.

— Фирсова отравилась в крепости уж полтора месяца. Только скрывали... отравилась она потому, — и уж не говорила, а вызвякивала Финикова, — ее прокурор изнасиловал!

— Так этого оставить нельзя! — вспыхнула Оля.

— Нельзя! нельзя! — выкрикнули враз всей компанией.

— Митюрников повесился — и это прошло бесследно. Боровкин в пролет бросился —

И Оля стала приводить примеры тюремных самоубийств: историю революционного движения она знала лучше всех.

И подожженной кипящей вереницей шумно тронулись на Невский к фотографии Жукова, чтобы затем немедленно же приступить к обсуждению:

что делать?

И без того шумно на улице — весна. А когда еще горит — ничего не разберешь: и не одну пластинку испортил фотограф, пока, наконец, не щелкнул:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

*

Переполненная аудитория, — весенняя улица:

и рев, и скребки, и слит голосов.

Брусилову вытащили на кафедру:

Брусилова — первая и единственная, знавшая о Фирсовой, должна сообщить всем.

Безголосая — вряд ли услыхать и с первых рядов — застенчивая и робкая Брусилова начала.

А слабые ее слова повторялись громко и по несколько раз во все концы громким горячим кольцом курсисток:

— Фирсова отравилась в крепости уж полтора месяца —
— Только скрывали —
— А отравилась она потому —
И голоса зазвенели еще звонче:
— Ее прокурор изнасиловал —
— Так этого оставить нельзя!
— Нельзя! — подхватили. — Нельзя!
— Митюрников повесился.
— Боровкин в пролет бросился.
— Нельзя! нельзя! — кричали со всех сторон и изнутри, и с потолка, из самых стен.

Предложено было обсудить:

что делать?

И гудел один взрывчатый гуд:
— Нельзя — — что делать?

И в конце концов решено было известить студентов и с ними сговориться.

*

Второй день гудели Курсы.

Занятия прекратились. Кроме курсисток в аудиторию никого не пускали.

— Что делать? — другого вопроса не было.

Не пускали и комитетских дам: они дежурили на лестнице и отговаривали курсисток, запугивая Курсами:

«Курсы на волоске!»
«Курсы закроют!»
«Университет не закроют, Курсы закроют!»

И когда после споров и криков решили наконец отслужить панихиду в Казанском Соборе — «и чтобы как можно больше народу!» — и это совпадало с решением студентов, напуганные курсистки стали вносить свои предложения.

— Отслужить панихиду в Исакиевском —
— чтобы не так заметно.
— Нет, каждый пусть отслужит отдельно от себя —
— чтобы совсем тихо.

И опять всё перекувырнулось — бестолочь, смех и сердце.

— Глупости! — крикнула Оля, и так крепко: она действительно была, как красное платье («когда осержусь, стану, как платье!»), с ней не пошутишь.

Свистом и смехом запуганных прогнали.

Пробовала было возразить курсистка Орлова принципиально:

> что буржуазная демонстрация не достигнет цели и что надо, не распыляя сил, сконцентрировать энергию на более важной работе среди рабочих.

Но и Орлова поддалась перед горячностью Оли и уступила, а к ней присоединились и другие с.-д. Так и осталось:

> отслужить панихиду в Казанском,
> и чтобы как можно больше народу!

Профессоров тоже не пускали в аудиторию. И все-таки одному удалось: это был любимый, хотя и не раз освистанный, Воркунов. И допустили его потому, что одна из комитетских дам сказала, будто «он знает и может сообщить прямое и верное средство».

Шум на минуту улегся.

— Да, это факт ужасный, возмутительный, но не этим можно помочь... — горячо сказал Воркунов.

— Какое же средство хочет сообщить профессор? — громко спросила Зина.

— Молчи! Ты ничего не понимаешь! — крикнула ей с другого конца Оля.

Но Зина не пронялась и еще раз повторила вопрос.

И еще громче и повелительнее крикнула ей Оля:

— Молчи! Ты ничего не понимаешь!

И примолкшие вдруг хлынули голоса и гулом заглушили все слова:

> Воркунов так и ушел, пообещав в следующий раз сообщить прямое и верное средство.

Оля распоряжалась — за ней и перед ней живая взбудораженная стена. Зина едва пробралась.

— Оля, почему ты не дала мне говорить?

— Ах, какая ты глупая, разве можно было об этом спрашивать? Ты знаешь, про какое средство он говорил?

— Про какое? — виновато посмотрела Зина.

— Убить прокурора — вот верное средство.

— Убить прокурора! — повторила Зина.

И так же, как Зина, протиснулась к Оле какая-то незнакомая, невзрачная, заметная только своей красной кофточкой.

— Знаете, — сказала она, — лучше бы послать письмо матери Фирсовой.

— Да ее мать — прачка: кто ее послушает! — и Оля резко отстранила ее рукой.

Но та и еще раз — всё о письме.

И уж Оля просто отпихнула, ничего не ответив.

А когда стали расходиться и в аудитории остались только самые неугомонные, Оля вспомнила эту плюгавку в красной кофточке, и ей захотелось отыскать ее, объяснить и извиниться.

Красная кофточка мелькала по группам.

И Оля подошла —

ей жалко было заморенную, смотревшую еще замореннее в своем красном.

И, как только можно, ласково Оля принялась толковать ей, что письмо — бессильно, что мать Фирсовой по своему положению — прачка! — ничего не может, что ей и пикнуть не дадут.

— Да ведь она — мать, кому же ближе!— моргала незнакомая.

Но Оля уж рассказывала ей о действительно верном средстве, которое могло бы поправить что-то:

— Убить прокурора!

— Ильменева! — перебила надзирательница (эту надзирательницу на Курсах любили). — Ильменева! Подите сюда!

Оля и не шевельнулась — она продолжала рассказывать незнакомой обиженной ею курсистке о своем прямом и верном средстве:

и потому, что это так верно,

и потому еще — она хотела загладить свою вину перед ней.

— Ильменева, я вас очень прошу! — звала надзирательница.

— Да что вам надо? — недовольно отозвалась Оля и бросила незнакомую, пошла к надзирательнице.

— А вы знаете, с кем вы обнимались?

— — —

— Ведь это шпионка.

*

Канун прошел в сплошном крике.

Воркунов сказал-таки о своем прямом и верном средстве.

И каково было смущение Оли, когда средством оказался совсем не прокурор — «которого убить надо!» — а старая влиятельная фрейлина Лутохина, она же и комитетская дама, к которой советовал обратиться профессор.

Зина опоздала.

Зина вбежала в аудиторию, когда уж свистки выпроводили профессора с его верным средством, и лишь отдельные свистульки прорезывали голоса.

— Стачка среди баб! Стачка среди баб! — бегом кричала Зина и Оле, и всем.

И хотя стачка у Лаферма среди папиросниц не имела никакой связи, но весть о стачке подняла дух, и еще крепче скрутило и еще тверже поставило на своем:

завтра в двенадцать в Казанский!

*

Как прошел вечер и ночь!

Оля и Зина выбились из сил, ничего не ели и не могли заснуть.

А наутро к полдню студенты и курсистки стали собираться в Казанском соборе — входили не сразу: Оля пришла со студентом Оводовым, Зина с Фроловым, и все так.

И собор наполнился — тесно.

Сейчас будут просить отслужить панихиду: «новопреставленная Варвара». И, конечно, откажут, тогда —

Священник отказался служить панихиду.

И тогда — а это было сильнее окрика и крепче плети! — тогда враз тронулись с места, и уж не парами, а грозной стеной — к выходу. И на паперти громче весеннего стука зеленым шумом древний русальный клич —

вечная память.

И покатилось — на Невский, как в разлив широкая Нева волну катит —

вечная память — вечная память.

И тут произошло, что полагается — демонстрация в Казанском соборе не впервой и — разделенные казаками у выхода разбились на три группы, и каждая пошла своей дорогой.

Оля очутилась в группе самой громкой на Казанской.

И до самой Казанской части — в цепи жандармов — шла с венками под русальный гул —

вечная память.

Оля была счастлива.

*

На опустелых Курсах большой переполох: и то, что Курсы «висели на волоске», и то, что курсисток задержали в Казанской части.

Все комитетские дамы были «поставлены на ноги».

Директор поехал к градоначальнику.

— Моих-то отпустите! — просил директор.

— Ваши-то и кашу заварили.

Пришлось воспользоваться указанием «прямого и верного средства», предложенного курсисткам профессором, и с помощью старой влиятельной фрейлины Лутохиной дело уладилось.

Поздно ночью Олю и других курсисток выпустили из Казанской части.

Курсам сделан «строгий выговор».

И стали поговаривать, что «заваривших кашу» вышлют, — а они были все налицо.

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

— Что же нам делать, Зина? Нас могут выслать! Хорошо совершеннолетним: выбирай город или назначат какой, а нас ведь к родителям.

— Что же нам делать? — приуныла Зина.

— А давай сделаем, как Софья Ковалевская! — нашлась Оля. — Мы можем фиктивно выйти замуж.

— Да за кого?

Ломали голову и ничего не могли придумать.

— А вот что! — обрадовалась Зина. — У меня есть и еще брат — Алексей, студент в Казани, и у него, я слышала, большой приятель — Муратов. Давай сделаем так: я за Муратова, а ты — за Алексея.

Оля согласилась.

И, не откладывая, написали письмо в Казань:

«мы, две курсистки, принимали горячее участие в демонстрации и боимся, что нас вышлют. Для нас хуже всего, если вышлют к родителям — а именно к родителям нас и вышлют! Не можете ли вы с нами повенчаться фиктивным образом, если нас будут высылать. Ответьте поскорее, потому что, если вы не согласны, мы обратимся к другим».

*

На Курсах, как только объявили о возобновлении занятий, решено было в первый же день после лекций выразить одобрение трем профессорам, которых видели в Казанском соборе на демонстрации.

Курсистки выстроились от профессорской — в зале, по коридору, по лестнице — до раздевальни. И когда проходили профессора, одних пропускали молча, другим же, «стоющим», каждая, аплодируя, говорила: спасибо!

А Воркунова решено было освистать: и за то, что «головы дурил» своим верным средством, и еще за то, что сказал:

«демонстрация не поможет!» — и еще — «среди курсисток есть несколько террористок-революционерок, а остальные, как стадо баранов!»

Предлагали освистать в коридоре же, чтобы еще резче было после одобрения «стоющих», но «заварившие кашу» воспротивились:

Воркунов был любимый профессор!

Нет, пусть под конец его лекции войдут в аудиторию математички — это и будет сигналом.

Ожидание было ужасно.

И когда стали входить математички, Соня Ефимова не выдержала и упала в обморок.

— Вот результаты вашей демонстрации! — сказал Воркунов и вышел, как вошел.

Все были заняты Соней — хрупкая, тоненькая, позеленевшая, как стеклышко.

Так и пронесло — не свистали.

*

Начались экзамены.

Из Казани получилось письмо — ответ.

Писал Алексей, брат Зины, и его приятель Муратов, оба и подписались — «студенты второго курса медицинского факультета Казанского университета».

«Письмо ваше получили и видим, что вы девицы молодые и неопытные. И хотим вас предупредить: во-первых, по российским законам муж имеет право требовать к себе жену, когда угодно, и даже по этапу — хотя мы вас требовать не собираемся, но вы нас не знаете! — — во-вторых, по российским же законам, жена имеет право требовать от мужа третью часть имущества — мы просим вас, чтобы вы не требовали! Если эти два пункта обсудив, вы не измените вашего решения, то, когда вас будут высылать, дайте телеграмму, мы приедем и с вами повенчаемся».

Письмо успокоило — как гора с плеч:

больше бояться нечего — в случае чего...

Экзамены шли легко и весело — и всё кончилось успешно: Оля и Зина перешли на третий курс.

И никого не выслали.

Все сами разъехались — в гнезда к родителям:

Оля — в Ватагино,
Зина — в Казань.

Котенок

Ватагино встретило Олю поцелуями, теплыми слезами от радости и смертельною скукою. Старики старились — им-то не видно, а Оля всё замечает. Пересказываются старые рассказы с подробностями — их все до мелочей помнит Оля — и ничего не загадывается, ровно бы и мир вот-вот кончится.

«Да вот умерла и Авдотья Моисеевна — —»

И смерть пробудила память о голубом детстве — о «несознательных» днях по-Олиному по-теперешнему — Оля считает начало своей жизни с Петербурга! — а мяуканье Плика-кота напоминает, что ушла Авдотья Моисеевна, но не вся ушла на тот свет, а какой-то тихой своей желанностью осталась на земле в Ватагине и незаметно сторожит Олины нетерпеливые дни.

*

Авдотья Моисеевна с одной барбарисинкой выпивает чашку чаю.

Ирина, и Миша, и Оля, и Лена смотрят на нее с восхищением. Сами они едят варенья помногу. Больше всех Миша. В гостях Миша не ест, всегда отказывается:

«потому что ему нужна вся вазочка!»

А тут одна ягодка — на целую чашку.

И это всегда — всеми замечено — всякий раз, когда к Ильменевым приходит Авдотья Моисеевна.

*

Авдотья Моисеевна соседка. За Перовым садом в саду ее маленький дом. Очень бедная, одна — и много детей. Бессменно в сером, часто вздыхает. Рот у нее так устроен, будто в ямке — Оля говорит, что с ней целоваться очень неудобно: не достаешь до губ! И вся она худая, а глаза добрые-голубые. Детей называет ласкательно: Оля, Миша, Лена. Только старшую Ирину — Ириной Александровной: Ирина сверстница ее Вари.

Кроме барбарисинки, с которой Авдотья Моисеевна может выпить целую чашку — Оля это давно заметила, первая память о Авдотье Моисеевне совсем другая:

> приехала из Киева Ирина на первые каникулы — шляпа на ней была соломенная с вишенками; шляпка лежала в прихожей; Оле и Лене шляпка понравилась, и они из прихожей не вылезали — любовались, ну, а потом добрались до вишенок, все вишенки и оторвали; и когда хватились, было уж поздно: от вишенок ничего не осталось, и огорчилась не только Наталья Ивановна и, конечно, Ирина, но и Авдотья Моисеевна —

*

Лена любит котов, у нее их целый завод:

> окотится кошка, всех котят бережет, никому не отдаст.

Ропщут — от котов проходу нет: Плик, и Флик, и другой Плик, и другой Флик, Цап и Хап — пищат, цапаются, Бог знает что! Хорошо, когда летом Плик, любимый кот, спит после обе-

да в ямке под окном на солнышке и снится ему на загладку молоко, а другой Плик наестся молока и спит в саду, и во сне ему ничего не снится. А зимой да в погоду — не дом, а кошкин дом.

Авдотья Моисеевна просит у Лены котенка.

Лена ни за что —

Лена плачет.

Это было после обеда: Авдотья Моисеевна пила у Ильменевых послеобеденный чай с одной ягодкой вишневого варенья. Потом ушла. А вечером пришла Варя и, хоть теплынь на воле — Петровки! — закутанная, в большом платке. Посидела — о котятках ни слова — и ушла.

На другой день Лена не досчиталась котенка.

И в слезы:

рыжий, самый любимый!

Оля сказала:

«Наверно, Варя вчера под платком унесла: оттого и в платке приходила!»

Оля сама не любит котов — равнодушна; не ее коты — нет у нее к ним нежности. Но ей Лену жалко. И она хочет непременно дознаться, где котенок?!

О котенках только и разговору —

весь дом окотился!

«Не брала Варя котенка!» — успокаивает Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна послала прислугу к Варе. Христя вернулась — принесла ответ:

котенка не брала!

Поверили. Да и как же иначе? — А, может, всё это подстроено? И Христя никуда не ходила? А Варин ответ — да просто подучили! Нет, такой догадки тогда не могло быть. И осталось: Варя не брала.

«Но где же котенок?»

Лена плачет —

поплакала и забыла.

А Оля даже рада, что одним меньше —

но не забыла.

Варя по-прежнему бывала у Ильменевых, но никогда больше не видели на ней такого большого платка и о котятках она не заговаривала, как и Авдотья Моисеевна.

В конце лета Варю понесли лошади — она упала на грудь. И всегда-то была чахлая, а тут — слегла. Стали говорить: скоротечная чахотка. Потом нянька Фатевна сказала Оле, что Варя умерла и хоронят ее на старом кладбище.

«Мимо нашего дому не понесут».

Оле жалко Варю:

Варя была веселая и носила им груши — «вкусные!»

«Тужить нечего, — сама с собой разговаривала нянька Фатевна, — у Авдотьи Моисеевны детей много, с детьми трудно! ничего: одним меньше».

После похорон пришла Авдотья Моисеевна — она давно не была у Ильменевых — еще меньше стала она, губы еще дальше, глаза голубее. За «ягодкой», бережно отхлебывая чай, она рассказывала о Варе: как Варя болела, как из горла кровь лилась — и как перед смертью исповедалась и причастилась.

«Авдотья Моисеевна, — вдруг спросила Оля, — а Варя созналась перед смертью, что унесла у Лены котенка?»

«Перестань! глупости — — !» — строго сказала Наталья Ивановна.

А Авдотья Моисеевна сквозь слезы засмеялась.

*

С поступлением в гимназию для Оли открылся новый мир, отодвинул первые встречи дома, заслонил своими думами и делами раннее. Когда Оля приезжала на каникулы домой, по-прежнему Авдотья Моисеевна появлялась за чаем, но по привычке Оля ее не замечала, да и Авдотья Моисеевна была незаметна в своем сером, со своими вздохами и одной ягодкой.

Самый большой сад в Ватагине — Перовых: его не пройдешь и заблудишься. А Воронцов и сравнить нельзя, а славился грушами. К Перовым в сад ходили гулять, в Воронцов только по делу — к Авдотье Моисеевне.

Летние дни, в особенности когда зажужжат мухи, медленные, не знаешь, куда и деваться, а вечера зато на волю тянут.

Оля зашла в сад к Авдотье Моисеевне.

Дети ее, как и Оля, выросли, и не было их так много — всякий к своему прибрался, не в груде, как раньше.

Сидели на скамейке и ели груши.

А кругом груши с дерева падали — и такой особенный звук:

«упавшая груша самая вкусная!»

Авдотья Моисеевна подбирала — и Оле.

Сидели молча.

И только рыжий кот, свернувшийся калачиком у ног, — какой-то Плик — мурлыкал.

«Авдотья Моисеевна, расскажите мне про папу и маму, чего я не могу помнить?»

«Ну, вот однажды, — сказала Авдотья Моисеевна, — приехали ваши — папа и мама в Ватагино на несколько дней, жили они в Покидоше, и много гостей пригласили. А бабушка Анна Михайловна рассердилась, что ее не предупредили, «будто уж не она хозяйка!» — взяла заперла все комоды и уехала. Приезжают гости, мама ваша волнуется: нет ни салфеток, ни скатертей, ни ложек, ни вилок — всё заперто. Ложки и вилки я принесла, а скатертей и салфеток у меня на такие столы нет. Тогда папа, приглашая гостей к столу, говорит: «Кушать подано — и теперь мода: без салфеток и без скатертей!» Это сестра его младшая Надежда Павловна постоянно настраивала против мамы бабушку Анну Михайловну».

Авдотья Моисеевна рассказывает подробно:

и какая Наталья Ивановна была красивая,

и какой Александр Павлович был хороший и добрый,

и как у Надежды Павловны не было бровей.

И незаметно переходит к своему — от запертых комодов к запертой комнате —

как однажды к ней приехали офицеры,

просятся переночевать.

Авдотья Моисеевна пустила переночевать, накормила их и напоила, а для безопаски — неизвестные ведь! — на ночь их комнату на ключ и заперла.

«А наутро отперла. Ничего, поблагодарили и уехали. Лето было. Слышу что-то в комнатах: нехороший дух. Конечно, всё на кота свернули. Всегда кот виноват! Стали по углам шарить — ничего нет. А несет. Под вечер остатки от обеда решила я в печку поставить на ночь — самое холодное место печка летом! Открыла дверцу, а там, ну, — как то самое место: это те несчастные, запертые».

Оля очень смеялась:

и запертые комоды с салфетками,
и запертая комната —

Кот Плик проснулся.

И вот опять — Ватагино.

А Оля совсем большая — Оля петербургская — курсистка.

А дом — как тогда сгорбился, так и смотрит.

За послеобеденным чаем Авдотья Моисеевна — та же. И та же ее ягодка одна:

три чашки — три ягодки.

Оля с ней не разговаривала — не о чем. Так и ушла Авдотья Моисеевна.

С час прошло, уж давно со стола убрали, стали ладиться на вечер, вышла Оля: пройти по старым местам — на мельницу.

Идет она по улице — а на росстани за цвинтаром видит:

сидит на колоде Авдотья Моисеевна.

— Что это вы, Авдотья Моисеевна?

— Не мóгу сразу пройти столько! Вот — отдохну...

«Да ведь это так близко!» — но Оля не сказала, села рядом.

Авдотья Моисеевна говорила, останавливаясь, — задыхалась: она говорила о Оле, как ее из всех любила больше и всегда ждала чего-то хорошего! оборванные вишенки припомнила — Оля тогда была совсем маленькая. Потом о своем: что умерла соседка старуха Софья Петровна и другая соседка — дом к ее дому! — старуха Анна Ивановна.

— Смерть всё ближе ко мне ходит!

И вдруг засмеялась:

про котенка вспомнила — — как это Оля тогда спросила:

— «Созналась ли на исповеди Варя — — ?»

*

К вечеру вернулась Оля с мельницы. Дома ее встретила новость:

умерла Авдотья Моисеевна.

— Вскоре, — говорили, — как пришла домой от нас.

И вспоминали.

И «ягодку» помянули, и о галушках:

ни у кого таких не было вкусных галушек —

черные, облитые маслом, со сметаной и чесноком!

И как любимыми душистыми галушками Авдотья Моисеевна детей потихоньку кормила.

А про котенка и забыли.

— —

Оля никому не сказала, что видела Авдотью Моисеевну на колоде и сидела с нею. А то, что Оля бросила ее — не довела домой под руку, а ведь надо было предложить! — это Олю мучает.

Глаза у Авдотьи Моисеевны на колоде были совсем небесные, а рот так далеко — не видно:

тихая и незлобивая

— о ней никогда никто не говорил! — она — со всеми и как-то отдельно жила.

Что делать

Летом Оля подолгу не могла жить в Ватагине: скучно.

Оля уезжала из деревни в город и там гостила у Мавлютиных:

Нина Мавлютина, курсистка — подруга Оли.

Дом Мавлютиных славился в Покидоше: говорили как о гнезде либералов, а сама Елена Ивановна — голова либеральная или просто либералка.

Елена Ивановна, и вправду, детей ни в чем не стесняла. Одно исключение: запрещалось кататься на лодке. Странно: такие пустяки — лодка! — и всегда такой ужас, когда Елена Ивановна вдруг узнает, что катаются на лодке.

Конечно, и на такой запрет обход нашелся.

Поздно вечером, часов в десять, когда Елена Ивановна шла к себе спать, тихонько вылезали через окно — а там у ворот поджидают! и хоть всю ночь катайся. А под утро опять через окно тихонько.

А кроме лодки у Мавлютиных полная свобода — и дом Мавлютиных действительно «гнездо» — сбор молодежи со всего города.

*

Оля и Нина постоянно заняты: они «пропагандируют» —

развивают Катю, сестру Нины, гимназистку, которой только что минуло двенадцать, и ее подруг-гимназисток, не старше.

В ходу все финиковские «нельзя» и особая «революционная азбука».

Гимназистки, обожающие Олю и Нину, добросовестно повторяют все их слова.

Оля: «Кто лучше — с.-р. или с.-д.?

Катя: «Конечно, с.-р., разве можно сравнивать».

Нина: «Пойдет Россия по пути капитализма?»

Катя: «Нет».

Нина: «Почему?»

Катя: «Рынков нема».

И Катя, и все ее подруги убеждены, что «рынки» — это как покидошенский базар, где летом среди гор кавунов, харбузов, дынь и всякой цыбули не очень протиснешься, и очень хорошо пахнет травой, укропом и чесноком.

При доме большой сад.

В саду под липами собираются курсистки и студенты — всё это приезжие на каникулы домой. И ведут длинные умные разговоры.

Чаще всех: студент Бордонос — из семинаристов, груб и нескладный — «Колода», и только что окончивший, высланный из Петербурга Фрид — тонкий, вылощенный, по прозвищу «Бедненький», он женат, двое детей.

*

После обеда тихо и мирно пили чай на балконе.

В Покидоше варенье умеют варить не хуже ватагинского. А Оля, и Нина, и Катя — большие лакомки. И разговор про всякое варенье: кто что любит — с косточкой или без?

«На лодке давно что-то не катались!» — так уверилась Елена Ивановна и была в особенно тихом духе.

— Будьте осторожны, Оля и Нина, — точно что вспомнила Елена Ивановна, — постоянно ходит к вам Фрид: как бы его жена не сделала вам какой неприятности. Она такая жалкая, неинтересная: наверно, его ревнует.

Оля и Нина враз покраснели под — варенье.

А Катя — Катя смотрит на них с завистью: «вот они уж курсистки — взрослые, серьезные, участвовали в демонстрации, и к ним приходят студенты, и они имеют какие-то важные дела,

за которые их могут в тюрьму посадить и даже наверно посадят!» — Катя важно заметила:

— Как ты, мама, странно рассуждаешь: неужели ты думаешь, что можно влюбиться в Олю и Нину?

Елена Ивановна громко захохотала:

— Ну и Катя! — повторяла она, хохоча до слез.

А Оля и Нина очень довольны: Катя за них заступилась!

А еще больше довольны, что Катя усвоила все их «нельзя».

— Нет, серьезно, будьте осторожны! Особенно вы, Оля: Фрид всё с вами бывает.

А на пороге — легок на помине! — Фрид, и с ним Бордонос. А за ними — Надя Лопухова, Вера и Петя Курдюк (Курдюк влюблен в Надю) — самые всегдашние и неразлучные.

И, как всегда, начались умные разговоры.

А за разговорами незаметно песни.

Незаметно под песни кончился вечер — в черную летнюю ночь перешел, такой, Бог его знает, до конца на всё готовый, и загорелись звезды, как эти песни.

*

Незаметно под липами в саду очутилась Оля и с нею Фрид.

— Я вам хочу сказать, — начал он, — я люблю вас. Я жену свою оставлю. Я всегда хочу быть с вами.

— Нет, — остановила Оля, — я с.-р., вы с-.д. Мы вместе быть не можем.

— Что вы говорите! Я люблю вас, и так это неважно: с.-р. и с.-д.! Я оставлю жену. Я ей уже сказал об этом. Я оставлю ее потому, что встретил и узнал вас. Я не могу жить во лжи. Я жену свою не люблю. Я вас люблю. Подумайте об этом.

И Фрид сорвался — и канул.

Оля одна —

Под липами ночь еще черней, только взлизы луны по дорожке —

и жалко Фрида: «Бедненький!»
и радостно: «вот из-за нее человек жизнь меняет»,
и жутко: «ведь Анна Исааковна любит ее, всегда ей посылает с мужем конфеты, апельсины!»

И жалость, и чего-то приятно, и жуть вызвали отдельные мысли и не могли разрешиться одной общею мыслью.

Оля думала и никак не могла додумать.

И вдруг окликнули — кто это?

«Колода» —

— Вы тут сидите, а теперь три часа ночи. Я в сад перепрыгнул через забор. Я вам тайну открою. Только вы никому не скажете?

— Не-ет, никому.

— Я як черт втрискався в Нину Хригорьевну.

И также канул, как и Фрид.

А Оля скорей из саду в дом и прямо к Нине в ее комнату —

а Нина спит.

— Вставай, Нина! — тормошила Оля. — Пойдем на балкон: что я тебе расскажу.

Босая, в одной рубашке, Нина, еще не проснувшаяся, пошла за Олей.

Над балконом сторожила луна — покидошенская классная дама? Нет, финиковское «н е л ь з я». Тихо в саду. Теплая ночь. Теплые полные капли росы с деревьев.

Оля всё рассказала — и о Фриде, и про Колоду.

— «Я як черт втрискався в Нину Хригорьевну!» — повторила Оля Колодину тайну.

— А помнишь, как мама-то хохотала над Катей!

И Нина захохотала громко — до слез.

*

В Покидоше гостила Ильина.

Оля и Нина часто с ней виделись.

Как Оля и Нина — Катю и ее подруг, так Ильина — Олю и Нину:

они всё ей рассказывали, а Ильина, уча,
много внушений им делала.

Ильина полюбила Олю —

и за горячность,
и за готовность всё отдать.

Оля ничего не берегла и всё отдавала:

меженинская любимая бабушка Татьяна Алексеевна подарила ей деньги с надписью на конверте — «Олины деньги», а Оля сейчас же отдала их на «революционные дела».

Оля бралась за всякое рискованное дело и выполняла точно и конспиративно:

> «конспирация» — хитрая наука, хитрее всех «нельзя» и всякой «азбуки», и Оля ею проникласъ до конца.

Ильина за всё это и любила Олю.

Но Ильина хотела непременно, чтобы Оля вышла замуж за студента Оводова:

> «потому что он, любя Олю, страдает, и потому слабеет для революции, а если женится на Оле, будет сильнее».

— Выходи за него замуж! Он за тебя десять раз душу готов отдать.

Оля не согласна, но Ильина никаких доводов не принимала.

Всё в ней ключом кипело.

— Да, ты осторожней: Фрид влюбился в тебя. Это, с одной стороны, хорошо: он — с.-д., а из-за тебя, конечно, будет с.-р. А с другой стороны, ты его ослабляешь для революции: личные страдания.

А после объяснения под липами — Ильиной всё известно, от Ильиной ничего не скроешь.

— Я тебя предупреждала о Фриде, — кричала она, — теперь он со мной серьезно, откровенно говорил. Если ты сама не хочешь выходить за человека замуж, то и не разговаривай с ним много: ты от дела отвадишь неразделенной любовью. Ты должна быть осторожна с мужчинами. Не забывай: ты молодая, здоровая, красивая. А Фрида я не прощаю тебе!

Оля заплакала.

Оля пошла к Нине:

— Иди к Наталье Васильевне. Объясни, что я не виновата. Ты ведь всё знаешь.

И осталась ждать на балконе.

Долго ей показалось —

> промелькнул в саду «Колода», озирнулся, но, не увидев Нины, пропал в кустах и — застрекотал.

Луны не было. Просто ночь. Ночь — пой стозвонный в каждой травке, в каждой букашке, в стрекозе, в жуке, в «Колоде».

Наконец-то Нина вернулась — расстроенная, как и Оля:

> Ильина и ей всё выговорила про Олю — очень сердилась.

— А потом, — рассказывала Нина, — замечаю: Наталья Васильевна на меня сердится, меня ругает. «Наталья Васильевна, говорю, ведь Фрид в Олю влюбился, а не в меня!» «Это тебе на будущее время, — крикнула, — с тобой то же может быть!»

И обе всю ночь проплакали.

И наутро плачут —

не виноваты!

В слезах пошли к Ильиной — плачут:

— Наталья Васильевна, что нам делать?

— В наше время не плакали, а дело делали, — сказала Ильина. — Переплетному мастерству учитесь.

Идеал

Наталья Васильевна Ильина — Аграфена-ткачиха. Под таким именем вышла она «в народ» с мешком — прокламациями, объявлявшими народу «землю и волю». А когда ее арестовали и урядник читал вслух прокламацию, крестьяне крестились: «земля и воля!»

Ильина — «замечательная».

«Ильина, — говорили, — хоть и была замужем, но мужа бросила для революции».

Ильина — «идеал».

«Идеалом» конспиративно называли Ильину Оля и Нина, как «Бедненьким» — Фрида, а «Колодой» — Бордоноса.

Тридцати лет Ильина была арестована и с тридцати трех после тюрьмы жила в Сибири на каторге.

«Ты пишешь, — писали ей из дому на каторгу родители, — что тебе хорошо, а каково нам, ты не подумала: как мы страдаем!»

И это ей было очень тяжело. И много еще другого тяжелого, «каторжного» выпало ей — путь ее тягчайший! — но она не променяла бы своей этой жизни на другую:

— потому что так важно всё сознавать.

Похожее слышала Оля на лекции Лесгафта:

«Надо уметь думать, и тогда не повлекут ни Аркадии, ни Ливадии, ни вилла Родэ».

Только Лесгафт имел в виду — «знание», которое победит всякую бедовую «случайность» жизни и освободит человека,

а Ильина — «революцию», которая даст народу «землю и волю», а с землей и волей счастье.

Первое слово Ильиной:

— Что вы сделали для народа?

*

Народ — это бедующий мир от несправедливости и несчастий;

революция — освобождение этого мира от бед;
революционер — «погибающий» за освобождение мира.

— Революция — всё и выше всего.

*

Ильина рассказывала об одном старом революционере: редкая была любовь между мужем и женой, его приговорили к каторге, и жена хотела следовать за ним.

«Нет, — сказал он, — пусть один будет в неволе, а другой должен продолжать дело революции!»

Жена осталась. А он пошел в каторгу и там сошел с ума.

*

— Революция — выше всего:

для революции всё, сама любовь.

*

Ильина хотела, чтобы Оля вышла замуж за студента Оводова: потому что Оля мучила его и он пропадал для революции.

«Или пусть Оля держится подальше!»

Оля и Нина видели, что Ильина не разделяет финиковское «нельзя» о замужестве, но они не раз слышали от нее же: что семейные заботы мешают революции, что с детьми человек выходит из строя.

*

— Революция — всё, революция — выше семьи:

революционер, «всё сознающий», действует в жизни «до конца» — до своей гибели, и всё, что отвлекает его силы от дела революции, только помеха.

— Революция — долг.

*

Оля слышала, как Ильина говорила Арбузовой, вернувшейся из ссылки: Арбузова хотела ехать за границу и потом уж, «посмотрев, как там люди живут и что людьми сделано», идти на революционную работу.

«Кто из ста восьмидесяти миллионов русского населения, — говорила Ильина, — имел возможность, как ты: окончить гимназию в губернском городе, окончить курсы в столице, просидеть одиннадцать месяцев в тюрьме в прекрасном обществе, пробыть три года в ссылке в великолепном обществе. А ей всё мало!»

Ильина — странница: куда она приходила, ей все давали — и накормят, и белье, и она уходила, ничего не имея, только что на себе.

*

— Революционер — странник:

только странник, бродя по миру, ищет правды и чуда, а революционер идет в мир с чудесной правдой, возбуждая к борьбе за эту правду.

*

Ильина выносливости необыкновенной — «железная», а речь — слово ее — гору сдвинет.

В Покидош приехала украинская труппа. Оля и Нина взяли себе на галерку. Рассказали Ильиной. Ильина тоже захотела с ними. И полезла — места — стоячие. Толкают. Какой-то прет, локтями расталкивает.

«Что вы толкаетесь? Видите: я старуха, а со мной две барышни. Затолкать нас не велика хитрость!»

Ильина сказала это строго, внушительно, но нисколько не сердито, сказала-выговаривала.

И тот подобрался, и уж куда толкать, уступал место. И так до самого конца. А пьеса, как всегда, долгая, с разговорами-танцами-песнями. Ильина всю выстояла до конца.

В погоду, в ночь можно было встретить Ильину — и как ни в чем.

Из Ватагина до Хомутов на лошадях — Хомуты узловая станция. Как-то Оля собралась в Петербург, приезжает в эти

Хомуты и видит — сидит на станции Ильина: ждет поезда. Ильина позвала Олю с собой в Покидош. Дождались поезда, а ждать сутки! — и поехали. До Покидоша узкоколейка. В вагоне тесно, жестко. Всю ночь ехали. И ничего.

Раз только видела Оля Ильину нездоровой.

Ильина жаловалась, что у нее болят почки. Оля сама ничем не хворала и представить себе не могла, что это за болезнь такая: почки. А тут еще и мигрень.

Ильина лежала с закутанной головой.

Оля стала перед ней на колени.

«Наталья Васильевна, что я вам могу сделать, скажите?»

А та заплакала —

единственный раз видела Оля:
Ильина заплакала.

«Я тебя очень люблю, Оля, возьми от меня всё хорошее — —».

И это она сказала от самого сердца с болью — «всё хорошее» передать хотела: свою веру и завечное дело революции —

которая выше всего
и ради которой всё.

*

Ильина ходила просто — странницей.

Но и в таком незаметном всегда ее можно было отличить от всех.

Две знаменитые покидошенские сплетницы: Анна Ермолаевна — «Ермолаевский листок» и Анфуса Сергеевна — «Сергеевские ведомости»; одна — во дворе у тетки Марьи Петровны Вольской на самом видном месте, другая — на конце города за Семинарией; но и той и другой всё известно и видно, как с каланчи, и, конечно, не пропустили бы они так Ильину, приклей она себе хоть бороду.

Но Ильина была вне покидошенского житья-бытья, и то, чем жили или вынуждены были жить в Покидоше, ее никак не касалось:

ведь она для себя ничего не собирала и не домогалась никаких удобств жизни.

У Анны Ермолаевны в «Листке» снимала комнату знакомая Ильиной, и к ней Ильина ходила. И вот Леночка, двоюродная

сестра Оли, мало чего замечавшая, глядя с балкона совсем на другое, заметила Ильину.

«К нам, к Анне Ермолаевне, ходит старуха, — рассказывала она Оле, — я такой никогда на видала: простая деревенская, а так смотрит, таких не бывает!»

Тоже и Соломон Катцман, сын переплетчика, у которого Оля и Нина переплетному мастерству выучились. Пришел он вечером после работы — Нина учила его русской грамматике — и встретил Ильину. Нины не было, только Оля. Ильина шепнула Оле называть ее «тетей». Урок не состоялся, так пили чай. Ильина расспрашивала Катцмана. И сама рассказывала. А после Соломон сказал Оле:

«Ну, и тетя у вас — замечательная! Таких не видывал».

*

Человек отличается от человека — по уму: по способности разбираться (дурак тем и хорош, что всё невпопад!); но мало ума, надо и еще чего-то, а это что-то — вера:

а вера — огонь!
и этот огонь — светит.

И никак ты не скроешься, и тебя не обойдут.

*

Ильина для Оли — вся чистота революции, которая всё и выше всего.

Как-то Ильина сказала Оле:

— Всё мне в тебе нравится: ты хорошая. Одно только у тебя — и это может помешать — нездоровое начало есть: мистическое.

Такой экземпляр

В Покидоше возле Почты жили две курсистки: Лида Прянишникова и Ира Беляева — дом против дома.

С детства Лида и Ира всё вместе — неразлучны. И где появлялась Лида — за ней следовала Ира; и где видели Иру — непременно встречали и Лиду.

Странные они были: сверстницы Оле, а такое говорили, тоска всегда после...

Оля никогда бы с ними и не встречалась, но и Лида, и Ира, хотя никак не были «стоющими», т. е. революционно настроенными, но не были и похожи на тех курсисток, обыкновенно очень пугливых и житейски рассудительных, которых называли «барышнями»: в Петербурге жили они вместе, и когда уходили обе на целый день из дому, давали свою комнату для конспиративных свиданий. А делали они это не потому, что сочувствовали «революции», а просто по равнодушию ко всему, что совершалось и чем жили вокруг них.

Родители их состоятельные люди, и обе ни в чем не нуждались — нужда, этот первый кулак — бил, да мимо, — и никакого любопытства к жизни. Обе собирались кончить самоубийством; и когда кто из них уезжал, посылали друг другу телеграммы, чтобы знать, что еще живы.

Вера их была самая отчаянная и самая безнадежная:

людям ни в чем нельзя верить — ни одному человеку;

всё, что делают люди, всё только из корысти.

«Любовь — это физическое. А дружба всегда непостоянна».

«Ну как же вы можете так говорить? — возражала Оля. — Да вы же друг друга любите. Разве это не любовь?»

«Да — — но это привычка».

«Но ведь вы со мной так не дружите?»

«А это потому, что мы живем друг против друга. Это случайность. С детства еще: тетрадку, бывало, взять, карандаш, всё у Иры, а Ира у меня. Близко. Так и привыкли».

И так на всё — беспросветно.

*

Поздно вечером Оля возвращалась домой — к Нине. По дороге один-единственный огонек — в Покидоше рано ложатся! — и зашла к Прянишниковым ночевать.

Лиду и Иру застала она за книгой:

читали вслух Э. Т. А. Гофмана «Эликсир сатаны».

Оля больше всего любила Толстого — не один раз прочитала «Войну и мир»; а Пушкина — «Евгения Онегина» знала на память все восемь глав. Но ее тянуло и к Гофману:

таинственность и чудесность, на первый взгляд не вяжущаяся с «революцией», волновали ее, и чув-

ство было так же остро, только в самой тайне, как от «Дела 1-го марта», — переплетенного Олей в синий — сокровенный — цвет.

Лида и Ира читали всё, что ни попадалось. Попался Гофман, «Эликсир сатаны» — — И после Гофмана те же разговоры, от которых тоска.

— Внушить людям, чтобы они относились друг к другу участливо, невозможно. А если участливость где-нибудь и замечается, то не надо обманывать себя: всё из выгоды и корысти.

— Люди, которым до других есть дело, таких не бывает.

— Страдать за людей — это несчастье: ведь от этого никакой никому пользы, да и не стоит.

— Хорошие люди?! Да и есть ли такие «хорошие» люди? Много ли таких, которые никогда не обманывали и никогда не корыстничали? А если еще больше требования предъявлять — если искать людей, которые помогут другому ради этого другого, а не из-за своей прихоти и не для собственного успокоения? Таких нет.

— Всё зависит, чего от людей спрашивать! Среди воров просто плохенький воришка будет честным человеком, и среди самых отъявленных негодяев обыкновенная немудрящая душа покажется праведником. Всё зависит от того, чего ждешь и требуешь.

Оля рассказала им об Ильиной:

о ее вере — о ее бескорыстном самоотверженном деле.

Лида и Ира слушали с большим вниманием. Их особенно поразило, что столько лет Ильина живет такой жизнью.

— Но это исключение! Так долго — бескорыстно. Это большая редкость. Любопытно увидеть такой экземпляр!

*

— — — идет Оля по Николаевскому мосту — серый такой день, такое хмурое утро, таким безнадежным утром везли на казнь Перовскую, Желябова и Рысакова на Семеновский плац. На мосту часовня — «Каракозов стрелял». Оля перекрестилась —

Едут мимо возы с кладью, на возах дюжие ломовики трясутся. Один кудлатый зло что-то кричит, за

грохотом не разобрать, одно ясно: кричит-угрожает, что вот Оля перекрестилась. А другие молча сочувственно ему щерются, подмигивают.
И Оля перекрестилась еще раз и еще раз. И за каждый ее крест тот кричит, и всё кричал, грозя, пока не скрылся из глаз. А Оля крестилась. И крест ее был так крепок — пламя вылетало из-под крепко сжатых ее пальцев.
«Нет, никому не отдаст она креста своего — готовая умереть за свою веру!»

*

В коридоре на Курсах. Проходят курсистки. И все смотрят на Олю. «Какая, говорят, хорошая!» Оля поднялась на 2-ой этаж. На площадке тоже курсистки, только сидят все, ждут чего-то. Навстречу Оле незнакомая: брови сросшиеся, очень широкий нос, глаза, как камушки, сверкают. И идет она прямо на Олю. И когда она была совсем близко, кто-то невидимый ударил ее по голове, и так крепко — голова хрястнула, она схватилась и руками закрыла побелевшее лицо. И Оля точно так же руками закрыла себе лицо. И все, кто сидел на площадке, курсистки закрылись. А та незнакомая стала медленно падать — и никто не поддержал — упала лицом на землю.

*

Погасло электричество. Оля знает: в комнате кто-то есть. И тихонько пошла искать Зину. Зина спала. Оля дотронулась до ее лба — разбудила.
«Пойдем, Зина, тут кто-то...»
Но Зина не успела ответить.
«Эй, кто там, — крикнула Оля, — выходи!»
И на ее голос из тьмы выступила большая, вся в белом, очень похожа лицом на Веру Стрешневу. И Оля почувствовала, что «страшное», что было в комнате, это и есть эта женщина. Оля бросилась и, обхватив ее, пригнула к земле. И сама легла на нее и стала

трясти. Но сколько ни трясет, той ничего не делается. И видит Оля: Вера Стрешнева стоит тут же. «Вера, — обрадовалась Оля, — ложитесь вы на меня: я одна не справлюсь».
«Боюсь, Оля, я вас задушу!» — говорит Вера. А та вдруг подняла голову, да Олю за руку — два пальца так — —

Недобитый соловей

Оля получила записку от доктора Перепелки:
доктор посылал за ней лошадей,
просил ее сейчас же приехать —
«По важному делу».

Андрей Федорович Перепелка в Кочерах — от Ватагина близко.

Оля немедля собралась — «важное дело!» — и поехала. И всю дорогу думала: что бы такое могло случиться важное, может, арестовали в Покидоше Ильину или что с Ниной?

А приехала в Кочеры — вот уж негаданно! — встречает Варю Черкасову: Варя ждет Олю, плачет — просит ехать с нею в Лубенцы к Ксаверию Матвеевичу.

— С братом беда: убежал из Бобровки в Лубенцы (Лубенцы от Бобровки в сорока верстах.) Очень плохо.

Так вот в чем дело: никто, значит, не арестован! И это Олю успокоило. Но другое: Черкасов! — камнем легло.

— Сначала-то он был тихий, — рассказывала Варя, — потом стал заговариваться. Поминает какого-то Оводова, с.-д., и всё вас зовет, Оля. Вы единственный человек! Вы его успокоите. Вы спасете его.

Невозможно было отказать. Оля согласилась. И сейчас же поехали.

Ехали полем. На поле снопы лежат — хорошо улеглись! Солнце заходит — прохладно. Навстречу девчата с работы с граблями.

«Какие они счастливые,— думает Оля,— ничего-то у них нет такого! Идут с поля мирно!»

И ей казались все счастливыми, кроме ее доли.

В Лубенцы поспели в сумерки. Поджидавший Лампад предупредил не ехать прямо во двор.

— Остановитесь в саду у пруда. Черкасов буйный: всё бьет и ломает. И страшно свистит.

И Лампад вроде как посвистал — — но у него ничего не вышло.

Тихонько прошли в сад во флигель. Там Александрия Кенсориновна. Вышел и сам Ксаверий Матвеевич, и Асклипиодота. Говорили шепотом. К чаю приехал из Кочеров доктор Перепелка. И чай пили, всё шепотом.

Окна в доме открыты, и далеко слышен свист:

> свистел Черкасов — а свистел он, потому что он соловей: «Раньше пел у пруда, а теперь здесь поет: зовет Олю!» — так сам он объявил.

После чаю доктор прошел в дом посмотреть — и скоро вернулся.

— Зрачки —, — и так показал, — — ! Ничего не остается: завтра надо везти в город.

Тревожная прошла ночь под жуткий свист.

А наутро, когда Оля проснулась, Асклипиодота ей рассказала, что Черкасова увезли в город: повез Лампад.

— Пока еще сидел смирно, ничего, а потом пришлось связать.

Варя плакала — просила Олю ехать вместе и всё выяснить.

— Поезжайте, — уговаривала Олю Александрия Кенсориновна, — даст Бог и успокоится.

— Роман в лицах! — удивлялся Ксаверий Матвеевич. — Все девчата понимают.

*

И в Сумасшедшем доме Черкасов свистел — звал Олю. Но Олю к нему не пускали: боялись, что свидание еще больше расстроит.

Как-то в обеденный час Оля и Варя проходили по больничному саду и видят:

> внизу в окне за решеткой сидит Черкасов и ест котлету — очень страшным показался он Оле — в белой рубахе, желтый, заросший весь, а глаза такие —!

Он узнал Олю — и котлету ей через решетку:

— Олинька, на!

— — —

Оля скорее из саду и больше никогда не ходила: очень было страшно — и глаза — и как это он сказал — —

Оля обвиняла себя, что из-за нее всё так вышло, и не видела никакого способа поправить.

В Покидош из Бобровки приехала Елена Степановна. Федор Фалалеич, сопровождавший ее, предупредил Олю, что —

Елена Степановна проклинает ее за сына.

— Постарайтесь с ней не встречаться!

Федор Фалалеич был всё такой же: он с благоговением и восторгом смотрел на Олю, Федор Фалалеич искренне боялся неприятной встречи, хорошо понимая, что винить Олю напрасно — ни он, ни Варя ни в чем ее не обвиняют! — но что и мать жалко: сын так мучается.

А тут еще и Варя захворала: надорвалась.

Обыкновенно Оля ходила в больницу справляться всегда с Варей. Варя лежала. Пошла Оля одна.

И вот когда она отворяла калитку и, войдя, хотела закрыть за собой, калитка никак не закрывается — а оттого не закрывается, что сзади еще отворял кто-то.

Оля обернулась — перед ней Елена Степановна:

Елена Степановна тоже шла в больницу за справкой.

Оля поздоровалась.

Елена Степановна ей ответила — строго. И пошла по косткам —

а Оля так у калитки и осталась: ей идти неудобно!

Елена Степановна приостановилась и назад к Оле:

— Оля, — сказала она, — что мне передать от вас Владимиру?

Оля вдруг:

— Скажите — — я за него выйду замуж!

И заплакала —

она всё себе представила — осень — Курсы — лекции — разговоры — «революцию» — и увидела себя, как сидит она в Бобровке на балконе, и он с ней: желтый, заросший, и глаза такие — а в саду только ветер воет.

Елена Степановна, оставив Олю, подошла уж к больничной двери и вдруг повернула и шла по мосткам быстро назад.

— Нет, — услышала Оля, — так нельзя делать. Я ничего не передам. Если любишь и выйдешь замуж, и то трудно бывает, а без любви — —

И пошла.

Оля этого никогда не забудет.

*

Из больницы Черкасова отвезли в Бобровку.

А в Покидоше заработал «Ермолаевский листок» и «Сергеевские ведомости». Только и разговору, что о Оле и о Черкасове —

Олю обвиняли в бессердечии.

И каждый считал своим долгом и правом узнать от самой Оли, как она ко всему этому относится?

Нина, у которой жила Оля, подарила ей колечко с маленьким рубином: Нина хотела чем-нибудь развлечь Олю. Подцепили и это колечко:

уверяли — из самых верных источников! — что «свадьба на носу и вот доказательство: кольцо».

— Черкасов, — говорили, — перед отъездом в Бобровку подарил Оле кольцо с крупным бриллиантом, посередке изумруд!

Но главное: встреча Оли с матерью у калитки в больнице, о чем выражались, «что сговориться — так не встретишься!» — эта встреча не прошла незаметной —

случайно видела всё Анна Ермолаевна («Листок»), но, увы! слов она не слыхала, и что говорила мать? и что Оля? — так и осталось неизвестно.

Но Анфуса Сергеевна («Ведомости»), которая только видела собственными глазами, как Лампад вез связанного Черкасова в больницу, ссылаясь с чего-то на фельдшера Виталиса Виталисовича, настаивала —

что Елена Степановна отдавала Оле всю Бобровку, но что Оле показалось мало...

— И тогда Елена Степановна вернулась, подарила Оле кольцо с бриллиантами в изумрудах, и Оля заплакала.

Фельдшеру Виталису Виталисовичу не давали покою.

И, соблазнившись, — не всегда же ловко ссылаться на незнание: незнай, что дурак, прозовут, оправдывайся! — Виталис Виталисович дал некоторый «информационный материал» ни к селу ни к городу.

Но чем невероятнее, тем вернее и надежнее.

Пройдет не один год — еще долго будут вспоминать, судить и пересуживать по «Листку» и «Ведомостям», а при упоминании об Оле непременно справляться:

«Эта та самая Оля Ильменева, из-за которой Черкасов сошел с ума?»

И, конечно, обвинят — в чем только может обвинить человек человека — и в бессердечии, и в жесточайшей корысти. А если усумнишься и попробуешь возразить, заткнут тебе глотку последним непререкаемым говорят.

*

Ну, будет! больше не буду о покидошенском «говорят», суде прошедшем и канувших пересудах, — в наши дни, вы себе представьте, когда ученые сигнализируют на Марс, а в институте доктора Ришэ фотографируют духов, да, духов не фокуснических, а «страстных», «грешных», как живой человек, витающих совсем близко около нас в земной сфере, встревающихся в нашу жизнь так же «по долгу и праву», как и всякий, кому не лень, в жизнь соседа, а дикий свист джаз-банда (я всегда слышу свист ковылевых степей России) вихрем подхлестывает весь мир пуститься в размеренный крутящийся танец, и, чем теснее, тем четче, готовый разместить весь мир уже не на четырех шагах — предельной могильной мере, а на нашей калужской курячьей жердочке; когда в мировом городе (постаревшем, сгорбившемся за эти годы, мне иногда чудится, что под Парижем земля вскоробилась, выпирает и проваливается, и парижские камни под ногами мягче!) на самом высоком холме из холмов, на Монмартре — на Place Pigalle у увеселительных заведений, «кабаков», где вы увидите знакомых с Соболевки, стоецких, вышибал, а под крутящимися и звенящими огнями всех, какие только есть огни, угрюмые красные такси Renault с шоферами — неудачливых (а может, самых цепких) из бывших русских, пошедших на труд ночных, обслуживающих «благо-

родную валюту» господ мира (не знающих, что еще придумать и куда деваться), электрификация так ахова и звучна — ритм част, боек, перебоен — не ускакать и самому из самых однозначных и кратчайших «а,» и «ah» протянется слишком медленно и долго, как «ой-ля-ля» — в наши дни и Анна Ермолаевна («Листок») и Анфуса Сергеевна («Ведомости») живы, живут себе и процветают, как никогда еще, и каланча, около которой во дворе у тетки Марьи Петровны Вольской ютятся «Ведомости», стала куда выше Эйфелевой башни да и самых американских небоскребов с сильнейшим в мире радио на вышке, так что все эти кричащие гиганты, если заглянуть с каланчи вниз, покажутся не больше кузнечика; а Семинария, соседка «Листка», на окраине, отошла от центра — пожарной каланчи так далеко, как Лондон; да, здравствует и «Листок», и «Ведомости», и как же иначе, такое интересное время, столько событий — — но, неужто, как и тогда, в допотопное, в «дореволюционное» время, и вот теперь при всех самых неожиданных обстоятельствах и потрясающих переменах есть еще легковерные люди, которые слушают, одобряя и сочувствуя, и неужто ни война, повалившая уверенную гордую Европу, оправляющуюся с таким непомерным трудом, с таким отчаянным усилием пробующую встать на искалеченные обескровавленные ноги, ведь нищета лезет из всех углов и прорех, и элегантный француз только необычайным искусством, математическим мастерством — какой-нибудь яркий платок или разноцветный пошетт! — прикрывает лохмотья, а расчетливый немец старается не обращать внимания, что вместо душистого традиционного кофейного духу с утра по Берлину подымается дохлый пар эрзацев, и неужто ни эта война — ведь, кажется, и дураку ясно! — ни революция, ни беда беженцев, а беженцы засорили весь мир, беженцы всех стран и народов, ни труд покорно несущих строй жизни, а жизнь стала еще тяжелей (знаете, в Европе можно просто

пропасть у себя в комнате, и без всякой огласки и шума, и никто не схватится и никого не удивишь!), да и всё это — ничто из этой «мировой катастрофы», которая у всех на глазах, за эти годы, за эти столетия, прошедшие в годах, не перевернуло хоть столечко в мозгу человеков, чванящихся развитым своим мозгом перед безмозглой человекообразной обезьяной — и самое роковое событие и самый искреннейший поступок человека (никто не убережется!) залепят грязью!

*

Оля жила у Нины.

Помня завет Ильиной, Оля за три недели переплела много книг. За ней не уступала и Нина. Так в работе молчаливо прошли дни.

К именинам Натальи Ивановны Оля поехала домой в Ватагино.

В Хомутах она увидела из вагона поджидавшего ее Мишу, и еще с ним кто-то в шляпе с широкими полями, сразу не разобрать. Но когда поезд остановился, Оля испугалась:

с Мишей стоял Черкасов.

*

Черкасов появился в Ватагине неожиданно — он прибежал из Бобровки тайком:

его караулило четверо сторожей, ночью, представившись спящим и выждав минуту, когда сторожа заснули, он ушел.

Появление Черкасова в Ватагине перевернуло всю жизнь.

С утра начинал он свою, только ему понятную, работу: он переставлял мебель. И всякий день по-новому всё переставлялось, а то и на дню по несколько раз. И за несколько дней переломал все стулья.

Вид у него был зверский: глаза налились кровью, зрачки вкось.

А ни уговорить, ни остановить не было никакой возможности. Он ругательски ругал всех, кроме Оли, да смягчался еще к Лене:

Наталью Ивановну он невзлюбил за то, что она говорила — «Оля — ее»;
Мишу — за то, что «плохой хозяин»;
Ирину — «потому что лицо нехорошее».

Обедал он отдельно. Оля или Лена, чаще Лена, приносили ему обед, другим не позволял. Напряжение в доме дошло до крайностей, и как-то Лена не выдержала и, выйдя из его комнаты, грохнула поднос с тарелками и расплакалась.

Но беспокойнее всех было Оле. Он следил за ней и ни на шаг не отпускал. И когда Оля все-таки уходила, просил Лену узнать: где?

— Оля спит, — говорит Лена.

Он схватывался в величайшей тревоге:

— Идите, сторожите: а то ее во сне могут убить.

Ни о каких именинах нечего было и думать. Приехала в Ватагино двоюродная сестра Натальи Ивановны, с детьми, но и дня не пробыла — девочку ничего, а мальчика Черкасов сразу возненавидел, «потому что хлыщ», и стал придираться, ну та и уехала в Меженинку к любимой бабушке Татьяне Алексеевне.

Бабушка очень была недовольна —

«и что это, писала она, сумасшедший в доме!»

А в Бобровке хватились и, хоть ясно, куда мог убежать Черкасов: или в Лубенцы, или в Ватагино, больше некуда, — все-таки дали знать в полицию.

В Ватагино приехал становой.

Оля как раз проходила по двору, и с ней Черкасов с топором.

— Будьте осторожны, — предупреждал становой, — ведь это сумасшедший человек!

А Черкасов сам из осторожности не расставался с топором: топор на случай —

ведь Олю могли убить всякую минуту и во сне, и наяву!

Черкасов вдруг потребовал, чтобы его везли в Кочеры к доктору:

рука болит!

Оля и Миша поехали с ним. Но в Кочерах он о руке ни разу не вспомнил. А к вечеру стал проситься в Ватагино.

На обратном пути сначала всё было мирно, но вдруг он велел остановить лошадей, вылез, пошел пешком —

и пропал.

Ждали — ждали — нету: не возвращается!

И только слышно, свистит —

жалобно.

Вылез Миша, пошел искать —

а он залез в болото и там свистит — всхлипывает.

Стал его Миша уговаривать — куда! и слышать не хочет. Пошла Оля.

— Владимир Михайлович, пойдемте! А он из болота:

— Здесь нет Владимира Михайловича — здесь есть недобитый соловей!

*

Из Бобровки приехал Федор Фалалеич. Черкасов согласился ехать домой, но только по железной дороге. А всякий раз, когда надо было выезжать к поезду, на него нападал его всегдашний азартный упор: он необыкновенно медленно укладывался, и, хотя у него ничего не было (прибежал он в Ватагино в чем был!), он изобретал самые долгие, самые дальние сборы — подолгу перетряхивал одеяло, тщательно складывал, уложив в Мишин чемодан, вдруг вынимал — —

«можно ли, спрашивал он, взять ему одеяло с собой?»

то же и с полотенцем, и с платками. И не было никакой надежды вовремя поспеть к поезду.

Решено было ехать всем вместе на лошадях:

поедет и Оля и Миша.

Черкасов остался очень доволен и вовремя был готов.

Ехали на двух бричках —

Федор Фалалеич с Мишей впереди, за ними — Оля и Черкасов.

Когда ехали полями — ничего, а когда въехали в лес — Черкасов забеспокоился: ему стало казаться, что Олю кто-то хочет украсть, и потому надо хорошенько смотреть по дороге. Он поминутно выскакивал, заходил вперед, глядел — и, убедившись, что никого нет, опять садился, чтобы через несколько минут повторить то же.

Потом ему показалось, что одна из лошадей враждебна к Оле — и выпряг лошадь: и уж ехали на паре —

а Федор Фалалеич с Мишей на четверке.

А потом заподозрил и другую лошадь — и ее выпряг: и потащились на одной —

а те на четверке, сзади пятая.

И когда, кажется, некого было подозревать: и впереди — никого и лошадь одна! — он заподозрил Федора Фалалеича, будто бы Федор Фалалеич в уговоре с лошадьми и теми неизвестными, кто хочет украсть Олю, и что Федора Фалалеича надо убить.

Вот тебе и раз! — На Федора Фалалеича напала медвежья болезнь: не удержаться!

А Черкасов давно и забыл — Черкасов опять поминутно вылезал: потому что тяжело было ехать. Вставал и кучер, вставала и Оля —

ведь одна лошадь!

И Федор Фалалеич поминутно вылезал:

— Господи, хоть бы домой поскорей!

Поездка не из веселых.

Ехали, ехали — конца нет! — и только совсем ночью добрались до Бобровки.

В Бобровке пошло то же, что в Ватагине.

Черкасов переставлял мебель и всех ругал — и Федора Фалалеича, и Нелиду Максимовну, и Пахомыча, и Терентия, и повара Лаврентия Мокеича, и садовника Григория, всякого, кто подвернется, но больше всех доставалось матери.

Единственная — Оля.

Жарко, а он станет у колодца — головой под солнце.

— Оля, — просит Елена Степановна, — скажите ему, чтобы надел шляпу.

Оля скажет — он послушает.

Или начнет полы мыть по-своему: ведро воды на пол — целое море.

— Оля, скажите, чтобы перестал.

Оля скажет — он перестанет.

Сад в Бобровке сдавали — Черкасов тихонько брал деньги у арендаторов. А потом сядет на крыльцо, вынет деньги — разрывает — и под крыльцо.

И одна только Оля остановит.

Доктор Перепелка советовал отвезти его в Петербург в лечебницу. И само собой, ехать в Петербург с Олей, иначе не уговоришь.

За обедом Оля сказала:

— Я сегодня еду в Петербург.

— И я тоже! — обрадовался Черкасов.

— Ну и мне надо, — сказал Перепелка, — так вместе и поедем.

И до Петербурга дорога была не легкая. Черкасов выходил на площадку, садился к буферам: спустит ноги и свистит. Всё просил, чтобы и Оля с ним села. Страшно было в дороге.

Недалеко от Петербурга он снял с себя часы и подал Оле:

— Возьмите, — сказал он, — храните от меня на память: от сумасшедшего друга.

В Петербурге был предупрежден двоюродный брат Черкасова, он и встретил на вокзале и повез к себе на Сергиевскую. А после чаю поехали будто кататься, а на самом деле на Таврическую — в лечебницу.

А там ждали — всё было приготовлено.

Доктор попросил Олю отворить дверь в комнату. Оля отворила —

Черкасов, уверенный, что пойдет с ним и Оля, вошел —

И дверь за ним захлопнулась.

*

Оле попался извозчик — белая лошадь.

— На Колтовскую!

И поехала.

А как сворачивать с Кирочной на Литейный, извозчик обернулся, и Оля заметила: извозчик без носа. И стало ей душно, как во сне: всё перекосилось, неровно, плывуче — дома, мостовая, прохожие — один звук — один шум — и только безносый и белая лошадь.

И вдруг лошадь вцепилась со встречной взбесившейся лошадью — и загрызлись.

Это было одно мгновенье — всё покачнулось — еще... и Оля очутилась бы на мостовой — — да соскочивший с извозчика офицер шашкой ударил лошадь, и лошадь упала.

Как из сна, как бы из воды, уж захлебываясь... как от пропасти — вот сорвется! — встала Оля, заплатила извозчику и пошла пешком.

Оля едва отыскала Котельниковых: на Колтовской в самом последнем дворе квартира без номера.

Людмила Николаевна была дома, очень обрадовалась и сразу же по лицу почувствовала, что с Олей произошло что-то.

Не расспрашивая, она стала перед ней на колени, обнимала ее, заплакала.

Все слова — да слов таких нет! — и вот вместо слова — заплакала.

Тепло и свет окутали душу — и Оля как очнулась.

Бедные люди

Котельников — бельмо у жандармов.

И в университете его арестовывали, и вот кончил, служил у присяжного поверенного, а нет-нет да и потянут. Высылать его не высылали, «дела» Котельникова не было: его арестовывали всегда при ком-нибудь — в последний раз «по делу Сергея Рашевского».

Всё тюремное ему известно как никому. И он умел устраиваться в тюрьме, как дома. Вышел он из крайней бедности и с детства узнал дома такую нужду, при которой тюрьма кажется «уютным уголком».

«Я и не вырос, очень плохо жили!» — объяснял он свой маленький рост.

Частое сиденье в тюрьме дало ему возможность «подумать». И много чего, что за суетой — а всякая деятельность суетлива! — ускользает, тут он по косточкам перебрал и обдумал. Служи он только у присяжного поверенного (а много любопытного узнал он из разных «дел»!), ему некогда было бы, а вот тюрьма освобождала его. Много он в тюрьме читал, а не разрешали книг — думал.

И никогда ему не было «скучно». При всех обстоятельствах, во всяком положении он находил себе «полезную работу». В этом он был похож на Ильину. Но Ильина старого закала — вулкан, а он выдержанный, и от молчания (в тюрьме не поговоришь) слова его совсем не огненные, а тихие, напоенные: когда слушаешь, понимаешь, что не зря это, не с бухта-барахта, а по

каким-то раздумным желобкам идут его слова. И вот почему с горечью говорил он о человеческом «легкодушии» и «легкосердечии» — в самом в нем «поверхностности» и звания не было.

Больше известен был Котельников не по фамилии, а как Федор Иванович. Федором Ивановичем называли его и Оля и Зина.

Так с разговору — с виду какой же он был революционер! Ничего ведь такого резкого, какого-нибудь «сильнодействующего средства» он не указывал и не возглавлял никакого кружка, и ни в чем его нельзя было уличить — при обысках у него никогда ничего не находили. Но жандармы не такие дураки: он действительно был «бельмом», и неисправимым.

Сидя постоянно в тюрьме, он свое додумал, и твердо.

Сама жизнь его была «неисправимым бельмом», самая его жизнь никогда не могла успокоить его. И в своей жизни он соединял многих — очень многих, которые только не могли высказаться — не умели выразить своего самого бедового.

*

«Нет, я не говорю, чтобы бедность, и с нею беда были бы тем желаемым, чего пожелаю всякому —

«нет, как раз наоборот, наша жизнь есть то, чего и врагу не пожелал бы —

«нет! — ведь и все революции к тому, чтобы такую жизнь «предать забвению» и сделать людей не то чтобы богатыми (это только по наивности или по пылкости так ляпнет другой!), а сделать жизнь достаточною. Ведь средства-то жизни — от труда! И всякий трудящийся имеет же право на такую достаточную жизнь, которой вот мы лишены! —

«Я знаю, при материальных недостатках, с постоянной нуждой, мелочные заботы засоряют дух. Да, дух! — вот то самое, без чего человек и на человека-то не похож. Затеняют дух житейскими мелочами. И уж как бы ты поступил — да, конечно, по-другому! — если бы был сыт и жил бы в тепле и с «удобствами», а не как свинья или крыса в норе, не бегал бы за добычей, не повторял бы одних и тех же просьб, не дожидался бы в прихожей или в приемной, всё равно — для нас, известно, всегда «подожди!», — не молчал бы на глупости, которые предшествуют разговору о твоем деле, не тащился бы больной и в погоду

к черту на рога, потому что тебе туда назначено и не прийти ты не можешь, а, пожалуй, и не приходи, очень-то ждать не будут и без тебя обойдутся, тебе же делают одолжение — всегда «одолжение»! Недаром же в античной трагедии действующие лица «цари», т. е. люди, освобожденные от материальных забот, — взят «дух» в чистоте без примеси какого-нибудь студня или картошки с солеными огурцами, дан человек, который имеет возможность думать, и не только о дровах, которых нет и надо добыть, и что вот вы пришли, а и сесть-то не на чем, а завтра Людмиле Николаевне надо на урок идти наниматься, а ей и выйти-то не в чем, да и Наташе надо — ведь ей надо! — она не понимает, мы-то как-нибудь обойдемся —

«Да, я знаю, много отрицательных сторон «бедности», с которой об руку нужда ходит, — и врагу не пожелаю! —

«Да, в нужде и раздражение — сама жизнь колет! — как же тут быть ровным? Да и сердце надорвано — тихих слов не скажешь. И где больше крику?!— конечно, в нужде, да и не только крику! —

«Да, это хорошо, завидно всему миру улыбаться — видел я такие рожи на фотографиях, рожи с золотыми зубами! А ты вот попробуй поживи-ка без номера на третьем дворе на Колтовской и без дров, когда не то что золотой зуб вставить, а запломбировать и рад бы, да даром-то ведь не станут, а скуло вот-вот разнесет, ты попробуй-ка улыбнуться не миру, а вот хоть — —

«И мещанство, т. е. мелочная расчетливость. Оно у нас-то мещанством не называется! Ведь «мещанство» — это когда человек с карманом начнет в мелочах рассчитывать да копейку обшаривать и — — осуждать тебя, если ты взял да на последние и купил, вот эти калачи купил и чай пьешь. А ведь ты не имеешь права чай пить —

«Пошел я недавно в театр на Шаляпина, надо же хоть раз послушать, и все деньги истратил на билет. В коридоре сталкиваюсь с моим патроном — удивлен и потрясен: «Каким образом вы попали?!» «Таким же, говорю, как и вы». Понимаете, как же это я, — а он хорошо знает, в каком я положении! — и вдруг на Шаляпине! Да ведь я же не имею права слушать Шаляпина, как и чай пить с калачами —

«Да, мещанство — это мелочная расчетливость, ей Богу, другой раз из-за сломанной спички, из-за сметенного окурка такое

подымешь, точно у тебя, я уж и не знаю, что отняли! И, конечно, нарушение самых простых требований общежития: ложь, обман, воровство — все эти «грехи» бедняков —

«Ну, скажите, пожалуйста, ну, как же и не соврать? Ведь я же могу говорить правду только тому, кто поймет меня со всей этой моей жизнью, а поймет только свой человек, сам живущий, как я. А скажи я по правде человеку, который только представляется понимающим, там — — «всё понимают»! — да он всё в расчет возьмет: ну вот мы и чай пьем, и калачи есть и — самый из ужасов — ветчина, ветчины я купил, сейчас принесу, вот память-то! «Как! у вас ветчина: так дорого!» Ему-то самому можно, хоть и дорого! Или: «Вы занимаете такую квартиру, так дорого!» Но ведь сам-то имеет куда лучшую квартиру и платить действительно дорого — ему можно, а тебе: крысиную нору, так что ли? и тогда он успокоится или — — ну, как же я с таким буду говорить по правде? —

«Тоже насчет и украсть. Ну, и украдет — у соседа нельзя, а у того, кто подальше. Впрочем, расстояние вещь относительная, и не в том дело, у кого украсть — —

«Я думаю, что качества т. н. «хороших людей» только и возможны и само собой появляются только при достатке человека, когда человек становится на человека похож. И такой может быть «честным» — держать слово! — и «милосердным»! Ну, а как тут чего уделишь, когда у самих нет, из ничего — ничего и будет! И как тут не обмануть, когда такая всегда недохватка —

«Люди же сытые, избалованные жизнью (ну, разве не баловство: родиться богатым!), люди, имеющие возможность быть «хорошими», требуют от нас, от бедноты такого, что им совсем легко — «раз плюнуть», и тычут «нравственными понятиями» —

«Да, все революции сводятся к тому, чтобы сделать людей похожими на человека, — дать человеку какой-то достаток жизни, при котором он будет иметь возможность исполнять заповеди «общежития». И это первое и самое главное, и без этого ничего невозможно — никакие политические (ничего не ровняющие!) равенства и никакие (от ничего не освобождающие!) свободы. Но пока такой революции не произошло — а к ней, только к ней и устремлены сознательно или бессознательно все помыслы людей, обреченных на трудную жизнь! — пока всё на своем месте «по уложенью» и по «предначертанной судьбе»

и люди делятся на бедных и богатых, есть какая-то «нравственность» бедных и есть богатых, и общего между ними ничего нет —

«Я всегда буду обращен сердцем к бедным, к которым принадлежу. Я знаю все отрицательные стороны бедности, которой не пожелаю и врагу, но скажу так — я только среди бедноты видел при всей нашей отвратительной злой нужде такие качества духа, какие нигде не видал, или какие и бывают — всё бывает! — но только у избранных там — там, где нас никогда не поймут —

«Если богатый бросит обглоданную кость или завалящий кусок хлеба, который для меня-то будет «насущным хлебом», а кость «наваристой мозговой костью», — для него это плевое дело, а если бедный это сделает, «поделится» — то это уж от самого тела оторванный кусок и кость от живых костей, от «состава»; и сделает это по «сочувствию», богатый же — чтобы не «приставали»; и бедный забудет, что поделился, а богатый всю жизнь будет помнить, и, если по той же нужде ты вздумаешь и еще раз обратиться к нему, он тебе напомнит. Впрочем, есть всякие очень хорошие и чистые способы, чтобы не только во второй раз, но и вообще не обращаться. Я как-то получил письмо от одного товарища из ссылки, просит прислать денег, а что мне послать? — вот я и думаю, и придумать ничего не могу! А мой патрон и говорит: «Да не отвечайте на письмо!» «Как, говорю, не отвечать?» «Да будто ничего не получили, я всегда так делаю». Это, оказывается, один из способов и очень распространенный — —

Рассказывал он случай из «истории революции» — вычитал в каком-то историческом сборнике в тюрьме. Обыкновенно о революциях рассказывают или «ужасы», или легенды о героических подвигах, а в этом случае ни ужаса, ни легенды, просто живая жизнь. В каком-то мексиканском городе взяли верх революционеры, а жил там молодой богатый граф мексиканский, и, конечно, этого графа первым должны были уничтожить революционеры. И вот, простой человек из мексиканских же рабочих, бывший каторжник, стоявший во главе революционеров, пожалел этого молодого графа и, когда пришел день суда, спрятал его и потом много приложил усилий не дать в руки своим же «обреченного»

«классового» врага. Но, как везде, ничто не вечно, и нет ничего постоянного, и всякие власти человеческие кончаются, так и тут случилось, пришли другие мексиканцы, сторонники графа: революционеров посшибали, а главного бандита, каторжника-то, первого наметили к истреблению. И вот этот самый граф мексиканский в самую критическую минуту и укрыл его у себя. А когда первая вспышка прошла и чувство мести и «справедливой народной кары» улеглось, граф тихонько выпроводил его из города — и уж в другом городе его прикончили. Но это не важно: на то и шел! А граф, видя — не дурак был! — что и эта власть, дружественная, как и всякая, непрочна, перекочевал на верблюдах к какому-то Навуходоносору, который в ту пору травы еще не ел, и было в его царстве пока что тихо и смирно. И там, у Навуходоносора, рассказывая среди друзей и прихлебывателей историю своего чудесного спасения, и как он сам изверга укрыл и тем спас жизнь, совершенно откровенно заявлял: «Я укрывал его, потому что не хотел, чтобы у него осталось, будто он мне одолжение сделал, и я ему обязан!»

«Так вот, значит, спас этот граф изверга только потому, чтобы в долгу не оставаться. А ведь изверг-то, каторжник-то спас его без всякого расчета, просто пожалел. Нет, даже и спасти-то человека они так не могут и никогда не поймут, что спасать другого можно из-за самого прекрасного чувства «спасти» —

«Да, все революции исходят из первого и самого главного: сделать людей похожими на человека, — а это возможно только при достаточных средствах к жизни. Но пока всё остается неизменно и помириться нельзя. И невозможно. И это не то что увлекся и разочаровался, нет, — это сама суть нашей тягчайшей жизни, ее зов! —

«Всё это я грубо говорю. Я и о другом думал — знаю и извивы, и изломы человеческой жизни. Знаю, всё гораздо сложнее и запутаннее. Но вы поймете: о самой сердцевине нашей беды иначе и нельзя сказать —

«И скажу еще: до тех пор не замирится земля, пока не будет достигнута возможность вести человеческую жизнь — быть

действительно человеком: не терять ни к чему не нужное терпение, не унижаться, не принимать молча оскорбления. В духе человека скрыты великие возможности, а уродливая несправедливая жизнь вот столечко дает ему простора развернуться, всё остальное убивается на мыканье и терпенье.

«Да, пока жив человек, будут на земле революции. И только мертвые, окончательно забытые жизнью, не пошевельнутся, да подчинившиеся своей доле — норе крысиной — останутся равнодушными.

«Пока жив человек — пока он хочет перемены в своей жизни (в общей жизни, с которой его жизнь связана!), будут революции. А революции всегда ужасны. Действующие — не машины, а люди со страстями и грехами. А кроме того, орудием и средством революции всегда будут люди наиболее грубые, нечувствительные, отчаянные и озлобленные. Вдохновители же, наиболее из них человечные, на черную работу не пойдут, да если бы в порыве и захотели, не годятся. Вот вы, например — —

*

Жизнь Котельниковых была бедовая и чудесная.

Только чудом они были на свете. И особенно когда Федора Ивановича в тюрьму сажали и Людмила Николаевна оставалась одна с Наташей.

Людмила Николаевна брала белье стирать, — этим и жили.

Оля часто заходила к ним. Доставала им денег, нянчилась с Наташей.

В Людмиле Николаевне много было материнской нежности. Федору Ивановичу многое можно было поверить: конспиративную науку, и со всей точностью, он прошел до конца.

И всегда у них в их беднющей квартире, где вместо стульев стояли просто пни, было столько душевного тепла, совести и света.

*

А это потом —
Через год —
Не на Колтовской в квартире без номера, а в тюрьме — в Предварилке на Шпалерной.
В тюрьме Оля горячо вспомнит и Людмилу Николаевну, и Федора Ивановича, и Наташу.

Чаще всех передача — от Котельниковых.
И если нечего — совсем, стало быть, денег нет — то так что-нибудь незначительное: кусочек пирога от Филиппова. Иногда же (чудесным образом!) жареная курица: и всегда курица без крыла. Оля понимает: крыло — Наташе; и еще понимает до слез, что для себя-то они никогда такого не сделают — целая курица!
На Троицу Людмила Николаевна принесла в тюрьму березки, перед Рождеством — кутью. А на самое Рождество Оля получила карточку: Наташа. А на обороте письмо:
«Дорогая тетя Оля, я так давно не вижу тебя, не слышу твоих песен. Мне скучно, так скучно, что хоть и сильный мороз, а я иду к тебе, чтобы встретить с тобой праздники. Мы вместе будем петь Коляду, я уж умею петь и бегать тоже. Крепко целую тебя, дорогая тетя Оля. Твоя Наталка».

У́же

После лета первая встреча на Курсах с Зиной:
— Ты страшно переменилась, Оля.
— Как?
— А теперь никто не скажет: «Оля — девчонка!»
На собрании в Кружке Маня Сажина:
— Надо быть у́же: только одним и интересоваться, а всё остальное оставить.
Оля, подумав:
— Да, надо быть у́же.
Оля ходила на Курсы, слушала лекции, но когда пропускала, не схватывалась. Некогда было. Всё время — на революцию. («Надо быть у́же»).
Не было свободной минуты для себя. С утра начиналась беготня, езда на извозчиках по делам. И не просто надо было ходить, а осматриваться, чтобы увернуться от шпионов. И разговоры.

Если и разрешено, подумайте, сколько тратится сил и времени на всякие организационные собрания, а когда еще надо прятаться, тут часов не считают;

и при этом много всяких побочных дел обстановочных, которые требуют большой изобретательности, точности и памяти; да и без дурака нигде не обходится, стало быть, путаница непременно, которую всегда надо распутывать.

Особенно горячка была осенью.

Затеяли типографию. Оля ездила в Харьков, привезла шрифт. Надо было печатать прокламации.

К этому же времени «Бракоразводный комитет», за недостижением целей, преобразовался в «Струю единения»: эта «Струя» должна была объединить курсисток-бестужевок с курсистками других высших учебных заведений — с педагогичками и медичками, заправилы же оставались все старые знакомые —

Оля, Лида Алексеева, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

«Струя единения», «Кружок декабристок» и конспиративные дела — так всё время, ни минуты.

*

В начале зимы стали поговаривать, что «дело» Сергея Рашевского подходит к концу — сидел он два года! И действительно, были признаки: его перевели из Петропавловской крепости в Предварилку на Шпалерную.

На свидание ходила Зина и Федор Иванович.

Было условлено: когда узнают о приговоре — сколько лет ссылки, столько бы яблоков и принесли для передачи.

Разными путями и ходами добились — узнали:

Зина понесла в тюрьму для передачи восемь яблок —

восемь лет ссылки в Восточную Сибирь!

Начались хлопоты через двоюродного брата Черкасова, который занимал большое место, чтобы не по этапу ехать Рашевскому, а на свой счет с сопровождающим. И когда получилось разрешение, выяснился точно и день отъезда.

Зина и Оля приехали на Николаевский вокзал — Рашевского привезли: с ним был «сопровождающий» и Федор Иванович. Решено было ехать всем вместе до Бологого.

После двухлетней тюрьмы Рашевского всё удивляло: глаза, привыкшие к стенам, а слух — к тишине, живо действовали на разнообразие окружающего. Он точно открывал новое:

— И лес растет!

— И дети кричат!

«Сопровождающий» не мешал разговору: он залег на верхнюю полку и никак не отзывался — может, за столько лет вытянулся: шпионская-то должность, не посидишь на месте, не развалишься?!

Вышли на площадку.

На площадке можно было обо всем говорить.

Вспоминали — вспомнился и день ареста, третий день Пасхи, и как Оля попала в засаду на Захарьевской.

— Утром меня разбудила Зина: у нее был обыск. Просит пройти на Захарьевскую и узнать, как у вас. Я поехала на Захарьевскую. Там у ворот увидала много городовых и в штатском. Я вошла во двор и, не обращая внимания, прямо к тому подъезду, где, я знала, вы живете. Мне из окон стали махать. А я ничего не понимаю: тоже платком помахала. Возле подъезда жандармы — я мимо них по лестнице. Догнал меня жандарм и в штатском, д. б. сыщик. «Какую квартиру вам надо?» «Рашевского», говорю. А тот так вежливо: «Пожалуйте!» И в комнату с городовым меня запер. Городовой сначала молчал, потом разговорился: рассказал, что в ночь много арестов было — «больше ста рублей на кареты истрачено!» Я просидела до шести часов вечера. Вошел какой-то штатский и стал меня спрашивать: кто я и зачем пришла? Я сказала, что пришла просить к экзамену книгу: Логику. Штатский ушел. Еще просидела сколько — с час. И меня повезли на Гороховую в Охранное.

— А ведь я видел, как вы входили: меня еще тогда не отвезли.

— На Гороховой жандармский полковник сказал, — продолжала Оля, — что обвиняюсь «в близких сношениях с политическим преступником Рашевским, и не в каких-нибудь личных, а по общему делу». И так как я «очень молода и, очевидно, не боюсь жандармов», он меня отпускает. Этот полковник ужасно мне был отвратителен. И я до сих пор с неприятностью вспоминаю, как он разговаривал со мной.

— Это Струнский, — сказал Рашевский, — негодяй!

В Бологом Рашевский стал просить проводить его до Москвы — и так незаметно доехали до Москвы.

Не на вокзале же ждать поезда — пошли ходить по улицам. В первый раз Оля увидела Москву! Добрались до Тверского бульвара.

— Памятник Пушкину!

Но тут «сопровождающий» запротестовал: по городу ходить не полагается. И опять на вокзал.

— Проводите меня еще немножко!

— Я поеду, — сказала Оля.

— И я с тобой поеду.

Федор Иванович простился: он должен в Петербург. А Зина и Оля поехали с Рашевским. И до Серпухова — не заметили, в Серпухове вышли.

Поднялась метель — летел снег, ух, как в ладошки хлопал — и! как! весело.

Рашевский был в большой шубе, и от шубы он казался еще больше. Прощаясь, он двумя руками с шубой взял Олину руку.

— Я готов сделать какое угодно сартомортале, чтобы только опять увидеть вас.

А снег так и засыпал, захлопал — и! весело!

— —

— Я прекрасно знаю, что Сергею и не надо было, чтобы я его провожала, — говорила Зина, — но куда же ты одна денешься в Москве!

В Москве Зина повела Олю ночевать к знакомым. А наутро поехали в Петербург.

— Сергей убежит, я знаю! — сказала Оля.

— Трудно, — Зина не верила.

— Ну, такой найдется! Не будет же он корпеть восемь лет без дела.

Беспорядки

Всего два дня не были на Курсах, а Курсов нельзя узнать: сразу же почувствовалась «атмосфера беспорядков».

Лекций нет — в чем дело?

Варя Финикова, особенно возбужденная, бегала из аудитории в аудиторию.

— Да в чем дело?

— Курсистку — я не знаю фамилии — поцеловал профессор Дадыкин, когда она пришла к нему за книжкой — и Финикова зазвенела, — так этого нельзя оставить?!

— Нельзя! — подхватили. — Нельзя?!

Профессор Дадыкин — у него большая библиотека — давал курсисткам читать книжки; розовенький, пухленький, с необыкновенно мягким голосом и очень вежливый до стеснительности и робости, и уж куда там поцеловать, да он просто как-нибудь посмотреть не решился бы, всегда с книгой и в книге, и сам вроде сафьянового корешка книжного.

— Нельзя! нельзя! — звенело и задорно, и колко.

Тут Оля увидела, что и Лида Алексеева, и Маня Сажина, и Нина Мавлютина не менее возбуждены, и это передалось и ей, и Зине.

А в математической аудитории собирались и почему-то не шли, а бежали, и с бежавшими бежал и крик и звяк взволнованных голосов:

— Это неправда.

— Надо его освистать.

— Дадыкин поцеловал.

— Так этого оставить нельзя.

— Нельзя! нельзя!

— Позвольте, — выступила Женя Шубина, — только что получено известие: профессор Дадыкин сошел с ума и его поступок не зависит от акта сознания.

— Ну, и что ж, поцеловал? Неизвестно, как было: может, совсем с другими целями.

— Не может быть.

— Неизвестно, как это было: сама курсистка могла подать повод.

И тут-то вот вылезла, стала на стол маленькая, кругленькая, носик шишечкой — курсистка Мизюкина.

— Нет, — сказала она, — это всё неверно, других целей не было, и повода я никакого не давала. Это было со мной.

И она начала рассказывать, как ее поцеловал Дадыкин.

Оле было неловко слушать — —

— — потом вышел он на площадку, — отчетливо выговаривала Мизюкина, — и сказал мне, что он ко мне придет.

— Так этого оставить нельзя! — крикнула Варя Финикова.

— Нельзя, нельзя! — подхватили со всех концов.

И когда, сорвав сердце, выкрикнулись и понемногу стали расходиться, медленно вошла в аудиторию Анна Ивановна Синицына.

— Четыре года на Курсах, — сказала она, — каких только беспорядков не было и из-за студентов, и из-за нагаек, но чтобы из-за поцелуя, такого не бывало.

*

На другой день с утра поднялось вчерашнее — опять стали собираться в аудиторию, опять крик, опять нет лекций.

И, как всегда в таких случаях, комитетские дамы забегали по коридору и зашуршало из всех углов:

— Курсы на волоске!

— Курсы закроют!

А курсистки кричали:

— Так этого оставить нельзя! — выразить протест!

Какая-то «нестоющая» курсистка — «барышня», начиненная курсовыми дамами, особенно горячо возражала: голос ее раздавался и в аудитории, и в коридоре.

— Это личное дело, — говорила она, — Мизюкина и должна выразить протест. И никакого общественного значения не имеет.

— Не трепайте фамилию! — крикнула ей Оля.

Окрик Оли произвел некоторое впечатление, и на время барышня замолчала. И осталось единодушное: «выразить протест».

По обыкновению на Курсах появился любимый профессор Воркунов, но в аудиторию он не пошел.

— Удивляюсь, — говорил он в коридоре, — ведь надо видеть Мизюкину: как еще ее городовой не поцеловал!

*

И на третий день было не меньше крику, чем в первый.

Опять выступила «барышня», доказывая, что этот поцелуй общественного значения никакого не имеет и что Мизюкина должна сама выразить протест.

— Не трепайте фамилию! — по-Олиному, только тоненько крикнула Соня Ефимова.

— А зачем же вы, как выражается Ильменева, трепаете имя Дадыкина!

Но тут вступилась Варя Финикова: она дошла до последнего ожесточения и уж сама с собой повторяла —

«так этого оставить нельзя!»

— Выразить протест!» — откликнулась аудитория.

И вынесли постановление:

1) на курсовой вечер Дадыкину почетный билет не посылать;

2) при первом удобном случае освистать;

3) все книги, какие взяли у него, вернуть.

И написали коллективное письмо:

«считаем оскорбительным для себя брать книги и возвращаем».

И все подписались: Варя Финикова, Оля, Зина, Лида Алексеева, Маня Сажина, Нина Мавлютина — и те, кто никогда никаких книг не брал у Дадыкина, просто из протеста».

Вот какой вышел лист!

Федор Иванович только смеялся над всей этой историей с поцелуем.

— Это не в первый раз, — говорил он, — это, когда я был на втором курсе, Дадыкин тоже курсистку поцеловал, и тоже были беспорядки!

Под стук

Шпалерная: камера на 4-м этаже № 23.

Дверь захлопнулась — и Оля осталась одна.

Первое: стук — стучат со всех сторон —

Оля сняла ботинок и каблуком стала колотить в стену.

— — — — — — — — — — — — — — —

В коридоре поднялся шум, вбежала надзирательница:

— У нас стучать не позволяется! Пойдете в карцер!

Оля надела ботинок и стала прислушиваться:

стучали со всех сторон — стук глухой, а сверху ясно:

— Кто?

— — —

«Конечно, надо стучать чем-нибудь легким!» — поняла Оля, вынула шпильку и шпилькой постучала обыкновенной азбукой медленно:

— И-л-ь-м-е-н-е-в-а.

И стуком ей ответили:

— Разделите азбуку на шесть частей — в каждой части по пяти букв.

И уж по-новому выстукала Оля и совсем просто:

— Кто?

И просто разобрала ответ.

— Игнатьева. Сегодня большие аресты.

Так Оля и научилась и стала стучать-разговаривать азбукой, которой перестукиваются.

И пошла ее тюремная жизнь — дни и ночи под стук.

> Оля была арестована совсем неожиданно — впрочем, ожиданно ничего не «случается»! После Шевченковского вечера, на котором была и Зина, Оля вернулась домой поздно. А дома: жандармы — уж обыск сделали. Так прошла ночь. Утром повезли на Шпалерную в Предварилку. Везли на извозчике два жандарма. Весна — март — солнце. Встречаясь, незнакомые студенты махали шапками и провожали особенным взглядом: всякому было понятно, что арестованную везли в тюрьму.

Через несколько дней стучит Игнатьева:

— Вам кланяется Рашевская.

— Она здесь?

— Да. От меня через камеру.

Игнатьева перечислила всех — все были здесь:

> Лида Алексеева, Маня Сажина, Нина Мавлютина, Варя Финикова.

Оле хотелось поговорить с Зиной, но как это сделать: на другой этаж через камеру в угол — далеко.

Соседка Лаптева:

— Вы можете стучать по водопроводной трубе, когда тихо. Надо в углу стучать. Через камеру слышно. Можно разговаривать со всей тюрьмой.

Оля пробовала, и сначала было трудно — очень стучали! — но и эту премудрость одолела.

И стала перестукиваться с Зиной.

*

Первое время Оля разговаривала с соседками:

наверху — с Игнатьевой, слева — с Лаптевой (справа сидела Федорова, не любила разговаривать: работала — вязала), внизу через камеру — со Степановой, но главное — с Лелей Корн — прямо под камерой.

И со всеми подружилась, а с Лелей особенно.

— — весна — пароходы на Неве стучат — на воле веселое время — —

Каждый вечер Степанова выстукивает Оле:

— Крепко целую и горячо обнимаю.

— И вас! — отстукивает Оля.

А когда Степанова захворала и ей разрешили вино, она стучала:

— Пю за ваше здорове.

(В азбуке, которой перестукиваются, нет ни ъ, ни ь).

Все соседки — с.-д., а из с.-р. близко — Маня Сажина и Лида Алексеева.

Маня Сажина всё болела — мало разговаривала; и недолго ее держали — выпустили. Но уж воля не для нее — так и померла.

Лида Алексеева тоже хворала — ее в лазарет перевели. В лазарете окна большие, Оля ее в окне увидала. И стали они переговариваться палочкой: Оля махала палочкой буквы — и Лида ей отвечала так же.

— — весна — пароходы на Неве стучат — на воле веселое время — —

О весне, о Неве, о пароходах, о воле — Оля и разговаривала с Лаптевой.

И вдруг стук быстрый:

— Меня освобождают!

Оля всего раз ее за месяц видела — издали, а привыкла, как год годовала вместе!

уж потом Оля ее увидела — на ту весну, когда также пароходы на Неве свистели, когда Олю выпустят.

*

Вся весна, лето — до осени прошли под стук Лели Корн.

Из всей тюрьмы лучше всех стучат: отчетливо, мягко и быстро —

Оля и Леля.

— Попросите у дамы ножницы и делайте дырку в полу около трубы: там есть щелка! — постучала Леля.

(«Дамами» называли курсистки тюремных надзирательниц, на манер курсовых дам).

Ножницы Оле выдали, и весь день она трудилась.

А вечером после поверки стучит Леля:

— Лягте на пол.

Оля легла — —

и вдруг слышит настоящий человеческий голос:

— Вы меня слышите!?

А Оля только смеется от радости:

настоящий человеческий голос!

— Да, да, слышу.

— Давайте разговаривать!

И с тех пор всякий вечер после поверки Оля с подушкой укладывалась на пол (Леля научила: «на пол головой не ложитесь, пол асфальтовый, можно простудиться, а подложите подушку!»),

а Леля становилась на стол, на книги.

И разговор был самый близкий, только что друг друга не видят.

Леля рассказала всю свою жизнь — она тоже из-под Киева, отец ее немец, принял русское подданство, и она русская. И Оля ей рассказала о себе и самое сокровенное свое — о своей вере.

— Давайте я вас буду называть Олей, а вы меня Лелей. И как в брудершафте: обнимем — — трубу.

Оля согласилась: Оля поднялась с пола и обняла трубу (радиатор) —

Леля спрыгнула со стола и тоже обняла радиатор.

И теперь всякий вечер после поверки стучит Леля:

— Я иду к тебе!

И вспрыгивает на стол на книги —

а Оля с подушкой укладывается к радиатору.

— Давай, Оля, передавать друг другу из передачи. И книжками меняться.

— А как?

— Разорви простыню, сделай веревку, привяжи и спускай в окно.

Оля разорвала простыню, скрутила веревку, привязала конфет и — в окно —

Леля веревку поймала, конфеты отвязала, а привязала яблоко —

Оля потянула — и яблоко очутилось у нее в руках.

Так и передавали.

И что принесут Оле, она отделит — и вечером на веревке Леле —

И Леля тоже бережет к вечеру свое для Оли.

— Есть у тебя, Оля, Леонид Андреев?

— Есть.

— Дай мне. И напиши: «отречемся от старого мира» — все слова.

Оля написала Марсельезу, вложила в книгу, дождалась вечера, отворила форточку и стала спускать на веревке книгу — — и тут что-то произошло: не то книга тяжелая (в переплете!), не то рука дрогнула —

веревка выскользнула —

тррах!

Оля с окна — бац.

Леля на пол — цаб.

Да скорее на кровать, улеглись — и словно спят давным-давно.

А всю ночь не спали:

известно — такая книга находится у Оли, и Олин почерк — записка «отречемся от старого мира».

Часовой ли попался хороший — всё обошлось: и о книге никто не хватился.

Леля выдумщица — для развлечения затеяла представлять музыку: стучать вразпо-разному — стучала Оля, стучала Степанова, стучала Леля и совсем слабая, больная, переведенная

из лазарета, Лида Алексеева; ее попросила Оля, и она, хоть и трудно было, Оле не могла отказать.

Лида: раз —
Оля: раз-раз —
Леля: раз-раз-раз —
Степанова: восемь раз — раз —

И такая музыка гремит до тех пор, пока надзирательницы с ума не посойдут — и сразу всё обрывалось.

Или скуки ради Леля с Олей представляют, будто новых привезли арестованных —

обыкновенно, когда привозили новых, слышно было, как хлопали двери, все настораживались и начинали стучать по стенам.

Хлопать дверью ни Оля, ни Леля не могут, но вызывать стук — можно:

они нарочно стучали неумело обыкновенной азбукой и часто зачеркивали (резкий стук поперек), что означало «не понимаю».

И все, конечно, думали, что привезли новых, верили — и тюрьма оживала.

Всякий вечер Оля разговаривает с Лелей —

они слышат настоящий человеческий голос!

— Почему бы, Оля, не разговаривать нам, сидя на стульях!

— А ты можешь себе представить, Леля, выйти на прогулку без дамы?

— Ты согласилась бы, Оля, повенчаться: после венчанья три часа можно сидеть вдвоем, такое правило.

— Только-то три часа — — !

— А ты знаешь, — вдруг обрадовалась Леля, — форточку в двери на день не запирают. Пойдешь на прогулку мимо, толкни.

И на следующий день после прогулки, проходя мимо Лелиной камеры, Оля, к ужасу надзирательницы, крепко толкнула форточку —

Форточка раскрылась — и Олину руку резко пожали тоненькие пальцы.

А это такое счастье: пожать живую человеческую руку в одиночной тюрьме!

Оля ходила по двору на прогулке и видит:

кошка погналась за воробьем и задушила его.

Оля подняла воробья — нигде ведь, только в неволе так жива жизнь, и всё погубленное близко, как свое! — вырыла ямку, закопала воробья и цветы положила —

каждый раз, когда Оля гуляла, Зина ей бросала цветы.

Оля, конечно, рассказала Леле о воробье, как погиб, и о могилке воробьиной.

Лелю это очень растрогало, и она написала стихи: у Лели душа такая, и вот просится, а слов-то нет и ничего не выходит.

Оля ей Кузмина прочитала:

Воробушек, птичка малая,
О чем щебечешь в плену?
Тоска небывалая
Приводит всё песню одну.

И каждый вечер Оля ей стихи читала — Оля знает на память много.

А Леля ей рассказывала сказки — русских она не знает — Гримма, Гауфа.

А это такое счастье: в неволе слово — стихи и сказки!

И только раз поссорились из-за какой-то мелочи самой мелкой.

И днем Оля ей не стучала, Оля перестукивалась с соседкой Лели — Струковой.

Струкова стучала топорно — —

И вдруг ворвался легкий, мастерской стук Лели:

— Тише, начальство!

А когда в тюрьме всё стало по-обыкновенному, Леля:

— Я иду к тебе!

Так и помирились.

На Олю напало: как ночь, не спит, а утром до одиннадцати в кровати.

Леля:

— Я придумала: ты обвяжи себе ухо ниткой и протяни нитку в окно, я в шесть за нитку дерну, ты и проснешься. А на следующую ночь заснешь крепко.

Но Оля не согласна: очень мудрено.

И опять Леля — еще выдумала:

— Давай мыть пол: от этого сон хороший.

— Я не хочу мыть, — сказала Оля.

— Ну, я еще что-нибудь придумаю.

— — —

Тюремные надзирательницы делились на «дам хороших», как Екатерина Ивановна: такие предупреждали разговаривать тише — не стучать, когда появлялось в тюрьме начальство; и никогда ни о чем не предупреждавших, напротив, это «дамы гадкие», «ведьмы».

И однажды гадкая ведьма застала Олю и Лелю за разговором.

Что только было: крик и гроза —

«донесу»!

А хорошая ведьма после и говорит:

— Вы хоть бы поосторожней были, когда дежурит Марья Петровна. Мне тоже попало: опоздала я на дежурство, и всего-то на одну минуту — так она на меня, будто я виновата, и что вы разговариваете.

Леля и по этому случаю стихи написала:

о злой ведьме, которая стережет арестантов.

Только у Лели вышло, что нет злых ведьм, есть одни добрые, а злыми они становятся:

потому что, если исполнять устав при таком нарушении всегдашнем — эти стуки-разговоры! — то и самый добрый человек озлится.

Как-то сейчас же после поверки Леля неспокойно простучала:

— Я иду к тебе.

Еще рановато, но Оля взяла подушку и к радиатору.

— Оля, меня завтра выпустят.

— Откуда ты знаешь?

— Мне сказала Екатерина Ивановна.

(Екатерина Ивановна — «добрая ведьма».)

И всю-то ночь проговорили.

— Оля, будешь ли ты вспоминать меня — мой голос из могилы? Ведь я под тобой, как в могиле!

— Буду, Леля, всегда.

— И я никогда не забуду твой «с неба». Мне, Оля, страшно хочется жить. Я люблю всю жизнь. Всякую травку. Я и дождик люблю, Оля.

— Вот на воле ты завтра будешь —

— Я знаю... Но мне чего-то горько. В лесу я смотрю на корни, на листья — осенью особенно, когда в лесу тихо. Осенью особенно. И так бы всё всосала в себя... Зажмуришься и не шевельнешься. И чего-то горько.

— Это ты тут в тюрьме, а как выйдешь —

— Нет, Оля, это что-то другое.

— А какая ты, Леля, расскажи!

— Завтра увидишь.

— А почему у тебя такие худые руки?

Леля не сразу ответила.

— Такие уж — — А ты сильная, Оля, я знаю. По голосу, по шагам. А какие у тебя глаза?

— Меня, когда я была гимназисткой, называли «совой».

— Да, да, я вижу... Я тебя, Оля, никогда не забуду.

Леля приготовилась к завтрашней воле. Оля дала ей всякие поручения: и куда пройти и что сказать. А прошел день — не выпускают. И неделя — Леля сидит. Месяц кончается —

Когда Лелю повели на прогулку, она, улучив минуту, спросила «хорошую даму» Екатерину Ивановну:

— Почему вы сказали, что меня выпустят?

— Да возле вашей камеры ножницы упали!

— — —

И еще прошел месяц. Начался сентябрь.

Лелю выпустили внезапно — крепкий стук к Оле в неурочный час днем:

— Я иду к тебе.

Оля взяла подушку и к радиатору.

— Меня выпускают.

— Леля! до свидания!

— До свидания! — и Леля спрыгнула...

А Оля стала на стол к окну: с четвертого этажа ей виден тюремный двор —

подъехал извозчик,
вынесли вещи,
вышла Леля —

Так вот она какая! Оле показалось:

— — тоненькая, мордочка остренькая, лисичка!

И она стала ей махать.

А Леля — тоненькие руки свои так крестом и к Оле от самого сердца, точно хотела всё сердце отдать маленькое Оле —

Оля никогда не забудет.

В первый раз она ее увидела и больше не увидит: вскоре после тюрьмы Леля померла от туберкулеза.

Извозчик скрылся.

Один пустой тюремный двор.

Оля осталась одна.

— —

Воробушек, птичка малая,
О чем щебечешь в плену?
Тоска небывалая
Приводит всё песню одну.

Оля очень горевала, так горевала, точно кто помер близкий. Безумная была тоска. И никак не могла успокоиться.

Поздно вечером всё ей кажется, кто-то кашляет в камере — в «могиле», где сидела Леля,

— Леля?

А в ответ ей только смотрят пустые, непреклонные стены.

— — —

Обыкновенно время в тюрьме шло быстро: от понедельника до понедельника — не заметишь. В понедельник моет пол «уголовная», переводят в пустую камеру, и оттуда можно стучать, этим стуком и начинается неделя.

А теперь от понедельника до понедельника дни бес-конечные!

*

В «могилу» на место Лели посадили Смолину: ее уж во второй раз сажали, теперь по приговору на два месяца.

Смолина научила Олю передавать записки в переплете.

И еще посоветовала:

что хорошо в тюрьме изучать какой-нибудь иностранный язык.

А когда подошел срок ее тюрьмы, Оля дала ей поручение к Федору Ивановичу.

Ф. И. Котельников тоже был арестован по «делу» Оли, и, как всегда, его подержали несколько месяцев и выпустили. У него ничего не нашли, как и у Оли ничего не нашли, и улик не было, а против Оли были показания Хвостова, в которых он много чего напутал.

Чтобы поверил Федор Иванович, Оля дала Смолиной такой признак:

пусть она напомнит, как Оля ночевала у них, когда жили они в Лесном, в той комнате, где солнце с пяти светит.

— А когда выпускают, — спросила Оля, — что же бывает?

— Везут в карете в Жандармское, там подписать надо бумагу об освобождении, и на извозчике с вещами домой. И кажется, все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, и дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости.

Смолину выпустили.

И вскоре Оля получила от нее бутылку супу, а в супе — записка. А от Федора Ивановича учебники: французский и немецкий.

*

За одинокие месяцы без Лели Оля много передумала.

Оля вспомнила Соню Ефимову и приняла ее —

ее слова, как она сказала, что «ей мила Оля как человек, и не важно, с.-р. или с.-д.».

Соне Ефимовой она тогда и письмо написала, просила не сердиться.

— Да, важно, чтобы в человеке был человек. Ведь все, кто ей помогали, были с.-д.:

и Игнатьева, которая научила ее азбуке,
и Степанова — «крепко целую и горячо обнимаю»,
и Лаптева, с которой Оля первое время перестукивалась,
и Смолина,
и Леля —

Единственная Белкина, она сидела вместо Лаптевой —

ей на свидании сказали, что ее выпустят на днях, и об этом она постучала Оле.

— Можете передать на волю зашифрованное письмо? — спросила Оля.

— Если там не будет с.-р.-ского содержания.

— Лежачего не бьют, — резко простучала Оля, — у нас тут не такой порядок: все друг другу помогают, не рассуждая, кто с.-р. и кто с.-д.

— Нет, дайте, я передам! — спохватилась Белкина.

— Ни-когда.

Да, в тюрьме не было различия: с.-р. и с.-д. Никогда никто не отказывал друг другу.

Больше всех помогала Лаптева:

она сидела два года, каждую неделю у нее было два свидания; кому угодно она помогала, все ей стучали, безразлично — какие шифры, всё, что хочешь.

Оля не помирилась с «материализмом», но с человеком — —

*

В начале зимы приехала из Ватагина Ирина: ей дали свидание с Олей в Жандармском.

«Дело» Оли вел тот самый полковник Струнский, о котором у Оли осталась неприятная память — разговор его тогда по поводу ее ареста, и как он отпустил ее, потому что «она очень молода и не боится жандармов». Тогда Оле было шестнадцать лет, а теперь девятнадцать. Тогда Оля даже не знала, «чего надо знать», а теперь она знает.

После свидания с Ириной полковник Олю допрашивал и, как всегда, без толку.

— Я думал, — сказал полковник, — на вас хоть свидание с сестрой подействует!

И еще раз дали свидание с Ириной, но уж в Предварилке.

И полчаса — срок свидания — показались Оле за минуту.

Всё земляное — черная ватагинская земля, сад — густой, заросший, с грушами, с вишнями, с яблонями, с барбарисными кустами, всё кровное, крепкое, как эта теплая черная земля, ощутилось так близко, так захватывающе — до боли.

От Натальи Ивановны долго скрывали. И лето прошло, а Оли всё не было. Выдумали, будто Оля к кому-то на урок поехала. Олины письма из тюрьмы, что желтым перечеркнуты — цензурованные жандармами, не передавали. И только те, где жандармы забывали перекрестить желтым, показывали. Но скрыть уж нельзя было.

Беспокоилась и любимая бабушка Татьяна Алексеевна, что нет и нет ее Оли. И в один прекрасный день, не выезжавшая век из Меженинки, она собралась и вместе с Анной Павловной нагрянула в Покидош к Марье Петровне Вольской.

«Покажите мне газету, — сказала Татьяна Алексеевна, — не написано ли там, что Олю арестовали?»

«Вот еще что выдумали! Да разве про это пишется?»

Татьяна Алексеевна в тот же день уехала в Меженинку. Да, больше невозможно было скрывать. И сказали: и Наталье Ивановне, и бабушке.

Наталья Ивановна очень тревожилась: ей представлялось, что Оля сидит в арестантском халате, в подвале, как рисуют на картинках. А бабушка, тетушка и Анна Павловна — молились.

Перед Рождеством и еще раз дали свидание с Ириной, и она уехала в Ватагино.

Оля, захваченная памятью о доме, думала, что никогда уж она ни с кем из домашних не поссорится: уступать будет — никогда ничем не огорчит ни Наталью Ивановну, ни бабушку, ни Ирину, ни Мишу, ни Лену.

И вспоминая всех — всё обвиняла себя, что мало любила их.

Душа ее горела и жестоким судом над собой, и любовью к ним.

И когда под Рождество от Котельниковых с передачей принесли ей карточку Наташи, она так обрадовалась и порывистым стуком простучала соседке:

— Я умерла — —

*

Трудно было стучать к Зине наверх через камеру.

Оля ей всегда стучала, и когда Леля была, стучала, а теперь, когда Лели не было, всё — для Зины.

Ведь Зина понимала Олю, как сама говорила, по движениям ресниц, и всегда говорила, что любит Олю больше, чем Оля ее. Так и все говорили. Так и сама Оля думала.

И теперь Оля часто об этом думает и обвиняет себя, что меньше любит ее, и всегда меньше любила, а когда ссорились, первая подходила Зина.

А отчего ссорились?

Или оттого, что душа ее как-то по-другому? Вот Леля и с.-д., а по душе куда ближе. Нешто Зина скажет, как Леля, «что она — — и дождик любит»! Зина иногда говорила такое, отчего было досадно на нее: очень как-то грубо, и не в слове, а в самой мысли — —

Трудно было стучать Зине — только по трубе.

Оля выдумала особенную азбуку —

чтобы никто не понимал их разговор.

Стучит она по вечерам, как когда-то Леле.

Зину раньше должны выпустить: ее и меньше обвиняют, и меньше ей придают значения.

— Я, Оля, не хочу, чтобы меня выпустили.

— Почему, Зина?

— Что ж я на воле без тебя буду делать? Если ты будешь сидеть, то мне и воли не надо.

И однажды после такого разговора Оля спросила себя:

согласилась бы она быть на воле, когда Зина сидит?

И ответила:

«Согласилась бы».

И стала обвинять себя.

Но что же поделать-то, когда ясно говорится в душе:

да, согласилась бы!

«А Зина вот говорит: нет!»

Летом Зина всякий раз, когда Оля гуляла, цветы из окошка бросала ей.

Если на прогулке бывала надзирательница «добрая ведьма», Оля поднимет цветы и унесет в свою камеру. А когда «гадкая ведьма», Оля только смотрит и улыбается от радости:

это Зина помнит ее, это слова ее — как цветы.

— Ты, Оля, тоже в две косы волосы заплетай и ходи так, чтобы мы с тобой были одинаковы. И кофточками давай поменяемся: ты в моей кофточке, а я в твоей.

Оля заплела две косы и ходила так — как Зина.

В пятницу Оля идет в баню и оставляет там, припрятав, свою кофточку для Зины. А через неделю — в пятницу находит тоже спрятанную кофточку Зины.

И они, как одна, одинаково ходят — в две косы:

на Зине — красная кофточка Оли, на Оле — голубая Зины.

В разговоре часто вспоминают Сергея, брата Зины: проводы до Серпухова, метель и как потом ждали письма —

Зина была тогда уверена, что Сергей напишет или ей, или Федору Ивановичу, и ходила всякий день к Федору Ивановичу справляться, а получила-то первая Оля: «Многоуважаемая и милая Оля!» — начиналось письмо. «Кто получил первое письмо?» — задорно спрашивала Оля. «Да ты, ты!» — как детям, отвечала Зина, глядя с восхищением на Олю.

Как-то под вечер, когда зажгли электричество, раздался по трубе сильный стук.

— Прощай, Оля, — стучит, перепутывая буквы, Зина, — меня выпускают.

— Пр — — Оля только и успела простучать две первые буквы и услышала резкий звук крест-накрест: значит, вошла надзирательница, собирают вещи.

А вот и дверь стукнула —

шаги по лестнице.

Оля к окну —

зима — темно на дворе, едва различает: карета — это для Зины, в Жандармское повезут!

карета пропала —

И темная темь закрыла окно.

Оля представляет себе:

как Зина в Жандармском —

подписала бумагу —

отдали вещи —

извозчик — едет домой.

«И кажется, — вспоминаются слова Смолиной, — все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, и дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости».

А в камере пусто и одни стены сурово.

Оля нет-нет да и подойдет к трубе, послушает: не стучат ли? — нет, не стучат! Постучит — нет, никто не отвечает.

— — — — — — — — — — — — — — —

По ночам часто снится Зина:

то будто через Неву переезжает с ней Оля,

то будто Шевченковский вечер, и опять они вместе,

и очень весело.

Оля получила передачу от Зины, и в передаче записка:

« — для меня нет воли, пока ты сидишь в тюрьме!» —

А прошла неделя — и нет ни передачи, ни писем.

— Значит, Зину выслали?

*

В тюрьме всё знали, что делается на свете.

Постоянно входили новые — через расспросы да через передачи всё и узнавали.

К концу зимы всех выпустили, кто был с Олей, и только одна осталась в тюрьме Оля.

Оля занималась французским и немецким, как ей посоветовала Смолина, и это помогло ей заполнять длинные одинокие дни. Времени было очень много — на перестукивание уходило всё меньше и меньше, и только книга: Оля читала и думала.

«Вот у меня всё отняли, что есть жизнь, — думала Оля, — а за то, что хотела отдать себя за чужую волю. Тюрьма не несчастье, тюрьма только неприятность, надо вынести эту неприятность, и тогда еще светлее и радостнее будет начатый путь. А Хвостов на воле: он достал себе волю тем, что других лишил ее надолго!»

— —

На тюремном дворе лежит снег.

Стоит недоделанная снежная баба:

эту бабу Оля давно делает и не может окончить: прогулки коротки.

Оля взяла полную пригоршню снегу и взглянула вверх —

небо!

кусочек неба и звезды!

«Вот чего от меня не отняли! Неба не отняли! И никто не властен его отнять. А вот Хвостов сам от себя отнял: для предателей нет неба!»

— —

Оля вернулась в камеру.

В глазах ее было небо и звезды.

Она его видела, и такое звездное, еще в детстве: так же снег лежал, стояла снежная баба, а она с отцом шла в церковь ко всенощной.

«Оно вечное. Его люди не могут отнять. Только сам человек может его уничтожить. Да, тюрьма не несчастье, а несчастье — вот когда неба не будет».

— —

Оля стала молиться.

На воле редко она молилась, а тут целыми часами выстаивала на коленях.

Не по молитвеннику, своими словами она выговаривала свою молитву:

и благодарила — за волю,
и просила — о воле.

*

По обыкновению Оля встала в семь, до десяти убиралась, села заниматься.

Неожиданно вошла надзирательница:

— Собирайте вещи, вас освобождают!

— Передайте это в № 16! — Оля показала на книги, и еще кое-что было у нее из передачи.

— Я не могу.

— А тогда я не выйду! — Оля сказала твердо.

— Хорошо, хорошо, я передам.

И пошла, а Оля стала одеваться.

И стены вдруг как осели, просетились — не узнать, и не поймешь: и было, и не было, как во сне.

Олю повезли в Жандармское.

И когда она подписала бумагу и вышла: у подъезда ждал извозчик с вещами — —

«Когда выпускают, — вспомнилось, — кажется, все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, а дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости».

Но где же? где же всё это? — и такая весна, а из души угрюмо смотрят серые каменные стены — ст...

И Оля заплакала.

Прощанье

Оле разрешено было остаться на месяц в Петербурге: держать выпускные экзамены.

Выхлопотал любимый профессор Воркунов: Олю считал он коноводом всех курсовых историй и беспорядков, но горячность ее и убедительность, и, как говорила она, — «всегда на суть и во всеоружии» — покорили его, он смотрел на нее с улыбкой, прощая ей все ее выходки.

А не Воркунов, Олю тотчас бы выслали.

За месяц — Оля была убеждена — к экзаменам она подготовится и, когда кончится «дело» и выйдет приговор, поедет она в ссылку с дипломом.

Этот месяц Оля жила у Котельниковых.

Книги, о которых так беспокоилась Оля, к великому ее счастью, оказались все целы: сберег Федор Иванович.

«Куда пропали мои книги? — писала она из тюрьмы, — это ужасно! самые дорогие для меня книги пропали: Некрасов, П. Я., Гревс, Николай—он, Ключевский, может быть, и еще пропали какие-нибудь. Нина не пишет, с ее стороны это просто варварство, ведь она знает, как я дорожу книгами, знает, как беспокоюсь о них, особенно в тюрьме, где у меня одна отрада — книги, и она мне не пишет. Ужас! Я считала ее добрее, но теперь вижу, что и в ней так же, как во всех людях, ошиблась. Все люди гадкие, только малая крупица хороших. Это я умом знала давно, но только здесь, в тюрьме, я это поняла, потому что почувствовала, насколько мерзки, мелки, самолюбивы люди, о, как я их ненавижу!»

— Ну, вот видите, и нечего было так сердиться и тревожиться!

А когда Оля рассказала о Леле и о других своих соседках, с которыми она перестукивалась за свой тюремный одиночный год, а рассказывала Оля с любовью —

— А вы писали, что и людей ненавидите, — заметил Федор Иванович, — нет, если вы и ненавидите, то лишь мелкие черты человеческие: трусость и самолюбие. А ведь это и сам человек в себе ненавидит!

*

После тюрьмы Оля никак не могла успокоиться.

«Что же это такое она оставила в тюрьме и чего не было на воле?» — спрашивала она себя.

«Там хорошо думалось, это первое, и еще — —, и она долго не могла себе сказать, какая там еще отрада была? — — а вот в чем: не знаешь ведь, как жить, а там ждешь освобождения. А теперь — чего ждать?»

Экзамены шли хорошо.

Не экзамены, а вот что мучило Олю:

«чего ждать — чем жить?»

«Буду ждать приговора,— решила Оля, — а выйдет приговор, буду думать, что дальше делать»?

На этом и успокоилась.

Но тут опять всё перевернулось.

В день своего освобождения Оля послала телеграмму Зине: «здравствуй, родная!» — это и означало, что Оля вышла на свободу. И вот получился ответ — трудно было поверить, что писала Зина.

Оля перечитывала и глазам не верила:

сухое официальное письмо!

Что же такое произошло?

— Да какие-нибудь мелочи, — сказал Федор Иванович, — что-нибудь такое передали ей: на самолюбие ее. Помните, еще Орлова удивлялась ей, что она принимает от вас всякую резкость. Ну, и тут что-нибудь сказано было. А она поверила.

Возможно, что Федор Иванович был прав.

— — —

«Так, стало быть, она меня не любит? А казалось то, все так думали, и она сама так думала, и я так думала, что она меня любит гораздо больше, чем я ее. Как же это так? — — И значит, не любила? А если не любила, то кто же любит-то? Или правы неразлучные Лида и Ира, когда объясняют свою неразлучность, «не потому что любовь, а привычка — с детства жили, дом против дома».

Письмо Зины больно ударило, сильнее всех бедовых тюремных дней, вскрывавших и предательство, и трусость — все те мелкие черты человеческие, что и сам человек в себе ненавидит.

«А ведь будто и любила? А может, и любила, да верности не было!»

Оля страшно мучилась, ночей не спала.

— Мне важно, как Бог всё видит — сказалось у ней и успокоило: — я верю только Богу.

*

Оля вернулась с экзамена поздно.

А без нее приходила Лаптева: Лаптева, узнав, что Олю выпустили из тюрьмы, непременно хотела ее видеть. Но ждать не могла:

> она сегодня уезжает с отрядом«на голод» и очень просила Олю прийти на Николаевский вокзал в одиннадцать часов.

Оля никогда не видала Лаптеву, только перестукивались. В тюрьме Оля многому от нее научилась. И все, кто сидел за эти годы, много добра от нее видели.

Оле непременно захотелось ее увидеть.

— Какая же она? — допытывалась Оля у Людмилы Николаевны.

Людмила Николаевна последние недели всё дома. Наташа лежала больная. Людмила Николаевна разговаривала с Лаптевой.

— Очень хорошая, только измученная.

— Еще бы: сидела два года!

— А сколько человек поднять может! — заметил Федор Иванович. — После тюрьмы — и на голод: а это не легко.

> «А ведь это всё вера, которая движет и творит, вера — помочь другому — что-то пересадить, кого-то поднять вот этими руками, этой волей, в мире, устроенном судьбою непреклонно раз и навсегда — великое человеческое сердце, для которого нет никаких граней, никаких стен, никакого закона!»
>
> Так этого не сказалось, но так прошло сквозь мысли, и стало бодро и надеянно в комнате, где помирала Наташа, которая так недавно еще, на Рождестве Коляду пела, вспоминая Олю.

Оля очень усталая, а пошла на вокзал.

И они узнали друг друга, поздоровались.

— А я думала, вы гораздо больше! — сказала Оля.

— Это я в тюрьме так изменилась.

Оля дождалась третьего звонка. И пока поезд из глаз не скрылся, всё стояла, провожая: вместе с Лаптевой укатило с огоньками и еще что-то — тюрьма — тюремное —

самые первые дни тюрьмы были связаны с ней.

И больше не с кем уж встретиться и вспомнить — все давно разъехались.

И у Оли — последние дни: скоро кончится срок — месяц, последние экзамены.

*

А последние дни — была такая необыкновенная весна — весна ведь только в России, потому такая и Пасха только в России — уж ночи забелели, белая ночь над Петербургом и маленькие звездочки.

Померла Наташа.

Наташа померла от туберкулеза в три недели: трудное очень было время, Людмила Николаевна ходила на работу, а Наташа у соседей, а там больной был. Как потом выяснилось: подбирала она конфетные бумажки и в рот, — так и заразилась. Как из тюрьмы Оля вышла, подарила Наташе Э. Т. А. Гофмана, Щелкунчик, с картинками. И читала ей — Наташе очень понравилось. И в самые последние дни всё разговаривала, всё мышиного царя поминала и какую-то еще мышку: мышка к ней приходила с огоньком, как голубая веточка. А совсем перед смертью она вдруг вспомнила, как Оля говорила ей — Оля, прочитав у Толстого, что в наше время человек порядочный только в тюрьме и может быть со спокойной совестью (и это ей очень понравилось!), сказала Наташе, что все хорошие люди сидят в маленьких комнатах, и будет ли она, Наташа, сидеть в такой маленькой комнатке — в тюрьме? — «А что такое, в тюрьме»?» — спросила тогда Наташа. «Такой большой дом гадкие люди построили». «Из кубиков?» — и, вспомнив все эти слова, сказала, точно хотела Олю обрадовать: «Буду, Оля, буду,

в маленькой комнатке, вот — — в такой». И растопырила пальчики, как кубик представила. А такой — оказался для нее гробик, Оля его цветами убрала и, как птичку, положила ее, как того Лелиного воробушка на тюремном дворе. И с ней любимого ее лягушонка — — единственную ее игрушку.

И с Наташей отошло от Оли и еще что-то — какая-то жизнь до-тюремная, какой-то Петербург — Курсы, дни, когда Оля еще не знала, чего надо знать, и всем верила.

На другой день после похорон, получив диплом об окончании Курсов, Оля уехала из Петербурга.

Котельниковы и на вокзал ее проводили: одни они оставались в Петербурге — и Наташи нет, и Оля надолго: когда-то вернется!

Федор Иванович хотел было крикнуть: «да здравствует революция!» — а сказал кротко:

— Не забывайте, Оля, пишите!

И Оля долго видела, как они стояли, прощаясь, одни на земле с своей верой и сердцем, для которого нет никаких граней, никаких стен, никакого закона, — память о них Оля сохранит на всю жизнь.

Чуперадло

Не заезжая в Ватагино, Оля проехала прямо в Покидош — ей надо было получить в Полиции временное «проходное» свидетельство, по которому она и будет жить до приговора.

Когда Оля вышла на станции и садилась на извозчика, она вдруг увидела Черкасова: он стоял у выхода из вокзала — тоже увидел Олю, снял шляпу и кланялся.

Оля очень обрадовалась: и потому, что здешним повеяло, и видно было, он нисколько не сердится на нее — а ведь Олю мучило: как тогда в лечебнице на Таврической она отворила дверь, «заманила» его, и дверь за ним захлопнулась! — и еще показалось ей, как будто чем-то был он занят, и ей подумалось, что старого не повторится.

И с извозчика Оля с ним ласково поздоровалась.

Оля поехала к тетке Марье Петровне Вольской: Оля знала, что Марьи Петровны нет в городе, квартира пустая, и только

что прислуга осталась. И это хорошо, Оля может тихо прожить неделю, а потом и домой в Ватагино:

> о Ватагине — о доме Оля думала, зажмурившись, и особенно сад — так бы сейчас и прошла по дорожке —

Оставив вещи у тетки, Оля вышла неподалеку — к Марине Заветновской.

Марина Заветновская была первая подруга Оли: все первые гимназические годы жили они вместе, все страхи и все проказы вместе — это Марине, живя в пансионе Линде, Оля затеяла сделать длинные ресницы и вымазала мазью по рецепту Веры Сахаровой и княжны Шах-Булатовой, так что и последние выпали.

Марина уж вышла замуж за студента Соловьева, товарища Черкасова, и ожидала ребенка. Она была одна в доме. Как обрадовалась Оле!

Марина всё знала о Черкасове — больше, чем весь Покидош знал! — она знала его еще черненьким гимназистом, у которого была «симпатия» Оля. И когда Оля рассказала ей, как встретила Черкасова, как с извозчика поздоровалась —

— Что ты, Оля, ведь он же мог подумать — —

И только что за стол сели чай пить, звонок.

Марина постеснялась выйти, пошла отворить Оля.

А это Черкасов —

> Совершенно случайно, так объяснил он, он и не думал встретить тут Олю!

И голос его подтвердил Оле ее первое чувство, что Черкасов здоров, совсем оправился и о старом не может быть помину.

На расспросы Оли он отвечал толково и ясно: он рассказал о смерти Федора Фалалеича, как это всё случилось необыкновенно.

— Чудак, вообразив себя журавлем, отказался от обыкновенной еды и понемногу навострился клевать зерна, как сам журавль, но голод не тетка, соблазнился блинчиками, ел блинчик, вилкой попал в нёбо, прикинулось болеть. Так и помер с одним носом и глазами.

И еще, рассказав и уж не такое происшествие, а обыкновенное из Бобровской жизни, стал расспрашивать Олю о тюрьме, о Рашевском.

Слушал он внимательно, горячо, и только когда Оля рассказала, как вместе с Зиной провожали Рашевского до Серпухова, он вдруг переменился: насупился, подавленный мыслью.

И скоро вышел.

За разговорами с Мариной прошел весь день: весь год Оля никого не видела, а за этот год много чего случилось — сколько подруг Олиных вышли замуж: —

и Катя Козловская, и Лида Оленина, и Маруся Иванович, и Лиза Милорадович, и Шах-Булатова.

— А ты помнишь ее бабушку, на Бабу-Ягу похожа?

— Помню, конечно.

— Померла в день свадьбы: от огорчения, говорят, очень любила внучку, а другие говорят, назло.

Да, много чего было и помянуть, и узнать.

Оля и обедала у Марины, и после обеда пила чай, и только под вечер вышла.

И только что она вышла, смотрит, а за углом Черкасов: стоит, ждет.

— Я вас всё время тут ждал, — сказал он и стал просить Олю пройти с ним в Казенный сад соловья слушать.

И, как когда-то, Олю охватила ненависть: опять какие-то права следить за ней.

— Нет, я не пойду! — резко ответила она.

Он проводил ее до дому.

И уж совсем по-другому, не как встретя, Оля простилась с ним — и это так само собой вышло.

А с тех пор всякий день Черкасов караулил Олю: он выстаивал часами, дожидаясь у ворот или за углом, и всякий раз провожал ее до дому:

он опять говорил ей, как ее любит и как еще гимназистом, когда она была совсем девочка, он в первый раз увидел ее в церкви и с первого взгляда полюбил ее, теперь он понимает, и чего ни захотела бы она, он всё для нее сделает.

И, как тогда летом, в глаза ему было жутко смотреть.

На Олю это страшно действовало, и однажды она ему сказала, сама переменившись, как когда-то в Петербурге, когда он всякий вечер заходил к ней:

— Лучше, я думаю, нам никогда не встречаться.

От постоянного раздражения — и так после тюрьмы расстроенная — Оле стало чего-то страшно в пустой квартире у тетки, и она перебралась к Нине Мавлютиной.

Черкасов, верно, уехал в Бобровку — больше Оля его не встречала.

Другая беда: всякий день к Мавлютиным стал приходить студент Оводов — «Чуперадло» —

это так, как Фрид — Бедненький, Ильина — Идеал, Бордонос — Колода, а Оводов — Чуперадло.

Оводов не раздражал Олю, как Черкасов, но надоел с разговорами ужасно. И не было минуты остаться вдвоем с Ниной.

Оле хотелось хоть последние дни провести тихо и спокойно, и она упросила Елену Ивановну:

когда явится«Чуперадло», сказать, что ее дома нет.

Елена Ивановна согласилась. А чтобы всё хорошо вышло, решили, не предупреждая Олю, сделать репетицию:

за Оводова звонила Катя, а отвечала сперва Елена Ивановна, потом стала Нина.

Оле это слышно — и раз поверила, и другой раз поверила, а потом не обращает внимания, думает: репетиция!

И вот слышит: и опять звонок — и голос Елены Ивановны:

— Оли нет дома.

А Оля, не придавая значения, правда это или неправда, распахнула дверь и — отступила:

в прихожей прямо против нее стоял «Чуперадло».

«Чуперадло» дико взглянул на Олю, замотал головой и, бормоча какую-то ерунду, скрылся. Елена Ивановна напустилась на Олю.

— Вы меня лгуньей выставляете! Я больше никогда не буду за вас. Как хотите, так и делайте. А то я: «дома, говорю, нет». А вы тут — высунулись. Это невозможно.

Елена Ивановна очень сердилась.

И хотя Нина и Катя уверяли, что Чуперадло ничего не заметил, но Оля-то была убеждена, как и Елена Ивановна, что он видел и, должно быть, обиделся.

На другой день Оводов пришел уж безо всяких.

Нет, он не обиделся, хуже:

— Я, кажется, схожу с ума, — сказал он, — у меня начались галлюцинации: я всюду вижу вас, вчера я заходил к вам, гово-

рят, нет дома, и вдруг стена раздвинулась и вы появились на пороге. Я хотел крикнуть, а вас уж нет. А сегодня иду мимо каланчи, задрал голову посмотреть — и опять вы, отчетливо вижу, но тут кто-то окрикнул, и всё рассеялось, никого нет.

— Вы не должны меня так часто видеть, — сказала Оля.

А вечером весь Мавлютинский дом помирал от смеху: и кто больше смеялся — Катя, Оля, Нина или сама Елена Ивановна.

Елена Ивановна пересердилась и готова была что-нибудь еще сделать такое же для Оли.

Последний вечер Оля провела с Ниной.

Оля узнала от Нины такие покидошенские новости, какие не могла ей передать Марина:

Фрид — «Бедненький» уехал с женой за границу; гостила Ильина и куда-то опять поехала, очень хвалила Олю за то, как в тюрьме себя гордо держит на допросах, и думает, что Олю вышлют куда-нибудь на север — в Архангельскую губернию или в Вологодскую, куда подальше, и одно ее смущает, она боится, что из Оли не выйдет революционерка до конца: «червь у нее есть мистический, и это помешает!»

— Рашевский из Сибири убежал, — рассказывала Нина, — и как ведь всё вышло: добрался до самой границы — сколько месяцев! — а там его и арестовали; теперь назад по этапу идет, но не как Рашевский, имя он скрыл, а как бродяга Иван Непомнящий. Вот это настоящий революционер!

— И опять убежит, — уверенно сказала Оля.

— А как нам — что делать?

— Надо дождаться приговора, — сказала Оля и словно чего-то не договорила, — и тогда решить.

*

— — — Оля отворила калитку. И очутилась в саду. И пошла по дорожке к дому. Дома за деревьями не видно — дорожка привела ее к дому. Она растворила дверь и остановилась —

— — в углу под лампадками у образов сидела старуха в черном. Окна раскрыты: тихий теплый яркий

день. И от яркости дня еще изможденнее и бледней показалось лицо старухи. Старуха подняла глаза — о чем-то думала — глаза посмотрели на Олю такие большие и такой жгучей тьмой.
«Что ты, Оля, боишься, — сказала старуха, — или не помнишь?»
И по голосу Оля всё припомнила: да ведь это бабушка княжны Шах-Булатовой! И в памяти прозвучали слова, как тогда сказала старуха: «ты должна посвятить себя Богу — —»
«Ну, здравствуй, Оля, а я тебя как ждала! Когда-нибудь пожалеешь».
«Я хочу жить по правде!» — сказала Оля.
И сделала шаг к старухе — — и костлявая рука старухи опустилась ей на плечо: пуды легли.

*

— — — по лугу шла Оля по цветам. Тихий теплый яркий день. По дороге яблоня в цвету, и в каждом цветке огненный язычок. И вдруг по небу стая лебедей. И всё ближе. И один лебедь отделился от стаи и прямо к яблоне. Коснулся крылом и, вспыхнув, понесся вверх. И горящий — крылатый огонь! — плыл по небу — —
— И упал.

*

Чуть рассвело — поезд подошел к Хомутам.

На станции Олю встретил Миша.

Оля от радости горела, и, как когда-то, она всем улыбалась; и не могла слова выговорить, спросить Мишу, но сразу же почувствовала, что все, все ждут ее.

Вещи взял Миша на телегу — их повезут отдельно. А Оля с ним в бричке.

— Ну, как ты теперь? — спросил Миша.

— А на, посмотри!

Оля вынула из сумочки свернутую четвертушку — свое «проходное» свидетельство:

— — — что Ольга Ильменева «обязана нигде не находиться, а в случае неисполнения этого требования будет отправлена по этапу».

А в особых приметах значилось: «лицо приятное».

— Нигде не находиться! — рассмеялся Миша.

Оля уселась в бричке и смотрела по сторонам, здоровалась: и с тополями, и с тем бесконечным полем, над которым серый еще копошился рассвет.

— А знаешь, Оля, — Миша подобрал вожжи, — застрелился Черкасов.

И в ответ — она почувствовала, как прошел холод — и на миг всё пропало: и тополя, и поле —

— — —

Оля глубоко перекрестилась.

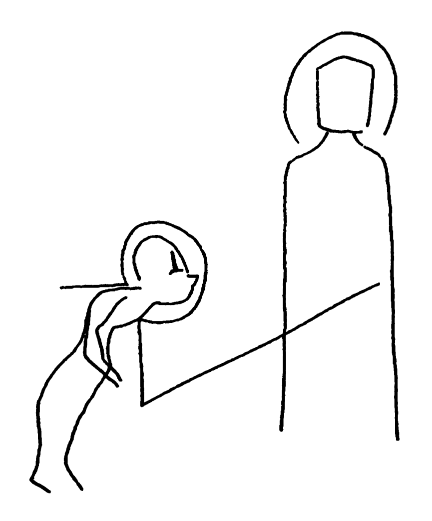
Лошади тронулись —

бесконечное поле!

А в копошащий серый рассвет чиркнул луч — и всё зашумело, и какая-то птичка зачивикала, неугомонная, из всех шумов земли и травы, и всех ближе птичка-пересметушка.

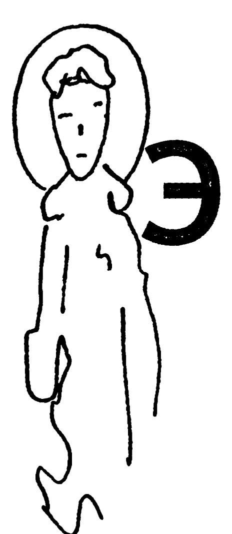
1925

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ



С ОГНЕННОЙ ПАСТЬЮ

Петербург



Петербург — город прозрачный,
северная я́сня!

Это Москва, наговорившая про него и то и се, ревнивая — Москва, где в Таганке ругают Землянку, на Землянке — Замоскворечье, в Замоскворечье — Арбат, на Арбате — Покровку, это отчаяние разглядело в нем только тяжелые туманы с бесами, с привидениями, это ожесточение «рабов Христовых Последней Руси» из земляных тюрем и с пылающих срубов пустило про него проклятую славу — «быть пусту!»

Нет, одна Нева — Нева, как море, и не гоголевскою шириною, а самой адмиралтейской, широка, и какое море солнца горит на ее глубокой голуби, без устали плывущей «насаженку».

А червонный купол Исакия собрал такой хоровод лучей — на все проспекты и линии и тракты горит — горит не золотою литой кровлей, как московский Кремль — вся Москва, а пылающим червонным глобусом.

А если по осени наползают туманы или зимой вдруг от туманного дыму ни пройти ни проехать по Невскому, а электрические фонари сквозь туманы зелеными вырезными шарами не светят, а дразнят, так ведь на всем земном шаре тоже — и в Лондоне, и Париже, где с разлившейся Сены такое полезет — как молоко! — и гриппом начнет душить налево и направо, или в Берлине, где от зимней туманной еди дохают, как лошади, и бегут по улицам, скорчившись, не зная, где уж найти тепло.

Да, в Петербурге туманы, но и в Лондоне, Париже и Берлине туманы — не пройти, не проехать! — но зато завтра вдруг

ударит московский мороз, и вечер закутается ало-синею северной пеленой, за которой уж ночь кует крепкие крещенские звезды.

И запылают костры на снежных площадях и у белых мостов —

огнями до звезд.

* * *

Утром в Гатчине Оля выглянула из вагона

— после дождей ясно, тут уж осень!

— Пе-тер-бург!

И версты побежали мигом — не уследишь:

за нетерпением, за быстротою, за вагонами, загромождающими пути во все концы.

Петербург —

Варшавский вокзал.

Багаж оставила Оля на вокзале, пошла налегке —

мимо извозчиков, мимо автомобилей прямо по мостовой под лесами, загородившими весь тротуар, через разбросанные торцовые кубики, под гик извозчиков, гуд и шлеп автомобилей, стукотню грузовиков и ломовой огрыз — к Технологическому институту на трамвай; трамвай на Васильевский остров.

Кажется, со всеми бы заговорила, всякому уступила бы место, поклонилась бы —

своему родному

— несравненному —

своему

Петербургу

— — —

На 3-ьей линии сдавалась комната — первую попавшуюся Оля и взяла.

И сейчас же назад на вокзал. Перевезла вещи. Убралась. И на Курсы обедать.

* * *

Никогда так на Курсах не весело, как в день осеннего съезда.

Ведь столько не видались — столько рассказов, расспросов, новостей.

Каждая что-нибудь привезла:

Оля — маковники, пастилу, яблоки,

Женя Шубина — вот какие банищи с вареньем,

Варя Финикова — колобки.

И сами наедятся, и отделят для передачи:

много курсисток ходят «невестами» к арестованным студентам, они и возьмут.

— Когда пришла я в первый раз «невестой» к студенту-горняку Преображенскому, — вспоминает Женя Шубина, — я взглянула на него, никогда ведь не видела, и так мне стало смешно, не удержалась да как захохочу: не могу от смеха слова сказать, хохочу. А он смотрел-смотрел и тоже захохотал. Так все полчаса и прохохотали, ни слова.

Кто-то из «невест» вспомнил Катю Новикову — ее случай: «невеста неневестная!» —

надо было устроить свидание с Нерадовским — написали из Москвы его знакомые, в Петербурге у него никого не было: Нерадовского перевезли из Москвы, сидел он по приговору в Крестах. Предложили Новиковой. Новикова пошла в Жандармское, просит свидание с своим женихом Павлом Ивановичем Нерадовским. «С Павлом Ивановичем Нерадовским?», — переспросил жандармский ротмистр. «Да, с Павлом Ивановичем Нерадовским, моим женихом». Ротмистр подумал и чего-то улыбнулся: «Приходите завтра ровно в 12-ть». На другой день ровно в 12-ть Новикова была в Жандармском. За большим зеленым столом сидело много жандармов. И ее посадили — и на самом виду. «Так вы просите свидание с вашим женихом?» — обратился вчерашний ротмистр. «Да». «А когда же вы с ним познакомились: жил он в Москве и уж два года находится в заключении». «Это мое личное дело». «А если я вам покажу несколько карточек и вашего жениха, вы узнаете, который ваш жених?» «Конечно!» Новикова смутилась. «Конечно, узнаю, если он очень не изменился». Жандармы переглянулись. «Невеста неневестная!» — заметил кто-то. И это замечание еще больше смутило и раздосадовало. «Так дайте же мне свидание и отпустите!» «Позвольте, а как зовут вашего жениха?» «Павел Иванович Нерадовский!» — резко ответила Новикова и от досады, и от смущенья... Тут ротмистр взял папку «Дело Нерадовского» и, раскрыв, показал Новиковой. Новикова прочитала: *зовут*

меня Петром Ивановичем Нерадовским. «Вот вы забыли имя вашего жениха: наверно ему неприятно будет вас видеть. Лучше уж не дадим вам свидания».

— Я тогда как ошпаренная вышла: до сих пор помню вдогонку хохот.

— Это всё Фролов напутал: не разобрал в письме имя, из Петра сделал Павла!

И вдруг вошла Зина —

Оля к ней: ведь целое лето!

Зина то же — Зина, как и Оля: она только что приехала и прямо на Курсы.

Зине отделили для брата — «для передачи» —

Сергей Рашевский сидел с самой Пасхи в Петропавловской крепости, с того памятного дня для Оли, когда, попав в засаду, она в первый раз столкнулась с жандармами и провела несколько часов на Гороховой в Охранном, — многих из его товарищей выпустили, уж несколько месяцев, ходил на свободе Федор Иванович Котельников, а его всё держали.

После обеда Зина с Олей — к Оле на новоселье.

— Как я чувствую разницу, какая я была в прошлом году, когда в первый раз в Петербург приехала, а какая теперь. Будто после гимназии не один год, а десять лет прошло. Мы в прошлом году ничего не знали, а теперь уже знаем кое-что.

— Ничего, Оля, мы не знаем еще: мы только знаем, чего надо знать.

(Зина всегда вместо «что» говорила «чего».)

— Пойдем, Зина, по городу. Я чувствую, как люблю Петербург. Сердце сжимается, я не могу себе представить жизни без Петербурга.

— Федор Иванович говорит: если кого-нибудь или что-нибудь любишь по-настоящему, это непременно до болезненности. Значит, ты действительно любишь Петербург. Да и я тоже.

Весною часто ходили к Горному институту — к Горному институту и пошли:

там хорошо смотреть на Неву!

А от Горного через Николаевский мост.

— Здесь Каракозов стрелял! — сказала Зина.

Постояли на мосту — посмотрели на каракозовскую часовню — на Неву к Петропавловской крепости. И Сенатской пло-

щадью — «Декабристы!» — мимо памятника Петру, мимо Исакия — на Невский.

Шли мимо Казанского собора.

— Сколько здесь демонстраций было. И после одной Вера Засулич стреляла. Может, и мы, Зина, будем в демонстрации здесь же участвовать.

Публичная библиотека.

А с нею память о занятиях —

сколько вечеров за чтением!

и как хорошо читается книга!

— Я буду ходить заниматься философией, — сказала Зина.

— А я историей, — сказала Оля.

К сумеркам Невский наряжался в электричество.

Загорелись огнями магазины. Теснее пошел народ: кто домой, кто так.

Среди автомобилей и извозчиков прокатила коляска с форейтором на запятках в красном. А вслед карета со спущенными занавесками — политических арестантов на допрос возят...

У Аничкова дворца вдруг раздался непохожий автомобильный гудок — глубокий — и всё остановилось.

Пристав, напруженный, точно на нем не одна, а три шинели, вытянувшись, стоял у ворот с сторожами-татарами, а длинные, как фонари, городовые загораживали дорогу на тротуаре.

Из дворца выехал автомобиль и свернул на Невский.

— Государь! — кто-то сказал.

— Где? где? — повертывались посмотреть. Но уже автомобиля не было — много было нетерпеливо и настойчиво стучащих, вдруг остановленных, а такого не было.

И сразу хлынуло — как попало и — наверстывая потерянное на остановке, зазвенели звонки трамваев, и лошадиные морды ткнулись в спины седоков.

Оля и Зина стояли, дожидаясь, пока не установится, чтобы перейти на другую сторону.

— Из-за одного человека и всё остановилось!

— Тише, Оля!

С Невского они пошли мимо Летнего сада — «где стрелял Соловьев!» — через Троицкий мост к Петропавловской крепости.

— Как это странно читать: «Иоанновские ворота!» — несчастный ребенок! А сколько здесь сидело, о ком мы всегда думаем: и Перовская, и Вера Фигнер, и Брешковская.

Постояли около ворот — дальше ходу нет.

Еще раз взглянули на Неву — и домой.

— Как я счастлива, что всё это вижу опять.

— И я тоже.

* * *

— — — маленькой собачкой бежит Оля: серая, коричневая, а под горлом белое пятнышко. Бежит она —

«несет для всего мира!»

пробежала по соломе, спешит, запыхалась. Пусто кругом — пустырь. И чувствует она: кто-то и еще есть с ней, только она не видит. И вдруг — это тот невидимый — провел пальцем по ее спине, и так глубоко вдавился палец — до тела — до ее человеческого тела — —

* * *

Окна открыты, занавесы спущены.

Мимо дома по улице проходят с песнями. Песня звучит зловеще.

ой, у лузи та и при березі
червона калина.

«Умные люди по праздникам спать ложатся!» — говорит кто-то.

И от этих слов еще жутче.

В доме живет старуха, дальняя родственница: вся седая, глаза черные навыкате, нос широченный, губы тонкие змейкой. Старуха всё крадет: цветы, камушки, книги...

«Миша, говорит Оля брату, давай мы с ней управимся!»

И Миша подошел к старухе, да за руку ее — и посадил на стул. А Оля ее за другую руку. А старуха на Олю посмотрела:

«Хоть и одна ручка осталась, а со мной не справитесь!»

И двумя пальцами Оле в руку, и так крепко, ногти огромные вкололись — — и прошли Оле руку насквозь.

«Как! — крикнула Оля, — не справимся?

Вон!»

А за окном песня еще зловещей —

було б тоби, моя ридна мати,
тих брив не давати
було б тоби, моя ридна мати,
счастье — долю дати.

* * *

Наталья Ивановна принесла вишневого варенья с косточками.

«Это последнее, — сказала она, — больше никогда такого не будет!»

И видит Оля, как от слов мамы у любимой бабушки Татьяны Алексеевны лицо стало маленькое, а глаза остеклелись и только в глубине их настоящие. Оля — в сад через балкон. Балкон в Меженинке давным-давно провалился, а вот будто целехонек.

Темно в саду. Деревья жмутся — качаются, но тихо, без шума.

И вдруг выскочила собака — не меженинская, не ватагинская, огромная, как волк — и прямо на Олю.

Оля чувствует: заворожена собака; а заворожил ее тот, кто любит Олю, — и бросилась, а не кусает, только теребит руку.

И вдруг собака поднялась на воздух — от злости поднялась собака на воздух — и там закружилась.

Из-под опеки

Кровать, комод, два стола — один заниматься, другой для еды. Этажерка — книги. На комоде зубной порошок. Вместо шкафа завешено простыней в уголку. На стене Михайловский.

Чистая, светлая, теплая.

Хозяйка — Ксенья Ивановна, миллион детей — имен не хватило: и старшая дочь Леля, и самая младшая Леля.

На одну сторону — глухая стена, на другую — дверь, заставленная комодом.

Через дверь — поет соседка:

высокий, стройный, весь в кудрях,
полукафтан на нем широкий
и шляпа черная в руках —

Придет Черкасов — и вместе пойдут в университет на заседание «Исторического общества».

— Ах, Зина, если бы мне от него избавиться: он будто какие-то права на меня имеет. И я его ненавидеть начинаю. Написал мне: будет меня ждать на своей станции, чтобы вместе в Петербург ехать, а то будто мне одной ехать неудобно. Ну, я на письмо не ответила: чтобы не мог знать дня моего выезда. Что ж ты думаешь, подъезжаю к Шумовке, его станция, вижу издали — стоит. Я в уборную спряталась. И вышла, когда поезд тронулся и полным ходом шел. Боялась, будет меня по вагонам искать.

Ну, наконец-то — — —

Зина надела теплую кофту. А у Оли шуба длинная беличья, но она — коротенькую осеннюю кофточку.

— Очень холодно, — говорит Черкасов, — надевайте шубу!

Оля продолжает застегиваться.

— Ужасно холодно, это невозможно. Скажите ж ей: ведь этак — легко простудиться!

— Да какое вам дело, в какой я кофте хожу? Ну, скажите, какое?

— Ужасный холод: я боюсь, вы простудитесь.

— Никакого вам дела нет. Захочу — без кофты пойду. Я никогда не позволю. Я наконец вырвалась из-под родительской опеки. Вы меня будете опекать? Ненавижу опеки! — Несчастней меня нет человека! — Я не знаю, что это такое!

— Оля, что ты, голубчик? что ты раскричалась так?

— И ты тоже!

— Да нет, нет, иди в этой кофте.

высокий, стройный, весь в кудрях,
полукафтан на нем широкий
и шляпа черная в руках —

Черкасов несет шубу — «на случай».

Оля впереди:

ей холодно, но делает вид, что ей тепло.

Утром по дороге на Курсы —

медленно идет Анна Ивановна Синицына, медленная, одна.

«Какая она счастливая: одна! свободная!»

И вспоминаются Оле все вечера — ни одного без Черкасова, постоянно.

«А я как связанная!»

* * *

По дороге домой с реферата —

Зина Орловой:

— Надо что-нибудь такое сделать, чтобы Черкасов перестал ходить. Посмотрите, во что Оля обратилась: так раздражена!

— Тебе нет до меня никакого дела! — открикнула Оля, — ты мне, как Черкасов, надоела.

Орлова Зине:

— Вы так терпите от Оли! У вас как будто и самолюбия нет.

Зина — засопела.

И больше ни слова до дому.

У фонаря перед воротами:

— Зина, милая, пойдем ко мне ночевать! — Оля погладила ее руку.

И Зина как озарилась:

— Вот из-за таких минут я и терплю!

* * *

«я виновата перед тобой, Зина, я это сознаю. Ведь ты меня любила всегда ровно, ты меня всегда так любила, как я теперь тебя люблю. Помню я один день: папа мой умер. Мне было тяжело. Я шла обедать и встретила тебя. Никогда не забуду твоего лица в тот миг, когда ты меня увидала: любовь, сострадание, желание помочь — всё выражалось в нем. Мы долго ходили по Среднему проспекту. Я была счастлива в тот день, я редко бывала так счастлива, как тогда».

* * *

До петербургской встречи с Олей для Черкасова «революция» была так — никакого особенного значения.

Он не верил ни в какие «революции»: ни бомбы, ни войны, ни «покушения» — никакие социальные катастрофы не то чтобы пересоздать человека, но и изменить его ни в чем не изменят — и злой злым «злюкой» и останется, и расчетливый не сделается расточительным, а дурак умником, завистливый не станет понятливым, а хвастун скромным, царствует ли «на страх врагам» царь или станет у власти Сергей Рашевский, царская ли Россия или социалистическая — всё едино.

И когда он однажды спросил Сергея Рашевского:

«А меня куда же вы денете после революции?» —

Рашевский добродушно ответил:

«В каталажку посадим».

Черкасов никак не «революционер» — какой-нибудь случайный взгляд прохожего, «вскользь замечание» или «семейная сцена за стеной» для него куда значительнее, т. е. он тоже, как и каждый, верит во что-то, и именно верит в «личное», «случайное», «не важное», «мелочи», «пустяки и подробности», те подробности, «к делу не идущие», но какие почему-то каждым приплетаются да и самой жизнью наматываются на так называемое «главное» и «важное».

«А когда целый народ всхлипнет “за стеной”, целый народ заерзает, это как по-вашему?» — заметил Котельников, приятель Рашевского.

«Т. е. революция! Понимаю. Это — теория. Надо, чтобы тебя ущипнуло. А целый народ — это теория».

Черкасов разошелся со своими товарищами, но когда увидел, что для Оли «революция» начинает получать самый главный смысл жизни, он снова сблизился с оставшимися на свободе из кружка Рашевского: это давало ему материал для разговора с Олей и всегда предлог зайти к ней. Когда не было «нелегального» — никаких прокламаций, он приносил журналы, книги —и такие, которые трудно достать — а потом забегал спросить: прочитала ли она?

Так всякий день — ни одного вечера без Черкасова — постоянно.

— — —

— Я прошу вас — не стесняйте меня, пожалуйста! Не приставайте ко мне со своими заботами. И вообще не накладывайте руку на мою жизнь. Я не люблю этого. Я сама знаю, как мне жить. Не приходите так часто — я просто возненавидела вас!

Оля не говорила — а что-то в ней, как ножом — слова ее — нож.

Он видел: лицо ее окаменело, зубы стиснуты — вот ударит! —

или нет отвратительнее человека, который оцепляет своею любовью тебя, — без взаимной любви?

Он видел это непохожее жестокое лицо — и глядел прямо в неумолимые глаза ей, покорно, готовый —

или боль и ласка одно? Нне-ет —

— И вдруг опять — он видит — «в поле блакитном»

Оля — та Оля!

— Вы не сердитесь! Мне неловко, что я так сказала. Вы не сердитесь!

— Нет — я не сержусь. Я — знаю.

* * *

Черкасов знал: рано или поздно так должно было случиться —

Оля не только не любит его — это-то он давно понял — а еще и и— —и одно остается:

«Надо всё забыть!»

Целый месяц он не ходил к ней — избегал встречи, как пропал.

И за этот месяц мысль его пробралась через все лазейки, которые ведут к самому мирному — к забыть —

а забыть-то нельзя!

Когда он вышел тогда, как обрадовался: уж так ясно — надеяться нечего! И вдруг почувствовал острую обиду — а мстить некому — — нет, одно осталось:

«Отрезать себя от всякой памяти!»

И он написал Оле: просил прийти к нему.

И вот ждет — —

— — — —

Комната, как у Оли. Так же этажерка — книги. Только над кроватью Достоевский —

на Достоевского Оля смотрит всегда с удивлением, она прочитала его еще гимназисткой: «такого замечательного писателя сослали! четыре года в каторге пробыл!»

— — — —

Шкатулка из карельской березы — Черкасов купил ее, когда решил бесповоротно устранить всякую память и уехать из Петербурга — шкатулка ему, как гроб.

Письма Оли и карточки ее хранились в особом ящике, куда он больше ничего не клал, их было не так много, но он медлил —

бережно брал конверт, еще бережнее вынимал письмо, перечитывал.

Он никак не мог расстаться и уложить в этот гроб, что было и есть и будет для него (забыть-то, верно, нельзя!) самым святым.

Карточки он уложил в один конверт: их было десять — и гимназические, и курсовые.

— Тюх-тюх! — представил он Олю:

так Оля соловья представляла: «тюх-тюх!»

И стал ходить от окна и до двери —

и от двери к окну —

В окно зеленый туман, сквозь туман электрические фонари.

«Варины именины!» — сестру вспомнил и с ней Бобровку, Нелиду Максимовну и Кушку, Федора Фалалеича и чудесного журавля, полет к солнцу по «финикулярной» дороге, весь дом, лето — всё, всё, что б ы л о связано с Олей. Или никогда не забыть?

«Ах, забыл!» — и он бросился к книгам — вот-вот придет Оля! — вытащил «Лекции» Ключевского, положил к шкатулке.

Шкатулка — Ключевский:

«Слушательнице Высших Женских Курсов Ольге Александровне Ильменевой. Знание и народ — вот два слова, которыми я определяю смысл и цель своей жизни».

— Тюх-тюх — а вышло горько —

сквозь зеленый туман — «огненной пастью, в поле блакитном» —

Оля.

— — —

А уж он и не знает, как.

— Вот шкатулка.

— — —

— Там ваши письма и карточки — возьмите!

И сквозь зеленый туман:

— Может быть, мне будет легче, когда их не будет.

И вдруг испугался:

днем фонари — это страшно: только покойников возят!

— Не уничтожайте! Полежат у вас, а потом опять мне!

— — а это — это лекции Ключевского.

«Лекции» Ключевского — большая редкость!

Оля взяла шкатулку, взяла книгу —

— Посидите немножко! — загородил дорогу и так просит, — посидите у меня!

В дверь постучали.

— Я никого не пущу! — он выпрямился весь, кулаки —

если бы вздумалось кому — —

А никого не было.

Или фонарщик в цилиндре?

— Тут живет шпион! — показал он на дверь.

Эта дверь, как у Оли, за комодом.

Оля села и вдруг поднялась.

— Нет, нет, — он опять испугался, — я думаю, не за мной!

— Достаньте мне Календарь Народной воли! — сказала Оля.

«Календарь Народной воли» — еще большая редкость, чем «Лекции».

— Не могу.

И он тяжело сел.

И дав зарок, нарушил: стал говорить о своей любви — что не может унять, не может забыть; и об одном просит, чтобы сказала ему —

что она его хоть немного любит!

Оля ничего не ответила — и чего ответить?

Так и ушла.

И было у нее такое чувство:

и радость — «наконец-то свободна!»

и тяжесть непомерная — «не сбросишь!»

А он — один — и ничего — никакой памяти — зеленый туман —

остается уехать и — — конец.

И тут почувствовал он в себе, как всегда, жесточайший азартный упор — он чувствовал это всегда, когда н а д о было что-нибудь делать б е с п о в о р о т н о —

когда надо было на поезд и по часам выходило пора, он начинал заниматься всякой ерундой или просто сидит, смотря на часы и наблюдая, как с каждой минутой остается всё меньше и меньше поспеть; то же и с назначенными и условленными часами, когда надо идти, чтобы встретить или застать, вообще поспеть, к доктору ли на прием, в полицию, на экзамены; только другая какая-то «жизненная» сила в нем же самом сдвигала его с места, подымая из его упора.

И теперь, когда «надо было уехать» — —

* * *

Ничего Оля не умела делать, только Оля умела паску: сырную и кулич —

няньки Фатевны наука.

И затеяла Оля сделать паску.

Зина и весь «миллион» хозяйки Ксении Ивановны от старшей Лели до самой младшей Лели и Вениамин Валерьянович, сын хозяйкин, все поставлены на работу:

один — вымочив миндаль, чистил,

другой — тер миндаль на терке,

третий — засучив рукава, растирал на сите творог,

четвертый — трудится над макотрой: лопаточкой мешал тесто,

пятый — месил,

шестой — подбрасывал,

у седьмого была работа: держать макотру, чтобы не скувыркнулась,

восьмой — работал над маслом: надо, чтобы масло растопилось, а не закипело (Боже сохрани, чтобы закипело!),

девятый — при яйцах находился: выпускал, отделяя желток от белка,

десятый — при молоке,

одиннадцатый — у печки, бережет духовку: чтобы было парно, но никак не жгло,

двенадцатый — бумагу режет для форм,

тринадцатый — маслом смазывает,

четырнадцатый — — всем работа, всему миллиону!

Вениамин Валерьянович не выдержал — тесто месил! — и под благовидным предлогом сбежал. Ну, и без него — Зина, сама Оля и от старшей Лели до младшей Лели без одного миллион! Самая младшая Леля натащила булыжников с мостовой: чтобы под пресс паску поставить.

И поднялся кулич: на руку — пух, откусишь — мед, а дух, никакие английские духи так не пахнут и цветов таких ни на полях, ни в оранжереях еще не цвело! и не съесть еще куска никак невозможно, и нет такого азартного упора остановить чтоб; а паска — прямо на языке тает! —

няньки Фатевны наука.

Вечером Оля угощала паской Зину.

И что-то с земли, с Ватагина было в комнате и по всей квартире, и соседка-жилица за дверью даже петь перестала и, напившись чаю с Олиной паской, сидела смирно и нюхала.

Ксения Ивановна постучала к Оле за йодом:

Вениамин Валерьянович, сбежавший под благовидным предлогом, чувствуя свою вину перед Олей, стругал палочку для проверки теста «на будущее время» и обрезал себе палец.

Оля рассказала, как она лечила бабу йодом —

Заболела баба, соседка. Ее дочка на ватагинском огороде работала, Евлашка. Баба Авдотья. Оля тогда на каникулы из Петербурга приехала, и сразу пошла слава. Евлашка рассказала Оле о матери: больна — «в грудях колет!» И просит чего-нибудь дать помазать. «Я сейчасу приду, сказала Оля, принесу йоду!»

— У мамы много пузырьков на комоде за зеркалом на всякий случай: и сода, и мятные капли, и борная. Смотрю — большая бутылка: Йод. Я взяла бутылку и к бабе. Натерли ей спину, грудь. Вся бутылка вышла. Не пожалела.

Оля никогда не жалеет, и за что примется — вовсю.

— Все руки выпачкала. Едва отмыла. На другой день спрашиваю Евлашку: что мать? «Лучше!» Пошла навещать. «Совсем хорошо». И поправилась Авдотья.

Прошло несколько недель, собралась Ирина ехать на вечер, а были у нее туфли бронзового цвету. «Где, ищет, мой лак для туфель?» По всем углам во всех комнатах ищет, всех спрашивает. И уж под последок к Оле: «Оля, не видала ли ты мой лак от туфель — такая бутылка: *Йод* написан?»

Не из говорящих

Анна Ивановна Синицына — не из говорящих.

Бывают же такие кроткие — не говорящие, оттого и имя у них такое —домашнее, тихое, ну вот, как Анна Ивановна.

Старше Оли курсом, а по летам вдвое: за тридцать.

Полная, медленная, неповоротливая, а глаза добрые, — и оттого что рябая, еще добрее смотрят —

обыкновенно, как раз наоборот: рябой, ой!

Олю с первой же встречи стала называть Олей — а Оля ее — Анна Ивановна.

На собраниях «Кружка декабристок» — такой кружок на Курсах: рефераты по «истории общественного движения в России» — бывала, но редко. Встречались на Курсах.

Ничего такого — Оля даже не знала, откуда Анна Ивановна и как она жила раньше, да и Анна Ивановна ничего не знала

о Оле , а встретит Олю, и так всегда обрадуется, — так ласково, добро добрыми глазами смотрит.

«Она за мной никогда не поспеет — думала Оля, — но она очень хорошая!»

А Анну Ивановну Оля радовала —

— Как познакомишься ближе с курсисткой, так она и исчерпается! — сказала как-то Зина.

— Так нехорошо говорить — возразила Анна Ивановна, — у вас и Оля исчерпается!

— Да вот — не исчерпывается никак!

Неисчерпаемость эта, в которую верила и восхищалась Зина, радовала Анну Ивановну.

* * *

Час был поздний.

Анна Ивановна положила под подушку чайник — самовара больше не дадут! — и подумала: почитает книжку, выпьет чаю и спать.

Там за окном декабрь, а в комнате тепло и книга интересная: «Рассказы» Чирикова. Есть и еще: Сеньобос, «Политическая история современной Европы», — два тома. Надо постараться.

В книге для Анны Ивановны — всё.

Другой жизни у нее нет.

Анна Ивановна знает хорошо: там, где людно, там ей не место — там надо чем-нибудь брать, а ей нечем. Когда она научится, кончит Курсы, —

она будет — «культурной работницей» будет — «приносить посильную пользу народу», «незаметная труженица».

Сеньобоса «Политическую историю» она отложила: надо с выписками! — села за Чирикова.

Очень интересно —

— — стук —

Оля!

«Так поздно?»

— Анна Ивановна, дорогая, пойдемте на вечер лесников!

Оля не собиралась, ей вдруг захотелось на этот вечер. А Зину не застала. И вот она пришла уговорить Анну Ивановну идти вместе.

— Но так поздно, Оля!

Анна Ивановна и обрадовалась — она всегда радовалась Оле — и шевельнулось тайное: тянет ведь на люди! И не хочется: начала Чирикова —и всё-то расстроилось.

— Да что же такого, Анна Ивановна, ну не к началу поспеем.

— Что ж, я с вами пойду, да вы меня оставите.

— Да не оставлю, Анна Ивановна. Вместе пойдем.

— Да вы, Оля, лучше у меня посидите. Напьемся чаю.

— Пойдемте, Анна Ивановна: там всё в елках убрано. Ближе к природе.

— Ну, ладно, — согласилась Анна Ивановна, — да вы меня не оставите?

— Не оставлю, Анна Ивановна.

Оля была в беленькой кофточке, нарядная —

Анна Ивановна надела свое парадное синее платье.

Анна Ивановна жила на Васильевском острове, на Малом проспекте около Трубочного завода. В Дворянское собрание поехали на извозчике.

И дорогой Анна Ивановна вдруг спохватилась:

«Оля ее оставит!»

— Да не оставлю, Анна Ивановна! — повторяла Оля.

* * *

Михайловская не Тучкова набережная — на вечер опоздали. Но это ничего! Взяли «входные» билеты. Разделись под общий номерок — чтобы уж вместе! И в зал — в толчею.

У Оли столько знакомых: один подошел, другой, третий —

Анну Ивановну и оттерли.

За разговором Оля и не заметила.

Антракт —

две волны идут и — —

Оля идет бурно в своей волне, очень ей весело. Бутоньерка с цветами еще алей цветет на ее белом. Вокруг нее столько — и лесники, и горняки, и студенты — и невозможно со всеми разговаривать.

А навстречу в другой волне Анна Ивановна —

попала в волну и движется.

И вдруг увидела:

— Оля, номерок?

И смотрит — добро смотрит —

голова набок, руки опущены.

Но волна захлестнула — Оля ничего не успела! — пропала Анна Ивановна.

Так до самого до конца вечера.

И где была Анна Ивановна — Оля ни разу не вспомнила.

Когда кончился вечер, Оля нашла ее у лестницы: стоит ждет —

без Оли ей ведь никак не выйти!

Анна Ивановна весь вечер то в волне, то в толчее, одна. А как бы тихо провела она вечер дома, — за книжкой. И не уйти ведь: без номерка платья не выдадут, номерок у Оли. Анна Ивановна роптала — голова набок, руки опущены — Господи! Но как увидела Олю: Оля глядела такая — всё в ней — гори-гори ясно!

— Анна Ивановна, не сердитесь!

— Я не сержусь — Оля!

* * *

Разговор за спиной:

«Мне не нравится Оля: какая-то ханжа, зажигает лампадку и всем улыбается! И кто ее знает: кто ей нравится, кто не нравится?»

«Мне нравится: она вся — самопожертвование».

Оля слышала — это было еще в начале ее курсовой жизни — и с тех пор стала замечать за собой: улыбается она или нет.

А раньше и не догадывалась.

Когда она приехала в Петербург, она всем верила — во всех видела хороших людей и в каждом — человека, желающего ей добра. И вот, встречаясь, всем улыбалась.

Эта улыбка ее — от глубокой веры в доброту и желанность человека. А от глуби веры — свет.

Ведь вера — огонь!

Улыбка ее чаровала — привязывала.

А привязанность к ней, что покорность.

Медленная Анна Ивановна стала чаще приходить на собрания кружка.

Анна Ивановна прочитала Маркса и Николая-óна — это в основу. И много другого: от Гобсона, «Эволюция современно-

го капитализма», до «Элементарной политики» Томаса Ралей, «Стихотворения» П. Я., «Современное положение учения о валюте» — Лексиса и статью Павловского, «Теория взаимного кредита».

Не говорящая Анна Ивановна вдруг заговорила.

Но то, о чем она заговорила и как заговорила, привело Олю в ужас:

Оля сразу почувствовала, что Анна Ивановна «склоняется» к с.-д.

Это «склонение» обыкновенно выражалось в тоне речи: из неуверенной становилась уверенной — «марксисткой», а для начала говорили, будто нет разницы между с.-д. и с.-р.

А ведь для Оли — «нет разницы!» — это кощунство.

Целую ночь не могла Оля успокоиться.

И только под утро додумала. Решила написать письмо.

И написала:

«— — я вижу прекрасно, что вы склоняетесь к с.-д., и прекращаю с вами всякое знакомство — »

Утром до Курсов — к Анне Ивановне:

Анна Ивановна что-то делала, зашивала что-то.

— Вот вам письмо.

— Садитесь, Оля.

Оля села.

— — — —

— Да что вы, Оля! Я нисколько не склоняюсь!

Оля молча поднялась.

— Вы пойдете, Оля, сегодня на Курсы?

— Да.

И ушла.

А на другой день на Курсах —

Оля быстро проходит по залу —

Анна Ивановна медленно ей навстречу, увидела Олю и так кланяется — —

А Оля голову вверх:

чтобы не подумала, что и она.

* * *

Студент Фролов — самый веселый из говорящих.

Фролов: «Идеальных мужчин можно найти, а женщин нет».

Оля: «Нет, есть».

Фролов: «Ну, кто же, Башкирцева?»

Оля: «Нет».

Фролов: «Ну, Софья Ковалевская?»

Оля: «Нет».

Фролов: «Ну, кто же?»

А Оля думает: «Софья Перовская».

И не говорит, не хочет: это имя — это такое святое для нее! — и она не может так просто произнести для разговору;

как никому никогда не скажет о самом святом своем — о Пасхе: потому что засмеют.

А «Пасха» — основа ее «революции».

Еще в детстве, когда думала она о «Страстях», то много мучилась:

«Вот это было и из-за меня, потому что и за всех».

И ей казалась самая лучшая дорога в жизни — пострадать за других.

* * *

Оле было стыдно жить спокойно и хорошо, когда другим плохо.

«Не хочу быть рабою с рабами, а хочу быть с теми, кого гонят за то, что хотят устроить счастье на земле, с теми, кто за это гибнет — хочу и сама пострадать!»

С.-р. привлекали ее, потому что, как ей казалось, они не материалисты и именно хотят пострадать — погибнуть; с.-д. своим материализмом отталкивали ее и оскорбляли ее веру — ее «Пасху».

Курсистка Орлова, старшая — по летам как Анна Ивановна, — ее Оля называла Александрой Александровной, — Орлова однажды заметила:

«Что вы, Оля, так нас не любите? И всего-то во всей России кучка людей, которые хотят социализма, и среди этой кучки ненависть».

А Оля, хоть и одолела всю премудрость от Маркса, Николая-она до безымянной статьи «О народном кадастре» и «Выкупных платежей» Ермолинского, никогда не представляла себе, что можно жизнь изменить так, чтобы все были счастливы.

* * *

Женя Шубина — самая ученая.

Женя: «Я считаю, Оля, что сомневающиеся выше фанатиков».

Оля: «Нет, фанатики лучше».

Женя: «Фанатики грубее, а сомневающиеся более чуткие».

Оля: «Но фанатики непременно что-нибудь да сделают, а эти чуткие — расплывутся».

* * *

Если Анна Ивановна кажется такой необыкновенно медленной, то это только потому, что на свете есть Соня Ефимова — живая, веселая, тоненькая — ровесница Оли.

Но по привязанности к Оле ни одна не уступит:

тут безразлично — что медленный, что быстрый.

Соня Ефимова, как и Анна Ивановна, не из говорящих.

Но она ни с.-д., ни с.-р. и ни к чему не «склоняется», просто барышня.

Соня часто провожает Олю с Курсов домой. И всю дорогу громко в глаза восхищается ею.

Оле она нравилась, но как была далека!

Оля никак не могла помириться с ее полным равнодушием к самому главному — к «революции», и что для нее совсем неважно: с.-р. или с.-д.

Женя Шубина тоже, но Женя, занимаясь наукой, все-таки «склонялась» к с.-р., а для Сони все равно.

— Не будьте такой нетерпимой, Оля. Вот я люблю вас, и вы мне милы просто как человек. А вы меня так отпугиваете всегда.

Оля хотела резко ответить, но ее обезоруживали слова Сони — всегда нежные. Но однажды ответила:

— Хорошие только и бывают революционеры.

Перед Курсовым вечером распределяли почетные билеты и большая была борьба между с.-р. и с.-д.: кому послать — оставался всего один билет —

Мякотину или Мартову?

Женя Шубина ходила по аудитории с листом, и все подписывались; кто за кого.

Оля подписала на Мякотина.

И слышит — Соня:

— Я подпишусь на Мякотина, чтобы доставить Оле удовольствие.

— Как? чтобы мне удовольствие! — крикнула Оля, — вы будете подписываться на Мякотина? Никогда! Женя, вычеркни. А с вами я не желаю больше быть знакомой.

И перестала кланяться с Соней —

как тогда с Анной Ивановной.

Встречаясь, Оля так могла смотреть —

смотрела, а будто не видела.

* * *

А это потом —

Не через год, через два —

Не в аудитории, не на шумном Курсовом вечере, не в комнате на Васильевском острове, а в тюрьме — в Предварилке на Шпалерной.

В тюрьме Оля всё припомнит.

Вспомнит и Анну Ивановну, и Соню —

добрую медленную Анну Ивановну, нежную живую Соню.

Соне она написала письмо — зашифровала

«— — не сердитесь, что я к вам была резка, не сердитесь на меня».

И получила ответ — по почте через жандармов:

«я вас считаю выше всех людей!»

И с письмом — а н г е л: на стекле нарисован. А когда из тюрьмы выпустили, едет Оля на извозчике и близко уж от дома на Среднем проспекте —

навстречу ей медленно Анна Ивановна.

Оля схватила извозчика да что есть голоса:

— Анна Ивановна!

Та вскинулась — не верит! — а поверила:

— Оля! Вы так изменились; вы — меня позвали!

Нельзя

Люди делятся: на просто хороших и замечательных —

просто хорошие — это те, кто идет на жертву за других, замечательные — кто идет на жертву до конца и ничего личного не имеет.

Например, замечательный человек не может жениться.

— Жениться или выйти замуж — нельзя!

На Курсах был устроен «Бракоразводный комитет», влившийся потом в «Струю единения». Зачинщицы: Варя Финикова, Оля, Лида Алексеева и Нина Мавлютина. Цель комитета: предупреждать браки —

«а если не удастся, то разводить».

Когда узнавали, что какая-нибудь «стоющая», т. е. революционная, курсистка выходит замуж или «стоющий» студент женится, посылалось письмо — стихи:

есть дни, когда так пошл
венец любви и счастья!

Комитет действовал. Но к великому огорчению ни одного брака не предупредили и никого не развели: кому задумалось, так же женился, как и до стихов, и кому решено, выходил замуж и со стихом.

«Стоющая» курсистка Надя Ширяева вышла замуж за студента-лесника Кожевникова, тоже «стоющего». Пришла на Курсы. Здоровается.

— Оля, я в ваших глазах потеряла половину?

Оля сурово:

— Нет, три четверти.

Елена Ивановна Мавлютина, мать Нины, пошла на пари с Олей:

«Если до двадцати пяти лет Оля не выйдет замуж, она даст сто рублей Оле и сто рублей Нине; если же выйдет — »

— Мне от вас ничего не надо.

А Оля:

— Лучше в могилу, чем замуж.

И одно жалеет: ждать долго — целых восемь лет! — а получить бы сто сейчас.

— Нельзя жениться и выходить замуж.

— Нельзя танцевать.

— Нельзя наряжаться.

— Нельзя причесываться по моде.

— Нельзя — — — чего еще?

Варя Финикова — законодательница «нельзя», она же и образец:

большая, белые, как лен, волосы в скобку, неизменно в черной блузе со стоячим воротником, и хоть ей семнадцать, как и Оле, а какая-то вся линючая, походка — углом, а в слове — подчеркнуто: грубо и резко.

Финиковой старались подражать:

Женя Шубина, совсем другая, — всякий на нее заглядывал! — Женя старалась размахивать руками, когда с Варей шла по Среднему проспекту; Оля танцевала, любила танцы — перестала танцевать; Лида Алексеева — остригла волосы.

* * *

Самым хорошим в мире — святое имя: Софья Перовская и Вера Фигнер —

Вера Фигнер — потому что столько лет сидела в Шлиссельбургской крепости, Софья Перовская — повешена: принесла самую большую жертву, какую только может человек.

На Курсовом вечере в Дворянском собрании пел Фигнер.

Оля — ей очень понравилось — сидит молча. Зина аплодирует.

— Почему ты не хлопаешь?

— Его сестра — в Шлиссельбургской крепости, а он на императорской сцене: я не желаю ему хлопать.

После Фигнера Тартаков.

Оля хлопает — отбила все ладоши.

— А почему ты знаешь, — заметила Зина, — может, брат Тартакова в ссылке?

Оля очень рассердилась.

И главная ее всегдашняя досада:

что и Зина не «до конца».

Зина — самая любимая и самая близкая. И Оля часто с ней ссорится.

Первая крупная ссора из-за «нельзя выходить замуж».

Зина сказала:

«она не собирается, но, может, когда-нибудь и выйдет!»

Оля долго сердилась, а в день мира Зина ей подарила маленькую колоду карт — как раз любимое Олино — «маленькое».

И всякий раз, когда мирились, Зина говорила:

— Я хотела подойти к тебе и сказать: «Да ведь я — Зина! чего же ты сердишься?»

А Оля хотела, чтобы Зина так же, как и она сама, была всегда «до конца».

«До конца» в духе только у Оли — потому она и коноводит. И без всякого — в ней нет этого, ну чтобы непременно первой:

— Не всё ли равно, — говорила Оля, — кто сказал, лишь бы было сказано.

А внешне — у Финиковой, до опрощения которой, как ни старались, никто не мог достигнуть —

ну, конечно, сама природа помогла ей стать образцом.

Не «до конца» — разное: не «до конца» — это большинство — это сочувствующие — это те, что шли «за компанию»:

хотели не отстать по виду и как можно дольше поберечься.

Оля проходила науки — изучала историю, и философию, и литературу — всякие курсы: Введенского, Гревса, Котляревского, Платонова, Шляпкина. И всё это ей казалось так, между прочим, самым же главным — читать, изучать и разговаривать:

«как жить той жизнью, чтобы пожертвовать собой, и как жили те, кто пожертвовал собой?»

Оля думала об этом и додумывала до самых мелочей.

Как-то поехали в Лесное компанией. Очень проголодались. И все только об этом и говорили.

А Оля говорит:

— А как Перовская 1-го марта утром, пила что-нибудь или нет?

(1-ое марта — день, когда для Перовской определилась ее жертва).

Оля никогда не думала,

«что вот Перовская убила —»,

Оля думала только о том,

«что Перовская пожертвовала собой».

* * *

Вечеринка —

Конечно, спор: спорят с.-р. и с.-д. —

взлохмаченный мужиковатый «народник» и городской, уверенный, всегда хорошо одетый «марксист»,

краснощекая, пышущая паром земля и стальной мерный молот — кто кого?

Конечно, студент Фролов — танцор, спорщик, запевала («Эй вы, синие мундиры...») — «душа веселья», по словам Сони Ефимовой, всегда танцующей на вечеринках.

Конечно, песни, — революционные, студенческие и непременно —

закувала та сыза зузуля
ранным рано на зари...

что-то от «Слова Игорева», песен половецких, запавшее на скованную льдом Неву.

И непременно:

«прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми».

И танцуют.

Но вечер не в вечер, и спор не в спор, и прогресс не в прогресс, и сам Фролов не веселье, если нет чего-нибудь такого: Чириков, например, приехал —

На вечеринке присутствовал вернувшийся из Сибири с каторги старый революционер-народоволец. Фамилию его скрывали из конспирации.

Оля была в восторге — в первый раз своими глазами она видела того, кто был на каторге.

Старик тоже заинтересовался и сказал Оле величайший комплимент, какой только она могла представить себе:

он сказал Оле, что она ему напоминает Софью Перовскую.

А на другой день пришел к Оле в гости. Расспрашивал о Курсах, о их кружке.

А Оля — о своих «кумирах»:

ведь он знал их лично!

А сама всё думает, хочет узнать:

просто ли он хороший человек или замечательный, т. е. женат или нет?

А спросить неловко.

И наконец придумала:

— А скажите, сколько людей живет в том доме, в котором вы живете?

Старик расхохотался:

— Вы, наверно, хотите знать, женат я или нет?

— — —

— Я женат, и у меня дети. Вы, наверно, думаете, что нельзя жениться?

Оля смутилась.

Но она уж знала:

перед ней просто хороший человек, но не замечательный.

* * *

За Олей студенты ухаживали —

Черкасов, Оводов, Рашевский, брат Зины, Фрид — у всех на виду, про это знают все Курсы!

Оля видела, что она нравится —

и ей это было приятно.

Но она никогда не сознается, что это приятно.

Оля старалась думать, что это очень нехорошо и что Варя Финикова куда лучше ее:

«потому что за ней никто не ухаживает!»

Само слово «ухаживать» зачислено было в «нельзя», нельзя было даже произносить его.

Когда Оля приехала на каникулы в Ватагино, Наталья Ивановна сказала ей:

— У нас все говорят, что Владимир Михайлович Черкасов всё для тебя устраивал в Петербурге. Вообще ухаживает.

— Мама! — вспыхнула Оля, — не оскорбляй меня: за мной никто не может ухаживать. Это — у вас.

— Ну, я не знала, как это у вас называют.

* * *

Оля хотела жить по той правде, которая открылась ей от «Страстей»:

чтобы ее гнали и в конце концов она погибла.

Оля хотела найти таких же — жаждущих погибнуть по тому же.

И сначала ей казалось, что и все так. Но понемногу она стала замечать, что не все, и по-другому:

Маня Сажина хочет отомстить кому-то за всё зло, за всю беду, какую она видела с детства — она жила с матерью и братом

очень бедно; Лида Алексеева хочет своей гибели, пожалуй, как и Оля, но что-то и еще есть в ней, чего Оля никак не поймет, только чует: Лида кроткая, не властная, покорно готовая — — в петлю; Зина Рашевская, самая близкая и любимая. — —

Оля была уверена, что и она, и Зина «погибнут» — жить долго не будут.

А Зина — Зина хотела жить.

— Ну, пускай, Оля, нас хоть в каторгу сошлют, чтобы только мы жили!

* * *

На лекции Гревса по «Истории средних веков» Лида Алексеева сказала Оле:

— Хочешь увидать Ильину?

— Ну, конечно, хочу.

Оля хорошо знала «Историю революционного движения», и это имя было для нее «кумиром»:

Ильина двадцать лет пробыла в Сибири!

Целой ватагой курсисток отправились с Васильевского острова на Троицкую к сибирякам, приютившим Ильину.

Ильина встретила очень ласково.

Ильина рассказывала о Перовской и Желябове.

Оля не проронила ни слова. Но не всё было так, как ей хотелось: некоторые слова коробили и удивляли.

«Желябов был женат!»

Если тот старик-революционер был женат и имел детей — «просто хороший человек» — это возможно, но «замечательный» — а другим Желябов не мог быть —

— Как это может быть? — возмутилась Оля, — неправда!

— Ну, вот еще, — рассмеялась Ильина, — такой красивый, горячий, да ему хоть всякий день влюбляться, а ты ему жениться не позволяешь!

Демонстрация

В воскресенье затеяли сниматься.

В Александровском саду около Жуковского — сборный пункт:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина.

Последняя пришла Варя Финикова — опоздала:

она только что встретила Брусилову, ходившую на свидание в Петропавловскую крепость с курсисткой Фирсовой.

— Фирсова отравилась в крепости уж полтора месяца. Только скрывали... отравилась она потому, — и уж не говорила, а вызвякивала Финикова, — ее прокурор изнасиловал!

— Так этого оставить нельзя! — вспыхнула Оля.

— Нельзя! нельзя! — выкрикнули враз всей компанией.

— Митюриков повесился — и это прошло бесследно. Боровкин в пролет бросился —

И Оля стала приводить примеры тюремных самоубийств, остававшихся безответными: историю революционного движения она знала лучше всех.

И подожженной кипящей вереницей шумно тронулись на Невский к фотографии Жукова, чтобы затем немедленно же приступить к обсуждению:

что делать?

И без того шумно на улице — весна. А когда еще горит — ничего не разберешь: и не одну пластинку испортил фотограф, пока, наконец, не щелкнул:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

* * *

Переполненная аудитория, — весенняя улица:

и рев, и скребки, и слит голосов.

Брусилову вытащили на кафедру:

Брусилова — первая и единственная, знавшая о Фирсовой, должна сообщить всем.

Безголосая — вряд ли услыхать и с первых рядов — застенчивая и робкая Брусилова начала.

А слабые ее слова повторялись громко и по несколько раз во все концы громким горячим кольцом курсисток:

— Фирсова отравилась в крепости уж полтора месяца —

— Только скрывали —

— А отравилась она потому —

И голоса зазвенели еще звонче:

— Ее прокурор изнасиловал —

— Так этого оставить нельзя!

— Нельзя! — подхватили, — нельзя!

— Митюрников повесился.

— Боровкин в пролет бросился.

— Нельзя! нельзя! — кричали со всех сторон и изнутри, и с потолка, из самых стен.

Предложено было обсудить:

что делать?

И гудел один взрывчатый гуд:

— Нельзя — — что делать?

И в конце концов решено было известить студентов и с ними сговориться.

* * *

Второй день гудели Курсы.

Занятия прекратились. Кроме курсисток в аудиторию никого не пускали.

— Что делать? — другого вопроса не было.

Не пускали и комитетских дам: они дежурили на лестнице и отговаривали курсисток, запугивая Курсами:

«Курсы на волоске!»

«Курсы закроют!»

«Университет не закроют, Курсы закроют!»

И когда после споров и криков решили наконец отслужить панихиду в Казанском соборе — «и чтобы как можно больше народу!» — и это совпадало с решением студентов, напуганные курсистки стали вносить свои предложения.

— Отслужить панихиду в Исаакиевском —

— чтобы не так заметно.

— Нет, каждый пусть отслужит отдельно от себя —

— чтобы совсем тихо.

И опять всё перекувырнулось — бестолочь, смех и сердце.

— Глупости! — крикнула Оля, и так крепко: она действительно была, как красное платье («когда осержусь, стану, как платье!»), с ней не пошутишь.

Свистом и смехом запуганных прогнали.

Пробовала было возразить курсистка Орлова принципиально:

что буржуазная демонстрация не достигнет цели и что надо, не распыляя сил, сконцентрировать энергию на более важной работе среди рабочих.

Но и Орлова поддалась перед горячностью Оли и уступила, а к ней присоединились и другие с.-д.

Так и осталось:

отслужить панихиду в Казанском,

и чтобы как можно больше народу!

Профессоров тоже не пускали в аудиторию. И все-таки одному удалось: это был любимый, хотя и не раз освистанный, Воркунов. И допустили его потому, что одна из комитетских дам сказала, будто «он знает и может сообщить прямое и верное средство».

Шум на минуту улегся.

— Да, это факт ужасный, возмутительный, но не этим можно помочь... — горячо сказал Воркунов.

— Какое же средство хочет сообщить профессор? — громко спросила Зина.

— Молчи! Ты ничего не понимаешь! — крикнула ей с другого конца Оля.

Но Зина не пронялась и еще раз повторила вопрос.

И еще громче и повелительнее крикнула ей Оля:

— Молчи! Ты ничего не понимаешь!

И примолкшие вдруг хлынули голоса и гулом заглушили все слова:

Воркунов так и ушел, пообещав в следующий раз сообщить прямое и верное средство.

Оля распоряжалась — за ней и перед ней живая взбудораженная стена. Зина едва пробралась.

— Оля, почему ты не дала мне говорить?

— Ах, какая ты глупая, разве можно было об этом спрашивать? Ты знаешь, про какое средство он говорил?

— Про какое? — виновато посмотрела Зина.

— Убить прокурора — вот верное средство.

— Убить прокурора! — повторила Зина.

И так же, как Зина, протиснулась к Оле какая-то незнакомая, невзрачная, заметная только своей красной кофточкой.

— Знаете, — сказала она — лучше бы послать письмо матери Фирсовой.

— Да ее мать — прачка: кто ее послушает! — и Оля резко отстранила ее рукой.

Но та и еще раз — всё о письме.

И уж Оля просто отпихнула, ничего не ответив.

А когда стали расходиться и в аудитории остались только самые неугомонные, Оля вспомнила эту плюгавку в красной кофточке, и ей захотелось отыскать ее, объяснить и извиниться.

Красная кофточка мелькала по группам.

И Оля подошла –

ей жалко было заморенную, смотревшую еще замореннее в своем красном.

И, как только можно, ласково Оля принялась толковать ей, что письмо – бессильно, что мать Фирсовой по своему положению – прачка! – ничего не может, что ей и пикнуть не дадут.

– Да ведь она – мать, кому же ближе!– моргала незнакомая.

Но Оля уж рассказывала ей о действительно верном средстве, которое могло бы поправить что-то:

– Убить прокурора!

– Ильменева! – перебила надзирательница (эту надзирательницу на Курсах любили), – Ильменева! Подите сюда!

Оля и не шевельнулась – она продолжала рассказывать незнакомой обиженной ею курсистке о своем прямом и верном средстве:

и потому, что это так верно,

и потому еще – она хотела загладить свою вину перед ней.

– Ильменева, я вас очень прошу! – звала надзирательница.

– Да что вам надо? – недовольно отозвалась Оля и бросила незнакомую, пошла к надзирательнице.

– А вы знаете, с кем вы обнимались?

– – –

– Ведь это шпионка.

* * *

Канун прошел в сплошном крике.

Воркунов сказал-таки о своем прямом и верном средстве.

И каково было смущение Оли, когда средством оказался совсем не прокурор – «которого убить надо!» – а старая влиятельная фрейлина Лутохина, она же и комитетская дама, к которой советовал обратиться профессор.

Зина опоздала.

Зина вбежала в аудиторию, когда уж свистки выпроводили профессора с его верным средством, и лишь отдельные свистульки прорезывали голоса.

— Стачка среди баб! Стачка среди баб! — бегом кричала Зина и Оле, и всем.

И хотя стачка у Лаферма среди папиросниц не имела никакой связи, но весть о стачке подняла дух, и еще крепче скрутило и еще тверже поставило на своем:

завтра в двенадцать в Казанский!

* * *

Как прошел вечер и ночь!

Оля и Зина выбились из сил, ничего не ели и не могли заснуть.

А наутро к полдню студенты и курсистки стали собираться в Казанском соборе — входили не сразу: Оля пришла со студентом Оводовым, Зина с Фроловым, и все так.

И собор наполнился — тесно.

Сейчас будут просить отслужить панихиду: «новопреставленная Варвара». И, конечно, откажут, тогда —

Священник отказался служить панихиду.

И тогда — а это было сильнее окрика и крепче плети! — тогда враз тронулись с места, и уж не парами, а грозной стеной — к выходу. И на паперти громче весеннего стука зеленым шумом древний русальный клич —

вечная память.

И покатилось — на Невский, как в разлив широкая Нева волну катит —

вечная память — вечная память.

И тут произошло, что полагается — демонстрация в Казанском соборе не впервой, и — разделенные казаками у выхода разбились на три группы, и каждая пошла своей дорогой.

Оля очутилась в группе самой громкой на Казанской.

И до самой Казанской части — в цепи жандармов — шла с венками под русальный гул —

вечная память.

Оля была счастлива.

* * *

На опустелых Курсах большой переполох: и то, что Курсы «висели на волоске», и то, что курсисток задержали в Казанской части.

Все комитетские дамы были «поставлены на ноги».

Директор поехал к градоначальнику.

— Моих-то отпустите! — просил директор.

— Ваши-то и кашу заварили.

Пришлось воспользоваться указанием «прямого и верного средства», предложенного курсисткам профессором, и с помощью старой влиятельной фрейлины Лутохиной дело уладилось.

Поздно ночью Олю и других курсисток выпустили из Казанской части.

Курсам сделан «строгий выговор».

И стали поговаривать, что «заваривших кашу» вышлют, — а они были все налицо:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

— Что же нам делать, Зина? Нас могут выслать! Хорошо совершеннолетним: выбирай город или назначат какой, а нас ведь к родителям.

— Что же нам делать? — приуныла Зина.

— А давай сделаем, как Софья Ковалевская! — нашлась Оля. — Мы можем фиктивно выйти замуж.

— Да за кого?

Ломали голову и ничего не могли придумать.

— А вот что! — обрадовалась Зина. — У меня есть и еще брат — Алексей, студент в Казани, и у него, я слышала, большой приятель — Муратов. Давай сделаем так: я за Муратова, а ты — за Алексея.

Оля согласилась.

И, не откладывая, написали письмо в Казань:

«мы, две курсистки, принимали горячее участие в демонстрации и боимся, что нас вышлют. Для нас хуже всего, если вышлют к родителям — а именно к родителям нас и вышлют! Не можете ли вы с нами повенчаться фиктивным образом, если нас будут высылать. Ответьте поскорее, потому что, если вы не согласны, мы обратимся к другим».

* * *

На Курсах, как только объявили о возобновлении занятий, решено было в первый же день после лекций выразить одобрение трем профессорам, которых видели в Казанском соборе на демонстрации.

Курсистки выстроились от профессорской — в зале, по коридору, по лестнице — до раздевальни. И когда проходили профессора, одних пропускали молча, другим же, «сто́ющим», каждая, аплодируя, говорила: спасибо!

А Воркунова решено было освистать: и за то, что «головы дурил» своим верным средством, и еще за то, что сказал:

«демонстрация не поможет!» — и еще — «среди курсисток есть несколько террористок-революционерок, а остальные, как стадо баранов!»

Предлагали освистать в коридоре же, чтобы еще резче было после одобрения «сто́ющих», но «заварившие кашу» воспротивились:

Воркунов был любимый профессор!

Нет, пусть под конец его лекции войдут в аудиторию математички — это и будет сигналом.

Ожидание было ужасно.

И когда стали входить математички, Соня Ефимова не выдержала и упала в обморок.

— Вот результаты вашей демонстрации! — сказал Воркунов и вышел, как вошел.

Все были заняты Соней — хрупкая, тоненькая, позеленевшая, как стеклышко.

Так и пронесло — не свистали.

* * *

Начались экзамены.

Из Казани получилось письмо — ответ.

Писал Алексей, брат Зины, и его приятель Муратов, оба и подписались — «студенты второго курса медицинского факультета Казанского университета».

«письмо ваше получили и видим, что вы девицы молодые и неопытные. И хотим вас предупредить: во-первых, по российским законам муж имеет право требовать к себе жену, когда угодно, и даже по этапу — хотя мы вас требовать не собираемся,

но вы нас не знаете! — — во-вторых, по российским же законам, жена имеет право требовать от мужа третью часть имущества — мы просим вас, чтобы вы не требовали! Если, эти два пункта обсудив, вы не измените вашего решения, то, когда вас будут высылать, дайте телеграмму, мы приедем и с вами повенчаемся».

Письмо успокоило — как гора с плеч:

больше бояться нечего — в случае чего...

Экзамены шли легко и весело — и всё кончилось успешно: Оля и Зина перешли на третий курс.

И никого не выслали.

Все сами разъехались — в гнезда к родителям:

Оля — в Ватагино,

Зина — в Казань.

Котенок

Ватагино встретило Олю поцелуями, теплыми слезами от радости и смертельною скукою. Старики старились — им-то не видно, а Оля всё замечает. Пересказываются старые рассказы с подробностями — их все до мелочей помнит Оля — и ничего не загадывается, ровно бы и мир вот-вот кончится.

«Да вот умерла и Авдотья Моисеевна — —»

И смерть пробудила память о голубом детстве — о «несознательных» днях по-Олиному по-теперешнему — Оля считает начало своей жизни с Петербурга! — а мяуканье Плика-кота напоминает, что ушла Авдотья Моисеевна, но не вся ушла на тот свет, а какой-то тихой своей желанностью осталась на земле в Ватагине и незаметно сторожит Олины нетерпеливые дни.

* * *

Авдотья Моисеевна с одной барбарисинкой выпивает чашку чаю.

Ирина, и Миша, и Оля, и Лена смотрят на нее с восхищением. Сами они едят варенья помногу. Больше всех Миша. В гостях Миша не ест, всегда отказывается:

«потому что ему нужна вся вазочка!»

А тут одна ягодка — на целую чашку.

И это всегда — всеми замечено — всякий раз, когда к Ильменевым приходит Авдотья Моисеевна.

* * *

Авдотья Моисеевна соседка. За Перовым садом в саду ее маленький дом. Очень бедная, одна — и много детей. Бессменно в сером, часто вздыхает. Рот у нее так устроен, будто в ямке — Оля говорит, что с ней целоваться очень неудобно: не достаешь до губ! И вся она худая, а глаза добрые-голубые. Детей называет ласкательно: Оля, Миша, Лена. Только старшую Ирину — Ириной Александровной: Ирина сверстница ее Вари.

Кроме барбарисинки, с которой Авдотья Моисеевна может выпить целую чашку, — Оля это давно заметила, первая память о Авдотье Моисеевне совсем другая:

приехала из Киева Ирина на первые каникулы — шляпа на ней была соломенная с вишенками; шляпка лежала в прихожей; Оле и Лене шляпка понравилась, и они из прихожей не вылезали — любовались, ну, а потом добрались до вишенок, все вишенки и оторвали; и когда хватились, было уж поздно: от вишенок ничего не осталось, и огорчилась не только Наталья Ивановна и, конечно, Ирина, но и Авдотья Моисеевна —

* * *

Лена любит котов, у нее их целый завод:

окотится кошка, всех котят бережет, никому не отдаст.

Ропщут — от котов проходу нет: Плик, и Флик, и другой Плик, и другой Флик, Цап и Хап — пищат, цапаются, Бог знает что! Хорошо, когда летом Плик, любимый кот, спит после обеда в ямке под окном на солнышке и снится ему на загладку молоко, а другой Плик наестся молока и спит в саду, и во сне ему ничего не снится. А зимой да в погоду — не дом, а кошкин дом.

Авдотья Моисеевна просит у Лены котенка.

Лена ни за что —

Лена плачет.

Это было после обеда: Авдотья Моисеевна пила у Ильменевых послеобеденный чай с одной ягодкой вишневого варенья. Потом ушла. А вечером пришла Варя и, хоть теплынь на воле — Петровки! — закутанная, в большом платке. Посидела — о котятках ни слова — и ушла.

На другой день Лена не досчиталась котенка.

И в слезы:

рыжий, самый любимый!

Оля сказала:

«Наверно, Варя вчера под платком унесла; оттого и в платке приходила!»

Оля сама не любит котов — равнодушна; не ее коты — нет у нее к ним нежности. Но ей Лену жалко. И она хочет непременно дознаться, где котенок!?

О котенках только и разговору —

весь дом окотился!

«Не брала Варя котенка!» — успокаивает Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна послала прислугу к Варе. Христя вернулась — принесла ответ:

котенка не брала!

Поверили. Да и как же иначе? — А, может, всё это подстроено? И Христя никуда не ходила? А Варин ответ — да просто подучили! Нет, такой догадки тогда не могло быть. И осталось: Варя не брала.

«Но где же котенок?»

Лена плачет —

поплакала и забыла.

А Оля даже рада, что одним меньше —

но не забыла.

Варя по-прежнему бывала у Ильменевых, но никогда больше не видели на ней такого большого платка и о котятках она не заговаривала, как и Авдотья Моисеевна.

В конце лета Варю понесли лошади — она упала на грудь. И всегда-то была чахлая, а тут — слегла. Стали говорить: скоротечная чахотка. Потом нянька Фатевна сказала Оле, что Варя умерла и хоронят ее на старом кладбище.

«Мимо нашего дому не понесут».

Оле жалко Варю:

Варя была веселая и носила им груши — «вкусные!»

«Тужить нечего, — сама с собой разговаривала нянька Фатевна, — у Авдотьи Моисеевны детей много, с детьми трудно! ничего: одним меньше».

После похорон пришла Авдотья Моисеевна — она давно не была у Ильменевых — еще меньше стала она, губы еще дальше, глаза голубее. За «ягодкой», бережно отхлебывая чай, она рассказывала о Варе: как Варя болела, как из горла кровь лилась — и как перед смертью исповедалась и причастилась.

«Авдотья Моисеевна, — вдруг спросила Оля, — а Варя созналась перед смертью, что унесла у Лены котенка?»

«Перестань! глупости — — !» — строго сказала Наталья Ивановна.

А Авдотья Моисеевна сквозь слезы засмеялась.

* * *

С поступлением в гимназию для Оли открылся новый мир, отодвинул первые встречи дома, заслонил своими думами и делами раннее. Когда Оля приезжала на каникулы домой, по-прежнему Авдотья Моисеевна появлялась за чаем, но по привычке Оля ее не замечала, да и Авдотья Моисеевна была незаметна в своем сером, со своими вздохами и одной ягодкой.

Самый большой сад в Ватагине — Перовых: его не пройдешь и заблудишься. А Воронцов и сравнить нельзя, а славился грушами. К Перовым в сад ходили гулять, в Воронцов только по делу — к Авдотье Моисеевне.

Летние дни, в особенности когда зажужжат мухи, медленные, не знаешь, куда и деваться, а вечера зато на волю тянут.

Оля зашла в сад к Авдотье Моисеевне.

Дети ее, как и Оля, выросли, и не было их так много — всякий к своему прибрался, не в груде, как раньше.

Сидели на скамейке и ели груши.

А кругом груши с дерева падали — и такой особенный звук:

«упавшая груша самая вкусная!»

Авдотья Моисеевна подбирала — и Оле.

Сидели молча.

И только рыжий кот, свернувшийся калачиком у ног, — какой-то Плик — мурлыкал.

«Авдотья Моисеевна, расскажите мне про папу и маму, чего я не могу помнить?»

«Ну, вот однажды, — сказала Авдотья Моисеевна, — приехали ваши — папа и мама в Ватагино на несколько дней, жили они в Покидоше, и много гостей пригласили. А бабушка Анна Михайловна рассердилась, что ее не предупредили, «будто уж не она хозяйка!» — взяла заперла все комоды и уехала. Приезжают гости, мама ваша волнуется: нет ни салфеток, ни скатертей, ни ложек, ни вилок — всё заперто. Ложки и вилки я принесла, а скатертей и салфеток у меня на такие столы нет. Тогда папа, приглашая гостей к столу, говорит: «Кушать подано —

и теперь мода: без салфеток и без скатертей!» Это сестра его младшая Надежда Павловна постоянно настраивала против мамы бабушку Анну Михайловну».

Авдотья Моисеевна рассказывает подробно:

и какая Наталья Ивановна была красивая, и какой Александр Павлович был хороший и добрый, и как у Надежды Павловны не было бровей.

И незаметно переходит к своему — от запертых комодов к запертой комнате —

как однажды к ней приехали офицеры, просятся переночевать.

Авдотья Моисеевна пустила переночевать, накормила их и напоила, а для безопаски — неизвестные ведь! — на ночь их комнату на ключ и заперла.

«А наутро отперла. Ничего, поблагодарили и уехали. Лето было. Слышу что-то в комнатах: нехороший дух. Конечно, всё на кота свернули. Всегда кот виноват! Стали по углам шарить — ничего нет. А несет. Под вечер остатки от обеда решила я в печку поставить на ночь — самое холодное место печка летом! Открыла дверцу, а там ну, — как то самое место: это те несчастные, запертые».

Оля очень смеялась:

и запертые комоды с салфетками,

и запертая комната —

Кот Плик проснулся.

* * *

И вот опять — Ватагино.

А Оля совсем большая — Оля петербургская — курсистка.

А дом — как тогда сгорбился, так и смотрит.

За послеобеденным чаем Авдотья Моисеевна — та же. И та же ее ягодка одна:

три чашки — три ягодки.

Оля с ней не разговаривала — не о чем. Так и ушла Авдотья Моисеевна.

С час прошло, уж давно со стола убрали, стали ладиться на вечер, вышла Оля: пройти по старым местам — на мельницу.

Идет она по улице — а на росстани за цвинтаром видит:

сидит на колоде Авдотья Моисеевна.

— Что это вы, Авдотья Моисеевна?

— Не могу сразу пройти столько! Вот — отдохну...

«Да ведь это так близко!» — но Оля не сказала, села рядом.

Авдотья Моисеевна говорила, останавливаясь — задыхалась: она говорила о Оле, как ее из всех любила больше и всегда ждала чего-то хорошего! оборванные вишенки припомнила — Оля тогда была совсем маленькая. Потом о своем: что умерла соседка старуха Софья Петровна и другая соседка — дом к ее дому! — старуха Анна Ивановна.

— Смерть всё ближе ко мне ходит!

И вдруг засмеялась:

про котенка вспомнила — — как это Оля тогда спросила:

— «Созналась ли на исповеди Варя — — ?»

* * *

К вечеру вернулась Оля с мельницы. Дома ее встретила новость:

умерла Авдотья Моисеевна.

— Вскоре, — говорили, — как пришла домой от нас.

И вспоминали.

И «ягодку» помянули, и о галушках:

ни у кого таких не было вкусных галушек — черные, облитые маслом, со сметаной и чесноком!

И как любимыми душистыми галушками Авдотья Моисеевна детей потихоньку кормила.

А про котенка и забыли.

— —

Оля никому не сказала, что видела Авдотью Моисеевну на колоде и сидела с нею. А то, что Оля бросила ее — не довела домой под руку, а ведь надо было предложить! — это Олю мучает.

Глаза у Авдотьи Моисеевны на колоде были совсем небесные, а рот так далеко — не видно:

тихая и незлобивая

— о ней никогда никто не говорил! — она — со всеми и както отдельно жила.

Что делать

Летом Оля подолгу не могла жить в Ватагине: скучно.

Оля уезжала из деревни в город и там гостила у Мавлютиных:

Нина Мавлютина, курсистка — подруга Оли.

Дом Мавлютиных славился в Покидоше: говорили как о гнезде либералов, а сама Елена Ивановна — голова либеральная или просто либералка.

Елена Ивановна и вправду детей ни в чем не стесняла. Одно исключение: запрещалось ходить босиком и кататься на лодке. Странно: такие пустяки — лодка! — и всегда такой ужас, когда Елена Ивановна вдруг узнает, что катаются на лодке.

Конечно, и на такой запрет обход нашелся.

Поздно вечером, часов в десять, когда Елена Ивановна шла к себе спать, тихонько вылезали через окно — а там у ворот поджидают! и хоть всю ночь катайся. А под утро опять через окно тихонько.

А кроме лодки у Мавлютиных полная свобода — и дом Мавлютиных действительно «гнездо» — сбор молодежи со всего города.

* * *

Оля и Нина постоянно заняты: они «пропагандируют» —

развивают Катю, сестру Нины, гимназистку, которой только что минуло двенадцать, и ее подруг-гимназисток, не старше.

В ходу все финиковские «нельзя» и особая «революционная азбука».

Гимназистки, обожающие Олю и Нину, добросовестно повторяют все их слова.

Оля: «Кто лучше — с.-р. или с.-д.?

Катя: «Конечно, с.-р., разве можно сравнивать».

Нина: «Пойдет Россия по пути капитализма?»

Катя: «Нет».

Нина: «Почему?»

Катя: «Рынков нема».

И Катя, и все ее подруги убеждены, что «рынки» — это как покидошенский базар, где летом среди гор кавунов, гарбузов, дынь и всякой цыбули не очень протиснешься, и очень хорошо пахнет травой, укропом и чесноком.

При доме большой сад.

В саду под липами собираются курсистки и студенты — всё это приезжие на каникулы домой. И ведут длинные умные разговоры.

Чаще всех: студент Бордонос — из семинаристов, груб и нескладный — «Колода», и только что окончивший, высланный из Петербурга Фрид — тонкий, вылощенный, по прозвищу «Бедненький», он женат, двое детей.

* * *

После обеда тихо и мирно пили чай на балконе.

В Покидоше варенье умеют варить не хуже ватагинского. А Оля, и Нина, и Катя — большие лакомки. И разговор про всякое варенье: кто что любит — с косточкой или без?

«На лодке давно что-то не катались!» — так уверилась Елена Ивановна и была в особенно тихом духе.

— Будьте осторожны, Оля и Нина, — точно что вспомнила Елена Ивановна, — постоянно ходит к вам Фрид: как бы его жена не сделала вам какой неприятности. Она такая жалкая, неинтересная: наверно, его ревнует.

Оля и Нина враз покраснели под — варенье.

А Катя — Катя смотрит на них с завистью: «вот они уж курсистки — взрослые, серьезные, участвовали в демонстрации, и к ним приходят студенты, и они имеют какие-то важные дела, за которые их могут в тюрьму посадить и даже наверно посадят!» — Катя важно заметила:

— Как ты, мама, странно рассуждаешь: неужели ты думаешь, что можно влюбиться в Олю и Нину?

Елена Ивановна громко захохотала:

— Ну и Катя! — повторяла она, хохоча до слез.

А Оля и Нина очень довольны: Катя за них заступилась!

А еще больше довольны, что Катя усвоила все их «нельзя».

— Нет, сурьезно, будьте осторожны! Особенно вы, Оля: Фрид всё с вами бывает.

А на пороге — легок на помине! — Фрид и с ним Бордонос. А за ними — Надя Лопухова, Вера и Петя Курдюк (Курдюк влюблен в Надю) — самые всегдашние и неразлучные.

И, как всегда, начались умные разговоры.

А за разговорами незаметно песни.

Незаметно под песни кончился вечер — в черную летнюю ночь перешел, такой, Бог его знает, до конца на всё готовый, и загорелись звезды, как эти песня.

* * *

Незаметно под липами в саду очутилась Оля и с нею Фрид.

— Я вам хочу сказать, — начал он, — я люблю вас. Я жену свою оставлю. Я всегда хочу быть с вами.

— Нет, — остановила Оля, — я с.-р., вы с-.д. Мы вместе быть не можем.

— Что вы говорите! Я люблю вас, и так это неважно: с.-р. и с.-д.! Я оставлю жену. Я ей уже сказал об этом. Я оставлю ее потому, что встретил и узнал вас. Я не могу жить во лжи. Я жену свою не люблю. Я вас люблю. Подумайте об этом.

И Фрид сорвался — и канул.

Оля одна —

Под липами ночь еще черней, только взлизы луны по дорожке —

и жалко Фрида: «Бедненький!»

и радостно: «вот из-за нее человек жизнь меняет!»

и жутко: «ведь Анна Исааковна любит ее, всегда ей посылает с мужем конфеты, апельсины!»

И жалость, и чего-то приятно, и жуть вызвали отдельные мысли и не могли разрешиться одной общею мыслью.

Оля думала и никак не могла додумать.

И вдруг окликнули — кто это?

«Колода» —

— Вы тут сидите, а теперь три часа ночи. Я в сад перепрыгнул через забор. Я вам тайну открою. Только вы никому не скажете?

— Не-ет, никому.

— Я як черт втрискався в Нину Хригорьевну.

И также канул, как и Фрид.

А Оля скорей из саду в дом и прямо к Нине в ее комнату —

а Нина спит.

— Вставай, Нина! — тормошила Оля. — Пойдем на балкон: что я тебе расскажу.

Босая, в одной рубашке, Нина, еще не проснувшаяся, пошла за Олей.

Над балконом сторожила луна — покидошенская классная дама? Нет, финиковское «н е л ь з я». Тихо в саду. Теплая ночь. Теплые полные капли росы с деревьев.

Оля всё рассказала — и о Фриде, что ей Фрид говорил, и про Колоду.

— «Я як черт втрискався в Нину Хригорьевну!»

Нина тихо сказала:

— Помнишь, как мама хохотала на слова Кати?

* * *

В Покидоше гостила Ильина.

Оля и Нина часто с ней виделись.

Как Оля и Нина – Катю и ее подруг, так Ильина – Олю и Нину:

они всё ей рассказывали, а Ильина, уча, много внушений им делала.

Ильина полюбила Олю —

и за горячность,

и за готовность всё отдать.

Оля ничего не берегла и всё отдавала:

меженинская любимая бабушка Татьяна Алексеевна подарила ей деньги с надписью на конверте – «Олины деньги», а Оля сейчас же отдала их на «революционные дела».

Оля бралась за всякое рискованное дело и выполняла точно и конспиративно:

«конспирация» — хитрая наука, хитрее всех «нельзя» и всякой «азбуки», и Оля ею прониклась до конца.

Ильина за всё это и любила Олю.

Но Ильина хотела непременно, чтобы Оля вышла замуж за студента Оводова:

«потому что он, любя Олю, страдает, и потому слабеет для революции, а если женится на Оле, будет сильнее».

— Выходи за него замуж! Он за тебя десять раз душу готов отдать.

Оля не согласна, но Ильина никаких доводов не принимала.

Всё в ней ключом кипело.

— Да, ты осторожней: Фрид влюбился в тебя. Это, с одной стороны, хорошо: он – с.-д., а из-за тебя, конечно, будет с.-р. А с другой стороны, ты его ослабляешь для революции: личные страдания.

А после объяснения под липами — Ильиной всё известно, от Ильиной ничего не скроешь.

— Я тебя предупреждала о Фриде, — кричала она, — теперь он со мной сурьезно, откровенно говорил. Если ты сама не хочешь выходить за человека замуж, то и не разговаривай с ним много: ты от дела отвадишь неразделенной любовью. Ты должна быть осторожна с мужчинами. Не забывай: ты молодая, здоровая, красивая. А Фрида я не прощаю тебе!

Оля заплакала.

Оля пошла к Нине:

— Иди к Наталье Васильевне. Объясни, что я не виновата. Ты ведь всё знаешь.

И осталась ждать на балконе.

Долго ей показалось —

промелькнул в саду «Колода», озирнулся, но, не увидев Нины, пропал в кустах и — застрекотал.

Луны не было. Просто ночь. Ночь — пой стозвонный в каждой травке, в каждой букашке, в стрекозе, в жуке, в «Колоде».

Наконец-то Нина вернулась — расстроенная, как и Оля:

Ильина и ей всё выговорила про Олю — очень сердилась.

— А потом, — рассказывала Нина, — замечаю: Наталья Васильевна на меня сердится, меня ругает. «Наталья Васильевна, говорю, ведь Фрид в Олю влюбился, а не в меня!» «Это тебе на будущее время, крикнула, с тобой то же может быть!»

И обе всю ночь проплакали.

И наутро плачут —

не виноваты!

В слезах пошли к Ильиной — плачут:

— Наталья Васильевна, что нам делать?

— В наше время не плакали, а дело делали, — сказала Ильина. — Переплетному мастерству учитесь.

Идеал

Наталья Васильевна Ильина — Аграфена-ткачиха. Под таким именем вышла она «в народ» с мешком — прокламациями, объявлявшими народу «землю и волю». А когда ее арестовали и урядник читал вслух прокламацию, крестьяне крестились: «земля и воля!»

Ильина — «замечательная».

«Ильина, — говорили, — хоть и была замужем, но мужа бросила для революции».

Ильина — «идеал».

«Идеалом» конспиративно называли Ильину Оля и Нина, как «Бедненьким» — Фрида, а «Колодой» — Бордоноса.

Тридцати лет Ильина была арестована и с тридцати трех после тюрьмы жила в Сибири на каторге.

«Ты пишешь, — писали ей из дому на каторгу родители, — что тебе хорошо, а каково нам, ты не подумала: как мы страдаем!»

И это ей было очень тяжело. И много еще другого тяжелого, «каторжного» выпало ей — путь ее тягчайший! — но она не променяла бы своей этой жизни на другую:

— потому что так важно в с ё с о з н а в а т ь.

Похожее слышала Оля на лекции Лесгафта:

«Надо у м е т ь д у м а т ь, и тогда не повлекут ни Аркадии, ни Ливадии, ни вилла Родэ».

Только Лесгафт имел в виду — «знание», которое победит всякую бедовую «случайность» жизни и освободит человека, а Ильина — «революцию», которая даст народу «землю и волю», а с землей и волей счастье.

Первое слово Ильиной:

— Что вы сделали для народа?

* * *

Народ — это бедующий мир от несправедливости и несчастий;

революция — освобождение этого мира от бед;

революционер — «погибающий» за освобождение мира.

— Революция — всё и выше всего.

* * *

Ильина рассказывала об одном старом революционере: редкая была любовь между мужем и женой, его приговорили к каторге, и жена хотела следовать за ним.

«Нет, — сказал он, — пусть один будет в неволе, а другой должен продолжать дело революции!»

Жена осталась. А он пошел в каторгу и там сошел с ума.

* * *

— Революция — выше всего:

для революции всё, сама любовь.

* * *

Ильина хотела, чтобы Оля вышла замуж за студента Оводова: потому что Оля мучила его и он пропадал для революции.

«Или пусть Оля держится подальше!»

Оля и Нина видели, что Ильина не разделяет финиковское «нельзя» о замужестве, но они не раз слышали от нее же: что семейные заботы мешают революции, что с детьми человек выходит из строя.

* * *

— Революция — всё, революция — выше семьи:

революционер, «всё сознающий», действует в жизни «до конца» — до своей гибели, и всё, что отвлекает его силы от дела революции, только помеха.

— Революция — долг.

* * *

Оля слышала, как Ильина говорила Арбузовой, вернувшейся из ссылки: Арбузова хотела ехать за границу и потом уж, «посмотрев, как там люди живут и что людьми сделано», идти на революционную работу.

«Кто из ста восьмидесяти миллионов русского населения, — говорила Ильина, — имел возможность, как ты: окончить гимназию в губернском городе, окончить курсы в столице, просидеть одиннадцать месяцев в тюрьме в прекрасном обществе, пробыть три года в ссылке в великолепном обществе. А ей всё мало!»

Ильина — странница: куда она приходила, ей всё давали — и накормят, и белье, и она уходила, ничего не имея, только что на себе.

* * *

— Революционер — странник:

только странник, бродя по миру, ищет правды и чуда, а революционер идет в мир с чудесной правдой, возбуждая к борьбе за эту правду.

* * *

Ильина выносливости необыкновенной — «железная», а речь — слово ее — гору сдвинет.

В Покидош приехала украинская труппа. Оля и Нина взяли себе на галерку. Рассказали Ильиной. Ильина тоже захотела с ними. И полезла — места — стоячие. Толкают. Какой-то прет, локтями расталкивает.

«Что вы толкаетесь? Видите: я старуха, а со мной две барышни. Затолкать нас не велика хитрость!»

— Ильина сказала это строго, внушительно, но нисколько не сердито, сказала-выговаривала.

И тот подобрался, и уж куда толкать, уступал место. И так до самого конца. А пьеса, как всегда, долгая, с разговорами-танцами-песнями. Ильина всю выстояла до конца.

В погоду, в ночь можно было встретить Ильину — и как ни в чем.

Из Ватагина до Хомутов на лошадях — Хомуты узловая станция. Как-то Оля собралась в Петербург, приезжает в эти Хомуты и видит — сидит на станции Ильина: ждет поезда. Ильина позвала Олю с собой в Покидош. Дождались поезда, а ждать сутки! — и поехали. До Покидоша узкоколейка. В вагоне тесно, жестко. Всю ночь ехали. И ничего.

Раз только видела Оля Ильину нездоровой.

Ильина жаловалась, что у нее болят почки. Оля сама ничем не хворала и представить себе не могла, что это за болезнь такая: почки. А тут еще и мигрень.

Ильина лежала с закутанной головой.

Оля стала перед ней на колени.

«Наталья Васильевна, что я вам могу сделать, скажите?»

А та заплакала —

единственный раз видела Оля: Ильина заплакала.

«Я тебя очень люблю, Оля, возьми от меня всё хорошее — —».

И это она сказала от самого сердца, с болью — «всё хорошее» передать хотела: свою веру и завечное дело революции —

которая выше всего

и ради которой всё.

* * *

Ильина ходила просто — странницей.

Но и в таком незаметном всегда ее можно было отличить от всех.

Две знаменитые покидошенские сплетницы: Анна Ермолаевна — «Ермолаевский листок» и Анфуса Сергеевна — «Сергеевские ведомости»; одна — во дворе у тетки Марьи Петровны Вольской на самом видном месте, другая — на конце города за Семинарией; но и той и другой всё известно и видно, как с каланчи, и, конечно, не пропустили бы они так Ильину, приклей она себе хоть бороду.

Но Ильина была вне покидошенского житья-бытья, и то, чем жили или вынуждены были жить в Покидоше, ее никак не касалось:

ведь она для себя ничего не собирала и не домогалась никаких удобств жизни.

У Анны Ермолаевны в «Листке» снимала комнату знакомая Ильиной, и к ней Ильина ходила. И вот Леночка, двоюродная сестра Оли, мало чего замечавшая, глядя с балкона совсем на другое, заметила Ильину.

«К нам, к Анне Ермолаевне, ходит старуха, — рассказывала она Оле, — я такой никогда на видала: простая деревенская, а так смотрит, таких не бывает!»

Тоже и Соломон Катцман, сын переплетчика, у которого Оля и Нина переплетному мастерству выучились. Пришел он вечером после работы — Нина учила его русской грамматике — и встретил Ильину. Нины не было, только Оля. Ильина шепнула Оле называть ее «тетей». Урок не состоялся, так пили чай. Ильина расспрашивала Катцмана. И сама рассказывала. А после Соломон сказал Оле:

«Ну, и тетя у вас — замечательная! Таких не видывал».

*

Человек отличается от человека — по уму: по способности разбираться (дурак тем и хорош, что всё невпопад!); но мало ума, надо и еще чего-то, а это что-то — вера:

а вера — огонь!

и этот огонь — светит.

И никак ты не скроешься, и тебя не обойдут.

* * *

Ильина для Оли — вся чистота революции, которая всё и выше всего.

Как-то Ильина сказала Оле:

— Всё мне в тебе нравится: ты хорошая. Одно только у тебя — и это может помешать — нездоровое начало есть: мистическое.

Такой экземпляр

В Покидоше возле Почты жили две курсистки: Лида Пряничникова и Ира Беляева — дом против дома.

С детства Лида и Ира всё вместе — неразлучны. И где появлялась Лида — за ней следовала Ира; и где видели Иру — непременно встречали и Лиду.

Странные они были: сверстницы Оле, а такое говорили, тоска всегда после...

Оля никогда бы с ними и не встречалась, но и Лида, и Ира, хотя никак не были «стоющими», т. е. революционно настроенными, но не были и похожи на тех курсисток, обыкновенно очень пугливых и житейски рассудительных, которых называли «барышнями»: в Петербурге жили они вместе, и когда уходили обе на целый день из дому, давали свою комнату для конспиративных свиданий. А делали они это не потому, что сочувствовали «революции», а просто по равнодушию ко всему, что совершалось и чем жили вокруг них.

Родители их состоятельные люди, и обе ни в чем не нуждались — нужда, этот первый кулак — бил, да мимо, — и никакого любопытства к жизни. Обе собирались кончить самоубийством; и когда кто из них уезжал, посылали друг другу телеграммы, чтобы знать, что еще живы.

Вера их была самая отчаянная и самая безнадежная:

людям ни в чем нельзя верить — ни одному человеку; всё, что делают люди, всё только из корысти.

«Любовь — это физическое. А дружба всегда непостоянна».

«Ну как же вы можете так говорить? — возражала Оля, — да вы же друг друга любите. Разве это не любовь?»

«Да — — но это привычка».

«Но ведь вы со мной так не дружите?»

«А это потому, что мы живем друг против друга. Это случайность. С детства еще: тетрадку, бывало, взять, карандаш, всё у Иры, а Ира у меня. Близко. Так и привыкли».

И так на всё — беспросветно.

* * *

Поздно вечером Оля возвращалась домой — к Нине. По дороге один-единственный огонек — в Покидоше рано ложатся! — и зашла к Прянишниковым ночевать.

Лиду и Иру застала она за книгой:

читали вслух Э. Т. А. Гофмана «Эликсир сатаны».

Оля больше всего любила Толстого — не один раз прочитала «Войну и мир»; а Пушкина — «Евгения Онегина» знала на память все восемь глав. Но ее тянуло и к Гофману:

таинственность и чудесность, на первый взгляд не вяжущаяся с «революцией», волновали ее, и чувство было так же остро, только в самой тайне, как от «Дела 1-го марта», — переплетенного Олей в синий — сокровенный — цвет.

Лида и Ира читали всё, что ни попадалось. Попался Гофман, «Эликсир сатаны» — — И после Гофмана те же разговоры, от которых тоска.

— Внушить людям, чтобы они относились друг к другу участливо, невозможно. А если участливость где-нибудь и замечается, то не надо обманывать себя: всё из выгоды и корысти.

— Люди, которым до других есть дело, таких не бывает.

— Страдать за людей — это несчастье: ведь от этого никакой никому пользы, да и не стоит.

— Хорошие люди?! Да и есть ли такие «хорошие» люди? Много ли таких, которые никогда не обманывали и никогда не корыстничали? А если еще больше требования предъявлять — если искать людей, которые помогут другому ради этого другого, а не из-за своей прихоти и не для собственного успокоения? Таких нет.

— Всё зависит, чего от людей спрашивать! Среди воров просто плохенький воришка будет честным человеком, и среди самых отъявленных негодяев обыкновенная немудрящая душа покажется праведником. Всё зависит от того, чего ждешь и требуешь.

Оля рассказала им об Ильиной:

о ее вере — о ее бескорыстном самоотверженном деле.

Лида и Ира слушали с большим вниманием. Их особенно поразило, что столько лет Ильина живет такой жизнью.

— Но это исключение! Так долго — бескорыстно. Это большая редкость. Любопытно увидеть такой экземпляр!

* * *

— — — идет Оля по Николаевскому мосту — серый такой день, такое хмурое утро, таким безнадежным утром везли на казнь Перовскую, Желябова и Рысакова на Семеновский плац. На мосту часовня — «Каракозов стрелял». Оля перекрестилась —

Едут мимо возы с кладью, на возах дюжие ломовики трясутся. Один кудлатый зло что-то кричит, за грохотом не разобрать, одно ясно: кричит-угрожает, что вот Оля перекрестилась. А другие молча сочувственно ему щерются, подмигивают.

И Оля перекрестилась еще раз и еще раз. И за каждый ее крест тот кричит, и всё кричал, грозя, пока не скрылся из глаз. А Оля крестилась. И крест ее был так крепок — пламя вылетало из-под крепко сжатых ее пальцев.

«Нет, никому не отдаст она креста своего — готовая умереть за свою веру!»

* * *

В коридоре на Курсах. Проходят курсистки. И все смотрят на Олю. «Какая, говорят, хорошая!» Оля поднялась на 2-ой этаж. На площадке тоже курсистки, только сидят все, ждут чего-то. Навстречу Оле незнакомая: брови сросшиеся, очень широкий нос, глаза, как камушки, сверкают. И идет она прямо на Олю. И когда она была совсем близко, кто-то невидимый ударил ее по голове, и так крепко — голова хрястнула, она схватилась и руками закрыла побелевшее лицо. И Оля точно так же руками закрыла себе лицо. И все, кто сидел на площадке, курсистки закрылись. А та незнакомая стала медленно падать — и никто не поддержал — упала лицом на землю.

* * *

Погасло электричество. Оля знает: в комнате кто-то есть. И тихонько пошла искать Зину. Зина спала. Оля дотронулась до ее лба — разбудила.

«Пойдем, Зина, тут кто-то...»

Но Зина не успела ответить.

«Эй, кто там, — крикнула Оля, — выходи!»

И на ее голос из тьмы выступила большая, вся в белом, очень похожа лицом на Веру Стрешневу. И Оля почувствовала,

что «страшное», что было в комнате, это и есть эта женщина. Оля бросилась и, обхватив ее, пригнула к земле. И сама легла на нее и стала трясти. Но сколько ни трясет, той ничего не делается. И видит Оля: Вера Стрешнева стоит тут же. «Вера — обрадовалась Оля, — ложитесь вы на меня: я одна не справлюсь».

«Боюсь, Оля, я вас задушу!» — говорит Вера. А та вдруг подняла голову, да Олю за руку — два пальца так — —

Недобитый соловей

Оля получила записку от доктора Перепелки:

доктор посылал за ней лошадей, просил ее сейчас же приехать —

«По важному делу».

Андрей Федорович Перепелка в Кочерах — от Ватагина близко.

Оля немедля собралась — «важное дело!» — и поехала. И всю дорогу думала: что бы такое могло случиться важное, может, арестовали в Покидоше Ильину или что с Ниной?

А приехала в Кочеры — вот уж негаданно! — встречает Варю Черкасову: Варя ждет Олю, плачет — просит ехать с нею в Лубенцы к Ксаверию Матвеевичу.

— С братом беда: убежал из Бобровки в Лубенцы (Лубенцы от Бобровки в сорока верстах.) Очень плохо.

Так вот в чем дело: никто, значит, не арестован! И это Олю успокоило. Но другое: Черкасов! — камнем легло.

— Сначала-то он был тихий, — рассказывала Варя, — потом стал заговариваться. Поминает какого-то Оводова, с.-д., и всё вас зовет, Оля. Вы единственный человек! Вы его успокоите. Вы спасете его.

Невозможно было отказать. Оля согласилась. И сейчас же поехали.

Ехали полем. На поле снопы лежат — хорошо улеглись! Солнце заходит — прохладно. Навстречу девчата с работы с граблями.

«Какие они счастливые,— думает Оля,— ничего-то у них нет такого! Идут с поля мирно!»

И ей казались все счастливыми, кроме ее доли.

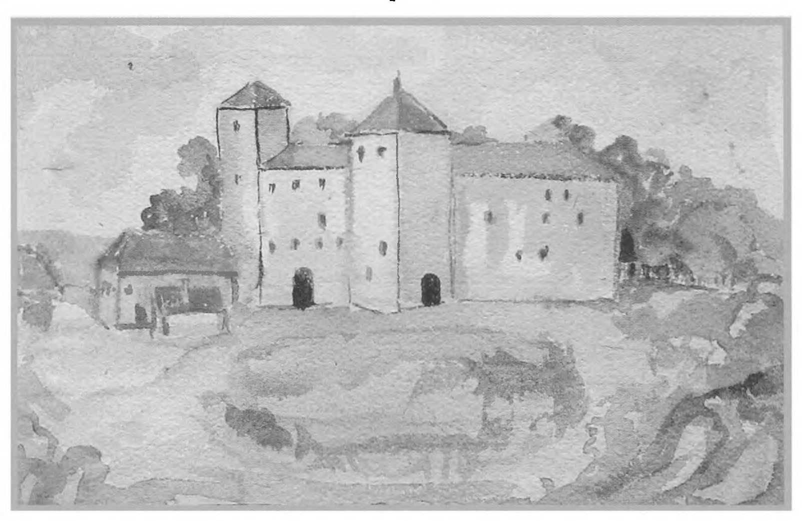
В Лубенцы поспели в сумерки. Поджидавший Лампад предупредил не ехать прямо во двор.



С. П. Ремизова-Довгелло. Фотография. Париж.
1920-е гг. — ГЛМ. Публикуется впервые



Помещичий дом семьи Довгелло в с. Берестовец Борзненского уезда Черниговской губ. Фотография. 1910-е гг. — ГЛМ. Публикуется впервые



«Замок» рода Довгелло. Акв. неизв. худ. Подпись А. М. Ремизова: «Дом Довгелло. Село Берестовец Борзненского уезда Черниговской губ., где прошло детство Серафимы Павловны». Россия. Конец XIX в. — ГЛМ. Публикуется впервые



М. М. Самойлович — бабушка
С. П. Ремизовой-Довгелло.
Фотография. Чернигов.
1880-е гг. — ИРЛИ РАН.
Публикуется впервые



П. И. Довгелло — отец
С. П. Ремизовой-Довгелло.
Фотография. Санкт-Петербург.
1870-е гг. — ИРЛИ РАН



А. Н. Довгелло с дочерью Серафимой. Фотография.
Конец 1870-х гг. – ИРЛИ РАН



С. П. Ремизова-Довгелло.
Фотография. Чернигов.
1889 г. — ИРЛИ РАН



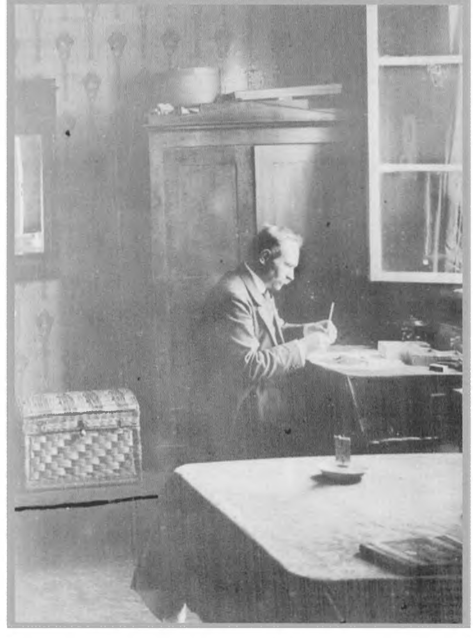
Е. П. Довгелло — старшая сестра
С. П. Ремизовой-Довгелло.
Фотография. Киев.
1890-е гг. — ИРЛИ РАН.
Публикуется впервые



Л. П. Довгелло — младшая сестра
С. П. Ремизовой-Довгелло.
Фотография. Чернигов. 1890-е гг. —
ИРЛИ РАН. Публикуется впервые

С. П. Довгелло — брат
С. П. Ремизовой-Довгелло.
Фотография. с. Борзна.
1900-е гг. — ИРЛИ РАН.
Публикуется впервые





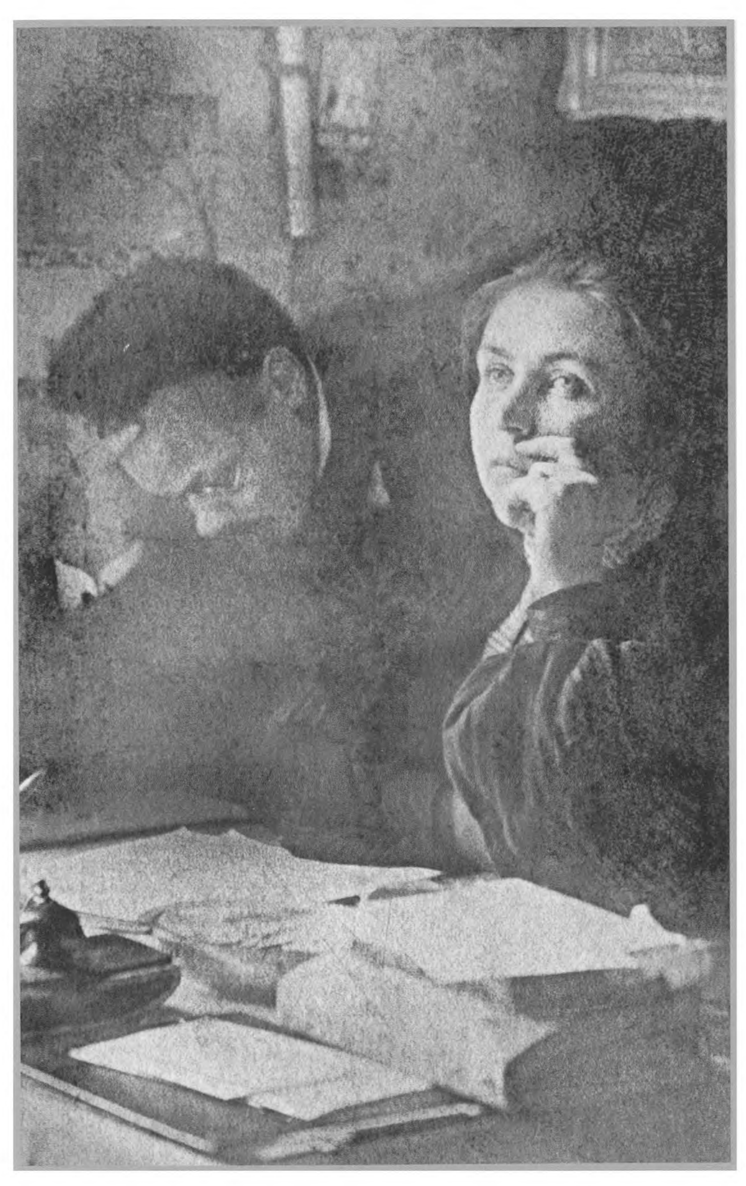
С. П. Довгелло в интерьере
комнаты помещичьего
дома в с. Борзна.
Фотография. 1913 г. —
ИРЛИ РАН.
Публикуется впервые



С. П. Ремизова-Довгелло. Фотография. Подпись А. М. Ремизова: «В тюрьме». Санкт-Петербург. Март 1897 — февраль 1898 г. — ГЛМ. Публикуется впервые



С. П. Ремизова-Довгелло. Фотография. Вологда. 1900-е гг. —
ИРЛИ РАН



С. П. и А. М. Ремизовы. Фотография. Киев. 1900-е гг. — ГЛМ. Публикуется впервые



Наташа Ремизова. Фотография. Чернигов.
1910 г. — ИРЛИ РАН



Наташа Ремизова и Л. П. Довгелло. Фотография.
Чернигов. 1915 г. — ИРЛИ РАН



С. П. Ремизова-Довгелло. Фотография.
Санкт-Петербург. 1906 <?> г. – ИРЛИ РАН



С. П. и А. М. Ремизовы.
Фотография. Карлсбад.
1924 г. – ИРЛИ РАН



Н. А. Ремизова. Фотография.
Киев. 1920-е гг. – ИРЛИ РАН



С. П. Ремизова-Довгелло в интерьере своей комнаты. Фотография.
Париж. 21 сент. / 4 окт. 1930 г. — ГЛМ. Публикуется впервые



С. П. Ремизова-Довгелло в интерьере своей комнаты.
Фотография. Париж. 1930-е гг. — ГЛМ.
Публикуется впервые



Могила С. П. Ремизовой-Довгелло. Фотография. 1940-е гг. — ГЛМ. Публикуется впервые



ОДИННАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА

Серафима Павловна

РЕМИЗОВА-ДОВГЕЛЛО

Наталья Алексеевна РЕМИЗОВА

ПАНИХИДА

В субботу, 15-го мая, в 5 ч. 30 м. у Знаменья, на бульваре Ексельманс 87.

Алексей РЕМИЗОВ

Сообщение о панихиде по С. П. Ремизовой-Довгелло и Н. А. Ремизовой. Вырезка из газеты. 1954 г. — ИРЛИ РАН. Публикуется впервые



С. П. Ремизова-Довгелло. Фотография. Париж.
1920-е гг. — ГЛМ. Публикуется впервые

— Остановитесь в саду у пруда. Черкасов буйный: всё бьет и ломает. И страшно свистит.

И Лампад вроде как посвистал — — но у него ничего не вышло.

Тихонько прошли в сад во флигель. Там Александрия Кенсориновна. Вышел и сам Ксаверий Матвеевич, и Асклипиодота. Говорили шепотом. К чаю приехал из Кочеров доктор Перепелка. И чай пили, всё шепотом.

Окна в доме открыты, и далеко слышен свист:

свистел Черкасов — а свистел он, потому что он соловей: «Раньше пел у пруда, а теперь здесь поет: зовет Олю!» — так сам он объявил.

После чаю доктор прошел в дом посмотреть — и скоро вернулся.

— Зрачки —, — и так показал, — — ! Ничего не остается: завтра надо везти в город.

Тревожная прошла ночь под жуткий свист.

А наутро, когда Оля проснулась, Асклипиодота ей рассказала, что Черкасова увезли в город: повез Лампад.

— Пока еще сидел смирно, ничего, а потом пришлось связать.

Варя плакала — просила Олю ехать вместе и всё выяснить.

— Поезжайте, — уговаривала Олю Александрия Кенсориновна, — даст Бог и успокоится.

— Роман в лицах! — удивлялся Ксаверий Матвеевич. — Все девчата понимают.

* * *

И в сумасшедшем доме Черкасов свистел — звал Олю. Но Олю к нему не пускали: боялись, что свидание еще больше расстроит.

Как-то в обеденный час Оля и Варя проходили по больничному саду и видят:

внизу в окне за решеткой сидит Черкасов и ест котлету — очень страшным показался он Оле — в белой рубахе, желтый, заросший весь, а глаза такие —!

Он узнал Олю — и котлету ей через решетку:

— Олинька, на!

— — —

Оля скорее из саду и больше никогда не ходила: очень было страшно — и глаза — и как это он сказал — —

Оля обвиняла себя, что из-за нее всё так вышло, и не видела никакого способа поправить.

В Покидош из Бобровки приехала Елена Степановна. Федор Фалалеич, сопровождавший ее, предупредил Олю, что —

Елена Степановна проклинает ее за сына.

— Постарайтесь с ней не встречаться!

Федор Фалалеич был всё такой же: он с благоговением и восторгом смотрел на Олю. Федор Фалалеич искренне боялся неприятной встречи, хорошо понимая, что винить Олю напрасно — ни он, ни Варя ни в чем ее не обвиняют! — но что и мать жалко: сын так мучается.

А тут еще и Варя захворала: надорвалась.

Обыкновенно Оля ходила в больницу справляться всегда с Варей. Варя лежала. Пошла Оля одна.

И вот когда она отворяла калитку и, войдя, хотела закрыть за собой, калитка никак не закрывается — а оттого не закрывается, что сзади еще отворял кто-то.

Оля обернулась — перед ней Елена Степановна:

Елена Степановна тоже шла в больницу за справкой.

Оля поздоровалась.

Елена Степановна ей ответила — строго. И пошла по мосткам —

а Оля так у калитки и осталась: ей идти неудобно!

Елена Степановна приостановилась и назад к Оле:

— Оля, — сказала она, — что мне передать от вас Владимиру? Оля вдруг:

— Скажите — — я за него выйду замуж!

И заплакала —

она всё себе представила — осень — Курсы — лекции — разговоры — «революцию» — и увидела себя, как сидит она в Бобровке на балконе и он с ней: желтый, заросший, и глаза такие — а в саду только ветер воет.

Елена Степановна, оставив Олю, подошла уж к больничной двери и вдруг повернула и шла по мосткам быстро назад.

— Нет, — услышала Оля, — так нельзя делать. Я ничего не передам. Если любишь и выйдешь замуж, и то трудно бывает, а без любви — —

И пошла.

Оля этого никогда не забудет.

* * *

Из больницы Черкасова отвезли в Бобровку.

А в Покидоше заработал «Ермолаевский листок» и «Сергеевские ведомости». Только и разговору, что о Оле и о Черкасове —

Олю обвиняли в бессердечии.

И каждый считал своим долгом и правом узнать от самой Оли, как она ко всему этому относится?

Нина, у которой жила Оля, подарила ей колечко с маленьким рубином: Нина хотела чем-нибудь развлечь Олю. Подцепили и это колечко:

уверяли — из самых верных источников! — что «свадьба на носу и вот доказательство: кольцо».

— Черкасов, — говорили, — перед отъездом в Бобровку подарил Оле кольцо с крупным бриллиантом, посередке изумруд!

Но главное: встреча Оли с матерью у калитки в больнице, о чем выражались, «что сговориться — так не встретишься!» — эта встреча не прошла незаметной —

случайно видела всё Анна Ермолаевна («Листок»), но, увы! слов она не слыхала, и что говорила мать? и что Оля? — так и осталось неизвестно.

Но Анфуса Сергеевна («Ведомости»), которая только видела собственными глазами, как Лампад вез связанного Черкасова в больницу, ссылаясь с чего-то на фельдшера Виталиса Виталисовича, настаивала —

что Елена Степановна отдавала Оле всю Бобровку, но что Оле показалось мало...

— И тогда Елена Степановна вернулась, подарила Оле кольцо с бриллиантами в изумрудах, и Оля заплакала.

Фельдшеру Виталису Виталисовичу не давали покою.

И соблазнившись — не всегда же ловко ссылаться на незнание: незнай, что дурак, прозовут, оправдывайся! — Виталис Виталисович дал некоторый «информационный материал» ни к селу ни к городу.

Но чем невероятнее, тем вернее и надежнее.

Пройдет не один год — еще долго будут вспоминать, судить и пересуживать по «Листку» и «Ведомостям», а при упоминании об Оле непременно справляться:

«Эта та самая Оля Ильменева, из-за которой Черкасов сошел с ума?»

И, конечно, обвинят — в чем только может обвинить человек человека — и в бессердечии, и в жесточайшей корысти. А если усумнишься и попробуешь возразить, заткнут тебе глотку последним непререкаемым говорят.

* * *

Ну, будет! больше не буду о покидошенском «говорят», суде прошедшем и канувших пересудах, — в наши дни, вы себе представьте, когда ученые сигнализируют на Марс, а в институте доктора Ришэ фотографируют духов, да, духов не фокуснических, а «страстных», «грешных», как живой человек, витающих совсем близко около нас в земной сфере, встревающихся в нашу жизнь так же «по долгу и праву», как и всякий, кому не лень, в жизнь соседа, а дикий свист джаз-банда (я всегда слышу свист ковылевых степей России) вихрем подхлестывает весь мир пуститься в размеренный крутящийся танец и, чем теснее, тем четче, готовый разместить весь мир уже не на четырех шагах — предельной могильной мере, а на нашей калужской курячьей жердочке; когда в мировом городе (постаревшем, сгорбившемся за эти годы, мне иногда чудится, что под Парижем земля вскоробилась, выпирает и проваливается, и парижские камни под ногами мягче!) на самом высоком холме из холмов, на Монмартре — на Place Pigalle у увеселительных заведений, «кабаков», где вы увидите знакомых с Соболевки, стоецких, вышибал, а под крутящимися и звенящими огнями всех, какие только есть огни, угрюмые красные такси Renault с шоферами — неудачливых (а может, самых цепких) из бывших русских, пошедших на труд ночных, обслуживающих «благородную валюту» господ мира (не знающих, что еще придумать и куда деваться), электрификация так ахова и звучна — ритм част, боек, перебоен — не ускакать и самому из самых однозначных и кратчайших «а,» и «ah» протянется слишком медленно и долго, как «ой-ля-ля» — в наши дни и Анна Ермолаевна («Листок»), и Анфуса Сергеевна («Ведомости») живы, живут себе и процветают, как никогда еще, и каланча, около

которой во дворе у тетки Марьи Петровны Вольской ютятся «Ведомости», стала куда выше Эйфелевой башни да и самых американских небоскребов с сильнейшим в мире радио на вышке, так что все эти кричащие гиганты, если заглянуть с каланчи вниз, покажутся не больше кузнечика; а Семинария, соседка «Листка», на окраине, отошла от центра — пожарной каланчи так далеко, как Лондон; да, здравствует и «Листок», и «Ведомости», и как же иначе, такое интересное время, столько событий — — но, неужто, как и тогда, в допотопное, в «дореволюционное» время, и вот теперь при всех самых неожиданных обстоятельствах и потрясающих переменах есть еще легковерные люди, которые слушают, одобряя и сочувствуя, и неужто ни война, повалившая уверенную гордую Европу, оправляющуюся с таким непомерным трудом, с таким отчаянным усилием пробующую встать на искалеченные обескровленные ноги, ведь нищета лезет из всех углов и прорех, и элегантный француз только необычайным искусством, математическим мастерством — какой-нибудь яркий платок или разноцветный пошетт! — прикрывает лохмотья, а расчетливый немец старается не обращать внимания, что вместо душистого традиционного кофейного духу с утра по Берлину подымается дохлый пар эрзацев, и неужто ни эта война — ведь, кажется, и дураку ясно! — ни революция, ни беда беженцев, а беженцы засорили весь мир, беженцы всех стран и народов, ни труд покорно несущих строй жизни, а жизнь стала еще тяжелей (знаете, в Европе можно просто пропасть у себя в комнате, и без всякой огласки и шума, и никто не схватится и никого не удивишь!), да! всё это — ничто из этой «мировой катастрофы», которая у всех на глазах, за эти годы, за эти столетия, прошедшие в годах, не перевернуло хоть столечко в мозгу человеков, чванящихся развитым своим мозгом перед безмозглой человекообразной обезьяной — и самое роковое событие и самый искреннейший поступок человека (никто не убережется!) залепят грязью!

* * *

Оля жила у Нины.

Помня завет Ильиной, Оля за три недели переплела много книг. За ней не уступала и Нина. Так в работе молчаливо прошли дни.

К именинам Натальи Ивановны Оля поехала домой в Ватагино.

В Хомутах она увидела из вагона поджидавшего ее Мишу, и еще с ним кто-то в шляпе с широкими полями, сразу не разобрать. Но когда поезд остановился, Оля испугалась:

с Мишей стоял Черкасов.

* * *

Черкасов появился в Ватагине неожиданно — он прибежал из Бобровки тайком:

его караулило четверо сторожей, ночью, представившись спящим и выждав минуту, когда сторожа заснули, он ушел.

Появление Черкасова в Ватагине перевернуло всю жизнь.

С утра начинал он свою, только ему понятную, работу: он переставлял мебель. И всякий день по-новому всё переставлялось, а то и на дню по несколько раз. И за несколько дней переломал все стулья.

Вид у него был зверский: глаза налились кровью, зрачки вкось.

А ни уговорить, ни остановить не было никакой возможности. Он ругательски ругал всех, кроме Оли, да смягчался еще к Лене:

Наталью Ивановну он невзлюбил за то, что она говорила — «Оля — ее»;

Мишу — за то, что «плохой хозяин»;

Ирину — «потому что лицо нехорошее».

Обедал он отдельно. Оля или Лена, чаще Лена, приносили ему обед, другим не позволял. Напряжение в доме дошло до крайности, и как-то Лена не выдержала и, выйдя из его комнаты, грохнула поднос с тарелками и расплакалась.

Но беспокойнее всех было Оле. Он следил за ней и ни на шаг не отпускал. И когда Оля все-таки уходила, просил Лену узнать: где?

— Оля спит, — говорила Лена.

Он спохватывался в величайшей тревоге:

— Идите, сторожите: а то ее во сне могут убить.

Ни о каких именинах нечего было и думать. Приехала в Ватагино двоюродная сестра Натальи Ивановны, с детьми, но и дня не пробыла — девочку ничего, а мальчика Черкасов сразу

возненавидел, «потому что хлыщ», и стал придираться, ну та и уехала в Меженинку к любимой бабушке Татьяне Алексеевне.

Бабушка очень была недовольна —

«и что это, писала она, сумасшедший в доме!»

А в Бобровке хватились и, хоть ясно, куда мог убежать Черкасов: или в Лубенцы, или в Ватагино, больше некуда, — все-таки дали знать в полицию.

В Ватагино приехал становой.

Оля как раз проходила по двору, и с ней Черкасов с топором.

— Будьте осторожны, — предупреждал становой, — ведь это сумасшедший человек!

А Черкасов сам из осторожности не расставался с топором: топор на случай —

ведь Олю могли убить всякую минуту и во сне, и наяву!

Черкасов вдруг потребовал, чтобы его везли в Кочеры к доктору:

рука болит!

Оля и Миша поехали с ним. Но в Кочерах он о руке ни разу не вспомнил. А к вечеру стал проситься в Ватагино.

На обратном пути сначала всё было мирно, но вдруг он велел остановить лошадей, вылез, пошел пешком —

и пропал.

Ждали — ждали — нету: не возвращается!

И только слышно, свистит —

жалобно.

Вылез Миша, пошел искать —

а он залез в болото и там свистит — всхлипывает.

Стал его Миша уговаривать — куда! и слышать не хочет. Пошла Оля.

— Владимир Михайлович, пойдемте!

А он из болота:

— Здесь нет Владимира Михайловича — здесь есть недобитый соловей!

* * *

Из Бобровки приехал Федор Фалалеич. Черкасов согласился ехать домой, но только по железной дороге. А всякий раз, когда надо было выезжать к поезду, на него нападал его всегдашний азартный упор: он необыкновенно медленно уклады-

вался, и, хотя у него ничего не было (прибежал он в Ватагино в чем был!), он изобретал самые долгие, самые дальние сборы — подолгу перетряхивал одеяло, тщательно складывал, уложив в Мишин чемодан, вдруг вынимал — —

«можно ли, спрашивал он, взять ему одеяло с собой?»

то же и с полотенцем и с платками. И не было никакой надежды вовремя поспеть к поезду.

Решено было ехать всем вместе на лошадях:

поедет и Оля и Миша.

Черкасов остался очень доволен и вовремя был готов.

Ехали на двух бричках —

Федор Фалалеич с Мишей впереди, за ними — Оля и Черкасов.

Когда ехали полями — ничего, а когда въехали в лес — Черкасов забеспокоился: ему стало казаться, что Олю кто-то хочет украсть, и потому надо хорошенько смотреть по дороге. Он поминутно выскакивал, заходил вперед, глядел — и, убедившись, что никого нет, опять садился, чтобы через несколько минут повторить то же.

Потом ему показалось, что одна из лошадей враждебна к Оле — и выпряг лошадь: и уж ехали на паре —

а Федор Фалалеич с Мишей на четверке.

А потом заподозрил и другую лошадь — и ее выпряг: и потащились на одной —

а те на четверке, сзади пятая.

И когда, кажется, некого было подозревать: и впереди — никого и лошадь одна! — он заподозрил Федора Фалалеича, будто бы Федор Фалалеич в уговоре с лошадьми и теми неизвестными, кто хочет украсть Олю, и что Федора Фалалеича надо убить.

Вот тебе и раз! — На Федора Фалалеича напала медвежья болезнь: не удержаться!

А Черкасов давно и забыл — Черкасов опять поминутно вылезал: потому что тяжело было ехать. Вставал и кучер, вставала и Оля —

ведь одна лошадь!

И Федор Фалалеич поминутно вылезал:

— Господи, хоть бы домой поскорей!

Поездка не из веселых.

Ехали, ехали — конца нет! — и только совсем ночью добрались до Бобровки.

В Бобровке пошло то же, что в Ватагине.

Черкасов переставлял мебель и всех ругал — и Федора Фалалеича, и Нелиду Максимовну, и Пахомыча, и Терентия, и повара Лаврентия Мокеича, и садовника Григория, всякого, кто подвернется, но больше всех доставалось матери.

Единственная — Оля.

Жарко, а он станет у колодца — головой под солнце.

— Оля, — просит Елена Степановна, — скажите ему, чтобы надел шляпу.

Оля скажет — он послушает.

Или начнет полы мыть по-своему: ведро воды на пол — целое море.

— Оля, скажите, чтобы перестал.

Оля скажет — он перестанет.

Сад в Бобровке сдавали — Черкасов тихонько брал деньги у арендаторов. А потом сядет на крыльцо, вынет деньги — разрывает — и под крыльцо.

И одна только Оля остановит.

Доктор Перепелка советовал отвезти его в Петербург в лечебницу. И само собой, ехать в Петербург с Олей, иначе не уговоришь.

За обедом Оля сказала:

— Я сегодня еду в Петербург.

— И я тоже! — обрадовался Черкасов.

— Ну и мне надо, — сказал Перепелка, — так вместе и поедем.

И до Петербурга дорога была не легкая. Черкасов выходил на площадку, садился к буферам: спустит ноги и свистит. Всё просил, чтобы и Оля с ним села. Страшно было в дороге.

Недалеко от Петербурга он снял с себя часы и подал Оле:

— Возьмите, — сказал он, — храните от меня на память: от сумасшедшего друга.

В Петербурге был предупрежден двоюродный брат Черкасова, он и встретил на вокзале и повез к себе на Сергиевскую. А после чаю поехали будто кататься, а на самом деле на Таврическую — в лечебницу.

А там ждали — всё было приготовлено.

Доктор попросил Олю отворить дверь в комнату. Оля отворила —

Черкасов, уверенный, что пойдет с ним и Оля, вошел —

И дверь за ним захлопнулась.

* * *

Оле попался извозчик — белая лошадь.

— На Колтовскую!

И поехала.

А как сворачивать с Кирочной на Литейный, извозчик обернулся, и Оля заметила: извозчик без носа. И стало ей душно, как во сне: всё перекосилось, неровно, плывуче — дома, мостовая, прохожие — один звук — один шум — и только безносый и белая лошадь.

И вдруг лошадь вцепилась со встречной взбесившейся лошадью — и загрызлись.

Это было одно мгновенье — всё покачнулось — еще... и Оля очутилась бы на мостовой — — да соскочивший с извозчика офицер шашкой ударил лошадь, и лошадь упала.

Как из сна, как бы из воды, уже захлебываясь... как от пропасти — вот сорвется! — встала Оля, заплатила извозчику и пошла пешком.

Оля едва отыскала Котельниковых: на Колтовской в самом последнем дворе квартира без номера.

Людмила Николаевна была дома, очень обрадовалась и сразу же по лицу почувствовала, что с Олей произошло что-то.

Не расспрашивая, она стала перед ней на колени, обнимала ее, заплакала.

Все слова — да слов таких нет! — и вот вместо слова — заплакала.

Тепло и свет окутали душу — и Оля как очнулась.

Бедные люди

Котельников — бельмо у жандармов.

И в университете его арестовывали, и вот кончил, служил у присяжного поверенного, а нет-нет да и потянут. Высылать его не высылали, «дела» Котельникова не было: его арестовывали всегда при ком-нибудь — в последний раз «по делу Сергея Рашевского».

Всё тюремное ему известно как никому. И он умел устраиваться в тюрьме, как дома. Вышел он из крайней бедности и с детства узнал дома такую нужду, при которой тюрьма кажется «уютным уголком».

«Я и не вырос, очень плохо жили!» — объяснял он свой маленький рост.

Частое сиденье в тюрьме дало ему возможность «подумать». И много чего, что за суетой — а всякая деятельность суетлива! — ускользает, тут он по косточкам перебрал и обдумал. Служи он только у присяжного поверенного (а много любопытного узнал он из разных «дел»!), ему некогда было бы, а вот тюрьма освобождала его. Много он в тюрьме читал, а не разрешали книг — думал.

И никогда ему не было «скучно». При всех обстоятельствах, во всяком положении он находил себе «полезную работу». В этом он был похож на Ильину. Но Ильина старого закала — вулкан, а он выдержанный, и от молчания (в тюрьме не поговоришь) слова его совсем не огненные, а тихие, напоенные: когда слушаешь, понимаешь, что не зря это, не с бухты-барахты, а по каким-то раздумным желобкам идут его слова. И вот почему с горечью говорил он о человеческом «легкодушии» и «легкосердечии» — в самом в нем «поверхностности» и звания не было.

Больше известен был Котельников не по фамилии, а как Федор Иванович. Федором Ивановичем называли его и Оля и Зина.

Так с разговору — с виду какой же он был революционер! Ничего ведь такого резкого, какого-нибудь «сильнодействующего средства» он не указывал и не возглавлял никакого кружка, и ни в чем его нельзя было уличить — при обысках у него никогда ничего не находили. Но жандармы не такие дураки: он действительно был «бельмом», и неисправимым.

Сидя постоянно в тюрьме, он свое додумал, и твердо.

Сама жизнь его была «неисправимым бельмом», самая его жизнь никогда не могла успокоить его. И в своей жизни он соединял многих — очень многих, которые только не могли высказаться — не умели выразить своего самого бедового.

* * *

«Нет, я не говорю, чтобы бедность и с нею беда были бы тем желаемым, чего пожелаю всякому —

«нет, как раз наоборот, наша жизнь есть то, чего и врагу не пожелал бы —

«нет! — ведь и все революции к тому, чтобы такую жизнь «предать забвению» и сделать людей не то чтобы богатыми (это только по наивности или по пылкости так ляпнет другой!), а сделать жизнь достаточною. Ведь средства-то жизни — от труда! И всякий трудящийся имеет же право на такую достаточную жизнь, которой вот мы лишены! —

«Я знаю, при материальных недостатках, с постоянной нуждой, мелочные заботы засоряют дух. Да, дух! — вот то самое, без чего человек и на человека-то не похож. Затеняют дух житейскими мелочами. И уж как бы ты поступил — да, конечно, по-другому! — если бы был сыт и жил бы в тепле и с «удобствами», а не как свинья или крыса в норе, не бегал бы за добычей, не повторял бы одних и тех же просьб, не дожидался бы в прихожей или в приемной, всё равно — для нас, известно, всегда «подожди!», — не молчал бы на глупости, которые предшествуют разговору о твоем деле, не тащился бы больной и в погоду к черту на рога, потому что тебе туда назначено и не прийти ты не можешь, а, пожалуй, и не приходи, очень-то ждать не будут и без тебя обойдутся, тебе же делают одолжение — всегда «одолжение»! Недаром же в античной трагедии действующие лица «цари», т. е. люди, освобожденные от материальных забот, — взят «дух» в чистоте без примеси какого-нибудь студня или картошки с солеными огурцами, дан человек, который имеет возможность думать, и не только о дровах, которых нет и надо добыть, и что вот вы пришли, а и сесть-то не на чем, а завтра Людмиле Николаевне надо на урок идти наниматься, а ей и выйти-то не в чем, да и Наташе надо — ведь ей надо! — она не понимает, мы-то как-нибудь обойдемся —

«Да, я знаю, много отрицательных сторон «бедности», с которой об руку нужда ходит, — и врагу не пожелаю! —

«Да, в нужде и раздражение — сама жизнь колет! — как же тут быть ровным? Да и сердце надорвано — тихих слов не скажешь. И где больше крику!?— конечно, в нужде, да и не только крику! —

«Да, это хорошо, завидно всему миру улыбаться — видел я такие рожи на фотографиях, рожи с золотыми зубами! А ты вот попробуй поживи-ка без номера на третьем дворе на Колтовской и без дров, когда не то что золотой зуб вставить, а запломбировать и рад бы, да даром-то ведь не станут, а скуло вот-вот разнесет, ты попробуй-ка улыбнуться не миру, а вот хоть — —

«И мещанство, т. е. мелочная расчетливость. Оно у нас-то мещанством не называется! Ведь "мещанство" — это когда человек с карманом начнет в мелочах рассчитывать да копейку обшаривать и — — осуждать тебя, если ты взял да на последние и купил, вот эти калачи купил и чай пьешь. А ведь ты не имеешь право чай пить —

«Пошел я недавно в театр на Шаляпина, надо же хоть раз послушать, и все деньги истратил на билет. В коридоре сталкиваюсь с моим патроном — удивлен и потрясен: "Каким образом вы попали?!" "Таким же, говорю, как и вы". Понимаете, как же это я, — а он хорошо знает, в каком я положении! — и вдруг на Шаляпине! Да ведь я же не имею права слушать Шаляпина, как и чай пить с калачами —

«Да, мещанство — это мелочная расчетливость, ей Богу, другой раз из-за сломанной спички, из-за сметенного окурка такое подымешь, точно у тебя, я уж и не знаю что отняли! И, конечно, нарушение самых простых требований общежития: ложь, обман, воровство — все эти "грехи" бедняков —

«Ну, скажите, пожалуйста, ну, как же и не соврать? Ведь я же могу говорить правду только тому, кто поймет меня со всей этой моей жизнью, а поймет только свой человек, сам живущий, как я. А скажи я по правде человеку, который только представляется понимающим, там — — «всё понимают»! — да он всё в расчет возьмет: ну вот мы и чай пьем, и калачи есть и — самый из ужасов — ветчина, ветчины я купил, сейчас принесу, вот память-то! «Как! у вас ветчина: так дорого!» Ему-то самому можно, хоть и дорого! Или: «Вы занимаете такую квартиру, так дорого!» Но ведь сам-то имеет куда лучшую квартиру и платит действительно дорого — ему можно, а тебе: крысиную нору, так что ли? и тогда он успокоится или — — ну, как же я с таким буду говорить по правде? —

«То же насчет и украсть. Ну, и украдет — у соседа нельзя, а у того, кто подальше. Впрочем, расстояние вещь относительная, и не в том дело, у кого украсть — —

«Я думаю, что качества т. н. «хороших людей» только и возможны и само собой появляются только при достатке человека, когда человек становится на человека похож. И такой может быть «честным» — держать слово! — и «милосердным»! Ну, а как тут чего уделишь, когда у самих нет, из ничего — ничего и будет! И как тут не обмануть, когда такая всегда недохватка —

«Люди же сытые, избалованные жизнью (ну, разве не баловство: родиться богатым!), люди, имеющие возможность быть «хорошими», требуют от нас, от бедноты такого, что им совсем легко — «раз плюнуть», и тычут «нравственными понятиями» —

«Да, все революции сводятся к тому, чтобы сделать людей похожими на человека, — дать человеку какой-то достаток жизни, при котором он будет иметь возможность исполнять заповеди «общежития». И это первое и самое главное, и без этого ничего невозможно — никакие политические (ничего не ровняющие!) равенства и никакие (от ничего не освобождающие!) свободы. Но пока такой революции не произошло — а к ней, только к ней и устремлены сознательно или бессознательно все помыслы людей, обреченных на трудную жизнь! — пока всё на своем месте «по уложенью» и по «предначертанной судьбе» и люди делятся на бедных и богатых, есть какая-то «нравственность» бедных и есть богатых, и общего между ними ничего нет —

«Я всегда буду обращен сердцем к бедным, к которым принадлежу. Я знаю все отрицательные стороны бедности, которой не пожелаю и врагу, но скажу так — я только среди бедноты видел при всей нашей отвратительной злой нужде такие качества духа, какие нигде не видал, или какие и бывают — всё бывает! — но только у избранных там — там, где нас никогда не поймут —

«Если богатый бросит обглоданную кость или завалящий кусок хлеба, который для меня-то будет “насущным хлебом”, а кость “наваристой мозговой костью”, — для него это плевое дело, а если бедный это сделает, “поделится” — то это уж от самого тела оторванный кусок и кость от живых костей, от «состава»; и сделает это по “сочувствию”, богатый же — чтобы не “приставали”; и бедный забудет, что поделился, а богатый всю жизнь будет помнить, и, если по той же нужде ты вздумаешь и еще раз обратиться к нему, он тебе напомнит. Впрочем, есть всякие очень хорошие и чистые способы, чтобы не только во

второй раз, но и вообще не обращаться. Я как-то получил письмо от одного товарища из ссылки, просит прислать денег, а что мне послать? — вот я и думаю, и придумать ничего не могу! А мой патрон и говорит: "Да не отвечайте на письмо!" "Как, говорю, не отвечать?" "Да будто ничего не получили, я всегда так делаю". Это, оказывается, один из способов и очень распространенный — —

Рассказывал он случай из «истории революции» — вычитал в каком-то историческом сборнике в тюрьме. Обыкновенно о революциях рассказывают или «ужасы», или легенды о героических подвигах, а в этом случае ни ужаса, ни легенды, просто живая жизнь. В каком-то мексиканском городе взяли верх революционеры, а жил там молодой богатый граф мексиканский, и, конечно, этого графа первым должны были уничтожить революционеры. И вот, простой человек из мексиканских же рабочих, бывший каторжник, стоявший во главе революционеров, пожалел этого молодого графа и, когда пришел день суда, спрятал его и потом много приложил усилий не дать в руки своим же «обреченного» «классового» врага. Но, как везде, ничто не вечно, и нет ничего постоянного, и всякие власти человеческие кончаются, так и тут случилось, пришли другие мексиканцы, сторонники графа: революционеров посшибали, а главного бандита, каторжника-то, первого наметили к истреблению. И вот этот самый граф мексиканский в самую критическую минуту и укрыл его у себя. А когда первая вспышка прошла и чувство мести и «справедливой народной кары» улеглось, граф тихонько выпроводил его из города — и уж в другом городе его прикончили. Но это не важно: на то и шел! А граф, видя — не дурак был! — что и эта власть, дружественная, как и всякая, непрочна, перекочевал на верблюдах к какому-то Навуходоносору, который в ту пору травы еще не ел, и было в его царстве пока что тихо и смирно. И там, у Навуходоносора, рассказывая среди друзей и прихлебателей историю своего чудесного спасения, и как он сам изверга укрыл и тем спас жизнь, совершенно откровенно заявлял: «Я укрывал его, потому что не хотел, чтобы у него осталось, будто он мне одолжение сделал и я ему обязан!»

«Так вот, значит, спас этот граф изверга только потому, чтобы в долгу не оставаться. А ведь изверг-то, каторжник-то спас

его без всякого расчета, просто пожалел. Нет, даже и спасти-то человека они так не могут и никогда не поймут, что спасать другого можно из-за самого прекрасного чувства "спасти" —

«Да, все революции исходят из первого и самого главного: сделать людей похожими на человека, — а это возможно только при достаточных средствах к жизни. Но пока всё остается неизменно и помириться нельзя. И невозможно. И это не то что увлекся и разочаровался, нет, — это сама суть нашей тягчайшей жизни, ее зов! —

«Всё это я грубо говорю. Я и о другом думал — знаю и извивы, и изломы человеческой жизни. Знаю, всё гораздо сложнее и запутаннее. Но вы поймете: о самой сердцевине нашей беды иначе и нельзя сказать —

«И скажу еще: до тех пор не замирится земля, пока не будет достигнута возможность вести человеческую жизнь — быть действительно человеком: не терять никчемуненужное терпение, не унижаться, не принимать молча оскорбления. В духе человека скрыты великие возможности, а уродливая несправедливая жизнь вот столечко дает ему простора развернуться, всё остальное убивается на мыканье и терпенье.

«Да, пока жив человек, будут на земле революции. И только мертвые, окончательно забытые жизнью, не пошевельнутся, да подчинившиеся своей доле — норе крысиной — останутся равнодушными.

«Пока жив человек — пока он хочет перемены в своей жизни (в общей жизни, с которой его жизнь связана!), будут революции. А революции всегда ужасны. Действующие — не машины, а люди со страстями и грехами. А кроме того, орудием и средством революции всегда будут люди наиболее грубые, нечувствительные, отчаянные и озлобленные. Вдохновители же, наиболее из них человечные, на черную работу не пойдут, да если бы в порыве и захотели, не годятся. Вот вы, например — —

* * *

Жизнь Котельниковых была бедовая и чудесная.

Только чудом они были на свете. И особенно когда Федора Ивановича в тюрьму сажали и Людмила Николаевна оставалась одна с Наташей.

Людмила Николаевна брала белье стирать, — этим и жили.

Оля часто заходила к ним. Доставала им денег, нянчилась с Наташей.

В Людмиле Николаевне много было материнской нежности. Федору Ивановичу многое можно было поверить: конспиративную науку, и со всей точностью, он прошел до конца.

И всегда у них в их беднющей квартире, где вместо стульев стояли просто пни, было столько душевного тепла, совести и света.

* * *

А это потом —

Через год —

Не на Колтовской в квартире без номера, а в тюрьме — в Предварилке на Шпалерной.

В тюрьме Оля горячо вспомнит и Людмилу Николаевну, и Федора Ивановича, и Наташу.

Чаще всех передача — от Котельниковых.

И если нечего — совсем, стало быть, денег нет — то так что-нибудь незначительное: кусочек пирога от Филиппова. Иногда же (чудесным образом!) жареная курица: и всегда курица без крыла. Оля понимает: крыло — Наташе; и еще понимает до слез, что для себя-то они никогда такого не сделают — целая курица!

На Троицу Людмила Николаевна принесла в тюрьму березки, перед Рождеством — кутью. А на самое Рождество Оля получила карточку: Наташа. А на обороте письмо:

«Дорогая тетя Оля, я так давно не вижу тебя, не слышу твоих песен. Мне скучно, так скучно, что хоть и сильный мороз, а я иду к тебе, чтобы встретить с тобой праздники. Мы вместе будем петь Коляду, я уж умею петь и бегать тоже. Крепко целую тебя, дорогая тетя Оля. Твоя Наталка».

У́же

После лета первая встреча на Курсах с Зиной:

— Ты страшно переменилась, Оля.

— Как?

— А теперь никто не скажет: «Оля — девчонка!»

На собрании в Кружке Маня Сажина:

— Надо быть у́же: только одним и интересоваться, а всё остальное оставить.

Оля, подумав:

— Да, надо быть у́же.

Оля ходила на Курсы, слушала лекции, но когда пропускала, не схватывалась. Некогда было. Всё время — на революцию. («Надо быть у́же»).

Не было свободной минуты для себя. С утра начиналась беготня, езда на извозчиках по делам. И не просто надо было ходить, а осматриваться, чтобы увернуться от шпионов. И разговоры.

Если и разрешено, подумайте, сколько тратится сил и времени на всякие организационные собрания, а когда еще надо прятаться, тут часов не считают; и при этом много всяких побочных дел обстановочных, которые требуют большой изобретательности, точности и памяти; да и без дурака нигде не обходится, стало быть, путаница непременно, которую всегда надо распутывать.

Особенно горячка была осенью.

Затеяли типографию. Оля ездила в Харьков, привезла шрифт. Надо было печатать прокламации.

К этому же времени «Бракоразводный комитет», за недостижением целей, преобразовался в «Струю единения»: эта «Струя» должна была объединить курсисток-бестужевок с курсистками других высших учебных заведений — с педагогичками и медичками, заправилы же оставались все старые знакомые —

Оля, Лида Алексеева, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

«Струя единения», «Кружок декабристок» и конспиративные дела — так всё время, ни минуты.

* * *

В начале зимы стали поговаривать, что «дело» Сергея Рашевского подходит к концу — сидел он два года! И действительно, были признаки: его перевели из Петропавловской крепости в Предварилку на Шпалерную.

На свидание ходили Зина и Федор Иванович.

Было условлено: когда узнают о приговоре — сколько лет ссылки, столько бы яблоков и принесли для передачи.

Разными путями и ходами добились — узнали:

Зина понесла в тюрьму для передачи восемь яблок —

восемь лет ссылки в Восточную Сибирь!

Начались хлопоты через двоюродного брата Черкасова, который занимал большое место, чтобы не по этапу ехать Рашевскому, а на свой счет с сопровождающим. И когда получилось разрешение, выяснился точно и день отъезда.

Зина и Оля приехали на Николаевский вокзал — Рашевского привезли: с ним был «сопровождающий» и Федор Иванович. Решено было ехать всем вместе до Бологого.

После двухлетней тюрьмы Рашевского всё удивляло: глаза, привыкшие к стенам, а слух — к тишине, живо действовали на разнообразие окружающего. Он точно открывал новое:

— И лес растет!

— И дети кричат!

«Сопровождающий» не мешал разговору: он залег на верхнюю полку и никак не отзывался — может, за столько лет вытянулся; шпионская-то должность, не посидишь на месте, не развалишься?!

Вышли на площадку.

На площадке можно было обо всем говорить.

Вспоминали — вспомнился и день ареста, третий день Пасхи, и как Оля попала в засаду на Захарьевской.

— Утром меня разбудила Зина: у нее был обыск. Просит пройти на Захарьевскую и узнать, как у вас. Я поехала на Захарьевскую. Там у ворот увидала много городовых и в штатском. Я вошла во двор и, не обращая внимания, прямо к тому подъезду, где, я знала, вы живете. Мне из окон стали махать. А я ничего не понимаю: тоже платком помахала. Возле подъезда жандармы — я мимо них по лестнице. Догнал меня жандарм в штатском, д<олжно> б<ыть> сыщик. «Какую квартиру вам надо?» «Рашевского», — говорю. А тот так вежливо: «Пожалуйте!» И в комнату с городовым меня запер. Городовой сначала молчал, потом разговорился: рассказал, что в ночь много арестов было — «больше ста рублей на кареты истрачено!» Я просидела до шести часов вечера. Вошел какой-то штатский и стал меня спрашивать: кто я и зачем пришла? Я сказала, что пришла просить к экзамену книгу: Логику. Штатский ушел. Еще просидела сколько — с час. И меня повезли на Гороховую в Охранное.

— А ведь я видел, как вы входили: меня еще тогда не отвезли.

— На Гороховой жандармский полковник сказал, — продолжала Оля, — что обвиняюсь «в близких сношениях с политическим преступником Рашевским, и не в каких-нибудь личных, а по общему делу». И так как я «очень молода и, очевидно, не боюсь жандармов», он меня отпускает. Этот полковник ужасно мне был отвратителен. И я до сих пор с неприятностью вспоминаю, как он разговаривал со мной.

— Это Струнский, — сказал Рашевский, — негодяй!

В Бологом Рашевский стал просить проводить его до Москвы — и так незаметно доехали до Москвы.

Не на вокзале же ждать поезда — пошли ходить по улицам. В первый раз Оля увидела Москву! Добрались до Тверского бульвара.

— Памятник Пушкину!

Но тут «сопровождающий» запротестовал: по городу ходить не полагается. И опять на вокзал.

— Проводите меня еще немножко!

— Я поеду, — сказала Оля.

— И я с тобой поеду.

Федор Иванович простился: он должен в Петербург. А Зина и Оля поехали с Рашевским. И до Серпухова — не заметили, в Серпухове вышли.

Поднялась метель — летел снег, ух, как в ладошки хлопал — и! как! весело!

Рашевский был в большой шубе, и от шубы он казался еще больше. Прощаясь, он двумя руками с шубой взял Олину руку.

— Я готов сделать какое угодно сартомортале, чтобы только опять увидеть вас.

А снег так и засыпал, захлопал — и! весело!

— —

— Я прекрасно знаю, что Сергею и не надо было, чтобы я его провожала, — говорила Зина, — но куда же ты одна денешься в Москве!

В Москве Зина повела Олю ночевать к знакомым. А наутро поехали в Петербург.

— Сергей убежит, я знаю! — сказала Оля.

— Трудно, — Зина не верила.

— Ну, такой найдется! Не будет же он корпеть восемь лет без дела.

Беспорядки

Всего два дня не были на Курсах, а Курсов нельзя узнать: сразу же почувствовалась «атмосфера беспорядков».

Лекций нет — в чем дело?

Варя Финикова, особенно возбужденная, бегала из аудитории в аудиторию.

— Да в чем дело?

— Курсистку — я не знаю фамилии — поцеловал профессор Дадыкин, когда она пришла к нему за книжкой — и Финикова зазвенела, — так этого нельзя оставить?!

— Нельзя! — подхватили, — нельзя?!

Профессор Дадыкин — у него большая библиотека — давал курсисткам читать книжки; розовенький, пухленький, с необыкновенно мягким голосом и очень вежливый до стеснительности и робости, и уж куда там поцеловать, да он просто как-нибудь посмотреть не решился бы, всегда с книгой и в книге, и сам вроде сафьянового корешка книжного.

— Нельзя! нельзя! — звенело и задорно, и колко.

Тут Оля увидела, что и Лида Алексеева, и Маня Сажина, и Нина Мавлютина не менее возбуждены, и это передалось и ей и Зине.

А в математической аудитории собирались и почему-то не шли, а бежали, и с бежавшими бежал и крик и звяк взволнованных голосов:

— Это неправда.

— Надо его освистать.

— Дадыкин поцеловал.

— Так этого оставить нельзя.

— Нельзя! нельзя!

— Позвольте, — выступила Женя Шубина, — только что получено известие: профессор Дадыкин сошел с ума и его поступок не зависит от акта сознания.

— Ну, и что ж, поцеловал? Неизвестно, как было: может, совсем с другими целями.

— Не может быть.

— Неизвестно, как это было: сама курсистка могла подать повод.

И тут-то вот вылезла, стала на стол маленькая, кругленькая, носик шишечкой — курсистка Мизюкина.

— Нет, — сказала она, — это всё неверно, других целей не было, и повода я никакого не давала. Это было со мной.

И она начала рассказывать, как ее поцеловал Дадыкин.

Оле было неловко слушать — —

— — потом вышел он на площадку, — отчетливо выговаривала Мизюкина, — и сказал мне, что он ко мне придет.

— Так этого оставить нельзя! — крикнула Варя Финикова.

— Нельзя, нельзя! — подхватили со всех концов.

И когда, сорвав сердце, выкрикнулись и понемногу стали расходиться, медленно вошла в аудиторию Анна Ивановна Синицына.

— Четыре года на Курсах, — сказала она, — каких только беспорядков не было и из-за студентов, и из-за нагаек, но чтобы из-за поцелуя, такого не бывало.

* * *

На другой день с утра поднялось вчерашнее — опять стали собираться в аудиторию, опять крик, опять нет лекций.

И, как всегда в таких случаях, комитетские дамы забегали по коридору и зашуршало из всех углов:

— Курсы на волоске!

— Курсы закроют!

А курсистки кричали:

— Так этого оставить нельзя! — выразить протест!

Какая-то «нестоющая» курсистка — «барышня», начиненная курсовыми дамами, особенно горячо возражала: голос ее раздавался и в аудитории, и в коридоре.

— Это личное дело, — говорила она, — Мизюкина и должна выразить протест. И никакого общественного значения не имеет.

— Не трепайте фамилию! — крикнула ей Оля.

Окрик Оли произвел некоторое впечатление, и на время барышня замолчала. И осталось единодушное: «выразить протест».

По обыкновению на Курсах появился любимый профессор Воркунов, но в аудиторию он не пошел.

— Удивляюсь, — говорил он в коридоре, — ведь надо видеть Мизюкину: как еще ее городовой не поцеловал!

* * *

И на третий день было не меньше крику, чем в первый.

Опять выступила «барышня», доказывая, что этот поцелуй общественного значения никакого не имеет и что Мизюкина должна сама выразить протест.

— Не трепайте фамилию! — по-Олиному, только тоненько крикнула Соня Ефимова.

— А зачем же вы, как выражается Ильменева, трепаете имя Дадыкина!

Но тут вступилась Варя Финикова: она дошла до последнего ожесточения и уж сама с собой повторяла —

«так этого оставить нельзя!»

— «Выразить протест!» — откликнулась аудитория.

И вынесли постановление:

1) на курсовой вечер Дадыкину почетный билет не посылать;

2) при первом удобном случае освистать;

3) все книги, какие взяли у него, вернуть.

И написали коллективное письмо:

«считаем оскорбительным для себя брать книги и возвращаем».

И все подписались: Варя Финикова, Оля, Зина, Лида Алексеева, Маня Сажина, Нина Мавлютина — и те, кто никогда никаких книг не брал у Дадыкина, просто из протеста.

Вот какой вышел лист!

* * *

Федор Иванович только смеялся над всей этой историей с «поцелуем».

— Это не в первый раз, — говорил он, — это, когда я был на втором курсе, Дадыкин тоже курсистку поцеловал, и тоже были беспорядки!

Под стук

Шпалерная: камера на 4-м этаже № 23.

Дверь захлопнулась — и Оля осталась одна.

Первое: стук — стучат со всех сторон —

Оля сняла ботинок и каблуком стала колотить в стену.

— — — — — — — — — — — — — — — —

В коридоре поднялся шум, вбежала надзирательница:

— У нас стучать не позволяется! Пойдете в карцер!

Оля надела ботинок и стала прислушиваться:

стучали со всех сторон — стук глухой, а сверху ясно:

— Кто?

— — —

«Конечно, надо стучать чем-нибудь легким!» — поняла Оля, вынула шпильку и шпилькой постучала обыкновенной азбукой медленно:

— И-л-ь-м-е-н-е-в-а.

И стуком ей ответили:

— Разделите азбуку на шесть частей — в каждой части по пяти букв.

И уж по-новому выстукала Оля и совсем просто:

— Кто?

И просто разобрала ответ.

— Игнатьева. Сегодня большие аресты.

Так Оля и научилась и стала стучать-разговаривать азбукой, которой перестукиваются.

И пошла ее тюремная жизнь — дни и ночи под стук.

Оля была арестована совсем неожиданно — впрочем, ожиданно ничего не «случается»! После Шевченковского вечера, на котором была и Зина, Оля вернулась домой поздно. А дома: жандармы — уж обыск сделали. Так прошла ночь. Утром повезли на Шпалерную в Предварилку. Везли на извозчике два жандарма. Весна — март — солнце. Встречаясь, незнакомые студенты махали шапками и провожали особенным взглядом: всякому было понятно, что арестованную везли в тюрьму.

Через несколько дней стучит Игнатьева:

— Вам кланяется Рашевская.

— Она здесь?

— Да. От меня через камеру.

Игнатьева перечислила всех — все были здесь:

Лида Алексеева, Маня Сажина, Нина Мавлютина, Варя Финикова.

Оле хотелось поговорить с Зиной, но как это сделать: на другой этаж через камеру в угол — далеко.

Соседка Лаптева:

— Вы можете стучать по водопроводной трубе, когда тихо. Надо в углу стучать. Через камеру слышно. Можно разговаривать со всей тюрьмой.

Оля пробовала, и сначала было трудно — очень стучали! — но и эту премудрость одолела.

И стала перестукиваться с Зиной.

* * *

Первое время Оля разговаривала с соседками:

наверху — с Игнатьевой, слева — с Лаптевой (справа сидела Федорова, не любила разговаривать: работала — вязала), внизу через камеру — со Степановой, но главное — с Лелей Корн — прямо под камерой.

И со всеми подружилась, а с Лелей особенно.

— — весна — пароходы на Неве стучат — на воле веселое время — —

Каждый вечер Степанова выстукивает Оле:

— Крепко целую и горячо обнимаю.

— И вас! — отстукивает Оля.

А когда Степанова захворала и ей разрешили вино, она стучала:

— Пю за ваше здорове.

(В азбуке, которой перестукиваются, нет ни ъ, ни ь).

Все соседки — с.-д., а из с.-р. близко — Маня Сажина и Лида Алексеева.

Маня Сажина всё болела — мало разговаривала; и недолго ее держали — выпустили. Но уж воля не для нее — так и померла.

Лида Алексеева тоже хворала — ее в лазарет перевели. В лазарете окна большие, Оля ее в окне увидала. И стали они переговариваться палочкой: Оля махала палочкой буквы — и Лида ей отвечала так же.

— — весна — пароходы на Неве стучат — на воле веселое время — —

О весне, о Неве, о пароходах, о воле — Оля и разговаривала с Лаптевой.

И вдруг стук быстрый:

— Меня освобождают!

Оля всего раз ее за месяц видела — издали, а привыкла, как год годовала вместе!

уж потом Оля ее увидела — на ту весну, когда так же пароходы на Неве свистели, когда Олю выпустят.

* * *

Вся весна, лето — до осени прошли под стук Лели Корн.

Из всей тюрьмы лучше всех стучат: отчетливо, мягко и быстро —

Оля и Леля.

— Попросите у дамы ножницы и делайте дырку в полу около трубы: там есть щелка! — постучала Леля.

(«Дамами» называли курсистки тюремных надзирательниц, на манер курсовых дам).

Ножницы Оле выдали, и весь день она трудилась.

А вечером после поверки стучит Леля:

— Лягте на пол.

Оля легла — —

и вдруг слышит настоящий человеческий голос:

— Вы меня слышите!?

А Оля только смеется от радости:

настоящий человеческий голос!

— Да, да, слышу.

— Давайте разговаривать!

И с тех пор всякий вечер после поверки Оля с подушкой укладывалась на пол (Леля научила: «на пол головой не ложитесь, пол асфальтовый, можно простудиться, а подложите подушку!»)

а Леля становилась на стол, на книги.

И разговор был самый близкий, только что друг друга не видят.

Леля рассказала всю свою жизнь — она тоже из-под Киева, отец ее немец, принял русское подданство, и она русская. И Оля ей рассказала о себе и самое сокровенное свое — о своей вере.

— Давайте я вас буду называть Олей, а вы меня Лелей. И как в брудершафте: обнимем — — трубу.

Оля согласилась: Оля поднялась с пола и обняла трубу (радиатор) —

Леля спрыгнула со стола и тоже обняла радиатор.

И теперь всякий вечер после поверки стучит Леля:

— Я иду к тебе!

И вспрыгивает на стол на книги —

а Оля с подушкой укладывается к радиатору.

— Давай, Оля, передавать друг другу из передачи. И книжками меняться.

— А как?

— Разорви простыню, сделай веревку, привяжи и спускай в окно.

Оля разорвала простыню, скрутила веревку, привязала конфет и — в окно —

Леля веревку поймала, конфеты отвязала, а привязала яблоко —

Оля потянула — и яблоко очутилось у нее в руках.

Так и передавали.

И что принесут Оле, она отделит — и вечером на веревке Леле —

И Леля тоже бережет к вечеру свое для Оли.

— Есть у тебя, Оля, Леонид Андреев?

— Есть.

— Дай мне. И напиши: «отречемся от старого мира» — все слова.

Оля написала Марсельезу, вложила в книгу, дождалась вечера, отворила форточку и стала спускать на веревке книгу — — и тут что-то произошло: не то книга тяжелая (в переплете!), не то рука дрогнула —

веревка выскользнула —

тррах!

Оля с окна — бац.

Леля на пол — цаб.

Да скорее на кровать, улеглись — и словно спят давным-давно.

А всю ночь не спали:

известно — такая книга находится у Оли, и Олин почерк — записка «отречемся от старого мира».

Часовой ли попался хороший — всё обошлось: и о книге никто не хватился.

Леля выдумщица — для развлечения затеяла представлять музыку: стучать враз по-разному — стучала Оля, стучала Сте-

панова, стучала Леля и совсем слабая, больная, переведенная из лазарета, Лида Алексеева; ее попросила Оля, и она, хоть и трудно было, Оле не могла отказать.

Лида: раз —

Оля: раз-раз —

Леля: раз-раз-раз —

Степанова: восемь раз — раз —

И такая музыка гремит до тех пор, пока надзирательницы с ума не посойдут — и сразу всё обрывалось.

Или скуки ради Леля с Олей представляют, будто новых привезли арестованных —

обыкновенно, когда привозили новых, слышно было, как хлопали двери, все настораживались и начинали стучать по стенам.

Хлопать дверью ни Оля, ни Леля не могут, но вызывать стук — можно:

они нарочно стучали неумело обыкновенной азбукой и часто зачеркивали (резкий стук поперек), что означало «не понимаю».

И все, конечно, думали, что привезли новых, верили — и тюрьма оживала.

Всякий вечер Оля разговаривает с Лелей —

они слышат настоящий человеческий голос!

— Почему бы, Оля, не разговаривать нам, сидя на стульях!

— А ты можешь себе представить, Леля, выйти на прогулку без дамы?

— Ты согласилась бы, Оля, повенчаться: после венчанья три часа можно сидеть вдвоем, такое правило.

— Только-то три часа — — !

— А ты знаешь, — вдруг обрадовалась Леля, — форточку в двери на день не запирают. Пойдешь на прогулку мимо, толкни.

И на следующий день после прогулки, проходя мимо Лелиной камеры, Оля, к ужасу надзирательницы, крепко толкнула форточку —

Форточка раскрылась — и Олину руку резко пожали тоненькие пальцы.

А это такое счастье: пожать живую человеческую руку в одиночной тюрьме!

Оля ходила по двору на прогулке и видит:

кошка погналась за воробьем и задушила его.

Оля подняла воробья — нигде ведь, только в неволе так жива жизнь, и всё погубленное близко, как свое! — вырыла ямку, закопала воробья и цветы положила —

каждый раз, как Оля на прогулке, Зина ей бросала цветы.

Оля, конечно, простучала Леле о воробье, как погиб, и о могилке воробьиной.

Лелю это очень растрогало, и она написала стихи: у Лели душа такая, и вот просится, а слов-то нет и ничего не выходит.

Оля ей Кузмина прочитала:

Воробушек, птичка малая,

О чем щебечешь в плену?

Тоска небывалая

Приводит всё песню одну.

И каждый вечер Оля ей стихи читала — Оля знает на память много.

А Леля ей рассказывала сказки — русских она не знает — Гримма, Гауфа.

А это такое счастье: в неволе слово — стихи и сказки!

И только раз поссорились из-за какой-то мелочи самой мелкой.

И днем Оля ей не стучала, Оля перестукивалась с соседкой Лели — Струковой.

Струкова стучала топорно — —

И вдруг ворвался легкий, мастерский стук Лели:

— Тише, начальство!

А когда в тюрьме всё стало по-обыкновенному, Леля:

— Я иду к тебе!

Так и помирились.

На Олю напало: как ночь, не спит, а утром до одиннадцати в кровати.

Леля:

— Я придумала: ты обвяжи себе ухо ниткой и протяни нитку в окно, я в шесть за нитку дерну, ты и проснешься. А на следующую ночь заснешь крепко.

Но Оля не согласна: очень мудрено.

И опять Леля — еще выдумала:

— Давай мыть пол: от этого сон хороший.

— Я не хочу мыть, — сказала Оля.

— Ну, я еще что-нибудь придумаю.

— — —

Тюремные надзирательницы делились на «дам хороших», как Екатерина Ивановна: такие предупреждали разговаривать тише — не стучать, когда появлялось в тюрьме начальство; и никогда ни о чем не предупреждавших, напротив, это «дамы гадкие», «ведьмы».

И однажды гадкая ведьма застала Олю и Лелю за разговором.

Что только было: крик и гроза —

«донесу»!

А хорошая ведьма после и говорит:

— Вы хоть бы поосторожней были, когда дежурит Марья Петровна. Мне тоже попало: опоздала я на дежурство, и всего-то на одну минуту — так она на меня, будто я виновата, и что вы разговариваете.

Леля и по этому случаю стихи написала:

о злой ведьме, которая стережет арестантов.

Только у Лели вышло, что нет злых ведьм, есть одни добрые, а злыми они становятся:

потому что, если исполнять устав при таком нарушении всегдашнем — эти стуки-разговоры! — то и самый добрый человек озлится.

Как-то сейчас же после поверки Леля неспокойно простучала:

— Я иду к тебе.

Еще рановато, но Оля взяла подушку и к радиатору.

— Оля, меня завтра выпустят.

— Откуда ты знаешь?

— Мне сказала Екатерина Ивановна.

(Екатерина Ивановна — «добрая ведьма».)

И всю-то ночь проговорили.

— Оля, будешь ли ты вспоминать меня — мой голос из могилы? Ведь я под тобой, как в могиле!

— Буду, Леля, всегда.

— И я никогда не забуду твой «с неба». Мне, Оля, страшно хочется жить. Я люблю всю жизнь. Всякую травку. Я и дождик люблю, Оля.

— Вот на воле ты завтра будешь —

— Я знаю... Но мне чего-то горько. В лесу я смотрю на корни, на листья — осенью особенно, когда в лесу тихо. Осенью особенно. И так бы всё всосала в себя... Зажмуришься и не шевельнешься. И чего-то горько.

— Это ты в тюрьме, а как выйдешь —

— Нет, Оля, это что-то другое.

— А какая ты, Леля, расскажи!

— Завтра увидишь.

— А почему у тебя такие худые руки?

Леля не сразу ответила.

— Такие уж — — А ты сильная, Оля, я знаю. По голосу, по шагам. А какие у тебя глаза?

— Меня, когда я была гимназисткой, называли «совой».

— Да, да, я вижу... Я тебя, Оля, никогда не забуду.

Леля приготовилась к завтрашней воле. Оля дала ей всякие поручения: и куда пройти, и что сказать. А прошел день — не выпускают. И неделя — Леля сидит. Месяц кончается —

Когда Лелю повели на прогулку, она, улучив минуту, спросила «хорошую даму» Екатерину Ивановну:

— Почему вы сказали, что меня выпустят?

— Да возле вашей камеры ножницы упали!

— — —

И еще прошел месяц. Начался сентябрь.

Лелю выпустили внезапно — крепкий стук к Оле в неурочный час днем:

— Я иду к тебе.

Оля взяла подушку и к радиатору.

— Меня выпускают.

— Леля! до свидания!

— До свидания! — и Леля спрыгнула...

А Оля стала на стол к окну: с четвертого этажа ей виден тюремный двор —

подъехал извозчик,

вынесли вещи,

вышла Леля —

Так вот она какая! Оле показалось:

— — тоненькая, мордочка остренькая, лисичка!

И она стала ей махать.

А Леля — тоненькие руки свои так крестом и к Оле от самого сердца, точно хотела всё сердце отдать маленькое Оле —

Оля никогда не забудет.

В первый раз она ее увидела и больше не увидит: вскоре после тюрьмы Леля померла от туберкулеза.

Извозчик скрылся.

Один пустой тюремный двор.

Оля осталась одна.

— —

Воробушек, птичка малая,
О чем щебечешь в плену?
Тоска небывалая
Приводит всё песню одну.

Оля очень горевала, так горевала, точно кто помер близкий. Безумная была тоска. И никак не могла успокоиться.

Поздно вечером всё ей кажется, кто-то кашляет в камере — в «могиле», где сидела Леля,

— Леля?

А в ответ ей только смотрят пустые, непреклонные стены.

— — —

Обыкновенно время в тюрьме шло быстро: от понедельника до понедельника — не заметишь. В понедельник моет пол «уголовная», переводят в пустую камеру, и оттуда можно стучать, этим стуком и начинается неделя.

А теперь от понедельника до понедельника дни бес-конечные!

* * *

В «могилу» на место Лели посадили Смолину: ее уж во второй раз сажали, теперь по приговору на два месяца.

Смолина научила Олю передавать записки в переплете.

И еще посоветовала:

что хорошо в тюрьме изучать какой-нибудь иностранный язык.

А когда подошел срок ее тюрьмы, Оля дала ей поручение к Федору Ивановичу.

Ф. И. Котельников тоже был арестован по «делу» Оли, и, как всегда, его подержали несколько месяцев и выпустили. У него ничего не нашли, как и у Оли ничего не нашли, и улик не было,

а против Оли были показания Хвостова, в которых он много чего напутал.

Чтобы поверил Федор Иванович, Оля дала Смолиной такой признак:

пусть она напомнит, как Оля ночевала у них, когда жили они в Лесном, в той комнате, где солнце с пяти светит.

— А когда выпускают, — спросила Оля, — что же бывает?

— Везут в карете в Жандармское, там подписать надо бумагу об освобождении, и на извозчике с вещами домой. И кажется, все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, и дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости.

Смолину выпустили.

И вскоре Оля получила от нее бутылку супу, а в супе — записка. А от Федора Ивановича учебники: французский и немецкий.

* * *

За одинокие месяцы без Лели Оля много передумала.

Оля вспомнила Соню Ефимову и приняла ее —

ее слова, как она сказала, что «ей мила Оля как человек, и не важно, с.-р. или с.-д.».

Соне Ефимовой она тогда и письмо написала, просила не сердиться.

— Да, важно, чтобы в человеке был человек.

Ведь все, кто ей помогали, были с.-д.:

и Игнатьева, которая научила ее азбуке,

и Степанова — «крепко целую и горячо обнимаю»,

и Лаптева, с которой Оля первое время перестукивалась,

и Смолина,

и Леля —

Единственная Белкина, она сидела вместо Лаптевой —

ей на свидании сказали, что ее выпустят на днях, и об этом она постучала Оле.

— Можете передать на волю зашифрованное письмо? — спросила Оля.

— Если там не будет с.-р.-ского содержания.

— Лежачего не бьют, — резко простучала Оля, — у нас тут не такой порядок: все друг другу помогают, не рассуждая, кто с.-р. и кто с.-д.

— Нет, дайте, я передам! — спохватилась Белкина.

— Ни-когда.

Да, в тюрьме не было различия: с.-р. и с.-д. Никогда никто не отказывал друг другу.

Больше всех помогала Лаптева:

она сидела два года, каждую неделю у нее было два свидания; кому угодно она помогала, все ей стучали, безразлично — какие шифры, всё, что хочешь.

Оля не помирилась с «материализмом», но с человеком — —

* * *

В начале зимы приехала из Ватагина Ирина: ей дали свидание с Олей в Жандармском.

«Дело» Оли вел тот самый полковник Струнский, о котором у Оли осталась неприятная память — разговор его тогда по поводу ее ареста, и как он отпустил ее, потому что «она очень молода и не боится жандармов». Тогда Оле было шестнадцать лет, а теперь девятнадцать. Тогда Оля даже не знала, «чего надо знать», а теперь она знает.

После свидания с Ириной полковник Олю допрашивал и, как всегда, без толку.

— Я думал, — сказал полковник, — на вас хоть свидание с сестрой подействует!

И еще раз дали свидание с Ириной, но уж в Предварилке.

И полчаса — срок свидания — показались Оле за минуту.

Всё земляное — черная ватагинская земля, сад — густой, заросший, с грушами, с вишнями, с яблонями, с барбарисными кустами, всё кровное, крепкое, как эта теплая черная земля, ощутилось так близко, так захватывающе — до боли.

От Натальи Ивановны долго скрывали. И лето прошло, а Оли всё не было. Выдумали, будто Оля к кому-то на урок поехала. Олины письма из тюрьмы, что желтым перечеркнуты — цензурованные жандармами, не передавали. И только те, где жандармы забывали перекрестить желтым, показывали. Но скрыть уж нельзя было.

Беспокоилась и любимая бабушка Татьяна Алексеевна, что нет и нет ее Оли. И в один прекрасный день, не выезжавшая век из Меженинки, она собралась и вместе с Анной Павловной нагрянула в Покидош к Марье Петровне Вольской.

«Покажите мне газету, — сказала Татьяна Алексеевна, — не написано ли там, что Олю арестовали?»

«Вот еще что выдумали! Да разве про это пишется?»

Татьяна Алексеевна в тот же день уехала в Меженинку. Да, больше невозможно было скрывать. И сказали: и Наталье Ивановне, и бабушке.

Наталья Ивановна очень тревожилась: ей представлялось, что Оля сидит в арестантском халате, в подвале, как рисуют на картинках. А бабушка, тетушка и Анна Павловна — молились.

Перед Рождеством и еще раз дали свидание с Ириной, и она уехала в Ватагино.

Оля, захваченная памятью о доме, думала, что никогда уж она ни с кем из домашних не поссорится: уступать будет — никогда ничем не огорчит ни Наталью Ивановну, ни бабушку, ни Ирину, ни Мишу, ни Лену.

И вспоминая всех — всё обвиняла себя, что мало любила их.

Душа ее горела и жестоким судом над собой, и любовью к ним.

И когда под Рождество от Котельниковых с передачей принесли ей карточку Наташи, она так обрадовалась и порывистым стуком простучала соседке:

— Я умерла — —

* * *

Трудно было стучать к Зине наверх через камеру.

Оля ей всегда стучала, и когда Леля была, стучала, а теперь, когда Лели не было, всё — для Зины.

Ведь Зина понимала Олю, как сама говорила, по движениям ресниц, и всегда говорила, что любит Олю больше, чем Оля ее. Так и все говорили. Так и сама Оля думала.

И теперь Оля часто об этом думает и обвиняет себя, что меньше любит ее, и всегда меньше любила, а когда ссорились, первая подходила Зина. И раз после такой ссоры карты подарила, игрушечные карты, чтобы что-нибудь подарить, на большее денег не было.

А отчего ссорились?

Или оттого, что душа ее как-то по-другому? Вот Леля и с.-д., а по душе куда ближе. Нешто Зина скажет, как Леля, «что она — — и дождик любит»! Зина иногда говорила такое, отчего

было досадно на нее: очень как-то грубо, и не в слове, а в самой мысли — —

Трудно было стучать Зине — только по трубе.

Оля выдумала особенную азбуку —

чтобы никто не понимал их разговор.

Стучит она по вечерам, как когда-то Леле.

Зину раньше должны выпустить: ее и меньше обвиняют, и меньше ей придают значения.

— Я, Оля, не хочу, чтобы меня выпустили.

— Почему, Зина?

— Что ж я на воле без тебя буду делать? Если ты будешь сидеть, то мне и воли не надо.

И однажды после такого разговора Оля спросила себя:

согласилась бы она быть на воле, когда Зина сидит?

И ответила:

«Согласилась бы».

И стала обвинять себя.

Но что же поделать-то, когда ясно говорится в душе:

да, согласилась бы!

«А Зина вот говорит: нет!»

Летом Зина всякий раз, когда Оля гуляла, цветы из окошка бросала ей.

Если на прогулке случалась надзирательница «добрая ведьма», Оля поднимет цветы и унесет в свою камеру. А когда «гадкая ведьма», Оля только смотрит и улыбается от радости:

Зина помнит, это слова ее — как цветы.

— Ты, Оля, тоже в две косы волосы заплетай и ходи так, чтобы мы с тобой были одинаковы. И кофточками давай поменяемся: ты в моей кофточке, а я в твоей.

Оля заплела две косы и ходила так — как Зина.

В пятницу Оля идет в баню и оставляет там, припрятав, свою кофточку для Зины. А через неделю — в пятницу находит, тоже спрятанную, кофточку Зины.

И они, как одна, одинаково ходят — в две косы:

на Зине — красная кофточка Оли, на Оле — голубая Зины.

В разговоре часто вспоминают Сергея, брата Зины: проводы до Серпухова, метель, и как потом ждали письма —

Зина была тогда уверена, что Сергей напишет или ей, или Федору Ивановичу, и ходила всякий день к Федору Ивановичу

справляться, а получила-то первая Оля: «Многоуважаемая и милая Оля!» — начиналось письмо. «Кто получил первое письмо?» — задорно спрашивала Оля. «Да ты, ты!» — как детям, отвечала Зина, глядя с восхищением на Олю.

Как-то под вечер, когда зажгли электричество, раздался по трубе сильный стук.

— Прощай, Оля, — стучит, перепутывая буквы, Зина, — меня выпускают.

— Пр — — Оля только и успела простучать две первые буквы и услышала резкий звук крест-накрест: значит, вошла надзирательница, собирают вещи.

А вот и дверь стукнула —

шаги по лестнице.

Оля к окну —

зима — темно на дворе, едва различает: карета — это для Зины, в Жандармское повезут!

карета пропала —

И темная темь закрыла окно.

Оля представляет себе:

как Зина в Жандармском —

подписала бумагу —

отдали вещи —

извозчик — едет домой.

«И кажется, — вспоминаются слова Смолиной, — все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, и дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости».

А в камере пусто и одни стены сурово.

Оля нет-нет да и подойдет к трубе, послушает: не стучат ли? — нет, не стучат! Постучит — нет, никто не отвечает. Вот будто она закашляла... нет, это показалось.

— — — — — — — — — — — — — — —

По ночам часто снится Зина:

то будто через Неву переезжает с ней Оля,

то будто Шевченковский вечер, и опять они вместе, и очень весело.

Оля получила передачу от Зины, и в передаче записка:

« — для меня нет воли, пока ты сидишь в тюрьме!» —

А прошла неделя — и нет ни передачи, ни писем.

— Значит, Зину выслали?

* * *

В тюрьме всё знали, что делается на свете.

Постоянно входили новые — через расспросы да через передачи всё и узнавали.

К концу зимы всех выпустили, кто был с Олей, и только одна осталась в тюрьме Оля.

Оля занималась французским и немецким, как ей посоветовала Смолина, и это помогло ей заполнять длинные одинокие дни. Времени было очень много — на перестукивание уходило всё меньше и меньше, и только книга: Оля читала и думала.

«Вот у меня всё отняли, что есть жизнь, — думала Оля, — а за то, что хотела отдать себя за чужую волю. Тюрьма не несчастье, тюрьма только неприятность, надо вынести эту неприятность, и тогда еще светлее и радостнее будет начатый путь. А Хвостов на воле: он достал себе волю тем, что других лишил ее надолго!»

— —

На тюремном дворе лежит снег.

Стоит недоделанная снежная баба:

эту бабу Оля давно делает и не может окончить: прогулки коротки.

Оля взяла полную пригоршню снегу и взглянула вверх —

небо!

кусочек неба и звезды!

«Вот чего от меня не отняли! Неба не отняли! И никто не властен его отнять. А вот Хвостов сам от себя отнял: для предателей нет неба!»

— —

Оля вернулась в камеру.

В глазах ее было небо и звезды.

Она его видела, и такое звездное, еще в детстве: так же снег лежал, стояла снежная баба, а она с отцом шла в церковь ко всенощной.

«Оно вечное. Его люди не могут отнять. Только сам человек может его уничтожить. Да, тюрьма не несчастье, а несчастье — вот когда неба не будет».

— —

Оля стала молиться.

На воле редко она молилась, а тут целыми часами выстаивала на коленях.

Не по молитвеннику, своими словами она выговаривала свою молитву:

и благодарила — за волю,

и просила — о воле.

* * *

По обыкновению Оля встала в семь, до десяти убиралась, села заниматься.

Неожиданно вошла надзирательница;

— Собирайте вещи, вас освобождают!

— Передайте это в № 16! — Оля показала на книги, и еще кое-что было у нее из передачи.

— Я не могу.

— А тогда я не выйду! — Оля сказала твердо.

— Хорошо, хорошо, я передам.

И пошла, а Оля стала одеваться.

И стены вдруг как осели, просетились — не узнать, и не поймешь: и было, и не было, как во сне.

Олю повезли в Жандармское.

И когда она подписала бумагу и вышла: у подъезда ждал извозчик с вещами — —

«Когда выпускают, — вспомнилось, — кажется, все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, а дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости».

Но где же? где же всё это? — и такая весна, а из души угрюмо смотрят серые каменные стены — ст...

И Оля заплакала.

Прощанье

Оле разрешено было остаться на месяц в Петербурге:

держать выпускные экзамены.

Выхлопотал любимый профессор Воркунов: Олю считал он коноводом всех курсовых историй и беспорядков, но горячность ее и убедительность и, как говорила она, — «всегда на суть и во всеоружии» — покорили его, он смотрел на нее с улыбкой, прощая ей все ее выходки.

А не Воркунов, Олю тотчас бы выслали.

За месяц — Оля была убеждена — к экзаменам она подготовится и, когда кончится «дело» и выйдет приговор, поедет она в ссылку с дипломом.

Этот месяц Оля жила у Котельниковых.

Книги, о которых так беспокоилась Оля, к великому ее счастью, оказались все целы: сберег Федор Иванович.

«Куда пропали мои книги? — писала она из тюрьмы. — Это ужасно! Самые дорогие для меня книги пропали: Некрасов, П. Я., Гревс, Николай—он, Ключевский, может быть, и еще пропали какие-нибудь. Нина не пишет, с ее стороны это просто варварство, ведь она знает, как я дорожу книгами, знает, как беспокоюсь о них, особенно здесь, в тюрьме, где у меня одна отрада — книги, и она мне не пишет. Ужас! Я считала ее добрее, но теперь вижу, что и в ней так же, как и во всех людях, ошиблась. Все люди гадкие, только малая крупица хороших. Это я умом знала уже давно, но только здесь, в тюрьме, я это поняла, потому что почувствовала, насколько мерзки, мелки, изменчивы, самолюбивы люди, о, как я их ненавижу!»

— Ну, вот видите, и нечего было так сердиться и тревожиться!

А когда Оля рассказала о Леле и о других своих соседках, с которыми она перестукивалась за свой тюремный одиночный год, а рассказывала Оля с любовью —

— А вы писали, что и людей ненавидите, — заметил Федор Иванович, — нет, если вы и ненавидите, то лишь мелкие черты человеческие: трусость и самолюбие. А ведь это и сам человек в себе ненавидит!

* * *

После тюрьмы Оля никак не могла успокоиться.

«Что же это такое она оставила в тюрьме и чего не было на воле?» — спрашивала она себя.

«Там хорошо думалось, это первое, и еще — —, и она долго не могла себе сказать, какая там еще отрада была? — — а вот в чем: не знаешь ведь, как жить, а там ждешь освобождения. А теперь — чего ждать?»

Экзамены шли хорошо.

Не экзамены, а вот это мучило Олю:

«чего ждать — чем жить?»

«Буду ждать приговора,— решила Оля, — а выйдет приговор, буду думать, что дальше делать?»

На этом и успокоилась.

Но тут опять всё перевернулось.

В день своего освобождения Оля послала телеграмму Зине: «здравствуй, родная!» — это и означало, что Оля вышла на свободу. И вот получился ответ — трудно было поверить, что писала Зина.

Оля перечитывала и глазам не верила:

сухое официальное письмо!

Что же такое произошло?

— Да какие-нибудь мелочи, — сказал Федор Иванович, — что-нибудь такое передали ей: на самолюбие ее. Помните, еще Орлова удивлялась ей, что она безропотно принимает от вас всякую резкость. Ну, и тут что-нибудь сказано было. А она поверила.

Возможно, что Федор Иванович был прав.

Да, там так хорошо думалось: там я думала — судила себя — обвиняла и оправдывала, там мне сны снились веселые, там я молилась... а на воле опять будет стыдно молиться. Я скрывала от всех свою веру в Бога и очень редко молилась, а в тюрьме... свободно целыми часами стоишь на коленях и молишься. И еще не умею сказать, какая отрада была в тюрьме, почему мне ее так жаль. Один голос говорит: «Жаль тех, кто там остался». Я радуюсь этому голосу, он меня подымает в собственных глазах. Но другой голос против: «Не в этом дело, говорит, жить как, ведь не знаешь, а там ждешь освобождения; чего теперь будешь ждать?»

Ночами она ходила по комнате, как в своей тюремной камере, не могла спать.

— — —

«Так, стало быть, она меня не любит? А казалось-то, все так думали, и она сама так думала, и я так думала, что она меня любит гораздо больше, чем я ее. Как же это так? — — И значит, не любила? А если не любила, то кто же любит-то? Или правы неразлучные Лида и Ира, когда объясняют свою неразлучность, «не потому что любовь, а привычка — с детства жили, дом против дома».

Письмо Зины больно ударило, сильнее всех бедовых тюремных дней, вскрывавших и предательство, и трусость — все те мелкие черты человеческие, что и сам человек в себе ненавидит.

«А ведь будто и любила? А может, и любила, да верности не было!»

Оля страшно мучилась, ночей не спала.

— Мне важно, как Бог всё видит, — сказалось у ней и успокоило: — я верю только Богу.

* * *

Оля вернулась с экзамена поздно.

А без нее приходила Лаптева: Лаптева, узнав, что Олю выпустили из тюрьмы, непременно хотела ее видеть. Но ждать не могла:

она сегодня уезжает с отрядом«на голод» и очень просила Олю прийти на Николаевский вокзал в одиннадцать часов.

Оля никогда не видала Лаптеву, только перестукивались. В тюрьме Оля многому от нее научилась. И все, кто сидел за эти годы, много добра от нее видели.

Оле непременно захотелось ее увидеть.

— Какая же она? — допытывалась Оля у Людмилы Николаевны.

Людмила Николаевна последние недели всё дома. Наташа лежала больная. Людмила Николаевна разговаривала с Лаптевой.

— Очень хорошая, только измученная.

— Еще бы: сидела два года!

— А сколько человек поднять может! — заметил Федор Иванович. — После тюрьмы — и на голод: а это не легко.

«А ведь это всё вера, которая движет и творит, вера — помочь другому — что-то пересадить, кого-то поднять вот этими руками, этой волей, в мире, устроенном судьбою непреклонно раз и навсегда — великое человеческое сердце, для которого нет никаких граней, никаких стен, никакого закона!»

Так этого не сказалось, но так прошло сквозь мысли, и стало бодро и надеянно в комнате, где помирала Наташа, которая так недавно еще, на Рождестве, Коляду пела, вспоминая Олю.

Оля очень усталая, а пошла на вокзал.

И они узнали друг друга, поздоровались.

— А я думала, вы гораздо больше! — сказала Оля.

— Это я в тюрьме так изменилась.

Оля дождалась третьего звонка. И пока поезд из глаз не скрылся, всё стояла, провожая: вместе с Лаптевой укатило с огоньками и еще что-то — тюрьма — тюремное —

самые первые дни тюрьмы были связаны с ней.

И больше не с кем уже встретиться и вспомнить — все давно разъехались.

И у Оли — последние дни: скоро кончится срок — месяц, последние экзамены.

* * *

А последние дни — была такая необыкновенная весна — весна ведь только в России, потому такая и Пасха только в России — уж ночи забелели, белая ночь над Петербургом и маленькие звездочки.

Померла Наташа.

Наташа померла от туберкулеза в три недели: трудное очень было время, Людмила Николаевна ходила на работу, а Наташа у соседей, а там больной был. Как потом выяснилось: подбирала она конфетные бумажки и в рот, — так и заразилась. Как из тюрьмы Оля вышла, подарила Наташе Э. Т. А. Гофмана, Щелкунчик, с картинками. И читала ей — Наташе очень понравилось. И в самые последние дни всё разговаривала, всё мышиного царя поминала и какую-то еще мышку: мышка к ней приходила с огоньком, как голубая веточка. А совсем перед смертью она вдруг вспомнила, как Оля говорила ей — Оля, прочитав у Толстого, что в наше время человек порядочный только в тюрьме и может быть со спокойной совестью (и это ей очень понравилось!), сказала Наташе, что все хорошие люди сидят в маленьких комнатах, и будет ли она, Наташа, сидеть в такой маленькой комнатке — в тюрьме? — «А что такое — в тюрьме»?» — спросила тогда Наташа. «Такой большой дом гадкие люди построили». «Из кубиков?» — и, вспомнив все эти слова, сказала, точно хотела Олю обрадовать: «Буду, Оля, буду, в маленькой комнатке, вот — — в такой». И растопырила пальчики, как кубик представила. А такой — оказался для нее гробик, Оля его цветами убрала и, как птичку, положила ее, как того Лелиного воробуш-

ка на тюремном дворе. И с ней любимого ее лягушонка — — единственную ее игрушку.

И с Наташей отошло от Оли и еще что-то — какая-то жизнь до-тюремная, какой-то Петербург — Курсы, дни, когда Оля еще не знала, чего надо знать, и всем верила.

На другой день после похорон, получив диплом об окончании Курсов, Оля уехала из Петербурга.

Котельниковы и на вокзал ее проводили: одни они оставались в Петербурге — и Наташи нет, и Оля надолго: когда-то вернется!

Федор Иванович хотел было крикнуть: «да здравствует революция!» — а сказал кротко:

— Не забывайте, Оля, пишите!

И Оля долго видела, как они стояли, прощаясь, одни на земле с своей верой и сердцем, для которого нет никаких граней, никаких стен, никакого закона, — память о них Оля сохранит на всю жизнь.

Чуперадло

Не заезжая в Ватагино, Оля проехала прямо в Покидош —

ей надо было получить в Полиции временное «проходное» свидетельство, по которому она и будет жить до приговора.

Когда Оля вышла на станции и садилась на извозчика, она вдруг увидела Черкасова: он стоял у выхода из вокзала — тоже увидел Олю, снял шляпу и кланялся.

Оля очень обрадовалась: и потому, что здешним повеяло, и видно было, он нисколько не сердится на нее — а ведь Олю мучило: как тогда в лечебнице на Таврической она отворила дверь, «заманила» его, и дверь за ним захлопнулась! — и еще показалось ей, как будто чем-то был он занят, и ей подумалось, что старого не повторится.

И с извозчика Оля с ним ласково поздоровалась.

Оля поехала к тетке Марье Петровне Вольской: Оля знала, что Марьи Петровны нет в городе, квартира пустая, и только что прислуга осталась. И это хорошо, Оля может тихо прожить неделю, а потом и домой в Ватагино:

о Ватагине — о доме Оля думала, зажмурившись, и особенно сад — так бы сейчас и прошла по дорожке —

Оставив вещи у тетки, Оля вышла неподалеку — к Марине Заветновской.

Марина Заветновская была первая подруга Оли; все первые гимназические годы жили они вместе, все страхи и все проказы вместе — это Марине, живя в пансионе Линде, Оля затеяла сделать длинные ресницы и вымазала мазью по рецепту Веры Сахаровой и княжны Шах-Булатовой, так что и последние выпали.

Марина уж вышла замуж за студента Соловьева, товарища Черкасова, и ожидала ребенка. Она была одна в доме. Как обрадовалась Оле!

Марина всё знала о Черкасове — больше, чем весь Покидош знал! — она знала его еще черненьким гимназистом, у которого была «симпатия» Оля. И когда Оля рассказала ей, как встретила Черкасова, как с извозчика поздоровалась —

— Что ты, Оля, ведь он же мог подумать — —

И только что за стол сели чай пить — звонок.

Марина постеснялась выйти, пошла отворить Оля.

А это Черкасов —

Совершенно случайно, так объяснил он, он и не думал встретить тут Олю!

И голос его подтвердил Оле ее первое чувство, что Черкасов здоров, совсем оправился и о старом не может быть помину.

На расспросы Оли он отвечал толково и ясно, он рассказал о смерти Федора Фалалеича, как это всё случилось необыкновенно.

— Чудак, вообразив себя журавлем, отказался от обыкновенной еды и понемногу навострился клевать зерна, как сам журавль, но голод не тетка, соблазнился блинчиками, ел блинчик, вилкой попал в нёбо, прикинулось болеть. Так и помер с одним носом и глазами.

И еще, рассказав и уж не такое происшествие, а обыкновенное из Бобровской жизни, стал расспрашивать Олю о тюрьме, о Рашевском.

Слушал он внимательно, горячо, и только когда Оля рассказала, как вместе с Зиной провожали Рашевского до Серпухова, он вдруг переменился: насупился, подавленный мыслью.

И скоро вышел.

За разговорами с Мариной прошел весь день: весь год Оля никого не видела, а за этот год много чего случилось — сколько подруг Олиных вышли замуж: —

и Катя Козловская, и Лида Оленина, и Маруся Иванович, и Лиза Милорадович, и Шах-Булатова.

— А ты помнишь ее бабушку, на Бабу-Ягу похожа?

— Помню, конечно.

— Померла в день свадьбы: от огорчения, говорят, очень любила внучку, а другие говорят, назло.

Да, много чего было и помянуть, и узнать.

Оля и обедала у Марины, и после обеда пила чай, и только под вечер вышла.

И только что она вышла, смотрит, а за углом Черкасов: стоит, ждет.

— Я вас всё время тут ждал, — сказал он и стал просить Олю пройти с ним в Казенный сад соловья слушать.

И, как когда-то, Олю охватила ненависть: опять какие-то права следить за ней.

— Нет, я не пойду! — резко ответила она.

Он проводил ее до дому.

И уж совсем по-другому, не как встретя, Оля простилась с ним — и это так само собой вышло.

А с тех пор всякий день Черкасов караулил Олю: он выстаивал часами, дожидаясь у ворот или за углом, и всякий раз провожал ее до дому:

он опять говорил ей, как ее любит и как еще гимназистом, когда она была совсем девочка, он в первый раз увидел ее в церкви и с первого взгляда полюбил ее, теперь он понимает, и чего ни захотела бы она, он всё для нее сделает.

И, как тогда летом, в глаза ему было жутко смотреть.

На Олю это страшно действовало, и однажды она ему сказала, сама переменившись, как когда-то в Петербурге, когда он всякий вечер заходил к ней:

— Лучше, я думаю, нам никогда не встречаться.

От постоянного раздражения — и так после тюрьмы расстроенная — Оле стало чего-то страшно в пустой квартире у тетки, и она перебралась к Нине Мавлютиной.

Черкасов, верно, уехал в Бобровку — больше Оля его не встречала.

Другая беда: всякий день к Мавлютиным стал приходить студент Оводов — «Чуперадло» —

это так, как Фрид — Бедненький, Ильина — Идеал, Бордонос — Колода, а Оводов — Чуперадло.

Оводов не раздражал Олю, как Черкасов, но надоел с разговорами ужасно. И не было минуты остаться вдвоем с Ниной.

Оле хотелось хоть последние дни провести тихо и спокойно, и она упросила Елену Ивановну:

когда явится«Чуперадло», сказать, что ее дома нет.

Елена Ивановна согласилась. А чтобы всё хорошо вышло, решили, не предупреждая Олю, сделать репетицию:

за Оводова звонила Катя, а отвечала сперва Елена Ивановна, потом стала Нина.

Оле это слышно — и раз поверила, и другой раз поверила, а потом не обращает внимания, думает: репетиция!

И вот слышит: и опять звонок — и голос Елены Ивановны:

— Оли нет дома.

А Оля, не придавая значения, правда это или неправда, распахнула дверь и — отступила:

в прихожей прямо против нее стоял «Чуперадло».

«Чуперадло» дико взглянул на Олю, замотал головой и, бормоча какую-то ерунду, скрылся. Елена Ивановна напустилась на Олю.

— Вы меня лгуньей выставляете! Я больше никогда не буду за вас. Как хотите, так и делайте. А то я: «дома, говорю, нет». А вы тут — высунулись. Это невозможно.

Елена Ивановна очень сердилась.

И хотя Нина и Катя уверяли, что «Чуперадло» ничего не заметил, но Оля-то была убеждена, как и Елена Ивановна, что он видел и, должно быть, обиделся.

На другой день Оводов пришел уж безо всяких.

Нет, он не обиделся, хуже:

— Я, кажется, схожу с ума, — сказал он, — у меня начались галлюцинации: я всюду вижу вас, вчера я заходил к вам, говорят, нет дома, и вдруг стена раздвинулась и вы появились на пороге. Я хотел крикнуть, а вас уже нет. А сегодня иду мимо каланчи, задрал голову посмотреть — и опять вы, отчетливо вижу, но тут кто-то окрикнул, и всё рассеялось, никого нет.

— Вы не должны меня так часто видеть, — сказала Оля.

А вечером весь Мавлютинский дом помирал от смеху: и кто больше смеялся — Катя, Оля, Нина или сама Елена Ивановна?

Елена Ивановна пересердилась и готова была что-нибудь еще сделать такое же для Оли.

* * *

Последний вечер Оля провела с Ниной.

Оля узнала от Нины такие покидошенские новости, какие не могла ей передать Марина:

Фрид — «Бедненький» уехал с женой за границу; гостила Ильина и куда-то опять поехала, очень хвалила Олю за то, как в тюрьме себя гордо держит на допросах, и думает, что Олю вышлют куда-нибудь на север — в Архангельскую губернию или в Вологодскую, куда подальше, и одно ее смущает, она боится, что из Оли не выйдет революционерка до конца: «червь у нее есть мистический, и это помешает!»

— Рашевский из Сибири убежал, — рассказывала Нина, — и как ведь всё вышло: добрался до самой границы — сколько месяцев! — а там его и арестовали; теперь назад по этапу идет, но не как Рашевский, имя он скрыл, а как бродяга Иван Непомнящий. Вот это настоящий революционер!

— И опять убежит, — уверенно сказала Оля.

— А как нам — что делать?

— Надо дождаться приговора, — сказала Оля и словно чего-то не договорила, — и тогда решить.

* * *

— — — Оля отворила калитку. И очутилась в саду. И пошла по дорожке к дому. Дома за деревьями не видно — дорожка привела ее к дому. Она растворила дверь и остановилась —

— — в углу под лампадками у образов сидела старуха в черном. Окна раскрыты: тихий теплый яркий день. И от яркости дня еще изможденнее и бледней показалось лицо старухи. Старуха подняла глаза — о чем-то думала — глаза посмотрели на Олю такие большие и такой жгучей тьмой.

«Что ты, Оля, боишься, — сказала старуха, — или не помнишь?»

И по голосу Оля всё припомнила: да ведь это бабушка княжны Шах-Булатовой! И в памяти прозвучали слова, как тогда сказала старуха: «ты должна посвятить себя Богу — —»

«Ну, здравствуй, Оля, а я тебя как ждала! Когда-нибудь пожалеешь».

«Я хочу жить по правде!» — сказала Оля.

И сделала шаг к старухе — — и костлявая рука старухи опустилась ей на плечо: пуды легли.

* * *

— — — по лугу шла Оля по цветам. Тихий теплый яркий день. По дороге яблоня в цвету, и в каждом цветке огненный язычок. И вдруг по небу стая лебедей. И всё ближе. И один лебедь отделился от стаи и прямо к яблоне. Коснулся крылом и, вспыхнув, понесся вверх. И горящий — крылатый огонь! — плыл по небу — —

— И упал.

* * *

Чуть рассвело — поезд подошел к Хомутам.

На станции Олю встретил Миша.

Оля от радости горела, и, как когда-то, она всем улыбалась; и не могла слова выговорить, спросить Мишу, но сразу же почувствовала, что все, все ждут ее.

Вещи взял Миша на телегу — их повезут отдельно. А Оля с ним в бричке.

— Ну, как ты теперь? — спросил Миша.

— А на, посмотри!

Оля вынула из сумочки свернутую четвертушку — свое «проходное» свидетельство:

— — — что Ольга Ильменева «обязана нигде не находиться, а в случае неисполнения этого требования будет отправлена по этапу».

А в особых приметах значилось: «лицо приятное».

— Нигде не находиться! — рассмеялся Миша.

Оля уселась в бричке и смотрела по сторонам, здоровалась: и с тополями, и с тем бесконечным полем, над которым серый еще копошился рассвет.

— А знаешь, Оля, — Миша подобрал вожжи, — застрелился Черкасов.

И в ответ — она почувствовала, как прошел холод — и на миг всё пропало: и тополя, и поле —

— — —

Оля глубоко перекрестилась.

Лошади тронулись —

бесконечное поле!

А в копошащий серый рассвет чиркнул луч — и всё зашумело, и какая-то птичка зачивикала, неугомонная, из всех шумов земли и травы, и всех ближе птичка-пересметушка.

ГОЛОВА ЛЬВОВА

Как улетали птицы

«В сумерки он шел по пыльной улице, я видел, как его воздушное тело, перевитое дымом, бросало от тына к тыну, от осокоря к вишне, от вишни к тыну. “Нет ли тут колыбельки?” — спрашивал он. И просит у Бога указать ему маленькое сердце: “и самое беспокойное я успокою”. Его жалобный голос выблескивал из черных коп выплывавшего месяца: “вот я дую и вею — и мои веки отяжелевают; я подымаю звезды — звезды летят, и когда последняя серебряная в моих глазах погаснет, я тихо засыпаю”». — “Сон, — позвал я его, — иди к нам: у нас есть колыбелька и в колыбельке Оля”».

Так нашептывала над Олей вещая, как сама черная земля, ее старая нянька, Татьяна — Фатевна. Но Оля этого не помнит.

Самая давняя память у Оли — первая — ощущение тепла и ласки: любимая бабушка берет ее, сонную, к себе на руки и несет на кроватку.

Ближе — память о страхе: Оля помнит зимний вечер, в доме у них гостит любимая бабушка, с чего-то Оля посмотрела в окно и видит — снег и там, ей кажется, где-то волки, и стало вдруг страшно; и еще: все дети — и сестры и брат Оли — сидят на ковре, и нянька, не Фатевна, а молодая, младшей сестры нянька, Маруся рассказывает сказку, — и тоже ощущение страха, как от тех призрачных волков, которые ходят где-то там по снегу во-

круг дома; и тот же самый страх чувствует Оля, когда ночью не спится, и слышно, как в окно ударяет ветка, или вдруг покажется, будто кто-то стоит за спиной. Потом уж — и это тоже из ранней памяти — это ощущение первого страха сказалось словом: «страх смерти» и «страшный суд».

Оля помнит вечер, все сидели на диване в столовой, брат Миша играл со стульями в «лошадки»: стулья стояли как раз под стенной лампой. Взмахивая кнутом, он ударял по лошадям, и вдруг раздался странный звук и вспыхнул огонь. И Оля подумала, что это «страшный суд»: потому что огонь и этот треск и отец всплеснул руками и сказал: «сын мой!» — так необычно торжественно обратился отец к Мише.

После «тепла и ласки», после «страха» память о первом возникшем вопросе: «откуда люди?» И с этого начинается «мысль». И как тайный гнетущий страх станет неотвязчив, так мысль — беспрерывна. Оля помнит, как, держась за руку с братом, такая еще была она маленькая, она спросила отца: «откуда люди?» И отец рассказал о Адаме и Еве.

Черниговская бабушка Анна Михайловна рассказывала детям о Робинзоне; любимая бабушка — костромская — Татьяна Алексеевна, про серого волка. Если бы любимая бабушка рассказывала не о сером, а о тех, которые выходят из ночи и бродят по снегу, было бы нисколько не страшно, а Робинзон — любимый рассказ: Оля постоянно просит бабушку повторять о том, «кто жил один». Оля помнит вечер: бабушка сидит у стола, а она рядом, в руках у нее горшочек из ее игрушечной посуды, и она спросила: «Такой ли горшочек делал тот человек, что жил один?» — «Нет, — смеясь, сказала бабушка, — гораздо больше».

Кто-то из взрослых рассказал о войне, и этот рассказ вызвал страх, куда волки, страшная Марусина сказка, ночью стучащая в окно ветка и огонь и треск разбитой лампы. Оля, чтобы утешить брата, а наперед утешить самое себя, сказала себе и потом брату, что «все это было при Адаме и Еве», и уж само собой разумелось, что никогда такого не будет.

Начавшаяся вопросом мысль не замедлила, показала себя.

За обедом мать сидит на одном конце стола, бабушка Анна Михайловна на другом; к киселю подали молоко, налили Оле в тарелку, и у бабушки полная тарелка. Ложка у бабушки не та-

кая, как у других, а круглая с золотом. Бабушка вдруг говорит Оле: «Дай мне молока из твоей тарелки!» Оля своею ложкой ей дала — несколько ложек — и не поняла, почему это надо? А вот она и понимает: она заметила, что мать и эта бабушка не любят друг друга, и бабушка, подозревая мать, хотела проверить, — то ли молоко ей дается, что и детям, или снятое?

Как-то поздней осенью Оля влезла на комод и увидала на яблоне-кислице — не было ни одного листа — на голой ветке яблоко. Не зная, как достать, Оля принесла палку и ударила по ветке — яблоко упало. В саду в груде желтых листьев Оля нашла это яблоко, — оно было очень вкусное. И Оля подумала:

«Значит — и кислица бывает вкусная, если так долго висит».

В сумерки залаяли собаки, как на чужого. Мать, глядя в окно, сказала, как это говорится всегда, когда никого не ждут: «Кто это там?» А отец, проходя по комнате, сказал: «Это за моей душой!» И Оля подумала: «кто же за душой пришел?.. может быть, ангел? собаки лают на ангела?» А отец вышел в «хозяйскую» и там говорил с кем-то. Потом Оля услышала, что это приходили просить отца на свадьбу посаженным отцом: невесту звали Машей.

Оля помнит, как Маша пришла к ним — и показалась такой красивой в малорусском костюме, и отец ей дал золотых денег — и деньги показались красивыми. А скоро после свадьбы Маша умерла: Фатевна сказала — «от непосильной работы». И эти слова няньки, как выжглись в памяти Оли, и со временем ее беспокойная мысль зацепит их и вынесет на свет.

К Ильменевым в Ватагино приехали Краснопольские — Лиза и ее мать, которую Оля называла «тетей»: она была двоюродная сестра отца. Лиза только что окончила институт. Они приехали вечером, чтобы переночевать и на следующий день уехать в город. Лиза показывала свои платья — вынимала из чемодана: Оле особенно запомнилось шоколадное. А тетя рассказывала, что у Лизы был жених, сватали ее, но она не вышла. И Оля с ужасом подумала: «как можно жить после того, как сватали?» С этим словом «сватать» почему-то соединялось у ней какое-то позорное дело, или она и не то, что поняла, а только почуяла все унижение для человека, которым торгуют, как вещью. Наталья Ивановна, занимая гостей, затеяла показать альбом и сказала тихонько Оле: «Не говори, где Ирина, узнают

ли?» Старшая сестра училась в институте и ее не было в Ватагине. Оля и хотела сделать так, как просила мать, но всякий раз, как открывали страницу, где была карточка Ирины, Оля, обрадовавшись, кричала: «Ирина!» И когда показывался альбом тете и когда Лизе, она не могла удержаться и своим громким радостным восклицанием предупреждала. Наутро, проснувшись, Оля узнала, что отъезд Краснопольских отложен до завтра, потому что в соседних Лубенцах живет бывший тетин жених в очень плохом положении, и тетя хочет его видеть и помочь ему. Это рассказала нянька Фатевна и не Оле, а при Оле. Фатевна ворчала, что «пьяницам и сумасшедшим нечего помогать». Когда стало смеркаться, тетя предложила Мише и Оле поехать с нею в Лубенцы. Ехали в экипаже Краснопольских на их лошадях с их кучером. И это было очень интересно. Лиза осталась дома. По дороге Оля увидела двух в белом с огромными ушами и носами: они показались ей очень страшными — они сидели неподвижно в одних длинных рубахах. Они и вправду были страшные, потому что тетя сказала: «Не смотрите, дети». Оля подумала: «может быть, это волки переоделись в людей — очень длинные носы и уши!» В Лубенцах остановились перед избой и тетя туда вошла, а Оля с Мишей остались в экипаже. Тетя недолго пробыла и вышла, плача, а за нею, кланяясь ей в пояс, маленький седенький в эполетах. И всю дорогу тетя плакала. А этих страшных на дороге больше не было, а Оля очень боялась, что опять увидит. Дома Оля все рассказала Фатевне: и про страшных и про старичка в эполетах. А Фатевна объяснила, что страшные — вовсе не переодетые в людей волки, а два сумасшедших брата, тихие, по дорогам ходят, а старичок — пропойца.

* * *

Оля росла «задумывающейся» — мечтательной. Первая это заметила мать. Обыкновенно, уезжая в город и не сказываясь, что едет, иначе поднялся бы крик, мать сажала Олю около ее кроватки — такая желтая с ящиком, где хранились игрушки. Наталья Ивановна пробудет в городе с час, но могла бы и дольше: вернувшись, она найдет Олю на том же самом месте у кроватки — весь этот час Оля «продумала». Весь этот час ее мысли шли от предмета к предмету увлекательно, иначе бы стало

скучно, и она подала бы голос — закапризничала. Потом уж эту свою способность к сосредоточенной мысли Оля назовет: «думать до конца».

Оля росла непохожая ни на сестер, ни на брата. Рано пробудилась ее мысль — слишком рано стала она замечать и, различая, уж не мыслью, а каким-то сердцем расценивала. Оля давно заметила, что много говорят «неправду», и оценила: «так не надо» — и когда она сама вырастет, никогда так не будет делать.

Непохожее вызывает удивление, но чаще насмешку. И это тоже из первой памяти: когда Оля была маленькая, над ней всегда много смеялись, и Олю это очень обижало — хотелось ей спрятаться. А спрятаться — охраниться — ей было никак и некуда.

* * *

Этот день был особенный, точно все сговорилось.

В столовой сидела мать за самоваром и с ней гости — две соседки. Когда вошла Оля, одна из говоривших, поджав губы, заметила:

— Потом скажу, здесь печка.

А Наталья Ивановна, взглянув на Олю, приказала:

— Ольга, выйди.

Оля не знала, о чем шел разговор, но поняла, что «печка» — это про нее; а не говорят при ней — боятся, что она расскажет.

«Я никому ничего не расскажу, мне надо верить!» — поднялось в ней из ее самого сердца крикнуть и так, чтобы все знали, но она, приглушив в себе этот крик, молча, вышла:

«Как бы она хотела... никогда не вернуться!»

Оля вошла в комнату к отцу. Отец читал книгу. Оля постояла, но отец не обернулся. И она поняла, что она лишняя, и сейчас же вышла из комнаты. Пошла в сад.

На воле было свежо по-осеннему, деревья без листьев, но еще очень тепло на солнце. На скамейке сидела старшая сестра Ирина с двоюродной сестрой, своей подругой.

Ирина и ее подруги всегда над Олей смеялись. Они потихоньку расплетут ей косу и очень довольны, глядя, как Оля ищет ленту. Когда Оле дарили конфеты, она, не тронув коробку, положит в свою шкатулку к другим подаркам: она все бере-

жет и совсем не из скупости, а потому что ей хотелось иметь свое, — и вот тихонько вытащат у нее из ее шкатулки коробку, Оля хватится, а им того только и надо, очень довольны, думают, что Оля не понимает. Но Оля все понимала, только не могла сказать: стеснялась.

Оля села возле них на скамейку. И, боясь их насмешек, вспомнила свою любимую бабушку, которая никогда не смеялась над ней и никогда не прогоняла от себя. Оля вспомнила эту бабушку и, как бы ограждаясь, сказала:

— Я похожа на бабушку Татьяну Алексеевну.

И на это поднялся хохот: и сестра и ее подруга со смехом стали уверять Олю, что она нисколько не похожа на бабушку Татьяну Алексеевну, а похожа — как две капли воды — на портрет, висит в гостиной: это какой-то прадед Ильменев — нос крючком вниз и рот изогнутый — Оля не любила этот портрет.

Едва сдерживая слезы, Оля поднялась и пошла из сада на сенокос:

«Как бы она хотела... уйти навсегда!»

И вдруг увидела: высоко, на самой высоте, над головой стая птиц — их было много, и одни летели быстрее, другие отставали.

И глядя, как улетали птицы, Оля говорила:

— Птички дорогие, прощайте!

И до какой глуби ее сердца был ей в эти покинутые минуты близок — и этот прозрачный воздух и эта воля — она следила, провожая далекими глазами: одни летели быстрее, другие отставали.

С тех пор Оля очень полюбила птиц.

Супирчик

Первую «неправду» Оля почувствовала в очень раннем детстве.

В Ватагино приехал из Киева дядя, брат Натальи Ивановны, с сыном, сверстником Оли. Играли в саду. Оля привыкла лазить по деревьям и быстро влезла на яблоню, где должен быть «наш дом». А Костя не может за ней: цепляется руками, а все на одном месте, ему непривычно. Оля давно сидит на яблоне. К Косте подошла гувернантка, подсадила его. И, когда он с ее помощью влез, сказала:

— Вот герой нашего времени!

— И все говорили, какой Костя ловкий — как на яблоню влез.

«Почему говорят и судят не по правде, — думала Оля, — и какой же это герой, когда без подсадки влезть не мог? а уж если кто герой, это она — но ее никто так не называл, а все говорили про Костю, какой он ловкий».

С пяти лет Оля начала читать книги. И в семь лет много прочитала из всяких приложений — и романов и повестей и рассказов без выбора, что попадало под руку — никто из старших не обращал никакого внимания. Оля прочитала Лермонтова «Герой нашего времени» и Пушкина «Евгений Онегин». Чтение было для нее упражнением мысли и слов. В стихе о Ленском: «поклонник Канта и поэт» — имя Кант она принимала за «кант» — выпушка на кофточке.

К этому времени относится одно загадочное явление, описанное Гоголем: окликающий голос, который преследовал Олю.

«Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя, — рассказывает Гоголь из своего детства, — день обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду». А страх этого «таинственного зова» был ни с чем несравним, и только встреча с живым человеком изгоняла «страшную сердечную пустыню». Народное поверье, по Гоголю, объясняет этот окликающий голос тем, что «душа стосковалась по человеку, и призывает его, и после которого неминуемо следует смерть». Такой голос слышит перед смертью Афанасий Иванович в «Старосветских помещиках».

Но Оля была девочка здоровая: зубы у нее крепкие, ровные, белые — и чистить незачем, и ноги крепкие, и ногти розовые ровные, и никогда никакой золотухи не было, уши никогда не болели.

«День был тих и солнце сияло» — Оля шла одна по саду и думала, а думать ей всегда было о чем: и свои ранние наблюдения над повадкою живых людей и все эти романы из приложений и только что прочитанный бесконечный «В двух частях света», а думала она так, что и живой оклик часто могла не услышать — «Олю не дозовешься!» — и вдруг слышит, кто-то окликнул:

— Оля — Ольга, — и с двойным вздохом протяжно: — гха — гха...

Оля вздрогнула от этого жуткого пробудившего ее зова и обернулась — в саду никого не было.

— Боже тебя сохрани, никогда не отвечай, — сказала Фатевна, — или молчи, или скажи: «Фатевна, это ты?»

И когда вскоре после этого, проходя по саду в такой же безоблачный полдень, Оля снова услышала окликающий ее голос: «Оля — Ольга» — и с этим душу выворачивающим двойным вздохом, она сделала так, как учила нянька, — «Фатевна, это ты?» И понемногу привыкла: не обертываясь, откликалась она окликом, называя то Фатевну, то сестер и брата, и спокойно продолжала идти со своей не отпускавшей ее никогда мыслью.

От черной ли земли исходил этот призрачный зов, как немые лунные призраки у Океана от красного, завеянного лиловым вереском, каменного поля в Карнаке? Только ли знак «смерти» эти голоса, как и зеленые огоньки вкруг выветренных вековечным ветром менгиров и дольменов? Фатевна знает тайну своей черной земли — своей черной дышащей жирной земли в жарких красных маках, по которой ходит ковылевый степной ветер, — «и не только, — говорит она, — этот голос к смерти...» — и что «не всякому дается этот голос слышать» — и не все своим откликом-окликом имеют власть развеять «сердечную пустыню». Так что Оля испугалась: «стало быть, не всегда можно и Фатевной огородиться?»

К этому времени относится и первая острая обида — первый безответный вопрос: «за что и для чего?» Наталья Ивановна подарила Ирине браслет, а тетка, жена ее брата, часы. А Оле очень хотелось кольцо, и она сказала матери: как ей хочется иметь колечко.

— Ты еще маленькая! — сказала Наталья Ивановна.

А любимая бабушка, которая это слышала, говорит:

— Я поеду в Киев и куплю тебе супирчик, ты его будешь носить.

Оля была уверена, что бабушка непременно исполнит, и все мечтала, какой это будет у нее супирчик.

И вот бабушка собралась и поехала в Киев к своему сыну, пробыла там с месяц и вернулась, не забыла, привезла Оле су-

пирчик: это было тоненькое золотое колечко с эмалью — черной и синей.

Оля была в восторге и не расставалась с колечком. Оно ей было широко, и она очень боялась потерять.

По случаю каких-то именин всем домом поехали к соседям Лупичевым на бал. Старшие танцевали, а Оля с Леной Боровой, ее подругой, занялись играми — играли в учителя и ученицу: задавали задачи, экзаменовали, ставили друг другу единицы — ни Оля, ни Лена еще не поступали в гимназию.

И захотелось им выйти. И Оля подумала, что это никак невозможно идти туда с супирчиком, и сняла его, положила на скамеечку перед дверью. А после хватилась: колечка на скамеечке нет.

Оля плакала и всех тормошила. Только это и слышалось: где колечко? И где-где ни искали, и в доме по всем комнатам, и в саду по дорожкам — нигде не было супирчика.

Оля вернулась домой в отчаянии. И не могла ничего придумать и ничем утешиться: куда мог деваться ее супирчик? А в воскресенье за обедней Оля увидела его на мизинце у Марьи Викторовны и глазам не поверила. Всю обедню Оля глядела, проверяла: нет, не ошиблась, ее был супирчик — черное с синим.

Была такая старая дева из дворян, нигде не учившаяся, очень некрасивая с огромными толстыми губами и почти без волос, она везде втиралась, была и у Лупичевых в тот вечер на именинах. Никаких супирчиков у нее не было, а вдруг появился.

Оля не сомневалась, что ее супирчик у Марьи Викторовны.

И вернувшись с Фатевной из церкви, Оля рассказала матери: Оля была уверена, что Марья Викторовна вернет ей ее любимое единственное колечко.

Мать сказала:

— Смотри, Ольга, если ты такую вещь напрасно возводишь, я тебя накажу.

Но Оля твердила:

— Мой, мой супирчик, я его видела.

Наталья Ивановна поехала к этой Марье Викторовне и спросила ее: не нашла ли она как случайно Олин супирчик? И по ее ответу поняла, что врет, и Оля права: супирчик ее украли.

— Да, она украла твой супирчик, — сказала Наталья Ивановна Оле, — но ничего нельзя поделать.

И Оля, содрогаясь, думала, что вот можно взять у человека самое его любимое — и ничего нельзя поделать. И из ее терзаний выходил безответный вопрос: «за что же и для чего понадобилось отнять у нее ее единственное любимое колечко?»

Оля долго помнила: перед ее глазами навязчиво подымалась безволосая толстогубая и стояла, как за обедней стояла тогда, поддразнивая супирчиком — ее обида.

Букет

У Миши каждое лето был репетитор: Миша плохо учился.

На Пасху приехала из Меженинки любимая бабушка. Бабушка сказала Наталье Ивановне, что один богатый меженинский крестьянин просит, нельзя ли взять на лето репетитором его сына восьмиклассника-гимназиста: отлично учится; а просит взять его репетитором, — «чтобы сын научился господским привычкам».

Оля не знала, как решит мать, а когда вернулась после экзаменов в Ватагино, увидела в доме этого гимназиста: его звали Максим Федорович.

Максим Федорович ходил в серой гимназической форме, робкий, очень стеснялся, особенно за обедом. У Ильменевых часто за обедом бывали чужие — гости, и тогда жалко было смотреть на него. Все над ним подсмеивались и в глаза, но больше за глаза: легкая тема для разговора, когда не о чем говорить.

Оля заступалась. И тогда стали смеяться над Олей: «уж не влюбилась ли она в него?» Оле было тринадцать лет. И Оля перестала заступаться: молчала, когда смеялись над ним. А смеялись, как он много ест — он и действительно больше всех ел, ведь он не привык к цыплятам! — и как он вилку держит и как он кланяется.

Миша его совсем не слушался. Заниматься с Мишей ему было трудно. Оля видела, что он смотрит на нее, будто понимает, что Оля не смеется над ним и жалеет его.

На Олины именины много съехалось гостей. И обед был особенный: были пирожки с говядиной и со свежей капустой — любимое Олино, а на загладку самое любимое — мороженое: земляника на сливках. После обеда пошли гулять в поле — в это время складывали снопы в копны, хорошо было в поле.

— Максим Федорович хороший, он только вас, Оля, одну не боится, поговорите с ним! — сказал двоюродный брат, Саша Краснопольский.

Максима Федоровича на прогулке не было. После обеда он ушел домой в Меженинку и вернулся только вечером, принес Оле огромный букет: там были ромашки, колокольчики, пионы и много разных красивых трав.

Оля поставила букет у себя на столе. И долго он у нее стоял — какие красивые колосистые травы!

С этого вечера Оля стала разговаривать с Максимом Федоровичем. Бывало, увидит его в саду на скамейке с книгой и понимает, что он хочет убежать, окрикнет: «Максим Федорович!» — он и останется.

Оля не знала, о чем с ним разговаривать. Она спрашивала его, что он знает по-латыни и по-гречески. И он ей наизусть говорил из Цезаря и из Гомера. Научил Олю шараде: «es ra-ra-ra (es terra) et in ram-ram-ram (in terram) ibis» — «земля ты и в землю пойдешь». А однажды, когда Оля разговаривала с ним об уроках, он поднес ей лодочку: сам сделал из древесной коры; и другую — поменьше.

Осенью Оля уехала в гимназию и за весь год ни разу не вспомнила о Максиме Федоровиче. А летом, когда вернулась домой в Ватагино, — Оля перешла в шестой класс, — у Миши был другой учитель.

На рожденье любимой бабушки все были в Меженинке.

— Тот Максим Федорович, который у вас жил в прошлом году, умер от чахотки, завтра его хоронят, — сказала бабушка, — говорят, что заучился, оттого и помер.

Оле вдруг стало жалко. Она вспомнила стесняющегося гимназиста в серой курточке, над которым все посмеивались, — Максима Федоровича, стихи из Гомера, и Цезаря, шараду «земля ты...» и две лодочки.

На другой день, не сказавшись, Оля пошла в церковь, — а сначала в бабушкином саду нарвала цветов: ромашки, пионы, колокольчики, только трав тех красивых в ее букете не было. И этот букет положила в гроб.

Максим Федорович показался Оле еще больше стесняющимся: лицо сморщилось в кулачок, а волосы были примазаны, как крестьяне себе мажут в праздник.

Только Олины — больше не было цветов. Его мать голосила: в ее словах было — что от учебы умер, что не крестьянское дело учиться. Так всю обедню — в торжественные молитвы с обещанием жизни — бесконечной, без печали и без тревоги, этот тоящий, безутешный человеческий вопль о погибшей, и печальной и тревожной, но единственной и неповторимой погубленной жизни —«не крестьянское дело учиться!»

Когда гроб вынесли из церкви, Оля хотела идти домой — и вдруг его мать, вдруг утихшая, подбежала к Оле и поклонилась ей до земли:

— Спасибо, барышня, что принесли моему сыну цветочки.

И Оля не знала, что и ответить: и от неожиданности, и какое-то чувство, как от стыда, смутило ее — за этот глубокий до земли поклон. И уж не могла идти домой. Пошла за гробом — проводила до кладбища.

Перед раскрытой могилой, когда опускали гроб, Оля заметила: его отец стоял суровый, крепкий.

«И неужто это правда, что от ученья сгинул?» — думала Оля, глядя на этого непохожего человека.

Оле было жалко Максима Федоровича, и она очень мучилась: ее терзала вина перед ним, что не заступалась — молчала тогда... и, терзаясь, всем существом своим, восчувствовала, поняла всей ясной своей мыслью и повторила твердо из сердца вышедшим словом навсегда, что никогда — «никогда нельзя молчать и ни из-за чего, когда надо заступиться за человека».

Святой

Из русских святых Феодосий Углицкий для Оли особенный: с детства с чистым сердцем она ставила ему свечи.

Обычно называлось: «идти к святому».

Редко кто знал хоть что-нибудь о его жизни и даже то церковное «житие», из которого ровно ничего не узнаешь, — и это общее имя «святой» было значительнее собственного. Болен ли кто, уезжает ли, — всегда надо пойти к «святому» и поставить ему свечку. А главное — экзамены.

Если для взрослого человека в минуты покинутости и неизвестности не было другой дороги, как к святому, то можете себе представить, чем этот святой был для детей — каким добрым

волшебником жил он в их сердце, живое продолжение любимых сказок.

Перед каждым экзаменом идут к святому все — и гимназистки, и гимназисты: если экзамен страшный, ставится толстая свеча; если экзамен легкий, ставится тоненькая свечка, — но непременно ставилась.

Однажды перед экзаменом русского языка Оля зашла поставить тоненькую свечку — Оля по-русскому первая, она, наверно, знала, что получит высший балл. И вот она пришла в собор и ставит тоненькую. А рядом ее двоюродный брат Саша Краснопольский ставит огромную, толстую свечу. Оля сразу сообразила:

— У вас сегодня греческий экзамен?

— Да, — ответил Краснопольский, — а у вас русский?

Так по свечкам безошибочно определяли.

Плохие ученицы, ставя свечку, громко выговаривали:

«Феодосий Углицкий-Черниговский-Чудотворец, дай мне вытянуть пятый билет!»

И случалось, что этот единственный и вытягивали. А если проваливались, шли перед переэкзаменовкой с такой же свечкой и той же просьбой. И если и тут ничего не выходило, шли на второй год — — ведь без чудесной силы или веры в чудесную помощь и не только плохие, а и самые хорошие ученицы и первые ученики могли так ни за что срезаться.

Олины именины летом. И всегда Оля досадовала, что не во время учебного года: именины — законный повод пропустить уроки. Идет Оля в гимназию и встречает какую-нибудь именинницу: счастливая, возвращается она от святого и в гимназию не пойдет и скрываться не надо; а когда вернется именинница домой от святого, тогда ей дарят именинные подарки.

С Олей в одном классе была очень бедная гимназистка Люда Резилова, ее мать служила надзирательницей в пансионе Пенкиной. С этой Людой, когда она была совсем маленькая, совершилось чудо: умирающую принесли ее и положили к святому, и у нее, как говорили, «пленкой подернулось отверстие на шее», — она почувствовала себя лучше и поправилась.

Оля смотрела на Люду с удивлением, как на особенную — «чудесную»: тоненькая с длинной, тонкой шеей — шея с перевязочкой, больные глаза — изнутри измученные, как бывает от

перенесенной боли или от большого горя, большой голос, но неприятный, как скрипка, и очень робкая. Люда участвовала с Олей в одном гимназическом кружке, много читала и больше всего исторические романы, и потом поехала за Олей в Петербург и поступила на Медицинские курсы. В Петербурге еще больше оробела и Олю стала бояться — боялась, что вышлют за знакомство с Олей. И в Петербурге умерла от чахотки.

Тетка Марья Петровна говорила, что и с ней тоже было «чудо».

Марья Петровна подлинно все знала, все видела и даже предвидела, и было бы неестественно, если бы чудо ее миновало. Марья Петровна очень хотела иметь детей, но из-за необыкновенной пронырливости и непоседливости все ее ожидания оканчивались несчастно. И доктор, приглядевшийся к ее нетерпеливому характеру, посоветовал ей, как единственное верное средство, чтобы все девять месяцев она лежала. И она лежала. Можете представить, какой это был подвиг! — и уж без движения она и сна лишилась. И вот приснился ей сон:

«Вижу, — рассказывала Марья Петровна, — говорит мне святой, чтобы ребенок обязательно был крещен у него, и тогда будет жить».

Двоюродную сестру Оли крестили в соборе. И она жила себе, поживала, хотя, по словам тетки, — «родилась Леночка едва живая». Ну, за Марьей Петровной не угоняешься! К Марье Петровне сам губернатор с визитом ходил, и святому, по правде сказать, к ней совсем не путь, но без «святого» и ее жизнь не была бы полна — и вот эта живая ее единственная дочь Леночка подлинно чудо с Марьей Петровной. Ведь у нее за девять-то лежачих месяцев внутри все ходуном ходило — такая ее беспокойная природа, и уж тут доктор ничего не может! Марья Петровна тогда, по случаю чуда, заказала образ святого в рост новорожденной, образ она всем показывала: так незначительных размеров, но ничего особенного. Впоследствии свою чудесность Марья Петровна перенесла на Леночку; по мнению Марьи Петровны, чудесная Леночка была неотразима: если молодой человек ходил к ним в дом, значит, влюблен; если же, познакомившись, не приходил, то означало, что влюблен, но борется с собой.

Город маленький, все друг друга знают, и всякий все о тебе знает, и если не мытьем, то катаньем друг друга изводят и под-

сиживают, и никому нельзя верить, так и жди, или подведет, или обманет, и уж по одному этому «святой» был как-то особенно близок всем. А больше всех детям — гимназисткам и гимназистам: и к кому было обратиться им со всеми своими тревогами, ведь большим только в смех, а, кроме того, от больших-то и шла гроза, и вот шли они к святому — в именины, пропуская уроки по уважительной причине, и перед экзаменами, и ставили тоненькие свечи и толстые, — нет, это не была торговля, и как же иначе выразить степень трудности и верную свою последнюю надежду!

Когда Наталья Ивановна, побыв в городе, уезжала назад в Ватагино, а Оля оставалась в городе, она, крестя Олю, говорила:

«Феодосий Углицкий-Черниговский-Чудотворец, тебе поручаю, сохрани ее!» И всегда оставляла Оле образок святого.

И это осталось неизгладимо. И потом в самые тяжкие и в самые радостные и в путаные минуты жизни, вдруг вспоминая, Оля говорила:

«Феодосий Углицкий-Черниговский-Чудотворец!»

Оля знала, что этот святой ее детства считает ее своею: столько ведь было мольбы к нему от самого чистого и совсем непорочного сердца.

Баррикадный

В одиннадцать лет Оля много прочитала всяких книг, в доме у них большая библиотека, а за чтением никто не следил. Из Достоевского она прочитала рассказы, изданные для детей, про Толстого часто слышала от отца. Слышала имена и других писателей, но про Чехова ничего.

Перед Рождеством отец приехал в город за Олей. Радости ее не было конца, а пуще нетерпению: поскорее домой. Вместе с Олей отец взялся отвезти и соседнюю девочку Марусю: Маруся старше Оли, ей было лет четырнадцать, а по классу на один выше: и поздно отдали в гимназию и неспособная; Оля ею командовала, как старшая.

Дорогой поднялась метель, долго плутали, наконец, выбрались в какое-то село, и пришлось остановиться на постоялом дворе. Оказалось, что не их только, а и еще какого-то загнала метель на этот постоялый двор и надолго загородила путь,

а может быть, и на всю ночь. Это был высокий, таким он показался Оле, и в пенсне.

Когда подали самовар, отец пригласил его чай пить. За чаем он разговаривал с отцом, расспрашивал и Олю с Марусей, но больше обращался к Оле. И что особенно занимало их — и не как он, морщась, отхлебывал чай, а то, что часто вынимал записную книжку и что-то записывал. Маруся, разливая чай, тихонько подкладывала в его стакан сахар, да и сам он, конечно, положит, и получается не чай, а чайный сироп. Перемигивались друг с дружкой. Или он отвернется, а они за его спиной такие гримасы сделают и потом примутся хохотать. Стал и он с ними смеяться.

А уж близко к ночи, и надо бы ехать. А метель, словно только-только что началась. И как ни смотрели в окно, ничего не видно. Пришлось остаться ночевать.

— Как же мы будем ночевать: комната одна! — сказала Оля.

И на это смешной спутник, записавший что-то в свою записную книжку, может быть, о сахаре, который в метель бывает слаще, чем обыкновенно, нашелся.

— А мы сделаем баррикаду! — сказал он.

О баррикадах ничего еще не знала Оля, а Маруся и подавно. И сначала не поверили, но когда разъяснилось, обеим страшно понравилось: оказывается, веселое это дело — строить баррикады!

Натащили стульев, передвинули столы, на столы взгромоздили стулья, а стулья заставили чемоданами и шубами, и такое получилось загорождение, разве что мышка проскочит. А что творилось во время стройки: не то пожар начался, не то постояльцы повздорили; хозяин человек строгий и благочестивый, не раз тихонько приотворял дверь и в полноса заглядывал, но не разобрать было, кто больше дурачился, дети или этот — в пенснэ.

Баррикада готова — спать пора! — и улеглись.

А долго не могли заснуть: и смех не сразу унимается, и разговор никогда не кончишь. А говорили о «баррикадном», как назвала его Оля. Услышат, кто-то кашлянул.

— Нет, это не папа! — скажет Оля.

— Ну, значит, баррикадный, — отзовется Маруся.

И снова начинается смех.

А как бы им хотелось узнать, что такое он записывал в свою книжку!

На всяких догадках и застиг их сон, тихо заснули и не заметили, как и ночь прошла, а за ночь, перебесившись, и метель успокоилась.

А когда на утро Оля проснулась, видит: отец один за самоваром.

— А где же баррикадный? — первый вопрос Оли.

— Это писатель Чехов, — сказал отец, — чуть свет уехал, а я пожалел вас будить.

С этой метели Оля знает имя: Чехов.

И потом, когда читала она Чехова, ей всегда вспоминалось: и ее счастье, и ее радость, и ее нетерпение ехать с отцом домой на Рождество; метель, постоялый двор и «баррикадный», записывающий в свою записную книжку; и как она и Маруся, куда-то потом пропавшая, слившаяся в общей деревенской жизни, потешались над ним, — и было такое чувство, что не из книги она читает, а слышит, как сам он ей читает из своей таинственной записной книжки.

А догадывался ли когда-нибудь Чехов, как однажды в метель на постоялом дворе, каким был он развлечением для детей и скоротал неизбежную их скуку, а главное нетерпение, когда так бы, кажется, поднялся на воздух и в самую метель с самой метелью улетел домой!

Издали

Самое счастливое время для Оли Пасха, которую она проводит дома в деревне.

И в эту Пасху Оля была счастлива.

На Страстной она говела, в Пасхальную ночь была у заутрени, потом у обедни. А какая весна! В саду птицы — их Оля всегда любила, распускаются деревья — крохотные «клейкие» листочки, на дорожках еще лужи, надо надевать калоши, но солнце греет и все горячее, а петухи поют по-весеннему, будто вздыхают.

Наталья Ивановна собралась в гости и берет с собой Олю: навестить соседей — сын у них болен.

— Наверно, умрет Ваня, — сказала Наталья Ивановна.

Ехали по нарядным улицам: по обе стороны разряженные девчата и парни — бусы, ленты, цветы, венки; или поют, или лущат семечки. При их приближении, христосуются — и Оля, и Наталья Ивановна всем отвечают: «Воистину воскрес!» Оле было ехать очень весело.

У соседей встретила сама хозяйка Марья Николаевна Сахновская. И сидели одни в столовой. Вани не было.

Не Ваней, а Иван Васильевич зовет его Оля: он студент, хорошо играет на рояли и «бунтарь» — сидел в тюрьме за студенческие беспорядки. Олю называет он Олей, как и все: Оле пятнадцать лет.

Оля знает, что всю зиму Иван Васильевич прожил дома, в университет не поехал, что у него чахотка и его поят кровью, когда режут курицу или теленка, — и для этого режут. Оля всегда с ужасом думает, как это он пьет кровь!

Оля одета была по-праздничному: голубое легкое платье, украшения вафлями: материю подарила любимая бабушка, а шила портниха Ольга Павловна. И в этом нарядном платье, сшитом не как-нибудь, а на любимую Олю, Оля еще цветущее и еще светлее.

Оля не заметила, как вошел Ваня — Оля вдруг взглянула на него, и стало ей совестно и за свое голубое платье, и за свой румянец, и за всю свою весеннюю радость: в комнате было натоплено по-зимнему, а Ваня — в шубе, худой, одни кости, и бледный. Но особенно поразила шуба...

Он подал Оле руку — холодная и влажная. И, обратясь к своему товарищу, с которым вошел, — Оля раньше никогда его не видала, — сказал, представляя Олю:

— Ольга Александровна.

И от этих слов Оле стало жутко: это в первый раз он ее так назвал. Оле показалось, что он издали откуда-то говорит — где нельзя произносить уменьшительное имя, а можно только полностью: «Ольга Александровна».

Просидели с полчаса и домой той же дорогой — нарядными улицами.

Но Оля была не такая: на душе было больно и совестно. Все ей вспоминался прерывистый голос, звучащий откуда-то издали — где ничего нет обычного, домашнего, никакой весны, ни песен, а только важное, как в церкви. А это значит, что Ваня,

если еще и не умер, то и не живой в своей шубе, он перешел грань жизни, и оттуда этот его голос. И одно утешило Олю, что когда-то и Ваня воскреснет.

Ваня помер через неделю.

Закрыла окна

У ватагинского батюшки о. Евдокима две дочери: Маня и Саня.

Старшая Маня — про нее говорили, что она что-то вытворяет, и осуждали ее всегда; смеялись и осуждали, например, за то, что она венчалась не в белом, как полагается, а в голубом шелковом платье. Строили, по этому случаю, какие-то двусмысленные догадки — но Оля никаких намеков не поняла. А сама Маня ни с чем не считалась и даже, может быть, нарочно иногда делала наперекор. Маня много читала. А замуж вышла по любви. Она была гораздо старше Оли и с Олей возилась, как с ребенком, выбрав ее из всех детей, из которых ни на кого Оля не была похожа.

Совсем другая Саня. Простоватая, без всяких стремлений, она и училась мало, взяли ее из четвертого класса гимназии; она еще училась на рояли, но ничего не вышло. С тех пор, как Маня замужем, а тому десять лет, Саня жила неотлучно с родителями и была к ним привязана, и они явно ее любили больше Мани, которую они, как и все, тоже осуждали.

Саня никогда не сделает наперекор, всегда поступит так, что ее и попрекнуть не в чем и осудить не за что, тихая, покорная и очень домашняя: любила вышивать и вязать — этим заполнялся день. И замуж она вышла, потому что надо, — ей двадцать шесть лет, нельзя же оставаться старой девой. А вышла замуж за кандидата в священники, — она его совсем не знала.

Свадьба была летом, когда Оля проводила каникулы дома. После свадьбы Саня с мужем жили у родителей месяц, и вот она уезжала далеко навсегда: муж ее получил богатый приход.

Саня старше Оли на десять лет: Оле шестнадцать, и Оля ей никак не подруга. Саня привязалась к Оле и любила ее, как сама не раз говорила, за ее «веселость», от которой всегда бывает хорошо и мирно. К Оле всегда тянулись простые люди, слепо их вело на ее свет, и даже таких, совсем не подозревавших в ней и никогда бы не разделивших с ней ее самого главного, чуждых

и ее тревоге и закипавшей в ее сердце тайне, высвечивающейся словами — потом она их встретит у Достоевского в устах совсем непохожего, но в духе и не чужого ей Коли Красоткина: «о, если б я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду!»

Саня просила Олю непременно придти вечером — в этот последний вечер: и хочется ей проститься с ней и еще потому, что своей «веселостью» Оля хоть немного развлечет ее родителей.

* * *

У о. Евдокима, кроме Оли, в этот прощальный вечер были гости: родственники — тетки и двоюродные сестры Сани, и соседи. Ужинали и пили чай. Очень было грустно. Особенно грустила мать, худенькая старушка, она в этот вечер называла дочь то Саня, то Саша; а раньше всегда Саней.

После чаю к крыльцу были поданы лошади. По обычаю, все присели, потом поднялись, перекрестились; родители стали благословлять и крестить Саню; мать от слез не могла произнести слова.

Все вещи вынесены и уложены. Саня перецеловалась с гостями, еще подошла к отцу и к матери, — долго ее обнимала. И выбежала на крыльцо.

И вдруг через минуту Саня вбежала опять и стала закрывать окна, — окна выходили в сад, оттуда смотрели деревья, и воздух был наполнен летним жужжанием. Она закрыла все окна и, не оглянувшись, выбежала из комнаты, села в экипаж — и лошади тронули.

* * *

Что-ж тут особенного: Саня вдруг вспомнила, что без нее, может быть, окна всю ночь не закроют, ведь это она всякий вечер их закрывала. И вернулась закрыть. — — — И как она их закрывала, в ее движениях с головы до ног было столько тоски и такая любовь.

После отъезда еще с час сидели с закрытыми окнами, не расходились, старались говорить о постороннем — развлекать стариков.

Когда Оля вернулась домой, гостившая у них в Ватагине тетка Марья Петровна набросилась на нее, как на халву.

— Рассказывай, Ольга, скорее, что было: страсть, как я люблю душураздирающие сцены.

Оля сказала:

— Она так закрыла окна.

И на это тетка откачнулась, как от коробки, где, вместо халвы, муравьиное гнездо. И потом Оля слышала, как тетка говорила:

— Ольга ужасная чудачка, и ничего не добьешься от нее: про какие-то окна.

Но ведь эти окна, в которые смотрели деревья, под чьим глазом прошла вся жизнь Сани, теперь навсегда их покидавшей, были в этот ее прощальный вечер все — Саня так сама не подумала, закрывая окна, что-то глубже думалось в ней, вдруг вернув ее с крыльца и бросая от окна к окну с такой отчаянной тоской.

Но ведь эти захлопнутые окна — Оля не знала еще никакой горечи расставания — окна загорелись перед ней, как самый жгучий, жуткий образ разлуки.

И все так

Во время обеда Оля пришла в пансион Сверчковой к своей однокласснице Анюте Силич. Анюта выскочила из-за стола раскрасневшаяся, продолжая не то спорить, не то возмущаться с другими гимназистками: крик стоял на всю столовую. Анюта, запыхавшись, набросилась на Олю: такой необыкновенный случай —

— Вера Аларева проглотила булавку! доктор сказал, чтобы ела много хлеба!

Оля с тревогой осматривала выходящих из-за стола гимназисток, Оля думала, что эта Вера Аларева ест хлеб и сейчас умрет.

— Да вот она! — показала Анюта.

У окна стояла высокая гимназистка и спокойно ковыряла в зубах булавкой, — это и была Вера Аларева.

Такой увидела ее в первый раз Оля.

Вера Аларева дочь Клинковского батюшки о. Алексея, в гимназию поступила из духовного училища по настоянию своего брата-семинариста, она была старше Оли классом, а по летам года на три. В гимназии скоро она сделалась знаменитостью:

«Знаменитая певица, — говорили про нее гимназистки, — “си!” вытягивает, без нот берет», — и это был высший аттестат и силе голоса, и умению петь. Валя Шалаурова — «абсолютный слух» дирижировала гимназическим хором, а Вера Аларева — солистка. На гимназическом вечере она пела арию Марии из «Мазепы», а на гимназическом утре, устроенном для высокопоставленных лиц, «Матушку-голубушку»; начальница гимназии Марья Ивановна, считая неприличным слово «сосет», велела заменить словом «щемит», Аларева должна была петь, «словно змея лютая сердце мне щемит», и отлично справилась с этим невыпеваемым «щ».

Вскоре после случая с булавкой, Аларева перешла от Сверчковой в пансион Линде, где жила Оля. В пансионе Линде на четырех отводилась комната, и Аларева, поместилась с Олей. Аларева была старшая в комнате, и перед ней Оля, Марина Заветновская и Катя Осмакова казались еще моложе. Аларева любила рассказывать и рассуждать, а слушательницами ее были Оля и Марина. Катя не считается. Катя, заткнув уши, всегда что-нибудь зубрила, — как-то Оля тихонько подошла к ней проверить: Катя надсаживалась, повторяла одно и то же по-зубрильному, — «сражение при Риме», а в учебнике-то оказалось «сражение при Рымнике», — вот как она зазубривалась, да и лежа в постели, все еще что-то губами шевелила, не слыша и не слушая.

О. Алексей привозил Вере из Клинков яблоки. И на ночь она оделяла ими своих младших подруг. Сразу после яблока не заснешь, тут и начинались рассказы. Вера рассказывала о своем отце, о матери, о двух бабушках и о своем брате-семинаристе, который был самый умный, — «и когда окончит семинарию, поедет в университет». А еще рассказывала сказки — очень длинные. А то просто рассуждает: можно ли, например, поссориться с человеком? — нет, она ни с кем не поссорится —

— Но, если бы кто-нибудь мне сказал «дрянь», я с тем навеки поссорилась бы.

Сделавшись знаменитостью, как первая в хоре, Аларева в пансионе Линде сблизилась со старшими гимназистками — с Верой Сахаровой и княжной Шах-Булатовой, которые считались первыми красавицами во всей гимназии и самыми озорными. А озоровали эти «красавицы» не только в гимназии и на

улице, но и в пансионе. Самым их любимым занятием было изводить младших гимназисток: они мешали заниматься — вырвут из-под носа тетрадь или книгу или пристают с вопросами. Аларева очень была им под руку, уж по одной своей способности без конца рассказывать.

Оле было очень тяжело: ей мешали думать — ее непрерывно дергали всякими вопросами, перебивая ее мысли. Оля никогда не любила, когда ее допрашивали, и когда это делали большие, она ничем не могла защититься и только молчала, но когда свои, хоть и старшие, лезли и тормошили ее, она не хотела уступать. Оля писала переложение к завтрашнему уроку, а Вера Аларева стояла над ней и задавала ей, в который раз, повторяемые вопросы, вроде — «отчего у тебя такие белые зубы?» — «чем ты красишь брови?» — и Оля хорошо понимала, что все это делается, чтобы мешать и, скрепя свои мысли, сначала отмалчивалась, но вдруг, вспомнив рассуждения Веры после яблоков, что такое ее может поссорить с человеком навеки, подняла глаза от тетради, положила ручку и, глядя в глаза Вере, сказала:

— Дрянь.

И Вера тотчас замолчала.

Или и вправду это слово, сказанное в упор, но без всякого сердца, а только чтобы Вера отстала, было самой Вере не булавка и вошло в самое сердце.

С этого вечера они не разговаривали друг с другом.

Оля очень мучилась, что обидела Веру, но что же ей было делать: если не остановить и все терпеть, на голову сядут, а так побоятся.

Да так оно и было.

Оля хорошо училась и хорошо играла на рояли — на гимназических вечерах она играла Мендельсона. Но стала известна на всю гимназию и попала в знаменитости, как Валя Шалаурова с «абсолютным слухом» и Вера Аларева «знаменитая певица», за свою смелость: на уроках Олю вызывали при всяких ревизорах, и никакие «значительные» лица, ни самые головоломные вопросы ее не смущали, — учителя Олей гордились: не подведет. И старшие гимназистки в пансионе Линде, отчаянная Вера Сахарова и озорная Шах-Булатова, больше не мешали ей заниматься и ее, единственную из всех младших, допускали к себе в свою комнату.

Ссора с Верой началась с осени, а после Рождества сердца уж никакого не было. Какое уж там «навеки»! — Вера понимала, что только с Олей и можно ей рассуждать, ведь другие глупые, ничего не понимают или не задумывались ни над чем, и рассказать Оле всегда интересно. А Оля, как услышит, как поет Вера, всегда схватывалась: ведь столько она мучилась, что обидела, — и зачем же так: «навеки»? Если случалось идти парами, — на молитву ли или на прогулку, они всегда друг друга внимательно оглядывали и, если кто-нибудь из них заметит непорядок, — «вот вам булавка, приколите!» или тихонько снимет с платья пушинку, а в пансионе сколько раз Вера, подойдя к Оле: «у вас есть перочинный ножик?» И обе только и ждали, когда это, наконец, случится, и снова заговорят друг с другом.

В этом маленьком мире было все так же, как и в нашем: чего-то не достает человеку, — подойти друг к другу и сказать прямо все, что на сердце, а ведь на сердце была только любовь, или есть какие-то сроки, по которым люди — и иначе нельзя — разойдясь, снова встретят друг друга.

Весной, по случаю царского дня, в городе была иллюминация: пускали ракеты. Все гимназистки пансиона Линде высыпали во двор смотреть. Оля стояла с Верой.

Оля в первый раз видела ракеты и искренно была поражена, глядя, как летали разноцветные шары.

— Вот как странно, — сказала Оля, — и там люди летают!

— Ты думаешь, люди? — и Вера стала хохотать. Так-вот и помирились.

Вера переехала из пансиона Линде к родственникам. Но с Олей у нее навсегда осталось: Оля была для нее единственная, кому бы могла она доверить и самое свое заветное.

Оля никогда не видала брата Веры семинариста, но от него Вера передавала Оле книги из семинарской библиотеки. Оле осталось в памяти «Некуда» Лескова: ей очень понравилась Лиза — этот чистейший образ мятежной души, может быть, самый близкий русскому сердцу.

Вера кончила гимназию. А Оля перешла в восьмой. После летних каникул Оля приехала из Ватагина, но, по случаю эпидемии, — дифтерит, занятия в гимназии были отложены. Вера пригласила Олю к себе в Клинки, — Клинки в двадцати верстах от города.

И, как еще в пансионе Линде после яблок на ночь рассказывала Вера о доме, об отце, матери и о бабушках, так все оно и оказалось, только брата не было, уехал в Томск в университет. Обе бабушки, — как бы сказать, не то, что каждый уголок, а и каждую щелочку в доме, как гнездо, свили. Пахло уж очень хорошо.

По случаю именин Веры, был у батюшки «бал». Приехал и соседний Понуровский молодой священник со своей матушкой. Вере было неловко встречаться.

— Хотел на мне жениться, но я отказала, очень неловко: ведь человек тебе жизнь предлагал!

— Это неважно, — сказала Оля, — ведь он женился.

О. Алексей все шутил с Верой, а Олю называл «будущая курсистка». В доме у них было очень мирно и большой порядок, да эти бабушки, — какую они благодать развели — с молитвой и по-солнцу, несомненно, да тут жизни, казалось, на тысячу лет было! Хороша была и осень, гуляли по полям.

— У меня есть жених, — сказала Вера, — я его очень люблю: студент Яворский — в Нежинском институте кончает.

Перед Рождеством Оля получила от Веры письмо. Должно быть, это от сказок, которые еще в пансионе Линде любила она рассказывать после яблок на ночь, усвоила она такой склад.

«Ко мне теперь применима пословица, — писала она, — дела и случаи совсем меня замучили. И, правда, мои дела, как сажа бела, а тут еще один случай, ты мне можешь помочь, я приеду».

А на другой день и сама явилась. И ведь что оказывается, совсем она растерялась, никак не может решить, в чем дело: стала она получать странные письма от своего жениха, и думает, что единственный способ проверить, ехать в Нежин и объясниться. И чтобы ехать, вместе с Олей.

Брат Натальи Ивановны, Алексей Иванович — доктор в Нежине. Оля могла остановиться у дяди. Оля бывала в Нежине, дала адрес гостиницы, где остановиться Вере. И поехали вместе.

В Нежин приехали вечером. А через день рано утром Вера подняла Олю. Вера переложила ее платье на диван, села в кресло и заплакала.

— Я была у Яворского в общежитии, он вышел — не может со мной — все кончено. Потому что он болен. Я говорю, ну,

что-ж, я буду ухаживать. Он страшно побледнел и все повторял: я болен.

И из ее глаз слезы так и лились, и не было больше слов, — слезы душили ее, — и голос пропал. Оля принесла воды. Вера понемногу и успокоилась.

— Ну, как ты думаешь, как понять: он хочет отделаться?

— Да, наверное, чтобы отделаться, — сказала Оля.

Оля рассуждала так же, как и Вера: болезнь не можеть изменить чувства, и ссылка на болезнь только предлог. На этом и решили. И Вера сегодня же уедет домой. Оля обещала придти проводить ее.

За обедом Оля спросила дядю, чем болен студент Яворский. Дядя, как всегда, все обратил в шутку: здоровых вообще нет, а есть только больные, и все больны одной болезнью — любопытством, а в возрасте Оли, это — эпидемия. А тетка полюбопытствовала, почему Оля спрашивает, — этот студент, ее знакомый? Оля сказала, что и не знает его, а что он жених Веры Аларевой.

— Яворский? — переспросил дядя и, словно вспомнив что-то, нахмурился.

И стал пространно рассуждать о легкомыслии современной молодежи, и сколько так зря гибнет честных и способных. И Оля подумала, что у Яворского чахотка.

Вечером Оля пошла к Вере в гостиницу. Еще в коридоре она услышала пение: пела Вера. Оля без стуку отворила дверь. Вера стояла над раскрытым чемоданом, — обернулась и, глядя на Олю сухими переплаканными глазами и руки так прижимая к груди, — она была в белой кофточке, — продолжала петь, и ее прижатые руки на белом пламенели, точно этими крепко сжатыми руками она хотела погасить вырывавшееся пламя, — «я любила его жарче дня и огня», — какой огонь был в ее голосе и какое горе!

Оля подошла и поцеловала ее — и белым жарким пламенем своей непреклонности погасила ее жгучий огонь.

* * *

— Вот что, Вера, поедем вместе на Курсы, — сказала Оля, — так все это отвратительно, там будет другая жизнь. Будем учиться.

— Да, хорошо, я поеду.

И Вера опустила руки.

И тихие слезинки вырвались из ее глаз.

* * *

В восьмом классе Оля считала месяцы, потом недели, потом дни, когда поедет в Петербург на Курсы. С Верой ей не приходилось встречаться. Вера жила в Клинках с бабушками. И както так случалось, что когда она приезжала в город, не заставала Олю. И только раз весною. Вера сказала Оле, что писала брату в Томск, и он ответил, что никогда не думал, что она собирается в Петербург на Курсы, и что жизнь там «идейная».

Больше всех возмущалась тетка Марья Петровна: со всей своей неиссякаемой энергией и решительностью, она готова была на все, лишь бы помешать Оле; а будь она на месте правительства, она запретила бы и самое слово «курсы» и вычеркнула бы всякие «идеи», сохранив, пожалуй, и то для назидания, лишь бледные «понятия». Перепробовав все воздействия, както уж в конце выпускных экзаменов, она, с неподдельной радостью, объявила Оле:

— Вот твоя подруга Вера Аларева, — ты говорила, что она хочет ехать на Курсы. Я ее спросила: «поедете ли вы на Курсы?» А она сказала: «нет, не хочу расстраивать маму...»

— Стало быть, она не очень хочет ехать, — ответила Оля.

* * *

Из примечательностей города, в котором не последнюю роль играла всевидящая и всезнающая «чудесная» Марья Петровна, следует отметить семейство Скорохвостовых как по количеству детей, так и по качественному подбору, — все, как с картинки, а уж глаза, — то, как самые разнебесные, то, как море, глубокие, синие, а, в смысле «умственного развития», или просто говоря, по глупости, образцовые: несмотря на всякие протекции, гувернанток и репетиторов, никто из Скорохвостовых дальше четвертого класса не пошел: Петя, Лиля, Маня, Шара, Ляля, Любочка, Окочка и Жокочка (близнецы), Танечка и Тунечка. Оля училась с Лялей и заметила еще во втором классе, что никогда эта фамильная природная глупость так ярко не обнаруживалась, как во время молитвы, когда Ляля смотрела

своими синими бездонными глазами вникуда. И все они говорили как-то снисходительно и, вместе с тем, возвышенно с растяжкою вроде тех актрис, что произносят «мошный», вместо «мощный». А еще замечательны Скорохвостовы были тем, что не только в городе, а и гимназии говорили, что у мадам Скорохвостовой с батюшкой Аристотелевым роман, и ссылались на то, что видели их вместе в Городском саду. И Скорохвостова и сам Скорохвостов по картинности не уступали детям, а батюшка Аристотелев, законоучитель и в женской, и в мужской гимназиях, все его знали, и при самом отчаянном воображении, какое было у Вали Шалауровой, влюблявшейся буквально во всех, немыслимо было представить себе влюбиться в батюшку, да просто этого слова не существовало, когда произносилось его имя. Но что поделаешь, тетка Марья Петровна повторяла свое излюбленное авторитетное «говорят», и всякий должен был поверить, «потому что говорят». Скорохвостовы устраивали у себя вечера. На одном из таких вечеров была Оля, — это было в последний ее гимназический год. За Олей ухаживал Есимовский, какой-то важный чиновник, Оле было очень неловко, и она не знала, что с ним говорить, он ей казался очень старым, ну, ему было лет тридцать. Он и за ужином сидел с Олей, а с другой стороны Оля посадила с собой Лялю с самыми разнебесными глазами. Ляля угощала Есимовского вином, повторяя в растяжку по-своему, что вино «терпткое», и что она очень любит «терпткое». Оля не понимала, какое это значение «терпткое», она была рада, что сосед ее занят, и не надо поддерживать чужого и совсем ненужного разговора. Был за столом и батюшка Аристотелев, и вокруг батюшки повторялось с такой же растяжкой «терпткое», и батюшка, услышав, как Ляля, обращаясь к Оле, назвала «Ольга», — вдруг каким-то неурочным сладеньким голосом заметил: «равноапостольная Ольга великая княгиня Киевская» и, прихихикнул, что было для Оли совсем неожиданно. В это время Есимовский упомянул какую-то Катечку.

«Катечка, — с растяжкой ответила Ляля, — была два года в связи со студентом Ставровским, а потом разошлись».

А после ужина сама Скорохвостова, она сидела близко и все слышала, заметила Ляле при Оле, что так нельзя говорить, что это очень нехорошо, а надо было сказать, что Катечка и Став-

ровский были два года женихом и невестой и потом разошлись. «Да я это и хотела сказать!» — оправдывалась Ляля, глядя своими самыми разнебесными глазами, как на молитве, в никуда.

Когда Оля приехала из Петербурга незадолго до своего ареста и зашла к тетке Марье Петровне, тетка ей напомнила этот «терпткий» вечер, рассказав последнюю городскую новость: Ляля Скорохвостова вышла замуж за Есимовского.

— И еще приходила Вера Аларева, оставила свой адрес, она очень хочет с тобой повидаться.

В этот приезд, точно предчувствуя и прощаясь со старым, Оля много видела всякого народу и даже таких, с кем и не думала встретиться. А с Верой ей было любопытно. Прошло три года, Оля жила своей новой жизнью, такой чужой и далекой от этой, что же сталось с Верой?

Они встретились, как и прежде, нет, еще горячее. Оля сразу заметила перемену, но, может быть, это оттого, что Вера была в темном.

— Ты довольна, что на Курсах? — спросила Вера.

— Да, — сказала Оля.

— А я вышла замуж.

— Влюбилась?

— Второй раз нельзя полюбить, — сказала Вера, — я хорошо отношусь к мужу, но любить... да и все так!

Оля ничего не сказала. Но ее серые глаза, как сталь, кипели, но она не смотрела: ведь это «и все так» — это то — то самое, что слышала она еще с детства, и было ей с детства как последняя грубость, это опорочивание всего, что есть лучшего и человеческого в человеческом сердце, это «и все так», т. е. «все равны», т. е. «все подлецы», нет, не все! нет, и не все так! да, это то самое растлевающее, что убивает человеческую душу, — гад! и если бы был камень, она расплющила бы этого гада, — вот когда дышать человеку нечем.

— Но мне так скучно жить, — сказала Вера, — если бы у меня были дети, я бы занялась детьми, а то и на кухню нельзя войти, я бы и пирог испекла, не принято, — говорят, не мое дело, хоть об стенку головой! — и она прижала руки к груди, как тогда, и, крепко прижимая, глядела на Олю, но эти руки были на темном мертвые.

— Помнишь Катю Осмакову — «Рымник», она тоже приехала с мужем. Я сделала ей визит, пять минут просидела, и она была у меня тоже с визитом. Может быть, что нибудь и выйдет...

— Какой это ужас, — сказала Оля, — так выходить замуж! — и в первый раз посмотрела на Веру, на ее мертвые, прижатые к груди руки, — впрочем, совсем не надо выходить замуж. Я никогда не выйду.

И Оля ничего не спросила, ни кто ее муж, ни где они живут, ни города, ни фамилии, и ничего о себе. И простилась с Верой, как с мертвой, — холодным, осторожным поцелуем к ледяным губам.

Три пламенных сердца

К любимой бабушке в Меженинку приходила из Киева монашка. Все ее звали Александра Амосовна. Трудно было отличить ее от мужчины: усы и какие-то волосы на подбородке, очень большой нос, и в очках. Александра Амосовна всегда вязала чулок, ухаживала за больными, и что-нибудь помогала по хозяйству.

Оля любила слушать, как она рассказывает про угодников — тихим тонким голосом. Этот тихий тонкий голос при усах производил особенное впечатление. Оля думала, что она «святая».

Когда Оля просилась в Петербург на Курсы, ее не пускали.

— В Петербурге такой плохой климат, — сказала как-то Наталья Ивановна, — получишь чахотку и умрешь, как твой дядя.

Этого дядю Василия Павловича, брата отца, Оля никогда не видала, но из всех он больше всех ей нравился: с детских лет сложилось у нее убеждение, что он «ничего не боялся», и с детства, как помнит себя Оля, ей приводили его в пример, — «как не следует делать», или ее «самовольство» сравнивали с ним; а известен он был тем, что в одну ночь проиграл в карты какой-то Трокский замок, родовое Ильменевых.

И Оля ответила, — ей показалось, что мысль ее, точнее нельзя, выражена стихами:

— «Что жизнь для нас, когда там гибнут братья!»

Мать промолчала: ее ли сердцу не чуять, что на своей воле много встретится горя, и она боялась.

— Вот то самое, что надо говорить! — сказала Александра Амосовна, одобряя Олю.

Оле было очень приятно, что Александра Амосовна поняла своим «святым» сердцем ее заветные желания.

В первый свой приезд из Петербурга домой, Оля, прежде всего, поехала к любимой бабушке в Меженинку. Дома за своевольный петербургский год помирились с Олей, а бабушка никогда на нее не сердилась.

Бабушка позвала Олю вместе с собой к соседям Топоровым. Оле очень не хотелось, но, чтобы не огорчать бабушку, пошла с ней.

Старинный дом Топоровых, Бог знает, сохранившийся с каких веков, хранил в себе вместе с гостиной, с колоннами какой-то ползучий, ничем неистребляемый дух плесени — Оле не нравились эти Топоровы.

Бабушка с гордостью представила Олю. Оля была в своем летнем сером платье и без всяких украшений, совсем не по дому. И, когда пили чай, бабушка старалась вставить об Оле, — обратить внимание.

У Топоровых было трое: старшему восемь. Оля с детьми возилась.

— Лучше чтобы дети оставались маленькими, — сказала хозяйка, — не дай Бог, как ваша внучка, поедут в Петербург на Курсы...

Бабушка поджала губы:

— Моя внучка умница, потому и поехала.

И хозяйка не посмела возразить бабушке, да и неприлично: в своем доме.

А Оле было очень приятно, что бабушка за нее заступилась.

А вот на другое лето Меженинка опустела. Бабушка умерла весной. Оля получила от брата письмо, что все они находятся в Меженинке: и у матери, и у бабушки, — воспаление легких. Оля сейчас же поехала. Дорогой из Петербурга в первый раз она видела, как по пути уходила зима, уступая теплу, и на станции ее встретила весна. Не давая знать к бабушке, наняла лошадей и приехала в Меженинку. Но бабушку не застала, — бабушку похоронили. И почёму-то все были очень удивлены приезду Оли: зачем? —

Как?! — — как была Оля одинока... ее любимой бабушки не было. И Александры Амосовны не было: она жила в монастыре в затворе, и нельзя ее было видеть.

На всю жизнь осталось Оле: и как заступилась за нее бабушка, и как одобрила ее монашка, — теплая и беззаветно любующаяся любовь и это тихое и тонкое, как голос, святое сердце, благословляющее, — и на крест.

Не считается

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии...» — с этого начинается Гоголь. С этого начинает свой день Василий Антонович Боровой или капитан Боровой, которого выгнали постоять на крылечко, потому что Варвара Петровна затеяла какое-то такое нежное тесто ставить, что даже присутствие в комнатах Василия Антоновича, который вообще «не считается», может помешать, и тесто не подымется. А от последней ступеньки лестницы Борового крылечка до верхушек тополей, караулящих дом — выше Василий Антонович заглядывать не решается, щадя глаза,— стоит тысячеголосый звон, и это звенящее улетает туда поверх тополей и разливается струящимся на весь мир солнцем.

О Гоголе Василий Антонович ничего не слыхал, но его чувства к этому «упоительному и роскошному» дню Гоголевские. А о Толстом слышал от о. Евдокима, что граф Толстой в Бога не верует. И удивительно Василию Антоновичу, как и почему это граф, когда и простому человеку явственно, что без Хозяина никак не управиться в таком преизбытке и изобилии, и кому-то надо ведь и погодой распоряжаться, и кто-то дает тепло и посылает такие дни «и упоительные и роскошные».

Василия Антоновича могли бы забыть на крылечке, да тетка Варвары Петровны Александра Александровна, непременно хватится. И Василия Антоновича возвращают в дом неизменным окликом, напоминающим хозяйский, не то на кур, не то на свиней. И на весь день ему занятие — играет с Александрой Александровной в дурачки. И совсем незаметно «усталое солнце, пропылав свой полдень, уходило от мира, и угасающий день пленительно и ярко румянился»: самая пора посидеть у ворот на лавочке.

Проезжая вечером через Ватагино, вы непременно увидите Василия Антоновича на лавочке у ворот в своей неизменной тужурке с золотыми пуговицами, и он с вами раскланяется и, если даже вы незнакомы, с кем-нибудь вас спутает и посмо-

трит, как на знакомого. Прогонят по улице коров, пробегут овцы, холодком с поля повеет, а там, глядишь, выглянет звездочка. А как легко дышится после знойного дня! И опять Василий Антонович задумается, как и почему с графом такое затмение и не спутали ли Толстого с другим графом: ведь, небось, тоже сиживал у себя в Ясной Поляне на лавочке и видел это небо, когда Хозяин удаляется на покой, а «ангелы Божии поотворят окошечки своих светлых домиков и глядят на нас, на нашу землю».

Окликом, как всегда, куриным или свиньячим, переходит Василий Антонович с лавочки в комнаты, и наступает единственный час, когда ему разрешается подать голос. И он этим пользовался: за ужином он рассказывает новости — не проехал ли кто и куда и зачем, не говорил ли о чем прохожий, или сосед шел и сообщил что-нибудь. Рассказы Василия Антоновича принимаются лишь к сведению, так как слава путанника за ним твердо установлена и без проверки ни одна из его новостей не имеет никакой достоверности; капитан часто просто занимался сочинительством — Гоголь в нем сидел неподдельный.

Василий Антонович — отставной капитан из кантонистов, ранен в бедро или, как говорили, «сидел в кукурузе». Раз в месяц ездил он в город получать пенсию. На Новый Год в мундире и во всех орденах приезжал поздравлять к Ильменевым и всегда из кармана давал детям конфеты — конфеты известны были под названием «этих конфет есть нельзя» — и это Оля запомнила со своей первой новогодней памяти. Все остальные дни Василий Антонович проводил дома, лето и зиму, днем играя в дурачки с Александрой Александровной, теткой. А Варвара Петровна целый день суетилась, перебегая из дому на кухню и из кухни в дом: она умела делать необыкновенные коржики и еще славилась куличами, но секрета никому не говорила, и все, что она ни делала, все у нее было «лучше всех».

В саду у Боровых были замечательные яблоки. Сад сдавался «русским» из-половины, и это считалось и самым выгодным и самым надежным —- «русские» крепко караулили и опасаться воров нечего было. Свою часть яблок Варвара Петровна продавала в Нежин; обыкновенно возила яблоки экономка Катя. Но однажды повез Василий Антонович: еще дорогой стал он хвастать замечательными яблоками и раздавал на пробу, а на

месте окончательно все роздал да и сам полакомился и вернулся из Нежина без яблок, без денег и весь расстроенный.

Над Василием Антоновичем свои постоянно смеялись, и в доме он «не считался». Торжественно праздновались именины и рождение Варвары Петровны, Кости и Лены, и не так торжественно тетки Александры Александровны, и даже экономки Кати как-то выделяли именины, но Василия Антоновича никогда. Как-то Василий Антонович не то, что обиделся, а просто спохватился — слава Богу, достиг до капитана и в боях участвовал и большую пенсию за бедро получает, а именин никаких — —?

— Не считаются, — заметил кадет Костя, — ваши не считаются.

И Костя и Лена в глаза отца никак не называли, да и вообще не разговаривали, а за глаза называли «батько», что равнозначуще здешнему выражению «предки» — я не раз слышал от избалованных единственных изнаглевших сынков и от холеных беспардонных дочек.

Когда устраивались какие-нибудь торжественные вечера, на которых Варвара Петровна показывала свое печеное, слоеное, сдобное или заварное искусство, Василия Антоновича прятали. А если он все-таки появлялся, все только и ждали, когда он скроется. Дети затевали игры: в «море волнуется», «веревочку», «рубль искать», «свои соседи» с ходячим соседом и сидячим — и обыкновенно Костя или Лена говорили: «батько уйдет, подождите!»

Варвара Петровна все делала для детей — детям все позволялось, дети — ее страсть и гордость. И удивительное дело, они были похожи на отца: нос Василия Антоновича, который различишь и сквозь самую густую коровью и овечью вечернюю пыль, когда рассаживается Василий Антонович на лавочке по сбору новостей, перенесен был и на Костю и на Лену: Косте достался он в еще больших размерах, а Лене поменьше. И единственная Маня в мать, но померла трехлетней к великому горю Варвары Петровны, которая в первую Пасху после ее смерти всю ночь пролежала на свежей могилке.

Для развлечения детям, чтобы посмеяться, Варвара Петровна любила рассказывать, как она вышла замуж; а было ей тогда лет за тридцать и уж выбора не могло быть.

«“Прошу вашей руки и сердца”, — рассказывала Варвара Петровна, представляя Василия Антоновича, — а я говорю: “У меня ничего нет!” — а он: “Да чорт его бери!” Так и повенчались».

Василий Антонович безропотно принимал свою участь, никакой злобы, никакой обиды не было ни в его лице, ни в словах — рассказах, разрешаемых ему за ужином. И только раз за всю свою жизнь, да и то это было так давно, что только Варвара Петровна помнит и, чтобы посмеяться, детям рассказывает, как Василий Антонович возвысил голос.

Постоянные насмешки и в глаза и за глаза и на глазах пробрались и кольнули и такое забитое муштрой сердце.

«Мой пансион!» — сказал Василий Антонович, вызывающе глядя на Варвару Петровну, готовый и на еще, а на что, неизвестно, но уж кричать.

«Моя худоба!» (имение) — оборвала его Варвара Петровна и посадила на место.

С тех пор Василий Антонович, как шелковый.

Никто никогда не слыхал, откуда он взялся и как попал в Ватагино. Говорил он по-московски, но ничего не имел общего с теми «русскими», съемщиками сада — такая кротость, уступчивость и добродушие не в московском укладе, хитром и жестоком. Никому он не писал писем, а у него оказались родственники в Рязанской губернии — через много лет дошло до них, что Василий Антонович женился, и они о себе известили, но письмо их осталось без ответа.

У Василия Антоновича было общее с Афанасием Матвеичем Москалевым из «Дядюшкина сна» Достоевского: заробелость и подчинение. Но у Варвары Петровны, первой по кулинарии в Ватагине, и у Марьи Александровны, первой дамы в Мордасове, разве только это первенство. Варвара Петровна суетливая или, как называли ее в Ватагине, «торопленная» ни над кем не командовала, только на кухне, и думала и жила детьми, а Василий Антонович просто не считается.

Лена Боровая подруга Оли. Оле всегда было неловко, когда Лена пренебрежительно отзывалась о отце. Оля давно поняла, что Василия Антоновича не любят, и не могла понять, как можно и как это живут люди друг с другом, не любя.

Варвара Петровна приходила к Ильменевым с Костей. И сначала этот Костя был просто носатый кадетик, а с каждым летом он подымался все выше, перерос отца, потом мать, потом стал верстаться с тополями. И уж один без Варвары Петровны появлялся у Ильменевых: он не входил в дом, а шел прямо в сад и ложился на траву: голова у амбара, а ноги в сажалке. Проходя садом, непременно наткнешься, и он всегда скажет:

— Так сказал граф Толстой.

Однажды Наталья Ивановна спросила его, почему он не входит в дом, а лежит в траве.

— Я дома не могу лежать, — ответил Костя, — потому что мне не нравится нос моего батьки.

Впрочем, належавшись в траве, иногда он входил и в дом, но не с крыльца, а через балкон, собаки его знали и не лаяли, он проходил прямо в гостиную и садился в глубокое кресло. И к этому тоже привыкли, никто не обращал внимания, да и он не беспокоился. Всем, кто появлялся в гостиной, он говорил одно и то же, и оно звучало так же, как из травы «так сказал граф Толстой»:

— Так-перетак — растак. А — переа — разъа...

Еще носатым кадетиком в Киеве Костя влюбился в сестер Коровиных. И об этом он всем рассказывал: сестры, по его словам, были больше, чем взрослые, две сестры. И рассказ его производил впечатление самым соединением слов: «сестры Коровины». Потом он влюбился в гимназистку, потому что у нее было «удивленно-глупое лицо», потом в дочку единственного Ватагинского лавочника Улю. И с Ули начинаются его романы.

День належавшись в траве или насидевшись в кресле, Костя шел к соседям Манковским. Дом Манковских был самый богатый в Ватагине, с бесконечным садом и бесчисленными комнатами — хозяину предписаны были доктором ежедневные трехверстные прогулки: чтобы не выходить из дому, был вымерен ковер в столовой, — и по этому ковру и совершались прогулки. А славились Манковские необыкновенным вареньем и частыми пирами: хозяева были помешаны на всяких именинах, рожденьях и свадьбах. И всегда гости. Костя танцевал, влюблялся и ухаживал.

Костя влюбился и в подругу Оли, гимназистку Катю Рогачову, которая в последнее гимназическое лето гостила у Ильме-

невых. А когда Оля приехала в первый раз из Петербурга курсисткой, Костя влюбился в Олю.

Костя кончил кадетский корпус и собирался в Петербург, в военное училище. Оля его пропагандировала.

— Разве можно так жить, — говорила Оля, — надо все переделать.

— Да чего-ж беспокоиться, — отвечал Костя, — ведь комитеты заграницей работают.

— Каждый должен, — сказала Оля, а сама подумала: «ну, и дурак!»

И все-таки продолжала — Костя смотрел влюбленными глазами и со всем соглашался; он называл имена своих товарищей, среди которых он может организовать кружок.

Осенью, когда Оля уезжала в Петербург, Костя приехал на станцию провожать. Но Оля была со студентом Черкасовым, который ехал тоже в Петербург, — какие уж там разговоры с Костей! И Костя обиделся.

В Петербурге Оля получила письмо от матери: Наталья Ивановна наказывала Оле быть осторожней

— Костя рассказывает о ней всякие небылицы, вроде того, что она сидела в Петропавловской крепости, и там ее остригли, но главное, как Оля его пропагандировала; Наталья Ивановна приводила Оле ее слова.

Олю это страшно возмутило: рассказы Кости очень могли помешать ей.

Идя с лекции к себе, Оля рассказала Жене Шубиной.

— Неудавшееся миссионерство! — сказала, улыбаясь, Женя: Женя Оле сочувствовала.

Оля никак не могла успокоиться: если бы это была сплетня, но ведь в письме матери приводились слова Оли, сказанные Косте! — и возмущению не было конца. По дороге Оля и Женя купили хлеба и сыру. И за чаем, продолжая возмущаться, Оля стала резать сыр и отхватила себе кусок от пальца — след на всю жизнь.

Оля жила на Васильевском острове у Берты Федоровны. Эта Берта Федоровна добрая и тихая, и когда топит печку, любила рассказывать: она за вторым, и от первого мужа детей у нее не было, а как вышла за другого, у ней «кожный» год, и всегда умирают. А ходил к ней «кожный» день Herr Pappendick —

и утром и днем и вечером. И однажды на звонок, когда Берты Федоровны не было дома, Оля отворила, и вошел не Паппендик, а Костя — расфранченный в форме и с саблей.

Оля ему все и сказала.

— Да это не я, — оправдывался Костя, — это все Ольга Павловна.

А на эту «Ольгу Павловну», на которую так неумно свалил Костя всю свою болтливость и бахвальство — Ольга Павловна, Ватагинская портниха, могла сочинить какую угодно любовную историю, но о революции... да она такого и слова не слыхала! — Оля, вспыхнув, объявила Косте, что прекращает с ним всякое знакомство. И вгорячах хотела сказать само собой навертывавшееся «вон!» — но, вспомнив всю ту праздную и пустую жизнь и издевательства над этим забитым добродушным стариком, над отцом Кости, Василием Антоновичем, не удостоенным даже имени отца, а «батьки», сказала то, что подумалось:

— Знакомство с вами не считается.

Это было последнее слово Оли, а сказано так, что Костя сию же минуту вышел — и эта его дурацкая сабля хлопала за ним вдогонку: «не считается».

Больше Оля никогда не видала Костю.

А судьба ему выпала своя, да так оно и надо было ждать, и все это не по каким-нибудь соображениям и высшим мотивам, а вроде возгласа из травы «так сказал граф Толстой», просто, что очень зорко заметил Достоевский, «с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут». Костя был за что-то разжалован и опять произведен в офицеры; домой он никогда не писал — в отца, узнавали с запозданием через других. Так узнали и о его конце: становой привез бумагу много спустя — где-то далеко от своих мест повесился.

Некуда деваться

Пансион Линде — огромный дом с огромным двором, а дальше большой сад, — Оле, вспоминавшей свой Ватагинский, не казался таким, но всегда говорилось: большой. В конце двора флигель, во флигеле живет хозяйка дома Вера Харитоновна. Всякое утро из окон пансиона видно, как идет она, пересекая двор: злая, рыжая старая дева.

В пансионе была гимназистка Машенька Фитингоф, племянница начальницы гимназии Марьи Ивановны. И Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна, начальницы пансиона, ухаживали за Машенькой: они и ее фамилию произносили, не как других, а с именем: не Фитингоф, а Машенька-Фитингоф. И выходило много путаницы и смеха.

Гимназистки затеяли сниматься. Снимались каждая отдельно. Фотограф, сняв, спрашивал фамилию, а отвечала Паулина Викентьевна, сопровождавшая гимназисток. И все было хорошо: Ильменева, Аларева, Осмакова, — но на Машеньке Фитингоф фотограф посмотрел, как снимающийся смотрит в аппарат: «не понимаю». И Паулине Викентьевне пришлось не раз повторять, и она повторяла нераздельно, как какую-то мудреную арабскую фамилию или замысловатую составную на манер старинных французских: «Машенька-Фитингоф». Жаль, что очередь Машеньки была последняя, а то бы какие вышли смешливые лица — ведь открыто смеяться никак нельзя было.

Машенька-Фитингоф училась хорошо, но откуда в ней была такая плюгавость, и совсем не вязавшаяся с ее немецкой фамилией: маленькая, белобрысенькая, а глаза, как две волчьи ягоды, и не красные, а белые, которыми медные тазы чистят, Машеньку называли «тунгус в юбке». Находясь в привилегированном положении, — Машенька и спала в одной комнате с Розалией Викентьевной и Паулиной Викентьевной, — знала она много такого, что для других оставалось скрытым. Да и мизерность ее помогала ей быть во всех комнатах одновременно и совсем незаметно; и в доме, и на дворе, и в саду, и во флигеле она все видела и все слышала.

От Машеньки-Фитингоф Оля узнала, что Вера Харитоновна очень скупая, прислуги у нее нет, а вся работа лежит на ее племяннице — гимназистке Сане Мавольской, а эта Саня в четвертом классе, но совсем большая — в каждом классе сидит по два года. А вскоре Оля встретила в гимназии Саню: и вправду, она была совсем большая и показалась Оле очень хорошенькой: такие длинные сросшиеся брови.

От Машеньки-Фитингоф Оля еще узнала, что Вера Харитоновна плохо обращается с Саней, а заступиться некому: нет у Сани ни отца, ни матери. И Оля представила себе, как это было бы, что никого нет: ни любимой бабушки, ни мамы, ни папы,

а живет она у тетки, и стало ей жутко, и пожалела она эту Саню, за которую заступиться некому.

От Машеньки же стало известно после экзаменов, что Саня Мавольская так и не перешла в пятый класс и ее исключили из гимназии.

А как-то осенью, в самую дождливую пору, когда по ночам холоднее, чем в самые морозы, Машенька-Фитингоф объявила, и все это слышали, что Саня сегодня утром прибежала босиком от Веры Харитоновны. И с этого дня Саня стала жить в пансионе: она помогала по хозяйству. Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна звали ее Сашенька, а гимназистки — Александра Григорьевна.

Как и чем изводила Саню Вера Харитоновна, Оля не знала, но в пансионе жизнь Сани была у всех на глазах. Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна — живое воплощение аккуратности и точности — требовали работу, а пансион большой — без дела не посидишь, да и на минуту присесть не было времени, и так всякий день с утра и до позднего вечера без перерыва, ну, конечно, не обходится и без замечаний, ведь и машину захлестывает, как другой раз не ошибиться. И эта непрерывность тоже может очень извести человека и без всяких криков и попреков и понуканья.

И однажды вечером Саня вошла в комнату к гимназисткам и без слов заплакала. Все притихли, а она плакала. Потом сквозь слезы стала читать: «я молился сейчас пред иконой святой»...

— Вот и я так! — сказала Саня, окончив стихотворение, прочитанное отчетливо и с чувством — в чувство поэта, на словах которого отводили душу столько страждущих и обремененных.

Этот вечер с трогательными стихами Надсона — громкой исповедью перед всеми, ведь исповедь не только покаяние, а и жалоба; этот вечер с долгим плачем без слов на глазах у всех, ведь плач на людях это тоже жалоба, как исповедь, был прощальным вечером Сани.

Приехала какая-то дама и взяла к себе Саню в качестве бонны. Оля слышала, как Розалия Викентьевна, прощаясь, сказала:

— Сашенька, двери нашего дома всегда открыты перед вами.

И эти напутственные слова были хорошим знаком: Саня расставалась мирно. Оле очень было жалко Саню, и никогда не забыть Оле своего жуткого чувства: некому заступиться.

А, должно быть, жизнь, в качестве бонны, оказалась не слаще пансионской: не прошло и месяца, как Саня опять появилась в пансионе, и началась с утра и до позднего вечера работа по хозяйству непрерывно.

На Рождество приехал сын Паулины Викентьевны, доктор Виктор Густавыч, и скоро стало известно, что Саня выходит замуж. О замужестве Сани только и было разговору — весь пансион обсуждал судьбу Сани.

Гимназисткам Виктор Густавыч показался очень некрасивым — «рожа», а Саня была для всех «хорошенькая». И все говорили, что по-другому она поступить не могла: и не согласись она, не стали бы держать ее в пансионе, не велика нужда, ведь вот с месяц и без нее управлялись, найдутся и другие Сашеньки —

— Сане некуда деваться, оттого и выходит.

— Я бы никогда не вышла, — сказала Оля, — и пусть бы меня выгнали, я бы ушла и на холоде умерла — замерзла. И это лучше.

Машенька-Фитингоф, от которой и шли все новости, и которая была голосом своей благоразумной тетки — начальницы гимназии, не соглашалась с Олей: Саня поступает правильно, и в ее положении так и следует.

— Сане некуда деваться и другого выбора у нее не может быть.

До лета Саня оставалась в пансионе. Летом должна была состояться свадьба. Саня теперь называла Паулину Викентьевну — мама, а Розалию Викентьевну — тетя, и продолжала попрежнему свою изводящую работу с утра и до позднего вечера непрерывно.

И все-таки эта непрерывная работа была тишиной и миром сравнительно с тем, что было у тетки во флигеле. Вера Харитоновна в свое время намудровалась над Саней — это теперь понимали все подросшие гимназистки. С Верой Харитоновной, встречаясь, никто больше не здоровался, все равно, она никогда не отвечала, она смотрела так, будто всякая встреча была ей поперек. А ведь это все были дети, и ни у кого не было никаких злых мыслей, они и здоровались весело и приветливо — от души.

Валя Шалаурова пригласила Олю к себе на вечер. Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна разрешили, но чтобы вер-

нуться в десять. Оля и вернулась точно в десять. Но калитка-то оказалась заперта. Олю провожал брат Вали: и Оля и Петя стучали без конца. И тогда Петя перелез и с другой стороны открыл калитку. Стук слышала Вера Харитоновна, но не отозвалась: она вышла только посмотреть. И потом донесла. И за это Олю не пустили на вечер к Берсеневым. Это случилось на масленице и Оле очень хотелось. Каким длинным ей показался вечер! Был мороз и звезды. Подходя к окну, Оля видела эти предвесенние ясные звезды, но и эти самые ясные застилались, Оля видела, как простоволосая рыжая ходила по двору под окнами Вера Харитоновна и что-то вкусное пережевывала — маковник ли это медовый, или сладкая смоква.

Да, это был живой «ананасный компот», о котором рассказывает Достоевский, исповедуя в Лизе Хохлаковой свой тайный злой помысел, да, это было повторяемое у Достоевского злорадство, испытываемое человеком при виде беды другого человека, да, это было — бывает и такое человеческое сердце, для которого отыскать вину в человеке безвинном — удовольствие, а наказание за эту мнимую вину — наслаждение.

За эти последние месяцы Саня привязалась к гимназисткам и часто выручала.

Вера Аларева и Катя Осмакова потихоньку ушли из пансиона. Розалия Викентьевна шла с Саней, а навстречу извозчик, а на извозчике эти самые гимназистки. Розалия Викентьевна остолбенела: «Аларева и Осмакова»?! — «Что вы, тетя, — сказала Саня, — это губернаторские дочки, посмотрите, и калоши с опушкой!» Но уж смотреть не на что было — проехали. И ведь до чего Саня уверила этими «опушками», Розалия Викентьевна потом сама при всех рассказывала, как она губернаторских дочек приняла за Алареву и Осмакову.

И Розалию Викентьевну и Паулину Викентьевну легко проводили и сами гимназистки, но бывало, как этот случай с «опушками», без Сани никак не прошло бы. В Сане много было расположенности, все издевательства ее тетки и эта дергающая непрерывная работа не озлобили ее истерпевшегося сердца, и беззащитного.

Все понимали безвыходность Сани и жалели. И Оля, жалея Саню, не переставала свое думать и на своем стоять, что лучше замерзнуть, но никогда не соглашаться.

«И разве может такое пройти так человеку?» — но это не Оля, за Олю, над Олей кто-то спрашивал и тайно бередил беззащитное сердце покорившейся перед безвыходностью Сани.

После летних каникул Оля не вернулась в пансион Линде. И больше не встречалась ни с Розалией Викентьевной, ни с Паулиной Викентьевной, ни с Саней. А потом как-то слышала, что пансион закрыли, а Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна переехали в маленькую квартиру и с ними Виктор Густавыч и Саня.

Оля жила у тетки Марьи Петровны. От тетки она и узнала, что умерла Паулина Викентьевна. Оля пошла на панихиду. Паулина Викентьевна лежала на столе и с тем самым выражением, с каким повторяла когда-то не понимавшему ее фотографу: «Машенька-Фитингоф». С Олей стояли гимназистки, все смотрели на Паулину Викентьевну, но смешливых лиц не было: Паулина Викентьевна была добрее Розалии Викентьевны. Розалия Викентьевна и Саня плакали.

Это была последняя встреча из той жизни, которая для Оли кончилась с гимназией, а начавшаяся в Петербурге новая на курсах была занята и деятельна, и даже вспомнить было некогда.

И вот совсем-то не думая, а думая о своем, Оля вошла в трамвай и увидела Саню: по бровям узнала — такие длинные сросшиеся, и Саня узнала Олю. И затащила Олю к себе.

Саня жила с мужем, который был теперь Петербургский доктор, и с ними Розалия Викентьевна. Виктора Густавыча не было дома. Розалия Викентьевна еще больше согнулась. А Саня — хотела ли она рассказать о себе или спросить Олю... ничего не выходило: Саня беспомощно, безнадежно заикалась — понять ничего нельзя...

Оля, глядя на ее мучительную безвыходность — слова судорожно бились на языке, а никак не выговаривались! — вдруг живо по своей резвой памятливости представила ту жизнь, и ту, отчетливо говорящую стихи Саню, и свое непреклонное «скорее замерзнуть, чем...», а то, что когда-то спрашивало за Олю, над Олей, заговорило в Оле, и она все поняла.

И разве может что-нибудь на свете пройти бесследно!

Не дождалась

Жили-были две подруги, как в сказке, Олеся и Гуня. Обе учились в гимназии в одном классе и однолетки: и той и другой двенадцать исполнилось. Одна была очень богатая, другая очень бедная. Если бы они были взрослые, такого различия никогда бы не случилось: из любви и дружбы, какой были связаны подруги, — Олеся помогла бы Гуне, ведь это только в нашем холодном мире, встречаясь, ничего-то друг в друге не замечаем! Или не так: будь они взрослые, и совсем бы не могло быть никакой дружбы — да и где бы им встретиться! а если б и встретились... но это не зря сказано: «легче борову свиному проткнуться в игольное ушко, чем богатому проникнуть к сердцу бедного».

У Олеси все: и дом и сад и лошади — единственная она — и для нее все, и по фамилии-то Олеся — Цвет, первые купцы в городе. А у Гуни — — отца она не помнит, давно помер; отец ее итальянец, мать русская; ее мать — заведующая городской школой, и заработок ее — все.

Гуня Польлио, но считает себя русской, хоть и никак она не похожа на вздернутую белую, узкоглазую Олесю: Гуня в отца — темная, не по северному солнцу открытая, и как клюв у нее над полным розовым ртом. Многое уж за эти розовые годы понимала Гуня в холодном синем мире и, гордая, никогда не ходила по гостям к богатым подругам, и только к Олесе. А Олеся ничего еще не понимала, ей и в голову не приходило хотя бы спросить у Гуни, почему это ее мать все одна и никогда нигде не бывает?

Гуня жила с матерью в школе. И гимназистки любили бывать у ней: гимназисток занимала школа — можно было скакать по пустым партам, разрисовывать рожами доску или про учителей вымелить на доске такую надпись, не поздоровится, и за это не попадет. Но ни с кем не чувствовала себя Гуня так, как с Олесей, и когда мать уехала в Киев — операцию ей будут делать — Гуня только к Олесе и только одной Олесе она могла рассказывать самое свое заветное — она уж понимала, и что одинока мать, и всю их бедность, — и вот как она любит мать: «больше всего и всех на свете!»

Это случилось осенью, когда Гуня в первый раз осталась одна без матери. Невыносимо было ей одной — «точно не жила она!», — а по ночам страшно: прислуга, которой наказано было

спать с Гуней, и не думала, а с вечера уходила на ночь со двора. С отъездом матери, Гуня начала дневник: и как мать вернется, не рассказывать ей, что без нее было, а дать прочитать — ее дневник всякая мелочь, и всякая мелочь, не забудется.

В дневнике она рисовала картинки из «Тысячи и одной ночи», ей особенно нравились волшебные сказки про джиннов, и она рисовала и «правоверных» и злых — «маридов», и всегда у нее выходило, что все «правоверные» были, как Олеся, со вздернутыми носами, а мариды, как она сама, горбоносые; еще рисовала она талисманы — красных и белых змей, белых петухов с раздвоенным гребнем, и оборотней — облезлых обезьянок, которые неожиданно чем-то напоминали Олесю. Гуня мечтала встретить такую обезьянку — марида из маридов — и чтобы полететь на ней к звездам — «и неужто, — думала она, — это правда, эти мерцающие наши звезды на глубоком синем небе такие грозные, раскаленные горы, тесно прижатые друг к другу, а выше — еще не видно, но слышно, как ангелы поют?» — и полететь бы еще в медный город, над которым не восходит солнце! Гуня рисовала и как летит она на мариде, крепко ухватившись за его шершавую, как у обезьянки, с теплым перекатывающимся горлом шею, и самый медный город: в этом городе она с матерью будет жить, туда переедет и Олеся, втроем — она уж поняла, что в их городе, над которым восходит солнце, люди... нет, люди совсем не злые, а успокоенно-равнодушные: сколько раз она слышала, как говорили про ее мать и про нее, что они устроены, что мать получает жалованье, и что «чего-ж им еще нужно?» — и редкое утро, чтобы не видела она согнувшуюся мать над починкой белья, — ведь на них ничего нет целого, все-то заштопано и в заплатах, только что не видно! — и редко, чтобы ночью не просыпалась она вдруг, как уколотая, от тяжких вздохов матери — днем, при свете, многое можно скрыть, а ночью и без слов все наружу и все узнаешь — и эти ночные вздохи стояли у нее в ушах, но чем она могла помочь? — или только своей наперекор всеобщему успокоенному равнодушию беспокойной любовью? своей мечтой о медном городе, над которым не восходит солнце.

Я не знаю среди книг, с какой еще можно сравнить — ничего нет более грустного, чем эти сказки «Тысячи и одной ночи», и этот грустный свет их проник из Алеппо в веках по всему ми-

ру, отсвет его я чувствую и в безумном отчаянии Достоевского, и в сияющей вере Толстого, и в единственной бедности среди волшебного Божьего мира кругом покинутого Гоголя.

Кроме «Тысячи и одной ночи», Гуня рисовала Робинзона, но не приключения среди людоедов, как «диких», так и «недиких», а его брошенность и мечта о свободе, вот что ее трогало, — ведь, это было так близко ей, когда она осталась одна, и ждала мать: Робинзон в воображаемой одежде, хоть и с длинными усами Тараса Бульбы, похож выходил на даму; подпись: «Робинзон на необитаемом острове питается черепашьими яйцами».

Осень — дождик, а выпадают удивительные дни — и тепло, и ясно, и в такие дни не надышешься и не насмотришься, — в эти последние дни, в которых гораздо больше значенья, чем думается, и что открыто только несказываемому чувству — живым лучам древней памяти человека. Накачавшись на качелях или набегавшись на гигантских шагах, Гуня рассказывала Олесе о своей матери.

Гуня получила письмо из клиники: операция прошла, но еще три недели мать должна оставаться в клинике для поправки и тогда вернется домой; она привезет Гуне подарок, она заказала: тоненький золотой браслет с двумя шариками — заказала через сестру милосердия, чтобы к отъезду был готов; и еще купит что-нибудь — из клиники она выйдет утром, а поезд уходит вечером, вот перед поездом — целый день! — что-нибудь сама выберет и купит; а заказала бы она и не такой тоненький и не с двумя, а с пятью шариками, да денег не хватит: ведь еще три недели!

У Олеси много всяких браслетов и серег и брошек — она слушает Гуню и понимает, как любит мать Гуню, ее тоже любит ее мать и отец, но никак не может понять, как это, если болен человек, и ему не хватит на поправку... И Гуня понимает, что Олесе не понять, но Гуня чувствует, что Олеся что-то чует, и, самое главное, сочувствует, — как ждет она мать.

Гуня написала на листке дни и числа, и всякий вечер вычеркивает — так скорее время проходит. А время, вот когда она поняла, как медленно идет время. И все-таки не три недели, а восемь дней осталось. И страшно ей по ночам — не спит, и от нетерпения еще: ждет — всякий день прибирает комнату, готовится к встрече и, хоть продолжает дневник, но есть у нее и еще,

чего никак не напишешь и никакими картинками не нарисуешь, и что она, глядя в глаза, тихонечко скажет — она скажет, как любит, и как всегда любила, но только теперь особенно поняла.

Это так — как другой раз поймешь и не от своей, а от чужой беды, как это я теперь понял, и вдруг вся моя жизнь осветилась, и точно в первый раз я увидел мир: «и в самой тягчайшей беде есть выход для человека — служение миру — всем страждущим в этом холодном синем мире!» И вот уж стала для нее неправдой горчайшая правда: «кто другому помочь может?..»

* * *

Жили-были две подруги, как в сказке, Олеся и Гуня. Одна была очень богатая, другая очень бедная. А судьба их была одна, как их любовь — одна и неразлучна.

Гуня пошла узнать к Олесе: что случилось, и в гимназии не была, и не известила. Но Олесю она не могла увидеть. Встретил ее отец, и сидела Гуня в столовой: к Олесе нельзя — захворала. Гуня заметила, что в доме большая суетня: ждали доктора. И Гуню не задерживали. А, когда она проходила двором, подъехала пролетка, и Гуня догадалась, что это доктор. А через два дня все узнали, что у Олеси скарлатина.

А еще через день, что Олеся умерла.

Гимназию закрыли: боялись — в городе эпидемия.

Гуня была совсем одна — эти три дня, как была она в последний раз у Олеси, ей показались томительнее всех дней и, как тогда, по отъезде матери, поняла она, как любит мать, так теперь поняла, как любила Олесю. Места не находила себе, и ни на чем она не может остановиться; все валилось из рук, и сама она валилась.

Вечером, как всегда, она хотела записать в дневник, но не могла ухватить и высказать мыслей и, вместо букв, у нее выходили крестики, и из этих крестиков, как вырвалось, одно только слово: «поскорее». Она вычеркнула день — остается пять дней: еще пять дней! И легла спать, но не спала она. И не от страха — ей больше ничего не страшно, но не может она остановиться: она все вычеркивала дни, чтобы «поскорее», — и тогда вернется мать! — но сколько ни вычеркивала, оставалось пять дней. Время остановилось. И тогда на нее нашло то, чего с ней никогда не

бывало: страшная злоба поднялась в ней — и углем, горящим углем она стала выжигать дни, но сколько ни жгла, оставалось пять, и эти огненные пять красными и белыми змеями горели здесь — над бровями, и здесь, — но не змеи, горячие руки обняли ее сзади за шею и душили, и, задыхаясь, она вдруг узнала, что эти, горящие змеями, тугие руки — Олеся.

И тот же самый доктор, которого Гуня встретила, возвращаясь в последний раз от Олеси, приехал к ним в школу, но Гуня его не узнала: задыхаясь, она не подымала глаз, — трудно ей было смотреть на свет, и только схватывалась, как в бреду: «поскорее!»

А когда приехала мать, Гуню уже похоронили.

Гуню похоронили накануне — в тот день, как она померла: нельзя было ждать — боялись. И никто из гимназисток не провожал ее. Так и похоронили — похоронил отец Олеси на дорогом кладбище рядом с Олесей, и крест на ее могиле, как у Олеси, и на этих двух одинаковых крестах такие разные карточки...

А мать Гуни привезла ей, кроме тоненького золотого браслета с двумя шариками, еще черные часики — мечта Гуни, и несессер: нитки, иголки, наперсток, ножницы, — только в медном городе, над которым не восходит солнце, там этого ничего не надо. И самой бедной девочке — ведь всегда найдется кто еще беднее тебя! — отдала она в память единственной, самой любимой «больше всего и всех на свете». И тем, что она вспомнила в своем горе о чьей-то чужой беде, она, как воскресла, — это свет чужой беды согрел ее оледенелое от тоски сердце.

Наперекор

Оля дружила со всем классом, а с Зиной Разумовской особенно. Почему-то друг другу понравились. Зина училась хорошо, как и Оля. И обе считались смелыми — на уроках их вызывали при всяких ревизорах: никакие «значительные» лица, ни головоломные вопросы не смутят их. Обе принадлежали к «задумывающимся» — по Достоевскому и к «убежденным» — по Блейку. Такими они на свет зародились.

Оле хотелось сидеть с Зиной на одной скамейке, а рассаживали по росту — и Зина всегда сидела впереди Оли: Зина маленькая, меньше всех, а по глазам — огромные черные — ни

у кого таких, и нельзя от таких отвернуться. Оля всегда с Зиной: на большой перемене обыкновенно дети бегают, ловят друг друга и визжат, а Оля и Зина, обнявшись, скакали по залу. У Зины распущенные волосы, завязанные бантом.

Дружба началась со второго класса, когда Оля жила в пансионе Пенкиной. В пансионе на завтрак ничего не давали, и Оля покупала себе за три копейки ватрушку. Зина из дому приносила бутерброд с ветчиной и яблоко. И стала приносить другое яблоко — для Оли.

У Зины почерк косой, буквы слитны, Оле трудно было разбирать ее записки: Зина писала Оле, когда пропускала уроки. Однажды Зина просила прислать русскую тетрадку с объяснениями: в гимназию она не придет, — «у меня камень и насморк». Оля много раздумывала об этом загадочном «камне», который оказался просто «кашель».

Разумовские самые важные в городе, значительнее всяких губернаторов и попечителей. Дом их, как дворец, и простому смертному никак не попасть. Оля была всего раз. Ее пригласили с другими гимназистками, жившими в пансионе Пенкиной: у Зины Разумовской две сестры — одна в восьмом, другая в шестом.

Пили чай в столовой. Оле запомнилось: высокие стулья и мать Зины — большая и черная. Были и гимназисты. Но Оля и Зина после чаю ни разу не заглянули в залу, где старшие танцевали: Оля и Зина были заняты игрой в гостей — приглашали друг друга, угощали конфетами и всякими сластями, которых им много дали. А когда наигрались, захотелось спать. Но Оле одной без старших, которым ее поручили, никак нельзя было уйти. И они устроились тут же, где играли: поставили стулья и, каждая на своем, одна свернулась ежичком, другая калачиком, и крепко заснули.

И такой это был сон, как Божий рай, тихий и безмятежный, никогда уж так не спала Оля, да и Зина не помнит. Когда Олю разбудила одна из танцевавших гимназисток, она долго не могла понять, где находится, точно провалилась во что-то сыпучее и никак не выбраться — сон не отпускал ее. И едва шла она по улице — непреодолимо клонило, и все сердились на Олю.

И потом Оля вспоминала Зине этот вечер, а Зина потом уж, вспоминая свое детство, писала Оле из ссылки все так же не-

разборчиво, косо и слитно, что «такой дорогой подруги у нее никогда не было».

И еще раз, но не в доме, была Оля у Разумовских. Оля шла с экзамена и по дороге ее окликнула Зина: «Зайди хоть в сад!» — позвала Зина. И Оля зашла в их сад, а сад этот был, как Божий рай. И Зина среди высоких деревьев и густых кустарников и всяких цветов такая маленькая с огромными черными глазами — светящимися, как зверек.

На уроке французского языка вошла классная надзирательница и позвала Зину:

— Идите, за вами пришли из дому.

Зина вышла, и за ней учительница мадам Вьеяр. А вернувшись без Зины, мадам Вьеяр сказала:

— Ее отец умер.

Тетка Марья Петровна, любительница раздирательных сцен и всяких скандалов, рассказывала по городу, и про это слышала Оля, что на похоронах мать Зины, большая и черная, показывая на какую-то серенькую женщину, стоявшую тут же за гробом, громко сказала: «Дети, смотрите, вот виновница смерти вашего отца!» Оля ничего не поняла, только было ей очень страшно.

После смерти отца Разумовские переехали в деревню. Зина захворала, говорили, что у нее «анемия мозга», и год она пропустила в гимназии. А когда снова вернулась, дружба с Олей пошла по-старому.

Обе читали книги и передавали друг другу. Зина дала Оле «Ниву» за несколько лет с романами Салиаса и Соловьева, а Оля, прежде всего, свою любимую в шоколадном переплете золотыми буквами — «Русским детям Достоевский», прочитанную еще во втором классе в пансионе Пенкиной.

Ни Неточка и Катя, ни Нелли, а рассказ из «Подростка», названный в «Барском пансионе», вызвал тогда бурные, изливавшиеся со дна сердца, горячие слезы: в рассказе ничего не было, что хотя бы отдаленно напоминало судьбу Оли, кроме пансиона, но, переговаривая слова Достоевского о униженной матери, Оля представляла свою мать, и это были первые слезы.

Год в шестом классе Оля прожила в странной семье Берсеневых, где после смерти матери отец не говорил с детьми, и где все было странно до жутких зеркал и жутко потрескивающего

по ночам паркета. А Зина у французской учительницы мадам Вьеяр.

И Оля и Зина «обожали» учителя словесности Павла Николаевича Соловьева. Оля получила от Зины записку, как всегда, косо и слитно, но все разобрала:

«У мадам Вьеяр будет Соловьев, приходи!»

Пропустить такой случай — такая редкость: поздороваться с Соловьевым за руку, сидеть с ним за одним столом! — Оля едва дождалась вечера и в своем легком сером платье, а в таком неформенном гимназисткам не позволялось ходить по улицам, помчалась к Зине.

И обе с нетерпением ждали, когда мадам Вьеяр позовет их чай пить. А какими счастливыми вошли они в столовую, где уж сидел учитель Соловьев. К чаю, конечно, они не притронулись и ничего не ели.

— Что вы читаете? — спросил Соловьев Олю.

— «Преступление и наказание».

— Вам рано, — сказал Соловьев, — не можете всего понять.

Оля вспыхнула: она — не все понять?!

И Оля была права: большие произведения тем и большие, что есть в них много окон и много дверей, и в какое окно ни заглянешь и в какую дверь ни войдешь, останется, что видел все; это все — в меру каждого глаза, для четырнадцатилетней Оли свое, для учителя словесности свое, но чувство одно: видел и все понял.

Не пауки Свидригайлова, глазатые и тысяченогие, ткущие жизнь и распределяющие долю живому без пощады и милосердия по своим каким-то соображениям; не баня с пауками — этот образ то-светной вечности и того неожиданного и поразительного, что откроется человеку, освобожденному от чувств в его смертную минуту; не разожженный уголек в крови Свидригайлова — этот гвоздь всяких романических трагедий, такое совсем чуждое существу Оли, и надо всеми словами сказать, что не только этот один единственный разожженный уголек светит и цветит жизнь человека, а есть и еще что-то какое-то другое «начало» жизни, с чем зарождаются люди и проходят свою жизнь и в цвете и в свете! — — — не сыскные фокусы Порфирия Петровича — охота человека на человека — эта душа авантюрных произведений, а бедовая, ничем неоправдываемая судьба

погибающих от «непосильной работы» — слова старой няньки, сказанные Бог весть когда, и оставшиеся у Оли живыми на всю жизнь; бедные люди, унижаемые праздными и сытыми. И не убийство старухи процентщицы — вши, не Раскольников, прячущий свою преступную тайну под камень на Вознесенском проспекте, а Раскольников терзающийся, его кругом одиночество; и не ницчшенианские рассуждения Раскольникова о «сверхчеловеке», которому все позволено, а слова Раскольникова перед решением повиниться: перед кем повиниться? — Оля с детства видела и оценила эти суды праздных и самодовольно-легких людей, ищущих денег, славы и покоя ценою лжи, клеветы и помыкательства, суды того круга, в котором она жила и где ей назначалось жить! И наконец прожигающее слово Достоевского «сметь» — посметь взять все это за хвост и стряхнуть к чорту! А ведь это самая сердцевина ее «настойчивой и пламенно-настроенной воли» и самый глубокий и властный голос ее «врожденной любви к правде».

Нет, Оля все поняла — она увидела больше, чем видят четырнадцатилетние глаза. И учитель был не прав. Но Оля не возразила — но ей было обидно.

— Я вас обеих завтра буду спрашивать, — сказал Соловьев.

И Оля и Зина приняли за шутку — как это можно после того, как сидели за одним столом и «разговаривали»? Но учитель оказался выше житейских предрассудков и на следующий день в порядке «педагогической дисциплины» вызвал сначала Олю, потом Зину.

В седьмом классе после каникул Зина сказала Оле:

— У меня есть жених, он был летом репетитором моего брата, необыкновенно умный, он «деятель» (т. е., занимается «революцией»). Прочти «Обыкновенную историю» Гончарова, там сцена в саду с Наденькой, и у нас тоже было.

Оля прочитала «Обыкновенную историю» и поразилась: в этой сцене Адуев и Наденька целуются. Странно было подумать, что это — Зина! Для Оли казались также невозможными и недопустимыми эти поцелуи, как невозможной и недопустимой представлялась ей в детстве война, которую она и перенесла в допотопное время — при Адаме и Еве.

И это так понятно: Оля по существу своему была «непохожая» и то, что казалось Зине «обыкновенным», для Оли было

«неестественным» и «отвратительным», подлинно уходящим корнями к Адаму и Еве в мрак животных зачатий — — всеми словами повторяю, корни жизни человека в этом заложенном в кровь угольке от Адама и Евы, но зарождаются люди, жизнь которых и цветет и светит, от какого-то другого начала.

Оля была поражена признанием Зины — так ей это ВСЕ было чуждо.

— Как же это бывает? — спросила она Зину.

— Да так — как вот с тобой! — ответила Зина и крепко поцеловала Олю.

Зина не кончила гимназии и наперекор матери, наперекор всем родственникам, вышла замуж за Алпатова, репетитора ее брата, только что окончившего студента, и через год поехала за мужем в ссылку в Сибирь.

А Оля кончила гимназию, наперекор всем уехала в Петербург, окончила Высшие курсы, и, когда после своего тюремного года перед ссылкой приехала на старые места, Зина с мужем вернулась из Сибири. Сколько прошло, а как ничего не было: Зина была та же, те же огромные черные светящиеся глаза.

Алпатовы жили очень бедно: и так было трудно, да еще дети — у Зины было трое.

Зина никогда не думала, что у нее будут дети — ее старшая сестра очень хотела иметь детей, но доктор сказал, что не может быть. Зина думала так и о себе.

— Первого я родила, — сказала она Оле, — с изумлением...

Зина советовала Оле выйти замуж за студента Черкасова. По словам Зины, большей любви она не видала, что он любит «без меры до невозможности», и, когда при нем говорят о Оле, тень проходит по его глазам.

Оля и сама видела, но ее это только мучило. Оля не выдумывала, не представлялась, не лицемерила: она не знала и не находила в своем сердце этих желаний — она не «мечтала», не готовилась к замужеству, а тем более быть матерью, как Зина, которая, хоть и с «изумлением», по существу своему была матерью. Душа Оли была взрощена совсем из другого, а все существо ее было не Зинино.

Что же повлекло их друг к другу с самого детства — чем и почему они понравились друг другу? И Оля сказала себе: «сме-

лость», «наперекор» — да, это было в духе Оли и в духе Зины — и еще: «революция».

Как о двух началах света и цвета жизни — о «разожженном угольке» у одной и о белом — самом жарком и самом пронзительном, свете, окрашивающем помыслы другой, надо всеми словами сказать, что то чувство, которое побуждало «заниматься революцией», исходило из самого высшего источника духа и, если говорить по Евангелию, надо сказать, что «занимавшиеся революцией» и были те «ищущие правды», и горе тем, кто с юности со старым, но не мудрым сердцем, смирившийся, не знал этого пламенного чувства.

Без предмета
(Стихи)

Стихи самое, что есть живое не только в литературе, а и в жизни — сказки Шехеразады расшиты стихами. Пока мир будет стоять, будут выходить стихи. А уж дальше пойдет то самое замерзание — дышать нечем! — о котором говорится в естественной истории, и, наконец, взвихренная земля сотрется в космический порошок.

Критика — гонители стихов и с ними актеры, «декламирующие» стихи, как прозу, нарушая глубокомысленными паузами ритм, и не защелкивая рифму, подлинно закоренелые изверги — «враги рода человеческого», отворачивающиеся от самого живого в живом. Уж одно необычное расположение строчек в стихах, постойте! — и читать не обязательно: при одном взгляде зазвучит. А этот стихотворный ритм и есть сам звук жизни.

А ведь жизнь — ее природа, ее глубочайшая скрытая завязь — «это всесильное глухое, темное и немое существо странной и невозможной формы» — этот огромный и отвратительный тарантул Достоевского, этот приземистый, дюжий, косолапый человек в черной земле с железным лицом и с железным пальцем — Гоголевский Вий — — для живого нормального трезвого глаза, не напуганного и не замученного, никогда не «тарантул», никогда — «пузырь с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал, на которых черная земля висела клоками», никогда никакой Вий с железным пальцем, нет, никогда не это, а все что можно себе представить чарующего из чар, вот оно то и есть, душа жизни.

И есть такие люди, одаренные воздушными песенными чарами — так не пройдешь, не заметив. Мало того, даже не чувствуя в себе никакой словесной склонности, при взгляде на них начинаешь сочинять стихи. И такие люди вовсе не какие-нибудь «роковые» и «демонические» вроде Гоголевской «сверкающей» панночки, и совсем не под стать подмосковной пололке с «инфернальным изгибом» — Грушеньке или Катерине-«хозяйке», и ничего в них мучительного, как в Полине и в Катерине Ивановне, и ничего мучащего от Лизы Хохлаковой, — ничего от Достоевского.

Валя Шалаурова старше Оли классом, подруга Оли, — Оля больше дружила со старшими. Если про Марину Заветновскую или Зину и про Олю говорят: «два экземпляра», что и было очень близко к правде, трудно себе представить большей противоположности по существу и в духе, чем Оля и Валя.

«У меня все вдруг», — могла бы повторить Валя за Хлестаковым, и это было в самой ее стихии: легкость и бесследно.

Валя никаких загадок не загадывала, и никто никогда из-за нее не вешался, не травился и не стрелялся. Единственный случай: гимназист Бурнашов, бравший у нее Лермонтова, подчеркнул красным все любовные строчки и на полях против стиха: «в любви и злобе я неизменен, я велик» — красным написал: «кровь»; и все поверили. Но скоро обнаружилось, что на пальце размазывается розовым — ясное дело, красные чернила.

Валя была необыкновенно музыкальна — абсолютный слух: она управляла гимназическим хором, пела и училась на рояли. И смеялась она неподражаемо — она как-то «пырскала» так заразительно смешно, что невольно и сам засмеешься, хотя бы и не до смеху. А какие она рожи строила во время молитвы! Сама спиной к начальству, ее не видно, а хор весь на глазах, удержаться невозможно, и за это влетало, а ей никогда; да и не догадаешься — после всех своих рож и гримас она особенно истово крестилась.

Это ее озорство и еще чудачества — не менее увлекательнее ее смеха; вернувшись осенью после летних каникул в гимназию, она перемутила весь класс — она всем и каждой, под страшным секретом пообещала открыть после уроков какую-то важную тайну про себя, и сколько доверчивых и любопытных клялись ей, что не выдадут, все ожидали чего-то особенного, а что ж ока-

залось? — «привезла целый мешок орехов!» Неловкая — ну, кто это упадет в лужу, ведь о таком только так говорится в иносказательном смысле, а вот она умудрилась: она проходила мимо дома, где жил гимназист Дарьяльский, ей захотелось показать, как она грациозна, она «вспорхнула» перед его окном, да не рассчитала и шлепнулась прямо в лужу. А ноги у нее крепкие, и уж никак не скажешь, как о Полине, «следок ноги узенький и длинный — мучительный», и руки тоже крепкие — всех поставит на колени а ее никто, и голос крепкий — мальчишеский, без всякой вибринки.

Ей очень шло голубое; голубого платья у нее не было, она всегда в коричневом гимназическом, но платок или шарф — и она казалась еще розовее. И не было гимназиста, который бы в нее не влюбился. И кто ей только не писал стихов! И это ее голубое звучало на ней стихами.

В Валю все влюблялись и потом бесследно забывали, и даже остававшиеся стихи ничего не говорили памяти — как пролетело, или вернее, из головы вылетело. И Валя во всех влюблялась и потом тоже никого не помнила. И ничего мучительного в этой любви, как от нее, так и у ней. Такие бывают мотивы, идешь по улице, прислушаешься — музыка! — и вдруг захватит и, кажется, только этот мотив один и заполняет душу, а вернешься домой и все позабыл.

Брат Вали Петя погиб «случайно», — вот уж судьба! Гимназисты играли с револьвером, думали, незаряженный. Петя наставил себе в рот и вдруг револьвер выстрелил. Страшно было, когда Петю привезли домой — — мать упала на него без чувств. Была осень, убрали Петю астрами и барвинком, товарищи несли гроб, а за гробом ехала мать и с ней Валя и старшая сестра Таня. Мать не могла идти, оттого и ехали. И народ шел — весь город: в маленьких городах все друг друга знают. Мать с тех пор стала седеть, — мать никогда не утешилась, сестра Таня долго помнила, а Валя скоро развеселилась — сердце у нее легкое.

В гимназии Валя получала награды, и Лермонтов с искусственной «кровью» тоже награда. На улице ее называли «хорошенькой», в гимназии «чудачкой», а сама она о себе ничего не думала: она была всегда влюблена.

Когда Валя начинала дружить с какой-нибудь гимназисткой, она, прежде всего, спрашивала: «в кого ты влюблена?».

И это она говорила по себе, она не могла себе представить ни одного дня, чтобы не быть влюбленной или, как говорилось среди гимназистов и гимназисток, без «предмета». И «предметов» у нее бывало никогда не один, а по нескольку, и ни одного особенного, как и сама она — для всех и ни для кого вся.

* * *

В первый раз Валя влюбилась, когда ей было четыре года. Она влюбилась в большого гимназиста Юру. «Влюбиться» — она слышала от матери и сестры Тани, и поняла, что влюбилась.

Быть влюбленной значит думать про человека, что он лучше всех — лучше всех Вале казался Юра, потому что он был веселый и шумливый и, само собой, красавец. «Предмет» всегда красивый, и никакой другой «беспредметной» красоты нет. Про свою любовь Валя всем говорила, и над нею потешались, но этого Валя не понимала.

Мать Юры, заходя к Шалауровым, всякий раз приносила Вале яблоко или шоколаду и всегда, шутя, говорила: «это тебе Юра прислал». И Валя верила, как верят дети в «таинственного зайчика», который только и занят, чтобы промышлять детям гостинцы. Юра был лучше всех еще и потому — ведь кто еще так о ней заботится: это яблоко и шоколад! Но как бы обиделся Юра, если бы узнал, что в него влюблена такая козявка: сам он был влюблен в учительницу французского языка мадам Вьейяр, старше его лет на двадцать, да он и гимназистку-восьмиклассницу Веру Сахарову считал девчонкой, а такую, как Валя — это очень обидно.

Два года длилась любовь к Юре. Самая долгая — первая, но и самая она легкая, бесследная, исключение у Тургенева в его «Первой любви». А сущность всякой любви: овладеть и... «сожрать», все равно, так или в «высоком» смысле, кому как нравится, но это так. И Валя, влюбленная в Юру, совсем не заботясь, само собой, достигла цели: Юра был ее раб — яблоко и шоколад получала от него Валя, как репарации.

Но и яблоко, и шоколад приедаются, и Юра примелькался со своею веселостью и шумливостью. И в один прекрасный день лучше всех и, конечно, самым красивым стал для Вали брат Юры, Ваня. И она объявила, что она теперь поняла, что влюбилась в Ваню. Много над ней потешались, но она не понимала.

Ваня играл на рояли. И когда у Шалауровых собирались гости, Юра танцевал, а Ваня никогда: он усаживался за рояль и играл до тех пор, пока Валя могла смотреть на него, т. е. до тех пор, пока ее не уводили спать.

Любовь к Ване была короче: за зиму Валя взяла от Вани всю его музыку — все мотивы и все приемы, и ей стало скучно. И в первый же свой гимназический день Валя влюбилась в учительницу географии Зинаиду Кирилловну: Валю поразил цвет глаз и светлые волосы учительницы. И она, не отрываясь, глядела на нее, по своему какими-то своими словами вышептывала за Достоевским: «такая красота — сила, с такой красотой можно мир перевернуть!»

У Достоевского всегда все «предметы» необыкновенно «красивые», даже «демонически красивые» или, вернее, «чарующие» — да иначе и невозможно, ведь только «очарование», сделавшее по Гоголю наш мир адом, только очарование может не только перевернуть этот мир, т. е. нарушить всю математику, а и спасти от «страха и боли» и даже от неизбывной «злой памяти».

Наглядевшись на «красавицу» учительницу, Валя влюбилась в учителя словесности, все чары которого заключались в одном лишь обычае: так повелось, что все гимназистки влюблялись в Павла Николаевича Соловьева. И его «красота» или красота «традиции», т. е. сила очарования этой традиции затмила чары «красавицы» учительницы.

Учительница Зинаида Кирилловна очень любила детей и со всеми была внимательна, притом отличая каждого, а это очень важно; Павел Николаевич был со всеми вежлив и никого не отличал, а это уж плохо.

Но и нельзя было винить Соловьева. В чем мог он отличать Катю от Сони, Соню от Веры?

Катя читала «с **Мошей** тащится букашка»; Соня не без гордости представляя самозванца из «Бориса Годунова», неисправимо заносилась: «царевич я, довольно стыдно мне пред гордою полячкой унижаться»; Вера, говоря «тиха украинская ночь», читала вместо «луна спокойно с высоты» — «луна с **покойной** высоты», Вера — дочь батюшки, этим все объясняется. «Моша», «довольно стыдно», «покойная высота» — вот и все отличие: Катя, Соня, Вера. Следует еще упомянуть Люсю: тише

ее не было во всей гимназии и говорила она робко с передышкой и всегда в «зреешь ты на солнце, колос наливая», выговаривала вместо «зреешь» такое... начальница, дама благовоспитанная пришла в ужас и уверяла, что такое грубое слово в первый раз слышит, и не понимает, как могло оно на язык попасть примерной тихой Люсе, а сама Люся ничего не видела несообразного — мало ли чего не бывает на солнце, и что в ее хрестоматии так и напечатано. Соловьев вежливо поправлял и «мошу» и «довольно стыдно» и «покойную высоту» и Люсино «зреешь».

Павел Николаевич Соловьев был самым лучшим, самым «красивым», но ведь только глядеть на него' этого мало, надо чтобы и он посмотрел. Как же овладеть такой бесчувственной стеной?

У Соловьева родилась дочь. Мать Юры, по-прежнему баловавшая Валю яблоками и шоколадом, и всегда с неизменным «Юра-прислал», так что и прозвище ей в доме было «Юра-прислал», рассказывала за чаем как была она у Соловьевых и какое у них семейное счастье.

— Сам целует у жены руки, мать целует дочь и тут же на подушке пищит новорожденная.

— А как назовут девочку? — спросила Валя: она вдруг вся преобразилась, точно от этого имени зависела ее судьба.

— Не знаю, — сказала «Юра-прислал».

— Анна Ивановна, попросите, пожалуйста, чтобы назвали Валентиной. Только ничего про меня, просто передайте, что одна гимназистка просит.

Но стена оказалась непрошибаема. Во всей гимназии была только одна Валентина. Соловьеву нечего было и догадываться. И он сказал «Юра-прислал»:

— Передайте Шалауровой, что имя Валентина претенциозно и нарочито.

И скоро стало известно, что у Соловьевых дочь окрестили Еленой.

Все было кончено. И что было еще делать, какие еще чары?.. Но тут произошло одно потрясающее событие, и учитель Соловьев позабыт был до «невоздержанности», т. е. до отрицания всяких достоинств вчера еще первого, лучшего и единственного: на гастроли приехал Шаляпин. И одно это имя — «Шаляпин!» — поразило Валю до сердца. Мне кажется, если бы Ша-

ляпин перестал петь, ему достаточно было бы только выйти на публику — и эффект получился бы тот же, что и с пением: такой величайший заряд его песенных чар.

Традиционный гимназический бал и на этот раз исключительный: на бал приехал Шаляпин. Валя — первая музыкантша, «абсолютный слух» и она по праву из всех гимназисток, хотя и пятиклассница, пригласила Шаляпина на третью кадриль.

Кто из писателей — славы русской литературы — и Толстой и Писемский — не описывал этой третьей кадрили, ее фигур — «полных значенья», где весь Чайковский со всей своей томностью очарованья и щемящей болью неоправдавшейся надежды!

Валя была в восторге. С первых же слов она объявила Шаляпину, что она в восьмом классе — да она и смотрела совсем не пятиклассницей, нет, больше — она никогда так не смотрела. И что такое «претенциозный» Павел Николаевич со своей «нарочитой» Еленой; сам Шаляпин танцевал с ней и, говоря, «стрелял» ей в глаза.

«И времени больше не стало». А между тем пробило двенадцать. А по гимназическому правилу после двенадцати имели право оставаться только шестиклассницы, семиклассницы и восьмиклассницы. Среди фигуры подошла классная надзирательница Марья Терентьевна, никогда не расстававшаяся с часами, и объявила Вале, что двенадцать, и ей пора домой. Но главное было то, что, извиняясь перед Шаляпиным, упомянула об этом правиле, что пятиклассницы, как Валя, дольше не могут оставаться. И Валя должна была, не окончив фигуры, и не простившись, уйти.

Какое это было страшное горе — позор! И на другой день Валя не могла успокоиться, плакала. Это были первые ее слезы и единственные. И эти слезы раскрыли ее сердце. И с тех пор ее раскрытое сердце только и дышало влюбленностью; и оттого, что было неутолимо, оно колдовало — и не было гимназиста, который бы не влюбился в Валю.

Шаляпин уехал в Москву, встретиться с ним не было никакой надежды, но у Вали была его карточка — «Мефистофель». Валя глядела на нее во время уроков и всем показывала на переменах — пока не вышло от начальницы запрещения. И это страшно возмутило Валю.

— Почему Пушкина карточку можно иметь, а Шаляпина нет?

На это ответа не последовало, но и держать на парте Мефистофеля все-таки не позволили.

А и в самом деле, почему нельзя, — ведь Шаляпин был для Вали, как разве для какого-нибудь омшелого пушкиниста Пушкин или для песочного дантетиста Данте?

С Шаляпина начинается неистовство влюбления и влюбленных. И в таком головокружении проходит шестой, седьмой и восьмой класс. И только природной беспамятностью и колдующей неутоленностью сердца можно объяснить, что и через три года Вале было все то же — «все вдруг», и сама она все та же чудачка с заразительным пырскающим смехом.

В доме бывало много молодежи, теперь после смерти Пети ходили подруги Вали, но с Валей никто особенно не дружил, а всегда и совсем незаметно сближались со старшей сестрой Таней, непохожей на Валю. Даже и для ни какой-нибудь особенной дружбы Валя была слишком легка, и это всеми чувствовалось с полслова. Но сама Валя не нуждалась ни в каких дружбах: она была всегда влюблена и в нее были всегда влюблены. И о ее влюбленности и влюбленных все говорили, и эти постоянные разговоры еще увеличивали и раздували пыщащий круг ее неутоленного сердца. Да, это была какая-то бесконечная живая мелодия — музыка, которую не можешь не слушать, а прослушал, повторить и не вздумается, забыл.

А влюблялась Валя всегда чем-нибудь пораженная: надо было непременно что-то такое, чтобы затронуло ее. То же бывало и с разочарованием: у гимназиста Кутузова весной появились веснушки, и Валю от него, как отрезало, имени его не могла слышать, а ведь, зиму как была влюблена!

Валя шла в солнечный день по набережной. Гимназисты, поснимав с себя куртки, прилаживали лодку, и один красненький гимназист, что-то делая с веслом, пел по-цыгански:

Лови, лови часы любви,
Пока огонь кипит в крови...

И это пение и слова были так неожиданны, Валя сразу влюбилась. И не могла понять, как она раньше не замечала красненького гимназиста. А красненький гимназист только и ждал

своей очереди влюбиться в Валю и невпопад повторял: «лови, лови».

Гимназист Лелевич с лошадиным лицом — ведь карикатурно и Блок с лошадиным — танцевал с Валей. И ничего особенного, никакого впечатления. В перерыве он вел ее под руку по коридору; на ее замечание, что у них очень много уроков задают, он, нагнув к ней свое лошадиное лицо, сказал деловито:

— Какие там у вас уроки, я думаю так: первое — рукоделие, второе — рисование, третье — вдыхание чистого воздуха, четвертый — пустой, вот у нас...!

— Что же у вас? — и «что может быть больше, чем у нас?» — подумала Валя и вдруг увидала всю неожиданную лошадиность своего спутника, который с этой минуты стал для нее первым и лучшим.

Валя влюбилась в гимназиста Мстиславского исключительно и только из-за его необычного имени: Мстиславского звали Нарцис Иваныч. Нарцис — первый танцор, дирижировал на гимназических вечерах, и все понемногу были в него влюблены, но Валю танцы не занимали, она танцевала только потому, что во время танцев можно было глядеть в глаза и говорить с очередным из бесчисленных своих «предметов», и Нарцис своим искусством ее не мог тронуть. Но достаточно было Вале узнать его цветочное имя, и он стал для нее первым и лучшим.

Какую власть имеют имена! Сколько есть пустых слов, но с магической традицией: говорят же — «бессовестно», когда в сущности никакой «совести» в человеке и не найдешь; говорят и повторяют — «преступно», когда воистину, возьмите на проверку, «все позволено?». А между тем, если подсчитать действие таких слов в человеческой жизни, я не знаю, с чем еще можно сравнить?

И даже для Вали «Нарцис» оказался самым глубоким, и влюбленность ее самой длительной — а все из-за имени! А сам-то Нарцис был под стать Вале.

Валя влюблялась сразу в нескольких, то же и Нарцис: влюбившись в Валю, он в то же время влюбился в Соню и еще в Веру. И Соня и Вера скоро отшибли у него Валю: он танцевал с Соней и Верой и никогда с Валей, и не встречался с Валей в городском саду на прогулках. Но Валя не могла его разлю-

бить — Нарцис! И он оставался среди других первым — Нарцис! И эта беспримерная верность тронула Нарциса.

К Вале подошла сестра Нарциса Янина. С Яниной Валя не дружила: Янина была совсем еще девочка — «приготовишка».

— Мой брат просил вам сказать, — стесняясь, сказала Янина, — «скажите ей, что пламенной душой к ее душе стремлюся я».

— Передай твоему брату, — ответила Валя, — «все осмеяно, поругано, забыто, погребено и не воскреснет вновь».

На следующий день Янина опять подкараулила Валю и шепнула ей:

— Брат просит вам сказать: «да, все осмеяно, поругано, забыто, погребено, но... душе блеснул знакомый взор, и зримо ей в минуту стало незримое с давнишних пор».

— Подожди, — сказала Валя, — я тебе сыграю на рояли, ты и передай.

Янина девочка умненькая, слушала внимательно и сейчас же побежала к брату. Нарцис играл на рояли. Янина пробовала ему напеть мотив, но догадаться было очень трудно, а и легко ли передать 15-й Прелюд Шопена! Нарцис наитием сыграл все прелюды, но Янина от волнения 15-го не узнала. Повторилась история Чеховского рассказа, но развязка другая: Нарцис так и не добился ответа.

А Вале было уж не до Нарциса: Валя влюбилась в иподьякона Мишу. Она не пропускала ни одной архиерейской службы, и ей приходилось вставать рано — дорога до монастыря далека. Но она не чувствовала усталости: на яву и во сне она видела золотой стихарь Миши, глядела и не могла наглядеться в его звездные глаза.

По восторженности ее взгляда Миша должен был ее заметить, да он уж заметил; но глаза их еще не встретились... Да этого и не могло случиться: как раз в то время Коля Бурлистров выпустил книгу стихов — все стихи посвящены Вале —

Так говоря и очень горько плача,
Она исчезла в треске камыша,
Меж тем вдали чернели лес и дача
И ночь была довольно хороша.

Валя в стихах не очень разбиралась, но звучность ценила. И «треск камыша» покорил ее — Коля Бурлистров стал и первый и лучший.

На золотом стихаре Миши и на трескучих стихах Коли Бурлистрова кончила Валя гимназию. И никогда она не была такой «чудачкой» и такой «хорошенькой», как в этот последний гимназический месяц. Да и было отчего: весна, Пасхальные службы, выпускные экзамены, стихи — —

Шалауровы жили на конце города. Отец Вали помер до Юрина яблока. Валя отца не помнит. Мать служила в Управе; старшая сестра Таня давала уроки. У одной из теток была усадьба, к ней-то в деревню на лето и ездили сестры — вот откуда таинственный «мешок орехов». Жизнь Шалауровых была без всякой надежды на какой-нибудь достаток. Управа и уроки — только-б свести концы с концами. Разве что Валя поступит в консерваторию, сделается знаменитостью... Мать думала проще — устроиться бы Вале, всем она нравится, может, и найдется, не бедный! Но старшая сестра Таня верила в Валю — в ее музыку.

У Вали три парадные платья: белое с голубыми цветочками — мягкое шерстяное, в нем она нежная, как Янина, вся светящаяся звучащей волной, и самого бесчувственного, вроде учителя Павла Николаевича Соловьева, способная захватить и заставить сочинять стихи; другое — черное газовое, в нем она и выше и строже, в нем она та, какой представляется Тане, когда Таня мечтает о ее славе; третье — коричневое, переделанное из старого платья матери, в нем она всегдашняя, «чудачка» с крепкими ногами и крепкими руками, и всегда влюбленная.

На первом вечере уж не гимназисткой Валя была в белом с голубыми цветочками. Купфер, чиновник при губернаторе — молодой человек без всякого Бурлистровского «треска», но тоже писавший стихи — с первого взгляда влюбился в Валю. И на другой день после бала Валя получила аккуратно выписанные, для экономии на служеебном и, как полагается, перечеркнутом бланке, поэтические строчки, от которых у Вали прошло по сердцу знакомое и приятное —

Виновна-ль роза, что красива,
И взоры всех к себе влечет,
Или мимоза, что стыдлива,
И лепестки свои свернет.
Я вам обязан вдохновеньем
Примите-ж мой привет,

Его приносит с восхищеньем
Плененный розою поэт.

Купфер стал бывать у Шалауровых каждый вечер. Валя его невеста. Купфер ждет только прибавки жалованья, и тогда свадьба.

Мать была очень довольна. С консерваторией еще неизвестно, а тут — «факт на лицо»: молодой человек с положением, чиновник при губернаторе! Таня негодовала: с консерваторией кончено и впереди никакой славы и никуда «абсолютный слух» и мечтать не о чем.

— Не подходят они друг к другу, — говорила Таня в настоящем горе, — Купфер карьерист, а Валя... да вы поглядите на нее, ну что общего?

А Валя ничего не рассуждала: Валя была влюблена в Купфера, и для нее Купфер был, хоть и не единственный, но первый и лучший... до Рождественских каникул, когда съехались студенты. И вот на глазах у Купфера первым и лучшим как-то внезапно сделался студент Ушаков — «хорошенький».

* * *

В первый свой приезд из Петербурга курсисткой Оля встретила Валю. Валя как раз приехала с ребенком погостить к матери. Жила Валя в другом городе, где ее муж занимал большое место начальника. И жила она куда лучше, чем ее мать и сестра Таня. Бедность никак не скроешь, но и достаток из щелочек голос подаст. И как она была одета, все показывало, что живет хорошо.

Но как она изменилась! И не платье ее так изменило — все движения не ее были: она сидела по-другому, ходила по-другому, смотрела не по-своему — и ничего не осталось от чудачества, все, как — ну, как у всех, как следует. Или этот год ее так вышколил — под служебный, аккуратно перечеркнутый бланк мужа?

Валя жаловалась матери на свекровь — должно быть, эта свекровь и занималась ее воспитанием.

— Муж по-прежнему ревнует? — спросила мать.

Она вспомнила ту историю на Рождестве, когда еще женихом, ожидая прибавки жалованья, Купфер приревновал Валю к студенту и объяснялся с ней, а Валя уверяла ее тогда, что рев-

ность вздорная, неосновательная, потому что на Фунтикова, такой был жалкий невзрачный студент, никто не обращает внимания.

— Но это был совсем не Фунтиков, — сказала Валя, — я тебе тогда соврала. Да и он мне тогда врал: говорил, что идет к губернатору, а я стала его дневники читать, и оказалось, что весь вечер провел у Сахновских, знаешь: Нюта и Лида.

Так и заговорили о старине.

Валя взглянула на Олю, лукаво подозвала ее в сторонку.

— Знаешь, — сказала она, и знакомая искорка мелькнула в ее глазах, — приехал из Москвы студент Кулаков и прислал мне стихи. Я их привезла сохранить у мамы, чтобы Александра Федоровна не докопалась. Хочешь прочитать?

И подала Оле листок:

Вот в тебе ничего нет поддельного
И порывы прекрасной души —
Простота, доброта беспредельная,
Как они у тебя хороши.
Даже слово Создателя мира
Забываешь, смотря на тебя,
И, создавши земного кумира,
Поклоняешься, тайно любя.

— А твой муж пишет теперь стихи? — спросила Оля.

— Куда там, — сказала Валя, — он слишком важный для этого.

— А ты играешь на рояли?

— Куда мне: мне некогда.

И Валя перешла к столу. Продолжался разговор о свекрови и о муже: Валя рассказывала, как однажды они возвращались домой из гостей и с ними знакомая дама, муж из вежливости предложил руку знакомой даме.

— Они идут впереди, а я сзади, как дура; скольжу по льду, ноги во все стороны, досада берет и злость.

Нет, это было совсем другое лицо, не прежняя Валя, единственная, смешливая и рассмеивающая чудачка, и слова другие — и куда все пропало? И Оля поняла, что эти стихи Кулакова — последние, и уж началось то, что говорится в естественной истории, — больше дышать нечем, конец.

На память

Володя — «мамин любимец». И он любит мать больше, чем Варя. Варя тоже любит, но она может целый день проводить без матери за уроками или в саду с подругами, а Володя — никогда. Володя ни на шаг не отходит от матери.

Елена Степановна сидит в кресле: принимает гостей, — а Володя возле ее кресла, прислонившись. На диване сидит какой-нибудь важный гость: или Гореславский, бывший земский начальник, большая пегая борода и на волосатом пальце черный перстень, или предводитель Витколов с женой — оба длинные и худые, как «ободранные туши». Елена Степановна, когда разговаривает с гостями, не обходится без французских слов — Володя ничего не понимает, но ему очень нравится. Потому ли, что звучат необычно, или потому, что в непонятном есть что-то завлекательное, как во всякой непостигаемой тайне.

Гостей надо непременно принимать в гостиной, — чтобы они посидели на диване, а затем можно пригласить в столовую чай пить или ужинать — такой ритуал. Как-то Анна Васильевна Непряхина, соседка Черкасовых, необыкновенно напоминающая жареную сардинку, свой человек, приехала во время чаю и ее пригласили прямо к столу, а случившаяся в этот же вечер «ободранная туша», после сказала Елене Степановне, что «сардинка» очень обиделась: «не в гостиной приняли!».

И Володя понял, что «сардинка» права, что это действительно очень обидно миновать гостиную: в гостиной постлан такой пушистый ковер и скатерть на столе бархатная с кистями — когда Володе было три года, мать возила его в лавку, и сам он выбрал эту скатерть! — и еще в гостиной зеркало от потолка до полу, и перед окнами и по углам в тяжелых кадках и лето и зиму зеленые деревья, а на Рождество и Пасху еще и цветы, и если в столовой летом пахнет сеном, а зимой поджаристым вкусным, в гостиной и лето и зиму цветами.

Когда нет гостей, Елена Степановна «тупает» — наводит порядок: роется в шкапу, в комодах, в кладовой вместе с экономкой Нелидой Максимовной. А подали из прачешной белье, белье разбирает. Володя любит смотреть: ему нравится такое — с кружевами и прошвами, и особенно белье сестры все в кружевах и дырочки — в эти дырочки Елена Степановна продевает

разноцветные ленточки. Володя всегда жалеет, что он не девочка — были бы у него такие красивые панталоны с дырочками.

Володя всегда с матерью. И на ночь его кроватку Елена Степановна придвигает к своей: а то Володе страшно. И все в доме, начиная с экономки Нелиды Максимовны и дядюшки Федора Фалалеича до сестры Вари и ее подруг, называют Володю «прилипа» — от матери не отстает, как прилип. Володя на «прилипу» обижался, но, что было обидного в прозвище, он не мог сказать, как не мог объяснить своего ночного страха. Или тут не в названии было, все равно, как «туша» и «сардинка», а в насмешке — как произносилось это безобидное слово, как и страх ночи, всегда теплой, тихой, убаюкивающей бесчисленными котами, но и всегда разлучной.

Только деревья в гостиной никогда не изменяются, всегда зеленые — или не замечает Володя, что и деревья растут, а садовник Григорий подрезает у корней треснувшие посмурелые листья и выбрасывает? — не замечает Володя, что он вырос и ему пора учиться. И это как-то само собой к Володе ходит учитель — «Тихий океан». И Володя не так часто с матерью.

Володя не любит учиться — Володя мечтает. Но о чем он мечтает, никак не скажешь, а скорее всего ни о чем, так — и разве нельзя так сидеть без всякой развивающейся и уводящей мысли, которую можно повторить, записать или вспомнить? Или, может быть, привязавшись к какому-нибудь слову, хотя бы к своему имени, и, в тысячный раз, повторив это слово, он следит за звуками, как чередуются они в разлагающемся и слагающемся слове? Да так оно и бывало. Когда «Тихий океан» объяснял какую-нибудь задачу или рассказывал о городах Западной Европы, Володя вдруг принимался стучать ногами об пол, припевая свое имя, отчество и фамилию — «Владимир-Михайлович-Черкасов».

— Владимир Михайлович Черкасов! — раздается по всему дому, пугая и ко всему привыкшую белоснежную Кушку: «и поспать не дадут!» — жалуется старая дворняшка, между собачьих слов ловя зубами шалую муху, — Владимир Михайлович Черкасов!

Единственный товарищ Володи — соседний мальчик Макаша. С Артюшками, Куземками, Евгеньками и Васютками Володе не позволяют водиться. Володя с каждой весной вытягивает-

ся — «подсолнух», а Макаша с каждой весной раздается — «лопух». Володя быстрый, легкий и шумливый; Макаша коротенький, сидень и все тишком. Володя коноводит, но без Макаши ему никак не обойтись: Макаша добросовестно и терпеливо исполняет все его затеи. О Макаше говорят, что из него выйдет хозяин, про Володю — сорви-голова.

Когда Володя рассказал Макаше, какие красивые панталоны у Вари, Макаша заплакал — у Макаши никаких сестер, только маленький брат — Макаша тихо плакал и безутешно и долго не мог успокоиться: и не потому, что бы хотелось ему быть девочкой и носить с дырочками кружевное белье в разноцветных ленточках, нет, он плакал от обиды, его глубоко оскорбило нарушение какого-то его мужского права — ведь, оказалось, что и девочки тоже носят штаны! «Штаной» окрестил Володя своего товарища, поддаваясь домашнему обычаю давать всем прозвища, и с этих пор Макаша на «Штану» откликался.

День — учитель «Тихий океан» и Макаша «в штанах», уроки и игры. Но спит Володя по-прежнему с матерью: на ночь его кровать придвигается, иначе он не заснет. И не от того, что он боится — Володя ничего не боится — а по привычке.

Ночью Володя вдруг проснулся: мать стоит на коленях перед образом, шепчет, крестится и кланяется в землю; лампадка освещает ее — на ней красная, от огонька лампадки густая, цвета раздавленной вишни, фланелевая широкая юбка. Володя никогда не видал мать такой среди ночи. И долго он следил за ней, и ему показалось: в глазах ее было знакомое — запомнившийся взгляд Макаши, с каким слушал Макаша его рассказ о красивых с дырочками панталонах сестры, и Володя понял, что матери очень тяжело, только она не плачет безутешно, как плакал Макаша, а шепчет и крестится и кланяется глубоко в землю. Но отчего тяжело ей?...

Володя непоседливый. Засядет за уроки и, кажется, сидит прилежно, а хватятся: книга на полу, а где сам бегает или на какой дороге искать, не придумают. Пахомыч и Терентий, старые седые слуги, с ног собьются — нету. Или видели, как в доме скользнул через кухню — а нигде нету! «Сущий вьюн», — говорит повар Лаврентий Мокеич и поддакивает ему полповар Кондратий, сказал бы и поваренок Асташка, да боится. И кли-

чут, не отзывается. Страсть как боялась Елена Степановна, пошлет искать к пруду, всех на ноги подымет, сам Федор Фалалеич ищет — не дай Бог! — а он сидит себе в гостиной за цветами — мечтает. От этой глупой повадки прятаться много было горя Елене Степановне.

Однажды вечером, после основательной прятки за цветами, изведшей весь дом, Володя вьюном скользнул в соседнюю комнату и от неожиданности — он был уверен, что никого — остановился, став вдруг прозрачным — лунный луч через ставню: в комнате была мать и учитель; учитель держал в руках две книжки — обыкновенную в синем переплете и желтую маленькую из папиросной бумаги «очень красивую» и, передавая книги матери, сказал: «на память».

— «На память!» — как когда-то свое имя, отчество и фамилию во время объяснения учителя, в тысячный раз, выпевая «на память», Володя бегал по зеленому лунному двору от крыльца, до широко-распахнутых ворот, не Володя — дикая лошадь.

Игра в лошадей — представлять дикую лошадь — любимая одиночная игра Володи, а с Макашей — в палочку-застукалочку.

Хоронясь от Макаши, не дыша, Володя пробирался в саду между кустами и вдруг увидел: в окне стоит мать, а из сада отец протягивает ей руки — «Елена, не покидай!»

И почему-то слова отца вскипели в его ушах, так, что он вздрогнул — но тотчас, изогнувшись в ветку, юркнул в кусты — ему почудились настигавшие сопящие шаги Макаши! — и вьюном заскользил в траве, чтобы первому поспеть — найти «палочку».

А на другой день к великому удовольствию Володи, «Тихий океан» не пришел. И больше никогда не появлялся в их доме. Володе сказали, что учитель уехал в Москву. А скоро появился новый «Гвадалквивир» — впрочем, все учителя одинаковые.

И не заметил Володя, как из «вьюна» и «дикой лошади» превратился он в «черненького» гимназиста. И живет он в городе, а домой в Бобровку приезжает только на праздники и летом. У него своя комната — та самая рядом с гостиной комната, где он застал мать и учителя, но это так давно было, а главное, столько есть интересного в его новом гимназическом мире, что ни разу он и не вспомнил. Сперва умер отец Макаши — Виктор Макарьич, а за ним отец Володи — Михаил Димитриевич. Ста-

рики всегда помирают. И это случилось зимой. А летом все было, как было, и в доме и на воле — благословенная черная земля, голубые лунные ночи и серебряная гоголевская песня. Домашние, вспоминая, как Володя был маленький, смеялись над «прилипой», и сам Володя смеялся — ему трудно было себе представить, как это он был маленький. А мать смотрела на него неизменно, как будто для нее никаких лет не вырастало и годов не проходило, и Володина кроватка все еще придвигается на ночь к ее кровати, Володе по ночам страшно — Елена Степановна боялась за каждый его шаг и все остерегала, и теперь не Володя ходил за матерью, а мать за Володей.

В доме не было уголка, который бы не знал Володя. Это началось, когда еще он прятался от Макаши, играя в палочку-застукалочку, или когда пропадал «мечтать». У Елены Степановны в спальне, около ее кровати, стояла заветная шкатулка, с нею Елена Степановна никогда не расставалась. И эта шкатулка — единственное, чего еще Володя не трогал.

И вот, однажды, когда Елена Степановна вышла к соседям, Володя занялся ее шкатулкой.

Среди писем он нашел две книги — и по цвету узнал: это те самые — он очень хорошо помнит — учитель — «Тихий океан» — дал матери, одна обыкновенная, в синем переплете, которая оказалась редкое издание Шевченко, Кожанчикова, а маленькая на желтой папиросной бумаге — «красивая» — запрещенные стихи Шевченки. И по этим книгам вспомнив вечер, окно с закрытыми ставнями, учителя и мать в комнате и ясно прозвучавшее «на память», он вспомнил ночь, когда мать молилась, вспомнил с той же отчетливостью до ее красной, от огонька лампадки густой, цвета раздавленной вишни, фланелевой широкой юбки, и ее взгляд, просящий пощады, и отца в саду у окна перед матерью, его слова, вскипевшие в ушах до дрожи — «Елена, не покидай!»... И Володе стало все ясно — вся тяжесть жертвы: он понял, что значило, что учитель «уехал в Москву». Бережно уложил он письма и эти заветные книги. И поставил шкатулку, как она стояла. И тайна, которая не была тайной для Володи, осталась для всех по-прежнему тайной неприкосновенной шкатулки.

Еще маленьким гимназистом Володя видел Олю в гимназической церкви и влюбился. И с каждой весной любовь его раз-

горалась. А когда студентом он познакомился с Олей, Оля стала для него единственной и ближе ничего в мире для него не существовало. Как когда-то к матери, он «прилип» к Оле.

И этим решилась его судьба: уж на его дорогу вышли три страшные встречи — безумие, отчаяние и смерть. Ведь его мать пожертвовала для него своей любовью, а Оля готова все отдать, но не человеку, а ради той «правды», без которой, посмотрите, как пуст и ужасен мир человека! Если бы он чувствовал эту «правду»... а все, что он ни делал, делал только потому, что это нравилось Оле: Оля для него была этой «правдой».

Ему захотелось подарить Оле самое дорогое — чего достать невозможно. И, вспомнив редкое издание Шевченки и «красивую» маленькую книгу из желтой папиросной бумаги — запрещенные стихи, — книги по-прежнему лежали у матери в ее неприкосновенной шкатулке около кровати, — он украл у матери эти заветные единственные книги и отдал Оле:

— «На память».

— — — — — —

Только потом Оля узнала от сестры Черкасова Вари, что эти редчайшие книги, которых «достать невозможно», — «мать не дарила сыну»: Елена Степановна догадалась, кто мог взять и для кого эту ее единственную память, и вот она попросила Варю. И Оля через Варю вернула Елене Степановне ее заветные книги.

Серебряный полумесяц

Читая роман Писемского «Люди сороковых годов», Оля почувствовала, как близки ей и слова и чувства Вихрова-Писемского, мечтавшего в гимназии о Московском университете, и перед которым путь в Москву оказался заказанным, как у Оли по окончании гимназии путь в Петербург.

«Да, не легко выцарапаться из тины, посреди которой я рождена!» — повторяла Оля, ходя по зеленому двору и глядя на поля и луга, по которым она когда-то так весело бегала, и которые теперь ей были враждебны.

Оля поехала в Петербург не из Ватагина — из Ватагина нечего было и думать! — и не из города, а со станции за двадцать верст от города. А выбран был такой окольный путь из предосто-

рожности, чтобы пронырливая тетка Марья Петровна, дознавшись, как-нибудь не остановила на вокзале: с Марьей Петровной все могло статься, да ведь и Оле-то было всего шестнадцать лет и, кроме аттестата об окончании гимназии, никаких разрешений.

Первые дни Олю водил по Петербургу студент Черкасов. Оле все было странно: стоя, есть пирожки у Филиппова, и обед в столовой на Васильевском острове — Оля любила крем, но там его дали так мало.

По совету Черкасова Оля поселилась в одной комнате с Верой Горлиной. Горлина старше годом Оли, тоже кончила гимназию и собиралась поступить на Медицинские курсы, а пока что ходила «пробовать голос» — и пела в украинском хоре.

Поселились они на Знаменской у хозяйки Варвары Ивановны Дешовой. И у Варвары Ивановны все казалось странным: Оля очень удивилась, когда узнала, что у хозяйки суп варится на два дня; и в первый раз от прислуги Оля услышала слово «жилица» — это сказано было про какую-то женщину, которая жила тоже у Варвары Ивановны в отдаленной от них комнате. Варвара Ивановна их не стесняла, позволяла играть на рояли в своей комнате — Вера Горлина пела и утром и днем и вечером, а Оля ей аккомпанировала. А так Оля совсем забросила рояль: — «надо развивать ум, а не пальцы!»

Оля и Вера пили чай дома, а обедали в Нормальной столовой — там на столиках была надпись: «Хлеба и квасу можно употреблять сколько угодно». И Олю очень удивило, когда студент Курилов сказал студенту Финтикову: «Что ж! пообедаю в Нормальной столовой, а вернусь домой, и опять есть хочется!» А бывали дни, что и совсем не обедали, а покупали они селедку и потом пили чай.

У Оли и Веры бывало много народу. Однажды собралось очень много. Все студенты и курсистки, и начали говорить про других студентов и курсисток: смеялись и осуждали. Оле делалось не по себе: все ей напомнило тетку Марью Петровну, — ведь Оля думала, что в Петербурге так не говорят.

Кто-то предложил пойти на набережную послушать часы на Петропавловской крепости. И все вышли.

Дорогой студент Финтиков спросил Олю: почему она такая печальная? И Оля сказала, что ее расстроил разговор:

— Будто где-то в гостиной у тетки.

— Да, я вас понимаю, — ответил Финтиков, — чаще надо вспоминать, что есть Данте, Гете и Шекспир, тогда не захочется болтать.

Это было как раз накануне — на утро Олю ждал сюрприз.

* * *

В последний гимназический год на одной вечеринке, устроенной гимназистками и съехавшимися на каникулы студентами — такие вечеринки устраивались вскладчину и особенно возмущали тетку Марью Петровну: «вечер без старших»! — с Олей познакомился студент-медик Аксенов. Узнав, что Оля хочет ехать на курсы, он обещал прислать ей проспекты разных курсов, и чтобы она переслала его двоюродной сестре, которая окончила гимназию и тоже собирается. И действительно прислал, и Оля сделала, как он просил: переписав, послала проспекты его двоюродной сестре. В ответе Аксеновой был какой-то вопрос, Оля ей сейчас же ответила. Так началась переписка. В письмах перешли на имена: Оля писала «Паша», Паша называла ее Олей. И подружились. Письма оканчивались: «крепко целую». А сколько было мечты в этих письмах: обе стремились поступить на Медицинские курсы, только для Оли это никак по летам не выходило — на Медицинские курсы принимали не моложе двадцати лет, Паше как раз исполнилось двадцать, но Оле-то было всего шестнадцать. Оля читала, что из знакомства, начавшегося с переписки, выходили необыкновенные встречи и дружба на всю жизнь, и решила, что в Петербурге они будут жить вместе, и написала Паше — Паша «с радостью» согласилась.

В Петербурге Оля не забыла о Паше — не забыла о своем решении, но за этот месяц что-то ее стало смущать и, иногда думалось, что, пожалуй, было бы лучше, если бы Паша совсем не появлялась. И вдруг поутру звонок: студент Аксенов прямо с вокзала:

— Приехала Паша.

Дворник внес вещи, а за ним — Паша.

Оля и Паша поцеловались.

Так, должно быть, по объявлению встречаются. И Оля вспомнила свою гимназическую подругу Зину Разумовскую, как

когда-то неизвестно почему без слов они потянулись друг к другу — —

Паша стала раздеваться.

И вдруг Оля увидела в ее высокой прическе искусно приколотый серебряный полумесяц. И сразу как отшатнуло, — так это ей не понравилось!

И сама Паша Оле совсем-совсем не понравилась: Паша оказалась то, что называлось среди курсисток «барышня», и эта ее фокстротирующая жеманная походка, точно только что отлипла от кавалера и вот-вот опять завьется; что-то в ней, во всем ее складе, и в голосе, и в приемах, напомнило Оле оттуда — подруг сестры Ирины институток, в ней все было, как следует, — сама Марья Петровна не осудила бы.

Оля не знала, куда деваться. Ей как-то невозможно было смотреть на Пашу — всегда встречала она ее серебряный полумесяц. И ничего не оставалось, как самой уехать.

Так Оля и сделала.

«Почему, что?» — Паша искренно недоумевала.

А ведь тоже и сказать человеку никак не скажешь: убери с «гнезда» полумесяц или, что все равно — переродись! А переродиться не всякий может, даже если и захотел бы — ну какая гимнастика исправит эту фокстротирующую повадку? или что надо, чтобы встряхнуло человека, и он хотя бы раз — возмутился?

Оля наняла себе комнату на 2-й Рождественской. И одна жила без Веры — без любимых песен утренних, дневных и вечерних, и без тех расстраивающих разговоров, когда не вспоминают ни Шекспира, ни Гете, ни Данте.

А с Пашей только в первый год еще встречалась и то очень редко — нет, должно быть, одной переписки мало, чтобы полюбить человека — принять его и прямо смотреть ему в глаза. И, что стало с Пашей, Оля не спрашивала. Но серебряный полумесяц остался в памяти — это был знак той враждебной призрачной жизни, из которой с таким трудом вырвалась Оля.

Без указки

Второй приезд Оли из Петербурга на каникулы, когда Оля перешла на третий курс, остался навсегда памятен: так много мыслей прошло за это лето, точно в первый раз Оля взглянула на свет — и вот мир стал другим через эти мысли.

За это лето Оля много думала и не так, как привыкла в Петербурге — над книгами и программами, над всем тем, что составляло жизнь Оли на Курсах и в революционных кружках.

Там была теория – там жизнь рассматривалась книжным глазом; при каких-то предполагаемых «равных условиях», делались выводы со всеобщим значением о каждом, как о всех; а тут были отдельные случаи, под которые нельзя было подводить всех и заключать о всех — тут была та самая «живая жизнь», любимое выражение Достоевского, который этим словом обозначал своеобразное и всегда наперекорное всеобщему отдельное человеческое действие, или, по Лескову, тут выступала «бьющаяся живая жила», заявляющая о себе, вопреки всяким рассуждениям, и как часто ни с чем несообразным, неожиданным действием, тут выходило на свет основное Гоголевское: «поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает!», или знаменитое, легко принимаемое, глубочайшее Хлестаковское: «у меня все вдруг».

Ни что такое человек, а чем бывает человек? И ни что есть человек человеку, а что такое бывает человек человеку? Так и только так можно говорить о «живой жизни» и об ее «бьющейся живой жиле», заявляющей во весь голос:

«Я хочу и буду поступать так, как поступаю; я хочу и буду жить без указки всегда и во всем!».

В гимназии среди гимназисток был кружок «Союз дружбы». Всех участвовавших соединяла настоящая дружба: Нина и Катя Муравицкие, «чудесная» Люда Резилова и ее сестра Надя, Вера Горлина и Нина Мавлютина.

Теперь Нина Муравицкая и Вера Горлина на Медицинских курсах. В гимназии одноклассницы, и дружба их считалась примерной: на уроке рукоделия, если Нина забудет наперсток, Вера ставит свой на стол, и обе шьют без наперстка, а учительница рукоделия злится на обеих. А вот как будто ничего между ними и не было, никакого наперстка: Вера Горлина – с.-д., а Нина Муравицкая только учится, не принимает никакого участия в кружках. А «чудесная» Люда тоже на Медицинских, в кружках не участвует, как и Нина, но и с Ниной не дружит. А Надя, сестра Люды, где-то в Курове учительницей, и про нее никто ничего не знает и не интересуется, да и сама она не подает голоса.

«Как-то странно все на свете, — думает Оля, — был этот «союз дружбы», а прошло два года, и каждая из этого, "союза" ближе со мной, чем друг с другом»! В это лето умерла Катя Муравицкая, одна из участниц «Союза».

Кате девятнадцать лет, умерла она от чахотки. Катя хорошо играла на рояли и, больная, все говорила: «кому я передам свои руки для игры?» И все смотрели на ее руки — на ее тонкие, бледные с синими ногтями пальцы, бессильные — Катя больше не играла, и передавать-то ей уж нечего было, ее искусство давно пропало; и если она так говорила, в ней говорила еще не угасшая память, и от этих слов ее было особенно жалко. Ее повезли в Крым: с ней ездила ее сестра Нина и Павловский — Павловский жених Кати. И вдруг — назад привезли: в Крыму ей стало совсем плохо. А вскоре она и померла. Ни мать, ни сестра так не горевали, как Павловский: он переехал к Муравицким, чтобы быть всегда в той обстановке, где все было близко Кате, купил ее рояль, хотя ни сам и никто в их семье не играл на рояли, и шесть месяцев не произнес ни одного слова, — он только кивал головою, отвечая на вопросы. Жалко было смотреть на него. Вот как долго живет память!

Оля познакомится с Павловским потом в Петербурге и узнает на его руке Катино кольцо. А потом уж узнает, что он женился на Логоватой, тоже бывшей гимназистке, которую не любила Катя, — оборот поизвилистей описанного Гоголем в «Старосветских помещиках» в судьбе «страстно влюбленного», предмет страсти которого тоже «поражен был ненасытною смертью». Но сейчас перед Олей был только пример знойной памяти и «палящей тоски», которую не может погасить время.

«Вот как может любить человек!», — думает Оля.

В это лето Нина Мавлютина, тоже из «Союза дружбы», выходила замуж. Нина собиралась на Курсы, но не поехала, отложила, и, вот, свадьба. Оле было жалко Нину: Нина добрая и умная — Оля ее любила, а жених Нины Оле не понравился, — «либерал», т. е. болтающий. Молодость с ее крепкой силой и уверенностью хочет решительного крутого дела и неотложного, и всякая оглядка — расчет и соображения принимаются за слабость, а когда еще словесно совпадают цели, вызывается раздражение. Так и для Оли «либерал» был синонимом «болтовни» и притом вредной, потому что эта «болтовня» усыпляла

и «дела» не делалось. Оле было жалко Нину: ведь любовь Оли представляла Нину способной что-то «делать», а не только говорить — «болтать», как ее жених.

«И как могла Нина полюбить этого Жовницова, неужто прекрасным словам его могла верить?»

В это лето сошел с ума студент Черкасов. Сумасшествие Черкасова — редкий случай, известный, как «сумасшествие от любви», в русской литературе встречается однажды: у Писемского в «Водовороте» — судьба Григорова. Черкасов не принадлежал ни к каким революционным кружкам, он был только сочувствующим во всем Оле, перед ней не скрывал этого, но в своем безумии выкрикивал слова Оли, спорил и нападал на воображаемых противников, как будто сам был самым ожесточенным с.-р.-ом или уверенным и несомненным с.-д.-ком. Главный его «пункт» заключался в том, что Оля окружена врагами, и ее жизни грозит опасность, и он не расставался с револьвером, которым впоследствии и убьет себя, — «он лежал распростертым на канапе, кровь била у него фонтаном изо рта, в правой и как-то судорожно согнутой руке он держал револьвер», это из Писемского, но так будет и с Черкасовым: ведь это его страсть окружала Олю, его страсть была тем самым врагом Оли, которого он так ненавидел и подстерегал с револьвером.

Оля чувствовала глубокую жалость к Черкасову, а за этой жалостью скрывалась какая-то вина: Оля чувствовала, что она чем-то виновата, и не могла найти, в чем именно ее вина. Оля ничего не делала, чтобы привлечь к себе Черкасова, в ней не было никакого «кокетства» — в Оле не было и никаких «инфернальных изгибов», по терминологии Достоевского, тянущих человека в пропасть. Русский народ, и это заметил Лесков, различает: есть «любовь», а есть «любва», глагол «любить» и глагол «любиться»: Грушенька это «любва», Оля — это «любовь». Олю можно было полюбить, и только полюбить. И вот оказывается, что и там, где «любва», и там, где «любовь», вешаются, стреляются, режутся и травятся, а также... и режут, и что самые знойные песни сложены не только про «любву», а и про «любовь».

Варя, сестра Черкасова, сказала Оле: «Ни я, ни мои братья вас ни в чем не обвиняем, только мама и тетка. Я непременно хотела вам это сказать. И еще хочу вам сказать: не дружите

с мужчинами, у них как-то по-другому, вот и несчастье случилось».

Варя сказала за всех. И Оля должна была принять этот приговор: да, она невиновна. Но Оля знала, что причина такой муки и горя — в ней, и это ее мучило: как бы хотела она что-нибудь сделать, чтобы облегчить.

Никогда не забыть Оле своей встречи с матерью Черкасова у калитки в больницу, куда перевезли его из Бобровки. На вопрос матери, что передать от нее сыну, Оля вдруг сказала: «скажите, что я за него выйду замуж» — и заплакала. И мать поняла эти слезы: «я ничего не передам, — сказала она, — если любишь и выйдешь замуж и то трудно бывает, а без любви...»

Оля шла домой. Эта встреча бурей наполняла ее душу. Тут было все — и судьба матери, о которой она слышала от самого Черкасова — «если любишь и выйдешь замуж и то трудно бывает...», и предостережение Вари — «у них как-то по-другому», и вырвавшиеся слова — голос желания поправить что-то, а как это она неосторожно сказала: «выйду замуж!», — и ответ матери.

Олю окликнул Оводов. И пошел с ней проводить ее: Оля жила в пустом доме у тетки — Марья Петровна на лето переехала на дачу.

Два года, как Оводов кончил университет и служил в управе. С Олей он познакомился, когда Оля кончала гимназию. От первой встречи с Оводовым у Оли осталось смешное воспоминание, совсем невяжущееся с тем, что Оля думала о нем: Оводов, как и муж Зины, Алпатов — «деятели», т. е. занимаются революцией. Оля пришла с Ниной Мавлютиной приглашать Оводова на вечер к Мавлютиным. Жил он в пустом доме, и много у него было яблок, — присылали ему из деревни, целая комната завалена. Сидели в яблочной комнате, на воле смеркалось. «Какие вы любите, сладкие или кислые?», — спросил Оводов. «Кислые», — ответила Оля. «Я так и думал», — сказал Оводов и, выбрав кислое, подал Оле. Оля откусила, а яблоко оказалось червивое: ничего не остается, как выбросить в окно. Оля и бросила, — да попала Оводову прямо в очки, и разбила. В первый год курсисткой Оля, приезжая в город, не встречалась с Оводовым, а в этот приезд уж несколько раз: всякий раз, как устраивались катанья на лодке, в которых принимала участие Оля и

другие курсистки, непременно бывал и Оводов. Из всех он казался Оле самым настроенным революционером, и, хотя Нина Мавлютина как-то сказала Оле, что Оводов «революционер» только при Оле, Оля ей не поверила. Да, Оля не поверила бы, если бы ей сказать, что вот и сейчас Оводов встретился с ней совсем не случайно.

— Как страшно жить на свете! — сказала Оля, так в ней сказалась, наконец, ее душевная буря, но о встрече с матерью Черкасова и о самом Черкасове она промолчала, — умерла Катя, — помолчав, сказала Оля, — а вот Нина выходит замуж, весь этот «Союз дружбы» вразброд, а ведь прошло всего два года.

И как бы в ответ на это «страшно на свете», Оводов всю дорогу рассказывал о своей сестре.

У Оводова была еще сестра Надя, померла после родов, а вскоре помер и ее муж, осталась дочь — племянница Саня, и эта Саня жила у Оводовых. Воспитывали ее дома. Сестра Маня влюбилась в учителя, и между ними было согласие: Маня выйдет за него замуж. Она сказала отцу, но отец против и учителю отказал. Учитель — Костобобров. Перед отъездом Костобобров виделся с Маней: Оводов устроил это последнее свидание, он и письмо передал сестре от Костобоброва, и сторожил их, чтобы отец не узнал. И на этом прощальном свидании они решили обоим застрелиться через три дня одновременно в пять часов дня — Костобобров уезжал далеко, а, чтобы ровно в один час, сверили часы. Костобобров уехал. Прошло три дня, и Маня, как было условлено, ровно в пять часов выстрелила себе в голову, но осталась жива: пуля застряла в ухе. Маня навсегда оглохла: вынуть пулю опасались. Первое, что она спросила — о женихе: она была в отчаянии, она была уверена, что его уж не было в живых. Оводов поехал в город к Костобоброву и там узнал, что с Костобобровым ничего не произошло: не застрелился и не думал стреляться. Если бы он застрелился, для Мани было бы ужасно, но то, что он и не подумал стреляться, и роковой день провел, как все дни, было еще ужасней: она не хотела верить, а когда поверила, человеческий мир для нее пропал.

— С тех пор Маня сделалась очень странной, — рассказывал Оводов, — никуда не выходит, ни с кем не разговаривает, ничем не интересуется, целый день она возится с курами и утками.

Подошли к дому.

— Можно вас о чем-то спросить?

— Пожалуйста.

— Правда, что вы невеста Черкасова?

— Никогда не была и не буду. А можно вам что-то сказать?

— Пожалуйста.

— Зачем вы возитесь с либералами: как вам не надоедят слова?

— Вы правы: я перееду в Петербург.

Оля до конца не могла представить и не почувствовала, что это значит «перееду в Петербург», и что с переездом Оводова в Петербург его заботливость о ней обернется в мучительную опеку, на которую без всякого спроса имеет права только любовь.

Оля думала о сестре Оводова Мане, для которой человеческий мир пропал, и остались куры и утки:

«Несчастная! — Оле было жалко Маню, обманутую и так жестоко обманувшуюся, — и как могла она не почувствовать, что за человек возле нее...?»

Оля была уверена в себе: она не могла представить, чтобы с ней могло что-нибудь такое произойти. Ведь так отвести глаза человеку и чтобы он крепко поверил, надо или быть очень ловким или иметь дело с очень простым. А никакая человеческая ловкость не обманет ее чутья — в этом Оля была уверена.

В это лето умер отец Оводова. А был он странный человек, не как все. И вовсе не самодурство руководило им — ни это «здорово живешь» — самое страшное, как и все, где не можешь ответить «почему». Александр Петрович задумался, как надо людям жить, — и по-своему понял Толстого. Сосед Оводовых Корецкий, у которого старшие сыновья кончали университет, тоже начитавшись Толстого, свою младшую дочь не отдал в гимназию и вообще решил не учить, убедившись, что «просвещение» принесет только вред — Толстой прав, Оводов же не видел ничего вредного в ученье, но считал для каждого обязательным уметь все делать своими руками. Сам, не молодым уж, изучил все ремесла и заставил сына и дочерей выучиться, и дети наловчились по всякому, например, Сергей Оводов мог сделать фаэтон. Кроме этого практического убеждения, у Александра Петровича была страсть: лошади. И лошадей он жалел больше, чем домашних: лошадь пальцем не тронет, а детей бил. Дети его

боялись: если надо было ехать в город, кто-нибудь отваживался и спрашивал, можно ли взять лошадей, а другие с трепетом ожидали ответа, стоя около двери. Мать тихая и добрая всегда за детей заступалась, и дети не раз слышали, как отец стучал кулаком по столу: «молчать!» Дочери не позволил выйти замуж не потому, чтобы почувствовал, какой это подлец Костобобров, а просто потому, что Костобобров бедный, а значит, дрянь.

Смерть отца нисколько не тронула Оводова: когда он был маленький, отец однажды жестоко избил его.

«Я бы тоже никогда не забыла, — думает Оля, — и не могла бы любить».

В это лето умер дальний родственник Ильменевых Сташкевич. Оля помнит из раннего детства, как приезжал к отцу бритый и грузный — это был предводитель Дорохов. Оля думала, что Дорохов «вроде женщины». А между тем у него было много дочерей, и одна из них была замужем за братом Натальи Ивановны, за доктором Алексеем Ивановичем — тетка, а старшая ее сестра от другой матери за Сташкевичем. Вот какая это родня — Сташкевичи, хотя Лена, подруга Ирины по институту, и Соня считались двоюродными сестрами и часто бывали у Ильменевых, а Ильменевы у Сташкевичей.

Сташкевич поляк, и его родные были против его женитьбы на русской. На свадьбе никто из них не был и никто никогда не приезжал к Сташкевичам. Сташкевич говорил всегда по-русски, но оставался католиком и перед смертью попросил свою старшую дочь Лену читать отходную по латыни. И когда он умер, послали телеграмму в Варшаву. На похороны приехал брат. Хоронили по католическому обряду в имении за пятнадцать верст от города. За гробом ехали на лошадях, брат ехал в экипаже со вдовой, и все пятнадцать верст упрекал ее, что она вышла замуж за его брата, а дети их — русские.

Оле это очень понравилось.

«Значит, — думала она, — не легкий человек: не забыть столько лет!»

И, вспоминая Сташкевича — красивый старик, любил хорошо поесть, и верный: ради любви пожертвовал своей родиной, но есть выше родины — вера, и своей вере он никогда не изменил! — Оля вспоминала жену его, молчаливую и сурьезную, не суровую, и не болтливую — противоположность тетке Марье

Петровне, и какой у них был мир в доме и еще, что так редко бывает, все вовремя.

«Между ними была настоящая крепкая любовь!» — думала Оля.

И когда она думала о Сташкевичах, об их крепкой любви, ей вспоминался Голенковский. Голенковского Оля не видала, но слышала, как рассказывали: никогда он не был женат, а каждый день ездил к соседке Уласовой — всю жизнь. И почему не поженились, а жили врозь? — все недоумевали. Но это-то непохожее, по-своему, это и нравилось Оле.

Оле не нравилось в Голенковском «ничего неделание». Голенковский был известный «либерал», как и брат его Илья Иларионович, дядя Черкасова. Этого Голенковского Оля видела в Бобровке у Черкасовых. Потом уж, когда Олю арестовали, с ним встретилась Наталья Ивановна: узнав у нее о судьбе Оли, он крепко пожал ей руку. И этот жест и «прекрасные слова» для «революционерки» Оли были синонимом «ничего неделания». Оле ближе были «черносотенцы», как старик Оводов или Сташкевич: они ничего такого не говорили, они говорили ясно и определенно и открыто действовали, как враги, но эти «только говорящие либералы», соблазняющие словами без дела, давали постоянный повод к возмущению. Узнав, что Сергей Оводов выступал на собрании в городской библиотеке, как «крайний левый», Оля негодовала: «перед кем и с кем — с либералами?»

У Ильи Голенковского было две дочери: Катя и Саша — двоюродные сестры Черкасова. Судьба Кати была самая обыкновенная, и о ней ничего не говорили, а о Саше много говорили, больше осуждая ее, чем сочувствуя. С памятью о Голенковских, вспомнилась Оле и эта Саша.

Саша вышла замуж и у нее родилась дочь; повезла она ее гостить к дедушке, думала на лето, а вышло — навсегда. Чтобы не огорчать старика, который привязался к внучке, а еще больше привязалась старшая сестра Катя, никак нельзя было ее взять домой: тысяча предлогов. И кончилось тем, что дочь Саши сделалась дочерью ее незамужней сестры Кати. А чего только не говорили про Сашу: будто подкинула она своего ребенка, чтобы самой было свободнее жить, и что не мать она, а какой-то выродок — «нешто мать так поступит? да я бы на ее месте...» — любимое заключение осуждающих.

Оле все это было очень далеко, но, судя по тому, как их всех детей любила мать, и с какой легкостью всегда судят о человеке, и как легко осудить человека и особенно это безответственное «я бы на ее месте», судьба Саши вызывала самое горячее сочувствие у Оли, и только одного Оля не понимала, зачем Саше надо было иметь ребенка, зачем вообще дети?

В это лето Анюта Воронцова, подруга Ирины, вышла замуж за офицера. А вышла она замуж не потому, что влюбилась, а потому что ей исполнилось двадцать четыре года, а сестра ее, моложе ее, кончила институт и стала на виду — невестой.

— Это еще что, — смеялся Миша, брат Оли, — один мой товарищ женился, потому что в его комнате не было центрального отопления, а другой, — чтобы самому не считать для стирки грязное белье.

«А вот Лена Сташкевич так и не вышла, — думала Оля, — ее жениху не позволили на ней жениться, и все-таки Лена его любит, но по-моему такого послушного можно только презирать».

Когда Оля была совсем маленькая, однажды взяла ее Наталья Ивановна с собой в город за покупками. Оле наскучило в лавке, она и выбежала. И видит, у соседней лавки сидит старик и смотрит в бинокль. «Куда вы смотрите?» — спросила Оля. «Я смотрю на мир и на людей», — сказал старик. Оле показался он очень добрым. «А как вас зовут?» — спросила она. «Я апостол Павел», — сказал старик, не отрываясь от бинокля. Оля побежала к матери, очень ее удивило: апостол Павел жив! А Наталья Ивановна только улыбнулась. Потом об этом забыли, забыла и Оля.

В конце лета перед отъездом в Петербург Оля познакомилась с Надей Мудрогай: отец ее, купец, торговал в городских рядах. Надя собиралась на Курсы и пригласила к себе Олю. И когда Оля пришла к ней, вышел старик, отец Нади, и Оля узнала: это был апостол Павел.

«Как это странно, — думала Оля, — и тогда он мне показался стариком».

Тогда Оле было шесть лет, а теперь исполнилось восемнадцать.

Апостол Павел и без бинокля смотрел с такой же добротой — на мир и на людей.

И этот апостол — последняя встреча памятного лета.

И когда осенью Оля приехала в Петербург, ее любимая Зина сказала:

— Ты очень выросла, теперь никто не может сказать: Оля девчонка. Ты взрослая.

Слепая любовь

Все говорили кругом, что Рашевские живут между собой плохо. А дети словами не высказывали, но были веселы только тогда, если в доме бывал кто-нибудь один: или мать или отец. Только тогда дети чувствовали свободу и мир. Мать почти не выезжала. Все за детьми — девочкам причесывает волосы, так хорошо оправляет их юбки и так крепко целует, прижимая к себе, как никто, словно боится, что детей у нее отнимут. Когда умер Ваня, самый младший — как-то неисповедимо, вопреки зоркому глазу матери, простудился, получил воспаление легких — мать плакала неутешно: сидит в кресле возле окна и заплачет: вспомнит ли что-то о Ване — и долго-долго плачет. Мать верит в сны, спрашивает старую няньку: нянька все сны знает. Мать рассказывала сон, когда в комнате была Зина. Зина, занятая своими мыслями, сна не слышала, а только вздрогнула, когда нянька, значительно посмотрев на мать, сказала:

— А будьте осторожны, барыня.

— Почему осторожно! — крикнула Зина.

— Чтобы не упасть, — сказала нянька.

Но Зина поняла, что нянька не то сказала, и стало ей жутко — казалось, что что-то слепое внезапно войдет в дом, застигнет всех, кто как был, и сделает свое страшное и непоправимое, как с Ваней, и никакая осторожность не убережет.

Вера, старшая сестра, приезжает летом из института. Вера — любимица матери. «Не Веру красит шляпка, — говорит мать, — а Вера украшает шляпку». И все соглашаются, любуясь на Веру, и только молчит отец.

С годами дети отходят от отца: редко, очень редко говорят с ним. Дети убеждены, что отец их не любит. И отец все реже обращается к детям. Все один, и голоса его почти не слышно, он как и не живет в доме. И это никого не беспокоит, напротив, как-то странно бывает, когда он вдруг появляется в комнатах, и еще страннее, если о чем-нибудь спросит. Зину отдали в гимназию. Первое время она очень скучала о доме — это тоска, со-

бирая все ее мысли о матери, о домашних, изводила ее разлукой. В город неожиданно приехал отец и зашел к Зине.

— Папочка! — крикнула Зина, и столько было горячего чувства в ее голосе, в ее взгляде, в руках ее, обнимавших шею отца.

И, никогда она не видела его таким — его руки, его глаза, его лицо. Это был совсем не тот, с кем дома по утрам она молча здоровалась и молча прощалась, как принято, перед сном. И потом летом отец, кому-то рассказывая о своей поездке в город, сказал:

— Зина крикнула: «папочка»... — и посмотрел на Зину.

И Зина поняла по голосу, по глазам, по лицу его, вдруг осветившемуся, что этого он никогда не забудет, и что взрыв ее радости — слово ее, вдруг вырвавшееся из ее нахлынувшего чувства, осветило тогда и будет светить ему на всю жизнь. Мать дети называют «мамочка», отца — «папа», и вдруг — в первый раз «папочка»». Зина много поняла, когда отец рассказывал, вспоминая, и ей было нестерпимо жалко отца, и она очень мучилась, желая и не находя, как поправить их жизнь, которая, она давно заметила, а теперь ясно видела, шла вразлад. Но только потом уж, в другие дни, и сама Зина другая, поймет она, что поправить ничего не поправишь, и проклятие и тягота жизни в том и есть, что не только черствость и вероломство — этот обычай жизни, а и все то мелкое раздражение, какое вызывает один в другом и не почему, а только из-за несхожести в самом своем существе, ведь нет ничего одинакового! — гасят в человеке его единственную и последнюю память о свете, проникающем всякую жизнь, и который есть везде — и в земле, в ее цветах, и в детях, и в улыбке, и... в догадливом взгляде собаки, и что сказка Шахеразады о «бедняке и собаке», об умной собаке, указавшей лапой голодному на свое золотое блюдо с кушаньем, вовсе уж не такая сказка.

Так и жили с любимой матерью и нелюбимым отцом. Зина сама по себе и из всех настойчивая — своевольная. И кругом говорят: «не Зина зависит от обстоятельств, а обстоятельства зависят от Зины». Говорят в насмешку. Так повелось, что все, что «само-по-себе», не «в ряд», не «свое» — вызывает недоверие и опаску, и отсмеиваться и высмеивать — самая легкая и верная защита перед непонятным и подозрительным. Над Зиной с детства смеялись, и с первой своей памяти она чувствовала себя

каким-то «гадким утенком». Но за эту же свою непохожесть Зина и нравилась. Дома об этом никогда не говорят — дома восхищаются Верой — но Зина заметила это еще маленькой гимназисткой, и в этом было для нее большое удовлетворение, а неминуемо и боль. Зина на Рождество была у тетки, была и старшая сестра Вера, и было много гостей. И все ухаживали за Зиной. Когда затеяли прогулку, Зина не пошла, хотя ясно было, что и вся затея-то была для нее; и как ей было идти, она видела, какими глазами смотрит на нее Вера! А когда вернулись с прогулки, Вера подошла к ней, обняла ее и поцеловала — Вера не могла скрыть своего чувства, так она была довольна, что Зины не было с ней, и жалко ей было Зину: так было весело на прогулке, а Зина проскучала дома со старшими. Так случилось однажды на людях, но потом и без всех уж, оставаясь одна с глазу на глаз с Зиной, Вера так на нее смотрела, как будто на Зину все смотрят, а сама она и показывается — в глаза лезет, а на нее никто не обращает внимание, не замечают. А это и есть зависть: зависть смотрела глазами Веры, и зависть, она жгучая, сушила слова ее, обращенные к Зине, и от этого было больно и Зине и Вере. Зина ехала вечером полем, кругом были сложены снопы, солнце садилось и было прохладно в поле после дневной жары. Навстречу Вера на велосипеде. И они поровнялись.

— Зиночка, — ласково сказала Вера, — который час? у тебя часы.

И вдруг Зине вспомнилось, как когда-то так вот сама сказала она отцу: «папочка». И этот прохладный летний вечер, снопы по дороге и необычный оклик Веры врезался ей глубоко в память, коснулся самого сердца и прошел глубже вглубь его тайной жизни.

Умер отец. Хворал он недолго. Но как и все самое важное в жизни, так и конец ее, вдруг — вдруг перед чем-то слепым, что не ждет и не спрашивает, опустились руки, и кто-то взял и легко придушил, как моль. Отец лежал на столе в белом, и лицо его было так прозрачно, точно вывернув, как перчатку, вымыли и вычистили его с лица и с изнанки, — молодой, как брат Володя. И что странно, мать, которая его не любила и всю жизнь тяготилась и, может быть, не раз в тоске в бесконечные ночи от своей безысходной горечи горькими словами обращалась к Богу, прося освободить ее, наконец — сил больше нет! —

ждала этой смерти, теперь, когда совершилось, плачет. Или было и у нее в памяти такое, как Зинино однажды «папочка» и Веры «Зиночка» в прохладный летний вечер? Отец был «сам по себе», не «свой», а это очень не просто прожить жизнь с человеком, который живет «по-своему» и иначе не может, — и вот вся тягота, все раздражение сожглось перед единственной памятью, и остался только этот голос сердца, его глубочайшее вдруг вырвавшееся пламя.

Зина не так поражена была смертью отца, а вот то, что мать плачет — и эти слезы выговаривались в душе Зины словами о всей жизни.

«И может быть, — думала Зина, — в последние дни жизни на земле, когда при мигающем свете звезд и комет вылезут голодные кроты из своих жилых могил, эти последние обреченные — когда в земле не осталось ни одного червя! — и прикрывая острой медвежьей пятерней свое свиное рыльце, заплачут от радости: больше не светит солнце и вся земля обращена в могилу! в эти последние дни все сожжется, но только не этот голос — пламя сердца, и Дух Божий, а Дух Божий это и есть пламя сердца, один будет носиться над пеплом, чтобы в свой срок, затосковав, начать творить новую жизнь другую — «по образу своему и подобию» без этой слепой тяготы, от чего тупо и безнадежно страдал человек на земле, что было не в воле человека и человеку было непоправимо своей волей».

Зина учится в Петербурге на курсах. Ее любимая подруга — Оля, такая же своевольная, как и сама она, и с Олей ей никогда не в тягость, и все Олины «капризы» — ей очень понятны и не вызывают никакого раздражения, она только не может поспеть за Олей, но и только с Олей может говорить прямо, без оглядки. И то самое, за что ее осуждали дома, тут на глазах чужих, тянет к ней: в нее влюбляются и ей ничего не надо, только быть собой, чтобы смотрели на нее и слушали, и слушались. А вот Веру никогда никто не осуждал — «положительные люди» говорили, что она клад, что из нее выйдет хорошая хозяйка, хорошая жена и мать, но никто в нее не влюблялся, так и не вышла замуж. У Веры с детства была необыкновенная привязанность к дому, — к семейным вещам — к их роду, и она не могла представить, чтобы расстаться с домом, вырваться из которого было не только освобождением для Зины, но и началом ее настоящей жизни.

Судьба Зины — своя. Как тогда, так и теперь, да видно и везде и всегда так, в России ссылали не только за преступления — ну, какие преступления Зины! — а именно за то самое, что было так характерно Зине, за ее «свое», что не «под всех», и за ее мечту — только за эту мечту о какой-то лучшей совершенной жизни, которую, она верила, люди с такой же горячностью и волей, как и она, могут устроить и непременно устроят на земле. Зину, продержав в тюрьме, выслали.

Зина вышла замуж. И уж не Рашевская, а Рогоза, жила она с мужем в Москве. И муж ее, тоже бывший ссыльный, как и сама она, никак не могли они устроиться. И жили очень бедно. «Положительные люди» вовсе не такие дураки, как это казалось когда-то Зине, они очень разбираются в жизни и зорки к людям, и разве когда-нибудь они предсказывали Зине легкую и обеспеченную жизнь? У Зины родился ребенок и отвезла она Мишу на лето к матери, думала до осени. Но когда пришло время назад в Москву отвозить, не отдают: привязались за лето — и для бабушки и для тетки в их безрадостной одинокой деревенской жизни этот Миша стал тем самым светом, какой просиял и в Зинином к отцу «папочка», и когда окликнула ее Вера «Зиночкой». Зина через силу, а все-таки уступила. Но, оставшись одна, поняла, что не может жить без Миши, не может победить в себе той тянущей душу тоски — ее знают и поймут только матери, у которых отняли ребенка — а это — да это такие черные дни, а еще чернее ночи — все съедают они в человеке: его улыбку, его смех, его желания, оставляя одно, и только одно, и это одно — мысль — как обнажено и обожжено: вернуть! За зиму нельзя было узнать Зину. И было твердое решение: настанет лето, поехать в деревню к матери и взять Мишу, несмотря ни на что. Но всякий раз, как Зина хотела взять Мишу, ее уж не уговаривали, а грозили смертью матери, что мать не вынесет — «и без того из-за тебя много страдала!», и все делалось, чтобы помешать — а изобретательность в таких случаях безгранична, и еще — и уж против что скажешь? — «в деревне Мише лучше для его здоровья, чем было бы в Москве!» А когда мать захворала, нашелся новый предлог: Мишу не отдавали — «потому что мать скоро умрет» — «и пусть Миша будет ей последним утешением». И никто не подумал... да Зине легче было бы, если бы даже помер Миша: ей невыносимо мучительно приезжать

было в деревню и видеть Мишу — Миша чуждался ее. А когда умерла мать и больше никаких поводов не было задерживать Мишу — Миша был совсем чужой, за годы его научили быть чужим, и оставалось только одно: насильно увезти его. Забыть? — Миша и забыл. — Но разве может позабыть мать? Зина видит его таким — его первые годы, когда он был ее, вспоминает глухие ночи: он разгуливается по ночам и не хочет спать, и она носит его по комнате, и он, глядя на нее, ротиком делает, как рыба глотает воздух, но никаких еще слов. Никаких слов, чтобы вспомнить, и только это молчаливое неотступно мучает ее память: «ротиком, как рыба, глотает воздух». Если бы она плакала, как плакала ее мать после смерти Вани! Зину осуждали: «мать бросила своего ребенка!» В глаза ей не говорят, не смеют, но за глаза всякий. И она это чувствовала, как оскорбление — и никто не заступился.

И вот наступило — пришло внезапно и застало всякого, кто как был, и было вовсе не страшно, Зина рада была — а это было то самое слепое, что почувствовала она еще с детства, как неминуемую судьбу. Зина обрадовалась революции. Революция делала свое страшное и непоправимое, карая своим беспощадным судом — оттуда! И Зине казалось, эта революция — против всего, что так оскорбило и оскорбляет ее — против легкого и жестокого, безответственного суда, каким каждый считает себя вправе судить другого; революция — против того, что так легко и бездушно отняло у нее ее ребенка — против этой «слепой любви». Вспоминая прошлое, Зина видела, что тягота жизни была именно от этой слепой любви: мать любила ее — но подумала ли о ней, как и что лучше для нее, когда не отдавала ей Мишу? и сестра, теперь она видит, она тоже любила ее, но разве когда-нибудь подумала о ней? И ей вспоминалось, это еще когда Миша тосковал без нее, Вера носила его к ворожее привораживать... и даже брат, который с детства был ей ближе всех — что он сделал для нее? А с какой радостью сама она приезжала в дом, но когда хотела что-то сделать от себя, передать свое, что было не только эти бесчисленные поцелуи, а от души — с каким пренебрежением отталкивали ее от себя, и все ее самые горячие слова, как сковывались. И сама она, когда в первый раз, уступая матери, оставила Мишу — не ради ли этой любви? Но и революция — а Зина так ей поверила! — революция шла тем же

самым путем «слепой любви»: революция, к горю Веры, разрушила родовой деревенский дом, куда все равно никогда бы не вернулась Зина — ведь там жил чужой ей ребенок! — эта революция... и разве она разрушила легкий и жестокий, безответственный суд человека над человеком? — Эта революция, которая поставила непререкаемым законом свое последнее: «все для человека вне человека»? — и вот начала свою железную работу, ломая и втискивая живую человеческую жизнь без всякого глаза на человека.

Две—лиры

С Фридом Оля познакомилась, когда была курсисткой. И на всю жизнь сохранила о нем память. А с последней встречи прошло не мало. И сейчас, когда сестра милосердия назвала его имя: «звонил по телефону Фрид и просил кланяться», — он — из такого далека — а как живой стал перед ней. Она увидела тонкого, всегда очень чисто одетого студента, он только что окончил университет и выслан из Петербурга, и себя увидела Олей во всем своем революционном жаре, светящемся «правдой» и «самопожертвованием».

Летние вечера в памятном ей по гимназии городе, и только этой памятью неизменно живом. Съезжавшиеся на каникулы студенты и курсистки. Катанье на лодке по Днестру. Однажды после катанья разбрелись по берегу, и Фрид оказался с нею. Он ей говорил о себе: он женат, и у него трое детей, а женился, когда ему было восемнадцать лет, жену он больше не любит, но не может освободиться. Очень это ее удивило: непонятным казалось ей — желать освободиться, а жить по-прежнему? Единственное объяснение: его деликатность и уступчивость! — но воля?

«Жить во лжи непростительно», — сказала она.

Он ничего не сказал.

А после одной такой же прогулки — памятный вечер — он сказал ей, что любит ее, и что это она открыла ему глаза на ложь его жизни.

«Не из-за меня вы должны освободиться, — сказала она, — а во имя правды».

До мелочей вспомнилось это последнее свидание.

После катанья на лодке пошли на кладбище. Кроме Фрида, Нина и студент, по прозвищу «Колода», влюбленный в Нину. Яркая лунная ночь и тихо, как бывает на кладбище, и только деревья шумели. Как ей не понравилось, когда Нина у могилы своего отца продолжала громко разговаривать:

«Будто не у могилы, а у себя в столовой!» — подумала она про Нину.

Она шла с Фридом. Нет, у нее не было к нему никакого чувства, ей только было его очень жалко. Ей захотелось отыскать могилу своего брата, она его никогда не видала, умер до ее рождения, но с которым связана была память — слова матери: однажды, и это случилось еще в детстве, она была на кладбище с матерью, мать плакала и потом рассказала ей, какой был Ваня, как она его любила, и заболел он — кровавый понос — не вынес, и как она после его смерти не могла утешиться и очень желала ребенка. «Через полтора года ты и родилась!». Из этих слов было ясно, что родилась она желанной: она заменила матери любимого сына — принесла мир в неутешное сердце.

Отыскивая могилу брата, вдруг заметила она склонившуюся у креста — и узнала: это была Саша Товкачева, а могила ее сестры Сони; Саша, крадучись от матери, ходила на кладбище, вот почему так рано, еще только три часа!

Судьба Сони: повесилась через три недели после свадьбы — и на кресте надпись: «Софья Николаевна Товкачева, по мужу Кольчевская».

«Под этой надписью какая-то тайна, — сказал Фрид, — пойдемте тихонько, чтобы она не заметила!».

И они незаметно прошли. Рассветало. Петухи пели. И какие-то кургузые птички, ранние, первые, проснувшись, перепархивали с ветки на ветку.

На другой день она уехала к себе в деревню, а Фрид вскоре эмигрировал.

И теперь, вспомнив эту ночь, она сказала себе, как тогда, что у нее не было любви к Фриду, а только сожаление, и прозвище она дала ему — «бедненький». Но из всех, с кем за всю ее жизнь сталкивала ее судьба, он был самый нежный и какой-то неключимый в своей любви к ней, он ничего не требовал, ни на что не претендовал и только смотрел печальными глазами. «И что сильнее “правда»” или “любовь”»? — спросила она себя.

«Да, конечно, любовь».

Теперь ей ясно, только любовь дала ему тогда волю освободиться и начать новую жизнь, и его эмиграция вовсе не потому, что бы был он таким уж революционером: эмиграция для него — единственный возможный способ выйти из «лжи» во имя... «любви».

Оля была тяжело больна, выздоравливала и все это время при ней неотлучно была сестра милосердия. Всякий день Фрид справлялся по телефону — подходила сестра. А когда Оля поднялась и подошла сама, слышит:

— Как здоровье Оли?

И не узнала голоса:

— Кто говорит?

— Ваш старый знакомый.

И она поняла: Фрид.

В тот же вечер он пришел. Как изменился! Он напоминал библейского пророка. А из его печальных глаз светилась неизменная любовь.

Тогда же, а иначе и не могло быть, после той памятной ночи — признания, и ей это было известно, он разошелся с женой, и все годы эмиграции жил с ним в Париже его любимый сын Коля, которого он называл Кот. С Котом он и приехал в Россию.

— А Кот теперь важный, — рассказывал Фрид, — ночевали мы в гостинице, слышу, упало что-то. «Кот, — говорю, — что это такое?». — «Одеяло, — говорит, — упало». — «А ты сам?». А он отвечает: «Я тоже».

Всякий день приходил Фрид. Сколько любви внес он с собой в дом: светящаяся и согревающая чувствовалась она в каждом его взгляде, в каждом слове, в каждом движении. Говорили и о важном — это было в разгар революции, и о мелочах. И, может, нигде так не чувствуется дыхание этой любви, как в житейских мелочах!

Когда Оля стала выходить, как-то вечером она пошла с Фридом на собрание. Возвращаясь, почувствовала усталость.

— Надо взять извозчика! — сказал Фрид.

— Так близко?

Это было на 9-й линии, а Оля жила на 14-й.

Но Фрид настоял — извозчики тогда еще существовали, доживая последние дни.

* * *

Перед отъездом к отцу в Киев, Фрид пришел проститься. За краткий срок этого последнего свидания он понял, что дни, проведенные с Олей, были самое лучшее, что было в его жизни.

— Мне хочется что-нибудь оставить вам на память! — сказал он, прощаясь.

Но ничего такого не было, чтобы дать. И вдруг он обрадовался: в кармане совсем позабытая оказалась новенькая — две-лиры — итальянская память.

— Ну, вот, эти две-лиры — серебряная, пусть они вам напоминают обо мне.

И когда Оля пошла проводить его, на лестнице он повторил:

— Самое лучшее воспоминание всей моей жизни — вы.

И глядя на его печальные, вдруг загоревшиеся счастьем глаза, она поняла, что больше они никогда не увидятся.

Времена тогда были такие: уехать уедет человек — и редко кто возвращался. Так и с Фридом — чувство ее было правильно: Фрид не вернулся: в дороге заболел — тиф — и, по приезде в Киев, — никого, и отца не узнавал! — умер.

А его память — две-лиры — Оля хранила все годы военного коммунизма, а это не легко было, когда при всяких обысках искали оружие, продовольствие, а заодно, на что упадет глаз.

Эта серебряная монета — две-лиры говорили ей о человеке, который ее любил тихо и незаметно, неизменно всю жизнь, о нежном человеке — чистом — серебряном, как его память, и что этот человек не был счастлив.

«И Кот не будет счастлив!» — вспоминались слова Фрида.

Но в какой-то срок подкралась и вошла в дом — такую ничем не умилостивишь: ошарила все углы, уголки — она куда зорче бывшей прислуги, особенно лютой при обысках! — это нужда добралась и до заветной серебряной монеты. Пришлось продать — много ли? — все равно, только б на сегодняшний день.

Но серебряная память — она и без серебряной лиры и чиста и неизменна и сияет здесь, куда не доберется ни одна живая сила в мире, чтобы отнять. И только когда огонь жизни погаснет — — но я не могу не верить, я верю, этот серебряный свет отойдет в вечность, светя — пусть даже из самой черной и тесной «закоптелой бани, по всем углам пауки».

Земля и море

Как было не любить Оле благословенную черную землю, черные теплые черниговские ночи, перелетную прозрачную осень, белую с жаркими огоньками зиму, воркующую весну, летний окликающий полдень, широкую и задумчивую степь, и лошадей, и собак. И земля, ее выняньчившая и зарумянившая, как свой сад, щадила ее.

Гимназисткой третьеклассницей Оля приехала домой на Пасху в Ватагино. А обратно в гимназию решено было отвезти Олю на лошадях: ехала Маруся, племянница соседей Лупичевых, старшая гимназистка, и ее тетка Анна Ивановна; тетка ходила на костылях, но была очень добрая и веселая.

Оле было обидно, что не свои провожают, а поручили чужим — если бы только знали, сколько было пролито слез прошлой зимой над книгой Достоевского, посвященной детям, и что все эти слезы — ее память о доме! И дорогой Оля плакала, не замечая дороги. И вдруг — эти слезы ее или поворот крутой — бричка наклонилась и Оля тихо выпала в канаву — — и видит она, как выпадает Маруся, и подвинулась, чтобы не упала на нее. И Маруся пришлась рядом и тоже, как Оля, не ушиблась. А тетка Анна Ивановна на костылях удержалась в бричке — чем она держалась, неисповедимо: сидит, смеется. Добрая ли душа ее и веселость духа удержали ее в воздухе, а ведь дряпнись она с костылями, и здоровая кость хряснет, а костылями задавила бы.

В гимназии все удивились: так Оля загорела, — а это солнце и слезы! И потом с лица слезла кожа. Но на теле никакого следа, как и не падала.

* * *

Летом в Петербурге Оля была всего раз, потом уж целое лето проведет в тюрьме... А ездила Оля летом в Петербург не одна, а с Черкасовым: Черкасова везли из Бобровки, чтобы поместить в психиатрическую лечебницу. А согласился он ехать в Петербург только потому, что вызвалась ехать Оля. Для Оли это было очень тягостно, но без нее ничего нельзя было сделать.

И вот она возвращалась из Петербурга домой, теперь одна, измученная; все ее измучило: и дорога и эти дни в Петербурге.

И особенно конец в лечебнице: чтобы заманить Черкасова, и это был единственный способ, Оля должна была сказать ему, что хочет войти в комнату; Черкасов всегда забегал вперед, чтобы чего-нибудь не случилось с Олей, и на этот раз поспешил войти, предупреждая ее, и дверь за ним захлопнулась. Эта захлопнувшаяся дверь не выходила из ее глаз, а звук захлопнутой двери, разделившей его навсегда от Оли, стоял в ее ушах.

От станции Оля ехала на лошадях, не замечая дороги. И как ей было помириться с этой навязанной ей ролью — «ведь он ей не мог не поверить, и вот дверь за ним захлопнулась!» — повторялось укором. И ее терзания, что она в чем-то виновата и нельзя вернуть! — и ее негодование, почему ей такое? — с дорогой не только не утихли, а раскалились.

Между Ватагином и Лубенцами лошади вдруг испугались и понесли. Оля очутилась на земле. И легко поднялась она и, крестясь, посмотрела кругом в ночь — лошади мчались с кучером и скрылись из глаз. Одна она стояла среди поля и не было конца ночи. Потом уж показался кучер: он шел по полю — его тоже сбросило. До Лубенцов было ближе и пришлось идти в Лубенцы. И пока-то добудились хозяина, стало рассветать. С рассветом доехали до дому. А лошадей на другой день за двадцать верст поймали — бричка была разбита.

Благословенная черная земля щадила Олю, и Оля ее любила. А в Петербурге она узнала море и полюбила море, как свою черную землю.

Олю с детства тянула вода, любила купаться и научилась хорошо плавать, а любимым ее развлечением было кататься на лодке. А с тех пор, как однажды Оля чуть не потонула, и ее откачали, глаза у нее словно прояснились и, серые, они то зеленые, то голубые, и темные серые под упорною думой и непреклонным решением.

Весною в Петербурге Оля очень тосковала. А весна была страдная — экзамены. Заботы начинались с утра.

Не успела Оля чаю напиться, пришла Женя Шубина: они вместе пойдут в Публичную библиотеку, сядут рядом и будут помогать друг другу делать выписки, — так и день и пройдет, а завтра экзамен.

И они вышли на улицу. А солнце — только в Петербурге бывает такое весеннее: и от Невы, и от взморья, и от белых ночей.

— Давайте покатаемся на лодке, так близко! — сказала Оля: Оля жила на 3-ей линии, пристань рядом.

— Давайте, — согласилась Женя. Женя очень кроткая, и Оля ей очень нравилась, и никак она отказать не могла.

Наняли лодку: одна за рулем, другая гребет — в переменку. Так и катались. Так весь день и прокатались. И ни разу-то не вспомнилось о экзамене. И только на пристани, выйдя на набережную, поняли, что ничего-то не приготовлено, да и поздно.

Законодательница чего «нельзя» — Варя Финикова, можно поручиться, что у нее-то наверняка все готово. Идти к Варе и попросить выписки, но уговор, о лодке не сознаваться. Так и решили.

Но стоило только переступить порог, и Варя, взглянув на Олю, расхохоталась: ну, конечно, не библиотека, а только Нева с ее блестящей синей широтою, только весеннее взморье так зарумянило Олю. И пришлось признаться.

Над образцовыми выписками Финиковой Оля и Женя просидели ночь: на экзамене они ответят на все вопросы.

И больше никакой тоски — это море! — море тоже любило Олю.

С горбом

Я думал о моей безвыходности. Знаю, не надо об этом думать, иначе никак не выкличешь выход. Ведь если до конца додумывать, то потеряешь и последнюю бодрость, и откроется единственный выход — смерть. Подумать только, сама наша жизнь — этот круг, где нет ни за, ни выше... человеку дано сознание, и никаких средств что-то изменить самое важное в жизни, да и сознание-то не Бог весть какое!

И вот было решено, что я должен кончить жизнь самоубийством. Я шел около трамвайных рельсов, высматривая, где бы половчее попасть под трамвай; я выбрал этот способ, потому что никому в голову не придет, что найдется такой дурак — броситься под трамвай. Но на мое горе улицы оказались пустынными, ни одного трамвая; и, не находя другого выхода, я стал подыматься по стеклянным площадкам какого-то огромного дома и поднялся к самым трубам и вдруг увидел, что нахожусь над трубами и не иду я, а лечу — и подо мной улица, трамваи и автомобили. И с ужасом подумал, как же это я буду спускать-

ся? — я не переношу ни высот, ни провалов! — и при этой ужасной мысли упал на землю. И прямо в «кав» — черный подвал. В руках у меня шнур с электрической лампой, все ниже и ниже по каменным ступенькам спускался я, освещая выступы: я знал, что где-то в этом «каве» спрятана и хранится века лампа и, как в арабских сказках, никому эта лампа не дастся, только мне, я должен найти эту лампу, это и будет тот талисман, который откроет передо мной все дороги. Но когда я раздумывал о заколдованной лампе — и почему-то я знал, что лампа однажды мне принадлежала, когда я в какой-то прошлой моей жизни жил в Польше — вижу и, как это случилось, не знаю, я уж не в «каве», а стою я на пустынной площади у лотка, разложено мясо, — красное, парное большими кусками, и я выбрал себе почки — любимое кушанье людоедов! — вспомнилось из Робинзона. Но тут какие-то руки нахально разобрали весь лоток. И я ни с чем, и одна мысль — ледяная, она опускалась до самого сердца — это мысль, что нет мне выхода. И вдруг увидел похоже на Place Denfert-Rochereau, Бельфорский лев, и не один, а два. И когда я проходил мимо львов, один лев подал мне лапу. И я очутился в саду у колодца — надо вертеть колесо, чтобы достать воды, и я взялся за колесо, но с водой вспыхнул огонь, и я видел, как вода заливала огонь. И кто-то сказал: «это оттого, что вы обращаетесь не к одному».

На этом и кончились мои ночные приключения, мало чем отличающиеся от дневных, тоже полных всяких чудес, боли и отчаяния. На душе, как и во сне, была одна мысль, — она не отпускала меня, — ледяная, опускалась она до самого сердца: я думал о своей безвыходности. И совсем невольно от своей перешел я к судьбе других, обреченных на ту же ледяную мысль.

* * *

Раиса Кочуева поступила в седьмой класс гимназии из какой-то шестиклассной прогимназии. И сразу все почувствовали, что она другая, особенная, ни на одну из гимназисток не похожая.

Кочуева — горбатая, и не тот у нее горб, какой бывает от перелома, это и не горб, а при маленьком ее росте над шеей возвышение, а кажется, что горб: последствия тяжелой болезни в детстве, что-то с позвоночником, когда дети обречены бывают годы ле-

жать и не двигаться. Синие глаза, тяжелые черные косы, и еще что-то... что-то в лице ее было старообразное. И весь класс невольно ей стал говорить «вы», когда друг с другом всегда на «ты».

В первый раз про Кочуеву, что она особенная и кажется на много старше всех, первая сказала Лиза Куманина. Лиза сама была не как все: хромая: одна нога короче другой, — не могла танцевать, и не бегала, когда была маленькая. Лиза ее первая и заметила и определила.

Оля пришла к Лизе перед экзаменами помочь ей по русскому. И вот Лиза говорит:

— Ты замечаешь, что Раиса Кочуева будто старше нас всех?

И Оля сразу поняла всю непохожесть Кочуевой. И с этих пор хотела подойти поближе к ней. Но это было не легко сделать, а если и удавалось, не успевала сказать и слова: Оля всегда была окружена подругами, а, кроме того, приготовишки, и особенно Вера Ястребова и Сима Мотылева бегали, не отставая, и вешались, и липли.

Раиса Кочуева на переменах стояла в углу между роялем и окном — это ее всегдашнее место — и пристально смотрела на бегающих в зале гимназисток и на улицу, и ее тяжелые черные косы, казалось, давили ее, и эта тяжесть выражалась в напряженном взгляде; а когда с кем-нибудь разговаривала — редко она разговаривала — эта тяжесть черных кос выражалась в улыбке: она тихо и жалко улыбалась.

Весной на большой перемене гимназисток выводили в сад — это был большой фруктовый сад, примыкавший к гимназии. Однажды в саду Раиса подошла к Оле и, как всегда, пристально глядя своими синими глазами и жалко улыбаясь, сказала:

— Оля, пойдемте я вам покажу: солдат повесился.

В конце сада была уборная — туда и повела Раиса Олю. И, забежав вперед, раскрыла дверь — и Оля увидела: в уборной стоял солдат с синим лицом.

Но, должно быть, хватились — и это было одно мгновенье: набежавшие одна за другой классные дамы отогнали Олю и Раису.

У Оли белым железом выжглось в глазах, и только одно она видела: перед ней стоял солдат с синим лицом. Душа ее хлебнула этого синего ужаса — синей ледяной мысли отчаяния, и не

могла успокоиться. Ночами Оля не могла заснуть, а днем плакала.

— Не плачьте, Оля, — сказала Раиса, — у вас есть папа и мама, а вот у меня, как у того солдата, никого.

И Оля узнала, что Кочуева живет на квартире, за нее платит опекун. И вдруг поняла, что синее лицо повесившегося солдата — синяя ледяная мысль самой Раисы, и теперь она видела то же синее лицо в ее пристальных синих глазах. Но не страх, жалость сковала ее, — но этого она не смела сказать, не зная, как и чем помочь.

И это была последняя встреча в гимназии: Кочуева вдруг исчезла.

В первый свой приезд из Петербурга летом Оля встретила Кочуеву на улице. Раиса остановила Олю. И они пошли вместе. Раиса расспрашивала Олю о ее жизни в Петербурге. И хотя Оля чувствовала к ней глубокую жалость, но близости не было, да и прошло два года — Оля ее стеснялась и отвечала обще: о курсах, о лекциях.

Кочуева снимала комнату у Нелли Руновской. Нелли, бывшая гимназистка, старше классом Оли. Никаких отношений между Олей и Нелли никогда не было. Оля знала, что Нелли из очень бедной семьи, отца нет, а мать сдает комнаты, а в городе и в гимназии шла слава, что Нелли очень красивая. Кочуева привела Олю в свою комнату, там была Нелли, и Оле показалась она действительно красивой.

За чаем говорила Нелли. Она рассуждала о богатстве. Ее цель добыть богатство, и она добьется богатства: с детства она видела много нужды и не согласна жить в нищете.

Бедность Нелли привлекала Олю, вся душа ее была к ней, но Оле странно и чуждо было слышать эти рассуждения о богатстве — как избыть бедность, но перед упорством и бесповоротностью Нелли Оля не находила слов возразить ей. Раиса, пристально глядя своими синими глазами, тихо и жалко улыбалась: в ее глазах светилась та же упорная мысль и бесповоротно — но как ей было избыть свое безвыходное несчастье.

Олю возмущали слова Нелли и жалко было Раису.

Раиса все угощала Олю апельсинами и конфетами.

А через год Оля узнала от своей всезнающей тетки, что Нелли Руновская вышла замуж за очень богатого старого генерала

Френсдорфа: муж ее почти слепой после какой-то болезни. И когда однажды Оля проходила мимо ее теперешнего огромного дома — лучшего в городе, увидела Нелли: нарядная, расфранченная, она садилась в экипаж — рыжие лошади, рысаки, и с ней в военной форме старый-престарый мухомор; Нелли торжествующе смотрела, кивая Оле, и рукой показала на своего слепого спутника: она достигла цели, и ее желание исполнилось.

Потом уж в свои третьи каникулы от той же всезнающей тетки Оля узнала, что у Нелли родилась девочка.

— Но все говорят, — объяснила тетка, — что эта девочка — дочь сына ее слепого несчастного мужа.

Оля мало обращала внимания на теткины «все говорят», да и не было ей никакого дела до Нелли: более чуждой, чем Нелли, она не могла и представить себе — и эта ее пустая жизнь, может быть, и очень счастливая, но каким проклятым счастьем лжи и обмана!

И в тот же год Оля в последний раз встретила Кочуеву. На узловой станции, дожидаясь петербургского поезда, Оля заметила Кочуеву: она сидела в уголку и дремала. Оля подошла к ней.

Если у Раисы и всегда было что-то старообразное в лице, теперь трудно было сказать, что она ровесница Оле: это была совсем старая женщина, сморщенная, с поблекшими усталыми глазами, и какой чугунной тяжестью казался ее горб.

Оля — вся в другой жизни, стала ей рассказывать о борьбе, чтобы сделать человеческую жизнь человеческой, чтобы не сила и страх, а разум, совесть и воля управляли жизнью. Оля думала распропагандировать ее. Оля рассказывала о людях, которые сидят по тюрьмам и страдают за правое дело.

Раиса слушала внимательно.

— Сидеть в тюрьме, — сказала она, — это не несчастье, это только неприятность. А несчастья, я думаю, вы еще не видели.

И Оля поняла, что Кочуева говорит про себя.

И ей вспомнилась Нелли, ее неизбывная бедность, — «но теперь-то она богатая!»

«А как поправить непоправимое, найти выход и успокоиться — избыть горб Раисе»?

В гимназии с Олей училась Саша Харькевич. Во всех классах она всегда была последней ученицей. И не потому, чтобы

была неспособная или больная, а просто не хотела учиться. И только благодаря настоянию своей тетки она кончила гимназию, чтобы никогда больше не брать в руки никакие учебники, и никогда не ходить по улицам города. Город и гимназия у нее соединились в одно — самое ненавистное. В семнадцать лет она поселилась в деревне и жила безвыездно. Она занималась хозяйством в имении своей тетки, которая ее воспитала и для которой она была единственной в мире.

Однажды в Петербурге Оля получила письмо от Саши. Письмо начиналось: «дорогая Александровна», — и дальше шло объяснение, почему только отчество. Да так, оказывается, надо по-народному, — и чтобы Оля называла ее «Андревной». Потом следовало признание, что она не променяет свою жизнь ни на какую другую, что она счастлива следить за переменами времен года, и величайшее счастье испытывает, когда несет на плече поднос с только что сорванной малиной. И заключение: так как Оля не хочет выходить замуж, то она предлагает ей в своем доме угол, когда Оле это понадобится.

А между тем то деревенское счастье, которого после мытарских семи лет гимназии достигла, наконец, и которым наслаждалась Саша, вдруг ей изменило: с каждым свежим утром на деревенском воздухе она стала таять и все глуше кашляла. И сначала встревожилась любящая ее тетка, а потом и сама она спохватилась. И то, что казалось ей невозможным, стало необходимым: Саша приехала в Петербург показаться доктору. И разыскала Олю.

Перед Олей была не Саша, а Андревна: от гимназической Саши «последней ученицы» ничего не осталось — это была приговоренная к смерти чахоточная женщина.

Рассказывая о своей счастливой жизни, — о весне, лете, осени и зиме — о малине, яблоках, Саша упомянула Раису Кочуеву. Оля очень заинтересовалась. Синее и безысходное вдруг вспомнилось ей, да оно было и в глазах Саши, только Саша этого не замечала.

Раиса вышла замуж: ее муж их сельский священник — простой батюшка.

— И у нее родился сын.

Оля насторожилась:

— Как же она теперь?

— Умерла, после родов, — сказала Саша, — и совсем уж слабая попросила показать ей ребенка: хотела удостовериться...

Оля посмотрела — и не на Сашу, выше — выше, как однажды взглянул Гоголь из своего безмятежного «рая» (Пульхерия Ивановна) и однажды Достоевский из своего «ада» (Соня Мармеладова): одна была пламенная мысль и одно-единственное слово уверенное, молящее и грозное «Бог не допустит» — и этот взгляд на один миг — но если бы дана была человеку бесконечная жизнь, этот единственный взгляд остался бы на веки веков.

— И умерла счастливой, — поспешила Саша, — у ребенка не было горба.

И Оля почувствовала, как вдруг стало ей на сердце тепло, и синее ледяное — синее лицо повесившегося солдата, неизгладимо связанное с синими глазами Раисы, разошлось, как тяжелый туман, и еще глубже в памяти тихо засияла лазурь ее родной черной земли.

Живое и мертвое

По заразительному смеху, с каким появлялась Анка Дударева, ее можно было узнать в любой толпе на демонстрации. Да и так — там, где было жарко, там, значит, и Дударева. Глядя на ее необыкновенно белые зубы — самый нерешительный поддавался и осмелевал. Высокая и легкая, шла она напролом. Так в немирной обстановке. Но и в затишье — в песенные кануны, она была приметна. Голос небольшой, но крепкий: в хоре на студенческих вечеринках, она всегда вторит и голосом приковывает к себе. И уж не эти белые зубы, а видишь глаза — голубые... да, что-то от чистого поля было в их цвете и колдовской тишине. Еще надо сказать, и тут эту паспортную примету не обойдешь: нос — нос у нее широкий — бабкой, очень по-русски; должно быть, форма от наших северных кочек, как и светлые ее волосы от тонких зорь белых ночей.

И что странно — для Оли было очень странно: там, где появлялась Анка Дударева, тут же была и Маргарита Беликова. Или и так: где Маргарита, там и Анка — они всегда вместе. Но большей противоположности трудно себе представить, и во всем разные. Крупная, черная Маргарита с фамильной белизной кожи — Беликова! и эти толстые губы, которым не до улыбки и не

до смеха, и эти ее серые глаза с тяжелыми веками, как опухшие, всегда притуплённые — так ли бы она видела, если бы они вдруг раскрылись... и уж, конечно, не так бы она смотрела! — с такими глазами не говорливы; ее нос очень нравился Оле: прямой, но не клювом, а короткий и кажется задорно вздернут. И никакого задора, и ничего от имени — Маргарита, и ни воздушного и горячего от неразлучной Анки.

Еще в гимназии Маргариту часто вызывал учитель математики, и это объясняли тем, что где-то этот учитель Световидов отозвался о Беликовой, что она красивая. Но студент Королев при Ильиной выразился не так: «Беликова просто безобразная». Но «бабушка» возразила: «Раз за ней ухаживают, стало быть, она красивая».

Да, стало быть, для кого-то красивая. И Оля считала Маргариту красивой.

«Если бы я не знала тебя, — сказала Оле окончившая курсистка Шапошникова; Шапошникова когда-то училась с Олей в гимназии: Оля была в приготовительном, а Шапошникова кончала, потому и «ты», — я подумала бы, что ты говоришь «нарочно»: есть такие женщины, которые говорят друг о друге нарочно».

И Маргарита, и Анка сочувствовали с.-р.-ам. И обе не пропускали ни одной вечеринки, ни одного доклада. На эти вечеринки с нескончаемым пением и на эти доклады на необыкновенно скучные темы — Оле особенно скучными казались по аграрному вопросу, Оля еще на первом курсе к концу года перестала ходить. С Маргаритой Оля училась на одном курсе, с Анкой познакомилась у Кашиных.

Кашин — директор завода в Мурзинке, либерал. И жена его тоже. Оля попала в их дом через Шапошникову, которая познакомила с Кашиными не только Олю, а и еще многих молодых курсисток, в числе которых была и Анка. Хозяевам, должно быть, доставляло удовольствие присутствие молодежи. Принимали очень радушно. По душе Оле они были совсем чужие, ей было холодно с ними, но обстановка из «того мира» наперекор всему примиряла. Оле было приятно посидеть в кресле, — и все было прибрано и подано, — и рояль, и ковры, — такое непохожее на петербургскую комнату, в которой проходили дни. У петербургских хозяек была такая мода — топить печку через день,

а это очень чувствительно, особенно утро в день топки! И Оля иногда ездила за Невскую заставу «погреться».

Оля возвращалась от Кашиных домой с Анкой. Путь долгий — времени для разговора сколько угодно. И первое, что Оля спросила Анку — это свое недоумение о дружбе Анки с Маргаритой.

— Вы дружите с Беликовой?

— Да, — ответила Анка, — но не все гладко, как зеркало.

Значит, действительно, между ними была дружба, хотя и не «зеркальная». Но, что связывало их, Оля так и не спросила: неловко. И стали говорить о экзаменах.

А вскоре Оля узнала от Зины Рашевской, что и Беликова и Дударева влюблены в одного студента. Так все и разрешилось: их соединяет любовь. Но кого из них выбрал студент, Маргариту или Анку? — Зина не могла сказать.

Было три студента сибиряка: Королев, Громов и Колычев. Жили они вместе в одной комнате. Их комната по лютости была самая холодная, подлинно, сибирская. У каждого на столе стояло по лампе — три лампы, как три печки; хозяйка никогда не топила. Все трое сочувствовали с.-р.-ам. С Королевым и Громовым Оля познакомилась в Нормальной столовой. С ними иногда бывал и Колычев, но всегда в штатском: рыжеватый, с ямкой на бороде — получивший прозвище «студент, социальное положение которого только что выяснилось»; однажды он явился в столовую в студенческой тужурке и этой тужуркой решил, наконец, для Оли и Зины, кто он; они принимали его за горняка.

Оля обещала Анке свои записки к экзаменам и сама понесла ей. Анка своей не считалась, она была только «сочувствующая», но живостью и горячностью всегда тянула к себе Олю и еще тем, что была «хорошенькая» — какая-то чистая вся, нравилась Оле. Анка, провожая Олю, попросила ее зайти вместе к одному студенту: что-то надо было Анке взять у него. И они зашли. А это и была та самая «сибирская» комната, а таинственный студент — Колычев, «социальное положение которого только что выяснилось».

Оле он показался и в словах, и в манере типичным студентом — таких можно найти у Чехова, а до Чехова у Лескова: эта покоряющая искренность, горячее сочувствие и обязательная

театральность делали такого студента в одиночку очень скучным, а в массе — про таких-то и сложена была песня «Нагаечка». И что поразило Олю: его необыкновенная бледность, а ямка на бороде, как защипка на тесте, совсем черная. Колычев тоже готовился к экзамену и просиживал ночи напролет, а на воле — белый май!

И теперь Оля рассказала Зине, как была она с Анкой у студента, «социальное положение которого только что выяснилось», но не может сказать, как он относится к Анке, а скорее капризно — и, стало быть, Анка не та, и вот откуда не «зеркальность» дружбы.

Все это, конечно, неважно и мимолетно для Оли: Анка и Маргарита со своей сдружившей их любовью и Колычев со своей. А это так — бывает так: и самая мельчайшая мелочь — отзвук или тень какой-нибудь другой жизни — вдруг займет твою мысль, хотя бы на мышиную единицу в бесконечности всей жизни.

Летом после экзаменов Оля поехала домой. В деревне долго она не могла жить: скучно. А в ближайшем городе — неинтересно. И всегда Оля ездила в Киев: там новости. В первый же день в Киеве Оля встретила курсистку Груздеву и от нее узнала, что в Киеве и Маргарита, и Анка, а приехали они из-за Колычева: Колычев лежит в больнице, у него был тиф, и уж стал поправляться, но произошло какое-то осложнение, и, должно быть, не выживет.

Известие это нисколько не взволновало Олю, ну, жалко — и только. И, может быть, так бы и вернулась она домой, и никогда бы не вспомнила о Колычеве, но на улице же столкнулась с Маргаритой: Маргарита шла в больницу и повела ее с собою.

Еще несколько дней назад Колычев, оправляясь, вдруг стал тяжело дышать, — слышно было даже за дверью — и по его словам, — он еще говорил — хотел он дыханием своим пробить стену, а со вчерашнего дня лежал пластом: ни ногой, ни рукой, и говорить не мог. Но по взгляду и по каким-то никому незаметным движениям и стону, только одна Маргарита понимала, что он хочет. Суровая, с тяжелыми веками, еще отяжелевшими за бессонные ночи — и, смотрит ли и видит ли она что, не поймешь! — не спускала она глаз с больного и видела, чего никто не видел. А в другой комнате Анка плакала: Анка не понимала Колычева.

Через три дня Колычев умер.

Оля пошла на похороны, чтобы было легче Маргарите и Анке. Анка крепко плакала — так, как, бывало, смеялась. А Маргариту Оля не видела — не смотрела на нее; да такие и не плачут, но и лучше не смотреть на них. Народу было очень мало. Какие-то чужие кладбищенские старухи мышами шмыгали из углов. И одна мышь, незаметно подойдя к Оле, сказала:

— Какой узкий гроб и так бедно.

И Оля вздрогнула — ей жутко стало от этих слов. В первый раз поняла она, что о таком — и уж, кажется, где все расчеты кончены — о мертвом можно судить и рассуждать так же, как о живом.

Похоронили Колычева там, где указала Маргарита, на берегу Днепра: там у него были свидания с Маргаритой.

Так и последнее недоумение Оли разъяснилось: избранной оказалась Маргарита, а не Анка. И теперь был еще вопрос: кто же сильнее любит, Маргарита или Анка? Казалось бы, Анка — ее горячность и беззаветность и эти ее слезы — безутешны... но и тяжелые веки, скрывавшие глаза Маргариты, и Бог знает, что там еще таится! глаза, которые видели то, чего никто не видел, и ее суровая молчаливость, ведь это такая крепь...

После похорон Оля узнала, что делали вскрытие и нашли в мозгу что-то, от чего Колычев и не мог говорить. На вскрытии присутствовала Маргарита. Но не Маргарита, киевские студенты рассказывали Оле. Киевские студенты проще петербургских и московских и большие остряки. Студент-медик Смирнов заявил Оле, что в анатомическом театре с трупами он «запанибрата».

Лето было в разгаре. Днем невыносимая жара, а вечерами чудесно: луна и огромные тени от деревьев. Эти лунные ночи Оля провела в разговорах со своими новыми знакомыми, и Смирнов на прощанье подарил ей свою карточку с надписью: «Ольге Александровне Ильменевой от Б. Смирнова на память. Подробности см. на обороте». С этой карточкой «на обороте» Оля вернулась домой в деревню. В ее памяти осталось: «запанибрата» — слова Смирнова о мертвом Колычеве, и еще напугавшая ее на похоронах мышиная старуха с ее рассуждением о мертвом, как о живом.

Осенью в Петербурге Оля первую увидала Маргариту: Маргарита как-то переменилась — или эта ее суровость, дошедшая

до жестокости? Разговор о дороге: Маргарита рассказывала, как, возвращаясь в Петербург, она в вагоне видела — барышня, ее соседка, вытирала пыль со своей шляпы...

— Так вытирала, как будто шляпа ее была живая, и очень удивилась, что я свою бью об окно, как ковер, — сказала Маргарита и заплакала.

И в первый раз Оля увидела ее глаза — серые, они светились нароставшими слезами; может быть, в первый и единственный раз эти тяжелые веки поднялись, чтобы дать слезам выход и сквозь слезы открыть правду о мире, где нет ни мертвого, ни живого, а есть только чувство живое и мертвое. Толстые ее губы были смочены, а слезы наливались и лились.

Оттого ли она плакала, что, увидев Олю, вспомнила последние дни в больнице, свою любовь, которая видит, чего никто не видит, и понимает без всяких слов; или живая шляпа соседки напомнила ей вскрытие — она этого забыть никак не может — мертвого Колычева, с которым обращались «запанибрата», как она со своей шляпой, выбивая ее, как ковер. Она плакала о своей любви, плакала над тем когда-то живым, который неизгладимо стоял в ее глазах, но не живой, а ссохшийся, свернувшийся, как заяц, с красным, распутно раскрашенным лицом — завтра оно будет синим — и с рассеченным черепом, где клубком маслянистых червей серел мозг, она плакала в первый и последний раз. Такого плача, когда захлебываются, и нельзя остановить слез, Оля никогда не видала.

Потом Оля встретила Анку. И как будто ничего не произошло; Анка так же смеялась. И, глядя на нее, на ее белые зубы, не хотелось отходить. Между лекциями Оля ходила с ней. И Анка рассказала Оле, что теперь у них дружба с Маргаритой зеркальная, и что у каждой на столе стоит портрет Колычева. А вдруг появившаяся Маргарита — рядом с Анкой показалась Оле страшною. И ясно было, что Маргарита любила сильнее Анки.

Но чья же любовь крепче?

У Оли была своя жизнь и по-своему. И эта жизнь заслонила ей на долгие годы жизнь Анки и Маргариты. Но то, что случайно однажды приоткрылось перед ней, вошло в ее мир, как живое и мертвое — вошло любовным чувством, по которому неодушевленное видится, как живое, и мертвое живет.

После ссылки Оля побывала проездом в родном городе, где прошло ее детство до Петербурга. Сколько воспоминаний!

Маргарита уже не Беликова, а Окорокова. Муж ее — известный с.-р. И сама она из «сочувствующих» перешла в разряд «деятельниц» и, хоть не состоит в партии, но по мужу занимает высокое место. У нее двое детей — два мальчика.

О Колычеве Оля не напомнила: неловко. Не заметила и портрета на столе. Но на столе Анки? Оля спросила: где Анка?

— Замуж она не вышла, — сказала Маргарита, — живет безвыездно у брата в деревне.

И почему-то Оле вспомнилась курсистка Волкова: как эта Волкова, сочувствовавшая с.-р.-ам, стала ходить с курсисткой с.-д., и Оля говорила ей: «Мария, бедная Мария...» И теперь, слушая Маргариту, и вспомнив «зеркальную» дружбу Маргариты с Анкой, повторяла себе этот стих. И какой зеркальной поднялась перед ней Анка со своей живой-животворящей любовью, для которой нет ни мертвого, ни вещи, а только жизнь, нелюбимая Анка, для которой само смертоносное жало не смертельно.

«А что же смертельно? — спросила себя Оля, — какое жало могло убить эти бесслезные, вдруг налившиеся слезами глаза Маргариты — плач о любви?»

И в ответ прозвучали слова из ее верного сердца и от чистой мысли — той несмертной части смертного тела...

«Измена».

Лепта из вечного

Оля всегда огорчалась, когда ей в чем-нибудь отказывали, ссылаясь, что она младшая: «Не виновата я, что позже родилась!» — говорила Оля. А однажды заявила, что она тоже большая. «Кто же это тебя большой считает?» — «Швейцар в гимназии!» — ответила Оля. Ее ответ подняли на смех. А вот Оля и для всех стала большая: ей девятнадцать лет, и ее уж не называют Оля, а Ольга Александровна.

* * *

Оля познакомилась с Шидловским на пароходе. И Шидловский и Оля, оба ехали по «проходному» свидетельству в ссылку на Печору. Путь от Вологды пять дней. И самый молчали-

вый за такой срок разговорится. Шидловский всю дорогу не оставлял Олю.

«Он хороший, — подумала Оля, — только мало культуры».

Под Рождество Оля ходила с Шидловским ко всенощной. Была сильная метель — едва можно было открыть церковные двери — ветер рвал. Но и каким волшебством и какой жгучей радостью отозвалась в ее сердце Рождественская песня! Из церкви Шидловский проводил Олю домой и, прощаясь, поцеловал ей руку. Оля не обратила внимания, а Шидловский не спал ночь. И на утро, только что Оля успела одеться и заварила чай — самовар кипел, явился Шидловский, но не вошел в комнату, а сел на пороге:

— Ольга Александровна, — сказал он, — я подлец.

И в голосе его было столько страдания, но сказано крепко и решительно.

— Что с вами? в чем дело?

— Я осмелился поцеловать у вас руку, я — подлец: я не смею даже мечтать поцеловать вашу руку, а я...

Оля его успокаивала: Оля говорила, что ничего она не заметила, и что он хороший.

— Вот вы так и говорите, — сказала Оля, — потому что вы хороший.

И только тогда Шидловский вошел в комнату и за чаем долго и много — бессвязно — говорил Оле, и все его путаные слова были к одному, что всю жизнь он будет служить Оле, и чтобы она его не отгоняла.

И Оля всегда была к нему внимательна — ей легко было с ним: он весь был перед ней в огромной шубе — отцовская память — большой и крепкий, суровый, еще суровее от заросшей бороды, и не было в нем никакого лукавства, никаких «двойных мыслей» и никакой тайны, одна была мысль, а это и была его тайна: сделать для Оли что-нибудь такое, чтобы ей было приятно.

В ссылке Оля была самая молодая из ссыльных.

Шидловский приносил с почты письма: зная, как Оля ждет, он летел с ними, и никакая сила не могла остановить, даже сугробы, которые за какую-нибудь ночь ровняли все дороги в бездорожье. Ссыльный Оводов, ревниво заботившийся о Оле, не мог не заметить и говорил, что Шидловский летит с почты, как

пуля, и называл его «пулей», и в этом была правда: огромный, медведем пролезавший по ярко-заросшим топким моховым берегам, превращался он ради Оли в эластическую пулю.

Шидловский — революционер. И, недаром, до ссылки держали его в тюрьме «на режиме»: ни курить, ни писать, ни читать; только мыло разрешалось выписывать в обертке, и эту печатную рекламную обертку он прочитывал сотни раз.

— Что же вы делали? — спросила Оля.

— Ну, похожу, — не спеша отвечал Шидловский, — посижу — — полежу — —

И так изо-дня-в-день. И, очутившись на свободе после «режимного» года, он купил папирос и закурил — и как будто этого году не бывало.

Много было в человеке терпения. Но как всякой силе, так и терпению приходит срок, и тогда получается — революция. И все удивляются: как, почему, откуда? — так безнадежно беспамятен человек.

По вечерам, а зимние вечера, когда нет и проблеска дня, бесконечны, Шидловский заходил к Оле. Молчаливый, он мог часами сидеть, не давая о себе знать, и это молчание не беспокоило: ведь за его суровостью ничего не скрывалось, а было, как чистое поле, а в глазах — беззаветная верность.

— Я буду вышивать, — скажет Оля, — а вы мне читайте.

Так прочитали Лермонтова «Герой нашего времени».

— Когда-нибудь я вас встречу, — сказал Шидловский, — как обрадуюсь, а вы скажете, как Печорин Максиму Максимовичу: «да, что-то припоминаю».

После Лермонтова Оля выбрала Достоевского: «Преступление и наказание». Но с Достоевским дело не пошло. Чтение было прекращено на той сцене, где изображено последнее унижение «бедности», на решающей для Раскольникова встрече на Конногвардейском бульваре.

«...выглядывая скамейку, — читал Шидловский, — Раскольников заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину... Она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из легкой материи (матерчатое) платьице, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застегнутое, а сзади у талии, в самом начале юбки,

разорванное; целый клок отставал и висел, болтаясь. Маленькая косынка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны...»

— Не могу больше читать, — крикнул Шидловский и бросил книгу, — не могу вынести.

Или этот образ человеческого позора обжег сердце, раненное однажды, или в этом образе позора оскорблена была его беззаветная и безоглядная любовь к Оле — этот чистейший образ недоступной и недосягаемой, гордой и правдивой.

Достоевского Оля заменила Писемским.

Вопиющее надругательство человека над человеком и человека над самим собой — вот закон «ошибочного» мира, и никто не нес его в себе так полно, как Достоевский, — потому-то от его признаний и такая жгучая боль. У Писемского с его полетом, как сам он о себе выразился, не орлиным, но и не лживым, этот мир — не «ошибочный», а только «привычный», а ведь если привычный, то его и нарушить можно и переделать, и потому самые возмутительные сцены из жизни этого «привычного» мира — «картины нравов нашего времени, где собрана вся ложь России», читались гладко и увлекательно, как исторические романы.

В «Взбаломученном море» особенно поразили Шидловского слова Сабакеева — Сабакеев революционер: на уговоры сестры, остерегающей брата — покинутой мужем сестры, для которой гибель брата равна гибели ее детей а, значит, больше ее собственной — «очень жаль, — ответил брат, — и если б от этого в самом деле погиб я сам, мать, ты, дети твои, все-таки, я ни на шаг бы не отступил».

А лирические «хоровые» концовки — Писемский ученик Гоголя, как и Гоголь, любил театр, и после Гоголя, как чтец, первый — нравоучительные и мечтательные концовки трогали. И особенно растрогал запев старой крепостной песни — Шидловский повторял его сотни раз за белокурым студентом, который в московской биллиардной, опершись на кий и подобрав высоко грудь, пел чистым тенором:

Уж как кто бы, кто моему горю помог...

С первым пароходом к Оле приехала Лиза Хворостинина.

Хворостинины соседи Ильменевых. Но Ильменевы, как и ближайшие Черкасовы, «расточали» и постоянно нуждались

в деньгах, Хворостинины же вели большое хозяйство и не только никогда ни у кого не занимали, а сами ссужали соседей и не без выгоды или, как говорили, «не по-Божески». Лиза Хворостинина училась в Киеве, много слышала о Оле и очень хотела познакомиться, но все не решалась: по сердцу добрая и вот было же в ней что-то, что повлекло ее к Оле, но, в противоположность Оле, очень покорная. И когда, наконец, состоялось знакомство, и, под влиянием Оли, затеяла Лиза и ее сестра Соня ехать в Петербург на Курсы, и родители согласились, но «чтобы одна которая-нибудь», Лиза уступила Соне. Перед отъездом в Петербург Соня захворала тифом и умерла. Случилось это в городе, и была при ней только Лиза. Оля приняла большое участие: по ее зову, на похороны собрались все какие только были студенты и курсистки. Такое внимание Оли еще больше привязало к ней Лизу. На Курсы Лиза не поехала, нельзя было оставлять отца и мать, да и вообще о Курсах больше не могло быть разговору: из Петербурга тетка ее писала, что «все эти курсы затея Ильменевой, а надо хорошего жениха искать». Лиза подчинилась, но навсегда осталось для нее недосягаемым — Оля. Лизе хотелось что-нибудь сделать, чтобы было похоже на Олю, — когда ее выделят, Лиза отдаст все деньги на революцию, а пока она займется отцом: и она говорила с отцом, убеждая его, со слов Оли, и отец, под влиянием ли семейного несчастья и что Лиза единственная осталась, как будто, согласился — и понизил процент на свои ссуды. А когда Олю выслали, Лиза выпросила позволение у отца проехать к Оле на Печору.

Приезд Лизы — большой для нее подвиг, а Оле — она за несколько дней надоела.

Оводов, наблюдавший Олю еще до Петербурга, заметил в ней одну черту и говорил ей об этом: к Оле влеклись безотчетно и такие, которые не имели о ней никакого представления, и Оля никого не отдаляла от себя, и от несхожести всегда начинались недоразумения, Оле было это очень мучительно — «если бы у ней не было этой черты, ей бы жилось легче».

Про Лизу нельзя было сказать, что бы, очарованная Олей, она не имела о ней понятия, но уж одной своей покорностью как далека она была Оле. Чтобы не раздражаться и не огорчать Лизу, Оля придумала поручить ее Шидловскому. И Шидлов-

ский со всей своей угрюмой молчаливостью неделю возился с Лизой: катал ее на лодке, водил в лес, все делал, чтобы только не оставлять ее с Олей, — для Шидловского это был большой подвиг.

А как ему хотелось что-нибудь подарить Оле, чтобы было надолго и памятно. И к именинам Оли он выписал из Москвы «Словарь» Павленкова и надписал из Евангелия о «лепте вдовицы»; у него это вышло совсем непосредственно, таким он был весь, и глубоко правдиво: он жил только на те шесть рублей казенных, какие получали ссыльные.

Косточка

Следующий год Оля жила ближе, где было много ссыльных. За Олей переехал Оводов и Шидловский. И на новом месте все оставалось неизменным: Оля была под глазом Оводова и всегда при ней был Шидловский. Шидловский попрежнему старался делать все, что было бы Оле приятно, — кроме писем, он приносил Оле кедровые орехи: Оля полюбила кедровые орехи.

Оля любила Мушку — это была трехлетняя чудесная девочка ссыльных Булашевичей, а настоящее ее имя — Янина. Мушка часто ходила с Олей к Смелковым, и это называлось на Мушкином языке — «идти в маленький домик». Смелковы — две устьвымьские барышни, очарованные Олей и беззаветно ей преданные: Оля их учила — и одна мечтала сделаться учительницей, а другая фельдшерицей. К Смелковым Олю всегда сопровождал Шидловский.

Оля спросит тихонечко Мушку:

— Хочешь?..

— Не-ет! — Мушка никогда не скажет «да» и непременно напустит себе в штанишки.

Мокрую ее несет Шидловский. И Оля не может удержаться от смеха, потому что Мушка каждый раз говорит, обращаясь к Оле:

— Ты меня опять поведешь в маленький домик? А Шидловский за Олю отвечает:

— Что-то твои ревизиты плохо кончаются.

— Не-ет, — говорит Мушка и лукаво смотрит на Олю.

Мушка ничего еще не понимает, не поняла она и когда осенью в их семье произошло большое несчастье: ее мать выписа-

ла к себе брата гимназиста, чтобы подготовить в другую гимназию, она выбрала этот город за тишину и много ученых среди ссыльных; один ссыльный задумал охотиться, и этот мальчик-гимназист с ним, сели они в лодку, а ружья поставили с боку, гимназист взялся за весла, зацепил ружье, — вдруг выстрелило и его убило; а как горевала мать Янины!

Не поняла Мушка и когда в жизни Оли произошло большое событие, осветившее перед ней высокую любовь и на всю ее жизнь отбросившее тень: весной отравился и умер Заруцкий.

Заруцкий, немного старше Оли, единственный из всех ссыльных, который был ей всех ближе, и полюбивший ее не то, что беззаветно и безоглядно, как Шидловский, и не ревниво-кровно, как Оводов, а сужено, т. е. как будто бы родился с этою любовью, — и вот за какую-то измену этой суженой любви он должен был и не мог не погибнуть.

В любви есть много ступеней, и на каждой ступени своя тайна, а там, где тайна, там и таинство ничем неумолимой и неизбывной силы — трагедия. И на самой первой ступени, в том, что русский народ называет **любва**, а не **любовь**, — против рожна не попрешь, раз режутся и режут, значит, трагедия. Но я сомневаюсь, можно ли всурьез принять и самые бешеные любовные страницы Карамазовых и вообще всю литературную перлюстрацию потаенной жизни: и разве не чувствительно через невольную улыбку или нетерпение и даже скуку или просто разочарование неудовлетворенного любопытства, что на этой первой ступени, где страждет только тело горящее, дышащее и поющее со своей знойной «любвой», больше комедии — классической комедии, веселого водевиля, а чаще — фарс.

Шидловский всю ночь оставался в больнице, куда отвезли отравившегося Заруцкого, и во всю неделю не покидал Олю. И когда Заруцкий помер, привел Олю из больницы домой. Только его глубокое настороженное молчание могло не ранить измученное до отчаяния сердце. И на Пасху, после пасхальной заутрени, он провожал Олю на кладбище на могилу.

Наступили белые ночи, белые — не петербургские, сочащиеся зеленью, а белые, как медь. В такие медные ночи с огромной белой перекошенной мертвой луной на Шидловского находила черная тоска. Одному оставаться не под силу, и он приходил к Оле: страшный, всклокоченный, лесным пугалом стоял он

перед ней и, глядя исступленными глазами, которые давно не знали сна, просил решительно и твердо:

— Спасите меня, не могу жить!

Оля давала ему шоколадку, как Мушке, когда та начинала капризничать, говорила с ним — ведь это пугало было ее собственной тенью и его глаза — ее глаза, не находившие себе сна! — разговаривала и жалостью отвевала от его бедного сердца гнетущую черноту.

Нет, Оля больше не могла жить в этом городе.

И на третий ссыльный год Оле разрешили переехать еще ближе, где было гораздо людней и почта приходила не дважды в неделю, а всякий день.

Накануне отъезда ссыльная колония устроила в честь Оли прощальный вечер. На таких проводах, всегда очень грустных и для уезжающих, и для тех, кто оставался, пили чай и ожесточенно спорили: одной какой-нибудь теории никогда не было и не было согласия, но мысль была одна; как переделать окаянную жизнь, — и заветным неизменно была революция, в которую все верили при всяких разногласиях.

Была белая медная ночь.

Шидловский провожал Олю домой: еще свирепее казался он от ночного медного света.

— Можно мне зайти к вам важное сказать? — сказал он и, войдя за Олей в ее комнату, остановился, закрыв собой дверь.

В глазах его было столько страдания, но в голосе неколебимая твердость:

— У меня большая просьба... я отрублю себе палец и выварю, чтобы одна косточка осталась, и дам вам на память. Я тогда буду знать, что вы меня не забудете, а у меня не будет хватать одного пальца, мне будет хорошо, что он у вас.

От неожиданности Оля забыла и шоколадку дать, как всегда бы это сделала. Только зачем же отрубать палец, она и без косточки верит ему и не забудет. Но он смотрел упорно, не видя ничего, и повторял о пальце и косточке, готовый отрубить себе не один, а все пять.

Оля долго его разговаривала и, наконец, не вытерпела:

— Да не возьму я вашего пальца! — сказала она строго.

И под ее властным голосом, которому он не мог не повиноваться, он вышел из своего костяного столбняка: он себе палец

не отрубит и косточку не выварит, но он об одном просит — дать ему на память что-нибудь свое, что Оля носила:

— Лучше всего грязный чулок.

Сам он, при всей своей крайности, донашивал белье до выброса, и в этой просьбе его было последнее смирение и высшее слово любви, что вот и самое ничтожное, но только Олино, он сохранит, как драгоценность.

Оля вынула из корзинки чистую кофточку белую с голубыми цветочками. И с какой бережливостью взял он ее — единственную и последнюю память — и, вдруг, как осветило лицо его, и Оля увидела: слезы.

Он вышел, но не ушел, и, стоя у порога, долго махал шляпой, — пока Оля не закрыла окно от комаров.

Была белая медная ночь.

Оля думала, как неизменно думала все эти месяцы о жестокой судьбе и бедной человеческой доле: решившись умереть, Заруцкий сказал ей, что он болен, а произошло это до встречи с ней, и теперь единственный выход — смерть.

Когда в первую встречу, — вспоминала Оля, — они ехали вместе на пароходе, была такая же белая ночь, и река такая спокойная, загустевшая от двух слившихся зорь, и вдруг на мгновенье все, как остановилось, и это мгновенье было не временное, а из вечности. И когда она стояла с ним на мосту и было тихо кругом и вдруг оба они замолчали, она почувствовала, что и это молчание не простое. И когда шла она с ним по дороге к кладбищу, — в ее комнате был угар, и надо было отдышаться на воле, а на воле снег и лес и небо, как снег, — и вот словно кто-то прошел между ними, и это было тоже из вечности. «Из вечности» — это покой, ясность и сознание неизбежности совершающегося, и, как будто, оно уже было когда-то, и другой человек не только не мешает, а еще глубже и острее от его присутствия это чувство. И когда провожали на кладбище несчастного мальчика гимназиста, Заруцкий сказал Оле: «Первый обряд, где мы с вами встречаемся!» — и его голос прозвучал среди ясности и чистоты осеннего дня, — и это тоже из вечности. «Да, хотел убить утку, — сказала Оля, думая о гимназисте, — а должно быть, пожаловались, и сам убился». И потом, когда в эти медные ночи она представляла себе, что Заруцкий встанет и вдруг придет к ней, и что она ему будет говорить, и как даль-

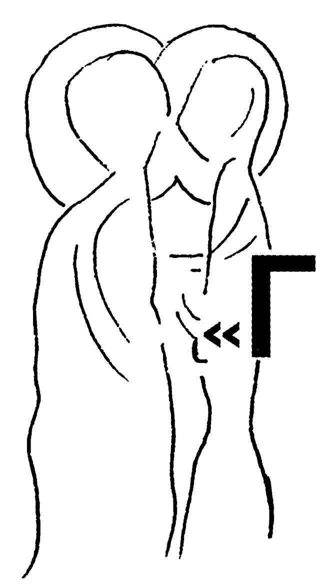
ше пойдет жизнь — эти ее исступленные мгновенья — мечты о невозможном, но мысленно как осуществимые и даже когда-то раз осуществленные, эти мгновенья были тоже из вечного. И когда однажды луна упала косяком и в лунном серебре задрожала тень — — «Но Оводов, — спросила себя Оля,— ведь больше заботиться, чем он кто еще может?» Но она ничего не могла припомнить из «вечного», ни одного мгновенья, чтобы вдруг открылся этот покой и ясность и сознание неизбежности совершающегося и память, как о чем-то уже бывшем когда-то; Оводов бился головой об стенку, в буквальном смысле слова, и это было очень страшно, Оля не знала, что и делать, но это было здешнее, не «оттуда», могло и быть и не быть: Оводов весь был как бы продолжение ее рода, ее дома, где родилась она, Ватагино, откуда ушла она, здешнее, кровное, и ничего-то от того существа ее, осененного белым светом, самым жарким и самым пронзительным. Оттого-то она и не могла полюбить его, — она за многое благодарна ему, но «своим» никогда не чувствовала. «А Шидловский?» — — На столе лежал еще не уложенный в корзину «Словарь» Павленкова, и эта «лепта» напомнила Оле бесконечные зимние вечера, чтения с Шидловским и как бросил он Достоевского и, растроганный Писемским, повторял запев песни, которую белокурый студент в московской биллиардной, опершись на кий и подняв высоко грудь, пел чистым тенором:

Уж как кто бы, кто моему горю помог...

И, не говоря, Оля перебирала сухими губами, повторяя слова, как свои. И вдруг перед ней мелькнула «вываренная косточка», которую только что упорно и так решительно предлагал на память Шидловский, и вот уже месяц не улыбавшаяся, Оля в первый раз улыбнулась.

И я скажу за Олю — эта ее улыбка — это отсвет беззаветной и безоглядной любви, когда любят не для самого себя, а для того, кого полюбил, и эта улыбка — как суженое слово и как судьбинное молчание — из вечного.

СКВОЗЬ ОГОНЬ СКОРБЕЙ



ЗА ЗЕЛЕНОЙ ОГРАДОЙ

Оля

«Голова Львова сера, космата с огненной пастью в поле блакитном». Под этим знаком вся история Оли: ее детство; отрочество и юность.

«Оля»: В поле блакитном. Доля. С огненной пастью. «Голова львова».

Этот львовый знак — фамильный герб Задоры-Довгелло. Оля — Серафима Павловна Довгелло и повесть «Оля» написана с ее слов. И имя Оля взято от нее: в детстве она мечтала о какой-то заветной подруге, которую будут звать Оля.

И что странно, это имя за последние годы повторялось у нас чуть ли не всякий день или по воспоминаниям о Ольгах или приходят и все Ольги: «Оля» кружилась над домом.

Есть в именах тайна. Знать имена, значит владеть их силой: на этом основаны заклинания. Именуют человека неспроста, все равно по календарю или по пристрастию: в имени знак его сил и судьба.

Произошла перемена: пламенная Серафима в лунную Ольгу. Ольга вышла из мечты Серафимы. Стало быть, такое превращение возможно в свете и цвете жизни.

Неделимую единую любовь делят на высокую и простую — Divine et l'amoure profane, — так можно говорить и о неделимом едином источнике жизни, о двух началах ее цвета и света: «ра-

зожженный уголек в крови» и белый, самый жаркий пронзительный свет. Одни родятся для земли, другие на земле для неба. Есть «любовь» и есть «любва», «любить» и «любиться» и знойные песни сложены как на любовь, так и на любву и умирают из-за любви и равно из-за любовы.

С кем идет Оля в русской литературе? Да такой нет, одна. Но есть же кто-то ей не чужой, кого она могла выбрать себе в подруги?

Вспоминаю Лизу — «Некуда» Лескова и Тургеневских: пламенную Марианну «Нови» и Елену из «Накануне».

Оля любит переговаривать Татьяну. Или оттого, что образ пушкинской Татьяны, единственный, овеян таким горьким светом, недаром и вызвучено Чайковским. Горький свет — цвет человека неужившегося со своей судьбой. А верность слову, перед образами или в мэрии, исполнение долга, вызвавшее восхищение Достоевского, да это как-то само-собой и не имеет значения: Татьяна не собачонка, что можно приласкать, но можно и турнуть.

Оля задумывалась о судьбе Лизы «Дворянского гнезда» — говорю за Достоевским о Лизе после гордой Татьяны — Лиза отходит от своего счастья, Лиза уступает и идет в монастырь на казнь: от любви никуда не уйти и нельзя позабыть. Лизу жалко, как жалко Анну Каренину, обманувшуюся, поверила в какую-то докончательную любовь какого-то верхового пентюха, оскорбленную и покинутую.

Но кто Оле чужд, это все зверовидное Тургеневское: Одинцова, Полозова, Лаврецкая, Ирина, и Толстовская Элен, а у Лескова Глафира («На ножах»), у Писемского Екатерина Петровна («Масоны») и конечно, Саломея Вельтмана.

Чужды Оле и каррикатуры с «инфернальным изгибом», что представлено у Достоевского, как «бунт и соблазн крови». Не свое, конечно, и такое трогательно «животное», как добродушная Тетеся Квитки-Основьяненки. А надо сказать, что эти бессловесные Тетеси всю жизнь льнули к Оле, как и любимые — все эти безумные, блаженные, юродивые и ни на что не похожие.

* * *

«Люди мои, братья мои, я прожил весь в тоске и неудаче. Но я люблю вас и не хочу вам того горя, какого слишком много по-

нес на себе. Вот что: любите жизнь. Любите ее до преступления, до порока. Все — к подножию Древа Жизни. Древо Жизни — новая правда, и это одна правда на земле. И до скончания земли. Ничего нет священнее Древа Жизни. Его Бог насадил. А Бог есть Бог и супротивного наказует. Только его любите, только им будьте счастливы, не отыскивая других идолов. Жизнь — в самой жизни. А выше ее нет категорий, ни философских, ни политических, ни поэтических. Тут и мораль, тут и долг. Ибо в Древе Жизни — Бог, Который насадил его для земли. Я со всеми людьми ссорился, потому что все люди не понимают Древа Жизни, разделясь на партии, союзы, царства, школы, когда всего этого и нет под Древом Жизни, все это оскорбляет собою Древо Жизни. На самом деле и в бесконечности ничего и нет, никого и нет, кроме Бога благословляющего единое Им насажденное Древо Жизни, коего люди — частицы, клеточки, точки. И они все могут — кроме уныния и тоски. Я был тоскующий человек, но я хотел бы быть последним на земле тоскующим человеком, и хоть с неба посмотреть на счастливое и беззаботное человечество, на зеленое человечество с одною только радостью, и без всякого дыма, горечи, злобы, злодеяния и отравы. Этого не надо, воистину — не надо...» (В. В. Розанов, о К. Н. Леонтьеве — 1831—1892. Новое Время, 23 февраля 1917 г.)

«Василий Васильевич! Ваша мечта, новая правда: жизнь, потому что вы прожили свою жизнь в тоске и неудаче. Но кого вы сунете под ваше Дерево в беззаботное зеленое человечество? Я их всех вижу и первую Вельтмановскую Саломею, а за ней тургеневских и толстовских зеровидных, и кобылиц Достоевского Аглаей и Грушенькой, все они с “угольком”. К ним в “союз” вы присоедините зеленых с Сингапура из края роз и яда. Сам я там не был, а знаю от И. А. Гончарова, пишет с Фрегат Паллады: “Как ни приятно любоваться на страстную улыбку красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жарко-дышащим ртом, с волнующейся грудью, но видеть перед собой только это лицо, никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали — устанешь и любоваться”».

«Василий Васильевич! Мою Посолонь я вам читал на все “гласы”, вы знаете, как я люблю природу: весну, осень, траву, деревья, цветы, зверей и птиц — “жизнь”, но больше недели прожить на лоне природы не в состоянии. Все вокруг топчется

и всякие мелкие зверки и букашки и толкачики — все они родятся “на радость”, а мне хочется книжку почитать, “помучиться”, и затоскуешь. Я родился с “подстриженными глазами” и природа с ее разнообразием меня утомляет. На вечерний закат — кто только не восхищается! — или как англичане, не отрываясь, смотрят из автокара на бретонские морские сверкающие переплеты, но мне достаточно только глянуть и отвернусь. Люблю грозу, северное сияние, пожары, но какие могут быть пожары под Древом Жизни? Уж очень под вашим Древом Жизни благообразно, Лермонтов от скуки просто разложит костер и подожжет — туда и дорога и со всеми райскими плодами. Я понимаю, откуда ваша мысль, да вы и не таите: “истосковался, неудачи!” — вы мечтаете о рае Божьем. Древо жизни! вы сами знаете, не знай с которой стороны подойти: дети хворают и редко не услышишь жалобу: у кого спина, у кого печень и постоянная зависимость от погоды и со всех сторон тиски, я говорю о внешнем, осязательном, не о душе — там ад без срока. Человек выбрал другое дерево и свою волю не уступит до смерти. А хочется тихо в своей норе посидеть, и чтобы было тепло, главное, натоплено, а по Достоевскому, еще и чаю попить, а по мне, и с баранками, и без всякого Лермонтова, вообще без “человека”, а только домашние животные допускаются, пускай себе лают и мяукают и, если охота, топчутся на здоровье. А людей “лунного света” и с ними Олю? Помните, как в первый раз заглянув ей в глаза, вы обратясь ко мне, сказали: “Серафима благородная, а мы с тобой...” Я понял, о чем вы хотите сказать. — Олю вы не принимаете под ваше Дерево, в ваше цветное Телемское аббатство? Но если Бог кладет в человеческое сердце раскаленный уголек, Он же озаряет и белым, самым жарким светом — Древо Жизни многолиственно и много поясов, оно покроет с головой ваше зеленое и среди них вы первый заскучаете и, как было в жизни, поссоритесь и полезете вы туда, где Оля. Оля — это мечта, «без которой ни Бога, ни Его Древа Жизни».

* * *

В детстве Олю встретила Норна — одна из трех и открыла ей путь.

«Оля, сказала она, ты должна посвятить себя Богу». — «Да», — твердо ответила Оля. — «Тебе надо левую грудь отре-

зать и положить под образа». Оле вдруг стало страшно и она ничего не ответила. «Ты согласна?» – Оля молчала. «Левую грудь надо отрезать и положить под образа, согласна?» — «Согласна», сказала Оля. «Подумай об этом и приходи!» – и она поцеловала Олю.

Все это рассказывала Оля просто, как такое, что не тайна и рассказывать можно, и не заметила, что мать поднялась и вся изменилась.

«Мама, я готова, я посвящу себя Богу».

И все, кто подходил к Оле, обжигались о ее пламя посвященной. И чем ближе подходили, тем раскаленнее становился огонь, и не жгло, а палило. Судьба их была предрешена: смертный приговор. Одни кончали самоубийством, других подстерегал случай и та же совершалась расправа.

Скопческой пророчице не удалось совершить над Олей «крещение кровью», но не все ли равно, если сама Оля говорит от всего сердца несомненно и твердо: «я посвящу себя Богу».

И новая правда жизни, прозвучавшая под Древом Жизни: «любите до преступления, до порока», для Оли беззвучна и непонятно, хотя сказано по-русски.

На ее пламя влекло и ее пламя было ей оградой: пламенные силы хранили Олю.

С первого глаза

Я еще ничего не печатал, а про меня идет слава: писатель-декадент. О декадентах все знали по статье Н. К. Михайловского в «Русском богатстве».

«По Пензенскому делу непартийный с.-д. писатель декадент», что означало «никуда», – мое написанное проходное свидетельство в Устьсысольск.

* * *

Пройдя через Вологодскую тюрьму, пять суток плыл я по Вологде, Сухоне и Сысоле. На медовый Спас — 1 августа (1900 г.) рано утром под звон колоколов — звонили к ранней обедне, пароход причалил к пристани, дальше ехать некуда: Устьсысольск, по зырянски Сыктывкар.

Я поднялся на высокий берег и с легкой ношей — этапный мешок за плечами, пошел в город.

Приютил Федор Иванович Щеколдин, староста и казначей, старейший из ссыльных, учитель, подобие Варлаама индийского. Имя мне известное — на Москве слышал: Щеколдины миткальщики, Ивановское село Гольчиха, потом я узнаю его «житие»: родственники считали его юродивым, а он родственников прокаженными; с.-д., соблюдавший посты и церковные праздники, — такие попадались на Руси среди революционеров «служители всему миру».

К раннему чаю собрались другие ссыльные: приезд нового — событие, и любопытно: такого еще нигде не водилось: декадент!

Настоящие люди, попадая в такие края, справляются у старожил про охоту. Дриянского я читал — первый по богатству слов и зверя знает, как родного брата, а я и в лесу никогда не был и слова из словарей выписываю, мне охота, как апельсин корове, мне бы до книг добраться.

И тут я услышал о Оле.

Ольга Александровна Ильменева из Петербурга по делу с.-р.; год держали ее на Шпалерной в предварительном заключении, с месяц как приехала в Устьсысольск. В ссылку привезла много книг.

Я подумал: «стало быть, нас вместе арестовали в марте: ее в Петербурге, меня в Пензе».

После чаю решено было идти к Оле. Щеколдин взялся меня проводить. Кстати, ему нужно по своему делу.

* * *

Было крепкое осеннее утро, погожий день. По реке, за рассеянным белым туманом, разливались красные с золотом лебяжьи плывучие перья; за краткое буйное лето перепеклось солнце и освещало землю, не нагревая.

Лес неприступной стеной на том берегу: ни к нему, ни сквозь.

Я смотрел кругом — какая нависшая грусть над притаившейся пустыней. Я узнаю прародину человечества, крайний камень, откуда выйдет и пошел, разбредется по лицу земли, человек. Я вижу первого человека, зверей и духов под пологом двух слившихся зорь. И читаю древнюю память человека о создании мира — о природе жизни из отчаяния и восторга.

Щеколдин заглянул на почту, и я за ним. С почты начинается оборванная жизнь, но ни я, ни мне: я еще в пустом пространстве, открытый всем ветрам, а памятью в веках.

Почта меня отрезвила и я стал раздумывать, не повернуть ли? Но Щеколдин шел уверенно, он не из любопытства, а по делу, для которого нет ни рано, ни поздно, а только надо, суровый Варлаам индийский.

Оля жила на другом конце, за Собором, далеко, а пришли.

У Оли сидел Оводов и она была недовольна, что так рано. А Оводов нарочно пришел пораньше и возился у Олиной хозяйки: он сделал для Оли стол и полку — он все может сделать, а для Оли даже и такое, о чем никогда в голову не приходило.

Оводов лесник, кончил Лесной Институт, ему все лесные породы, как мне «кикиморы», он охотник, читал и Дриянского, только оценил его не за слово, а за охотничью точность и разнообразие охоты. Оводов сосед Ильменевых, знает Олю еще гимназисткой и все ее привязанности и причуды. Сегодня медовый Спас, он достал мед и готов, если пожелает Оля, проводить ее к обедне, и нет такого, на что он не был бы готов для Оли. Его ревнивая забота, в ней было что-то от родного дома, всегда раздражала и тяготила Олю.

Сегодня праздник. Оля в своей вышитой белой малороссийской кофточке, на шее янтарные бусы. Янтари запутались в ее тяжелой косе. Нетерпеливо Оля распутывала, да нелегко было высвободить. Новый стол и полка помирили ее, и она не сердится ни на любимые янтари, ни на Оводова.

Слышно было, как на кухне загудел самовар.

Оводов поставил на новый стол тарелку с медом — мед, как Олины янтари, соты. И рассказал новость: с пароходом приехал новый ссыльный с.-д., иронически добавя: «декадент Ремизов».

Из сотов вылетела пчела. Оля вскрикнула.

Оводов, он все может, не разгоняя, сейчас же вытурил в окно напугавшую пчелу и пошел на кухню за самоваром.

И несет, начищенный бузиной, блестящий, полный до краев, выбивавшийся паром и песней. В это время за дверью раздался стук. Оттого ли что Оводов, второпях, не глядел себе под ноги, или от неожиданности, или просто загляделся на Олю, самовар выскользнул из рук и тарарахнулся, со всем своим кипятком и раскаленными угольками.

Стоя за дверью, я слышал шаги — мне казалось много народу и ходят. Двери не картонные, а за ними крепкие сени и еще дверь, режь, не услышат. Щеколдин продолжал стучать. И я подумывал: «пускай один Щеколдин, я лучше тут подожду».

Дверь отворил Оводов: мне показалось, весь он во весь свой рост промокший, черные спутанные волосы закрывали лоб, очки запотели, в руках тряпка и течет.

Я уверен, будь Щеколдин без меня, так бы и пошел, приложившись к двери, но как было поступить со мной? А если Оля скажет, зачем не пустили и будет мучиться, что не пустил? И как тогда поправить?

И мы вошли.

Я сразу увидел: Оля недовольна. И хотя в ее крепкой руке я не почувствовал нетерпения и улыбнулась, но досаду не скрыть — а может, это вовсе не на меня?

И тут я все заметил: и богатую косу, и какие ровные зубы с чуть выступающими клычками и оттого так тонко очертание рта, и золотой крестик лопастком из-за ворота под янтарями, а в серых глазах по-детски промелькнул испуг, а все завеяно — голубое.

Оводов по полу с тряпкой. Я стоял. Оля отвечала Щеколдину резко: надоел он ей. А Щеколдин говорил с ней не так, как со мной: так его Миндовские дяди миллионщики говорили с бессчетной казной — с дедушкой Коноваловым. И я почувствовал, что у меня нет пылу так сразу и попросить книгу.

В комнате хозяйские вещи, но было и свое — на комоде коробочки и книги в переплетах — Михайловский. Я протянул было руку, но Оля заметила, я это почувствовал, и как, отвечая Щеколдину, отошла к комоду.

И когда я заговорил о книгах, она ничего не сказала, для меня неожиданно, стесняясь.

И я представил себе, как она тут беспомощна и одинока среди ссыльных. И жалость смутила меня. И я продолжал о книгах, но не выпрашивая, а предлагая ей.

— Мне обещали, — сказал я, — присылать все новинки французских символистов — прямо из Парижа.

Оводов без тряпки, прислушиваясь, отвечал Щеколдину обрывисто и сухо. А я, прихвастнув Парижем, одно думал, как бы поскорее уйти. Щеколдин мямлил о очередном взносе в кассу.

— А скажите, — Оводов обернулся ко мне, глаза его нехорошо смеялись, — Ремизов! вам не родственник Ремизов у Горького?

Я не сразу сообразил: «у Горького»? но почувствовал ревнивую неприязнь.

— Нет, не родственник, — ответил я растерянно, как пойманный.

— У Горького дважды, — продолжал Оводов, — в «Вареньке Олесовой» Сашка Ремизов конокрад, а в «Фоме Гордееве» золотопромышленник.

Щеколдин прощался. Оля предлагала нам чай с медом.

Мне было очень грустно.

«Сюда мне не дорога», — подумал я и мое, извечно наперекорное, глубоко повернулось во мне.

— А по-моему, Ремизов повар, — сказал Щеколдин, — не то в «Троих», не то в «Исповеди».

Непоправимое

С Олей я не встречался в Устьсысольске. Оводов оберегал ее. Я, сидя в своей кикиморной норе, с кличкой «декадент», за самый короткий срок превратился из Ремизова конокрада, золотопромышленника и повара в Басаврюка Подстрекозова. Как-то к разговору о жизни ссыльных, Горький рассказал мне обо мне такие истории, в пору Вечерам Гоголя: и волшебство и безобразие; я помалкивал — кому же не хочется быть и краше и богаче!

Оля научилась переплетать и однажды Щеколдин предложил мне, будто бы от Оли, переплести что-нибудь; я дал Историю философии Люиса. И не скоро, а вернулась ко мне книга в переплете — «декадентский», не смеясь смеялся Щеколдин: одна сторона синяя, другая желтая, а корешок красный под кожу в пупырышках. Храню эту единственную память, пусть сделанное на смех, но я и такого не заслужил.

С первым пароходом Оля переехала в Сольвычегодск. Были проводы, но меня не позвали, хоть Щеколдин и настаивал «в порядке товарищеской дисциплины».

Так бы казалось, повесть о Оле кончилась, а на самом деле начинается трагедия.

* * *

Его я знаю по портретам и рукописям — тетрадь с рассказами. Заруцкий поляк из Ломжи, тонкие черты — печать духа и культуры. Учился в Дерпте. По-польски начал писать еще студентом, стало быть, с тюрьмой лет пять и с год по-русски — для Оли.

Почерк мелкий убористый — латинский без усов. Лирическая проза — осенний день, печальный вечер, а ночью метель, а во сне распятая дорога, полевые цветы. Его учителя Красинский и Норвид, а путь Марлинского, русского ученика Сенковского — польская руда в русских ладах, как Киевский распев.

Оле было свое и эта, извечно-предопределенная польскому народу, подымавшаяся до небес, Тоска, со всей страдой выраженная не воздушно закатывающимся вальсом Шопена, а широким звучащим простором Чайковского и сверкающей глубиной глаз неутолимой печали Врубеля.

С Заруцким Оля никогда не скучала и его забота не тяготила. Его печаль проблескивала улыбкой, чего не было у Оводова, всегда озабоченного: Оводов не любил шутить и сам не мог.

И для Заруцкого и для Оводова Оля — все. Это были ее два рыцаря, которым Оля могла все доверить и быть уверенной в их любви. Только Оля это не так понимала, как ее рыцари.

И что было для Оли удивительно, Заруцкий, в свои последние отчаянные дни, говорил ей обо мне, советуя познакомиться поближе, а знал он меня только по слухам: Подстрекозов.

Заруцкий отравился, он не Оводов, не земляной, а воздушный и все чувства его больнее.

Смерть Заруцкого потрясла душу: Оля обвиняла себя, как однажды в смерти Черкасова: застрелился. Но в чем она могда упрекнуть себя? И все-таки все произошло из-за нее. Стало быть, есть что-то в существе ее. Что же такое существо ее?

«Верую во единого Бога Отца...», — читала Оля Символ веры, свое неразделимое от ее существа и вдруг вспомнилась ей скопческая пророчица, слова ее, и Оля отвечала убежденно: «я посвящу себя Богу». В этом и было существо ее. «И разве можно заставить себя что-нибудь любить?» —спрашивала она себя и возмущалась нашептыванию голосов, которые осуждали ее. А перед глазами возникал, все заполняя, образ человека, ко-

торый любил ее и не вынес своей жгучей любви. И чувство вины и непоправимое терзало ее.

Я встречу еще одного человека, тоже обнаженная совесть, это А. А. Блок. Мне говорили, таким был Глеб Успенский.

* * *

Месяц как Оля в Вологде. Ее комната на Желвунцовской, близко от меня. Обедает она у Савинковых. Всякий день я встречаю Олю за столом. За месяц я не сказал с ней слова, кроме каких-то столовых. В разговорах она отсутствует: слушает и не слышит, а другой раз просто сидит в столбняке и если спросят, она, как проснется, и не сразу ответит. Встречал ее и на улице: она шла в такой глубокой задумчивости, когда на оклик вскрикивают.

О самоубийстве Заруцкого я знал по слухам, а слух всегда, я это давно понял, как кому хочется и приятнее, а тут «любовная история», простор воображению. Я не разбирался и было одно только: жалею Заруцкого и Олю.

Раз случайно я слышал, как Оля смеется: она играла в соседней комнате с детьми: какой это беззаботный, крепкий смех, и я подумал: «хороший голос!»

А в этот день она была сама не своя, в первый раз вижу, гнев горел на ее лице и вся она вздернута и голос другой и акцент: не Москва, не Савинкова Варшава, свой черниговский. Она от губернатора. Срок еще не кончился (ей было дано разрешение на два месяца), а Муравьев, вице-губернатор, требует немедленно вернуться в Сольвычегодск и грозит отправить этапным порядком. И когда она возразила, что пароходы не ходят и ехать пятьсот верст на лошадях она не может — «и почему?» Муравьев сострил: «за такое распоряжение вы должны благодарить своих товарищей ссыльных». На такое нечего ответить и это оскорбило ее.

Муравьев замечателен был своим тупым ничтожеством: его распоряжения вызывали смех, а чаще досаду.

— Глупый малый, — заметил Щеголев, — ему б в полиции вторым помощником письмоводителя или на каланче.

Савинков одобрял Олю: не подчиняться.

А я подумал: «Все это хорошо, когда все хорошо». Но какой найдет себе выход Оля не подчиниться, я не догадывался.

Обыкновенно после обеда Щеголев читал вслух Чехова. И стихи декадентов — 1902 год — Бальмонт, Брюсов, а из старых Фет. В этот раз Бодлэр, перевод П. Я. (Мельшина-Якубовича). Хорошо читал Щеголев, отчетливо.

Зажгли лампу. Самая осень. Слякоть и ветер. Помню число: 26-ое октября. Для Бодлэра подходит.

Я попросил книгу себе на вечер. И прощаясь, заглянул, проверить: книга не Щеголева, а Оли и посвящение.

* * *

Жил я один в доме — почему-то называлось «семейной квартирой»: комната с печкой и кухня, заставленная кроватью. В комнате два окна: на улицу и в дерево; и в кухне окно — в сад.

Под дождем обнаженные деревья скрипят с натугом, в стекло стучит ветка — длинные усталые пальцы, с улицы швыряет ветром.

На ночь я приготовил самовар и читаю Бодлэра. Угольки из печки с теплом поблескивают.

Еще самовар не допел свою песню, слышу стучат.

«Кому, думаю, верно, угорелый сосед?» Со мной был случай, на четвереньках выполз и не кулаками, головой стучал в соседний дом.

Но это был стук не головной.

Я отворил и не верю глазам: Оля. Ее зеленая кофточка была вся исполосована черным дождем, а на голове поблескивали дождинки.

Она пришла за книгой. Она видела, как Щеголев дал мне на вечер, книга память, а от Щеголева назад не получить.

— Прочитайте мне что-нибудь! — сказала она и села у печки.

И я начал из «Непоправимого»:

Властны ли мы заглушить неотступную старую
Совесть?
Живучая, извивась и киша,
Она питается нами, как червь мертвецом,
Как гусеница дубом.
Властны ли мы заглушить неутолимую
Совесть?

И я почувствовал, как под моим голосом она вся вздрогнула. Я закрыл книгу и подал ей. Но она с удивлением посмотрела на

меня. И тут я заметил, что лицо ее пылает, и волосы спутались, и она все поправляла, точно хотела снять с головою.

Я пробовал о Бодлэре, но она никак не отзывалась, да она и не видит меня. Я отошел к окну, поправил вздувшиеся занавески и все думаю, что нет у меня ничего к чаю — угостить.

Но ей ни до чего было, она сидела как будто спокойно, но глаза ее закатывались и стиснутыми зубами, как бывает от досады, так резко — этот звук нельзя слышать безразлично.

Я налил ей горячего чаю, думаю, согреется и отойдет. И вдруг она изменилась: она смотрела в меня и просила, но я не мог понять, что ей нужно. Я даже спросил. Но она не ответила и только глядела с такой болью и стиснутыми зубами — этот звук, от которого падает сердце.

За окнами вышептывало из ночи. Их было много, они раздували занавеску заглянуть. Я поправлял, переходя от окна к окну. А она сидела, не шевелясь, то с горечью глядит, прося, или напомнить хочет? — то уйдет — белые глаза.

Я вышел в кухню подогреть самовар. Надо было что-то сделать, и не знаю. Перемыл посуду и вернулся.

На мои шаги она поднялась. Она была не та: с лица сошла краска, и белое до сини переходило в синь — или так гляделось моим глазам? Она заторопилась, но что-то задерживало: хотела ли она сказать мне о своем решении, ведь надо ж кому-нибудь сказать, и мучилась, не могла выговорить. Книгу она не взяла. Так и ушла в черный дождь.

* * *

Помню на утро: укор — разве можно было так бросить человека? — но что же мне было делать? — откором глушило совесть.

За ночь все переменилось — кончилась осень — подсушило дорогу и серые тучи несли первый снег.

«Как это хорошо, зима!» — подумал я и снова глубоко резануло: о ночи.

Олину хозяйку я застал встревоженною, она махала руками, повторяя: «несчастье!» Это одно слово распахнуло тайну ночи: утром Олю свезли в больницу.

Хозяйка повела меня в комнату Оли. И сразу я узнал знакомое по первой встрече в Устьсысольске: те же в переплетах кни-

ги и на комоде всякие коробочки. А на столике, около кровати, развернутые порошки.

— Ими! — показала хозяйка и всплеснула руками.

— Отравилась! — сказал я и острой жалостью обожгло меня.

* * *

На третий день опасность миновала, и меня пустили в больницу. Я подошел близко — как мне обрадовалась Оля! Никогда она так не смотрела — с такой любовью. А в словах ее было такое, будто мы век знали друг друга. И на лице ее, светясь, светилась ее улыбка, которая погасла в ту ночь.

И что удивительно, потом я заговаривал о этой ее ночи, но она ничего не могла вспомнить. Эта ночь прошла для нее, как глубокий сон, что тоже смерть.

Оле надо было умереть, чтобы под другим именем начать жизнь — свою страду.

Наташа

Теперь, когда все кончилось, и я говорю о призраках, дойдет ли мой голос и ответ получу ли я? Скажут ли мне ошибся или скажут прав, что изменит мою, призрачную для них, жизнь? Или поправит непоправимое их жизни?

Прямо скажу, не с 3 июня 1940 года, не с бомбардировки Парижа и разгрома нашей квартиры началась катастрофа, а с той минуты, как Оля решилась вопреки существу своему, ею сознаваемому и однажды Норной открытому, выйти замуж.

Ее решение порывом — всем пламенем сердца, души и воли, в которой нет середины, а только «да» и «нет», и только «всегда» и «никогда».

Оля решила для себя бесповоротно выйти замуж по чувству, впервые пробужденному в ней и подчинившему своей власти, как однажды, отравленная «непоправимым», решилась бесповоротно умереть.

«Умереть» и «выйти замуж» — да ведь это в судьбе ее одно и то же.

И тотчас, как она решила, и там, в ее судьбах ответило своим решением бесповоротно. Ее ограждали пламенные силы, карая смертью всякого, кто приблизится, а теперь они завели свою

игру беспощадно. «Мне отмщение и аз воздам!» — так прозвучал бы их голос — глас Господень. И горькие слезы зальют краткие улыбки жизни.

Люди белого самого жаркого пронзительного света, посвященные Духу, родятся на земле, как и те с «угольком», и природа со своими дарами их не обходит, они не какие ублюдки, а люди.

Оля — последняя из матерей великомогучих Задор.

И «силы природы» — есть разрушающий Тарантул, а есть и заботливые лесавки — они в своем зеленом кругу, судьбою закрытом для Оли, слышат ее голос — этот голос им внятен — и вышли в заповедную рощу строить зеленую колыбель.

Есть на земле великая радость — она и горькая и полноцветная, ярче и тоньше всех цветов, а по теплоте несравнима ни с каким солнцем — радость матери.

И эта радость дана была Оле. Она приняла ее со всем своим пламенем. Тут-то и протянулись когтлявые руки «страшной мести»: они подкарауливают тех, кто тронул что-то недозволенное или взял да не свое: быть матерью не всем отпущено на долю — матерями родятся, а стать матерью — так не проходит.

И вот что произойдет: чтобы глубже, но и больнее врезать в сердце единственную материнскую память, Олю разлучат — смерть ее Наташи была бы легче.

Разлука! Это ведь только отходит, но как бы ни зашло далеко, мысленно всегда на глазах и живет, а вернуть не вернешь: дразнящий призрак.

* * *

Мы всегда были богаты бедностью. Как мы прожили в Одессе и в Киеве — только молодость, да говорят еще, что я родился счастливый. И никогда не расставались с Наташей. А в Киевский пожар я вынес ее на руках через огонь — безумные и дети огня не боятся.

В 1905-м году министр внутренних дел кн. П. Д. Святополк-Мирский разрешил нам въезд в Петербург. В Петербурге начинался толстый журнал «Вопросы Жизни», редактор Н. А. Бердяев, издатель Д. Е. Жуковский. «По протекции» Льва Исааковича Шестова и самого Николая Александровича, оба отлично понимали, что плутуют, я получил место заведующего конторой.

При редакции нам две комнаты: в угловой Серафима Павловна с Наташей, а тут я ючусь, и тут обедаем, и чай пьем, и Наташу купаем. А на кухне в кутке Ганна, берестовецкая девочка нянька, очень скучала по малороссийскому салу, и поет над Наташей про «Гули, сиры гули, во червоных, во чоботах...» Сорок рублей жалованья в месяц, и почему мне такое число мучеников, так и осталось тайной, а прибавки я не дождусь: к новому году все вместе с журналом вылетим в трубу.

К вечеру, как зажигать лампы и служащие разойдутся из конторы, а редакционный прием кончился, я брал на руки Наташу и выхожу в зал и начинаем игру: Наташа порядочно кукует, чище часов с кукушкой, лукаво показывает язычек и ловко пальцами строит нос, а к Пасхе и говорить научу, то-то сказки скажутся!

Мы весело жили.

Я был не только заведующий конторой, а и всем редакционным хозяйством — дворецкий — домовой.

Образцовый порядок, каждая вещь на своем месте, бухгалтерия, по бумажным и типографским счетам без задержки, а гонорары выплачивались до выхода книги после верстки и редко за кем из сотрудников не числится аванс, конторские барышни блестят, как паркет и все двенадцать окон, конторские мальчики, нагуляв себе рожи, наскакивали, лупя друг друга, как жеребята, ни одной жалобы, ни косого взгляда, в комнатах тепло, полное освещение и смех.

Но существо дела — расчетливость и коммерческая сметка — мои торгово-промышленные и биржевые родственники от меня открестились бы, да и сам хорошо понимаю, какой я хозяин! скажу наперед: и году не протянули, сорок тысяч ухнули, когда при расчете можно было двадцать ухлопать.

Часто заходил в редакцию А. А. Блок, студент в голубом. Если случится меня позовут по хозяйству, я не кликал Ганну, а Блоку передаю Наташу нянчиться. Бережно и нежно брал он ее себе на руки и она, глядя в его лунные глаза, показывала перед ним мою науку или тихо сидит, зачарованная голубым.

Забежит из «Нового Времени» В. В. Розанов и всегда ручки поцелует.

А что Сологуб, что Мережковский — звери и дети чуют, я и не навязывался с Наташей.

Д. С. Мережковский, глухой к музыке, терпеть не мог детей и с каким-то гадливым страхом сторонился.

Начитавшись всяких житий о старцах, как старцы с медведем ладили и детей не отгоняли, однажды Мережковский, побуждаемый высокими чувствами — да ведь и в Евангелии сказано! — победив в себе омерзение, посадил на колени Наташу. Наташа не брыкалась, но что-то поняла и носиком стала такое выделывать, как тужится. Тут Мережковский вдруг опомнился и возопил, именно возопил: «Зина, убери, огадит!» А случившийся В. В. Розанов, лукаво подмигнув, заметил: «Дмитрий Сергеевич свои, им самим зас...ые, штаны бережет».

Наташу называли «редакционное дитя», но секретарь редакции Г. И. Чулков (имя-то историческое, по грамотам XVI века великие сутяги!), «мистический анархист», к рукописям близко ее не подпускал, да она и не стремилась, ее занимал бряз и лом, из которого морды смотрят. Понемногу стала она различать и говорить не по-кукушечьи, а слова. И какая оказалась привязчивая, вцепится ручонками: «Папочка, не уходи!» А станешь объяснять ей, и как-будто все понимает, а сама опять свое: «не уходи!»

По ночам не спит, и чтобы с ней разговаривать, и не слова, мои лады слов — она, вслушавшись вся, всем, я видел по глазам и как складывает губами: «еще!»

«Наташа! в те ночи сколько сказок мы с тобой насказали. Ты жила тогда в сказочном мире, а я из того мира никогда не ухожу».

Хозяин Дмитрий Евгениевич Жуковский, издатель неподъемных кирпичей Куно Фишера, философ, сам не писал, а любил в философских разговорах вставить замечание о трансцендентном, по образованию зоолог. У Дмитрия Евгениевича была страсть покупать имения: осмотрит, прицениться и соображает, чтобы в следующее воскресенье или на неделе еще куда в Смоленскую катнуть и там осмотреть другое и прицениться. Исколесил всю Россию, сюжет Гоголем не предвиденный: не мертвые души, а земля и со всеми угодьи и хлебом стоячим и молоченным.

Помню, вернулся Жуковский из своей Чичиковской поездки и, не заезжая домой, на Мытнинскую, прямо в редакцию. Был Бердяев. Встречаем хозяина: Бердяев с «трансцендентным», я с бухгалтерией. И видим, сияет. «Нашел, говорит, подходящее, но цена!». Никогда этого подходящего имения он не купит, а решено закрыть журнал.

Так и кончились «Вопросы Жизни», и все кончилось: наши комнаты опустели.

* * *

Из редакции, Саперный переулок, мы переехали на 5-ую Рождественскую; с Песков на Кавалергардскую, к Пундику в новый дом просушивать боками стены: за квартиру цена дешевле и дров жечь сколько влезет.

Серафима Павловна вернулась из Берестовца и опять одна без Наташи: Наташу не отпустили, чтобы не скучать бабушке, да и опасно — в Петербурге скарлатина.

А было все приготовлено, и кроватку я поставил, и игрушки около, и сказку про «Зайку» сочинил: не будет Наташа спать ночью или будет «рыбку ловить», я ей и расскажу про Чучелу-чумичелу и про злую Буробу.

За первый месяц на нашей новой квартире не хватило и я просил Пундика подождать. Пундик согласился, а не прошла и неделя, вызывают к мировому за «неплатеж».

Единственное мое спасенье «Мышка-морщинка»: «Мышку» взял «Шиповник», будет издана с картинками М. В. Добужинского, и выдали мне из 25 рублей гонорара 15 аванс.

Я и пошел к мировому с этой мышью казной и рассказал все без утайки о новой кроватке и игрушках для Наташи и как меня выручила мышка. Мировой — человек справедливый принял от меня мышкины 15 рублей и безо всякого штрафа, и только внапуть сказал мне, впредь чтобы платил за квартиру в срок без задержки.

И прямо от мирового пошел я опять в «Шиповник» клянчить рубль в счет гонорара. И проваландался из-за рубля целый день: понятно, только что пятнадцать дали и какой же еще рубль — этак все можно, до выхода книги весь гонорар забрать! Зиновий Исаевич Гржебин выручил: этот — добрый человек.

Осень течет и хлюпает. Двор, как была стройка, еще не убран, из желоба вода хлещет к подъезду, на лестнице известка, темно и гудит ветер.

Не зажигая свет, я прямо прошел в комнату Серафимы Павловны: она сидела около кроватки и не замечала меня, я это видел по ее глазам. Я окликнул. И она, резко вздрогнув, как проснулась, и крепко сжимая глаза, тихо заплакала.

Я зажег свет. И при свете она рассказала мне, как только что видела своего отца, он взял ее на руки, как детей берут осторожно и заботливо, и обнес кругом.

«Папочка, не уходи!» — повторяла она.

И было в этих словах столько покинутого и такая горечь, не слезы, непроницаемая тоска застлала свет.

А Пундик нас все-таки выпер: за зиму стены высушили, ну, и проваливай! а квартиранты найдутся и подороже и не надо таскать к мировому.

А кроватка так всю зиму оставалась около кровати и игрушки и теплые платьица и штанишки, вязала Серафима Павловна, все, как только что положено, и ждет.

* * *

Надо было перевезти вещи в комнату на хранение, квартиру будем искать потом, как вернемся осенью из Берестовца с Наташей. Денег никаких и не только квартиру нанять, а и на дорогу, да и за комнату надо вперед. Я заложил золотую ризу «Трех радостей» — дали у Пяти Углов семьдесят пять рублей. То мышка, то икона — мне всегда везет.

Я хорошо помню этот день нашего переезда с Кавалергардской.

Рано утром один воз поехал: книги, и я пошел сзади с лампой. Склад на Загородном. А остальное: столы, стулья, полки, кровати и кухонную мелочь — воз пойдет с нами, как на вокзал поедем.

Я вернулся с Загородного. Серафима Павловна одета в дорогу, сидит на табуретке около кроватки. «Сейчас едем!» — говорю. А она молчит. И вдруг губы у нее задрожали, и крепко сжимая глаза, так сжимают только от жгучей боли, заплакала. И сквозь слезы что-то сказала, я сразу не понял, а потом догадался: ей есть хочется. А я забыл совсем, что с утра, как стали укладываться, даже и чаю не пили. У меня хлеб с собой и ветчина завернута в дорогу. И подал ей. И прочитал в ее глазах другое: ей было страшно ехать, ее пугала встреча с Наташей — она

теперь видела, что вернуть нельзя и что месяц, который мы проведем с Наташей, будет тягчайший, возможно, что Наташа и не узнает ее, а если и узнает, захочет ли ехать с нами — едва ли.

И хлеб в ее руках был мокрый от слез.

Мать

Что бы ни случилось в мире — пускай рушатся горы, звонит, надрываясь, вылитый из серебра — ревет тяжелый чугун и разметывает медную взвучь — кремлевский вестовой ясак, — не слышно; и пусть, муча душу, взвывает полуночница — пугало набатная сирена, — не чутко; только чутко, только слышно и через черный вопль и проклятия — и я не могу позабыть: разлученная мать — ее голос вопиет на небо. Это голос озвучен полной мерой внятно через века. Когда последний на земле человек-дикобраз — морда вепря, медвежьи лапы — бродивший при свете дня по темным подземным лабиринтам, этот гигантский крот — косматое сердце, с погасшей мечтой и заглохнувшей песней, выйдет в пятигорскую ночь подышать на звезды, звезды, наливаясь тоской, взблеснув, вдруг осияют его колыбельной:

«стану сказывать я сказки» —
и он ее вспомнит и ответит воплем
осужденного
родиться на земле с памятью человека.

* * *

Я последний и нежеланный, роковой.

Моя мать из «Некуда»: Лесков для своего романа пользовался хроникой «Богородского кружка» московских нигилистов.

Моя мать из богатой московской семьи вышла замуж не по расчету — революционерка не продается, и не по любви, другого она любила: художник семейный, имя не громкое, она вышла замуж — «назло». Так словом «назло» прозвучал ее ответ, но не людям — ей что мнение? она нигилистка, и не ему — — оказался так себе, нет, туда, в черные судьбы жизни, в тайное, по чьей прихоти содрогнулась моя душа и в моих глазах пустырь. Она взяла на свою душу неподъемную тяжесть: месть. И пять лет она держала зло на сердце.

Нас пятеро, осталось четыре: одного из братьев она сама кормила, и он помер, отравленный ее молоком. Я последний — из какой пучины злой тоски я родился! — с моим появлением больше она не выдержала — я освободил ее душу. Без повода, без объяснения она уехала и всех нас увезла с собой из отцовского дома. Отец был ей за няньку — так до смерти и осталось для него тайной: за что?

Она взяла нас с собой, чтобы начать новую жизнь. Но не радость принесли мы ей, наши восемь рук оковали ее по рукам и ногам, а глаза ее, встречая нас, пробуждали память о ее черной злой мести — каждый из нас воплощал все то зло, которое она держала на сердце пять лет.

Она затворилась от нас в своей спальне, а мы наверху над ней в детской с нянькой. По утру мы сбегали вниз в столовую чай пить, встречая, здоровались, говоря ей «вы» и целовали руку. И на ночь, после ужина, она, молча, спеша, крестила каждого и каждый целовал ей руку. Мы ее и называли не по-русски, без всякой детской нежности: «муттер».

К ней, в ее спальню, нас не пускали. Я подсмотрел: читает. Потом я буду ходить в библиотеку менять для нее книги. Книгами она убивала время. Бывали недели она не выходила к нам. Когда нас уложат, на кухне ужинает прислуга, все спят, а я прислушиваюсь: я не мог понять, что говорилось о матери, но мне было чего-то беспокойно.

Оттого ли, что в судьбе матери я последний камень, но который камень свалил с ее сердца зло, или потому, что единственный вышел похожий на нее, я, один из всех братьев, встревался в ее заключенную тайную жизнь.

Походя, она учила меня немецким словам, откуда и имя «муттер». Сама она окончила немецкую Петропавловскую школу и для нее немецкий был как русский. Она хорошо рисовала — вспоминаю ее ученические альбомы, которые она мне показывала. Но главное не в этом, а в моем «бесновании», на что я всегда был готов.

Рано я наловчился писать и умел по-разному — любую подпись могу подделать. Недаром, значит, память, как когда-то с Ванькой Каином ходили в заворуй.

Когда и самое верное средство погасить отчаяние не действовало — отдаленным огоньком стояло оно в глазах, дразня, и она, впадая в исступление, кликала меня, отвести душу.

Тут-то и заварится каша — затеи, которые я подхватывал со всей страстностью — игрока и мошенника.

Я садился за ее стол. Она диктовала мне адреса, а я надписывал конверты, подделывая почерк под учителей и знакомых. «Московский листок» за месяц мы разрезали на четвертушки и разложим по конвертам, одиноким поменьше, семейным, чтобы на всех хватило, а кому поважнее — с излишком. И не наклеивая марок, запечатаем конверты и я, с этой горячей ношей, побегу на Камушек опустить в почтовый ящик. То-то на утро подымется на Москве штраф, фырки и досада и пойдут бесполезные догадки, а никакому сыщику не придет на ум поискать следы на Земляном Валу в доме Найденовых.

На узеньких листках красным заглавив «о здравни» и черным «о упокой», без умысла перевирая трудно выговариваемые и смешные для нас имена римских мучеников по святцам, с непременным заключением о здравии персидского Ксеркса и Артаксеркса и вавилонского Навуходоносора, а в «упокой» болярина Каина и Авеля и всех сродников их. В воскресенье поздняя обедня в Андрониеве; на заупокойной ектинье очередной иеродиакон перед царскими вратами, давясь и поперхиваясь по-собачьи, будет стараться над замысловатыми именами и заключит к всеобщему соблазну, а кто не удержится фыркнет, велигласно Каином и Авелем и всех сродников их.

После такого вселенского расплева и насола, наступало временное успокоение. Но мне не терпелось чего-нибудь еще поделать чудного — я так понимал это. И заглядывая в глаза матери, я напрашивался, напоминая.

И видел, что она ничего не помнит и ждет нетерпеливо, «когда я провалюсь».

«Когда ж ты провалишься!» — с сердцем говорила она или чувствовала, куда и на что я, как бес, подталкивал ее.

Когда я перешел от чистописания к книгам, редко, а удавалось заговаривать с ней о книгах. Нелегко это было: очень подозрительная — ни во что не веря и не доверяя никому, она, как я о себе в шутку: «я всегда провожаю гостя до дверей не из почтения, а Бог его знает, стянет еще чего!» Я узнал он нее и о Лескове, и о первых нигилистах.

«Назло» — это не мое, но отчаяние... я получил этот дар от матери.

«Надо как-нибудь прожить!» — слышу свой голос, захлебываясь, выговаривается: я знаю ее тайну.

Мне ее было до боли жалко, и досадно — за ее, за нашу общую судьбу.

* * *

О матери я прочитал у Достоевского в «Подростке» и у Толстого «Анну Каренину». И у Достоевского и у Толстого очень похоже. Я себе ясно представил «Мать». Но почувствовал всю силу этого слова через Олю, когда Оля, переступив за заповеданное ей, превратилась в Серафиму Павловну. И по ее разлуке с Наташей и по ее чувству ко мне и моему к ней. Я как бы снова прошел свои первые годы под ее материнским глазом.

Она меня учила моей любимой русской словесной грамоте: слова, корни слов, история языка. Она была моим учителем — сорок лет, — и цензором в литературе и в жизни. Сколько бы я наделал глупостей — к своему часто бываешь и слеп и глух — ни в чем не зная ни меры, ни удержу, и при моем безграничном доверии к человеку, и воображению — видеть не то, что есть, а то, что тебе хочется, и всегда нарядное, увенчанное, в «розовом свете». Она предостерегала меня и, как мать, выговаривала.

У меня такое чувство, что всю мою жизнь я делаю не то, что нужно, и говорю не так, как следует: она хотела, хоть десять шкур содрать, а сделать из меня человека. И огорчалась: она видела, чувствовала и понимала, что быть уверенной нельзя, я непременно в чем-нибудь да прошибусь... Но ведь так думают все матери.

Всякое Рождество у нас зажигалась елка — о Рождественской елке я знал только по «Щелкунчику», да заглядывая в освещенные окна на Маросейке в Москве.

Она, показала мне синее-море Океан и белую звезду под звездами Эльбрус.

Я кочевник или по неволе или в снах, попадая в сферическое пространство Лобачевского, а в простом Эвклидовом мире я сидень и один так всю жизнь и просидел бы в своей комнате за книгой. Все, что удалось мне в жизни увидеть, а не вычитать, все по ее воле и выбору.

А мои сказки — мои неправдашные рассказы, она слушала с улыбкой и никогда не пробуждала окликом трезвого и черствого сердца: «неправда».

Она показала мне веру человека: по ней я узнал, какой это дар веровать — силу и чудо веры. Она показала весь свет и цвет своей души.

Она все для меня делала: берегла во мне мое. Не слепая любовь, когда любя не думают о человеке, как ему лучше, а только о себе, как будет мне приятней — не злая воля, по слепой любви и Наташу с ней разлучили. Ее любовь зоркая. И всю жизнь я служил ей, как матери.

Моя жизнь шла кувырком, но я свой за зеленой оградой, а она только через меня сюда, и вся жизнь ее была пронизана горечью жить у чужих.

И когда со слезами просила она отпустить ее — вся душа ее изнывала, так из неволи рвется человек, а она из-за зеленой ограды, я давно все понимал, да не вернешь! И куда отпустить — на погибель? И сама она понимала: «ну и погибну».

Мне ее было до боли жалко, и, не прячась за судьбу, я во всем виню себя: слепой, не узнал.

Встречи

Встречи, заколдованные места, вещие дни и сны, роковой час, полдень и лунные ночи, кому выпало на долю испытать на себе их силу и чары, в памяти не канет.

* * *

Мы жили на Оландских островах: остров Вандрок — северная хмурая пустыня: скалы и море.

Обойдя остров, спустились мы со скалы и вышли на берег моря. День был прозрачный — ранняя осень.

На сыром песке, задрав лапы, серый тюленыш, а около, на камне, птичка: она что-то печальное переговаривала, причитая. И мы стояли, втянутые в круг их тайны.

И мне почуялось, что птичка мое сердце, я смотрю с камня и мне видно: там у леса на жарине брусника. И чувствую, как мое сердце влетело в ее сердце — в тот миг и она смотрит с камня и видела: там у леса на жарине брусника.

Если бы слово, в один бы голос сказалось, когда это было. Но и без слова в нашем одном сердце прозвучало птичкой о отдаленной в веках встрече у моря.

* * *

Мы проходили по старой Аппиевой дороге — римским придорожным кладбищем забытых.

День был горячий, но не жгло. Чуть продымленная завеса, и с края до края небесная синь сияла песней.

По старым могилам от камня до камня, шаг за шагом — в вечность.

И вдруг остановились — остановил камень: наша дорога кончилась...

Время стерло историю и только имя: Sergius — русское имя Сергий. Кто был этот Сергий, что было в судьбе этого римлянина, что соединяло нас с ним и нас друг с другом?

Чувство было одно — смутное, как эта завеса над звучавшей синью — память о Риме, о встрече на старой Аппиевой дороге.

* * *

Дорога из Кэмпера в Карнак Броселианским лесом. В чаще леса, под дубом, непробудно спит зачарован Мерлин, тут и его меч, там и легенды о Круглом столе, о рыцарях, о Граале, святой чаше.

Все я вспомнил и в моих глазах оно было не как вчера, отдельно, а со мной сейчас.

В Карнаке застигла гроза.

Стуча громом, сыпал дождь: вода в три ручья, залило, в тумане путь. Только к ночи втемную мы устроились.

Среди ночи я поднялся и к лунному окну.

Луна ныряла в море ветра: она показывалась всем своим лицом и погружалась с головой, прорывая блеском черные вороха облаков.

«Крест на могиле зашатался и тихо вышел из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самых пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. “Душно мне, душно!” — простонал он диким, не человеческим голосом: голос его, будто нож, царапал сердце».

Я отшатнулся. И на мой шорох она проснулась.

— Страшно! — говорила она, — мне приснилось, как у Гоголя — Страшная месть.

— Но тут не Днепр, не мертвое поле, а берег океана, живые камни!

И я, очнувшись, погасил в себе лунную память.

* * *

Утром мы вышли на каменное поле.

Поле залито солнцем и камни, бесформенных форм, сияли. Под ногами лиловый шуршал вереск — цвет старой земли: ей снится поле — перевернутый геометрический каменный сон.

Пройдя солнечным коридором, мы стояли под куполом Кромлеха. И лучи пронзая, осветили нас.

А в сердце пробудилась одна единая память. И открыв дорогу, повела глубже в века над пропастями — в Египет.

Как давно мы знали друг друга!

Наши глаза, наши руки, наше сердце спаяны, — перевивались лучами.

День всех святых и всех мертвых

Черным обита наша входная дверь — подъезд, 7, улица Буало — серебряный карниз и по черному серебряный герб: «голова львова, сера космата с огненной пастью в поле блакитном».

Редкий день такое не увижу, раскрывая поутру ставни моего окна, а это значит, еще одна жизнь человека окончилась на земле.

И все мы, переминаясь, ждем чтобы, осторожно раздвинув тяжелые суконные занавески, войти в дом смерти.

Весь наш Отей от Эглиз д'Отей до Суханова — все знакомые, наш обязательный утренний выход на добычу, — вшивое отрепье — люди сороковых годов (1940—1943).

«Пузырь» и ее мать с тугими руками, плотнее кнопок, нагружены тетрадями, блокнотами, конвертами и разноцветной промокательной бумагой. Кремовый Сервант, Мадам и ее сестра — кассирша и обе шоколадные тянучки — заварная в прошлом году померла — с блестящими конфетными коробками, печеньем и развесным кофеем, мера нашей нищеты. Бюралист Ан-

дриё, глухой без пиджака, весь обсыпанный и нюхательным и «серым», и его суровая жена — белые камни на шее под янтари, и их дочь — читает книжки, и гарсон Луи, сияющий кофейник. Черноусая «оса» (гэп) в белом пружинном халате — молочница Жирар с бельевой корзиной — картонные «су» для безответственной сдачи без задержки, и дурак, Гэпов муж, особенно дурак, когда в шляпе. Рыбаки, неунывающие братья — коли рыбы нет, пучок морской травы положат: они с травой без рыбы. «Тоненькая Шейка» и ее Жак с лицом Шейки, но еще без лисьего нюха, засыпан подозрительной мукой, а она в чешуе бывших круасанов. Итальянец — человек рогатка, печальный цирковой змееглотатель и итальянка — черненькая бородавка и их «русская» Елен с пустыми руками, нет товару, а припрятано — не считается. Мадам Бельгёль, мясничиха, не сразу скажешь, где «нуа де во» (телятина) и где сама, и с ней ее помощники: Андрэ, длинный с детской головой, уписывает говядину сырьем, и старый Ахилла — зачервивел от перееденного мяса — весит куски не на весах, а на ладони. Семейство Мартире — масло, сыр, яблоки, кочаны и две пугавки: та, что муху проглотила, и та — яйцо, такой она скорлупчатой белизны. Наш сапожник, впрочем, все сапожники на одно лицо или вернее колодку. Прачка — глаза, в которых кануло мое белье. И та, старая Незабудка, натянутый на юбку горб, а приползла прямо с лавочки с припека от кинематографа. И все четыре парикмахерши: гречанка Жанина, луковая Одет, конеобразная Симон и корсиканка Жаннет. А вот ковыляет и черный жуковый Вэнсен — покойник, Хопля, увешен счетами, счета, как свитки у грешников, ведомых копытчиком на истязание — картошка, сырки, яблоки.

«Люди мрут как мухи!» — говорит ненасытный «клиент» из русского ресторана и с присвистом здоровается с Хоплею, как с собакой.

И не Хопля, а Иван Павлыч Кобеко, дергаясь, вытащил из проломного кармана свою проутившуюся зажигалку и, закурив полынную смесь, заметил:

— «Сыроватый».

«Еще бы, — подумал я, — не май, шесть месяцев прошло со смерти». И понял, почему Одет такая луково-зеленая, а Иван Павлыч поношенная желтая перчатка в драповом пальто, и дышит.

Да это вовсе не улица Буало, посмотрите, откуда такой желтый туман?

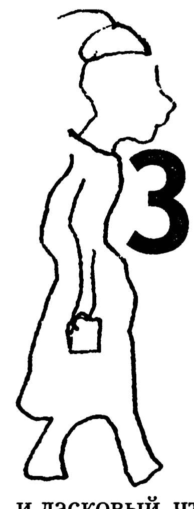
Где-то на втором дворе не то Гороховая, не то Фонтанка у Обухова моста — места памятные по Достоевскому, а мне особенно по «Крестовым сестрам».

Вдоль панели белый, пальцем страшно тронуть, такой чистоты белый снег. А в засырелом каменном углу сквозь белое резкая зеленая струя и выброшенная из окошка, ветка. Туман срезал верхние этажи и из черного фонарь с болью вскипает, наливаясь апельсином.

Она шла издалека, торопилась поспеть идти вместе со мною. Она издалека видит меня прижавшегося к сырой стене и прямо и уверенно идет. И когда она подошла совсем близко и мы очутились глаза-в-глаза, я узнал в ее губах свое и серые, такие глядданные ночь и день, ее, единственные для меня, глаза.

— «Ты маме положил от меня цветы».

И я почувствовал, как, услыша свое имя в моем голосе, — «Наташа!» — она вздрогнула. И, кутаясь в звучавшее облако, стала подыматься над землей.



ЗАЛОМ

Вывертень

3 июня 1940 г. — в памятный день для Парижа и роковой для Франции, Мамченко вышел в полдень из своей Медонской землянки в садик, нарядный, как там, в Запорогах, в Никополе, в свой цветник с приблудными и подобранными ранеными зверями, зверьками и пичужками. Много у него зверья перебывало, накормники, а самый главный среди всех птиц, был заяц: усатый, и только что молчком, а все понимал и как слушает внимательно, суча волосатыми ушами, когда Мамченко сам с собой стихи читает, — и ласковый, что-то лопотал, мордочка ежиком. «Не всякое поймет, все-таки звери». И всякий раз я повторяю за Мамченкой: «звери!» — «звери родятся на безмятежную радость», а вот зайца и обидели, а шел Мамченко по лесу, шишки собирал и видит, лежит под кустиком усатый вверх-брюшкой, плачет. Вспомнил ли Мамченко Зосимино слово: «не мучьте, не отнимайте у них радость, они безгрешны» или просто жалко, и подобрал его. И с тех пор живет у него заяц, в его землянке, как самый верный человек.

День был блестящий, июнь. И такая полдневная тишина, кажется, сама земля приникла и все остановилось, и один только Бес-полуденный, давясь «осанной», один, каменный, томился над Нотр-Дам, — над всем Парижем. И слышит Мамченко, как побежала б волна, — волна за волной, — шелестящий, подгрудный стук. Сбросил он зайца на землю и к небу, посмотрел, и заяц уперся на задние лапы, перекинулся, и сел на корточки, уши на стороже, — и видит, птицы, не простые, серебряные птицы, они тянулись по воздушным блестящим путям, спеша: и одна стая отделилась на север, а другая на юг, а третья направила на

восток. С восторгом, не отрываясь, смотрел Мамченко на этот серебряный полет, провожая глазами диковенных птиц.

И та стая, которая спешила на восток, летела в огненном блеске к нам, на Ситроен, — но, не долетев до Ситроена, чугунно дыхнула — и это был не вздох, не песня, а бомбы. Первые бомбы брошены были на нас, на нашу тихую, славную поэтическим именем rue Boileau, «L'Art poétique».

И вдруг, переменившись из серебрянных в черные, черными птицами полетели они, подымая стеклянную метель в голубе дня.

Две бомбы ухнули в соседний № 9, стеной к стене с нашим, и одну садануло в покинутую клинику, теперь госпиталь, в здание, где ютились монашки — как раз против наших окон. Слепые, остервенелые осколки, изрешетив стену монашек, вскочили в парикмахерскую Жанины — и мигом зеркала в-бряс, и под брезгливый стон стекла они метнулись в сторону вверх и, надрываясь свистом, врезались, визжа, в выступ стены у окна, где нас застигла сирена.

Отбиваясь от осколков, мы в коридор, а в коридор уж сыпались стекла из другой противоположной комнаты. А выйти на лестницу невозможно: дверь на ключ, а ключа нет, отбросило вихрем. Ну, некуда. Некуда было деваться, и вдруг, как в мышеловке, сузилось пространство, и много пронеслось — но грохотом глушило мысль и секло все слова и было одно чувство, взрыв чувств — ужас: этот крутящийся, взывающий вихрь и это белое, кипящее пламя сквозь кровь.

С очков капала кровь, я нащупал на полу ключ и отпер дверь — а там с воем крутила стеклянная круть, и звеня, синий «катедраль» засыпал осколками лестницу, по ступеням на волю. А соседняя дверь, где жили собаки, а теперь пустая, настежь — и там бушует. «Затворить эту дверь», — толкнула меня странная мысль, и обеими руками я схватился за скобку — и кровь ослепила меня.

Окровавленный, липкими пальцами вытаскиваю из головы и с лица осколки, и странно, ничего не больно, а Серафима Павловна за руку тащила меня сесть. И вдруг у нее подкосились ноги, точно кто ударил ее, и она опустилась на ящик с газетами, а я ощупью пошел в ванную под кран промыть глаза. И тут я понял, что меня ударило в левый висок и в бровь.

А когда я вернулся, она сидела на ящике и кровь капала со щеки. Буря утихла и только взрывы, — по соседству горели автомобили, — да сигналы пожарных. Все кончилось.

Блестящий был час, и все блестело от стеклышек. Серафима Павловна с трудом поднялась. И с этого часа начинается страда.

«Кукушкину» комнату нельзя было узнать: разбросано, перевернуто и везде осколки, и на столе, — все рукописи и книги на полу — блестит стекло, и один только Feuermännchen: он сидел на столе, на своем месте, не пошевельнулся, но какой убитый, какая грусть в его заботливых глазах, и черный колпачок спустился на нос: в дом вошла беда.

Ее обуял страх, места не находила укрыться, пустые окна ужасали ее. Спала она — если можно сказать это слово «спала» — не в комнате, а в коридоре. А я на полу в уголку. Ночи были ужасны.

Не забыть мне этой ночи... последней, в последний день — Париж.

Париж — «это вечное, волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещения, мод, изысканного вкуса... великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невиданных углах Европы, трепет и любимая мечта двадцатилетнего человека, размен и ярмарка Европы». С каждым днем Париж изменялся, не кричали его шумные улицы, а окна в жалюзиях, оловянные глаза домов, наводили мрачную скуку, и бешеные бабы, бесясь, выбесивали свои дикие вести из «собственного глаза» и достоверно: страх на страхе. Гоголь не поверил бы, увидев когда-то блестящий, блистающий Париж — пусто место!

Какая сила гнала эти тысячи нагруженных вещами и людьми автомобилей, этих пешеходов с вытаращенными глазами, эти допотопные повозки со скарбом и детьми?

Я никогда не думал, что можно так безнадежно терять голову. Или, действительно, страх посетил душу и безголовым подхлестывал ноги? Гаражистам никогда не подсчитать слипшихся бумажек — недосчитанные, уходили в их руки из трясущихся рук: только б поскорее! Не могу поверить, что потому, что велено было — нашелся дурак, поверил! Были, конечно, послушные — всегда будут послушные, — им рассказали из детских вечеров старинные сказки о войне, все, что изображено на старых

гравюрах, зверства сарацин и турок — и они бегут, чудаки, вон уж там, по дорогам, бросают бомбы и без всякого насилия — зверства теперь другого рода, — и даже не метясь... И куда девалось чутье деловых людей и счетчик, — глаз купца? Бежать! И одна только грозная воля: беги! И ноги — единственное, что что-то еще значит, ноги, — преимущество давно исчезнувших скороходов и состязающихся для забавы бегунов — стали первым, а все от головы — так. Уж подгибаются, и горят мозоли, и больно в пояснице, — все равно, бегут.

Или это было нечеловеческое? Грозная неумолимая судьба повелевала волей: очистить от живого, опустошить этот застроенный на Сене кусок земли, очаровательный, великолепный, единственный из городов, неповторимый Париж, — **пусто место!**

Не забуду я ночи, когда из гаража умчались последние автомобили. Наши окна без стекол, настежь, мы живем, как в чистом поле, всякий звук внятен и все видно. День был непохожий, ярко светило солнце и вдруг, я думал туча, но ни о какой грозе не было слышно, это дым стеной поднимался вокруг Парижа; потом, говорили, видно было, как с разных сторон выбивался огонь: что-то жгли; а за дымом невидно пришли настоящие тучи и пошел мелкий черный дождь. На какой-то краткий срок прекратилось электричество. А когда восстановили, пришло в голову запасаться водой, и хватали спички, где можно, спички исчезли. И черная ночь заволокла Париж.

И что это было — какая бурная без бури и летящая без аэропланов ночь. Все небо наполнилось странною жизнью: выло, с болью больно рвалось, и, щемя и глушась, высвистывало сквозь гул: «отпустите! остановитесь!» Они собирались к Монмартру и от Сакрэ-кёр летели к заставам. Какое «святое сердце» напутствовало их? Они летели к заставам, а с застав разлетались по знакомым уголкам Парижа и кружились над домами, где сгорела их жизнь, и еще теплился трепет, чтобы лечь в домовину на «вечный покой», и своей беспокойной волей побуждать, открытые к трепету, души и бередить остывших. Я чувствовал, и только не мог еще назвать имена — «дорогие могилы», было все вместе, знакомое с детства и, как свое, там, с Белого моря до Черного, с Волги до белых гор Кавказа и там — по дремучей Сибири. Гул заглушал мой слух. Как я тужил, что нет ни-

кого сейчас, кого бы спросить, и беззвучно под гул я звал: Paulhan, Parain, Reneville, Drieu, Arland, Chuzeville; Pascal — André Gide, Supervielle — Breton, Eluard, René Char, Lely — вам тут, не мне, каждый камушек чуток!

Всю ночь мы не спали. Не спали и наши соседи в опустелом гараже напротив: стеклянная крыша гаража вся была выбита, как наши окна. Говорил чей-то голос, по-русски говорил, чувствовалось, ему было страшно. И чтобы страх разогнать, рассказывал страшные случаи из своей жизни и из жизни знакомых или что слышал. Самые страшные страхи рассказывают у Гоголя в Вии, как идти Хоме Бруту в церковь читать над панночкой. Это верно: молчание ужасно. А когда он окончил последний памятный ему случай, что-то похожее на легенду о Лилит-панночке, превращающуюся в собаку, и о заезженном панночкой псаре — рассказ Дороша, он перешел к воспоминаниям о праздниках, о Вербном — как у них под Вербное, как на Николу, дарили детям: с вечера положат, а на утро — какая была радость. И слышу о земле, весна пришла, и лето — полевые цветы, колокольчики, и зеленые волны колосистой ржи.

А они все летали, и одни летели к Порт д-Отей, другие к Порт д-Орлеан, и было щемящее до боли в их свисте и завывании.

И я стал различать ритм: это Villon, это Racine, это Rimbaud, это Villiers, это Hugo, это Baudelaire, я все прислушивался, это Mallarmé, и вот слова перешли в музыку — это были «Страсти св. Севастьяна» и я повторяю за Debussy, мое сердце, вдруг освобожденное, звучит, а это — и оно как врезалось трехсаженно и все покрыло — и я узнал Rabelais. И с трепетом я узнавал все новые и знакомые имена.

Высоко над Конкорд на фонаре, раскачиваясь, висел он: его голова уходила к звездам, а руки, через Триумфальную арку и Лувр обнимали заставы; под его ногами площадь лежала в пусте, Сфинкс был его стражем. И вдруг сорвался, какая поднялась круть, темный полуночный ветер, таившийся на крови, на камнях Конкорд, взвихрившись, звенел, и сквозь круть, кровь и звон я различил ритм: Nerval'я. И в зеленом зазмеившемся кольце взблеска — Вестрис, Дюпор, Альбер, Поль и Перро: они взлетали к звездам и звездною метелицей развивались на землю. И снова все затаилось: «куда еще лететь, кого остано-

вить?» и только стукало подошвами, и под зловещий стук, так с лопат стучит земля в могилу, я услышал, — я узнал этот голос, он пел один над пустынным покинутым Парижем: Мусоргский: Шаляпин:

— «Душа моя скорбит» —

В ночь с 13-го на 14-ое, в час, под пушку немцы вошли в Париж. «Париж в руках наших!» — так однажды, в 1814-м, говорилось по-русски, а в 1940-м — по-немецки. Но никакая рука не вынет душу... Вольтер — Стендаль — Рембо — Бодлэр — Шекспир, Данте, Гете, Толстой, Достоевский. Да, все мы ходим под Богом, а человеку мудровать над человеком — позволено все.

В беспастушное пространство

Большое разочарование. Бешеные бабы даже обиделись: беременным не взрезали живот и хоть кто бы нибудь рассказал о изнасиловании! И отводили душу — и тут была правда: «дороги к Парижу завалены трупами». Без дела шатались люди, еще не уверенные: прятаться или смелеть? И вовсе никакая «пятая колонна», как тогда говорилось, а все это были из щелей, дешевое, которым некуда было бежать и незачем. Почему-то предупреждали, чтобы русским не очень-то соваться и высовываться, лучше сидеть себе по домам. Большое было оживление у блядей. Последняя отставная, перекрестилась: всем найдется работа. И вспоминая Блюма, — единственное, что от прежнего осталось: свобода в понедельник! — она передернула плечами, как когда-то в свой расцвет, и засеменила на Шан-з-Елизэ, где без толку мчались грузовики с солдатами, а над Триумфальной аркой, над «неизвестным солдатом», низко кружили, гремя, как каркая, тучные аэропланы. Какое ослепительное зрелище. И стоило ли из-за этого ломиться в Париж!

С перемирием («армистис») солдаты разбрелись по казармам, стали и беглецы по домам возвращаться, вышли газеты, открыли магазины, укоротили день, чтобы оглядеться в чужом городе и обжиться, потом понемногу прибавят, и наступили будни.

И я пропал в очередях.

Поиски еды, стояние в очередях — сначала у немецких казарм, потом к Матэо ходил, для «беспризорных», а кончил русским рестораном на нашей улице: давали суп на вынос.

Стояние за молоком в несметном хвосте у «диспансера» — пример образцовой распорядительности: сообразительные монашки завели такой порядок, чтобы сначала за билетиком на очередь, затем новая очередь за молоком и третья очередь платить за молоко. А когда ввели карточки, стоял в сливочной — хвостили за всем одновременно: и за маслом и за сыром и за вермишелью, — хвост начинался от Николя. Стояние в мэрии за ордером или, как тут говорят, за «бонами»: со временем утряслось, стояли легче — в школах, где выдают теперь продовольственные карточки.

Два основных стекла вставили в августе «главные водопроводчики», как почтительно называла их одна из наших безумных — «Блаженная», она же и «Кошатница», а остальные стекла только в ноябре. Для затулы от ветра я сделал тридцать витражей на картоне — площадь выбитого стекла. Снаружи часовня, а в комнатах, как пошли дожди, к вечеру ледник. Зябнуть стали загодя. И наступила зима, из зим за двадцать лет в Париже, никто такой зимы не запомнит. Наш дом без каминов, центральное отопление не действовало, жгли духовку, хоть в кухне в тепле отсидеться, но вышли ограничения и духовку запретили. И только к январю могла осуществиться установка электрической печки — радиатор.

Рваные ботинки, продранные чулки, сырость, везде течет и лопнули трубы — подтирай пол, а за водой — в соседний, а дают неохотно. Но в России «стены» — помогали, а тут чужой. В России у меня был вызов — все принять: судьба ли меня согнет или я ее измором возьму. А тут была одна оборона, и единственное всем повторял я: «не обращайте внимания».

Я никогда не чувствовал себя тем запуганным: им отвод для растерянной души — каркать, они воображают себе всякие грядущие беды и с поджатым хвостом пугают и себя и других: «плохо, говорите, еще хуже будет!» — вот их припев. Мне всегда казалось, что если чего-нибудь и не будет, ну чаю, кофею, — и разве в этом все? Я соглашался и на «армуаз» (полынь), без табаку, всегда где-то уверенный, что все будет, и всем повторял свое неизменное «не обращайте внимания».

Вспоминался мне, — в Житии протопопа Аввакума читал, — юродивый Федор; обвык он босиком ходить, трудно было, а победил, и так притерпелся, что и никакой огонь не берет: «в Чу-

дове в хлебне после хлебов в жаркую печь влез, и голым гузном сел на поду и, крошки в печи подбираючи, ест». Чернецы ужаснулися, а ему ничего. Тоже и старец Епифаний, — это когда на Париж напали блохи, и в хороших домах от блох житья не стало, и только и разговору было, что о блохе, — старец Епифаний на муравьиную кочку садился, усядется поудобнее, норовя голым гузном в самую едучую кишь, спервоначала — очень, а притерпелся и ничего. А муравьи не блохи — жало-игла, и блошиные кусатые ноги перед муравьиными клещами — тряпка. Жаловался Пьер Паскаль: очень допекают, и от холода коченеет рука, перо скачет, а я ему о Федоре и Епифании напомнил: Паскаль в нашем «огненном» веке свой. А другим я повторял одно и кратко, как на блоху, так и на холод: «не обращайте внимания».

И еще о эту пору с какою-то жгучестью я вспоминал карлика, давняя память, карлу Ивашку. В моровое поветрие в 1654 в Москве царь Алексей Михайлович с царицей покинули Кремль и с Москвы съехали, пока не уляжется, а во дворце в Потешной Палате остался истопник и карлик — карлику поручили от царицы из хором «четырех попугаев, а пятого старого»; на истопника выписали корм с Хлебенного и Кормового дворца, то же и птицам, а карлика забыли. И всю зиму — 20 недель — жил карла Ивашка без корму, и за птицами наблюдал. Миндаль и калачи купит птицам сторож Дементий, и всякий день карлик накормит птиц и клетки почистит, и, если остался жив, спасибо истопничему: Александр Борков кое-что даст от себя, а то без корму очень затруднительно: птицы, хоть и не скажут, а таскать у птичек тоже нехорошо. Близко к Кремлю никто не подходил: с каждым днем наметало сугробы и белая стена белее стен Китая подымалась вокруг дворца. Карлик зябкий, кутался в выброшенные «подержанные» царские набрюшники и подгузники, и это червчатое на его лазурном кафтане красило его птицей. Карлик накормит птиц и присядет к окну — только белый снег — посидит-посидит и опять к птицам: разговаривал с птицами, сказки им сказывал. А в окно только белый снег. Карлик поднялся, стиснул свои кулачонки: «забыли!»— и тоненько завыл собачонкой. А истопник Борков думал, что птицы запели... «всякие бывают птицы, а царь и царица птиц не гонят, да скоро и весна»! — и, пригревшись у печки, вспомнил,

как царь намедни очки надел — такие стекла на глаза и сквозь стекла книгу читал и тихо смеялся, — «медвежья комедия или про охоту!» И, сладко зевнув, Борков перекрестил рот: «поужинаю, да и на боковую». Бедный карлик, мне никак невозможно, мои рваные ботинки потонут в сугробе, а я бы непременно поднялся к тебе, я очень люблю слушать сказки... я, карлик, как ты, сижу один у окна, только не белый снег, а беспросветная ночь.

Пещерная жизнь — черные дни.

Я не запираю наружных дверей: дверь всегда приоткрыта. Но тут я хорошо помню: захлопнул. И слышу: кто-то вошел. Я поднялся, хотел заглянуть в кухню, а дверь не отворяется, так забухла с вечера, такая сырость. И много я старался: какая-то сила держала ее. А когда все-таки справился и вошел в кухню, за мной следом вошел карлик: но это был не карла Ивашка-лазоревый в красных сапожках, это был тощий, в чем душа, и на его толкачике голове острая черная аракчина, как колпачок на моем Feuermännchen'е и весь в черном, блестящий, как высеребряный. И лицо — он так смотрел на меня зорко — блестело: глаза и острый нос и дергающиеся уши. Он мне подал кувшинчик, полный зеленоватым. «Неужто молоко?», спросил я карлика. «Лунное, сказал он, а это жар-птица», — и он протянул ко мне книгу в золотой парче. «А это что на тебе?» — «Черный шарф, — сказал я, — называется «Марья Александровна», очень теплый». Карлик засмеялся, что так зовется по-человечески, и что теплый, и своими детскими ручонками снял с меня этот теплый человеческий шарф, и я почувствовал, как меня встряснуло: холод побежал по мне. А он взмахнул шарфом и я, как ухнул в пучину, и поднялся через кипящую чернь вверх — думал, что уж Бог знает куда попал. А там все обыкновенно: холодно, улица, и у лавок бесконечные хвосты. «Гретхен» — Софья Семеновна, наша соседка, когда-то в допотопные времена пела Маргариту в Большом Театре, она, что-то уж получила, в обеих руках тащит. «Как вас Бог нòсит? — говорит она, а сама на эту свою ношу, должно быть, творог (такая редкость!) косится. А я ей отвечаю: «Бог не выдаст, свинья не съест». А сам думаю: съеден на девять десятых, я не забытый Богом, все-таки, на ногах, но почти забытый: как я мечтал, вот напишу что-то, а и на мечту не остается, и не только писать, а и на чтенье не остается часа. «Душу мою освободите!» И как бы в ответ мне

она раскрыла свой горшочек и я увидал и совсем это не творог, а мой черный теплый шарф «Марья Александровна».

Да, когда-то я во сне видел рыб и их явление было живое — серебряные в прозрачной воде, а вот как-то приснились сардинки в масле и без косточек: значение не предусмотрено ни в каком соннике и ничего неизвестно Мартыну Задеке.

Или — а это тоже новейшего изобретения: две золотые раки: мощи не то митрополита, не то какого-то князя — мощи «под спудом». А как вскрыли, оказалось — через золотые кованные стенки вижу светящийся рубиновый цвет: ветчина. И все стали в хвост, двигаются за кусочком: великолепная ветчина! И я устремился за своей долей без тикеток. Думаю, как удивлю Серафиму Павловну, ведь, забыли и вкус ветчинный. Но я шел последний, — я сослепу стоял не там, где нужно, — все расхватают, и мне не достанется. «Душу мою освободите»! И с горьким чувством проснулся.

Мои ботинки текут, сапожник не принял: никуда. И вот мне срезали подошвы, я взял в руку и замечаю, с краев они розоватые, а вгляделся: да это сливочное масло.

И даже в литературу вплетется наша жизнь, где ничего не осталось, только корм.

Я его встретил под живой зеленой аркой, такие помню в Фриденау, но еще выше, гуще и живее. И кто-то тонкий, высокий — его спутник — промелькнул в зелени арки, он, видимо, идет впереди, отыскивает... (как потом выяснится: корм).

Я шел с ним по берегу Яузы от Андроньева к Земляному валу. На нем был зеленый мундир с желтым воротником и фуражка с желтым околышем. Мы идем плечо к плечу, я заглядываю ему в глаза, хочу напомнить о себе, но в его глазах «кремнистый путь блестит». Так прошли мы бани, Полуярославский мост. И я тужил, что нет у меня слов, — и все стихи его я вдруг забыл. Тут появился его спутник, на нем была та же форма, но солдатская, и был он куда выше и очень стройный, что-то знакомое показалось в нем — я видел его совсем близко. Но он обогнал нас и, крикнув, «Жорж», пропал. И на его окрик из бурьяна поднялся и все выше, высоко над репьями повар Рыбенцов. (Рыбенцов студентом в Москве написал исследование о Лермонтове, а в Париже повар «Жорж» в русском ресторане на нашей улице). Скрестив руки, приветливо глядел он на нас, и на

его благообразном лице сияли стихи: «Михаил Юрьевич!» — сказал он и окликнул: «Александр Александрович!» И я догадался, что спутник Лермонтова Бестужев-Марлинский. И вдруг в глазах «кремнистый путь» Лермонтова потеплел. И я понял, что и Лермонтов и Бестужев шли к «Жоржу» обедать и что Жорж подложит им в суп «косточку», как мне подкладывает всякий раз. И теперь, не чужой, я шел с ними. И они о чем-то оживленно говорили... но только различаю ясно: «косточка — кость — кастрюля...».

> И все мне кажется живые эти речи
> В года минувшие слыхал когда-то я;
> И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
> Мы вновь увидимся, как старые друзья.

Первое время я все радовался: часы остановились, услышу, где-то бьют, и обрадуюсь; или кто-нибудь принесет папиросу или даст несколько кусков сахару или получу у Тоненькой-шейки хлеб по тикеткам или добьюсь получить у рыбаков рыбу без номера — и на все обрадуюсь. Что это за акафист такой: «радуйся! радуйся!» или это так разменялась радость и скоро за право дышать станет радостно.

Когда-то я изучал философию, перевел с помощью Бердяева книгу Леклэра, К монистической гносеологии, и одолел речь философов, но сколько ни пытался философствовать, ничего не вышло: какая-то паутина с застрялыми мухами, так путался я в словах. И осталось только мое пристрастие к «философствованию»: люблю слушать, как Иван Александрович Ильин, самый блестящий из московских учеников Гегеля, разговаривает.

Из философов огнем застряли в моей памяти Гераклит и Эмпедокл. Из семи мудрецов меня особенно поразил Фалес своей бездонной памятью, он помнил Океан — живой: водный и воздушный, верно и о рыбке той помнил, самой первой, о которой я услышал на первой лекции по анатомии: по ее строению все мы, люди, звери, рыбы и птицы. И, конечно, оставил память Пифагор числами и своей судьбой — о жизни древних вообще никто ничего не знает, все пропало, а говорю по Сенковскому; барон Брамбеус и не то еще знает: как мечтал и просился Пифагор воплотиться в собаку — высшее и верное во-

площение, а определено ему было жевать траву и он воплотился в корову. А по моему званию? – мне полагается где-нибудь приткнуться около Плотина. Когда-то Шестов напечатал статью о Плотине, находчивый редактор в последней корректуре заметил и исправил шестовское «и» на «о», и вовсе не для безобразия Плотина превратил в Платона. А «для безобразия» был грех, но только со мной: И. А. Давыдов написал рецензию на книгу Рожкова, Рожков известный петербургский «экономист», Серафима Павловна служила корректором в «Вопросах Жизни», принесли корректуру и я заметил, что вместо Рожков набрано «Розиков», и, не показывая Серафиме Павловне, исправив на свой страх опечатки, но не трогая «Розикова», отослал в типографию, да так и вышла книга с «Розиковым». Хохоту было, но и обида: этой рецензии Рожков ждал, а Давыдов старался, и ведь все в похвальных выражениях: «Розиков – Розиков – Розиков». Я тогда совсем забыл, что ведь все падет на корректора, ну мне за это и отплатилось и через много лет, тут уж в Париже: самый лучший отзыв о «Крестовых Сестрах» появился в женевской газете, но вместо Ремизова напечатали жирным шрифтом: «**Ремозоль**» и в заглавии и в тексте и вовсе не «для безобразия» «Ремозоль». И вспомнив, я подумал, от беды не увернешься, и неизвестно еще, отчего все так бывает и **за что**. Так и я расфилософствовался. А было над чем: разорение и беспелюха; а в нашей жизни: пропад.

Я верую в пепел. И когда курю, сыплю на пол, не в пепельницу, и на рукопись, и куда попало, серый пепел. А исповедую огонь. Только в «огневице» и мысль родится и воображение. И весь мир «в жару» цветет. А из пепла первой же воскресной весной восстанет жизнь, верю и пропада не боюсь, подойдет оно и подымет. Кто оно? Пламя – желанное сердце. А люблю я осеннюю дорогу, палые листья, вой ветра, круть ветра, – это дыхание жизни, смерчем задушит, а других оживляет. В вое ветра я научился различать: темный, на голос гулко опевает меня – мое самое главное пропало! А над темным другой поет-убаюкивает. Люблю шум, тесноту, безобразие; люблю и тишину, когда мысли идут, как попало, и музыку: в ней и прошлое, в ней и о будущем. А настоящее? – с 8 утра до 9-ти вечера, а бывает и до 10-ти, в очередях и на кухне. И чему же я все радуюсь, чему, чему?

Так было первое время, пока не обвык.

Четыре часа собираю воду, ползая на корточках после всех дневных моих стояний, и в коридоре ледник: в уборной засорились трубы и, когда наверху спускают, в раковине подымается и на пол: осьмиэтажная застарелая моча. Мне ничего не давалось так: еще в детстве «из какой руки?» — спросят, и я всегда назову ту, в которой пустышка, и только трудом я что-то достигал. С промокшими ногами я продолжаю работу, и голова болит: накануне вечером с час трудился. И уж не радость, что подотру, и больше не будет течь, и не отчаяние — зальет, а любопытство, что дальше, когда меня зальет. А поутру снова: кухня и коридор — вода, и какая! боялся подтечет в комнату, и кого я только ни просил, и консьержа, и консьержку, и жераншу — посмотрят, постоят — и за дверь, и только один умный Утенок — ему вода своя стихия, — напялил свои лягушачьи зеленые перчатки и, сверкнув бриллиантовыми глазами, пошел за мной с тряпкой. До полдня трудились. Да все равно без водопроводчика не справишься. А как бы, еще недавно, я обрадовался, когда пришел, наконец, водопроводчик, веселый и быстрый и за пять папирос глотком высушил залитый пол и тряпку выжал.

Какие тупые беспросветные будни, день-деньской на ногах, и не костлявыми пальцами, а как мои пальцы, — если случайно притронусь, человек вздрогнет,— моими пальцами впившись в мои плечи, давит Забота; и так таскать не по силам, а она тяжелее тяжестей, сумку я на стул положу, а она не отпустит. Но как бы суровы ни были будни, в них неизбежно и смех и горе, — горе и чары. Смотрите, уж раскрываются «врата огня» — под землей, в воде и в воздухе.

Святый вечор

Я не помню Рождества, чтобы не было у нас елки. И в самые тиски, зажим и всполох, в вое гудящих сирен — утренние, полуденные, вечерние, полуночные — под этот адов, взмывающий душу будильник, на все на весну — переломы солнца, неизменно зажигалась в нашем доме Рождественская елка.

И даже — когда ничего не остается и только бросить дом, выйти на волю и не молитву — все молитвы за противоречия их *там* давно похерены, — а под нос себе оробелое бормоча «елки-зеленые», бежать в лес к зверям или в пустыню, в горы к диким

зверям от человеческой мерзости — мудрый Буало, в сатире на Человека, вы и не догадываетесь о последнем преимуществе перед наивными чистыми зверями этого бесстыжего зверя, которому зверю все позволено безнаказано! — так опозорить и загрязнить землю, такое сделать — скрыть от глаз небо, звездную ночь — мог только человек-бестия, украшающий себя игрушечными высокими символами для отвода глаз порабощенному человеку, жаждущему не крови, а теплоты сердца, милосердия и воли.

Горькой памятью вспоминаю вас «Безумная» и «Блаженная», вы красили наши Рождественские елки, вы, покинутые счастливой судьбой, за что вас замучали?

И еще в моей памяти жарко: наша первая в войну елка. Под елку забежал и остался караулить на серебряных шарах черный барсук. Наяда привела с собой и барсука и — с первого прикосновения я узнал ее, сестру лесных ручьев, блестящую из сказочного мира Э. Т. А. Гофманна, и наша елка вдруг осветилась таким волшебным светом, хоть не зажигай свечей.

И все-то рассвеялось. Остался черный барсук, своей горькой тоской он не покинул наш дом — какие уж там сказки под «зенитный» оглушающий грохот! А Наяда — она обернулась в черничку и ушла в свою черную келью: не заглянет к ней солнце, не покроет лунная тень. Так было бы в сказке, но в нашем суровом беспесенном дне, хотя всякое утро солдаты, не наши, нагло горланят песни, какая там романтическая черная келья! — окандаленная голодом, потащилась Наяда на «египетскую» работу при полном освещении, без ограничения электричества.

В последнюю нашу елку в дом наш вошла Менада — она тоже оголодалая и тоже «египтянка». На ее лице — на куньей мордке — жаркий поцелуй печенежского солнца, всинь горящие раненой олени глаза, огненное, черным огнем пожираемое сердце; я дал ей русское имя «Дорога»: нет ей и не было нигде покоя, она не может нигде ужиться и ни с кем ладить, она всегда в дороге.

Бродя по дорогам, эта «разрушительница очагов» собрала стену тяжелых веток с елок — не для нас приготовленных. К сторонке я подвинул мою гору рукописей — и поднялась на моем столе елка, эта наша искусственная последняя елка, как китайская беседка, а в высоту — под потолок.

От елки лучами протянул я к передним углам комнаты и к полкам с книгами серебряные нити. В последний раз из зимних коробок вышли игрушки и заняли собой всю елку и все подвески.

И когда зажгли свечи — свечи тоже Менада собрала по «дорогам», тоже не для нас приготовленные — и в свете свечей над крестом елки взошла Рождественская звезда, вся комната осеребрилась.

И в розовом блеске сквозь серебро вскинулись воздушные мосты и, как лунный луч, тонко заузорились дуги, лесенки, обручи, пилы, пояса, папоротники, весь чудесный лес «морозных» цветов. А стена с Пифагоровым «числом и мерой» — мои цветные геометрические конструкции, сверкая серебром, раскрылись вглубь, как настежь весною окна, и приблизили дали — «сущность вещей» и всея природы.

И кукушка — пришла ее пора! — закуковала: она куковала от всего, согретого свечным теплом, механического сердца, путая бой, не замечая. Ее трепетное сердце без зари бьет двенадцать часов, и за полночью с обрадованным передыхом вечернюю зарю.

А перекуковав все часы — всю долю человека — кукушка угомонилась, и только слышно, только чутко, свечи дышат.

Серафима Павловна радовалась, как дети — только дети так смотрят и смеются так. А я, Дроссельмейер из «Щелкунчика», накануне бессонно сочинял всякие елочные затеи и украшения, я радовался, что удалась елка. И чувствовал, напором темная волна плыла, заливая мою радость: наша последняя елка!

Свечи кротко горели. Во всей красе красовалась елка. И сидеть бы не гасить часами в этом мерцающем свете. Такой мир и тишина и какая-то память о немерцающем свете там, на родине «начал и жизни», откуда пришли мы на землю, а уйдем ли туда, не знаю.

Гадали на Рафлях: я подбрасывал кости и по выпавшему числу читаю судьбу. Раскладывали карты Сведенборга. И с Рафлями и со Сведенборгом я, как всегда, плутовал: у Сведенборга подменивал счастливыми угрожающие — а этого противного «Хорька» я готов был бы разорвать, да жалко карт, а из Рафлей вычитывал счастливую судьбу — о «соколах», о «зайце»... не-

счастье ведь и так придет, не спросит, а я желаю людям только счастья!

А когда стали догорать свечи и который-нибудь — мне все представлялись в святочных масках — клеватая птица с шипом леопарда или слон, без клыков, хобот и хвост лисицы, потянется гасить своей осаленной рыбной пастью (мыла нам не выдавали!) или пальцем, за наши скотские годы потерявшим чувствительность, деревянным. Серафима Павловна, как всегда, пугалась. Ее пугает 13 — не вышло бы тринадцать свечей: 13 — ее роковое, тринадцатого и придет ее час — кто-то смилостивится, придет снять с нее все ее горе, всю ее тревогу — черную тоску.

Со свечами обошлось благополучно и я читал Гоголя «Ночь перед Рождеством». Так в Рождественский сочельник и на Святках с Петербурга, когда справляли три кутьи: «постную» под Рождество, «богатую» под Новый Год и «голодную» под Крещенье, — я читаю Гоголя.

А с Гоголем не все прошло ладно. Впрочем, что и спрашивать от человека, обреченного на «египетскую» работу: с первых же строк, даже в моем чтении, оживляющем всякую букву, «египтяне», не меняя положения, погрузились в вещие коровьи сны фараона. «До следующего раза!» — и я закрыл книгу, и подумал той своей наплывающей черной думой: «этого раза никогда не будет!» Да и пора расходиться.

Мы живем под бомбардировкой и под надзором, и вот уже три года, как на нас наложен пост и запрещение — прославленные Синайские постники, если с нами сравнить, попадут в «обжоры», а их подвижничество в «рассеянный образ жизни», — милость великодушного победителя!

Гости, поснимав с себя «страшные» маски «лютых зверей» и обернувшись в затравленных насторожившихся человеков, оставили нас, спеша до роковой полночи домой по своим холодильникам. И мы остались вдвоем, как вот уже сорок лет, одни.

В выгоревшие гнездушки я вставил все, что осталось: пять свечей. И снова зажег елку.

— Ну вот мы и одни, — сказал я и не договорил: «в последний раз».

Много тайн и чар открыто было Серафиме Павловне: тайны ее черной земли и чары звездного неба. Еще знает она много колядок — величальные рождественские песни — а знает их с голоса берестовецких дивчат. Я знаю немного, кое-что о силе «черной свечи» (свеча с кровью) — вычитал у Новалиса, Тика и у нашего Ореста Сомова, а колядки — из сборника Потебни.

Из колядок меня заняли древнейшие песни: и по времени и по имени — о ремезе-птице.

Есть таинственная птичка и имя не простое: по-арабски: «ремз» — тайна. О ней сложено немало колядок; конечно, поменьше, чем Богородице — «Матерь Света — Мать сыра-земля!» — да ремез и понимает, ведь она только самая счастливая из птиц, единственная: она щедро раздает свое счастье, и кто б ни попросит ее, если и очень трудно, она только крылом так — отсветит: «ну, скажет, берите!» Счастливая счастьем, а себе ты нашла на земле счастье?

— свя — тый — ве — чор —

Притаившись около елки с горьким черным барсуком и моим верным Фейерменхеном (сегодня он именинник!), я, напуганный нашими пожарами (трижды горели), всегда под страхом: вот вспыхнет. Свечи у меня в глазах.

И следя, как Серафима Павловна смотрит, как слушает, прислушиваясь в елочную тишину и в этот мерцающий свет, я слышал, что она слышит: оттуда — из России доносит ей голос... тесно усевшись на скамейке, поют дивчата; в печке потрескивает и ухает солома, а за окном, опушенным теплым снегом, горят рождественские, такие гоголевские, кованные к празднику Диканьским кузнецом набожным Вакулой, ясные, как твои глаза, звезды — —

— свя — тый — ве — чор —

И вот веки железом упали на светившиеся чистотой ясные глаза и детская улыбка скорбью окостенела, а тревожное сердце затихло.

Куда все девалось? Куда уходит красота живого человеческого существа? Неужто пропадает? А если и живет — живо только в памяти человека — какая короткая память. Короче моей жизни!

Нет — или нет, как может пропасть? Она разольется в этом прекрасном мире: помыслы — облакам, улыбка — заре, цвет чи-

стоты — цветам, теплота сердца — весеннему вею, а мечты — вам, звезды!

Она проникнет в свет самого жгучего, белого, цвета, войдет в этот единственный мир — в нем рождается человек на свет. И пускай боль и страх и неутолимая скорбь — в жизни пролиты кувшины слез! — но как трудно, как невыносимо трудно расстаться с землей и, кто знает, может быть, томиться там — —

И в моих глазах... я различаю, перегудно звучит Чайковский — «Горними тихо летела душа небесами — — ».

Елочные украшения

Ночью они приходили ко мне на кухню: две беспятые — анчутки и с ними, поджав хвост, Епишка носатый.

«Спит ли не спит?» — они не говорят, я по их глазам читаю.

— Не спит, — говорю и стараюсь о другом думать.

Епишка облизывается.

И по тому, как устраивались они на табуретке, я понимаю, что расположились на всю бессонную ночь.

Епишка к анчуткам хвостом, поджав хвост между ног из опаски отдавят или придет блажь хвостом его поиграть. Косясь в мою сторону, Епишка подмигивал — он читает мои сокровенные мысли.

А они сидят скучные, две востренькие беспятые анчутки — неизменные мои ночные гости, спутники Епишки. Много ль они понимают? — а ведь что-то да чуют.

Я выхожу в соседнюю комнату наведаться. И сейчас же возвращаюсь на кухню.

«Не спит?»

Они не спрашивали, но я читал по их глазам этот единственный вопрос ночи.

И начинается моя ночная жизнь.

Их ничем не спровадишь и до утра они на кухне со мной.

— И вам не скучно со мной? Или это не в вашей воле придти или не приходить к человеку? И вы привыкли? А я к вам не могу привыкнуть.

Перекашливаясь, Епишка подмигивал.

Он думал о блестящей синей Кумаке: лунные тени на своей томящей волне привели ее к нам на елку в лунную ночь. Я пом-

ню: переступив порог, она вдруг загорелась, это я коснулся ее плеч, потом горящая, затаясь, она ушла. Винила ли она себя?

— Ни в чем не виновата, — говорю, — ни ты, ни я, и разве может быть сердце виноватым, что вспыхнув, светит в ночь?

Но он, помахав хвостом, уж думал не о синей чаровнице, да ему это все равно, он хорошо знает, что эта ее вспышка только на мгновенье, а дальше — ночь. Он думал о моих черных, как мои ночи, днях.

Да, хорошо, когда удастся взять у ночи свободный час. А сколько сгорит ясного утренних дум, дневного наброжья и жгучего наплыва дымящихся вечерен — потом не соберешь. И все только для того, чтобы спуститься в лавочку, чего-то купить и на краткий час заснуть. Я, как автомат: завели машинку: спи! И я сплю без мечты.

— Мертвым сном! — продолжает мое носатый Епишка, охвостя сонных беспятых анчуток.

— Сегодня, — говорю, — какой печальный день, а вчера январь, и как будто пришла весна!

И мне хочется, и я готов рассказывать о вдруг закипевшей во мне весенней жизни, о буре под этим тихим теплым дождем.

А он наперекор: не синие бури, он говорит о пропаде, о неизбежном — то самое перед чем стою я без ответа, на что надеяться и откуда ждать.

Остроносые беспятые анчутки дремлют, в дреме клюя сонные пуховые подушки. Хороший знак: скоро все успокоится, и я тихонько выйду из кухни и ткнусь под «кукушку» в пасть мертвого сна.

Я подымаюсь. Неверно следя паутинными глазами, иду по коридору. Чьи-то меткие руки подбрасывают мне камушки под ноги.

Западня

За собой перемены не замечаю, разве что не пишу. Но трудно было узнать, так она изменилась за эти годы: другой человек.

Где ее буря. Ее беспощадная требовательность. Ее прямое резкое слово и осуждение всяких человеческих слабостей, что в старину оправдывалось соблазнительной мудростью: «не грех, токмо падение». Вспомните, с каким негодованием встре-

чала она перелетов, шатунов, этих туда-и-сюда, «кривых» и малодушных.

А как стали отходить вещи и мир погасал, кротость и покорность заполнили ее душу.

Усмирило ли ее что или вознесло на такую вершину, откуда и эта покорность и кроткое снисхождение к человеку, к его слабостям — демонам: они сожглись в ее свете.

И вот обнаружилось ее сокровенное, что светило из глаз и светилось в улыбке: непорочность — ее детское, с чем пришла она в мир, и что влекло к себе простое и не простых и раненых душой.

И внешне она изменилась: она стала похожа на детей, за которыми надо ходить и смотреть.

Наяда, так оно к имени и подходило, взялась ее вымыть — Наяда взяла на себя непосильный человеку подвиг.

Довоенный горячий кран закрыт, кипяти воду на газе, а газ ограничен, тоже и с посудой: много ль в кастрюле, а тазы текут; и как и где посадить без ванны, и холодно.

Не с любопытством, с нетерпением я следил. И видел, как на моих глазах совершалось чудо. Наяда, победив все трудности, мыла ее — она ее мыла не как взрослого, а как детей, что отражалось во взгляде, в улыбке, в движении пальцев, и мне почудился нежный материнский подшлепник.

А как радовалась С. П.: в нашей-то парше и изъеди вдруг почувствовать себя чистым. И потом долго — вспомнит и обрадуется.

А я говорю: «еще и еще раз придет Наяда, не оставит, купать будет».

Больно было смотреть, подумайте... как больно будет трогать покинутые, осиротевшие вещи: они как живые — этот с орех глобус, заигранный мячик, бисерные шкатулки, бусы, янтарная память любимой бабушки, кораллы, гребешки, кофточки, платья, стол, кровать, книги, рукописи, альбомы, слоненки, часы, крестик, все они будут смотреть на меня, веря, что я что-то могу сделать, верну...

Я что мог, все делал, да и С. П., насколько руки хватало, все прилаживалась себе теплое шить, да путного что-то не очень, все путалось, а я и не раз доставал, запрещенный тогда, одеколон. За что это, за какой грех на человека такая кара?

И эту кару чувствовал я, свидетель человеческой муки, а со мною все, как и я, кто должен был только с болью смотреть, бессильный помочь.

* * *

А как она радовалась, когда кто-нибудь приходил. А надо сказать, все реже заглядывали в наш обреченный дом.

Иван Павлыч («Не правда ли?») всякую субботу ходил на мое чтение, а уж и третья прошла, а его нет. Овчина всякое воскресенье, и тоже пропал. И Наяды нет.

В последний раз была Наяда на Рождество, розовый гиацинт принесла, а мне стоеросовую трубку под горькую полынь. А скоро и Пасха, трубка застряла, гиацинт завял.

С. П. очень затревожилась: не случилось ли чего — «Наяда померла». Только и разговору из вечера в вечер.

— Для чего Наяде помирать, — говорю, — а померла б, Орел известит.

— А может, и Орел помер?

— Ну, Зайцев.

В те времена исчезали без всякого извещения.

Хорошо что заехал Чижов. И успокоил: ничего особенного не произошло, Наяду он встретил в их шоферской столовой: «ест котлеты».

Чего я только не придумывал, почему у нас никого, и всегда обещаю, что все придут в воскресенье.

С. П. не очень доверяла моим предсказаниям, а сам я вовсе не верил.

И она начинала мечтать, наполняя дом гостями. Она мечтала, как приедут с острова Олерон все Черновы (Ольга Елисеевна, Андреевы, Резниковы, Сосинские): дети и их родители, девять человек, и все поселятся у нас, и как хорошо тогда будет. И Иванов-Разумник с Варварой Николаевной и Таня Унгебаун.

«И Петр Маркович Костанов» — говорю (П. М. Костанов учитель музыки).

«И Петр Маркович, конечно».

«Да куда же мы их денем?»

«Да как-нибудь устроимся».

И улыбается.

Эта улыбка превращала наши заставленные комнаты в деревенские хоромы. Так улыбалась ее любимая костромская бабушка, когда в черниговские Прохоры съезжались на именины все ее внуки и их отцы, их матери, с тетками и двоюродными братьями и сестрами.

Я знаю, знал своим каким-то знанием, голос которого слышу, но никогда не слушаюсь, что иначе не могло быть и не будет: это обреченность отваживала от дому.

С потолка повисла паутина — пауки по углам ткут ее день и ночь; с вечера скребется мышь и на ночь, поблескивая, вылезут они из нор и когда камнем повалюсь я на свой диван, только двум сесть, бегают по мне, изгрызли мое теплое вязаное одеяло, я не чувствовал, я не чувствую. Но непременно проснусь на блошиный налет — волна за волной — никакого отбоя.

В вымерзлой «кукушкиной» фейерменхен — мой спутник цверг по-прежнему сидел над запыленными рукописями, опустя нос, — печаль без сказки не разговоришь, я пробовал. А кукушка сама собой без завода вдруг закукует и опять насторожена, молчит. На стене ясный цветной бисер и образ в жемчугах и золотая риза, нет, это сплошная черная стена и черный красный угол.

Незадолго до Пасхи, с год не появлявшаяся у нас пришла Менада: она затеяла, не по имени своему Менада, уборку. Ее не остановило, что при всем желании перед этим непроницаемым паутинным перепутьем у человека опустятся руки. Я вошел к ней посмотреть: она подметала пол в коридоре и взглянув на меня и туда в комнату, заплакала. Показалось ли мне или и на самом деле она заплакала, но эти слезы выговаривали громче всяких слов.

* * *

А когда С. П. еще одна выходила, давно это, но я все помню, память моя — мои цепи.

Она спокойно шла, держась за стенку. Самый дальний путь парикмахерская Одет, авеню Мозар против Вилла Флор. Последний ее самостоятельный выход особенно запомнился и мне никак не забыть.

Вернулась она с прогулки и, как всегда, не с пустыми руками: полный сверток — всякие баночки с кремом, пудра. Этого добра у нас заваль, но всякий раз ей подсовывают. всякий

Как укладывать спать, вспомнил я о «тэрме» — с «тэрмом» всегда было трудно, а в то время только чудом! — взял я бисерную шкатулку, нашу сберегательную, и вижу что-то очень мало. И вдруг подумал: не обсчитывают ли С. П.? Куда девались деньги?

Был случай с очками: Лисак такую оправу ей поставил: десять очков купишь. Тоже и с этими кремовыми баночками. И я решил проверить. И спрашиваю, как было у Одет? Считаю и вижу, что трудно ей отвечать, путается. А сам я со счета сбился, и уж позабыл, зачем все это затеял. А все считаю — и все не хватает. «Да там, говорит, еще в сумочке есть». А в сумочке-то одна мелочь. И я понял, что считай-не-считай, а деньги истрачены, а завтра «тэрм» и платить нечем.

Я вышел на кухню. Очень мне было досадно и не могу придумать, как поправить: за эти годы не было никого из знакомых, кому бы я ни был должен, я чувствовал, что становлюсь всем в тягость.

Когда-то тоже в Одессе, жили мы в щели на Молдованке, тогда родилась Наташа. Что было делать? И я написал Льву Николаевичу Толстому и Иоанну Кронштадтскому, ответа не получил: первый мудрец и первый святой на мое не откликнулись, и как это меня угораздило, ведь я писал не о Боге и не о совести, а только о своей беде. Тоже из недавнего, когда нас турнули из Булони и мы очутились без крова, я обратился к знаменитому музыканту и получил отказ: он помогает только через организации. И во французском союзе писателей отказали.

Припоминая только свое «безвыходное», я курил мою горькую полынь и в глазах у меня темнело.

Всю жизнь меня тыкали: пишу непонятно и не гожусь или «не подхожу к нашему читателю». А издатели не принимали моих книг: «я не самоокупаем». И те из пишущих, кому помог в ремесле, стесняются моего имени или просто плюют на меня. В газетах меня печатали из милости. Можно ли привыкнуть просить? Нет. Скорчась — я ведь и горбатый-то от попрошайства — я попросил бы, да нынче нету газет, некуда сунуться.

И вспоминая только свой пропад, я обходил, я не спрашивал: да ведь кто-то же меня выручил! Я все забыл в эти злые минуты — все доброе, какое делали мне люди и имена их забыл.

И чернота кутала меня. И должно быть долго я сидел, завешенный едкой тьмою.

В комнатах было что-то очень тихо: то ли мыши совещались, чего им эту ночь грызть, то ли еще кто, притаясь в углу, высматривал и только ждет...

Я поднялся наведаться.

И вижу свет: С. П. не спит. И я хотел было готовить себе логовище, так называю я этот свой сторожевой диван с изгрызенным мышью одеялом и наваленным скомканным тряпьем. И вдруг слышу:

«А ты прости меня!» — сказала она.

И эти слова ее обожгли меня: во мгновенье я мысленно прошел все ее мысли и понял, как она поняла меня. И осудил себя, что мне не надо было и пусть только для проверки, мучить ее допросом, и ведь наверно, считая и недосчитываясь, смотрел я с укором. Повторяю, я совсем забыл, для чего затеял все эти расчеты и обвинил ее, а не тех, что, пользуясь случаем, видят — больной человек, безответный и давай драть втридорога. Но даже, если бы было и не так, а просто забыв, она истратила эти нужные, эти необходимые деньги... И я вспомнил, вы помните из «Преступления и наказания» случай, совсем не то, конечно, и не так, но чувство и еще что-то глубже: Соня вынесла отцу на похмелье все, что у нее было — 30 копеек — «ничего не сказала, только молча на меня посмотрела — так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют. И это больнее, это больнее, когда не укоряют!» повторял я себе уж. И вдруг свет осветил меня, глаза мои открылись и я увидел — я уж вижу какую-то дорогу путь: она приведет меня и все поправит. И как все просто: одно это слово, и даже не слово, а одна буква... «а ты, прости меня!» и вся моя запутанность, вся темнота и горечь канули бесследно.

И я успокоил ее — в свете, который осиял меня, возникали колыбельные слова. И она заснула.

Но я не заснул: свернувшись я повторял эти ее всеразрешившие простые слова и не мог простить себе свои, замучившие ее. И во всю ночь, прислушиваясь, легко я вскакивал на окрик, легко нагибался кутать в одеяла, чтобы теплее было, или чтобы поднять палку — палка у изголовья всегда падала; зачем-то выходил в нашу холодную кухню. Я готов был не десять, а сто раз

подняться, не говорю, чтобы вернуть или поправить, разве можно такое поправить, нет! а оттрудить — отмучиться.

* * *

Было у нас ожерелье, но не то, что бабушка из «Таинственного зайчика» показывала Оле изумрудное, то Оле не досталось и погибло в пожар, в революцию, как в войну пропал золотой медальон — герб Задоры: «голова львова сера космата с огненной пастью в поле блакитном». Ожерелье, которое берегли, не родовое, а свое — цепь из пасхальных яичек, тридцать и три года низалось — вся петербургская литература: Блок, Белый, Сологуб, Вяч. Иванов, Гумилев, Кузмин, и Мир Искусства: Сомов, Кустодиев, Чехонин, Добужинский — христосовались, и оставалась пасхальная память. На Пасху и до Троицы носила С. П. это, с каждым годом удлинявшееся, ожерелье, всем показывала, называя имена, сама радовалась и все любовались — в Петербурге, в Берлине, в Париже.

Я отобрал самые знатные — золотые и серебряные. И говорю С. П., боялся встревожить. И вижу, посмотрела она, так дети смотрят — я встречал больных детей и беззащитных.

«Ну что ж», — говорит.

За полторы тысячи продал, и все на «тэрм» ушли — три месяца ни о чем не думай.

* * *

Да вот еще, как такое забыть!

Другой раз часами стою в очереди и не в одной стою очереди, а вернулся домой с пустым мешком — мои глаза, мне бы под землею, а я толкусь среди зрячих — что разгляжу? — а это я вижу, тут не надо ни зоркости, ни проворства, что человек есть хочет.

«Ничего, говорю, нет у нас — ничего, а завтра непременно достану!»

И она покорно смотрит и только свое:

«Ну что же».

И еще и такое бывало: плакать ей вдруг хочется. Спрашиваю. А она и сама не знает отчего ей так плакать хочется.

Прощалась ли она с белым светом, не часто, а говорила, или такое, что и словами не скажешь, этот горький корень жизни в человеке... все в ней плакало. А слез не было.

Я выбирал самое жгучее — и самый упорный камень треснет — из Достоевского и Толстого, а слез нет — слезы подходили к ее глазам — и в глазах сжигались.

Верю и люблю сказки, часами могу слушать, не надоест, а держусь по Писареву Пятикнижия: Бюхнер, Фохт, Малешот, Фейербах, Милль. Много я наблюдал, что бывает от печени, от желудка, и что такое слепой и что такое зрячий, что такое холод и есть хочется, тепло и замерзаю, спал ночь или которую и на минуту не удается.

Вычитал у Дружинина (А. В. Дружинин, наша «эстетическая» критика, «англичанин», основатель литературного фонда, хороший человек) — вычитал я не из знаменитой «Полиньки Сакс», а из кавказских рассказов: «жертва ему вот куда! и он спрашивает: что есть человек? — и пишет: «дрянь» и тут же о судьбе, что есть и такая, все устраивает, но не к хорошему (Толстовское «образуется»), а все к худшему». О судьбе я согласен, но «дрянь», в первый раз слышу, единственное в русской литературе и сказано от сердца учеником Лермонтова, я что-то и понимаю и про что это, но так огулом... Бюхнер, Фохт, Малешот, Фейербах, Милль — и когда человеку есть хочется, а слышишь покорное и кротко на «нет ничего» — «ну, что же!» — понимаешь, что человек переходит грань живой жизни.

Меня сперва смущало — меня многое смущало, и только потом я понял... не поздно ли? — не хотел верить глазам, а чутья не достало. Ночью, когда в какой-то десятый раз я вскакивал и уж с остервенением принимался кутать в четыре тяжелые одеяла и если случалось на что-нибудь ответить, я слышал свой голос и не узнавал, кричу, а она смеется — конечно, вид у меня был смехотворный. И вдруг я понял, что вовсе это не смех, она не смеялась. Так что же? Слезы? Слезы давно все иссякли, выплакались, а осталось сухое, как ожог, рыдание. «Не рыдай мене, мати...» — это куда глубже, чем сказать: «не оплакивай».

И однажды на мое нетерпение она сказала сквозь этот смех-рыдание, что «плохо с ней обращаюсь».

От стыда я и сам готов был так же засмеяться. И мысленно взглянув на себя, спросил: а уж не прав ли Дружинин?

А когда пришли нас описывать за неуплату налога, я очень боялся, что войдут к С. П.: в ее комнате все, и икона, и стена в бисерных картинках — записывай да оценивай. К счастью

обошлось: спасла ошибка: по моим квитанциям выходило, что я больше заплатил, чем у них записано; опись отложили, проверить, и ушли.

С. П. слышала, что на кухне кто-то и разговаривают, и подумала: посылка из Праги от Зарецкого: мед. И очень обрадовалась.

И когда я вошел к ней с рассказом о Питоне, фамилия юиссье, и понятых, заседателях нашего бистро, я был тоже очень рад, что все так кончилось, но меду у нас никакого и варенья нет. И выслушав мой рассказ, она засмеялась, как ночью надо мной. Да, «не рыдай мене, мати», это совсем не то, что не «оплакивай».

Надо было подумать, чтобы не случилось повторения: проверят и опять явятся. А была у нас икона, ее С. П. очень любила, «Трех Радости» (Богородица с Младенцем, Иосиф и Иоанн Креститель), московский образ, золотая риза.

У меня только и есть выбор: или эта икона, или мое золотое обручальное кольцо. И она попросила икону оставить, не трогать пока...

«Если можно!»

Отходная

Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? На завтра тот же
Зашел и не застал опять меня,
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном...

В наше последнее Рождество утром я отворил дверь идти, как всегда, в очередь за молоком. У порога на коврике сверток и сразу я понял, только что положен, взял в руку и вижу, кто-то, согнувшись, спускался по лестнице — «человек, одетый в черном». Не окликая, я вернулся в кухню.

Сверток не по размеру завязан грубой бичевкой, у меня сказалось: канат. Я развязал и под бумагой вижу коробка со стеклянной крышкой, на крышке елочная ветка — крест. А в ко-

робке на черной ленте медальон: живая алая роза залита стеклом. Никакой записки: ни кому, ни от кого.

Я взял в руки эту алую розу и через мои пальцы она как бы вошла в меня: мне стало очень смутно — я что-то вспомнил и что-то понял, что сказалось, заполнившим меня, словом: «человек, одетый в черном».

И с этих пор эта алая роза до последнего дня не выходила у меня из глаз.

Чтобы развлечь, я передал медальон С. П. И оба мы гадали, перечисляя знакомых, кто б это прислал и в такой тайне? И потом всем показывали: вещь оказалась самой модной, а по цене, никому не по карману.

Несколько раз С. П. надевала медальон, а как-то упал он на пол, я поднял и положил на стол к любимым «птичкам» — такая дешевая брошка.

А скоро и забылось, С. П. не вспоминала о медальоне. А я каждый день невольно глазами встречал — вещун алую розу: ее дадут мне живую — у раскрытой могилы.

* * *

Вот уж три года, как я ничего не пишу. И только снится: кто-то с глазами полными слез стоит передо мной.

И я начал себе «отходную», что был человек, был обуян словом, маниак, и все кончилось, ушли слова, и осталось порожнее место, засыпано цифрами продовольственных карточек, и очень хочется спать. Отходной я не кончил, вместо слов пошли рисунки, так легче, и втянулся, по-лошадиному засыпаю в очередях, стоя.

Все реже удается читать. Нет времени. В последний раз начал «Юлию» Дружинина — Дружинин ученик Лермонтова, не чета другому ученику, более известному, автору «Тамарина», Авдеев.

С. П. последнее время на память читает «Онегина» и предсмертные стихи Сологуба: «Подожди еще немного», и по-польски из Мицкевича. А за неделю до смерти попросила меня прочитать ей вслух «Наймичку» Шевченки. Это и была «Отходная» — мое последнее чтение: страда матери, в жизни не узнанной сыном и только в час смерти она открывает ему, что она его мать.

Для моего московского трудное чтение, но С. П. сказала, что услышит и через мое, как бы сама она говорит:

Прости мене! Я каралась
Весь вік в чужой хаті...
Прости мене, мой сыночку.
Я... я твоя мати!

«Наймичка написана 13 ноября 1845 года» — С. П. переспросила. — И я повторил: «13-го».

Выслушав свою «отходную», она поднялась, она, с трудом, но еще могла передвигаться, и пошла из кухни в свою комнату, повторяя: «13-го».

В день Страшного суда — так по откровению — когда Архангел протрубит с небеси, похоже на сирену, но еще пронзительнее, и голос-оклик его, выворачивающий душу, острастив последних на земле, проникнет в землю к сухим костям человеческим и пеплу. И в тот судный час, вместе с усопшими матерями и сестрами, она подымется из своей землянки и станет перед Лицо Судии такой, как нарядил я ее в последний путь: она будет в черном сарафане, белая, ею вышитая берестовецкая кофточка, кипарисовый крест на шее и в руках материнское благословение — образ Богородицы.

Прижимая к груди образ Богородицы, скажет словами своей последней предсмертной молитвы:

Суди меня и спаси меня,
если можешь!

Пропад

Страх понемногу отпустит — она уже не будет так беспокоиться: сирена и выстрелы не будут так встрясывать душу, как раньше; и недавнего ужаса не стало и следа. А с ногами плохо: шаг все короче, пространство все уже. Когда-то затеяла подсчитать города, где побывала: в ее записной книжке выписано — 175; трудно поверить, что это было когда-то. Кое-как добрела до Знамения, по дороге сидела, конечно, — а это рукой подать: Микель-Анж за Молитором, по соседству, ну, а потом, две недели лежала. И это было в последний раз. Я свыкся, но не все понимали, и такая опытная массажистка — она массировала ногу: затеяла было вымыть в бане — баня на рю Пуссен, за

Сухановым, недалеко, дорога знакомая, исхоженная, но уж путь был заказан, я-то знал, не дойти.

Выйдет на улицу посидеть на лавочке у кинематографа — кинематограф на рю д'Отей против рынка — а уж дальше: самое дальнее Авеню Мозар: Одет, парикмахерская, но это тоже было когда-то! — вижу, идет, как пьяная, за стенку держится. А вернется: какое измученное лицо. Сначала через день выходила, потом через два, потом через неделю. И уж ни на Пасху, ни на Рождество, о церкви очень тосковала и особенно под праздники. И уж без меня теперь ни на шаг.

А какая была мука спускаться с нашего 2-го этажа и опять назад лезть — 39 ступенек и 2 площадки — было б, конечно, куда проще по лифту, да не разрешают, больной-не-больной, а кнопка выключена, очень у нас зверские порядки, и до войны и в войну одинаково. И уж одной ей без поддержки никак. Да и моей помощи мало, а поводырку — чтобы мне помогала — нескоро нашли.

Однажды на короткой прогулке, а по часам долгой — и как это пронесло, один Бог знает! — чувствую, нет моих сил удержать, а стоим среди улицы и кругом одни, и я, оглянув, голосом обратился, по-русски сказать: «Люди добрые, помогите!» И тут какая-то дама — откуда? — взяла ее под руку и легко перевела к самому дому. Я хотел поблагодарить, но ее уж не было: как появилась, так и пропала; одета она вся в белом, я полуслепой, а и сейчас вижу и узнал бы — глаза, какое участие! и светящееся легкое дуновение вокруг, дышать легко. Я не раз вспоминал этот чудесный случай. И теперь, в сумерки, когда прохожу по нашей улице, я тайно думаю, что встречу — она где-то тут близко, я чувствую, а может быть, и не тут...

А вскоре и другой случай: переходя нашу улицу и как раз от тех дверей госпиталя, из которых дверей только выносят, а уже были сосчитаны дни, как и ее вынесут, вдруг, вырываясь, она побежала. Очень было трудно, и все-таки я сдержал ее, но удержать не было сил, и в тот миг, я чувствовал, как ноги ее подгибаются и вот сейчас упадет, и какой-то, как та дама, — откуда? — и я вздохнул, он взял ее под руку — глаза его светились, в самой глуби глаз горел уголек — и легко довел до дверей. И я потом всем рассказывал, говорил, что это был не человек, а демон, но себе... я узнал его — «человек, одетый в черном»...

До последнего дня всякое утро она читала Евангелие и потом писала, но это был не дневник, а молитва: она писала письмо Богородице:

«Матерь Божия, возьми нас под кров свой, избави нас от напасти, избави меня от напасти, спаси, сохрани, помилуй нас! — дай мне здоровья, дай мне выздороветь совершенно, дай, чтобы ноги не болели, исцели мои ноги! — дай чтобы ноги мои отпухли, дай провожатого, дай научиться ходить, дай дойти до Одет, до рю Лафонтэн, дай благополучия, дай мне спать хорошо, спаси, спаси, спаси.

Матерь Божия — Исусе Христе — пошли нам помощь денежную, дай нам денег — спасибо! — пошли нам помощь денежную, дай мне одежду, — спаси-спаси-спаси!!! Помилуй-помилуй! Спаси-спаси-спаси!»

Три года запись — три года молитва; в последнем письме строчки недописаны, писала из последних. Она родилась с верою и через всю жизнь неотступно пронесла ее, пламенную и несомненную.

«И услышала Пресвятая Богородица голос из пучины человеческого страдания», — так в «Хождении Богородицы по мукам», где говорится о всех страждущих, озлобленных и помощи требующих, — развернула она свой затканный звездами голубой покров, звезда надзвездная: и вот в глазах взблеснули белые крылья, и отекшие холодные ноги вдруг потеплели, и без помощи, а как когда-то легко, поднялась она, стала на землю...

Сирена

А в то время, как приближались последние минуты, я все еще гадал о завтрашнем дне. В марте закрыли за перерасход газ, и много я намучился со спиртовкой — ведь надо было все успеть приготовить и как всегда чтобы. И теперь, напуганный, хотя, кажется, ничего не угрожало, я хотел поскорее заплатить по счету и за газ, и за электричество: 400 франков. А денег не было. Но мне обещали эти 400 франков: в понедельник утром или в четверг до четырех. И я решил не откладывать до понедельника, уже один понедельник пропустил: получу и вернусь в госпиталь, еще поспею.

Я пришел вовремя, а не легко было отыскать с моими глазами, во много дверей стучал, пока не нашел: меня записали

в очередь первым. На Вожирар выдавали пострадавшим от последнего налета. Я хоть и не бомбардированный за последние годы, и все-таки как когда-то «потерпевшему» мне обещали.

Да, Дружинин прав: и такая есть судьба, что устраивает не к лучшему, как принято думать, а к худшему. Я ждал, по крайней мере, час, сколько прошло народу, и всех приняли, а меня не выкликают. Не знал, что и думать. Забыли? Да так оно и выяснилось, когда я о себе напомнил. Не дай Бог попадать первым, — если второго зачеркнули, и пошла черта за чертой, тебя уже не существует, заштрихован. Теперь переписали 13-тым. Серафима Павловна всю жизнь боялась 13-ти, для нее это черный камень, а для меня белое — 13-е — удача.

С воскресенья четыре ночи я не спал, и спать мне не хочется, но все во мне звенело. И когда очередь дошла до 13-го и меня выкликнули — смутно помню, как меня что-то спрашивают, и я отвечаю, по лицу догадываюсь, не к делу говорю и невпопад, а в конце концов дали мне эти 400 франков. И я уж подходил к двери, чтобы скорее до метро Порт-де-Версай — я все еще надеялся, что в госпиталь поспею! — и, как на грех, вдруг слышу знакомую песню: сирена. И под ее стенания я вернулся в приемную ждать конца, когда соблаговолит — завопить отбой.

Когда-то, а как давно это было, я любил сирену... Когда в Париже в канун войны по четвергам неизменно ровно в полдень, разворачивая уличные звуки, заводила она механической пастью свинцовый вой — эти катящиеся металлические ленты с завитком — беспутные песни, я спешил проверить часы: будильник и кукушку — будильник за неделю всегда отстает, и я передвигаю стрелку на полдень, а кукушку, всегда торопенную, ловлю за маятник, передохнуть. А если, случалось, сирена застигала на улице — ее голос не впивался и не давил мне сердце, я только вспоминал о моем будильнике и о моей кукушке: о будильнике-трескуне неистово-быстром и неугомонном, щадившем мой сон и немудро любящем — сколько раз по его милости я опаздывал, и о кукушке, беспощадно торопящей мой отмеренный срок. И я всегда думал, хорошо, что завели сирены, эту морскую корабельную машину, и пускают для порядку разглашать воем не тревогу, а обеденный час, и не над невольной волной, а над свободно текучей улицей Парижа. И вдруг все переменилось, и не та сирена. Значит, надо было нарушить

какую-то меру, температуру, порядок, чтобы другое открылось слуху, не этот «глагол времен», четверговый механический оклик проверить часы — железные звенья моих цепей, оклик, принуждавший меня считать часы и минуты и оставаться в необходимом кругу последовательно-равных падений в вечность минут, мне отмеренного дыхания сердца, жизни на этой чудесной земле, расцветающей и увядающей, радующейся и радующей. Стало быть, как всегда, только выверт, «преступление», вольное или невольное, разорвет завесу, и тогда наступит... И вот в первые дни войны меня разбудил голос. В первые дни войны, когда размеренная жизнь хряснула, задумалась, я затаился — с моими гномическими глазами и единственным оружием — словом, мне нет и не может быть места ни в каких поединках — и никогда еще я не чувствовал себя таким покинутым, как в первые дни войны. После дневных «окапываний» — работа с заклейкой стекол, наступала ночь со своей жизнью сновидений, они тоже необычны и ярки в переломы, и меня вдруг разбудило, но не рассеяло. Откуда-то из-за домов звучал ее голос, и чувство мое было не судорога, а что-то торжественное, не леденящее сердце, а разливающееся по сердцу, и я почувствовал, что с этими звуками закатывает мою душу. Очарованный, с волнением я слушал ее. Она будила во мне старую память, вспоминал ли я «Фауста» или другое, подымающееся из тьмы моих жизней. Я слышал плеск волн — где это? у берегов Сицилии или на островах Архипелага? И видел ее: она сияла из ночи, — «и душа моя тоской сжималась». Одних она убивает, другие бегут с леденящим сердцем, а я очарован, и мое чувство так остро, я как выдрался из сновидений и лечу за ней, за ее уплывающей, дразнящей, полной звуками, тенью на «воздушном океане». Спускаясь по темной лестнице в «абри» («убежище»), я слышал чере́з плеск волны и взрывы вихря знакомый голос. Я простоял три часа и не заметил. А Серафиму Павловну она испугала: не сирена, я разбудил ее и надо было спешить одеваться, спешить вниз, а это очень трудно, когда бегут и перегоняют с вытаращенными глазами. Да, когда-то я любил слушать сирену, а потом — теперь забота оглушила меня, и я смотрю через ее растопыренные пальцы, сплющенные на моих глазах.

С этой первой сирены надо и начинать и — до воскресенья. И день за днем с воскресенья перелистывался передо мной, как

страницы, — за эти дни в тысячный раз я читал эту книгу и с той же неутихавшей болью, как в первый раз. Все во мне звенело.

В воскресенье, как всегда в последнее время вечером, Серафима Павловна вышла в кухню — ее самая дальняя и единственная прогулка.

Взятое на прокат кресло стояло без употребления: погода все не налаживалась, то дождик, то ветер, то холодно. И только под Вербное я катал ее по улицам до Знамения. Помогала мне Биярда — наконец-то послал Бог поводырку. Эта поводырка — существо кроткое, безропотное и, как сама заявила, «ничего не боится», а это очень важно, мало ли что, не растеряется. А прислала ее нам черная: по нашей лестнице встречал, ходит убирать. А жизнь поводырки, сразу понял, нелегкая и одета: пальто рыжеватое, цвета давности, и только шелковый белый платок заколот на шее. Говорила, «ничего не боится», а вот и сама не заметила, как забоялась: а случилось это в позапрошлое воскресенье, попала она на Лоншан, на скачках, под бомбы, да не одна, а со своим Жан-Клодом, мальчишка вроде моего Петьки из «Петушка», вихрястый и озорничать горазд. Приводила мне показывать — называет она его «монстр»; его от взрыва закатало в листья, так он не хотел из листьев вытаскиваться, не дается да и только. «Я, говорит, бомба», — и чтобы его все пугались, губы надул, страх представляет, а глазенки сквозь листья зверьком поблескивают; тоже очень испугался. Днем Серафима Павловна ждала поводырку, хотя и было условлено, что кроме воскресенья, и собиралась написать своей любимой крестнице Олечке на остров Олерон, и в Киев Наташе.

Вечером накормил ее. Вымыл посуду. И мечтали: завтра будет хорошая погода, завтра придет поводырка, и мы поедем кататься, я довезу ее и до Одет и на Ля-Фонтэн, где шерсть покупала. Я кипятил оранжевый чай — дух апельсинный, но без сахара дерет.

К чаю пришел Листин, художница, ее «кумир» — Лифарь, и за два года, как она в Париже, она не пропустила ни одного балета, нарисовала тысячу Лифáрей в тысяче поз; теперь не так часто, а в лютую зиму она приходила к нам каждый вечер, и на уме и на языке у нее Л., только о нем и разговору. Я всегда думал — на наших глазах проходила ее жизнь: комната без отопления, и всегда голодная — вот пример жертвенной рыцар-

ской любви, забытой и не восстановимой — или существо человека изменилось... «все для того, кого любишь, и никак, ничего для себя». Наши соседки, если застигал «алерт» (всполох), побаивались Листина: всякий раз, когда она, поминая Л., произносила свое единственное заветное имя, немедленно же раздавался выстрел, — а это значит — такая была сила и упор ее любви, магия ее любви. И вот она достигла: после всяких неудач и сколько труда зря, все-таки будет издана книга с ее рисунками. И в десятый раз она с восторгом повторила: «Вы, сказал ей Л., героическая женщина». И как всегда стала раскладывать карты Сведенборга: она, по Сведенборгу, Амазонка, и, как всегда, по левую руку от Амазонки лег ее защитник Лев, по правую Гишпанец: Лев — это хозяин кинематографической студии, где она теперь работает, «огонь и сталь», как она выражается, и тоже не без восторга, но... Гишпанец — сам собой и никому больше, как Лифарь. В толковании карт ей помогала Серафима Павловна.

«У Серафимы Павловны глаза были ясные, а улыбка ласковая», — вспоминал потом Листин.

Было около одиннадцати.

Я хотел почитать немного и как раз к случаю «Шарлотту Ш-ц» Дружинина: рыцарская любовь с ее жертвой доведена до последнего — Шарлотта для предполагаемого счастья своего Генриха приносит последнюю жертву: самоубийство. Я рассказал содержание повести, и как все оказалось зря, — и жертва не помогла, стало быть, жертвой ничего нельзя создать, и Генрих так и остался недоноском.

Я заметил, что Серафима Павловна устала, и сейчас же пошел в ее комнату приготовить ей постель и все, что нужно для ночи. Когда я вернулся в кухню, она дремала. Тихонько я разбудил ее. И она хотела подняться, но, сколько ни пыталась, ничего не выходит. Трудно было, но с моей помощью поднялась, стала — нетвердо; с болью прошла несколько шагов к ванной. Я подал зубную щетку и воду. Она вычистила зубы и потянулась к полотенцу, но я увидел, что дальше она идти не может, упадет. Я прислонил ее к двери — так мне казалось, прислонил, и тут же из кухни скорее стул и, обняв ее плечи этими моими жалящими пальцами, приподнял ее — что-то во мне хряснуло в спине, — и посадил. И стал двигать по коридору в ее комнату,

к кровати. А положить ее на кровать — не справлюсь. Так и осталась на стуле.

Холодно было. Я зажег радиатор на тысячу и стал за стулом. Она пыталась подняться и не раз, и все зря. Так началась первая ночь.

Я выходил на кухню, курил свою горькую полынь (армуаз) и опять становился за стулом. Очень мне было холодно. И когда я так стоял, съежившись и тараща глаза, чтобы не заснуть, мне показалось, что у правой руки Серафимы Павловны, как бы из рукава — присоединилась скрипачка Иоланта Мириманова, наша соседка, года уже два как померла в Марселе. Иоланта смотрит на Серафиму Павловну, вижу: глаза ее переливаются, и все лицо просвечивает, а волосы на голове еще чернее, смазаны арашидом, блестят. Я смотрел на Иоланту и говорю себе, что это мне кажется, но сколько я не уверял себя, Иоланта не пропадала: она сидела, пришипившись к рукаву Серафимы Павловны и странная световая струящаяся жизнь играла на ней. Было бы совсем просто протянуть руку и потрогать ее, но непреодолимая сила сковала мои руки, а окликнуть боюсь, испугаю.

И мне вспомнился случай с Ваталиным: Ваталин одаренный и зоркий — или от того, что стихи его, как у других, он бросил писать стихи, а после трепанации совсем как издох: после трепанации черепа бегала у него в правом глазу мышь, сидит ли на Монпарнассе в кафе, и она тут, около столика бегает, а выйдет на улицу, и она впереди по тротуару, точно собачонка, и все, как полагается, с хвостиком. Советовал приятель с Монпарнасса, тоже «поэт», завести кота, хотя бы на краткий срок — котов он стал мучительно бояться и даже избегал кошачьего разговору, но чудак не сообразил: может, все это и верно, но кот не капли, в глаз не впустишь. Другой мудрец оказался более «здравых понятий», посоветовал завести пелеринку, в таких пелеринках в Петербурге щеголяли факельщики похоронных бюро. А уж тому мышь житья не дает, на все согласен, и на пелеринку. И как надел он себе ее на шею — представьте себе такую сосульку в пелерине! — ну, мышь и ушла. Стало быть, надо сделать какое-то движение, как, должно быть, Ваталин, в своей пелеринке, заглянув на себя в зеркало. Не спуская глаз с Иоланты, я наклонился над Серафимой Павловной: она не спала, сидела

покорно и кротко, и мне было больно смотреть на нее. А когда я поднял голову, Иоланты уж не было. И все мои мысли сошлись к одной мысли: дождаться утра, пройти в гараж, попросить, чтобы пришли и положили на кровать. Такие случаи не впервой, и хозяин гаража никогда мне не отказывал. И когда, наконец, рассвело и начался день — ведь месяц май — и отворили гараж, а выйти мне из дому не легко было: боится остаться одной. Десять часов просидела она на стуле в эту первую ночь.

С понедельника на вторник вторая ночь.

Днем, когда ее уложили на кровать, наша соседка Унбегаун напоила ее **настоящим** кофием, и это ободрило ее, и она стала ждать доктора Аитова, двадцать лет лечил ее, как в Париж приехали, она ему верила. И перед Аитовым она поднялась. Вечером опять, как утром, приходили из гаража, чтобы положить на кровать. Да положили на левый бок — и что меня поразило, она уверяла, что она так всегда и спала на левом боку, а на самом деле она всю жизнь спала на правом. И все порывалась подняться — и у меня не было сил помочь. А как было бы все просто, если бы я был похож на **человека**, ну как хозяин гаража, или как его товарищ, приходил с ним помочь. И я в первый раз за все эти годы — за все эти ночи возроптал: «Господи, за что это мне!» — я чувствовал свою полную беспомощность, — а это и есть самое что ни на есть страшное, беспомощность. И она слышала и на мой ропот говорит твердо и властно: «не надо роптать». И я вдруг очнулся и мне было очень стыдно; чтобы оправдать свою малодушие, такой уж подлец человек, и успокоить ее, я вспомнил ей из «Хождения Богородицы по мукам» о ангелах, «стерегущих муку грешников», о их муке больше обреченных мучиться: видеть все, чувствовать, хотеть помочь...

А в ночь со вторника на среду, в третью и последнюю дома перед госпиталем, ее последняя молитва-разговор с Богом: голос ясный и твердый, такое не выдумаешь и никаким голосом не передать, так говорили Пророки. «Суди меня и спаси, если можешь!» А какое после ее слов: «спаси!» — какое это было молчание. И в ответ на это молчание снова: «если можешь»! Тут человек поднялся во весь рост, человек за что-то обреченный на боль: — «если можешь»! И потом совсем человеческое, из самого корня существа беззащитно-человеческого: «мне страшно».

Со среды на четверг четвертая ночь — я был уже один дома: своей волей как бы держал я натянутые нити и не мог отпустить, ночь я не спал.

И переговорив себе в который раз все эти ночи, вспомнилось ее тяжелое дыхание — вот только что в госпитале, такое дыхание, я заметил, бывало и в эти ночи, это всегда после встряски, когда ее клали на кровать, но потихоньку переходило в ровное и спокойное. «Если бы я был около нее, так я думал, она бы и теперь успокоилась». «Да я еще успею, думал я, и она успокоится». И сам боялся взглянуть на часы.

И когда, наконец, я услышал сирену, кончилось, и все встрепенулись, я поспешил на улицу — нелегко это мне, тыкался по коридорам, пока выход нашел. Все-таки я сообразил, что на Порт-де-Версай — там теперь труба, а пойду на Вожирар, и пока добреду — толпа схлынет. И пошел. И уж как подгонял, ноги захлестывало, а все кажется, медленно и далеко что-то, совсем не так, как представлял, — дорога не неизвестная. И когда увидел метро Вожирар, а там оказался плотный хвост, и я было стал, постоял-постоял, не двигаемся, и вышел. «Пешком пойду, не так уж — по Конвансьон через мост, Чижов ходит, ничего». Только иду, замечаю, а все нет рю Саразат, Лев Шестов жил. «Прошел, верно, плохо я разбираю надписи, не доглядел». И дальше иду. И жарко мне стало, я в своих зимних шкурках, и пить хочется. «Ну, думаю, скоро и мост — Пон Мирабо». А странно, когда дошел до моста, Сена вдруг пропала, и какие-то загородки, переплеты, и переходы, и деревья — и я еще подумал: «как высохла Сена». И вижу надпись. Подошел поближе и читаю: «Порт де Версай». Оглянулся, а в глаза метро: Порт де Версай.

«И уж ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится ему как-то смутно: в ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля, и все, что ни на есть перед глазами, покрывается как бы паутиной. Вскочив на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная, для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая, пора бы ему давно показаться; но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей: но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город, но не

Киев, а Галич, город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противоположную сторону и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе колдуна, а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море» («Страшная месть»).

Конец

С глазами, запутанными паутиной, я вернулся домой не в три, как думалось, а в восьмом. В госпиталь поздно, не пустят. От того ли, что я что-то сделал: эти самые четыреста франков, — я их завтра же пошлю за газ и электричество, успокоили меня. И завтра же я пойду в госпиталь, и никуда больше, и расскажу о своих мытарствах. Я так был уверен. И до чего это странно: чужая собака в гараже, Мишка, воет, а я успокоился.

Я начал было надписывать денежные переводы в Газовое общество и Электрическое, как вошел знакомый еще по Москве, большой книжник, вот уж такому никак не успокоиться, нынче много на свете таких бедующих, гонимых! И положил на стол сверток: «Туфли, — сказал он, — для Серафимы Павловны». И меня вдруг кольнуло: «туфли!» — но вспомнив, что у нее не было туфель, ее отвезли в госпиталь в одних чулках, я вдруг обрадовался: будет мне что отнести завтра. Поблагодарил я доброго человека, пожелал ему успокоиться, сам успокоенный и уверенный: и деньги, и эти туфли. А должно быть, он что-то заметил — и что безголосый я и что в простых словах запинаюсь и путаюсь — не задерживаясь, ушел. Не вскрывая свертка с туфлями, я дописал переводы и слепо потянулся к нашему древнему гаданью с «Рафли»: эти «Рафли» осуждены на Стоглавом соборе, отмечены вопросом в Стоглаве (1551 г. Гл. 41 в. XVII), «быть от царя в великой опале, а от церкви отверженному», — ответ. На себя я никогда не испытывал судьбу на этих волшебных «Рафлях», как никогда не беру билет в лотерею. Бросил я кости: легли — 611.

«Святый Федор Тирон взял с собою сокола-птицу и сяде на коня своего и поехал в чистое поле, и поимает сокол сокола ж птицу, и возрадовася Федор улову своему. Тако и ты возрадуешися орудию своему, Бог тебе на помощь; аще о болезни или о пути — в пути тебе радость; аще ли хощеши долг взяти, и ты возьмешь, только хлопотно, а врагов своих одолеешь».

Уверенный, еще больше уверившийся в своем «орудии» (деле), вышел я на кухню. «Только хлопотно — да и как не хлопотно: 400 франков нелегко мне достались! Мелькали отдельные слова: «чистое поле» — «сокол сокола ж птицу»: мне было так же трудно думать, как и говорить.

С понедельника она ничего не ела, я давал ей с ложечки кофий и белое вино с сахаром — ей трудно было глотать, но не потому чтобы горло болело, а очень неудобно лежала: порываясь подняться, она сползла с кровати на мои сложные сооружения из всяких валиков и подушек и лежала чуть-чуть не на полу; и вот тут я заметил, что ноги у нее холодные. Какое уж там есть! А про себя не скажу, не помню, а должно быть, что ел. Есть мне не хотелось. Было б поставить чайник, да я и поставил бы... да рано еще: без четверти девять. И присел на табуретку «подумать».

За эти годы мне никогда не удавалось что-нибудь до конца додумать. А теперь я был один и никакой оклик, от которого, бывало, падает сердце, ни птичья приманка, вроде свистульки, завел, чтобы не вздрагивать и выходить спокойно на «птичку», не могли прервать мои мысли. О чем я думал? Я думал смутно, истомно — клубок спутанных мыслей: сегодня — вчера — третьего дня — завтра, что было, что будет, что может быть; но не было мысли «конец».

Я дверей не запираю вот уже три года, и только когда дома, я захлопну, да и то не всегда. За моим гостем я не затворил двери, и потому без стука и звонка вошла наша соседка. Вчера она помогала, когда тащили везти в госпиталь и была единственная, последняя, с кем говорила Серафима Павловна, лежа в амбюлансе, когда я, как всегда, путаясь в расчетах, расплачивался за амбюланс. Анна Николаевна пришла справиться и рассказала про вчерашнее: она заметила, что у Серафимы Павловны не было в лице ее детскости, очень была перепугана; и на ее, что

будет хорошо в госпитале, Серафима Павловна ответила: «Не знаю, не хуже ли будет». — «Я помолюсь за вас», — сказала Анна Николаевна. — «Помолитесь-помолитесь!» — и это было сказано с порывом: так говорят, когда ничего не осталось и ни в чем никакой уверенности и единственное — «помолитесь». А я подумал: «А мне и не пришлось ничего ни спросить, ни сказать, и даже проститься из-за этого расчета с амбюлансом, а сегодня... опять деньги, ну завтра!» И я хотел рассказать, как сегодня я метался, как колдун из «Страшной мести». И хотя дверь была не закрыта, позвонили.

Наш консьерж-баск, что-то от лопаря, от лопарского нойды — такой нойда предсказал Ивану Грозному его Кириллин день — консьерж, извиваясь, подал мне письмо.

И я испугался: письмо без марки: опять подумал, какие-то деньги — за газ? за электричество? или штраф? А это было не про деньги, это был печатный бланк из госпиталя. Я понял. Но перечитывал. И не то, что не верил глазам, а от неожиданности: ведь, кажется, все было сказано, а нет... несмотря ни на что, я так был далек от мысли, что так скоро, так чересчур быстро, и недопустимо, невозможно, немыслимо, так сразу наступил —

«Madame Remizov Séraphine est décédée à 20 h. 15 le 13 Mai 1943».

Было девять часов, прошло три четверти: «еще не остыло». И еще светло. И первая мысль: идти сейчас же в госпиталь. Не пустят? На бланке ясно: я все перечитывал — от 2-х до 4-х. Стало быть, только завтра: еще ночь и целых полдня.

Однажды — по призыву в прошлую войну, как ратник ополчения, я провел на испытании в военном госпитале 40 дней и 40 ночей, сколько померло на моих глазах, я все знаю, что будут делать, знаю всякую мелочь и подробность, знаю, как покинуто безразлично лежит под простыней только что умерший, и только завтра...

Отчего в этот час не оказалось около меня никого из «безумных»: ведь, для безумного нет и не бывает нашего «нет»: не пустят? Ни Анны «Безумной», ни другой, Любови, эту звали «Блаженной». И где, на какой земле или в какой больнице пропадала несчастная «Безумная»? А «Блаженная», мать и пастух беспризорных котов и кошек, с год как из Sainte Anne схорони-

лась в землянке на «немецком», как она называла, кладбище Bagneux. А Серафима Павловна, как бы она поступила? Да, конечно, как «Безумная» и как «Блаженная».

В последний год войны, в августе мы жили в Ессентуках, пришло известие о смерти ее матери, и она поднялась, сейчас чтобы ехать. Сейчас? И мне много стало уговорить: война, из Ессентуков до Крут сколько будет пересадок, здоровому не выдержать, а она лечилась, и сколько времени займет дорога? И Короленко приходил разговаривать и доктор Зернов, в его санатории мы жили... А ведь тут: всего дорогу перейти. Не пустят?

Паутина, которая днем кутала мне глаза, теперь опутала мои ноги. Я как сел, так и сидел у стола в кухне и писал письма. Наша соседка Половчанка, она тоже вчера помогала, когда тащили везти в госпиталь, а сегодня ходила со мною в госпиталь — я ведь один ничего не могу! — поднялась к себе на пятый телефонировать, кому можно. Анна Николаевна пошла к Ивану Павлычу: у меня смутно было такое чувство, что если бы пришел Иван Павлыч... И уж совсем стемнело, теперь и для безумных захлопнулись все двери, приехал учитель музыки и Телепень-Овчина.

Я писал письма на бумаге, подарок «Берлиоза», непишущей, что выговаривалось шершавой, на шершуне, перо зацепляло, царапало и брызгало, чернила расплывались.

Телепень-Овчина (его предок Иван был отцом Ивана Грозного от Елены Глинской), князь Андрей с лицом Ивана Грозного складывал, как лоскутья, эти мои невнятные письма в самодельные шершавые конверты и, зачем-то послюнив, заклеивал липким подозрительным гуммиарабиком, путая адреса: Зайцеву Паскаля, а Паскаля Зайцеву, а кому еще и вместо кого, не знаю. Учитель музыки — а для него, по его хворости, что он вышел в такой час из дому, поступок героический — стало быть, можно сделать и что-то сверхъестественное и даже без всякого «безумия». А как радовалась Серафима Павловна редкому его приходу, и всегда его вспомнит за его «чувствительность», как она называла, чего как раз нет и никогда не было у меня; за его верность: как он годы ухаживал за своей матерью, отказавшись от всего; за верность, потерянную в нашем мире, как и чутье; за инструментальную ясность души, учитель музыки! Костанов,

усевшись на «Комедию», от взволнованности, должно быть, а он, я знаю, потерял настоящего верного друга, говорил что-то несообразное. Или мне так послышалось. И, конечно, это не он, а во мне говорилось, выговариваясь сообразно с адресатами: ведь каждый имеет свое лицо, свою душу, свои чувства, будь он выродок, выкидыш или девятимесячный, и у каждого своя отдельная обстановка, не совпадающая с другими, и всякие пристрастия, своя боль, свой страх, своя песня: я продолжал писать письма.

Вернувшаяся Анна Николаевна без Ивана Павлыча, измаявшаяся за день, с выбившимися прядями, позевывала, прислонясь к запрещенной, а когда-то теплой, духовке: она ждала, когда кончу письма, чтобы опустить. Половчанка, телефонировавшая с час и по нескольку раз одним и тем же лицам, склеивала тем же «оболенским» гуммиарабиком самодельные конверты, но без предварительного прилиза. А я поминутно схватывался, не забыть бы кому, и в то же время, зачем я все это делаю, и что все это неважно и не имеет смысла, и не все ли равно, напишу или не напишу, и вдруг промелькнуло, что я давно уже пишу эти извещения, они **давно написаны мною**, и я только припоминаю.

Омут

После одиннадцати все разошлись. И я остался один. Я часто думал, как это бывает, когда остается человек один в таких случаях, и мне всегда представлялся омут, в котором он барахтается и тонет, и снова выплывает, чтобы тонуть.

Я пошел в «кукушкину» комнату, развернул сверток и надел «смертные», не мне предназначенные, оленьи туфли. И меня клонит, и нет сил сопротивляться. И было такое чувство, и это как бы по́дстель к моей непродуманной еще и не сказавшейся, а только беспокойно мелькавшей мысли:

«Что есть срок человеческой жизни, люди, звери, рыбы и птицы? Люди, звери, рыбы и птицы, всем нам и каждому отмерен свой век и отпущена своя доля: одним на счастье, другим, как мне, на горькое счастье, а третьим на радость. Ворон живет 70 лет, слон 100 и гусь 100 («коли во́время не зарежут!» — ворвался насмешливый голос), медведь 50, продолжал я, лисица 20 («очень нервная, да и с этаким хвостищем!» — заметил кто-

то), а пискарь, сереброчешуйный наш пискарь, где-нибудь в подмосковной за Яузой, по желтому песку, в серебряной Синичке, целых 300 годов!» («На наш век если, так всего на 13 лет будет моложе царя Ивана Васильевича, так?»)

Но мысль о госпитале пламенем слизнула все мысли, и ясно увидел я в палате № 5 в углу под простыней...

«Я помню, кто-то будто повел меня за руку, со свечой в руках, показал мне какого-то огромного отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо — которому все подчинено от гориллы до человека и от человека до Сына человеческого, этого самого высшего и совершенного, что только дано было землей на земле, — и смеялся над моим негодованием».

«А по Гоголю это и есть Вий, темная, наглая и бессмысленно вечная сила», — перебил я Достоевского. И ткнувшись в ворох бумаги, в которой были завернуты «смертные» туфли, вдруг я очнулся.

В моих глазах все было скомкано, стиснуто, сдавлено и перевернуто; все казалось разбросанным, раскиданным и рассыпанным. Я не хотел тушить свет, — «но почему же?» — и щелкнул. В темноте, не раздеваясь, я прилег на этот свой диван, на котором провел, потом я подсчитаю, 1075 ночей «ночного дежурства» без перерыва или, как теперь говорят, «без выходных».

И вдруг мне вспомнилось, как однажды, это было зимой незадолго до войны, утром я проходил по двору госпиталя (тогда самая дорогая клиника); из главного здания, где бюро, служители в белом тащили кровать и на кровати, прикрытый одеялом, лежал — и я подумал: «так легко простудиться», но это тащили шакалы и не в другое здание, а в мертвецкую; лицо мне показалось очень знакомым по портретам, только не мог вспомнить, и сказал себе: «шикарный француз!» А теперь я понял, необыкновенное сходство: Мюссе — Alfred de Musset. Стало быть, подумал я, завтра надо пораньше встать и прямо идти в госпиталь и никуда там, только к лестнице главного здания, и как вынесут, я увижу и пойду сзади тихонько, никому не мешая, это не предусмотрено и часов на такое нет, не отгонят же, я им все скажу, в самом деле, я не собака, и как же так, даже если бы и собака, собака тоже понимает и чувствует, а как чует! зве-

ри, они чище нас, разве звери мучают друг друга. Альфред де Мюссе, «La nuit de Mai», Жорж Занд, Шопен, Равель — Равель помер в этом же госпитале, тогда клиника, и Лев Шестов, и я не раз ходил навещать профессора Легра — после «второй» операции у него появились странные замашки, прыжки и ужимки, он мне читал свои переводы из Гейне. «Кто-то постучал в окно. Какое бледное лицо! Кто ты? — Я май»... И я иду по зеленой дороге — зеленая земля кусками влажная — «сырая», присел на дерновник подумать: «куда мне теперь идти?» А надо куда-то, вон и автобусы. Только это все не наши, нам в другую сторону. И откуда ни возьмись Анненков, в руках зеленая папка: рисунки к «Ревизору». А «Ревизора» и нет никакого, это Евреинов, на ногах рыжие потрепанные ботинки, каши просят. «А крысы холодные, — нагло сказал он, поддразнивая кого-то, — когда на голое тело прыгнет, холодная»! Но не успел я подумать, что в «Ревизоре» про крыс не так, из папки механически поднялся Михаил Струве в валенках, лицо Рылеева и что-то от Котофея, нет от Миши: поблескивал медвежьим глазом и покачиваясь, как тень отца Гамлета, — и мне послышалось, что он сказал, и я, сделав страшное лицо Гофманского крысиного короля Кавдаллара, повторил за ним эти страшные, понятные только мне и моему озабоченному «фейермэнхену», и само собой и Достоевскому: «Ich bin alles zermalmendes Raubtier!» («Я всесокрушающий лютый зверь») и вспомнив массажистку, она меня массировала после «зоны», и за свои крепкие руки называла себя «лютая зверь», я схватился, не пропустить бы в госпиталь! — и со всей осторожностью в полутьме, держась за перила, спустился по лестнице и совсем незаметно мимо консьержки вышел на улицу и прямо к госпиталю. Чуть еще рассветало, и с моими глазами я как плыл. Калитка была не заперта, и я прошел во двор и прямо к главному зданию, где бюро, и у лестницы притаился. За дверью незаметно было никакого движения — или очень рано? — и бюро закрыто. Я стал всматриваться в дверь и выше — смотрю на лестницу, и через коридор, и вдруг вижу в углу на кровати в зеленой кофточке турецкими бобами — вчера я ее заметил, когда внесли Серафиму Павловну в эту палату — она похожа на «Безумную», которую называли «Блаженной» — черненький зверек на кривых ногах; она приподнялась на локтях — так приподнимаются звери настороже, чтобы или

броситься или улепетнуть; она меня еще не видит, но чует мои глаза. В это время дверь отворилась, и шакалы в белом тащили кровать — но теперь через открытую дверь она увидела меня, и я встретился с ней глазами, и не испуг, не ненависть, я почувствовал в ее глазах, а сверлящий укор. И проснулся.

В окно, в щели занавесок глядело солнце. Незаведенный будильник остановился. Я сразу сообразил, что поздно, проспал. И вдруг услышал — а как медленно и неуклонно звонили часы: 10 часов. И в другой школе прозвонили, и опять — 10 часов. И слышу, это далеко, на Eglise d'Auteuil чуть доносит, а ясно — 10 часов. И не зная, куда девать мне глаза, в смятении я поднялся. Все кончилось.

Туда

В четверг 13 мая 1943, в неделю «Жен мироносиц» (3-ья по Пасхе) в «отдачу часов дневных» — на закате солнца, в госпитале «Ambroise Paré», 12, rue Boileau, XVI, в общей палате № 5, после трехлетней, с кротостью оттруженной страды, тихо скончалась Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, проведя одну ночь вне дома, 7, rue Boileau, XVI, без меня, без моего глаза и моей воли, без своего креста и Евангелия, вне своих бисерных и книжных стен, где три весны загорался в окне белыми рождественскими свечами зеленый каштан и три коляды горели рождественской звездой на елке и три красные Пасхи трижды пропели «Христос Воскресе», где в черные дни и беспросветные бессонные ночи и в самую ледяную, не парижскую, зиму оберегали ее от отчаяния ее любимые книги: Пушкин, Толстой, Достоевский, Тютчев, Лермонтов, Некрасов, Блок.

Не забыть мне холодное нестерпимо-блестящее утро — 16 мая, день похорон. Нет, я не проспал: я ведь все мучился, что просплю и опоздаю на вынос, со мной все может стать. И как с вечера взял в руку кипарисный крестик и образок, чтобы в гроб положить, так и заснул темным приглушенным сном. Нет никто меня не будил. С солнцем я поднялся — беспощадный блестящий свет рассеял сон. И всю мою жизнь, всю нашу жизнь, я увидел до мелочей — и самое мучительное, самое яркое, самое кричащее погасло и затихло, как срезало. Остался вчерашний

день. И какое оно было долгое, это вчера, оно одно только и было — последний день. Свет, осветивший мою — нашу жизнь, обнажил меня, и чувствую, как и кожу с меня сдирают, а не жжет, только холодно очень. И вдруг я почувствовал, что я как бы вырвался из себя: странно, но это так, я уже наблюдал над собой. И нас стало двое, я видел его — себя, он был совсем обескровлен, кусок худого мяса, и все-таки повелевать ему я не мог.

Когда пришла Пелагея Ивановна — это видение из блоковской «Незнакомки» — с ней и ее семьей у нас много прожито, очень — и горького и надежд, — я так и думал, она придет, я ее ждал, она очень удивилась, что он уже готов. Она застала его на кухне с зажатым в руке крестиком и образком. Кутаясь в эмпермеабль — подарок первого танцовщика Опера́, — он жаловался, что ему холодно, руки у него посинели, и не опоздать бы. Он все смотрел на часы, чтобы не опоздать.

И я вспомнил — очень давно это было, в Пензе, в мою первую ссылку, — такой же блестящий май, чуть только солнце взошло; мое окно во двор — и там кто-то помер из соседей, сегодня день похорон; а проснулся я ни свет ни заря, странная ритмическая речь разбудила меня: это был не плач, не рыдание, а разговор с самим собой, выбивавшийся ритмической речью. Слов я не мог разобрать, но и теперь во мне звучит эта разговорная нить, как бы я сам говорил. Как бы я сам говорю.

И они вышли: «Незнакомка» из Блока и он в эмпермеабле первого танцовщика Опера́. Торопились. Я несся вслед и наблюдал за ними. Как выгонят зверька из норки — бежит такой, хвост поджал — так шел он: все отняли, иди куда знаешь — и он идет, ничего не поделать, глаза не в землю, глаза не в небо, а так, в разбег, и кто-то подхлестывает и грозит: «молчи!» Надо покориться, ведь это такое, ничем не умилостивить и нет никакой надежды поправить, — «молчи!» И некуда больше пойти спросить, как последнее спрашивают: «так, как же?» — «Молчи!» Не знаю, что и делать... Они остановились: налево или направо? Сюда. — И уж некому сказать это! «Господи, за что это мне?» — потому что не человек его выгнал, и никакой другой зверь его турнул, и, хочешь не хочешь, а нельзя не... — «молчи!» Молча они вошли в мертвецкую.

И он сейчас же о крестике и образке, но никак не могу завязать крест — очень высоко, и уж крокмор — сторож, как вчера

на Костанове развязавшийся галстук, легко завязал на шее крест и положил на грудь образок. Да, ему никак не достать! Он потянулся рукой и погладил ее по голове: волосы были сырые, расчесаны — «Ну, вот! — сказал он сухими губами. — И все». — «Нет, не все! — я крикнул ему — это прикосновение ТУДА...» Он вздрогнул, и не понял, но я-то знаю, вспомнит... когда-нибудь в веках при встрече вдруг вспомнит и узнает. И когда священник вполголоса — не разобрать слов — прочитал молитву и благословил последним, ему привычным, благословением, я видел, как он — священник посторонился — подошел поближе к гробу и, точно держа в руке пуды, с усилием поднял руку, и медленно, так медленно — тяжесть-то, какая! — и неловко перекрестил. Как чугун, черный висел этот крест в воздухе — я все видел — и не пропадал над еще открытым, еще живым гробом. И тут мне послышалось, что-то как бы крикнуло и оборвалось — а это задвинули крышку гроба: небо закрылось. И все поплыло как-то само собой впотьмах. Он подошел еще ближе и стал рассматривать надпись на крышке гроба: ему так не написать! — но его оттеснили. И когда несли гроб из мертвецкой на улицу к автомобилю, ему казалось, что он бежит: вид у него был нищего и «шикарный» эмпермеабль танцовщика не красил, а еще более выделял его нищету.

Это было утром в воскресенье — 16-го мая. И после обеден, в 3-м часу дня в нижней церкви на Рю Дарю отпевание. Пел хор Афонского — 3-ий глас.

Когда запели «Христос Воскресе», меня полыснуло. Я никогда не думал, что можно так крепко ударить. И как от толчка, я пришел в себя. И слышал, как под трехкратное, щемящее сердце «Христос Воскресе» завыла сирена. Прежде я непременно бы подумал, что и она отозвалась, но теперь, как завеса закрыла все, мне было очень смутно. А как стал на колени — «Со святыми упокой», лопнула у меня подошва, это я понял, и это было единственное из жизни. И опять слышу сирена — конец, и под сирену опять «Христос Воскресе». И до чего все скоро — вот и конец. Это было, как в сказке: прошли три года, а показалось за три минуты.

И когда перед гробом я в землю поклонился — на Воздвижение, как крест выносят, на «Господи помилуй» полагается сто поклонов, по поклону на каждое «Господи помилуй», а это бы-

ла — так я чувствовал — тысяча в моем одном — за все, что мне открылось в моей жизни, в нашу жизнь, и за науку — верю, и Там... — и просил простить, если можно... за все — и за то, чего не сделал, забыл или не успел сделать, и за то, о чем вовремя не догадался или сразу не понял. И не холодный камень-плиты, к теплой черной земле прикоснулся я всем лицом, всю-всю-всю я ее тронул, «сырую-землю».

Кто-то, подойдя ко мне, сказал, и слово его прозвучало мне, как приговор: «несчастный!» И я глубоко затаил в себе это слово, как Раскольников свое «убивец». С народом я вышел из церкви покурить, очень было мне зябко.

И опять дорога. Когда ехали из мертвецкой в церковь, только и заметил: Триумфальная арка — Этуаль; а из церкви на кладбище — порт д'Орлеан. Должно быть, всегда такая спешка: рожать и умереть, на свет и с глаз долой. У остановки автобусов приостановились. «Покойника везем»,– подумал. И дальше — к кладбищу. По дороге подобрали троих, кое-как разместились: кто на одной ножке, кто плюхнулся на колени, — и дальше, так скоро, так скоро; ни одной мысли, и только это «скоро» в лад с автомобилем.

Могила смотрела совсем не страшно, вот уж никакая «вырыта заступом яма глубокая». И земля — песок. И тишина. И была она ничуть не грозная, а тихость.

И когда в могилу опустили гроб и также легко и тихо, без всякого бодлеровского жгута веревок, мне подали алую розу — и я узнал ее, эту рождественскую, вещую алую розу, кто-то тогда зимой мне принес... («человек, одетый в черном»). И вдруг я увидел высокие «ослопные» свечи в церкви по углам гроба — торжественный взлет к небесам, — мои глаза без «вчера» и «завтра», как во сне, насквозь, и я бросил ее на гроб — на грудь к затихшему сердцу, эту алую живую воду. Телепень-Овчина — русскую землю, берегли 22 года, из Таврического сада, и щепотку с Москвы. И почему-то очень долго закапывали. Семеро нас — мы нетерпеливо стоим вокруг могилы.

Прощаясь, я подумал: «теперь и у меня земля под Парижем», правда, на пять лет, но не все ли равно, ведь это срок испытаний, мера пробы — «пять» и по Гоголю, и по Достоевскому, значит, по-русски — на «вечно». И как в мертвецкой на крышку

гроба, так на могиле я заглянул на крест, и надпись меня остановила. И я подумал: «И это все, что осталось от человека, эта одна, да и то только мне звучащая надпись!»

Дома, не раздеваясь – я все еще, как утром, в эмпермеабле первого танцовщика — я вошел в покинутую комнату: все та же бисерная стена и книги, образа в углу, стол, кровать, «Я вернулся, — сказалось во мне, — а она не вернется, неизвестно, куда ушла, и никогда не вернется!» И в первый раз я так глубоко заглянул — какая беспросветная пучина: никогда.

Еще в церкви Резников передал Телепень-Овчине **настоящего** чаю и табак. Резниковским чаем и поминали. И я курил. К вечеру Ростик Гофман прислал блинов из **настоящей** белой муки. И все, кто заглянул в этот день в «кукушкину» — а кукушка остановилась, не кукует, — получили по блину. Блины я смазал медом, правда, не на все попало, но на всех был дух медвяный. Хожу из кухни в «кукушкину» и из «кукушкиной» в кухню, и сам не знаю, чего ищу.

И когда я остался один, было очень тихо, только не скажу, чтобы была тихость. Да и вообще никакой тихости не было, я теперь это понял, а затаенность до столбняка. Я пошел опять в ту комнату, присел на свой просиженный, пролежанный диван. В окно заглядывал слепо погасающий вечер, стекла не светили.

В комнате было темнее, чем на воле. И в сумерках по углам затаилось: они мне виделись из каждого угла: одни указывали на меня пальцем, другие серыми волосатыми мордами, скорчившись, делали «моську» — их вытянутые губы бледно алели; третьи — гладкое, как страусово яйцо, на вздрагивающих тоненьких ножках, они равномерно подымали и опускали свой липкий хвост; четвертые сидели на корточках, подперев скулы, если бы им был дан голос, они бы скулили; пятые — с продолговатым редькой лицом, птичий нос и острые серые глаза: они читали мои мысли с первого дня до сегодняшнего и, пристально глядя, допрашивали меня, я и без слов понимал их, — «да-да-да, — отвечал я, — но что же я могу сделать? и разве можно что-нибудь вернуть?» И тут один вышел, подбоченясь, волк, а из пупка спиралью пучок седых волос: «Что же, собственно, произошло — в конце-то концов? — стащили в госпиталь, что-

бы передохнула ночь, да неизвестно, как еще передохнула? — и он, давясь, высунул острый алый язык, — чтоб на следующее утро стащить в мертвецкую, а из мертвецкой, отпев со свечами и ладаном, на автомобиле шикарно примчать на кладбище и там бросить в яму»:

«...со святыми упокой...»

И разом всем паучиным сдохлом метнулись они под потолок и потемнели и, наливаясь тьмою, тяжелые, грозно протянули руки: и это были не волосатые лапы сумерек, а человеческие живые карающие руки. Я поднялся и, крепко сжимая себе руки, пошел к двери: «я тоже больше сюда никогда не вернусь!»

В «кукушкиной» я «закамуфлировал» окно, — задернул все занавески, зажег свет, сделал себе постель на сомье, в углу под кукушкой. И хотел записать в дневнике — начал я его, как отвезли Серафиму Павловну в госпиталь, для нее: встречи и сны, — взял я эту тетрадку и остановился; писать больше некому. И положил тетрадь к моей «Отходной». А любопытно было, и я заглянул на последнюю страницу этой «Отходной». Рисунок: лежу, как в гробу, и подпись: «лежу на правом боку, за левым ухом бутылка, «двойное» вино — с горлышка красное, со дна белое, и не одинакового качества». И другой рисунок: птица летит: и подписано: «птица, длинный зеленоватый хвост, алая грудь, ее посадили в кастрюлю с водой, я ее вынул, погладил: крылья у нее сырые». И вспомнил: «волосы сырые, расчесаны». И в глазах остановилось — в гробу: что-то торжественное и нарядное. И что-то досадное — «какая сила дала вам так распоряжаться человеком? Вы!» И как бы в ответ мне туловище без ног и без головы вдруг вскинулось в глазах и кивает: «Мы! мы!» И я закрыл «Отходную».

Да, вспомнил, надо хоть какой-нибудь порядок навести, — весь мой стол завален и все перевернуто. И я шарил по столу. И попался листок, не моя рука: «приход-расход» — Чижов распоряжался похоронами; и вижу, на «приходе» первым мое обручальное кольцо написано — 500 франков. Какая судьба: венец и гроб. Что-то от Шекспира, роковое. И в глазах: старая тесная Всесвятская церковь, горячее июньское утро, все золотое, старинные распевы, «Исайя ликуй» с хождением «посолонь» вкруг аналоя, красное вино — мы венчались в единоверческой церкви. И это как один кратчайший миг. И снова вижу: то же солн-

це, но не жаркое лето, а «веселый май», все золотое, колыхаясь, несут к могиле гроб; так медленно... до веку неизбывно.

А какая долгая была эта моя первая ночь: я все схватывался — чего я не сделал, забыл или не успел сделать. И, забываясь, вдруг пробуждался и слышал — я слушал, как кричало голосом «Детской» Мусоргского откуда-то из подушки, из самой под-подушки, беспощадно.

Дупло

Наступили будни. Предстояло самое для меня мучительное: хождение в мэрию и префектуру; и там поиски комнат — с лестницы на лестницу и из коридора в коридор — и, конечно, попал не туда; или от стола к столу, не понимая вопроса и отвечая невпопад; и еще мне предстояло отвечать на праздные вопросы: еще когда Серафима Павловна лежала в мертвецкой, меня спрашивали: «собираюсь ли переезжать на другую квартиру или остаюсь?» — и советовали, не помню, что советовали. Я был в мэрии, сдал продовольственные карточки, но какую-то забыл, и завтра мне опять идти; уходя, я каждый раз замечаю и комнату, и коридор, и лестницу, а непременно спутаюсь. Разбирал вещи, тихонько разговаривал — Francis Jammes меня поймет. Да, вещи живут: одни я боялся тронуть, а других чуть касался — по ним восстановляю жизнь.

В глубокие сумерки, проходя по коридору, я вдруг почувствовал у дверей покинутой комнаты что-то загораживает мне дорогу и, вздрогнув, поднял руки — тень, темнее сумерок, рассеялась. Мне было не страшно, а очень трепетно. И я стал ходить тихонько, и если бы говорил, то шепотом.

Скоро полночь, я собрался ложиться: мне надо непременно выспаться. И прибрав на кухне, — вымыл посуду, поставил чайник, — я вернулся к себе, в «кукушкину». Я зажег на столе лампу — зеленый абажур при бомбардировке развалился и только к лицу целый, и получается двойной свет: ко мне зеленый, а туда — в глазах рябит, — и обернулся. И вижу, на белой двери через коридор тень — моя тень, и вдруг увидел: другая тень, она крылом покрывала меня, чернее моей.

На третий день я получил в госпитале крестик и, завернутые в головную сетку, четыре платка и белый гребень — все, что осталось. В обеих руках нес я от госпиталя через улицу домой

и дома положил себе на стол этот с крестиком комочек — все, что осталось.

И в эту ночь, когда я погасил лампу и лежал, не закрывая глаз, вдруг над столом осветилось — и белый блестящий шар, вспыхнув, погас. И я погрузился в глубокий сон.

Комната с бисерной стеной, полки с книгами по стене и стеклянный шкап с книгами, но все гораздо обширнее и потолок выше, а окно во всю стену и из окна далеко даль, и в самой дали над крышами, трубами и пустырями разливается трепещущее зарево. В соседней комнате — мне и это видно через стену: Чижов с Бутчиком, Чижов еще выше — под потолок, а голова у Бутчика, как цифра «8», оба в серых мышиных халатах, над книгами что-то делают — два тяжелых длинных ящика. И знаю, чего-то они боятся: или, что это ночь и свет: такой — лунный. Чижов, согнувшись, входил в комнату и, не глядя, еще согнутее, незаметно пропадал. Мы стоим рядом лицом к окну: она в белом и вся светится: платье, лицо и руки — приподнятые руки — глаза и улыбка — в розовом блеске, такой блеск я помню у Рублева. И одно мне странно, — ведь стоим рядом и, кажется, плечо к плечу, а вижу ее, как издали, и не подаст голоса.

Через 40 дней. Как быстро прошли эти «мытарские» 40 дней и 40 ночей! На могиле цветы засохли и один только черный «казенный» крест на сером песке — перепевшая песни черная птица — сторожит. Все эти дни и все ночи я писал — очень трудно после трехлетнего перерыва, слова не поддаются, а потом, когда и приходят, разве это то? — и сколько такого, чего и не выговоришь.

А кладбище — Bagneux — и вправду «немецкое», наши московские Введенские горы в Лефортове: последнее, самое бедное место: дивизион 70-й, а все те же цветы, как и там, у бессрочных в 1-м, и птички какие-то перекликаются, даже больше их тут, там камень и плиты пугают, и твердо.

После кладбища всю дорогу навязчиво повторялись стихи Андрея Белого, их когда-то в Петербурге пел Андрей Белый, а сколько раз потом читала Серафима Павловна: «я вышел из бедной могилы»...

Я сел на могильный камень...
Куда мне теперь итти?

Куда свой потухший пламень —
Потухший пламень нести...

Я шел пешком, устал и не помню, что и приснилось. Только в эту ночь, в первый раз за все 40 ночей вдруг слышу — так ясно и просто зовет...

И уж наяву, прислушиваясь к моей звучащей памяти и в ней различая этот голос — он звал меня так ясно и просто, — я подумал: «вот однажды на оклик проснусь, и все, что было, окажется только сон был». И это так, как с болью когда-то думалось, что вот проснусь и окажется: Россия — я в России, а все эти годы здесь лишь сон был.

Но странно, или так всегда бывает и иначе не мог бы человек вынести разлуку, с годами этот сон, я чувствую, меня окутал, и все плотнее, и порой мне снится, что Россия — это только мой волшебный сон.

Под огненной потравой

Есть две памяти: красочная — глаза, и звонкая — слух. Глазатая память моих «подстриженных глаз» опасна, не всякий вынесет, немудрено и «изойти». Меня спасает мой вглядчивый слух: и как услышу голос и тотчас вернусь к жизни — и мертвое в моих глазах оживет.

* * *

Из какого далека глядит на меня Розик, а вижу его, как перед собой.

Розика все знали и не только на нашем дворе, а и за воротами до Камушка — камень такой лежал в Сыромятниках на тротуаре около мелочной лавки, черный хлеб покупаем. Откуда к нам попал Розик, не могу сказать, но сразу обратил на себя внимание. Все про него говорили: «аккуратный», и в пример ставили. И правда, от него в доме у нас точно вымыто — чистота поддерживалась этим Розиком.

Лисья мелкая мордочка на пружинных ножках, и никогда не бегает, а идет, и всегда осматривает, проверяет порядок, и сам такой блестящий — на нем все чисто вычищено. И поздоровается, встречая — так своей звериной грустной мордочкой поводя, наклонится: «здравствуйте!» И пойдет себе.

Розику был коврик, и на этой теплой подстилке он отдыхал после обеда. Тихонько я подхожу и присаживаюсь на корточки

около. Если спит, всегда проснется и глазами так сделает — узнал! — и подвинется: он чувствовал, что я к нему в гости пришел. Я с ним разговаривал — поглажу его по брюшку или за лапку возьму, коготки чистые: «где был, спрашиваю, что видел», — и о своем ему, о своих «походах» и о раздумьи своем. И в глазах его вспыхивала понятливая искорка.

Розика никогда никто не трогал. Даже в сердцах, когда человек и в самого себя готов пырнуть или шваркнет чем ни попало. Что-то останавливало и другой раз этот сердцовый толчок угодит в кастрюлю, кочергу, табуретку и совсем не близко от Розика, стало быть, сама рука отвела.

Шел Розик по двору и как всегда, внимательно приглядывался, а какой-то, был у нас дурак-верзила, Дрока кличкой, ухватя полено, здорово живешь в Розика прямо по ноге ему хвать с размаху.

Вечером Розик лежал на своем подвернувшимся коврике; за день и поправить ему не было ни сил, ни охоты, он и к еде не притронулся: очень больно. Лунный студеный вечер плыл за окном. Я наклонился, подул теплыми губами, потом погладил его больную лапку — горячую. И он, вздрогнув, посмотрел на меня — глаза полные слез. И эти слезы, не иссякая, кипят в моих глазах.

Она стоит на углу 14-ой линии и Большого проспекта, ее лицо открыто — русское, глаза нездешние и сразу скажешь, больна: по отеку, и ни кровинки, и ноги, чай, опухли. Она очень бедно одета, но «аккуратно» — все-то на ней подштопано и приглажено. Ее тонкие белые губы крепко сжаты, она ничего не скажет, она только смотрит. И не было человека, кто бы, проходя, ни остановился подать ей, и в самые злые тиски, когда нечего и самим было, ей подавали. А потом она пропала, долго ль больному надо? такая была ледяная стужа — 1919-ый год, Петербург.

И вот опять она на своем старом месте, стоит.

Я видел, проходя, как какая-то — конечно, одна из тех, что навещала в леднике ее, рассказывает что-то свое и с такой мукой рассказывала, сводя горькие брови. И она ей что-то ответила, слова не долетели до меня, но ясно вижу, как тонкий луч засветился в этих нездешних глазах, и та, которая с такой мукой о своем рассказывала, тихо заплакала.

И я, весь подтянутый, отошел, почти не касаясь земли, боялся шагами своими спугну этот свет. И этот свет сияет в моих глазах.

И я пронес через всю мою жизнь и этот живой свет, и те замученные слезы. И вот, под огненной потравой, все погасло: мертвое лицо закрытыми глазами смотрит на меня из ночи...

* * *

После трех лет невольной передышки я набросился писать. Сначала было очень трудно, понемногу вошел, и все лето и осень пишу, не прерываясь. И пока писал, я видел перед собой живого человека, слушал и отвечал, но как только я кончил и тотчас очутился в мертвецкой. Дверь за мной закрылась, и я почувствовал, что на волю мне никак не выйти. Мертвое лицо неотступно в моих глазах.

То, что совершилось, так тому и надо было быть; и наша жестокая судьба, но так, значит, оно и должно было быть — а принял сорок лет нашей жизни, а не мог помириться с пятью последними днями: со среды, как повезут в госпиталь, и до утра воскресенья, когда из мертвецкой в церковь.

Переговаривая и передумывая эти дни, я осуждал себя за то, что не сделал или не успел или не так сделалось, не по-моему. И, пусть этих дней вернуть нельзя, мысль о этих днях, как о вернувшихся, не останавливается.

Перед сном, лежа, я читал часа два. И весь был в книге. Но как только погашу свет, я попадаю в мертвецкую и, под мертвыми без взгляда глазами, оживает мысль о непоправимом. Так из ночи в ночь. Бьют часы, разговор на улице, но и самое неистовое — огненный громых по аэропланам, меня не освобождает. Только под утро провалюсь в сырую яму мутного сна. И целый день потом брожу заморенный, засыпаю где придется и как попало, крутя папиросу, вдруг или с зажженной спичкой в руке. И только пью с жадностью, глотая кипяток, ненасытная жажда.

* * *

Человек может вынести даже сверх своих сил, тут какой-то закон ссуды, что потом непременно взыщется. Но есть предел всякому терпению. И когда последнее, уже сверхмерное, исчерпается, тут или глухая черная пропасть или какой-то взвих

и выход из себя, раздвоение, но не двойник, а над моим же растерзанным «я» взблеск моего властного неколебимого «и-а» (я).

Я видел, как лежал он с открытыми глазами, упорно всматриваясь. Ярко падал свет на его лицо — всеми мускулами напряженное к слуху: он прислушивался к шороху, окликам и затаенному нашептыванию ночи, которая никогда не кончится; ему что-то смутно звучится. И вдруг его губы ярко окрасились и беззвучно зашевелились. И розовые капельки взблеснули на его лбу и на груди.

Я следил — все мои чувства превратились в глаза: это я — сам я лежал, прислушиваясь. Я больше чем он, я дальше вижу и знаю глубже, моя память бездонна. И эти взблескивающие розовые капельки на его лбу и на груди, я помню.

И глядя в глаза ему, я читал слова Лескова о исступлении человеческой воли перед непоправимым, напряженнейшей до кровавого взблеска — вернуть.

«Да, эта красная влага, которою была пропитана рыхлая обертка поданных мне бумаг, была не что иное, как «кровавый пот», который я, в этот единственный раз в моей жизни, видел своими глазами на человеке. По мере того, как этот худой, изнеможенный интролегатор (переплетчик) размерзался и размокал в теплой комнате, его лоб, с прилипшими мокрыми волосами, его скорченные, судорожно теребившие свои лохмотья, руки и особенно обнажившаяся из-под разорванного лапсердака грудь, — все это было точно покрыто тонкими ссадинками, из которых, как клюквенный сок сквозь частую кисею, проступала и сочилась мелкими и росистыми каплями красная влага... Это видеть ужасно!»

«Кто никогда не видел этого кровавого пота, а таких, я думаю, очень много и есть значительная доля людей, которые даже сомневаются в самой возможности такого явления, тем я могу сказать, что я его сам видел, и что это невыразимо страшно. Это росистое клюквенное пятно на предсердии до сих пор живо стоит в моих глазах и мне кажется, будто я видел сквозь него отверстое человеческое сердце страдающее самою тяжкою мукою — мукою отца стремящегося спасти своего ребенка... О, еще раз скажу: это ужасно! Я невольно вспомнил кровавый

пот Того, Чья праведная кровь... и собственная кровь моя прилила к моему сердцу и потом быстро отхлынула и зашумела в ушах. Все мысли мои, все чувства точно что-то понесли, что-то потерпели в одно и то же время и мучительное и сладкое. Передо мною, казалось, стоял не просто человек, а какой-то кровавый исторический символ».

Ай-и люли да ще люли,
Прилетели сиры гули,
Да посели на воротех,
Во червоных во чоботех...

Он провел рукой по горящему лбу, не стирая розовых блестков, а точно опрастывая место для встрепенувшейся мысли — далекая память: Петербург.

Осень — серый вечер — над опустелой детской кроваткой (Наташа не с нами). И разве мать может забыть? И разве я могу забыть материнскую боль, ее разлуку? Ганна, девочка-нянька поет, тоскуя по своей черной земле: «Ай-и люли»... И эти слезы — это горе — эта завязь боли.

Я следил за ним — за его мыслью.

Его измученная мысль была на верном пути: пробивая дальнюю память, звуча, неслась она сюда — последние земные дни. Он лежал как звереныш, щуля уши в густой перепадающий туман звуков.

Самое дальнее за эти годы: «Нувель Ревю Франсез» и «Комедия»: Марсель Арлян, Дрие и Полян — моя единственная связь с миром. Я без сроку в очередях по лавкам в кругу бешеных баб: добываем себе корм — все мы, я чувствую, не больше как запуганные голодные скоты.

И всякий раз, как мне уходить в тот другой мир — человеческий — не ближний конец, С. П. очень беспокоилась.

Незадолго до Пасхи, после большого перерыва, я собрался в свой дальний путь. И, как всегда, на прощанье крестя, она остановилась. И вдруг с необыкновенной силой, горячо и крепко и с какой-то едкой болью, точно отрывая живое, повторила, трижды крестя большим крестом, по-русски: «Христос с тобой!» И это было ее последнее мне в путь — ее последнее благословение и завет чистого сердца.

«Христос с тобой!» прозвучал голос, и мертвое лицо осветилось живым светом.

И тогда двери мертвецкой распахнулись, и на волю освобожденный я вышел: в глазах был не мертвый, живой образ и живой голос звучал последним напутствием на лад и путь — простор.

* * *

Этот голос я слышу и поутру и на ночь, в вечерний смутный час и среди бела дня вдруг. Или когда что начинать или в трудное раздумье. Я знаю, мой прощальный взгляд — его покроет этот материнский голос в последний путь.

ЗАДОРА

Задора-Довгелло



По отцу «Оля» — Серафима Павловна с Литвы, Довгелло. Герб Задора: «голова львова, сера космата с огненной пастью в поле блакитном».

Трокский воевода, староста Виленских замков, Явнуло — с него и начинается родословие — держал сторону Ягайлы в войне с Кейстутом; крестился в 1386 г. в Кракове, а до тех пор, как все литовцы, исповедывал веру друидическую кельтов. Память о нем хранит сооруженный в Вильне костел св. Михаила, имеется доска.

Сын Явнуллы Ян, литовский хорунжий, участвовал в войне Сигизмунда против Свидригайлы, отличился в битве под Вилькомиром и получил прозвище «Довгелес», что значит «великомогучий». От него фамилия Довгелло.

Брат Яна Довгелло Александр, кастелян виленский и гетман литовский, погребен в Виленском кафедральном костеле, в пределе св. Троицы, сооруженном его сыном.

Довгеллы держались своего литовского корени. Их родня Гедройцы, Гастольды, Нарбуты, Добжинские, Мицкевичи, Бошовские. А с веками (XV, XVI, XVII в.) украинизировались, породнясь с черниговскими соседями: Лизогубы, Скоропадские, Кочубеи, Василенки, Милорадовичи, Товстолесы, Отрады, Ковалевские. Говорили не на языке «смердов» — просторечии Шевченки, а на высоком книжном Памвы Берынды.

Родовая вотчина Довгелл, жалованная Ягелло, село Берестовец, Борзенского уезда Черниговской губернии. В соседстве с Батуриным, столицей левобережной Украины. Места, описанные Нарежным в «Бурсаке» и отчасти Гоголем в «Вии».

На селе старинный замок, по-восточному, с башнями. В одной из башен архив и библиотека.

Архив разнообразный, среди фамильных документов попадаются и сторонние — из Батуринского дворца. Королевские привилегии, царские грамоты, семейные письма, деловые бумаги: позовы, указы, формулярные списки, сговорные, судебные выписки, купчеи, квитанции, свидетельства, заменочные письма, объявления.

Библиотека — богатое книгохранилище, собранное поколениями. Книги польские и русские. Польские по латыни и по-польски.

Из старых польских: Нарушевич, Красицкий, Немцевич — о них поминает А. Бестужев-Марлинский в письме к матери из Полоцка 1821 г.: «учась по-польски, разрабатываю новую руду для русского языка».

Киевское цветоречие — «трубы словес»: Петр Могила, Захария Копыстинский, Кирилл Транквилион-Ставровецкий, Исайя Копинский, Лазарь Баранович, Иоаникий Голятовский и сам Памва Берында: «Лексикон словено-русский, Киев, 1627 г.» — тоже новая руда для русского языка — корень серебряной Гоголевской речи. (Проза Марлинского и Гоголя из польской памяти!).

Со временем книжная казна пополнится Новиковскими изданиями: «Древняя Российская Вифлиотека» для познания отечественной истории; и мистические книги для умудрения сердца: Яков Беме, Сведенборг, Сен-Мартен, Эккартсгаузен, Юнг Штиллинг, «Сионский Вестник» А. Ф. Лабзина. Один из Довгелл масон — его печать в особом ларце среди Берестовецких сокровищ: гетманской серебряной чаркой и поясом.

За Новиковым современники Пушкина. Издания Смирдина и сборники: «Северные цветы», «Полярная звезда», и журналы: «Северная пчела» Фаддея Булгарина и «Библиотека для чтения» Сенковского.

(Тоже новая руда: Сенковский учил польскому Марлинского, а Марлинский исправлял русское Сенковского, для которого легче было писать по-турецки, чем по-русски.)

Любопытен черный подбор: «Черная женщина» Н. Греча, «Черная курица» Погорельского, «Черный год» Полевого, «Черная немочь» Погодина, «Черные перчатки» Одоевского,

«Чернец» Козлова; потом добавят: «Черные маски» Леонида Андреева. А я бы еще подложил для «безобразия»: «Черный плащ и кинжал» Анны Крутильниковой — воображение Петербургского туриста И. А. Чернокнижникова (А. В. Дружинина).

Особое собрание книг духовных и по истории. Журналы. А все завершилось высокой беллетристикой: Толстой, Достоевский, Гоголь, Лесков, Мельников-Печерский, Тургенев, Гончаров, Писемский.

* * *

Книжная башня особенно памятна Оле. Вопреки запрету и всяким страхам, забегала она по трясущейся лестнице на самый верх — ее тянуло как на какой-то таинственный зов — затаившись, она просиживала часами, заворожена книжными переплетами, золотым тиснением корешков. А потом, когда научилась читать, за первою книгою.

* * *

В роду Довгелло значатся воеводы — Трокский замок принадлежит Довгеллам. Был и протопоп: Почийский (Погаевский), каноник Смоленский, Николай Довгелло, был и писарь (секретарь) канцлера литовского Кристопфа Паца — Станислав Довгелло.

По женской линии известна дочь Яна, первого с именем Довгелло, Баалла Довгелло (начала XV века), замужем за Гастольдом. Семейные предания наделили эту Бааллу всеми дарами волшебства и чарования: она последняя от друидов, литовский извод, религии кельтов. В хронике Страсбургского собора упоминается ясновидящая с Литвы: жила при соборе и пророчествовала).

Не оттого ли Серафима Павловна нигде себя не чувствовала «на своей земле», как только на Океане, в Бретани — на земле друидов. Оба мы полюбили Океан. Только у меня другое — мое подземное: Москва — на дне Океана.

За литовскими воеводами пойдут войсковые, бунчуковые и значковые товарищи Левобережной Украины. И только один не гарцующий на коне: штаб-лекарь Шостенского порохового завода — Николай Довгелло. Оля с гордостью выделяла его: доктора!

* * *

Павел Иванович Довгелло, отец Оли, Серафимы Павловны, и младший его брат Иван Иванович продолжали военную карьеру своих дедов. Оба участвовали в Севастопольской и во второй турецкой войне 1877—1878 г. Павел Иванович в чине генерал-майора вышел в отставку и поселился в своем Берестовце, а Иван остался в полку. Служил он на Кавказе. И оставил по себе память за смелость и необыкновенный азарт: в одну из пятигорских ночей он проиграл в карты родовой Трокский замок. Это был любимый дядя Оли: ни с кем не было ей так весело, как с ним — живой и море по колено. Умер он сравнительно молодым — «чахотка», небывалый случай в роду Довгелло.

В Воспоминаниях Н. И. Греча, «Записки о моей жизни», Academia, М-Л, 1936, есть меткие слова о декабристе Батенькове, их я могу повторить о Павле Ивановиче Довгелло:

«Он приобрел славу умного, знающего, полезного, но **беспокойного** человека, — титул даваемый всякому, кто не терпит дураков и мошенников».

Случай дополнит этот титул: Павел Иванович вздумал было отказаться от выкупных при освобождении крестьян и получил непререкаемое: «беспокойный и сумасшедший».

Хозяйство велось по-заведенному. Любил лошадей. Но, главное, башенное книгохранилище — книги отрывали его от хозяйства, семьи и соседей.

* * *

И когда я увижу, как Серафиму Павловну, втиснув на стул, потащут с лестницы, чтобы положить у дверей дома на носилки и везти в амбулянсе в госпиталь; когда я увижу перепуганное на смерть лицо, и как она кричала — «ее тащили шакалы на тот свет: там будет спокойнее!» — я вспомню рассказ ее о отце.

Скрученного веревками, отбивавшегося, тащили его из дому, чтобы на зеленом Берестовецком дворе положить на подводу и на любимых его лошадях везти за семьдесят пять верст в Чернигов в Заведение для умалишенных.

Говорили, от книг — «в книгах зашелся» и вообще «беспокойный». Но, судя по уцелевщим листкам его дневника, было и еще что-то. Или это «книжное» и «совестное», что мучило

его, упало на разлаженную, неусмиренную, бурную его душу? Его отец, дед Серафимы Павловны, зарезался в «меланхолиевом черном недуге» — душевная болезнь «черная немочь», от которой своею смертью помер кн. Д. И. Пожарский.

И в госпитале в единственное и последнее наше свидание — Серафима Павловна лежала необычно, навзничь с тяжелым торопливым дыханием и поворачивая глаза, глаза были мутные — она смотрела и не узнавала. В головах я заметил аппарат с кислородом, а в ногах — лед. Только одеялом покрытая, без рубашки, — я спросил: «не холодно ли?» — «Нет», сказала она, не открывая глаз. Наклонясь, я заглянул поближе и мне бросилось в глаза: под грудью йодом вымазано. Потом я узнал, что это не от уколов, а порезь— это когда тащили ее по лестнице и клали на носилки, чем-то ранили. Да и тогда, как привезли в госпиталь и положили на кровать, последнее, что я слышал стоя в дверях: она вскрикнула — ее начали обмывать перед осмотром доктора и верно дернули жестким по живому содранному.

И опять я вспоминаю ее отца. Когда «усмиренный» он вернулся домой из больницы, он людям, которые его вязали, показывал на руках и ногах рубцы от веревок — незажившие раны, и благодарил их — «потому что и у Христа были раны».

Из дневника Павла Ивановича Довгелло

31 Августа 1881 года. Был в церкви, стоял сзади всех опершись к стене. Заметил кто молится за царя: из панов и офицеров только двух — старик седой, который стоял впереди всех и одного офицера, родившегося в Борзне. Из простых: баб, стоящих сзади всех панов, одного у.-о., 3-х-4-х солдат. За офицера я помолился, чтоб Бог ему послал разум; усмотревшись в его лицо, прочитал доброту. За царя я помолился, а также и за всю царскую фамилию. Когда пели «Святейший Синод», явился вопрос, почему он «святейший?» Явился ответ: такой дом, и в нем заседающие не святые. А когда начал писать «дом святой», — так как его освящали. Затем явились еще несколько мыслей и пропали. Еще в церкви пришла мысль, познакомлюсь с офицером, и к концу приблизился к нему, но не успел в церкви сказать, догнал и сказал: «позвольте спросить вашу фамилию».

Сказал, что эта фамилия мне сродни может быть, — прочитал на лице неудовольствие. «Позвольте с вами познакомиться!» — «Очень рад». — «Вам некогда, так я после с вами поз.» Офицер побежал строить солдат, вышел и я заметил, что...

Дал совет Софии Николаевне молиться со слезами на глазах, она не заплакала. Какая-то мысль явилась и умерла. Опять мысль умерла. Драгун, семечки и две девки работали, развлекли. Мысли умерли. Встаю ходить. Волы сено крадут, а человек не позволяет. Пришел Лизогуб: «можно?» — говорит; стучит кто-то в фортку, смеюсь. Новая мысль умерла. «Не оживет аще не умрет». Мысли явились и умерли. Опять меня не понимают. В другой комнате Глушановский бурчит и смеется. Я его лаю часто в глаза, называю «лысый хвост». Когда пишу, то мысли одна другую гонит. Мысль: послать в «Неделю» все, что пишу. Сегодня умерла мысль. Для передачи фамилию забыл, думаю и никак не могу припомнить. Благодарить «Неделю» за то, что она меня сделала лучшим. Я это засчитаю в душе. Думаю, совсем мысль умерла. 13 лет кажется читаю «Неделю». Когда шел в церковь, то говорил с мужиками и советовал лавочникам не торговать. Они сейчас все закрыли и кажется, на меня не сердились. Комиссионеру, мною произведенному в этот чин из факторов в прошлом году, советовал ему, чтобы он присмотрел за этим... мысли умерли...

Ты, П. И., получивши письмо от своей сестры, писанное 29 генваря, рассердился за ее советы. За что ты рассердился? Разве ты не знаешь, разве тебя Господь наш Иисус Христос, а также Матерь Господа Нашего Иисуса Христа, до сих пор не уразумили? Стыдись, П. И., думать так, как ты думал. Проси Бога и Матерь Божию, чтобы они изгнали эти мысли, которые к тебе приходили, а помогали бы тебе делать, помышлять, говорить и писать, что им угодно, до конца жизни твоей. Ты знаешь, что люди часто делают по незнанию. Разве твоя сестра знает лучше твою жену, чем ты, и знает тебя? Вот тебя понимает, и ты ее, та женщина, которая того же числа, как писала к тебе сестра, говорила: «мне жаль покойного, Царство ему небесное, Савича, что он застрелился. Я была сама в таком положении, люди мне советовали, и то и другое, а не знали, что я хотела лишить себя

жизни». Тебе пишут: «отдай все жене своей энергической, тогда будешь счастлив», но ты знаешь, что счастье на этом свете — живая вера в Христа. Ведь тебе сестра советовала перестать и молиться Богу. Разве она понимала, что говорила? Ведь ей наговорили, вероятно, врачи, что ты, П. И., психически расстроен. Разве ты не знаешь, что врачи знают столько же психиатрию, сколько ты китайский язык. Правда ты знаешь китайского мудреца Конфуция, который до Р. Х. жил и уверял своих учеников, что придет с неба святой и всеведующий и получит всякую власть на небе и на земле. Ты знаешь и греческого мудреца Сократа, который счастья семейного, как и ты, не имел.

Но умер с надеждою и уверенностью в лучшую жизнь. Ты знаешь Сократа, ученика Платона, который признавал эту жизнь приготовлением к будущей жизни лучшей жизни, где наказывается зло и награждается добро, и ученика Платона, Аристотеля, который искал живого Бога, что видно из его слов: «еслиб были существа, которые бы в глубине земли жили в домах, украшенных статуями, картинами и всем, чем богатом изобилии люди владеют живущие роскошно, если бы потом эти существа узнали о господстве и могуществе богов и через открытые отверстия расселины вышли из своих сокровенных жилищ в места, где мы живем, и увидели сушу и море и свод небесный, посмотрели на солнце в его величии, по наступлении ночи увидели звездное небо, луну, восход и заход звезд: тогда они поистине сказали бы, что есть боги и что все это величие их дело...»

Ты знаешь, что Спаситель мира, которого ожидали и Персы и Индейцы, приходил на землю во плоти и, умирая на кресте, просил Отца Своего за своих врагов. Апостол Иаков, сброшенный в Иерусалиме с храма, настолько имел сил, что сказал: «Господи прости им, не ведают, что творят». Иван Гус, сожженный в Праге, просил о той женщине, которая подложила дровец под его костер. Ты, П. И., понимаешь, что зло делает и посылает такие мысли, какие к тебе пришли, враг рода человеческого. Нет, П. И., ты чаще молись Богу и Матери Божьей, чтобы они отгоняли эти злые мысли. Ведь ты знаешь, что есть люди, которые признают, что Бога нет и что с концом этой жизни, по их мнению, все для человека кончается, а потому будем есть, пить и веселиться; которые, изучив строение человека, прочитавши

Дарвина, Ренана, Страуса, Геккеля и Вольтера и им подобным, да науку Геологию, воображают, что они мудрецы и S. Разве ты не видишь, что они больше страдают, чем веселятся. «Горе миру от соблазнов, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит...» Скажите этим мудрецам, что есть чорт, — Дух Святый с нами!— Разве вам поверят, когда они не знают, не читали и не верят тому, если они и читали, что написано в Евангелии. Евангелие есть столбовая дорога, а они идут проселком. Но, Боже милостив, буди нам грешным! Вы соль земли, священники, а вас какая буря застигла, что вы, большинство, заблудили. Вы тоже только и думаете, чтобы хорошо есть, пить, по моде одеть своих жен и детей, а на себя надеть шелковую рясу с белой подкладкой, а на пасомых смотрите, как на своих рабов, как вы сбились с истинного пути! О! вы слепые, припомните Спасителя слова: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму...»

(О смерти отца С. П. узнала только через месяц, говорили, что «опять сошел с ума».)

Гетман

Со стороны матери «Оля» — Серафима Павловна гетманского роду: ее предок Иван Самойлович Гетман (1672-1687).

Умер Иван Самойлович в ссылке в Сибири. Его сын Григорий — у Пушкина — Украинский патриот:

«Что ж, гетман? юноши твердили,
Он изнемог: он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний, деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко
Иль Самойлович молодой,
Иль наш Палей, иль Гордеенко
Владели силой войсковой;
Тогда б в снегах чужбины дальной
Не погибали казаки,

И Малороссии печальной
Освобождались уж полки».

Семья гетмана из Сибири попала в Кострому. И там началась их новая жизнь.

Довгелло через матерей украинизировались, а Самойловичи на Костроме обрусели. (Один из Самойловичей, не знаю который, выставлен в романе Писемского «Люди сороковых годов».)

В Борзенском уезде земля гетмана Самойловича досталась Мазепе, уцелели только Прохоры, ближайшее к Берестовцу, Довгелл.

Марья Михайловна Самойлович по смерти мужа приехала из Костромы в Борзну вводиться во владение, привезла с собой и дочь. Произошла встреча соседей — Павел Иванович Довгелло женился на Александре Никитишне Самойлович. Земля соединила Довгелл и Самойловичей, они и в прошлом были соседи, и только время событиями заглушило, но не стерло память. А Марья Михайловна, любимая бабушка Оли, так и не вернулась в Кострому и осталась до конца жизни в Прохорах.

Брат Александры Никитишны, дядя, доктор в Нежине, там же и родовое Самойловичей — вотчина гетмана, от Берестовца не дальний конец.

Что Самойловичи, что Довгелло под стать рослые. Доктор Иван Никитич, на голову выше Шаляпина, а примерно с Кирилла Григорьева, сын художника, и у которого при себе невыемно свидетельство из Префектуры: «в метро не пущать».

Я встречал и двоюродного брата Серафимы Павловны, Андрея Самойловича: он не такой великан, как отец, но таким я вижу Пушкинского Григория — «иль Самойлович молодой»: эти темно-серые глаза, с длинными, как стрелы, ресницами и вдруг черные, чернее сорочинского дегтю.

Последняя Задора

У «Оли» — Серафимы Павловны была старая нянька, она и отца Оли выходила. От этой няньки Татьяны (Фатевны) с первых лет набралась Оля всяких вер и поверий и не только черниговских, а и киевских и полтавских: нянька все святые места обошла, не миновала и «заколдованные».

А тут еще и дивчата с песнями, колядками, и диды с думами, и ведьмы с ворожбой и заговорами — Берестовец ведьмами славился.

Мне посчастливилось, видел я этих Берестовецких ведьм — они все те же, как здесь у Океана в Бретани: далекие глаза — и глядят, глотая. Все те же приемы и те же сроки — часы и дни колдовства, а в заклинаниях ритм и одинаковое в словах.

Ведьм боятся, а зовут, когда аптекарские лекарства не помогают. Я не раз был свидетелем чудесных случаев с людьми и с животными как в Берестовце, так и в Бретани, да и слышал рассказы. Но говорят, бывает и «наоборот», и непременно укажут на какого-нибудь Хому, а тут на Пьера: «пропал!».

«Пропал, скажу за Гоголем, потому что забоялся».

«А если бы не боялся, ведьма ничего не могла бы с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет». (Вий).

Оля переняла от дивчат, дидов и ведьм простую речь Шевченки и с детства говорила, как черниговка словами черной земли, выросшими вместе с маками и мальвой в синюю украинскую ночь.

Серафима Павловна считала себя русской, объявиться «украинкой» — без Пушкина, Толстого и Достоевского, ей было бы и тесно и бедно. А, кроме того, она любила свою костромскую бабушку Марью Михайловну Самойлович, урожденную Ратькову, и с детства считала, что похожа на эту русскую бабушку.

Серафима Павловна была похожа на отца: литовская крепь, мужество и буря. С отцовской стороны от Задор ее открытость к тайновидению: вещие сны, предчувствия и чувство на расстоянии, когда совершающееся за глазами мысленно проходит как перед глазами — ясновидение Бааллы Довгелло.

От украинской бабушки Ковалевской, открывшей Оле «таинственного зайчика» — реальность ее веры без всяких туманных абстракций и словесно-беспутного Богословия — простая вера с гоголевскими «заколдованными местами» и «святой землей».

А от костромской любимой бабушки приветливость и хлебосольство.

А все вместе — да это и есть русское.

Но было и еще, с чем пришла она в мир, пусть как завершение — венец Задор, и тут совсем неважно — литовское, украинское или русское — это чистота ее помыслов — чистая мысль и глубокая память.

* * *

Год рождения Серафимы Павловны не могу сказать точно: 1880 или 1883.

Когда Серафима Павловна объявила, что выходит замуж, весь Берестовец поднялся против и чтобы помешать — наивные люди! — спрятали ее метрическое свидетельство. Серафима Павловна не свое, так старшей сестры своей взяла метрическое, и увезла с собой. А я подделал — это мне как раз по руке. И в Херсоне, где мы венчались, Всесвятский дьякон, цыганские глаза, а ничего не заметил — то ли я моими «подстриженными» отвел его цыганское, то ли мое «мошенническое искусство» затуманило?

Серафима Павловна родилась 4-го июля на Андрея Критского — гимнограф, известный своим каноном Марии Египетской, «Марьино стояние» — среда пятой недели Великого поста. Она появилась на свет на восходе горячего дынного солнца в Чернигове на Гончей улице. Из Чернигова перевезли ее в Берестовец в дедовский замок Задор под глаз головы львовой серой косматой с огненной пастью в поле блакитном и старой няньки Татьяны (Фатевны). А везли ее на любимых отцовских лошадях, правил кучер Алексей — ведьмак. Этот Алексей славился на весь Берестовец уменьем «засекать» — заблудишься среди бела дня, будешь у своего дома ходить, а дом пропал, не найти; умел и глаза отводить: в праздник соберет дивчат и только скажет: «берегись, вода!» — и те, как чумные, задерут подол, а в глазах вода все выше, по пояс дойдет, смех!

На пятом году началось ученье. Учительница, старшая дочь Берестовецкого батюшки отца Евтихия Бардоноса Марья Евтихиевна Лукашева.

В семь лет Черниговская гимназия. Окончила с золотой медалью и самовольно — ей исполнилось шестнадцать, боялись одну отпускать — тайком она уехала в Петербург и поступила на Бестужевские Высшие Женские Курсы.

И начинается самая счастливая ее жизнь: наука и «революция». Конец – окончание Курсов, одиннадцать месяцев одиночной тюрьмы, и ссылка три года в Вологодской губернии: Устьсысольск, Сольвычегодск, Вологда.

* * *

Профессора на историко-филологическом отделении Бестужевских Курсов: Н. И. Кареев, И. М. Гревс, А. Петров, Ил. А. Шляпкин, С. Ф. Платонов.

После ссылки она поступила в Петербургский Археологический Институт и окончила с дипломом «действительного члена Института».

Профессора Археологического Института: Н. В. Покровский, Н. Веселовский, Н. Каринский, Н. П. Лихачев, В. Майков, Н. Середонин, Гольдштейн («Польско-литовские древности»), А. Марков, Ил. А. Шляпкин.

У Шляпкина она начала заниматься историей русского языка. Война (1914) расстроила работу. С отрядом Евгениевской Общины сестрой милосердия Серафима Павловна поехала на фронт в Варшаву. В канун революции вернулась в Петербург. А в революцию помер профессор Шляпкин.

В годы военного коммунизма до Нэпа (1921 г.), она служила в библиотеке Наркоминдела (Министерство Иностранных Дел) и преподавала русский язык морякам II-го Берегового Отряда, бывшего II-го Гвардейского экипажа.

И как однажды своевольно уехала она из дому в Петербург, так и 5-го августа 1921 г. не спросясь и не сказавшись, она уехала из Петербурга заграницу.

* * *

Она прошла путь русской интеллигенции – явление единственное и едва ли понятное в Европе.

Революционность не от теории, не от «экономической необходимости» и не от страсти к авантюре, не из честолюбия.

Коля Красоткин у Достоевского:

«О если бы я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду».

В «Подростке» такое душевное расположение названо: «всемирным болением за всех».

Жандармский полковник Шмаков, который допрашивал ее, никак не мог понять, в чем дело и держал ее в тюрьме. А потом ссылка.

Прочитайте воспоминания В. Г. Короленко, сколько там примеров, да и сам был примером революционной интеллигенции. Но у кого «сердце» может быть, и зорко, но беззвучно, никогда не поймут и осудят.

После ссылки она отошла от «революции»: заниматься «революционными делами» что политикой, а это ремесло никак не ладится с «чистотою помыслов»: одна «конспирация» чего стоит, надо лгать, надо притворяться, без игры не обойдешься.

Корень «революционности» никогда не заглох в ней — «быть довольну, что есть» не такая душа. Она только не высказывалась, но я знаю, какая буря кипела в ее сердце.

* * *

В Париже она применила свои ученые знания — науку Ил. А. Шляпкина.

В Школе восточных языков (Ecole de langues orientales, 2 rue de Lille, Paris) с 1924—1939 при курсе русского языка (Буайе, потом Паскаль) она читала необязательный курс (Cours libre) по славяно-русской палеографии.

В хронике Школы Восточных языков отмечен случай с Н. И. Гречем. В 1817-м году Греч был в Париже. Профессор персидского языка Ланглэз (Langlés) предложил ему место профессора русского языка в Парижской Школе живых восточных языков, основано в 1795 г.

Русской палеографии тогда еще не существовало, но предполагаемый курс Греча был очень близок к «славяно-русской палеографии».

Задача курса была шире понятия о палеографии: палеография искусство читать древние рукописи, но в курс входило и изучение языка этих рукописей, как основы русской книжной речи. К вопросу «где» и «когда» (места и времени) присоединялось «что», «как» (язык и грамматика).

За пятнадцать лет много у нее было учеников: все ученые французы, а из русских верный — я.

Начал я мое ученье, еще когда она сама в Петербурге только что поступила в Археологический Институт. И до последнего

года ее жизни я спрашивал ее. Ученик и есть тот, кто спрашивает.

Она выбрала себе церковно-славянскую высокую книжную речь, завершенную собранием Макария, а я, под ее руководством, дьячью приказную, прослоенную разговорным просторечием.

В примечании к «Наталье боярской дочери» (1792 г.) Карамзин говорит, что тогдашнего языка (XVII в.) мы не могли бы теперь понимать.

То-то и оно-то, что не так оно. И кто такое «мы»?

Русская грамотная тарабарщина и писатели — русскими буквами на неизвестном или на «смешении».

Вот что я понял, сорок лет учась русской грамоте: в школах начинать с образцов приказного языка XVI—XVII в. — указы, грамоты, судные дела; усвоив русские лады — они не Карамзинские, не Пушкинские, перейти к церковно-славянскому и памятникам «Древней русской литературы».

По себе скажу: зачем мучить детей аористами, и двойственным числом — грамматической вязью до обалдения.

Главные пособия — книги: А. И. Соболевского, И. А. Шляпкина, Е. Ф. Карского, В. Н. Щепкина, И. Срезневского, И. В. Ягича, Ф. И. Буслаева, Н. М. Каринского, П. А. Лаврова, И. Ф. Колесникова, И. С. Беляева, В. В. Майкова, Н. К. Грунского, Н. П. Лихачева.

Одаренная необыкновенной памятью, она без книг читала из древних памятников русской письменности XI—XVII века, отчетливо, ясно и со всем спокойствием уверенности, никогда не фальшивя в интонации. Голос звучал виолончелью, увлекая внимание, и легко проникали в память слушателей слова. Чтение без книги очаровывало. А ясность глаз и улыбка — светили живым светом и освещали древний текст.

Последнее ее выступление на открытом заседании в Обществе Друзей Русской Книги о русских рукописных книгах, всем памятно.

«Рад бысть заяц, изринувшыся от тенета, а рыба от сети, а птица от клепца, а должник от резоимца, а холоп от господаря, так рад бысть писец достигши в книзе остаточного слова пролога сего и последний строки видючи, яко святого воскресения».

Да помяну имена трудившихся над русскими древними письменами и научивших нас искусству чтения; имена историков, исследователей и собирателей; имена, повторяемые среди многолетних занятий — спутников мысли и руководителей:

Оленин
Ермолаев
Калайдович
Митрополит Евгений
Востоков
Солнцев
Тромонин
Строев
Кочановский
Надеждин
Погодин
Бодянский
Шевырев
Буслаев
Горский
Невоструев
Ягич
Срезневский
Прозоровский
Соболевский
Пыпин
Тихонравов
Шахматов

* * *

«Рад бысть корабль, переплывши пучину морскую, также и писец книгу свою. Аминь».

Черная немочь
Из Берестовецкого архива Довгелло

Я ничего не знаю о судьбе Берестовецкого Архива: погиб он с книгами в революцию от пожара или растащили? То, что случайно было в наших руках, хранится в Москве в Румянцевском музее, переплетено в книгу, но это не королевские и царские

грамоты, те из Берестовца не выходили, а всякие копии; конечно, для археолога нет вещей незначительных, но все-таки, документы второстепенные.

Кое-что удалось списать еще в мирное время и вот довезти до Парижа. Из большого собрания писем всего одиннадцать, да и то одно без начала, и несколько листков из дневника П. И. Довгелло, отца С. П-ны. Только мне кажется, что это совсем неважно — 100 или 11: ведь другой раз по одной случайной строчке можно судить обо всем в «живой» жизни.

Первые два письма деда С. П-ны Ивана Михайловича Довгелло (Борзенский Земский Исправник), из Борзны в Петербург старшему сыну Афанасию (1842). Аф. Ив. окончил в Нежине «Гимназию Высших Наук» (Нежинский Институт) и поступил в Петербургское Губернское Правление под начальство гр. Шереметьева. Тогда мода была на «малороссиан»: голос Гоголя с черной земли покрыл все голоса. И из родственников — Гр. Еф. Ковалевский и из соседей — Кочубей, Лишки служили в Петербурге.

3-е и 4-е — тоже в Петербург Аф. Ив. Довгелло о болезни Ивана Михайловича, деда С. П-ны, 1843. Письмо Анны Ефимовны Довгелло (Ковалевской), бабушки С. П-ны, с описанием «скорби душевной» Ивана Михайловича. Ее письмо С. П. часто читала докторам, говоря, что у нее та же болезнь — «которую выпользовать не можно». Упоминаемый «благодетель» — петербургский доктор Емельян Федорович Кленус, был когда-то доктором в Прохорах, там его брат, Моисей Федорович. (Прохоры — соседнее с Берестовцом Самойловичей, где жила любимая бабушка Марья Михайловна). И письмо старшей тетки С. П-ны Марьи Ивановны Довгелло (потом замужем за Федором Степановичем Отрадой) о «папенькиной болезни» и как его «потаскали насильно» из Берестовца в Борзну, 15 верст. Иван Михайлович вскоре, — в мае 1843 г. в припадке «черной меланхолии» зарезался. Какое совпадение в сроках: через сто лет, в мае же 13-го уйдет из жизни внучка — Серафима Павловна — единственная из всей семьи не в Ковалевских и не в Самойловичей, а в род Довгелло.

5-е письмо, 1842 г. Аф. Ив. Довгелло отцу (без начала) из Петербурга, с «дачи». Судьба Аф. Ив. (1821—1845), как и приятеля его и сослуживца Сахновского (имение в Седневе), оба,

полюбив Питер, не выдержали «петербургского климата»: ранняя смерть от плеврита после воспаления легких; «малороссияне», избалованные черноземной благодатью «милой родины» постоянно простужались и сгорали.

6-ое письмо Ивана Ивановича Довгелло, «отчаянного» любимого дяди С. П-ы, к матери Анне Ефимовне, Чернигов, 1848 г. И Павел Иванович, отец С. П-ы и этот дядя, он младше П. И-ча, учился в Черниговской гимназии. Ив. Ив. был первый ученик во всей гимназии, а на выпускной экзамен не пошел: «надоело» или как сам он выражается: «кончать не думаю» — «лихорадка в тот день и перед тем за день». Оба брата поступили на военную службу в стрелковый батальон в полк принца Карла Прусского, в Гомеле. Оба участвовали и в Севастопольской (1855—1856) и во 2-ой Турецкой войне (1877—1878). П. Ив. вышел в отставку, а Ив. Ив. продолжал службу, служил на Кавказе, большой «игрок» и роковой человек, не один раз был разжалован, но своей смелостью подлинно «города брал», и всегда восстановляли, а умер от «скоротечной» чахотки в Пятигорске.

У отца С. П-ы все пошло в «созерцание» и в «вопросы», а у Ив. Ив-а в какую-то призрачную жизнь «приключений», и у обоих не было того, что называется «житейской практичностью», зацепки за жизнь.

7-ое письмо, 1841 г. в Петербург Афанасию Ив. Довгелло от «дружка» его Отрады о смерти своего брата Прокофия. Стиль и настроение очень характерные для 40-х годов. Упоминаемый дядя — Отрада, «затеявший» жениться, вошел в Борзенскую хронику. Этот Отрада вроде Мазепы, только будет постарше: Марии 15 лет, а ему 85. Мария померла от родов, а вскоре и сам помер «случайно»: затеял снова жениться, ехал смотреть невесту, понесли лошади, ударился виском о камень и дух вон. По силе и отваге его имя в Борзенских преданиях поминалось рядом с войсковым товарищем, Малороссийского Нежинского полку, Михаилом Григорьевичем Довгелло, прадедом С. П-ы, который руками «задушил бешенного волка».

8-ое письмо, 1842 г. в Петербург, Афанасию Ив. Довгелло пишет дядя Леонтий Ефимович Ковалевский, поздравляет с поступлением на службу. Все Ковалевские и сам «дедушка» Ефим Иваныч и его дети Григорий, Иван, Леонтий и Евлампий славились «витийством» и в письме и в речи; все приветственные

слова в торжественных случаях произносились Ковалевскими и не только в Борзне, но по вызову и в Чернигове и в Нежине.

9-ое письмо, 1857 г. Наталье Ивановне Василенко (Довгелло), младшей тетке С. П-ы, Евлампий Еф. Ковалевский живописует Борзенский бал у Петрункевичей.

10-ое письмо, 1842 г. Записка Варвары Головниной (Головни) сыну Федору Васильевичу Головне о Наташе и Наташурочке, их дочери.

И **11-ое**, 1862 г. из Гомеля (Гомля) Димитрия Федоровича Головни сестре «Наташурочке». Вот мечты человека, хватающегося за соломинку, с неизменным припевом: «может даст Бог».

1.
Письмо И. М. Довгелло сыну Афанасию

23 III 1842

Любезнейший сын Афанасий Иванович!

Я думаю, и последнее мое письмо ты уже получил: от 7 марта я послал простое, а 10-го марта с деньгами — 15 руб. серебром; третье же от 17 марта, которое, если будешь читать сии строки, то так же, я полагаю, ты уже будешь иметь его в получении. Письмо г. Шереметьеву я посылаю вместе с сим по почте, потому что я рассудил, что не кстати через твои руки посылать, а лучше как он с почты получит, и ты как бы о сем ничего не знаешь, и не подавай того виду, что я к нему о тебе писал, он, может быть, сам что-нибудь скажет об этом. Начало моего письма к Его Превосходительству, так: «Не нахожу слов выразить мою радость и чувства глубочайшей моей благодарности и признательности к Вашему Превосходительству, за оказанное юному сыну моему Афанасию Довкгеле благодеяние принятием его на службу в С. Петербургское Губернское правление!» (и так далее писал о тебе), с коего при свободе могу прислать копию. О чине и дворянстве я еще ничего не упоминал, ибо на это будет еще время. Ты и товарищам твоим в Губернском правлении не говори, что я пишу о тебе к таким лицам. Весьма худо, если ты не раздал писем и посылок, об этом часто меня спрашивают. Белозерская получила письмо от Вик. Мих., но он ничего о том письме, что через тебя писал, не упоминает. Нехорошо, если ты не сблизился с Виктором Михайло-

вичем, он, кажется, хороший малый! О сем беспокоится и Николай Данилович. В письмах своих ко мне ты не соблюдай церемоний и не извиняйся, что ты на лоскуте пишешь, а пиши, как хочешь, и на какой угодно бумаге. Не хочешь ли квартировать в доме г. Торнивского? Я на сих днях к нему еду, по собственному его интересу, и надеюсь, что он позволит тебе. Не случилось ли тебе видеться с Ляшками. Нужно бы познакомиться, один из них служит, кажется, в Герольдии — меньший. Каково ты понимаешь службу, кажется, грамота сия для тебя еще темна. Старайся, чтобы на первых порах не назвали начальники твои ленивцем и рассеянным человеком. При свободном только времени можно быть где-нибудь в публичных собраниях, а впротчем надо знать службу. Часто ли видишь г. Шереметьева. Ты ничего не говоришь о жене Емельяна Федоровича, добрая ли она и сколько у них детей? Когда переименуют тебя в чинишку, то извести, может, нужно будет деньги за чин. Я думаю жалование в Губернском Правлении дают помесячно. Ты о дружке своем Отраде все молчишь.

Остаюсь истинно любящий тебя отец твой

Иван Довкгеля.

23 марта 1842

Борзна

Старайся практиковаться во французском языке. Это на будущее время понадобится. Мне кажется, в Питере удобно.

2.
Письмо И. М. Довгелло сыну Афанасию

Его Благородию Афанасию Ивановичу Довкгеле. В С. Петербург. Служащему в тамошнем Губернском Правлении.

Борзна. Августа 21 1842 г. Получено 1842 авг. 23.

Любезный сын Афанасий!

Я, писавший тебе в прежнем письме о своем бытье, позабыл спросить тебя, рассчитался ли ты с добрейшим Емельяном Федоровичем за лекарства, забранные тобой во время болезни, о чем ты ко мне отзывался, как я помню, во время своей и моей болезни? А по сему при первом отправлении письма непременно извести меня, ибо я в этом сомневаюсь, потому что супруга его во всех прежде письмах к родным, посылаемых в Прохоры, упоминала о тебе, что бываешь у них часто, чем они довольны, и весьма с хорошей стороны о тебе отзывалась, а теперь в не-

скольких письмах уже нисколько, как Моисей Федорович мне сказал, не упоминает, из сего заключаю, что, вероятно, ты забываешь добро и не благодарил доброму человеку. А может, я ошибаюсь, и потому выведи меня из сомнения, пожалуйста, бывай чаще у них (и если находишь), да не худо бы тебе и у г. Шереметьева во время праздников с визитами бывать. Впротчем, как лучше, сам разум маешь, рассуждай. Теперь мы в Борзне на именинах у Дедушки твоего. Здесь и Иван Ефимович, приехал на 10 дней в отпуск. Он тебе кланяется, зажалеет, что Григорий Ефимович ничего не пишет.

Остаюсь любящий тебя отец твой Довкгело.

21 августа 1842

Борзна.

Я теперь ликую дома, но приехал на самое короткое время, именно на 10 дней. Радовался, что вы служите хорошо, дай Бог, чтобы лучше и лучше. Вы этим благополучием укрепите сдоровье родителей своих и всем нам доставите дорогую честь.

Если изберете свободную минуту, то уделите для преданного вам, адресуя в Б. Успешь.

Слуга покорнейший и дядя

Иван Е. Ковалевский.

21 августа 1842 г.

г. Борзна.

3.
Письмо А. Е. Довгелло сыну Афанасию

Милый и любезный сын мой Афанасий Иванович!

Слава Богу, Господь хоть немного обрадовал нас: папенька твой после долговременной болезни 16-го апреля, по прозьбе нашей и всех родственников и приятелей наших выехал в Борзну, вступил в должность и окончил все нужные дела. Но горе, что болезнь его не кончилась, и не совершенно еще здоров. Болезнь его непостижима: он всегда печален, задумчив, не любит не с кем ничего говорить, негде бывать, некого к себе принимать, говорит, что для его нет ничего милого и занимательного; и всегда всем говорит, что для его жизнь несносна, его всякая малость беспокоит и тревожит, он очень мало спит, апетит имеет умеренной, не чувствует не какой боли, не какой слабости, всегда всем говорит, что он здоров. Вот я тебе и описала в точности его несчастную болезнь.

Милой мой сын, если будешь у доброго благодетеля нашего Емилияна Федоровича, то расскажи папенькину болезнь и спроси у его совета, что делать; может быть, он и за глаза отгадае его болезнь. Наши же доктора отказались пользувать, сказали, что «его время выпользует, у его болезнь и скорбь душевная, которой нам выпользовать не можно». Я же, благодаря Бога, здорова, с твердостью духа переношу все несчастия и уповаю на милосердие Божие, желаю тебе всех благ, остаюсь усердная мать твоя Анна Довкгелина. Братцы и сестры здорови, кланяются тебе.

IV 1842 г.

Я надеюсь, что бомаги получены о братьях, то пожалуйста, Афанасий, приложи и свои старания и прозьбы Кочубею, о принятии братьев твоих куда-нибудь.

4.
Письмо М. И. Довгелло брату

Неоценный братец и друг мой
Афанасий Иванович!

Поздравляю вас с прошедшим праздником Христовым Воскресением, каково вы его провели, весело или нет, скажите нам? А я знаю, что большую часть в слезах проводила, разумеется, я много согрешила перед Богом, потому что все Христиане, которые имеют скорбь и печаль, то должны оставить с бодрим духом, и надеятся на милость Божию. Но что-ж делать, когда я ево не имею. Теперь скажу вам, что папеньку прозьбою не могли уговорить, чтобы ехать в Борзну, то его просто **потаскали насыльно**, и прямо в церков, привели к присяге на чин, с церквы же, не сказав некому не слова, пошел в суд. Ето было нада выдеть стену ету, как его встретили все служащие, нельзя было без слез от радости смотреть, что как ему весь народ рад. Разумеется, нада вам правду сказать, что он не может и до сих пор не каких дел предпринять, потому что страшно расстроен мыслями, но все и тому ради, что хоть подписывае, может быть, какое-нибудь развлечение будет иметь, чтоб не так задумивавсь. Кочубею письмо написано об обеих братьях, только не папенька, а Мизка употребыл свою красноречивость, а папеньку только могли упросить подписаться, да и нельзя его было етим и втруждать, потому что он вовсе не мог ему писать. Молчание к вам его было в том, что он не только не мог писать, но даже и говорить не мог. А он на вас не сердится. Не может без слез

вас вспомнить, и все рассказывае, что он обыдил вас и нас, и мы его не можем уговорить. Что какая тут обыда, ето больше ничто, как болезнь наделала, и только еще скажу вам, что и з Мизкой дела кончили, заплатили ему деньги и взяли крепость. Бог с ним и только, мы через его, кажется, целый век будем страдать. Пишу вам о Паше и о Ване, что оне довольно порядочно учатся, ввособенности Иваня, во всем 1-ом класе — 1-ой ученик и старши, носыт петлички и всеми начальниками любим. Наташа целуе вас, Миша ходит и говорит. Я и сие письмо с добрейшим Федором Степановичем пишу к вам, зделайте милость, пишите ему и поблагодарите ему за его доброе расположение к нам. Мы уже не находим средств вознаградить, сколько он помогал и помогает во всех наших бедствыях, мы етим людям просто обязаны много и премного, разумеется, не могу вам высказать на письме. Вот еще представте мою жалость, я думаю вы и сами удиваялись, что вернейший случай был через г. Гореславского передать что-нибудь, но клянусь вам, что не знала о его выезде в Пет. И так мои вещи остались до выезда Григоровыча А. Пав., то мне еще время осталось сработать что-нибудь, и пришлю вам с душевною радостею, **желала б и душу переслать, но не в сылах**. Но я бы довольно была и тем, когда бы хто-нибудь передал мои мысли и чувства к вам, а я уже не всылах. Теперь прощайте, желаю вам быть веселим, здоровым и всего лучшого на свете счастия, остаюсь любящая вас и несчасная во всех отношениях сестра

Мария Довкгело

Вы меня спрашивали, не забылали я етими временами играть, но отгадали, я много было забыла, но на это есть ноты! — и еще к тому и папенька не любыт теперь слушать. А скажу вам, что если б еще не фортепиано, мне то можно просто пропасть, а то, если стеснит мою душу, то сажусь сейчас играть и почуствую облегчение, когда союдут слöзы.

Дедушка ужасно беспокоится о Григории Ефимовиче, что он не пише ничего, говорит, что его верно нет на свете, то напишите хоть нам об нем.

Если к вам придет Петербургская жителька с письмом, то не сумневайтесь, что будет письмо от маменьки, точна она у нас была, с Киева зашла, маменька взяла и написала несколько слов к вам.

IV 1842

5.
Из письма А. И. Довгелло к отцу

Я теперь живу на даче в тишине, в уединении, после оглушительного шуму, который для меня был без привычки нестерпим, от экипажей, которых в час без числа проедет по улице; здесь же редко слышен этот шум, тем более, что улицы не вымощены камнем; часто сравниваю теперешнее состояние с тем, как жил на милой родине. Тут везде деревянные домики с садами, который и у меня есть, в нем «философская» беседка, где и читаю книги, и наслаждаюсь пением птиц; май у нас такой же очаровательный, как и у вас: деревья распустились, цветы зацвели — благоухание всеобщее. Ночи здешние прелестны! теперь, например, 2-ой час ночи и так уж светло, что можно читать книгу, а далее совсем не будет ночей, ибо вечерняя заря сливается с утренней и от того такой свет. К сожалению, я разлучился с прежними товарищами от того, что не успели отыскать удобной для всех квартиры, впрочем, не на долго. Сахновский бедняга с февраля месяца болен; для него здешний климат, по словам докторов, вреден. Вот уже при мне 3-ю болезнь переносит и, кажется, покинет меня. Разлука с ним будет для меня убийственна. Теперь же я квартирую с Завадовским. Вижусь часто с моими знакомыми. Признаться, мне было бы трудно расставаться с Питером; я к нему привык и полюбил. Гр. Ефимович, слава Богу, здоров и благополучен во всем, хотя я и боялся за него. О Кленусе решительно определенно ничего не знаю, ибо он 3-ий месяц не виделся со мною.

Вас почитающий сын
А. ДОВКГЕЛО
V 1842

6.
Письмо И. И. Довгелло матери

24 V 1848

Любезнейшая маменька!

Давно бы нужно писать к вам, но и до сих пор не имел случая; теперь же пишу через Федора Степановича. Он говорил мне, что вы беспокоились о Паше, и не знали, где он обитает, то я вам скажу, что он отправился в Гомель безденежно, т. е. бывши на станции в Чернигове, познакомился с одним офицером,

который взял его до Гомля на своих прогонах, потому что он ехал по казенной надобности. По приезде в Гомель, Паша находился в критических обстоятельствах, потому что не позволяли держать экзамен и говорили, что он опоздал, но когда приехал Дараган, который был тогда в Киеве, то сейчас ему позволили держать экзамен, и через 2 дня выдержал, и поступил в **Стрелковый батальон**, а прикомандирован в **полк Принца Карла Прусского**. Паша прислал мне, через Соколовского, который виделся с ним в Гомле, подушку, программу и выписки, нужные в военную службу, и пысал, что если я хочу поступить в полк, то чтобы как можно скорее определялся и чтобы успел поступить, державши экзамен, а на вызов невыгодно ехать. Теперь вызов есть в Варшаву без экзамена в третий корпус, не угодно ли Вам будет, чтобы я отправился туда, то только стоит приехать вам уволить меня из Гимназии, так и отправлюсь, а если не угодно, так отправьте держать экзамен в Киев, ибо я уже давно готов. В Гимназии держать экзамена я не буду: во-первых, потому что я, как и вам известно, **кончать не думаю**, а во-вторых, что на первый экз. хотел итти, но посетила лихорадка в тот день и перед тем за день.

Я вам написал все, что следовало, не утаивал и что говорил уже; теперь как угодно распоряжайтесь со мною.

Теперь вам остается прислать за мною скорее или же сами приедете и уволите меня из Гимназии, а не то я буду гулять в Чернигове, напрасно деньги терять.

Желаю вам быть здоровой.

Остаюсь ваш любящий сын

И. Довкгело

24 майя 1848 года

Чернигов

Сегодня я ходил нарочно в Батальонную канцелярию узнать, есть ли вызов в Варшаву, то есть, лишь бы только хотел, то последует, не медлите, ибо я не дождусь, кажется.

7.
Письмо Отрады Аф. И. Довгелло

16 дек. 1841

Брат Афанасий! тяжелы мои теперь мечты и я не знаю, с чего начать тебе письмо. Каждую почту я хочу, чтоб подробно описать смерть Прокофия после того письма, которое я тебе

послал сейчас, приехавши домой; но не писал, потому чтоб не раздражать тебя еще более; но теперь решился писать к тебе и вместе к Ильи и Андронику, к трем моим искренним друзьям, которые у меня, после родного семейства первые на сердце (это не я пишу, но говорит мое сердце без всякой подлой и проклятой лести).

Поверишь ли, Афанасий, как мне трудно писать к тебе это письмо: после письма к Ильи мысли у меня совершенно смешались и я не знаю, каким образом начать к тебе описание смерти брата Прокофия. Я только то скажу, что до этих пор я считал все мои планы, а также и других, действительными; но как ошибся, я теперь только начал считать все планы человеческие ничтожные, и что один только Всевышний, Который Один, что захочет, то и совершит. Вообрази себе, когда Петр и Прок. выезжали из дому в Керчь, то все мы и родственники прощались с Петром, как при последнем прощании, но с Прокофием так, как будто бы скоро увидимся опять.

Посудите теперь, что значит предположения человеческие — ничто, ибо Богу угодно так было, чтобы Прокофий не виделся с родными. Из всех нас только..... виделись с Прокофием после этого прощания. После нашей разлуки я был у дяди, и после все мы опять к нему поехали: ибо он затеял жениться. Я был на свадьбе весел только один день; на другой же день там было мне скучно, что я почти ни к кому не говорил ни слова; но ввечеру сознался одному приятелю, что верно будет какое-либо несчастие, что я имею какое-либо предчувствие, и действительно, в этот день Прокофия привезла одна наша родственница в Кременчуг, ибо Прок., бывши еще у нас, был крепко болен. Не помню, сколько дней были мы у дяди, но когда поехали домой, то на дороге встретили нарочного от родственницы и Прокофия, который пишет, что болен он и просит, чтобы мы приехали. Мы тогда же приехали домой на обед и я с отцом через час поехали а Кременчуг; на другой день к обеду мы были там и видели Прок., который очень нам обрадовался. Мы были там 2 с лишним недели. Прок. был сначала болен, как я уже сказал, прежде крымскою желчною лихорадкою (разлитие желчи по всему телу), а после болезнь эта перешла в горячку такую же, которая усиливалась, но после сделался перелом и даже доктор поздравил его с выздоровлением. Как ничтожна мудрость человече-

ская и предположения перед Всевышним, Который всем руководствует! против 21 числа Прокофию сделалось хуже и хуже, пульс начал слабеть, а руки холодеть.

Отрада.

8.
Письмо Л. Еф. Ковалевского Аф. И. Довгелло

23 III 1842

Любезнейший племянник. Поздравляю вас с окончательным определением на службу; но желаю душевно, чтоб последовала перемена на лучшее место. Кланяйтесь брату Гр. Еф. и объявите ему, что я не сердит на него. Конечно, мне было больно разлучаться, не простившись; но узнав, что люб. Григорий Еф. уже определен к службе, не чувствую теперь скорбы за радость, а молю Господа низпослать, как ему и вам, силы к понесению возложенного на вас бремени. Порадуйте когда, мой милый! вашими отзывами. Григорию Еф. скажите, что я ожидаю особо письма от него, я скучаю и хочу беседовать с вами, дрожайшими, хоть заочно. Вас любящий и искренно желающий вам полезных благ

Леонтий Ковалевский.

9.
Письмо Ев. Еф. Ковалевского Наталье Ив. Головне (Довгелло)

Борзна, Ноября 4-го 1857

Письмо твое, милый Друг, Наталья, от 14-го числа я получил только 31 октября, на которое и отвечаю немедля. Ты пишешь, Душа моя, что ты скучаешь без нас, и что мы тебя забыли, — не пишем долго на твое письмо. На это скажу тебе следующее: забыть тебя мы никогда не забывали, потому что любим, как родную дочь, а не писали долго потому, что тьѳтка твоя почти все это время была больна да и теперь не совсем здорова, а я, как ты сама знаешь, постоянно в работе — в особенности осенью с утра и до вечера в занятиях, не только не достает времени на переписку, но некогда подумать и о домашних делах. Теперь мы все слава Богу здоровы, исключая жены, которая ужасно кашляет, она простудилась у Петрункевича на балу 29-го сентября и с

тех пор никак не поправится, жаль очень нам, что тебя не было на этом бале, у нас подобные праздники очень редки. Представь себе дом Петрункевича ввесь иллюминованный в прекрасную тихую погоду и оба двора тоже иллюминованы, на пруде устроены были пловучие семейные вензелями Веры и мужа ее Николая, ввесь пруд в плошках а на середине пруда устроен был подвижной сад, к которому проведена алея великолепно освещенная, и при этом фейверки, вензеля, горящие ракеты и всякого рода штуки при отличной музыке графа Кошелева-Безбородко! Гости постоянно то танцуют, то выходят на балкон любоваться великолепнейшей картиной, тут же на бале были артисты-музыканты и певцы, которые также восхищали публику съехавшуюся с трех губерний, словом сказать, бал Петрункевича был таков, что Борзна еще не видела и воспоминание о нем останется надолго. К этому балу хозяин приготовлялся целый месяц и дамы шили платья и разные разности за два месяца, а потому можешь вообразить, как были костюмы свежи и изящны. Ольховский не смел и рта розинуть при других певцах, и потому был слушателем, — кстати об Ольховском, он 10-го октября, в день моего Ангела в числе прочих посетителей познакомился с одной нашей знакомой девицей из Остра Варварой Солониновай, внучкой Яшновых, воспитанницей Полтавского Института, и как бы ты думала. Влюбился до безумия, через неделю знакомства просил ее руки и получил согласие, теперь он жених обрученый и подал уже рапорт о дозволении жениться, свадьба будет после Филиповки.

Федору Николаевичу и Анне Васильевне наше усерднейшее почтение, сестрице поцелуй за меня ручку

Евлампий Ковалевский

10.
Письмо В. Головни сыну Федору Николаевичу Головне

Мой друг Федюшенька!

Пошли эту посылку, не замедли, Наташеньке. Но слава Богу, что я услишила, что вы доехали благополучно и живи и здорови, но я все время томилась душею об тебе и об Наташи, что ты нездоров и Наташурочка и..... мальчик, и человека моего не узнали тогда, когда мы и согласились, чтобы узнать. Как вы ви-

ехали, то я, как сумашедшая зделалась, плакала и беспокоилась об вас.

Остаюсь по гроб мой
мать твоя
Варвара Головнина.
1845

11.
Письмо Д. Ф. Головни сестре Наталье

Гомель 22 Августа 1862 года

Милая сестра Наташа!

Не воображай и не думай так, что об тебе никто не заботится, отец, может быть, но я очень забочусь об твоей участи, но при всем моем желании я никак не мог ее улучшить; я въполне уверен, что ежели бы ты могла знать и мое положение, то наверное не позавидывала бы ему, и всему причиною, как мне, так и тебе, долги, в которые мы было влезли. Но вот, даст Бог, и наши дела поправятся: когда продадим лес, то я думаю взять тебя и уехать в Киев, где я думаю поискать себе какой-нибудь службы, и когда я, может, даст Бог, отыщу какое-нибудь местечко, тогда мы с тобою, нанявши скромную квартирку, поселимся и будим жить, как будут позволять обстоятельства, то-есть скромно, чтобы не делать долгов. Наши же обстоятельства тогда, даст Бог, улучшаться, потому что мы с тобой после утвержения грамоты будем получать оброку рублей семьсот, следовательно, живя скромно, мы будем могти прожить и в Киеве. А при этом я, может быть, даст Бог, найду местечко, которое будет приносить хотя то, что мы должны будем платить за квартиру, но я впрочем почти уверен, что найду там себе место для службы, следовательно семьсот рублей нам будет достаточно для того, чтобы одеться и прожить скромно, но прилично. Я не писал тебе еще, что Юзик Климович в Киеве и служит в Канцелярии Военного Генерал-Губернатора и выписывает меня, обещая найти там какое-нибудь место для меня, и вот нам будет на первый раз знакомый и он познакомит меня там с своими родственниками, которые живут хорошо и имеют вес в обществе. Итак потерпи уже немного, мы ожидаем Мусмана для окончательного размежевания для (утверждения) составления грамоты, после утверждения которой я продам лес и, сказавши сбор-

щику, чтобы он высылал следуемый нам оброк в Киев, поспешу выбраться из этого противного Гомеля, и там, забравши тебя, заберемся в Киев, а в Гомле о нас и слух простынет, а в Киеве, может, даст Бог, тебе скорее найдется порядочный женишек (для тебя).

Эти деньги, которые мы возьмем за лес, пойдут на первое обзаведение в Киеве и на гардероб (поверь, что мы щегольнем там не хуже других киевлян), итак, повторяю тебе, потерпи уже месяца полтора, а может быть, и меньше, потому что, не составивши грамоты, никак нельзя мне выехать, потому что, как тебе известно, папенька мало заботится о нас, а когда мы выедем в Киев, то он будет, пожалуй, высылать нам половину следуемого оброка. А когда утвердится грамота, тогда прикажиться сборщику высылать оброк каждому, сколько будет следовать, и тогда уже сборщик не даст папеньке более того, сколько будет следовать, а нам будет высылать в Киев. Итак ожидай меня не позже того срока, который я тебе назначил, и затем пожелав тебе быть здоровой, остаюсь любящий тебя брат твой

Дмитрий Головня.

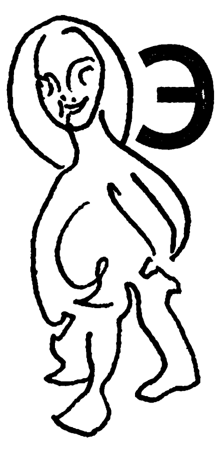
P. S. Новостей о Гомле нет никаких. Кланяйся от меня дяди и его семейству, извини, что теперь ничего не посылаю, но ей-ей не получал еще ни копейки.

ПРИЛОЖЕНИЕ



НАТАША
1904–1943
Новый человек
Из книги «Сквозь огонь скорбей»

Paris 1928



Этот документ я храню, как память: все было так неожиданно, а главное «несправедливо». Оба мы вне всяких условностей и вся наша жизнь «наперекор». «Новый человек» ломится в открытую дверь.

[Любовь оказалась некрепкой, вскоре после рождения ребенка она разошлась со своим мужем.]

«Постараюсь дать исчерпывающие ответы на все, что вас интересует. Мне кажется, что не писала я потому, что когда в жизни происходит что-нибудь важное, писать об этом нельзя; по-моему, даже кощунственно писать о том, что как раз в ту минуту важно и не пережить. Вот почему я не писала вообще никому.

В жизни бывает три рода браков: первый, когда девушка или женщина, это самый простой и частый вид, выходит замуж потому, что время пришло и выгодно; другой, когда выходит замуж, потому что боится остаться в «старых девах»; и, наконец, третий вид, он сейчас очень част среди моего поколения в Совроссии, когда девушка ничего не требует от человека — ни денег, ни формальной записи, ни устройства в жизни, а только любви яркой, страстной, сильной, которая заменяет все. Вот так вышла замуж и я, так вышли и многие мои подруги.

Вам, как человеку «прежней России», это все покажется диким. Но в данном случае я строю, строю свое счастье, свою жизнь. И, хотя я вышла замуж без церкви и Загса (регистрация), без матерьяльного обеспечения со стороны моего му-

жа, — я получаю 75 р. и даровую квартиру с отоплением, а он 30 р. и не имеет даже двух костюмов, а только один, — но я знаю, что в ответ на то, что я даю ему, я получила любовь и возможность верить безгранично до конца человеку, так как любима, а это самое главное. У меня, например, нет ничего, кроме долгов, нет ничего для будущего ребенка, но я счастлива, и пусть все «кумушки» осуждают меня за мой брак, мне плевать на всех.

«Теперь о моем муже. Он мой ровесник — 24 лет, светлый шатен с большими голубыми глазами и очень красивым чувственным ртом; у меня тоже чувственный рот, и этим мы похожи. Кончил он гимназию, сейчас я отправила его в Ленинград поступить в Высшее учебное заведение (политехникум), но так как в этом году он не попал (конкурс для интеллигентов очень строгий), так ему пришлось устроиться на колбасной фабрике бухгалтером — это его специальность, он и раньше работал в банке так же. Если он пройдет в штат, он «купит комнату» (отступной очень велик в Ленинграде), и я перееду к нему. Теперь я только каждый день получаю от него письма. Он очень некрасивый, в веснушках, очень веселый, остроумный и хорошо играет на сцене. За мной много людей ухаживало, но все это было не то.

«Мама» (Лида, сестра С. П.) обвиняет себя, что она не сумела предотвратить этой «беды», что я вышла замуж без регистрации. Она хотела покончить жизнь самоубийством. Мне поэтому много пришлось пережить, но мне все равно: то, что было, те летние теплые ночи, когда мы целовались до зари, ласки его, поцелуи — все человеческое — это искупило все неприятности. «Мама» этого не может понять. Я нормальный здоровый человек и хочу только человеческой любви. «Мама» любит меня «по-Божескому», а вот когда «папа» мой (Сергей, брат С. П.), которого я в жизни больше всех любила, любил меня тоже «почеловечески», и вот муж мой любит так же, только тут еще и «половое влечение».

«Я — новый человек, воспиталась «на рубеже заката Европы и перелома двух эпох» и то, что для вас покажется ужасным, для меня только «факт» и брак «де факто» — что для вас покажется «развратом», для меня только «любовь». Если бы с «мамой» (Лидой) что-нибудь случилось, я бы покончила с собой, но все-таки не отказалась бы от своего.

Теперь о ребенке: я не хочу ребенка, но так как аборт делать поздно, буду его иметь! — во-первых, у нас с мужем нет средств, во-вторых, мы не уверены, что в этом году сможем жить вместе, и в-третьих, я еще настолько молода, что хочу просто жизни, веселья, одеться хорошо, пользоваться успехом, подчас увлечься, пойти в концерт, в шумную, светлую, яркую толпу, с атмосферой какой-то торжественности, а с «животиком» я не могу этого. Я сейчас беременная на 6 ½ месяце. Но никто этого не знает, не замечает моего положения, так как у меня почти ничего не заметно. А через месяц, именно тогда, когда я получу на службе деньги и смогла бы пойти куда-нибудь, я этого не смогу. В первый раз в жизни я не буду встречать новый год, в первый раз в жизни я не буду, и у меня не будет вечеринки на Рождество, это, может быть, глупо, но я до слез жалею об этом.

Если можно, пришлите мне посылку с приданым для моего сына, я и Буся (мой муж) очень хотим мальчика. Я посылку не верну, я ведь «работающий» член Союза, и больше чем 15–20 рублей пошлина не будет. Если можно, пришлите мне маркизету на платье, у вас ведь это пустяки, и лакированные черные туфли 35 номер и две пары фильдекосовых чулок, буду страшно благодарна».

Стихи К. Д. Бальмонта на «Фейных сказках» <:>

Наташе Ремизовой

Наташа-сказочка, Наташа
Услышь меня: вся радость наша —
Любить цветы, в лугах, в лесах,
В садах, и в сказках, и в сердцах.

К. Бальмонт

1907–1908. Зима.
Brusselles. Berkendael

(Лежу со сломанной ногой,
Но чуть весенний ветерок
Означит легким тучкам срок,
Восстану вольный и другой,
И полечу, как мотылек.)

«Книга Жизни»

(к интерпретации литературной биографии С. П. Ремизовой-Довгелло)

Роман «В розовом блеске» (далее: *ВРБ*) относится к тем образцам художественной прозы, которые пишутся буквально под «диктовку» реальных событий. Жизнеописание своей супруги Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло (далее С. П.) Ремизов начал еще в 1909 г. отдельными рассказами о детстве и юности, а завершил спустя шесть месяцев после ее похорон, в октябре 1943 г., создав эпическое полотно литературной биографии, вобравшей значительную часть и его личного пути. Так в течение многих лет складывалась своего рода «книга жизни», содержанием которой, в конечном счете, стала судьба двух неразрывно связанных людей — автора и героини, до 1943 г. скрытой под вымышленным именем Оля Ильменева.

Идея сведения текстов, посвященных С. П., в общую композицию романа, первоначально так и озаглавленного — «Оля», возникла, скорее всего, спонтанно. В 1952 г. из нью-йоркского издательства имени Чехова Ремизову поступило предложение опубликовать его новое произведение[1]. Есть основания полагать, что сама возможность выпустить в свет книгу о С. П. спровоцировала оформление подспудно созревавшей в течение многих лет[2] концепции повествования, ориентированной на синкретизм биографической и автобиографической литературных традиций. Замысел Ремизова актуализировал практически

---

[1] См. историю создания *ВРБ* на с. 704—734 наст. тома.

[2] По крайней мере, с 1922 г., когда была выпущена в свет повесть «В поле блакитном».

весь жанровый спектр обеих парадигм: от форм, развивавшихся в русле агиографической и духовной литературы — жития (как известно, имевшего прецеденты автобиографического повествования), визионерства и художественной исповеди, — до разнообразных моделей светского жизнеописания, вобравших в себя многочисленные образцы бытописаний о детстве и юности типологического героя, биографические очерки исторических личностей и, наконец, автобиографическую прозу, претерпевшую значительную модернизацию в течение первой половины XX века.

Однако границы жизнеописания в ремизовском понимании были намного шире привычных датировок — от рождения до смерти. Поэтому в качестве первоисточника, общего и для всех названных жанровых форм, был избран античный миф о бессмертной душе и ее телесном воплощении, ограниченном временем земной жизни. Впервые мифологическую составляющую биографии жены писатель раскрыл в разделе «Сквозь огонь скорбей» (далее: *СОС*), написанном в 1943 г. Перенесение жизненных реалий в область мифологии предполагало соответствующее толкование глубинных причинно-следственных связей между событиями как биографии С. П., так и самого Ремизова. Реализованная в романе *ВРБ* контаминация трех видов повествования — мифологического, биографического и автобиографического — позволяет говорить о возникновении особого модуса метабиографии. Такой нарратив, во-первых, синхронизирует авторскую позицию как объекта и субъекта жизнеописания, а во-вторых, в отличие от парадигмы классических биографических жанров с «горизонтальным» изложением событий, распространяется на оба плана бытия — феноменальный и ноуменальный, образуя вертикальную ось специфической ремизовской интерпретации личной судьбы и судьбы его жены[3]. Иными словами, форма жизнеописания, объединившая

[3] Понятие «метаистория» впервые было введено С. Булгаковым («Два града», 1911), а затем использовано в эзотерическом дискурсе Д. Андреева. В переосмыслении Андреева термин имеет два значения — мифологическое и религиозное. Нас интересует выделенная им мифологичность и связь с реальной историей. Ср.: «С. Булгаков говорит, ...метаистория <...> «ноуменальная сторона того универсального процесса, который одной из своих сторон открывается для

рассказы от третьего лица из «Олиной книги» (как называл Ремизов все тексты об Оле Ильменевой — прототипом которой стала С. П.) с автобиографическим дискурсом (*СОС*), предполагает преобразование биографических событий в символические формы архетипического мифа. Именно в таком варианте решения творческой задачи полноправным героем романа в целом оказывается «Я» Ремизова, выступающее как единственно возможный субъект, способный к адекватному восприятию и раскрытию ноуменальной сущности, которая явилась ему в образе и имени его супруги — С. П.

Метабиографический принцип был изначально заложен в природе «Олиной книги», поскольку сюжеты жизни С. П., пересказанные Ремизовым с ее слов, естественным образом становились фактом творческой биографии писателя. Осознание абсолютной ценности судьбы С. П. нашло выражение и в таких характерных для Ремизова документах авторефлексии как дарственные инскрипты, адресованные С. П., которыми он сопровождал каждое новое издание своих произведений. Один из них — на экземпляре повести «Оля» (Париж: Вол, 1927) — содержит констатацию не только стоящей перед писателем творческой задачи — представить образ уникального человека, но и признание яркого творческого потенциала самой С. П.:

> В этой книге все: содержание, отдельные слова и целые фразы — твое, деточка <...> Во всем моя только обрисовка. А м<ожет> б<ыть> если бы ты сама писала, вышло бы все вразумительнее <...>. Хоть что-нибудь сохраню в этой книге из твоей жизни[4].

нас как история» <...> метаистория <...> всегда мифологична. <...> термин метаистория” употребляется <...> в двух значениях. Во-первых — как <...> совокупность процессов, протекающих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены в другие потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история» (*Андреев Д.* Роза мира. М., 2006. Кн. II. С. 44).

[4] Дарственная надпись на шмуцтитуле личного экземпляра С. П. Ремизовой-Довгелло: *Ремизов А.* Оля. Париж: Вол, 1926; рис. В. Н. Скоропадского [С. П. Ремизовой-Довгелло] (*ИРЛИ*. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 71).

* * *

Как показывает история написания глав и разделов, изначальным импульсом к созданию книги, посвященной С. П., послужило желание Ремизова, впервые переживавшего острое чувство одиночества после похорон С. П., написать реальный «комментарий»[5] к уже существующим рассказам из «Олиной книги» и тем самым включить художественное жизнеописание С. П. в контекст их совместной биографии. Начиная эту работу, он указал единственный и непреложный источник хроники детства и юности своей героини: «Оля — Серафима Павловна Довгелло и повесть “Оля” написана с ее слов» (*СОС*, «Оля»).

С первых лет их совместной жизни С. П. стала для Ремизова внимательным критиком и помощником в его литературном труде. Однако более всего он ценил ее природную наблюдательность и непосредственность восприятия окружающего мира, что проявлялось в многочисленных колоритных воспоминаниях об укладе провинциальной жизни в Черниговской губернии (с. Берестовец Борзненского уезда), где С. П. родилась, воспитывалась в дошкольном возрасте и закончила гимназию (г. Борзна. 1886—1893). Не случайно в своих письмах к жене, проводившей лето с их маленькой дочерью в родительском доме, Ремизов напоминал: «Пиши, как что видишь, а то забудешь рассказать»[6].

Значительно позже, когда шла работа над подготовкой к печати романа *ВРБ*, писатель, объясняя дискретность ее записей, сожалел:

> С. П. рассказывала, но писать не любила. А ведь мне нужна была точность и много я докучал, прося записывать. А бывало, и согласится, но — скоро и надоест, «потом» скажет. И опять прошу. А то напишет и уничтожит. Так много из рассказанного, но не записанного пропало. А ведь «Оля» была бы еще богаче![7]

---

[5] Ср. определение жанра раздела *СОС* как «комментария» в письмах Ремизова в издательство имени Чехова на с. 723 наст. тома.

[6] *На вечерней заре 2015*. С. 179.

[7] *Ремизова-Довгелло С. П.* Записи, переписанные и откомментированные (в квадратных скобках) Ремизовым. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 292. Л. 3.

Насколько значительным было участие С. П. в творческой жизни Ремизова, можно судить по их переписке, обнаруживающей, что писатель не принимал ни одного решения без согласования с женой[8]. Как «олины» рассказы, по существу, были написаны совместно с С. П., так и процесс создания других произведений Ремизова не обходился без ее первоначального чтения и даже редактирования. Сама С. П. к литературному труду относилась с тем же почти детским максимализмом, с каким она воспринимала окружающую действительность. В ранней редакции *ВРБ* Ремизов воспроизвел обращенные к нему однажды категорические слова супруги: «С. П. на мое писательское не поддалась. “Не знаю, как вы, а я не люблю логической последовательности в художественном изображении по той простой причине, что не вижу ее нигде в жизни”»[9]. Заявленная и в отношении ко многим другим реалиям жизни непримиримая антитеза идеального и реального обернулась для нее сложнейшей проблемой адаптации к действительности.

В подготовительных материалах к роману *ВРБ*, делая выписки из дневника жены, Ремизов вспомнил о том, как впервые проявилась склонность самой С. П. рассказывать о себе в третьем лице, через образ некоей подруги Оли. Подобная иллюзорная дистанция между «Я» и «не-Я» в откровенных разговорах с мужем позволяла ей раскрыть мироощущение, оберегаемое от «зеленого человечества», как Ремизов, вслед за В. В. Розановым, впоследствии символически называл всех антиподов С. П. — людей «земных» по образу мыслей, страждущих о простом порядке жизни — «с одною только радостью, и без всякого дыма, горечи, злобы и злодеяния» (*СОС*, «Оля»). Ее первый «рассказ» был посвящен «Пасхе» и возник в ответ на ремизовское воспоминание о детском, защищенном непосредственным религиозным чувством, отношении к оборотным сторонам жизни:

> Впервые поминается «Оля», даже «Ольга Александровна», когда еще не затевалась никакая «Олина книга». Пом-

[8] Ср.: «С. П. была моим судией, цензором и корректором» (*Ремизов А. М.* Сквозь огонь скорбей. Черновая редакция. Автограф. 1943. – *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 63. Тетрадь I. Л. 65. См. также публикацию писем, собранных писателем в незавершенную книгу «На вечерней заре» (Список сокращений. С. 862).

[9] *Ремизов А. М.* Сквозь огонь скорбей. Черновая редакция. Автограф. 1943. – *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 63. Тетрадь II. Л. 96.

ню, я рассказал, как мы в детстве ждали Пасху, и несмотря ни на что, говорилось у нас, как последний выход и утешение: «вот придет Пасха». С. П. на листке написала «рассказ» — ей было легче так написать; а ведь это ее душевное состояние за «Зеленой оградой»: «дрожит вся душа» [10].

Первая документальная запись С. П. о себе самой свидетельствовала о ее глубоком внутреннем конфликте с миром, существование в котором она могла для себя оправдать только в свете христианского подвига:

> Она (Оля) уже давно не понимала, как ей жить на свете. Когда-то цель была ясна, но потом много нового всплыло, на что не было ответа. Много было разочарований, иногда казалось, что нельзя верить никому. <...>. Были минуты, и не минуты, а месяцы, в которые она наложила бы на себя руки, и всегда ее останавливало одно: «Пасха». Если хотелось умереть осенью, то вспоминалась Пасха, которую непременно надо дождаться и потом можно и умереть; а сразу после Пасхи кто же наложит на себя руки из тех, кто хоть раз произнес всем сердцем «Христос воскрес» [11].

Очевидно откликаясь на просьбы мужа, С. П. начала в 1909 г. одну из своих тетрадок словами: «Это я тебе пишу свои записки, ты мой один родной друг» [12]. Сопоставляя ее дневниковые записи с фрагментами из повести «Оля», можно убедиться, насколько бережно Ремизов относился к воспроизведению образа Серафимы-Оли, практически не меняя строя речи уже взрослой женщины, сохранившей детскую непосредственность и безыскусность рассуждений:

> Когда я была маленькая, — записывала С. П. в 1909 г., — мне часто говорили о страданиях Христа, и я много из-за этого мучилась, т. е. что вот это было и из-за меня, потому что из-за всех. И я думала, что самая лучшая дорога тоже

[10] *Ремизов А. М.* «Из Дневника». Фрагменты дневниковых записей С. П. Ремизовой-Довгелло с комментариями писателя. Машинопись. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 69. Л. 7.

[11] Там же. Л. 6—7.

[12] *Ремизова-Довгелло С. П.* Дневниковые записи. <1909>. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1052. Л. 1.

страдать за других. Это и было основной моей революционности; мотив был такой: хочу пострадать, мне стыдно жить спокойно, хорошо, когда другим людям плохо <...>, а я просто видела группы людей: огромное большинство — обыватели, и жить такою жизнью я не хотела: жизнь эта мне казалась бессмысленная и пошлая, и скучная. Потом я видела или знала, что есть карьеристы всякого рода, люди, ищущие денег или славы, и эта жизнь мне была отвратительна: искать денег мне казалось гадко, а славе я никогда не придавала значения, зная, как она легко проходит, и еще зная, ее создают люди, не понимающие ничего. И еще я знала, что есть люди, которых гонят за то, что они хотят строить счастье на земле — и я хотела быть в числе гонимых[13].

Эти строки были отчеркнуты Ремизовым синим карандашом, а затем перенесены в ткань художественного рассказа «Не из говорящих» (*СОС*), также как и следующие, попавшие в рассказ «Нельзя»:

Я хотела жить по правде и непременно так, чтобы меня гнали и чтобы я погибла. Я хотела найти очень много людей таких же — желающих «погибнуть», как и я[14].

Сам факт создания завершающей части *ВРБ* после кончины С. П. мог бы служить достаточным основанием посмертной идеализации ее образа. Однако переписка молодоженов Ремизовых, начавшаяся незадолго до венчания в 1903 г., убеждает в том, что Серафима Довгелло в глазах Ремизова изначально предстала явлением совершенно иной природы, нежели обыкновенные люди, носительницей исключительного духовного дара. Уже в первые годы совместной жизни Ремизов обнаружил редкое целомудрие образа мыслей С. П. и абсолютную неспособность к компромиссам. Эти свойства он, прежде всего, связывал с особенностью формирования ее личности, в которой душа, как будто не сроднившись с человеческой оболочкой, так и осталась недовоплощенной, проходя свой земной путь в состоянии глубокого отчуждения от мира людей. В ее дневнике находим запись от 2 марта 1907 г.:

[13] *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1052. Л. 2–3.

[14] *Ремизова-Довгелло С. П.* Воспоминания о детстве. Автограф. 1909. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1033. Л. 9. Ср. с. 184 наст. тома.

> Ходила по городу, была у Бердяевых, очень мне плохо. Зачем так человек устроен, что ему нужны люди, в людях и есть весь ужас. Я бы хотела куда-нибудь далеко, где солнца много, и чтобы никто меня не тронул. Меня все трогает. Хоть бы скорее все окончилось, и найти себе такое, чем бы жить. Надо от людей уйти дальше и жить так, чтобы Бога чувствовать возле себя! <...>. Я так думаю: совсем отстранюсь от людей, буду жить одна с собою, буду читать, а общаться только с Богом и с Алексеем Михайловичем, они не обидят [15].

Сохранившиеся записи, которые С. П. оставила, уже будучи замужем, резко контрастируют с образом веселой и открытой девочки, истории из детства которой заполнили страницы книги «В поле блакитном» (1922). В рассказе «Черная бабушка», созданном по воспоминаниям С. П. еще в 1909 г., перемены в характере Оли обусловлены встречей с сектанткой, которая будит в доверчивой, склонной к религиозной экзальтации душе эксцентричные представления о ее христианской ипостаси как хлыстовской «богородицы». Это событие фатально изменяет мировосприятие героини и рождает жажду собственного духовного предназначения. Нарушение спонтанно принятого под влиянием новой знакомой обета — безраздельно посвятить себя служению Богу — едва не стоило Оле жизни. Об этом страшном событии Ремизов написал, передавая сложный психологический срыв человека, побывавшего по ту строну жизни: «А через год, весной, Оля утонула — едва откачали» [16].

В составе романа *ВРБ* рассказ приобретает новые функции значимого элемента метабиографии. Мотив, связанный с испытанием смертью, обнаруживает очевидную авторскую интенцию преобразовать традиционное литературное жизнеописание в форму индивидуального мифа, в котором все события оказываются во власти предвечного закона судьбы. Именно поэтому в разделе *СОС* писатель вновь возвращается к эпизоду встречи с сектанткой и нарекает таинственную «черную бабушку» именем Норна, прямо указывая на известный по западноевропей-

---

[15] *Ремизова-Довгелло С. П.* Дневниковые записи. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1046. Л. 1–1 об.

[16] См. с. 71 наст. тома (повесть «Оля»).

ской мифологии и родственный ее античным предшественницам архетипический образ суровой богини, предопределяющей ход и направление человеческой жизни.

Таинственный промысел, соединившей двух таких разных по жизненным установкам, но, как оказалось, очень близких по духу людей, занимал Ремизова на протяжении всей совместной жизни с С. П., став краеугольным камнем созданного им «семейного» мифа:

> Наша встреча была предопределена, конечно. Теперь это можно сказать. И тут было решение не человеческое, а значит, и все, что произошло, не могло не быть. И вот загадка: ведь зачем-то нужна была эта встреча?
>
> Если бы не произошла наша встреча, судьба Оли была бы другая — перед Олей был свой путь; и было бы в ее жизни совсем другое, совсем не то, решила наша встреча и повернула — в «пролог».
>
> А ведь ясно, и я это чувствую, в моей судьбе какие-то все «случайности», ломая мою жизнь, вели именно на этот перекресток встречи.
>
> И что важно, и это для нас обоих, с первого глаза я получил отпор, какая-то сила ограждала Олю, противилась этой встрече. И все казалось так, что Оля обойдет эту судьбу [17].

Для того чтобы постичь причинно-следственный слой жизни С. П., Ремизову нужно было иметь не только пристальный взгляд художника, но, прежде всего, оптику любящих глаз, позволявшую увидеть, что внутренний императив его жены требовал от нее и категорического неприятия всех проявлений несправедливости, и личной жертвенности ради высшего идеала, исключительной даже на фоне духовных исканий, свойственных поколению образованных людей рубежа XIX—XX веков. Характерно, что сам писатель неоднократно подчеркивал собственное несовершенство в сравнении с С. П. В 1905 г. в письме к жене Ремизов сравнивал личные мотивации к вопрошанию Бога, неизменно связанные с жаждой удовлетворения индивидуальных притязаний и чаяний, и религиозную одаренность,

[17] *Ремизов А. М.* За зеленой оградой. Черновая ранняя редакция. Автограф. 1943. —*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Тетрадь I. Л. 40; гл. «L'Irréparable».

позволявшую его жене, как казалось, с помощью молитвы проникать в глубинный смысл явлений, отрешаясь от земного и эгоцентрического:

> ...Нет, нет, нет, будет хорошо — — хорошо, хорошо, хорошо. Детонька, вот так только я и могу молиться. Молиться — хотеть и изнутри просить, хотя. Но я ни на кого не гляжу, никого не вижу ясно, скорее, во тьму, вглубь ныряют слова — молитва. А ты можешь видеть, осязать, вот почему ты выше и ближе и когда ты захочешь — станешь молиться — молитва дойдет[18].

Скрытое в подобных размышлениях восприятие С. П. через противопоставление «земного» «небесному» до известной степени было обусловлено формированием ремизовского творческого кредо в русле символистской эстетики. Однако его личное поклонение «возвышенному» образу С. П. никогда не становилось предметом жизнетворческих амбиций, хотя и имело вполне узнаваемые корреляции с мифопоэтическим строем философии религиозного идеализма, предъявленного в мистических прозрениях Владимира Соловьева. Главным образом, Ремизову оказался близок аспект «посвященности» идеалу: он был всецело сосредоточен на служении «небесному» образу С. П. и сохранении ее ангельской сущности в реалиях человеческого бытия. Так, в письме 1905 г. он взволнованно пытался объяснить жене открывшиеся ему неоспоримые приметы ее неземной ипостаси:

> Не замечая, не любя тебя — не замечают и не любят самое высшее, что есть только в мире — не скажу безгрешность, а отблеск невинности. Та невинность, какая может только воплотиться на земле. Так о тебе думаю. Я раньше искал, как назвать тебя. <...>. Может, я неясно выражаюсь, но ты понимаешь...[19]

---

[18] *ГЛМ*. 156. Оп. 2. Ед. хр. 337. Л. 22. Ср. позднейшую авторскую редакцию этого письма в составе незавершенного романа «На вечерней заре» (*На вечерней заре 1990*. С. 444).

[19] Там же. Л. 22 об. Ср. также позднейшую авторскую редакцию письма (Там же. С. 446).

* * *

К созданию «семейной» мифологии, построенной на антитезе небесное — земное, Ремизов приступил уже в 1903—1905 гг. В этой матричной форме жизнеописания роли были предопределены: Серафима, прежде всего, бессмертная субстанция — анима — узница телесного воплощения. Она — выразительница нездешнего мира, открытая истине и чистоте, поэтому земное существование для нее мучительно и требует духовного подвига. Он — верный и предназначенный Судьбой защитник Серафимы от ограниченности и косности мирской жизни. «Я ясно почувствовал, что никогда не полюблю человека, который к тебе равнодушен или не любит тебя», — написал он все в том же письме 1905 г., и спустя сорок с лишним лет, глубоко переживая смерть С. П., оформил эту же мысль в мифопоэтических категориях: «Я никогда не сойдусь с человеком, который к тебе равнодушен или не любит тебя. <...> *Своей измученностью — я родился с крестом в глазах — я оттеню твою безбрежность*»[20].

В романе *ВРБ* Ремизов обозначил мироощущение своей жены как вынужденное заточение души в земной юдоли — «за зеленой оградой», вспоминая одну из аналогичных по сути записей С. П.: «Мне очень тяжело жить, потому что меня почти никто не понимает. А когда я вспоминаю т<юрьму>[21] — то меня берет такой ужас, что дрожит вся душа»[22]. Именно из подобных признаний постепенно складывался «семейный» миф — принятая обоими супругами версия скрещения их судеб, в основе которой лежала все та же идея несоответствия между земной судьбой С. П. и ее предназначением как существа «небесного». Серафима — явление «серафическое», появившееся на земле с призванием посвятить себя служению христианскому идеалу на любом поприще: «Одни родятся для земли, другие на земле для неба» (*СОС*, «Оля»). Когда же сердце Серафимы-женщины ответило на любовь Ремизова, судьба небожительницы отвернулась от нее, оставив на муку несоответствия всем

[20] *На вечерней заре 1990*. С. 445. Курсив мой. — *Е. О.*

[21] Речь идет об одиннадцати месяцах, проведенных С. П. Довгелло в одиночной камере тюрьмы предварительного заключения (на Шпалерной улице), с марта 1897 по февраль 1898 г.

[22] *Ремизова-Довгелло С. П.* Записка. Автограф. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1049. Л. 1; датировка А. М. Ремизова.

ипостасям земного человека — быть женой, быть матерью, реализоваться личностно и социально:

> «Умереть» и «выйти замуж» — да ведь это в судьбе ее одно и то же. И тотчас, как она решила, и там в ее судьбах ответило своим решение бесповоротно. Ее ограждали пламенные силы, карая смертью всякого, кто приблизится, а теперь они завели свою игру беспощадно: «Мне отмщение и аз воздам!» — так прозвучал бы их голос — глас Господень. И горькие слезы зальют краткие улыбки жизни
>
> (*СОС*, «Наташа»).

Внутреннее основание для отторжения земного и потребность в приобщении к миру горнему, вероятнее всего, подкреплялись и пережитой С. П. в годы северной ссылки попыткой суицида. Решение свести счеты с жизнью было принято в ночь с 27 на 28 сентября 1902 г.[23] Благополучный исход этого отчаянного поступка стал ключевым эпизодом главы «За зеленой оградой». Он трактуется Ремизовым как акт перерождения души С. П, так же как и эпизод с сектанткой, но на более высокой ступени посвящения: «Оле надо было умереть, чтобы под другим именем начать жизнь — свою страду» (*СОС*, «Непоправимое»). Мифологическую интерпретацию трагического факта биографии Ремизов использовал в качестве «прямого» доказательства истинности «небесного» происхождения женщины, наделенной соответствующим именем. По версии Ремизова, трагедия С. П. состояла в отказе от божественного предназначения в пользу земной судьбы жены и матери. Это, в обычном понимании, счастливое разрешение психологических трудностей для С. П. обернулось дезориентацией в самооценке. Неудовлетворенность собой, постоянное чувство отчуждения от жизни, катастрофическая неприспособленность к бытовой, обыденной реальности — такие сильные эмоции и резкие психологические перепады, свойственные этой женщине, возникали как следствие несоответствия внутреннему императиву и невозможности его осуществления. Основная экзистенциальная проблема жены не могла не волновать Ремизова, который в те-

[23] См. воссоздание биографического сюжета по архивным источникам: *Соболев А. Л. 2013*. С. 206–208.

чение всей совместной жизни и по смерти С. П. испытывал горькое чувство вины в том, что его невольное вмешательство в ее судьбу стало причиной столь трагического несоответствия. Эта тайна супругов практически не имела выхода за пределы их личных взаимоотношений[24]. Более того, оберегая друг друга, Ремизовы и между собой старались обходить эту тему молчанием. Единственный случай прорыва сильного переживания, обусловленного комплексом вины, встречается в письме писателя, адресованном С. П., где глубокое чувство получило звучание «клятвы» в верности ее идеалу:

> Знаю, что вина всех твоих страданий, — писал он в день ее рождения 4 июля 1912 г., — во мне заключается. До последнего моего издыхания буду ходить за тобой[25].

Обратившись к этим эпистолярным строкам в 1943—1948 гг., Ремизов пояснил:

> Моя вина — если бы я раньше сообразил <...> — полнота «жизни» не по ее мере: она родилась совсем другой, непохожей на нас. Через меня она вступила в «жизнь» против свое<й> «природы», она не должна была выходить замуж, а я должен был сразу же понять ее душу, да вот не понял и вызвал в общую нашу жизнь «страду»[26].

В романе *ВРБ* мотив личной вины писателя проявится в признании, напрямую касающемся интерпретации образа С. П.: «Мне ее было до боли жалко, и, не прячась за судьбу, я во всем виню себя: слепой, не узнал» (*СОС*, «Мать»).

Насколько органично С. П. вжилась в свой образ, позволяет обнаружить обращение еще к одному эпистолярному докумен-

---

[24] Исключение составляет художественное отражение темы «души-небожительницы» в повести Ремизова «Пятая язва». Подробнее см. в предисловии к публ.: На вечерней заре: Письма А. М. Ремизова С. П. Ремизовой-Довгелло: 1912 год / вступ. статья, подг. текста и комм. Е. Р. Обатниной, А. С. Урюпиной // *РЛ*. 2019. № 1. С. 101—102.

[25] Там же. С. 107.

[26] Там же. Ср. рассуждения о мотиве вины Ремизова в воспоминаниях Н. В. Резниковой, которая, не цитируя письма от 4 июля 1912 г., полагалась на его содержание, см.: *Резникова 2013*. С. 78—79.

ту, появившемуся в 1909 г. Тогда, находясь в отчаянном состоянии духа, она написала доверительное письмо, адресованное поэту Вяч. Иванову. Поводом к неожиданному обращению, потребовавшему определенного душевного порыва, послужил, на первый взгляд, вполне житейский вопрос, касающийся проблемы выбора будущей профессии и желания «пойти по научной части». Однако «земная» прагматика в этом послании явно уступила место исповеди:

> Дорогой Вячеслав Иванович! Прочтите, пожалуйста, внимательно мое письмо и не пеняйте, что хочу Вас просить подумать о моем — что же мне иначе делать. <...> Вам больше всех верю, к Вам и обращаюсь. Вот уже 5 лет, с тех пор как я вышла замуж, я тоскую о проявлении себя. Есть у меня *жизнь настоящая, не связанная прямо с землей, а с землей я связана только через Алексея Михайловича. И точит меня: сама я где?* У меня натура активная, и силы есть, а *на земле я существую только как жена* Алексея Михайловича, прямо говоря. Все во мне против этого протестует, потому что я *сама в жизнь вошла, сама пробивала и имею свое собственное неотъемлемое от меня ни при каких условиях. Я могла бы жить совсем вне земли, но меня к земле привязывает* А<лексей> М<ихайлович>, поэтому я на земле должна найти дело для себя свое собственное, это и для него будет лучше, я тогда стану сильнее[27].

Послание, прозвучавшее как откровение «души-пришелицы», мучительно осознающей несоответствие своего истинного предназначения и выпавшего на ее долю земного воплощения — быть «только женой Ремизова», — являлось прямой манифестацией «семейного» мифа. Особенность взаимоотношений писателя с его женой состояла в полном отсутствии границ между профессиональной и личной жизнью, что подтверждается характером их переписки. Такая «сопричастность» супругов занятиям каждого не оставляет сомнений в том, что письмо С. П., отправленное Иванову, было написано в «соавторстве» с Ремизовым. Думается, именно его участие сообщило этому эпистолярному обращению ряд литературных аллюзий, кото-

[27] Цит. по: *Грачева 2000*. С. 74. Курсив мой. — *Е. О.*

рые были рассчитаны на узнавание адресатом темы скитаний души по кругу воплощений[28].

Неизвестно, насколько хорошо помнил Ремизов этот биографический сюжет, когда в 1943 г. начал писать свои «комментарии» к судьбе С. П. и прожитой совместно жизни, однако достоверно известно, что свои воспоминания он сверял с ее дневниковыми записями и альбомами, сохранившими автографы современников. В одном из них находим стихотворение Вяч. Иванова «Нищ и светел», написанное рукой автора с пояснением: «Переписано для дорогого друга Серафимы Павловны Ремизовой, на память о вечере поэтов 26/27 сент<ября> <1>906». В романе *ВРБ* метафора из стихотворения Иванова, составившая строчку «Помнил я: ты в околдованном саду...», возможно, вошла в круг реминисценций, актуализировавших постоянную тему души-невольницы, которую Ремизов раскроет в заголовке главы «За зеленой оградой»[29], первоначально называвшейся «За зеленым кругом», или «Зеленый круг».

* * *

В окружении Ремизовых истинное понимание неординарной личности С. П. было доступно далеко не всем, тем более что ее внешний образ вступал в прямое противоречие с антуражем эстетизированного эротизма, царившего в символистских литературных салонах, где вольно или невольно протекала петербургская жизнь супругов. Например, Л. Д. Зиновьева-Аннибал, с интересом наблюдавшая за гостями на первых симпосионах Вяч. Иванова, с характерной женской «объективностью» подмечала, что в окружении литературно-художественной богемы С. П. испытывала явную неуверенность, прикрытую показной самодостаточностью. Впрочем, и муж ее, судя по первым впечатлениям хозяйки Башни на Таврической улице, тоже

---

[28] На наш взгляд, письмо Иванову содержало прямые отсылки к его поэзии, в частности, к стихотворениям «Психея» («Suspiria», сб. «Кормчие звезды», 1903) и «FIO, ERGO NON SUM» (сб. «Прозрачность», 1904). Подробнее см. в статье: *Обатнина Е.* Земная судьба небожителей в жизни и творчестве Алексея Ремизова // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 2018. N 6. S. 16–25.

[29] Подробнее о источнике канонического названия см. комм. на с. 753–754.

не чувствовал себя свободно и то и дело пользовался театральными уловками, меняя маски и амплуа, что, впрочем, не могло скрыть его безусловной одаренности:

> Очень неприятный человек Ремизов, — писала она Л. Замятниной. — Вечный фигляр, врун такой, что ничему нельзя верить. Умен и зол на язык... головокружительно! А жена его великая корова, подруга Гиппиус, глуповата, недобра, фанатична и самовлюблен[н]а. Разговаривает только о себе и улыбается сладкой нелепой во всю расплывшуюся харю — улыбкой[30].

Такое же, как будто неправдоподобное впечатление произвела С. П. и на Андрея Белого, который воспроизвел образ, запомнившийся с первой их встречи:

> Однажды войдя в гостиную Мережковских, — увидел я: полуприсев в воздухе, улыбалась мне довольно высокая и очень широкая, светловолосая, голубоглазая и гладколицая дама с головой, показавшейся очень огромной, с глазами тоже очень огромными; и тут же понял: она не стояла, — сидела на диване; а когда встала, то оказалась очень высокой, а не довольно высокой и только довольно широкой, а не очень широкой; это была Серафима Павловна Ремизова, супруга писателя. Рядом с ней сидел ее муж с короткими ножками, едва достающими до пола, с туловищем ребенка в коричневом пиджачке, переломленном огромной сутулиной и т. д.[31]

Между тем, непохожая на столичных литературных дам, С. П. для людей философского и социально-ориентированного склада мышления представляла собой некую загадку с точки зрения матримониальных отношений. Она и ее муж Ремизов будоражили специфический интерес В. В. Розанова, обращенный на трансформацию семьи и половой идентификации в ряду разнообразных гендерных моделей начала XX в. — от гомосексуальных и ménage a trois до только на первый взгляд идентич-

[30] Цит. по: *Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: документальные хроники. М., 2009. С. 132.

[31] *Белый Андрей.* Между двух революций / подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова., М., 1990. С. 64.

ных Ремизовым традиционных гетеросексуальных семейных связей. По форме социальной адаптации Ремизов и его жена ничем особенным не выделялись, разве что внешним обликом: как мы могли убедиться, для многих их брак представлял собой фенотипический нонсенс. Профессионально они, как это могло восприниматься со стороны, не имели точек пересечения: едва ли кто-нибудь мог представить, что С. П. была единственным для Ремизова литературным экспертом. Одно только их действительно отличало от типически близких супружеских союзов своего поколения, объединенных революционным прошлым и ссылкой, — они были родителями[32]. В этом смысле внимание Розанова не могла не привлечь именно С. П. — цветущая женщина, мать маленького ребенка[33], едва ли не воплощение Mater magna (Вечной матери), в отличие от «никак не претендующих на это» декаденток, «не способных родить даже таракана»[34]. Первые встречи с этой удивительной семейной парой Розанов сопровождал короткими наблюдениями:

> Ремизов А. М.
>
> Один из умнейших и талантливейших в России людей
>
> φαινόγέν <ясноруд<ный>. — *Е. О.*>
>
> -------------
>
> По существу он чертенок — монашенок из монастыря XVII в. Весь полон до того похабного — в мыслях, намеках, что после него всегда хочется принять ванну.
>
> Он — миниатюрный, черный.
>
> «Она» белокурая, громадная[35].

Другой фрагмент, очевидно, записанный со слов С. П. в излюбленной Розановым форме интервью, вносит неожиданное

[32] Ср. высказывание Розанова: «Нельзя не обратить внимания, что все связанные "кольцом Мережковского" суть люди бездетные и, кажется, в сущности безженные» (*Розанов В. В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М., 1997. С. 634–635).

[33] Дочь Ремизовых Наташа родилась 18 апреля 1904 г. в Одессе.

[34] *Розанов В. В.* [Соч.] М., 1990. Т. 2: Уединенное. С. 186.

[35] *РГАЛИ*. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724. Л. 203. Фрагмент в усеченном виде попал в книгу «Сахарна», собранную в 1913 г., но не опубликованную при жизни философа. См.: *Розанов В. В.* Сахарна. М., 1998. С. 119–120.

дополнение к сюжету, известному по автобиографической книге Ремизова «Иверень», в которой сам писатель вспоминал, что в кругу ссыльных на него пала тень подозрения в сотрудничестве с полицией. Тем не менее, это недоразумение писатель не связывал с обстоятельствами первой встречи с Довгелло. В розановских же записках оказалась зафиксирована неизвестная версия мотива, послужившего сближению будущих супругов:

> Интересна их женитьба. Он пошел куда-то на сходку и его арестовали. Сослали. В ссылке б<ыла> «она» и началось с того, что она при первой встрече дала ему пощечину. Он разумеется извинился, сказав: «Простите, Сер<афима> Пав<ловна>, но я не агент полиции, а несчастный студент». Естественно, что она после этого вышла за него замуж: «Его» и «Ее» я всегда представляю как черную мышь, грызущую «головку» голландского сыра[36].

Об изменениях розановского восприятия образа С. П. мы узнаём уже на страницах главы «За зеленой оградой», где Ремизов в воображаемой беседе с философом восстанавливает важные для него слова: «Помните, как в первый раз заглянув ей в глаза, вы, обратясь ко мне, сказали: “Серафима благородная, а мы с тобой...”» (*СОС*, «Оля»). Так, по воспоминаниям писателя, «люди высокого духа», к коим Ремизов, безусловно, относил своего старшего друга, понимали своеобразие личности С. П., отмечая в ней признаки «нездешнего» происхождения.

* * *

Еще в личности Серафимы-ребенка, раскрытой Ремизовым в «Олиной книге», нетрудно обнаружить задатки мировоззрения, основанного на бескомпромиссном служении христианским идеалам, которое в существовавшем историческом контексте неизбежно привело ее, уже студентку-бестужевку, в революционное подполье. Как следует из позднейших раз-

[36] *РГАЛИ*. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724. Л. 203 об. Тема подозрений в сотрудничестве с полицией оставалась для писателя тяжелой травмой до последних дней жизни. См. письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. I. Вологда. (1902–1903) / вступ. статья, подг. текстов и комм. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 171–172).

мышлений писателя над судьбой С. П. (раздел «Задора»), рассказы жены о мотивах личного участия в подрыве российского самодержавного строя были им восприняты как ценный «человеческий документ», позволивший художественными средствами описать индивидуальный духовный поиск революционерки Довгелло как представительницы поколения молодежи конца XIX – начала XX века, взыскавшей правды «на земле, как на небе».

Оправдание революционного протеста христианской мечтой о справедливом устройстве общества на основе закона Божьего, сложившееся в сознании С. П., вызывало неподдельное внимание к ней и со стороны влиятельных политических деятелей российского межвременья, последовавшего за первой русской революцией. В их числе, прежде всего, следует назвать Бориса Савинкова, с которым Ремизов и Серафима Павловна Довгелло познакомились в 1902 г. в вологодской ссылке, когда террористическая программа партии была еще на стадии формирования[37]. Особая роль в судьбе Ремизовой-Довгелло была исполнена и Зинаидой Гиппиус, претендовавшей на миссию реформатора церковного и государственного устройства. Для нее С. П. была идеальной выразительницей психологии религиозного бунтарства, носители которой могли стать наиболее манипулируемой движущей силой в деле реформации не только религиозного сознания, но и политического строя[38].

З. Н. Гиппиус на фоне петербургской литературной богемы, стала едва ли не единственным человеком, изначально принявшим С. П. с искренним интересом к ее судьбе и личности. Даже Ремизов, державшийся дистанцированно по отношению к литературной метрессе и основательнице тайной Церкви Третьего Завета[39], признавал, что понимание «небесного» происхож-

[37] Подробнее об этом см.: Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. I: Вологда (1902–1903). С. 125–126, 171–172.

[38] Ср. аргументы Е. К. Брешко-Брешковской, уговаривавшей в 1903 г. С. П. остаться в рядах подпольной организации партии эсеров: «— Вы нам нужны, — говорила она, — у нас есть генералы и солдаты, а офицеров не хватает» (*Андреева О.* Серафима Павловна Ремизова // Новоселье. 1947. № 35/36. С. 128.).

[39] Подробнее см.: *Павлова М. М.* К истории неохристианской коммуны Мережковских (на материале «Дневников» Т. Н. Гиппиус). Статья 1 // Русская литература. 2017. № 3. С. 202–242.

дения С. П. («самое высшее, что есть только в мире»)[40] к нему пришло благодаря взгляду со стороны, а именно, по его словам, «Гип<пиус> и Мер<ежковский> <...> подсказали»[41].

Идея «нездешней» природы Серафимы Павловны у Гиппиус как идеолога нового религиозного сознания вызывала сочувствие и даже культивировалась ею в собственных целях, предполагающих собирание «духовной паствы» вокруг новой религиозной идеи. Гиппиус почти внушала своей младшей подруге:

> Вы <...> — *реально не любите реальность.* Я бы сказала, что и Ал<ексей> Мих<айлович> не совсем во всем может вас понять, потому что он *реально любит реальность*[42].

Причина жизненной меланхолии С. П., как, несомненно, догадывалась проницательная Гиппиус, крылась не столько в неудовлетворенной потребности заниматься общественно полезной деятельностью, сколько во внутренней необходимости жертвенной миссии. Это свойство личности С. П. воспринималось старшей духовной наставницей как проявление сильной, деятельной личности, остро чувствующей дисгармонию окружающего мира, и даже дало ей повод подчеркнуть несоответствие высокого стремления молодой женщины к идеалу и пассивной жизненной позиции ее мужа-писателя:

> <...> я чувствую, что вы не должны еще, дальше, так жить, что-то должно перемениться. Если нужно вам страдать, т. е. если есть *ваши*, благодетельные, страдания — то, ведь, это страдания не пассивные, страданья, как бы это сказать?.. в «деле», от «дела» и ради «дела». А отнюдь не вне всего, да-

---

[40] *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 337. Л. 22 об.; письмо от 20—21 апреля 1905 г.

[41] Там же. Ср. позднейшую авторедакцию: «И знаешь, кто мне подсказал? — Мережковские: Гиппиус своим богатым нутром поняла, а “истукан” за ней повторил. Ты, мой бесценный ангел, хранитель мой!» (*На вечерней заре 1990*. С. 446).

[42] *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1143. Л. 1 об.; письмо от 25 мая 1906 г. Курсивом выделены слова, подчеркнутые Гиппиус. См. также фрагмент данного письма в публикации выдержек из переписки: *Lampl H.* Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. I. S. 165.

же работы какой-нибудь, и какие-то чуть не случайные, полуосмысленные. Ваша природа не такая, оттого и не выносимо. Алексей Михайлович не такой, он больше созерцатель, вы деятель[43].

Свою апологию революционного насилия с позиций неохристианства Мережковские вместе с Дм. Философовым оформили в книге «Le Tsar et la Révolution» («Царь и революция»), впервые опубликованной в 1907 г. в Париже на французском языке под тройственным авторством[44]. В контексте дружбы с Ремизовой-Довгелло особого внимания в этом сборнике публицистических сочинений заслуживает статья Гиппиус «Революция и насилие», которая впоследствии не републиковалась[45]. Основной пафос очерка был сконцентрирован на сопоставлении духовного подвига первых христиан, погибавших во имя веры, с борьбой эсеров-террористов против самодержавия, совершающих убийства и жертвующих собой во имя всеобщей свободы. Содержание этого документа обнаруживает невольную сопричастность С. П. к его созданию. Прямые референции к теме террористов, о деятельности которых Мережковским было известно по рассказам С. П., встречаются в письме Гиппиус от 18 марта 1907 г.:

...а часто я вспоминаю, милая, как мы с вами об с[оциал-]р[еволюционера]х говорили, насколько они лучше с[оциал-]д[емократов], у них личность есть, и они могут верить, они уже верят, только этого не знают. Мы здесь со многими сталкиваемся. А что жизни в них больше, чем в декадентах, так это прямо чувствуется. Такие мы здесь разговоры хорошие и простые иногда ведем. Я вашу «бабушку»[46] увижу,

---

[43] *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1145. Л. 1—1 об.; письмо от 8 октября 1906 года.

[44] *Mérejkovsky D., Hippius Z., Philosophoff Dm.* Le Tsar et la Révolution. Paris, 1907.

[45] См. современное издание, в котором статья Гиппиус «Революция и насилие» впервые переведена на русский язык: *Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д.* Царь и революция / под ред. М. А. Колерова; вступ. статья М. М. Павловой; пер. с фр. О. В. Эдельман; подг. текста Н. В. Самовер. М., 1999. С. 103—128.

[46] Конспиративное имя Е. К. Брешко-Брешковской, выведенной в романе *ВРБ* под именем Натальи Васильевны Ильиной.

когда она приедет (скоро). Но бабушка стара, а молодые есть совсем чуткие[47].

В статье «Революция и насилие» эта мысль получила развитие в духе концепции, объединяющей идею революционного преобразования с новым религиозным сознанием, аксиология которого не исключала радикальных революционных мер, трактовавшихся как жертвенность:

Если рассмотреть со вниманием и любовью наше революционное движение и суровые, почти монашеские нравы наших первых революционеров, членов «Народной Воли», ставших террористами, — то станет ясно, что они были не менее людьми, чем наши конституционные демократы, отвергающие всякое убийство во имя гуманности [...] Они, «безбожники», они, жертвующие всем, что имеют, и даже самой жизнью, с удивительной силой воли, со слепой убежденностью, направленной к одной цели, они, идущие в бой за всех «обездоленных», скрывающиеся в подземельях, как первые христиане в катакомбах, переживающие ужасную внутреннюю борьбу, — эти мученики во всех смыслах слова, эти аскеты во имя Духа, да позволено ли в самом деле называть их «безбожниками»? В новой идее нет еще имени Бога, Имя пока еще там, откуда Бог ушел[48].

---

[47] *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1149. Л. 2—2 об. Ср. дневниковую запись С. П. с пояснениями Ремизова в квадратных скобках: «Так вот первая причина и самое главное, толкнувшее меня к партии с-р, было то, что у с-р больше мучеников. А вторая причина: оттолкновение мое от с-д; а оттолкнуло меня от с-д то, что они будто бы *все знают* [марксистская закваска]. Первая причина была самая важная, из самого существа, и эту свою святая святых, этот свой мотив «*жертвенный*» вступления на путь революции я сказала только одному, самому близкому мне человеку. Потом после ссылки я встретилась еще с двумя, вступившими на путь революции по тому же мотиву, что и я, и мне было так радостно открыть им свое. Я от природы стыдлива, и мне трудно говорить о самом главном. Я подчеркиваю этот свой мотив — жертву и говорю, что не у меня одной было такое, я хочу показать, как многообразна была "русская революция", какие разные люди в ней участвовали, и как делались врагами русского правительства» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 292. Л. 15—16).

[48] *Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д.* Царь и революция. С. 109, 111.

Осенью 1906 г., когда статья «Революция и насилие» в составе сборника «Le Tsar et la Révolution» готовилась к печати, Гиппиус в письме С. П. упомянула a propos, что «написала для сборника о наших революционерах»[49]. Под спудом осталось лишь то, что опыт нравственных переживаний члена партии эсеров Серафимы Довгелло не только вдохновил ее на написание статьи, но и послужил основанием для рассуждений, спекулятивно связывающих религиозность как нравственное побуждение и необходимость революционного «жертвоприношения», выраженного в терроре. Возможно, литературные притязания не позволили автору статьи также объявить своей корреспондентке о том, что по памяти она воспроизвела услышанный в 1905 году рассказ и описала психологию главы боевой организации Савинкова, не называя его имени. Между тем, в тексте статьи имелись косвенные отсылки к источнику наблюдений[50]. Возможно, причиной этого умолчания стало также известное Гиппиус переосмысленное отношение Довгелло к теории и практике революционной деятельности. В статье этому обстоятельству был посвящен фрагмент, в котором Ремизовы без труда узнали бы самих себя:

> Некоторое время тому назад один из них [террорист. — *Е. О.*] пришел к друзьям. Там была его знакомая студентка, побывавшая в ссылке, много повидавшая и много выстрадавшая. Она вышла замуж за ссыльного и они оба покинули партию по одной причине: надо было убивать; невозможно убить, но надо[51].

В 1903 г. С. П. освободилась не столько из-под полицейского надзора, сколько от революционного «призвания». Возникшее доверие к ссыльному Ремизову, сблизившее их, стало причиной решения идти одной жизненной дорогой. Поэтому вслед

[49] *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1145. Л. 3; письмо от 8 октября 1906 г.

[50] Подробнее см.: *Обатнина Е.* Подруги: один эпизод из истории отношений З. Н. Гиппиус и С. П. Ремизовой-Довгелло // От модернизма к постмодернизму. Русская литература XX—XXI веков: Сборник в честь профессора Халины Вашкелевич / под ред. А. Скотницкой и Я. Свежего. Kraków. S. 251—262 (Seria: Rosja. Myśl. Słowo. Obraz; T. XVII).

[51] *Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д.* Царь и революция. С. 119.

за Ремизовым, который осенью 1902 г. среди ссыльных товарищей объявляет о своем нежелании подчиняться революционной идеологии и подавляющей личность дисциплине[52], С. П. также выходит из-под идеологического и морального контроля партийных товарищей и начинает новую страницу своей биографии — «с чистого листа». Так, история тесных духовных связей С. П. и Гиппиус открывает неожиданный «литературный след» бывшей революционерки Довгелло в публицистическом творчестве ее старшей подруги, который, наряду с «олиными» рассказами в творчестве Ремизова, подтверждает истинное назначение этой женщины в жизни своих спутников — быть неосознанным «проводником» в сферы, доступные им лишь умозрительно.

Потребность во внутренней свободе возникла у С. П. значительно раньше времени завершения ее ссылки — как ни странно, в камере предварительного заключения, когда она впервые взглянула на нелегальную жизнь под другим углом. В романе *ВРБ* Ремизов, со слов С. П., подробно описал первый тюремный опыт молодой революционерки (раздел «С огненной пастью»), который был, прежде всего, связан с новым ощущением жизни. Заточение в одиночной камере в течение 11-ти месяцев стало временем переоценки ценностей. Здесь вновь, после встречи с сектанткой в детстве, ей подумалось об истинном предназначении ее души. В дневниковых записках, легших в основу главки «Прощанье» в романе *ВРБ*, С. П. вспоминала:

> Сначала мне было очень радостно в тюрьме. Мне надоело бегать по делам «конспиративным» и вечно быть занятой, мне надоели все противоречия и настаивания Бабушки о замужестве, надоели оглядыванья: «нет ли шпиона?» — и главное надоело то, что я никогда не могла думать — мне так надо было, меня что-то грызло и давило. А здесь мне свободно, думай хоть сутки!
>
> Я стала все перебирать. Обвиняла себя во всех грубостях, которые я говорила людям. Я однажды на прогулке небо увидела такое голубое, подумала:

---

[52] Подробнее об этом в вступ. статье к публикации: Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. I: Вологда (1902–1903). С. 125.

«Вот я могу на небо смотреть, а Леонов не может — он нас всех выдал!»

И еще подумала:

«Да, на небо могу, но ведь я свою правду потеряла». Все время ведь я лгала эти 2 года, потому что «конспирация» есть ложь: надо представляться, надо скрывать, надо обманывать. Все это для «дела», но душа грязнится. Да и «дела» никакого я не сделала, только беготня; дело — помочь кому-нибудь или утешить кого.

А я бегала, и какие-то книги носила-возила и все старалась скрывать, на это скрыать половину времени уходило. И Богу я не молилась на воле, я, та самая, которая с детства жила молитвою.

Теперь в тюрьме я много горячо молилась[53].

Если для Гиппиус Серафима Довгелло оставалась типологическим образцом, пригодным для построения идеологических моделей, то для Ремизова внутренний мир его жены был непосредственным проявлением ее ноуменальной сущности, за сохранение которой он нес личную ответственность. Осознавая, что опубликованное жизнеописание Оли-Серафимы будет воспринято читателем сквозь призму минувшей эпохи, на форзаце первого книжного издания цикла рассказов «В поле блакитном» 12 мая 1922 г. Ремизов, обращаясь к жене, написал:

Взял книгу / раскрываю — А! / это твое / только обрисовка моя / систематизирование / система — дело мужского ума / это я заметил / а может, все не так подбирать надо было? / Самому не посудить / и на это только ты ответишь / а когда в конце концов / дойдет повесть до какого-то / сегодня — что это получится? — какой образ человеческий? — какой человек? <...>[54]

[53] *Ремизова-Довгелло С. П.* Мои записки. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1033. Л. 13 об.—15.

[54] Личный экземпляр С. П. Ремизовой-Довгелло книги Ремизова «В поле блакитном», изданной в 1922 г. в Берлине (*ИРЛИ.* Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 98; вклеенный лист между титулом и авантитулом, датирован 12 июля 1922 г.).

* * *

В 1927 г. вышла в свет повесть «Оля». В критике были отмечены и необычная для стиля ремизовских произведений простота, и прозрачность повествования, и авторская способность к описанию идиллического мира девушки-подростка. Несколько иной ракурс рассмотрения ремизовской повести неожиданно возник уже в самом преддверии Второй мировой войны, когда для отдельных представителей русской эмиграции роль Германии виделась в мефистофельском ключе — как силы, несомненно, опасной, но способной свергнуть большевистский режим в России. Именно в таком историческом контексте на страницах трех номеров берлинской газеты «Новое слово», ставшей рупором правых национал-демократических взглядов, появилась статья одного из ее постоянных авторов В. Амфитеатрова-Кадашева под названием «Об одной милой Оле»[55]. Ироничное название сразу актуализировало тему обманчивой простоты и обаяния инфантильного романтизма как свойств главной героини повести Ремизова. Критик поставил проблему феномена русского интеллигента-революционера вообще и отношения к революции автора повести в частности. В качестве неоднозначного, но убедительного художественного воплощения этого историко-культурного явления повесть «Оля» подходила как нельзя лучше. Анализируя мотивацию и интенции героини, Кадашев обнаружил причины проникшей в сознание образованного класса русского общества моральной «варваризации». Распространителями «большевистского фурункулеза» он считал многих интеллигентов, первоначально искренне желавших, как и Оля Ильменева, «чтобы пришла правда на землю!»[56]. Оценивая историческую реальность, отраженную в художественной литературе, и феномен русской революционной интеллигенции с точки зрения ее социальной ответственности, критик писал: «что касается идеализма побуждений, то он, быть может, достаточен для снятия *личной* вины. Но вину *исто-*

[55] *Кадашев В.* [*Амфитеатров В. А.*]. Об одной милой Оле // Новое слово. 1939. 7 мая. № 19. С. 3–4; 18 июня. № 25. С. 3–4; 25 июня. № 26. С. 3–4. Автор статьи выражает благодарность проф. Ф. Б. Полякову за предоставление фотокопии печатных номеров этого труднодоступного периодического издания.

[56] См. с. 134 наст. тома (повесть «Оля», гл. «Доля»).

рическую он, несомненно, не уменьшает»[57]. По логике автора статьи, повесть, воспринятая в таком ракурсе, представляет собой панегирик русскому революционаризму, в итоге только разрушившему естественный уклад жизни всех сословий. Писатель удивил критика неоднозначностью своего отношения к революционному опыту: «У Ремизова <...> все извилисто, запутано, двусмысленно. *Как будто,* — «да»... Если не идеологии (ее Ремизов считает совершенной ерундой), то людям: “Оля” — *как будто* — апофеоз социалистической интеллигенции»[58].

Как внимательный читатель, Кадашев отметил странную, на его взгляд, двойственность Ремизова в оценке революционных деятелей. Опытные партийцы изображались писателем в комическом, если не сказать, издевательском ключе, в сравнении с молодым поколением, отдельные представительницы которого, такие как Оля Ильменева, одухотворенные искренней религиозностью, отличались необыкновенным нравственным здоровьем. Вслед за Ремизовым критик отметил приемы идеологической обработки пылких и наивных умов, показав, как под пагубным влиянием «старших товарищей» смещаются не только общечеловеческие, но и, прежде всего, христианские понятия морали, и добрая, открытая миру девушка выбирает своими кумирами людей, идущих на убийство, — Веру Фигнер, Софью Перовскую и других террористов-революционеров. Подмена сущности христианской жертвы политической необходимостью жертвоприношений на алтарь революции для многих ее апологетов обернулась пренебрежением ценностью человеческой жизни: «...обожествив “жертву” Перовской, Оля фактически обожествила бессмыслицу злодейского убийства на Екатерининском канале»[59], — писал Кадашев с позиций не склонного к сентиментальности аналитика, желающего развеять воссозданный Ремизовым романтический дурман сознания молодой интеллигентки. Между тем критик не смог не признать исключительную органичность созданного Ремизовым образа, согласившись, что Олина революционная идея происходит «не по

[57] *Кадашев В.* [*Амфитеатров В. А.*]. Об одной милой Оле // Новое слово. 1939. 7 мая. № 19. С. 3. Здесь и далее курсив авторский.

[58] Там же.

[59] *Кадашев В.* [*Амфитеатров В. А.*]. Об одной милой Оле // Новое слово. 1939. 25 июня. № 26. С. 3.

надуманному слезливо-сентиментальному туманному, но — из крепкого религиозного мироощущения» [60].

В завершение статьи Кадашев, так и не сумев найти неоспоримые аргументы, чтобы предать суду истории «одну милую Олю», озадаченный неординарной личностью героини Ремизова, смягчался: «Мы не знаем конца Олиной жизни (повесть обрывается на третьей части [61]). Есть основания надеяться: Оля преодолеет варварство» [62]. Автор статьи не мог знать, что прототипом героини ремизовской повести была супруга писателя, а сама повесть писалась по ходу ее жизни. Однако его читательская рефлексия, появившаяся в сложном контексте политического напряжения 1939 года, предвосхитила одну из магистральных тем будущего романа, в котором С. П. будет представлена как уникум среди поколения «борцов за правду». В своем «толковании» образа жены и героини романа *ВРБ* Ремизов сопоставлял типологию судьбы поколения с индивидуальным, мировоззренчески обусловленным выбором С. П., когда писал: «Она прошла путь русской интеллигенции — явление единственное и едва ли понятное в Европе» («Последняя Задора»). Довгелло отказалась от революционной практики за два года до Первой русской революции, хотя по своей склонности к жертвенности, как анализировал Ремизов генезис взглядов своей жены, — ее «революционность не от теории, не от “экономической необходимости” и не от страсти к авантюре, не из честолюбия», а по чувству «всемирного боления за всех» (Достоевский) [63]. Это, как может показаться, посмертное «оправдание» С. П. — участницы революционного подполья, близкой самым экстремистским формам революционной борьбы, имело источником дневник Серафимы Довгелло, которая, уже находясь вне революцион-

---

[60] *Кадашев В.* [*Амфитеатров В. А.*]. Об одной милой Оле // Новое слово. 1939. 18 июня. № 25. С. 3.

[61] Несомненно, Амфитеатрову-Кадашеву было известно, что в 1931—1933 гг. публикации рассказов Ремизова о детстве и юности Оли Ильменевой была продолжена в периодической печати (см. обзор первых печатных редакций раздела «Голова львова» на с. 704 наст. тома), однако в них тема революционной деятельности героини не возобновлялась.

[62] *Кадашев В.* [*Амфитеатров В. А.*]. Об одной милой Оле // Новое слово. 1939. 25 июня. № 26. С. 3.

[63] См. с. 568 наст. тома.

ного движения, анализировала пройденный путь нелегальной работы в партии эсеров и ссылки в 1909 г.:

Я с самого детства была очень религиозная и мечтала жить *по правде*, по заповеди Христовой. Я сказала себе: «Я пострадать хочу, мне стыдно, чтобы мне хорошо жилось, когда другим плохо». С такой вот думой я стала участвовать в революционном движении. Я это подчеркиваю, свой мотив, я совсем не «политик», по своей природе я — «мечтатель». И вот в том строе, который только что рухнул, я мечтала о жертве[64].

В неоконченной рукописи эпистолярного романа «На вечерней заре» писатель вспоминал об обстоятельствах отречения С. П. от революционной идеи:

С. П. по своему убеждению отошла от «революционной работы». А предполагалось, что займет высокое место в партии с<оциалистов>-р<еволюционеров>, в созданной Савинковым «боевой организации». На С. П. смотрели, как на Софью Перовскую: она и вправду, не дрогнула б с бомбой в руке. И вот она объявила, что она прекращает революционную деятельность. И это решение ее приписано было моему разлагающему влиянию. В Вологду приезжала Бабушка [Брешковская] уговаривать, и у меня было с ней свидание и разговор. Бабушка была «конспиративно» наряжена: мужские брюки. Встретила меня сурово, пробовала обличать, но должно быть, заметила, умная, что ни под какие общие мерки я не подхожу и если говорить со мной, то как-то не так — не «по-якутски». Расстались мы мирно, хотя злой огонек ее бесстрашных глаз и резанул на прощанье мои улыбающиеся ей глаза[65].

В ремизовском построении литературного образа С. П. «революционность» как таковая являлась сугубо духовной характеристикой ее личности и не исчерпывалась событиями юности. Как утверждал писатель, «корень “революционности” никогда не заглох в ней — “быть довольну, что есть” не такая душа. Она

[64] *Ремизова-Довгелло С. П.* Какие враги были у русского правительства? Автограф. 1905. – *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1034. Л. 2.

[65] *На вечерней заре 1985*. С. 156.

только не высказывалась, но я знаю, какая буря кипела в ее сердце» («Последняя Задора»).

В биографии С. П. можно найти случай такого «красноречивого умолчания», который, в свою очередь, позволяет приблизиться к пониманию, какова же была рефлексия самой С. П. в оценке ее революционной молодости, с одной стороны, а с другой — обозначить политическую и гражданскую позицию С. П. во время Октябрьского переворота и после взятия власти большевиками.

Отношение С. П. к политической жизни, последовавшей за октябрем 1917 г., косвенно угадывается в неожиданном событии, связанном с появлением в рождественском номере литературного приложения к газете правых социалистов-революционеров «Воля народа» рассказа «Ошибки», подписанного *Ольга Ильменева*[66]. Этот, по сути, «святочный» рассказ, созданный Ремизовым по детским воспоминаниям С. П.[67], впоследствии был включен в повесть «Оля». Использование имени героини в качестве псевдонима является единственным в литературной практике Ремизова прямым указанием на авторство С. П., или единственной в своем роде манифестацией совместного творчества супругов[68]. Благодаря искусному пересказу Ремизова эпизод из биографии его жены поднимал тему морально-нравственного «кодекса» ребенка, способного пожертвовать своей радостью (встретить Рождество с родителями) ради непогрешимости идеала матери. Так через проявление детского максимализма могла быть транслирована мысль о моральных принципах взрослого человека, оказавшегося в реалиях Октябрьского переворота, который не снимает с себя личной ответственности как за факт «ошибок» революционной молодости, так и за верность первоначальной идее справедливого мироустройства.

---

[66] Россия в Слове. 1917. 24 дек. № 3. С. [1].

[67] Текст «Ошибки» представляет собой ремизовскую литературную обработку записи С.П., сохранившейся под заголовком «Рассказ» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1039; датирована Ремизовым «XII 1917 г.»).

[68] Другим способом сотворчество Ремизовых было объективировано в совместных рисунках, подписанных двойным глаголическим криптонимом.

Разумеется, такое прочтение — лишь гипотеза идеологической подоплеки, скрытой в факте публикации рассказа «Ошибки», которая если и существовала, то оставалась темой внутрисемейного обсуждения Ремизовых или их бесед только с очень близкими друзьями. Так или иначе, загадочный сюжет с появлением единственного случая употребления Ремизовым псевдонима «Ольга Ильменева», приоткрывает практически неизвестную сторону личности Ремизовой-Довгелло, которая, судя по всему, была настроена к большевикам гораздо более непримиримо, нежели ее муж, и видела в сотрудниках «Воли Народа», и в первую очередь М. М. Пришвине, своих единомышленников. Их солидарность, по-видимому, проявилась в приверженности христианскому идеалу как единственному оправдательному мотиву революционных преобразований. Неслучайно Пришвин, особенно сблизившийся с Ремизовыми в конце 1917—1918 гг., в своем дневнике оставил восторженный отзыв, навеянный тесным общением: «<...> Серафима Павловна <...> — то духовное, серьезное, из-за чего стоит вообще жить...» [69].

* * *

В третий год фашистской оккупации Парижа, 13 мая 1943 г., Серафима Павловна Ремизова-Довгелло скончалась от кровоизлияния в мозг. Сразу после похорон, в состоянии высокого эмоционального напряжения, Ремизов принялся, по его определению, «писать память» [70]. Цикл мемуарных рассказов, сразу получивший название «Сквозь огонь скорбей», представляет собой, по сути, «поминальное» возвращение к событиям общей с женой биографии и к самому началу жизни Серафимы-ребенка.

Теперь, всматриваясь в ретроспективу совместной жизни и за ее пределы, Ремизову предстояло, наконец, полностью раскрыть ноуменальную природу своей спутницы и завершить описание ее земного бытия. В разделе *СОС* кардинальным об-

[69] *Пришвин М. М.* Дневники. 1918—1919. С. 42. Запись от 22 февраля 1918 г.

[70] *Ремизов А. М.* За зеленой оградой. Черновая редакция. Автограф. 1943. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Тетрадь II. Л. 97; гл. «Мои подстриженные глаза».

разом изменился характер повествования, ранее в «Олиной книге» ассоциированного с художественной биографией. Произошедшая смена авторской позиции — от ничем не обнаруживающего себя рассказчика до исповедника, для которого объект описания является частью собственного сознания и неотделим от истории его личной жизни, — окончательно преобразовала весь текст в форму метабиографии.

Последние главы романа с очевидностью убеждают, что в основе представлений Ремизова о судьбе С. П. заложено представление о земном пути как сновидении души, совершающей свой земной круг, чтобы, очнувшись, вернуться в бестелесное состояние небожителя[71]. В рабочих рукописях, более похожих на пронизанную страданием исповедь, нежели на творческий текст, Ремизов вспоминал последние дни С. П.: «И когда я в последние дни с ложечки кормил ее, и обмывал, как детей обмывают, ее беспомощное тело, я прошел всю ее жизнь до колыбели»[72]. Эта запись объясняет внутреннюю мотивацию начала главки «Оля» (*СОС*), которая в печатной редакции романа *ВРБ* открывается видением о Сне, блуждающем по украинскому селу в поисках не спящих детей. Соответственно младенчество Серафимы-Оли Ремизов представил как начало жизненного сна вступившей в земной круг души: «Сон, — позвал я его, — иди к нам: у нас есть колыбелька и в колыбельке Оля» (*СОС*, «Оля»).

В подготовительных материалах к роману, комментируя дневниковые записи жены, Ремизов вновь обращается к созданному им мифу:

---

[71] Ср. интерпретацию ключевого момента судьбы С. П., связанного с ее суицидом, в последней редакции: «И что удивительно, потом я заговаривал о этой ее ночи, но она ничего не могла вспомнить. Эта ночь прошла для нее, как глубокий сон, что тоже смерть» (с. 501 наст. тома) и в черновой: «И что странно, вернувшись к жизни, она забыла эту ночь — с 26 октября <1902 г.>, и во всю свою жизнь никогда не вспоминала, а я не напоминал, и было так, как будто ничего не было или было в глубоком сне» (*Ремизов А. М.* За зеленой оградой. Черновая ранняя редакция. 1943. — *ГЛМ*. Оп. 2. Ед. хр. 64. Тетрадь I. Л. 54).

[72] *Ремизов А. М.* Сквозь огонь скорбей. Черновая ранняя редакция. Автограф. 1943. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Тетрадь II. Л. 90.

> ...в том и несчастье ее, что она покинула свой прозрачный мир и вошла в наш «прекраснейший» за зеленую ограду мучиться на чужбине. А что она пришла «оттуда», можно было догадаться и без всяких слов глазами — как узнавали ее люди высокого духа — по ее глазам, улыбке и рукам[73].

Именно сон у Ремизова является «коридором» памяти, возвращающим душу к прошлым воплощениям. Беспредельность памяти души описана в мистических видениях писателя, связанных с культовыми центрами древнейшей истории, где ему приходилось бывать вместе с женой. Аппиева дорога вела к античной мифологии, тропы друидов бретонского Карнака[74] — к египетским мистериям. Радость узнавания предназначенных друг другу в вечности душ, оживавшая под впечатлением от этих мест, описана как соединение в одно целое — с одним сердцем на двоих:

> ...в сердце пробудилась одна единая память. И открыв дорогу, повела глубже в века над пропастями — в Египет.
>
> Как давно мы знали друг друга!
>
> Наши глаза, наши руки, наше сердце спаяны, — перевивались лучами
>
> (*СОС*, «Встречи»).

В метабиографическом описании жизни С. П. различные жанровые коннотации не противоречат друг другу. Так, с одной стороны, земное воплощение С. П. представлено, в соответствии

---

[73] *Ремизов А.* Выписки из дневников С. П. Ремизовой-Довгелло с его комментариями. Машинопись — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 69. Л. 12. Запись Ремизова имеет ценное продолжение, касающиеся портретных описаний С. П.: «“Рука, полная сверху, сужалась к тонкому и нежному запястью; и кисти рук: маленькие, фарфоровые; в них, как и в улыбке, удивительная чистота” — это впечатление О. Андреевой с первой встречи (Берлин 1921). А глаза переданы на портрете с васильками, рисовала в Париже 1911 г. Маргарита Васильевна Сабашникова, хранится в Петербурге» (Там же. Л. 12—13).

[74] Эти памятные географические места (наряду с Вологдой и Усть-Сысольском, Римом, Венецией и Флоренцией, Берлином, Мюнхеном, Обераmергау, Веной и др.) перечислены в записной книжке С. П. Ремизовой-Довгелло, на обложке которой Ремизов написал название: «Места на земле. Места бывают заколдованные и судьбинные» (*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1078).

с античной мифологией как сновидение ее души, а с другой — как житие, по аналогии с древнерусской агиографической традицией. Ремизов вспоминал в комментариях к дневникам С. П.:

> Музыка, стихи, мое чтение, дети, церковь, Пасха и наши тихие раздумья и одинокие мечты — и это было как краткое свидание из того мира: «Свете тихий!» А затем наступали будни, черной тоской закрывался свет: «душа болит», — так сама она определяла эти будни своего «жития»: жизнь ее была воистину «житием» [75].

Регистр древнерусской литературы «исподволь» был задан уже в первом издании «олиных» рассказов, состоявшемся в 1922 г. Книга «В поле блакитном», впоследствии включенная в повесть «Оля» (1927), несла в себе загадку, поскольку на ее авантитуле содержалось жанровое определение «Пролог». Не всякий современный читатель узнает в этом слове название литературного памятника — сборника житийных рассказов, сохранившее в церковно-славянской культуре звучание своего греческого источника *«Пpóлог»*.

В повести житийная традиция претерпела существенную модернизацию, коснувшуюся, прежде всего, приемов изображения главной героини. Ремизовский основной принцип — констатация, практически лишенная авторской оценки. В результате читатель не знает, что стоит за той или иной характеристикой Оли. Отдельные сюжеты детской биографии С. П., например, такие, как встреча с сектанткой («Черная бабушка»), вносили в обыкновенное бытописание жизни уездной барышни из дворянской семьи символику необычной судьбы. Примечательно, что нашлись читатели, для которых содержательное значение именно этого рассказа оказалось за гранью понимания, и только очень внимательные смогли разгадать ремизовский «ребус». Один из поклонников таланта Ремизова в личном письме делился впечатлениями: «В “Гранях” отрывок о том, как Оля встретилась с черной бабушкой, первоначально удивил меня: в нем только эта черная бабушка и понравилась мне, но теперь, когда я узнал, что это отрывок из “жития” — все понял и с удоволь-

[75] *Ремизов А. М.* За зеленой оградой. Черновая ранняя редакция. Автограф. 1943. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Тетрадь II. Л. 89.

ствием написал о нем свой “петит”»[76]. Очевидно, что догадка о жанровой природе рассказа возникла, когда он появился в составе книги «В поле блакитном» без названия, но под вынесенным на авантитул книги общим заголовком «Пролог».

Метабиографический характер романа *ВРБ*, объединяющий биографию героини и рассказчика в единую повествовательную форму, предоставляет семантические корреляции и с таким жанром философской литературы XX века, как антроподицея. Тема оправдания земных поступков С. П. в романе локализована в трагедии отношений с дочерью Наташей. В ранней редакции романа Ремизов исповедально изложил самые болезненные сюжеты драматической коллизии, состоявшей в отчуждении их дочери, отданной на попечение родственникам С. П.[77] Писатель утверждает материнскую ипостась С. П, воплощение души которой состоялось с рождением ребенка.

* * *

Метафора «В розовом блеске», поставленная Ремизовым на титуле печатной редакции романа[78], полисемантична и образует прямую связь с содержанием и жанровым своеобразием этого уникального в своем роде произведения. С одной стороны, неоспоримым источником названия романа является обнаруженное А. М. Грачевой в элегии В. А. Жуковского «Теон и Эсхин» сходное поэтическое выражение[79]. На первый взгляд, тема романтической поэмы отвечает настроению Ремизова, начавшего писать «комментарии» к жизни и судьбе своей жены, находясь в оцепенении одиночества, но с верой в бессмертие ее души. Повествовательная экспозиция Жуковского начинается с опи-

---

[76] *Amherst.* Box. 1. F. 5. P. 66; письмо Л. Львова Ремизову от 21 апреля 1922 г. Рецензия Львова, возможно, была опубликована в газете «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс).

[77] Подробнее см. в вступ. статье к публикации: На вечерней заре: Письма А. М. Ремизова С. П. Ремизовой-Довгелло: 1912 год. С. 91–92; а также: *Резникова 2013*. С. 66–88; *Бунич-Ремизов 1994*. С. 267–272.

[78] См. подробнее историю печатной редакции романа на с. 722–734 наст. тома.

[79] *Грачева А. М.* Роман-коллаж Алексея Ремизова «В розовом блеске»: к истокам художественной концепции // Долг и любовь: Сборник филологических работ в честь 65-летия профессора М. В. Михайловой. М., 2011. С. 66–75.

сания дома вдовца Теона, продолжающего жить надеждой на будущую встречу со своей почившей возлюбленной:

С безоблачных солнце сходило небес,
И тихое море горело;
На хижину сыпался розовый блеск,
И мирты окрестны алели.

Несомненно, литературная память Ремизова актуализировала в системе аллюзий-кодов, создающих семантическое поле романа *ВРБ,* не только сам образ «розового блеска», но и содержание этой хрестоматийно известной поэмы, посвященной вечной любви, неподвластной смерти. Заметим, что в элегии Жуковского метафора «розовый блеск» носит преимущественно природоописательный характер, как восприятие пасторали глазами возвращающегося домой Эсхина. Автор, живописуя свет последних лучей солнца, нашел поэтический эквивалент теме завершения пути.

Ремизовское прочтение и «авторизация» запомнившегося ему литературного образа не только не противоречит смыслу текста Жуковского, но углубляет его, сообщая элегическому тропу свойства индивидуального мистического ви́дения. Измененная грамматическая форма («в розовом блеске»), в свою очередь, вызывает сразу два вопроса: кто или что является источником «розового блеска», и кто или что видится в этом чарующем излучении. Естественно предположить, что речь идет о свете истины, в котором человеческая сущность предстает в изначально идеальном состоянии. Подобная способность к «ясновидению» — привилегия художника, способного не только обнаруживать скрытое в явленном, но и переводить «язык» откровения в доступные обычному сознанию образы.

В результате авторского переосмысления метафора Жуковского наполнилась символами «семейного» мифа о Серафименебожительнице. Сопоставление черновой и печатной редакций *СОС* открывает любопытный процесс освобождения от прямых аллюзий к поэме «Теон и Эсхин».

В черновике находим:

И когда со слезами она просила меня отпустить ее — вся душа ее изнывала — так из неволи, из плена человек рвется,

она из-за этой зеленой ограды — я все понимал, но было уж поздно. И куда отпустить на погибель? И сама она понимала: «ну и погибну».

Наша встреча была неизбежна, чтобы вместе проходя наш страдный, назначенный нам путь, мне и сохранить ее от гибели — дом, в который она просится отпустить ее, этот *ее родной дом, там — весь он в белом с розовым блеском* <курсив мой. — *Е. О.*>, но дорога до времени заказана: выйдя через меня в наш общий зеленый круг, она подпала под власть враждебных сил. И я сохраню ее от гибели, а она даст мне весь свет и цвет своей души[80].

Канонический текст оказался намного сдержанней. Исчезли темы «дома» и «блеска», восходящие к поэме «Теон и Эсхин», однако неизменной осталась собственно авторская мифология:

Моя жизнь шла кувырком, но я свой за зеленой оградой, а она только через меня сюда, и вся жизнь ее была пронизана горечью жить у чужих.

И когда со слезами просила она отпустить ее — вся душа ее изнывала, так из неволи рвется человек, а она из-за зеленой ограды, я давно все понимал, да не вернешь! И куда отпустить — на погибель? И сама она понимала: «ну и погибну»

(*СОС*, «Мать»).

Подобное нивелирование литературных аллюзий, указывающих на прямые источники, несомненно, было продиктовано желанием перенести запомнившийся романтический образ Жуковского в другую культурную традицию, одновременно наполнив его личным содержанием. Функцию новой «моделирующей знаковой системы» в заключительных главах романа выполняет древнерусская культура как «среда», в которой С. П. нашла профессиональную реализацию.

Ремизов связывает свои образные ассоциации, прежде всего, с Андреем Рублевым, имя которого для писателя столь важно, что даже в своем пояснении к названию романа он неоднократно говорит об иконописце как выразителе «розового бле-

---

[80] *Ремизов А. М.* За зеленой оградой. Черновая ранняя редакция. Автограф. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Тетрадь II. Л. 87; гл. «Дары».

ска»[81]. Другими словами, Рублев для Ремизова был, прежде всего, художником-духовидцем, таланту которого подвластно «приблизить» к человеку образы горнего мира и живописными средствам передать истинную суть Божественного[82]. Свойство «розового блеска» — сопровождать ноуменальные явления — находим в описании визионерского опыта, пережитого писателем еще при жизни С. П., в последний рождественский вечер, проведенный супругами Ремизовыми на улице Буало:

> *И в розовом блеске* сквозь серебро вскинулись воздушные мосты <...> а стена с Пифагоровым «числом и мерой» — мои цветные геометрические конструкции, сверкая серебром, *раскрылись вглубь, как настежь весною окна, и приблизили дали — «сущность вещей» и всея природы* <курсив мой. — *Е. О.*>
>
> (*СОС*, *«Святый вечор»*)[83].

Та же семантическая коннотация содержится в видении, постигшем писателя после смерти С. П.:

> Мы стоим рядом лицом к окну: она в белом и вся светится: платье, лицо и руки — приподнятые руки — глаза и улыбка — *в розовом блеске, такой блеск я помню у Рублева* <кур-

---

[81] См. переписку с издательством имени Чехова на с. 730 наст. тома, а также статью Ф. Полякова, впервые затронувшего проблему древнерусского узуса в романе *ВРБ* и, в частности, семантики его названия: *Поляков Ф.* «В розовом блеске» Алексея Ремизова: память культуры и ритуал поминовения // From Medieval Russian Culture to Modernism. Studies in Honor of Ronald Vroon / Lazar Fleishman, Aleksandr Ospovat, and Fedor Poljakov (eds.). Frankfurt am Main [et al.], 2012. S. 151–161 (Russian Culture in Europe; 8).

[82] В этом смысле Ремизов сходится с философской трактовкой иконописи вообще и в искусства Рублева, в частности, как «окна» в «горний» (ноуменальный мир) в сочинениях П. Флоренского — в статье «Троице-Сергиева Лавра и Россия» (1919) и книге «Иконостас» (1918–1922).

[83] «Сущность вещей», выделенная кавычками в этом фрагменте, очевидно, является аллюзией к стихотворению В. Брюсова «Я часто размышлял над сущностью вещей...» (1895). Характерно, что Ремизов предлагает противоположный путь обнаружения «сущности вещей» — не лишая их «и красок и пространства», как виделось Брюсову, а напротив, благодаря световому наполнению серебром и цветовым отражением «геометрических конструкций».

сив мой.— *Е. О.*>. И одно мне странно, — ведь стоим рядом и, кажется, плечо-к-плечу, а вижу ее, как издали, и не подаст голоса

(*СОС*, «Дупло»).

Соответственно, ремизовское сopоложение «розового блеска» и искусства Рублева носит принципиально субъективный характер[84], имплицитно указывающий на мотив личной сопричастности образу гениального художника. В черновой редакции главы «Последняя Задора» с его именем оказались связаны яркие воспоминания о Спасо-Андрониковe монастыре, у стен которого прошло детство писателя:

...получаю из Праги от Н. Е. Андреева издания Кондаковского Института, цветные репродукции: тут и «Владимирская» — Москва, Успенский собор, и «Умиление» Рублева — с детства я приходил в его дом-мастерскую, в Андроньев, как кое-то странное чувство охватывало меня, когда, войдя в ворота, я ступал по следам Рублева... он меня вспомнил![85]

Останавливаясь на «встречах» писателя с искусством Рублева, отметим, что все творения иконописца, которые писатель в свои детские годы мог видеть воочию, посещая Спасо-Андроников монастырь и Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, находились тогда в массивных окладах. Например, знаменитая «Троица» была высвобождена из чеканной золотой «брони» времен

[84] Очевидно, Ремизов подразумевал не конкретные колористические особенности иконописи, а собственное впечатление. Искусствоведческие и философские исследования наследия Рублева (труды М. и В. Успенских, кн. Е. Н. Трубецкого, А. И. Успенского, И. Э. Грабаря), с которыми писатель, возможно, был знаком, не содержали упоминаний об эффекте «розового блеска». Исключение составляет статья Грабаря, который отмечал присутствие розовых оттенков в «Троице» и центральных фресках Владимирского собора (*Грабарь И.* Андрей Рублев: Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918—1925 годов // Вопросы реставрации: Сборник Центр. гос. реставрационных мастерских. Вып. 1. М.: Центр. гос. реставрационные мастерские, 1926. С. 19—21, 72—74). Однако это издание Ремизову навряд ли было знакомо.

[85] *Ремизов А. М.* Сквозь огонь скорбей. Черновая редакции. Автограф. 1943. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 63. Тетрадь II. Л. 87.

Бориса Годунова только в 1904 г.[86] Обнаружилось, что богатое убранство святыни в течение веков скрывало собственно уникальную живопись, которая к этому времени претерпела многократные поновления, существенно изменившие первоначальный образ подлинника. Первый опыт раскрытия иконы от позднейших записей (1904—1905), несомненно, оказался в поле внимания Ремизовых, когда фотофиксация (в черно-белой печати) ее «нового» облика, еще далекого от известного в наши дни, появилась на страницах символистского журнала «Золотое Руно»[87]. После реставрации «Троица» вернулась в иконостас Сергиевой Лавры. Именно поэтому писатель в письме к С. П. от 19 мая 1909 г., во время ее кратковременного пребывания в Москве, советовал увидеть сенсационное открытие рублевского шедевра: «Не забудь, сходи в Успенский собор, в Румянцевский музей, да и в Троице-Сергиевскую Лавру (к “Троице”) съезди <...>»[88]. Цветную репродукцию «Троицы», которая едва ли могла быть источником впечатления, совпадающего с эффектом «розового блеска», писатель, возможно, впервые увидел в упомянутом выше издании пражского Института им. Н. П. Кондакова.

* * *

По мере продвижения повествования к трагической развязке — описанию последних дней С. П. и времени, наступившему после ее смерти — метабиографические свойства раздела *СОС* все более ассоциируются с житийным жанром, герой которого является центром притяжения всего окружающего мира, построенного вокруг него безвестным автором. В рассказе о совместной жизни писатель отводил себе заведомо второстепенную роль, тем самым практически «канонизируя» образ жены[89].

---

[86] См. фотофиксацию иконы в окладе, воспроизведенную в черно-белой печати в кн.: *Успенские М. и В.* Заметки о древнерусском иконописании: известные иконописцы и их произведения. I. Св. Алипий и II. Андрей Рублев. СПб., 1901. С. 59.

[87] См.: *Успенский А. И.* Иконописание в России до 2-й половины XVII в. // Золотое Руно. 1906. № 7/9. С. 22—24.

[88] *На вечерней заре 2015.* С. 180.

[89] В этом смысле примечательна затонувшая в черновых редакциях романа мысль писателя, которая курьезным образом демонстриру-

Такого рода авторское самоумаление сказалось в апологетических пассажах, посвященных С. П. как человеку, распахнувшему перед ним «дверь» не только в мир древнерусской литературы и палеографии, но и в ранее неведомый мир путешествий — с Атлантическим океаном и особенными, мистическими местами, которые «напоминали» обоим о прежних встречах их душ в минувших веках. Наконец, только жене писателя было дано восполнить непознанное им в детстве чувство материнской заботы — только ей удавалось мудро ограничивать иллюзии его безудержного воображения. Так, образ потерянной в земной юдоли души-небожительницы преобразовался в образ женщины, по своей природе предназначенной быть любящей матерью:

> Сколько бы я наделал глупостей — к своему часто бываешь и слеп и глух — ни в чем не зная ни меры, ни удержу, и при моем безграничном доверии к человеку, и *воображению — видеть не то, что есть, а то, что тебе хочется, и всегда нарядное, увенчанное, в «розовом свете»* <курсив мой. — *Е. О.*>. Она предостерегала меня и, как мать, выговаривала
>
> (*СОС*, «Мать»).

Как следует из приведенного выше пассажа, полисемантическое наполнение заглавной метафоры («в розовом блеске») в созданной Ремизовым метабиографии закономерно распространялось на оба субъекта повествования. Адресованная своему «Я», она получала критические коннотации (видеть «в розовом свете» — строить иллюзии), а в отношении к С. П. — опиралось на установочный императив (видеть «в розовом блеске» — познать ноуменальную природу).

ет и оборотную сторону свойственного ему самоумаления. Рассуждая на тему розановской идиллии жизни, выраженной символом ветхозаветного «Древа жизни», где есть место не только Эросу, но и эротике, Ремизов прибег к приему сопоставления образа С. П. Ремизовой-Довгелло с известными героинями русской литературы и вдруг озадачился: что бы написал Достоевский, если бы его музой была не Аполинария Суслова, а С. П. Ремизова-Довгелло: «Читая биографию Достоевского и вычитывая из его романов, я всегда думал, если бы *такому* выпала на долю *такая* встреча, а не “Суслиха” — Полина, образ которой он пронес до смерти, но ведь этот образ из розановского “Древа Жизни” обречен огню!» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Тетрадь II. Л. 82).

Значительно более экспрессивная сбивка идиллической интерпретации названия романа проявилась в главе «Под огненной потравой». Характерно, что здесь Ремизов помещает повествование в историко-литературное русло, находя аналогии переживаемой им трагической реальности в образцах русской прозы [90]. Даже в «бедственное время» он мыслит в пределах парадигмы литературных аналогий, позволяющих ему перенести личное переживание в область типологии человеческой скорби, запечатленной в художественных произведениях. Как потерявший сына несчастный отец, герой рассказа Лескова «Владычный суд», покрывается капельками кровавого пота, «розовыми блестками», мерцающими на его измученном лбу и теле, так и Ремизов пишет окончание своего романа в «исступлении человеческой воли перед непоправимым», с «напряженнейшей до кровавого взблеска» [91] мыслью «вернуть» ушедший образ С. П., отчужденный от него маской смерти.

В черновой редакции романа свою «жизнь после смерти», продолжавшуюся в земном одиночестве, Ремизов описал, не остерегаясь чужих глаз и не прибегая к литературным аллюзиям:

> После смерти С. П. я взялся писать мою память и шесть месяцев писал, не прерывая мысли. И пока я писал, я видел перед собой живого человека, слушал его и отвечал ему. Но как только кончилась моя работа, я почувствовал себя заключенным в мертвецкой: дверь за мной закрылась, и уж выйти не было ни сил, ни надежды. В моих глазах неотступно костенело одно мертвое лицо. То, что произошло, я принял, нелегко это, но ничего уж нельзя было поделать: жизнь не вернешь [92].

* * *

В метабиографическом континууме ремизовского романа особое место занимают две заключительные главы («Задора»

---

[90] Принцип литературных аналогий прослеживается также в главе «Оля» («За зеленой оградой»), где образ С. П. «проанализирован» в сравнении с женскими типажами классической русской литературы.

[91] См. с. 572 наст. изд.

[92] *Ремизов А. М.* За зеленой оградой. Черновая ранняя редакция. Автограф. – *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Тетрадь II. Л. 97–98; гл. «Мои подстриженные глаза».

и «Черная немочь»), содержание которых основывается на документальных материалах. Здесь собраны краткие, часто отрывочные формы: отдельные эпизоды, поминальный список имен и семейные письма. Привлечение фрагментов из эпистолярного наследия предков С. П. позволило создать эффект соприсутствия родственных душ, к которым, говоря языком «московских просвирен», «приложилась» жена писателя, навсегда вернувшись в их круг.

Повествование о трудах и днях С. П. писатель завершает традиционными элементами древнерусской книжности — колофонами («Рад бысть заяц...» и «Рад бысть корабль...»)[93] и поминальным синодиком (список ученых)[94]. Так, исполнив миссию спутника С. П. и летописца ее судьбы, Ремизов «запечатал» эмблематическими формами наиболее близкой ему культурной традиции душевную боль, вырывавшуюся на страницы черновой редакции романа:

> В минуту, как вернувшись из госпиталя, куда только что отвез ее — умирать, я с неимоверным усилием снял мое кольцо — знак нашей жизни, но что было делать без денег! — и тотчас поднялась стена, я так живо это почувствовал из самых корней чувств — и собрались всякие силы, они отгоняли меня, задерживали, не подпускали близко. Дело моей жизни было кончено[95].

В Откровении Иоанна Богослова косвенно говорится об ответственности летописца за вписанные им в Книгу Жизни имена:

---

[93] См. о функциональной роли колофонов в поэтике *ВРБ*: *Поляков Ф.* «В розовом блеске» Алексея Ремизова... S. 157—158. Характерно, что Ремизов использует именно те писцовые концевые виньетки, которые в свое время были переписаны С. П. из трудов по палеографии и стали предметом ее исследования. Сохранились ее конспективные заготовки к лекциям (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1080. Л. 7).

[94] Впервые подобная интерпретация жанрового своеобразия главы «Задора» предложена в статье: *Поляков Ф.* «В розовом блеске» Алексея Ремизова... S. 160—161.

[95] *Ремизов А. М.* Сквозь огонь скорбей. Черновая ранняя редакция. Автограф. 1943. – *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Тетрадь II. Л. 90, гл. «Последняя встреча».

> ...и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть Книга Жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими[96].

Отдаленные аллюзии к апокалиптическому образу «Книги Жизни» угадываются в размышлениях Ремизова, относящихся к 1922 г., когда он, выпуская в свет «про́лог», посвященнный детским годам С. П. — «В поле Блакитном», терзался сомнениями:

> ...я боюсь даже задумывать
> а хотелось бы все исполнить
> посмотреть.
> Вот в конце-то и скажется, правильно ли подобрано[97].

Спустя 21 год смерть поставила точку в истории, соединившей судьбы писателя и Серафимы Довгелло. Для Ремизова этот финал был ассоциирован с фактом окончания литературного произведения, посвященного всей жизни его спутницы и созданного по мере отпущенного таланта:

> Сумел ли я передать моим словом и цвет и свет человеческой души? Мало желания, а дар мой — трезво говорю: после Толстого и Достоевского — чуть-чуть, на кукушкино пение. Не ленясь, трудился и все, что мог, сделал. И готов дать ответ[98].

С завершением романа был «исполнен долг» вписавшего имя С. П. Ремизовой-Довгелло в анналы Книги Жизни и создавшего образ в такой же степени идиллический, как и реальный. В этом, наверное, и состоит особенность метабиографии, простирающейся за пределы чувственно воспринимаемых событий, в те области, откуда приходят и куда уходят души. Рассказ о том, как произошло возвращение «домой» души-небожительницы, остался на последних страницах черновой редакции романа:

---

[96] Откр 20: 12—15.

[97] Окончание дарственной надписи на экземпляре книги «В поле блакитном» (Берлин: Огоньки, 1922) — *ИРЛИ*. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 98. См. прим. 54.

[98] *Ремизов А. М.* За зеленой оградой. Черновая редакция. Автограф. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Тетрадь II. Л. 87; гл. «Дары».

А в свое последнее воскресенье она все собиралась написать письмо в Киев сестре и — Наташе. И это заветное имя, прозвучав в последний раз, отошло от нее, — час освобождения приближался. А когда, оттрудив свой труд жизни, она почувствует, что и мое имя отходит от нее, или когда оно просто забудется, она выйдет из зеленого круга, так измучившего ее, и войдет в свой — белый самый жаркий пронзительный, освещенная его чистейшими лучами в розовом блеске[99].

Елена Обатнина

[99] *Ремизов А. М.* Сквозь огонь скорбей. Черновая редакция. Автограф. – *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 63. Л. 47.

КОММЕНТАРИИ

От редакции: общие эдиционные принципы подачи текстов в настоящем томе подробно изложены в преамбуле к XI тому Собрания сочинений А. М. Ремизова, вышедшему в 2015 г. (*Зга-Росток XI.* С. 3—8). Она предваряет тома Собрания сочинений А. М. Ремизова, которое является продолжением издания, увидевшего свет в 2000—2003 гг. (*РК I—X*). Произведения Ремизова публикуются с учетом авторских особенностей орфографии и пунктуации.

ОЛЯ

Впервые опубликовано: *Ремизов А.* Оля. Повесть. Париж: Вол, 1927; с посвящением С. П. Довгелло. 352 с.

Печатается по изданию 1927 г. с исправлением опечаток, орфографических и пунктуационных ошибок.

Автографы и авторизованные тексты:

«Оля» (редакция повести, отрывки). Автограф. 1923. — *Amherst.* Box 16. F. 9a. 63 p.; «Оля» (редакция повести, отрывки). Автограф. <1920-е>. — *Amherst.* Box 16. F. 9b. 77 p.

Тексты-источники:

Ремизова-Довгелло С. П.: Воспоминания о детстве и юности. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1033. 14 л.; «Какие враги были у русского правительства?» <Воспоминания о партии социал-революционеров, обстоятельствах тюремного заключения и ссылке>. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1034. 3 л.; «Как это произошло?» <Воспоминания о тюремном заключении и подруге Наташе>. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1035. 4 л.; «Бедненький и Колода». <Неоконченный набросок рассказа>. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1036. 3 л.; «Петербург». <Воспоминания о годах учебы на Бестужевских курсах>. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1037. 9 л.; «Ошибки». <Набросок рассказа>. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1039. 5 л.; «Котенок». <Набросок рассказа> — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1040. 5 л.; «Вл. М. Черкасов. На память». <Набросок> — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1043. 3 л.

Ремизова-Довгелло С. П.: «Мои записки», записи, письма (рукой Ремизова, с его с заметками и примечаниями) — *Книга I.* — *ГЛМ.* Ф. 156.

Оп. 2. Ед. хр. 287, *Книга II – ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 288, *Книга III – ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 289, *Книга V – ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 291, *Книга VI – ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 292.

Повесть «Оля», как и другие произведения Ремизова, посвященные жизни и судьбе его жены Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло (далее: С. П.), вполне можно считать апологией ее личности и образа. Героиня предстает, по определению писателя, как бы «в розовом блеске». На книге легенд о Николае Чудотворце «Три серпа», подаренной жене в 1929 г., Ремизов, в частности, надписал: «...дух — это высота, это горнее, прозрачная тишина. И такой дар в человеке влечет и покоряет, хотя и жутко. Дух не знает никакой кривизны и беспощаден. И кто влечется к горнему, тот это знает. А всякое отдаление погружает во всякие сделки. / В тебе есть эта высота, и это чувствуют “духовные” люди, хотя бы опутанные, но духовные. Для меня — по опыту нашей жизни — отношение к тебе есть мера человека» (цит. по: *Кодрянская 1959*. С. 184). Н. В. Резникова утверждала: «Не только в жизни, но и в литературе А<лексей> М<ихайлович> выделял С<ерафиму> П<авловну>, ставил ее на пьедестал и отводил ей совсем особое место среди других людей. Он много писал о ней в книге “Оля”, изображая ее в лице героини Оли “с ее горячим сердцем, пламенной верой, жертвенностью и жаждой подвига”. В реальной жизни он любил С<ерафиму> П<авловну> такой, какой она была, со всеми ее человеческими слабостями; по отношению к ней для него были неприменимы обыкновенные человеческие мерки. Для него С<ерафима> П<авловна> была человеком не как другие. По сути своей она не должна была идти путем обыкновенной женщины. В детстве ей был указан другой путь — служение Богу. <...> А<лексей> М<ихайлович> посвящал свою жизнь С<ерафиме> П<авловне> так же, как посвящал ей свои книги» (*Резникова 2013*. С. 77, 79). Подробнее о С. П. и ее взаимоотношениях с Ремизовым см: *Раевская-Хьюз О.* Образ С. П. Ремизовой-Довгелло в творчестве А. М. Ремизова (к постановке проблемы) // А. М. Ремизов: Материалы и исследования. СПб., 1994. С. 10–15.

Свое разветвленное повествование писатель создавал главным образом на основе воспоминаний жены, названных ею «Мои записки». В них значимы слова, обращенные к Алексею Михайловичу: «Это я тебе пишу свои записки, ты мой один родной друг» (*Книга VI*. Л. 4; см. также: *Книга I*. Л. 117). Материалы, собственноручно написанные С. П., сохранились в собрании *ГЛМ* (см. источники текста).

Записки жены Ремизов после ее смерти решил переписать своей рукой с краткими заметками от себя. 29 ноября 1944 г. он обратился с просьбой к Б. Пантелеймонову: «Нет ли у вас подержанной (можно

выдрать исписанные листы) счетоводной тетрадки. Я собираю архив Серафимы Павловны: ее заметки, дневники. У меня уже есть несколько тетрадей: в них удобно писать. Я пишу с моими примечаниями» (Наше наследие. 2013. № 107). Ср. свидетельство Н. В. Резниковой о том периоде жизни Ремизова: «Много времени отдавал переписыванию из архива писем С<ерафимы> П<авловны> и выписок из ее старых дневников, случаев из их общей жизни. Всё это записывалось в книги типа бухгалтерских (таких книг четырнадцать)» (*Резникова 2013*. С. 148). Переписанные Ремизовым тексты записок С. П. с его комментариями см. в рубрике «тексты-источники».

«Мои записки» жены писатель предварил (в квадратных скобках) своим пояснением, имеющим непосредственное отношение к истории создания повести: «В этой книге записки С<ерафимы> П<авловны>, ими я пользовался для “Оли”. И у меня такое чувство, что не всё я мог (сумел) передать в моем рассказе. Откуда эта русская революционность? Никакая теория не имеет тут значения, тут прямо от сердца: не хочет оно по заведенному — это какой-то голос в человеке наперекор. С этим голосом люди родятся. / То, что я узнал от С<ерафимы> П<авловны>, мне очень близко: я родился с тем же голосом в сердце. Это потом разбирают по “партиям”, но основа одна. Есть, наверное, в движениях, отличающих “мирных” от “революционеров”, не мирных. Опытные жандармы это знали. / И так всегда будет, пока стоит мир. / С<ерафима> П<авловна> рассказывала, но писать не любила. А ведь мне нужна была точность, и много я докучал, прося записывать. А, бывало, и согласится, но — скоро и надоест, “потом” скажет. И опять прошу. А то напишет и уничтожит. Так многое из рассказанного, но не записанное, пропало. А ведь “Оля” была бы еще богаче!» (*Книга VI*. Л. 3). Ср. другие свидетельства Ремизова о мемуарах жены: «Из них вышла моя книга “Оля”. Не знаю, может, всё это в “безыскусственной” форме, как писалось, яснее и ярче моей “повести”. С<ерафима> П<авловна> записывала, что приходило ей на память, а не преднамеренно, и только иногда я просил ее записать что-нибудь из рассказанного ею. “Оля” писалась не только по записям, а и по рассказам» (*Книга I*. Л. 118).

Литературная форма, в которую облеклась «Оля», Ремизов считал наиболее близкой ему: «Мне гораздо ближе лирическая форма... <...> или форма более свободная, вне рамок. Не роман, скорее повесть от своего лица или от лица кого-нибудь другого. Для меня всего легче — от женского лица. Очевидно, мне ближе выражение женской души» (*Резникова 2013*. С. 77). Писатель и иначе определял жанр этого произведения: «А хроника — “Оля” (“В розовом блеске”), это, кажется, и моя беллетристика» (*Кодрянская 1959*. С. 117). Ср. также высказывание автора об архитектонике повести в творческой тетради XVI: «Построение “Оли” (“В розовом блеске”) музыкальное. С возвраща-

ющимися мотивами. Для меня это ясно, хотел бы проверить, как это звучит на другое ухо?» (*Грачева 2010*. С. 433).

Н. В. Резникова, вспоминая друга Ремизовых — поэта В. В. Диксона, писала: «Он издал на свои средства книгу “Оля”. Издательство было названо “Вол”, и марка издательства была нарисована С<ерафимой> П<авловной> — с обводкой А<лексея> М<ихайловича>» (*Резникова 2013*. С. 74). На экземпляре «Оли» Ремизов, упоминая, в частности, данный рисунок, сделал такую дарственную надпись Серафиме Павловне: «В этой книге всё: содержание, отдельные слова и целые фразы — твое (“историю” — книжку нашел!), и самый “вол” — твоей работы, во всем моя только *обрисовка*. А может быть, если бы ты сама писала, вышло бы всё вразумительнее, как рисунок “вола”, который настоящий художник никогда не нарисует, а если и нарисует, то будет “рисунок”, а не живое. Искусство часто убивает “дух”. / Хоть что-нибудь сохраню в этой книге из твоей жизни» (цит. по: *Кодрянская 1959*. С. 178–179; курсив Ремизова).

Позднее в творческой тетради V Ремизов так писал о повести и ее героине: «Оля Ильменева идет об руку с Лизой Бахаревой из “Некуда” Лескова. <...> “Оля” — заключительная глава истории русских революционеров — повесть начата Лесковым романом “Некуда”» (*Грачева 2010*. С. 345, 346).

Генезис заглавий разделов повести связан с семантикой родового герба Довгелло: «“В поле блакитном”, как и название третьей части “Оли”, “С огненной пастью”, это описание герба семьи С. П. — Задора-Довгелло: “Голова львова, сера, космата, в поле блакитном, с огненной пастью”. Эти заглавия не случайны, они символически передают черты характера героини» (*Раевская-Хьюз О.* Образ С. П. Ремизовой-Довгелло в творчестве А. М. Ремизова. С. 11).

М. А. Осоргин так отозвался о повествовании и ее главном персонаже: «Дитя мелкопоместной семьи, Оля Ильменева. Прекрасные страницы детства и юности. Ремизову исключительно присуще искусство памяти прошлого... <...> У Оли живой характер, любознательный ум, хорошая прямота и юная пылкость. Окончив гимназию по семнадцатому году, едет, не спросив согласия родных, в Петербург на курсы, — и снова художник любовно и тщательно собирает память о всем, что было красиво, смешно и славно в прежней студенческой жизни, что занимало молодые умы, слепо принималось ими на веру, звало на подвиг. “Протестами” и мечтами о “подвиге” заполнена жизнь Оли, курсистки, за двадцать пять рублей продавшей парикмахеру свои золотые косы, резко порывающей с любимой подругой только потому, что она проявила себя эсдечкой <социал-демократкой. — *В. Б.*>: а Оля эсерка, и идеал ее — Перовская. Одного не уступает Оля — горячей и *упрямой* веры, привитой ей с детства (церковь, о. Евдоким, а больше

всего бабушка, нянька Фатевна, светлые и памятные дни больших праздников). Оттого и все ее наивные политические порывы в основе всегда глубоко религиозны и жертвенны. <...> Проходит через повесть девушка ("Весна – Доля – Невеста"), чистой и красивой души, – весна революции, доля женщины, невеста недосказанного будущего. Изумительно благоуханная повесть. Повесть о недавнем, но уже далекая и старомодная» (*М. О.* [Осоргин М.]. Новая книга А. М. Ремизова // *ПН.* 1927. 9 июня. № 2269. С. 3; курсив М. О. Осоргина).

В своей рецензии Ю. Айхенвальд писал, акцентируя художественные, стилевые особенности повествования: «Судьба героини, ее биография, прослеженная от детских и до девичьих лет, своею яркой нитью, чисто ремизовской вязью, тянется через усадьбу, маленький городок, столицу. Но дело не в содержании этой рассказанной жизни, а в том, как она рассказана, в пышном словесном узоре, который выводит искусное, изощренное, затейливое перо нашего даровитого автора. Внимание читателя не столько к биографическому, сколько к стилистическому существу привлекается; и с удивлением и с удовольствием останавливаешься, например, на фразе, которая занимает почти три страницы (284–287), не прерванная ни одною точкой, но от этого нисколько не запутанная, ловко и ладно сводящая концы с концами, образующая собою какой-то словесный коралловый полип. И таких цветений слога, таких пиршеств русской речи, таких переливов звуковой красочности много в книге Алексея Ремизова. И даже подавляет здесь преобладание орнамента; он слишком заметен и слишком наряден. Можно и против архитектуры всего изложения возражать, против расположения частей, против вольных и невольных повторений и медленного кружения вокруг да около предмета. Особенно слабеет впечатление там, где повторяются самые события: так, сумасшествие одного героя наносит для читателя ущерб сумасшествию другого героя; и то, что повесился отвергнутый Олей Караулов, не так уже волнует нас, когда мы узнаем, что застрелился отвергнутый Олей Черкасов. Но в иных местах романа хорошо сливается эстетическое с человеческим – в одну нерасторжимую цельность, т. е. перестаешь тогда отдельно замечать самоцветный наряд Ремизова и отдельно – внутреннюю суть его повествования. <...> Юмор милый сопровождает автора по его живописной дороге, по этому литературному ландшафту... <...> Незабываем образ священника Свободина, у которого в одну зиму умерли жена и сын, а весной утонула младшая дочь. <...> Вся книга – разлив русской стихии. Цветут родные поля, и веет над ними любовь их сына, заброшенного на чужбину» (*Айхенвальд Ю.* Литературные заметки // Руль. 1927. 15 июня. № 1987. С. 2).

Г. Адамович отмечал: «Ремизов пожелал дать жизнеописание. Его Оля на первых страницах – маленькая девочка. К концу книги она

курсистка-революционерка. <...> Жизнеописание полно мельчайших подробностей, нередко отвлекающих внимание от главного. Иногда думаешь даже, что подробности эти, эти постоянные отступления, замечания в сторону, вся эта лукаво-добродушная, хитро-простоватая болтовня, — и есть главное. Образ Оли — бледноват. Да и мог ли не оказаться бледноватым образ увлекающейся, чистой, порывистой, готовой на самопожертвование девушки, образ, задуманный вполне традиционно, чуть-чуть что не по-семидесятнически, с общественными идеалами, с народническим пафосом, — мог ли он не оказаться бледным после всего, что написано на эту тему в русской литературе? Сказать "клише" было бы несправедливо. В образ Оли Ремизову удалось все-таки вдохнуть жизнь — и там, где ему изменяет вдохновение, помогает умение и находчивость. Но что-то слишком знакомое, как бы стереотипное в Оле есть. Автор мог бы не трудиться над тем, чтобы нам этот характер раскрыть. Довольно двух-трех слов, и мы сразу понимаем, какой из готовых литературных типов он желает нам представить. Мне возразят, пожалуй, что таких Оль имелось и имеется множество в русской жизни, что это тип не литературный, а жизненный. Соглашаюсь. Но это доказывает только то, что человеческие души, при всем их разнообразии, способны принимать одно и то же состояние, как солдаты или школьники надевают одну и ту же форму. Не "состояние" есть все-таки предмет наблюдения художника, и не форма, — а то, что за ними.

Подробности и отступления, короткие рассказики, вкрапленные в большой общий рассказ, часто прелестны, почти всегда остроумны. По легкости чтения и легкости письма "Оля" — одна из редких книг Ремизова. Его изобретательность пошла в ней не на словесные узоры, а на узоры тематические. Сколько тем, людей, типов, случаев, речей, положений в "Оле" — сосчитать невозможно. Обычное стремление — выделить из жизненной путаницы нечто законченное — Ремизову осталось чуждо. У него одно тянется за другим, одно за другое цепляется, воспоминание за воспоминания, как в разговоре. Появление новых людей в романе ничем не оправдано и не вызвано — разве что явным увлечением рассказчика, удовольствием его от рассказа» (*Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 19 июня. № 229. С. 1—2).

Н. Кульман уделил особое внимание жанровой принадлежности повествования: «Ремизов назвал свое новое произведение, несмотря на его значительный объем, не романом, а повестью. Это название характеризует одновременно и содержание, и манеру письма. Роман скорее, чем повесть, вызвал бы вопрос о пределах и способах изображения действительности; роман не допустил бы многого из того случайного, что в жизни всегда заслоняет сущность явлений, скрытую для большинства и делающуюся доступной только при помощи фило-

софского умозрения или чаще посредством художественного восприятия. У художника круг явлений шире, чем у философа. <...> Наиболее хороша первая часть. Действие здесь протекает в родовых поместьях и провинциальном городе. Старый помещичий быт, чинный, спокойный, глядит на читателя из каждой главы. Невольно вспоминаются дворянские гнезда, Обломовка. Жизнь тихая, неторопливая, мирная. Горе ли налетит, несчастие ли обрушится, смерть ли кого похитит, отнесутся без особых душевных драм, без лишней напряженности, просто, по-христиански. Быт свято охраняют, видят в устойчивости его источник силы и благополучия, и молодое поколение, само того не замечая, впитывает его в себя. <...> Читая первую часть повести, словно сидишь в гостиной старой усадьбы, а со стен на тебя глядят старинные портреты, будят воспоминания, нашептывают о далеком прошлом, расшевеливают фантазию. Вот старозаветная бабушка, заботливая, нежная, полная внимания и ласки, любящая и любимая. Вот няня – носительница поверий, преданий старины, народной мудрости и народной поэзии, и целый калейдоскоп фигур разных поколений, разных сословий. Всё это не тщательно выписанные портреты, а скорее эскизы. <...> Во второй и третьей части повести Оля – курсистка, благородная, увлекающаяся, но с большим характером не без некоторой доли истеричности, с болезненным стремлением оградить свою волю от чьего бы то ни было влияния, со смесью положительности и мистичности. Она почитает Л. Толстого, но увлекается и Гофманом с его таинственностью и чудесностью. / С большим искусством изображен Ремизовым переход от Оли-ребенка к Оле-девушке, а студенческие годы Оли и мечты ее пожертвовать свою жизнь за то, чтобы правда пришла на землю, дают возможность Ремизову нарисовать в юмористически благодушном виде картину революционной пропаганды, которая велась среди молодежи. <...> Многое в последних двух частях повести Ремизова списано с действительности, и всякий, особенно петербуржец, без труда узнает, кто это "любимый, хотя и не раз освистанный" профессор Воркунов или проф. Дадыкин, якобы поцеловавший курсистку Мизюкину, и кто эта Мизюкина, вызвавшая на курсах беспорядки "из-за поцелуя" и т. д.

Как обычно у Ремизова, новое его произведение согрето чувством любви к родине. Эту любовь вы чувствуете на протяжении всей книги... <...> Ни тревожных вопросов, ни волнующих дум, ни острых впечатлений новая повесть Ремизова не возбуждает. Но она дает читателю то чувство тихого и умиротворяющего эстетического удовольствия, которое испытываешь, глядя на мягкий пейзаж или отдаваясь свободной игре воспоминаний о далеком и занимательном прошлом» (*Кульман Н.* «Оля» Алексея Ремизова // Возрождение. 1927. 18 авг. № 807. С. 3).

К. Мочульский так передал содержание повести: «В этом романе рассказывается о простой и радостной жизни Оли Ильменевой: первая часть "В поле блакитном" – детство, деревня Ватагино, воспоминания об отце, матери, няньке Фатевне, о странниках и сундуке с бабушкиным приданым, всё вместе: и важное, и незначительное, и печальное, и трогательное; всё, как запомнилось, вне перспективы и выбора: непосредственная запись детских впечатлений. Нянькины сказки, пасхальная заутреня, рождественские каникулы, смерть бабушки, а рядом случай с бешеной собакой и история о зайчике, который приносит конфеты. Автор никак не "строит" своего повествования. Это похоже на дневник — так же лично, отрывисто, иногда случайно, но из мелочей и беглых заметок вырастает в неповторимом своеобразии смутная и сказочная пора детства. И в этом смысле приемы Ремизова прямо противоположны приемам Толстого в "Детстве" и "Отрочестве". Толстой восстанавливает прошлое с точки зрения взрослого: у него материал памяти подвергается последующей переработке; Ремизов смотрит глазами ребенка, прошлое для него — настоящее: чудесный, сверкающий и таинственный мир. У одного — аналитический разум, у другого — лирическое воображение.

Вторая часть — "Доля" и третья "С огненной пастью" посвящены Олиной юности. Петербург, Бестужевские курсы, революционная работа, сходки, конспирация, аресты. В нашей литературе история революционного движения никогда еще не разрабатывалась как поэтическая тема. К сложному общественно-политическому явлению Ремизов подходит не как историк и бытописатель. "Деланье революции" он воспринимает лирически, и в партийном подполье видит не догму и доктринерство, — а великую любовь и жажду "пожертвовать собой". <...> Убогий и печальный быт, наивная и нетерпеливая идеология подростков — растворены в чистой лирике. Всё прозрачно, всё залито радостью жизни и верой в "идеал". И у Ремизова это слово может стоять без кавычек: его гуманизм — не идея, а подлинная реальность. <...> "Оля" — повесть о горячих детских сердцах, о жертвенности, о служении. Чтобы избежать ложного пафоса, автор выбирает людей самых обыкновенных — совсем не похожих на героев. Чтобы не впасть в чувствительность, — он подчеркивает смешные мелочи их жизни. И всё же общий тон книги героический.

Стиль Ремизова, основанный на интонациях живой речи, свободен и от синтаксических шаблонов, и от литературных клише. <...> Нужно вслушаться в ремизовский "сказ", войти в ритм его словосочетаний, чтобы почувствовать их художественную и психологическую оправданность. В каждом новом произведении язык его творится заново. <...> Создается иллюзия живого голоса — то заглушенного, интимно-шепчущего, то взволнованно-громкого, но спокойно-замедлен-

ного, то торопливо-прерывающегося. Из интонаций вырастает перед нами образ самого рассказчика: ты видишь его жесты, тики, ужимочки, его улыбку и хитрый взгляд. В искусстве выразить себя до конца – он неподражаем. Каждое его выражение – личное, неповторимое и единственное. Язык Ремизова – одно из самых замечательных явлений современной нашей литературы. Разрыв с "письменной" традицией, начатой Ломоносовым и обоснованной Карамзиным, – возвращение к народным жанрам (сказка, песня, скороговорка, духовный стих) и к писателям неканонизированным (Аввакум, Лесков, Розанов) – придают его творчеству громадную историко-литературную значительность. Ремизов обращен лицом к будущему: он подлинный учитель молодого поколения писателей» (*Мочульский К.* Алексей Ремизов. Оля // Современные записки. 1928. № 34. С. 500–501).

Д. Святополк-Мирский писал: «"Оля" <...> в творчестве Ремизова противостоит "Взвихренной Руси" почти как антитеза. Если во "Взвихренную Русь" он вложил всё свое богатство, в "Оле" он сосредоточил всю свою чистоту. Больше чем всякая другая книга Ремизова "Оля" принадлежит к "старшей линии" русской литературы, линии не Гоголя, Достоевского и Лескова, а Пушкина, Аксакова и Тургенева. Для многообъятности Ремизова характерно, что автор "Стратилатова", самого демонического гротеска, в то же время автор "Оли", самой свежей идиллии. В то же время, для самого писателя, "Оля" огромное усилие самоограничения. Именно своим строгим исключением всего грубого, всего демонического, всего сомнительно свежего и сомнительно чистого Ремизов продолжает традицию "Капитанской дочки", "Багрова внука" и "Дворянского гнезда". Но – достижение особенно трудное для духовного внука Гоголя и Достоевского. Чистый идиллический мир "Оли" <...> встает однако во всей своей природной свежести, и высокое, объективное искусство писателя предстает нам в своем конечном достижении, в своей чистой и "первобытной" легкости. Высшая зрелость искусства, умеющего преодолеть свою зрелость и обрести потерянный рай простоты» (*Святополк-Мирский Д.* Критические заметки // Версты. 1928. № 3. С. 156).

См. также другие отклики: *Н. Б.* [Берберова Н.]. <Рец.> // Новое время. 1927. 22 сент. № 1917. С. 3; *В. Б.* [Бранд В. В.]. <Рец.> // За свободу! 1928. 17 июня. № 137 (2469). С. 6.

В поле блакитном

Впервые опубликовано: *Ремизов А.* В поле блакитном. Берлин: Огоньки, 1922. 134 с.; с посвящением С. П. Ремизовой-Довгелло; дата: «1909–1921 г.»; вышло два идентичных изд. Названия глав отсутствуют. На С. 8, возможно, подзаголовок книги: «Пролог».

Прижизненные издания: *Ремизов А.* Оля. Париж, 1927. С. 7–131.

Первые публикации глав: «Дом с белыми башнями»: Голос России. 1921. 25 дек. № 849. С. 3; «Таинственный зайчик»: Русская мысль. 1909. Кн. 10. Отд. I. С. 131—137; «Бочоночек»: Ежемесячный журнал. 1914. № 1. С. 41—42, 2-е в цикле «Весеннее порошье»; «Ошибки»: Россия в слове. 1917. 24 дек. № 3; подпись: Ольга Ильменева; «Пасха»: Тропинка. 1910. № 8. С. 307—313; «Черная бабушка»: Грани. 1922. Кн. 1. С. 47—91; «Жаркое лето»: Северные записки. 1916. № 1. С. 5—31.

Прижизненные издания глав: «Дом с белыми башнями»: *Оля.* С. 9—22; «Таинственный зайчик»: *Оля.* С. 23—33; «Бочоночек»: *Оля.* С. 34—37; «Ошибки»: *Оля.* С. 38—41; «Пасха»: *Оля.* С. 42—49; «Черная бабушка»: *Оля.* С. 50—97; «Жаркое лето»: *Оля.* С. 98—131.

Газета «Руль» в конце января 1922 г. сообщала, что «в начале февраля книгоиздательство “Огоньки” в Берлине выпускает из печати ряд книжных новинок», среди них «В поле блакитном» Ремизова (1922. 29 янв. № 366. С. 7).

Н. В. Резникова вспоминала о своем знакомстве с Ремизовыми в Берлине в 1922 г.: «А<лексей> М<ихайлович> подарил нам <Н. В. Резниковой и ее матери. — *В. Б.*> свою только что вышедшую книгу “В поле блакитном” (в голубом поле, геральдическое обозначение; первая часть будущей книги “Оля”) и сказал, что эта книга написана по устным воспоминаниям С<ерафимы> П<авловны>. Серафима Павловна рассказала, что в ее детстве между нею и ее сестрами не было духовной близости и она мечтала иметь подругу, близкую ей и во всем похожую на нее, с именем Оля» (*Резникова 2013.* С. 97).

Вероятно, сразу по выходе повести Ремизов сделал такую надпись в подаренной С. П. книге: «И вот опять мы на распутье, уж больше месяца в разрушенном доме, “без угла” бездомно. И зимой это впервые, к зиме как-то обыкновенно устраивались прочно и не трогали нас. / Взял книгу, раскрываю. А! это твоя, только обрисовка моя. / Систематизирование, система — дело мужского ума, это я заметил, а может, всё не так подбирать надо было? Самому не посудить, и на это только ты ответишь. / А когда в конце концов дойдет повесть до какого-то сегодня — что это получится? — Какой человек? Я боюсь даже задумывать, а хотелось бы всё исполнить, посмотреть. Вот в конце-то и скажется, правильно ли подобрано» (цит. по: *Кодрянская 1959.* С. 160).

На экземпляре французского перевода произведения Ремизов надписал жене, подчеркивая особое значение для него этой повести: «Сегодня подписываю в лунный сочельник и весенний ветер. Когда возвращался из церкви, чувствовал — эта книга есть “наглядное”, “осязимое” доказательство: что значит встреча с духом, а не с кишками, которыми обмотаны сколько моих книг. / Если бы не произошла встре-

ча с тобой, если бы не было мне счастливой доли — этой книги не было бы. / И откуда мне было взять свету: по каким-то своим законам он медленно окутывал душу, книга писалась с 1909 г. Вот что ты для меня сделала, какой дар получил я через твои светы голубо-белые, которые не только светят, а и просвечивают» (цит. по: Там же. С. 179—180).

Н. Асеев несколько язвительно отметил, что «В поле блакитном» — «...попытка уйти в "милое далёко". Повесть — о детстве помещичьей дочки, сотни раз рассказанная в русской литературе, с небольшими интимными вариациями. <...> И как припев ко всему: "Ах, как жаль, / Что камаль / Вышел уж из моды. / Скоро шаль / И вязаль / Спрячутся в комоды". Напевает А. Ремизов старенький мотивчик — и на душе у него легче становится: "В старину лучше было". Что сказать о самой повести? Кому она нужна? Для чего написана? Очевидно, — кому-то и для чего-то... Для тихих вздохов о прошедшем, для сердце сжимающих воспоминаний, для горько поджатых губ, затаивших мысль о "реванше". Ну, что ж? / "Нам не жаль, / Что камаль / Вывелся из моды", — а кому уж очень его жалко, пусть тихонько плачет над мироточивыми главами книжек рассказчика-стилизатора, отводящего своей марой действительность от ненавидящих ее глаз» (Печать и революция. 1922. Кн. 8. Ноябрь-декабрь. С. 224—225).

С. Я. Осипов, подписавшийся криптонимом «С. Я.», одобрительно отозвался о повести, акцентируя мастерство художника-бытописателя: «Верный своему таланту бытописателя, Ремизов дает в своей новой книге, в блестящей литературной форме, богатый этнографический материал. <...> Если еще сказать, что Ремизов дает также богатейший лингвистический материал, что сохраняет нам перлы русского языка, то получится полная характеристика бытописательской стороны книги» (Жизнь (Ревель). 1922. 18 мая. № 24. С. 4). Ремизов откликнулся в письме к автору рецензии 11 июня 1922 г.: «Ваш отзыв о "П<оле> блак<итном>" получил, спасибо. / Очень добросовестно написана...» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2001 год. СПб., 2006. С. 244; публ. Е. Р. Обатниной).

Рецензент газеты «Руль» назвал повесть «В поле блакитном» лучшим из всех произведений Ремизова, «вышедших за последнее время за границей»: «На последней странице ее мелким шрифтом сделана скромная пометка "1909—1921 г.". Другими словами, эта небольшая повесть <...> писалась в течение двенадцати лет. И что это были за годы! Несмотря на то что авторская работа над повестью растянулась на такой долгий срок, вся повесть, с первой страницы и до последней, выдержана в совершенно особенном, строгом и четком стиле, проникнута одним настроением. Это отрывок из семейной хроники, повесть о детских и отроческих годах девушки из богатого и родовитого дворянского дома. И всё описываемое автором, как и герб старинного ро-

да Ильменевых, резко вырисовывается на фамильном “блакитном” фоне. <...> Повесть А. Ремизова полна превосходно написанных сцен и эпизодов. Он рассказывает их со спокойствием летописца, не мудрствуя, не зная ни радости, ни гнева. Рассказывает так, как рассказала Оля о своей встрече с черной бабушкой. А между тем, всё то, что он рассказывает, такое редкостное и такое интимное. И всё это изображено с такой выпуклостью, что читатель как будто действительно видит всех описываемых автором людей перед собой. Для каждого из них Ремизов находит немногие, но чрезвычайно характерные черты, и далекое теперь уже прошлое снова оживает под его пером. / Повесть “В поле блакитном” несомненно крупное, любовно и бережливо выношенное автором художественное произведение. Одной из ее особенностей является плавное, ритмическое развитие повествования. В ней есть какая-то скрытая гармония, в ней слышится нежный и грустный напев. / Это повесть о глубинах человеческой души, о глубинах, где кончается власть рассудка, где царят несознанные, <...> часто неотразимые движения» (*П. Ш.* [П. О. Шутяков]. А. Ремизов. «В поле блакитном » // Руль (Берлин). 1922. 20 авг. № 524. С. 9).

Д. П. Святополк-Мирский особо выделил произведение: «Это история девочки Оли, сначала дома в деревне, потом в школе, потом в университете, где она становится эсеркой. Это одна из лучших его повестей — еще и потому, что здесь он воздерживается от излишеств стиля и оригинальничанья, сохраняя главное — чистоту разговорного языка. Тут замечательно воссоздана тонкая и мягкая атмосфера старосветского деревенского дома и прелестно написана героиня. Но это, скорее, не роман, а ряд жизненных зарисовок и анекдотов» (*Святополк-Мирский Д. П.* История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / пер. с англ. Р. Зерновой. 2-е изд. Новосибирск, 2006. С. 774). См. также: *Л.* [Лурье В. О.] <Рец.> // Дни. 1922. 26 нояб. № 24. С. 11.

Дом с белыми башнями

Ремизов отмечал, что «дом “с белыми башнями” сгорел в революцию» (*Книга I.* Л. 69). Об этом доме см. также свидетельство Б. Б. Бунича-Ремизова: *Бунич-Ремизов.* С. 369.

С. 5. *...В Ватагине и через Ватагино... — Ватагино* — в реальности село Берестовец (Берестовица) на реке Смолянка; там было родовое имение, в котором С. П. Ремизова-Довгелло провела детские и отроческие годы. Ср. в родословной семейства Довгелло, составленной Ремизовым: «Родовое поместье Довгелл в Борзенском уезде Черниговской губернии село Берестовец, в соседстве с Батуриным, столицей

левобережной Украины... <...> На селе барский дом — “замок” на восточный лад с башнями» («В розовом блеске». Авторизованная машинопись. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 65. Л. 3).

С. 5. *...другая на Чернигов.* — Здесь единственный раз в повести Чернигов фигурирует под своим историческим названием; далее — Покидош.

Александр Павлович велел всех принимать... — Отец С. П. — *Павел Иванович Довгелло.*

...ее брата Мишу... — В действительности брат С. П. — *Сережа, Сергей Павлович Довгелло.* Она вспоминала о нем: «Сережа самый добрый из нас, совсем незлобивый, добрый, хороший, никому зла не сделал, его все любили, мама больше всех его любила» (*Книга I.* Л. 116 об.; см. также: *Книга V.* С. 53).

...бродяжка портит. — То есть наводит порчу, наносит вред.

Наталья Ивановна, кормившая грудью Таню... — В реальности мать С. П. *Александра Никитична Довгелло* (урожд. Самойлович); *Таня* — младшая сестра С. П. *Мария Павловна Довгелло.*

Бумажка с кровью, бросаемая «на примку»... — *Примка* (*болг.*) — ловушка, петля, удавка, силки. Зд., вероятно, в значении: в качестве ловушки, служившая ловушкой.

С. 6. *...то и дело на всходах и в колошенье раскручивал крестом закрутки...* — Имеются в виду колдовские закрутки (заломы) на полях, результат вредоносной магии ведьм и колдунов: скручивание, ломание, связывание узлом колосьев. Подобную порчу наводили в период цветения злаков, а также в ночь на Ивана Купалу.

...случилось это в Рождество Богородицы... — Рождество Пресвятой Богородицы празднуется 8 (21) сентября.

С. 7. *...от няньки Фатевны...* — Имеется в виду старая нянька Татьяна. Ср. о ней у Ремизова: «...она и отца Оли выходила. <...> От этой няньки <...> с первых лет набралась Оля всяких вер и поверий, и не только черниговских, а и киевских и полтавских: нянька все святые места обошла...» (с. 583 наст. тома).

Александр Павлович — худой, высокий, борода длинная белая... — Касаясь внешнего облика отца Серафимы, внук Ремизова Б. Б. Бунич-Ремизов свидетельствовал: «В “Оле” сказано, что у него борода длинная и белая... <...> Однако на всех хранящихся у меня его фотографиях, даже поздних, у него лишь усы — а не борода...» (*Бунич-Ремизов.* С. 368).

С. 8. *...бабушки Анны Михайловны...* — Имеется в виду мать П. И. Довгелло Анна Ефимовна Довгелло (урожд. Ковалевская).

...дети играют в короли или в рамс... — Имеются в виду карточные игры. В игре «в короля» участвуют 4 человека, в «рамс» играют от 3 до 7 человек в 2 колоды из 32 карт.

С. 8. *...своей младшей сестре Надежде...* — Имеется в виду Наталья Ивановна Василенко (урожд. Довгелло).

...в Меженинке... — В действительности село Прохоры.

Марья Петровна Вольская — двоюродная сестра Натальи Ивановны... — В действительности — Ольга Алексеевна Войнович (*Книга VI*. Л. 58).

С. 9. *...и плавучие вензеля...* — *Вензель* — замысловато переплетенные заглавные буквы имен или инициалы. Зд., возможно, в одном из значений термина: плавучая лодочная пристань.

...к любимой бабушке Татьяне Алексеевне. — Имеется в виду бабушка со стороны матери Мария Михайловна Самойлович (Ратькова). С. П. писала о ней: «...я думаю, что лучше всех меня понимала бабушка <...> я это как-то чувствовала, что бабушка знает, какая я» (*Книга I*. Л. 60).

С. 10. *Было одно, что никак не мог выносить Александр Павлович, — деньги.* — Ср. в воспоминаниях сына Павла Ивановича, брата Серафимы, Сергея Довгелло: «Из болезни отца я помню массу битого стекла в зале, кажется, от бутылок, и слова: "Это деньги"» (*Довгелло С. П.* «"Три осокоря". (По Борису Лазаревскому Три тополя)» — *ИРЛИ*. Архив А. М. Ремизова. Ф. 256. Далее цитируется: *Довгелло С. П. Три осокоря*).

...рытые ковры... — Имеются в виду ковры из «рытого бархата», пушистые, с атласным фоном и узорами из ворса.

С. 11. *...как крот землю роет!* — По народным суевериям, примета, предвещающая смерть.

Таинственный зайчик

Первоначально в 1909 г. Ремизов намеревался напечатать рассказ в журнале «Нива» при посредстве К. И. Чуковского; см. об этом: Переписка А. М. Ремизова и К. И. Чуковского // *РЛ*. 2007. № 3. С. 154–158 (публ. и комм. И. Ф. Даниловой и Е. В. Ивановой).

С. 15. *...и про лягушку-турлушку...* — Подразумевается травяная лягушка, издающая звуки, похожие на воркование горлинки.

...по золотому дарил. — Золотая монета достоинством в разное время 3, 5, 10 рублей (империал и полуимпериал, червонец).

...как поступил в полк принца Карла Прусского... — В письме к матери от 24 мая 1848 г. Ив. Ив. Довгелло сообщал матери о том, что его брат П. И. Довгелло «поступил в Стрелковый батальон, а прикомандирован в *полк Принца Карла Прусского*» (с. 598 наст. тома; курсив Ив. Ив. Довгелло).

...и на войну пошел... — Не исключено, что П. И. Довгелло воевал во время Крымской войны 1853–1856 гг. Документальных подтвержде-

ний об участии его в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. найти не удалось. Б. Б. Бунич-Ремизов отметил: «...в годы 2-й русско-турецкой войны он был уже в отставке и с начала 1870-х гг. занимал видное положение в Черниговской губернии, в состав которой входил Берестовец; был председателем уездной земской управы, а позже членом губернской земской управы» (*Бунич-Ремизов*. С. 368).

С. 15. *И о прадедушке Оли — Петре Михайловиче...* — Имеется в виду отец Ивана Михайловича Довкгело, деда С. П.

И о дедушке — своем муже Павле Петровиче... — Имеется в виду И. М. Довкгело, отец П. И. Довгелло, дед С. П.

И еще рассказывает бабушка, как страшно умер дедушка Павел Петрович — зарезался! — Дед С. П. по отцу Иван Михайлович Довкгело зарезался в мае 1843 г. См. в воспоминаниях Сергея Довгелло, брата С. П.: «Дедушка причинил бабушке сильное горе, он зарезался бритвой, не то в припадке белой горячки, не то рассердившись на что-то» (*Довгелло С. П. Три осокоря*).

С. 16. *...в день святого Андрея Критского и явления Пресвятыя Богородицы, яже в Пергии.* — Св. *Андрей Критский* — богослов, проповедник, автор духовных гимнов. *Яже* (старослав.) — который, которая. *Пергия* (Перга) — город в Малой Азии, который посетил апостол Павел (Деян 13: 13, 14). День явления и празднования Галатской иконы Божьей Матери, хранившейся в Пергии, также приходится на 4 (17) июля.

...устюжских сундуков с добром. — Имеются в виду окованные железом, украшенные узорами сундуки из Великого Устюга.

...Богородична с шатами... — *Шата* — металлический оклад икон.

...дукат серебряный вызолоченный... — Имеется в виду крупная монета, эквивалентная по стоимости золотому дукату (3,5 г золота).

...крытая гарнитуром капуциновым... — *Гарнитур* (устар.) — плотная шелковая материя. *Капуциновый* — темно-коричневый.

...сподница гарнитуровая... — *Сподница* — на Украине и в Белоруссии нижняя юбка с узорным краем подола.

...волнистой тафты... — *Тафта́* — плотная глянцевитая тонкая ткань.

...сподница дрезетовая... — Вероятно, грезетовая, сделанная из грезета (гризета), шерстяной ткани серого цвета с мелким узором.

...кунтуш суконный... — *Кунтуш* (укр.) — верхняя мужская или женская одежда в виде кафтана с широкими рукавами.

...шуба баранковая... — То есть барашковая, из меха барашка, ягненка.

...халат камлотный... — *Камлот* — плотная шерстяная или полушерстяная ткань темного цвета.

...венецкой каламанки... — *Каламанк* — вид полосатой шерстяной ткани. *Венецкая* — венецейская, венецианская.

С. 16. *...полуштаметовых две...* — То есть полушерстяных.

С. 17. *...запаска полутобейковая...* — *Запаска* — женский передник.

...кофта ~ с мушками... — *Мушки* — узелки, вытканные на ровной ткани.

...платок шелковый бытьевой... — Возможно, имеется в виду бытовой платок замужней женщины для повседневных нужд.

...тканых взором и заполочью... — *Заполочь* — в Малороссии и на юге России разного цвета нитки для вышивания.

...ручники... — расшитые домотканые полотенца.

...хустки тканые... — *Хустка* — кусок холста, платок, салфетка.

...полотна кужольного и конопляного... — *Кужельное* (кужольное) полотно производилось из хорошо обработанного льна. Ткань из волокон конопли отличается особой прочностью.

...запона... — Золотая, серебряная или металлическая бляха с драгоценными камнями.

...намитки... — *Намитка* — старинный женский головной убор восточных славян.

...килимы... — *Ки́лим* — тканый гладкий (без ворса) ковер ручной работы.

...ковдра набойчатая... — Покрывало, сделанное из ткани с набойкой, то есть с оттиснутым изображением.

...плахот закладанных... — Возможно, имеется в виду *плахотка* (укр.) — наплечная накидка. *Закладанная* — вытканная на пяльцах.

...запасок... — *Запаска* — у украинцев род юбки или фартука из темной шерстяной ткани.

С. 18. *...намиста красного десять низок...* — *Намисто* (укр.) — то же, что монисто. *Низка* (укр.) — нитка, на которую что-либо нанизано.

...пояс крапковый... — *Крапка* (укр.) — точка, пятнышко, горошек.

...основа пляная... — *Основа* — продольные нити ткани.

...с назимком... — *Назимок* (укр.) — годовалый бычок, теленок.

...ведьму на топчаке... — *Топчак* — лежак, топчан.

...перебрасывать и вертеть, как кубарик. — *Кубарик* — стопка бумаги небольшого формата, которую можно легко перелистывать или отрывать, как листки календаря.

С. 19. *...в очерете мужик стоит...* — *Очерет* — род камыша или тростника.

С. 20. *Там была Ирина...* — Имеется в виду Екатерина Павловна Довгелло (Котляревская) — старшая сестра С. П. Ремизовой-Довгелло (см.: *Книга I.* Л. 69, 70).

...лепили из песку пасочки... — *Пасочка* — пасхальный кулич.

С. 21. *...с Александрией Кенсориновной...* — Ср. в очерке Б. Б. Бунича-Ремизова о настоящем имени этой берестовецкой гостьи: «Отчетливо помню рассказы Лидии Павловны <сестры С. П. — *В. Б.*> о том,

что у них часто гостила соседка, которую звали... необычно: Филиппия Фортунатьевна. Видимо, она и имеется в виду — т. е. необычное имя-отчество вполне мотивированно» (*Бунич-Ремизов*. С. 371).

Ошибки

С. 25. *...приехал за Наташей Григорьевой...* — В «Моих записках» в главке «XIV. Ошибки» отмечено, что в действительности речь идет о Марусе Нечаевой (*Книга VI*. Л. 57).

...Юрий Васильевич Григорьев... — В реальности *Владимир Васильевич Нечаев* (Там же).

Пасха

С. 28. *— Если спросить Олю, что она больше всего любит, Оля так и ответит: — Пасху.* — Ср. прим. Ремизова к мемуарной главке «3. Пасха»: «Помню, я рассказал, как мы в детстве ждали Пасху, и несмотря ни на что говорилось у нас, как последний выход и утешение: “вот придет Пасха”. <...> а ведь это ее душевное состояние за “Зеленой оградой”: “дрожит вся душа”» (*Книга I*. Л. 115).

...в макотре... — Макотра (макитра; укр.) — у восточных славян глиняный горшок для перетирания мака и других семян.

С. 29. *Вербная неделя на исходе.* — В народном календаре шестая неделя Великого поста; заканчивается в Вербное воскресенье.

Вот наступит Страстная неделя... — Последние шесть дней Великого поста. Также называется Чистая неделя.

С. 30. *...кружовенная...* — То есть наливка, сделанная из крыжовника.

С. 31. *...и в колеби свечи...* — То есть в колебании пламени свечи.

С. 32. *...катать яйца...* — Пасхальная забава: крашеные яйца катают по желобу, изготовленному из дерева или картона. Цель такого катания — попасть в яйцо или игрушки соперника, чтобы забрать их себе.

Черная бабушка

Автограф: *ИРЛИ*. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 25.

Об интересе Ремизова к хлыстовским обрядам, отразившемся в рассказе, см., в частности: Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / вступ. ст., подг. текста и прим. Е. Р. Обатниной // *РЛ*. 1995. № 3. С. 167.

Рецензент газеты «Руль», подписавшийся криптонимом П. Ш. (П. О. Шутяков), так отозвался о первой публикации рассказа, «написанного в мягких “пастельных” тонах»: «Он повествует о девочке-подростке, шаловливой краснощекой резвушке, превращающейся в су-

щество, проникнутое готовностью посвятить себя Богу. Автор рисует жизнь женской гимназии и немецкого пансиона для девиц. В рассказе много так свойственных А. Ремизову мистико-манящих нот. Как по размерам, так и по художественной значительности это несомненно самый крупный рассказ альманаха» (Руль (Берлин). 1922. 8 янв. № 348. С. 6).

С. 37. *...в Турецкую войну мир был заключен — / — В Стефане Батории. — Стефан Баторий* — король польский и великий князь литовский. Мирный договор во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. был заключен в Сан-Стефано, пригороде Константинополя, 19 февраля (3 марта) 1878 г.

...И ты, Брут... — Марк Юний *Брут* возглавил заговор против императора Юлия Цезаря 15 марта 44 г. до н. э. Знаменитое выражение «И ты, Брут?» (лат.: «Et tu, Brute?») — согласно легенде, последние слова Юлия Цезаря, обращенные к его убийце, другу (по другим источникам — побочному сыну) Марку Юнию Бруту.

...завернулся в свою тогу и упал мертвый к подножию Помпеевой статуи»! — Статуя Гнея Помпея Великого находилась в зале Сената, где произошло убийство Цезаря.

С. 38. *...ею изобретенные нотабены... — Нотабена* (нотабене; NB) — знак, отметка для указания определенного места в тексте, на которое нужно обратить внимание.

С. 42. *...положить батюшке на теплоту. — Теплота* — церковное вино, смешанное с водой, которое пьют после причастия.

С. 43. *...черемным...* — То есть красным, рыжим.

...в соболях с бунчуками... — Бунчук — зд., вероятно, в значении: бисер, бусы.

...и с саженкой... — Зд. в значении: *са́желка* (са́жалка) — искусственный водоем.

...с «угольком в огоньке»... — Народное название цветка адонис летний красный.

...с «растрепанными барышнями»... — Народное название космеи — цветка из семейства астровых.

...в дровотне... — Дро́вотня — место, где рубят дрова.

...под серебряной осокорью... — Осоко́рь — черный тополь, из семейства ивовых. Серебристые листья у тополя белого.

...в возовне... — Возовня — навес или сарай для телег, экипажей, сельскохозяйственных орудий.

...с бедой, с чертопхайкой, с шарабанами, с трепыхталкой и с трундулетом... — Беда (устар.) — экипаж. *Чертопхайка* — одноколка, легкий двухколесный экипаж с одной осью. *Шарабан* — старинная четырехколесная повозка с деревянными скамьями. *Трепыхталка* — вероятно,

словообразование Ремизова. *Трундулет* — имеется в виду драндулет, старая расхлябанная повозка.

С. 44. *...через клубнику в клуню...* — *Клуня* — молотильный сарай, постройка для молотьбы и хранения хлеба.

С. 46. *В одну зиму умерла у батюшки жена и сын от скоротечной чахотки, а весной утонула младшая дочь.* — Возможна аллюзия на повесть Л. Н. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» (1903), в которой повествуется о фатальных семейных трагедиях в судьбе священника.

С. 48. *...под душистою веткой сирени / с ней сидел я над сонной рекой...* — Начальные слова старинного романса на стихи В. В. Крестовского (1857); муз. В. Н. Пасхалова (1871), В. Н. Всеволожского (1871) и др.

С. 50. *...теплом коричневом джорсэ...* — Возможно, имеется в виду кофта из джерси, трикотажного полотна из шерстяной, хлопчатобумажной или шелковой ткани.

С. 52. *...без своих кружевных черных наколок...* — Имеются в виду наколки из крупных кружев, обрамляющие прическу наподобие чепца.

...губы осметки... — То же, что ошметки, клочья, жалкие остатки.

С. 54. *...с помощью «Марша русских добровольцев».* — Автор этого марша — обрусевший немец Ф. Герман, один из авторов музыки романса «Очи черные».

С. 56. *...стоя визави...* — То есть друг против друга.

С. 57. *Построен на реке Смуреть...* — Вероятно, ремизовский топоним от слова «смурь» (тоска, хандра, мрак). Ср. в тексте первых публикаций в «Гранях» (1922) и «В поле блакитном» (1922): «Построен на реке Смурге...». Одна из рек, на которой расположен Чернигов, называется Стрижень.

...таинственный разбойник, если не Соловью, то Савицкому и Лбову по отваге нисколько не уступавший... — Подразумевается *Соловей-разбойник* — в восточнославянской мифологии лесное чудище, нападающее на путников и обладающее убийственным по силе свистом. *А. И. Савицкий* — террорист-экспроприатор. В 1905—1907 гг. сблизился с эсерами. Стал главарем банды грабителей. Послужил прототипом Сашки Жегулева, главного героя одноименного романа Л. Н. Андреева, написанного в 1911 г. *А. М. Лбов* — известный в годы Первой русской революции террорист-экспроприатор. В 1906 г. вступил в военно-боевую дружину РСДРП. С апреля 1907 г. — главарь пермских «лесных братьев». См. о нем: *Осинский В.* Атаман Лбов — «гроза Урала»: (Роман из жизни современной вольницы и подвижников). Вып. 1: Лбов в Финляндии: (Среди петербургских дачников). СПб., 1908.

С. 58. *...и бульканье, ~ и оттолочка...* — Перечислены многочисленные колена соловьиных трелей.

С. 60. *...политань?* — Имеется в виду серая ртутная мазь, применявшаяся против вшей.

С. 65. *...«Брось хлеб позади, очутится впереди».* — Русская народная пословица.

С. 66. *...читая «Да воскреснет Бог»...* — Молитва животворящему Кресту Христову, для спасения души; читается во время бесовских искушений и нападок.

Жаркое лето

С. 71. *Хорош Егорьев день...* — Народное название праздника в честь великомученика Георгия Победоносца. Отмечается 23 апреля / 6 мая и 26 ноября / 9 декабря.

...проходит русалья неделя — зеленый Семик... — Русальная (Троицкая) неделя, предшествующая празднику Троицы. *Семик* (зеленые Святки) — Великий четверг, Троица умерших, день русалок.

...знойно страдное «ладо»... — У славян бог Лад (или *Ладо*) — покровитель любви, примирения и согласия; также отождествлялся с языческим богом солнца Ярилой.

...хороши и дожинки... — *Дожи́нки* — обряд завершения жатвы.

...когда придет воркотун... — То есть ворчун, брюзга.

С. 72. *...гофреный...* — Гофрированный, из волнообразной ткани.

Ах, как жаль, ~ Спрячутся в комоды... — Цитата из стихотворения Ф. Н. Глинки «Прощай, камаль...» (1843). *Камаль* — женская накидка с капюшоном. М. Осоргин интерпретировал эти строки в контексте произведения: «Так в Меженинке напевает экономка бабушки Анна Павловна... <...> Из старенького, крутобокого, набитого воспоминаниями комода черпает Ремизов прекрасные образы и словесные украшенья, приглашая не забывать и любить. Тем, кто привык или кто не может привыкнуть к хитрой и беспокоящей невнятице некоторых ремизовских творений, — следует вникнуть и в другую сторону его творчества, ясную, ласковую, уютную и простую. “Оля” — такая книга. Тот же искусник, тот же немного хитрец, но в мирную минуту жизни и в беседе с простыми людьми» (*ПН*. 1927. 9 июня. № 2269. С. 3).

С. 74. *...и мнишки тут в рот не возьмешь.* — *Мнишки* — изделия украинской кухни из творога и картофеля, напоминающие сырники.

...на Великом посту говеют... — В христианстве главный пост, напоминающий о 40-дневном посте Христа в пустыне. Заканчивается в день празднования Светлой Пасхи. *Говеть* — соблюдать строгий пост.

...три кутьи справляют... — *Кутья* — у славян ритуальное блюдо, каша, сваренная из цельных зерен пшеницы или других круп, политая медом, с добавлением изюма, орехов и т. д.

С. 76. *...тут и уголек в огоньке — цвет красный, посередке черный, и синие и красные растрепанные барышни...* — См. комм. на с. 672.

...портулак... — Крупноцветковое растение; народное название — «коврик».

На Астия Диракийского день рожденья бабушки. — — епископ, священномученик. День памяти священномученика Астия Диррахийского — 4 (17) июня.

С. 77. *Справили черствое рожденье.* — В так называемый «черствый» день рождения съедаются остатки с праздничного стола.

...с молодости лет изображал в Пасхальную ночь в ватагинской церкви никого другого, как самого нечистого Дьявола, ~ провалиться в преисподнюю... — Сходный эпизод изображен в главе «Пасха» (с. 31 наст. тома).

Известность его пошла с воли... — То есть с отмены крепостного права в 1861 г.

С. 79. *...тяжелая десятиместная наточанка...* — Возможно, имеется в виду тачанка — рессорная четырехколесная парная повозка с легким кузовом.

С. 80. *...Оля начинала рипеть...* — *Рипеть* (возможно, от англ. repeat — повторение) — то есть повторять.

...юроды гонит... — То есть, видимо, притворяется юродивой, дурочкой.

С. 84. *...он загруз на площади...* — То есть застрял, завяз.

С. 87. *...систематикой растений у Горожанкина...* — И. Н. *Горожанкин* до 1904 г. заведовал в Московском университете кафедрой морфологии и систематики растений.

...у Зографа... — Имеется в виду естествоиспытатель, автор работ по зоологии, гистологии, антропологии Н. Ю. *Зограф.*

...пошел к Столетову... — Речь идет о физике А. Г. *Столетове.*

...остановиться ли ему на птицах у Мензбира... — Имеется в виду зоолог, орнитолог М. А. *Мензбир.*

...изучать историю философии права у Новгородцева. — Имеется в виду юрист-правовед, философ П. И. *Новгородцев.*

На Ильин день... — День памяти пророка Илии. Отмечается 20 июля (2 августа).

С. 89. *...какие это у Караулова припадки: как он весь корчится и пена изо рта, и так страшно бывает.* — Имеются в виду приступы эпилепсии.

...играя в секретер... — Игра, в которой фразы угадываются по первым буквам слов.

С. 90. *«Неоцененный братец и друг мой Николай Павлович!» — так когда-то всегда начинала она всегда длинное письмо к нему в Санкт-*

Петербург... — См. письмо М. И. Довгелло к брату Аф. И. Довгелло 1842 г. (с. 595 наст. тома).

С. 91. *...«матушкой генисаретской водой».* — Имеется в виду вода из Генисаретского (Тивериадского) озера в Израиле; евангельское название — Галилейское море. Почиталась верующими как целебная.

...в своей плисовой безрукавке... — Плис — хлопчатобумажный бархат, ворсистая ткань.

С. 92. *...нет се́йгод...* — То есть в этом году.

С. 93. *...и сколько масла: бергамотного, ~ розмаринного, лавандового и померанцевых цветов. — Бергамот* — цитрусовое растение с несъедобной мякотью плода; масло получают из его кожуры, цветов и молодых побегов. *Розмарин* — кустарниковое вечнозеленое растение; эфирное розмариновое масло содержится в цветках и листьях. *Лаванда* — вечнозеленый кустарник с фиолетовыми цветами с сильным ароматом; эфирное масло присутствует во всех частях растения. *Померанец* — небольшое вечнозеленое дерево семейства цитрусовых; эфирное масло содержится в белых лепестках душистых цветков.

...завязать пузырем. — В старину для плотного закрытия банок и другой посуды использовали мочевой пузырь животных, который при высыхании плотно прижимался к горлышку.

...в доме у Рязановских... — Подразумевается друг Ремизова Иван Александрович *Рязановский*; см. о нем: *Россия в письменах-Росток XIII*. С. 768.

...Рязановский жил на Царевской, а наш дом на Русиной... — В Костроме И. А. Рязановский жил в доме № 20 по *Царевской ул.* (Пролетарская, ныне — пр. Текстильщиков). *Русина ул.* — ныне — ул. Советская.

С. 95. *...Янжула на Сабанеева...* — Имеются в виду экономист и статистик И. И. *Янжул* и зоолог, этнолог Л. П. *Сабанеев.*

ДОЛЯ

Впервые опубликовано: *Ремизов А.* Доля: Повесть // Современные записки (Париж). 1922. Кн. XII. С. 1—41; кн. XIII. С. 1—31.

Прижизненные издания: *Ремизов А.* Оля. Париж, 1927. С. 133—208.

Первоначальная редакция данного раздела была напечатана под названием «Стан половецкий» в журнале «Русская мысль» (1910. № 1. С. 115—149, с посвящением С. П. Ремизовой-Довгелло). Примечание автора к заглавию: «Эта повесть представляет собой первую часть предположенной трилогии» (с. 115). Данная редакция состоит из 7 глав, которые в «Доле» соответствуют главкам 4—19: гл. 1 — 4, гл. 2 — 5—7, гл. 3 — 8—9, гл. 4 — 10—11, гл. 5 — 12—13, гл. 6 — 14—15, гл. 7 — 16—19. Имена многих персонажей и топонимические названия

были другими: Оля — Мария Александровна Дахнова, Черкасов — Димитрий Иванович Волотской, Берестовец — Великое озеро, Покидош — Пурховец и т. д. Текст и стилистически заметно отличается от «Доли».

11 мая 1910 г. Ремизов сообщал К. И. Чуковскому, что собирается подготовить книгу рассказов и сказок, в которую войдет, в частности, и повесть «Стан половецкий». Он писал о ней: «...(другое название только дам, какое-нибудь такое, чтобы определяло, что "С<тан> п<оловецкий>" это введение в большой роман)» (*РЛ*. 2007. № 3. С. 165).

О названии произведения критик А. Басаргин скептически писал: «"Стан Половецкий" — никакого отношения к содержанию повествования не имеет и притянут, что называется, за ворот. Дело, видите ли, в том, что именно Холмы, где совершается завязка трилогии, по легендарному рассказу одного из прежних владельцев имения, стоит будто бы на том самом месте, где когда-то был "стан половецкий"; речонка, протекающая в имении, есть будто бы сама река Каял, а владельцы-помещики будто бы происходят от какого-то половецкого хана...» Он же так отозвался о героине: «В психике Марии есть одна черта <...>: это <...> наивность, непонимание реальных условий жизни и неприспособленность к ним» (Московские ведомости. 1910. 6 февр. № 29. С. 2).

М. Кузмин особо выделил повесть среди публикаций журнала первой половины 1910 г.: «Начало ремизовского романа, не достигая блеска "Неуемного бубна", отличается не совсем обычною для этого мастера стройностью и сдержанною планомерностью. Начато как вступление к широкой бытоописательной картине, почему не может и не должно оцениваться само по себе. Во всяком случае, "Стан Половецкий" — самое значительное произведение, помещенное в"Русской мысли" за эти пять месяцев» (Аполлон. 1910. № 8. С. 58—59). Блок также одобрительно отозвался о произведении: «Роман этот <...> (начатый печатанием в первой книжке "Русской мысли") заставляет ждать многого» (Речь. 1910. 1 (14) февр. № 31).

С. 99. *...губы подшлепки, как плямки...* — Вероятно, от *шлепки* — тапки; *плямка* — щеколда; *плямкать* — шлепать, чмокать губами.

...«r a i e»... — пробор по-французски.

...а сзади осмерка. — Вероятно, волосы, завязанные на затылке восьмеркой.

С. 100. *...«яко на небеси, тако и на земли».* — В молитве «Отче наш»: «...да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли».

С. 101. *...и скрыть...* — То есть скрытность, замкнутость.

С. 102. *...и на горе древняя церковь — первая на Руси — Ильинская...* — Речь идет о черниговском православном храме XI—XII вв.

в ансамбле Троицко-Ильинского монастыря на склоне Болдиных гор. В XIII в. церковь была разрушена, в XVI в. восстановлена.

С. 102. — *Образ Николы-угодника возьми с собой в дорогу.* — Имеется в виду образ Николая-Чудотворца, особо почитаемого в России святого. См. о нем: *Россия в письменах-Росток XIII.* С. 805.

С. 104. ...*не задернявшаяся*... — Возможно, от глагола «задёрниться» — покрыться дёрном.

С. 105. — *Роптаться не следует.* — То есть, вероятно, роптать.

С. 106. ...*молодой Черкасов*... — Прототипом Владимира Михайловича *Черкасова* в повести послужил Павел Осипович Повелко-Поволоцкий. С. П. Ремизова-Довгелло вспоминала о годах учебы в Петербурге: «Со стороны Павла Осиповича Повелки-Поволоцкого [Черкасов] в это время была ко мне большая любовь, которая кончилась так трагически [застрелился], и я его искренно *возненавидела* за эту любовь» (*Книга VI.* Л. 8; курсив С. П.). В «Моих записках» П. О. Повелке-Поволоцкому посвящены главки «Черкасов. На память» (Там же. Л. 73—75), «Черкасов» (Там же. Л. 76—77), «Черкасов. Шкатулка» (Там же. Л. 78—82). См. в разделе «С огненной пастью» главы «Из-под опеки», «Недобитый соловей».

...*в клубах имела чуть ли не сажень*... — *Клуб* — зд. в значении: толстое, круглое тело.

С. 107. ...*в расторопицу*... — То есть в распутицу.

С. 111. ...*полную ладышку с варенцом.* — *Варенец* — кисломолочный продукт из топленого молока и сливок в качестве закваски; напоминает ряженку.

Мати Еглицкая... — Возможно, имеется в виду икона Богородицы Елецкая-Черниговская.

...*Мати Астраханская*... — Вероятно, подразумевается чудотворная Феодоровская икона Божьей Матери в Астрахани.

...*спаси и сохрани от бед и напасти и помилуй от напрасныя смерти*... — Из молитвы о заступничестве Богородицы.

С. 112. ...*каким-то сказочным Ирием, страной вечной весны*... — *Ирий* (Ирей) — в восточнославянской мифологии название рая, чудесной страны, находящейся на юге.

С. 115. ...*и поступила на Бестужевские курсы.* — Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы (1878—1918) были торжественно открыты 20 сентября 1878 г. в здании Александровской женской гимназии (Гороховая ул., 20). Курсы имели два отделения: словесно-историческое, физико-математическое, а в 1906 г. было открыто юридическое отделение. Преподавание велось по университетской программе, курс был рассчитан на четыре года. Первым директором стал историк, академик К. Н. Бестужев-Рюмин. С 1879 г. курсы располагались на Сергиевской ул. (д. 7), с 1885 г. — на 10-й линии Ва-

сильевского острова (д. 31—35). См. о Бестужевских курсах: Санкт-Петербургские высшие женские курсы за 25 лет. 1878—1903: Очерки и материалы. СПб., 1903; Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы (1878—1918 гг.): Сб. статей. Л., 1965 (далее — *Бестужевские курсы*); С. П. училась на историко-филологическом отделении курсов с 1893 по 1897 г. Сохранилось ее свидетельство об окончании, датированное 29 мая 1897 г. (*Книга II*. Л. 28).

С. 117. *...ремезя... — Ремезить* — суетиться, егозить.

С. 119. *...трынкой треньками. — Трынка* — мелкая монета, копейка серебром. *Тренькать* (разг.) — бренчать, неумело играть на щипковом инструменте.

С. 121. *...один филипповский пирожок...* — И. М. Филиппов открыл в 1864 г. в Петербурге магазин булочной продукции (Невский пр., д. 45). К началу XX в. в Петербурге и Москве была уже обширная сеть пекарен и булочных, которыми управляли наследники И. М. Филиппова.

Курсистка Финикова... — Прототипом ее явилась Вера Григорьевна Хатемкина, выпускница Черниговской гимназии; в Петербурге училась вместе с С. П. Довгелло, окончила курсы в 1897 г. (см.: *Книга VI*. Л. 5 об.—6, 30).

...на 7-ю линию. — Имеется в виду 7-я линия Васильевского острова.

С. 122. *Черкасов жил на Зверинской...* — Зверинская улица на Петроградской стороне проходит от Большого до Кронверкского проспекта.

С. 124. *...странным образом происходивший от тех Обров ~ не осталось ни одного Обрина...* — Вероятно, подразумеваются *обры* (авары) — кочевой народ в Центральной Азии; переселившись в Европу, создали государство Аварский каганат. В «Повести временных лет» этот народ представлен как исчезнувший. Ср. старую русскую поговорку: «Погибоша аки обре».

С. 126. *...река Каял...* — Видимо, подразумевается река Каяла, которая упоминается в «Слове о полку Игоревом».

С. 127. *...номера прошлогодних Московских Ведомостей...* — «Московские ведомости» — одна из старейших русских газет; принадлежала Московскому университету. Издавалась в 1756—1917 гг. Имела репутацию консервативного органа печати. С 1863 по 1896 г. редакторами были сначала М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, затем С. А. Петровский.

С. 128. *...и варить ее потуда...* — То есть до тех пор, до того времени.

...пока совершенно обсякнут. — То есть обсохнут.

...и бить мутовкою... — Мутовка — палочка с кружком или спиралью для взбивания жидкостей, муки с водою или молоком и т. п.

С. 129. *...и вытереть гораздо...* — То есть со всей тщательностью.

С. 129. *...класть патоку... — Патока* — побочный продукт при производстве сахара и крахмала.

С. 130. *Высокие мысли пасомы в моем сердце. — Пасомые* — пасущиеся, находящиеся в ведении пастыря.

С. 131. *...о финикулярных железных дорогах?* — Имеется в виду *фуникулер* — транспортное средство с канатной тягой для перевозки людей или грузов в вагонах по крутой трассе.

...сорвачи... — То есть сорванцы, ватага ребят.

С Зиной Рашевской Оля познакомилась в первый свой курсовой день... — По свидетельству С. П., прототипом образа Зины послужила Мария Гавриловна Сущинская (Чернышова): «На Курсах я очень быстро сошлась с Марусей Сущинской [Зина Рашевская]. Она была годом старше меня: мне 16-ть, ей 17-ть. И мы вместе стали таинственно и значительно повторять стихи Некрасова: "от ликующих" и т. д.» (*Книга VI.* Л. 5). М. Г. Сущинская была участницей петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», вела пропагандистскую работу (см.: *Бестужевские курсы.* С. 34). В списках среди окончивших Бестужевские курсы она не значится. 10 (23) января 1919 г., увидев во сне Марию, С. П. записала: «Когда-то, в дни самой первой юности, она была моей подругой, мы обе ничего не знали и так всему "человеческому" верили. Что с нею теперь? Неужели она не изменилась в самом главном, неужели осталась "рационалисткой"» (*Книга V.* С. 45).

С. 132. *...политическую экономию Чупрова?* — Речь идет об экономисте А. И. *Чупрове.*

...у меня есть весь Герцен. — Имеется в виду подборка изданий произведений А. И. Герцена. В обширном списке С. П. «Мои собственные книги» (*Книга II.* Л. 26—29) трудов А. И. Герцена нет.

...читали книжки по программе Семевского... — Речь идет о В. И. Семевском. С 1882 г. он читал курс лекций по русской истории в С.-Петербургском университете. Крупный знаток истории русского крестьянства. В 1889 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Крестьянский вопрос в XVIII и первой половине XIX в.».

С. 133. *...возвращалась она с Песков... — Пески* — исторический район в центре Петербурга, на месте Рождественских (Советских) улиц, а также пересекающих их Суворовского и Лиговского проспектов. Самое высокое в городе место. Название определено историческим ландшафтом, а именно песчаной грядой, проходившей вдоль Лиговского проспекта.

С. 134. *...от ликующих, праздно болтающих, ~ за великое дело любви!* — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

...профессор С. Ф. Платонов читал о Петре... — С. Ф. Платонов читал лекции на курсах с 1883 по 1916 г. Большой популярностью поль-

зовались литографированные «Лекции по русской истории профессора С. Ф. Платонова», издававшиеся на Высших женских курсах (в том числе в годы учебы С. П.). Ср. о нем: «Профессор С. Ф. Платонов буквально воскрешал перед слушательницами прошлое. Он не нуждался ни в конспектах, ни в пособиях, а воспроизводил старинные грамоты, документы наизусть. Курсистки говорили, что он о каждой эпохе читал языком того времени, вплетая в свое повествование цитаты и ссылки на летописи, дипломатические акты, высказывания самих героев рассказа» (*Бестужевские курсы.* С. 84; см. также на С. 220). Ремизов свидетельствовал: «Любимым профессором С<ерафимы> П<авловн>ы был Сергей Федорович Платонов... <...> У С<ерафимы> П<авловны> было общее с ним: ее память и музыкальность» (главка «Аттестаты»; *Книга II.* Л. 31).

С. 134. *Брат Зины, Сергей, студент-горняк...* — Имеется в виду прототип Сергея Рашевского — Михаил Гаврилович Сущинский, студент-медик, брат Марии Сущинской (*Книга VI.* Л. 8 об., 9).

С. 135. *...у брата ее Бориса тоже...* — Подразумевается брат М. Г. Сущинской и М. Г. Сущинского Борис Гаврилович Сущинский, студент Горного института.

Войдя во двор дома, где жил Сергей... — М. Г. Сущинский жил на Захарьевской ул., д. 11, кв. 18 (*Книга VI.* Л. 9).

С. 137. *— Нум плакать! — Нумо* (укр.) — давай, давайте. То есть «давайте плакать!»

С. 139. *...одетый в теплый сибирский савик... — Сави́к* (совик) — верхняя меховая одежда.

С. 140. *— Господи, пронеси тучу мороком!* — Русская народная поговорка. *Морок* — мрак, туча без грозы.

С. 141. *...горела страстна́я свеча.* — Так называется свеча, которую зажигали в Чистый четверг перед Пасхой. Она считалась магической, спасавшей от беды.

С. 142. *...в монастыре черничкой живешь. — Черничка* — девушка, не вступившая в брак по обету родителей или собственному. Чернички делились на домашних (живших в семье) и келейных.

...тень от ее кички... — Кичка — старинный головной убор замужней женщины, нередко с двумя остриями в виде рогов.

С. 144. *...и ручниками...* — Расшитыми домоткаными полотенцами.

С. 147. *...мати неродна, мачеха злая ~ со слезами...* — Близко к оригинальному тексту воспроизведена русская народная песня «У меня, молоденькой, мати неродна, мачеха злая...», записанная в Курской губ. (см.: *Кохановская Н. С.* Остатки боярских песен // Русская беседа. 1860. Кн. 2 (20). С. 132).

С. 150. *...силу новую ~ необдуманно не лей!* — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Песня Еремушке» (1859).

...и Лена Боровая. — Имеется в виду подруга детства С. П. Лидия Антоновна Борейко. В «Моих записках» Серафима Павловна писала о ней в главке «Лида Борейко»: «Вспоминается детство, и Лида тут, вспоминается юность, и Лида тут» (*Книга I.* Л. 57). См. также: *На вечерней заре 1987.* S. 453.

С. 152. *...остановилась она на Екатерингофском проспекте...* — Ныне проспект Римского-Корсакова; проходит в Адмиралтейском районе от Садовой до Лоцманской улицы.

С. 155. *...«отречемся от старого мира»...* — Имеется в виду «Рабочая Марсельеза» («Отречемся от старого мира»), русская революционная песня на мелодию гимна Франции. Слова — П. Л. Лаврова.

...«вы жертвою пали»... — Речь идет о революционном траурном марше «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» (стихи А. Архангельского (А. А. Амосова); музыка — А. Е. Варламова).

...часы бегут, ~ нужда задавит злая... — Начальные строки 2-го стихотворения диптиха поэта С. Д. Дрожжина под названием «Песни рабочих» (1875) (см.: *Дрожжин С. Д.* Гусляр. Тверь, 2018. С. 132).

...твой отец нажил честным трудом ~ мать твоя презирает весь мир... — Начало стихотворения Василия Курочкина «Ни в мать, ни в отца» (1853). Текст его записан в мемуарной главке С. П. Ремизовой-Довгелло «Безымянные стихи» (*Книга VI.* Л. 42).

...Лампада в корень... — То есть в роли коренной лошади в упряжке.

С ОГНЕННОЙ ПАСТЬЮ

Впервые опубликовано: *Ремизов А.* С огненной пастью // Воля России. 1924. № 14/15. С. 1—26 («Петербург», «Из-под опеки», «Не из говорящих»); Там же. № 16/17. С. 1—16 («Нельзя», «Демонстрация»); Там же. № 18/19. С. 1—17 («Котенок», «Что делать», «Идеал»); Там же. 1925. № 1. С. 28—53 («Такой экземпляр», «Недобитый соловей», «Бедные люди», «Ў2же», «Беспорядки», «Под стук»); Там же. № 3. С. 3—14 («Прощанье», «Чуперадло»).

Прижизненные издания глав: «Петербург»: *Оля.* С. 211—219, *ВРБ.* С. 9—16; «Из-под опеки»: *Оля.* С. 219—230, *ВРБ.* С. 16—26; «Не из говорящих»: *Оля.* С. 230—239, *ВРБ.* С. 26—35; «Нельзя»: *Оля.* С. 239—246, *ВРБ.* С. 35—42; «Демонстрация»: *Оля.* С. 247—256, *ВРБ.* С. 42—51; «Котенок»: *Оля.* С. 256—263, *ВРБ.* С. 51—58; «Что делать»: *Оля.* С. 263—269, *ВРБ.* С. 58—64; «Идеал»: *Оля.* С. 270—275, *ВРБ.* С. 64—69; «Такой экземпляр»: *Оля.* С. 275—279, *ВРБ.* С. 69—73; «Недобитый соловей»: *Оля.* С. 280—293, *ВРБ.* С. 73—86; «Бедные люди»: *Оля.* С. 293—302, *ВРБ.* С. 86—95; «Ўже»: *Оля.* С. 303—306, *ВРБ.* С. 95—98; «Беспорядки»: *Оля.* С. 307—310, *ВРБ.* С. 99—102; «Под стук»: *Оля.* С. 311—330,

ВРБ. С. 102—121; «Прощанье»: *Оля.* С. 330—336, *ВРБ.* С. 121—127; «Чуперадло»: *Оля.* С. 336—344, *ВРБ.* С. 127—134.

О завершении работы над этой частью произведения можно судить по письму Ремизова к Л. И. Шестову от 3 марта 1925 г.: «Сидел дни и ночи — кончил с “С огненной пастью”» (*РЛ.* 1994. № 1. С. 160).

Петербург

С. 157. *...северная я́сня! — Я́сня* — поляна, прогалина.

...в Таганке ругают Землянку... — Таганка — название местности между реками Москвой и Яузой в окрестностях Таганской площади. *Землянка* — перекресток Николо-Ямской улицы с улицей Земляной Вал.

...Замоскворечье... — район в центральной части Москвы на правом берегу реки Москвы, к югу от Кремля.

...на Арбате — Покровку... — Арбат — улица в центре Москвы, проходящая от площади Арбатские ворота до Смоленской площади. *Покровка* — улица, проходящая от Армянского переулка до площади Земляной Вал, пересекает площадь Покровские ворота.

...«быть пусту!» — Согласно преданию петровских времен, это пророчество (заклятие) о гибели Петербурга царицы, первой жены царя Петра Алексеевича (императора Петра I) Евдокии Лопухиной перед заточением ее в монастырь.

...плывущей «насаженку». — Вероятно, имеется в виду «насаженки» (*укр.*), то есть плавание саженками, поочередно выбрасывая вперед правую и левую руки.

А червонный купол Исакия... — Имеется в виду купол Исаакиевского собора, крупнейшего православного храма в Петербурге (Исаакиевская пл., д. 4). *Червонный* — цвета червонного золота, золотистый с красноватым оттенком.

...от зимней туманной еди дохают, как лошади... — Едь — вероятно, от прилагательного «едкий». *Дохать* (простореч.) — кашлять.

С. 158. *...и ломовой огрыз...* — Вероятно, грубая брань, окрик ломового извозчика (от глагола «огрызаться»).

...к Технологическому институту... — С.-Петербургский технологический институт (технический университет), основанный в 1828 г., расположен по адресу: Московский пр., д. 26.

На 3-ьей линии сдавалась комната... — Ср. в «Моих записках»: «Я приехала опять в Петербург, вещи оставила на Варшавском вокзале, а сама пошла искать комнату. И первую же на 3 линии [В. О.], д. 48, кв. 10 (6-й этаж во дворе) — взяла» (*Книга VI.* Л. 30).

С. 159. *...Женя Шубина...* — Прототипом ее послужила Евгения Гавриловна Кармазина (в замужестве Арцыховская), учившаяся вместе с С. П.; окончила курсы в 1897 г. (Там же. Л. 5 об.—6, 30).

С. 160. *Сергей Рашевский...* — См. выше комм. на с. 681.

...ходил на свободе Федор Иванович Котельников... — В реальности Александр Данилович.

С. 161. *...ходили к Горному институту...* — С.-Петербургский горный институт (основан в 1773 г.; с 2016 г. — С.-Петербургский горный университет) располагается на 21-й линии Васильевского острова (д. 2).

...через Николаевский мост. — Имеется в виду Благовещенский (с 1855 по 1918 г. — Николаевский, с 1918 по 2007 г. — Лейтенанта Шмидта) мост, соединяющий Васильевский остров и 2-й Адмиралтейский остров (выходит на Английскую набережную).

— Здесь Каракозов стрелял! — Д. В. Каракозов совершил неудачное покушение на императора Александра II 4 апреля 1866 г. у ворот Летнего сада. Был повешен 3 сентября того же года. Вероятно, Ремизов умышленно исказил топографию данного события.

...посмотрели на каракозовскую часовню... — На месте покушения Д. В. Каракозова на Александра II у Летнего сада по проекту зодчего Р. Кузьмина была возведена часовня; освящена 4 апреля 1867 г. Разобрана в 1930 г. О часовне на Николаевском (Благовещенском) мосту, никак не связанной с Каракозовым, см. ниже комм. на с. 699.

Шли мимо Казанского собора. — Казанский кафедральный собор в Петербурге был построен на Невском проспекте в 1801—1811 гг. по проекту А. Н. Воронихина для хранения списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. В декабре 1876 г. здесь прошла первая демонстрация народнической партии «Земля и воля». На площади перед храмом нередко устраивались акции революционно настроенных студентов.

Тут и Вера Засулич. — 5 февраля 1878 г. революционерка В. И. Засулич тяжело ранила выстрелом из револьвера петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Была оправдана судом присяжных. На следующий день приговор был опротестован, но Засулич успела избежать повторного ареста, перебравшись в Швейцарию.

Публичная библиотека. — До 1917 г. — Императорская публичная библиотека; ныне — Российская национальная библиотека. Адрес главного здания: Садовая ул., д. 18.

...коляска с форейтором... — Форейтор — кучер, сидящий на одной из передних лошадей, запряженных парами.

У Аничкова дворца... — Один из императорских дворцов Петербурга; расположен у Аничкова моста на набережной реки Фонтанки (Невский пр., д. 39).

С. 161. *Пристав, напруженный...* — От глагола «напружиться» — напрячься, натужиться.

С. 162. *...где стрелял Соловьев!»* — В апреле 1879 г. А. К. Соловьев совершил неудачное покушение на императора Александра II в окрестностях Зимнего дворца, на набережной Мойки. Здесь намеренное искажение Ремизовым фактов: возле Летнего сада в императора стрелял Д. Каракозов.

...через Троицкий мост... — *Троицкий* (Кировский) мост через Неву соединяет Суворовскую площадь и Троицкую площадь, находящуюся на Петроградской стороне.

...«Иоанновские ворота!» — несчастный ребенок! — Имеются в виду ворота в Иоанновском равелине Петропавловской крепости; возведены в 1738—1740 гг. по проекту военного инженера Б. К. фон Миниха. Названы в честь царя *Иоанна* V Алексеевича (1666—1696) — старшего брата Петра I. С детства он страдал от болезней (эпилепсия, цинга) и не смог быть полноценным соправителем государства, уступив трон Петру I. Не исключено, что здесь подразумевается и *Иоанн* VI Антонович (1740—1764), правнук Ивана V, родившийся в год окончания строительства ворот. Младенец формально «правил» с октября 1740 г. по ноябрь 1741 г. при регентстве Бирона, а затем матери Анны Леопольдовны. Был свергнут Елизаветой Петровной и почти всю жизнь находился в заключении. С 1756 г. Иван VI содержался в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, где был убит при попытке его освобождения.

...и Перовская, и Вера Фигнер... — Революционерка С. Л. Перовская была казнена за покушение на императора 3 (15) апреля 1881 г. на Семеновском плацу. В. Н. Фигнер принимала участие в покушениях на Александра II в Одессе (1880) и Петербурге (1881). После ареста и суда двадцать лет была в заточении в Шлиссельбургской крепости. См. о них в записках С. П. Ремизовой-Довгелло: «Если бы меня спросили, “кого я считаю самыми хорошими в мире”, я бы сразу ответила: “Вера Фигнер, Софья Перовская, Желябов и др.”. Вера Фигнер лучше всех — потому что вот она сколько лет сидит в Шлиссельбург<ской> крепости; а Софья Перовская повешена, — значит, они принесли самую большую жертву, какую только можно...» (*Книга VI*. Л. 6).

...и Брешковская. — Е. К. *Брешко-Брешковская* — русская революционерка. См. о ней: Бабушка Е. К. Брешко-Брешковская о самой себе. Пг.: Народная власть, 1917; *Попов И. И.* Е. К. Брешко-Брешковская. Бабушка русской революции. М.: Задруга, 1917.

...маленькой собачкой бежит Оля... ~ от злости поднялась собака на воздух — и там закружилась. — В «Моих записках» этот фрагмент входит в главку «VI. Сны»: «1. Собакой», «2. Управимся», «3. Завороженная собака» (*Книга VI*. Л. 33, 34).

С. 162. *...ой, у лузи та и при березi / червона калина...* — Начало украинской народной песни.

С. 163. *...було б тоби, моя ридна мати, / тих брив не давати...* — Слова из той же песни.

Из-под опеки

С. 164. *На стене Михайловский.* — В «Моих записках» С. П. отметила: «...повесила портрет Михайловского. По комнате узнать можно, что с.-р. У с.-д. всегда висит Маркс, у с.-р. Михайловский и Лавров или один из них» (Там же. Л. 2; см. также: *Книга VI.* Л. 30). В заметке «Мои собственные книги (С. П. Довгелло). 1899» ею указано: «Полн. собр. соч. Н. К. Михайловского, 6 томов» (*Книга II.* Л. 26). О Н. К. Михайловском и отношении к нему С. П. см. также в комм. на с. 688—689.

...высокий, стройный, весь в кудрях, ~ и шляпа черная в руках. — Слова этого же городского романса, но в другой редакции цитирует К. А. Коровин в очерке «Праздники в Москве»: «...черноокий, / Высокий, статный, весь в кудрях, / Полукафтан на нем широкий, / И шапка черная в руках» (Возрождение (Париж). 1936. 1 янв.).

...на заседание «Исторического общества». — «Историческое общество» при С.-Петербургском университете было основано в 1889 г. Бессменным председателем его комитета был Н. И. Кареев. Действовало до 1917 г.

С. 165. *...медленно идет Анна Ивановна Синицына...* — В «Моих записках» отмечено, что имеется в виду Анна Ивановна Артамонова (*Книга VI. Л.* 35). Не удалось найти выпускницу бестужевских курсов с такой фамилией. Видимо, подразумевается Анна Ивановна Артамасова, закончившая историко-филологическое отделение в 1896 г.

Зина Орловой... — Орлова — в действительности Зинаида Павловна Максимова (*Книга I.* Л. 12, 13).

...открикнула Оля... — От слова «открик» — отклик, ответный голос.

С. 165—166. *...«я виновата перед тобой, Зина, я это сознаю. ~ я редко бывала так счастлива, как тогда».* — Данный фрагмент из письма в воспоминаниях С. П. озаглавлен: «М а р у с е [Марье Гавриловне Сущинской-Чернышовой], а в “Оле” Зине Рашевской» (*Книга II.* Л. 20, 21).

С. 166. *Помню я один день: папа мой умер.* — Отец С. П. умер 21 марта 1895 г. В главке «Из “Оли”. О смерти отца» Ремизов писал: «Оля была на 2-м курсе, когда умер отец [21 III]. В Петербург пришло известие только через месяц: Оля получила письмо во время экзаменов. Потом уж в Ватагине [Берестовце] она узнала подробности о последних минутах. Ал. Пав. [Павел Иванович] опять “сошел с ума”. Поводом послужил начатый процесс против него со стороны его сестры

[Наталья Ивановна Василенко] из-за ее части, которую он будто бы ей не отдал. Она доказывала, что именье принадлежит матери [Анне Ефимовне Ковалевской], а часть, ей выделенная, меньше следуемой ей по закону: она требовала эту часть и всю ту сумму, составившуюся из процентов за время "незаконного" владения ее землей. <...> Ал. П. [Павел Ив.] получил повестку из суда и почувствовал себя дурно. <...> Три недели он так мучился. <...> и вдруг у него отнялись ноги, потом руки, потом язык. И так три дня — затих и заснул и больше не проснулся» (*Книга III.* Л. 4, 5).

С. 167. *— И вдруг опять — он видит — «в поле блакитном» / Оля — та Оля!* — Ср. текст в «Моих записках»: «Гнев вылился, огонь погас, и уж она опять улыбалась своей светящей, осияющей улыбкой...» (главка «XVIII. Черкасов. На память: Черкасов. 3. Шкатулка»; *Книга VI.* Л. 78).

С. 168. *«Варины именины!» ~ Или никогда не забыть?* — Ср. вместо этого текст в «Моих записках»: «Сегодня 4 декабря, именины сестры, прежде он всегда в этот день уезжал в Холмы [Бобровку]» (Там же. Л. 80).

...вытащил «Лекции» Ключевского... — Возможно, подразумевается «Краткое пособие по русской истории» (М., 1899); 1-е изд. «Лекций по русской истории» вышло в Петербурге в 1902 г. Более ранние издания неизвестны.

С. 169. *«Календарь Народной воли»...* — Имеется в виду «Календарь "Народной воли" на 1883 год» (Женева, 1883).

С. 170. *...только Оля умела паску: сырную и кулич...* — *Паска* (пасха) — в южнорусской и украинской кухне пасхальный хлеб из белой пшеничной муки. Другое название, более распространенное в России, — кулич. *Сырная пасха* — традиционное блюдо к христианскому празднику Пасхи.

...держать макотру... — См. выше комм. на с. 671.

Не из говорящих

С. 172. *На собраниях «Кружка декабристок»...* — Возможно, имеется в виду кружок, организованный на Высших женских курсах Ольгой Фигнер, близкой к «Народной воле».

С. 173. *...«Рассказы» Чирикова.* — Е. Н. Чириков испытывал ощутимое влияние народнических и социал-демократических воззрений. С 1893 г. начал печататься в столичных журналах. Первый сборник «Очерки и рассказы» вышел в Петербурге в 1899 г.

...Сеньобос, «Политическая история современной Европы»... — Имеется в виду двухтомный труд французского историка Шарля Сеньобоса «Политическая история современной Европы: Эволюция партий

и политических форм. 1814—1898» (СПб., 1899; пер. с фр. под ред. В. Поссе). Это исследование было в библиотеке С. П. (заметка «Мои собственные книги (С. П. Довгелло). 1899»: *Книга II*. Л. 27).

С. 173. *...пойдемте на вечер лесников!* — Вероятно, на вечер студентов С.-Петербургского лесного института.

С. 174. *...около Трубочного завода.* — Имеется в виду Трубочно-инструментальный (Трубочный) завод на берегу реки Смоленки на Васильевском острове, находившийся в ведении Главного артиллерийского управления (Уральская ул., д. 1); ныне — завод им. М. И. Калинина.

В Дворянское собрание поехали на извозчике. — Имеется в виду здание Дворянского собрания на углу Михайловской и Итальянской улиц, д. 2/9 (ныне здесь располагается Большой зал филармонии им. Д. Д. Шостаковича).

Михайловская не Тучкова набережная... — *Тучкова набережная* (с 1952 г. — наб. Макарова) — левая набережная Малой Невы. Названа так в 1887 г. в связи с тем, что здесь находились лесные склады подрядчика Авраама Тучкова.

Бутоньерка... — Декоративный элемент костюма из одного или нескольких цветков.

...и горняки... — Имеются в виду студенты Горного института.

С. 175. *...гори-гори ясно!* — Слова из русской народной песни «Прощай, Масленица» («Гори-гори ясно, чтобы не погасло...»).

А раньше и не догадывалась. — В «Моих записках» в главке «IX. За спиной» далее следует: «А лампаду Оля зажигала, но только постом. / А это потом — отзыв Н. К. Михайловского. / “Я <возможно, «Бабушка». — *В. Б.*> о тебе, Оля, разговаривала с Михайловским, хвалила”. А он говорит: “да, она иногда замечательно хорошая. А то у нее червь есть, в существе ее, она не будет революционеркой до конца. Это может помешать”. / На это Оля ответила, она поняла, что “это” — означает ее вера. / “Мне не нравится, что всё я должна врать. А я хочу жить по правде. Первые христиане, которых гнали, они говорили: “да, я христианин”, и никогда “не”, а я постоянно “нет”: “нет, ничего не знаю”» (*Книга VI*. Л. 40). В воспоминаниях С. П., озаглавленных «Петербург», данный фрагмент приведен в главке «4. Отзыв Михайловского» (*Книга II*. Л. 24). Ср. по поводу него размышление Ремизова: «Что связывало С<ерафиму> П<авловну> с Михайловским? Натолкнулась С<ерафима> П<авловна> на М<ихайловского> через с.-р.-ов. Не народничество, об этом С<ерафима> П<авловна> не думала, и что сближает М<ихайловского> с славянофилами, не позитивизм, исключающий религию, а, должно быть, хоть и бесспорно безбожная [ведь ясно, что под “червем” М<ихайловский> подразумевал религиозность], но все-таки глубокая вера в “правду-истину” и “правду-справедливость”» (Там же. Л. 25). Ср. также свидетельство Ремизова в главе «3. Путь»,

входившей первоначально в раздел «За зеленой оградой»: «Два сына Н. К. Михайловского студенты. Они познакомили Олю с отцом, и Оля бывала у него на вечерах, куда сходился “весь цвет” тогдашней литературы... <...> Михайловский выделил ее изо всех ее юных подруг-“революционерок”. Он оценил в ней и ее прямоту, и горячность, пытливость и крепь. Глядя на Олю, он как-то сказал, что такие... кончают монастырем. И он был прав» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Л. 25; Ед. хр. 66. Л. 18–19).

С. 175. *...Николая-óна... — Николай-он* — литературный псевдоним русского экономиста, публициста-народника Николая Францевича *Даниельсона* (1844–1918); он известен также как переводчик «Капитала» К. Маркса. Ср. в примечании Ремизова к заметке «Мои собственные книги (С. П. Довгелло). 1899»: «...имя Николая-она было так же громко, как у марксистов Бельтов (Плеханов)» (*Книга II*. Л. 26). В библиотеке С. П. Довгелло-курсистки была, в частности, обширная статья Николая-она «Чем объяснить рост наших государственных доходов», опубликованная в журнале «Новое слово» (1896. № 5. Февраль. С. 56–85) (Там же. Л. 27). Ремизов в связи с нею отметил: «...едва ли дочитала С<ерафима> П<авловна> рассуждения о государственных доходах, но другие статьи, конечно, читала...» (Там же. Л. 26).

...от Гобсона, «Эволюция современного капитализма»... — Имеется в виду труд английского экономиста Дж. Аткинсона *Гобсона*. В русском переводе появился в 1898 г. Был в библиотеке С. П. (Там же. Л. 27).

...до «Элементарной политики» Томаса Ралей... — В русском переводе эта книга Т. Ралея вышла в 1889 г. Была в библиотеке С. П. (Там же).

...«Стихотворения» П. Я. — Подразумевается сборник русского поэта, революционера-народовольца П. Ф. Якубовича-Мельшина, вышедший в Петербурге в 1887 г. Был в библиотеке С. П. (Там же). В 1887–1903 гг. П. Я. Якубович-Мельшин отбывал каторгу и ссылку. Автор двухтомной книги «В мире отверженных. Записки бывшего каторжанина» (1896–1899).

...«Современное положение учения о валюте» — Лексиса... — Имеется в виду труд Вильгельма *Лексиса*. В русском переводе данное исследование было опубликовано в 1897 г. Имелось в библиотеке С. П. (Там же).

...и статью Павловского, «Теория взаимного кредита». — Речь идет о статье Н. К. Михайловского (псевд. Павловский) «Теория взаимного кредита (Прудоновский банк)», опубликованной в журнале «Отечественные записки» (1871. Т. 197. № 8. С. 461–506). Была в библиотеке С. П. Ремизовой-Довгелло (Там же).

С. 176. *...будто нет разницы между с.-д. и с.-р. — С.-д.* — социалдемократы — сторонники идей Маркса, политического движения, на-

правленного на достижение социальной справедливости, свободы и равенства, преодоление классовых противоречий, улучшение положения трудящихся. *С.-р.* — социалисты-революционеры — продолжатели революционного народничества, в частности дела «Народной воли», сторонники радикального переустройства общества. В 1890-х гг. в крупных городах (Саратов, Одесса, Петербург, Москва и др.) возникли организации «Союза русских социалистов-революционеров». Официально партия эсеров оформилась позднее, во время Первой русской революции 1905—1906 гг. Немало общего было у с.-д. и с.-р. в определении конечных целей борьбы; расхождения касались идеологии (эсеры не были марксистами), отношения к рабочему классу, крестьянству, аграрному вопросу, террору и т. д. Нельзя исключать и политическую конкуренцию.

С. 176. *Студент Фролов — самый веселый из говорящих.* — Ср. в записках в главке «Х. Отзыв Оли»: «Разговор с племянником Михайловского: студент [Фролов]» (*Книга VI.* Л. 41). Вероятно, имеется в виду А. Г. Мягков, сын сестры Н. К. Михайловского Е. К. Мягковой (урожд. Михайловской). Осенью 1890 г. он поступил в Горный институт, который покинул в 1893 г. С. П. в том же году поступила на Бестужевские курсы.

...Башкирцева?» — М. К. *Башкирцева* — русская художница. Скончалась в Париже в возрасте 25 лет от туберкулеза. Широкую известность получил ее дневник, который она вела с 12 лет.

С. 177. *...и она не может так просто произнести для разговору...* — Далее в записках в главке «Х. Отзыв Оли» следует: «В Перовской Оля видела только подвиг: идеальное — потому что повесили; бескорыстное...» (*Книга VI.* Л. 41).

...пострадать за других. ~ хочу и сама пострадать!» — Далее в «Моих записках»: «[Последовать Христу в его крестном пути] <вставка Ремизова. — *В. Б.*>. Это и было основой моей *революционности*; мотив был такой: *хочу пострадать...*» (Там же. Л. 4; курсив С. П.). Ср. ее признание в другом фрагменте: «Почему я была революционеркой? Вот потому, что хотела я “мученического венца”, я хотела идти по стопам тех мучеников, которых было много в России, я не хотела “торжества”, я хотела “гибели”, мне было *стыдно*, что другие страдают, а я — я *хотела пострадать*» (*Книга V.* Л. 21; курсив С. П.).

С.-р. привлекали ее, потому что, как ей казалось, они не материалисты... — Ср. в воспоминаниях С. П.: «Я примкнула к партии с.-р., а не с.-д. по двум причинам: партия с.-р. мне казалась выше, святее, потому что в ней больше мучеников; партия с.-р. — наследница “народовольцев”, а у “народовольцев” и Перовская, и Желябов, и Михайлов, и много, много повешенных, т. е. до конца замученных русским правительством; у “народовольцев” и Вера Фигнер, сидящая в Шлиссель-

бургской крепости, и много еще сидящих. / Мне ближе были Перовская и Вера Фигнер, о них я чаще всего думала» (*Книга VI.* Л. 17, 18). Ср. также в другом месте: «Я никогда не была “марксисткой”: эта теория, такая не идеалистическая, всегда была чужда всему моему духу, — я поэтому примкнула к с.-р.» (Там же. Л. 5; см. также: *Книга I.* Л. 13).

С. 177. *...и «Выкупных платежей» Ермолинского...* — Статья К. Н. *Ермолинского* «Выкупные платежи и коренные переделы мирской земли» была напечатана в журнале «Слово» (1881. № 4. С. 23—52). Она хранилась в библиотеке С. П. («Мои собственные книги»: *Книга II.* Л. 28).

С. 178. *...на свете есть Соня Ефимова...* — В «Моих записках» — Катя Виноградова (*Книга VI*; главка «VIII. Катя Виноградова». Л. 38). Подразумевается Екатерина Александровна Виноградова (в замужестве Терпигорева), окончившая курсы в 1896 г. (*Бестужевские курсы.* С. 34).

...Мякотину или Мартову? — В. А. *Мякотин* — революционер-народник, член партии эсеров; Ю. О. *Мартов* (наст. фам. Цедербаум) — один из лидеров социал-демократического движения. В «Моих записках» фигурируют другие имена лидеров народничества и «легального марксизма»: «...Михайловскому или Туган-Барановскому?» (*Книга VI.* Л. 38). О *Н. К. Михайловском* см. комм. на с. 686. Михаил Иванович *Туган-Барановский* (1865—1919) — российский и украинский экономист, социолог, историк, представитель «легального марксизма». В конце XIX в. среди русских революционеров обострились разногласия между народниками и марксистами, эсерами и социал-демократами. См., в частности, книгу В. И. Ленина «Что такое “Друзья народа” и как они воюют против социал-демократов» (1894).

Нельзя

С. 180. *...есть дни, когда так пошл / венец любви и счастья!* — Цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Из дневника» («Я долго счастья ждал — и луч его желанный...», 1883).

С. 180—181. *Варя Финикова — законодательница «нельзя» ~ Финиковой старались подражать...* — См. о ней комм. на с. 679. Ср. в записках С. П. о Вере Хатемкиной (в повести Финиковой): «Сама она была большая, очень некрасивая, стриженая, совсем без зубов, несмотря на свои 17 лет, грубых манер, размахивала ужасно руками, носила всегда черную блузу со стоячим воротником, в выражениях грубая» (*Книга VI.* Л. 6). Ремизов в рабочей тетради IV—V так охарактеризовал ее: «В “Оле” на курсах Варя Финикова законодательница “чего нельзя” — последняя русская “нигилистка”. Смешно ли — прямолинейно — но о “мещанстве” не может быть речи!» (*Грачева 2010.* С. 346).

С. 181. *...пел Фигнер.* — Имеется в виду Н. Н. *Фигнер.* Два раза в год он давал сольные концерты в пользу Курсов.

После Фигнера Тартаков. — Речь идет об И. В. Тартакове.

С. 182. *...Введенского, Гревса, Котляревского, Платонова, Шляпкина.* — А. И. *Введенский* — с 1899 г. — председатель С.-Петербургского философского общества. С 1889 г. читал на Бестужевских курсах для младших воспитанниц лекции по логике и психологии, а для старших — по истории философии. Ср. в воспоминаниях бестужевки Е. И. Тиме: «Повышенный интерес к его лекциям со стороны слушательниц объяснялся, с одной стороны, ясным, логически стройным изложением различных очень сложных философских теорий; с другой — нас увлекало новаторство в изложении теории познания (гносеологии)» (*Бестужевские курсы.* С. 221). В библиотеке С. П. хранились его «Лекции по истории новой философии» («Мои собственные книги»: *Книга II.* Л. 26). И. М. *Гревс* с 1892 г. преподавал на Высших женских курсах древнюю историю, был деканом историко-филологического отделения. В библиотеке С. П. хранились его «Лекции по средней истории» (Там же). См. о нем: *Андреева-Георг В. П.* И. М. Гревс // *Бестужевские курсы.* С. 176—177. Н. А. *Котляревский* с 1892 г. читал на Курсах лекции по истории литературы Средних веков. О *С. Ф. Платонове* см. выше комм. на с. 680—681. И. А. *Шляпкин* с 1890 г. читал на Курсах историю русской словесности. Ср. о нем: «В 1892—1893 годах он приступил к чтению своего любимого курса — истории древнерусской литературы. Выдающийся знаток древнего периода русской словесности, он свои лекции иллюстрировал демонстрацией старинных рукописей и книг. В 1893 году он начал читать курсы по различным периодам русской литературы. <...> И. А. Шляпкин ввел для желающих практические занятия по русской палеографии. <...> Профессор Шляпкин был страстным любителем старинной книги. В его богатейшей библиотеке были собраны редкие экземпляры рукописных книг XII, XIII и более поздних веков. Он знакомил со своей уникальной библиотекой слушательниц, которых любил приглашать к себе для дружеских бесед» (*Бестужевские курсы.* С. 94; см. также С. 221).

Как-то поехали в Лесное компанией. — Имеется в виду место общественных гуляний, расположенное в северной части Выборгской стороны, — Лесной парк, недалеко от Лесного института.

С. 183. *...Эй вы, синие мундиры...* — Имеется в виду популярная в среде революционеров песня. Первоначальный вариант текста под названием «Тайное собрание» был написан в связи с репрессиями против «Земли и воли» народовольцами Н. Морозовым и Д. Клеменцем. Новый вариант неизвестного автора «Митя Трепов-генерал» возник в 1905—1907 гг.

С. 183. *...закувала та сыза зузуля / ранным рано на зари...* — Песня «Вечерницы» из музыкальной картины в опере по драме Т. Г. Шевченко «Назар Стодоля». Автор оперы — Петр Иванович *Нищинский* (1832—1896). В оригинале: «Закувала ты сива зозуля / Ранним ранком на зори...».

...что-то от «Слова Игорева»... — Имеется в виду «Слово о полку Игореве».

...«прогресс есть постепенное приближение ~ разделению труда между людьми». — Цитата из статьи Н. К. Михайловского «Что такое прогресс?» (1869). Сохранился конспект этой статьи, сделанный С. П. Ремизовой-Довгелло (главка «3. Н. К. Михайловский. 1842—1904»; *Книга II.* Л. 20 об.—24 об.).

С. 185. *— Хочешь увидать Ильину?* — Под *Натальей Васильевной Ильиной* подразумевается революционерка Е. К. Брешко-Брешковская («бабушка русской революции»). См. комм. на с. 685.

Ильина двадцать лет пробыла в Сибири! — Ср. в записках С. П. Ремизовой-Довгелло: «Я раньше знала, <...> что бабушка 23 года в Сибири была, а раньше 4 года по делу 193-х в тюрьме сидела...» (*Книга VI.* Л. 11).

...на Троицкую... — Имеется в виду Троицкая площадь, расположенная в Петроградском районе между Петровской набережной и Большой Дворянской улицей (ныне ул. Куйбышева).

«Желябов был женат!» — Андрей Желябов с 1873 г. был женат на Ольге Семеновне Яхненко, от брака с которой имел сына Андрея.

Демонстрация

С. 186. *В Александровском саду около Жуковского...* — Речь идет о саде в Адмиралтейском районе, примыкающем к зданию Адмиралтейства. Открыт в 1874 г. Назван в честь императора Александра II. Бюст В. А. Жуковского в саду был установлен 4 июня 1887 г. к 100-летию со дня рождения поэта (скульптор В. П. Крейтан).

...Маня Сажина... — В действительности — Мария Евгеньевна Павлова, которая училась на курсах вместе с С. П. (в «Моих записках» главка «XI. Демонстрация». *Книга VI.* Л. 41 об.). Следует, однако, отметить, что в других местах записок ее прототипом обозначена Катя Аринкина (см.: Там же. Л. 6 об., 7, 9 об., 10).

...она только что встретила Брусилову... — Прототипом ее послужила курсистка Кадина (Там же. Л. 41 об., 42).

...с курсисткой Фирсовой. — Прообразом ее была М. Ф. Ветрова (см. следующий комм.).

— Фирсова отравилась... — Ср. в «Моих записках»: «Ветрова [Фирсова] сожглась в крепости...» (Там же. Л. 42). *Мария Федосьевна Ве-*

трова (1870–1897) – педагог, революционерка, член партии «Народная воля». Училась, как и С. П. Ремизова-Довгелло, в Черниговской женской гимназии. В 1894 г. поступила на Бестужевские курсы. 22 декабря 1896 г. была арестована. 23 января 1897 г. переведена в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. 8 февраля 1897 г. в знак протеста против тюремного режима облила себя керосином и подожгла, скончалась от ожогов в тюремной больнице 12 февраля того же года. См. об этом: [*Куделли П. Ф.*]. Памяти Марьи Федосовны Ветровой († 12 февраля 1897 г. в Петропавловской крепости). [СПб]: Изд. Общества Народного Права, [1898]; *Бестужевские курсы.* С. 37; *Востриков А. В.* Курсистки в аудитории, на улице и в крепости: (Мария Ветрова и «ветровские» демонстрации) // Петербургские чтения: К 110-летию Первой русской революции: Материалы международной научно-практической конференции (11–13 ноября 2015 г.). СПб.: ФГБОУ ВПО «СПбГУРП», 2016. С. 37–43.

С. 186. *...ее прокурор изнасиловал!* – По свидетельствам современников, с М. Ф. Ветровой в тюрьме обращались грубо, но версия о ее изнасиловании подтверждения не нашла.

И подожженной кипящей вереницей шумно тронулись на Невский... – Возможный намек на акт самосожжения М. Ф. Ветровой (указано А. В. Востриковым).

...к фотографии Жукова... – Фотосалон П. С. Жукова находился на углу Невского прpспекта и Морской улицы, д. 12/18.

С. 188. *...это был любимый, хотя и не раз освистанный, Воркунов.* – В записках отмечено, что имеется в виду профессор философии А. И. Введенский (*Книга VI.* Л. 42 об., 43). См. о нем выше в комм. на с. 692.

С. 189. *...– Да ее мать – прачка: кто ее послушает!* – В реальности мать М. Ф. Ветровой – казачка из крестьянской семьи Александра Николаевна Ветрова. Так как брак не был оформлен в церкви, Мария считалась внебрачным ребенком. В грудном возрасте ее отдали на воспитание бездетной крестьянке. В пять лет девочку определили в сиротский дом.

С. 190. *...а старая влиятельная фрейлина Лутохина...* – Ср. в «Моих записках»: «Надо обратиться, сказал он, к г-же Пухтинской (Пухтинская – старая влиятельная фрейлина, одна из комитетских дам Курсов)» (Там же. Л. 44). Вероятнее всего, имеется в виду баронесса В. И. *Икскуль фон Гильденбандт* (указано А. В. Востриковым). Фрейлиной царского двора она не состояла, но обладала обширными связями. Варвара Ивановна, в частности, являлась председателем Общества для усиления средств женского медицинского института и Высших женских курсов, в 1894–1918 гг. заведовала библиотекой Курсов.

С. 190. *...стачка у Лаферма среди папиросниц...* — Имеется в виду петербургская фабрика табачных изделий «Лаферм» (Васильевский остров, угол Среднего проспекта и 9-й линии, д. 36/40). Основана в 1852 г.; с 1923 по 1992 г. — табачная фабрика им. М. С. Урицкого. В 1896 г. на фабрике произошла крупная забастовка из-за снижения расценок и плохих условий труда. Работницы ломали оборудование, выбрасывали в окна инструменты и табак и т. д. Для усмирения была вызвана полиция.

А наутро к полдню студенты и курсистки стали собираться в Казанском соборе... — 4 марта 1897 г. у Казанского собора состоялась многолюдная студенческая демонстрация в память М. Ф. Ветровой. Они повторялись затем в тот же день в течение ряда лет. См.: Самоубийство М. Ф. Ветровой и студенческие беспорядки 1897 г. // Каторга и ссылка. 1926. № 2 (23). С. 50—66; *Бестужевские курсы.* С. 37—39; *Брайнин И. Б., Шапошников В. Г.* Ветровские демонстрации // Вопросы истории. 1983. № 2. С. 178—181.

...на Казанской. — Казанская улица проходит от Невского проспекта (у Казанского собора) до Фонарного переулка.

С. 191. *И до самой Казанской части...* — Возможно, имеется в виду 3-й полицейский участок Казанской части — Офицерская улица (с 1918 г. ул. Декабристов), д. 28/1.

Директор поехал к градоначальнику. — Имеется в виду *Николай Павлович Раев* (1856—1919), который возглавлял курсы с 1895 по 1905 г.

Курсам сделан «строгий выговор». И стали поговаривать, что «заваривших кашу» вышлют... — Ср.: «Среди задержанных было 167 бестужевок. Правда, бестужевок освободили в тот же день вечером, а остальных арестованных на следующий день утром. Всех задержанных полиция переписала. 21 марта директор курсов Н. П. Раев получил от попечителя учебного округа следующее отношение: "<...> Господин министр народного просвещения в предложении от 15 марта за № 6843 уведомил меня для надлежащего с моей стороны распоряжения, что Особое Совещание по вопросу о наложении взысканий на записанных полицией участников уличной демонстрации 4 сего марта из числа учащейся молодежи постановило: Слушательницам женских курсов: Высших женских курсов — 167 чел. <...> объявить строгий выговор... В случае же повторения подобного явления все участники, подвергнутые ныне дисциплинарным взысканиям, будут безусловно исключены из заведений и высланы из столицы» (*Бестужевские курсы.* С. 38).

А давай сделаем, как Софья Ковалевская! — нашлась Оля, — мы можем фиктивно выйти замуж. — С. В. Ковалевская заключила фик-

тивный брак с ученым-палеонтологом В. О. Ковалевским, чтобы выехать на учебу за границу.

С. 192. *...«среди курсисток есть несколько террористок-революционерок, а остальные, как стадо баранов!»* — В воспоминаниях бестужевки Т. А. Богданович содержится сходный эпизод, который был связан с намерением курсисток объявить 19 февраля (день отмены крепостного права) праздником и пропустить лекции. Этому воспротивился проф. А. И. Введенский: «Он прямо заявил, что не желает идти на поводу у курсисток, на Курсы придет и будет читать лекцию. <...> Мы были в полном негодовании. Введенский срывал всё дело. <...> Он явился, как и предупреждал... <...> Но перед началом очередной лекции он неожиданно произнес митинговую речь, оскорбившую всех курсисток. Он обозвал курсисток стадом баранов, бессмысленно идущих за своими вожаками, а вожаков — трусами, прячущимися за спины других. И “бараны“, и “вожаки“ были жестоко обижены» (*Богданович Т. А.* Повесть моей жизни: Воспоминания, 1880—1909. Новосибирск, 2007. С. 167—171).

Котенок

С. 195. *...снится ему на загладку...* — То есть напоследок.

...да в погоду... — Зд. в значении: в непогоду, в ненастье. Ср. в главе «Идеал»: «В погоду, в ночь можно было встретить Ильину...» (с. 206, 315 наст. тома).

Петровки! — То есть Петров день, православный праздник, который отмечается 29 июня (12 июля).

С. 198. *...а на росстани за цвинтаром... — Росстань* — перекресток дорог, распутье, перепутье. *Цвинтар* (укр.) — огороженный у церкви участок земли, кладбище.

Что делать

С. 199. *Что делать* — Ср. с названием романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863).

Нина Мавлютина, курсистка — подруга Оли. — В реальности Катя (Катруся) Константинович. Под именем Нины Мавлютиной в «Моих записках» фигурирует также Наталка Свечникова, учившаяся в Черниговской гимназии вместе с С. П. Довгелло. Серафима Павловна вспоминала: «Наталка С<вечникова> — красавица, блондинка с черными глазами...» (*Книга VI.* Л. 133).

С. 200. *...среди гор кавунов, харбузов <...> и всякой цыбули... — Кавун* (укр.) — арбуз. *Га́рбуз* (укр.) — тыква. *Цыбуля* (укр.) — зеленый и репчатый лук.

С. 200. *...студент Бордонос — из семинаристов, груб и нескладный — «Колода»...* — Ср. в «Моих записках»: «...студент Саченко —

“Колода” [Бордонос]...»; «Саченко грубоватый, из семинаристов, черный и с очень выраженным акцентом [малороссийским]» (*Книга VI.* Л. 26 об.—27). Однако Б. Б. Бунич-Ремизов утверждал, что студент Бордонос — из немногих, кто в повести выведен под своей настоящей фамилией (*Бунич-Ремизов.* С. 371).

...высланный из Петербурга Фрид... — Прототипом его был Биск («Бедненький»). Вероятно, речь идет об *Исааке Соломоновиче Биске* (ок. 1874—1922). Примечательны некоторые факты его биографии. Он окончил гимназию в Киеве. С середины 1890-х гг. — в партии с.-д. В 1898 г. арестован по делу киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». После тюремного заключения жил некоторое время в Чернигове, затем уехал за границу. В 1906—1917 гг. — эмигрант. Летом 1917 г. Биск приехал в Петроград, затем отправился в Киев. Умер там в 1922 г. И. С. Биск — автор книги «Экономическая и политическая борьба рабочего класса в России: Исторический очерк» (Ростов-на-Дону: Сурат, 1907). Ср. в «Моих записках»: «...высланный в Чернигов из Москвы Биск [Фрид], только что окончивший юридический факультет...» (*Книга VI.* Л. 27; см. также Л. 12 об., 17). По свидетельству С. П., в 1917 г. при встрече в Петрограде Биск сказал ей на прощанье: «Самое лучшее воспоминание всей жизни — Вы» (*Книга I.* Л. 62). Ремизов вспоминал об этом эпизоде: «У меня осталось в памяти, как пришел к нам какой-то знакомый С<ерафимы> П<авловн>ы, и, когда я поздоровался, почувствовал, столько доброты в нем и грусти. <...> Он приехал в Революцию в Петербург — его приятель Троцкий — и вот уезжал в Киев, зашел перед отъездом. <...> Он очень любил С<ерафиму> П<авловну>» (Там же).

С. 201. *А за ними — Надя Лопухова, Вера и Петя Курдюк...* — Согласно «Моим запискам», прообраз *Веры* — Вера Костева; *Петя Курдюк* — в реальности Яков Селюк (*Книга VI.* Л. 27 об.).

...я люблю вас. ~ Я вас люблю. Подумайте об этом. — В «Моих записках» этот эпизод отражен в главке «XII. Две лиры» (Там же. Л. 47; см. о Биске также на Л. 48—50).

С. 202. *В Покидоше гостила Ильина.* — В реальности Е. К. Брешко-Брешковская освободилась после ссылки в Сибирь в сентябре 1896 г.; переехала сначала в Москву, затем в Чернигов и Минск.

С. 203. *...Ильина хотела непременно, чтобы Оля вышла замуж за студента Оводова...* — В реальной жизни — *Николай Павлович Булич* (см.: *Книга VI.* Л. 12 об., 13). Ремизов, касаясь Н. П. Булича, отметил: «Для меня загадка, как он мог полюбить С<ерафиму> П<авловну>, а он ее любил беззаветно. Я понимаю С<ерафиму> П<авловну>, как он раздражал ее своей заботой о ней. Но я терпеливо всё бы выслушал от него — за его заботу о С<ерафиме> П<авловн>е» (*Книга I.* Л. 60).

Идеал

С. 204. *Наталья Васильевна Ильина — Аграфена-ткачиха. Под таким именем вышла она «в народ»...* — В действительности Е. К. Брешко-Брешковская до ареста «ходила в народ» под именем солдатки Феклы Косой.

...крестьяне крестились: «земля и воля!» <...> ...даст народу «землю и волю»... — «Земля и воля» — тайное революционное общество, действовавшее в России с 1861 по 1864 г. Основной целью считало подготовку народной крестьянской революции, национализацию земли. Возродилось в качестве народнической организации в 1876 г. (сначала под названием «Общество народников»).

...на лекции Лесгафта... — Имеется в виду П. Ф. Лесгафт. См. о нем: *Бестужевские курсы.* С. 233—236.

...и тогда не повлекут ни Аркадии, ни Ливадии, ни вилла Родэ». — *«Аркадия»* — петербургский ресторан (1880—1914, Новодеревенская наб. (ныне Приморский пр.), д. 13); *«Ливадия»* — петербургский ресторан (1876—1892, Новодеревенская наб. (ныне Приморский пр.), д. 12); *«Вилла Родэ»* (1908—1918) — в начале XX в. знаменитый загородный кафешантан, открытый на пересечении Строгановской ул. и Новодеревенской наб. (ныне ул. Академика Крылова и Приморский пр.), д. 2/1.

С. 207. *...завечное дело революции...* — То есть вечное дело.

Такой экземпляр

С. 209. *...читали вслух Э. Т. А. Гофмана «Эликсир сатаны».* — Роман Э. Т. А. Гофмана «Эликсир сатаны» был написан в 1815 г.

С. 210. *...как от «Дела 1-го марта»...* — Вероятно, имеется в виду книга «Дело о совершенном 1 марта 1881 года злодеянии, жертвою коего пал в Бозе почивший император Александр II. Приложение к “Литературному журналу”» (СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1881).

...везли на казнь Перовскую, Желябова и Рысакова на Семеновский плац. — Народовольцы С. Л. *Перовская,* А. И. *Желябов,* Н. И. *Рысаков* были казнены на Семеновском плацу 3 апреля 1881 г. за убийство императора Александра II. О С. Л. Перовской см. в комм. на с. 685. О А. И. *Желябове* и С. Л. *Перовской* см.: *Тихомиров Л.* А. И. Желябов и С. Л. Перовская. Ростов-на-Дону: Донская речь, 1906.

С. 211. *«Нет, никому не отдаст она креста своего — готовая умереть за свою веру!»* — Ср. в записках С. П.: «Вот за *крест* я готова и страдать и умереть, а за *партию* ни за одну не хочу страдать, — во всякой *партии* — неправда». Отклик Ремизова: «Это признание очень важное: С<ерафима> П<авловна> вся со своей верой, а с такой верой

люди родятся и проносят ее до смерти. Вера ее была несомненная, это был свет, который окружал ее, и в этом свете она жила и через него смотрела на мир. И через него она чувствовала близость с тем миром, она смотрела, молясь, и зрение ее проникало туда. <...> И оттого, что ее душу окружал свет веры, она чувствовала человеческую фальшь и ложь. Вера для нее была источником ви́дения» (*Книга V*. Л. 20; курсив С. П. Ремизовой-Довгелло).

С. 210. *На мосту часовня — «Каракозов стрелял».* — Подразумевается часовня св. Николая Чудотворца на Николаевском (Благовещенском) мосту (1854; арх. А. И. Штакеншнейдер). Была разобрана в 1930-е гг. Эта часовня никак не связана с покушением Д. В. Каракозова.

С. 211. *В коридоре на Курсах. ~ упала лицом на землю.* — Данный фрагмент содержится в *Книге I*: главка «6. Не поддержал. Сон» (Л. 118).

Недобитый соловей

В 1909 г. Ремизов работал над произведением с таким же названием, намечавшимся к публикации в журнале «Аполлон». Вероятно, имеется в виду повесть «Стан половецкий», получившая затем название «Доля» (см. выше комм. на с. 676—677). Подробнее об этом эпизоде см.: *Обатнина Е.* Неочевидный смысл очевидных фактов: А. М. Ремизов и журнал «Аполлон» // От Кибирова до Пушкина: Сб. в честь 60-летия Н. А. Богомолова. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 329—330.

С. 212. *...от доктора Перепелки...* — В «Моих записках»: «...от доктора Воробья...» (*Книга VI*. Л. 83).

...потом стал заговариваться. — Далее в «Моих записках»: «И доктор думает, что он сошел с ума» (Там же).

С. 213. *— Олинька, на!* — Далее в «Моих записках»: «Так никто ее не называл: Оленькой» (Там же. Л. 84).

С. 214—215. *...а Оля так у калитки и осталась: ей идти неудобно! ~ Оля этого никогда не забудет.* — В «Моих записках» данный фрагмент отсутствует.

С. 216. *...а в институте доктора Ришэ...* — О Ш. Рише и его институте см. в комм. Е. Р. Обатниной к повести «По карнизам»: *Зга-Росток XI*. С. 753, 761.

...дикий свист джаз-банда... — *Джаз-бэнд* — оркестр джазовой музыки.

...на Place Pigalle... — Площадь Пигаль в Париже, «район красных фонарей», находится недалеко от района Монмартр.

...такси Renault... — *Рено* (Renault) — марка легковых автомобилей одноименной французской компании.

С. 217–218. *...но неужто, как и тогда, в допотопное, дореволюционное время... ~ и самый искреннейший поступок человека (никто не убережется!) залепят грязью!* — Г. Адамович так интерпретировал этот очень важный, с его точки зрения, фрагмент: «Эти строки писаны с такой страстью, с таким неподдельным жаром и так неподражаемо по-ремизовски, что нельзя не насторожиться... <...> Бывает иногда, что человек шутит, балагурит, "болтает" — и вдруг, ни с того ни с сего вспылит. Или без повода заплачет, или вдруг глубоко задумается... По этим мгновениям — особенно у людей сдержанных, склонных или склоненных жизнью к притворству, — только и можно узнать человека. По этой удивительной цитате, по неистовому ритму ее, мы и Ремизова узнаем. В сущности, его томит старая русская тоска о бунте, всепожирающий "огнь возмущения", неутолимое неудовольствие, полуиноческое, полуразбойничье. От монаха — умиление, славянское францисканство, <...> и дальше, глубже — подвижничество; от разбойника — дерзость, вызов, озорство, нигилизм к культуре. То и другое скрыто, притушено и только изредка прорывается. Но прорывается с такой силой, что ни ласковой воркотне, ни вкрадчивому говорку, ни безобидным анекдотцам больше не веришь, а, слушая всё это, только со смущением вспоминаешь, что недаром же Ремизов издавна слывет великим притворщиком, смутьяном "себе на уме". Любовь и ненависть его затаены, приручены, а дай он им волю, не сдержи он их диких порывов, он в мире камня на камне не оставил бы» (Звено (Париж). 1927. 19 июня. № 229. С. 2).

С. 217. *...разноцветный пошетт* — от фр. pochette — платочек (для верхнего карманчика).

...пар эрзацов... — *Эрзац* (нем. Ersatz — заменитель) — суррогат.

С. 222. *...на Сергиевскую.* — Сергиевская ул. протянулась от набережной реки Фонтанки до Потемкинской ул.

...на Таврическую... — Таврическая ул. проходит от Суворовского пр. до Шпалерной ул.

— *На Колтовскую!* — Средняя Колтовская ул. в Петроградском районе проходит от Петергофской ул. до Корпусной ул. Одна из самых маленьких в городе.

...с Кирочной... — Кирочная ул. в Центральном районе проходит от Литейного пр. до Малой Болотной ул. (ныне ул. Красного Текстильщика).

Бедные люди

С. 223. *Бедные люди* — Ср. одноименное название первого романа Ф. М. Достоевского (1846).

С. 225. *...если ты взял да на последние и купил, вот эти калачи купил и чай пьешь. А ведь ты не имеешь права чай пить...* — Ср. сетования Макара Девушкина в романе Достоевского: «...чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выгадал... <...> чаю не пить как-то стыдно» (*Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука, 1988. Т. 1. С. 34).

С. 228. *...к какому-то Навуходоносору...* — Зд. в переносном значении: к какому-то местному правителю.

С. 229. *...в Предварилке на Шпалерной.* — Шпалерная ул. пролегает между Гагаринской ул. и Екатерининской площадью (ныне — пл. Растрелли). Дом предварительного заключения («Шпалерная тюрьма») находился в доме № 25. См. подробнее комм. на с. 760.

С. 230. *...кусочек пирога от Филиппова.* — См. выше комм. на с. 679.

На Троицу Людмила Николаевна принесла в тюрьму березки... — День Святой Троицы («Духов день») — один из главных христианских праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи. В этот день иконы украшаются березовыми ветвями.

...будем петь Коляду... — *Коляда* — обряд славян с песнями во время рождественского сочельника и святок.

У́же

С. 232. *— Утром меня разбудила Зина... ~ — Это Струнский, — сказал Рашевский, — негодяй!* — Данный эпизод ареста Рашевского ранее воспроизведен в главе «Доля» (с. 135—136). В «Моих записках» указана фамилия жандармского полковника Шмакова (см.: *Книга VI.* Л. 10). Сведений о нем найти не удалось.

С. 233. *— Памятник Пушкину!* — Бронзовый памятник А. С. Пушкину работы А. М. Опекушина был установлен в Москве в начале Тверского бульвара в 1880 г.

...какое угодно сальто-мортале... — У акробатов головокружительный, опасный прыжок, трюк.

Беспорядки

С. 234. *...поцеловал профессор Дадыкин...* — Фамилия, придуманная Ремизовым; вероятно, происходит от украинского глагола «дадакати» (отсюда прозвище «дадыка») — болтать.

...у него большая библиотека — давал курсисткам читать книжки... — Возможно, имеется в виду И. А. Шляпкин (см. комм. на с. 692).

...Лида Алексеева, Маня Сажина, Нина Мавлютина... — *Лида Алексеева* — в реальной жизни Валя Антонова; *Маня Сажина* — Мария Павлова; в «Моих записках» также Катя Аринкина (см.: *Книга VI.*

Л. 5 об., 6, 6 об., 7, 9 об.); *Нина Мавлютина* — в действительности Катруся Константинович.

Под стук

С. 237. *Оля была арестована совсем неожиданно...* — Арест С. П. Довгелло произошел 12 марта 1896 г. (см.: *Книга VI.* Л. 15, 17).

С. 240. *— Есть у тебя, Оля, Леонид Андреев?* — Имеются в виду книги писателя *Л. Н. Андреева.*

...«отречемся от старого мира»... ~ Оля написала Марсельезу... — См. выше комм. на с. 682.

С. 242. *Оля ей Кузмина прочитала...* — Возможно, подразумевается А. К. *Кузмин* (Кузьмин).

Воробушек, птичка малая... / О чем щебечешь в плену... — Источник установить не удалось.

...сказки ~ Гримма... — Имеются в виду популярные сборники «Сказки братьев Гримм».

С. 245. *...на место Лели посадили Смолину...* — Прототип *Смолиной* — *Маня Заболотная,* сидевшая в тюрьме на Шпалерной в одно время с С. П. (см.: *Книга VI.* Л. 21 об.—22).

С. 246. *...против Оли были показания Хвостова.* — Настоящая фамилия этого провокатора в реальности — *Леонов* (см.: *Книга VI.* Л. 15, 53).

С. 250. *— Пр — — Оля только и успела простучать две первые буквы...* — Имеется в виду слово «Прощай».

Прощанье

С. 254. *«А теперь — чего ждать?» ~ «чего ждать — чем жить?»* — Ср. в «Моих записках»: «Но на свободе, когда она встретила своих товарищей, она поняла, что ей жаль тюрьмы: она не знает, как жить ей дальше... <...> Что же ей дальше делать? По прежнему она не может, потому что сама она уже не прежняя. Но как же, как?» (*Книга VI.* Л. 56).

С. 254—255. *...сухое официальное письмо! ~ Оля страшно мучилась, ночей не спала.* — Об этом эпизоде с «клеветой», которой поверила Зина Рашевская (Маруся Сущинская), рассказано в главке воспоминаний «Тунгус в юбке» (перед текстом ремарка Ремизова: «Этого в "Оле" нет. Но есть отголосок...»): «В том же самом кружке, где Оля, с с.-р.-ими устремлениями, участвовала курсистка, ее звали тоже Оля, Клычоглу [Сын Меча — Мечных] [Оля Уварова], а жандармский полковник Шмаков ее называл "тунгус в юбке". Родом она из Сибири, возможно, что какая-то тунгусская помесь. Вот эта Оля Уварова, она

влюблена в Оводова — но Оводов к ней равнодушен. <...> И этот “тунгус в юбке” на допросе что-то сболтнула, а когда ее выпустили — ее выпустили раньше Оли — в расспросах она всё свалила на Олю, а Оле всё хорошо было известно, жандармский полковник давал ей читать показания “тунгуса”, думая этим вызвать признания у Оли. Такие как Оводов, конечно, не поверили “тунгусу”, ведь это так не похоже на Олю, но были ведь и такие, что поверили, и среди них — Зина» (*Книга III*. Л. 12—13; см. также: *Книга VI*. Л. 24). Ремизов отметил: «“Тунгус в юбке” — это клевета, долго не могла избыть ее. А с “клеветой” — проба <вероятно, испытание. — *В. Б.*> дружбы, и тут оказалось, что ошиблась» (*Книга III*. Л. 3). Речь идет о Серафиме Георгиевне Клитчоглу, которая училась на курсах вместе с С. П. Довгелло.

С. 255. *...уезжает с отрядом «на голод»...* — Имеются в виду отряды помощи голодающим крестьянам, которые создавались еще народниками.

...и стало бодро и надеянно... — Надеянно — зд., возможно, в значении: обнадеживающе.

С. 256. *...Щелкунчик...* — «Щелкунчик и Мышиный король» (1816) — повесть-сказка Э. Т. А. Гофмана.

Чуперадло

С. 257. *Чуперадло* (укр.) — чучело, пугало, нелепое существо.

...«проходное» свидетельство... — В дореволюционной России удостоверение личности, обеспечивающее легальное перемещение освободившимся из ссылки или состоящим под гласным надзором полиции. Без проходного свидетельства ссыльный считался беглым.

С. 258. *...ел блинчик, вилкой попал в нёбо, прикинулось болеть. Так и помер с одним носом и глазами.* — В «Моих записках» в связи с этим фрагментом Ремизов отметил в квадратных скобках: «Мое изобретение для конца вымышленного Федора Фалалеича...» (*Книга I*. Л. 90).

С. 263. *...застрелился Черкасов. ~ Оля глубоко перекрестилась.* — О событиях, начиная с последней встречи С. П. с П. О. Повелко-Поволоцким и до его кончины, Ремизов записал с ее слов: «Через 3 года. Оля написала ему, просила денег для Бабушки “на партию”. Деньги, как узнала Оля, получились по указанному адресу, а Оля получила письмо: он писал — последнее письмо — “чего бы ни попросила она, он всё исполнит”. И спрашивал, куда она поедет после ссылки: “он ей устроит всё, что только она захочет”. Еще через 2 года. В феврале он узнавал адрес Оли — Серафимы Павловны Ремизовой. А 2 марта застрелился» (*Книга I*. Л. 88). С. П., в частности, свидетельствовала о самоубийстве Черкасова (Повелки-Поволоцкого): «Последний его сон: Оля, будто она подошла к нему и сняла с его головы волосы с кожей,

и он идет по грязи и всё вязнет. Этот сон он рассказал своей сестре Варе. / Спокойно он взял револьвер: “Тюх-тюх!” / И спустил курок. / И ушел куда-то своим духом, прекратив эту жизнь, за что-то так обидевшую его» (*Книга I.* Л. 91). Ср. там же с ремаркой Ремизова в квадратных скобках: «С<ерафима> П<авловна> до последних дней вспоминала о Черкасове (Повелке): в чем она была виновата, но избыть она не могла, что из-за нее погиб человек» (Там же).

С. 263. *...птичка-пересметушка.* — Вероятно, имеется в виду пересмешка (пеночка-пересмешка) — птичка с большой головой, длинными крыльями и коротким хвостом; обладает своеобразным громким пением.

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ

Впервые опубликовано: *Ремизов А.* В розовом блеске. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова. 1952. 419 с. Далее: *ВРБ*.

Печатается по тексту 1952 г. с сохранением вариантов авторских написаний, орфографии, пунктуации, с исправлением опечаток и ошибок набора (по сохранившейся части Наборной рукописи *ВРБ* — часть «С огненной пастью»).

Прижизненные публикации отдельных частей и глав:

С огненной пастью: см. с. 682—683 наст. тома.

Голова львова:

Как улетали птицы. Впервые: 1. Как улетали птицы (в подборке вместе с «2. Супирчик» под общ. загл. «Голова львова») // *ПН.* 1932. 1 окт. № 4210. С. 2—3; Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 137—143. **Супирчик.** Впервые: 2. Супирчик (в подборке вместе с «1. Как улетали птицы» под общ. загл. «Голова львова») // *ПН.* 1932. 1 окт. № 4210. С. 3. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 143—147. **Букет.** Впервые: Букет (в подборке вместе с «Святой», «Издали», «Закрыла окна» под общ. загл. «Голова львова») // *ПН.* 1932. 16 окт. № 4225. С. 4. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 147—150. **Святой.** Впервые: Святой (в подборке вместе с «Букет», «Издали», «Закрыла окна» под общ. загл. «Голова львова») // *ПН.* 1932. 16 окт. № 4225. С. 4—5. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 150—154. **Баррикадный.** Впервые: *ПН.* 1935. 28 апр. № 5148. С. 2. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 154—156. **Издали.** Впервые: Издали (в подборке вместе с «Букет», «Святой», «Закрыла окна» под общ. загл. «Голова львова») // *ПН.* 1932. 16 окт. № 4225. С. 5. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 156—158. **Закрыла окна.** Впервые: Закрыла окно (в подборке вместе с «Букет», «Святой», «Издали» под общ. загл. «Голова львова») // *ПН.* 1932. 16 окт. № 4225. С. 5. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 158—161. **И все так.**

Впервые: И все так (в подборке вместе с «Три пламенных сердца» под общ. загл. «Голова львова») // *ПН.* 1932. 27 нояб. № 4267. С. 2–3. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 161–172. **Три пламенных сердца.** Впервые: Три пламенных сердца (в подборке вместе с «И все так» под общ. загл. «Голова львова») // *ПН.* 1932. 27 нояб. № 4267. С. 3. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 172–174. **Не считается.** Впервые: Голова львова. Не считается // *ПН.* 1933. 12 марта. № 4372. С. 2–3. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 174–182. **Некуда деваться.** Впервые: *ПН.* 1933. 5 февр. № 4337. С. 4. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 182–188. **Не дождалась.** Впервые: *ПН.* 1933. 2 июля. № 4484. С. 5. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 188–194. **Наперекор.** Впервые: *ПН.* 1933. 16 июля. № 4498. С. 4. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 194–200. **Без предмета (Стихи).** Впервые: Без предмета // *ПН.* 1931. 25 дек. № 3939. С. 3–4. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 200–215. **На память.** Впервые: *ПН.* 1931. 6 сент. № 3819. С. 4. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 216–222. **Серебряный полумесяц.** Впервые: Серебряный полумесяц (в подборке под общ. загл. «Оля» вместе с «Земля и море») // *ПН.* 1933. 20 авг. № 4533. С. 3. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 223–226. **Без указки.** Впервые: *ПН.* 1933. 17 сент. № 4561. С. 3; 18 сент. № 4562. С. 2. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 226–237. **Слепая любовь.** Впервые: *ПН.* 1934. 11 авг. № 4687. С. 2. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 238–245. **Две – лиры.** Впервые: Две лиры // *ПН.* 1935. 3 февр. № 5064. С. 3. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 245–249. **Земля и море.** Впервые: Земля и море (в подборке под общ. загл. «Оля» вместе с «Серебряный полумесяц») // *ПН.* 1933. 20 авг. № 4533. С. 2–3. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 250–253. **С горбом.** Впервые: *ПН.* 1933. 22 окт. № 4596. С. 4. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 253–260. **Живое и мертвое.** Впервые: *ПН.* 1933. 17 дек. № 4652. С. 4. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 260–267. **Лепта из вечного.** Впервые: 1. Лепта (в подборке под общ. загл. «Из вечного» вместе с «2. Косточка») // *ПН.* 1934. 4 февр. № 4701. С. 4. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 267–273. **Косточка.** Впервые: 2. Косточка (в подборке под общ. загл. «Из вечного» вместе с «1. Лепта») // *ПН.* 1934. 11 февр. № 4708. С. 4. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 273–278.

Сквозь огонь скорбей:

За зеленой оградой:

Оля. Впервые: *ВРБ.* С. 281–286. **С первого глаза.** Впервые: *ВРБ.* С. 286–290. Прижизненная публикация: *ВРБ.* С. 286–290. **Непоправимое.** Впервые: *ВРБ.* С. 291–297. **Наташа.** Впервые: *ВРБ.* С. 297–304. **Мать.** Впервые: *ВРБ.* С. 304–309. **Встречи.** Впервые: *ВРБ.* С. 309–311. **День всех святых и всех мертвых.** Впервые: *ВРБ.* С. 312–314.

Залом:

Вывертень. Впервые: 1. Вывертень (в подборке под общ. загл: «Залом: Из страд “Сквозь огонь скорбей”» с «2. Беспастушное пространство») // Орион: Лит. альм. Париж. 1947. С. 83–87. Прижизненная публикация: *ВРБ*. С. 314–320. **В беспастушное пространство.** Впервые: 2. Беспастушное пространство (в подборке под общ. загл: «Залом: Из страд “Сквозь огонь скорбей”» с «1. Вывертень») // Орион: Лит. альм. Париж. 1947. С. 87–94. Прижизненная публикация: *ВРБ*. С. 320–329. **Святый вечор**. Впервые: Русские новости (Париж). 1947. 3 янв. № 86. Прижизненная публикация: *ВРБ*. С. 329–335. **Елочные украшения**. Впервые: *ВРБ*. С. 335–336. Прижизненная публикация: *ВРБ*. С. 335–336. **Западня**. Впервые: *ВРБ*. С. 335–336. **Отходная.** Впервые: *ВРБ*. С. 346–348. **Пропад**. Впервые: 1. Пропад (в подборке под общ. загл.: В розовом блеске. Из страд «Сквозь огонь скорбей» с «2. Сирена», «3. Конец», «4. Омут», «5. Туда», «6. Дупло») // Новоселье (Нью-Йорк). 1948. № 37/38. С. 1–5. Прижизненные публикации: Пропад (в подборке под общ. загл. «В розовом блеске: Из страд “Сквозь огонь скорбей” с «Сирена») // Новости дня (Тяньцзинь). 1948. 6 окт. № 273. С. 7–8; *ВРБ*. С. 348–351. **Сирена**. Впервые: 2. Сирена (в подборке под общ. загл.: В розовом блеске. Из страд «Сквозь огонь скорбей» с «1. Пропад», «3. Конец», «4. Омут», «5. Туда», «6. Дупло») // Новоселье (Нью-Йорк). 1948. № 37/38. С. 5–14. Прижизненные публикации: Сирена (в подборке под общ. загл. «В розовом блеске: Из страд “Сквозь огонь скорбей” с «Пропад») // Новости дня (Тяньцзинь). 1948. 6 окт. № 273. С. 7–8; *ВРБ*. С. 351–360. **Конец.** Впервые: 3. Конец (в подборке под общ. загл.: В розовом блеске. Из страд «Сквозь огонь скорбей» с «1. Пропад», «2. Сирена», «4. Омут», «5. Туда», «6. Дупло») // Новоселье (Нью-Йорк). 1948. № 37/38. С. 15–19. Прижизненная публикация: *ВРБ*. С. 360–365. **Омут**. Впервые: 4.Омут (в подборке под общ. загл.: В розовом блеске. Из страд «Сквозь огонь скорбей» с «1. Пропад», «2. Сирена», «3. Конец», «5. Туда», «6. Дупло») // Новоселье (Нью-Йорк). 1948. № 37/38. С. 20–23. Прижизненная публикация: *ВРБ*. С. 365–369. **Туда**. Впервые: 5. Туда (в подборке под общ. загл.: В розовом блеске. Из страд «Сквозь огонь скорбей» с «1. Пропад», «2. Сирена», «3. Конец», «4. Омут», «6. Дупло») // Новоселье (Нью-Йорк). 1948. № 37/38. С. 23–30. Прижизненная публикация: *ВРБ*. С. 369–376. **Дупло**. Впервые: 6. Дупло (в подборке под общ. загл.: В розовом блеске. Из страд «Сквозь огонь скорбей» с «1. Пропад», «2. Сирена», «3. Конец», «4. Омут», «5. Туда») // Новоселье (Нью-Йорк). 1948. № 37/38. С. 30–32. Прижизненная публикация: *ВРБ*. С. 376–378. **Под огненной потравой**. Впервые: *ВРБ*. С. 379–384.

Задора:

Задора-Довгелло. Впервые: *ВРБ*. С. 385—390. **Из дневника Павла Ивановича Довгелло**. Впервые: *ВРБ*. С. 390—393. **Гетман.** Впервые: *ВРБ*. С. 393—395. **Последняя «Задора»**. Впервые: *ВРБ*. С. 395—402.

Черная немочь: Из Берестовецкого Архива Довгелло:

«Я ничего не знаю о судьбе Берестовецкого Архива Довгелло...» Впервые: *ВРБ*. С. 402—405. **1. Письма И. М. Довгелло сыну Афанасию.** Впервые: *ВРБ*. С. 405—407. **2. Письма И. М. Довгелло сыну Афанасию**. Впервые: *ВРБ*. С. 407—408. **3. Письмо А. Е. Довгелло сыну Афанасию**. Впервые: *ВРБ*. С. 408—409. **4. Письмо М. И. Довгелло брату**. Впервые: *ВРБ*. С. 409—411. **5. Из письма А. И. Довгелло к отцу.** Впервые: *ВРБ*. С. 411—412. **6. Письмо И. И. Довгелло матери**. Впервые: *ВРБ*. С. 412—413. **7. Письмо Отрады Аф. И. Довгелло**. Впервые: *ВРБ*. С. 413—415. **8. Письмо Л. Еф. Ковалевского Аф. И. Довгелло.** Впервые: *ВРБ*. С. 415. **9. Письмо Ев. Еф. Ковалевского Наталье Ив. Головне (Довгелло).** Впервые: *ВРБ*. С. 416—417. **10. Письмо В. Головни сыну Федору Николаевичу Головне**. Впервые: *ВРБ*. С. 417. **11. Письмо Д. Ф. Головни сестре Наташе**. Впервые: *ВРБ*. С. 418—419.

Автографы и авторизованные тексты:

С огненной пастью: Автографы и авторизованные тексты отдельных рассказов, входящих в часть «С огненной пастью» см.: Комментарий к книге «Оля» (с. 655—656 наст. тома).

Наборная рукопись *ВРБ* (часть «С огненной пастью») — Авториз. печ. текст с правкой (*Ремизов А.* Оля. Париж, 1927. С. 212—321) // *ГЛМ ОКФ*. Коллекция книг А. М. Ремизова. *КП*.59266/20).

Голова львова:

«Голова львова» <план>. — Автограф. <1930-е> // *Amherst*. Box. 16. F. 9. 6 p.; «Как улетали птицы»; «Супирчик». — Черновой автограф. 1932 // *Amherst*. Box. 16. F. 10. 29 p.; «Как улетали птицы». — Беловой автограф. <1930-е> // *Amherst*. Box. 16. F. 10. 11 p.; «Букет». (Отрывки.) — Черновой автограф. <1932> // *Amherst*. Box. 16. F. 11. 4 p.; «Букет». — Беловой автограф. 1932 // *Amherst*. Box. 16. F. 11. 6 p.; «Идти к святому». — Черновой автограф. <1932> // *Amherst*. Box. 16. F. 11. 8 p.; «Издали». — Черновой автограф. <1932> // *Amherst*. Box. 16. F. 11. 23 p.; «Закрыла окна». — Черновой автограф. <1932> // *Amherst*. Box. 16. F. 11. 9 p.; «Букет», «Святой», «Издали», «Закрыла окна». — Беловой автограф. <1932> // *Amherst*. Box. 16. F. 11. 10 p.; «Баррикадный». — Черновые варианты. Автограф. <1935> // *Amherst*. Box. 16. F. 12. 8 p.; «Баррикадный». — Беловой автограф. <1935> // *Amherst*. Box. 16. F. 12. 3 p.; «Баррикадный». — Наборная рукопись. <1935> // *Amherst*. Box. 16. F. 12. 3 p.; «И все так». — Черновые варианты. <1932> // *Amherst*. Box. 16. F. 12. 31 p.; «И все так». — Беловой автограф. <1932> // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 1. Ед. хр. 8. 14 л.; «И все так». — На-

борная рукопись. <1932> // *Amherst.* Box. 16. F. 12. 11 p.; «Монашка» (отрывки чернового варианта рассказа «Три пламенных сердца»). — Черновой автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 13. 5 p.; «Не считается». Черновой автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 13. 9 p.; «Не считается». — Беловой автограф. 1933 // *Amherst.* Box. 16. F. 13. 8 p.; «Некому заступиться». — Черновые варианты. Автограф. <1933> // *Amherst.* Box. 16. F. 13. 11 p.; «Не дождалась». — Черновые варианты. Автограф. <1933> // *Amherst.* Box. 16. F. 13. 20 p.; «Наперекор». — Черновые варианты. Автограф. <1933> // *Amherst.* Box. 16. F. 14. 6 p.; «Наперекор». — Беловой автограф. 1933 // *Amherst.* Box. 16. F. 14. 6 p.; «Без предмета». — Комбинированный печатный и машинописный текст. 1931 // *Amherst.* Box. 16. F. 14. 15 p.; «Без предмета». — Черновые варианты. Автограф. <1931> // *Amherst.* Box. 16. F. 14. 22 p.; «Без предмета». — Наборная рукопись. 1931 // *Amherst.* Box. 16. F. 14. 15 p.; «На память». — Черновые варианты. Автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 15. 4 p.; «На память». — Комбинированный печатный и машинописный текст. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 15. 11 p.; «Прилипа» (рукописные черновые материалы и заметки к рассказу «На память»). — Автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 15. 2 p.; «Серебряный полумесяц». — Черновые варианты. Автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 16. 35 p.; «Серебряный полумесяц». — Черновой автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 16. 6 p.; «Серебряный полумесяц» (Отрывки окончательного текста). Беловой автограф. <1933> // *Amherst.* Box. 16. F. 16. 4 p.; «Без указки». Варианты. — Черновой автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 17. 29 p.; «Без указки». (Отрывки окончательного текста). — Беловой автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 17. 11 p.; «Праздные люди». — Черновые варианты. Автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 17. 2 p.; «Слепая любовь». — Черновые варианты. Автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 17. 20 p.; «Слепая любовь» . (Отрывки окончательного текста). — Беловой автограф. <1934> // *Amherst.* Box. 16. F. 18. 7 p.; «Две лиры» . — Черновые варианты. Автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 18. 13 p.; «Две лиры». — Беловой автограф. <1935> // *Amherst.* Box. 16. F. 18. 7 p.; «Земля и море». — Черновые варианты. Автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 19. 7 p.; «С горбом» . — Черновые варианты. Автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 19. 19 p.; «С горбом» . — Черновые варианты. Автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 19. 13 p.; «Живое и мертвое». — Беловой автограф. 17 дек. 1933 // *Amherst.* Box. 16. F. 19. 9 p.; «Чистое сердце». — Черновые варианты. Автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 20. 11 p.; «Бедное сердце». — Черновой автограф. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 20. 12 p.; «Лепта вдовицы». — Беловой автограф с правкой. <1930-е> // *Amherst.* Box. 16. F. 20. 19 p.

Сквозь огонь скорбей:

«Сквозь огонь скорбей». — Черновой автограф. <1940-е> // *Amherst*. Box. 16. F. 21. 52 p.; «Сквозь огонь скорбей». (Фрагмент). — Черновой автограф. 3 дек. 1943 // *Amherst*. Box. 16. F. 21. 8 p.; «Святый вечор». — Черновой автограф. <1943> // *Amherst*. Box. 16. F. 22. 16 p.; «Святый вечор» (текст главы соединен в одной записной книжке вместе с рассказом «Бедный Йорик»). — Черновой автограф. 1940—1946 // *Amherst*. Box. 16. F. 22. 34 p.; «Сквозь огонь скорбей». — Черновой автограф. В 2-х тетрадях. 1943 // *Amherst*. Box. 16. F. 23. 127 p.; «Сквозь огонь скорбей». — Черновой автограф. 1943 // *Amherst*. Box. 16. F. 24. 155 p.; «Залом». — Черновой набросок. Автограф. <1940-е> // *Amherst*. Box. 16. F. 25. 16 p.; «Залом». — Черновой автограф раздела. <1940-е> // *Amherst*. Box. 16. F. 25. 73 p.; «Сирена». (Отрывок). — Черновой автограф. <1940-е> // *Amherst*. Box. 16. F. 25. 3 p.; «Задора». (Отрывок). — Черновой автограф. <1940-е> // *Amherst*. Box. 16. F. 26. 4 p.; «Сквозь огонь скорбей» (Загл. исправлено на: «В розовом блеске. Из про́лога»). В 3-х тетрадях. — Беловой автограф с правкой. <Июль-дек. 1943>; «28 марта 1952» // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 63. 182 + XII л.; «В розовом блеске. Из про́лога». — Авторизованная машинопись с правкой. «13 XI 1943» // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 65. 156 л.; «В розовом блеске / — из [истории] страд «Сквозь огонь скорбей» — «ПРОПАД». (Часть раздела «Залом»). — Авторизованная машинопись с правкой. [«13 XI 1943»], «1943» // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 68. 40 л.; «За зеленой оградой». В 2-х тетрадях. — Беловой автограф с правкой. «21. I. 1944» // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. 104 + VIII л.; «За зеленой оградой».— Авторизованная машинопись с правкой. <1944> // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 66. 89 л.; «Из Берестовецкого архива Довгелло». — Беловой автограф с правкой. Авторизованная машинопись. <1940-е> // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 70. 31 л.; «Приложение. Из дневника». — Беловой автограф с правкой. Авторизованная машинописная копия. <1940-е> // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 69. 34 л.; «Залом. Вывертень». — Печ. текст публикации в альманахе «Орион» с авторской правкой. 1947 // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 71. 6 л.; «Пропад». — Печ. текст публикации в журнале «Новоселье» с авторской правкой. 1948 // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 72. 15 л.; «Святый вечор». — Печ. текст публикации в газ. «Русские новости» с авторской правкой. 1947 // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 73. 4 л.

Тексты-источники:

Тексты-источники разд. ***«С огненной пастью»*** см.: Комментарий к книге «Оля» (с. 655—656 наст. тома).

Тексты-источники разд. ***«Голова львова»:***

Ремизова-Довгелло С. П.: «Две лиры». <Неоконченный набросок>. Автограф. 1934. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1038. 6 л.; «Идти к свято-

му». <Набросок>. Автограф. Б. д. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1041. 6 л.; «Слепая любовь». <Набросок>. Автограф. Б. д. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1042. 8 л.; «Вл. М. Черкасов. На память». <Набросок>. Автограф. Б. д. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1043. 3 л.; «Пасха / Петербург». <Набросок>. Автограф. <1907, 1909>. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1048. 1 л.; Наброски к рассказам, с авторскими названиями и датировками, а также пометами Ремизова. Автограф. Б. д. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1085.

2. *Ремизов А. М.* Копии рассказов С. П. Ремизовой-Довгелло из ее тетради «Мои записки» с авторскими названиями, датировками оригинальной записи и указанием на название текста в главе «Голова львова». Автограф. <1930-е>. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 292. Далее жирным шрифтом отмечены названия Ремизова, оригинальные названия рассказов С. П. Ремизовой-Довгелло — курсивом, квадратными скобками — отсутствующие тексты: **Как улетали птицы**: *Как улетали птицы*, 22 IV 1932: *Первая память*, 23 IV 1932; *Страшное*, 21 VI; *Страшный суд*, 16 VI 1932; **Супирчик**: *«Герой нашего времени»*, 1 VIII 1930, 27 VI 1932; **Букет**: *Цветы, Букет цветов*, 17 VI 1932; **Святой**: *Идти к святому;* **[Баррикадный];Издали**: Издалека, 10 IV 1932; **Закрыла окна**, 1 V 1932 (Пасха); **[И все так]; Три пламенных сердца**: *Бабушка*, 24 VI 1932; *Монашка*, 3 VII 1932; **Не считается**: *Праздные люди*, 21 VI 1932; **Некуда деваться**: *Некому заступиться*, 25 X 1932; **Не дождалась**, 16 VI 1933; **Наперекор** 29 VI 1932; **Без предмета (Стихи)**: Без предмета, 11 IX 1931; **На память**: *Черкасов*; **Серебряный полумесяц**: *Полумесяц*, 30 VI 1932; 3 VII 1932; **Без указки**: *Яблоки* , 24 июня 1932, 11 декабря 1932; **Слепая любовь —; Две-лиры**: *Бедненький и колода*. 1934; **Земля и море:** *Не скроешь*, 29 VI 1932; *На землю*, 30 VI 1932; **С горбом**, 18 сентября 1933; **Живое и мертвое**, 13 VIII 1933; **Лепта из вечного**: *Пуля*, 3 VII 1932. **[Косточка].**

Тексты-источники разд. ***«За зеленой оградой»*:**

Ремизов А. М. Моя отходная. — Автограф. — *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 6. Ед. хр. 7. 14 л.; Дневниковые записи. Автограф. <1943>. — *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 6. Ед. хр. 61. 1 л.; Дневник с записями снов. № 1. Автограф. 13 октября 1943 — 23 марта 1945. — *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 6. Ед. хр. 31. 70 л.

Тексты-источники разд. ***«Задора»*:**

1. *Ремизов А.* <Надгробная речь на похоронах С. П. Ремизовой-Довгелло>. 13/14 <мая> 1943. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1336. Л. 118–119.

2. Документы из семейного архива Ремизовой-Довгелло С. П.

Писарская копия. На Л. 2 запись А. М. Ремизова. <1746–1819>; «23 июня 1948».— *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1298. 48 л.

3. Листки из дневника Довгелло П. И., отца Ремизовой-Довгелло С. П. Автограф. «21 августа 1881», <1880-е>. – *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1299. 4 л.

Роман-эпопея «В розовом блеске» (далее: *ВРБ*) повествует о жизни жены А. М. Ремизова – Серафимы Павловны Ремизовой (урожд. Довгелло, 1876–1943; далее: С. П.), судьба которой рассмотрена на широком фоне русской истории. Создание этого художественного мегатекста, вобравшего в себя в переработанном виде более ранние тексты, продолжалось на протяжении 47 лет, начиная с 1905 г. и заканчивая 1952 г. Фактический исток работы датируется 1905 г. – т. е. относится к периоду начала профессионального литературного пути Ремизова. Завершение работы над *ВРБ* пришлось на последние годы жизни писателя.

Полномасштабная текстологическая история текста *ВРБ* еще ждет своего изучения. Это связано с разделением частей архива Ремизова между архивохранилищами. Основные материалы комплекса текстов, формирующих *ВРБ*, находятся: 1) в фонде А. М. Ремизова и С. П. Ремизовой-Довгелло (Alexej Remizov and Serafima Remizova-Dovgello Papers) – архив Центра Русской культуры Амхерст-Колледжа (Amherst college center for Russian culture, USA, далее: *Amherst*); 2) в фонде А. М. Ремизова (ф. 156) – Государственный литературный музей (Москва; далее: *ГЛМ*). Материалы *ГЛМ* ранее хранились в Собрании семьи Резниковых (Париж).

В 1947 г. Ремизов разделил все рукописи, хранившиеся в его домашнем архиве на протяжении 1920–1940-х гг., на материалы, уже использованные в творческом процессе, и материалы, актуальные для текущей авторской работы. Первую часть, включая многочисленные рукописные материалы, относящиеся к уже изданной повести «Оля» (1927) и к опубликованному в периодике ее продолжению – циклу «Голова львова», а также наброски и первоначальные редакции произведения «Сквозь огонь скорбей», писатель передал архивисту К. И. Солнцеву, в те годы планировавшему создание в Париже Литературного архива русской эмиграции. Замысел Солцева не состоялся, а ремизовские рукописи волею судьбы уцелели как значительный корпус архива Ремизова и в настоящее время находятся в США (*Amherst*). Однако по объективным причинам они не могут быть привлечены к текстологическому анализу *ВРБ* во всей полноте. Вторая часть архива, сохраненная писателем в 1947 г. в его парижской квартире, представляла собой собрание рукописей еще не опубликованных произведений, а также те творческие материалы *ВРБ*, которые легли в основание будущего романа-эпопеи. В 2013 г. этот архив передан на хранение в фонд Ремизова (*ГЛМ*).

Творческая работа Ремизова по созданию произведений, основанных на истории жизни С. П., началась с середины 1900-х гг. Их основу составили письменные воспоминания С. П. (в детстве называвшей себя именем «Оля») о разных периодах ее жизни. Много лет спустя в письме Н. В. Кодрянской от 1 августа 1947 г. Ремизов раскрыл историю возникновения повествования о жизни «Оли Ильменевой», прототипом которого была С. П.: «Все думаю, как вам избыть, ничего не забывая, обуявшую тоску. Серафима Павловна не любила писать. Но как произошла “Оля”? (3-ю часть вы не читали, она по-русски не издана, будет по-французски). Чтобы выйти из черной тоски, она стала записывать для себя, ничего не сочиняя. Надо было “сорвать сердце”. Я это заметил. И уж стал просить записать что-нибудь из того, что сию минуту изводит. Литературная форма — это вопрос дела и не обязательно. Если бы меня не было, не было бы и книги “Оля”. Но без записок и “Оли” бы не вышло» (*Кодрянская 1977*. С. 64).)

С 1905 г. и почти до конца жизни Серафима Павловна вела нерегулярные записи мемуарного характера, касающиеся тех или иных эпизодов ее биографии (см.: *Ремизова-Довгелло С. П.*: <«Какие враги были у русского правительства...»>. 1905. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1034. 3 л.; <Воспоминания о детстве и юности>. 1909. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1033. 14 л. и др.).

Изначально произведения, созданные на основе мемуарных эгодокументов С. П. и впоследствии объединенные в циклы «В поле блакитном» и «С огненной пастью», имели скорее спорадический, чем целенаправленный характер. Тем не менее, уже в первых четырех текстах 1909—1918 гг. угадывалась авторская интенция к формированию сквозного повествования, объединенного общими темами и персонажами. В 1909 г. для редакционного портфеля журнала «Золотое Руно» Ремизов подготовил небольшую повесть «Недобитый соловей» о знакомом С. П., выведенном под фамилией Черкасов. Только в 1927 г. этот текст был использован Ремизовым в повести «Оля» (см. раздел «С огненной пастью»). История несостоявшейся публикации этого произведения в 1909 г. отражена в переписке Ремизова с секретарем редакции «Золотого руна» Г. Э. Тастевеном. См.: *Обатнина Е. Р.* Неочевидный смысл очевидных фактов: А. М. Ремизов и журнал «Аполлон» // От Кибирова до Пушкина: Сб. в честь 60-летия Н. А. Богомолова / сост. А. Лавров и О. Лекманов. М.: Новое лит. обозрение, 2011. С. 330 (Новое лит. обозрение. Науч. прил.; Вып. 92). Из писем писателя к С. П. 1909 г. также следует, что уже весной этого года к печати были подготовлены рассказы «Черная бабушка» и «Пасха» (*На вечерней заре. 1909* (*2*). С. 165), но и они остались без своевременной публикации вплоть до 1922 г., когда уже без названий были инкорпорированы Ремизовым в состав его книги «В поле блакитном». Первоначальные

заголовки рассказов возвращены, когда писатель включил их в состав повести «Оля».

С 1909 г. Ремизов приступил к последовательному изучению истории семьи Довгелло (факультативные варианты написания родовой фамилии: Довкгело, Довгело). По его просьбе С. П. привезла из родительского дома в с. Берестовец Борзненского уезда Черниговской губ. некоторые материалы семейного архива — писарскую копию комплекса документов XVIII—XIX вв., а также оригиналы ряда документов ее ближайших родственников (см.: Документы из семейного архива Ремизовой-Довгелло С. П. Писарская копия. <1746—1819>; «23 июня 1948».— *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1298. 48 л.; Листки из дневника Довгелло П. И., отца Ремизовой-Довгелло С. П. Автограф. «21 августа 1881», <1880-е>. — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1299. 4 л.). Впоследствии именно эта небольшая часть семейного архива составила основу раздела «Задора» романа *ВРБ*. Ср. ремизовское письмо к жене от 22 мая 1909 г. и комментарий к нему, добавленный писателем в 1943—1948 гг.: «Переписал несколько “берестовецких писем”, очень любопытные. Если бы такая удача тебе выпала достать еще. Самые интересные письма: письма 40-х годов. [Эти письма из “берестовецкого архива” взяла С. П. тайком. Немного. А больше нельзя было. А это только у нас и сохранилось, весь архив сгорел в Революцию]» (*На вечерней заре. 1909 (1)*. С. 183). В конце 900-х гг. на короткое время генеалогия С. П. Довгелло заинтересовала поэта В. Хлебникова, который под влиянием Ремизова увлекся поиском исторических документов, отразивших имена и деятельность ее предков. См. публикацию выписки Хлебникова с перечнем пращуров С. П. (Там же. С. 169—170).

В 1910 г. Ремизов написал еще один большой рассказ из берестовецкой жизни — «Стан половецкий» (впервые: Русская мысль. 1910. № 1. Отд. 1. С. 115—149; с посвящением С. П. Ремизовой-Довгелло). Немаловажно, что уже в 1910 г. писатель считал обе «берестовецких» истории («Недобитый соловей» и «Стан половецкий») взаимосвязанными по содержанию, очевидно, уже тогда предполагая продолжить жизнеописание Оли. Неслучайно публикация «Стана половецкого» сопровождалась авторской ремаркой, уведомлявшей читателя о том, что «эта повесть представляет собою первую часть предположенной трилогии» (Там же. С. 115). Однако топонимика повествования и имена главных героев еще отличались от будущих книг, посвященных Оле Ильменевой. Так, например, главная героиня «Стана половецкого» названа Марией Александровной Дохновой, а ее родная усадьба — не Ватагиным, а Великим озером.

Имя «Оля Ильменева» впервые появилось в рассказе «Бочоночек» (1914), который был отмечен критиками как талантливое художественное воспроизведение детского мира (см. рец.: *Голиков В. Г.*

Мравий прах, молья пыль в мастерской златобрилльянтщика: Весеннее порошье. Рассказы Алексея Ремизова // Вестник знания. 1915. № 12. С. 798). Последним же прецедентом литературной обработки детских воспоминаний С. П. в доэмигрантский период творчества Ремизова стал рассказ «Ошибки», помещенный в качестве традиционного «рождественского» рассказа на страницах литературного приложения к газете «Воля народа» — «Россия в слове» и подписанный псевдонимом «Ольга Ильменева» (1917. 24 дек. № 3. С. [1]).

5 августа 1921 г. Ремизовы покинули Петроград, воспользовавшись статусом эстонских репатриантов. В соответствии с законом Советской России с ее территории не разрешался вывоз ценностей, в том числе редких книг и рукописей. В связи с этим Ремизов доверил перевоз своих творческих рукописей и документов бывшему председателю эстонской Контрольно-оптационной комиссии в Петербурге А. Г. Оргу. Несмотря на дипломатический статус владельца, на границе багаж Орга был осмотрен и частично конфискован. В числе изъятого оказались рукописи и документы Ремизова. В составленном литератором перечне реквизированного среди прочего были перечислены «письма матери и брата моей жены (умерших) вклеены в конторскую книгу в переплет» (*ГАРФ*. Ф. 6065. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 24). Конфискованное было возвращено Ремизову после долгих хлопот в три приема — в 1922 и 1923 гг. (подробнее см.: *Флейшман Л.* Бегство в Эстонию: Ремизов и ревельское издательство «Библиофил» // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 2016. N 4. S. 42–75).

Однако Ремизовы сумели вывезти в своем личном багаже не только личные документы, но и тетрадки с фрагментами воспоминаний С. П. Ее записи с многочисленными ремизовскими пометами синим карандашом легли в основу первой книги, посвященной детству Оли Ильменевой, — «В поле блакитном». Она вышла в берлинском издательстве «Огоньки» в январе 1922 г. Уже летом того же года Ремизов подготовил к печати продолжение под названием «Доля — Невеста — Весна». Содержание этого текста составила новая редакция рассказа «Стан половецкий», в котором были заменены прежние имена и топонимические названия. Вопреки желанию Ремизова отдельное издание повести в 1922 г. не состоялось. Владелец издательства «Огоньки» А. Г. Левенсон, только что выпустивший в свет повесть «В поле блакитном», отклонил предложение писателя, сославшись на перегруженность печатного плана (см. письмо Левинсона Ремизову от 8 июня 1922 г. — *Amherst*. Box. 1. F. 6. P. 7). Однако повесть «Доля» вскоре была принята к печати редакцией парижского журнала «Современные записки». Эта же редакция «Доли» была использована в качестве части повести «Оля», выпущенной отдельным изданием (Париж, 1927). Состав книги помимо двух, уже ранее изданных частей («В поле бла-

китном» и «Доля»), пополнился новой — «С огненной пастью». Название цикла восходит к описанию дворянского герба литовских предков Довгелло — Задор (ср. с. 575 наст. тома: «“Голова Львова сера, косамата с огненной пастью в поле блакитном”») и латентно привносит в содержание хроники жизни Оли тему древней генеалогии героини. Книга была сверстана в издательстве «Вол», созданном молодым другом Ремизовых — поэтом и инженером В. В. Диксоном. В новообразованном издательстве все было овеяно образом С. П., включая то, что ее рисунок послужил эскизом для издательской марки, но и здесь при указании автора эмблемы ее имя было скрыто под псевдонимом «В. Н. Скоропадский» (подробнее см.: *Резникова 2013*. С. 74). В примечании, помещенном в конце книги, Ремизов анонсировал подготовку к печати следующей части «Олиной» истории, название которой также должно было отражать фамильную атрибутику: «IV-ая часть, которую назову “Сера-космата”, приготавляется <sic! — *Ред.*>». И, действительно, по настоянию Ремизова в 1930—1933 гг. С. П. продолжила свои записки о ранней юности. В результате их литературной переработки появился новый цикл рассказов, в названии которого писатель, упразднив объявленную версию, остановился на прямом соответствии с символическим изображением на гербе рода Довгелло — «Голова львова». Практически все рассказы этого цикла были опубликованы в 1931—1935 г. на страницах газеты «Последние новости» под единым заголовком (см. список публикаций отдельных глав *ВРБ*). На этом жизнеописание курсистки-революционерки Оли Ильменевой было завершено и, наверное, при благоприятных обстоятельствах парижского бытия Ремизовых могло бы быть выпущено отдельной книгой. Однако в 1930-е гг. писатель оказался в издательской «блокаде» (с 1932 по 1945 год на русском языке не удалось выпустить в свет ни одной авторской книги). Между тем Ремизов полагал, что печатная судьба произведения большой формы может считаться состоявшейся только при его выпуске в свет отдельным изданием. В соответствии с такой установкой он неоднократно заявлял, что «Голова львова» осталась не опубликованной.

13 мая 1943 г. С. П. скончалась. 13/14 мая Ремизов написал текст, предназначенный для произнесения священником на отпевании, в котором изложение жизненного пути покойной соединялось с осмыслением значения ее личности для русской культуры:

«Серафима Павловна Ремизова-Довгелло — из твердого, как скала, литовского рода, получившего имя “довгалес”, что значит “могучий”, соединившегося в веках с другими родами: родом Гейдройцев, Милорадовичей, Скоропадских — по отцовской линии, а с материнской из гетманского рода Самойловичей, после сибирской ссылки осевшего в Костроме и смешавшегося с костромским русским родом

Ратьковых, а в литературе (на всех европейских языках читают «Олю» Ремизова), – и есть сама Оля, и не крик крови и бунт духа женщин Достоевского, а в традиции тургеневских – чистота мысли, чистое сердце и пламенная вера. / На Высших курсах на историко-филологическом отделении ученица Платонова, в Археологическом институте – Шляпкина, Каринского, Майкова, Середонина, Покровского, она применила свои ученые [палеографические] познания в Париже. Принятая профессорами Буайе и Мазоном в качестве лектора в Школу Восточных языков, она впервые открыла курс славяно-русской палеографии и читала лекции с 1924 г. сначала как “cours libre” при курсе Буайе, потом при Паскале. В списке ее учеников значатся немало громких французских имен. Одаренная необыкновенной памятью, она без книг приводила примеры из [веков] памятников русской письменности, отчетливо, ясно и со всем спокойствием уверенности, с XI и до XVII века, не фальшивя в интонации. / Ее голос, звучащий подобно виолончели, приковывал внимание и легко, без надрыва, передавал в память слушателей слова и фразы. Все свои лекции она читала без тетради, [лицом к] из своей глубокой памяти. И это очаровывало. А ясные ее глаза светили, как и улыбка. И вот теперь веки упали на эти глаза железом, и улыбка погасла — крепко сжаты губы, окостенели. Она не родилась писательницей, не в изобразительности [были] чары ее слов, нет [это были], музыка звучала в ее письмах и записках, это стиль Толстого, [косну<вшегося?>] глубоко [проникающего] пронизывающего сердце горечью или ласковостью и приветом. / Случайно или все то же, почему и за что не скажешь, контуженная при бомбардировке в вихре стеклянных осколков, она упала, закрываясь руками, и поднялась. Но с этих пор что-то случилось, и шаг уж не тот. Три года и с каждым годом острее, а путь все короче, заколодила дорога, нет больше ровного места. / Она не читала молитвы, она ежедневно писала свою молитву Богородице, как к сестре и как к матери: “Матерь Божия, спаси, спаси!” И услышала Пресвятая Богородица этот голос из [мук] пучины человеческого страдания — так говорится в “Хождении Богородицы по мукам”, где идет речь о всех страждущих и помощи требующих. / В малороссийской сорочке и черном сарафане, память родной черной земли и гоголевских звезд, на шее кипарисный крест, а на груди у сложенных рук кипарисный образок Богородицы, — тихо, как спит. / Серафима Павловна – Оля Ильменьева <sic! — *Ред.*> — в последний путь: Христос Воскрес! /14—13 1943 / <позднейшая помета Ремизова. – *Ред.*:> (писал для священника: говорить на отпевании)» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1336. Л. 118—119).

Это надгробное слово представляет собой первый, краткий набросок замысла, возникшего у Ремизова после смерти супруги — создать «комментарий» к истории жизни С. П., в котором бы, одновременно,

и рассказывалось о завершении ее земного пути, и раскрывалось значение ее личности в русской культуре. Основной лейтмотив задуманного произведения выражало его название «Сквозь огонь скорбей» (*СОС*). Это название сохранялось неизменным при всей последующей вариативности наименований создаваемых редакций текста.

В июне 1943 г. Ремизов принялся за работу и завершил ее в ноябре того же года, так охарактеризовав свои усилия: «После смерти С. П. я взялся писать мою память и шесть месяцев писал, не прерывая мысли. И пока я писал, я видел перед собой живого человека, слушал его и отвечал ему. Но как только кончилась моя работа, я почувствовал себя заключенным в мертвецкой: дверь за мной закрылась, и уж выйти не было ни сил, ни надежды. В моих глазах неотступно костенело одно мертвое лицо. То, что произошло, я принял, нелегко это, но ничего уж нельзя было поделать: жизнь не вернешь» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. 97—98).

В момент финального этапа создания *ВРБ* Ремизов сделал следующую помету о текстологической истории *СОС*: «“Сквозь огонь скорбей” — 5 тетрадей и Интермедию «Мышкину дудочку» писал я без передыха с июня 1943 и до декабря 1943 шесть месяцев / переписано 5 раз — 5 редакций / Алексей Ремизов / <глаголический значок-анаграмма> 28.III.1952 Paris» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 63. Л. 2).

Поскольку материалы черновых набросков и ранние редакции *СОС* хранятся в архиве Ремизова в США (*Amherst*), в настоящее время нет возможности проанализировать характер динамики всех (по авторскому определению: 5-ти) редакций *СОС*. Указанные в настоящей истории текста названия редакций и вариантов даны условно, чтобы обозначить доступную на данном этапе изучения последовательность изменения текста *СОС*. В *Amherst* среди относящихся к *СОС* рукописей имеются: 1) Черновые варианты *СОС*. <1943> (*Amherst*. Box. 16. F. 21. 52 p.); 2) две тетради с черновым автографом *СОС*. 1943 (*Amherst*. Box. 16. F. 23. 127 p.); 3) Черновой автограф *СОС*. 1943 (*Amherst*. Box. 16. F. 24. 155 p.). Материалы *СОС*, оставленные Ремизовым в своем парижском архиве, начинаются с Белового автографа текста с правкой в 3-х тетрадях, имеющего первоначальное заглавие: «Сквозь огонь скорбей» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 63. 182 + XII л.). На обложке первой тетради надпись: «A. Remizov. I. Сквозь огонь скорбей. 1943». Эта же надпись с вариантами римских цифр (II и III) повторена на обложках второй и третьей тетрадей. Исходный текст этого Белового автографа (до правки) можно условно (без анализа материалов, находящихся в *Amherst*) назвать *Промежуточной редакцией СОС*. По тексту Белового автографа произведена авторская правка. В Первой тетради на Л. 3 записано измененное заглавие (цифры — разметка для машинистки): «1 Алексей Ремизов / 3 ИЗ ПРО́ЛОГА / 2 В РОЗО-

ВОМ БЛЕСКЕ / 4 Памяти Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло / 5 † 13.V.1943 / Paris-Bagneux». Текст, получившийся в результате правки Белового автографа, представляет собой *Окончательную редакцию СОС*. С этого Белового автографа с правкой (Ед. хр. 63) был напечатан машинописный текст. Он представлен авторизованной копией беловой машинописи с незначительной рукописной правкой, озаглавленной «В розовом блеске. Из пр*о*́лога» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 65. 156 л.). На части машинописного текста имеется аутентичная времени создания документа машинописная нумерация посередине каждого листа (л. 1—64). Состав глав: «I. Голова львова, сера, космата, с огненной пастью в поле блакитном»; «II. Мать»; «III. Имена»; «IV. Стихи»; «V. Святый вечор»; «VI. Катастрофа»; «VII. Сирена»; «VIII. Конец»; «IX. Туда». В конце (Л. 156) поставлена дата: «13 XI 1943 Paris».

Содержащаяся в Ед. хр. 65 *Окончательная редакция СОС*, имеющая название «В розовом блеске», представляет собой законченный целостный художественный текст – автономное произведение. Его характеризует стройная композиция и сохранение у значительного числа отображенных в произведении героев имен их реальных прототипов. Финал *Окончательной редакции СОС* – размышления Ремизова по возвращении с кладбища Баньё на 40-й день после смерти С. П.: «Я шел много пешком, устал и не помню, что и приснилось. Только в эту ночь, в первый раз за все 40 ночей слышу – так ясно и просто зовет. И я проснулся. / И прислушиваясь к моей звучащей памяти и в ней различая этот голос – он звал меня так ясно и просто, я подумал: "вот однажды на оклик проснусь, и все, что было, окажется только сон был". И это так, как с болью когда-то думалось, что вот проснусь и окажется: Россия – я в России, а все эти годы здесь лишь сон был. / Но странно, или так всегда бывает и иначе не мог бы человек вынести разлуку, с годами этот сон, я чувствую, меня закутал, и все плотнее, и порой мне снится, что Россия – это только сон» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 65. Л. 156).

В целом виде *Окончательная редакция СОС* не была издана. Отдельные главы произведения, дополнительно незначительно переработанные (главным образом, были проведены зашифровка или изъятие подлинных имен прототипов героев) были опубликованы в журнале «Новоселье» (1948. № 37/38. С. 1—32) под общим заглавием «В розовом блеске. Из страд "Сквозь огонь скорбей"». В архиве сохранилась машинописная копия Л. 117—157 Ед. хр. 65, подготовленная для автономной публикации в журнале (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 68. 40 л.). Над текстом машинописи на Л. 1 подклеено заглавие-автограф: «В розовом блеске – из страд «Сквозь огонь скорбей» – ПРОПАД». В конце текста (Л. 40) поставлена дата: «1943 [13.XI.1943]». Зачеркнутая

дата, повторяющаяся в материалах *СОС*, указывает на время завершения текста в целом.

Таким образом, в конце 1943 г. Ремизов создал отдельное произведение (*СОС*), получившее окончательное название «В розовом блеске» и являющееся «комментарием»-финалом ранее опубликованных произведений о судьбе Оли Ильменевой (С. П.).

Параллельно с работой над *СОС* Ремизов задумал описать жизнь в квартире на rue Boileau в годы оккупации, собрав сюжеты бытовой повседневности, скрашивавшие это «бедственное время». Так появилась повесть «Очарование» (рукопись завершена 19 февраля 1944 г.), положившая основание будущему роману «Мышкина дудочка» (далее: *МД*). Иллюзорность радости в контексте мрачного существования в оккупированном Париже отражена в жанровом определении нового произведения — «интермедия». См. авторизованную машинопись: *Ремизов А. М.* Очарование. Интермедия для чтения. <1943> (*ГЛМ*. Оп. 2. Ед. хр. 67. 106 л.). Тексту машинописи предшествует отдельный лист из тетради с записью-автографом Ремизова: «В розовом блеске / гл. VI. Катастрофа / между строчек: / Но как бы суровы не были будни, в них неизбежно и смех и горе / [Интермедия] / Страх понемногу отпустит — она уже не будет так беспокоиться» (*ГЛМ*. Оп. 2. Ед. хр. 67. Л. 2). Поясняя Н. В. Кодрянской общий смысл опубликованных отрывков из *МД*, Ремизов сообщал в письме от 27 января 1946 г.: «В “Новоселье” это из моей интермедии к сказанию в 2-х частях <имеется в виду *СОС*. — *Ред.*>. / 1) В розовом блеске / 2) За зеленой оградой, / а для передышки интермедия, и еще из нее послал в “Новоселье”. Приходится по кускам» (*Кодрянская 1977*. С. 31). О хронологическом совпадении работы писателя над циклом *СОС* и романом *МД* см.: *Ремизов А.* Мышкина дудочка: Интермедия. К истории «Сквозь огонь скорбей» // Русский сборник: Проза и стихи. Париж: Изд. Комитета помощи русским литераторам и ученым, 1946. Кн. 1. С. 19—48; *Петербургский буерак-РК X*. С. 432 — история текста романа *МД*.

Следующим этапом реализации ремизовского плана по увековечиванию памяти о С. П. стала работа, в результате которой все произведения об Оле Ильменевой (С. П.) были объединены в один мегатекст под названием «Оля». Применительно к истории *СОС* это означало переделку отдельного произведения в «комментарий» — составную часть, дополнение к роману-эпопее «Оля». Ремизов занялся переработкой текста *СОС* сразу же завершения его *Окончательной редакции*, в январе 1944 г. В итоге был создан Беловой автограф с авторской правкой в 2-х тетрадях, озаглавленный «За зеленой оградой» и датированный «21. I. 1944» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. 104 + VIII л.). На коленкоровой обложке Первой (*Т-1*) тетради (Ед. хр. 64. Л. 1—54)

процарапаны цифры: «V» и под ней «I». Возможно, латинская цифра «V» указывает на номер редакции *СОС*, а цифра «I» — на номер тетради, содержащей текст данной редакции. На Л. 1 об. имеется заглавие с правкой «За зеленой оградой [Мои объяснения]» и перечисление глав, содержащихся в *Т-1*: «I Оля / II Первая встреча / III Путь / IV Touss<aint> / V "L'irrépable" / [VI Из «пролога» Н<аташа>] / [VII Мои "подстриженные глаза"]». На Л. 9 записаны зачеркнутые и окончательный варианты заглавия «В зеленом круге»: *а)* [Мои объяснения], *б)* [Зеленый круг], *в)* [Зеленый круг], *г)* [За зеленой оградой], д) «За зеленой оградой». Вторая (*Т-2*) тетрадь (Ед. хр. 64. Л. 56—103) на обложке имеет надпись «V. / II. / Сквозь огонь скорбей / 1943». *Т*-2 содержит главы: VI «Наташа»; VII «Кувырком»; VIII «Дыра»; IX «Последняя встреча»; X «Мои подстриженные глаза». В конце текста на Л. 81 поставлена дата: «21. I. 1944». Данный Беловой автограф с правкой (*Т-1* и *Т-2*) является основой для недатированной машинописи с авторской правкой (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 66. Л. 1—64). Машинописный текст имеет аутентичную времени создания документа машинописную нумерацию посередине каждого листа и заглавие — «За зеленой оградой». Состав глав: I. «Оля». II. «Первая встреча». III. «Путь». IV. «La Toussaint» (в тексте без зачеркивания исправлено на: «Заду́шницы»). V. «L'irrepable» (в тексте без зачеркивания исправлено на: «Непоправимое»). VI. «Наташа» VII. «Кувырком». VIII. «Дыра». IX. «Последняя встреча». X. «Мои подстриженные глаза». Текст в целом близок к основному тексту раздела «За зеленой оградой» *ВРБ*.

Свидетельством процесса трансформации *СОС* в дополнение к *ВРБ* является план, записанный Ремизовым в первой тетради ежедневника («Дневника мыслей»), содержащего записи с 13 октября 1943 по 23 марта 1945 г. В нем последовательно переписаны поздний и ранний виды содержания и названия глав *СОС*, а также указано дополнительное приложение (№№ I—III): *«В розовом блеске <курсив ред.>* 1) Голова львова, сера-космата с огненной пастью в поле блакитном 1—30 / 2) Мать 31—42 / 3) Имена 42—52 / 4) Стихи 52—98 / 5) Святый вечор 98—107 / 6) Катастрофа 108—132 / 7) [Три дня] Сирена 132—148 / 8) Конец 148—162 / 9) Туда 162—175 / *За зеленой оградой <курсив ред.>* / 1) Оля 1—7 / 2) Первая встреча 7—18 / 3) Путь 18—20 / 4) Задушницы 20—23 / 5) Непоправимое 23—34 / 6) Наташа 35—45 / 7) Кувырком 45—49 / 8) Дыра 50—55 / 9) Последняя встреча 55—58 /10) Мои подстриженные глаза 58—64 / Третья стража / La troisiéme heure / I 175 / II 64 / III 101 / Приложение 138 / I / II / III» (*Ремизов А.* Дневник мыслей, 1943—1957 гг. / отв. ред. А. М. Грачева. СПб., 2013. Том I: Май 1943—январь 1946. С. 45).

На этапе собирания романа-эпопеи «Оля» Ремизов решил завершить произведение публикацией в Приложении материалов из се-

мейного архива рода Довгелло. Сохранился текст раздела «Из Берестовецкого архива Довгелло» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 70. 31 л.). Он состоит из Белового автографа с правкой — вступления к разделу и из машинописных текстов писем родственников С. П. Этот комплекс материалов (Ед. хр. 70) с небольшими разночтениями в незначительно исправленном виде представлен также материалами, озаглавленными «5. Черная немочь [*первоначальное не зачеркнутое название раздела*: Из Берестовецкого архива Довгелло]» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 66. Л. 67—89). Вступление к разделу «Черная немочь» — автограф. Входящие в данный раздел письма семьи Довгелло — машинописные перепечатки текстов с отдельной пагинацией.

Во второй половине 1940-х гг., после перерыва в 13 лет, ремизовские произведения вновь появились в печати. В 1949 г. при финансировании С. Лифаря был издана книга «Пляшущий демон» (Париж, 1949). Тогда же узким кругом друзей Ремизова было организовано персонально для него издательство «Оплешник». Его финансирование осуществлялось в основном за счет ремизовских гонораров от публикаций в периодике, поэтому выпускаемые книги по объему не превышали в среднем 80 страниц. См. письмо Н. В. Резниковой В. Ф. Маркову, написанное в 1959 г: «При жизни А. М. мы (я и мой муж) занимались изданием “Оплешника” — книги эти очень плохо продавались. <...> они выходили всего в 300-х экземплярах» («Девятикрылатый» ангел Алексея Ремизова: Письма Н. В. Резниковой к В. Ф. Маркову (1957—1959) и к В. И. Малышеву (1957—1964) / публ. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003—2004 годы. СПб., 2007. С. 780). Первая книга Ремизова «Повесть о двух зверях: Ихнелат» вышла в издательстве «Оплешник» в 1950 г. Книга «Подстриженными глазами» была принята в печать издательством «YMCA Press» (опубликована в 1951 г.). В том же издательстве находились наборные рукописи еще двух произведений Ремизова. См. письмо Ремизова его американским друзьям и меценатам Н. В. и И. В. Кодрянским от 2 сентября 1951 г.: «В YMCA перемены <...> Боюсь, что мое в YMCA больше не пойдет: ни “Иверень”, ни “Оля” (четыре части)» (*Кодрянская 1977*. С. 197). Данное письмо подтверждает, что на начало сентября 1951 г. состав книги «Оля», наборная рукопись которой находилась в «YMCA Press», был следующим: 1) «В поле блакитном»; 2) «Доля»; 3) «С огненной пастью»; 4) «Голова львова». Письмо Ремизова Н. В. Кодрянской от 25 сентября 1951 г. также позволяет сделать заключение, что цикл «Голова Львова» мыслился писателем как *часть книги* «Оля», остающейся, таким образом, не опубликованной в полном составе: «У меня есть неизданное в 2-х экз. Например: / “Плачужная канава” (1 экз. у вас в архиве) / IV ч. “Оли” (“Голова Львова”) 1 экз. у меня, другой у переводчицы / и еще другие книги. Ведь в Рос-

сии этого не издадут» (*Кодрянская 1977.* С. 203). Указанные письма также свидетельствуют о том, что на данном этапе Ремизов воспринимал *СОС* как произведение-«комментарий», тематически связанное и дополняющее комплекс текстов в 4-х частях под общим названием «Оля».

Дальнейший этап литературной истории книги «Оля» связан с поступившим Ремизову новым издательским предложением.

Осенью 1951 г. в Нью-Йорке при Восточно-европейском Фонде возникло русское «Издательство имени Чехова» под руководством Н. Р. Вредена. Формированием издательского портфеля в качестве главного редактора занялась литературный критик В. А. Александрова. В письме от 29 октября 1951 г. она, пользуясь сведениями, вероятно, полученными от Н. В. и И. В. Кодрянских, известила писателя о намерении включить какое-либо его неопубликованное сочинение в планы издательства: «Руководителем Издательства является Николай Романович Вреден; он просил меня написать Вам и узнать, не имеете ли Вы рукописи, которую хотели бы опубликовать в нашем издательстве. Нас интересуют как повести, рассказы, так и Литературные воспоминания или Ваши личные Воспоминания. Если у Вас есть что-нибудь готовое, советую прислать это, не откладывая, ибо и процедура принятия рукописи всегда отнимает некоторое время, и нам было бы желательно, чтобы Ваша книга могла бы быть включена в план наших изданий как можно скорее» (*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 210).

Далее для реконструкции истории подготовки рукописи *ВРБ* к печати мы используем тексты переписки Ремизова с «Издательством имени Чехова», фрагменты которой публикуются по машинописным письмам Александровой, отложившимся в архиве Ремизова (*ГЛМ*), а также по находящимся в фонде издательства оригиналам писем писателя и машинописным копиям писем Александровой, не сохранившихся в архиве Ремизова (Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета, США; далее: *Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House;* благодарим Ф. Б. Полякова за предоставленные фотокопии).

В конце октября 1951 г. надежды Ремизова на публикацию романа в 4-х частях «Оля» в издательстве «YMCA Press» потерпели крах. См. его письмо Н. В. и И. В. Кодрянским от 22 октября: «В YMCA лежат две мои книги: “Иверень” и “Оля” (четыре части), было собрание и меня обошли, а взяли Мочульского о Андрее Белом и С. Л. Франка Философию. / Должны были выйти 2 книги по-французски: “Olga” в Sulliver’e и “Les yeux tondus” у Gallimard’a. И ничего не вышло: Sulliver наложил арест: растраты (не на бумагу, а на “Пляшущих демонов”), Gallimard, как со мной бывало, неожиданно наткнулся на упор французов, которые знают русский и которые против моего, есть та-

кие. Попал в полосу неудач» (*Кодрянская 1977*. С. 211). На этом фоне провала с изданием готовых к изданию книг 2 ноября 1951 г. Ремизов отправил в «Издательство имени Чехова» наборную рукопись лежавшего в его рабочем столе с 1922 г. романа «Плачужная канава» (см. письмо Ремизова В. А. Александровой от 1 ноября 1951 г. — *Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). По всей видимости, в течение последующей недели он размышлял о правильности своего выбора в связи с неудачной судьбой его новой версии книги «Оля» в «YMCA-Press», потому что уже 9 ноября писатель обратился с просьбой к Н. В. и И. В. Кодрянским помочь ему в переговорах с новым издательством: «В “Плачужной Канаве” — 200, а с послесловием (о Горьком) и с хвостиком. Я не решился послать “Олю”, меня смутил размер книги: четыре части и комментарий (“Сквозь огонь скорбей”). / Первые три части были изданы <в> 1927 г., книга давно разошлась. IV ч. и комментарий не изданы. / Я представляю себе “Олю” в 2-х книгах. А возможно ли это? Согласятся ли? / Напишу письмо Александровой, как ее по отчеству? / Не вернее ли, сначала вы спросите Александрову и что она скажет. / IV-ая часть единственный экземпляр, которым могу распоряжаться. (Другой у Баевой для франц. изд.). И я храню в архиве YMCA Press, я имею право взять, а ну как зря!» (*Кодрянская 1977*. С. 213). В тот же день (9 ноября) Ремизов обратился к Александровой с новым предложением: «Глубокоуважаемая Вера Александровна! / Я постеснялся послать Вам “Олю”, меня смущает ее размер: / I, II, III, IV и Сквозь огонь скорбей (Комментарий). / Первые три части были изданы в 1927, книга давно разошлась, а IV и Комментарий не изданы. Я представляю себе книгу в двух томах. Но возможно, как это затеяли французы и не делать. Посылаю на ваше рассуждение» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). Таким образом, после отказа издательства «YMCA Press» Ремизов решил предложить «Олю» «Издательству имени Чехова», дополнив составляющие ее четыре части «комментарием» — текстом *СОС*, который, таким образом, стал пятой частью романа-эпопеи. Не дождавшись результата переговоров Кодрянских, 14 ноября Ремизов выслал в издательство рукопись книги «Оля». В сопроводительном письме, адресованном на имя Александровой, он пояснял: «Глубокоуважаемая Вера Александровна, / Посылаю вам “Олю” / I В поле блакитном / II Доля / III С огненной пастью / IV Голова львова / V Сквозь огонь скорбей / “Плачужную канаву” поберегите. / Придумаю и напишу вам. / Если бы удалось увидеть “Олю”, я бы был счастлив» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). О своих решениях и действиях он также сообщал Н. В. и И. В. Кодрянским в письмах: 1) от 18 ноября 1951 г.: «Только 16-го удалось послать “Олю” — получит 26-го XI. Пишу ей сохранить “Плачужную канаву”» (*Кодрянская 1977*. С. 215); 2) от 20 ноября

1951 г.: «Из сегодняшнего вижу, что не так надо было, но я поступил по вашему слову, сейчас же стал добиваться из Архива YMCA “Олю”. И без мотоциклетки все-таки умудрился и послал Александровой с письмом, поберечь “Плачужную канаву”. 26 XI она получит. Буду просить Исю <И. В. Кодрянского. — *Ред.*>: если увидит Вредена, сказал бы о “Оле”. “Оля” проще “Пл<ачужной> Кан<авы>” и никаких Горьких, а размер 628 стр. (печатных выйдет 500). Ни одно издательство не возьмется, Sulliver взялся, да лопнул. Первое ваше движение верное: пользоваться случаем и дать большое, и у меня это было, но я постеснялся, я не знал всего до получения вашего письма» (*Кодрянская 1977.* С. 216—217). Ответ из Нью-Йорка был получен 26 ноября. Александрова отреагировала на срочную замену одной рукописи другой уточнением издательских планов: «Простите, что не сразу откликнулась на оба Ваши письма: ждала прибытия Вашей “Плачужной канавы”. <...> Теперь жду “Олю”. Мы можем пока взять у Вас только одну книгу. Поэтому Вы должны нам сообщить, какую из них Вы предпочитаете, чтобы она вышла в нашем Издательстве?» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). Следующим письмом от 14 декабря уже по получении второй бандероли с наборной рукописью «Оли» Александрова уведомляла: «Глубокоуважаемый Алексей Михайлович, рукопись “Оли” получила. Спасибо. Как я уже писала Вам, наше издательство может принять только одну книгу. Вы, насколько я поняла Вас, хотели бы, чтобы это была “Оля”. Как только ознакомлюсь с обеими книгами, напишу Вам, на какой хотело бы остановиться Издательство» (*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 208). Ремизов в письме от 29 ноября отвечал: «Конечно, я был бы счастлив, если бы взяли “Олю”— это моя мечта» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). «Видеть “Олю”— книгу для меня несравненно важнее, чем книгу “Плачужная канава”, — писал он тому же корреспонденту 20 декабря, — В 1952 мне будет 75, хотелось бы еще при жизни. Если даже не дождусь — “по техническим соображениям”, останется уверенность, что книга когда-нибудь да выйдет. Кроме того “Оля” вся налицо, а в “П<лачужной> к<анаве>” надо доискиваться» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*).

Между тем, первоначальные опасения, касающиеся размера рукописи, бумерангом вернулись к писателю еще в последних числах уходящего года, когда И. В. Кодрянский сообщил Ремизову новости из издательства: объем рукописи оказался превышающим установленные нормы. В письме И. В. Кодрянскому от 11 декабря Ремизов сожалел: «“Оля” большая, где-нибудь издать безнадежно. Я сделал ошибку, ведь получилось, что послал на выбор две книги. Так может показаться» (*Кодрянская 1977.* С. 221). А в послании Кодрянским от 20 декабря он снова волновался о судьбе «Оли»: «Александрова меня изве-

стила о получении “Оли”. И хотя я ей писал, что прошу вернуть “Плачужную канаву”, она повторяет, что они выберут, что им пригодней. Вот какую я сделал ошибку. <...> Александрова пишет, что “Олю” она не читала. За нее скажу, и “Посолонь” она не читала, и знает меня по “Новоселью”» (*Кодрянская 1977.* С. 223). В письме из издательства от 2 января 1952 г., наконец, от Александровой были получены результаты по подсчету объема предполагаемого издания: «Мы послали в типографию Вашу рукопись, чтобы узнать ее приблизительные размеры. Оказалось — 1-я, 2-я и 3-я части займут 336 страниц, 4-я часть 156 и 5-я 143 страницы. Итого 635 страниц. / Предельный размер книг нашего издательства 416 страниц. Издать “Олю” в двух томах нам было бы затруднительно. Мы просим Вас подумать над тем, нельзя ли было бы сократить “Олю” так, что ее можно было бы издать в одном томе. Если бы это оказалось невозможным, нам пришлось бы остановить наш выбор на “Плачужной канаве”» (*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 145).

Опережая свою корреспондентку, писатель 1 января 1952 г. направил ей предложение по сокращению рукописи «Оли»: «Получил письмо от И. В. Кодрянского, пишет, что Вы говорите надо сократить “Олю”. / <...> Мне казалось, проще всего, не сокращая, дать одну книгу в двух выпусках. Но это было бы исключение в Вашем плане издания. / Я предлагаю первые две части (“В поле блакитном” и “Долю” (забыл про третью — “С огненной пастью”)) зачеркнуть и начать с третьей (четвертой) (“Голова львова”). И сделать примечание, что предлагаемая “Оля” из “экономии места” начинается с четвертой <sic! — *Ред.*> части. Кроме того в пятой части в третьей главе, в “Задоре” зачеркнуть “Черная немочь” (Из архива). / Если бы не слепота, я бы все высчитал, / чтобы стать перед Вами “в общем порядке”: / Оля / Предисловие / С огненной пастью (“Петербург” и т. д.) / Голова львова / Сквозь огонь скорбей» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). Смирившись с требованиями издательства, писатель перестроил композицию романа, исключив части «В поле блакитном» и «Долю». Ради сокращения он даже пошел на кардинальное купирование архивного материала из берестовецкого архива семьи Довгелло. Аналогичный план по сокращению текста книги изложен Ремизовым в письме от того же 1 января 1952 г., адресованном Кодрянским: «Отвечаю по вашему письму, не дожидаясь письма Александровой. Я предлагаю зачеркнуть 208 страниц и начать книгу прямо с III-ей части: “С огненной пастью”. <Далее приводится состав книги. — *Ред.*> “Оля”— предисловие, III С огненной пастью IV Голова львова V Сквозь огонь скорбей. 628 стр. – 208 = 420. А если и этого мало, пускай вычеркивают из V ч. 3-ей главы “Черная немочь” (из архива). Я пишу Александровой, что можно было бы, не разрушая моего плана, издать *одну*

книгу в *двух* выпусках. Теперь буду ждать от нее ответ, и что она предпочитает. Меня удивляет подгонять книги до 300 страниц <...> Я попрошу Александрову в конце моего предисловия к пяти частям сделать от редакции примечание, что первые две части не печатаются из “экономии места”» (*Кодрянская 1977*. С. 227—228). Третьего января Ремизов снова повторил редактору свое предложение по сокращению объема наборной рукописи: «Я как собачонка, которой сахар показывают — мысль подпрыгивает: как сделать чтобы подогнать под триста? А если отложить первые три части: 1) В поле блакитном 2) Доля 3) С огненной пастью / 344 страницы, я думаю, останется не более трехсот (Голова львова, Сквозь огонь скорбей, Из архива)» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). На основании последнего письма можно предположить, что Ремизов все же продолжал надеяться на сохранение публикации материалов из архива семьи Довгелло. Вопрос о принудительном сокращении текста «Оли» так его волновал, что 5 января он вновь обратился к Кодрянским по тому же поводу: «Еще раздумывал о сокращении книги: как подогнать под 300 страниц. Я был уверен, что размер их не напугает, потому и не мог сразу решить что вычеркнуть, что сохранить. Теперь написал Александровой (хотел написать: “неужто среди вас нет никого литературно-грамотного”? что я — как собачка, которой показывают сахар — моя мысль подпрыгивает: как сократить? Я предлагаю первые три части (“В поле блакитном”, “Доля”, “С огненной пастью”) — 344 страницы оставить <т. е. сократить. — *Ред.*> и начать с IV-ой части (“Голова львова”), сохранив предисловие. Будет, конечно, не то, что задумано, но пусть останется никогда не изданное, а частью нигде не появившееся в печати. (Но почему они так плохо думают о своем читателе?)» (*Кодрянская 1977*. С. 228—229).

Обмен письмами Ремизова с Александровой и семьей Кодрянских позволяет восстановить *полное содержание* Наборной рукописи романа-эпопеи «Оля», отправленной писателем в «Издательство имени Чехова»: Предисловие. Часть I. «В поле блакитном». Часть II. «Доля». Часть III. «С огненной пастью». Часть IV. «Голова львова». Часть V. «Сквозь огонь скорбей». Оглавление. Библиография. Предположительно, Наборная рукопись романа «Оля» в 5-ти частях была составлена: **1**) из печатных текстов с авторской правкой: а) из текста книги 1927 г. «Оля» (Ч. I—III) и б) из оттисков журнальных публикаций (Ч. IV.); **2**) из авторизованных текстов машинописи и отдельных публикаций (Предисловие; Ч. V, Оглавление, Библиография).

Надеясь на издание текста хотя бы в усеченном виде, Ремизов решился на кардинальное изменение первоначальной концепции книги. Он даже продумал детали верстки, в которой отказ от авантитулов позволил бы выиграть необходимое количество строк для подготовлен-

ной им Библиографии. Об этом дополнительном разделе книги сообщается в письме Александровой от 7 января: «Глубокоуважаемая Вера Александровна! / Можно уместить на 416-и <страницах. — *Ред.*> / 1) Предисловие 2) С огненной пастью 3) Голова львова 4) Сквозь огонь скорбей 5) Оглавление 6) Библиография / Никаких отдельных заглавий после предисловия на новой странице: / С огненной пастью / Петербург / Таким образом сбережется 10—15 страниц. / Буду очень вам благодарен» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). 8 января писатель продублировал задуманные изменения в послании к своим посредникам в делах с издательством — Кодрянским: «Получил письмо от Александровой: в двух томах издать “Олю” “затруднительно”, у меня 635 страниц, а у них предельный размер книги 416. Я предлагаю вычеркнуть 208 стр. (Первые две части). Остается 427 и сжать текст — с новой страницы 1) предисловие 2) “С огненной пастью” 3) “Голова львова” 4) “Сквозь огонь скорбей”, а все остальное, главы и заглавия сплошь, что сэкономит место и мои лишние 11 страниц уместятся. Будете говорить с ней, помяните о таком способе вместить не вмещаемое. / Есть еще один выход: шрифт — мою последнюю главу “Черная немочь” можно набрать, как примечание, мелким шрифтом» (*Кодрянская 1977*. С. 230).

Ремизовский план был утвержден издательством, о чем Александрова сообщила автору в письме от 11 января 1952 г.: «Глубокоуважаемый Алексей Михайлович! / Спешу откликнуться на Ваши последние письма от 3-го и 7-го января. Издательство рассмотрело последний проект издания “Оли”, предложенный Вами, и приняло его. Таким образом, недели через две Вам будет выслан контракт, после подписания которого Вам будет передан первый аванс в размере 500 долл<аров>. / Хочу еще раз уточнить содержание “Оли”: / 1. Предисловие (то, которое написано на машинке); 2. “С огненной пастью”; 3. “Голова львова”; 4. “Сквозь огонь скорбей”; 5. Оглавление и библиография. После Предисловия сразу идет “С огненной пастью” — “Петербург”» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 550).

Книга пошла в производство, и Ремизов уже беспокоился о предстоящей редактуре, надеясь, что вычитывать набор ему будет помогать поэтесса Г. Н. Кузнецова: «Благодарю: приютили “Олю”! — обращался он к главному редактору в письме от 15 января, — Предисловие. С огненной пастью. / Голова львова. Сквозь огонь скорбей. / Оглавление. Библиография. <...> / Прошу Вас, поручите корректуру Г. Н. Кузнецовой. Я ей напишу о особенностях неписанной грамматики русских ладов: было б хорошо <?> не смущаться моим правописанием и не <?> править книжно» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). Радость в связи с благополучным завершением первого этапа издания книги и беспокойство за следующий этап пронизывают

его послание Кодрянским от 16 января: «Спасибо за ваши хлопоты и разговоры за меня: отвоевали “Олю”. Знаю, без вас мне было б не проткнуться. Прилагаю доверенность на получение моего гонорара. О Кузнецовой написал, поручить ей корректуру. Если бы дали мне побольше авторских! / Об особенностях моего склада выражаться напишу вам, а вы объясните Кузнецовой, боюсь, в пустяках придет ей в голову, исправит, хоть в этой фразе: я пишу, как говорю “о особенностях” — асобенностях, а по нерусской грамматике “об” особенностях — “аб особенностях”. / Я никогда не был копиистом, нигде не говорил, что пишу и все писали б, как в XVI—XVII в., я повторял и повторяю, что русским надо следовать в направлении природных ладов, выраженных отчетливо в приказной речи XVI—XVII и на этой словесной земле создавать» (*Кодрянская 1977*. С. 231).

Вскоре возникли новые проблемы. Одна из них состояла в расхождении содержания авторского Предисловия, в котором были даны концептуальные пояснения ко всем частям книги, с новым сокращенным составом рукописи. Другая была связана с пожеланием издателей изменить название книги, чтобы избежать ассоциаций с «Олей», уже опубликованной в 1927 г. В письме от 23 января 1952 г. Александрова описала суть возникших несоответствий: «У меня есть некоторые сомнения относительно заглавия “Оля”. Как Вы сами согласились, мы печатаем “Олю”, начиная с третьей части (“С огненной пастью” и т. д.). Между тем, в предисловии Вы упоминаете “В поле блакитном” и “Долю” (2-я часть). / Не думаете ли Вы, что для романа было бы лучше придумать другое заглавие, например, “Странствования Оли”, или что-нибудь в этом роде. В таком заглавии можно было бы сохранить имя Оля, т. е. первоначальное заглавие всего романа и, вместе с тем, дать понять будущим читателям, что новая “Оля” не есть тот роман, который был напечатан Вами раньше в 3-х частях. / В случае, если Вы признаете основательность моих сомнений, надо бы заменить первый абзац того предисловия, которое Вы нам дали » (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 551).

В архиве Ремизова (*ГЛМ*) имеются два идентичных экземпляра текста «Предисловия» к полному изданию книги «Оля» (чистовая машинопись без авторской правки и ее машинописная копия):

> «В поле блакитном» — детство и первые заревые дни юности — повесть от колыбели и до «порога» жизни. Еще неразделенность с вещами, еще слитность с людьми и беспредельная вера в человека: глаза открыты, но еще не различают — «все хорошо»! и улыбка всем светит.
>
> «Я всем верила, говорит Оля, я во всех подозревала хороших людей и, конечно, во всех видела людей, желающих добра».

Что может быть прекраснее этого детского мира чувств, окутанного голубой завесой.

Другая повесть жизни — алая книга юности: «С огненной пастью». Какой неровный загадочный мир взглянет на человека, когда рассеется голубое облако, какие разные люди и какая жестокая судьба! Познание мира полно горечи. Но чтобы стать человеком, надо пройти через всю горесть креста. И тогда умудренное сердце раскроет глаза, и глаза засветят миру, как та улыбка из «голубого поля».

Одна их характерных черт Оли — ее правдивость и додумывание дум до конца — никакой подделки, вся из цельного камня. И не менее характерная другая черта: отзывчивость ее пламенного сердца, готового на смерть за какой-то мир на земле. Но может ли человек с такой бесконечной думой остановиться на каком-нибудь определенном решении устроить жизнь на земле? Никогда. Оля не может быть «деятелем», но сердцем она всегда останется на стороне «бедных».

Судьба Оли — судьба странника, не находящего на своем пути верного крова, потому что нет такого крова, и всякий для нее будет тесен. И одиночество при всей ее расположенности к человеку, потому что где найти такую встречу, еще другое такое же правдивое и пламенное сердце, непримиримое и не примиряющееся? Жизнь для Оли воистину испытание. Но для других образ Оли и ее жизни есть и остается светом, который светит в серые будни труда и работы.

«Голова львова» — хлыв памяти на рубеже судьбы («Из вечного»), смотр прошлого в решительную минуту жизни; события и встречи детства и ранней юности — глаза ярче и память глубже.

Раздумьем о прошлом завершается история Оли. Но история человека оканчивается с его жизнью. Конец Оли в «Страдах», «Сквозь огонь скорбей» — годы оккупации (1940—1943): жизнь продолжается под очарованием самой жизни — что-то любить и чему-то восхищаться (1 экз. машинописи — *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 274; Машинописная копия — *ГЛМ ОКФ*. Коллекция книг А. М. Ремизова. *КП*.59266/31).

В Фонде «Издательства имени Чехова» находится также первоначальный черновой вариант окончательного текста Предисловия, имеющий заглавие «Оля» и отражающий ранний этап истории эпопеи, когда писатель планировал включить в ее состав также интермедию «Мышкина дудочка». В этом варианте имеется иное окончание Предисловия:

Раздумьем о прошлом завершается история Оли. Но история человека оканчивается с его жизнью. Конец Оли в ее «страдах» —

> [в Страдах «живая жизнь» — *зачеркн. — Ред.*] «сквозь огонь скорбей» — годы оккупации (1940—1943) — [интермедия «Мышкина дудочка": жизнь продолжается под очарованием самой жизни — что-то любить и чему-то восхищаться — *зачеркн. — Ред.*] (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*).

После произошедшего в связи с сокращением объема рукописи фактически механического изменения количества ее частей необходимость в концептуальном Предисловии отпала сама собой. Не пригодилось писателю и предложенное издательством новое название. Несомненно, издательский вариант заголовка («Странствования Оли») возник по ассоциации с готовившейся к печати в «Издательстве имени Чехова» повести Б. Зайцева «Древо жизни» (Нью-Йорк, 1953), впоследствии составившей третью часть трилогии «Странствия Глеба». Однако едва ли Ремизов знал об этом совпадении. Если первоначальное название романа «Оля» до известной степени было символическим и выполняло связующую функцию между художественным повествованием и биографией С. П., то теперь требовалось другое, отражающее метатекстуальность книги, соединившей собственно художественное повествование и автобиографический дискурс.

Ответ Ремизова от 24 января на письмо Александровой содержал принципиальные решения по изменению статуса существующих в тексте заголовков: «Глубокоуважаемая Вера Александровна! / Вот что я надумал: / Книгу назвать "*В розовом блеске*" <*на полях карандашная помета рукой Александровой*: "Within the rose lustra". — *Ред.*> / А II часть (Сквозь огонь скорбей), которая названа "В розовом блеске" назвать / *"Залом"*. / И зачеркнуть предисловие. / ("В розовом блеске" — это свет Рублева. / "Залом" — скрученные колосья с наговором-порчей. / Слово и без Даля понятное, хотя / Адамович не слышал). / Сегодня послал подписанный контракт с письмом: прошу о увеличении авторских экземпляров / Прошу не 6, а 26. / На наши деньги книга будет неподступная и мне самому придется покупать для дачи "на поминок". / Буду ждать вашего слова, по душе ли мое на глаз и слух» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). 28 января Ремизов сообщил Н. В. и И. В. Кодрянским: «Договор подписал <...> / Книга будет называться "В розовом блеске" (417 стр.) / (III, IV, V части "Оли"» (*Кодрянская 1977*. С. 233). 3 февраля Александрова сообщала Ремизову: «Завтра заказной почтой Вам будут высланы на авторский просмотр гранки Вашего романа "В розовом блеске". Посмотреть эти гранки нужно в срочном порядке. Одновременно корректура романа будет сделана здесь Галиной Николаевной Кузнецовой. Если авторская правка будет незначительна, прошу Вас все Ваши замечания по-

слать нам воздушной почтой, чтобы не задерживать верстки» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*).

Переписка Ремизова с «Издательством имени Чехова» сохранилась не полностью и в архиве Ремизова в *ГЛМ*, и в *Bakhmeteff Archive*. Очевидно, что между письмом Ремизова от 24 января, в котором писатель послал свое окончательное решение о переименовании романа, и следующим, сохранившимся письмом Александровой от 14 февраля, в котором запрашивались паспортные данные писателя для выплаты гонорара, были еще письма. В них должен был быть отражен, с одной стороны, процесс купирования раздела «Библиография», а с другой — сохранение, несмотря на авторское решение в письме от 1 января, главы «Черная немочь», содержащей документы семьи Довгелло и получившей окончательное название — «Задора». Печатная редакция *ВРБ* также наглядно подтверждает, что при верстке не пришлось воспользоваться предложением Ремизова печатать названия разделов и последующих за ними глав в подбор. В книге каждый заголовок раздела вынесен на отдельный авантитульный лист.

В феврале 1952 г. у Ремизова произошло новое значительное ухудшение зрения, в связи с этим его письма Кодрянским полны волнений относительно возможности самому читать корректуру *ВРБ*. См. письма Ремизова: 1) от 5 марта: «Получил от Александровой извещение: завтра мне высылают корректуру. / Дорогая моя кукуня <Н. В. Кодрянская. — *Ред.*>, как я беспокоюсь, если бы вы тут были, я знаю, вы помогли бы. Одновременно будет делать Кузнецова»; 2) от 9 марта: «Условился с Унбегаун, <...> она мне и будет читать “авторскую корректуру”. Проще было бы выслать мне экземпляр после Кузнецовой. Буду просить кроме того Ольгу Елисеевну и Н. Резникову: им сверять по оригиналу, дубликат у меня есть»; от 14 марта: «Получил корректуру. Но весь день никого. Верховая <Е. Д. Унбегаун. — *Ред.*> может только во вторник — 18-го. Если завтра придет Емельянов и если он вечером не занят, начну. Вот почему я так задумался: сделать операцию левого глаза» (*Кодрянская 1977*. С. 244, 245, 249).

Гранки рукописи, предварительно выверенной Г. Н. Кузнецовой, были направлены Ремизову 3 марта, с условием, предполагающим при незначительной авторской правке в наборе доверить ей также вычитку корректуры. Свои впечатления о наборе Ремизов сообщил Александровой 20 марта. Из его письма следует, что вычитка текста автором была невозможна по состоянию его зрения: «Глубокоуважаемая Вера Александровна! / Опечаток совсем мало, выпирает “баба”. / 8/41 стр<ока> сверху “не хочу быть *бабою* с рабами”. / Надо *рабою*. <Речь идет о опечатках в тексте рассказа «Не из говорящих» (раздел «С огненной пастью»). — *Ред.*> / Есть разночтения и небольшие *пропуски* на первых полосах. Г. Н. Кузнецова, сверяя с оригиналом, не

могла не заметить. По слепоте не могу читать корректуру. А только слушаю. Наконец, я докликался (все заняты) мне помочь: один вслух, другой глазами следит по оригиналу. Я думаю, можно верстать. Не задержу» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*). О ходе корректорской работы Ремизов сообщал и Н. В. Кодрянской: 1) в письме от 23 марта: «Наконец пришла Nonne <Н. Г. Львова-Шипулина. — *Ред.*> <...> сказал: “Мне надо помочь корректировать. Я всю жизнь сам корректировал”. — “А я не думала”. Весь день прошел, никого. Заходил в полдень Емельянов, но ему некогда. Александровой посылаю два пропуска. Боюсь, Кузнецова не заметила — заметнее только если следить за оригиналом»; 2) в письме от 27 марта: «Только вчера кончил корректуру. Самоотверженная Ольга Елисеевна <Колбасина-Чернова. — *Ред.*> накануне читала с 2-х дня до 11-и ночи» (*Кодрянская 1977*. С. 252—253). В двадцатых числах марта Ремизов считал работу над книгой *ВРБ* законченной. Итог трудов он зафиксировал 25 марта 1952 г. в надписи на форзаце первой из пяти тетрадок рукописи *СОС*, содержащей беловой автограф Промежуточной редакции (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 63) — см. с. 717 наст. тома.

13 ноября 1952 г. Александрова сообщила Ремизову о возвращении ему Наборной рукописи *ВРБ*: «В согласии с существующим порядком, по которому Издательство обязано по истечении трех месяцев с момента выхода в свет вернуть автору оригинал его рукописи, одновременно с этим, с благодарностью, возвращаем Вам рукопись Вашей книги “В розовом блеске” заказной почтой» (*Bakhmeteff Archive. Ms Coll Chekhov Publishing House*).

В архиве Ремизова Наборная рукопись *ВРБ* (т. е. Наборная рукопись произведения, имевшего авторское название «Оля» и состоявшего из 5-ти частей) в целостном виде не сохранилась. Это связано, во-первых, с последовавшими после публикации книги в 1952 г. усилиями самого Ремизова «реконструировать» для потенциального будущего издания целостный вид Наборной рукописи эпопеи «Оля», вышедшей из печати в сокращенном виде. При этом писатель, продолжавший терять зрение и вследствие этого не имевший возможности полноценно работать над рукописями, вынужден был принять печатный текст книги 1952 г. в качестве основного текста 3—5 частей романа. Во-вторых, после смерти Ремизова его парижский архив подвергся нескольким разборкам и систематизациям, сопровождавшимся расчленением больших авторских папок, содержавших относящиеся к одному произведению комплексы материалов: автографов, машинописных и печатных текстов.

Предисловие к книге «Оля» в 5-ти частях и две первые части Наборной рукописи, оторванные от нее еще в момент ее пребывания в «Издательстве имени Чехова» в связи с необходимостью сократить

объем текста, в итоге также вернулись к Ремизову. По воле автора возвращенные две первые части Наборной рукописи были соединены в единый конволют с печатным изданием *ВРБ* 1952 г. (*ГЛМ ОКФ*. Коллекция книг А. М. Ремизова. *КП*.59266/35). Этот конволют имеет жесткий владельческий бумажный переплет. Корешок и переплетные крышки затянуты в тонированный светло-кофейный холст, по центру верхней и нижней переплетных крышек наклеены полосы форзацной мраморной бумаги коричневого цвета. На корешке — авторская бумажная наклейка с надписью чернилами рукой Ремизова: «Оля 5 частей». Та же надпись повторена на поле верхнего переплета крышки. На титульном листе наклеен листок бумаги: в траурной рамке надпись «Серафима Павловна Ремизова-Довгелло». Под листком Ремизовым приписана дата: «† 13 V 1943». На названии части книги «Оля» — «В поле блакитном» — рукописные пометы: сверху — цифра «I», внизу под заглавием: «Sur champ d'azur». На входящих в конволют частях издания 1927 г. имеется рукописная пагинация страниц (7—208), выполненная неустановленным лицом.

Также в архиве Ремизова сохранилась третья часть Наборной рукописи *ВРБ* — часть «С огненной пастью» (*ГЛМ ОКФ*. Коллекция книг А. М. Ремизова. *КП*.59266/20). Это фрагмент печатного текста книги «Оля» 1927 г. с рукописной авторской правкой. Конечный текст совпадает с текстом этой части в издании *ВРБ*. Наверху страниц имеется рукописная пагинация, продолжающая нумерацию двух первых частей (211—344) и выполненная тем же неустановленным лицом. Пробелы в единой нумерации, вероятно, соответствуют также пронумерованным утраченным машинописным или рукописным листам — шмуцтитулам к отдельным частям, а также титульному листу с заглавием книги. Наборную рукопись четвертой («Голова львова») и пятой («Сквозь огонь скорбей», разделы «За зеленой оградой», «Залом» и «Задора») частей эпопеи «Оля», а также Оглавления и приложенной к тексту «Библиографии», имеющую единую пагинацию с нумерацией первой, второй и третьей частей, выявить не удалось.

Первый экземпляр машинописного Предисловия ныне хранится как отдельная единица хранения (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 274). Его машинописная копия вложена в издание *ВРБ* 1952 г. (*ГЛМ ОКФ*. Коллекция книг А. М. Ремизова. *КП*.59266/31) с дарственной надписью Н. В. Резниковой: «Моему девятикрылому и неутомимому корректору Наташе Резниковой / За все терпение ваше к моему исступлению кланяюсь, считаю себя перед вами и всем миром не заслужившим / — память о Серафиме Павловне — / Алексей Ремизов / [глаголический знак-анаграмма] 7 XII 1952». Однако в рукописном «Каталоге книг А. М. Ремизова» (Тетрадь I), составленном Резниковой при проводимой ею разборке архива писателя значится: «"*Оля*" — 5 частей

как ее надо печатать под общим заглавием “Оля” с предисловием А<лексея> М <ихайловича>» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1029. Л. 13). В связи с наличием этой записи Резниковой можно предположить, что на каком-то этапе очередной систематизации архива Ремизова машинопись Предисловия была отчуждена от книги-конволюта «Оля», в которую первоначально была вложена (*ГЛМ ОКФ*. Коллекция книг А. М. Ремизова. *КП*.59266/35).

Критические отклики на *ВРБ* были немногочисленными, но в целом рецензенты высоко оценили новое произведение Ремизова. Критик Н. Б. [Н. Н. Берберова] назвала *ВРБ* «книгой-исповедью», поставив ее в один ряд с произведениями Леона Блуа и Вас. Розанова, особо выделив часть *СОС*. «Третья часть, названная “Сквозь огонь скорбей”, — писала Берберова, — есть, в сущности, сердце книги. И к нему, как ко всякому сердцу, страшно прикоснуться. <...> Немного в русской литературе таких трагических книг, как эта» (*Н. Б.* [Берберова Н. Н.]. Ремизов А. В розовом блеске. Издательство имени Чехова. Нью-Йорк. 1952 // *НЖ*. 1952. Кн. XXXI. С. 323). Вместе с тем критик отметила стилистическую и тематическую разъединенность разных частей книги: «Первые две части, связанные между собой, не связаны с этой третьей. Чего-то, как будто, не хватает между детством и юностью Оли и ее последними годами жизни, не хватает *жизни* ее, которую она делила с А. М., но эта жизнь может быть узнана в десятке других его книг, в частности, в “Взвихренной Руси”. Поэтому разрыв частей в последней книге есть лишь недостаток *этой* книги — он восполнен был раньше. Читателю надо сделать маленькое усилие, чтобы найти то, чего не хватает для восстановления целого. Это целое, с каждой новой книгой Ремизова, делается все яснее: “мир, как боль” — его тема, о чем бы он ни писал <...> И чем больше Ремизов живет и пишет, тем больше он чувствует эту боль, — он являет собой пример человека, который ни с каким ужасом не примиряется и ни к какому отчаянию привыкнуть не может» (Там же).

А. А. Кашин в своем оклике на *ВРБ* выразил восхищение гармонией мироощущения, сохраненного Ремизовым до преклонных лет: «С первой и до последней страницы поражает свежесть нестареющей души, свежесть до конца юного восприятия мира. Даже того мира, который ничего, кроме страданий и разочарований, принести не может. <...>. Красной нитью проходит по всей книге то чудесное проникновение в архитектонику вселенной, где самое малое так же важно, как и самое большое» (*Кашин А. А.* Книга человечности: Ремизов А. В розовом блеске // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1952. № 16. С. 178—179).

Вяч. К. Завалишин в пространной рецензии на *ВРБ* остановился на истории складывания *ВРБ*, обозначив ее начало 1922 годом — вре-

менем публикации рассказа «Черная бабушка». «“Оля”, — писал критик, — продолжение “Черной бабушки”. “В розовом блеске” — продолжение “Оли”. Тут Ремизов — то романтический сказочник и чародей слова, преображающий искусство 17 века, то сюрреалист, живописующий мучительные сны, уступает дорогу Ремизову-реалисту. <...> Слова “Черной бабушки”, “Оли”, “Розового блеска” как бы излучают веселый солнечный свет. <...> Книга “В розовом блеске” разделена Ремизовым на несколько частей. “С огненной пастью” и “Голова львова” — так называются две первые части. Название последней части: “Сквозь огонь скорбей”. Отсюда, с этой последней части, беллетристика обрывается и начинаются воспоминания — “Оля” — Серафима Павловна (т. е. жена Ремизова) и повесть “Оля” написана с ее слов и имя “Оля” взято от нее <...> Пером Ремизова, когда он раскрывал жизнь Оли, водила радость, омраченная скорбными мотивами. Мотивы эти, разрастаясь, переросли, наконец, в отчаяние и душевную муку. Но как раз этот трагический финал раскрывает нам одно — быть может, самое ценное в этом писателе — качество Ремизова как художника: Ремизов вычурен, витиеват и у него нет “пушкинской” простоты и прозрачности, но ему, как никому, удалось постичь тайну радостного отношения к жизни. <...> Ремизов в своем “Розовом блеске” <...> сумел отделить радость жизни от горестей земного существования человека. <...> Жаль, что жизнеописание Оли неполно: нет ни “Черной бабушки”, ни “Оли”. Кроме того, книге следовало бы предпослать предисловие, хотя бы краткое, Ремизов — писатель трудный, но не недоступный, даже широким кругам читателей, надо только помочь читателю войти с этим исключительно оригинальным мастером слова в дружеский контакт» (*Завалишин Вяч.* В розовом блеске // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1952. 21 сент. № 14757. С. 8).

По-видимому, самому Ремизову был дорог отклик польского писателя Й. Чапского, напечатанный на польском языке в издаваемом в Париже журнале «Культура» (J. Cz. Wspomnienia. 1953. № 4/66. S. 123—126). Русский перевод отзыва был подготовлен В. П. Никитиным. Хотя этот текст скорее представлял собой подстрочник к польскому оригиналу, писатель направил его в «Издательство имени Чехова» (сохранилось ответное письмо В. А. Александровой от 14 мая 1953 г. — *ГЛМ*. Ф. 165. Оп. 3. Ед. хр. 270). В своем отзыве Чапский отметил несколько существенных свойств ремизовской зрелой прозы. Это, прежде всего, авторское мировоззрение, в основе которого — «страсть жизни — даже на дне страдания», предельный субъективизм, сознательный отказ от «типизации» и особенности авторской «оптики» восприятия, позволяющей в простых и на первых взгляд малозначительных событиях детской жизни обнаружить уникальность индивидуального жизненного опыта и передать непосредственность «детского

восприятия окружающей жизни». «У маленькой Оли крадут ее первый любимый перстенек с черной и голубой эмалью – “Супирчик”. Оля впервые ставит себе вопрос “за что?”. Бессилие перед таким несчастьем, это первое чувство обиды, автор описывает и передает, как не менее важное, нежели бунт курсисток при известии об изнасиловании их подруги полицейскими в тюрьме, или ссылки молодежи в Сибирь. Читая Ремизова, мы освобождаемся от избитой и, благодаря этому, уже зачастую механической иерархии ценностей; мы смотрим снова на свет глазами ребенка: с восхищением, болью и даже веселым смехом. Вместе с тем, эта книга не безразлична в отношении исторических потрясений, среди которых жил Ремизов. Религия, революция, социальные конфликты вовсе не устранены из поля зрения (мы живем с героями под оком циклона), но все это, однако, вновь преломляется в людском сердце, получает иную выразительность и неожиданные размеры» (цит. по машинописи перевода В. П. Никитина: *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1017).

Особого внимания небольшого круга читателей ремизовского романа заслужила глава «Черная немочь», содержащая документы берестовецкого архива. Если для Чапского была значима линия польсколитовского родства С. П., то известного генеалога П. Е. Ковалевского, автора книги «Род Ковалевских» (Париж, 1951), заинтересовали упоминания в книге *ВРБ* родственных пересечений Довгелло и Ковалевских. Однако он обнаружил ряд существенных ошибок писателя. В письме к Н. В. Зарецкому от 4 апреля 1953 г. Ковалевский отметил, что достоверность ремизовского описания семейных связей уступает художественной ценности *ВРБ*: «Я не думаю, чтобы теперь, много лет спустя, Ремизов был бы в состоянии подтвердить им написанное или сознаться в сделанных ошибках, ибо, в общем, все эти лица не играли роли в его жизни вообще, а тем паче его скончавшейся жены. Прочел книгу я с большим интересом и получил от прочитанного большое наслаждение. Ремизова читал первый раз, раньше “боялся” его не понять» (*Bakhmeteff Archive. Ms. Coll Zaretskii.* Текст письма П. Е. Ковалевского Зарецкому предоставлен Ф. Б. Поляковым).

Рецензент В. Л. Пастухов, скрывшийся под инициалами «*В. П.*», в своем отзыве дал емкий анализ творчества писателя, прежде всего отметив, что «А. М. Ремизов – мастер слова. Он влюблен в слово. Ему открыта магия слов. Он глубоко знает и чувствует стихию русского языка. Старинного и нового. <...> Он сейчас, кажется, единственный представитель той русской литературы, которая началась с Гоголя и через ответвление Лесков-Розанов – дала явление Ремизова» (*В. П.* [Пастухов В. Л.]. Ремизов А. В розовом блеске. Издательство имени Чехова. Нью-Йорк, 1952 // Опыты (Нью-Йорк). 1953. Кн. 1. С. 202). Указав на две ветви в творчестве Ремизова – создание легенд, сказок

и произведений о современности (повесть «Пятая язва», «Петушок» и др.), Пастухов отметил, что «теперь, в своей книге “В розовом блеске”, он даже превзошел эти свои произведения. Уже в отношении литературных приемов эта книга задумана необычайно тонко. Первая часть поражает причудливостью словесных узоров. <...> Во второй части стиль становится прозрачнее и проще. В первой части <...> Оля <...> ее воспоминание о молодости. <...> Во второй части душа Оли. Нежная лирика. <...> В последней части отчаяние конца земного пути <...> Смерть Серафимы Павловны передана с потрясающей силой. И не только словами, а тем, что за ними, между ними. Здесь Ремизов делает то, что когда-то делал В. В. Розанов. Пишет о самом близком, о самом сокровенном, о самом глубоком. И делает это, пожалуй, сильнее Розанова. Читатель непосредственно соприкасается с душой писателя. <...> Здесь уже нельзя говорить о “литературном приеме”, о мастерстве. “В розовом блеске” — событие в русской литературе, эта книга, мне кажется, встанет рядом с самыми крупными произведениями нашей литературы» (Там же. С. 203). См. также рецензию: *Shakhovskoi Z.* [Шаховская З.]. V rozovom bleske, by Alexei Remizov (на англ. яз.) // The Russian Review (London; New York). 1955. Vol. 14, № 2 (April). P. 164—166.

Высокие оценки рецензентов не могли повлиять на книжный рынок: в читательской среде книга осталась невостребованной. Последнее обстоятельство отразилось на дальнейшем сотрудничестве Ремизова с «Издательством имени Чехова». См. письмо Ремизова Н. В. Зарецкому от 4 апреля 1954 г. с описанием его литературных дел после издания *ВРБ*: «У меня неудача: Чеховское издательство забраковало мою книгу “Иверень” (1897—1904) продолжение “Подстриженных глаз” (1877—1897): “не для нашего читателя”. Объяснение простое: мою книгу “В розовом блеске” не покупают, лежит на складе неприкосновенно» (*Bakhmeteff Archive. Ms. Coll Zaretskii*; текст письма Ремизова Н. В. Зарецкому предоставлен Ф. Б. Поляковым).

В 15-м томе публикуются тексты прижизненных авторизованных изданий повести «Оля» (Париж, 1927) и романа «В розовом блеске» (Нью-Йорк, 1952). Эти тексты, соединенные воедино и дополненные авторизованным машинописным текстом Предисловия (см. с. 728—729 наст. тома), позволяют воссоздать ремизовский замысел — текст романа-эпопеи «Оля» в 5-ти частях. Однако авторский коллектив настоящего тома Собрания сочинений счел некорректной публикацию реконструкции этого произведения в Собрании сочинений А. М. Ремизова в связи с отсутствием целостной авторской Наборной рукописи эпопеи «Оля» (ч. 1—5).

С ОГНЕННОЙ ПАСТЬЮ

Комментарий к части «С огненной пастью» — см. комментарий к этой части в составе повести «Оля» (с. 683—704 наст. тома).

ГОЛОВА ЛЬВОВА

Как улетали птицы

С. 370. *«В сумерки он шел по пыльной улице ~ «Сон, — позвал я его, — иди к нам: у нас есть колыбелька и в колыбельке Оля».* — Возможно, авторская обработка распространенного фольклорного мотива.

Супирчик

С. 375. *Супирчик* — уменьшительно-ласкательная форма слова «супир» — от soupir — вздох (*фр.*), применявшаяся для особого рода девичьей бижутерии — колечка на мизинец, которое обычно дарилось на память; вышло из употребления к началу XX в.

С. 376. *«Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя ~ Такой голос слышит перед смертью Афанасий Иванович в «Старосветских помещиках».* — Ср.: «Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал кричать, ни души в саду <...> я обыкновенно бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню» (*Гоголь*. Т. 2. С. 37).

«День был тих и солнце сияло»... — Цитата из повести «Старосветские помещики» (Там же).

...все эти романы из приложений... — Подразумевается русская и переводная литература, печатавшаяся для широких слоев читающей публики в серийных изданиях, организованных в виде литературных приложений к популярным еженедельным периодическим изданиям, таким как журналы «Нива», «Звезда», «Книжки Неделя», «Дело» и др.

«В двух частях света» — Речь идет о книге: *Пирс Этта*. В двух частях света: Роман / пер. с англ. СПб., 1879. 446 с. (под грифом «Книжки недели. Журнал романов и повестей»). Аутентичное имя автора романа: Etta W. Pierce.

С. 377. *...от красного, завеянного лиловым вереском, каменного поля в Карнаке ~ вкруг выветренных вековечным ветром менгиров и дольменов?* — *Карнак* (Carnak, фр.) — деревня в Бретани (департамент Атлантической Луары), где в 1924 и 1926 гг. Ремизов с женой провел несколько недель отдыха. В окрестностях Карнака сохранилось круп-

нейшее в мире скопление кельтских менгиров и дольменов — культовых сооружений из древних каменных блоков, возраст которых ученые относят к бронзовому веку. См. также повесть Ремизова «По карнизам» (1929), с описанием прогулок по священным местам кельтских жрецов-друидов, основой культа которых была вера в бессмертие души (*Зга-Росток XI.* С. 565—573). Ремизов возводил литовскую родословную С. П. Ремизовой-Довгелло к древним кельтам (см. главу «Задора-Довгелло» в наст. изд.).

Букет

С. 379. *на загладку* — фразеологизм (см. с. 696 наст. тома).

С. 380. *Научил Олю шараде: «es ra-ra-ra (es terra) et in ram-ram-ram (in terram) ibis»...* — Шарада расшифровывается как латинское высказывание: «Terra es et in terram ibis» («Прах ты и в прах возвратишься») и восходит к Быт 3: 19.

Святой

С. 381. *Феодосий Углицкий* — Святитель Феодосий Углицкий, Архиепископ Черниговский († 1696). В православной церкви установлены дни его памяти — 5 февраля (день преставления) и 9 сентября (день обретения и перенесения мощей). Характерной особенностью чудесных деяний святого было его появление во снах страждущих.

Издали

С. 386. *...крохотные «клейкие» листочки...* — аллюзия к тексту романа «Братья Карамазовы». Ср. гл. «Братья знакомятся», признание Ивана: «Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки» (*Достоевский.* Т. 14. С. 209—210).

С. 387. *Вафли* — (или «буфы») разновидность декоративной ручной отделки ткани посредством простежки, собранной в рельефный орнамент.

Закрыла окна

С. 388. *У ватагинского батюшки о. Евдокима две дочери...* — Прототипами героев послужили берестовецкий священник Евтихий Бардонос и его дочь Мария (в замужестве Лукашева). Упоминаются в гл. «Последняя “Задора”» (см. с. 585 наст. тома).

С. 389. *...у Достоевского в устах ~ Коли Красоткина: «о, если б я мог ~ в жертву за правду!».* — Ср. гл. «Похороны Илюшечки. Речь у камня» в Эпилоге романа «Братья Карамазовы»: «О, если б и я хоть

когда-нибудь мог принести себя в жертву за правду, — с энтузиазмом проговорил Коля» (*Достоевский*. Т. 15. С. 190).

И все так

С. 391. *Валя Шалаурова* — в реальности Раиса Шалаурова — близкая подруга С. П. Ремизовой-Довгелло. Ср. комментарий Ремизова к упоминанию ее имени в письмах 1907 г.: «стережет С. П., существо преданнейшее, но разговаривать с ней не о чем» (*На вечерней заре 2014 (1)*. С. 166).

...пела арию Марии из «Мазепы» ~ «Матушку-голубушку» — Опера П. И. Чайковского «Мазепа» (1881—1883) на сюжет поэмы А. С. Пушкина «Полтава». «Матушка, голубушка...» — популярный романс на стихи Г. Ниркомского и музыку А. Л. Гурилева.

...считая неприличным слово «сосет», велела заменить словом «щемит»... — Ср. строки стихотворения Ниркомского: «Матушка, голубушка, солнышко мое! / Пожалей, родимая, дитятко твое! / Словно змея лютая сердце мне сосет / И целую ноченьку спать мне не дает». Тема провинциальных представлений о лексической благопристойности, вошедшая в литературные тексты Ремизова, очевидно, была почерпнута из рассказов С. П. Ремизовой-Довгелло о своем детстве на Украине. Напоминание об одном из них встречается в письмах 1922 г., при описании манеры общения хозяйки берлинской квартиры. Ср.: «Остался я вдвоем с Frl. Delion. Разговор в коридоре: тон ее, что в Борзне, не "хвост" скажет ("хвост" неприлично!), а "фост" — звучит тонко» (*На вечерней заре 2018 (1)*. С. 55).

«сражение при Рымнике» — одно из главных сражений Русско-турецкой войны 1787—1791 гг. под командованием А. В. Суворова, окончившееся разгромом турецкой армии.

С. 393. *...по случаю царского дня...* — Речь идет о праздновании торжественных событий императорской фамилии в Российской империи.

С. 395. *«я любила его жарче дня и огня»* — начальные строки «Русской песни» (1841; стихи А. Кольцова; музыка Ю. Капри).

Не считается

С. 401. *«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии...»* — начальные строки повести «Сорочинская ярмарка» (*Гоголь*. Т. 1. С. 111).

...«усталое солнце, пропылав свой полдень ~ и ярко румянился»... — неточная цитата из «Сорочинской ярмарки» (Там же. С. 120).

С. 402. *...«ангелы Божии поотворят окошечки ~ глядят на нас, на нашу землю»*. — Ср. слова Ганны из повести «Майская ночь, или Утопленница» о ночном звездном небе (*Гоголь*. Т. 1. С. 155).

С. 404. *«Моя худоба!» (имение)...* — Худоба (*диал.*) — имущество; состояние; хозяйство (постройки, инвентарь). См. также о значении слова «худоба» на украинском языке (скотина) в статье: *Бунич-Ремизов Б. Б.* Родные и близкие С. П. Ремизовой-Довгелло в произведениях А. М. Ремизова // *Алексей Ремизов: Исследования и материалы 2003.* С. 370.

С. 405. *Сажалка* — см. комм. на с. 672 (повесть «Оля»). Слово из разговорного лексикона южнорусских регионов, обозначающее небольшой искусственный водоем или пруд.

С. 407. *...очень зорко заметил Достоевский, «с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут».* — Ср. авторефлексии героя из романа «Игрок» (*Достоевский.* Т. 5. С. 233).

Некуда деваться

С. 409. *...«я молился сейчас пред иконой святой»...* — Возможно, здесь воспроизведена не точная цитата, а стилистика поэзии рано умершего С. Я. Надсона (1862—1887), в своем творчестве передавшего умонастроения молодежи 1880-х гг., которые порождались сомнениями и неуверенностью в собственных силах, уживающимися с жаждой борьбы и жертвенного подвига во имя справедливости и нравственного закона для всех людей.

С. 411. *Да, это был живой «ананасный компот», о котором рассказывает Достоевский, исповедуя в Лизе Хохлаковой свой тайный злой помысел...* — Отсылка к жестоким откровениям Лизы Хохлаковой, которые она адресовала Алеше Карамазову, испытывая его нравственное чувство. См.: *Достоевский.* Т. 15. С. 24. Вместе с тем образ девушки-инвалида, наделенный всеми признаками истерических расстройств, в романе несет функцию дублера личностных конфликтов главных героев. Подробнее см.: *Кузнецов О. Н., Лебедев В. И.* Достоевский над бездной безумия. М., 2003. С. 135—140.

Не дождалась

С. 413. *...«легче борову свиному проткнуться в игольное ушко, чем богатому проникнуть к сердцу бедного».* — Парафраз герметичного высказывания Христа. Ср.: «...и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф 19: 24).

С. 414. *...эти сказки «Тысячи и одной ночи», и этот грустный свет их проник из Алеппо...* — Создателем-составителем традиционных двенадцати книг «1001 ночи» был французский знаток восточных языков Антуан Галлан (1646—1715). Только первые две и отчасти третья

книга текста являются переводом древнего арабского сборника, и происхождение этих сказок неизвестно. Остальные же сказки были добавлены в 1709 г. Галланом. Источником этих текстов оказался сказитель из Алеппо по имени Ханна Дияб.

Наперекор

С. 417. *Обе принадлежали к «задумывающимся» — по Достоевскому...* — Психологический типаж «задумывающихся» детей описывался Достоевским неоднократно. В частности, в романе «Подросток» читаем наблюдения Версилова: «...я давно уже знал, что у нас есть дети, уже с детства задумывающиеся над своей семьей, оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей. Я наметил этих задумывающихся еще с моей школы...» (*Достоевский.* Т. 13. С. 373). В повести «Униженные и оскорбленные», в связи с образом Кати Филимоновой, также отмечается особый склад характера: «Она была совершенный ребенок, но какой-то странный, *убежденный* ребенок, с твердыми правилами и с страстной, врожденной любовью к добру и к справедливости. Если ее действительно можно было назвать еще ребенком, то она принадлежала к разряду *задумывающихся* детей, довольно многочисленному в наших семействах (*Достоевский.* Т. 3. С. 348).

...к «убежденным» — по Блейку. — Углубленное понимание особенного разряда «убежденных» людей возникло у Ремизова благодаря опыту перевода поэмы английского романтика, мистика и визионера У. Блейка «Бракосочетание Неба и Рая», предпринятому С. П. Ремизовой-Довгелло в 1920—1930-х гг. Подробнее см. в статье: *Сердечная В.* Первый русский перевод поэмы Уильяма Блейка «The Marriage of Heaven and the Hell»: загадка рукописей из архива Ремизовых // Новое литературное обозрение. 2017. № 4. С. 202—212. В фрагменте перевода Ремизовой-Довгелло под названием «Достопамятная причуда» описывается беседа Блейка с пророками Исайей и Иезекиилем (со слов: «Пророки Исайя и Иезикииль обедали со мной...»). Блейк спросил своих мудрых собеседников, утверждавших, что с ними разговаривал Господь Бог, является ли их вера и убежденность твердым основанием для объективации реальности («Разве твердое убеждение, что вещь такова, делает ее таковой?»). И услышал ответ Иезикиля: «Философы Востока учили о первоначалах человеческого восприятия. Некоторые народы считали одно начало истинным, а другие иное: мы же в Израиле учили, что Поэтический Гений (как вы теперь его зовете) есть первооснова и все остальное лишь производные...» (*Блейк У.* Бракосочетание Неба и Рая / пер. с англ. С. П. Ремизовой-Довгелло; копия рукой А. М. Ремизова // *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1094. Л. 7—8). Таким образом, Ремизов отмечает, что Достоевский

выделял «задумывающихся», то есть, суть нравственных по своей природе людей, а Блейк — «убежденных», то есть тех, кто по свойству поэтической натуры способен собственную веру воспринимать как объективную реальность.

С. 419. *...«Ниву» за несколько лет с романами Салиаса и Соловьева...* — В конце 1880-х — начале 1890-х гг. исторические романы графа Е. А. Салиаса-де-Турнимира с завидным постоянством печатались на страницах популярного журнала литературы, политики и современной жизни «Нива» (1869—1918). По количеству публикаций Салиасу не уступал лишь Вс. С. Соловьев, брат философа Вл. С. Соловьева. Например, в 1884 г. на страницах «Нивы» одновременно были опубликованы роман Салиаса «В старой Москве» и роман Соловьева «Изгнанник».

«Русским детям Достоевский» — речь идет о посмертном издании: Русским детям: Из сочинений Ф. М. Достоевского / под ред. О. Миллера. СПб., 1883. II, 282 с.

...Ни Неточка и Катя, ни Нелли... — Героини произведений Достоевского: Неточка Незванова из одноименной повести (1848) и две героини романа «Униженные оскорбленные» (1860) — Катя Филимонова и Нелли (Елена).

...рассказ из «Подростка», названный «В Барском пансионе»... — Подразумевается отдельное издание фрагмента девятой главы, осуществленное дочерью писателя (В барском пансионе: Из романа «Подросток» Ф. М. Достоевского / изд. Л. Ф. Достоевской. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1887. 16 с.), в котором описывалась встреча Аркадия с его матерью в пансионе Тушара (со слов: «Колокол ударял твердо и определенно по одному разу в две или даже в три секунды...» до слов: «...Мама, мама, а помнишь голубочка в деревне?..»).

С. 421. *...ницшенианские рассуждения Раскольникова о «сверхчеловеке»...* — Речь идет об идее «сверхчеловека» (в первых изданиях русских переводов использовалась неверная транслитерация: Нитче), в притчевой форме изложенной Ф. Ницше в сочинении «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого» (1885). В истории литературной критики и литературоведения XX — начала XXI в. сопоставление философских размышлений русского писателя и немецкого философа о природе человеческой нравственности и морали представляет собой одну из центральных тем, выявляющих параллелизм взглядов мыслителей. В частности, герой романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников оправдывает свое преступление убеждением, что люди делятся на «тварей дрожащих» и на «право имеющих», что отчасти сходно с ницшеанским идеалом «совершенного человека», отказывающегося от старых нравственных ценностей. См. также экскурс на тему ошибочных и спорных утверждений о влиянии Достоев-

ского на оформление ницшеанской идеи «сверхчеловека», имевших место в русской и немецкой критике начала XX в.: *Дудкин В. В., Азадовский К. М.* Достоевский в Германии (1846—1921). III. Проблема «Достоевский – Ницше» // Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1973. С. 650—740. (*ЛН*; *Т. 86*).

С. 421. *А ведь это самая сердцевина ее «настойчивой и пламенно-настроенной воли» и самый глубокий и властный голос ее «врожденной любви к правде».* — Контаминация характеристик Кати в романе «Униженные и оскорбленные» (см.: *Достоевский.* Т. 3. С. 348, 349). Ср. комм. к с. 417 наст. тома.

С. 422. *...окончила Высшие курсы...* — Речь идет о Бестужевских высших женских курсах в Петербурге (1878—1918). См. комм. к с. 115 наст. тома.

С. 423. *...если говорить по Евангелию, надо сказать, что «занимавшиеся революцией» и были те «ищущие правды»...* — Ср.: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф 5: 6).

Без предмета (Стихи)

С. 423. *...сказки Шехеразады расшиты стихами.* — Шахеразада (Шахерезада, Шахрезада) – центральный персонаж памятника средневековой арабской и персидской литературы «Тысяча и одна ночь».

А уж дальше пойдет то самое замерзание — дышать нечем! — о котором говорится в естественной истории, и, наконец, взвихренная земля сотрется в космический порошок. — Вольное переложение Ремизовым натурфилософских представлений античности.

...«это всесильное глухое, темное и немое существо странной и невозможной формы»... — Ср. сон Ипполита Терентьева из главы «Мое необходимое объяснение» романа «Идиот»: «Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа? Но мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием» (*Достоевский.* Т. 8. С. 340).

Гоголевский Вий ~ для живого нормального трезвого глаза никогда ~ душа жизни. — Используя описание гоголевского Вия (ср.: *Гоголь.* Т. 4. С. 201), Ремизов предлагает собственную символическую интерпретацию таких метафизических основ бытия, как Эрос и Танатос. В образной системе Ремизова гоголевский Вий является одним из воплощений гностического Абраксаса. См. подробнее: *Обатнина 2008.* С. 256—271.

С. 424. *...и совсем не под стать подмосковной пололке с «инфернальным изгибом» — Грушеньке...* — Аграфена Александровна Светлова, роковая возлюбленная Федора Карамазова и его сына Дмитрия. Ср. о ней слова Дмитрия: «У Грушеньки, шельмы, есть такой изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался» (*Достоевский.* Т. 14. С. 109); «Прежде меня только изгибы инфернальные томили» (Там же. Т. 15. С. 33). Очевидно, слово «пололка» отсылает к рассказанной Грушенькой «басне о луковке».

Катерина-хозяйка — героиня повести Достоевского «Хозяйка» (1847).

...и ничего в них мучительного, как в Полине и в Катерине Ивановне... — Обращаясь к женским типажам Достоевского, Ремизов демонстрирует нюансные отличия эротизированного чувства «мучительного». По отношению к Полине из романа «Игрок» (1866), прототипом для которой послужила возлюбленная Достоевского Аполлинария Суслова, это чувство связано с откровенно телесными ассоциациями. Ср. отклик о ней: «Следок ноги у ней узенький и длинный — мучительный. Именно мучительный» (*Достоевский.* Т. 5. С. 234). Более сложное, подсознательное чувство эротического страха испытывает Алеша Карамазов к *Катерине Ивановне Верховцевой.* Ср.: «...в нем копошилась некоторая другая боязнь, совсем другого рода, и тем более мучительная, что он ее и сам определить бы не мог, именно боязнь женщины, и именно Катерины Ивановны» (*Достоевский.* Т. 14. С. 94).

Лиза Хохлакова — героиня романа «Братья Карамазовы».

«У меня все вдруг», — могла бы повторить Валя за Хлестаковым... — В тексте комедии Хлестаков, принимая деньги от городничего, обещает вернуть долг, заверяя: «у меня это вдруг». Ремизов придает этой фразе обобщающий смысл, полагаясь также на авторскую характеристику героя в адресованном актерам «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора"». Ср.: «Обрываемый и обрезываемый доселе во всем, даже и в замашке пройтись козырем по Невскому проспекту, он почувствовал простор и вдруг развернулся неожиданно для самого себя. В нем всё — сюрприз и неожиданность» (*Гоголь* Т. 4. С. 116).

С. 427. *...вышептывала за Достоевским: «такая красота — сила, с такой красотой можно мир перевернуть!»* — Ср. слова Аделаиды Епанчиной о портрете Настасьи Филипповны: «Такая *красота — сила* <...> с этакою *красотой можно мир перевернуть*!» (*Достоевский.* Т. 8. С. 69).

С. 427. *...ведь только «очарование», сделавшее по Гоголю наш мир адом...* — Ср. «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном

своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, — и мир это видит и не смеет ослушаться. <...> Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством!» (цит. по: *Гоголь Н. В.* Духовная проза / вступ. ст. В. А. Воропаева; сост. и комм. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М.: Русская книга, 1992. С. 274).

...очарование может не только перевернуть этот мир ~ а и спасти от «страха и боли» и даже от неизбывной «злой памяти». — Не случайно Ремизов по первоначальному замыслу предполагал закончить роман «В розовом блеске» повестью под названием «Очарование», содержанием которой должно было стать описание жизни писателя в доме на rue Boileau во время немецкой оккупации. Впоследствии повесть разрослась в роман «Мышкина дудочка» (Париж, 1953). См.: *Петербургский буерак-РК X*. С. 4—172.

Катя читала «с ***Мошей*** *тащится букашка»...* — Моша — уменьшительная форма имени Мирон. Подразумевается искажение строки из детского стихотворения Л. Н. Модзалевского (1837—1896) «Приглашение в школу» (впервые опубликовано в учебнике К. Д. Ушинского «Родное слово», 1864). Ср.: «Человек, и зверь, и пташка — / Все берутся за дела; / С ношей тащится букашка, / За медком летит пчела».

Соня ~ заносилась: «царевич я, довольно стыдно мне...» — Подразумеваются смысловые сдвиги при неверном прочтении пушкинской строфы. Ср.: «Царевич я. Довольно, стыдно мне / Пред гордою полячкой унижаться...» (*Пушкин А. С.* Полное собр. соч.: 10 т. / АН СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). М., 1957. Т. 5. С. 284).

С. 429. *«И времени больше не стало».* — Парафраз строки из Откровения Иоанна Богослова. Ср. синодальный перевод: «...и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет» (Откр 10: 6).

С. 431. *...ведь карикатурно и Блок с лошадиным...* — Подразумеваются многочисленные шаржи 1900—1910-х гг. на А. А. Блока, в частности, исполненные в 1912 и 1913 гг. карикатуристом Полем Маком (наст. имя и фам. Павел Петрович Иванов). См. воспроизведение по Списку иллюстраций (*ЛН*. Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 5. М., 1993. С. 827).

С. 432. *...«скажите ей, что пламенной душой к ее душе стремлюся я».* — Искаженная строка романса на стихи Н. А. Долгорукова. Ср.:

«Скажите ей, что пламенной душою / С ее душой сливаюсь тайно я...» (Русские песни и романсы. М., 1989. С. 349).

С. 432. ...*«все осмеяно, поругано, забыто, погребено и не воскреснет вновь»*. — Неточная цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Завеса сброшена: ни новых увлечений...». Ср.: «Как мало прожито — как много пережито! / Надежды светлые, и юность, и любовь... / И все оплакано... осмеяно... забыто, / Погребено — и не воскреснет вновь!» (*Надсон С. Я.* Полн. собр. стихотворений / вступ. ст. Г. А. Бялого; подг. текста и прим. Ф. И. Шушковской. М., 2001. С. 145).

«...душе блеснул знакомый взор, и зримо ей в минуту стало незримое с давнишних пор». — Строка из стихотворения В. А. Жуковского «Песня» («Минувших дней очарованье...», 1818).

Повторилась история Чеховского рассказа, но развязка другая: Нарцис так и не добился ответа. — Речь идет о юмористическом рассказе А. П. Чехова «Забыл!» (1882), герой которого — отец семейства — пришел в нотный магазин, позабыв автора нужного ему музыкального произведения. После нескольких неудачных попыток вспомнить имя композитора, он так явственно представил себе огорчение дочери, лишившейся по его вине нотной тетради, что в результате сумел достаточно точно напеть основную тему искомого сочинения, и продавец узнал рапсодию Ф. Листа № 2.

золотой стихарь — дьяконское облачение для церковной службы.

С. 433. *помер до Юрина яблока* — речь идет об урожае яблок. См. на с. 426 о яблоке «от Юры» («Без предмета. (Стихи)»).

Виновна-ль роза, что красива...; Вот в тебе ничего нет поддельного... — Образцы народных стихотворений городского фольклора, получивших распространение в девичьих альбомах второй половины XIX — начала XX в.

На память

С. 436. *Прошвы* — вышитая ткань с декоративными дырочками.

С. 440. *...редкое издание Шевченко, Кожанчикова...* — Речь идет об издании поэтического сборника Тараса Шевченко «Кобзарь» (*Шевченко Т.* Кобзарь. Типом четвертым. Коштом Д. Кожанчикова. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1867), считавшемся наиболее полным и точным по орфографии изданием текстов стихотворений на украинском языке, дополненных также поэмами «Невольник», «Москвалева криниця», «Неофити», «Петрусь», «Княгиня», «Черниця Марьяна» и драматическими произведениями. Возможно, именно эту библиографическую редкость Ремизов пытался приобрести в подарок Серафиме Павловне Ремизовой-Довгелло летом 1922 г. Упоминание об этом встречается в письме писателя, адресованном жене 21 июня (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 340. Л. 25).

С. 436. *...маленькая на желтой папиросной бумаге — «красивая» — запрещенные стихи Шевченки.* — Подразумевается нелегальное издание: Поэзия Т. Гр. Шевченка, запрещенная в России. Женева: Украинская печатня, 1890. VIII, 248 с. 15,3 × 9,5. [Издание на украинском языке].

Серебряный полумесяц

С. 441. *«Да, нелегко выцарапаться из тины, посреди которой я рождена!» — повторяла Оля, ходя по зеленому двору и глядя на поля и луга, по которым она когда-то так весело бегала, и которые теперь ей были враждебны.* — Ср. фрагмент из романа Писемского «Люди сороковых годов», описывающий рефлексии Павла Вихрова: «“Да, нелегко мне выцарапаться из моей грязи!” — повторял он мысленно, ходя по красному двору и глядя на поля и луга, по которым он когда-то так весело бегал и которые теперь ему были почти противны!» (*Писемский.* Т. 5. С. 112).

С. 442. *...есть пирожки у Филиппова...* — См. выше комм. на с. 679.

Нормальная столовая — «Нормальная столовая» была открыта в 1890-е гг. внутри Гостиного двора (Невский пр., д. 88). Владелец — барон Гильом д’Оггер (см.: Адресная книга города С.-Петербурга на 1895 г. / под ред. П. О. Яблонского. СПб., 1895. Стб. 1680).

Без указки

С. 445. *...та самая «живая жизнь», любимое выражение Достоевского...* — Впервые встречается в «Записках из подполья». Ср.: «“Живая жизнь” с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно» (*Достоевский.* Т. 5. С. 176).

...или, по Лескову, тут выступала «бьющаяся живая жила»... — Неточная цитата из романа «Некуда» (1863), восходит к диалогу доктора Розанова и студента Помады о любви. Пример из народной жизни, противопоставляющий любви чувство, замешанное на роковом влечении (см. комм. к с. 447 наст. тома), не убеждает молодого оппонента доктора. Студент требует доказательств проявления такого же чувства в среде образованных людей. Ср.: «...ты мне покажи пример такой на человеке развитом, из среднего класса, из того, что вот считают бьющеюся, живою-то жилою русского общества....» (*Лесков.* Т. 4. С. 117).

...Гоголевское: «поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает!»... — Реплика Ильи Фомича Кочкарева, героя пьесы «Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях» (*Гоголь.* Т. 5. С. 55).

...заявляющей во весь голос: «Я хочу и буду поступать так, как поступаю; я хочу и буду жить без указки всегда и во всем!». — Выраже-

ние «без указки», вынесенное в заглавие главы, имеет прямые корреляции с модусом поведения героини романа Лескова «Некуда» — Лизы Бахаревой, которая также категорично проявляла свое отношение к жизни и окружающим. Ср.: «Я хочу жить без указки всегда и во всем» (*Лесков.* Т. 4. С. 109).

С. 445. *Медицинские курсы* — Речь идет о Высших женских медицинских курсах, учрежденных в Петербурге (1872—1882) при Медико-хирургической академии.

С. 446. *...описанного Гоголем в «Старосветских помещиках» в судьбе «страстно влюбленного»...* — Отсылка к отступлению от основного сюжета повести, в котором рассказывается о герое, трагически переживавшем кончину супруги, но спустя год уже счастливо женившемся вновь.

С. 447. *...у Писемского в «Водовороте»...* — Роман А. Ф. Писемского «В водовороте» (1870—1871).

...ожесточенным с.-р.-ом или уверенным и несомненным с.-д.-ом. — Речь идет о партиях социалистов-революционеров (эсеров) и социалистов-демократов, представлявших оппозиционные политические программы.

...«он лежал распростертым на канапе ~ держал револьвер», это из Писемского... — Неточная цитата из заключительной главы (XII) романа «В водовороте». Ср.: «...князь лежал распростертым на канапе; кровь била у него фонтаном изо рта; в правой и как-то судорожно согнутой руке он держал пистолет» (*Писемский.* Т. 7. С. 407).

Русский народ, и это заметил Лесков, различает: есть «любовь», а есть «любва», глагол «любить» и глагол «любиться»... — Отсылка к роману Лескова «Некуда», в котором доктор Розанов разъясняет студенту Юстину Помаде диалектику любовных чувств, противопоставляя книжным представлениям молодого романтика известные ему случаи из реальной жизни, вскрывающие амбивалентные стороны любовных отношений, замешанных на страсти и не поддающихся логическому пониманию противоречиях: «...все это орудует любовь, да не та любовь, что вы там сочиняете, да основываете на высоких-то нравственных качествах любимого предмета, а это наша, русская, каторжная, зазнобистая любва, та любва, про которую эти адски-мучительные песни поются, за которую и душатся, и режутся, и не рассуждают по-вашему» (*Лесков.* Т. 4. С. 116—117).

С. 448. *Оводов* — см. комм. на с. 697, 703. См. также выдержки из документов жандармского Управления 1898—1900 гг., составленные на Булича и С. П. Довгелло в Петербурге и во время их пребывания в Усть-Сысольской ссылке см.: *Соболев А. Л. 2013.* С. 193. В частности, об их отношениях в полицейских отчетах было зафиксировано: «Довгелло Серафима Павловна, бывшая слушательница медицин-

ских курсов. Ни в чем предосудительном в политическом отношении не обращает на себя внимания, находясь в близких отношениях с поднадзорным Буличем» (Там же). См. также не опубликованный при жизни писателя рассказ «Адольф Келза — “на ссылке”», раскрывающий сюжет, относящийся к периоду усть-сысольской ссылки, где встретились Ремизов, Довгелло и Булич (*Иверень-РК VIII*. С. 520–527).

С. 450. *...Корецкий ~ начитавшись Толстого, свою младшую дочь не отдал в гимназию и вообще решил не учить, убедившись, что «просвещение» принесет только вред...* — Очевидно, что, используя слово «просвещение», герой Ремизова подразумевал комедию Толстого «Плоды просвещения» (1891), в которой заострен вопрос о пореформенной судьбе крестьянства, а действие построено на комическом столкновении крестьян и «образованных», среди которых были также представители академической науки. Однако критическое отношение к университетскому образованию восходит к публицистике Толстого, при жизни завоевавшего авторитет «учителя жизни» среди самых разных социальных слоев. Так, острую полемику в обществе вызвала статья «Воспитание и образование» (Ясная поляна. 1862. № 7), в которой писатель подверг резкой критике систему отечественного образования, в особенности, сложившуюся университетскую программу обучения, считая, что выпускники университетов являются самой несостоятельной для нужд жизни частью общества. Ср.: «Из них выходит то, что дóлжно выходить: или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною молодостию и не находящие себе места в жизни, так называемые люди *университетского образования*, развитые, т. е. раздраженные, больные либералы. <...> Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству» (*Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1963. Т. 8: Педагогические статьи, 1860–1863. С. 236).

Слепая любовь

С. 455. *...сказка Шахеразады о «бедняке и собаке»...* — Имеется в виду «Рассказ о бедняке и собаке», в составе сборника средневекового арабского и персидского сказочного фольклора «Тысяча и одна ночь».

С. 457. *...дух Божий это и есть пламя сердца, один будет носиться над пеплом...* — Ср.: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою...» (Быт 1: 2).

С. 458. *У Зины родился ребенок и отвезла она Мишу на лето к матери, думала до осени.* — Далее разворачивается сюжет, имеющий прямые совпадения с семейными обстоятельствами супругов Ремизовых.

С. 458. *...ее уж не уговаривали, а грозили смертью матери, что мать не вынесет...* — Ср. описание психологического надрыва, сложившегося вокруг маленькой Наташи Ремизовой в берестовецкой усадьбе, которое оставил брат С. П. Ремизовой-Довгелло — С. П. Довкгело: «Я не могу сказать, что жизнь девочки <Наташи Ремизовой> протекала счастливо. Ее любили и баловали все окружающие: бабушка, тетки и я. <...>. Ее оставили на короткое время в деревне у бабушки, бабушка <А. Н. Довкгело> болезненно привязалась к девочке, настолько болезненно, что по заключению врача разлука с девочкой грозила смертью моей матери. Сестра <Л. П. Довкгело> волей-неволей откладывала каждый раз на короткое время разлуку. Это создало атмосферу особого страха, страха приезда сестры в усадьбу. Девочка все больше привязывалась к домашним и все больше отвыкала от родителей и всегда сильно волновалась перед приездом и во время пребывания сестры в усадьбе» (цит. по: *Бунич-Ремизов Б. Б.* Родные и близкие С. П. Ремизовой-Довгелло в произведениях А. М. Ремизова. С. 269).

Две — лиры

С. 460. *С Фридом Оля познакомилась, когда была курсисткой.* — Под именем Фрида в романе выведен знакомый С. П. Ремизовой-Довгелло по Чернигову И. С. Биск. См. о нем в комм. на с. 697 наст. тома. В их последнюю встречу в Петербурге в 1917 г. Биск оставил на память итальянскую монету. Ср. упоминание: «...сегодня я встретил человека — нежнейшей души. Это И. С. Биск — старый знакомый С. П. — приходил прощаться» (*Взвихрённая Русь-РК V.* С. 171). В своих комментариях к рассказу о Биске, написанному Серафимой Павловной в 1934 г., Ремизов вспоминал о нем как о человеке, мужественно принявшем испытание неразделенной любовью. Монета бережно хранилась Ремизовыми. Ср. комментарий Ремизова в тетради С. П. Ремизовой-Довгелло «Мои записки»: «...2 лиры С. П. хранила все годы “коммунистического опыта” в Петербурге и тут на “бессрочной каторге” в эмиграции. Эти серебряные две лиры ей говорили о человеке, который ее любил больше всех, о нежном человеке и о том, что этот человек не был счастлив в жизни» (*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 292. Л. 48). В 1943 г., после смерти Серафимы Павловны, Ремизов записал: «Теперь пришлось расстаться с серебряными лирами — одним ощутительным воспоминанием меньше, но в душе оно есть и всегда будет» (Там же. Л. 49).

С. 461. *Неключимый* — негодный, бесполезный (*устар.*).

С. 462. *...извозчики тогда еще существовали, доживая последние дни.* — С появлением автомобилей количество извозчиков в Петербурге к 1914 г. сократилось вдвое, хотя сам промысел не угасал вплоть до начала 1930-х гг.

С. 463. *...из самой черной и тесной «закоптелой бани, по всем углам пауки».* — Ср. рассуждения Свидригайлова о вечности: «Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» (*Достоевский.* Т. 6. С. 221).

Земля и море

С. 464. *...над книгой Достоевского, посвященной детям...* — См. комм. к с. 419 наст. тома.

С горбом

С. 467. *«кав»* — от cave (*фр.*) — пещера, винный погреб.

...Place Denfert-Rochereau, Бельфорский лев... — Подразумевается скульптура раненого льва на площади Данфер-Рошро в Париже, которая является уменьшенной медной копией монументального скульптурного изваяния из красного песчаника работы скульптора Ф. Бартольди, установленного во французском городе-крепости Бельфоре (Belfort) в 1880 г. в честь победы над германской армией в боях при осаде города (1870 г.). Бельфорский лев (Бельфор; Париж) стал такой же культовой скульптурой, как и статуя Свободы (Нью-Йорк), созданная Бартольди в 1886 г.

С. 472. *...как однажды взглянул Гоголь из своего безмятежного «рая»...* — Ср. в повести «Старосветские помещики»: «Я иногда люблю сойти на минутку в сферу этой необыкновенно уединенной жизни...» (*Гоголь.* Т. 2. С. 13).

...и одно-единственное слово уверенное, молящее и грозное «Бог не допустит»... — Отсылка к разговору, в котором религиозное чувство Сони Мармеладовой противостоит безверию Раскольникова (*Достоевский.* Т. 6. С. 245—246).

Живое и мертвое

С. 474. *...они принимали его за горняка...* — Речь идет о форме студента Горного института.

С. 475. *«Нагаечка»* — популярная песня, сложенная в среде рабочих на тему разгона демонстраций нагайками; распространялась в разных вариантах в 1900-х гг.

Лепта из вечного

С. 478. *Проходное свидетельство* — см. комм. к с. 257 наст. тома.

С. 481. *У Писемского с его полетом, как сам он о себе выразился, не орлиным, но и не лживым...* — Отсылка к тексту романа «Взбаламученное море» (1863), в котором лирический герой, называемый «автор», после чтения своего произведения получает следующий отклик: «...ваш полет не высок, не орлиный, но не лживый» (*Писемский.* Т. 4. С. 438).

...«картины нравов нашего времени, где собрана вся ложь России» — Ср. заключительные слова романа А. Ф. Писемского «Взбаламученное море»: «...мы представляем <...> верную, хотя и не полную картину нравов нашего времени, и если в ней не отразилась вся Россия, то зато тщательно собрана вся ее ложь» (*Писемский.* Т. 4. С. 549).

С. 483. *...«Словарь» Павленкова...* — Речь идет об «Энциклопедическом словаре» (СПб.: Изд. Ф. Ф. Павленкова, 1899 г.), подготовленном по образцу известного французского словаря П. Ларусса. Очевидно, что для Оводова и Оли была немаловажна революционная биография издателя, отбывавшего ссылку в Вятке и Сибири (1880).

...из Евангелия о «лепте вдовицы» ~ он жил только на те шесть рублей казенных, какие получали ссыльные. — Ср. притчу о пожертвованиях в сокровищницу Иерусалимского храма: «...все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк 12: 41—44).

Косточка

С. 483. *устьвымьские* — от названия пермского селения Усть-Вымь (ныне республика Коми).

Ревизиты — лексическая калька слова revisiter (*фр.*) — вернуться, вновь посещать.

С. 484. *Перлюстрация* — от perlustrare (*лат.*) — букв.: просматривать; вскрывать частную переписку.

С. 487. *...белокурый студент ~ пел чистым тенором: Уж как кто бы, кто моему горю помог...* — прямая цитата из романа Писемского «Взбаламученное море» (*Писемский.* Т. 4. С. 438).

СКВОЗЬ ОГОНЬ СКОРБЕЙ

За зеленой оградой

С. 488. *За зеленой оградой.* — Название раздела восходит к строкам стихотворения С. Я. Надсона «В тени задумчивого сада...» (1879), получившего широкую известность благодаря романсу на музыку А. Балабанова. Ср.: «В тени задумчивого сада, / Где по обрыву, над ре-

кой, / Ползет зеленая ограда / Кустов акации густой <№...> / В прозрачных сумерках мелькает / Твой образ стройный и живой. <...> / Прощай, — до нового свиданья / И новых песен на заре!» (*Надсон С. Я.* Полн. собр. стихотворений. С. 76—77).

С. 488. *«Голова Львова сера, космата с огненной пастью в поле блакитном».* — Фамильный герб польского дворянского рода Задора, от которого образовалась ветвь Довкгело. Известны еще 162 дворянских рода, использующих этот герб и зарегистрированных в геральдических реестрах Российского государства. Ср. также описание: «*Задора*, или *Пломенчик* (Zadora, Plomienczyk) — в голубом поле львиная голова по гриву, а из открытой пасти выходит пламя. Та же львиная голова повторяется в нашлемнике <...>. Начало этого герба полагается в X столетии, при Болеславе Кривоустом, которым знамя это было усвоено некоему Задоре» (*Лакиер А. Б.* Русская геральдика // Записки Императорского археологического общества. СПб., 1854. Т. VII. Кн. 1—2. С. 429 (§ 91: Гербы дворянских родов, выезжих <sic!> из Литвы и Польши). Осенью 1908 г. для С. П. Ремизовой по эскизу Ремизова у ювелира П. Ф. Рюккерта был изготовлен медальон с изображением герба. См. упоминание об этом: *На вечерней заре 2014 (2).* С. 168.

«Оля»: ~ «Голова львова». — Перечисление частей «жизнеописания» Оли Ильменевой. Первые три из них составили книгу «Оля» (Париж, 1927).

И что странно, это имя за последние годы повторялось у нас чуть ли не всякий день ~ все Ольги... — В первой редакции романа названы обладательницы имени из ближайшего окружения Ремизовых в Париже. Ср.: «С<ерафима> П<авловна> часто вспоминала О. Е. Чернову, ждала ее, и Олечку Андрееву, свою любимую крестницу; и вокруг кишели Ольги: О. Н. Можайская, О. Ф. Ковалевская, «Утенок» (Ольга Владимировна <Дервиз>)» (*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Л. 1).

Divine et l'amoure profane — букв.: божественная любовь и любовь мирская (*фр.*).

С. 488—489. *...«разожженный уголек в крови»...* — Ср. откровения Свидригайлова: «В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще, и с летами, может быть, не так скоро зальешь» (*Достоевский.* Т. 6. С. 359).

С. 489. *Одни родятся для земли, другие на земле для неба.* — Ср. противопоставление природных начал на примере героини «Братьев Карамазовых»: «Одни родятся для земли, другие для неба: у одних белый огонь, у других разожженный уголек в крови. Настасья Филипповна — для неба, не земная, серебряная» (*Ахру-РК VII.* С. 342—343).

Исследование этого мотива для создания мифологического образа С. П. Ремизовой-Довгелло см.: *Обатнина Е.* Земная судьба небожителей в жизни и творчестве Алексея Ремизова // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge. 2018. N 6. S. 16—25.

С. 489. *...недаром и вызвучено Чайковским...* — Подразумевается опера «Евгений Онегин»; написана в 1878 г. на либретто К. С. Шиловского.

А верность слову ~ исполнение долга, вызвавшее восхищение Достоевского... — Речь идет о рассуждениях Достоевского по поводу жизненного кредо Татьяны Лариной, выразившегося в строках «Но я другому отдана: / Я буду век ему верна». В черновом автографе своей «Речи о Пушкине» (1880) писатель оставил запись на полях: «...в решении Татьяной вопроса в последней главе романа я вижу мысль и всю правду поэмы, для которой, может быть, она и была задумана» (*Достоевский.* Т. 26. С. 285). Ср. также фрагмент с развитием этой темы в окончательном тексте речи (Там же. С. 141). «Верность слову» Татьяны оказалась центральной темой критических оценок В. Г. Белинского («Сочинения Александра Пушкина. Статья 9», 1845) и Д. И. Писарева («Пушкин и Белинский», 1865), с которыми полемизировал Достоевский в своем выступлении.

...говорю за Достоевским о Лизе после гордой Татьяны... — Речь идет о сопоставлении образа Татьяны с литературными героинями последующей литературы в «Речи о Пушкине»: «Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в "Дворянском гнезде" Тургенева» (*Достоевский.* Т. 26. С. 140).

...Саломея Вельтмана. — Саломея Петровна Бронина, главная героиня романа А. Ф. Вельтмана «Саломея» (1846—1848; отд. изд. 1849), который составил первую часть эпопеи «Приключения, почерпнутые из моря житейского».

...добродушная Тетеся Квитки-Основьяненки. — Подразумевается второстепенный персонаж романа Г. Ф. Квитки-Основьяненко «Пан Халявский» (1839), в ироническом стиле повествующего об укладе и нравах украинского уездного мелкопоместного дворянства. Пятнадцатилетняя Татьяна (Тетяся), первая любовь героя-рассказчика, считавшаяся его невестой, не дождалась жениха с военной службы. Ср.: «Тут же узнал я, что Тетяся, мною некогда страстно любимая Тетяся, самопроизвольно, без всякого принуждения и с полною охотою вышла замуж за какого-то пехотной армии офицера и также имеет более двух детей...» (*Квитка-Основьяненко Г. Ф.* Пан Халявский: В 2 ч. СПб., 1869. С. 260). Ремизов указывает на типологию женского образа литературы XIX в., в которой встречаются хоть и «добродушные», но «бессловесные Тетеси», и, очевидно, противопоставляет им образ Оль-

ги Ильменевой, по складу натуры ориентированный на идеал пушкинской Татьяны Лариной.

С. 490. *Древо жизни* — один из центральных библейских символов — дерево, посаженное Всевышним посреди райского сада, плоды которого дают вечную жизнь. Ср.: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» (Быт 2: 9).

В. В. Розанов, О К. Н. Леонтьеве — 1831—1892. Новое Время, 23 февраля 1917 г. — Точные выходные данные цитируемой статьи В. В. Розанова «О Конст. Леонтьеве»: Новое время. 1917. 22 февр. № 14715. С. 5. О философском наполнении символа «райского дерева» в сочинениях В. В. Розанова см.: *Фатеев В. А.* «Древо Жизни» // Розановская энциклопедия / сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. М., 2008. С. 1435—1436.

...тургеневских и толстовских зверовидных... — Ср. очерк «Тургенев-сновидец» из книги «Огонь вещей»: «Зверовидные женщины Тургенева — Одинцова, Ирина Полозова, Лаврецкая — эта цепь такой цепкой бессмертной жизни, замыкающаяся Еленой Безуховой в “Войне и мире” Толстого, Глафирой Бодростиной в “На ножах” и Екатериной Петровной Крапчик в “Масонах” Писемского, Саломеей Петровной Брониной в “Приключениях из моря житейского” <sic!> Вельтмана — сестры вокруг “Древа Жизни”» (*Ахру-РК VII.* С. 265).

...кобылиц Достоевского с Аглаей и Грушенькой...— Ср. интерпретацию женских образов романа «Идиот» в главе «Звезда-Полынь» книги «Огонь вещей»: «Три сестры Епанчины — три кобылицы. Старшая Александра музыкантша, бренчит на фортепьянах, пускает рулады, ест и спит, и во сне снятся ей куры <...>. Средняя Аделаида — рисует травку и деревья, “ландшафты” и никогда ничего не может кончить. И младшая Аглая — с норовом: “девка самовластная, сумасшедшая, избалованная — полюбит, так непременно бранить вслух будет и в глаза издеваться”. На нее нужна плеть. Рогожин избил до синяков Настасью Филипповну — обознался, мерил своей меркой, а вот бы кого хватить!» (Там же. С. 342).

...«Как ни приятно любоваться ~ устанешь и любоваться». — Цитата из путевых очерков «Фрегат “Паллада”» (*Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. СПб., 1997. Т. 2: Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия в двух томах. С. 268).

Посолонь — книга Ремизова (впервые: М.: Золотое Руно, 1907), созданная на основе творческой переработки народных легенд, сказок и детских игр, а также с привлечением значительного материала из научной литературы по фольклористике и этнографии.

...читал на все «гласы»...— Ироническое сравнение собственного выразительного чтения с «осмогласием» церковного пения, где каж-

дый из гласов (ладов, мелодий) в соответствии с древними догматиками, составленными теоретиками средневековой греко-римской церкви, содержит собственную мелодическую философию и музыкальный колорит и является образцом для определенных типов песнопений.

С. 491. *Я родился с «подстриженными глазами»* – О происхождении этой метафоры см. в одноименной автобиографической книге (*Иверень-РК VIII.* С. 30–63).

...а по Достоевскому еще и чаю попить...– Подразумеваются слова героя повести «Записки из подполья»: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (*Достоевский* Т. 5. С. 173).

...людей «лунного света»...– Указание на книгу В. В. Розанова «Люди лунного света. Метафизика христианства» (1911), в которой философ связывает различные формы «скопчества» с общехристианской идеей аскетического ограничения сексуальности.

...Телемское аббатство... – Отсылка к утопическому идеалу жизнеустройства, описанному в первой книге романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1534). Уклад жизни этого аббатства, в отличие от обычных монастырских уставов, основывался на единственном принципе «делай что хочешь» и был подчинен идее создания царства радости, молодости, красоты, изобилия, гуманистической образованности и свободы.

Норна – одна из трех и открыла ей путь. – Персонаж германо-скандинавской мифологии, предсказательница судьбы, обычно связанная с двумя другими норнами-сестрами; образ, типологически близкий древнегреческим богиням судьбы мойрам и представительницам славянских легенд – рожаницам, наречницам, суденицам (судицам). Ср. эпизод встречи с сектанткой в повести «Оля» (см. с. 70–71 наст тома). О судицах см. также: *Ремизов А.* Григорий и Ксения // *Лимонарь. РК VI.* С. 541.

С. 492. *...а про меня идет слава: писатель-декадент...* – С прилепившимся в 1900-е гг. к нему ярлыком Ремизов смирялся. Ср. в письме Ф. Ф. Фидлеру от 9 января 1906 г.: «...ношу кличку декадента и не жалуюсь» (цит. по: Переписка с А. М. Ремизовым (1902–1912) / вступ. ст. и комм. А. В. Лаврова; публ. С. С. Гречишкина, А. В. Лаврова и И. П. Якир // *ЛН.* Т. 98: Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М., 1994. С. 142). О признаках декадентского мироощущения в литературных опытах раннего Ремизова см., в частности: *Обатнина 2008.* С. 12–13.

О декадентах все знали по статье Н. К. Михайловского в «Русском богатстве». – Литературный критик и идеолог народничества Н. К. Михайловский неоднократно писал об особенностях французского и русского декадентства в известном толстом журнале «Русское

богатство» (1876–1918). Началом серии критических выступлений против нового культурного явления стала его рецензия «Макс Нордау о вырождении. – Декаденты, символисты, маги и проч.» (Русское богатство. 1893. № 1). В ней критик выразил солидарность с известным немецким психиатром Максом Нордау, который в книге «Вырождение» (1892; впервые в русском переводе издана в 1894 г.) подверг безжалостному анализу творчество европейских декадентов с точки зрения психопатологии. См. также другие статьи Михайловского, помещенные в «Русском богатстве» в 1893 г.: «Русское отражение французского символизма» (№ 2), «Еще о декадентах, символистах и магах» (№ 4).

С. 492. *«По Пензенскому делу непартийный с.-д. писатель декадент»...* — Характеристика, взятая в кавычки, очевидно, воспроизводит стиль некоего полицейского документа. Очевидно, Ремизов собрал воедино собственные анкетные данные, относящиеся ко времени своего первого пребывания под гласным полицейским надзором в Пензе (1896–1899). После ареста в Москве на студенческой демонстрации в память о событиях на Ходынском поле (18 ноября 1896 г.) будущий писатель был отправлен в первую ссылку — в Пензу, на два года (в автобиографической прозе этот период описан в книге «Иверень», гл. «Кочевник»). Здесь он познакомился с Вс. Мейерхольдом, начал углубленно интересоваться символистским западноевропейским театром и даже приобщился к практике Народного театра. Однако не менее активно продолжал и революционную пропагандистскую деятельность среди рабочих, которая довольно скоро была раскрыта полицией. По пензенскому делу Ремизов проходил как «организатор и руководитель преступного движения». Судебное дело длилось с января 1898 по 8 октября 1899 г. и завершилось приговором: ссылка в Усть-Сысольск на три года. О позднейшей автобиографической версии ремизовской революционной эпопеи в сравнении с документами Жандармского управления см.: *Грачева А. М.* Революционер Алексей Ремизов: Миф и реальность // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 3. С. 419–447.

...проходное свидетельство в Устьсысольск. — Речь идет о пути из Вологодской тюрьмы в Усть-Сысольск. Начало Усть-Сысольской ссылки для Ремизова было установлено с 31 мая 1900 г. (см.: *Соболев А. Л. 2013.* С. 184). Кратко описывая в настоящей главе свой путь из Пензы в Усть-Сысольск, Ремизов опускает обстоятельства собственно этапирования. Между тем, после ареста в Пензе он провел полтора года в заключении, причем шесть месяцев в жесточайших условиях, которые описаны в рассказе «В секретной» (см.: *Оказион-РК III.* С. 75–83), а затем был направлен «этапным порядком» через пересыльные тюрьмы Москвы, Ярославля и Вологды. Временами арестан-

тов прогоняли пешком в кандалах, что нашло отражение в рассказе Ремизова «Кандальники» (*Оказион-РК III.* С. 91—95). Ср. автобиографический цикл рассказов «По этапу» (*Оказион-РК III.* С. 84—97), описывающий и поезд, и однодневный путь в кандалах (от станции до станции). В первой редакции настоящей главы находим распространенное описание этапирования арестантов из Пензы в Вологду, которое не лишено художественного преувеличения, поскольку весь путь по этапу обрисован здесь как пешее перемещение. Здесь же мы получаем разъяснение тому, что послужило причиной послабления условий этапирования ссыльного: прибыть из Вологды в Усть-Сысольск не под конвоем (очевидно, специальным поездом), а самостоятельно, имея при себе «проходное свидетельство» (см. также комм. к с. 252 наст. тома): «И меня погнали по этапу во <sic!> новую ссылку и уж не на два, а на три года — в Устьсысольск <sic!>. Не сомневаюсь, что по судьбе так и должно было быть. Месяц я шел по этапу с остановкой по тюрьмам, а в Вологде попал в больницу: простудился, как раздетый стоял босяком на каменном полу в очереди, дожидаясь освидетельствования — такая в некоторых тюрьмах была повадка принимать голышом арестантов. А в больнице получил разрешение против других: им пешим, а мне ехать вольно — в Устьсысольск» (*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 22). Ср. также об условиях этапирования в статье: *Соболев А. Л. 2013.* С. 184. Здесь же собраны уточнения датировок, а также ценные архивные документы о политическом ссыльном Ремизове (Там же. С. 176—212).

С. 492. *Пройдя через Вологодскую тюрьму...* — Вологодская тюрьма (последний этап перед отправлением в Уст-Сысольск) упоминается в автографе, написанном Ремизовым на развороте коробки из-под конфет с красной сургучной печатью: «В В<ологодском> Т<юремном> З<амке> с меня стащили брюки, чулки, даже прикоснулись к очкам, но к тебе... достаточно было одного моего напоминания “Коробка с печатью!” И тебя бережно поставили на стол, тогда как меня оставили стоять босого на каменном сыром полу...» (*РНБ.* Ф. 92. Оп. 1. Ед. хр. 339. Л. 3). Текст, датированный: «Устьсысольск. 21. I. 1901», является первой редакцией рассказа «Коробка с красной печатью» (*Оказион-РК III.* С. 96—97, историю текста см. на С. 612—613).

На медовый Спас — 1 августа (1900 г.) ~ пароход причалил к пристани, дальше ехать некуда: Устьсысольск... — На основании рапорта Жандармского управления Усть-Сысольска установлено, что Ремизов прибыл на место ссылки 18 июля 1900 г. (по старому стилю) (см.: *Соболев А. Л. 2013.* С. 184). Однако, упомянутый Ремизовым, Медовый Спас приходился на 1 августа (также по старому стилю). Соотнесение прибытия в конечный пункт назначения с церковным праздни-

ком здесь используется как символическая точка отсчета в хронологии биографического повествования.

С. 493. *Федор Иванович Щеколдин, староста и казначей, старейший из ссыльных...* — Подробнее о нем см.: *Дворникова Л. Я.* Из истории прототипов книги А. Ремизова «Иверень» (Ф. И. Щеколдин) // *Алексей Ремизов: Исследования и материалы 1994.* С. 231–237.

...подобие Варлаама индийского... — Речь идет о Варлааме пустыннике, обратившем в христианскую веру индийского царевича Иоасафа. Источником этого сюжета считается «Повесть о Варлааме пустыннике и Иоасафе царевиче» Иоанна Дамаскина.

...миткальщики, Ивановское село Гольчиха... — подразумеваются ткачи ненабивного ситца (миткаля), производство которого было основано на мануфактурах в Иваново-Вознесенске. Подробнее см.: *Туган-Барановский М. И., проф.* Очерк развития мануфактурной промышленности в России. М., 1912. В старой Гольчихе известным предпринимателем И. И. Миндовским (выходцем из крепостных) в 1817 г. была открыта бумаго-сновальная и красильная фабрика, приносившая большие доходы.

Дриянского я читал... — Е. Э. Дриянский — беллетрист, вошедший в литературу в 1850-е гг. с произведениями в жанре «охотничьего рассказа», которые, по признанию современников, заняли достойное место в одном ряду с художественными описаниями охоты С. Т. Аксакова, И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого. Возможно, Ремизов был знаком с посмертным изданием романа Дриянского «Записки мелкотравчатого» (М., 1883).

...год держали ее на Шпалерной в предварительном заключении — Дом предварительного заключения в Петербурге (Шпалерная ул., 25). Ср. «Мои записки» С. П. Ремизовой-Довгелло, где она писала: «Я сидела 11 месяцев в Предварилке на Шпалерной [12 III 1896 — II 1897], и после была в ссылке 3 года [VI 1900 — VI 1903] в Вологодской губ. (Устьсысольск — Сольвычегодск — Вологда)» (*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 292. Л. 15; переписано рукой Ремизова с уточнениями в квадратных скобках; оригинал: *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1033).

...с месяц как приехала в Устьсысольск. — В соответствии со сведениями, заполненными на состоявшую под гласным надзором полиции Серафиму Довгелло в Вологодском губернском жандармском управлении, 16 июня она прибыла сначала в Вологду из родного Берестовца, где ожидала судебного приговора. О том, как прошел для С. П. Довгелло временной интервал между предварительным заключением и ссылкой, отчасти дает представление недатированное письмо Довгелло, написанное профессору Бестужевских курсов И. М. Гревсу из Берестовца: «Глубокоуважаемый дорогой Иван Михайлович! Много раз я собиралась Вам написать, но все как-то откладывала, собиралась на-

писать Вам потому, что мне очень хочется обо всем, о многом с Вами поговорить, кроме того, хочется не прерывать с Вами сношений, так как воспоминание о Вас — одно из самых дорогих, хороших. Просто тяжело было, когда узнала я, что Вы больше не на Курсах. Напишите мне, пожалуйста, как Вы поживаете. Я еще жду окончания дела — говорят, что дело окончится еще через 3 месяца. Страшно надоело такое неопределенное положение. С нетерпением жду приговора. Живу я дома у матери; мне разрешили жить в Чернигове, но я туда только на время езжу, потому что хочется эти последние месяцы прожить дома, так как, вероятно, на несколько лет придется покинуть маму, и ей, бедной, это доставит много горя. В Чернигове у меня есть подходящая компания, а здесь буквально ни одной души, так что я здесь с утра до позднего вечера сижу над книгами; между прочим, изучаю немецкий язык, чтобы иметь возможность заниматься переводами для заработка — сделала большие успехи. Иногда я бываю довольна этим уединением, — ведь знаний у меня мало, а теперь много занимаюсь, чувствую удовлетворение от занятий, но бывают дни и часы, когда мне так хочется жить настоящей жизнью; и тогда так тяжело становится на душе. Часто мне помогает в таком состоянии воспоминание о Вас, о Ваших словах, насколько необходима научная подготовка — и опять я с новым рвением начинаю заниматься <...>» (*СПФ АРАН.* Ф. 726: И. М. Гревс. Оп. 2. Ед. хр. 95. Л. 1—1 об; текст письма сообщен А. В. Востриковым). После регистрации в жандармском управлении ссыльная, по уточнению А. Л. Соболева, оказалась в Усть-Сысольске примерно в 20-х числах июня 1900 г. См. публикацию полицейских архивных документов: *Соболев А. Л. 2013.* С. 188—190.

С. 495. *крестик лопастком* — от слова *лопасть* — широкий, плоский конец чего-либо.

Ми́ндовские — династия российских предпринимателей, текстильных фабрикантов из г. Вичуга (Ивановская обл.), состоявших в родстве с семейством фабрикантов Коноваловых. См. также прим. к с. 493.

...с дедушкой Коноваловым... — Речь идет об И. А. Коновалове.

С. 496. *У Горького дважды, в «Вареньке Олесовой» Сашка Ремизов конокрад, а в «Фоме Гордееве» золотопромышленник.* — В упомянутых повестях Горького встречается исконная фамилия — Ремезов. Историю изменения написания фамилии через «и» («Ремизов» — от карточного глагола «ремизить», т. е. вводить в ремиз, подсиживать), а не через «е» (от названия птицы «ремез») см.: *Иверень-РК VIII.* С. 65. Писатель смог так убедительно обосновать «птичью» этимологию своей фамилии, что М. Горький, например, всегда писал «Ремезов», указывая на точность такого правописания и другим. См. его письмо к М. Э. Козакову от 28 декабря 1932 г. (*Крюкова А. А. М.* Горький и А. М. Ремизов: (Переписка и вокруг нее) // Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 198, 205).

С. 496. *...в «Троих», не то в «Исповеди».* — Подразумевается повесть М. Горького «Трое» (1901) и автобиографическое произведение Л. Н. Толстого «Исповедь» (1884).

...превратился из Ремизова ~ в Басаврюка Подстрекозова. — Подробно о ремизовских мистификациях в дружеской компании усть-сысольских ссыльных см. гл. «Семь бесов» в романе «Иверень». См. также: *Дворникова Л. Я.* Из истории прототипов книги А. Ремизова «Иверень» (Ф. И. Щеколдин) // *Алексей Ремизов: Исследования и материалы 1994.* С. 231–237.

Как-то к разговору о жизни ссыльных, Горький рассказал мне обо мне такие истории... — Здесь имеется в виду встреча писателей в мае 1922 г. в Берлине.

История философии Люиса — Речь идет о сочинении: Дж. Г. Люиса «История философии в жизнеописаниях» («Biographical history of philosophy»). Книга многократно переиздавалась на русском языке, первое издание вышло в трех выпусках в 1865–1867 гг. (СПб.: [Ковалевский], под редакцией В. Спасовича).

С первым пароходом Оля переехала в Сольвычегодск. — В соответствии с жандармским рапортом, С. П. Довгелло села на пароход «Сухонь» 21 июня 1901 г. и на следующий день была на месте. См.: *Соболев А. Л. 2013.* С. 196–197.

С. 497. *Заруцкий поляк из Ломжи...* — Прототип этого персонажа — *Казимир Людвигович Тышка*, товарищ С. П. Ремизовой по ссылке в Сольвычегодске; покончил жизнь самоубийством в 1902 г. У Ремизовых хранилась его рукописная тетрадь со стихотворениями в прозе, которая, перед отъездом из России, очевидно, была оставлена на хранение знакомым антропософам. Ср. также: «В Сольвычегодске: Казимир Людвигович Тышка (похоронен в Сольвычегодске); о нем особенная память: человек тончайшей души и одаренный; моя мечта: то немногое, что осталось, — "рассказы" — издать отдельной книгой с портретом: какое прекрасное лицо!» (*Иверень-РК VIII.* С. 482). Этот замысел не осуществился, но в 1903 г. Ремизов опубликовал серию стихотворений Тышки в газете «Юг», которые были подписаны «*Казимир Т.*». См. также о Тышке в вступ. ст. к публикации: Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. 2: Одесса. Херсон. Одесса. Киев (1903–1904) / публ. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 158.

С. 498. *...не Савинкова Варшава...* — Речь идет о польском акценте Б. В. Савинкова, приобретенном в Варшаве, где он провел гимназические годы и революционную юность. С Довгелло он познакомился в вологодской ссылке (1902 г.) и как инициатор Боевой организации партии эсеров старался распространить на молодую женщину партийное влияние, видя в ней человека, преданного революционным

идеалам. Подробнее о взаимоотношениях Довгелло и Ремизова с Савинковым см.: Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. 1: Вологда (1902—1903) / вступ. ст., подг. текстов и комм. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 г. СПб., 1999. С. 1241—126.

С. 498. *...Муравьев, вице-губернатор, требует немедленно вернуться в Сольвычегодск...* — Обстоятельства этого эпизода подтверждены ценными документальными материалами в статье: *Соболев А. Л. 2013*. С. 176—212.

С. 499. *...Бодлэр, перевод П. Я. (Мельшина-Якубовича) ~ читал Щеголев...* — Ср. также раннюю редакцию фрагмента: «На этот раз Щеголев читал переводы П. Я. (Якубович-Мельшин) из "Цветов" Бодлера. Многое я помнил в оригинале и мне было очень любопытно. П. Я. — не Бодлэр и все-таки что-то передается и что замечательно: переводил он его на каторге, — вот куда, на край света, откликнулся Бодлэр!» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Л. 45). П. Ф. Якубович-Мельшин — руководитель петербургской организации «Народной воли», был арестован в 1884 г., приговорен к смертной казни через повешение, замененной восемнадцатью годами каторги. В Сибири революционер подготовил к печати большую часть «Цветов зла». В 1895 г. пятьдесят три стихотворения Бодлера впервые были изданы в России отдельной книжкой без указания имени переводчика и с предисловием К. Д. Бальмонта. Имя переводчика впервые появилось лишь на издании «Цветов зла» в 1909 г. (СПб.: Общественная польза).

...книга не Щеголева, а Оли и посвящение. — В первой редакции романа Ремизов раскрывает содержание посвящения — строфа из пятьдесят четвертого стихотворения «Непоправимое» («L'irréparable», сб. «Цветы зла»): «Adorable sorcière, aimes-tu les damnés? / Dis, connais-tu l'irrémissible? / Connais-tu le Remords, aux traits empoisonnés, / À qui notre cœur sert de cible? / Adorable sorcière, aimes-tu les damnés?») (цит. с уточнением орфографии по автографу «За зеленой оградой»: *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. Л. 37). Здесь же приведен, очевидно, собственный подстрочный перевод: «Колдунья-чаровница, клейменого ты примешь? / Скажи, чего нельзя простить, ты знаешь? / Ты знаешь Совесть, ее отравленные стрелы. / Им наше сердце — мишень? / Колдунья-чаровница, клейменого ты примешь?» (Там же. Л. 37—38).

Властны ли мы заглушить неотступную старую Совесть?— Очевидно, здесь Ремизов использует собственный перевод с французского стихотворения Бодлера «Непоправимое».

С. 501. *Наташа* — дочь Ремизовых Наталья Алексеевна Ремизова. Образ трехгодовалой дочери в обстановке берестовецкой усадьбы, в окружении родственников был воплощен Ремизовым в рассказе «Мака» (впервые: Золотое руно. 1907. № 7/9. С. 76—83). Здесь же един-

ственный раз в творчестве Ремизова упоминается ее «мама Оля». См. также о Наташе: *Резникова 2013*. С. 66—88; а также: *Бунич-Ремизов Б. Б.* Супруги Ремизовы в судьбе их дочери и восприятии ее близких // *Алексей Ремизов: Исследования и материалы 1994*. С. 267—272.

С. 502. «*Мне отмщение и аз воздам*!» — источником слов Св. апостола Павла (Рим 12: 19) стало библейское изречение: «У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них» (Втор 32: 35).

...разрушающий Тарантул... — Образ восходит к тексту романа «Идиот». См. комм. к с. 423 наст. тома.

Как мы прожили в Одессе и в Киеве... — Речь идет о 1904—1905 гг., когда молодые супруги Ремизовы с новорожденной дочерью были вынуждены скитаться по югу России. В Одессе они поселились в феврале 1904 г., после завершения сотрудничества с антрепризой Вс. Э. Мейерхольда «Товарищество новой драмы» (Херсон, сезон 1903/1904). Ср. пояснения Ремизова в рукописи неопубликованного эпистолярного романа «На вечерней заре»: «В Одессу мы переехали из Херсона по окончании театрального сезона ранней весной 1904 г., жили мы на Молдаванке в крайней бедности. 18 апреля родилась Наташа» (*На вечерней заре 1987*. С. 238). О степени бедственного положения молодой семьи в одесский период красноречиво говорит краткое воспоминание Ремизова, оставшееся в первой редакции романа «В розовом блеске»: «Когда-то в незапамятные времена, в Одессе, мы жили на Молдаванке, и очутились в большой бедности и я написал письмо Иоанну Кронштадтскому и Л. Н. Толстому, ответа не получил» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2 Ед. хр. 63. Л. 18). В Киеве Ремизовы находилась с июля по октябрь 1904 г. — до переезда в Петербург. Здесь С. П. пришлось поступить на службу. Ср. описание настроений и бытовых обстоятельств этого периода в письме писателя товарищу по вологодской ссылке: «...сознание, что тебя выбросили на улицу и заставили зубами щелкать <...>. Думаю и думаю, как выбраться на <д>орогу хоть на некоторое время. С. П. поступила в гимназию учительницей за 30 р. в месяц. И пока выручает. Мечтал одно время поступить учителем чистописания за 10 р. в мес., но дело не выгорело. Вот Вам настоящие заботы. Даже неловко писать, слишком уж прозаично» (Письма А. М. Ремизова к О. Маделунгу // Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу / сост., подг. текста, предисл. и прим. П. А. Енсена, П. У. Мёллера. Copenhagen, 1976. S. 31).

А в Киевский пожар я вынес ее на руках через огонь... — Ср. ремизовский инскрипт, адресованный С. П. Ремизовой-Довгелло в 1923 г., на издании романа «Часы»: «О происхождении Часов: это самое больное, о чем со стыдом вспоминаю: это в Киеве — когда ты кормила Наташу и на уроки ходила, а я писал. <...> Помню комнату, почему-то

помню всегда, однооконная, узкая и тут же кровать складная походная, и дверь, где ты с Наташей. Пожар помню. Я взял рукопись эту “Часы”, икону и Наташу. <...>. Это память начальная – пробивания моего в люди» (цит. по: *Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 16–17).

С. 502. *...и самого Николая Александровича...* – Речь идет о Н. А. Бердяеве.

С. 503. *...число мучеников...* – подразумевается число сорок – по количеству воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру во Христа в Севастии (Малая Армения, современная Турция) в 320 г. при императоре Лицинии. День памяти Сорока Севастийских мучеников в православной церковной традиции отмечается 9 (22) марта.

...вместе с журналом вылетим в трубу.– Известие о том, что в 1906 г. выпуск «Вопросов жизни» будет прекращен, Ремизов получил от Г. И. Чулкова 7 июля 1905 г. См.: *На вечерней заре 1990.* С. 462. Официальное решение о закрытии «Вопросов жизни» было принято редакцией в ноябре 1905 г., однако последний номер журнала (№ 12) вышел в марте 1906 г. Ср. также воспоминания Ремизова о переменах, последовавших в жизни его семьи с закрытием журнала в 1906 г., в частности о переезде на новое место жительство: «Ликвидация “Вопросов Жизни” (7 Рождественская). В весне и ликвидация моей службы – я свободный. Занимаюсь самыми “фантастическими” делами – считать по дворам собак (статистика) – а главное ищу работы. Существуем мы оба только уроками Серафимы Павловны» (*На вечерней заре 1990.* С. 470).

Я был не только заведующий конторой ~ дворецкий – домовой. – Ср. письмо Ремизова М. О. Гершензону (от 7 августа 1907 г.) с описанием обязанностей в конторе редакции: «Я занимался в “Вопросах жизни” ведением бухгалтерии (несложной), хранил кассу, высчитывал гонорары, регистрировал рукописи, вел корреспонденцию, занимался экспедицией, занимал ожидающих редактора писателей, доставлял всевозможные справки и, принимаемый иногда за что-то вершающее, научился принимать на себя гнев особ, рукописи коих поступали мне для возвращения. Серафима Павловна служила в “Вопросах жизни” корректором, а также прошла вместе со мной обязанности мои дворецкого» (Из архива Гершензона. I. Письма А. М. Ремизова (1905–1922) / публ. Т. Макагоновой // Река времен. М., 1995. Кн. 3. С. 160). О происхождении автоидентификации своего положения в редакции «Вопросов жизни» в качестве «дворецкого» см. также в воспоминаниях Ремизова, посвященных С. П. Дягилеву (*Петербургский буерак-РК X.* С. 259–261).

...мои торгово-промышленные и биржевые родственники... – Прямые родственники Ремизова по материнской линии, купцы Найденовы, имели значительное влияние как в торгово-промышленных делах Москвы, так и в общественной ее жизни. В частности, о дяде Николае

Александровиче Найденове — выдающемся общественном деятеле, крупном московском предпринимателе, основателе Московского Промышленного банка, известном российском историке, меценате и благотворителе, писатель подробно рассказывает в романе «Подстриженными глазами». См. подробнее: Александр Александрович Найденов. Альбом фотографий 1889—1915. Семейная хроника. Дневник Тани Найденовой. М., 2010. По коммерческой линии пошли и два брата Ремизова: *Виктор Михайлович Ремизов* (1876—1919; до 1917 г. служил Главным бухгалтером в банке Н. А. Найденова) и *Сергей Михайлович Ремизов* (1875—1921; в 1900-х гг. служил биржевым маклером). В родстве с Найденовыми была известная купеческая семья Хлудовых. Подробнее см.: *Новикова Е. Б.* Хроника пяти поколений: Хлудовы. Найденовы. Новиковы. М., 1998.

С. 504. *Начитавшись всяких житий о старцах, как старцы с медведем ладили и детей не отгоняли...* — Подразумевается распространенный агиографический мотив, известный по житиям преп. Серафима Саровского и преп. Сергия Радонежского.

...да ведь и в Евангелии сказано!... — Очевидно, речь идет о евангельском сюжете, в котором Христос призывает учеников: «Будьте как дети!» Ср.: «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф 18: 5).

Зина — Зинаида Николаевна Гиппиус.

Г. И. Чулков ~ имя-то историческое, по грамотам XVI века великие сутяги!)...— Родословная писателя Г. И. Чулкова по отцу восходила к Козьме Обиде — хану Золотой Орды (см.: *Михайлова М. В.* «Интересный и безукоризненно честный писатель» // Чулков Г. И. Валтасарово царство. М., 1998. С. 6). Генеалогию рода Чулковых, в частности сведения о тульском воеводе Ф. Д. Чулкове (1590 г.), см.: Славянская энциклопедия. XVII век: В 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 645. Чулков пригласил Ремизова на службу в редакцию «Вопросов жизни» после того, как от этого места отказался начинающий литератор А. А. Кондратьев. Подробнее см.: *Чулков Г.* Годы странствий: Из книги воспоминаний. М., 1930. С. 65—80.

«мистический анархист»... — Концепция новой философско-эстетической теории изложена в книге Г. Чулкова «О мистическом анархизме», вышедшей в свет со вступительной статьей Вяч. Иванова «О неприятии мира» (СПб.: Факелы, 1906). Подробнее об этом см.: *Чулков Г.* Годы странствий: Из книги воспоминаний. М., 1930. С. 81—88.

...Жуковский, издатель неподъемных кирпичей Куно Фишера... — Речь идет о двух полутомах, выпущенных в рамках издания, выпускаемого в 1900-х гг. Д. Е. Жуковским под общим титульным заголовком: *Фишер Куно.* История новой религии. Т. 8: *Фишер Куно.* Гегель, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1902—1903. Первый полутом: Жизнь

и сочинения; учение: феноменология, логика, философия природы, философия духа / пер. с 1-го нем. изд. пр.-доц. Н. О. Лосского. 1902. Второй полутом: Учение: философия истории, эстетика, философия религии, история философии. Характеристика и критика философии Гегеля. С портретом Гегеля. 1903.

С. 504. *...а земля и со всеми угодьи...* — Форма творительного падежа в старославянском языке, сохранявшаяся и в XVIII столетии.

С. 505. *Пески* — исторический район Петербурга. См. комм. на с. 680.

На Кавалергардскую, к Пундику просушивать боками стены... — Речь идет о квартире в доме Н. А. Пундика (Кавалергардская, д. 8, кв. 28), куда Ремизовы переехали в августе 1906 г. и прожили там до июля 1907 г. Подразумевается одна из особенностей найма квартиры в Петербурге, известная с XIX в. Только что выстроенные каменные дома перед тем, как штукатурить и красить, оставляли на просушку, которая длилась иногда больше года, а то и двух, в зависимости от погоды. В таких случаях квартиры сдавались желающим по более дешевым расценкам.

Серафима Павловна вернулась из Берестовца и опять одна без Наташи... — В начале 1906 г. Ремизовы оставили дочь Наташу на попечении матери и сестер С. П. Ремизовой-Довгелло в родовой усадьбе (Черниговская губерния, с. Берестовец). Решение перевезти ребенка в более комфортные условия жизни, нежели могли себе позволить молодые родители в Петербурге, первоначально было рассчитано на короткий срок, но в силу обстоятельств жизни как самих родителей, так берестовецких родственников, сердечно привязавшихся к девочке, обернулось фактическим ее отчуждением от семьи. Рассмотрение этого драматического сюжета семьи Ремизовых см. в статье сына Н. А. Ремизовой — внука Ремизовых: *Бунич-Ремизов Б. Б.* Супруги Ремизовы в судьбе их дочери и в восприятии ее близких. С. 267—277. См. также комм. на с. 751.

...сказку про «Зайку» сочинил... — Сказка из книги Ремизова «Посолонь» (гл. «Зима лютая»).

...про Чучелу-чумичелу и про злую Буробу... — Персонажи посолонных сказок Ремизова.

Мышка-морщинка» ~ с картинками М. В. Добужинского. — Речь идет об издании сказки: Морщинка: Сказка. СПб., 1907. 16 с. (Дет. б-ка изд-ва «Шиповник»). Рис. М. В. Добужинского. История создания книжки изложена во вступ. ст. к публикации: *На вечерней заре 2014 (1).* С. 155—156.

С. 506. *Я заложил золотую ризу «Трех радостей»...* — Икону «Трех радостей» Ремизов получил от матери, когда навещал ее в Москве 17 июня 1904 г. См. об этом в письме жене (*На вечерней заре 1987.*

С. 261). К тексту этого письма впоследствии Ремизов сделал приписку о том, после смерти С. П. в мае 1943 г. он передал эту семейную реликвию Н. В. Резниковой (Там же). Ср. также фрагмент первой редакции главы «Сквозь огонь скорбей»: «Наша икона “Трех Радостей” московская, на Маросейке есть церковь “Трех Радостей” (Богородица с младенцем, Иоанн Креститель и Иосиф); икона не старинная, а заветная — родовая: младшему доставалась. А мое родословие не ахти какое, это не 7 век Довгелло, а всего один век, а до тех в крепостях копытили. От Ганешиных перешла к Дерягиным, от Дерягиных к Найденовым, так, от моей матери, урожденной Найденовой, мне: она младшая и я последний. Икона эта — самая бедная в киоте у Найденовых, но она занимала самое почетное видное место среди кованого золота, жемчугов, изумрудов, синих яхонтов и лалов: это еще когда и Геньшины и Найденовы только начинали свои миллионные дела и еще потому, что эта икона не заказная, не дареная, а родительская...» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 63. Тетрадь I. Л. 24—25). Ныне икона хранится в семье Резниковых (Париж).

С. 506. *...у Пяти Углов...* — петербургский топоним, относящийся к пересечению Загородного проспекта с улицами — Разъезжей, Троицкой (ныне Рубинштейна) и Чернышёвым переулком (ныне ул. Ломоносова).

Мать

С. 507. *...кремлевский вестовой ясак...* — Ясак (*тюркск.*) — клич, условный знак; здесь специальный колоколец при церкви, коим давали знак звонарю, когда благовестить и звонить, когда перестать.

«стану сказывать я сказки» — строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня» (1838).

Моя мать из «Некуда»: Лесков для своего романа пользовался хроникой «Богородского кружка» московских нигилистов. — Молодость матери писателя — Марии Александровны Найденовой — была связана с московским Богородским кружком нигилистически настроенной молодежи, литературным отражением которого стал так называемый «Сокольнический» кружок в романе Лескова «Некуда». Об этом кружке Ремизов, очевидно, узнал из дневника своей матери, который он прочел летом 1904 г., в один из своих приездов в Москву. См.: *На вечерней заре 1987*. С. 261.

...другого она любила: художник семейный... — Дневник Марии Александровны Найденовой, запечатлевший поворотные события в ее судьбе, лег в основу рассказа «Покровенная» (1908). Среди членов Богородского кружка оказался художник, с которым молодая девушка готова была навсегда связать свою жизнь. Но взаимная любовь была разрушена невозможностью для избранника оставить семью. Глубо-

кое разочарование круто изменило отношение Марии Александровны к жизни, которую с этого времени она проживала, словно «назло». Так, вопреки истинному чувству, она вышла замуж за известного московского галантерейщика Михаила Алексеевича Ремизова. Несмотря на искреннюю преданность супруга, она порвала с ним семейные отношения и без видимых на то причин переехала в отчий дом, забрав с собой своих четырех сыновей. Младшему из них — Алексею — в это время было всего два года. См. также о судьбе матери писателя: *Кодрянская 1959*. С. 67–68; 77–78.

С. 508. *Нас пятеро, осталось четыре...* — братья Ремизова: Николай, Виктор, Сергей. Пятый ребенок М. А. Найденовой умер в младенчестве.

Она взяла нас с собой, чтобы начать новую жизнь. — Несколько более развернутый рассказ об этом повороте в судьбе матери см. в жизнеописании Ремизова, составленном с его слов: *Кодрянская 1959*. С. 68–69.

Недаром, значит, память, как когда-то с Ванькой Каином...— Ремизов апеллирует к личной «прапамяти», позволявшей ему находить корреляции, почерпнутые из литературных источников, с рядом исторических лиц. В частности, среди многочисленных жизнеописаний авантюриста, легендарного вора и сыщика XVIII в., прозванного *Ванькой Каином,* особенной популярностью в читательской среде вплоть до начала XX в. пользовалась повесть Матвея Комарова — «Обстоятельное и верное описание добрых и злых дел российского мошенника, вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина. Всей его жизни и странных похождений, сочиненное М. К. в Москве 1775 года». Феномен преступника-авантюриста изучен с привлечением ценных исторических документов в современном исследовании: *Акельев Е.* Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина. М., 2012.

Заворуй — смельчак (*диал.*), от заворовывать. Возможно, выражение «ходили в заворуй» позаимствовано из фольклорных песен о Ваньке Каине.

С. 509. *«Московский листок»* — ежедневная газета (1881–1918), основанная журналистом Н. И. Пастуховым.

...побегу на Камушек... — Речь идет о достопримечательности района «Сыромятники», который располагался в треугольнике между современной улицей Земляной Вал и Верхней и Нижней Сыромятническими улицами, в ближайшем положении от усадьбы Найденовых «Высокие горы» (см. комм. ниже). Уточнение топографии см. в главе «Под огненной потравой» на с. 569 наст. тома. Очевидно, этот же камень дал название популярному среди простонародья Сыромятников трактиру «Камушек» (см. упоминание о нем: *Бокова В.* Повседневная жизнь Москвы в XIX веке. М., 2010. С. 191).

С. 509. *...на Земляном Валу в доме Найденовых.* — Усадьба Найденовых «Высокие горы» (Москва, улица Земляной Вал, д. 53). См. также: Александр Александрович Найденов. Альбом фотографий 1889—1915. См. выше.

...болярин —— просторечн. от боярин.

Каин и Авель — ветхозаветные братья, дети Адама и Евы, с которыми связана притча о любви к Богу и ближнему своему.

заупокойная ектинья — от ἐκτενής (*греч.*) — букв.: распространение, протяжное моление; в церковной службе — название последовательности молитвенных прошений.

С. 510. *...о Рождественской елке я знал только по «Щелкунчику».* — Речь идет о сказке Э. Т. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» (1816). Ср. также ответ Ремизова на опрос газеты по поводу запрета рождественской елки как немецкой традиции в связи с началом войны с Германией, в котором писатель раскрывает коннотативные значения, сближающие некоторые обряды восточных славян и немецкий христианский обычай украшать рождественскую ель: «Тому ревнителю старины и чистоты обрядов русских, воспылавшему ревностью проглотить рождественскую елку со всеми сучьями, скажу, что по букве он прав, но в духе заблуждается. <...> по себе скажу, — наставленный по московской старине нашей, я не знал в детстве никакой рождественской елки. Коляду знал, знал и еще главное, знал я свечи, и с ними, горящими на белой полке перед образами, проходят первые воспоминания мои о святых вечерах. И совсем уже взрослым я увидел в первый раз елку — ее зажгли у нас после всенощной в рождественский сочельник и помню, меня поразили тогда ее свечи, так памятные мне и такие жаркие, а когда разглядел я, что горят свечи на крестиках елки, я понял крестный символ елки крестного дерева, а когда узнал о нашем свадебном обряде — о елке “девьей красоте”... и до чего это проникновенно, елка — “девья красота” — Дева днесь Пресущественного рождает... когда все это я увидел и почувствовал, я принял ее, как нам родное, и благословил ее моим русским сердцем» (Отказаться ли от елки?: [Анкета] // Биржевые ведомости. 1914. 15 дек. № 14556. С. 4).

Маросейка — название московской улицы, образованное от первоначального именования «малоросейка» или «малороссийка» — по проживающим здесь выходцам из Малороссии — Украины.

Она, показала мне синее-море Океан и белую звезду под звездами Эльбрус. — На Атлантическом океане, в Бретани, Ремизовы отдыхали в 1924 и 1926 гг. Гору Эльбрус они видели, когда в 1917 г. ездили в санаторий Зернова в Ессентуках (с 12 июля по 10 сентября 1916 г). См. Тетрадь Ремизова «Адреса и поездки. 1913—1919» (*ИРЛИ*. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 4).

С. 511. *Встречи, заколдованные места...* — Фрагмент главы связан с общим для Ремизова и С. П. Ремизовой-Довгелло восприятием кон-

кретных географических мест, увиденных в совместных путешествиях, которые вызывали в них особые воспоминания из глубин прапамяти.

С. 511. Мы *жили на Оландских островах: остров Вандрок...* — Воспоминания о Аландских островах (Ремизов использует огласовку, сходную с финским словом *Åland — Оланд)*, расположенных в Балтийском море, обращены к 1910 году, когда по приглашению философа, историка русской литературы и критика Р. В. Иванова-Разумника писатель с женой провели конец лета (с 30 июля по 20 августа) на острове Вандрок. Ср. заметку из газетной хроники того времени: «А. М. Ремизов, проведя некоторое время в течение этого лета в Финляндии, поселился на небольшом пустынном острове Вандрок (в группе Аландских островов) в нанятом доме, в семействе г. Иванова-Разумника. Остров совершенно безлюдный, жителей — один рыбак. Густой лес, скалы и песок. Много грибов и брусники и... ни следа цивилизации. Нет ни почты, ни лавок, ни аптеки, ни врачей. Провизию добывали с мимо идущих пароходов. За лето А. М. Ремизов написал большую повесть “Крестовые сестры”, которая пойдет в ближайшем альманахе “Шиповника”» (Утро России. 1910. 5 сент. № 242. С. 4).

И мне почуялось, что птичка мое сердце, я смотрю с камня и мне видно: там у леса на жарине брусника. — Ср. описание аналогичного пейзажа в поэме «Огневица» (1917): «Свет светит и небо без облачка чисто — я лежу у моря на жарй2не — Пустынный остров — Оландские острова. / Крупная брусника ковром устилает остров» *(Взвихрённая Русь-РК V.* С. 167).

С. 512. *Мы проходили по старой Аппиевой дороге — римским придорожным кладбищем забытых.* — Дорога, построенная в 312 г. до Р. Х.; названа в честь ее строителя — Аппия Клавдия Слепого; предназначалась для связи Рима первоначально с Альбанскими холмами, а затем с Бриндизи. В соответствии с законами древнего Рима захоронения производились за чертой города, поэтому вдоль Аппиевой дороги возникли многочисленные усыпальницы, мавзолеи и склепы. Традиция была продолжена христианами.

Дорога из Кэмпера в Карнак — Кемпер (*фр.* Quimper, *брет.* Kemper) — город на западе Франции. *Карнак* — (*фр.* Carnak, *брет.* Karnag) — деревня в Бретани. О пребывании здесь Ремизовых см. комм. на с. 738.

«Крест на могиле зашатался ~ будто нож, царапал сердце». — Цитата из повести «Страшная месть» (*Гоголь.* Т. 1. С. 248).

...Броселианским лесом ~ непробудно спит зачарован Мерлин ~ о Круглом столе, о рыцарях, о Граале, святой чаше. — Brocéliande (*фр.*) — мифологический топоним средневековых легенд о рыцарях Круглого Стола, короле Артуре и его учителе Мерлине. *Мерлин* — Merlin (*англ.*), мудрец и волшебник кельтских мифов, в британском цикле легенд —

наставник короля Артура и его отца Утера. Прототипом этого сказочного леса стал бретонский лесной массив, расположенный под деревней Пемпон (Paimpont). Поклонники цикла легенд о короле Артуре ассоциируют природные достопримечательности Пемпонского леса с ключевыми сюжетами любимых сказаний. В частности, один из сохранившихся там менгиров считается склепом волшебника Мерлина (Tombeau de Merlin), жившего и умершего в Барселианде. По преданию, могила Мерлина открывает ворота в другой мир.

С. 513. *Пройдя солнечным коридором, мы стояли под куполом Кромлеха ~ повела глубже в века над пропастями — в Египет.* — Сопоставление двух древних культур, имевших сходные обряды и символы, связанные с представлениями о бессмертии души. Карнак в Египте (Karnak) — деревня, расположенная на территории древних Фив, известная грандиозным храмовым комплексом царя Амона-ра. На протяжении всей эры Нового Царства Карнакский храм, строительство которого было начало в XX в. до н. э., был средоточием религиозно-культовой жизни Египта, выполняя функцию главного святилища. О генезисе учения кельтских друидов о бессмертии, восходящего к символике древних египетских гробниц, с символическим изображением солнца см.: *Роллестон Т.* Мифы, легенды и предания кельтов / пер. с англ. Е. В. Глушко. М., 2004. С. 28—32.

подъезд, 7, улица Буало — см. комм. на с. 774 наст. тома.

Отей — d'Auteuil *(фр.)* — район в Париже, по названию присоединенной в 1860 г. деревни.

Эглиз д'Отей — церковь Église d'Auteuil (*фр.*), по названию которой названа станция метро в XVI округе Парижа.

...до Суханова... — речь идет о продуктовом магазине «Русская лавка» в Париже, владелец — И. Н. Суханов.

Бюралист — принятое и в современной Франции именование хозяина «бюро» — маленького киоска, в котором продаются сигареты, спички, зажигалки, почтовые марки и так называемые «фискальные» марки для оформления документов.

С. 514. *«оса» (гэп)* — a guêpe (*фр.*) — оса.

«нуа де во» (телятина) — noix du veau (*фр.*); noix — букв.: орех — название самой мягкой части телятины.

копытчик — бес, дьявол.

С. 515. *...не то Гороховая, не то Фонтанка у Обухова моста — места памятные по Достоевскому, а мне особенно по «Крестовым сестрам».* — Речь идет о петербургской топонимии, связанной с основными событиями романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866) и повести Ремизова «Крестовые сестры» (1910). У Обуховского моста в повести Ремизова располагался «Бурков дом» (д. 96/1, по набережной Фонтанки), неподалеку, в Малом Казачьем переулке

(д. 9, кв. 34), в период с 22 сентября 1907 г. по 21 сентября 1910 г., жил и сам Ремизов с женой. Подробнее о топографии повести см.: *Топоров В. Н.* О «Крестовых сестрах» А. М. Ремизова: поэзия и правда // Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003. С. 519–549.

Залом

С. 516. *Залом* – символ народной черной магии. Ср. значение в словаре В. Даля: «скрученный знахарем пучок колосьев, на порчу или на пагубу хозяина нивы; только знахарь может отвести беду, вырвав и сожегши залом» (*Толковый словарь В. И. Даля I.* С. 596).

вывертень — или выворотень (*диал.*) — дерево, вывороченное с корнями из земли.

Мамченко – поэт *Виктор Андреевич Мамченко,* в 1930–1940-е гг. один из близких друзей Ремизовых; также он был близко знаком с Л. Шестовым и З. Н. Гиппиус; в поэтическом сборнике «Воспитание сердца» (Париж, 1964) поместил стихотворение с посвящением Ремизову: «– ...так будете? – Приду, приду» (С. 37). См. о нем: *Хазан В.* «Искусство для меня не забава...»: Материалы к биографии В. А. Мамченко // Venok: Studia Slavica Stefano Garzonio Sexagenario Oblata: In Honor of Stefano Garzonio. [In 2 parts]. Part II / ed. by Guido Carpi, Lazar Fleishman, Bianca Sulpasso. Stanford, 2012. P. 126–160. (Stanford Slavic Studies; Vol. 40). Ср. упоминание о поэте в первой редакции романа «В розовом блеске»: «Мамченко запорожец, земляк С. П.-ы, нежнейшей души. Поэт, с которым всегда мечтательно и тихо. С. П. называла его своей подругой» (*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 63. Тетрадь II. Л. 102).

...из своей Медонской землянки... – В. А. Мамченко, эмигрировавший во Францию в 1921 г., закончил гимназию в Медоне – юго-западном пригороде Парижа, здесь же он и жил долгие годы на rue Pasteur, 23. Друзья поэта по парижским литературным объединениям («Союз молодых поэтов и писателей»; объединение «Круг») вспоминали о нем как о большом любителе природы, устраивавшем творческие встречи в медонском лесу, где, возможно, и была вырыта упомянутая землянка. Подборку биографических сведений о Мамченко из эмигрантской мемуаристики см.: *Кузьменко О. Н.* Адреса русской эмигрантской литературы в Париже (от Адамовича до Яновского). СПб., 2017. С. 180–185.

...Зосимино слово: «не мучьте, не отнимайте у них радость, они безгрешны»... – Цитата восходит к Поучениям старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Ср.: «Животных любите <...> не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли божией. Человек, не возносись над животными: они безгрешны...» (*Достоевский.* Т. 14. С. 289).

С. 517. *летела в огненном блеске к нам, на Ситроен...* — Подразумевается автомобильный завод Андре Ситроена, построенный на берегу Сены в 1915 г., во время Первой мировой войны; был предназначен для производства артиллерийских снарядов; впоследствии был перепрофилирован под выпуск недорогих автомобилей.

...поэтическим именем rue Boileau, «L'Art poétique». — Улица носит имя французского поэта Никола Буало, изложившего теорию классицизма в своей поэме «Поэтическое искусство» (Art Poetique, 1674). Последний адрес Ремизовых в Париже с 1 октября 1933 г. — rue Boileau, XVI.

...и звеня, синий «катедраль» засыпал осколками лестницу... — Carthédrale (*фр.*) — вид кафельной плитки.

С. 518. *...«Кукушкину» комнату нельзя было узнать...* — Название рабочего кабинета Ремизова, связанное с находившимися там механическими часами «с кукушкой».

Feuermännchen — Фейермэнхен — букв.: Огненный человечек (*нем.*). См. его описание в книге Н. В. Резниковой: «Фейерменхен — дух огня, от него свет и тепло, фигурка — деревянный сучок, его А. М. в Германии нашел» (*Резникова 2013.* С. 36). С 1920-х гг. и до 1957 г. сувенир находился в кабинете Ремизова.

...«это вечное, волнующееся жерло ~ ярмарка Европы». — Цитата из фрагмента, относящегося к незавершенному роману Гоголя «Аннунциата», который был опубликован как самостоятельное произведение в 1842 г. под названием «Рим» (*Гоголь. Т. 3. С. 222—223*).

С. 519. *Сакрэ-кёр* — Basilique du Sacré-Cœur (*фр.*); букв.: базилика Святого Сердца; католический храм (1875—1914), расположенный на самой высокой точке Парижа — вершине холма Монмартр.

«дорогие могилы» — аллюзия к тексту романа «Братья Карамазовы». Ср. увещевания Алеши, обращенные к Ивану: «А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь? — горестно восклицал Алеша!» (*Достоевский.* Т. 14. С. 239).

С. 520. *...Paulhan, Parain ~ René Char, Lely...* — Представители французской литературы XX в. (писатели, поэты, литературные критики, литературоведы, переводчики), с каждым из которых Ремизова связывала история творческих взаимоотношений. О контактах писателя с французскими литераторами см.: *Резникова 2013.* С. 176—186. Статьи, посвященные творческому сотрудничеству Ремизова с перечисленными лицами, см.: Алексей Михайлович Ремизов: Библиография (1902—2013) / авт.-сост. Е. Р. Обатнина, Е. Е. Вахненко. СПб., 2016, позиции: 3782, 3948, 4196, 4225, 4278, 4279, 4196, 4413, 4225, 4444.

...о Лилит-панночке... — Здесь образ панночки из повести Гоголя «Вий» по мифологической корреляции сопоставлен с образом первой

жены Адама, о которой повествуют ранние апокрифические сказания христиан. Отвергнутая Адамом, Лилит стала воплощением демонической сексуальной силы.

С. 520. *Порт д-Отей, Порт д-Орлеан* — Porte d'Auteuil (*фр.*), Porte d'Orléans (*фр.*) — парижские площади.

...«Страсти св. Севастьяна» и я повторяю за Debussy... — Речь идет о балетном спектакле «Мученичество святого Себастьяна», первоначально готовившемся антрептризой С. Дягилева. Либретто — Г. д'Аннунцио, музыка К. Дебюсси, хореография М. Фокина, декорации и костюмы Л. Бакста. В главной роли — Ида Рубинштейн. Разрыв танцовщицы с Дягилевым привел к тому, что премьера спектакля, созданного уже под руководством И. Рубинштейн, состоялась 22 мая 1911 г. в парижском театре Шатле. Отголоски впечатлений от этого спектакля, увиденного в первый приезд Ремизовых в Париж, ретроспективно сказались в тексте поэмы «Огневица» (1917). Подробнее об этом см. в статье: *Обатнина Е. Р.* «Свое» и чужое» в экфрастической практике А. М. Ремизова // «Невыразимо выразимое»: Экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте: По итогам науч. конф., посвящ. экфрасису (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, 23—25 июня 2008 г.) / сост. и науч. ред. Д. В. Токарев. М., 2013. С. 447—457.

Конкорд — Площадь Согласия — Place de la Concorde (*фр.*) — центральная *площадь* Парижа.

С. 521. *...Мусоргский: Шаляпин: — «Душа моя скорбит»...* — Речь идет об арии Бориса в опере М. П. Мусоргского по драме Пушкина «Борис Годунов», самое драматичное исполнение которой для современников принадлежало Ф. И. Шаляпину. Ср.: «Скорбит душа моя, скорбит вся Русь / Под властью окаянного расстриги...».

«Париж в руках наших!» — так однажды, в 1814-м, говорилось по-русски, а в 1940-м — по-немецки. — Подразумевая две оккупации, пережитые на протяжении XIX и XX вв. жителями Парижа, Ремизов воспроизводит слова из частного письма участника взятия столицы Франции русской армией в 1814 г. (см.: *Россия в письменах-Росток XIII.* С. 491). Первая оккупация стала завершающим итогом наполеоновской кампании 1814 г. Утром 19 (31) марта 1814 г. после шестидневной осады города при поддержке союзнических армий русские войска во главе с Александром I вступили в Париж. Вторая оккупация города состоялась в 1940 г., когда после сражений на подступах к городу, продлившихся 40 дней, утром 14 июня гитлеровские войска *вошли в Париж.*

Но никакая рука не вынет душу... Вольтер ~ Достоевский. — Мысль о спасительной роли мировой культуры. Ср. слова Ремизова в канун неотвратимой катастрофы Октябрьского переворота 1917 г., запом-

нившиеся Пришвину: «...пока с нами Лев Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет» (*Пришвин М. М.* Дневники, 1914—1917 / подг. текста Л. А. Рязановой, Я. З. Гришиной; комм. Я. З. Гришиной, В. Ю. Гришина. СПб., 2007. С. 545).

С. 521. *В беспастушное пространство* — название главы восходит к тексту драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы» (1886): «*Митрич.* А за вашу сестру и спросить не с кого. Так, беспастушная скотина» (Д. 4. Вариант. Сц. 2. Явл. 4). Определение Толстого использовалось Ремизовым неоднократно. Впервые — в подготовленной писателем аннотации пьесы Толстого для «Основного списка пьес, рекомендуемых репертуарной секцией Театрального отдела для постановки на сцене народных театров»: «*Власть тьмы* <...> Из крестьянской жизни. Что есть человек? Человек есть скотина беспастушная, самая озорная, и еще — человек это — слякоть, и еще — крот слепой, раздавленный, из тьмы от боли на небо вопиющий к Богу безответно» (Репертуар: Сборник материалов. Пг., 1919. С. 27).

Бешеные бабы — ремизовское прозвище рыночных торговок, выражение, заимствованное из «Жития протопопа Аввакума» (Житие протопопа Аввакума. Иркутск, 1979. С. 37). См. в кн. «Мышкина дудочка»: «Про этот диковинный нужный «аппарат» скоро стало всем известно и не только в доме <...>, а и кругом до Тоненькой шейки, булочницы, и Бешеных баб, зеленной рынок, соседний с Иваном Павловичем Кобеко» (*Иверень-РК X.* С. 56). См. также письмо Ремизова Н. В. Кодрянской от 15 сентября 1947 г.: «...я вошел в отель <...> растерялся: полно “бешеных баб”» (*Кодрянская 1977.* С. 81).

Пятая колонна — понятие, возникшее во время Гражданской войны в Испании 1936—1939 гг., ставшее определением для различных типов внутреннего противника, в частности для потенциальных коллаборационистов. Возможно, что Ремизов был знаком со статьей Д. Брауна «О пятой колонне», в которой автор раскрывал лексические значения выражения «пятая колонна» (Новоселье (Нью-Йорк). 1942. № 3. Апрель. С. 68—70).

И вспоминая Блюма ~ свобода в понедельник! — В этом контексте подразумевается книга «О браке» («Du Mariage», 1907), написанная главой французского правительства «Народного фронта» Андрэ Леоном Блюмом. В этом сочинении выказывалась критика традиционных представлений о брачных отношениях и прозвучала проповедь неограниченной свободы любви для молодых девушек. Между тем у дам полусвета, мыслящих себя частью феминистического движения, были счеты к премьеру, правительство которого в 1936 г. утвердило ряд социальных законов (40-часовая рабочая неделя, первый отпуск, равноправие алжирцев и французов), но оставило без внимания права

женщин, в частности «жриц любви». Считалось, что они — носители «правых» взглядов.

С. 521. *Шан-з-Елизэ* (les Champs-Élysées) — центральная улица Парижа (VIII округ). Проходит от площади Конкорд до Триумфальной арки.

...над Триумфальной аркой, над «неизвестным солдатом»... — Триумфальная арка (arc de triomphe de l'Étoile) — монумент в VIII округе Парижа. Создан в 1806—1836 г. архитектором Жаном Шальгреном в ознаменование побед «Великой армии» императора Наполеона Первого. В 1921 г. под сводами арки были погребены останки Неизвестного солдата, погибшего во время Первой мировой войны.

С перемирием («армистис»)... — Подразумевается так называемое Второе Компьенское перемирие (Armistice de Compiègne) — соглашение о прекращении огня, подписанное правительством Франции и гитлеровской Германией 22 июня 1940 г. По настоянию немцев, его подписание было обставлено как реванш германской армии. Соглашение было заключено в Компьенском лесу, в том же вагоне, что и первое перемирие 1918 г., которое ознаменовало завершение Первой мировой войны и полное поражение Германии.

...стояние в очередях ~ потом к Матэо ходил, для «беспризорных»... — Очевидно, речь идет об одном из благотворительных социальных заведений, организованном в Париже Аллой Ерофеевной Матео вместе с Матерью Марией (Скобцовой). В частности, в 1939 г. на площади Порт де Сент Клу А. Е. Матео заведовала общежитием для молодежи. См. также в кн. «Мышкина дудочка»: «В первый год оккупации (1940) спозаранку выхожу из дому за кормом. И часами стою в хвосте "беспризорных". А дождавшись своей доли — суп выдавали — тащусь домой. Или с пустой посудой, как случалось от немецких казарм — нешто с бабами можно тягаться: голодная, взгрудя, перебьет очередь или задницами оттиснут. <...> Столовую для "беспризорных" закрыли, и немцы к казармам больше не подпускают. И я стал ходить по соседству, только улицу Молитор перейти, в русский ресторан. Надоел — а подавали» (*Иверень-РК X.* С. 131—132).

...а кончил русским рестораном на нашей улице... — Ресторан на rue Boileau, владельцем которого был полный тезка поэта В. А. Жуковского. См. упоминание о нем: *ДМ-I.* С. 65. См. также в кн. «Мышкина дудочка» гл. «Повар»: «Гляжу на повара и вспоминаю, как в оккупацию всякий день в двенадцать выдавал он мне бесплатно суп, а по праздникам — с косточками; случалось, бухнет и котлету — только всегда тайком от хозяев» (*Иверень-РК X.* С. 106).

С. 522. *...у «диспансера»...* — от dispensaire (*фр.*); в значении: распределять.

С. 522. *...хвост начинался от Николя.* — Имеется в виду винный магазин под названием «Николя». См. в кн. «Мышкина дудочка»: «Из чародеев первый — сосед по площадке, заведующий винным магазином “Николя”. “Мамочка” из уважения называет его “Николо”, а за ней и другие “клиенты”, обладатели штемпелеванных бутылок от “Николя”, а на самом деле он никакой Николя, а Годфруа <...> до “карточек” каждый квартирант на Елку имел у себя великолепно изданный прейскурант вин “Николя”: какие заманчивые названия — не то что пить, а вчитываясь, хмелеешь» (*Петербургский буерак-РК X.* С. 32).

Два основных стекла вставили в августе «главные водопроводчики».... — См. воспоминания Н. В. Резниковой: «Жизнь потекла дальше с выбитыми стеклами. Сначала А. М. загородил окна картоном, украшая его абстрактными коллажами. Рисунок был разработкой темы разбитого стекла. Помощь от мэрии пришла не скоро, но друзьям удалось достать стекла: русский, работавший на складе, украл стекла для ремизовской квартиры. Мне это рассказал А. В. Оболенский, один из немногих друзей, оставшихся в то время в Париже и посещавший Ремизовых. Картоны с “конструкциями”, как их стал называть А. М., были перенесены на стены “кукушкиной” комнаты, они украсили стены и комната стала волшебной» (*Резникова 2013.* С. 141).

...«Блаженная», она же и «Кошатница»... — соседка Ремизова по дому 7 на улице Буало — Анна Николаевна Полякова. Одна из героинь кн. «Мышкина дудочка». См.: «Анна Николаевна “Жар-Птица” — соседка Евреинова, в прошлом связана с петербургским литературным кругом. Есть у нее и книги с автографами — надписи не безразличные <...> она встретила однажды Владимира Соловьева <...> Никто не испечет таких прозрачных невесомых пирожков, а какие чудесные пирожки, но в нашем домашнем обиходе Анна Николаевна известна как исключительная тетёха <...> Потеряла хлебную карточку, а теперь “текстильную”, а вы понимаете, что это значит?» (*Петербургский буерак-РК X.* С. 48—49). См. также: *ДМ-I, ДМ-II, ДМ-III* (по указ.).

Затула (*укр.*) — предмет, которым затыкают что-нибудь (щель, дыру и проч.).

...я сделал тридцать витражей на картоне — площадь выбитого стекла. — См. комм. к с. 778. В настоящее время 23 картонных «конструкций» — коллажей Ремизова хранятся в фонде А. М. Ремизова в *ГЛМ* (*КП*-59259/1-7; *КП*-59260/1-11). См. также воспроизведение двух коллажей в кн.: *Резникова 2013.* Цветная вклейка между С. 144 и 145.

...сырость, везде течет и лопнули трубы — подтирай пол, а за водой — в соседний <...>В России у меня был вызов — все принять... — Ср. запись Ремизова в дневниковом тексте «Моя отходная» (ноябрь 1941 —

начало 1942 г.): «Одна мысль о тепле. Лопнули трубы: от уборной и как достать воды и какой-нибудь еды и ч<то>-<ни>б<удь>» (*Ремизов А. М.* Моя отходная // *Грачева 2010*. С. 506).

С. 522. *Я соглашался и на «армуаз» (полынь), без табаку...* — Ср. запись Ремизова в дневниковом тексте «Моя отходная»: «И опять я схватился: чего же тут радоваться? Трем папиросам (а вот уже неделя, как курю смесь: нюхательный табак с полыновкой), 5 кускам сахара? (достал не для себя, я забыл, что такое сахарный вкус)» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 507).

С. 522—523. *...в Житии протопопа Аввакума читал ~ «в Чудове в хлебне ~ подбираючи, ест»*. — фрагмент текста с сокращениями, процитирован по списку, подготовленному Ремизовым к печати в журнале «Версты». См.: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное // Версты. 1926. № 1. С. 37 (раздел «Материалы»).

С. 523. *...старец Епифаний на муравьиную кочку садился...* — Отсылка к тексту «Жития» протопопа Аввакума — обращению автора к старцу Епифанию: «Ну, старец, моево вяканья много веть слышал. <...> повелеваю ти, напиши <...> как муравьи те тебя ели за тайно-ет уд» (Житие протопопа Аввакума. Иркутск, 1979. С. 77).

...Паскаль в нашем «огненном» веке свой. — Имеется в виду XVII в. истории России, отмеченный сожжениями и самосожжениями старообрядцев. См. характеристику специалиста по русскому расколу XVII в. П. Паскаля в кн. «Мышкина дудочка»: «Петр Карлович Паскаль, профессор русского языка в Школе восточных языков в Париже, а в Москве он прожил шестнадцать лет в самый взлёт, кипь и тиск революции, человек-ученый» (*Петербургский буерак-РК* X. С. 12). См. также: *Звезда надзвездная-Росток* XIV. С. 485—503; 683—703.

...Я вспоминал карлика, давняя память, карлу Ивашку. В моровое поветрие в 1654 в Москве <...> И всю зиму — 20 недель — жил карла Ивашка без корму, и за птицами наблюдал. — Источник текста — исследование И. Е. Забелина: «В хоромах царицы Марьи Ильичны находилось пять попугаев, которых во время моровой язвы в 1655 г., по случаю выезда всего двора из Москвы, кормил и хранил карлик Ивашка. Кормил он их миндальными орехами и калачами» (*Забелин И. Е.* Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 1990. Кн. 1. С. 219). См. также письмо Д. Е. Резникова жене 1943 г.: «У Ал. М. на стене я увидел поразивший меня рисунок его — голова карлика Ивашки, жившего при царе Алексее Михайловиче, при дворе. Во время моровой язвы в 1659 г. Палаты были оставлены, все уехали, и в них остался Ивашка один, с приказом кормить четырех царских попугаев. Попугаям был выдан корм, а про Ивашку забыли и он двадцать недель питался вместе с попугаями, их снедью. Рисунок изображает Ивашку (лицо), который смотрит в окно. В лице его и глазах — тоска

одинокого зверя, тоска по людям, предельное одиночество, грусть и примиренность с судьбой – все это поразительно. В этом рисунке Ал. М. удалось то, что удается в самых лучших коротких и пронзительных его вещах. Ал. М. попросил меня продать кому-нибудь этот рисунок, так же как и другие, и я конечно взял его себе. Он, узнав, что я хочу для себя, стал отказываться от денег. Я заплатил и сказал ему в утешение: карлик Ваш, Ал. М., пойдет жить ко мне. – Ну и хорошо, ответил он, у Вас ему будет не плохо» (*Резникова 2013*. С. 33). Воспроизведение ремизовского рисунка карлика Ивашки см. на обложке изд.: *Резникова 2013*. Оригинал рисунка ныне хранится в составе фонда Ремизова в *ГЛМ*.

С. 523. *...Александр Борков кое-что даст от себя...* – Борков Александр Федоров сын, царский истопник. Упомянут в записных вотчинных книгах Поместного приказа второй четверти XVII в. (*Антонов А. В., Беликов В. Ю., Берелович А. и др.* Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–1657 гг. М.: Древлехранилище, 2010).

...белая стена белее стен Китая... – Имеется в виду памятник средневековой русской фортификации – кирпичная крепостная стена вокруг московского Китай-города (1535–1538). Руководитель постройки – инженер Петрок Малый. В конце XIX в. стена была побелена. В конце 1920-х – 1930-е гг. снесена. Уцелели фрагменты.

С. 524. *...«медвежья комедия или про охоту!»* – «Медвежья комедия» – ярмарочное увеселение – представление, даваемое дрессированным медведем, его поводырем и ассистентами. Возможно также скрытая отсылка к сочинению о соколиной охоте «Урядник сокольничья пути» (1656), авторство которого связывают с именем царя Алексея Михайловича.

...за мной следом вошел карлик ~ «Неужто молоко?», спросил я карлика. «Лунное, сказал он, а это жар-птица», – и он протянул ко мне книгу в золотой парче. – См. запись сна в дневниковом тексте Ремизова «Моя отходная»: «Ночью в мою пещерную жизнь приходят сны. / Обыкновенно я не запираю наружных дверей: дверь всегда приоткрыта. Но тут я хорошо помню, что захлопнул. И слышу, кто-то вошел. Я хотел отворить кухонную дверь, и долго не мог: какая-то сила держала ее. А когда отворил, ко мне вошел карлик: очень тоненький в черном колпаке и весь в черном – блестящий как высеребренный. И такое же лицо блестящее стекло. Он мне подал кувшинчик с молоком. / – С лунным молоком. / И книгу старой золотой парчи – Жар-птицы» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 503).

...и на его толкачике голове острая черная аракчина... – *Толкачик* – вид гриба семейства мухоморовых, имеющего колокольчатую шляпку, со временем становящуюся плоской. *Аракчина* (аракчин) – тради-

ционный персидский головной убор: сходная с тюбетейкой шапочка, поверх которой надевается чалма.

С. 524–525. *«Черный шарф, — сказал я — называется «Марья Александровна», очень теплый» ~ и совсем это не творог, а мой черный теплый шарф «Марья Александровна».* — См. запись сна в дневниковом тексте Ремизова «Моя отходная»: «О. Ф. (Слепышка) / Я сказал: душу мою освободите! / И она повторяя: тананака (так Болотов называл свои стихи тананакою) взмахнула моим черным шарфом (Мар<ьей> Алекс<андровной> и я как ухнув поднялся через кипящую чернь вверх на головокружительную высоту, а там все обыкновенно, день, светло / 10–11 XI / Бог не выдаст, свинья не съест. Съеден на 9/10-х, вот оно горе, не забытый а почти забытый Богом. И на чтение почти не остается времени и хочется спать» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 506).

С. 524. *...пела Маргариту в Большом Театре...* — речь идет о партии Маргариты из оперы Ш. Гуно «Фауст» (1859). Ср. в кн. «Мышкина дудочка»: «на восьмом этаже Гретхен, так величают Софью Семеновну. В допотопные времена <...> она пела в Большом Театре с Фаустом-Донским» (*Петербургский буерак-РК X.* С. 48).

С. 525. *Да, когда-то я во сне видел рыб и их явление было живое — серебряные в прозрачной воде, а как-то приснились сардинки в масле и без косточек...* — См. запись сна в дневниковом тексте Ремизова «Моя отходная»: «А сны: прежде явление рыб было живое: серебряные в прозрачной воде, а сегодня приснились сардинки, готовые, как когда-то без косточки» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 504).

Мартын Задека — вымышленное лицо, легендарный автор книги-сонника «Древний и новый всегдашний гадательный оракул», переведенной с немецкого на русский язык в начале XIX в. Ремизов продолжил традицию, собрав воедино собственные сны под названием «Мартын Задека». См.: *Ахру-РК VII.* С. 363–473.

...две золотые раки: мощи не то митрополита, не то какого-то князя ~ И с горьким чувством проснулся. — См. запись сна в дневниковом тексте Ремизова «Моя отходная»: «Вишь сны какие! / Две золотые раки: мощи какого-то митрополита и князя — мощи под спудом. / А как вскрыли, оказалось: я вижу через кованные, золотые стенки рубиновый цвет светящийся — ветчина. И все пошли за кусочком: великолепная ветчина. И я устремился за своей долей — без тикеток» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 509). *Тикетка* (от *фр.* ticket de ravitaillement) — талон, продовольственная карточка.

Мои ботинки текут ~ да это сливочное масло. — См. запись сна в дневниковом тексте Ремизова «Моя отходная»: «Или вижу: мне срезали подошвы: розоватые окраса сливочного масла» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 509).

С. 525. *Фриденау* — район в Берлине; запечатлелся в памяти писателя, обращенной к 1921—1923 гг., когда он с С. П. жил в столице Германии.

С. 525—526. *Я его встретил под живой зеленой аркой ~ только различаю ясно: «косточка — кость — кастрюля..»* — Ср. два варианта записи одного и того же сна в дневниковом тексте Ремизова «Моя отходная». Первый вариант: «Вижу под высокой аркой в зелени Лермонтов на нем мундир с желтым воротником и фуражка с желтым околышем. И мы пошли по берегу Яузы под благовест Андрониева монастыря. Кругом репей и старые ветлы на жаре спящие “коты” (с Хитровки). Заглядывая в глаза, я ем<у> хочу напомнить о себе, — но скушный — в его глазах кремнистый путь блестит — не узнает меня» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 506). Второй вариант: «“И тут появился, я его мельком видел под зеленой аркой, высокий и тонкий в такой же форме [и узнаю это Бестужев]. Мы шли втроем, но я был отдельно. Они шли к Георгию Ив<анову>, я это понял. И вдруг [увидел] из репьев поднялся “Жорж” [Бестужев] в одной руке косточка, в другой хрящик. Чьи-то крики, какие-то люди, знаю, он стоял на холмике в репьях <2 нрзб>. И холодный взгляд Лермонтова вдруг потеплел. Обрадовался ли и Жоржу или что-то понял и м<ожет> б<ыть> узнал меня. / М<ихаил> Юрьевич, А<лександр> А<лександрович>! — ск<азал> Жорж. И я понял, что другой — Бестужев. 1941 XI» (Там же).

С. 525. *...«кремнистый путь блестит»...* — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1841).

С. 526. *Жорж подложит им в суп «косточку», как мне подкладывает каждый раз.* — Ср. в гл. «Повар» книги «Мышкина дудочка»: «Гляжу на повара и вспоминаю, как в оккупацию всякий день в двенадцать выдавал он мне бесплатно суп, а по праздникам — с косточками <...> только всегда тайком от хозяев» (*Петербургский буерак-РК X.* С. 106).

И все мне кажется живые эти речи... — Строфа из стихотворения Лермонтова «Из-под таинственной, холодной полумаски» (предположительно 1841).

Первое время я все радовался: часы остановились, услышу, где-то бьют, и обрадуюсь; или кто-нибудь принесет папиросу или даст несколько кусков сахару ~ Что это за акафист такой... — Ср. записи в дневниковом тексте Ремизова «Моя отходная»: «Теперь я понял, что это за акафист, это частое “Радуйся” — радость разменялась. Скоро за право дышать станет радостно. / Часы остановились, услышу где-нибудь да будут бить и обрадуюсь. А один сказал мне: хорошо что еще радуетесь, а я и в мелочах — равнодушен <...> И опять чему-то радуюсь? / Чему? чему?» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 504, 507).

...акафист такой: «радуйся! радуйся!»... — Подразумевается рефрен «радуйся» — обязательный элемент первых кондаков и всех 12 икосов в акафистах.

С. 526. *Тоненькая шейка* — ремизовское прозвище парижской булочницы.

...перевел с помощью Бердяева книгу Леклэра... — Речь идет о книге: *Леклер А. фон.* К монистической гносеологии / пер. с нем. Алексея Ремизова. СПб.: Д. Е. Жуковский, 1904. 64 с.

Из философов огнем застряли в моей памяти Гераклит и Эмпедокл. — См.: *Ремизов А.* О судьбе огненной: Предание от Гераклита Эфесского; Электрон // *Зга-Росток XI.* С. 293—306; 698—706. См. также ст.: *Обатнина Е. Р.* «Я душа человечья...» (Новая проза Алексея Ремизова: 1918—1929) // Там же. С. 576—585.

С. 526—527. *...оставил память Пифагор числами и своей судьбой ~ говорю по Сенковскому ~ как мечтал и просился Пифагор перевоплотиться в собаку ~ он воплотился в корову.* — Отсылка к повести О. И. Сенковского «Похождения одной ревижской души» (1834): «Тут в первый раз увидела я знаменитую душу Пифагора, который еще до рождения Шеккямуни проповедовал учение о переселении душ; она незадолго до меня прибыла туда с земли, где, кажется, одушевляла кота. Дух Пифагоров, как теперь помню, жарко спорил с душою одного монгольского ламы, доказывая, что для человека самым вожделенным перерождением должно почитаться перевод души его в тело философа или в корову, тогда как душа ламы утверждала, что добродетельный человек не может желать себе ничего лучше перерождения в собаку» (*Сенковский О. И.* Сочинения барона Брамбеуса / сост., вступ. ст. и прим. В. А. Кошелева, А. Е. Новикова. М., 1989. С. 341—342).

С. 527. *Шестов напечатал статью о Плотине ~ Плотина превратил в Платона.* — Статья Льва *Шестова* «Неистовые речи (По поводу экстазов Плотина)», написанная в 1924 г., впервые появилась в печати на страницах журнала «Версты» (1926. № 1. С. 87—118), ближайшими сотрудниками которого были Ремизов, Шестов и Марина Цветаева. По-видимому, история опечатки осталась в рамках производственного процесса выпуска первого номера, поскольку курьезных искажений в написании имени «Плотин» в печатном тексте не обнаружено.

И. А. Давыдов написал рецензию на книгу Рожкова ~ вместо Рожков набрано «Розиков»... — Речь идет о статье Давыдова «Об идеализме, марксизме и народничестве» (Вопросы жизни. 1905. № 7. С. 312—323), где на протяжении всего текста фамилия историка и публициста социал-демократического направления Н. А. Рожкова действительно приводилась с указанной опечаткой. Ремизов познакомился с И. А. Давыдовым, автором книги «Что же такое экономический материализм?» (Харьков, 1900), еще во время политической ссылки в Вологде и на окончание срока его ссылки написал шуточный «некролог», на титульном листе которого обозначил: «Иосиф Александрович Давыдов / † / 1. 8. 1901, в Вологде / автор «Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?» (См.: *Иверень-РК VIII.* С. 491).

С. 527. *...самый лучший отзыв о «Крестовых Сестрах» появился в женевской газете ~ «Ремозоль».* — Очевидно, речь идет об анонимном отклике, напечатанном в 1929 г. на страницах парижского еженедельника «L'Européen» (1929—1940; издатель F. H. Turot, гл. редактор A. Lamandé). В разделе «Разное» («Variété») здесь была напечатана рецензия на французский перевод Р. Вивером повести «Крестовые сестры» (Soeurs en croix: Roman / trad. et introd. par R. Vivier «Alexei Remizov». Paris: Les ed. Rieder, 1929), название которой вводило читателя в заблуждение, называя вместо Ремизова безвестного русского писателя: «M. Alexei Razimov <*sic!*> (Romancier russe) // L'Européen. 1929. 18.XII. № 36. P. 6). Рецензия содержала исключительно комплементарный отзыв как на сам роман «Разимова», так и на перевод Вивера.

беспелюха — бестолковый, разиня (*обл.*).

Я верую в пепел. ~ А люблю я осеннюю дорогу ~ А настоящее? — С 8 утра до 9-ти вечера, а бывает и до 10-ти, в очередях и на кухне. И чему же я все радуюсь, чему, чему? — Ср. запись в дневниковом тексте Ремизова «Моя отходная»: «Верую в пепел. Когда курю, сыплю на пол, не в пепельницу, и на рукопись, и куда попало. Исповедую огонь. Только в “огневице” и мысль родится и воображение. Да и весь мир цветет. И из пепла восстанет жизнь, верю. А люблю осеннюю дорогу, палые листья, вой ветра, круть ветра, дыхание жизни. / Какая моя теперь жизнь. Урвал минуту — и слава Богу. И каждый раз, получу хлеб или добьюсь получить рыбы, говядины, масла, чему-то... да чему же радоваться? Спрашиваю себя, когда самое главное закрыто, пропало. Записываю, только записываю урывком. / С ½ 9-го утра до ½ 9-го вечера по хозяйству: в очереди и на кухне <...> Люблю шум, тесноту, безобразие — и бар с музыкой. Хороша тихость, дети, но все это хорошо в “небольшом количестве”, надоедает и скучно. / И опять чему-то радуюсь? / Чему? чему?» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 504—505, 507).

«огневица» — лихорадка, жар (*обл.*). Слово использовано Ремизовым в названии поэмы, работу над которой он завершил 10 октября 1917 г. (впервые: *Ремизов А.* Огневица // Литература и революция: Лит. прил. № 10 к газ. «Дело народа». 1917. № 187. 22 окт. С. 5). Впоследствии поэма была включена в состав романа «Взвихрённая Русь».

на голос — или наголосок; в значении: резонансный звук.

С. 528. *Четыре часа собираю воду, ползая на корточках ~ осьмиэтажная застарелая моча.* — Ср. запись в дневниковом тексте Ремизова «Моя отходная»: «Испытание: четыре часа собирал на корточках воду — [испортил] в раковине в уборной от засорения поднималась вода — семиэтажная моча» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 506). См. также в кн. «Мышкина дудочка»: «И когда засорились трубы и потек-

ло у нас, а к нам стало проникать и капать с потолка, и когда замороженные лопнули трубы и воду в доме остановили, ходи за водой в соседний, все равно <...> все от меня и без меня ничего б не стряслось. <...> Я взять на свою совесть сирену, но осьмиэтажную просачивающуюся мочу я не согласен» (*Петербургский буерак-РК X*. С. 70).

С. 528. *С промокшими ногами я продолжаю работу и голова болит ~ и кого я только не просил..* — Ср. запись в дневниковом тексте Ремизова «Моя отходная»: «С промокшими ногами и голова болит. Накануне вечером с час было такой работы. Не отчаяние, а любопытство: что дальше, когда меня зальет. Этому не быть, все забыто. А сегодня затерла кухня и уж одно отчаяние: пропасть — как, все равно. Но в глубине, это как радуюсь, вдруг поднимается вера, что придет — кто-то поможет» (*Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 506).

жеранша (от *фр.* gérant) — управляющий. Речь идет об управляющей домом.

Утенок — прозвище Ольги Владимировны Дервиз. Помогала Ремизовым по хозяйству.

...горе и чары. Смотрите, уж раскрываются «врата огня» — под землей, в воде и в воздухе. — Скрытая цитата из книги «Тысяча и одна ночь»: «Девушка воскликнула: “Огонь, огонь! <...> Я не привыкла биться с джиннами <...> Вдруг он явился, и у меня с ним был жестокий бой под землею, в воде и в воздухе, и всякий раз как я открывала над ним врата колдовства, он тоже открывал врата надо мною, пока не открыл надо мною врат огня, а мало кто, когда открываются над ним врата огня, от него спасается”» (Сб. сказок «Тысяча и одна ночь»; «Сказка о завистнике и внушившем зависть» (ночь 13)). Ср. воспоминание об этом превращении и сходную цитату в кн. «Подстриженными глазами» (*Иверень-РК VIII*. С. 206).

Святый вечор — святой вечер (*укр.*). Название Рождественского сочельника — вечера 24 декабря (6 января). О происхождении названия см. в кн. «Подстриженными глазами: «У Потебни приводятся древние “колядки” и все с неизменным с половецких степей навеянным ковылевым тайным. “Святый вечор!” — величание одаряющий счастьем чудесной птички и ее мастерству вить гнездо по-особенному, а имя этой птички *“ремез”*, — вот от нее-то я и веду свою фамилию» (*Иверень-РК VIII*. С. 199. См. также комм. А. М. Грачевой: Там же. С. 594).

С. 529. *...мудрый Буало в сатире на Человека ~ милосердия и воли.* — Отсылка к содержанию 8-й сатиры Н. Буало «На человека» (1667/1668).

Горькой памятью вспоминаю вас «Безумная» и «Блаженная», вы красили наши Рождественские елки ~за что вас замучали? — Ср. в кн. «Мышкина дудочка»: «Анна Безумная, потому что безумная, ей и было

место у нас. На нее нападала черная тоска <...> жила она у Половчанки <...> Бедная Анна Безумная! Душа у нее ласковая, мученица! — нет, не вернется, за что и куда ее угнали? » (*Петербургский буерак-РК X*. С. 54–55). См. о ней также: *ДМ-I* (по указ.).

С. 529. *Наяда ~ потащилась Наяда на «египетскую» работу при полном освещении...* — ремизовское прозвище Н. Г. Львовой-Шипулиной. В годы войны работала кельнершей в русском ресторане «Ягодка». См. о ней: *ДМ-I; ДМ-II, ДМ-III* (по указ.).

...в дом наш вошла Менада... — Менада — ремизовское прозвище О. Н. Можайской.

...эта «разрушительница очагов»... — странствующие спутницы бога Диониса менады увлекали за собой женщин, уводя их от семейного очага и приобщая к служению своему божеству.

С. 530. *От елки лучами протянул я к передним углам комнаты и к полкам с книгами серебряные нити. В последний раз из зимних коробок вышли игрушки и заняли собой всю елку и все подвески.* — См. воспоминания А. Д. Резникова о Елке у Ремизовых в конце 1930-х гг.: «Каждый год на Рождество открываются заветные картонные коробки, в которых хранятся годами украшения для елки. Это множество золотых и серебряных (уже потускневших) гирлянд, всевозможных разноцветных больших и маленьких шаров. Часто с восковыми потеками свеч предыдущих годов. На всех сосновых ветках, занимая все пространство, висят разнообразные игрушки, вырезки, украшения, деревянные и глиняные раскрашенные игрушки, человечки. Тут же висят пряники и конфеты (давно уже несъедобные), а также позолоченные орехи и шишки, всякие хлопушки. Таинственные корешки, вырезанные из цветных бумажек звезды и фигурки. Елка очень пышная, наряженная по старой русской традиции. <...> Вот А. М. спичками зажигает по очереди красные восковые свечки, прищепленные к веткам, осторожно, чтобы не поджечь хвойные иглы. Серафима Павловна помогает А. М. — за всем следит, передает торжественность ритуала. <...> В комнате сильный запах смолы, сосновых игл, воска и особенный запах мандаринов, разложенных на тарелках по углам комнаты. Жарко, все ожило, уютно и празднично» (*Резникова 2013*. С. 221–222).

...с Пифагоровым «числом и мерой» ~ «сущность вещей»... — отсылка к учению Пифагора о числе как первоначале мира, «мере всех вещей».

И кукушка — пришла ее пора! — закуковала... — Имеются в виду часы с кукушкой, находившиеся в одной из комнат в квартире Ремизова (ул. Буало, д. 7). По местонахождению часов комната была названа «кукушкиной». См. также воспоминания А. Д. Резникова: «А теперь мне показывают Кукушку. Это деревянные часы в виде избушки, со

ставнями. Видны стрелки. Часы подвешены высоко у потолка, над дверью. Маятник из сосновой шишки бьет регулярно, бойко к чему-то подготавливая. Вот, вот, смотри не упусти! Выйдет кукушка! И действительно, деревянные ставеньки резко распахиваются, и выскакивает деревянная птичка. Бьет крыльями, двигает клювом и неистово, неугомонно кричит заглушая все — “ку-ку! ку-ку! ку-ку!”... много раз. <...> Мы идем <...> по длинному, темному, скрипящему деревянным паркетом кулуару и попадаем в небольшую комнатку, сплошь заложенную книгами. Это “кукушкина”, что подтверждают висящие над дверью уже знакомые деревянные часы со ставенками, напоминая о себе энергичным механическим боем маятника» (*Резникова 2013*. С. 220–221).

С. 530. *..Дроссельмейер из «Щелкунчика», накануне бессонно сочинял всякие елочные затеи и украшения...* — отсылка к либретто балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» (1892). Авторы либретто — И. А. Всеволожский, М. Петипа. В первом действии балета крестный отец Мари и Фрица Дроссельмейер появляется перед детьми в образе волшебника и дарит им подарки.

...память о немерцающем свете там... — Свет немерцающий — символ Иисуса Христа. См., например, текст «молитвы 2-й, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу»: «Ты убо, Господи Боже покланяемый, Царю Святый, Иисусе Христе, спящя мя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, Им же освятил еси Твоя ученики». См. также название цикла рассказов Ремизова: Свет немерцающий: Рассказы // Заветы. 1913. Кн. 3. Отд. 1. С. 102–120.

Гадали на Рафлях.. — *Книга Рафли* — в Древней Руси книга, по тексту которой производилось гадание, основанное на одновременном метании трех игральных костей (см. подробнее: *Турилов А. А., Чернецов А. В.* Отреченная книга Рафли // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 40. С. 260–344). А. Н. Пыпин первым опубликовал текст костного развода гадания («Гадание царя Давида»), полагая именно его рафлями (*Пыпин А. Н.* Ложные и отреченные книги русской старины // Памятники старинной русской литературы, изданные Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862. Вып. 3. С. 161–166). Предсказания из русского «Гадания царя Давида» построены на основе убывающих чисел. Тексты отдельных предсказаний, как правило, состоят из отрывка псалма, описания библейского события или иного литературного текста религиозного характера с его последующей интерпретацией и выводом о добром или дурном характере предсказания.

Карты Сведенборга — пасьянс-гадание по 36 картам-картинкам, имеющим названия и соответствующее значение. Создание пасьянса приписывалось мистику Эммануилу Сведеборгу. Согласно одному из вариантов правил гадания, карты должны были быть нарисованы

вручную, на них рукой должно быть написано их значение. На протяжении жизни Ремизов несколько раз по памяти рисовал полную колоду карт с целью гадания. Сохранилось несколько совпадающих друг с другом комплектов его рисунков (*ИРЛИ*. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 1—11; *РГАЛИ*. Ф. 42. Оп. 1. Ед. хр. 44. 37 л.). См. также в кн. «Подстриженными глазами»: «Гадальные карты Сведенборга! Эммануил Сведенборг (1688—1772) — какое волшебное имя — и с ним я родился. Я помню эти карты с первой памяти. <...> Подлинных карт я никогда не видел. Знаю обыкновенные игральные карты, на обороте рукою матери ясно и четко имена и значение. Но когда во время гаданья произносились имена, передо мной возникали живые образы: одни сулили удачу, другие грозят бедой, третьи предостерегали. Я “моими” глазами видел всех этих хамелеонов, волков, фазанов, тигров, астролога, водопад, арфу. И потом, когда прошли годы и годы, и все, кажется, забылось, так давно это было, вдруг я вспомнил эти карты. И рисую их, совсем не думая, как нарисуется, а только вспоминаю, как они легли на столе, голос матери и взлохмаченный у стола черный “гишпанец” — его глаза, ожидающие решения. Так нарисовались эти мои карты Сведенборга — “бесхитростного знаменования” (dessin inconscient). Попробовал я нарисовать эти же самые карты, но думая только о рисунке. И вышло — “прилично”, но какая пустота и никакого волшебства. Да любой рисовальщик, не чета мне, сделает отчетливее, но и еще скучнее, и Сведенборгу никак не признать за свои карты: астролог будет со знаками зодиака, сфинкс с египетской фотографии, “гишпанец” — тореадор из “Тореадора”, “амазонка” — знатная “леди” со старой гравюры, а звери и птицы — смотри Зоологический атлас. Нагадала ли моя мать себе злую долю, она неохотно гадала, а себе никогда. <...> И вот что странно — и это уж потом, когда нарисую эти волшебные карты — вспоминая старину, на Святках для забавы около елки в свете свечей гадаю — если по картам выходило плохо, я всегда вычитывал другое из “благоприятных”; а после проверю: да никакой беды не случилось, и все как по-моему вышло. <...> В дорогу или при решении и начале дела, появлялись у нас на кухне наши фабричные соседи погадать на Сведенборге. В самом имени Сведенборга, звучавшем как-то на русский лад, передавалась таинственность карт. Если мать уступала и раскладывала карты, я всегда был возле» (*Иверень-РК VII*. С. 19, 22). См. также гл. «Гадальные карты» в кн. «Россия в письменах» (*Россия в письменах-Росток XIII*. С. 73—81).

С. 531. *Ее пугает 13 — не вышло бы тринадцать свечей: 13 — ее роковое, тринадцатого и придет ее час...* — После смерти Серафимы Павловны Ремизов неоднократно составлял нумерологические цифровые схемы, восстанавливая число «13» из цифр, образующих значимые в ее жизни даты: день первой встречи с Ремизовым (1 августа

1900) и день смерти (13 мая 1943 г.), пытаясь понять несчастливую семантику цифры «13» в судьбе жены. См. такую схему на вклейке — фототипическом воспроизведении страницы из его «Дневника мыслей» от 1944 г. (*ДМ-I*. Вклейка между с. 41 и 44).

С. 531. *«Ночь перед Рождеством»* — повесть Н. В. Гоголя (1830, опубл. 1832).

...когда справляли три кутьи: «постную» под Рождество, «богатую» под Новый Год и «голодную» под Крещенье... — Народные названия блюд, традиционно обязательных на столе в указанные праздники.

...погрузились в вещие коровьи сны фараона... — ироническая отсылка к тексту Ветхого Завета, о вещем сне фараона о семи тучных коровах, которых затем сожрали семь тощих коров. Иосиф истолковал сон как предвестие голодных годов (Быт 40: 41).

...прославленные Синайские постники~ их подвижничество... — Отсылка к сюжетам «Синайского патерика» — переводного памятника древнерусской литературы (создан в первой четверти VII в., перевод XI—XII вв.), содержащего рассказы об аскетических подвигах монахов и мирян. Сюжеты «Синайского патерика» не раз использовались Ремизовым как тексты-источники (см.: *Лимонарь-РК VI).*

...поснимав с себя «страшные» маски «лютых зверей»... — скрытая автоцитация. См. сказку Ремизова «Лютые звери» из книги «Посолонь» (*Докука и балагурье-РК II*. С. 121—127).

С. 532. *...кое-что о силе «черной свечи» (свеча с кровью) — вычитал у Новалиса, Тика и у нашего Ореста Сомова....* — Черная свеча — образ из повести О. М. Сомова «Русалка» (1829). В новелле Л. Тика «Белокурый Экберт» (1796) одна из главных героинь — ведьма — демоническая старуха, одетая во все черное и сидящая перед свечой. В романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (1802) упоминается лампа старух (Парок) — лампа, горящая черным светом и заправленная маслом тарантула. См. в кн. «Подстриженными глазами»: «Есть, оказывается, средство обращать <...> мертвого в живое. Об этом я узнал от того же Сомова (Байский) — его рассказ <...> черная свеча, — синий огонь ("черная", — по Новалису из тарантулова сала)» (*Иверень-РК VIII*. С. 192). Там же Ремизов приводит обширную цитату из повести О. М. Сомова «Русалка» (С. 192—193) и цитату из сказки Л. Тика «Белокурый Экберт» (С. 207—208).

...колядки — из сборников Потебни... — См.: *Потебня А. А.* Объяснение малорусских и сродных народных песен. В 2 т. Варшава, 1883. Т. 1: Веснянки. 268 с.; Варшава, 1887. Т. 2: Колядки и щедровки. 809 с.

Из колядок ~ о ремезе-птице. — В автомифологии Ремизов возводил этимологию своей фамилии к птице-ремезу и неоднократно использовал образ этой птицы в своем творчестве (см.: *Ремизов А.* Посолонь // *Докука и балагурье-РК II*. С. 106). *Ремизов А.* Ремез-птица // Альманах

«Гриф», 1903–1913. М., 1914. С. 136). Подробнее см. комм. И. Ф. Даниловой (*Докука и балагурье-РК II.* С. 635–636).

С. 532. *...я, напуганный нашими пожарами (трижды горели)...* — Воспоминание о пожарах, случившихся в квартире Ремизовых: первый — в Киеве в 1904 г.; второй — в Петербурге в 1911 г. Точное место и год третьего пожара установить не удалось.

С. 532–533. *...помыслы — облакам, улыбка — заре, цвет чистоты — цветам, теплота сердца — весеннему вею, а мечты — вам, звезды!* — вольное переложение цитаты из апокрифа «Беседа трех святителей» — ответ на вопрос, из скольких частей сотворен Адам: «отъ 7 частей сотворенъ 1-е отъ земля тѣло, 2-у отъ моря кровь, 3-е отъ солнца очи, 4-е отъ камени кость, 5-е отъ облака мысль, 6-е отъ огня теплота, 7-е отъ ветра дыханіе, духъ бо Самъ вдохнулъ въ него» (*Пыпин А. Н.* Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских // Учен. зап. 2-го Отд-ния Имп. Академии наук. 1858. Кн. IV. С. 43). Данная цитата не раз отражалась в прозе Ремизова (см., например, в кн. «Подстриженными глазами» — *Иверень-РК. VIII.* С. 106).

Этот же апокриф о создании Адама цитируется Веселовским (*Веселовский. XI.* 48).

С. 533. *...звучит Чайковский — «Горними тихо летела душа небесами»...* — романс П. И. Чайковского на слова А. К. Толстого (1880).

Ночью они приходили ко мне на кухню: две беспятые — анчутки и с ними, поджав хвост, Епишка носатый. ~ ...и до утра они на кухне со мной. — Анчутка — «Антипка беспятый, анчутка беспятый. Наименование черта, беса, производное от "Антихрист", "антип"; название полевого духа, банного черта» (Русский демонологический словарь / сост. Т. А. Новичкова. СПб., 1995. С. 26). См. сказку Ремизова «Банные анчутки» (*Докука и балагурье-РК. II.* С. 382–384). *Епишка носатый* — персонаж низовой народной демонологии, чертик. Также, возможно, имеются в виду мыши, упомянутые в кн. «Мышкина дудочка»: «У нас три мыши. Старшая, самая большая, с голубец, в покинутой измерзлой "кукушкиной" комнате <...> Средняя мышь у Серафимы Павловны в комнате, серая, с живыми усами <...> А третья — самая младшая, она не серая и не темная, а как грецкий орешек, пришла от соседей и поселилась на кухне» (*Петербургский буерак-РК. X.* С. 60).

Он думал о блестящей синей Кумаке... — река Кумак, левый приток реки Урал. Кумака— олень (*эвенк.*).

С. 534. *Ее беспощадная требовательность ~ осуждение всяческих человеческих слабостей...* — См. воспоминания Н. В. Резниковой: «С. П. была вся цельная, прямая, без внутренних противоречий. Подход ее к людям и вещам был всегда прямой, без оттенков. Ей свойственен был горячий порыв и безоговорочное решение, по чувству, без раздумий. А. М. любил в ней ее прямоту и цельность по контрасту с собой. Но он

нередко страдал от ее чрезмерной горячности и отсутствия гибкости и способности вникнуть в суть вопроса и понять “другую сторону”. Я помню, еще в двадцатых годах — они жили на авеню Мозар — наш общий горячий спор и восклицание А. М.: “Да вы же, Серафима Павловна, той же сущности, что и чекисты...”» (*Резникова 2013*. С. 76).

С. 534. ...*«не грех, токмо падение»*... — Ср. в книге А. В. Амфитеатрова «Дьявол. В быте, легенде и в литературе Средних веков»: «Не всегда, однако, бесы, доведя подвижника до падения, повергали его в самоотчаяние: бывали люди крепкие, которые умели утешить себя в том смысле, что “сие есть не грех, но токмо падение”» (*Амфитеатров А. В.* Дьявол: В быте, легенде и в литературе Средних веков. М., 2014. С. 85).

С. 534—535. *Вспомните, с каким негодованием встречала она перелетов, шатунов, этих туда-и-сюда, «кривых» и малодушных.* — *Перелеты* — использовавшееся в документах Русской Смуты начала XVII в. обозначение людей, попеременно державших сторону то царя Василия Шуйского, то Лжедмитрия Второго и переезжавших из Москвы в Тушинский лагерь и обратно. Текст Ремизова восходит к неоднократно использовавшемуся им тексту-источнику: «Москва не почитала и не боялась своего правительства; она держалась его лишь потому, что считала тушинское правительство Вора еще более плохим, уже прямо воровским. Между двумя сомнительными властями во время тушинской блокады москвичи дошли до полного упадка политической дисциплины и нравственности. Давно втянутый в смуты и интриги, высший слой московского населения — придворный и служилый люд — легко изменял царю Василию и отъезжал в воровские таборы, но также легко оттуда возвращался и вновь начинал служить в Москве, с тем, чтобы при случае опять уйти в Тушино. Эти всем известные “перелеты” могли безнаказанно или с малым риском заниматься своим позорным изменным промыслом <...> Дешевое раскаяние в измене спасало “перелетов” от наказания, а их безнаказанность толкала других на подражание, чтобы получить “больше прежнего почесть и дары и имение”. За служилыми людьми тянулось к Тушину и простонародье. Московские торгаши везли “кривопутством” товары в Тушино из-за одного презренного барыша; они продавали “на сребро отцов своих и братию”, так как доставляли из Москвы в Тушино даже порох на погибель своих же близких. Когда над Тушином разразилась беда, весь этот люд схлынул обратно в Москву или же разбежался по городам» (*Платонов С. Ф.* Очерки смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. СПб., 1910. С. 407). Ср. в «Дневнике 1917—1921 гг.» Ремизова: «Русские люди в смуту до того были вероломны, что даже получили имя перелеты» (*Взвихренная Русь-РК V*. С. 447).

С. 536. *Для чего Наяде помирать, — говорю, — а померла б, Орел известит.* — Не удалось выявить точно, какое лицо скрыто под ремизовским прозвищем «Орел». Возможно, имеется виду И. П. Кобеко. См. в кн. «Мышкина дудочка»: «Иван Павлыч орел, по Утенку, царственное зрение» (*Петербургский буерак-РК* X. С. 84).

...как приедут с острова Олерон все Черновы... — С 1939 по 1944 г. Н. В. Резникова с сестрой О. В. Андреевой, их детьми и матерью — О. Е. Колбасиной-Черновой жили на острове д'Олерон. См. воспоминания Н. В. Резниковой: «Мы добрались до острова Олерон, где и прожили годы войны. С Ремизовыми не сразу установилась переписка. С. П. изредка посылала коротенькие письма или открытки своей "любимой крестнице", но, в сущности, мы почти ничего не знали о Ремизовых» (*Резникова 2013*. С. 76).

И Иванов-Разумник с Варварой Николаевной... — В феврале 1942 г. Р. В. Иванов (Разумник) с женой были вывезены немцами в Германию и помещены в лагерь для Volksdeutsche. В апреле 1942 г. Иванов-Разумник вступил в переписку с Ремизовыми (публикацию переписки см.: Ремизовы // Встреча с эмиграцией: Из переписки Иванова-Разумника 1942—1946 годов / публ., вступ. ст., подг. текста и комм. О. Раевской-Хьюз. М.; Париж. 2001. С. 73—117). См., в частности, письмо Иванова-Разумника от 4 мая 1942 г.: «И Варв<ара> Ник<олаевна> и я радуемся возможности возобновить с Вами пока хоть письменную связь, а потом — кто знает! — может быть и встретиться!» (Там же. С. 83). В ответном письме от 18 мая 1942 г. С. П. писала: «Дорогие Варвара Николаевна и Разумник Васильевич, мы хотим, чтобы вы к нам приехали, по всему видно Вам удобнее к нам приехать, а уж как мы обрадуемся. Прямо к нам на нашу улицу Boileau <...> Знайте, что мы будем прямо счастливы, если вы к нам приедете <...> Приезжайте, мы друг для друга воскресли» (Там же. С. 84—85).

С. 537. *Так улыбалась ее любимая костромская бабушка, когда в черниговские Прохоры съезжались на именины все ее внуки и их отцы...* — Речь идет о бабушке С. П. Ремизовой-Довгелло — Марии Михайловне Самойлович (урожд. Ратьковой; ?—1899).

...с вечера скребется мышь и на ночь, поблескивая, вылезут они из нор и когда камнем повалюсь я на свой диван <...> бегают по мне, изгрызли мое теплое вязаное одеяло... — Ср. в кн. «Мышкина дудочка»: «И я видел "собственными глазами", как из "кукушкиной" комнаты старшая мышь, а от Серафимы Павловны середняя благообразная, вдруг обе вышли, одна бросив "Последние новости" доедать, Осоргина и Петрищева грызла, а другая , она спала и проснулась после ночи грызни моего брусничного одеяла» (*Петербургский буерак-РК X*. С. 93).

...авеню Мозар против Вилла Флор. — См. воспоминания Н. В. Резниковой: «Весною переехали на другую, более подходящую, в том же

районе, на авеню Мозар. Дом находился в небольшом углублении, называвшемся “Вилла Флор”. Ремизовы прожили в этой квартире около трех лет» (*Резникова 2013.* С. 107). Адрес: авеню Мозар, 120 бис (120 bis, Avenue Mozart, 5 Villa Flore). Ремизовы прожили на авеню Мозар с весны 1924 по ноябрь 1928 г.

С. 538. *Тэрм* (от фр. terme — срок) — плата за квартиру за три месяца.

Когда-то тоже в Одессе, жили мы в щели на Молдованке, тогда родилась Наташа. Что было делать? И я написал Льву Николаевичу Толстому и Иоанну Кронштадтскому, ответа не получил... — Ремизовы жили в Одессе (ул. Раскидайловская, д. 5, кв. 10) в феврале—мае 1904 г. См. также завуалированное отражение воспоминаний о безрезультатном обращении Ремизова к «учителям жизни» начала XX в. в кн. «Мышкина дудочка»: «Великие люди всегда окружены стеной. Стена — это их дело или излучение их дела. Так было с Толстым и с Иоанном Кронштадтским. И всегда находится кто-то, по вере или корыстно сторожит их. Про Иоанна Кронштадтского у Лескова в “Полунощниках”. О Толстом помню из разговоров, какие надо было пути пройти, какие двери, чтобы проникнуть к Толстому. А ведь думалось не так и кто не думал: пойду к Толстому <...> И пошли целой оравой: вот и дом, а дверей-то не могут найти, они было в калитку, а калитка на замке — стена» (*Петербургский буерак-РК X.* С. 81).

...когда нас турнули из Булони и мы очутились без крова, я обратился к знаменитому музыканту и получил отказ: он помогает только через организации. — Ремизовы жили в Булони — пригороде Парижа — с августа 1930 по июль 1933 г. Адрес: авеню Жан-Батист Клеман, 3 бис (Boulogne-sur-Seine, 3 bis, av. Jean-Baptiste Clément). *«Знаменитый музыкант»* — имеется в виду композитор, пианист, дирижер Сергей Васильевич Рахманинов (1873—1943). Он оказывал значительную помощь русским эмигрантам, а также русским, оставшимся в России, передавая деньги в благотворительные организации, в частности, в ARA (Американское агентство помощи русским).

Всю жизнь меня тыкали: пишу непонятно и не гожусь или “не подхожу к нашему читателю”. — Ср. в кн. «Мышкина дудочка»: «В “Последних новостях” меня печатали “из милости”. “К нашим шоферам не подходит!” повторял редактор И. П. Демидов, и я никогда не был уверен в своем, примут или вернут: “не подходит”» (*Петербургский буерак-РК X.* С. 114). См. также объективную оценку подобных высказываний писателя в воспоминаниях Н. В. Резниковой (гл. «Образ Ремизова, им самим создаваемый»): «Успех Ремизова <...> признание шло вразрез с тем образом, который Ремизов создавал в течение всего своего писательского пути, — образом непризнанного, отталкиваемого, гонимого жизнью и людьми человека. <...> После ссылки Ремизо-

вым трудно начинать жизнь. <...> Чувство отверженности. Ремизов вводит его как тему в свое литературное творчество, стилизует его, утверждая себя в образе гонимого судьбой и не понятого людьми писателя, и создает "легенду", которую будет культивировать всю свою жизнь. <...> На чужбине <...> для такого особенного, передового, читаемого только элитой писателя, как Ремизов, положение оказалось исключительно тяжелым. А. М. остро это чувствовал, он много говорил и писал об этом, подчеркивая и тут свою "гонимость". От этого накапливалась горечь. Следует, однако, заметить, что хотя "средний читатель – русский шофер такси", с которым Ремизов не хотел считаться (но редакции журналов и газет должны были считаться), не всегда принимал произведения Ремизова, – зато лучшие умы Зарубежья, как Шестов, Бердяев, Святополк-Мирский, Цветаева, так же как поэты и писатели младшего поколения, высоко оценивали его творчество» (*Резникова 2013*. С. 198, 200, 202–203).

С. 539. *...из "Преступления и наказания" ~ "ничего не сказала, только молча на меня посмотрела ~ когда не укоряют!"* – цитата из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (Ч. I, гл. 2).

С. 540. *...ожерелье, но не то, что бабушка из «Таинственного зайчика» показывала Оле изумрудное...* – См. главу «Таинственный зайчик» повести «Оля» (с. 18 наст. тома). См. свидетельство О. В. Андреевой: «Многие друзья, конечно, помнят ее на Пасху. <...> Серафима Павловна надевала разноцветное ожерелье, два раза обвивая им шею. Это была длинная цепочка со множеством маленьких пасхальных яичек – брелоков. Перебирая их, она называла имена даривших: Сомов, Чехонин, Добужинский, Гумилев, Кузмин, Андрей Белый, Блок... / После смерти С. П. эти яички были разделены между ее друзьями, но многие – золотые и серебряные – как раз наиболее ценные по памяти, пришлось продать еще прежде, во время последней болезни, в период большой нужды» (*Андреева О.* Серафима Павловна Ремизова // Новоселье (Нью-Йорк). 1947. № 35/36. С. 127–129). Ср. также воспоминания А. Д. Резникова: «Я предпочитаю смотреть на висящее рядом удивительное длинное ожерелье, состоящее из маленьких фарфоровых яичек, размером в оливку. Они разноцветные: белые, синие, красные, зеленые, с тончайшим рисунком, прицепленные одно к другому медными колечками. Их много десятков, составляющих два ряда. На каждом из них пасхальные буквы "Х. В.". Каждое из них – подарок. Вот это, говорит С. П., мне было подарено А. Блоком...» (*Резникова 2013*. С. 223–224).

...как в войну пропал золотой медальон – герб Задоры: «голова львова сера космата с огненной пастью в поле блакитном»... – Имеется в виду история с утратой багажа Ремизовых, пропавшего при их возвращении в Россию через Германию в августе 1914 г. О судьбе багажа

см. в рассказе 1914 г. «Полонное терпение» (*Ремизов А.* За Святую Русь: Думы о родной земле. Пг., 1915. С. 13–39).

С. 541. *...вычитал у Дружинина <...> не из знаменитой «Полиньки Сакс», а из кавказских рассказов: «жертва ему вот куда! И он спрашивает: что есть человек? – и пишет: "дрянь" <...> а все к худшему».* – Неточная цитата из повести «Рассказ Алексея Дмитрича» (1848). Ср.: «Но человек есть дрянь, поэтому немудрено понять, что все эти здравые мысли не сделали меня ни на волос умнее» (*Дружинин А. В.* Повести. Дневник. М., 1986. С. 116).

«Не рыдай мене, мати...» – текст ирмоса девятой песни канона Космы Маюмского на Великую Субботу («Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без семени зачала еси Сына: востану бо и прославлюся, и вознесу со славою»).

...в ее комнате и икона, и стена в бисерных картинках... – См. воспоминания Н. В. Резниковой: «В правом углу висели иконы. Большая – "Трех Радостей" – в жемчужном окладе из ремизовского дома, она передавалась младшему в семье. Икона Божьей Матери – материнское благословенье матери С. П. Икона Покрова, которой Ремизовы были благословлены после венчания. Под праздники зажигалась лампадка, светившая розовым светом. <...> У стены стоял столик С. П. <...>. На стене, над столиком слева и справа был развешен "бисер" – знаменитая коллекция бисерных изделий, рукоделие бабушек, тетушек и крепостных девушек – шитье иглой или работа крючком. Главная часть происходила из родного дома С. П. Бисерные кошельки – с павлином, с усадьбой, с узорами, с масонскими эмблемами; в деревянной рамке – бегущая собачка, "китайцы" в двух видах: вдавленные в воск и вышитые по канве. Чубук и круглая коробка для табака, кольца для салфеток, чехлы для трубок, коробочки» (*Резникова 2013.* С. 107–108). См. также воспоминания ее сына – А. Д. Резникова: «Вот нам открыли и ведут в комнату Серафимы Павловны <...> В углу золотая икона. А главное, над постелью, покрытой темным бархатным покрывалом, развешана коллекция русского бисера – кошельки, бусы, серьги... Старинная вышивка XVIII и XIX веков, созданная крепостными девушками <...> Это сокровище. Заветное наследие семьи Довгелло» (*Резникова 2013.* С. 223).

С. 542. *...С. П. ~ подумала: посылка из Праги от Зарецкого: мед.* – В годы войны Ремизов продолжал переписываться с Н. В. Зарецким, жившим в Праге (см.: Literární archive Památníku národního písemnictví v Praze. Pozůstalost Nikolaj Vasiljevič Zareckij).

Юиссье (от *фр.* huissier) – судебный исполнитель.

А была у нас икона ~ «Трех Радости» ~ московский образ, золотая риза. – см. комм. к с. 767–768 наст. тома.

С. 542. *Отходная* — название главы восходит к заглавию дневникового текста Ремизова 1941 — начала 1942 г. «Моя отходная» (*Грачева 2010*. С. 503—512). См. также письмо Ремизова Н. В. Зарецкому от 21 ноября 1941 г.: «Нет возможности писать: 12 часов я или на улице за добычей, или на кухне. Остается несколько часов на чтение. Завел альбом. Урывками записываю, называется “Моя отходная”. Рисовал сны, теперь не снятся. Иногда — ужасные» (Literární archive Památníku národního písemnictví v Praze. Pozůstalost Nikolaj Vasiljevič Zareckij).

Недели три тому, пришел я поздно ~ Человек, одетый в черном... — цитата из пьесы А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830).

С. 543. *И я начал себе «отходную»...* — Имеется в виду 15 ноября 1941 г., когда Ремизов начал делать одноименные дневниковые записи.

...был человек, был обуян словом, маниак... — Воспоминание о дневниковой записи В. Я. Брюсова, в которой тот зафиксировал первое впечатление от знакомства с Ремизовым. См. запись в Дневнике Брюсова: «немного растерянный маньяк» (*Брюсов В.* Дневники, 1891—1910. М., 1927. С. 122). Об этой встрече с Брюсовым см. гл. «Аделаидин цвет. Валерий Брюсов (1873—1924)» в кн. «Иверень» (*Иверень-РК VIII*. С. 468—474).

Отходной я не кончил, вместо слов пошли рисунки... — См. публикацию текста «Моей отходной» (*Грачева 2010*. С. 508).

...начал Юлию Дружинина... — имеется в виду роман А. В. Дружинина «Жюли» (1849). См. в письме Ремизова Н. В. Зарецкому от 25 мая 1943 г.: «Достал, наконец, Дружина и читаю по ночам — отвык спать» (Literární archive Památníku národního písemnictví v Praze. Pozůstalost Nikolaj Vasiljevič Zareckij).

«Тамарин» (1849—1852) — роман в трех повестях М. В. Авдеева.

«Подожди еще немного...» — неточная цитата из стихотворения Ф. Сологуба «Подыши еще немного...» (1927).

«Наймичка» (1845) — поэма Т. Г. Шевченко.

С. 544. *...как нарядил ее в последний путь: она будет в черном сарафане, белая, ею вышитая берестовецкая кофточка, кипарисовый крест на шее...* — См. письмо Ремизова Б. А. и А. М. Лазаревым от 11 июня 1943 г.: «В малороссийскую кофточку и черный сарафан нарядил Серафиму Павловну в последний раз» (*РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 63. Л. 19).

А с ногами плохо: шаг все короче, пространство все уже. — См. памятную записку Ремизова начала 1940-х гг. с перечнем неотложных дел, связанных с болезнью С. П.: «7) свидетельство о трудности спуска и подъема по лестнице для мэрии 8) свидетельство о болезни для прошения в мэрию о добавочных углях 9) нет ли человека или *куда*

обратиться, чтобы мне помочь водить на прогулку *2 ч<аса> в день,* когда хорошая погода, одному мне не справиться» (*ГЛМ.* Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. Роф 11351/265).

С. 544. *Когда-то затеяла подсчитать города, где побывала: в ее записной книжке выписано — 175...* — В *ГЛМ* сохранились листки с записями С. П. Ремизовой-Довгелло под названием «Места на земле» (Перечень «заколдованных и судьбинных мест на земле») (*ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1078).

Кое-как добрела до Знамения... — речь идет о русской православной церкви Знамения Божьей Матери (Eglise Notre-Dame du Signe; современный адрес: 87, Bd Exelmans, Paris 16e). См. воспоминания Н. В. Резниковой: «В годовщину смерти С. П., около 13 мая, ежегодно устраивалась панихида по ней. <...> После панихиды в церкви Знамения (тогда на улице Молитор) большой группой шли на улицу Буало, я обыкновенно вела А. М. под руку» (*Резникова 2013.* С. 150).

Улица Молитор (*фр.* Ru Molitor). Расположена в XVI округе Парижа в районе Auteuil.

Рю Пуссен (*фр.* rue Poussin) — улица XVI округа Парижа, параллельная улице Отей (ru d'Auteuil).

С. 544—545. *...за Сухановым...* — имеется в виду продовольственный магазин.

С. 545. *...переходя нашу улицу и как раз от тех дверей госпиталя, из которых дверей только выносят ~ и ее вынесут...* — См. воспоминания Н. В. Резниковой: «А. М. рассказал, что в клинике на рю Буало, напротив дома, в котором жили Ремизовы, в 1938 году умер Л. Шестов, с которым его связывала дружба еще со дней молодости. В этой же клинике в 1937 году умер Равель. Теперь эта частная клиника была превращена в госпиталь. В 1943 году С. П. в очень тяжелом состоянии перевезли в этот госпиталь, и там она скончалась» (*Резникова 2013.* С. 144).

С. 546. *...всякое утро она читала Евангелие и потом писала, но это был не дневник, а молитва: она писала письмо Богородице ~ «Матерь Божия, возьми нас под кров свой, избави нас от напасти ~ пошли нам помощь денежную, дай мне одежду, спаси-спаси-спаси!!! Помилуй-помилуй! Спаси-спаси-спаси!»* — Текст молитвы повторяется на каждой странице записей С. П. за январь 1943 г. (см.: Дневниковые записи С. П. Ремизовой-Довгелло. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1090. Л. 4 об.—196). Кроме того, тот же текст молитвы («Матерь Божия, возьми нас под кров свой...») повторяется в ежедневных записях С. П. Ремизовой от 3 января до 9 мая 1943 г., сохранившихся на отдельных листах (Записи С. П. Ремизовой-Довгелло. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1082—1084). См. также в воспоминаниях Н. В. Резниковой: «У нее <С. П. — *Ред.*> разрушались нервные центры, и понемногу мутилось сознание.

Сохранились ее записи этих лет с упоминанием приходивших друзей и знакомых. С. П. вела дневник — к концу жизни это были молитвы, часто обращенные к Божьей Матери. Запись 1941 г.: “23 ноября. Выходила, сидела на лавочке. Заходила к итальянцу. У нас Ковалевская, Утенок, Ив. Павлович. Читали. Господи спаси, сохрани, помилуй нас, защити нас, дай мне здоровье, дай выздороветь совершенно, дай, чтобы *печень* не болела, дай, чтобы *ноги* не болели, дай благополучия, чтобы мне не простудиться, дай здоровье, спаси, спаси!! Господи пошли нам *денег,* выручи нас, пошли нам денежную помощь, *одежду,* спаси, спаси, спаси!!! Укрой меня под кровом своим, Матерь Божья, спаси нас спаси. Дай нам денег. Спаси, спаси, спаси!!”. Больно читать эти толстые книжки записей “agenda” на 1941 или 1942 годы — дневники сплошь заполнены мольбами. Среди многих исписанных страниц — имена друзей, оставшихся в Париже и навещавших их. Доходят сведения о самоубийстве Цветаевой, о гибели Мейерхольда. С. П. упоминает о них, и дальше: “Матерь Божья возьми нас под кров свой, избави нас от аксидантов”» (*Резникова 2013.* С. 141–142).

С. 546. *«И услышала Пресвятая Богородица голос из пучины человеческого страдания»...* — Вольный пересказ текста апокрифа «Хождение Богородицы по мукам».

...звезда надзвездная... — иносказательное название Богородицы. См. название ремизовской богородичной легенды «Звезда надзвездная», позднее ставшее названием книги: *Ремизов А.* Звезда надзвездная. Stella Maria Maris. Париж: YMCA PRESS, 1928. 79 с. См. также в пересказе Ремизовым апокрифа «Хождение Богородицы по мукам»: «И взмолилась она к животворящему престолу Господню — звезда надзвездная» (*Звезда надзвездная-Росток XIV.* С. 35).

С. 547. *Вожирар, улица* (*фр.* Rue deVaugirar) — улица в XV округе Парижа.

Да, Дружинин прав: и такая есть судьба, что устраивает не к лучшему, а к худшему. — Скрытая неточная цитата из «Дневника» А. В. Дружинина: «Но к лучшему ли это, к худшему ли, судьба сделала меня таким, и я за это не отвечаю» (*Дружинин А. В.* Повести. Дневник. С. 172).

Метро Порт-де-Версай (*фр.* Port de Versailles) — станция метро Парижского метрополитена, расположенная в XV округе.

С. 548. *...«глагол времен»...* — цитата из оды Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

...вспоминал ли я «Фауста» или другое ~ Я слышал плеск волн — где это? У берегов Сицилии или на островах Архипелага? И видел ее: она сияла из ночи, «и душа моя тоской сжималась». Одних она убивает, другие бегут с леденящим сердцем, а я очарован ~ и лечу за ней, за ее ~ тенью на «воздушном океане»... — Тематика и образы текста восходят

к мотивам и образам третьего действия второй части трагедии И. В. Гете «Фауст». *«На воздушном океане...»* — цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1837).

С. 548. *...теперь забота оглушила меня, и я смотрю через ее растопыренные пальцы, сплющенные на моих глазах.* — Текст восходит к образам пятого действия второй части трагедии И. В. Гете «Фауст». Ср.: *ЗАБОТА* / <...> Всю жизнь вы, люди, слепы: ну, старик, / И ты слепым встречай кончину! / (*Дует на него*) / *ФАУСТ* (*ослепленный*) / Вокруг меня весь мир покрылся тьмою» (*Гете И. В.* Фауст / пер. Н. А. Холодковского. СПб., 2000. С. 495).

С. 549. *...мальчишка вроде моего Петьки из «Петушка»...* — мальчик Петька, по прозвищу Петушок, главный герой рассказа Ремизова (1911).

...собиралась написать своей любимой крестнице Олечке на остров Олерон, и в Киев Наташе. — Речь идет об Ольге Вадимовне Андреевой, дочери Ольги Викторовны Андреевой, урожденной Черновой, находившейся с родными на острове Олерон. Дочь Ремизовых Наталья находилась в Киеве — на территории, оккупированной немецкими войсками и могла переписываться с родителями.

К чаю пришел Листин, художница, ее «кумир» — Лифарь, и за два года ~ она не пропустила ни одного балета, нарисовала тысячу Лифарей... — Ср. в кн. «Мышкина дудочка»: «А ведь только чары Лифаря спасают Листина от отчаяния в ее бедовой жизни: она ждет среды — балета, чтобы еще и еще раз нарисовать его во “всех позах”. Она и на кухню принесла свою папку с лифарями — тысяча рисунков» (*Петербургский буерак-РК X*. С. 74).

С. 550. *«Шарлотта Ш-ц»* (1849) — рассказ А. В. Дружинина.

С. 551. *Арашид* (*фр.* l’arachide) — зд.: масло земляного ореха.

Другой мудрец оказался более «здравых понятий»... — идиоматическое выражение (здравые понятия, т. е. понятия, наиболее соответствующие реальности). В русской культуре конца XIX в. идиома получила популярность после выхода романа И. Н. Потапенко «Здравые понятия» (1890).

С. 552. *...я вспомнил ей из «Хождения Богородицы по мукам» о ангелах, «стерегущих муку грешников», о их муке больше обреченных мучиться...* — Скрытая цитата из указанного апокрифа.

А в ночь ~ в третью и последнюю дома перед госпиталем ~ «Суди меня и спаси, если можешь!». — См. письмо Ремизова Б. А. и А. М. Лазаревым от 11 июня 1943 г.: «Дорогие Берта Абрамовна — Адольф Маркович! В воскресенье (13 VI) месяц, как померла Серафима Павловна. Всегда с любовью вспоминала вас, а последние годы и с тревогою. Только ночь пробыла она в госпитале (12 rue Boileau) , прежде клинике, где Лев Исаакович <Шестов. — *Ред.*> простился с белым светом. Hemorragic cérébrale — я видел ее за 6 часов до смерти, но она меня не

узнала. Так закончился путь: все, что было на пути, отошло. И в той же мертвецкой она лежала с номерком, где и Лев Исаакович. Не разрешили только хоронить в Булони. Ее могила — Bagneux. Три года мучилась. Три года я просиживал ночи и только в последнюю ночь дома (которую без сна) возроптал, а она молилась последней молитвой: «Спаси! — — — если можешь». И я как очнулся, услышав разговор, — что-то от пророков мне почуялось! Голос был властный и ясный, а молчание трепетно» (*РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 63. Л. 19).

С. 553. *Порт-де-Версай* (*фр.* Porte de Versailles) — станция линии 12 Парижского метрополитена, расположенная в XV округе Парижа.

Улица Конвансьон (*фр.* Rue de la Convention) — улица в XV округе Парижа.

Улица Саразат (*фр.* Rue Sarasate) — улица в XV округе Парижа.

Пон Мирабо (*фр.* Pont Mirabeau) — мост через Сену. Построен в 1895—1897 гг. Соединяет улицу Конвансьон (rue de la Convention) на левом берегу Сены с улицей Ремюза (rue de Rémusat) на правом.

С. 553—554. *«И уж ни страха, ничего не чувствовал он. ~ затопить ее в Черном море»*. — Цитата с незначительными лексическими и пунктуационными вариантами из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» (1829—1832).

С. 554—555. *«Рафли» ~ Бросил я кости: легли — 611. «Святый Федор Тирон взял с собою сокола-птицу и сяде на коня своего и поехал в чистое поле ~ а врагов своих одолеешь»*. — О кн. «Рафли» см. комм. к с. 787 наст. тома. Для совершения гадания Ремизов переписал его текст. См. составленную Н. В. Резниковой предварительную опись архива писателя: «Переписанное рукой А. М. Р. / Тетради: /<...> / 3) “Рафли” (Гадание царя Давида. Рук<опись > 1742. Переписано в 1942 г.» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1030. Л. 3). Приводимая Ремизовым цитата из древнерусского переводного апокрифического памятника «Мучение Феодора Тирона» — это содержащееся в тексте книги «Рафли» предсказание, соответствующее числу, полученному после броска костей — 611.

С. 555. *Амбюланс* (*фр.* ambulance) — машина скорой помощи.

С. 556. *...что-то от лопаря, от лопарского нойды... — Нойда* — название шамана у народа саамов (лопарей).

...такой нойда предсказал Ивану Грозному его Кириллин день... — Отсылка к эпизоду из трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» (1862—1864), в котором волхвы предсказывают, что царь скончается в Кириллов день (18 марта).

«Madame Remizov Séraphine est décédée à 20 h. 15 le 13 Mai 1943» — «Госпожа Серафима Ремизова скончалась в 20 часов 15 минут 13 мая 1943» (*фр.*). Переписанный рукой Ремизова текст записи сохранился (см.: «Дневниковые и прочие записи, а также документы Ремизовой-

Довгелло С. П., переписанные Ремизовым А. М. в одну общую тетрадь в апреле 1945». Книга 2. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 288. Л. 46). См. также дневниковую запись Ремизова в ночь с 1 на 2 июня 1943 г.: «Видел во сне медальоны — в одном фотокарточка С. П. — лежит с полуоткрытым ртом: это когда в гроб кладут, снимают. Я выкрал медальон, чтобы после посмотреть: не хотелось показывать. / Сегодня принесли от доктора извещение: est morte d'hémorragie cérébrale» (*Ремизов А. М.* Листок из дневника 1943 г. — *ГЛМ.* Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 1336. Л. 114).

С. 556—557. *...из Sainte Anne схоронилась...* — Речь идет о парижской больнице (Centre Hospitalier Sainte Anne), находящейся по адресу: Rue Raymond-Losserand, 185c, 14-e Arrondisment.

С. 557. *кладбище Bagneux* — Cimetière parisien de Bagneux — кладбище на юго-востоке Парижа. В мае 1943 г. на этом кладбище была похоронена С. П. Ремизова-Довгелло. Позже ее прах был перенесен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (Sainte-Geneviéve-des-Bois).

...в последний год войны, в августе мы жили в Ессентуках, пришло известие о смерти ее матери... — В 1917 г. со 2 по 23 августа Ремизовы лечились в г. Ессентуки в санатории доктора М. С. Зернова. Екатерина Александровна Довгелло (Довкгело) скончалась в августе 1917 г.

...письма на бумаге, подарок «Берлиоза»... — «Берлиоз» — прозвище друга Ремизова, профессора консерватории, пианиста Петра Марковича Костанова. В кн. «Мышкина дудочка» он назван «учителем музыки» (*Петербургский буерак-РК X.* С. 63).

...Телепень-Овчина (его предок Иван был отцом Ивана Грозного от Елены Глинской)... — Отражение ходивших при московском дворе слухов, что царь Иван IV был рожден второй женой великого князя Московского Василия III — Еленой Глинской не от мужа, а от ее фаворита — князя Ивана Овчины-Телепень-Оболенского.

С. 557—558. *Костанов, усевшись на «Комедию»...* — Имеется в виду: усевшись на газету. «Comædia» (Paris, 1907—1944) — газета. В 1943 г. в этом издании были опубликованы переводы прозы Ремизова: La bague de grand-mere // Comoedia. 1943. 7 aout. № 110; Le bouquet // Comoedia. 1943. 7 aout. № 110; Le remiz // Comoedia. 1943. 5 juin. № 101.

С. 558. *Гуммиарабик* — клей, основанный на прозрачной смоле, состоящей из сока различных видов акаций.

С. 559. *Синичка* — река, левый приток Яузы, в районе Лефортово г. Москвы. Ныне река полностью заключена в коллектор.

«Я помню, кто-то повел меня за руку, со свечой в руках, показал мне какого-то огромного отвратительного тарантула ~ и смеялся над моим негодованием». — Цитата с незначительными лексическими и пунктуационными разночтениями из романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1869).

С. 559. *...потом я подсчитаю, 1075 ночей «ночного дежурства» без перерыва...* — См. письмо Ремизова Н. В. Зарецкому от 18 августа 1943 г.: «Я мало выхожу. <...> Три месяца я писал. Теперь буду переписывать, называю “Из пролога” — о наших последних днях и годах. Я провел 1075 ночей дежурства без перерыва, Вы представляете, в каком я виде. Три года не писал. Я почти ничего не ем: или не хочется, или не хочется для себя готовить. До сих пор не разобрался ни в книгах, ни в рукописях, и не хочется мне на кухне торчать» (Literární archive Památníku národního písemnictví v Praze. Pozůstalost Nikolaj Vasiljevič Zareckij).

С. 560. *«La nuit de Mai»* (*фр.* «Майская ночь») — поэма Альфреда де Мюссе (1835).

...«куда мне теперь идти?» — цитата из стихотворения Андрея Белого «Я вышел из бедной могилы...» (1907).

С. 560—561. *И я иду по зеленой дороге — зеленая земля кусками влажная — «сырая» ~ И откуда ни возьмись Анненков, в руках зеленая папка: рисунки к «Ревизору». ~ в ее глазах ~ сверлящий укор. И проснулся.* — Ср. запись в дневнике Ремизова от 13 мая 1943 г.: «Во сне видел Анненкова; горы, зеленая дорога, зеленая земля, присел отдохнуть, куда-то ехать надо — трамваи, но это не наши, нам в другую сторону, и тут Анненков показывает картинки к “Ревизору”» (*Ремизов А. М.* Листок из дневника 1943 г. — *ГЛМ.* Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 1336. Л. 114).

С. 561. *Église d'Auteuil (Église Notre-Dame-d'Auteuil)* — церковь в XVI округе Парижа, расположена на place de l'Église-d'Auteuil.

В четверг 13 мая ~ в общей палате № 5 ~ скончалась Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, проведя одну ночь вне дома... — См. дневниковую запись Ремизова от 12 мая 1943 г.: «Трепетно было смотреть, когда вносили в амбюланс и, должно быть, на лице у меня был этот трепет. Ан<на> Н<иколаевна> меня погладила. Все слышу ночной разговор — нет такого в литературе, разве у Иова, и ни один актер не передаст интонации: “Господи, спаси меня, помоги, помоги — — если можешь!” И из молчания: “Мне страшно”. / А около консьержки собрался народ посмотреть: кто-то со мной здоровался. / Когда мне выдали одеяло, рубашку и пуловер, в палату № 5 уж не пустили. Долго шли всякие разговоры со свидетельствами, показывал и из École Denis и записали professeur. Заходил к прачке, отдал вычистить пуловер и одеяло. А вернулся домой: дверь заперта. А там Чижов на кухне посуду моет: он догадался, что что-то произошло и стал ждать. Обещал заходить. А потом Зеелер, я попросил его достать туфли № 43. Умер Авксентьев, завтра панихида. Мне очень зябко и чай не помогает. Когда камуфлировал, посмотрел — виден флигель и вижу палату № 5 в уголку кровать. Бьет 11 часов» (*Ремизов А. М.* Листок из дневника 1943 г. — *ГЛМ.* Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 1336. Л. 114).

С. 562. *...Пелагея Ивановна — это видение из блоковской «Незнакомки» — с ней и с ее семьей у нас много прожито...* — Воспоминание о знакомстве с семейством Терещенко в Петербурге и о совместном с ними и с А. А. Блоком участии в организации издательства «Сирин». См. подробнее: *Лавров А. В.* «Сирин» — дневниковая тетрадь А. Ремизова / предисл., публ. и прим. А. В. Лаврова // Алексей Ремизов: Исследования и материалы. СПб.; Салерно, 2003. С. 229—248.

Эмпермеабль (*фр.* imperméable) — плащ.

...подарок первого танцовщика Операׁ... — т. е. С. Лифаря.

...я вспомнил — очень давно это было, в Пензе... — Ремизов находился в Пензе под гласным надзором полиции с ноября 1896 по март 1898 г.

Крокмор (*фр.* croquet-mort) — факельщик.

С. 563. *...когда-нибудь в веках при встрече вдруг вспомнит и узнает.* — Отсылка к последним строкам стихотворения М. Ю. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...» (1841): «И смерть пришла: наступило за гробом свиданье / Но в мире новом друг друга они не узнали». В принадлежавшем Ремизову 1-м томе Полного собрания сочинений М. Ю. Лермонтова в 4 т. (Берлин: Слово, 1921), хранящемся в архиве Е. Д. Резникова (Париж), данное стихотворение заложено бумажной закладкой.

...в нижней церкви на Рю Дарю отпевание. — Свято-Александро-Невский кафедральный собор (Cathédrale Saint-Alexandr-Nevsky, 12 rue Daru). Архитекторы — Р. И. Кузьмин, И. В. Штром. Строился в 1847—1861 г.

...хор Афонского... — имеется в виду парижский Митрополичий хор (регент — Н. П. Афонский).

С. 564. *...как Раскольников свое «убивец».* — Отсылка к эпизоду романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», в котором неизвестный мещанин так назвал главного героя романа, обличая его в совершении преступления (Ч. 3, гл. 6).

...«вырыта заступом яма глубокая». — Цитата из стихотворения И. С. Никитина «Вырыта заступом яма глубокая...» (1860).

...без всякого бодлеровского жгута веревок... — отсылка к стихотворению в прозе Ш. Бодлера «Веревка» (1864).

«Ослопная» свеча — церковная свеча, выносимая церковнослужителями или диаконами во время богослужения: выходов большого и малого, чтения Евангелия на литургии и во время каждений диаконом на всенощном бдении.

...бросил <...> русскую землю, берегли 22 года, из Таврического сада... — упакованная горсть родной земли была передана чете Ремизовых их близким другом, библиотекарем Публичной библиотеки Я. П. Гребенщиковым при их отъезде из Петрограда в августе 1921 г.

См. в ремизовском некрологе Гребенщикову: «Яков Петрович, при нашем горестном расставании вы принесли и дали нам в наш страннический путь “русскую землю” из Таврического сада» (*Петербургский буерак-РК X*. С. 371).

С. 564. *Прощаясь, я подумал: «теперь и у меня земля под Парижем», правда, на пять лет...* — В мае 1943 г. С. П. Ремизова-Довгелло была похоронена на кладбище Баньё (Cimetière parisien de Bagneux). Позже прах жены Ремизова был перенесен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (Sainte-Geneviéve-des-Bois). Согласно правилам французских кладбищ, в случае прекращения оплаты после определенного срока могила упразднялась и место захоронения использовалось для нового захоронения. За определенную внесенную сумму захоронение приобретало статус «навечно» и не подлежало уничтожению. После 5 лет оплата за новый срок была произведена друзьями и меценатами Ремизова — И. В. и Н. В. Кодрянскими. См. благодарственное письмо Ремизова И. В. Кодрянскому от 21 (8) сентября 1947 г. «Кланяюсь Вам за Серафиму Павловну. <...> Резниковы вернутся в среду 24-го и кто-нибудь зайдет ко мне и я передам 10.000 frs. внести за могилу» (*Кодрянская 1977*. С. 82). Сумму денег, необходимую для сохранения постоянного захоронения, также заплатили Кодрянские. См. также трагикомическое обыгрывание понятия «своя земля под Парижем» в значении «могила» в книге Ремизова «Учитель музыки», в эпизоде бреда сумасшедшего русского эмигранта: «Иван Федорович <...> проходя мимо консьержки, первой объявил ей, что скупил все кладбища Парижа <...> дана ему власть: обеспечив место русской эмиграции <...> он нашел средство и обеспечить место всей Франции <...> от полюса до полюса — Могилевская губерния — я всем обеспечил место!» (*Учитель музыки-РК IX*. С. 431—432).

С. 566. *Сомье* (*фр.* sommier) — кушетка.

И хотел записать в дневнике ~ взял я эту тетрадку и остановился: писать больше некому. — Ср. дневниковую запись Ремизова от 13 мая 1943 г.: «Больше и писать некому. Померла Серафима Павловна» (*Ремизов А. М.* Листок из дневника 1943 г. — *ГЛМ*. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 1336. Л. 114).

...я заглянул на последнюю страницу этой «Отходной». Рисунок: лежу, как в гробу и подпись ~ крылья у нее сырые». — Точное описание рисунков и незначительно исправленное воспроизведение надписей в тексте «Моя отходная» см.: *Ремизов А. М.* Моя отходная. С. 505.

И попался листок, не моя рука: «приход-расход» ~ и вижу на «приходе» первым мое обручальное кольцо написано — 500 франков. — Впоследствии ряд сохранившихся документов были собраны Ремизовым в тетрадь — рукописный альбом «“1943—1948. Пятилетие со смерти Серафимы Павловны”. Сборник памяти С. П. Ремизовой-Довгелло»

(*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 313). Данный листок в состав альбома не входит.

С. 566. *И в глазах: старая тесная Всесвятская церковь ~ не жаркое лето, а «веселый май», все золотое, колыхаясь, несут к могиле гроб...* — Изложение текста сна в ночь с 7 на 8 декабря 1943 г. Ср.: «И в глазах: старая тесная Всесвятская церковь, горячее июньское утро — все золотое — старинные распевы — венчались в единоверческой церкви. Хождение вокруг аналоя посолонь — <2 нрзб.>, красное вино —мы венчались в единоверческой церкви. И как один кратчайший миг, и снова вижу: яркое солнце, но не жарит, — "веселый месяц май" — все золотое, медленно несут к могиле гроб» (*ДМ-I*. С. 54). *«Веселый месяц май»* — цитата из баллады А. К. Толстого «Сватовство» (1871).

С. 567. *«Детская»* (1872) — вокальный цикл М. П. Мусоргского.

В глубокие сумерки, проходя по коридору, я вдруг почувствовал у дверей покинутой комнаты что-то загораживает мне дорогу ~ тень ~ рассмеялась. — Ср. дневниковую запись Ремизова от 25 мая 1943 г.: «В глубокие сумерки, задумавшись, проходил я коридором и около комнаты С. П. вдруг почувствовал препятствие и невольно поднял руки, чтобы не наткнуться» (*ДМ-I*. С. 38).

С. 567—568. *И вижу, на белой двери через коридор тень — моя тень, и вдруг увидел: другая тень, она крылом покрывала меня, чернее моей. На третий день я получил в госпитале крестик и завернутые в головную сетку, четыре платка и белый гребень ~ все, что осталось.* — Ср. дневниковую запись Ремизова от 26 мая 1943 г.: «Получил из больницы крестик и головную косынку — завернут гребешок и шпильки, ложечку — и это все. В ночной час, войдя из кухни в кукушкину, зажег лампу на столе, обернулся и увидел на двери противоположной комнаты две тени » (*ДМ-I*. С. 38).

С. 568. *...когда я погасил лампу и лежал, не закрывая глаз, вдруг над столом осветилось — и белый блестящий шар, вспыхнув, погас.* — Ср. дневниковую запись Ремизова в ночь с 6 на 7 июня 1943 г.: «Около 2-х ночи, после чтения я погасил электрич<ество> и лег — и когда я приладился и хотел закрыть глаза, вдруг взблеснула искра над столом» (*ДМ-I*. С. 38).

Комната с бисерной стеной ~ Чижов с Бутчиком ~чего-то они боятся ~ она в белом ~ вижу ее, как издали, и не подаст голоса. — Ср. запись сна Ремизова в ночь с 14 на 15 июня 1943 г.: «В первый раз видел во сне С. П. в белом. В ее комнате огромное окно и видно зарево. Мы оба в этой комнате, но странно, ее я вижу. Хоть и рядом с собой, а как будто на дальнем расстоянии: лицо "в общих чертах". А в другой комнате Чижов с каким-то неизвестным, они чего-то боятся» (*ДМ-I*. С. 38). Первое ночное «явление» С. П. почти точно совпадает с месячным сроком со времени ее смерти (13 мая).

С. 568. *...она в белом и вся светится: платье, лицо и руки ~ глаза и улыбка — в розовом блеске, такой блеск я помню у Рублева.* — Сравнение «лика» явившейся ночью С. П. с красками ликов Андрея Рублева не могло быть результатом реального воспоминания писателя, так как «Троица» Андрея Рублева (реставрация 1904 г., затем 1918–1919 гг.) стала полностью доступна для обозрения уже после поступления иконы в Государственную Третьяковскую галерею (1929). Возможно, ассоциация «розового блеска» с иконописным творчеством Андрея Рублева могла возникнуть как воспоминание о статье Н. Пунина «Андрей Рублев» (Аполлон. 1915. № 2. С. 1–25). Эта статья, открывавшая журнал и сопровожденная черно-белыми репродукциями работ Андрея Рублева и произведений иконописцев его времени, имела манифестный характер и была стилистически характерным для эпохи Серебряного века панегириком иконописцу, воплотившему мистико-философское и панэстетическое понимание символической сути Божественного света. «Рублев не знал в своих композициях источника света, но освещал лики сообразно с моделировкой и манерой вохрения. <...> В иконе <“Св. Троица”. – *Ред.*> нет ни движения, ни действия, — это триединое и неподвижное созерцание, словно три души, равной полноты духа или ведения, сошлись, чтобы в мистической белизне испытать свое смирение и свою мудрость перед жизнью, ее страданиями и ее скорбью. <...> В этом словно все время нарастающем движении линий, в невозмущенной тишине душевного мира, в безболезненно чистом созерцании одиноких и остро-печальных ликов вычерчивается незаметными, едва ощутимыми линиями индивидуальная сущность каждого из трех посланцев неба; пусть это — одна душа, но у нее три формы, и она трепещет по-разному в этих формах, подобно тому как свет месяца по разному трепещет в приходящих и уходящих волнах. Это тончайшее разделение внутренне и внешне связанных состояний духа в сущности и есть художественное содержание иконы, ее тема, ее идея, идея совершенно исключительная по глубине и крайне сложная в выражении» (Там же. С. 18, 19). Вероятно также, что Ремизов имел возможность ознакомиться с текстом статьи И. Грабаря «Андрей Рублев» (1926): «Краски «Троицы» являют редчайший пример ярких цветов, объединенных в тонко прочувствованную гармонию взаимоотношений. Построенная на сочетании легких оттенков розово-сиреневых (одежда левого ангела), серебристо-сизых, тона зеленеющей ржи (гиматий правого ангела), золотисто-желтых (крылья, седалища), цветовая гамма “Троицы” неожиданно повышается до степени ярчайших голубых ударов, брошенных с бесподобным художественным тактом и чувством меры на гиматий центральной фигуры, несколько менее ярко на хитон правого ангела, еще слабее на хитон левого ангела и совсем светло, нежно-голубыми, небесного цве-

та, переливами — на «подпапортки» ангельских крыльев. В центре композиции получила свое разрешение и борьба света и тени — в белой скатерти стола и темно-вишневом хитоне среднего ангела, являющегося узлом всей композиции. *Лица и руки написаны плотно, в светло-желтоватых, с розовым отливом, оттенках* <курсив наш. — *Ред.*>, с типичными суздальскими зеленоватыми «санкирями» теней» (*Грабарь И.* Андрей Рублев // Вопросы реставрации. 1926. № 1. С. 74). Внесенное в процессе переработки реальной записи сна в текст *ВРБ* сравнение явившегося Ремизову образа С. П. с эффектом Божественного света, отображенного на ликах икон Андрея Рублева, связано с начавшимся почти сразу же ее кончины процессом сакрализации образа супруги в творчестве писателя. О доминантном значении творчества Андрея Рублева в русском культурном сознании и мифологизации его наследия см.: *Нерсесян Л. В.* Рублев до Рублева: Образ Андрея Рублева в русской культуре до открытия его подлинных произведений // Cahiers du Monde russe. 2012. Avril-septembre. 53/2—3. P. 441—452. См. также ст.: *Поляков Ф.* «В розовом блеске» Алексея Ремизова: память культуры и ритуал поминовения // Studies in Honor of Ronald Vroon. From Medieval Russian Culture to Modernism / ed.: Lazar Fleishman, Aleksandr Ospovat, and Fedor Poljakov. Frankfurt am Main [et al.], 2012. P. 151—161. (Russian Culture in Europe; 8).

С. 568. *Введенские горы (Лефортовский холм)* — в Москве возвышенная местность на берегу реки Яузы, надпойменная терраса с крутыми склонами, изрезанными оврагами. Расположена на границе районов: Лефортово Юго-Восточного административного округа и Басманный Центрального административного округа.

...у бессрочных в 1-м... — имеются в виду могилы, оплаченные родственниками на их бессрочное сохранение.

С. 569. *Только в эту ночь, в первый раз за все 40 ночей вдруг слышу — так ясно и просто зовет* <...> *я подумал: «вот однажды на оклик проснусь, и все, что было, окажется только сон был».* — Ср. запись сна в ночь с 2 на 3 июня 1943 г.: «Ночью в 3 ч<аса> вдруг услышал оклик С. П. “М-а!” — ласково. И уже спал после. А вдруг это сон, и я проснусь, и все как было в жизни, вернется» (*ДМ-I*. С. 39).

Под огненной потравой — *Потрава* — разорение, порча травы, посевов животными или птицами. Возможно, название главы восходит к рассказу «Повести временных лет» о четвертой мести княгини Ольги, уничтожившей дома древлян с помощью «огненной потравы» — птиц, к лапам которых были привязаны зажженные труты.

Глазатая память моих «подстриженных глаз» опасна... — См. декабрьскую дневниковую запись Ремизова в ночь с 25 на 26 декабря 1943 г.: «Я вдруг понял, почему я все эти 8 месяцев всякую ночь пробуждаюсь и не могу заснуть. Так лежу с час и больше. Это мои гла-

за — моя память. Я вижу С. П. в мертвецкой. И этого я никогда не изживу. / Еще я помню отца в гробу во время отпевания, помню пожар Сахарного завода и все, что поразило меня, и разница в том, что то (и пожар и отец и собачонка Розик и какая-то женщина на углу 14 л<инии> В<асильевского> о<строва> — в «Взв<ихренной> Руси») живо в моей памяти, возникает и пропадает» (*ДМ-I.* С. 56). См. также развернутую переработку этой записи на соседнем листе дневниковой тетради: «Мои “подстриженные” глаза — это дар мой, мое богатство, но и большая опасность. Их память может закрыть весь свет. / Как о <1 нрзб.> / Память об отце / — о Розике / — О женщине с 14 л<инии> и многих еще. / И вот мертвецкая. / Я перестал спать и есть. Только что лягу — все перед глазами. / И дошло, кажется, до последнего — больше нет выхода. И вдруг я вспомнил о моем слухе: для равновесия моей близорукости у меня с годами развился слух, кажется, если бы приложил ухо к земле, я слышал бы отдаленные шаги. Когда-то из зрительного зала я различал замечания режиссера, на концерте Шаляпина в последний раз с верхов <1 нрзб.>, я слышал всю его живописную острастку хору. Стало быть, надо что-то вспомнить, живое — голос, слово. Пожар ли говорил тогда глазу, отца я видел 1 р<аз> в моей жизни. Розик только смотрел на меня, та женщина на углу 14 л<инии>, она шепталась с какой-то и я видел только слезы. И вдруг вспомнил и это было совсем в канун смерти. Моя <2 нрзб.> дар “N<ouvelle> R<evue> F<rançaise>”. С. П. всегда беспокоилась, когда я уходил, но на этот раз особенно и всегда повторяла, крестя: “Христос с тобой, Христос”. Это было сказано твердо, устало и с какой-то болью. И вдруг зазвучало мне так живо, и <2 нрзб.> живой образ и повторял, как тогда: “Хр<истос> с т<обой>, Хр<истос>”. И мертвые те <1 нрзб.>, а покров туман<?>. И я до конца дней буду слышать этот голос, и с ним живой образ не меркнет. / А образ С. П. стоит в глазах с болью, нет не с укором, а “жалко”, первое (пятница) *торжествует* спокойно, а в субботу — *“жалко”*, а в воскресенье, пожалуй, *грозно.* / Режу на тоненькие ломтики вареную говядину в суп положить. Очень жидкий у нас суп, ничего не плавает, просто одна вода. Но когда я разрезал весь кусок, а было порядочно — по тикетке 90 грамм — и вот уж надо класть в кастрюлю, вдруг вспомнил, что еще вчера я съел весь кусок, суп-брандахлыст и нечего класть, так и оставил суп-брандахлыст. Очень у нас суп жидкий. Но когда я нарезал полную тарелку и хотел уже в кастрюлю класть, вдруг вспомнил, что еще вчера съел весь кусок и класть-то мне в суп нечего. Так на брандахлысте и проснулся. Так и проснулся — класть нечего. / Когда я увидел, что я потерял. / И вдруг услышал: “Х<ристос> с тобой, Хр<истос> с тобой”. И все слышу голос. Провожает меня. “Дам тебе я на дорогу образок святой. Ты его, моляся Богу, ставь перед собой”.

С какой это говорилось верой и как крепко. Какая сила исходила от этих слов, это как щит поднимать на стене» (*ДМ-I.* С. 56). См. также комм. к тексту этой записи (*ДМ-I.* С. 308).

С. 569. *...немудрено и «изойти».* – Отсылка к рассказу Ремизова «Изошел» (1919), герой которого, затосковав, кончает жизнь самоубийством.

Из какого далека глядит на меня Розик ~ И эти слезы, не иссякая, кипят в моих глазах. – Эпизод с Розиком впервые изложен Ремизовым в романе «Пруд» (*Пруд-РК I.* С. 182).

С. 570. *Она стоит на углу 14-ой линии ~ И этот свет сияет в моих глазах.* – Имеющий автобиографическую основу эпизод отражен в «Дневнике 1917—1921 гг.» Ремизова, а затем в книге «Взвихренная Русь» (*Взвихренная Русь-РК V.* С. 237—238).

С. 571. *После трех лет невольной передышки я набросился писать. ~ И пока я писал, я видел перед собой живого человека ~ но как только я кончил и тотчас очутился в мертвецкой. ~ Мертвое лицо неотступно в моих глазах.* — Ср. в ранней редакции «Сквозь огонь скорбей»: «После смерти С. П. я взялся писать мою память и шесть месяцев писал, не прерывая мысли. И пока я писал, я видел перед собой живого человека, слушал его и отвечал ему. Но как только кончилась моя работа, я почувствовал себя заключенным в мертвецкой: дверь за мной закрылась, и уж выйти не было ни сил, ни надежды. В моих глазах неотступно костенело одно мертвое лицо» (*Ремизов А. М.* За зеленой оградой. – *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 64. 97—98). См. также воспоминания Н. В. Резниковой: «Во время, последовавшее за кончиной С. П., А. М. не думал, что он ее надолго переживет. Лишенный сна в течение долгих месяцев, он отсыпался и лихорадочно работал, стараясь что-то закончить, написать, привести в порядок. За это время им написаны “Мышкина дудочка” и “Сквозь огонь скорбей” — описание последних дней С. П.» (*Резникова 2013.* С. 81).

Перед сном, лежа, я читал часа два. ~ Но как только погашу свет, я попадаю в мертвецкую ~ Только под утро провалюсь в сырую яму мутного сна. И целый день потом брожу заморенный... — См. записи снов в дневнике Ремизова 1943 г.: «24—25 X Не помню. / 25—26 X Не помню. / 26—27 X Что-то все считаю, считаю, считаю» (*ДМ-I.* С. 49—50).

С. 572. *«Да, эта красная влага, которою была пропитана рыхлая обертка поданных мне бумаг, была не что иное, как «кровавый пот» ~ Это видеть ужасно!».* – Неточная цитата из рассказа Н. С. Лескова «Владычный суд» (1876). См.: *Лесков Н. С.* Собр. соч. В 11 т. М., 1957. Т. VI. С. 111. См. также запись в дневнике Ремизова, относящуюся к ночи с 24 на 25 декабря 1943 г.: «“Кровавый пот” (Есть и у Лескова)» (*ДМ-I.* С. 56).

С. 572–573. *«Кто никогда не видел этого кровавого пота ~ а какой-то кровавый исторический символ».* – Неточная цитата из рассказа Н. С. Лескова «Владычный суд» (см.: *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. VI. С. 111).

С. 573. *Ай-и люли да ще люли ~ Во червоных во чоботех...* — вариант украинской святочной песни. Ср.: «Э! э, э, люли! / Налетели гули; / Сели на воротех, / У червонных чоботех; / Воротечки скрип, скрип, / Дитя мое спит, спит...» (*Пассек В.* Малороссийские святки // *Пассек В.* Очерки России. М., 2014. С. 175).

Он провел рукой по горячему лбу, не стирая розовых блестков... — фиксация реального состояния Ремизова. См. дневниковую запись в комм. к с. 572 наст. тома.

Петербург ~ над опустелой детской кроваткой (Наташа не с нами). – После 1906 г. дочь Ремизовых – Наташа постоянно жила в имении родных С. П. Ремизовой — в селе Берестовец Борзненского уезда Черниговской губернии. См. в воспоминаниях Н. В. Резниковой: «Девочка привыкла к семье матери и к привольной жизни в имении, где она стала <...> кумиром всего дома: бабушки, теток, доброго дяди Сережи, прислуги. <...> Год за годом им становилось все труднее и труднее брать к себе дочку, преодолевать сопротивление родных. <...> Разрыв, повлекший за собой разлуку с дочерью, произошел так: С. П. приехала в Берестовец одна, она привезла Наташе куклу. Кукла не понравилась избалованной девочке, она отвернулась от подарка и от матери. <...> С. П. приняла очень близко к сердцу движение девочки и со свойственной ей горячностью заявила, что у нее нет больше дочери. Она вернулась в Петербург одна, в слезах. <...> О своих собственных чувствах А. М. не говорит, он глубоко прятал их. Но стоит только вчитаться в сказки и в небольшие рассказы "Посолони", <...> чтобы понять, что не одна С. П. страдала при виде пустой кроватки» (*Резникова 2013.* С. 69–70).

«Нувель Ревю Франсез» («La Nouvelle Revue française», сокр.: NRF) – французский литературный журнал и одноименное издательство. Основано в 1908 г. С 1911 г. — издательство Галлимар (Gallimard). С 1944 по 1953 г. журнал не издавался в связи с обвинением в коллаборационизме. В годы войны опубликовал перевод отрывка из кн. Ремизова «Подстриженными глазами»: Le pauvre Yorik / trad. P. Paskal // La Nouvelle revue francaise. 1943. № 351. P. 578–587. С 1925 по 1940 г. и с 1953 по 1968 г. (вместе с Марселем Арланом) главным редактором был Жан Полян (Jean Paulhan). О контактах Ремизова с редакцией *NRF* в годы оккупации см. в воспоминаниях Н. В. Резниковой «В годы войны А. М. сохранил связь с редакцией и, несмотря на болезнь С. П. и почти непреодолимую трудность сообщений, он иногда, частью пешком, добирался до улицы Себастьян Боттэн. Ремизова

знали в редакции "Нувель Ревю Франсэз" и ценили его, но ему иногда приходилось подолгу ждать приема. Ему покровительствовал редактор, писатель Дриё ля Рошель, сложный и изломанный человек. Душевная опустошенность и разочарование во Франции – по его мнению, Франция после войны 1914 года находилась в состоянии упадка – толкнули его на "сотрудничество" с немцами в 1940 году. В конце войны он застрелился» (*Резникова 2013*. С. 178–179).

И вдруг с необыкновенной силой, горячо и крепко и с какой-то едкой болью, точно отрывая живое, повторила, трижды перекрестя большим крестом, по-русски: «Христос с тобой!» – Переработка текста дневниковой записи. См. комм. к с. 808 наст. тома.

ЗАДОРА

С. 575. *Задора* – польский дворянский герб. В голубом поле львиная голова по гриву, а из открытой пасти выходит пламя. Та же львиная голова повторяется в нашлемнике.

Трокский воевода... – Явнуло (Евнут Волимонтович) был первым Трокским воеводой (1413–1432). Трокское воеводство – административно-территориальная единица Великого Княжества Литовского, была образована в 1413 г. с центром в г. Троки (Тракай). Должность трокского воеводы по значению уступала только виленскому воеводе.

...староста Виленских замков... – Староста – руководитель администрации в повете, административной единице Великого княжества Литовского. Старосты несли ответственность перед правительством и великим князем за состояние дел на вверенной им территории, осуществляли суд над местным населением. Особая функция старост – следить за состоянием замков как защитного пункта, в котором можно держать оборону во время войны.

Явнуло – с него и начинается родословие... – ошибка, исходящая, по-видимому, из семейного предания Довгелло: Ремизов смешивает двух лиц с похожими именами: трокского воеводу Евнута Волимонтовича (ок. 1380–1432) и Евнутия (Явнутий, в православном крещении Иван; ок. 1310 – после 1366) – великого князя литовского, князя изяславского, младшего сына великого князя литовского Гедимина.

...держал сторону Ягайлы в войне с Кейстутом... – Великий князь литовский Ягайло в 1382 г. был свергнут с престола своим дядей Кейстутом, проводившим политический курс на сближение с Москвой на антиордынской основе. Но Ягайло не отказался от борьбы и в 1382 г. вернул себе великое княжение при военной помощи Тевтонского ордена и дипломатической поддержке Орды. Кейстут был заключен в Кревский замок, где, по показанию одних источников, в припадке отчаяния сам на себя наложил руки, а согласно другим источникам – был задушен по приказанию Ягайло.

С. 575. *...крестился в 1386 г. в Кракове...* — ошибка Ремизова, см. выше. В 1386 г. в Кракове крещение принял великий князь литовский Ягайло при вступлении на польский престол под именем Владислава II Ягелло.

...как все литовцы, исповедывал веру друидических кельтов. — На восприятие Ремизовым истоков литовского язычества, по-видимому, повлияло знакомство с книгой «Ирландские саги» (Л., 1929; пер. и комм. А. А. Смирнова) и изучение друидизма в связи с началом работы в 1950 г. над переработкой легенды о Тристане и Изольде.

Костел св. Михаила — римско-католический храм, расположенный в историческом центре *Вильнюса,* памятник архитектуры с переходными чертами от готики к ренессансу и родовая усыпальница Сапег. Строился с 1594 по 1625 г.

Хорунжий — войсковая должность, также воинское звание в Великом княжестве Литовском. Первоначально слово «хорунжий» означало знаменосец. С XIV—XV вв. полковой или поветовый хорунжий — выборный войсковой руководитель, собиравший ополчение одного повета, которое называлось хоругвью, так как имело собственное знамя — хоругвь.

...участвовал в войне Сигизмунда против Свидригайлы... — в 1431—1435 гг. между Сигизмундом Кейстутовичем и Свидригайлом Ольгердовичем произошел вооруженный конфликт в борьбе за литовский престол. В 1430 г., после смерти великого князя литовского Витовта, русская партия Литвы провозгласила Свидригайло великим князем литовским, что было признано и правившим в Польше Ягайлом. Свидригайло сразу же стал вести себя как самовластный правитель, чем и вооружил против себя Ягайла и польских панов, опираясь на которых стародубский князь Сигизмунд Кейстутович в 1432 г. восстал против Свидригайло и захватил всю литовскую часть Литовско-русского государства. В 1435 г. Свидригайло был разбит наголову на реке Святой около Вилькомира и в течение нескольких лет скитался в Венгрии и Валахии.

...получил прозвище «Довгелес», что значит «великомогучий». — Ср.: «Серафима Павловна Ремизова-Довгелло — из твердого, как скала, литовского рода, получившего имя “довгалес”, что значит “могучий” (*Ремизов А. М.* Надгробное слово на похоронах С. П. Ремизовой-Довгелло. — *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1336. Л. 118. Далее: *Ремизов. Надгробное слово* с указанием листа).

Виленский кастелян (правильно: каштелян) — второе по значимости должностное лицо после воеводы в Виленском воеводстве Великого княжества Литовского. Каштелян отвечал за военное дело в воеводстве, предводительствуя ополчением, состоящим из частных боярских

войск, мог назначать городскую администрацию, следить за хозяйством, исполнять судебные и военные функции.

С. 575. *Гетман литовский* — руководитель вооруженных сил Великого княжества Литовского.

Смерды — социальный слой славянского общества раннего Средневековья. Со временем словом «смерд» стали называть сельских жителей. Впоследствии смерд — презрительное обозначение крепостного крестьянина, простолюдина.

Село Берестовец Борзенского уезда Черниговской губернии — в настоящее время — село Берестовец Борзнянского р-на Черниговской обл. Украины. Первое упоминание о Берестовце относится к 1690 г. Село входило в состав Нежинского полка Гетьманщины.

Батурин — город, расположенный в Бахмачском р-не Черниговской обл. Украины. В 1669—1708 гг. и в 1750—1764 гг. являлся резиденцией гетманов Левобережной Украины.

С. 576. *На селе старинный замок, по восточному, с башнями.* — В архиве Ремизова сохранился любительский рисунок акварелью, изображающий замок с двумя башнями. Подписано рукой Ремизова: «Дом Довгелло. Село Берестовец Борзенского уезда Черниговской губ., где прошло детство Серафимы Павловны» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 295).

В одной из башен архив и библиотека. — Как свидетельствует внук Ремизова, наличие книжной башни в имении во времена детства Серафимы Павловны представляется сомнительным (*Бунич-Ремизов*. С. 369).

Батуринский дворец — дворец последнего запорожского гетмана Кирилла Разумовского (сер. XVIII в., арх. А. В. Квасов, перестроен в 1799—1803, арх. Ч. Камерон). В настоящее время включен в комплекс Национального историко-культурного заповедника «Гетманская столица» в г. Батурин (Украина).

Королевские привилегии — жалованные грамоты, дававшиеся королями в Польше и Великом княжестве Литовском (с конца XIV в.) отдельным лицам или сословиям (духовенство, шляхта, горожане) и закреплявшие их права и привилегии.

Позов (укр.) — документ, который предъявляется истцом в суд в установленной законом форме и содержит требование о принудительной защите нарушенного права или интереса.

Формулярные списки — послужной список, в который вносились все сведения о прохождении службы чиновниками и государственными служащими; форма систематического и регулярного учета всего чиновничества, существовавшая в Российской империи с середины XVIII в. до 1917 г.

С. 576. *Сговорные* — сговорные записи — условия брака и роспись приданому.

Заменочные письма — одна из разновидностей купли-продажи земли, при которой происходил обмен земельных наделов.

...учась по-польски, разрабатываю новую руду для русского языка... — Цитата из письма А. А. Бестужева-Марлинского к матери П. М. Бестужевой от 7 декабря 1821 (*Бестужев-Марлинский А. А.* Письма к матери и др. // Памяти декабристов. Л., 1926. Т. 1. С. 30).

...«трубы словес»... — от названия сборника проповедей Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского и Новгород-Северского «Трубы словес проповедных» (М., 1674; 2-е изд.: Киев, 1679).

Лексикон словено-русский, Киев, 1627 г. (правильно: «Лексикон словенороссий альбо имен толкование») — словарь церковнославянских слов с переводом на старорусский язык составлен Памвой Берындой в 1627 г. для успешного понимания простыми людьми церковной службы.

Древняя Российская Вифлиотека (правильно: «Древняя Российская Вивлиофика») — многотомное издание исторических памятников, предпринятое Н. И. Новиковым, выходило ежемесячно в 1773—1775 гг., 2-е изд.: 1788—1791 гг.

«Сионский вестник» — ежемесячный религиозно-нравственный журнал с мистическим направлением, издавался А. Ф. Лабзиным в 1806 и 1817—1818 гг. в Петербурге.

...гетманской серебряной чарки... — По свидетельству Н. В. Резниковой гетманская чарка хранилась в семье Ремизовых в Париже (*Резникова 2013*. С. 35).

«Северные цветы» — «Северные цветы, собранные бароном Дельвигом» — литературный альманах, издававшийся А. А. Дельвигом в Петербурге в 1824—1830 гг. (альманахи на 1825—1831 годы) и А. С. Пушкиным в 1831 г. (на 1832 год).

«Полярная звезда» — «Полярная звезда. Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности» — литературный альманах, издававшийся К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым-Марлинским в Петербурге в 1822—1825 гг. Вышло три книжки: на 1823, на 1824 и на 1825 годы.

«Северная пчела» — политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге в 1825—1864 гг., издавалась Ф. В. Булгариным.

«Библиотека для чтения» — ежемесячный журнал «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод», выходивший в Петербурге в 1834—1865 гг. Издавался с 1834 г. А. Ф. Смирдиным. Редактором был О. И. Сенковский (до 1836 г. совместно с Н. И. Гречем).

«Черная женщина» — роман Н. И. Греча (1834), пользовавшийся большим успехом у читателей.

С. 576. *«Черная курица»* — волшебная повесть для детей, написанная Антонием Погорельским в 1829 г.

...«Черный год» Полевого... — ошибка Ремизова. Роман «Черный год, или Горские князья» (1829) принадлежит перу В. Т. Нарежного.

«Черные перчатки» — рассказ В. Ф. Одоевского (1838).

С. 577. *«Чернец»* — романтическая поэма И. И. Козлова (1825), написанная в форме лирической исповеди молодого монаха.

«Черные маски» — пьеса Леонида Андреева (1908).

А я бы еще подложил для «безобразия»... — Н. В. Резникова вспоминала: «Того же порядка, что и обезьяний орден, было выражение, которое я так часто слышала от А. М. в конце его жизни: “для безобразия”. Особенно, когда дело касалось убеждения или просьбы, в виде последнего довода, когда все другие доводы исчерпаны. — “Ну, для безобразия!” <...> Это “безобразие” означало: просто так, acte graduit, для игры, для смеха и улыбки» (*Резникова 2013*. С. 43).

...«Черный плащ и кинжал» Анны Крутильниковой — воображение Петербургского туриста И. А. Чернокнижникова (А. В. Дружинина). — Подразумеваются фельетоны Дружинина о похождениях Ивана Чернокнижникова — непритязательные юмористические очерки о петербургской городской и дачной жизни, составившие циклы «Заметки Петербургского туриста» (опубл.: Санкт-Петербургские ведомости. 1855—1856), «Заметки и увеселительные очерки Петербургского туриста» (Библиотека для чтения, 1856—1857), «Заметки Петербургского туриста» (Искра, 1860), «Новые заметки Петербургского туриста» (Век, 1861), «Увеселительно-философские очерки Петербургского туриста» (Северная пчела, 1862—1863). В частности, в «Заметках Петербургского туриста» упоминается «венчанная сочинительница» Анна Егоровна Крутилина и ее беллетристическое произведение, внушенное образом другого героя фельетона — Петра Петровича Буйновидова.

Трокский замок (Тракайский замок) — самый большой из сохранившихся в Литве старинных замков. Находится в древней резиденции литовских князей — в городе Тракай (*лит.* Trakai, *польск.* Troki, *рус.* Троки). Согласно легенде, основан великим князем литовским Гедимином (XIV в.). В настоящее время в замке расположен музей истории Тракая.

С. 577. *Каноник* — римско-католический соборный священник.

...она последняя от друидов, литовский извод, религии кельтов. — См. комм. на с. 812 наст. тома.

В хронике Страсбургского собора упоминается ясновидящая с Л и т в ы... — Ср. у Ремизова: «Куковников в Страсбурге не бывал, но по путеводителям все знает, знает и то, что когда-то, в старину, при Соборе жила ясновидящая из Литвы — “лаума” — пророчествовала

по-русски» (*Учитель музыки-РК IX.* С. 288). В Страсбурге в церкви Сен-Пьер-ле-Жен находится средневековая фреска «Шествие к кресту», аллегорически представляющая 15 стран, перешедших в христианство. Последней в ряду в виде златокудрой девы изображена Литва.

...в Бретани — на земле друидов. — Бретань — регион на северо-западной оконечности Франции на одноименном полуострове, омываемом Атлантическим океаном. В прошлом Бретань населяли кельтские племена, исповедовавшие друидизм — религию, состоявшую в почитании природы и требовавшую жертвоприношений в лесах. Ремизовы неоднократно проводили летний отдых в Кербелеке в Бретани.

Москва — на дне Океана. — Примерно 162 млн лет назад (конец Среднеюрской эпохи) в результате повышения уровня Мирового океана на территории нынешней Москвы и Подмосковья было море (*Стародубцева И. А., Сенников А. Г., Сорока И. Л. и др.* Геологическая история Подмосковья в коллекциях естественнонаучных музеев Российской академии наук. М.: Наука, 2008. С. 105).

...пойдут войсковые, бунчуковые и значковые товарищи Левобережной Украины. — Значковое войсковое товарищество — привилегированное казацкое сословие в Гетманщине. Было подчинено, в зависимости от ранга, лично гетману или старшине. Окончательно было выделено во время правления Ивана Самойловича и представляло собой военную аристократию. Значковое товарищество в свою очередь делилось на три разряда: бунчуковых, войсковых и значковых товарищей. Представителям этого сословия предоставлялось право неприкосновенности обычных судов, они получали в свое владение поместья и простолюдинов, пользовались социальными льготами. Бунчуковые товарищи подчинялись гетману, значковые товарищи полковнику. По указу гетмана званием войсковые товарищи награждались казаки, особо засвидетельствовавшие свою храбрость и распорядительность в боях и походах.

Шостенский пороховой завод — был создан в 1771 г. в соответствии с указом императрицы Екатерины II на месте построенного ранее по распоряжению Сената порохового завода, проработавшего с 1739 по 1742 г. В настоящее время — Шосткинский казенный завод «Звезда» (г. Шостка, Украина).

С. 578. *Оба участвовали в Севастопольской и во второй турецкой войне 1877—1878 г.* — Внук Ремизова отрицает факт участия П. И. Довгелло во Русско-турецкой войне 1877—1878 гг., так как он к тому времени «был уже в отставке и с начала 1870-х гг. занимал видное положение в Черниговской губернии» (*Бунич-Ремизов.* С. 368).

Павел Иванович в чине генерал-майора вышел в отставку... — По свидетельству внука Ремизова, чин П. И. Довгелло при выходе в отставку — майор (*Бунич-Ремизов.* С. 368).

«Он приобрел славу умного ~ не терпит дураков и мошенников». — Ср.: «Он принялся за дело усердно и внимательно и вскоре приобрел славу умного, знающего, полезного, но беспокойного человека, титул даваемый всякому, кто не терпит дураков и мошенников» (*Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л. 1930. С. 503).

Выкупные — денежные средства, которые крестьянин должен был выплатить помещику за полевой надел согласно «Положению о выкупе» в связи с Крестьянской реформой 1861 г.

Амбулянс (*фр.* ambulance) — см. комм. на с. 800 наст. тома.

...ее тащили шакалы на тот свет... — Шакал — священное животное бога Анубиса, божества Древнего Египта с головой шакала и телом человека, проводника умерших в загробный мир. В ранний период становления религии Египта Анубис воспринимался египтянами как черный шакал, пожирающий мертвых и охраняющий вход в их царство. Согласно древнеегипетской «Книге мертвых», Анубис на входе в подземное царство взвешивает сердце всякого умершего на особых весах. Ремизов читал и создал цикл рисунков к переводу древнеегипетской «Книги мертвых», где описано это сопровождение Анубисом души умершего на тот свет.

Скрученного веревками, отбивавшегося, его тащили ~ в Чернигов в Заведение для умалишенных. — Сергей Павлович Довгелло, брат Серафимы Павловны, вспоминал: «...отец заболел, его лечили в Чер<ниговском> Псих<ическом> Отд<елении>, мы тогда были маленькие, но я помню, когда мы возвращались вместе с отцом из Чернигова на почтовых лошадях. Ехали хорошо до последней станции, а выехав с последней ст<анции>, отец начал придираться к ямщику, что он не так правит, побил его, прогнал с козел и правил уже сам. Ехали мы очень быстро, помню, моя мамочка все крестилась и просила Бога спасти нас. Я помню разговоры, что отца отпустили из лечебницы, не поправившись. Дело, кажется, было так. Отец был знаком и даже приятелем старшего врача больницы Демидовича. Когда отец лечился, то бывал и на дому, и в гостях у врача. Уходил ли сам часто в город, не знаю, но раз ушел и устроил какой-то скандал. Доктор, опасаясь ответственности за то, что больные уходят из больницы, телеграфировал маме, что отец поправился и что его надо домой взять. Из болезни отца я помню массу битых стекол в зале, кажется, от бутылок, и слова: «Это деньги». / В доме, благодаря больному отцу, у нас были нелады, хозяйство запущено, в средствах нуждались. <...> Крестьяне раскрадывали днем и ночью лес, и когда кто-нибудь из знакомых говорил об этом отцу и указывал на воров, отец страшно злился на сообщающего и говорил: “Не вводите меня во искушение. Они принимают на себя мои грехи”» (*Довгелло С. П. Три осокоря.* Л. 1 об.—2).

С. 579. *Его отец, дед Серафимы Павловны, зарезался...* — «Дедушка причинил бабушке сильное горе, он зарезался бритвой, не то в припадке белой горячки, не то рассердившись на что-то» (*Довгелло С. П. Три осокоря.* Л. 1 об.).

...в «меланхолиевом черном недуге» ~ помер кн. Дм. Пожарский. — Характер заболевания князя Дм. Пожарского Ремизов позаимствовал из труда Ив. Забелина. Ср.: «Черным недугом обозначалась меланхолиевая кручина, также падучая болезнь, перемежающаяся лихорадка, вообще когда люди бывают в унынии и тягостные умом» (*Забелин Ив.* Минин и Пожарский: Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999. С. 177).

у.-о. — т. е. унтер-офицер.

Когда пели «Святейший Синод»... — в императорской России на литургии совершалось поминовение: «Помяни, Владыко Человеколюбче, всякое епископство православных, Святейший Правительствующий Синод, и святейшия православныя Патриархи». *Святейший Синод* — высший государственный орган церковного управления, создан Петром I в 1721 г., объединял высших церковных иерархов, во главе — назначавшийся императором гражданский чиновник (обер-прокурор).

С. 580. *«Не оживет аще не умрет».* — Ср.: «Безумне, ты еже сееши, не оживет, аще не умрет» (1 Кор 15: 36).

«Неделя» — русская еженедельная газета. Издавалась в 1866—1903 гг. в Петербурге.

Комиссионер — посредник в торговых сделках, выполняющий поручения за определенные проценты.

Фактор — мелкий посредник, исполнитель частных поручений.

С. 581. *...«еслиб были существа, которые бы в глубине земли жили в домах, украшенных статуями ~ есть боги и что все это величие их дело...»* — Неточная цитата из недошедшего трактата Аристотеля «О философии» в пересказе Цицерона, ср.: «Если бы существовали такие люди, — говорит он, — которые бы всегда жили под землей в хороших и ярко освещенных жилищах, украшенных статуями и картинами и снабженных в изобилии всем, что считается необходимым для счастья, если бы эти подземные люди никогда не выходили на поверхность земли, а только по слухам знали, что есть некие могущественные боги; далее, если бы в какое-то время земля разверзлась, и они, эти люди, смогли из своих подземных жилищ выйти на свет в те места, где мы живем. И тут они внезапно увидели бы землю, и моря, и небо, громады облаков, ощутили бы силу ветров, взглянули бы на солнце и познали бы как его величие и красоту, так и его силу, как оно, разлив свой свет по всему небу, образует день, а с наступлением ночи они узрели бы небо, все усеянное и украшенное звездами. Они увиде-

ли бы, как по-разному светит луна, то в полнолуние, то в ущербе. Если бы эти подземные люди понаблюдали, как все эти светила восходят и заходят, и заметили неизменность и постоянство их путей в течение всей вечности, — то, увидев все это, вышедшие из-под земли люди, конечно, решили бы и что боги существуют, и что все то великое, что им открылось, именно боги и сотворили» (*Цицерон Марк Тулий.* О природе богов // *Цицерон Марк Тулий.* Философские трактаты. М.: Наука, 1985. С. 54).

С. 581. *«Господи, прости им, не ведают, что творят».* — По преданию, апостол Иаков при принятии мученической кончины успел сказать: *«Господи, прости их! Они не ведают, что творят».* Слова восходят к призыву Иисуса Христа на кресте: «Отче! *прости им, ибо не ведают, что творят»* (Лк 23: 34).

Иван Гус ~ подложила дровец под его костер. — По легенде, во время казни Яна Гуса бедная крестьянка из благочестивых побуждений подложила вязанку хвороста в костер, на что тот якобы воскликнул: «О, святая простота!»

С. 582. *«Горе миру от соблазнов ~ соблазн приходит...»* — ср.: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф 18: 7).

«Если слепой ведет слепого ~ в яму...» — ср: «Оставьте их: они слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф 15: 14).

О смерти отца С. П. узнала ~ «опять сошел с ума». — См.: «1894 г. Отец мой вновь заболел психическим расстройством в буйной форме, дома проболел месяца 2—3 и умер» (*Довгелло С. П. Три осокоря.* Л. 2 об.).

...Серафима Павловна гетманского роду... — Как свидетельствует внук Ремизова, это фамильная легенда не подтверждается фактами. «По выходе в свет репринтного издания 4-го тома книги В. Л. Модзалевского "Малороссийский родословник" выяснилось, что предки Серафимы Павловны по материнской линии в лучшем случае лишь дальние родственники гетмана, а может быть, и просто однофамильцы» (*Бунич-Ремизов.* С. 369). Согласно родословнику, предок Серафимы Павловны Григорий Самойлович жил в с. Прохоры Борзенского уезда в конце XVII — начале XVIII века (см.: *Модзалевский В.* Малороссийский родословник. Киев, 1914. Т. 4. С. 491—495).

С. 582—583. *«Что ж, гетман? юноши твердили ~ Освободились уж полки».* — Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. IV. С. 185).

С. 583. *Семья гетмана из Сибири попала в Кострому.* — По утверждению Б. Б. Бунича-Ремизова, семья Самойловичей не высылалась в Сибирь, а проживала в своем имении в Прохорах Борзенского уезда

с конца XVII в. (см.: *Бунич-Ремизов*. С. 370). Дед С. П. Ремизовой-Довгелло Никита Павлович Самойлович родился около 1806 г. После окончания Московского университета служил старшим учителем математики в Костромской губернской гимназии, в 1844 г. получил чин коллежского советника (гражданский чин VI класса, соответствовал чину армейского полковника и давал право на потомственное дворянство) и был внесен в III часть родословной книги Костромской губернии (*Модзалевский В*. Малороссийский родословник. Киев, 1914. Т. 4. С. 493).

«Люди сороковых годов» — роман А. Ф. Писемского (1869).

Прохоры — село, расположенное на территории Борзнянского р-на Черниговской обл. Украины. Село известно со второй половины XVII в.

Префектура — территориальный орган государственной власти во Франции, отвечает за предоставление удостоверений личности, водительских прав, паспортов, резиденции и разрешения на работу для иностранцев, регистрации транспортного средства и т. д.

С. 584. *Дума* — лирико-эпическое произведение украинской устной словесности о жизни казаков XVII—XVIII вв., исполнявшееся странствующими певцами.

«Пропал ~ плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет». — Неточная цитата из повести Гоголя «Вий». Ср.: «А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет» (*Гоголь Н. В*. Сочинения. М., 2002. С. 250).

...«таинственного зайчика»... — См. одноименную главу в повести «Оля», с. 14—22 наст. тома.

С. 585. *Год рождения ~ 1880 или 1883.* — С. П. Ремизова-Довгелло родилась в 1876 г.

...«Марьино стояние» — среда пятой недели Великого поста. — Православное богослужение утрени четверга пятой седмицы Великого поста получило в народе название «Мариино, или Марьино, стояние» (в некоторых областях Украины носит название «Андреево стояние») по причине чтения за этой службой жития преподобной Марии, которое разделяется пением Великого канона Андрея Критского, к концу каждой песни которого добавляются тропари соответствующей песни канона прп. Марии Египетской.

С. 585. *Бестужевские Высшие Женские Курсы* — см. комм. на с. 678—679 наст. тома.

С. 586. *...одиннадцать месяцев одиночной тюрьмы...* — С. П. Довгелло содержалась в Доме предварительного заключения (Петербург,

Шпалерная ул., 25) с марта 1897 г. по февраль 1898 г. Заключенные содержались в одиночных камерах.

...ссылка три года ~ Вологда. — В 1900 г. С. П. Довгелло была выслана на три года в Вологодскую губернию (Устьсысольск — Сольвычегодск — Вологда).

...«действительного члена Института». — Звание, которое получали выпускники С.-Петербургского археологического института по окончании курса. С. П. Ремизова-Довгелло училась в институте в 1909—1912 гг. Подробнее об этом см.: *Россия в письменах-Росток-XIII.* С. 717—720.

С отрядом Евгениевской Общины сестер милосердия... — Община святой Евгении Красного Креста была создана в 1893 г. Комитетом попечения о сестрах милосердия Красного Креста. С началом Первой мировой войны особой мобилизационной комиссией Попечительного комитета при участии общины были сформированы лечебные учреждения, отправившиеся на фронт в течение августа-октября 1914 г.

...уехала из Петербурга заграницу. — Ремизовы выехали из Советской России 7 августа 1921 г., до 1923 г. жили в Берлине, затем в Париже.

Коля Красоткин — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879—1880).

«О, если бы я мог ~ в жертву за правду». — Цитата из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», глава «Похороны Илюшечки. Речь у камня» (*Достоевский.* Т. 15. С. 190).

В «Подростке» ~ «всемирным болением за всех». — Ср.: «У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, — тип всемирного боления за всех» (*Достоевский.* Т. 13. С. 376).

С. 587. *...воспоминания В. Г. Короленко...* — имеется в виду автобиографический роман-воспоминание В. Г. Короленко «История моего современника» (1906—1921).

В Школе восточных языков ~ по славяно-русской палеографии. — Ср.: «Принятая профессорами Буайе и Мазоном в качестве лектора в Школу Восточных языков, она впервые открыла курс славяно-русской палеографии и читала лекции с 1924 г. Сначала как “cours libre” при курсе Буайе, потом при Паскале. В списке ее учеников значатся немало громких французских имен» (*Ремизов. Надгробное слово.* Л. 118).

С. 588. *...собранием Макария...* — Имеются в виду «Великие Минеи Четьи». Были составлены по указанию митрополита московского и всея Руси Макария в 1529—1554 гг. и представляли собой свод ортодоксальной литературы, который должен был включить «все книги чтомые, которые в Русской земле обретаются». Составляли годовой

«круг чтения» почти на каждый день, каждая из 12 Миней содержит материал на один из месяцев (начиная с сентября). На протяжении столетий служили настольной книгой для широких слоев грамотного населения.

В примечании к «Наталье боярской дочери» ~ не могли бы теперь понимать. — Ср.: «Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они; но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только *некоторым образом* подделаться под древний *колорит»* (*Карамзин Н. М.* Избранные сочинения: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 639).

Аорист — временна́я форма глагола, обозначающая законченное (однократное, мгновенное, воспринимаемое как неделимое) действие, совершенное в прошлом; наиболее употребительное прошедшее время в церковнославянском языке (пример: писахъ — я написал).

Двойственное число — форма склонения и спряжения, употребляемая для обозначения двух предметов, или парных по природе (части тела и т. д.), или по обычаю. Сохранялось в церковнославянском языке.

Главные пособия — книги: А. И. Соболевского ~ Н. П. Лихачева. — *Соболевский А. И.* Славяно-русская палеография: Лекции. Изд. 2-е. СПб., 1908; *Шляпкин И. А.* Русская палеография. СПб., 1913; *Карский Е. Ф.* Очерк славянской кирилловской палеографии. Варшава, 1901; *Карский Е. Ф.* Образцы славянского кириллического письма X—XVIII вв. Изд. 2-е. Варшава, 1902; *Щепкин В. Н.* Русская палеография. СПб., 1913; *Срезневский И. И.* Славяно-русская палеография XI—XIV вв.: Лекции, читанные в Имп. С.-Петербургском ун-те в 1865—1880 гг. СПб., 1885; *Буслаев Ф. И.* Материалы для истории письма: Палеографические и филологические материалы для письмен славян. М., 1855; *Ягич И. В.* Образцы языка церковнославянского по древнейшим памятникам глаголической и кириллической письменности. СПб., 1882; *Каринский Н. М.* Славянская палеография. 2. Вопрос о происхождении славянских алфавитов. Лекции, читанные на 1 курсе в Имп. археол. ин-те в 1904/1905 учеб. году СПб., 1906—1907; *Каринский Н. М.* Образцы глаголицы. СПб., 1908; *Лавров П. А.* Палеографические снимки с юго-славянских рукописей болгарского и сербского письма. Вып. 1: XI—XIV вв. СПб., 1905; Сборник снимков с русского письма XI—XVIII вв. Часть 1-я / под ред. И. Ф. Колесникова. М., 1913; *Беляев И. С.* Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV—XVII столетий. М., 1907; Памятники скорописи, 1600—1699 гг. / под ред. В. В. Майкова. СПб., 1905; *Грунский Н. К.* Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы. СПб., 1905; *Лихачев Н. П.* Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. 1—3. СПб., 1899.

С. 588. *Одаренная необыкновенной памятью ~ и освещали древний текст.* — Ср.: «Одаренная необыкновенной памятью, она без книг приводила примеры из [веков] памятников русской письменности, отчетливо, ясно и со всем спокойствием уверенности, с XI и до XVII века, не фальшивя в интонации. / Ее голос, звучащий подобно виолончели, приковывал внимание и легко, без надрыва, передавал в память слушателей слова и фразы. Все свои лекции она читала без тетради, [лицом к] из своей глубокой памяти. И это очаровывало. А ясные ее глаза светили, как и улыбка» (*Ремизов. Надгробное слово.* Л. 118—119).

С. 588, 589. *«Рад бысть заяц, изринувшыся от тенета ~ яко святого воскресения»; «Рад бысть корабль ~ Аминь»* — формульная писцовая приписка, заимствованная Ремизовым из пособия по славяно-русской палеографии, вероятно, «Очерка славянской кирилловской палеографии» Е. Ф. Карского (Варшава, 1901). Подробнее об этом см.: *Поляков Ф. Б.* Славяно-русская палеография в Биографическом повествовании Алексея Ремизова // Germano-Slavistische Beiträge: Festschrift für Peter Rehnder zum 65. München: Geburstag, 2004. S. 473—481.

С. 589. *Румянцевский музей* — собрание книг, рукописей, монет, этнографических и других коллекций, составленное Н. П. Румянцевым и переданное после его смерти (1826) государству. Сначала находился в Петербурге, с 1861 г. в Москве. Собрание периодически пополнялось за счет приобретения коллекций частных лиц. В 1921—1927 гг. был расформирован, библиотека в 1925 г. преобразована в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина (ныне — Российская государственная библиотека).

С. 590. *Земский исправник* — в XVIII—XIX вв. руководитель уездной администрации. Входил в состав нижнего земского суда. Избирался на дворянских уездных собраниях.

Нежинский Институт — Нежинский лицей — российское мужское учебное заведение в городе Нежин Черниговской губернии. Открыт в 1820 г. как Гимназия высших наук при участии графа А. Г. Кушелева-Безбородко. Учебный курс продолжительностью 9 лет включал предметы гимназического и высшего образования.

С. 590. *Петербургское Губернское Правление* — государственный коллегиальный орган управления губернией, обладавший исполнительными и совещательными функциями.

...замужем за Федором Степановичем Отрадой — ошибка Ремизова, правильно: за Михаилом Николаевичем Отрадой (свидетельство внука Ремизовых — Б. Б. Бунича-Ремизова).

Иван Михайлович вскоре, — в мае 1843 г. — Ремизов, по-видимому, намеренно, искажает факты: И. М. Довгелло умер 30 января 1846 г.

Черная меланхолия — в русской терминологии «хандра, мрачное помешательство» — термин, обозначавший до начала XX в. один из

видов психических расстройств, приводящих к неприятным, болезненным психическим мучениям.

С. 591. *Оба брата поступили на военную службу в стрелковый батальон в полк принца Карла Прусского, в Гомеле.* — Очевидно, имеется в виду Либавский пехотный Принца Карла Прусского полк.

Оба участвовали и в Севастопольской (1855—1856)... — имеется в виду Оборона Севастополя 1854—1855 гг. — защита русскими войсками Севастополя (главной базы Черноморского флота) в Крымской войне 1853—1856 гг. между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства — с другой.

...во 2-ой Турецкой войне (1877—1878). — Война между Российской империей и союзными ей балканскими государствами, с одной стороны, и Османской империей — с другой. Была вызвана подъемом национального самосознания на Балканах.

Малороссийский Нежинский полк — административно-территориальная и войсковая единица Левобережной Украины в XVII—XVIII вв. Создан в 1648 г. В 1663 г. северная часть полка вошла в состав Стародубского полка. (В 1648—1649 и в 1654—1655 гг. выделялся Борзнянский полк с центром в г. Борзна.) В XVIII в. состоял из 22 сотен. Расформирован в 1781 г., территория вошла в Черниговское наместничество.

С. 592. *Письмо И. М. Довгелло...* — В настоящем издании фамилия дается в унифицированном варианте, в тексте писем сохраняется написание подлинника.

С. 593. *Герольдия* — учреждение, ведавшее делами дворянства, созданное при Сенате указом от 12 января 1722 г. Непосредственно подчинялась генерал-прокурору Сената. Герольдия состояла из ряда экспедиций: отыскание и причисление к дворянству, перемена фамилий, гербы; производство в чины; ревизия определений дворянских депутатских собраний.

С. 596. *Жителька* — жительница, обитательница (*укр.*).

С. 599. *Крымская желчная лихорадка* — острое вирусное геморрагическое заболевание, передаваемое инфицированными комарами.

С. 601. *Полтавский институт* — Полтавский институт благородных девиц — закрытое среднее учебное заведение, которое действовало в Полтаве в 1818—1917 гг. Выпускницы получали право на должность воспитательниц детей дворянского и духовного сословий.

Филипповки — Филиппов день — день в народном календаре славян, приходящийся на 14 (27) ноября. В этот день по деревням доигрывали последние свадьбы — заканчивали свадебный сезон перед наступлением Рождественского поста (Филипповский).

НАТАША
1904–1943
Новый человек
Из книги «Сквозь огонь скорбей»

Ремизов А. М. Наташа. 1904–1943. Новый человек. Из книги «Сквозь огонь скорбей». <1948>. Беловой автограф. (В составе: *Ремизов А. М.* Надписи на книгах и в альбом Ремизовой-Довгелло Серафиме Павловне, переписанные им в одну общую тетрадь. Книга IX. <1948>). – *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 295. Л. 79–81).

Публикуется по автографу *ГЛМ*.

«Наташа. 1904–1943. Новый человек» представляет собой набело переписанный Ремизовым автономный текст, возможно, изначально дополнявший соответствующую главу в «Сквозь огонь скорбей», но впоследствии исключенный из окончательного состава произведения. Черновых вариантов этого текста не выявлено.

С. 607. *Новый человек* — название миниатюры — восходящая к евангельской символике идиома, популярная в России с середины XIX в. и обозначающая человека нового мировоззрения. См. подзаголовок к названию романа Н. Г. Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях» (1863).

Paris 1928 / Этот документ я храню, как память... — В настоящее время оригинал письма Н. А. Ремизовой не выявлен. О реакции на письмо С. П. см. в мемуарах Н. В. Резниковой: «Я помню, как в 1928 г. мы с ней гуляли в кламарском лесу, и она рассказывала нам, что получила письмо из России. Ей пишут, что одна знакомая барышня остригла волосы... и С. П. не могла сдержать улыбку. В другой раз она сказала, что та же барышня пишет о том, что она хочет выйти замуж из боязни остаться старой девой. Такой подход к замужеству возмущал и приводил в недоумение С. П.» (*Резникова 2013*. С. 74–75). О содержании и эмоциональном тоне ответного письма С. П. свидетельствуют также неточные воспоминания ее внука — Б. Б. Бунич-Ремизова: «После того, как супруги Ремизовы выехали за границу, Серафима Павловна делала попытки вытребовать дочь к себе. Помню несохранившееся ее письмо Наталии Алексеевне от 1928 г., в котором Серафима Павловна упрекала дочь, что последняя только по своей глупости отказалась жить с родителями» (*Бунич-Ремизов Б. Б.* Супруги Ремизовы в судьбе их дочери и в восприятии ее близких // Алексей Ремизов: Исследования и материалы / отв. ред. А. М. Грачева. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. [Вып. 1]. С. 270).

С. 607. *Оба мы вне всяких условностей и вся наша жизнь наперекор.* — С. П. Довгелло и А. М. Ремизов познакомились во время отбывания ими ссылки за противоправительственную деятельность. Мо-

лодые люди входили в круг революционной молодежи, которая не признавала многие догмы традиционной «буржуазной» морали, в частности в сфере отношений между полами. О свободомыслии супругов Ремизовых свидетельствует, в частности, выбор ими крестного отца для своей дочери. См. письмо Н. В. Резниковой Б. Б. и А. В. Сосинским от 12 декабря 1968 г., связанное с ее работой над посвященным дочери Ремизова разделом воспоминаний о писателе: «Ее рождение. “Кум” — крестный отец Наташи. Они его не знали, а привела его знакомая революционерка. Он был похож на итальянца и очень понравился Алексею Михайловичу. Это был знаменитый революционер В. Либединцев, послуживший Леониду Андрееву прототипом для одного из семи повешенных. Накануне казни, он попросил своего родственника передать А<лексею> М<ихайлович>у особенный привет. А<лексей> М<ихайлович> запомнил его на всю жизнь. Но Наташа так и не знала, кто был ее крестным. Это все записано у А<лексея> М<ихайловича>, но мне хотелось знать подробнее» (*ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2).

С. 607–608. *В жизни бывает три рода браков: ~ третий вид, он сейчас очень част среди моего поколения в Совроссии, когда девушка ничего не требует от человека — ни денег, ни формальной записи, ни устройства в жизни, а только любви яркой, страстной, сильной, которая заменяет все. Вот так вышла замуж и я ~ без церкви и Загса (регистрации).* — В письме Н. А. Резниковой очевидно влияние на нее феминистских идей А. М. Коллонтай — идей, в 1920-х гг. популярных в молодежной, и конкретно — в студенческой среде. Ср.: «Лицемерная мораль буржуазной культуры беспощадно вырывала перья из пестрых, многоцветных крыльев Эроса, обязывая Эрос посещать лишь “законобрачную пару”. Вне супружества буржуазная идеология отводила место только общипанному “бескрылому Эросу” — минутному половому влечению полов в форме купленных (проституции) или краденых ласк (адюльтеру-прелюбодеянию). <...> Для классовых задач рабочего класса совершенно безразлично, принимает ли любовь форму длительного и оформленного союза или выражается в виде преходящей связи. Идеология рабочего класса не ставит никаких формальных границ любви. Но зато идеология трудового класса уже сейчас вдумчиво относится к содержанию любви, к оттенкам чувств и переживаний, связывающих два пола. <...> В <...> новом, коллективистическом по духу и эмоциям обществе, на фоне радостного единения и товарищеского общения всех членов трудового творческого коллектива Эрос займет почетное место как переживание, приумножающее человеческую радость. Каков будет этот новый, преображенный Эрос? Самая смелая фантазия бессильна охватить его облик» (*Коллонтай А. М.* Дорогу крылатому Эросу!: (Письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. 1923. № 3. С. 118, 123).

С. 608. *Теперь о моем муже.* — Имеется в виду *Борис Бунич* (1904—1942?) — инженер, выпускник ленинградского политехнического института, проживал в Ленинграде, умер от голода во время блокады города. Об истории семейных отношений Н. А. Ремизовой см. письмо Б. Б. Бунич-Ремизова Н. В. Резниковой от 28 марта 1969 г.: «В кругу друзей и на работе она была самим очарованием — веселая, жизнеутверждающая и жизнерадостная, очень компанейская. В семье же — в связи с тем, что ее страшно баловали и вконец избаловали слепо любившие ее тетушки, которые заменили ей мать (особенно Лидия Павловна), — она была нелегким человеком, не менее эгоцентричным, чем Серафима Павловна, очень вспыльчивой, резкой, что во многом объяснялось также и неустроенной личной жизнью; мама была три раза замужем, но прожила свои годы фактически без настоящей семьи» (*Резникова 2013*. С. 87—88). Все брачные союзы Н. А. Резниковой не были зарегистрированы в государственных органах записи гражданского состояния (ЗАГС).

«Мама» (Лида, сестра С. П.) ~ «папа» мой (Сергей, брат С. П.)... — Имеются в виду сестра и брат С. П. — Лидия Павловна (1879—1944) и Сергей Павлович Довгелло (1874—1919), которые при воспитании Наташи в берестовецком имении взяли на себя обязанности ее матери и отца. См. свидетельство Б. Б. Бунич-Ремизова: Наташа Ремизова «не имела представления о матери, свойственного детям, растущим возле родителей. Лидия Павловна вспоминала, каким непривычным для девочки было слово "мама", которому ее пришлось учить, когда Серафима Павловна приезжала в усадьбу: девочка привыкла называть мать так, как называли ее взрослые: Сима...» (*Бунич-Ремизов Б. Б.* Супруги Ремизовы в судьбе их дочери и в восприятии ее близких. С. 269).

...«половое влечение»... — лат.: libido, одно из основных понятий психоанализа. Использование зачастую упрощенно толкуемой терминологии учения З. Фрейда было популярно в среде студенчества 1920-х гг. См., например, ответ на анкету студента тех лет: «Основа любви — это половое влечение двух субъектов друг к другу. Если в половых отношениях наступает какое-либо недоразумение, то вся поэтическая надстройка рухнет» (цит. по кн.: *Рожков А. Ю.* В кругу сверстников: Жизненный мир молодого человека в Советской России 1920-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 355).

С. 608. *Я — новый человек, воспиталась «на рубеже заката Европы и перелома двух эпох»...* — В тезисе выпускницы филологического факультета Киевского университета Н. А. Ремизовой дана отсылка к известному труду немецкого историософа Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918).

С. 609. *Теперь о ребенке...* — Речь идет о внуке Ремизова. *Борис Борисович Бунич-Ремизов* (1929—2016) окончил романское отделение

филологического факультета Киевского университета, там же защитил кандидатскую диссертацию и работал доцентом на кафедре зарубежной литературы. В 1940—1950-е гг. он переписывался с А. М. Ремизовым, звал его вернуться на Родину. Участник первых российских конференций по творчеству Ремизова в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН в 1992, 1997 и 2001 гг. Автор ценных статей по истории предков С. П. Ремизовой-Довгелло (см.: *Бунич-Ремизов Б. Б.* Супруги Ремизовы в судьбе их дочери и в восприятии ее близких // Алексей Ремизов: Исследования и материалы / отв. ред. А. М. Грачева. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. [Вып. 1]. С. 267—272; *Бунич-Ремизов Б. Б.* Родные и близкие С. П. Ремизовой-Довгелло в посвященных ее жизни произведениях // Алексей Ремизов: Материалы и исследования / отв. ред. А. М. Грачева, Антонелла Д'Амелия. СПб.; Салерно. 2003. [Вып. 2]. С. 367—372. (Europa orientalis; 4)). При его содействии вышли 10 томов Собрания сочинений А. М. Ремизова (М.: Русская книга, 2000—2003). Сохранившиеся у него семейные материалы, связанные с А. М. Ремизовым и его дочерью, Борис Борисович передал в Пушкинский Дом. О Б. Б. Бунич-Ремизове см.: *Грачева А. М.* Памяти Бориса Борисовича Бунич-Ремизова: <Некролог> // *РЛ.* 2016. № 3. С. 296.

С. 609. *...«работающий» член Союза...* — т. е. член профсоюза.

Маркизет — тонкая прозрачная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.

Фильдекосовые чулки — чулки, сделанные из фильдекоса — гладкой крученой хлопчатобумажной пряжи, имеющей вид шелковой. Такие чулки появились в Советской России в 1920-е гг. во времена НЭПа, стоили очень дорого и были мечтой модниц того времени.

«Фейные сказки. Детские песенки». — Стихотворный сборник К. Бальмонта (М.: Гриф, 1905. 98 с.).

Наташа-сказочка, Наташа... — Ремизов приводит текст рукописной дарственной надписи К. Бальмонта на книге «Фейные сказки». Возможно, в 1921 г. лист книги с дарственной надписью был вывезен Ремизовыми за границу.

АННОТИРОВАННЫЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ, УПОМЯНУТЫХ В РОМАНАХ «ОЛЯ» И «В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ» *

Аввакум Петров, протопоп (1620–1682) – крупнейший деятель русского старообрядчества XVII в., писатель. Старообрядцами белокриницкого согласия почитается священномучеником 522, *663, 776, 779*

Авдеев Михаил Васильевич (1821–1876) – писатель, критик 543, *796*

Аитов Владимир Давыдович (Давидович) (1879–1963) – доктор медицины, кардиолог, общественный деятель 552

Аларев Алексей – клинковский священник 390, 391, 394

Аларева Вера Алексеевна – подруга С. П. Ремизовой-Довгелло 390–392, 394–396, 398, 408, 411

Александр Данилович – прототип *Котельникова Ф. И.* 160, 166, 223, 224, 229, 230, 246, 248, 253, 257, 270, 276, 330, 331, 336, 337, 352, 355, 360, 364, *684*

Александрия Кенсориновна – см. *Филиппия Фортунатьевна*

Алексеева Лида – см. *Антонова Валя*

Алексей Михайлович Романов (Тишайший; 1629–1676) – второй русский царь из династии Романовых 523, *779*

Алексей – кучер 583, 585

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – прозаик, драматург, публицист 240, 347, 577, *673, 702, 815, 826*

Андреева – см. *Андреева О. В.*

Андреева Ольга Викторовна (Чернова; урожд. Ольга Митрофановна Федорова; «Верблюжонок», «Галчонок», «Пифик-Воркун», «Птичик», «Фарфоровая кукла», «Черепашка»; 1903–1979) – дочь О. Е. Черновой-Колбасиной, приемная дочь В. М. Чернова, сестра Н. В. Резниковой и А. В. Сосинской. Жена поэта и мемуариста В. Л. Андреева. С 1921 в эмиграции (Берлин). С 1924 в Париже. См. также *Черновы* 488, 536, 628, 642, *754, 792, 794*

Андреевы – семья писателя В. Л. Андреева, мужа О. В. Черновой 536

Андрей Критский (ок. 660–740) – христианский богослов, проповедник и автор духовных гимнов, архиепископ города Гортины на Крите. Память 4 (17) июля 16, 585, *669, 820*

Андроник – приятель Отрады М. Н. 599

Анна «Безумная» – эмигрантка, соседка Ремизова (ул. Буало, д. 7). Погибла в концлагере 529, *785, 786*

Анна Васильевна – родственница Ф. Н. Головни, мужа Н. И. Головни 601

Анна Михайловна – см. *Довгелло А. Е.*

Анна Николаевна – см. *Полякова А. Н.*

Антонова Валя – сокурсница С. П. Довгелло; прототип *Лиды Алексеевой* 180, 181, 185, 186, 191, 231, 234, 237, 238, 241, 289, 290, 294, 295, 300, 338, 341, 343–345, 348, *701*

Аристотель (384–322 до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Платона 581, *818*

---

* В круглых скобках в кавычках указаны ремизовские прозвища аннотируемых лиц.

Арлян Марсель (Marcel Arland; 1899–1986) — французский романист, литературный критик и журналист. Один из основателей дадаистской газ. «Aventure». В 1968–1977 редактор «Nouvelle Revue Française» 573
Артаксеркс — один из персидских царей, упоминавшийся в русских переводах ветхозаветных книг; сын Ксеркса I 509
Артамонова (Артамасова) Анна Ивановна — курсистка-бестужевка, закончившая историко-филологическое отделение в 1896; прототип *А. И. Синицыной* 165, 172–179, 235, 274, 281–288, 342, *686*
Астий Диррахийский (? — ок. 98) — епископ, священномученик 76, *675*
Афонский Николай Петрович (1892–1971) — музыкант, хормейстер. В эмиграции после 1921 (Германия, Франция, США). В 1925–1947 — один из основателей и руководитель «Парижского митрополичьего хора». В 1947 переехал в США. С 1950 — регент хора православного кафедрального Покровского собора (Нью-Йорк). Создатель «Общества ревнителей хорового пения», «Русского национального хора» и мужского хора «Капелла» 563, *803*

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) — поэт, переводчик 499, 609, *828*
Баранович Лазарь (1616–1693) — украинский православный церковный, политический и литературный деятель, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский, основатель Черниговского книгоиздательства. Автор сборников «Меч духовный» (1666) и «Трубы словес проповедных» (1679), составленных из написанных им проповедей 576
Бардонос Евтихий — священник в Берестовце 388, 585, *739*
Батеньков Гавриил Степанович (1793–1863) — офицер, декабрист, писатель 578
Баторий Стефан (1533–1586) — король польский и великий князь литовский 37, *672*
Башкирцева Мария Константиновна (1858–1884) — художница 176, 286, *690*
«Бедненький» (Фрид) — см. *Биск И. С.*
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — критик 489, *755*
Белозерская — знакомая семьи Довгелло 592
Белый Андрей (наст. имя Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) — поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист, теоретик символизма 568, *625, 722, 794, 802*
Беляев Иван Степанович (1860–1918) — архивист и историк. Автор «Практического курса изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV–XVIII столетий» (М., 1908) 588, *822*
Беме Яков (Jakob Böhme; 1575–1624) — немецкий христианский мистик, теософ, родоначальник западной софиологии — учения о «Премудрости Божией» 576
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — философ, литератор, публицист, общественный деятель. В 1922 выслан из Советской России 124, 502, 505, 526, 617, *765, 783, 794*
Берында Памва (1550–1570-е — 1632) — украинский языковед, лексикограф, писатель, поэт, переводчик, печатник. Автор словаря «Лексикон славеноросский и имен толкование» (1627), наиболее обширного собрания книжной славянской лексики XVII–XVIII вв. 575, 576, *814*
Бестужев (псевд. Марлинский) Александр Александрович (1797–1837) — прозаик, критик, публицист, декабрист 497, 526, 576, *814*
Бестужев-Марлинский А. А. — см. *Бестужев А. А.*
Биск Исаак Соломонович (ок. 1874–1922) — знакомый С. П. Довгелло по Чернигову; прототип *Фрида* («Бедненький») 184, 200–204, 260, 261, 293, 309–313, 366, 368, 460–463, *655, 697, 751*

Биярда — француженка, сопровождающая С. П. Ремизову-Довгелло на прогулках 549
«Блаженная» — ремизовское прозвище. См. *Любовь («Блаженная»)*
Блейк Уильям (*William Blake;* 1757—1827) — английский поэт и художник 417, *742, 743*
Блок Александр Александрович (1880—1921) — поэт, драматург, литературный критик 431, 498, 530, 540, 561, 562, *677, 746, 794, 803*
Блюм Андре Леон (André Léon Blum; 1872—1950) — французский политик, член социалистической партии Франции, премьер-министр Франции (4 июня 1936 — 22 июня 1937; 13 марта — 10 апр. 1938); председатель Временного правительства Французской республики (16 дек. 1946 — 22 янв. 1947) 521, *776*
Бодлер (Бодлэр) Шарль Пьер (Charles Pierre Baudelaire; 1821—1867) — французский поэт, предтеча декадентства 499, 500, 521, 564, *763, 803*
Бодянский Осип Максимович (1808—1877) — филолог, историк, археограф, переводчик, издатель древнерусской и древнеславянской литературы, профессор Московского ун-та, действительный член Общества любителей российской словесности, секретарь Общества истории древностей российских 589
Бордонос — см. *Саченко («Колода»)*
Борейко Лидия Антоновна (?—1918) — подруга детства С. П. Довгелло; прототип *Лены Боровой* 8, 21, 32, 79–81, 85, 86, 91, 150, 155, 378, 402, 404, *682*
Борков Александр Васильевич (XVII в.) — истопничий при дворе царя Алексея Михайловича 523, 524, *780*
Боровая Лена — см. *Борейко Л. А.*
Бошовские — родственники семьи Довгелло 572
Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (урожд. Вериго; 1844—1934) — революционерка, сторонница политического террора; прототип *Натальи Васильевны Ильиной* 162, 185, 202–208, 210, 212, 218, 223, 260, 261, 272, 294, 311–318, 320, 325, 331, 366, 368, 473, 628, 630, 638, *685, 693, 696–698*
Брусилова — см. *Кадина*
Брут Марк Юний (85 до н. э. — 42 до н. э.) — римский политический деятель и военачальник 37, *672*
Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт, прозаик, критик, историк 499, *647, 757, 764, 796*
Буайе Поль (Boyer Paul-Jean-Marie; 1864—1949) — французский славист, профессор русского языка, управляющий Школой восточных языков 587, *716, 821*
Буало-Депрео Никола (Nicolas Boileau-Despréaux; 1636—1711) — французский поэт, критик, теоретик классицизма 517, 529, *774, 785*
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — писатель, журналист, критик и издатель. Основатель и издатель политической и литературной газ. «Северная пчела» (СПб., 1825—1864) 576, *814*
Булич Николай Павлович — студент, близкий знакомый С. П. Довгелло; прототип *Оводова* 184, 190, 203, 212, 260, 293, 299, 311, 314, 320, 366, 367, 448–452, 479, 482–484, 487, 494–497, *697, 703, 749, 753*
Бурлюк-Кузнецова Анна Феофиловна (Федосовна) — прототип *Людмилы Николаевны Котельниковой* 223, 229, 230, 248, 253, 257, 330, 336, 337, 355, 360, 364
Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — лингвист, фольклорист, историк литературы и искусства, глава русской мифологической школы 588, 589, *822*
Бутчик Владимир Владимирович (1892—1980) — подполковник лейб-гвардии Егерского полка, участник Гражданской войны. С 1923 в Париже, библиотекарь Ин-та славяноведения 568, *805*

Бюхнер Людвиг (Friedrich Karl Christian Ludwig Büchner; 1824—1899) — немецкий философ, врач, естествоиспытатель 541

Ваня – см. *Довгелло И. И.*
Василенки — соседи и родственники Довгелло 575
Василенко Наталья Ивановна (урожд. Довгелло, во втором браке Головня) — младшая сестра *П. И. Довгелло*; прототип *Надежды Павловны* 8, 21, 197, 306, 592, *668, 687*
Введенский Александр Иванович (1856—1925) — философ, психолог, профессор С.-Петербургского ун-та, крупнейший представитель русского неокантианства, один из основателей первого С.-Петербургского религиозно-философского общества; прототип профессора *Воркунова* 182, 188, 189, 192, 235, 253, 291, 297, 298, 301, 342, 359, *661, 692, 694, 696*
Вельтман Александр Фомич (1800—1870) — писатель, историк, археолог 489, 490, *755, 756*
Вера — см. *Костева Вера*
Веселовский Николай Иванович (1848—1918) — археолог, востоковед, историк, общественный деятель, член-корр. С.-Петербургской АН (1914). Профессор Археологического ин-та 586
Ветрова Мария Федосьевна (1870—1897) — педагог, революционерка, член партии «Народная воля»; прототип *Фирсовой* 186, 187, 189, 295, 297, 298, *693–695*
Виктор Михайлович — знакомый семьи Довгелло 592
Вик. Мих. — см. *Виктор Михайлович*
Виноградова Екатерина Александровна (в замужестве Терпигорева) — соученица С. П. Довгелло; выпускница курсов 1896; прототип *Сони Ефимовой* 178, 183, 192, 235, 246, 287, 292, 301, 343, 353, *691*
Войнович Ольга Алексеевна — двоюродная сестра матери С. П. Ремизовой-Довгелло; прототип *Вольской М. П.* 8, 56, 58–60, 207, 217, 248, 257, 316, 325, 354, 364, *668*
Вольская Марья Петровна — см. *Войнович О. А.*
Вольтер (Voltaire; наст. имя Мари-Франсуа Аруэ, François Marie Arouet; 1694—1778) — французский философ-просветитель, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист 521, 582, *775*
Воркунов, профессор — см. *Введенский А. И.*
Воробей, доктор — прототип доктора *Перепелки А. Н.* 82, 83, 153, 212, 222, 320, 321, 329, *699*
Востоков Александр Христофорович (наст. имя Александр Вольдемар Остенек; 1781—1864) — лингвист, филолог, поэт. Член Российской академии и зарубежных научных обществ 589
Врубель Михаил Александрович (1856—1910) — художник 497

Ганна — девочка-нянька Н. А. Ремизовой в Петербурге 503, 573
Гастольды (Гаштольды) — знатный род Великого княжества Литовского 43, 575, 577
Гауф Вильгельм (Wilhelm Hauff; 1802—1827) — немецкий писатель, автор сказок для детей 242, 349
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 1770—1831) — немецкий философ 526, *766, 767*
Гедройцы — литовский княжеский род, по родовой легенде XVI в. ведущий свое происхождение от легендарного князя Гедруса 43, 575

Гейне Христиан Иоганн Генрих (Christian Johann Heinrich Heine; 1797–1856) – немецкий поэт, критик, публицист 560
Геккель Эрнст Генрих (1834–1919) – немецкий биолог-эволюционист, зоолог, морфолог, эмбриолог, философ 582
Гераклит Эфесский (544–483 до н. э.) – древнегреческий философ 526, *783*
Герцен Александр Иванович (1812–1870) – писатель, философ, публицист 132, *680*
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) – писательница, поэтесса, критик 504, *625, 628–634, 766, 773*
Глинская Елена Васильевна, великая княгиня (ок. 1508–1538) – вторая жена московского великого князя Василия Ивановича, регент во время малолетства сына – Ивана IV Васильевича 557, *801*
Глушановский – знакомый П. И. Довгелло 580
Гобсон Дж. Аткинсон (John Atkinson Hobson; 1858–1940) – английский экономист 175, 287, *689*
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – прозаик, драматург 157, 267, 376, 401, 402, 415, 423, 424, 427, 440, 445, 446, 472, 481, 496, 504, 513, 518, 520, 531, 532, 559, 564, 575–577, 584, 590, *663, 716, 736, 738, 740, 744–746, 748, 749, 752, 771, 774, 789, 800, 820*
Годфруа – заведующий парижским винным магазином «Николя», сосед Ремизова (ул. Буало, д. 7) *778*
Головнина (Головня) Варвара – мать Ф. Н. Головни 592, 602, *707*
Головня Димитрий Федорович – двоюродный брат С. П. Ремизовой-Довгелло, сын Ф. Н. и Н. И. Головни 592, 602, 603, *707*
Головня Наталья Ивановна – см. *Василенко Н. И.*
Головня Наталья Федоровна (Наташурочка) – двоюродная сестра С. П. Ремизовой-Довгелло, дочь Ф. Н. и Н. И. Головни 592, 601, 602
Головня Федор Васильевич – см. *Головня Ф. Н.*
Головня Федор Николаевич – муж Натальи Ивановны Головни 592, 601
Гольдштейн Сальвиан Маврикиевич (1855–1926) – писатель и общественный деятель. Читал курс лекций по польско-литовским древностям в Археологическом ин-те 586
Голятовский Иоаникий (ок. 1620–1688) – украинский православный церковный и общественно-политический деятель в Речи Посполитой и в Московском царстве. Ректор Киево-Могилянской коллегии и затем архимандрит Черниговского монастыря, представитель русской схоластической проповеди XVII в. 576
Гомер (VIII в. до н. э.) – древнегреческий поэт-сказитель 380
Гончаров Иван Александрович (1812–1891) – писатель 421, 490, 577, *756*
Гордеенко Константин Гордеевич (?–1733) – кошевой атаман Запорожской сечи, участник Полтавской битвы на стороне Карла XII 582
Гореславский – знакомый семьи Довгелло 436, 596
Горожанкин Иван Николаевич (1848–1904) – ботаник, профессор Московского ун-та 87, *675*
Горский Александр Васильевич (1812–1875) – священник Русской православной церкви, церковный историк и богослов, ректор Московской духовной академии 589
Гофман Ростик – см. *Гофман Р. М.*
Гофман Ростислав Модестович («Ростик»; 1915–1975) – музыковед, сын филолога-пушкиниста М. Л. Гофмана 565

Гофманн (Гофман) Эрнст Теодор Амадей (Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann; 1776–1882) – немецкий писатель, композитор, художник, юрист 209, 210, 318, 363, 529, 560, *698, 703, 770*

Гр. Ефимович, Гр. Еф.– см. *Ковалевский Г. Е.*

Гревс Иван Михайлович (1860–1941) – историк-медиевист, специалист по истории Римской империи, педагог, краевед и общественный деятель. Профессор С.-Петербургского ун-та и Высших Женских Бестужевских курсов 182, 185, 253, 291, 294, 360, 586, *692, 760, 761*

«Гретхен» – ремизовское прозвище. См. – *Демидова С. С.*

Греч Николай Иванович (1787–1867) – писатель, издатель и редактор (ж. «Сын Отечества» (СПб., 1812–1839; с 1826 – совместно с Ф. Булгариным); газ. «Северная пчела» (СПб., 1831–1859 – совместно с Ф. Булгариным), публицист, филолог, переводчик. Автор романа «Черная женщина» (1834) 576, 578, 587, *814, 817*

Гржебин Зиновий Исаевич (1869–1929) – художник и издатель 505

Григорий Ефимович – см. *Ковалевский Г. Е.*

Григорий – см. *Самойлович Г.*

Григорович А. Пав. – родственник и сосед семьи Довгелло 596

Григорьев Кирилл Борисович (1915–2001) – сын художника Бориса Григорьева (1886–1939) 583

Григорьев Юрий Васильевич – см. *Нечаев В. В.*

Григорьева Наташа – см. *Нечаева Маруся*

Грунский Николай Кузьмич (1872–1951) – украинский языковед, славист, палеограф 588, *822*

Гумилев Николай Степанович (1886–1921) – поэт, литературный критик 540, *794*

Гус Ян (Jan Hus; 1369–1415) – чешский проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации 581, *819*

Давыдов Иосиф Александрович (1866–1942) – писатель, педагог, экономист, философ-эмпириомонист, участник революционного движения, товарищ Ремизова по вологодской ссылке 527, *783*

Дадыкин, профессор – см. *Шляпкин И. А.*

Дамаскин Иоанн (урожд. Мансур ибн Серджун ат-Таглиби ок. 676/680–753/780) – христианский святой, почитаемый в лике преподобных, один из Отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф 493, *760*

Даниельсон Николай Францевич (лит. псевд. Николай-он; 1844–1918) – экономист, публицист-народник 175, 253, 284, 286, 360, *689*

Дараган – административное лицо в г. Гомель 598

Дарвин Чарльз Роберт (Charles Robert Darwin; 1809–1882) – английский ученый, натуралист, путешественник, автор одного из первых исследований о происхождении человека 582

Дембно-Чайковская Пелагея Ивановна (урожд. Терещенко; 1884–1971) – знакомая Ремизова с 1910-х. В эмиграции после 1917. Сестра М. И. Терещенко 562, *803*

Демидова Софья Семеновна («Гретхен») – певица Большого театра (Москва), в эмиграции – соседка Ремизова (ул. Буало, д. 7) 524, *781*

Дервиз Ольга Владимировна, фон («Утенок», «Страж») – баронесса, эмигрантка. В 1954–1957 жила на квартире Ремизова для ухода за писателем 528, *754, 785, 792, 798*

Добжинские — дворянский род Великого княжества Литовского 575
Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — художник, член творческого объединения «Мир искусства». В эмиграции с 1924 (Латвия, Франция, Литва, США) 505, 540, *767, 794*
Довгелло Александр (XV в.) — кастелян виленский, гетман литовский, представитель рода Довгелло 575
Довгелло Александра Никитична (урожд. Самойлович; 27.06.1843—1917) — мать С. П. Ремизовой-Довгелло; прототип *Натальи Ивановны Ильменевой* 5–8, 11–13, 19, 21, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 48, 50, 57, 59, 74, 75, 77, 82–86, 91, 95, 102, 148–150, 152, 154, 163, 184, 194–197, 218, 219, 248, 273, 293, 303–306, 312, 326, 354, 355, 372–375, 377–379, 384, 386, 387, 394, 399, 405, 406, 451–453, 600, *667, 668, 707, 751*
Довгелло Анна Ефимовна (урожд. Ковалевская; 1802—1884) — мать П. И. Довгелло, жена И. М. Довгелло, бабушка С. П. Ремизовой-Довгелло, прототип *Анны Михайловны* 14, 22, 31, 78, 197, 305, 371, 584, 590, 591, 597, 598, *667, 668, 687, 707, 818*
Довгелло Афанасий Иванович (1821—1845) — дядя С. П. Ремизовой-Довгелло, сын И. М. Довгелло, брат П. И. Довгелло 590–595, 597, 598, 600, *676, 707*
Довгелло Баалла (в замужестве Гастольд (Гаштольд)) — дочь Яна Довгелло, предка С. П. Ремизовой-Довгелло 577, 584
Довгелло Екатерина Павловна (в замуж. Котляревская) (1870—1925) — сестра С. П. Ремизовой-Довгелло; прототип *Ирины Ильменевой* 20, 31, 41, 42, 44, 45, 77, 81, 85, 86, 150, 154, 172, 194, 219, 247, 248, 281, 302, 303, 326, 354, 355, 372–374, 377, 444, 451, 453, *670*
Довгелло Иван Иванович (1830—?) — дядя С. П. Ремизовой-Довгелло, брат П. И. Довгелло 578, 591, 596, 597, *668, 707*
Довгелло Иван Михайлович (1803—30.01.1846) — борзенский земский исправник, дед С. П. Ремизовой-Довгелло 590, 592–594, 597, *669, 707, 818, 823, 824*
Довгелло Лидия Павловна (1879—1944) — сестра С. П. Ремизовой-Довгелло; прототип *Лены Ильменевой* 5, 20, 30, 31, 38, 41, 63, 86, 150, 194, 195, 219, 302–304, 326, *667, 670, 751, 827*
Довгелло Мария Ивановна — см. *Отрада М. И.*
Довгелло Мария Павловна — сестра С. П. Ремизовой-Довгелло; прототип *Тани Ильменевой* 5, 20, 31, 63–65, *667*
Довгелло Михаил Григорьевич — прадед С. П. Ремизовой-Довгелло. С 1764 служил в Малороссийском Нежинском полку в чине значкового товарища, при увольнении в 1784 получил чин войскового товарища 591
Довгелло Михаил Иванович — дядя С. П. Ремизовой-Довгелло 596
Довгелло Николай — протопоп, каноник Смоленский, предок С. П. Ремизовой-Довгелло 577
Довгелло Николай Григорьевич (?—1779) — штаб-лекарь Шостенского порохового завода, двоюродный прадед С. П. Ремизовой-Довгелло 577
Довгелло Павел Иванович (?—21.03.1895) — майор, председатель уездной земской управы, член губернской земской управы, отец С. П. Ремизовой-Довгелло, прообраз *Ильменева А. П.* 5–15, 20, 21, 24, 26, 30, 33, 40, 48, 74, 78–82, 85, 90, 91, 103, 149, 150, 197, 306, 450, 578–581, 583, 590, 591, 596–598, *667–669, 707, 713, 810, 817, 819*
Довгелло Серафима Павловна — см. *Ремизова-Довгелло С. П.*
Довгелло Сергей Павлович (1874—1919) — брат С. П. Ремизовой-Довгелло; прототип *Миши Ильменева* 5, 6, 9, 13, 20, 30, 31, 43, 63, 77, 81, 85, 86, 88, 150, 163, 194,

218–221, 248, 262, 263, 272, 302, 303, 326–328, 355, 369, 371, 373, 379, 380, 453, 596, *667–669, 751, 817–819, 827*

Довгелло Станислав (XVII в.) – предок С. П. Ремизовой-Довгелло 577

Довгелло Ян («Довгелес»; XV в.) – сын Явнулло, основателя рода Довгелло, предок С. П. Ремизовой-Довгелло 575

Довкгелина – см. *Довгелло*

Довкгело, Довкгеля – см. *Довгелло*

Дорошенко Петр Дорофеевич (1627–1698) – гетман Войска Запорожского на Правобережной Украине (1665–1676) 582

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – писатель 98, 101, 168, 277, 384, 389, 404, 407, 411, 415, 417, 419, 421, 423, 424, 427, 445, 447, 464, 472, 480, 481, 487, 489–491, 510, 515, 521, 541, 559–561, 564, 577, 584, 586, 626, 637, 650, 653, *663, 700, 701, 716, 739–745, 748, 752, 754–757, 772–775, 794, 801, 803, 821*

Дрианский (Дриянский) Егор Эдуардович (1812–1873) – писатель 493, 494, *760*

Дрие ля Рошель (Дриё Ла Рошель) Пьер Эжен (Pierre Eugéne Drieu La Rochelle; 1893–1945) – французский писатель, коллаборационист. Во время оккупации Парижа был назначен редактором «Nouvelle Revue Française» (1940–1943) вместо Ж. Поляна. Покончил жизнь самоубийством 573, *811*

Дрока – мальчик, знакомый Ремизова по годам его детства 570

Дружинин Александр Васильевич (псевд. Иван Чернокнижников; 1824–1864) – писатель, литературный критик, переводчик 541, 543, 547, 550, 577, *795, 796, 798, 799, 815*

Евгений, митрополит (в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов; 1767–1837) – митрополит Киевский и Галицкий, церковный историк, археограф и библиограф 589

Евреинов Николай Николаевич (1879–1953) – режиссер, драматург, теоретик и историк театра. В 1925 эмигрировал во Францию. Сосед Ремизова (ул. Буало, д. 7) 560, *778*

Емельян (Емилиян) Федорович – см. *Кленус Е. Ф.*

Епифаний, старец (ранее 1624–1682) – монах, деятель раннего периода старообрядчества, духовный отец и сподвижник протопопа Аввакума, писатель 523, *779*

Ермолаев Александр Иванович (1780–1828) – художник-археолог и нумизмат, коллекционер русских монет 589

Ермолинский Константин Николаевич (1856–1894) – земский статистик 177, 286, *691*

Ефимова Соня – см. *Виноградова Е. А.*

Желябов Андрей Иванович (1851–1881) – революционер-народник, один из организаторов убийства Александра II 185, 210, 294, 319, *685, 690, 693, 698*

Жорж – повар русского ресторана в Париже 525, 526, *782*

Жуков Павел Семенович (1870–1942) – известный петербургский фотограф 186, 295, *694*

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – поэт, переводчик 186, 294, 644, 645, *693, 747, 777*

Жуковский Дмитрий Евгеньевич (1868–1943) – издатель, переводчик философской литературы 502, 504, 505, *766, 783*

Заболотная Маня – курсистка, сидевшая в тюрьме одновременно с С. П. Довгелло; прототип *Смолиной* 245, 246, 250, 251, 352, 353, 357, 358, *702*

Завадовский — друг А. И. Довгелло 597
Зайцев Борис Константинович («Князь-Епископ», «Сироп»; 1881—1972) — прозаик. В 1922 эмигрировал в Берлин, с 1924 жил в Париже. Председатель Союза русских писателей и журналистов (1945) 536, 557, *730*
Занд Жорж (Жорж Санд, псевд.; наст. имя: Амандина Аврора Люсиль Дюпен (Amandine Aurore Lucile Dupin), в замуж. — баронесса Дюдеван; 1804—1876) — французская писательница 560
Зарецкий Николай Васильевич (1876—1959) — живописец, график, искусствовед. С 1920 в эмиграции (Берлин, Прага, Париж) 542, *736, 737, 795, 796, 802*
Засулич Вера Ивановна (1849—1919) — революционерка-народница, одна из первых в России социал-демократок 161, 271, *684*
Зёрнов Владимир Михайлович (1904—1990) — доктор медицины, гематолог. В 1921 эмигрировал в Югославию, в 1929 переехал в Париж. В 1942—1943 бесплатно принимал больных и нуждающихся прихожан Введенской церкви в Париже. В последние годы жил в Швейцарии 557
Зограф Николай Юрьевич (1851—1919) — зоолог, профессор Московского ун-та 87, *675*

Иаков, «брат Господень», св. ап. — один из 70 апостолов Христа, почитается как первый епископ Иерусалимский. Иаков принял мученическую смерть: был сброшен иудеями с крыла Иерусалимского храма и побит камнями около 62. День памяти: 23 окт. (5 нояб.) 581, *819*
Иван IV Васильевич, прозванный Грозным (1530—1584) — государь, великий князь московский и всея Руси (с 1533), первый царь всея Руси (с 1547) из династии Ивана Калиты 556, 557, *800, 801*
Иван Ефимович – см. *Ковалевский И. Е.*
Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, переводчик, литературный критик, теоретик символизма. С 1924 жил в Италии. До 1936 сохранял советское гражданство 540, *623–625, 766, 771*
Иванов Разумник Васильевич (псевд. Иванов-Разумник; 1878—1946) — критик, публицист, историк литературы и общественной мысли. В 1941 вывезен из оккупированного немецкими войсками г. Пушкина в Германию. До лета 1943 — в лагере для перемещенных лиц. В 1943—1946 жил в Литве, Германии 536, *792*
Иванова Варвара Николаевна (урожд. Оттенберг; 1881—1946) — жена Р. В. Иванова (Иванова-Разумника) 536, *792*
Иваня — см. *Довгелло И. И.*
Ивашка (XVII в.) — придворный карлик царя Алексея Михайловича 523, 524, *779, 780*
Икскуль фон Гильденбандт Варвара Ивановна (урожд. Лутковская; 1850—1928) — баронесса; прототип *Лутохиной* 190, 191, 298, 300, *694*
Ильин Иван Александрович (1883—1954) — философ, публицист 526
Ильина Наталья Васильевна — см. *Брешко-Брешковская Е. К.*
Ильменев Александр Павлович — см. *Довгелло П. И.*
Ильменев Миша — см. *Довгелло С. П.*
Ильменева Ирина — см. *Довгелло Е. П.*
Ильменева Лена — см. *Довгелло Л. П.*
Ильменева Наталья Ивановна — см. *Довгелло А. Н.*
Ильменева Оля (Ольга Александровна) — см. *Ремизова-Довгелло С. П.*
Ильменева Таня — см. *Довгелло М. П.*
Илья — приятель Отрады 599

Иоанн (Иван) V *Алексеевич* (1666–1696) – русский царь (1682–1696) из династии Романовых, старший единокровный брат и соправитель царя Петра I 162, 272, *685*

Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич Сергиев; 1829–1908), св. прав. – протоиерей, проповедник, духовный писатель, церковно-общественный деятель. В 1964 канонизирован Русской православной церковью за границей в лике праведных; в 1990 – Русской православной церковью 538, *793*

Кадина – курсистка-бестужевка; прототип *Брусиловой* 186, 295, *693*

Каин Ванька (Иван Осипов; 1718 – после 1756) – знаменитый вор, сотрудничавший с московской полицией; легендарный герой городского фольклора и авантюрных бульварных романов 1-й пол. XIX в. 508, *769*

Калайдович Константин Федорович (1792–1832) – археограф и историк. Деятельный член Общества истории и древностей российских 589

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) – революционер-террорист 161, 210, 270, 319, *684, 685, 699*

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – писатель, публицист, историк 588, *663, 822*

Кареев Николай Иванович (1850–1931) – историк и социолог. Член-корр. С.-Петербургской АН, почетный член АН СССР. В 1906–1918 преподавал на Высших Женских Бестужевских курсах 586, *686*

Каринский Николай Михайлович (1873–1935) – филолог-славист, палеограф, диалектолог. С 1900 читал лекции по славянской палеографии в Археологическом ин-те в Петербурге 586, 588, *716, 822*

Карл Прусский (Фридрих Карл Александр Прусский, Friedrich Carl Alexander von Preußen; 1801–1883) – принц Прусский, генерал-полковник со званием прусского генерал-фельдмаршала. Шеф Либавского пехотного Принца Карла Прусского полка 15, 591, 598, *668, 824*

Кармазина Евгения Гавриловна (в замуж. Арцыховская) – сокурсница С. П. Довгелло; прототип *Жени Шубиной* 159, 177, 178, 181, 234, 269, 287, 290, 341, 406, 465, *684*

Карский Евфимий Федорович (1860–1931) – филолог-славист, палеограф и этнограф, академик С.-Петербургской АН, профессор 588, *822, 823*

Квитка-Основьяненко Григорий Федорович (Квітка-Основ'яненко Григорій Федорович (укр.), наст. фам. Квитка; псевд. Грыцько Основьяненко; 1778–1843) – украинский и русский писатель, драматург, журналист, литературный критик и культурно-общественный деятель 489, *755*

Кейстут (ок. 1297 –1382) – великий князь литовский (1381–1382), князь трокский (1337–1382) 575, *811*

Кленус Емельян Федорович – врач 590, 597

Кленус Моисей Федорович – брат Е. М. Кленуса 590

Климович Юзек (Юзеф) – знакомый Д. Ф. Головни 602

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) – историк, профессор Московского ун-та 95, 168, 169, 253, 278, 360, *687*

Кобеко Иван Павлович («Не правда ли?»; 1892–?) – юрист, критик. До 1959 жил в Париже. В 1930–1931 секретарь, затем мастер ложи «Гермес» (1950–1952). В 1981 жил в Нью-Йорке 514, 536, *776, 792, 798*

Ковалевская Ольга Федоровна («Слепышка», «Листин») – художница. В годы оккупации входила в круг близких друзей Ремизова, одна из героинь кн. «Мышкина дудочка» 549, 550, *754, 781, 798, 799*

Ковалевская – см. *Довгелло А. Е.*
Ковалевская Софья Васильевна (урожд. Корвин-Круковская; 1850–1891) – профессор математики 176, 191, 286, 300, *695*
Ковалевские – украинский и русский дворянский род, был внесен в VI часть родословной книги Харьковской губ. 575, 590, 592, *736*
Ковалевский Григорий Ефимович – двоюродный дед С. П. Ремизовой-Довгелло, брат А. Е. Довгелло 590, 591, 594, 596, 597, 600
Ковалевский Евлампий Ефимович – двоюродный дед С. П. Ремизовой-Довгелло, брат А. Е. Довгелло 591, 592, 600, 601, *707*
Ковалевский Ефим Иванович – прадед С. П. Ремизовой-Довгелло, отец А. Е. Довгелло 591
Ковалевский Иван Ефимович – двоюродный дед С. П. Ремизовой-Довгелло, брат А. Е. Довгелло 591, 594
Ковалевский Леонтий Ефимович – двоюродный дед С. П. Ремизовой-Довгелло, брат А. Е. Довгелло 591, 600, *707*
Кожанчиков Дмитрий Ефимович (1819–1877) – книгопродавец, издатель 440, *747*
Козлов Иван Иванович (1779–1840) – поэт, переводчик 577, *815*
Колесников Иван Филиппович (1872–1952) – археограф, архивист 588, *822*
«Колода» – см. *Бордонос (Саченко)*
Коновалов Иван Александрович (1850–1924) – фабрикант 495, *761*
Константинович Екатерина Григорьевна – мать *Катруси Константинович*; прототип *Елены Ивановны Мавлютиной* 180, 199–202, 260, 261, 289, 307–309, 367
Константинович Зеся – сестра *Катруси Константинович*; прототип *Кати Мавлютиной* 199–202, 260, 261, 307–309, 311, 367
Константинович Катруся – сокурсница С. П. Довгелло; прототип *Нины Мавлютиной* 180, 186, 191, 199–206, 231, 234, 236, 237, 260, 261, 289, 294, 295, 300, 307–313, 338, 341, 343, 344, 366, 367, 445–449, *696, 701, 702*
Конфуций (551–479 до н. э.) – древнекитайский мыслитель и философ. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство 581
Копинский Исайя (?–1640) – архимандрит Смоленский и Черниговский, митрополит Киевский и всея Руси, экзарх Константинопольского престола 576
Копыстенский Захария (вторая половина XVI в. – 21 марта 1627) – западнорусский православный писатель, культурный и церковный деятель, архимандрит Киево-Печерской лавры 576
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – писатель, журналист, публицист и общественный деятель 557, 587, *821*
Костанов Петр Маркович («Берлиоз», «Учитель музыки») – профессор консерватории, педагог, пианист, деятель культуры. Эмигрант 536, 537, 557, 563, *801*
Костева Вера – подруга С. П. Довгелло по черниговской гимназии; прототип *Веры* 201, 209, 309, 317, *697*
Котельников Федор Иванович – см. *Александр Данилович*
Котельникова Людмила Николаевна – см. *Бурлюк-Кузнецова А. Ф.*
Котельниковы – см. *Александр Данилович; Бурлюк-Кузнецова А. Ф.*
Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) – историк литературы, литературный критик, публицист 291, *692*
Кочановский Владимир Васильевич (1853–1901) – славист, профессор славянской филологии и славянской истории в Историко-филологическом ин-те кн. Безбородко 589

Кочубеи — старшинский, графский, княжеский и дворянский род, происходящий (по семейному преданию) от татарина Кучук-бея, выехавшего в середине XVII в. из Крымского ханства в Войско Запорожское 575
Кочубей — знакомый семьи Довгелло 590, 595
«Кошатница» — ремизовское прозвище. См. *Полякова А. Н.*
Кошелев-Безбородко (Кушелев-Безбородко), граф — сосед Ковалевских 601
Красинский Генрих (Henryk Krasiński; 1804—1876) — польский писатель 497
Красицкий Игнатий (Ignacy Krasicki; 1735—1801) — польский сатирик, поэт и прозаик эпохи польского Просвещения, деятель католической церкви, гнезненский архиепископ 576
Ксеркс I — персидский царь из династии Ахеменидов, правил в 486—465 до н. э. В русских переводах Библии его имя также переводилось как Агасвер 509
Кузмин (Кузьмин) *Александр Кузьмич* (1796—1850) — поэт, мемуарист 242, 349, *702*
Кузмин Михаил Алексеевич (1879—1936) — поэт, прозаик, переводчик, композитор 540, *677, 794*
Курдюк Петя — см. *Селюк Я.*
Кустодиев Борис Михайлович (1878—1927) — художник; академик живописи (1909) 540

Л. — см. *Лифарь С. М.*
Лабзин Александр Федорович (1766—1825) — философ, писатель, переводчик, издатель. Религиозный просветитель и мистик, один из крупнейших деятелей русского масонства, основатель ложи «Умирающий сфинкс». Издавал религиозно-нравственный ж. «Сионский вестник» (СПб., 1806—1807) 576, *814*
Лавров Петр Алексеевич (1856—1929) — филолог-славист, лингвист, палеограф 588, *822*
Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — революционер, философ, публицист, историк 155, 582, *686*
Ланглэз (Langlés Louis-Mathieu; 1763—1824) — французский востоковед, филолог, лингвист, писатель, академик; директор-основатель Школы восточных языков в Париже (1795) 587
Лбов Александр Михайлович (1876—1908) — в годы Первой русской революции террорист, предводитель банды 57, *673*
Лев X, папа (Leo X, в миру Джованни Медичи, Giovanni Medici; 1475—1521) — папа римский (с 1513) 37
Легра Жюль (Jules Legras; 1867—1939) — французский этнолог, профессор русской литературы в Сорбонне (с 1929), профессор иностранной литературы в ун-те Дижона, известный путешественник по России (Сибирь, 1890) 560
Леклэр Антон (Anton von Leclair; 1848—1919) — австрийский философ, представитель имманентной школы 526, *783*
Лексис Вильгельм (Wilhelm Lexis; 1837—1914) — немецкий экономист и статистик 175, 285, *689*
Леонов — предатель, выдавший С. П. Довгелло и ее соратников; прототип *Хвостова* 246, 251, 253, 358, 634, *702*
Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — врач, дипломат; философ, литературный критик, публицист; в конце жизни принял монашеский постриг с именем Климент 490, *756*
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — поэт, прозаик, драматург 376, 424, 425, 480, 491, 525, 526, 541, 543, 561, *782, 803*

Лесгафт Петр Францевич (1837–1909) – биолог, анатом, врач, педагог 204, 313, *698*

Лесков Николай Семенович (псевд. М. Стебницкий; 1831–1895) – писатель, публицист 393, 445, 447, 474, 489, 507, 509, 572, 577, 651, *658, 663, 736, 748, 749, 768, 793, 809, 810*

Лизогуб – сосед семьи Довгелло 580

Лизогубы – казацко-старшинский, позже российский дворянский род украинского происхождения 575

Лисак – возможно, парижский торговец 538

«Листин» – см. *Ковалевская О. Ф.*

Лифарь Сергей Михайлович (1904–1986) – французский артист балета, балетмейстер, теоретик театра. С 1923 в эмиграции 549, 550, *721, 799, 803*

Лихачев Николай Петрович (1862–1936) – историк, специалист в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики, член Имп. Православного Палестинского общества; академик АН СССР. С 1892 преподавал в С.-Петербургском археологическом ин-те, где основал кафедру дипломатики 586, 588, *822*

Лишки – соседи семьи Довгелло 590, 593

Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) – математик, один из создателей неевклидовой геометрии 510

Лукашева Марья Евтихиевна – дочь священника Е. Бардоноса 388, 585, *739*

Лутохина – см. *Икскуль фон Гильденбандт В. И.*

Львова-Шипулина Нина Григорьевна («Наяда», «Нонн», «Nonne», «Nonne St. Vierge et Martyre») – эмигрантка, жена писателя Л. И. Львова, с которой тот разошелся 529, 535, 536, *732, 786, 792*

Любовь («Блаженная»; ?–1942) – эмигрантка, знакомая Ремизовых 529, 556, 557, 560, *785*

Люис Джордж Генри (Lewes, George Henry; 1817–1878) – английский писатель, философ, литературный и театральный критик 496, *762*

Ляшки – см. *Лишки*

Мавлютина Елена Ивановна – см. *Константинович Е. Г.*

Мавлютина Катя – см. *Константинович Зеся*

Мавлютина Нина – см. *Константинович Катруся*

Мазепа Иван Степанович (1639–1709) – гетман Войска Запорожского, военный и политический деятель, дипломат. Объединил под своей властью Левобережную и Правобережную Украину, ограничил политическую самостоятельность Запорожской Сечи. Длительное время – один из ближайших сподвижников русского царя Петра I. Во время Северной войны перешел на сторону шведов 391, 583, 591, *740*

Майков Владимир Владимирович (1863–1942) – археограф, палеограф, библиограф, член-корр. АН СССР. В 1900–1925 – профессор Археологического ин-та по кафедре палеографии 586, 588, *716, 822*

Макарий, митрополит (1482–1563) – митрополит Московский и всея Руси, в 1526–1542 – архиепископ Новгородский. По его указанию были составлены «Великие Четьи-Минеи» 588, *821*

Максимова Зинаида Павловна – сокурсница С. П. Довгелло, прототип *Орловой* 165, 177, 188, 254, 275, 286, 296, 297, 361, *686*

Малешот (Молешотт) Якоб (Jacob Moleschott; 1822–1893) – итальянский философ и физиолог нидерландского происхождения 541

Мамченко Виктор Андреевич (1901–1982) – поэт, журналист. В эмиграции с 1920. С 1923 – в Париже 516, 517, *773*
Мария – жена Отрады, дяди М. Н. Отрады 591
Мария Египетская, прп. (сер. V – нач. VI в.) – христианская святая. Память 1 (14) апр. 585, *820*
Марков Алексей Константинович (1858–1920) – археолог и нумизмат. С 1885 читал лекции в Археологическом ин-те, в 1886 году занял кафедру древней нумизматики этого ин-та 586
Марлинский – см. *Бестужев А. А.*
Мартов Юлий Осипович (наст. фам. Цедербаум; 1873–1923) – политический деятель, публицист, один из лидеров социал-демократического движения 178, 287, *691*
Матео Алла Ерофеевна (урожд. Гладштейн; годы жизни неизвестны) – в эмиграции активистка Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1930-х – председатель иконописного отдела РСХД в Париже. Одна из инициаторов создания Кружка русской культуры в Париже (1933); сподвижница Матери Марии Скобцовой, с которой вместе устраивала дома-убежища для безработных в Париже в предвоенные годы и в годы оккупации. Погибла во время Второй мировой войны 521, *777*
Матэо – см. *Матео*
Мельников-Печерский Павел Иванович (наст. фам. Мельников, псевд. Андрей Печерский; 1818–1883) – писатель, этнограф 577
Мельшин-Якубович – см. *Якубович П. Я.*
«Менада» – ремизовское прозвище. См. *Можайская О. Н.*
Мензбир Михаил Александрович (1855–1935) – зоолог, основатель русской орнитологии 87, *675*
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) – прозаик, поэт, критик, публицист, переводчик, литературно-общественный деятель 503, 504, 625, 626, 628–632
Мизка – служащий 595, 596
Милль Джон Стюарт (John Stuart Mill; 1806–1873) – британский философ, социолог, экономист и политический деятель 541
Милорадовичи – малорусский дворянский род, происходящий от двух братьев, выходцев из Сербии 575, *715*
Миндовские – купеческая династия 495, *761*
Мириманова (Мериманова) Иоланта – скрипачка 551, 552
Михайловский Николай Константинович (псевд. Павловский; 1842–1904) – публицист, социолог, литературовед, критик, теоретик народничества 164, 175, 183, 273, 285, 492, 495, *686, 688–691, 693, 757, 758*
Мицкевич Адам Бернард (Adam Bernard Mickiewicz; 1798–1855) – польский поэт, публицист 547
Мицкевичи – польский и белорусский дворянский род 575
Миша – см. *Довгелло М. И.*
Могила Петр Симеонович (*рум.* Петру Мовилэ; 1596–1647) – епископ Константинопольской православной церкви, Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, экзарх Константинопольского престола 576
Можайская Ольга Николаевна (в замужестве Емельянова; «Менада»; 1896–1973) – поэтесса, писательница. В 1920 эмигрировала во Францию; жила в Париже 529, 530, 537, *754, 786*

Моисей Федорович — см. *Кленус М. Ф.*
Мусман — знакомый Д. Ф. Головни 602
Мусоргский Модест Петрович (1839—1881) — композитор 521, 567, *775, 805*
Мюссе Альфред, де (Alfred de Musset; 1810—1857) — французский поэт, прозаик и драматург 559, 560, *802*
Мягков Александр Геннадиевич (1870—1960) — геолог. Племянник Н. К. Михайловского. В 1889 поступил в С.-Петербургский технологический ин-т, в 1890 отчислен за участие в студенческой сходке (много лет был под гласным надзором полиции). В 1890—1983 учился в Горном ин-те. Ушел в связи с проблемами по зрению. Участвовал в геологических экспедициях. С 1921 — в эмиграции в Польше, затем в Чехословацкой республике. Член Успенского православного братства в Праге. Возможный прототип *Фролова* 160, 176, 177, 183, 190, 270, 285, 286, 292, 299, *690*
Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937) — историк, публицист, политический деятель, революционер-народник, позднее член партии эсеров 178, 287, 288, *691*

Навуходоносор II (ок. 634—562 до н. э.) — царь Нововавилонского царства с 7 сентября 605 по 7 октября 562 до н. э. из X Нововавилонской династии 228, 335, 509, *701*
Надежда Павловна — см. *Василенко Н. И.*
Надеждин Николай Иванович (1804—1856) — журналист, литературный и театральный критик, эстетик, историк, этнограф, знаток раскола церкви и ее истории. Автор фундаментальных трудов по этнографии 545
Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт 409, *691, 741, 747, 753, 754*
Найденов Виктор Александрович (1831—1919) — московский купец 2-й гильдии, совладелец торгового дома «А. Найденов и сыновья», заместитель председателя совета Московского торгового банка и член правления Московского торгово-промышленного товарищества, дядя А. М. Ремизова 503, 509
Найденов Николай Александрович (1834—1905) — московский купец 2-й гильдии, совладелец торгового дома «А. Найденов и сыновья», председатель правлений Московского торгового банка и Московского торгово-промышленного товарищества, председатель Московского биржевого комитета (1876—1905), меценат-издатель, историк, дядя А. М. Ремизова 503, 509, *765–766*
Найденова Мария Александровна (в замуж. Ремизова; 1848—1919) — мать А. М. Ремизова 507–511, *767, 768*
Найденовы — московский купеческий род, родственники Ремизова со стороны матери 509, *768–770*
Нарбуты — княжеский род литовского происхождения, восходящий к XV—XVII вв. (и ранее) 575
Нарежный Василий Трофимович (1780—1825) — писатель 575, *815*
Нарушевич Адам Тадеуш Станислав (Adam Tadeusz Stanisław Naruszewicz; 1733—1796) — польский поэт, историк, деятель польского Просвещения 576
Наташа — см. *Ремизова Н. А.*
Наташа — см. *Василенко Н. И.*
Наташурочка — см. *Головня Н. Ф.*
«Наяда» — ремизовское прозвище. См. *Львова-Шипулина Н. Г.*
Невоструев Капитон Иванович (1816—1872) — церковный историк и писатель, известный археограф и археолог, преподаватель, профессор. Член-корр. С.-Петербургской АН 589

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — поэт, прозаик, публицист, журналист 253, 360, 561, 580, *680, 681*
Немцевич Юлиан Урсын (Julian Ursyn Niemcewicz; 1757—1841) — польский поэт, политик и историк 576
Нечаев Владимир Васильевич — прототип *Юрия Васильевича Григорьева* 25, 32, *671*
Нечаева Маруся — соученица С. П. Довгелло в черниговской гимназии; в повести «Оля» — *Григорьева Наташа* 25, 32, *671*
Николай Данилович — знакомый семьи Довгелло 593
Николай-он — см. *Даниельсон Н. Ф.*
Новалис (наст. имя Фридрих фон Гарденберг, барон; Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg; 1772—1801) — немецкий писатель, философ 532, *789*
Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) — юрист-правовед, философ 87, *675*
Новиков Николай Иванович (1744—1818) — журналист, издатель и общественный деятель, масон, одна из крупнейших фигур Русского Просвещения. Издавал «Древнюю Российскую Вивлиофику» — выходившие ежемесячно памятники русской истории (1773—1776) 576, *814*
Норвид Циприан Камиль (Cyprian Kamil Norwid; 1821—1883) — польский поэт, драматург, прозаик, живописец 497

***О**боленский* Андрей Владимирович, князь («Овчина», «Молчальник», «Странник»; 1900—1975) — друг А. М. Ремизова. С 1920 — в эмиграции. Работал маляром, затем в Сорбонне — специалистом по изготовлению препаратов для геологических исследований. После Второй мировой войны был близок к Союзу советских патриотов 536, 557, 564, 565, *778, 801*
Оводов — см. *Булич Н. П.*
Одет — владелица парижской парикмахерской 514, 537, 538, 545, 546, 549
Одоевский Владимир Федорович, князь (1803—1869) — писатель и мыслитель эпохи романтизма, издатель ряда журналов и альманахов 576, *815*
Оленин Петр Алексеевич (1763—1843) — археолог, историк, палеограф, художник, член Государственного совета. Президент Академии художеств (1817), директор Петербургской публичной библиотеки (1811) 589
Олечка — Ольга Вадимовна Карлайл (урожд. Андреева; Olga Andreyev Carlisle; р. 1930) — художница, журналистка, переводчица. Дочь В. Л. и О. В. Андреевых 488, 549, *754, 799*
Ольховский — знакомый Ковалевских 601
Оля — самоназвание. См. *Ремизова-Довгелло С. П.*
Орлова — см. *Максимова З. П.*
Отрада Мария Ивановна (урожд. Довгелло) — тетка С. П. Ремизовой-Довгелло, сестра П. И. Довгелло 595, 596, *676, 707*
Отрада Михаил Николаевич — муж М. И. Отрады. У Ремизова ошибочно назван Федором Степановичем (свидетельство внука Ремизовых — Б. Б. Бунича-Ремизова) 590, 591, 593, *698, 700, 707, 823*
Отрада Прокофий — брат М. Н. Отрады 591, 599, 600
Отрада Федор Степанович — см. *Отрада М. Н.*
Отрады — соседи и родственники семьи Довгелло 575

***П**. И., Павел Иванович* — см. *Довгелло П. И.*
П. Я. — см. *Якубович П. Ф.*

Павленков Флорентий Федорович (1839—1900) — книгоиздатель, просветитель 483, 487, *753*
Павлова Мария Евгеньевна (в замуж. Аргунова) — сокурсница С. П. Довгелло на Бестужевских курсах (вып. 1897); прототип *Мани Сажиной* 185, 230, 234, 236–238, 293–295, 300, 337, 341, 343–345, *693, 701*
Павловский — см. *Михайловский Н. К.*
Палей — см. *Палий*
Палий Семен (наст. имя Семен Филиппович Гурко; 1640-е — 1710) — казацкий полковник, руководитель названного его именем восстания украинского народа против польского правительства на Правобережной Украине в конце XVII — начале XVIII в. 582
Паскаль Пьер (Pascal, Pierre; Петр Карлович, «Протопоп», «Протопоп обезьяний»; 1890—1983) — французский медиевист, славист, профессор Школы восточных языков (1937—1950) и Сорбонны (1950—1960). В 1916—1933 жил в России. Друг А. М. Ремизова 523, 557, 587, *716, 779, 821*
Пац Кристоф (Христофор) Сигизмунд (Krzysztof Zygmunt Pac; 1621—1684) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, великий хорунжий литовский (1646—1656), великий подканцлер литовский (1656—1658), канцлер Великого княжества Литовского (1658—1684), староста ковенский и пинский 577
Паша — см. *Довгелло П. И.*
Пелагея Ивановна — см. *Дембно-Чайковская П. И.*
Перепелка Андрей Федорович, доктор — см. *Воробей,* доктор
Перовская Софья Львовна (1853—1881) — революционерка-террористка, член Исполнительного комитета «Народной воли» 162, 177, 181, 182, 185, 210, 272, 286, 290–292, 294, 319, 636, 638, *658, 685, 690, 698*
Петр — родственник Отрады 599
Петров Алексей Леонидович (1859—1932) — славист-карпатовед, профессор С.-Петербургского ун-та, с 1887 преподавал на Высших Женских Бестужевских курсах 589
Петрункевич Вера — см. *Петрункевичи*
Петрункевич Николай — см. *Петрункевичи*
Петрункевичи — соседи Ковалевских 592, 600, 601
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — критик, революционер-демократ 541
Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881) — прозаик, драматург 429, 441, 447, 481, 487, 489, 577, 583, *748, 749, 753, 756, 820*
Питон — судебный пристав 542
Пифагор Самосский (570—490 до н. э.) — древнегреческий философ, математик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев 526, 530, 647, *783, 786*
Платон (428/427—348/347 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля 527, 581, *783*
Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — историк. Член-корр. С.-Петербургской АН, действительный член РАН. С 1883 по 1916 читал лекционные курсы по различным периодам древней и новой русской истории на Высших Женских Бестужевских курсах 134, 182, 291, 586, *680, 681, 692, 716, 791*
Плотин (204/205—270) — античный философ, основатель неоплатонизма 527, *783*
Повелко-Поволоцкий Павел Осипович — молодой человек, из-за любви к С. П. Довгелло покончивший жизнь самоубийством; прототип *Владимира Михайловича*

Черкасова 98, 101, 106, 111–116, 122–124, 126, 127, 129, 134, 137, 139, 141, 143–146, 164–168, 184, 212, 213, 215, 216, 218–222, 231, 257–260, 263, 273–277, 293, 320, 321, 323, 324, 326–330, 339, 364–367, 369, 406, 422, 437, 441, 442, 447–450, 452, 464, 465, 497, *655, 659, 677–679, 687, 703, 704, 710, 712*

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) – историк, коллекционер, журналист и публицист, писатель-беллетрист, издатель; академик С.-Петербургской АН 576, 589

Погорельский Антоний (наст. имя Алексей Алексеевич Перовский; 1787—1836) — писатель, член Российской академии 576, *815*

Пожарский Дмитрий Михайлович, князь (1578—1642) — военный и политический деятель, глава Второго народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов 579, *818*

Покровский Николай Васильевич (1848—1917) – археолог и общественный деятель. Специалист по церковной археологии и древнехристианскому искусству. Профессор С.-Петербургской духовной академии. Директор Археологического ин-та (с 1893), где читал курс христианской археологии 586, *716*

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — писатель, драматург, литературный и театральный критик, журналист, историк и переводчик; идеолог «третьего сословия» 576, *815*

«Половчанка» — см. *Унбегаун Е. Д.*

Полякова Анна Николаевна («Акула», «Жар-Птица», «Кошатница») — эмигрантка, соседка Ремизова (ул. Буало, д. 7) 522, 555–558, *778*

Полян Жан (Jean Paulhan; 1884—1968) – французский писатель и литературный критик, редактор (1925—1940; 1953—1968 – совместно с Марселем Арланом) ж. «Nouvelle Revue Française». С Ж. Поляном связана публикация на фр. яз. книги Ремизова «Подстриженными глазами» (в переводе Н. В. Резниковой) 573, *810*

Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891) – языковед, литературовед. Член-корр. С.-Петербургской АН (1875) 532, *785, 789*

Прозоровский Дмитрий Иванович (1820—1894) — историк, палеограф и нумизмат. В 1877—1894 – профессор С.-Петербургского археологического ин-та, где читал курсы русской палеографии и метрологии 589

Прокофий, Прок. — см. *Отрада П.*

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) – поэт, прозаик, драматург 57, 209, 233, 318, 340, 376, 430, 489, 561, 576, 582–584, 588, *663, 699, 701, 712, 735, 746, 755, 775, 776, 796, 818*

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) – литературовед, этнограф, палеограф, академик С.-Петербургской АН, вице-президент АН 589, *787, 790*

Равель Жозеф Морис (Joseph Maurice Ravel; 1875—1937) – французский композитор 560, *797*

Ралей Томас (Thomas Raleign; 1850—1920) — английский экономист 175, 285, *689*

Ратькова — см. *Самойлович М. М.*

Рашевская Зина — см. *Сущинская М. Г.*

Рашевский Борис — см. *Сущинский Б. Г.*

Рашевский Сергей — см. *Сущинский М. Г.*

Резникова Наталья Викторовна (Чернова, урожд. Наталья Митрофановна Федорова; 1903—1992) – прозаик, литературовед, переводчик, мемуарист. Дочь О. Е. Черновой-Колбасиной, приемная дочь В. М. Чернова, сестра О. В. Андре-

евой и А. В. Сосинской. Жена поэта и владельца типографии Д. Г. Резникова. С 1921 в эмиграции (Берлин). С 1922 в Париже. Помощница и исследовательница творчества Ремизова, переводчица его произведений на французский язык. См. *Черновы* 536, 622, 644, *656–658, 664, 715, 721, 731, 733, 734, 764, 768, 774, 778, 780, 786, 787, 790–795, 797, 798, 800, 809–811, 815, 825–827*

Резниковы — семья поэта, типографа Д. Г. Резникова и Н. В. Резниковой 536, *711, 768, 804*

Ремизов Николай Михайлович (1872—1936) — старший из четырех братьев Ремизовых; выпускник филологического и юридического факультетов Московского ун-та; карьеру юриста начинал помощником адвоката Ф. Н. Плевако; присяжный поверенный Московской судебной палаты, присяжный стряпчий Московского коммерческого суда, после смерти Плевако (5 янв. 1908) сменил его на должности ктитора (церковного старосты) Успенского собора в Кремле 508, *769*

Ремизова Наталья Алексеевна (1904—1943) — дочь А. М. и С. П. Ремизовых. Окончила Киевский ун-т. Школьный преподаватель русского и украинского языков и литературы 501–507, 510, 511, 515, 538, 549, 573, 607–609, 621, 626, 644, 654, *705, 720, 751, 763–765, 767, 793, 799, 810, 825–828*

Ремизова (урожд. Довгелло) С. П. — см. *Ремизова-Довгелло С. П.*

Ремизова-Довгелло Серафима Павловна (1876—1943) — ученый-палеограф. С 1903 жена А. М. Ремизова. В эмиграции с 1921. Прототип *Ольги Александровны Ильменевой* (*«Оли»*), главной героини повести «Оля» 3, 5–16, 18–35, 37–50, 52–54, 56–74, 76–104, 106, 109–116, 118, 119, 121–137, 139–141, 143–145, 148–156, 158–191, 193–216, 218–224, 229–263, 268–300, 302–331, 337–402, 404–412, 417–424, 434, 435, 440–454, 457, 460, 462–466, 468–489, 491–503, 505–507, 511–513, 515, 517, 518, 520, 525, 527, 530–532, 534–557, 560, 561, 564–568, 570, 571, 573, 575, 577–579, 582–588, 590–592, 608, 610–647, *649–671, 674, 676–683, 685–699, 702–705, 707, 709–730, 732–742, 747–751, 753–757, 706–765, 767, 768, 770, 771, 773, 788–802, 804–810, 812, 813, 817–821, 823, 825, 827, 828*

Ренан Жозеф Эрнест (Joseph Ernest Renan; 1823—1892) — французский философ и писатель, историк религии, семитолог. Член Французской академии (1878). Автор работ по истории христианства («Жизнь Иисуса», 1863; «История происхождения христианства», 1863—1883; и др.) 582

Ришэ (Рише) Шарль (Charles Robert Richet; 1850—1935) — французский физиолог, психолог, гипнолог, специалист по сомнамбулизму; профессор медицинского ф-та Парижского ун-та 216, 324, *699*

Рожков Николай Александрович (1868—1927) — историк, публицист социал-демократического направления 527, *783*

Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — публицист, прозаик, критик, философ. Друг А. М. Ремизова 490, 503, 504, 614, 625–627, 650, *734, 736, 737, 756, 757*

Рублев Андрей, прп. (ок. 1360—1428) — монах, иконописец. В 1988 канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных. Память: 4 (17) июля; 6 (19) июля, 26 авг. (8 сент.) 568, 646–649, *730, 806, 807*

Рыбенцов — студент Московского ун-та 525

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт, общественный деятель, один из руководителей Декабрьского восстания (1825) 560, *814*

Рысаков Николай Иванович (1861—1881) — революционер-террорист, член «Народной воли», один из исполнителей покушения на Александра II 210, 319, *698*

Рязановский Иван Александрович (1869—1927) — археолог, юрист, краевед. Близкий друг Ремизова 93, *676*

С.-П-на — см. *Ремизова-Довгелло С. П.*
С. П. — см. *Ремизова-Довгелло С. П.*
Сабанеев Леонид Павлович (1844—1898) — зоолог, натуралист, этнолог 95, *676*
Савинков Борис Викторович (лит. псевд. В. Ропшин; 1879—1925) — член партии эсеров, глава ее «Боевой организации», прозаик, поэт 498, 628, 632, *762*
Савинкова Вера Глебовна (урожд. Успенская; 1877—1942) — жена Б. В. Савинкова, дочь Г. И. Успенского. В 1902 приехала с детьми к ссыльному мужу в Вологду 498
Савицкий Александр Иванович (1886—1909) — террорист, главарь банды грабителей 57, *673*
Савич — знакомый П. И. Довгелло 580
Сажина Маня — см. *Павлова М. Е.*
Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич, граф (1840—1908) — автор многочисленных романов и повестей из русской истории XVIII и XIX вв. 419, *743*
Самойлович А. Н. — см. *Довгелло А. Н.*
Самойлович Андрей Иванович (24.05.1875—?) — двоюродный брат С. П. Ремизовой-Довгелло, сын И. Н. Самойловича 583
Самойлович Григорий Иванович (?—1687) — черниговский полковник Войска Запорожского (1685—1687), наказной гетман (1687), сын гетмана Ивана Самойловича. Арестован после смещения с должности отца и казнен в Севске по доносу русскими за измену 582, 583, *819*
Самойлович Иван Никитич (1842—?) — врач Нежинского Историко-филологического ин-та князя Безбородко, дядя С. П. Ремизовой-Довгелло, брат А. Н. Довгелло 583
Самойлович Иван Самойлович (1630-е—1690) — гетман Войска Запорожского на Левобережной Украине (1672—1687) и Правобережной (с 1674) Украины. Выступал за воссоединение обеих частей Украины, боролся против гетмана Правобережной Украины П. Д. Дорошенко. Возглавлял украинские войска в Чигиринских походах русской армии (1677—1678) и в неудачном Крымском походе 1687. Обвиненный в измене кн. В. В. Голицыным и казацкой старшиной во главе с И. С. Мазепой, арестован (1687) и сослан. Умер в Тобольске 582, 583, *816*
Самойлович Мария Михайловна (урожд. Ратькова; ?—1899) — дочь протоиерея Архангельской церкви с. Куликова Михаила Васильевича Ратькова, бабушка С. П. Ремизовой со стороны матери; прототип *Татьяны Алексеевны* 9, 12, 71, 72, 94, 163, 202, 219, 248, 273, 311, 327, 354, 355, 371, 375, *668*
Самойловичи — дворянский род, происходящий из казацкой старшины Гетманщины. Неофициально род имел прозвище Поповичи. Потомство выходца из Правобережной Украины, священника Самуила, служившего в Красном Колядине Прилуцкого полка. Его сын Иван Самойлович стал гетманом Украины (1672—1687) 583, 590, *715, 819*
Сахновский — приятель и сослуживец А. И. Довгелло 590, 597
Саченко — студент, знакомый С. П. Довгелло по Чернигову; прототип *Бордоноса* (*«Колоды»*) 200–204, 260, 309–313, 366, 461, *655, 696, 697, 710*
Сведенборг Эммануил (Emanuel Swedenborg, урожд. Эммануил Сведберг, Emanuel Swedberg; 1688—1772) — шведский ученый-естествоиспытатель, христианский мистик 530, 550, 576, *787, 788*
Свечникова Наталья (Наталка) — курсистка, учившаяся вместе с С. П. Довгелло; возможный прототип *Нины Мавлютиной* 180, 186, 191, 199–206, 231, 234, 236, 237, 260, 261, 289, 294, 295, 300, 307–313, 338, 341, 343, 344, 366, 367, 445–449, *696, 701, 702*

Свидригайло (в православии Лев, в католичестве Болеслав; 1355—1452) — великий князь Литовский, сын Ольгерда Гедиминовича от брака с тверской княжной Юлианией Александровной, младший брат *Ягайла Ольгердовича* 575, *812*
Святополк-Мирский Петр Дмитриевич, князь (1857—1914) — генерал-адъютант, предводитель дворянства Харьковской губ. (1897—1900), екатеринославский губернатор (1897—1900), товарищ министра внутренних дел (1900—1902), виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор (1902—1904), министр внутренних дел (авг. 1904 — янв. 1905) в период так называемой «весны» 502, *663, 666, 794*
Селюк Яков — знакомый С. П. Довгелло; прототип *Пети Курдюка* 201, 309, *697*
Семевский Василий Иванович (1849—1916) — историк народнического направления 132, *680*
Сенковский Осип Иванович (Józef Julian Sękowski, псевд.: Барон Брамбеус, А. Белкин и др.; 1800—1858) — востоковед, писатель, редактор, издатель. Статский советник, заслуженный профессор (1847), член-корр. С.-Петербургской АН (1828) 497, 526, 576, *783, 814*
Сен-Мартен Луи Клод де (Louis Claude de Saint-Martin; 1743—1803) — французский мистик, подписывавший свои работы псевд. «Неизвестный философ». Духовный учитель мартинистов, последователей направления мистического и эзотерического христианства 576
Сеньобос Шарль (Charles Seignobos; 1854—1942) — французский историк 173, 282, *687*
Серафим Саровский, прп. (в миру Прохор Исидорович Мошнин (Машнин); 1754/1759—1833) — иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. В 1903 прославлен Русской православной церковью в лике преподобных. Память: 2 (15) янв. и 19 июля (1 авг.) 504, *766*
Серафима Павловна — см. *Ремизова-Довгелло С. П.*
Середонин Н. — см. *Середонин С. М.*
Середонин Сергей Михайлович (1860—1914) — историк, преподавал историческую географию в Археологическом ин-те 586, *716*
Сигизмунд (Сигизмунд Кейстутович; 1365—1440) — великий князь литовский (1432—40), младший брат Витовта 575, *812*
Синицына Анна Ивановна — см. *Артамонова* (Артамасова) *А. И.*
Скоропадские — украинский казацко-старшинский, позднее дворянский род, давший Украине двух гетманов и нескольких представителей высшей войсковой старшины 575, *715*
Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — книгопродавец и издатель 576, *814*
Смолина — см. *Заболотная Маня*
Соболевский Алексей Иванович (1856—1929) — лингвист, палеограф, историк литературы, славист. Член С.-Петербургской АН, член Имп. Православного Палестинского общества, профессор С.-Петербургского ун-та. В Археологическом ин-те читал лекции по славяно-русской палеографии 588, 589, *822*
Соколовский — знакомый И. И. Довгелло 598
Сократ (470—399 до н. э.) — древнегреческий философ 581
Солнцев Федор Григорьевич (1801—1892) — специалист по художественной археологии (художник, архитектор и историк), руководитель издания «Древности Российского государства» 589
Соловьев Александр Константинович (1846—1879) — революционер-народник, террорист, отставной коллежский секретарь 162, 271, *685*

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — религиозный мыслитель, философ, поэт, публицист 119, 619, *743, 778*

Соловьев Всеволод Сергеевич (1849—1903) — писатель, брат Вл. С. Соловьева 419, *743*

Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927) — поэт, драматург, прозаик, переводчик 503, 540, 543, *796*

Солонинова Варвара — знакомая Ковалевских 601

Сомов Константин Андреевич (1869—1939) — живописец, график, один из основателей художественного объединения «Мир искусства». Действительный член Академии художеств (1914). В эмиграции с 1923. С 1925 — во Франции 540

Сомов Орест Михайлович (псевд.: Порфирий Байский, Демид Сластена; 1793—1833) — писатель, журналист, литературный критик 532, *789*

Сосинская Ариадна Викторовна (урожд. Чернова; «Аука»; 1908—1974) — переводчица. Дочь О. Е. Черновой-Колбасиной и В. М. Чернова, сестра Н. В. Резниковой и О. В. Андреевой. Жена писателя, критика, журналиста В. Б. Сосинского. С 1921 в эмиграции (Берлин, Париж). В 1960 вернулась в СССР. См. также *Черновы* 536, *792*

Сосинские — семья писателя, журналиста, участника Сопротивления Б. Б. Сосинского, мужа А. В. Сосинской 536

Софья Николаевна — знакомая П. И. Довгелло

Софья Петровна — соседка Авдотьи Моисеевны (см.) 198, 307

Срезневский Измаил Иванович (1812—1880) — филолог-славист, этнограф, палеограф; академик С.-Петербургской АН 588, 589, *822*

Столетов Александр Григорьевич (1839—1896) — физик, заслуженный профессор Московского ун-та 87, *675*

Страус — см. *Штраус Д. Ф.*

Строев Павел Михайлович (1796—1876) — историк, археограф и библиограф; академик С.-Петербургской АН 589

Струве Михаил Александрович (1890—1949) — поэт, прозаик, литературный критик 589

Струнский — жандармский полковник; его возможный прототип Шмаков 232, 247, 340, 354, *701*

Суханов Иван Николаевич («Морской царь»; 1887—1953) — предприниматель, благотворитель. С конца 1920-х владелец гастрономического магазина в Русском центре в Отей (Auteuil). Делал крупные пожертвования (в том числе продуктовые) для организации буфетов на благотворительных вечерах и балах русских эмигрантов 513, 545, *772, 797*

Сущинская Мария Гавриловна (в замуж. Чернышова) — курсистка-бестужевка, учившаяся вместе с С. П. Довгелло; прототип *Зины Рашевской* 116, 131–137, 160–162, 164, 165, 170, 171, 173, 181, 182, 185, 186, 188, 190, 191, 193, 211, 224, 231–233, 236–238, 242, 249, 250, 251, 254, 255, 270, 271, 274, 275, 280, 282, 290, 291, 293–295, 297–300, 302, 319, 331, 338–340, 343, 349, 344, 454–461, 474, *680, 681, 686, 702*

Сущинский Борис Гаврилович — студент-горняк, брат *М. Г. Сущинской*; прототип *Бориса Рашевского* 135, *681*

Сущинский Михаил Гаврилович — студент-медик, брат *М. Г. Сущинской*, прототип *Сергея Рашевского* 135, 136, 160, 166, 167, 184, 223, 231–233, 237, 258, 259, 261, 270, 275, 276, 293, 330, 331, 338–340, 365, 368, *681, 684, 701*

Тартаков Иоаким Викторович (1860—1923) — оперный певец (баритон), режиссер, педагог 181, 290, *692*

Татьяна — многолетняя нянька в семье Довгелло, в том числе — нянька С. П. Ремизовой-Довгелло; прототип *Фатевны* 7, 10–14, 20–23, 27–30, 33, 34, 41, 42, 64, 77, 80, 91, 98, 153, 170, 171, 196, 280, 304, 370–373, 377, 378, 583, 585, *659, 662, 667*

Татьяна Алексеевна — см. *Самойлович М. М.*

Телепень-Овчина (Овчина Телепнев-Оболенский) Иван Федорович, князь (?—1539) — воевода, боярин, конюший, фаворит великой княгини Е. В. Глинской 557, *801*

Телепень-Овчина Андрей — см. *Оболенский А. В.*

Тик Людвиг Иоганн (Johann Ludwig Tieck; 1773—1853) — немецкий писатель, переводчик 532, *789*

Тихонравов Николай Саввич (1832—1893) — филолог, археограф, историк русской литературы, ректор Московского ун-та. С 1885 — председатель Общества любителей российской словесности 589

Товстолесы — российский и малороссийский дворянский род, был внесен в VI часть родословной книги Черниговской губ. 575

Толстой Лев Николаевич, граф (1828—1910) — писатель, религиозный мыслитель. Член-корр. С.-Петербургской АН (1873); почетный академик по разряду изящной словесности (1900) 98, 101, 113, 209, 256, 318, 363, 384, 401, 402, 405, 407, 415, 429, 450, 489, 490, 510, 521, 538, 541, 561, 577, 584, 653, *661, 662, 716, 750, 756, 760, 762, 764, 776, 793*

Торнивский — знакомый И. М. Довгелло 593

Транквилион-Ставровецкий Кирилл (?—1646) — восточнославянский православный богослов, философ, проповедник, впоследствии поддержавший унию церквей. Основатель типографии в Чернигове 576

Тромонин Корнилий Яковлевич (?—1847) — палеограф, литограф. Работал в области хромолитографии. В 1840—1841 выполнил литографские оригиналы для книги М. П. Погодина «Образцы славяно-русского древлеписания». Автор книги «Изъяснения знаков, видимых в писчей бумаге, посредством которых можно узнавать, когда написаны или напечатаны какие-либо книги..., на которых не означено годов» (М., 1844), посвященной исследованию водяных знаков 589

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — писатель 98, 101, 113, 426, 489, 490, 577, *663, 716, 755, 756, 760*

Тышка Казимир Людвигович (1875—1902) — поэт, прозаик, ссыльный революционер, друг юности С. П. Ремизовой-Довгелло; прототип *Заруцкого* 484, 486, 497, 498, *762*

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт, публицист, дипломат. Член-корр. С.-Петербургской АН (1857) 561

Унбегаун Екатерина (Катерина) Даниловна, баронесса (урожд. Зеленская; «Бабушка Верховая», «Верховая», «Верховая Бабка», «Половчанка») — мачеха лингвиста Б. Г. Унбегауна, соседка А. М. Ремизова (ул. Буало, д. 7) 552, 557, 558, *731, 786*

Унбегаун Татьяна Борисовна, баронесса (в замуж. Lorriman, «Тата») — дочь Б. Г. Унбегауна 552

Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — писатель 498

«Утенок» — ремизовское прозвище — см. *Дервиз О. В.*

«Учитель музыки» — см. *Костанов П. М.*

Фалес Милетский (640/624—548/545 до н. э.) — древнегреческий философ и математик 526
Фатевна — см. *Татьяна*
Федор Николаевич — см. *Головня Ф. Н.*
Федор Степанович — знакомый семьи Довгелло 596, 597
Федор Тирон, вмч. († 17.02.306) — христианский святой, почитаемый в чине великомучеников. Память: 17 февр. (1 марта) в високосный год; 17 февр. (2 марта) — в невисокосные годы 555, *800*
Федор, юродивый (?—1670) — деятель раннего периода старообрядчества, ученик и сподвижник протопопа Аввакума 522, 523
Фейербах Людвиг Андреас фон (Ludwig Andreas von Feuerbach; 1804—1872) — немецкий философ-материалист 541
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — поэт, переводчик 499
Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — революционерка-народница, член Исполнительного комитета «Народной воли», позднее — эсерка 162, 181, 272, 290, 636, *685, 690, 691*
Фигнер Николай Николаевич (1857—1907) — оперный певец (тенор). В 1887—1907 — солист Имп. театров. Брат Веры Фигнер 181, 290, *692*
Филиппия Фортунатьевна — соседка семьи Довгелло в Берестовце; прототип *Александрии Кенсориновны* 21, 82–84, 154, 321, *670*
Филиппов Иван Максимович (1824—1878) — основатель и владелец сети булочных в Петербурге и Москве 121, 230, 337, 442, *679, 701, 748*
Финикова Варвара — см. *Хатемкина В. Г.*
Фирсова — см. *Ветрова М. Ф.*
Фишер Куно (Kuno Fischer; 1824—1907) — немецкий историк философии, гегельянец 504, *766*
Фохт Карл (Carl Vogt; 1817—1895) — немецкий философ, врач, естествоиспытатель 541
Фрид — см. *Биск И. С.*
Фролов — см. *Мягков А. Г.*

Хатемкина Вера Григорьевна — соученица С. П. Довгелло по Черниговской гимназии и Бестужевским курсам; прототип *Варвары Финиковой* 121, 152, 159, 180–182, 184, 186, 191, 200, 202, 205, 231, 233, 234, 236, 237, 269, 289–291, 293, 295, 300, 308, 310, 314, 338, 341–344, 466, *679, 691*
Хвостов — см. *Леонов*

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — композитор 429, 489, 497, 533, *740, 755, 787, 790*
Черкасов Владимир Михайлович — см. *Повелко-Поволоцкий П. О.*
Чернова Ольга Елисеевна (урожд. Колбасина, «Лисевна», «Лисова»; 1886—1964) — литератор, вторая жена лидера партии эсеров В. М. Чернова, мать Н. В. Резниковой, О. В. Андреевой и А. В. Сосинской. С 1911 знакомая Ремизова. С 1921 они и ее дети — близкие друзья С. П. и А. М. Ремизовых 536, *731, 732, 792*
Черновы — имеются в виду: *Чернова-Колбасина О. Е.* и ее дочери: *Резникова Н. В., Андреева О. В., Сосинская А. В.* 536, *792*
Чернокнижников И. А. — см. *Дружинин А. В.*

Чехонин Сергей Васильевич (1878—1936) — художник, график, член художественного объединения «Мир искусства». В эмиграции с 1928 (Франция, Германия) 540, *794*

Чижов Глеб Владимирович (псевд. Холмский; «Елочник», «Лань»; 1892—1986) — типограф, библиофил, автор и исполнитель романсов. В эмиграции работал таксистом 536, 553, 566, 568, *802, 805*

Чириков Евгений Николаевич (1864—1932) — прозаик, драматург, публицист 173, 183, 282, 283, 292, *687*

Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — поэт, критик, прозаик, литературовед 504, *765, 766*

Чупров Александр Иванович (1842—1908) — ученый-экономист, статистик, деятель земского движения; заслуженный профессор Московского ун-та 132, *680*

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — оперный и камерный певец, солист Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера (США). С 1922 — на гастролях за границей. В 1927 советские власти лишили его звания народного артиста и права вернуться в СССР 225, 333, 428–430, 521, 583, *775, 808*

Шахматов Алексей Александрович (1864—1920) — филолог, лингвист и историк, основоположник исторического изучения русского языка, древнерусского летописания и литературы; академик С.-Петербургской АН, член Имп. Православного Палестинского общества 589

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — украинский поэт, художник, прозаик 237, 251, 344, 357, 440, *747, 796*

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — литературный критик, историк литературы, поэт, профессор и декан Московского ун-та, академик С.-Петербургской АН 589

Шекспир Уильям (William Shakespeare; 1564 (крещение) — 1616) — английский поэт, драматург, актер 443, 444, 521, 566

Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — публицист, литературный критик; революционный демократ, общественный деятель 150

Шереметьев (правильно: Шереметев) Василий Александрович (1795—1862) — в 1841—1843 петербургский гражданский губернатор 590, 592–594

Шестов Лев Исаакович (наст. фам. Шварцман; 1866—1938) — философ, литературный критик. В эмиграции с 1920. Близкий друг А. М. Ремизова 502, 527, 553, 560, *683, 773, 783, 794, 799*

Шляпкин Илья Александрович (1858—1918) — филолог, палеограф, историк древнерусского искусства. С 1890 читал историю словесности на Высших Женских Бестужевских курсах 182, 234, 236, 291, 341–343, 586–588, *661, 692, 701, 716, 822*

Шмаков — жандармский полковник 587, *701, 702*

Шопен Фридерик Франтишек (Fryderyk Franciszek Chopin; 1810—1849) — польский композитор и пианист 432, 497, 560

Штраус Давид Фридрих (David Friedrich Strauß; 1808—1874) — германский философ, историк, теолог и публицист 582

Шубина Женя — см. *Кармазина Е. Г.*

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — литературовед, историк освободительного движения 498, 499, 628, 633, *762, 763*

Эвклид (Евклид; ок. 330—285 до н. э.) — древнегреческий математик, автор теоретических трактатов по математике 510
Эккартсгаузен Карл фон (Karl von Eckartshausen; 1752—1803) — немецкий католический мистик, писатель и философ 576
Эмпедокл (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) — древнегреческий философ, врач, государственный деятель 526

Юнг-Штиллинг Иоганн Генрих (Johann Heinrich Jung-Stilling; 1740—1817) — немецкий писатель, мистик и теософ, врач по образованию. Наряду с Эккартсгаузеном был главным авторитетом для русских мистиков начала XIX в. 576

Явнуло — Евнут Волимонтович (в католичестве Ян; ок. 1380—1432) — литовский боярин, государственный деятель Великого княжества Литовского, первый воевода трокский (1413—1432). Представитель знатного литовского рода. На Городельской унии (1413) принял польский герб «Задора» 575, *811*
Ягайло (Ягелло, в крещении Владислав; ок. 1350-е/1362—1434) — князь витебский, великий князь литовский в 1377—1381 и 1382—1392, король польский с 1386 под именем Владислав II Ягелло. Родоначальник династии Ягеллонов. Старший брат *Свидригайло* 575, *811*, *812*
Ягич Игнатий (Ватрослав) Викентьевич (Vatroslav Jagić; 1838—1923) — филолог-славист, фольклорист, лингвист, литературовед, историк, палеограф и археограф, академик С.-Петербургской АН 588, 589, *822*
Якубович-Мельшин — см. *Якубович П. Ф.*
Якубович Петр Филиппович (псевд.: Матвей Рамшев, Л. Мельшин, П. Я., П. Ф. Гриневич, О'Коннор, Чезаре Никколини и др.; 1860—1911) — поэт, революционер-народоволец 175, 253, 285, 360, 499, *689*, *763*
Ян — см. *Довгелло Ян*
Янжул Иван Иванович (1846—1914) — экономист и статистик, профессор Московского ун-та 95, *676*
Яшновы — знакомые Ковалевских 601

Jammes Francis (1868—1938) — французский поэт-символист 567
Langlés — см. *Ланглэз Л. М.*

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Архивохранилища

ГАРФ — Федеральное казенное учреждение «Государственный архив Российской Федерации» (Москва).

ГЛМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Государственный литературный музей)». Отдел фондов рукописей (Москва).

ГЛМ ОКФ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Государственный литературный музей)». Отдел книжных фондов (Москва).

ИРЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук». Рукописный отдел. Литературный музей. Библиотека (Санкт-Петербург).

РГАЛИ — Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив литературы и искусства» (Москва).

РГБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». Научно-исследовательский отдел рукописей (Москва).

РНБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека». Отдел рукописей (Санкт-Петербург).

СПФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук (Санкт-Петербург).

Amherst — Центр Русской культуры Амхерст-Колледжа (США). Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло (Amherst College Center for Russian Culture (USA). «Alexei Remizov and Serafima Remizova-Dovgello Papers»).

Bakhmeteff Archive — Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета г. Нью-Йорка (США) (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture at Columbia University in the City of New York (USA). «Ms Coll Chekhov Publishing House»).

Печатные издания

Алексей Ремизов: Исследования и материалы 1994 — Алексей Ремизов: Исследования и материалы / отв. ред. А. М. Грачева. СПб., 1994.

Алексей Ремизов: Исследования и материалы 2003 — Алексей Ремизов: Исследования и материалы: Сб. науч. ст. / отв. ред. А. М. Грачева и А. д'Амелия. СПб.; Салерно, 2003. (Europa Orientalis; 4).

БВ — Биржевые ведомости (газета; С.-Петербург).

Бестужевские курсы — Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы (1878—1918 гг.): Сб. статей. Л., 1965.

Бунич-Ремизов — *Бунич-Ремизов Б. Б.* Родные и близкие С. П. Ремизовой-Довгелло в посвященных ее жизни произведениях // Алексей Ремизов: Материалы и исследования. СПб.; Салерно. 2003. С. 367—372. (Europa orientalis; 4).

Веселовский, с указанием выпуска или раздела — *Веселовский А. Н.* Разыскания в области русского духовного стиха. Вып. 1—6. Разд. I—XVII / Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Прил. к т. XXXVI—LIII. СПб., 1880—1891.

Волшебный мир Алексея Ремизова — Волшебный мир Алексея Ремизова: Каталог выставки. СПб.: Хронограф, 1992.

ВРБ — *Ремизов А. М.* В розовом блеске. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952.

Гоголь — *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений: [В 14 т.] / АН СССР. ИРЛИ. [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937—1952.

Грачева 2000 — *Грачева А. М.* Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. (Studiorum Slavicorum Monumenta; [Vol.] 19).

Грачева 2010 — *Грачева А. М.* Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910—1950-е годы). СПб.: Пушкинский Дом, 2010. (Б-ка Пушкинского Дома).

Даль В., с указанием раздела — *Даль В.* Пословицы и поговорки русского народа. М., 1989.

ДМ-I — *Ремизов Алексей.* Дневник мыслей 1943—1957 гг. Т. I: Май 1943 — январь 1946 / отв. ред., автор вступ. ст. А. М. Грачева; подг. текста А. М. Грачевой, Н. М. Конычевой, Л. В. Хачатурян;

комм. А. М. Грачевой, Л. В. Хачатурян. СПб.: Пушкинский Дом, 2013.

ДМ-II — Ремизов Алексей. Дневник мыслей 1943—1957 гг. Т. II: Январь 1946 — март 1947 / отв. ред., автор вступ. ст. А. М. Грачева; подг. текста О. А. Линдеберг; комм. А. М. Грачевой, Л. В. Хачатурян. СПб.: Пушкинский Дом, 2015.

ДМ-III — Ремизов Алексей. Дневник мыслей 1943—1957 гг. Том III. Март 1947 — февраль 1950 / отв. ред., автор вступ. ст. А. М. Грачева; подг. текста О. А. Линдеберг; комм. А. М. Грачевой, Л. В. Хачатурян. СПб.: Пушкинский Дом, 2017.

Достоевский — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. / АН СССР. ИРЛИ. Л.: Наука, 1972—1990.

ЕЖ — Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной жизни (Санкт-Петербург).

Кодрянская 1959 — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959].

Кодрянская 1977 — Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж, 1977.

Лесков — Лесков Н. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. М.: Терра, 1996—2016. Т. 1—13.

Лицо писателя — Ремизов А. М. Лицо писателя: Материалы к книге // *Грачева А. М.* Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910—1950-е годы). СПб.: Пушкинский Дом, 2010. С. 241—483.

ЛН — Литературное наследство (издательская серия).

На вечерней заре 1985 — На вечерней заре: Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло / подг. текста и комм. А. д'Амелия // Europa Orientalis. 1985. [Vol.] IV. С. 149—190.

На вечерней заре 1987 — На вечерней заре: Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло / подг. текста и комм. А. д'Амелия // Europa Orientalis. 1987. [Vol.] VI. С. 237—310.

На вечерней заре 1990 — На вечерней заре: Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло / подг. текста и комм. А. д'Амелия // Europa Orientalis. 1990. [Vol.] IX. С. 443—498.

На вечерней заре 2014 (1) — На вечерней заре: Письма А. М. Ремизова С. П. Ремизовой-Довгелло, 1907 год / вступ. ст., подг. текста и комм. Е. Р. Обатниной // *РЛ.* 2014. № 1. С. 149—177.

На вечерней заре 2014 (2) — На вечерней заре: Письма А. М. Ремизова С. П. Ремизовой-Довгелло, 1908 год / вступ. ст., подг. текста и комм. Е. Р. Обатниной // *РЛ.* 2014. № 3. С. 142—185.

На вечерней заре. 2016 (2) — На вечерней заре: Письма А. М. Ремизова С. П. Ремизовой-Довгелло, 1909 год / вступ. ст., подг. текста и комм. Е. Р. Обатниной // *РЛ.* 2016. № 2. С. 162—210.

На вечерней заре 2018 (1). — Ремизов А. М. «На вечерней заре»: Главы из рукописи; Письма к С. П. Ремизовой-Довгелло, 1921—1922 гг. / подг. текста Е. Р. Обатниной и А. С. Урюпиной; комм. Е. Р. Обатниной // Литературный факт. 2018. № 8. С. 46—81.

НЖ — «Новый журнал» (Нью-Йорк, 1942— продолж. изд.).

НРС — «Новое русское слово» (газета, Нью-Йорк, 1910—2010).

Обатнина 2001 — Обатнина Е. Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб.: Иван Лимбах, 2001.

Писемский — Писемский А. Ф. Полн. собр. соч.: В 8 т. СПб., 1911—1912.

ПН — «Последние новости» (газета; Париж).

Резникова 2013 — Резникова Н. Огненная память: Воспоминания об Алексее Ремизове / сост., подгот. текста, вступ. ст. и аннот. именной указ. А. М. Грачевой. СПб.: Пушкинский Дом, 2013.

РК I-X — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. М.: Русская книга, 2000—2003:

Пруд-РК I — Ремизов А. М. Собр. сочинений: В 10 т. 2000. Т. I: Пруд.

Докука и балагурье-РК II — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. 2000. Т. II: Докука и балагурье.

Оказион-РК III — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. 2000. Т. III: Оказион.

Плачужная канава-РК IV — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. 2001. Т. IV: Плачужная канава.

Взвихренная Русь-РК V — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. 2000. Т. V: Взвихренная Русь.

Лимонарь-РК VI — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. 2001. Т. VI: Лимонарь.

Ахру-РК VII — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. 2002. Т. VII: Ахру.

Иверень-РК VIII — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. 2000. Т. VIII: Иверень.

Учитель музыки-РК IX — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. 2002. Т. IX: Учитель музыки.

Петербургский буерак-РК X — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. 2003. Т. X: Петербургский буерак.

РЛ — «Русская литература» (журнал; Санкт-Петербург, 1958 — по настоящее время).

Росток-XI— — Ремизов А. М. Собр. соч. СПб.: Росток, 2015— (продолжающееся):

Зга-Росток XI — Ремизов А. М. Собр. соч. СПб.: Росток, 2015. Т. XI. Зга.

Русалия-Росток XII — Ремизов А. М. Собр. соч. СПб.: Росток, 2016. Т. XII: Русалия.

Россия в письменах-Росток XIII — Ремизов А. М. Собр. соч. СПб.: Росток, 2017. Т. XIII: Россия в письменах.

Звезда надзвездная-Росток XIV — Ремизов А. М. Собр. соч. СПб.: Росток, 2018. Т. XIV: Звезда надзвездная.

СЗ — «Современные записки» (журнал; Париж, 1920—1940).

Сирин 1—8 — Ремизов А. Сочинения: В 8 т. СПб.: Сирин, 1910—1912.

Соболев А. Л. 2013. — Соболев А. Л. Северная ссылка Ремизова: Уточнение нюансов // Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает: Сконапель истоар. М.: Трутень, 2013. С. 176—212. (Летейская б-ка: очерки и материалы по рус. лит. XX века; Т. 2).

Толковый словарь В. И. Даля I— IV — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1978—1980. Т. I— IV.

Шиповник 1—8 — Ремизов А. Сочинения: В 8 т. СПб.: Шиповник, [1910—1912].

Авт. комм. — авторский комментарий.

диал. — диалектизмы.

обл. — областной.

НР — наборная рукопись.

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЯ 3

В ПОЛЕ БЛАКИТНОМ 5

Дом с белыми башнями 5
Таинственный зайчик 14
Бочоночек 22
Ошибки 25
Пасха 28
Черная бабушка 34
Жаркое лето 71

ДОЛЯ 98

С ОГНЕННОЙ ПАСТЬЮ 157

Петербург 157
Из-под опеки 164
Не из говорящих 172
Нельзя 179
Демонстрация 186
Котенок 193
Что делать 199
Идеал 204
Такой экземпляр 208
Недобитый соловей 212
Бедные люди 223
Ӳже 230
Беспорядки 233
Под стук 236
Прощанье 253
Чуперадло 257

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ 265

С ОГНЕННОЙ ПАСТЬЮ 267

Петербург 267
Из-под опеки 273

Не из говорящих 281
Нельзя 288
Демонстрация 294
Котенок 302
Что делать 307
Идеал 312
Такой экземпляр 317
Недобитый соловей 320
Бедные люди 330
У́же 337
Беспорядки 341
Под стук 343
Прощанье 359
Чуперадло 364

ГОЛОВА ЛЬВОВА 370

Как улетали птицы 370
Супирчик 375
Букет 379
Святой 381
Баррикадный 384
Издали 386
Закрыла окна 388
И все так 390
Три пламенных сердца 399
Не считается 401
Некуда деваться 407
Не дождалась 413
Наперекор 417
Без предмета (Стихи) 423
На память 436
Серебряный полумесяц 441
Без указки 444
Слепая любовь 454
Две—лиры 460
Земля и море 464
С горбом 466
Живое и мертвое 472
Лепта из вечного 478
Косточка 483

СКВОЗЬ ОГОНЬ СКОРБЕЙ 488
ЗА ЗЕЛЕНОЙ ОГРАДОЙ 488
Оля 488
С первого глаза 492
Непоправимое 496
Наташа 501
Мать 507
Встречи 511
День всех святых и всех мертвых 513
ЗАЛОМ 516
Вывертень 516
В беспастушное пространство 521
Святый вечор 528
Елочные украшения 533
Западня 534
Отходная 542
Пропад 544
Сирена 546
Конец 554
Омут 558
Туда 561
Дупло 567
Под огненной потравой 569
ЗАДОРА 575
Задора-Довгелло 575
Из дневника Павла Ивановича Довгелло 579
Гетман 582
Последняя Задора 583
Черная немочь. Из Берестовецкого архива Довгелло 589
<Я ничего не знаю о судьбе Берестовецкого Архива> 589
1. Письмо И. М. Довгелло сыну Афанасию 592
2. Письмо И. М. Довгелло сыну Афанасию 593
3. Письмо А. Е. Довгелло сыну Афанасию 594
4. Письмо М. И. Довгелло брату 595
5. Из письма А. И. Довгелло к отцу 597
6. Письмо И. И. Довгелло матери 597
7. Письмо Отрады Аф. И. Довгелло 598
8. Письмо Л. Еф. Ковалевского Аф. И. Довгелло 600

9. Письмо Еф. Еф. Ковалевского
Наталье Ив. Головне (Довгелло) ... 600
10. Письмо В. Головни сыну Федору Николаевичу
Головне ... 601
11. Письмо Д. Ф. Головни сестре Наталье ... 602

Приложение

НАТАША. 1904—1943. Новый человек
Из книги «Сквозь огонь скорбей» ... 607

Елена Обатнина. «Книга Жизни» (к интерпретации литературной биографии С. П. Ремизовой-Довгелло) ... 610

Комментарии ... 655

Аннотированный именной указатель лиц, упомянутых в романах «Оля» и «В розовом блеске» ... 829

Список сокращений ... 855

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»,
«книга предназначена для детей старше 16 лет»

В оформлении шмуцтитулов, обложки и форзаца использованы архивные материалы (рисунки писателя, документы) из фонда А. М. Ремизова в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН

Научное издание

А. М. Ремизов
В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ
Собрание сочинений
Том 15

Научный редактор тома *А. М. Грачева*

Выпускающий редактор *А. П. Дмитриев*
Компьютерная верстка *С. В. Степанова*
Художественное оформление *Л. Модебадзе*

Формат 60 × 88 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Петербург. Печ. л. 54,0.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз.
Заказ № 3476

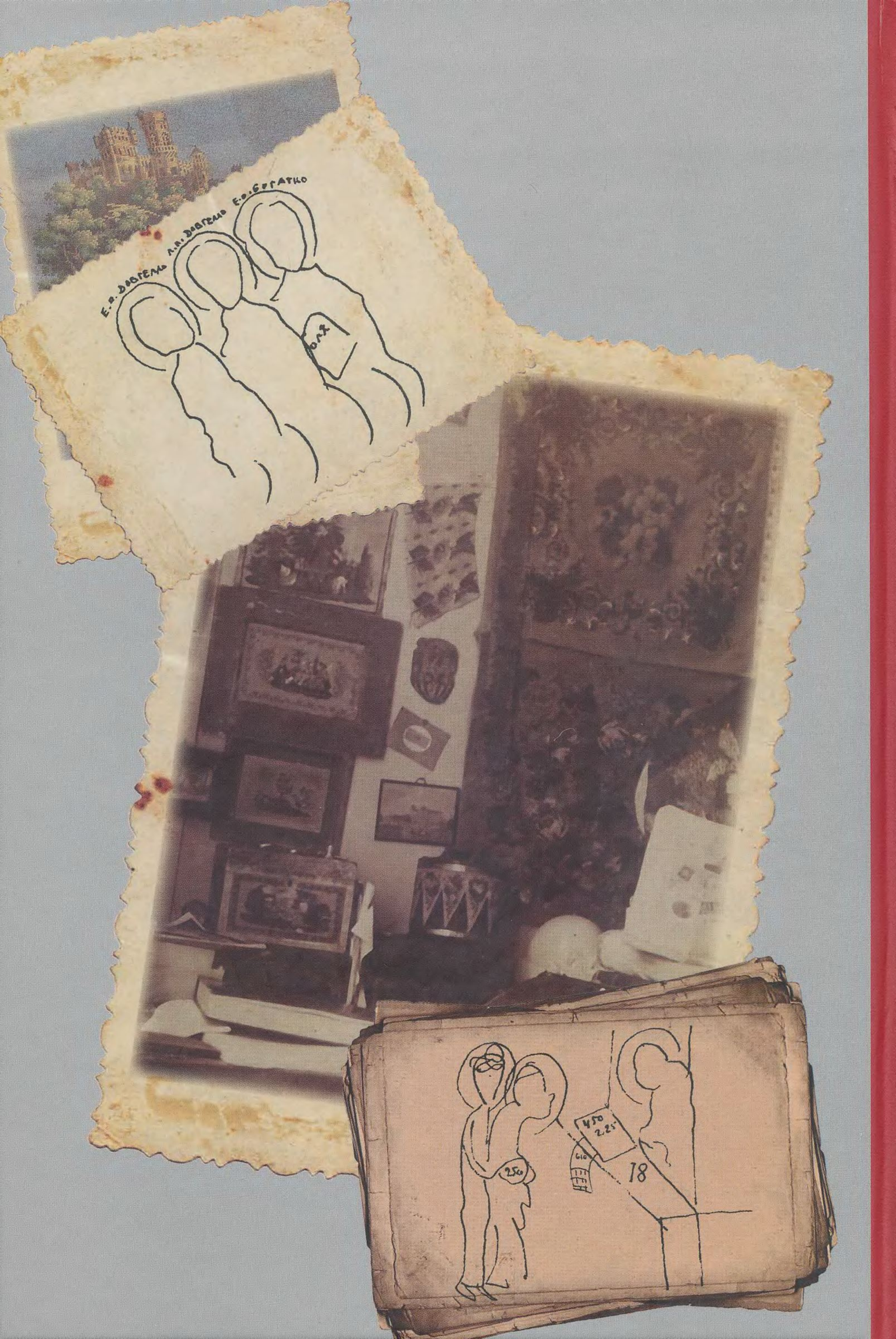
ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostokbooks@yandex.ru
URL: http://www.rostokbooks.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: 8–921–937–98–70

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В. О., 9-я линия, 12



I. ЧЕРНИГОВЪ. Общiй видъ.


С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Николаевскій мостъ. Общій видъ города
ST.-PETERSBOURG. Le Pont Nicolas. Vue générale prise


Е.Я. ДОВГЕЛЛО
А.Я. ДОВГЕЛЛО
Е.Ф. БОГАТКО
4.50
2.25
18
250
610